This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

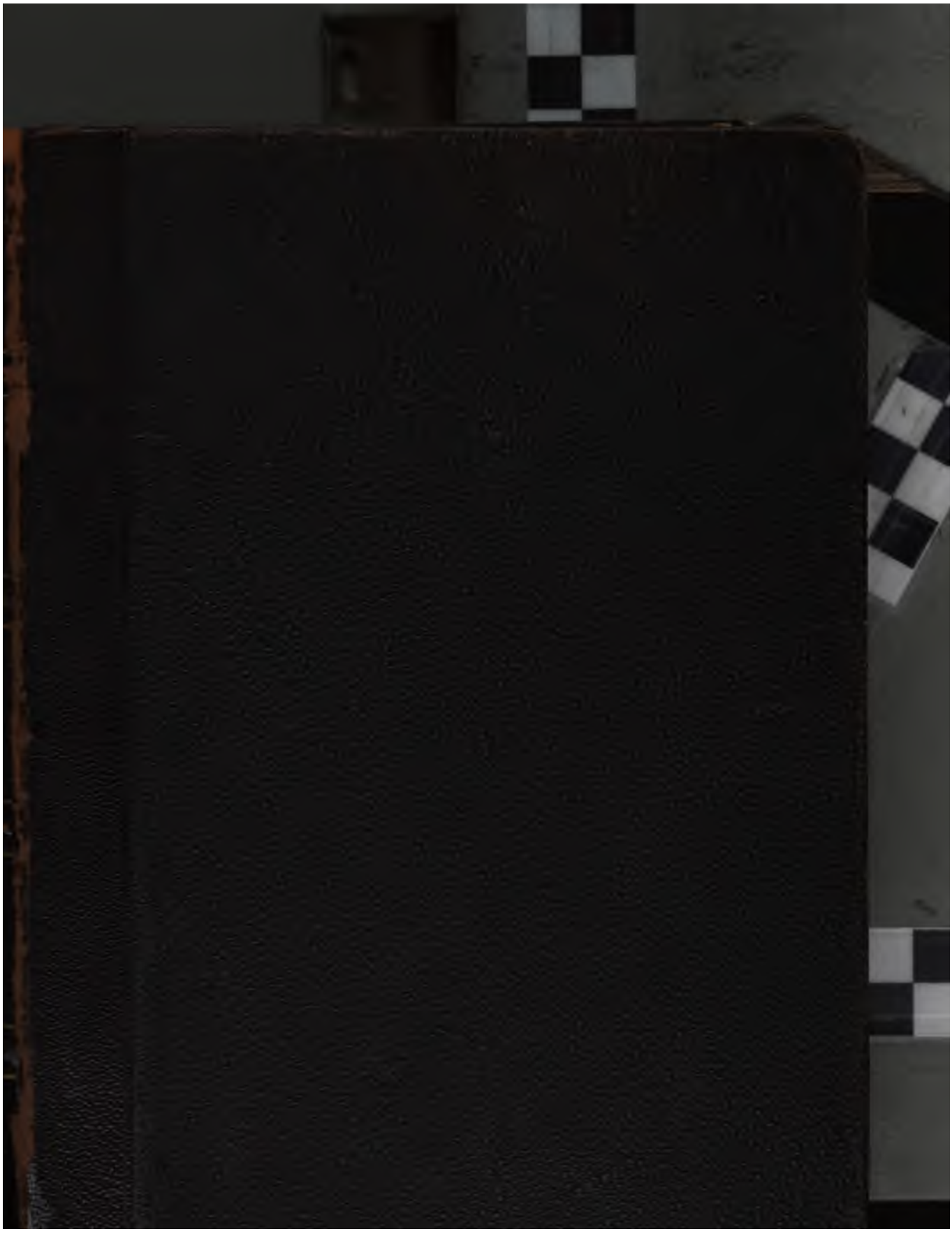
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



STANFORD LIBRARIES

THE MILLER LIBRARY

ON

WAR, REVOLUTION, AND PEACE

М. Н. ЗАГОСКИНЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

БИБЛІОТЕКА ОФИЦЕРСКАГО СОБРАНІЯ
5го
ФИНЛЯНДСКАГО
СТРѢЛКОВАГО

ИЗДАНІЕ
ПОСТАВЩИКА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО Т—ВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный дв., 18 | МОСКВА, Кузнецкій мостъ, 12
1898.

Z2A3
v.1-2

184926

ТИПОГРАФІЯ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО
ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ
Спб., В. О., 16 л., № 5—7.

THE NEWBERRY LIBRARY

МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ЗАГОСКИНЪ

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

I.

Предки М. Н. Загоскина. — Отецъ и мать писателя. — Дѣтство и отрочество. — Любовь къ чтенію. — Первые литературные опыты. — Отъѣздъ въ Петербургъ.

Родъ дворянъ Загоскиныхъ ведетъ свое начало отъ Шевкалъ-Загора (во святомъ крещеніи Александръ Айбулатовичъ), по прозванью Загоска, который выѣхалъ въ 1472 году изъ Золотой орды на службу великому князю Іоанну III и получилъ отъ него помѣстья въ Новгородской землѣ, въ Обонежской пятинѣ. Изъ трехъ сыновей Загоски двое умерли бездѣтными, а отъ третьяго, Поликарпа Шапки, по прямой линіи происходилъ въ девятомъ колѣнѣ отецъ нашего писателя, Николай Михайловичъ Загоскинъ, пензенскій помѣщикъ. Кромѣ Михаила Николаевича, у него было еще шесть сыновей: Маркеллъ [1]), Василій [2]), Николай [3]), Алексѣй [4]), Иліодоръ [5]), Павелъ [6]), и двѣ дочери: Софья, вышедшая замужъ за пензенскаго помѣщика А. П. Ступишина, и Варвара, бывшая замужемъ за пензенскимъ губернаторомъ А. А. Панчулидзевымъ [7]).

Николай Михайловичъ Загоскинъ, если вѣрить преданію, былъ человѣкъ не совсѣмъ обыкновенный: онъ отличался такими свойствами характера, которыя выдѣляли его изъ

---

[1]) Служилъ въ Семеновскомъ полку; былъ пензенскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства. [2]) Полковникъ л.-гв. Преображенскаго, потомъ командиръ Азовскаго пѣхотнаго полка. [3]) Полковникъ корпуса инженеровъ путей сообщенія. [4]) Инженеръ-генералъ-маіоръ. [5]) Полковникъ корпуса инженеровъ путей сообщенія. [6]) Офицеръ л.-гв. Павловскаго полка: умеръ юношей. [7]) Родословная книга, изд. Русской Старины, т. I, стр. 159—161 и сообщенія С. М. Загоскина.

окружающей среды и дѣлали его въ глазахъ сосѣдей-помѣщиковъ человѣкомъ страннымъ, чудакомъ. «Съ самыми кипящими страстями любилъ добродѣтель», говоритъ о немъ Вигель, «и исполненъ былъ религіозныхъ чувствъ; добросердечный, но имѣлъ много странностей, почтенный чудакъ. Безъ родителей, безъ совѣтовъ, совершенно свободный, онъ хотѣлъ оградиться отъ силы страстей неодолимымъ оплотомъ и затворился въ стѣнахъ монастыря [1]). Тамъ болѣе года постился онъ, молился и готовъ былъ принять постриженіе, а плоть все одолѣвала духъ. Добросовѣстные монахи убѣдили его предпочесть супружество, какъ состояніе истинно христіанское, если не столь святое, какъ монашество» [2]). Николай Михайловичъ послѣдовалъ доброму совѣту, и женился на Натальѣ Михайловнѣ Мартыновой.

По дошедшимъ до насъ отзывамъ лицъ, близко знавшихъ ее, это была прекрасная женщина. «Была собой не красавица», говоритъ о ней князь И. М Долгорукій, «но имѣла всѣ тѣ дары и свойства природы, которыми мужчины плѣняются преимущественно: пылкій характеръ, умъ здравый и образованный собственными навыками болѣе, нежели книгами, пріятное обращеніе, ловкая поступь и наружность заманчивая. Она строго чтила обязанности свои и сохраняла ихъ ненарушимо во всякое время». Наталья Михайловна умѣла внушать уваженіе къ себѣ прямотой характера и вѣрностью въ дружбѣ... «Она часто бранивала меня», продолжаетъ И. М. Долгорукій, — «за мою вѣтреность и легкомысліе, но изъ любви къ женѣ моей никогда меня не отгоняла отъ себя. Я не смѣлъ ей сдѣлать никакой довѣренности, оскорбительной для ея самолюбія. Я столько почиталъ ее и боялся, что не смѣлъ въ нее влюбиться и пріучилъ себя быть ея другомъ и старался заслужить то же названіе себѣ. Милая женщина! Я тебя никогда не забуду! Сколько случаевъ представляется мнѣ на мысль такихъ кои заставляютъ меня быть ей преданнымъ, благодарнымъ, обязаннымъ».

Наталья Михайловна была пріятельница первой жены кн. И. М. Долгорукаго, Евгеніи Сергѣевны (ур. Смирновой), умершей въ 1804 году. Много лѣтъ спустя послѣ

---

[1]) Въ Саратовской пустынѣ.
[2]) *Ф. Ф. Вигель.* Воспоминанія. М. 1866, т. I, ч. 2, стр. 98.

смерти княгини, мужъ ея нашелъ въ Рамзаѣ, имѣніи Загоскиныхъ, воспоминаніе о ней, хранимое дружественною рукой Натальи Михайловны: «Съ какимъ восхищеніемъ я нашелъ тамъ въ новомъ домѣ, прекрасномъ садѣ и между предметами, мнѣ вовсе незнакомыми, на каждомъ шагу, что-либо напоминающее мнѣ Евгенію! Тамъ ея портретъ, тутъ ея вензель. Наталья Михайловна сохранила многія ея письма къ ней... Съ какими умилительными слезами я орошалъ каждодневно поутру темный сводъ акацій въ сгущенномъ лабиринтѣ, подъ которымъ посвящена была Евгеніи печальная урна, окруженная ея любимыми полевыми цвѣтами. Долго хозяйка скрывала отъ глазъ моихъ тропу, ведущую къ сему пустынному памятнику: она не для хвастовства его соорудила, но желала удовлетворить своему сильному чувству любви къ безподобной ея подругѣ, — я напалъ на тайную стезю сію, сердце мое проводило меня къ урнѣ... Подобныя жертвы никогда не забываются!» Тамъ, во время вечернихъ прогулокъ по рощамъ и полямъ, кн. И. М. Долгорукій писалъ стихотвореніе, посвященное Натальѣ Михайловнѣ: «Воспоминаніе въ Рамзаѣ» [1]). Вообще князь Иванъ Михайловичъ выражался о Н. М. Загоскиной самымъ восторженнымъ образомъ: Изъ всѣхъ отношеній случайныхъ почти нѣтъ ни одного, которое бы я вспоминалъ съ такимъ удовольствіемъ, какъ знакомство мое съ Натальей Михайловной. Такъ я никогда и нигдѣ ея не забуду, вездѣ и вездѣ мысль моя представитъ мнѣ съ восхищеніемъ Рамзай, мѣсто, наполненное для меня пріятнѣйшихъ событій и воспоминаній. Когда Павелъ I меня отставилъ, а жена поскакала въ Петербургъ, я съ сестрой своей долженъ былъ переѣзжать въ Москву, Наталья Михайловна, узнавши, что я пораженъ своими обстоятельствами и худо ихъ переношу, рѣшилась, несмотря на молву, которая преслѣдовала ее, желая очернить самую цѣну подвига, проводить насъ до Москвы, и къ облегченію тоски моей выдержала зимой самое непріятное и дальнее путешествіе» [2]).

Вигель, отзываясь о Натальѣ Михайловнѣ съ такими-же похвалами, прибавляетъ нѣсколько словъ, изъ которыхъ можно заключить, что судьба этой женщины была не осо-

---

[1]) Сочиненія кн. И. М. Долгорукаго. Изд. Смирдина. С.-Пб. 1894, ч I, стр. 263—265.

[2]) Кладбище моего сердца, стр. 143—144.

бенно къ ней благосклонна. «Замѣчено», говоритъ Вигель, «что тяжкія испытанія разнымъ образомъ дѣйствуютъ на людей: они болѣе раздражаютъ злыхъ, а добрыхъ научаютъ терпѣнію и снисходительности. Такъ было съ Натальей Михайловной. Почти въ ребячествѣ выдали ее за человѣка, хотя молодого, недурного собой и добраго, но весьма страннаго... Въ награду за его добродушіе, небо послало ему дѣвочку кроткую, умную и веселую». Наталья Михайловна имѣла самое благотворное вліяніе на мужа. «Съ нею обрѣлъ онъ счастіе, а она только благоразуміемъ, долготерпѣніемъ и осторожностью могла наконецъ до него достигнуть; непримѣтно исправляя ихъ, должна была она переносить кучу странностей, которыя были слѣдствіемъ борьбы человѣческихъ слабостей съ упорною волей побѣдить ихъ. Проведя нѣсколько лѣтъ съ мужемъ въ добровольномъ заключеніи, она умѣла извлечь его изъ него вмѣстѣ съ народившимся семействомъ» [1]).

Загоскины постоянно жили въ своемъ Рамзаѣ, въ 25 верстахъ отъ Пензы. Въ этомъ-то богатомъ и благоустроенномъ селѣ, расположенномъ въ красивой мѣстности (оно описано въ романѣ «Искуситель» подъ названіемъ Тужиловки), родился 14-го іюля 1789 года Михаилъ Николаевичъ Загоскинъ. Здѣсь-же прошло и его дѣтство и отрочество. Въ старое время цѣлыя полѣнія дворянскихъ родовъ воспитывались въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ; поэтому, хотя и не сохранилось свѣдѣній о дѣтствѣ Михаила Николаевича, мы можемъ съ вѣроятностью предполагать, что онъ провелъ эти годы своей жизни совершенно такъ, какъ изображаетъ дѣтство и отрочество героевъ своихъ романовъ. Кстати замѣтимъ, что вообще произведенія Загоскина заключаютъ въ себѣ много автобіографическихъ подробностей.

Живой, одаренный прекрасными способностями, ребенокъ росъ въ деревенскомъ приволѣ зажиточнаго помѣщичьяго быта, нестѣсняемый ученьемъ, предоставленный самому себѣ. Рано пробудилась въ немъ любовь къ природѣ. «Очень страно», читаемъ мы въ «Искусителѣ», «что въ тѣ года, когда мы еще не имѣемъ никакого понятія объ изящномъ, прекрасный видъ возбуждалъ во мнѣ всегда неизмѣнное чувство удовольствія. Бывало, я по цѣлымъ часамъ не отхо-

---

[1]) Воспоминанія, II, 98.

дилъ отъ окна и не могъ налюбоваться обширными полями, которыя то разстилались гладкими зелеными коврами, то холмились и пестрѣли въ причудливомъ разливѣ свѣта и тѣней». Явленія природы производили сильное впечатлѣніе на ребенка и пробуждали въ немъ любознательность. Ему хотѣлось уйти потихоньку изъ дому и во что-бы то ни стало добраться до того мѣста, гдѣ небеса сходятся съ землею, что бы взглянуть поближе на красное солнышко, когда оно прячется за темнымъ лѣсомъ. «Болѣе всего, возбуждалъ мое любопытство и тревожилъ меня этотъ безконечный, темный лѣсъ. Онъ виденъ былъ изъ моей комнаты, вдали за дубравою, которая росла по ту сторону пруда». Ребенокъ обращался съ вопросами къ своему дядькѣ и узналъ, что лѣсъ кончается верстъ за пять или за шесть, что за нимъ такая-же деревня, и люди тамъ такіе-же...

И Загоскинъ, конечно, подобно Гончаровскому Обломову, слушалъ народныя сказки, «которыя въ стереотипномъ изданіи старины въ устахъ нянекъ и дядекъ прошли сквозь вѣка и поколѣнія». «Я всегда былъ», читаемъ мы въ предисловіи къ повѣстямъ Загоскина, «смертный охотникъ до страшныхъ исторій. Не могу сказать, какое наслажденіе чувствую я всякій разъ, когда слушаю повѣсть, отъ которой волосы на головѣ моей становятся дыбомъ, сердце замираетъ, морозъ подираетъ по кожѣ. Пусть себѣ господа ученые, эти холодные розыскатели истины, эти Ѳомы невѣрные, которые сомнѣваются даже въ томъ, что лѣшіе обходятъ прохожихъ и что можно однимъ словомъ изурочить человѣка, смѣются надъ моимъ легковѣріемъ: я не промѣняю на ихъ сухіе математическіе выводы, на ихъ замороженный здравый смыслъ мои дѣтскія, но живыя и теплыя мечты». Отъ сказокъ ребенокъ перешелъ къ книгамъ и въ самые ранніе годы обнаружилъ необыкновенную охоту къ чтенію. У отца была обширная библіотека русскихъ книгъ. Николай Михайловичъ ѣздилъ въ Пензу на ярмарку и тамъ запасался книгами [1]). Выборъ ихъ опредѣлялся его религіозностью и любознательностью. По всей вѣроятности, это были книги духовнаго и историческаго содержанія; могли быть романы и драматическія произведенія. По крайней мѣрѣ, именно такія книги, по свидѣтельству Михаила

---

[1]) *Вигель.* Воспоминанія, IV, стр. 162.

Николаевича, появлялись на пензенской ярмаркѣ: здѣсь можно было найти романы Дюкре-Дюмениля, г-жи Радклифъ и Мейснера, драмы Коцебу, «Житіе Клевеланда», «Странныя приключенія русскаго дворянина Д. Могушкина», «Мои Бездѣлки» Карамзина и т. п. Изъ сочиненій историческихъ любознательные провинціалы читали Ролленя, Іосифа Флавія, Квинта Курція.

По словамъ С. Т. Аксакова, охота къ чтенію и занятіямъ были такъ сильны въ ребенкѣ, что онъ, живя въ деревнѣ, мало раздѣлялъ обыкновенныя дѣтскія забавы своихъ сверстниковъ, хотя отъ природы былъ рѣзовъ и веселъ; ребяческой проказливости онъ не имѣлъ никогда, всегда былъ богомоленъ и любилъ ходить въ церковь. Почти все свое время посвящалъ онъ книгамъ, такъ что окружавшіе боялись, что бы отъ безпрестаннаго чтенія онъ не потерялъ совсѣмъ зрѣнія, которое и тогда было слабо, почему и были вынуждены отнимать у него книги; но любознательный мальчикъ находилъ разныя средства къ удовлетворенію своей склонности. Между прочимъ онъ употреблялъ слѣдующую хитрость: когда отецъ его входилъ въ свой, постоянно запертый, кабинетъ, въ которомъ помѣщалась библіотека, и оставлялъ за собою дверь незапертою, что случалось довольно часто, то Миша пользовался такими благопріятными случаями, прокрадывался потихоньку въ кабинетъ и прятался за ширмы, стоявшія подлѣ дверей; когда-же отецъ, не замѣтивши его, уходилъ изъ кабинета и запиралъ за собою дверь — Миша оставался полнымъ хозяиномъ библіотеки, и вполнѣ удовлетворялъ своей страсти; онъ съ жадностью читалъ все, что ни попадалось ему въ руки и не помнилъ себя отъ радости. Онъ оставался въ кабинетѣ иногда по нѣскольку часовъ, то-есть до прихода отца; при первомъ звукѣ ключа, онъ прятался опять за ширмы, и когда отецъ принимался самъ за чтеніе или за письменныя дѣла, Миша уходилъ потихоньку и нерѣдко уносилъ недочитанную книгу. Наконецъ, хитрость эта была открыта: предаваясь чтенію съ самозабвеніемъ, онъ не разслышалъ отворяющейся двери и былъ пойманъ отцомъ на мѣстѣ преступленія, съ книгою въ рукахъ. Отецъ, видя въ сынѣ такое необыкновенное стремленіе къ чтенію и образованію, чего, конечно, не могъ не одобрить, разрѣшилъ ему брать книги изъ библіотеки съ его позволенія; книги выбирались преимущественно историческія, и молодой Загоскинъ могъ

удовлетворить свободно своей склонности, не предаваясь однако ей съ излишествомъ, за чѣмъ наблюдали уже постоянно [1]).

Мальчикъ отъ природы былъ пылкаго темперамента. Аксаковъ передаетъ такое семейное преданіе: «Маленькій Миша любилъ читать, лежа на диванѣ и лакомясь изюмомъ и коринкой; одинъ изъ братьевъ часто взлѣзалъ къ нему на диванъ, начиналъ его трогать, щипать и просить ягодъ; Загоскинъ отдавалъ часть лакомства съ просьбою не мѣшать ему; черезъ нѣсколько минутъ маленькій шалунъ опять являлся съ прежними докуками; Загоскинъ отдавалъ весь изюмъ и коринку съ условіемъ не входить къ нему въ комнату и не мѣшать его чтенію; но черезъ нѣсколько времени, истребивъ весь запасъ лакомства, брать снова отворялъ дверь, и тогда Загоскинъ, вспыливъ, вскакивалъ съ дивана, бросалъ книгу и принимался таскать за волосы неотвязчиваго ребенка» [2]).

Вліяніе чтенія сказалось на впечатлительномъ, увлекающемся мальчикѣ раннимъ развитіемъ мысли и чувства и желаніемъ самому сочинять. Одиннадцати лѣтъ онъ сочинилъ повѣсть «Пустынникъ», а еще раньше того написалъ драму въ стихахъ «Леонъ и Зыдея». [3]).

Чтеніемъ безъ разбора и попытками сочинять ограничилось все домашнее образованіе мальчика. О правильномъ обученіи не было и рѣчи. По словамъ Вигеля, когда Загоскину было четырнадцать лѣтъ, и его уже готовили на службу, то ученіе его не только не было кончено, а, какъ кажется, даже не было начато [4]). Родители торопились опредѣлить сына на службу. «Тогда былъ такой обычай», говоритъ Вигель: «въ пятнадцать лѣтъ обыкновенно уже оканчивалось воспитаніе мальчиковъ; полагали, что они уже всему выучены, и спѣшили ихъ отдавать на службу, чтобы они ранѣе могли выйти въ чины. Многіе изъ родителей съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣли на пагубу, которая угрожала нѣжному возрасту и неопытности сыновей ихъ, но не властны были не слѣдовать общему примѣру, опасаясь обвиненія, что они препятствуютъ счастію и возвыше-

---

[1]) *С. Т Аксаковъ*. Полное собр. соч., т. III, стр. 253 и 254.
[2]) Тамъ-же, стр. 254.
[3]) *Аксаковъ*, III, стр. 252—253.
[4]) Воспоминанія, II, стр. 98.

нію своихъ дѣтей» [1]). Николай Михайловичъ Загоскинъ, по своей прихоти, не хотѣлъ отдать сына въ военную службу, къ которой юноша стремился, и опредѣлилъ его въ гражданскую. Съ этою цѣлію Михаила Николаевича отправили въ Петербургъ, поручивъ его заботамъ родственника своего Ф. Ф. Вигеля, который ѣхалъ туда-же [2]). «Ну, умѣли же найти ему наставника!» замѣчаетъ по этому поводу самъ Вигель. Во время сборовъ къ отъѣзду въ Пензѣ явился проѣздомъ изъ Волжска въ Петербургъ богатый и извѣстный откупщикъ Василій Алексѣевичъ Злобинъ. Кибитки Вигеля и Загоскина примкнули къ поѣзду Злобина, и 4-го ноября 1802 г. наши путешественники оставили Пензу. Злобинъ разстался съ молодыми людьми въ Москвѣ. Путь отсюда до Петербурга они совершали одни, въ сопровожденіи лишь дядьки Михаила Николаевича, по имени Прохора Кондратьевича (онъ изображенъ въ романѣ «Мирошевъ»). Вигель, встрѣтясь въ Твери съ какими-то офицерами, кутившими въ гактирѣ, напился пьянъ и проснулся только тогда, когда проѣхали Валдай. Чѣмъ свѣтъ, 1-го декабря молодые люди пріѣхали въ Петербургъ [3]).

II.

Пріѣздъ въ Петербургъ.—Служба.—1812 годъ.—Общественное настроеніе въ Петербургѣ. — Петербургское ополченіе. — Отставка. — Поѣздка въ Рамзай.—Знакомство съ кн. Шаховскимъ.—«Комедія противъ комедіи».— Друзья и враги Загоскина. — Знакомство съ С. Т. Аксаковымъ. — Женитьба. — «Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ». — Полемика съ Сыномъ Отечества.

Вигель, въ своихъ «Воспоминаніяхъ», сохранилъ изображеніе юноши Загоскина, присланнаго изъ деревни въ Петербургъ для поступленія на службу. «Ему было тогда лѣтъ четырнадцать... Странности, которыя первые при-

---

[1]) Тамъ-же, I, стр. 73.

[2]) Двоюродная сестра матери Вигеля, Дарья Михайловна Новикова была рожденная Мартынова и приходилась сестрою Натальѣ Михайловнѣ Загоскиной.

[3]) Воспоминанія, II. стр. 99, 100—101.

мѣры и первое воспитаніе въ немъ оставили, ни временемъ, ни треніемъ объ людей высшихъ сословій не могли быть изглажены... Ученіе не только не было окончено, мнѣ кажется, даже не было и начато. Имя Миши, коимъ звали его, было ему весьма прилично: дюжій и неуклюжій, какъ медвѣженокъ, имѣлъ онъ довольно суровое, но свѣжее и красивое личико. Мнѣ онъ не нравился по тѣмъ-же самымъ причинамъ, по коимъ многіе и теперь имѣютъ несправедливость не любить его: прежде не зналъ онъ существованія приличій свѣта, а послѣ мало о нихъ заботился. Многіе и тогда обижались слишкомъ фамильярнымъ его обхожденіемъ: какъ истинно русскій весельчакъ, любилъ онъ всегда безъ желчи, безъ злости, безъ малѣйшаго дурного умысла, подшучивать въ глаза надъ слабостями людей и такимъ образомъ, задѣвая самыя чувствительныя струны ихъ самолюбія, часто творилъ изъ нихъ самыхъ непримиримыхъ себѣ враговъ; потомъ онъ же удивлялся и готовъ былъ сказать: да, кажется, за что-бы? Не только тогда, но и гораздо послѣ не могъ я подозрѣвать удивительнаго, оригинальнаго таланта, который такъ внезапно и ярко въ немъ развился; при всегдашней его разсѣянности, которая давала ему видъ легкомыслія, могъ ли я предполагать въ немъ тѣ постоянныя, глубокія наблюденія, кои снабдили сочиненіе его столь живыми, вѣрно изображенными картинами?» [1]).

Михаилъ Николаевичъ и поселиться въ столицѣ долженъ былъ вмѣстѣ съ Вигелемъ. Первымъ дѣломъ по пріѣздѣ принялись они искать себѣ квартиру. «Какъ неимущіе провинціалы», вспоминаетъ Вигель, «начали мы съ Ямской и оттуда, сдѣлавъ нѣсколько поисковъ во внутренность города и открывъ довольно удобную квартиру неподалеку отъ Невскаго проспекта, черезъ три дня съ Загоскинымъ туда переѣхали» [2]). Жили они, конечно, бѣдно и тѣсно. Когда къ Вигелю пріѣхалъ братъ его Павелъ, Загоскину пришлось отдѣлиться, и онъ перебрался на особую квартиру.

По протекціи Злобина, Загоскинъ опредѣлился въ канцелярію государственнаго казначея Голубцова; нѣсколько времени спустя перешелъ онъ на службу въ горный департаментъ, а затѣмъ въ государственный заемный банкъ.

---

[1]) Воспоминанія, II, стр 98—99.
[2]) Тамъ-же, II, стр. 101.

Но кажется, что канцелярскія занятія вообще были ему не по сердцу [1]): онъ служилъ по необходимости и принужденъ былъ существовать на жалованье въ 100 р. въ годъ, такъ какъ отецъ не высылалъ ему пособій. Въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ пробылъ онъ около десяти лѣтъ — съ 1802 по 1811 годъ.

«Нельзя предположить», говоритъ Аксаковъ, «что бы въ это десятилѣтнее пребываніе и служеніе въ Петербургѣ Загоскинъ не занимался литературою. Къ сожалѣнію, никакихъ точныхъ свѣдѣній я объ этомъ сообщить не могу. Знаю только положительно, что именно въ это время Загоскинъ старался вознаградить недостатки своего образованія, что при поступленіи въ военную службу онъ зналъ уже по-французски и немного по-нѣмецки». Въ 1811 году Загоскинъ опять перешелъ въ департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ помощникомъ столоначальника, въ чинѣ губернскаго секретаря.

Между тѣмъ наступалъ 1812 годъ. Обществомъ овладѣло сильное патріотическое воодушевленіе. Вотъ, какъ описываетъ очевидецъ состояніе петербургскаго общества въ ту памятную годину: «Въ столицѣ духъ ненависти къ французамъ и соревнованіе въ защитѣ отечества доходили въ сіе время до высочайшей степени: матери, жены, сестры, покидая нѣжность, сожалѣніе и любовь, чувствительнымъ сердцамъ ихъ свойственныя, охотно отпускали и благословляли сыновъ, мужей, братій своихъ на священную брань за отечество. Молодымъ людямъ нельзя стало показываться въ обществахъ, не встрѣтивъ отъ самыхъ близкихъ имъ особъ упрековъ въ томъ, что видятъ ихъ не въ военномъ мундирѣ. Многіе, никогда не помышлявшіе видѣть ратное поле, не родившіеся даже къ сему роду службы, какъ-то: изъ Академіи художествъ, Горнаго корпуса, Александровской мануфактуры и другихъ мѣстъ приходили толпами и просили, какъ милости, позволенія принять оружіе и встать въ ряды защитниковъ вѣры и царя. Особенно изъ департаментовъ министерскихъ многіе столоначальники, ихъ помощники и канцелярскіе служители охотно записывались въ ополченіе» [2]).

---

[1]) Тамъ-же, II, стр. 108.

[2]) *Штейнгель*. Записки касательно составленія и самого похода Санктпетербургскаго ополченія противъ враговъ отечества въ 1812 и 1813 г. С.-Пб. 1814, ч. I. стр. 77, 78.

Могущественнымъ средствомъ для возбужденія патріотизма въ обществѣ явился въ эту пору театръ. «Невозможно описать», говоритъ тотъ же очевидецъ, «до какого изступленія доведена была публика при представленіи піесы «Ополченіе» и балета «Любовь къ отечеству». Особливо, когда 80-ти-лѣтній старецъ, сѣдинами украшенный, бывшій въ свое время честью и красою россійской трагедіи и 20 лѣтъ уже оставившій свое поприще, словомъ, почтенный Иванъ Аѳанасьевичъ Дмитревскій, представился взорамъ публики въ видѣ престарѣлаго инвалида, идущаго пожертвовать отечеству драгоцѣннѣйшими вознагражденіями долговременной службы, трудовъ, пота и пролитой крови — тремя медалями, нѣкогда геройскую, а тогда уже безсильную, но все еще любовью къ отечеству пламенѣющую, грудь его украшавшими. Зрители выходили, такъ сказать, изъ самихъ себя... Одно пошевеливаніе знамени съ надписью: «За отечество» доводило зрителей до изступленія. Отъ сильнаго сердечнаго чувствованія всѣ то плакали, то кричали, то рукоплескали... Нѣкоторые изъ зрителей, вышедъ изъ театра, на другой день бѣжали прямо въ комитетъ записываться въ ряды ополченія» [1]). Могъ-ли при такихъ обстоятельствахъ пылкій юноша Загоскинъ оставаться спокойнымъ въ канцелярской службѣ? 9-го августа онъ записался въ Петербургское ополченіе.

Это ополченіе было назначено въ подкрѣпленіе корпусу Витгенштейна, прикрывавшему Петербургъ. 6-го октября Петербургское ополченіе въ первый разъ было въ дѣлѣ при взятіи Полоцка. Загоскинъ отличился въ этомъ сраженіи, былъ раненъ въ ногу [2]) и получилъ за храбрость орденъ Анны 4-ой степени на шпагу. По излѣченіи раны, онъ возвратился къ своему полку и, по желанію графа Левиса, былъ назначенъ къ нему адъютантомъ; въ этой должности находился онъ до сдачи Данцига, то-есть до окончанія войны. Съ прекрасною наружностью, внушавшею расположеніе и довѣренность, вспыльчивый, живой, откровенный, добрый и постоянно веселый, Загоскинъ былъ любимъ товарищами и всѣми его окружавшими. Истинный русакъ, исполненный добродушной шутливости, онъ имѣлъ

---

[1]) *Штейнгель*, ч. I, стр. 79—80.
[2]) Тамъ-же, стр. 123.

во время долгой осады Данцига множество смѣшныхъ столкновеній съ нѣмцами. Онъ любилъ объ этомъ разсказывать даже въ немолодыхъ годахъ, и разсказывалъ такъ оригинально, живо и забавно, что увлекалъ всѣхъ своихъ слушателей, и громкимъ смѣхомъ выражалась общая, искренняя веселость. Нѣкоторыя происшествія, описанныя Загоскинымъ въ четвертомъ томѣ «Рославлева», дѣйствительно случились съ нимъ самимъ или съ другими его сослуживцами, при осадѣ Данцига [1]).

Вскорѣ послѣ взятія этого города, изданъ былъ Высочайшій указъ о роспускѣ Петербургскаго ополченія. «И что-же?» — восклицаетъ одинъ изъ участниковъ похода, Р. Зотовъ,—«никто почти изъ насъ не былъ этимъ доволенъ» [2]). Вѣроятно, былъ недоволенъ и Загоскинъ: послѣ веселой военной жизни приходилось возвращаться къ канцелярскимъ занятіямъ, къ которымъ онъ не чувствовалъ ни малѣйшей склонности. За всѣми гражданскими чиновниками, пожелавшими вступить въ ополченіе, были оставлены занимаемыя ими мѣста до возвращенія [3]); вотъ почему и Загоскинъ, послѣ похода, снова оказался служащимъ въ томъ-же департаментѣ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, въ своей прежней должности помощника столоначальника [4]).

Впрочемъ, Михаилъ Николаевичъ не сразу перешелъ отъ военнаго шума къ мирнымъ департаментскимъ занятіямъ: послѣ войны онъ отправился сперва на родину, въ Пензенскую губернію, повидаться съ родными и отдохнуть. Здѣсь-то, на досугѣ, онъ снова обратился къ чтенію и написалъ первую свою комедію: «Проказникъ». Онъ читалъ ее своимъ роднымъ и знакомымъ; невзыскательные слушатели очень хвалили піесу, но, конечно, какъ справедливо предполагаетъ Аксаковъ [5]), «молодой авторъ не могъ имѣть довѣренности къ своимъ судьямъ», а потому, по возвращеніи въ Петербургъ, Загоскинъ рѣшилъ отдать свою комедію на судъ извѣстному князю А. А. Шаховскому, хотя и не былъ тогда еще лично знакомъ съ нимъ.

---

1) *Аксаковъ*, т. III, стр. 255.
2) Разсказы о походахъ 1812 и 1813 годовъ прапорщика Санктпетербургскаго ополченія, *Р. Зотова*. С.-Пб. 1836, стр. 180.
3) *Зотовъ*, стр. 10.
4) *Аксаковъ*, т. III, стр 256.
5) Тамъ-же.

Знакомство Загоскина съ Шаховскимъ, положившее начало ихъ дружбѣ и имѣвшее важное вліяніе на дальнѣйшую литературную судьбу Михаила Николаевича, произошло при обстоятельствахъ, о которыхъ сохранились несовсѣмъ согласныя между собою преданія.

С. Т. Аксаковъ разсказываетъ объ этомъ такъ: «Въ началѣ 1815 года Михаилъ Николаевичъ еще не зналъ лично никого изъ петербургскихъ литераторовъ, на чье сужденіе могъ бы положиться. Князь Шаховской былъ тогда въ большой славѣ, и всѣ его піесы игрались на театрѣ съ блистательнымъ успѣхомъ; наконецъ,—самое важное обстоятельство,—князь Шаховской служилъ при театрѣ членомъ по репертуарной части, и отъ него вполнѣ зависѣло принятіе театральныхъ піесъ и постановка ихъ на сцену. Скромный Загоскинъ, не будучи увѣренъ въ своемъ талантѣ, никакъ не могъ рѣшиться пріѣхать прямо къ Шаховскому; онъ написалъ къ нему письмо отъ неизвѣстнаго, въ которомъ просилъ прочесть прилагаемую піесу и, принявъ въ соображеніе, что это первый опытъ молодого сочинителя, сказать правду, есть ли въ немъ талантъ и заслуживаетъ ли его комедія сценическаго представленія. Если нѣтъ, то, не спрашивая имени автора, возвратить рукопись человѣку, который будетъ присланъ въ такое-то время». Этотъ человѣкъ былъ самъ Загоскинъ. Аксаковъ прибавляетъ, что не знаетъ этой піесы, что ее играли на театрѣ съ посредственнымъ успѣхомъ, но что напечатана она никогда не была. Впослѣдствіи самъ Шаховской разсказывалъ Сергѣю Тимоѳеевичу, что былъ пріятно изумленъ, когда между десятками бездарныхъ произведеній попалась ему въ руки эта небольшая комедія, въ которой онъ замѣтилъ много живости и неподдѣльной веселости. Шаховской, разумѣется, не возвратилъ ее, а просилъ, также черезъ письмо, отданное самому Загоскину, пожаловать неизвѣстнаго автора къ нему, прибавляя, что онъ находитъ піесу весьма хорошо написанною и что очень желаетъ лично познакомиться съ сочинителемъ. Обрадованный Загоскинъ часа черезъ два явился къ знаменитому драматургу и былъ очень обласканъ. Съ этихъ поръ началось его знакомство съ Шаховскимъ, перешедшее потомъ въ самую близкую и дружескую связь [1]).

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 526—725.

Таковъ разсказъ С. Т. Аксакова. Совершенно иной видъ имѣетъ происшествіе въ разсказѣ Н. В. Сушкова. Онъ утверждаетъ, что знакомство Загоскина съ Шаховскимъ произошло при посредствѣ П. А. Корсакова, тоже служившаго по репертуарной части и бывшаго хорошимъ знакомымъ князя Шаховскаго. Послѣдній «господствовалъ тогда въ театрѣ нераздѣльно и полновластно и не любилъ пускать на сцену писателей молодыхъ, новыхъ, не получившихъ до него или помимо его правъ гражданства въ театрѣ». Загоскинъ — и вотъ тутъ-то онъ, истинный драматургъ — смекнулъ, что прежде всего нужно получить право на благодарность Шаховскаго, и ждалъ случая, что-бы изъявить ему свою преданность. Случай скоро представился: «Липецкія воды или урокъ кокеткамъ» возбудили много толковъ, критикъ, похвалъ, пересудовъ. Загоскинъ приноситъ ему свою «Комедію противъ комедіи или урокъ волокитамъ». Князь съ восторгомъ ее принялъ, и поставилъ на славу и автору, и себѣ. Публика съ удивленіемъ прослушала піесу, всю въ похвалу сочинителю «Липецкихъ водъ», но отдала справедливость игрѣ артистовъ и ловкости новаго писателя. Послѣ такого урока, не волокитамъ, а желающимъ трудиться для театра во времена Шаховскаго. Загоскинъ смѣло отдалъ на сцену «Добраго малаго», «Богатонова». «Вечеринку ученыхъ» и т. д. «Я разсказалъ», — прибавляетъ Сушковъ, — «о первомъ шагѣ Загоскина на сценѣ, какъ свидѣтель его продѣлки съ княземъ Шаховскимъ, попавшимъ въ ловушку. Какъ пріятель Корсакова, который свелъ и сблизилъ меня съ Загоскинымъ, я положительно знаю отъ обоихъ, что первый ввелъ послѣдняго въ кружокъ драматурга-монополиста. Стало быть, позднѣйшіе разсказы Михаила Николаевича о первомъ знакомствѣ своемъ съ княземъ Шаховскимъ посредствомъ «Проказника», комедіи никогда не игранной и не напечатанной, не къ тому вели, что бы показать ихъ скорое сближеніе, а развѣ неудачу первой попытки, потому что дружба двухъ комиковъ началась не съ проказъ «Проказника», а съ похвалы «Липецкимъ водамъ». Это не опровергнуто и прекраснѣйшею біографіею Загоскина: хотя почтенный С Т. Аксаковъ и привелъ въ ней свой анекдотъ очень мило, все-же видно и изъ его статьи, что до «Комедіи противъ комедіи» князь Шаховской не

принялъ и не поставилъ никакой піесы Михаила Николаевича [1]).

Сопоставляя эти два разсказа объ одномъ и томъ же событіи въ жизни нашего писателя, мы не можемъ, въ виду ихъ взаимнаго противорѣчія, оставить вопросъ безъ разъясненія. Укажемъ прежде всего на фактическую сторону дѣла. Сушковъ утверждаетъ, что у Загоскина еще до перваго свиданія съ Шаховскимъ были уже знакомые изъ міра литературнаго, именно — П. А. Корсаковъ. Но его Загоскинъ могъ и не считать для себя авторитетомъ. Затѣмъ Сушковъ утверждаетъ, что комедія «Проказникъ» не была никогда играна. Но, вопреки столь рѣшительному заявленію, мы болѣе вѣримъ Аксакову, тѣмъ болѣе, что и Грибоѣдовъ, осмѣивая Загоскина въ своемъ «Лубочномъ театрѣ», говоритъ:

«Вотъ вамъ его «Проказникъ»;
Спроказилъ онъ неловко: разъ упалъ,
Да и не всталъ» [2]).

Это даетъ право думать, что комедія Загоскина была поставлена на сцену, но не имѣла успѣха. Кромѣ того, есть свидѣтельство П. Н. Арапова, который относитъ представленіе «Проказника» къ 15-му декабря 1815 года [3]). Наконецъ, изъ статьи С. Т. Аксакова, вопреки мнѣнію Сушкова, не видно, что до «Комедіи противъ комедіи» Шаховской не принялъ и не поставилъ никакой піесы Михаила Николаевича.

Но не столько съ фактической стороны важно свидѣтельство Сушкова, сколько въ другомъ отношеніи: оно набрасываетъ тѣнь на нравственную личность Загоскина. Но едва-ли мы погрѣшимъ противъ истины, если скажемъ, что неблаговидный характеръ, съ которымъ является Загоскинъ въ разсказѣ Сушкова, зависитъ не отъ самихъ фактовъ, а отъ освѣщенія, даннаго имъ извѣстнымъ авторомъ «Обоза къ потомству». Это освѣщеніе—чисто субъективное и вовсе не согласуется съ благородною натурою

---

[1]) Раутъ, историч. и литератур. сборникъ, изд. *И. В. Сушковымъ*. М. 1854. кн. III, стр. 292—293.
[2]) *Русская Старина* 1874 г., т. X, стр. 159.
[3]) Лѣтопись русскаго театра, стр. 241—245.

Михаила Николаевича. Ничего подобнаго этой продѣлкѣ не встрѣчаемъ мы въ теченіе всей жизни его.

Сближеніе съ Шаховскимъ сразу опредѣлило положеніе Загоскина въ литературномъ мірѣ, который въ описываемое время раздѣлялся на два враждебные лагеря. Шаховской принадлежалъ къ партіи консервативной. Въ 1815 году онъ написалъ комедію: «Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды». Эта была первая его комедія въ стихахъ, и авторъ посвятилъ ее «господамъ почтеннѣйшимъ членамъ Россійской Академіи»; онъ самъ незадолго передъ тѣмъ былъ избранъ ея членомъ. Порицая въ своей комедіи увлеченіе всѣмъ вообще иностраннымъ, Шаховской осмѣялъ и новое направленіе въ литературѣ— «модный родъ балладъ» — въ лицѣ поэта Фіалкина. Выводя Фіалкина на сцену, Шаховской мѣтилъ на Жуковскаго и достигъ своей цѣли. Извѣстно, какое впечатлѣніе произвело первое представленіе «Липецкихъ водъ». Вотъ какъ разсказываетъ о немъ Вигель:

«Насъ сидѣло шестеро въ третьемъ ряду креселъ: Дашковъ, Тургеневъ, Блудовъ, Жуковскій, Жихаревъ и я. Комедія имѣла успѣхъ. Въ лицѣ Фіалкина узнали Жуковскаго. Можно вообразить себѣ положеніе бѣднаго Жуковскаго, на котораго обратилось нѣсколько нескромныхъ взоровъ! Можно себѣ представить удивленіе и гнѣвъ вокругъ него сидящихъ друзей его! Перчатка была брошена: еще кипящіе молодостью Блудовъ и Дашковъ спѣшили поднять ее. Блудовъ написалъ «Видѣніе», а Дашковъ — «Письмо къ новѣйшему Аристофану». Шумъ и великая тревога сдѣлались оттого въ непріятельскомъ станѣ. Литературная война между Москвою и Петербургомъ, прекратившаяся было въ виду серьезныхъ политическихъ событій 1812 и слѣдующихъ годовъ, возобновилась съ новою силою». Вигель игралъ въ этой распрѣ не совсѣмъ достойную роль. «Принимая въ этомъ дѣлѣ живѣйшее участіе, не менѣе того видѣлъ я и забавную его сторону. Съ родственникомъ моимъ Загоскинымъ, вѣрно преданнымъ Шаховскому, я не прерывалъ своихъ сношеній. Мы часто посѣщали другъ друга. Я любилъ бѣсить его, позволяя себѣ нескромныя шутки и повторяя всѣ колкости, слышанныя мною въ кругу моихъ пріятелей на счетъ его патрона (то-есть Шаховскаго). Съ своей стороны и онъ не слишкомъ щадилъ сихъ послѣднихъ и въ нетерпѣніи своемъ высказывалъ мнѣ злыя намѣренія нашихъ противниковъ. Такимъ образомъ пламя раз-

дора все болѣе раздувалось, и съ обѣнхъ сторонъ готовились къ новымъ битвамъ. Передавая все слышанное мною дружескому обществу нашему, я въ шутку самъ прозвалъ себя шпіономъ или лазутчикомъ. Роль поджигателя была очень веселая, не совсѣмъ уваженія достойная, но какъ быть? Дѣло отъ бездѣлья»[1]).

Тогда-то Загоскинъ принялъ на себя защиту Шаховскаго и написалъ «Комедію противъ комедіи или урокъ волокитамъ». По времени, которое употребилъ на ея сочиненіе авторъ, это была, какъ выразился Вигель, скороспѣлка: комедія Шаховскаго шла въ первый разъ 23-го сентября 1815 года, а ровно черезъ мѣсяцъ была написана и уже просмотрѣна цензурой комедія Загоскина. Очевидно, онъ не имѣлъ времени на отдѣлку своей піесы, да и не очень заботился о томъ: у него была иная цѣль, которую онъ самъ высказалъ въ предисловіи къ комедіи. «Урокъ кокеткамъ» вызвалъ бурю: на автора посыпались эпиграммы, сатиры, ругательные куплеты. «Не держась никакой партіи», говоритъ Загоскинъ, «я слушалъ спокойно странныя сужденія противниковъ сей комедіи, находилъ ихъ довольно забавными, рѣдко спорилъ, потому что невозможно спорить съ тѣми, которые вмѣсто доказательствъ прочитаютъ какую-нибудь жалкую эпиграмму или пропоютъ ругательные куплеты, но, находя много комическаго въ семъ литературномъ ополченіи противъ «Липецкихъ водъ» и здраваго смысла, рѣшился написать комедію, въ коей могъ бы помѣстить мое мнѣніе о новой піесѣ и нѣсколько забавныхъ сценъ, которыхъ я былъ очевиднымъ свидѣтелемъ».

Надо перенестись въ то время, что бы понять, какъ могли люди даже серьезные, лучшіе по уму, талантамъ и образованію, волноваться изъ-за подобныхъ пустяковъ. Но въ ту пору всякое ничтожное стихотвореніе, повѣсть, статейка въ журналѣ давали право на литературную извѣстность; появленіе хорошаго актера на сценѣ, новая піеса были событіемъ не только для присяжныхъ литераторовъ и театраловъ, но и для любителей, для тѣхъ, которыхъ Загоскинъ называлъ полулитераторами. Стоитъ только вспомнить разсказы С. Т. Аксакова, что бы понять то увлеченіе, съ какимъ тогдашнее общество отдавалось самымъ мелкимъ литературнымъ и театральнымъ интересамъ, ка-

[1]) Воспоминанія, IV, стр. 165—168.

кіе горячіе споры и ссоры возникали по поводу той или другой піесы, или игры актера. При такихъ только условіяхъ и возможенъ былъ знаменитый «Арзамасъ», который можетъ считаться лучшимъ знаменіемъ своего времени. Лишь на склонѣ дней своихъ современники той поры оказывались въ состояніи измѣнить свой взглядъ на нее: «Сколько дѣтскаго и, пожалуй, смѣшнаго было въ этомъ увлеченіи! Какъ оно живо выражаетъ отсутствіе серьезныхъ интересовъ или, пожалуй, серьезность интереса и взгляда на искусство, можетъ быть у многихъ безсознательнаго» [1]). Но нѣкоторые и въ старости съ увлеченіемъ вспоминали эти забавы своихъ юныхъ лѣтъ.

Какъ сказано выше, «Комедія противъ комедіи или урокъ волокитамъ» была написана Загоскинымъ въ защиту Шаховскаго. «Въ ней, хотя не совсѣмъ остроумно, досталось всѣмъ», говоритъ Вигель, «а болѣе всѣхъ мнѣ. Пожалуй, я могъ бы не узнать себя въ Фольгинѣ, большомъ вралѣ, вѣтреномъ модникѣ, какимъ никогда я не бывалъ, если бъ нѣкоторыя изъ словъ и сужденій моихъ не были вложены въ уста его» [2]). Загоскинъ хорошо понималъ, что дѣлаетъ: «Я долженъ былъ ожидать, что враги «Липецкихъ водъ» сдѣлаются и моими», говоритъ онъ въ предисловіи къ своей піесѣ. Но онъ не ожидалъ того, что̀ случилось: его стали называть орудіемъ Шаховскаго, стали говорить, что комедію, по крайней мѣрѣ, главную часть ея, написалъ Шаховской; даже болѣе, стали отрицать самое существованіе новаго автора, а фамилію Загоскинъ считали вымышленною. Все это передавалъ Загоскину Вигель: «Я зналъ, чѣмъ отомстить человѣку, который по всей справедливости гордился едва ли не болѣе древностью своего рода, чѣмъ новостію своей извѣстности. Я увѣрялъ его, что всѣ пріятели мои не хотятъ вѣрить его существованію, фамильное имя его считаютъ вымышленнымъ, однимъ словомъ, видятъ въ немъ псевдонимъ, подъ которымъ самъ Шаховской написалъ комедію» [3]).

Пылкій Загоскинъ, постоянно раздражаемый язвительнымъ Вигелемъ, не имѣлъ силъ молчать, подобно Жуковскому, въ то время, когда кругомъ него дрались. Онъ от-

---

[1]) *Аксаковъ*, IV, стр. 38.
[2]) Воспоминанія, IV, стр. 168.
[3]) Воспоминанія, IV, стр. 168.

вѣчалъ своимъ непріятелямъ предисловіемъ къ изданію своей комедіи. «Есть такіе догадливые люди, которые увѣряютъ, что не только я, но даже и моя фамилія вымышлены. Совѣтую симъ недовѣрчивымъ господамъ заглянуть въ дворянскую родословную книгу и, если они умѣютъ читать по-русски, то найдутъ въ ней неоспоримое доказательство, что на этотъ разъ они были черезчуръ уже догадливы».

Наживъ себѣ враговъ, Загоскинъ въ то же время пріобрѣлъ и друзей. Его комедія сблизила его не только съ Шаховскимъ, но и съ Шишковымъ. Вотъ что писалъ по этому поводу Дашковъ князю П. А. Вяземскому: «Представьте, что, послѣ перваго представленія «Комедіи противъ комедіи», Хлыстовъ (то-есть Хвостовъ) ухватилъ за руку сочинителя, котораго неизвѣстное намъ имя Загоскина мы передѣлали въ Гвоздушкина, и потащилъ его въ директорскую ложу, гдѣ во всей славѣ сидѣлъ Мѣшковъ (Шишковъ), и представилъ молодца, какъ ниспосланнаго съ небесъ мстителя. Мѣшковъ, puisque Мѣшковъ il y a, вскочилъ, принялъ мстителя съ распростертыми объятіями и обѣщалъ ему первую вакансію сотрудника въ Бесѣдѣ, но тотъ корячится и хочетъ пролѣзть прямо въ члены. Благородное честолюбіе! Нельзя-ли вамъ, любезнѣйшій сочленъ, достойно воспѣть все это?» [1]).

Къ этому же времени относится и начало знакомства Загоскина съ С. Т. Аксаковымъ. Разсказъ послѣдняго о первой ихъ встрѣчѣ хорошо рисуетъ обоихъ писателей и тогдашнее время. «Познакомился я самымъ оригинальнымъ образомъ съ М. Н. Загоскинымъ, о которомъ до тѣхъ поръ не имѣлъ никакого понятія. Живя вмѣстѣ съ полковникомъ Пав. Петр. Мартыновымъ въ Гарновскомъ домѣ, я находился въ кругу измайловскихъ офицеровъ; съ нѣкоторыми изъ нихъ я былъ знакомъ очень дружески, откровенно разсказывалъ имъ все, о чемъ говорилъ съ Гавриломъ Романовичемъ Державинымъ и, кстати, о всѣхъ моихъ литературныхъ убѣжденіяхъ. Тогда еще пользовалась успѣхомъ на театрѣ комедія князя Шаховскаго «Липецкія воды». Я пріѣхалъ изъ Москвы, сильно возстановленный противъ этой комедіи; ея успѣхъ на сценѣ, котораго она, конечно, вполнѣ не стоила, еще болѣе раздражилъ меня. Въ откро-

---

[1]) Русскій Архивъ 1866 г., стр. 501.

венныхъ разговорахъ съ Державинымъ я жестоко критиковалъ «Липецкія воды». Старикъ соглашался иногда съ моими замѣчаніями и сказалъ мнѣ, чтобъ я написалъ обстоятельный разборъ комедіи кн. Шаховскаго. Я написалъ и прочелъ Гаврилу Романовичу, въ присутствіи его домашнихъ и нѣкоторыхъ обыкновенныхъ его посѣтителей; хозяинъ во многомъ былъ одного мнѣнія со мной, но двое изъ гостей горячо заступились за князя Шаховскаго и въ опроверженіе моихъ критическихъ замѣчаній ссылались на комедію Загоскина «Комедія противъ комедіи или урокъ волокитамъ», которой я еще не зналъ. Разумѣется, я прочелъ мою критику и въ Гарновскомъ домѣ, не пропустивъ случая побранить Загоскина, котораго въ глаза не видывалъ и комедіи котораго не читывалъ. Хозяинъ мой, Мартыновъ, очень забавлялся моими выходками противъ Загоскина, близкаго его родственника, и, чтобъ еще болѣе потѣшиться моею горячностью, отыскалъ завалившуюся гдѣ-то у него «Комедію противъ комедіи», подаренную ему отъ сочинителя съ родственной надписью, и далъ мнѣ прочесть. Все общество было противъ меня, и я, по своей вспыльчивости, очень разсердился за офицерскую анти-критику и даже насмѣшки. Я сталъ читать вслухъ піесу Загоскина съ предубѣжденіемъ, даже съ положительнымъ намѣреніемъ найти ее дурною. Безсовѣстно придирался къ каждому слову и взбѣшенный моими антагонистами, наконецъ, бросилъ подъ столъ комедію и сказалъ, что сочинитель глупъ. Мартыновъ хохоталъ до упаду. Чрезъ нѣсколько дней, будучи нездоровъ, я сидѣлъ дома одинъ; вдругъ съ шумомъ растворилась дверь, хозяинъ мой, Мартыновъ, почти вбѣжалъ въ комнату, ведя за руку плотнаго молодого человѣка, бѣлаго, румянаго, съ прекрасными вьющимися каштановыми волосами и съ золотыми очками на носу. Съ неудержимою веселостью и смѣхомъ Мартыновъ подвелъ ко мнѣ неизвѣстнаго мнѣ господина и сказалъ: «Это мой роденька, Михайла Николаевичъ Загоскинъ» и, обратясь къ Загоскину, продолжалъ: «А это мой оренбургскій землякъ, С. Т. Аксаковъ, который на-дняхъ, читая намъ твою комедію, плюнулъ на нее, бросилъ подъ столъ и сказалъ, что авторъ глупъ». Мартыновъ, очень довольный такой остроумной шуткой, принялся хохотать; но мы съ сочинителемъ комедіи стояли, какъ окаменѣлые, другъ противъ друга, каждый съ протянутою рукою—и, конечно, были смѣшны.

Загоскинъ, очень конфузливый и вспыльчивый отъ природы, покраснѣлъ, какъ вареный ракъ, и также; но я опомнился первый и, кое-какъ собравшись съ духомъ, сказалъ: «Ваша родня, а мой пріятель, Павелъ Петровичъ, заранѣе придумалъ эту неприличную шутку, что бы поссорить насъ при первомъ свиданіи и что бы позабавиться нашей литературной схваткой». Загоскинъ что-то пробормоталъ, и мы кое-какъ пожали другъ другу руки; но неугомонный Мартыновъ началъ увѣрять, что все правда. Я разсердился и весьма серьезно сказалъ ему нѣсколько жесткихъ словъ, которыя уняли и образумили его; онъ въ свою очередь сталъ извиняться и увѣрять, что онъ только хотѣлъ пошутить и что онъ очень желаетъ, что бы мы были пріятелями. Черезъ нѣсколько минутъ, послѣ нѣсколькихъ пустыхъ фразъ, Загоскинъ, ѣхавшій куда-то на вечеръ, ушелъ. Я крѣпко поссорился съ Мартыновымъ, даже хотѣлъ переѣхать отъ него на другую квартиру, и онъ едва упросилъ меня остаться. Надобно сказать, что Мартыновъ, встрѣтившись нечаянно съ Загоскинымъ на улицѣ, близъ Гарновскаго дома, вспомнилъ недавно происходившее чтеніе его комедіи, захотѣлъ потѣшиться и затащилъ къ себѣ своего родственника почти насильно, увѣривъ, что имѣетъ сообщить ему что-то нужное. Можно судить, каковъ былъ сюрпризъ для бѣднаго Загоскина, который не слыхивалъ даже моего имени» [1]).

Такимъ образомъ положеніе Загоскина вполнѣ опредѣлилось: онъ сталъ на сторону партіи литературныхъ старовѣровъ, не имѣвшей для себя будущности, бѣдной талантами, которые группировались въ противной ей, молодой, прогрессивной партіи. Фактъ не особенно благопріятный для развитія молодого начинающаго писателя. Едва-ли, впрочемъ, это было для Загоскина дѣломъ вполнѣ сознательнаго выбора. Скорѣе, это было дѣломъ случая: молодой, почти безъ всякаго образованія, безъ опредѣленныхъ убѣжденій, почти безъ литературныхъ знакомствъ, Загоскинъ случайно знакомится съ Шаховскимъ и, не успѣвши еще хорошо осмотрѣться въ новой для него сферѣ, беретъ на себя защиту этого писателя. Остальное додѣлало самолюбіе, возбуждаемое нападками литературныхъ враговъ.

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III. стр. 25—27.

Въ то время литературная критика еще болѣе, быть можетъ, чѣмъ въ наше время, вдавалась въ личности и доходила до самыхъ послѣднихъ мелочей. Все это было и въ той полемикѣ, въ которую вдался Загоскинъ. Совершенно правъ былъ Грибоѣдовъ, оцѣнившій ее въ слѣдующихъ стихахъ:

Одинъ напишетъ вздоръ,
Другой на то разборъ,
А разобрать труднѣе,
Кто изъ двоихъ глупѣе [1]).

Въ 1816 году Загоскинъ оставилъ службу въ горномъ департаментѣ и женился въ Петербургѣ на Аннѣ Дмитріевнѣ Васильцовской [2]).

Занятый устройствомъ новой своей жизни, Загоскинъ ничего не написалъ въ этомъ году. Зато въ 1817 году литературная дѣятельность его была очень значительна. Къ этому году относится пятиактная комедія «Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ», небольшая комедія «Вечеринка ученыхъ» и двѣ интермедіи: «Макарьевская ярмарка» и «Лебедянская ярмарка». Кромѣ того, въ этомъ-же году Загоскинъ редактировалъ журналъ Сѣверный Наблюдатель.

Комедія «Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ» была представлена въ первый разъ на Маломъ театрѣ въ Петербургѣ 27-го іюня 1817 года и имѣла успѣхъ. Несмотря на то, что большинство петербургской публики разъѣхалось по дачамъ, на ея представленіе собралось много зрителей Успѣху піесы много способствовала игра актера Боброва въ главной роли Богатонова. «Вообще», по свидѣтельству П. Н. Арапова, «піеса поставлена была и разыграна прекрасно, она утвердила самобытность комическаго таланта Загоскина» [3]).

Съ этой піесой повторилась та же исторія, что и съ «Комедіей противъ комедіи»: опять былъ пущенъ слухъ о томъ, что «Богатонова» писалъ не Загоскинъ. Вотъ что

---

[1]) Лубочный театръ.

[2]) Братъ Анны Дмитріевны, камергеръ Высочайшаго Двора Александръ Дмитріевичъ Васильцовскій, былъ преемникомъ Загоскина по управленію московскими театрами. Васильцовскіе были дѣти бригадира Дмитрія Александровича Новосильцова.

[3]) Лѣтопись русскаго театра, стр 254.

разсказывается по этому поводу въ Сѣверномъ Наблюдателѣ: «Надобно признаться, что г. З*** (Загоскинъ) родился подъ несчастнымъ созвѣздіемъ. Когда сыграна была его первая комедія, то нѣкоторые догадливые люди увѣряли, что въ этой піесѣ сочинены имъ только одни имена дѣйствующихъ лицъ. То же самое повторилось при первомъ представленіи комедіи его: «Провинціалъ въ столицѣ». Г. К** (Корсаковъ?) сидѣлъ въ креслахъ подлѣ одного знатока, который, оборотясь къ нему, спросилъ съ торжествующимъ видомъ: «Какъ вы думаете, сударь, кѣмъ написана эта комедія?» «Не трудно отгадать», отвѣчалъ г. К**, «имя сочинителя выставлено на афишѣ». «Вотъ то-то и есть! Это ловкій обманъ! Я знаю, точно знаю: ее сочинилъ г. К**» «Вы ошибаетесь, сударь!» «Кому вы говорите! Нельзя вѣрнѣе знать, какъ я знаю». Сердечно радуюсь, сударь, но со всѣмъ тѣмъ могу вамъ поручиться, что она написана г. З**, а не тѣмъ, на кого вы думаете». «Желалъ-бы знать, чѣмъ вы это докажете?» «Однимъ словомъ, сударь: я тотъ самый К**, о которомъ вы говорите, и, конечно, лучше васъ знаю, написалъ-ли я эту комедію или нѣтъ» [1]).

Кромѣ подобной сплетни, пущенной въ видѣ слуха, оскорбительнаго для Загоскина, явились и въ печати нападки на его произведенія.

Въ Сынѣ Отечества была напечатана басня: «Сочинитель и раскольникъ», которая оканчивается слѣдующими словами: «Да соль-то не твоя, а изъ мѣшка чужого!» [2]).

Высказаны были тамъ и другія обвиненія: старались объяснить успѣхъ піесы такими дѣйствіями автора, которыя ничего общаго съ литературою не имѣютъ. Ювеналъ Прямосудовъ (псевдонимъ А. Е. Измайлова?) въ своей статьѣ, напечатанной въ № 29 Сынъ Отечества, говоритъ: «По опущеніи занавѣса раздались вызывные крики, сопровождаемые рукоплесканіями... вызвали автора». Но рецензентъ спѣшитъ предостеречь «отъ заблужденія тѣхъ, кои, основываясь на щедрыхъ вызовахъ и рукоплесканіяхъ всякаго рода театральныхъ патроновъ, стали бы думать, что оныя расточаются по достоинству. Въ такихъ случаяхъ

---

[1]) Сѣверный наблюдатель, ч. I, стр. 40.

[2]) Сынъ Отечества 1817 года, ч. 39, № 32, стр. 228. Басня подписана: 2.220.

нерѣдко бываетъ, что тотъ первый пользуется одобреніемъ публики, кто первый покажетъ себя ей!»

Въ другой статьѣ, помѣщенной также въ Сынѣ Отечества, тотъ-же критикъ приводитъ изъ посланія къ Рубеллію (Милонова) стихи, примѣняя ихъ къ Загоскину:

Комедіи своей желаешь ли успѣха,
Зови друзей въ театръ для хлопанья и смѣха,
И слава о тебѣ промчится въ шумный рай [1]).

Говорили, что успѣхъ комедіи былъ подготовленъ «многократными извѣщеніями».

Всѣ эти обвиненія не касались еще самаго содержанія комедіи. Послѣднее было разобрано въ нѣсколькихъ рецензіяхъ.

Въ вышеупомянутой статьѣ Ювенала Прямосудова были указаны и достоинства и недостатки піесы. Авторъ признавалъ, что въ ней есть нѣсколько сценъ удачныхъ, но затѣмъ исключительно говорилъ о ея недостаткахъ. Характеръ главнаго дѣйствующаго лица былъ признанъ неестественнымъ, неправдоподобнымъ. Богатоновъ, по мнѣнію критика, «выставленъ слишкомъ глупымъ провинціаломъ, которому другого подобнаго въ Россіи, а особливо въ Петербургѣ, даже за двадцать лѣтъ передъ симъ, никто бы не отыскалъ и со свѣчою». Вслѣдствіе же неправдоподобія главнаго характера, весь интересъ дѣйствія совершенно исчезаетъ. Притомъ же Богатоновъ въ сущности типъ, заимствованный или прямо у Мольера, или посредственно, чрезъ Шаховскаго: это то же лицо, что Транжиринъ въ «Полубарскихъ затѣяхъ» и мольеровскій мѣщанинъ во дворянствѣ. Но въ такомъ случаѣ и глупость Богатонова находитъ свое оправданіе, какъ заимствованіе: названная піеса Мольера оканчивается словами Ковьеля: «Ну, признаюсь! Другого такого дурака и днемъ съ огнемъ не сыскать!» Другое дѣйствующее лицо — баронесса, по мнѣнію критика, такая же простенькая провинціалка, какъ и самъ Богатоновъ, а вовсе не свѣтская кокетка. «Мечтанія князя, какимъ образомъ, женясь на Лизѣ, будетъ онъ блаженствовать съ баронессою, весьма утомительны. Кто не прислу-

---

[1]) Сынъ Отечества 1817 г., № 43, стр. 196—200.

шался уже къ подобному разговору между Лелевой и графомъ Ольгинымъ въ «Липецкихъ водахъ?» — спрашиваетъ Ювеналъ Прямосудовъ. Свою статью онъ заключаетъ общимъ приговоромъ: «Я привыкъ смотрѣть на вещи въ уменьшительное стеклышко, что бы иногда примѣчаемое безобразіе оныхъ не могло быть слишкомъ разительно» [1]).

Появился разборъ комедіи и въ Сѣверномъ Наблюдателѣ, присланный будто кѣмъ-то изъ постороннихъ, скрывшимъ свое имя подъ псевдонимомъ Ювенала Беневольскаго. Такъ какъ однимъ изъ издателей этого журнала былъ самъ Загоскинъ, то естественно, что общій характеръ этой критики былъ не тотъ, что въ статьѣ Прямосудова. Въ непріятельскомъ лагерѣ высказывалось даже предположеніе, будто эту статью написалъ самъ Загоскинъ. Вѣрнѣе будетъ предположить, что она написана его пріятелемъ Корсаковымъ. Во всякомъ случаѣ, статья эта представляетъ собою противовѣсъ сужденіямъ порицателей піесы. Относительно главнаго характера, Богатонова, неизвѣстный критикъ замѣчаетъ рѣшительно, что «роль Журденя подала автору первую идею о его главномъ лицѣ. Впрочемъ, это ни мало не отнимаетъ достоинства у комедіи г. Загоскина.

Ничто не ново подъ луной.

И самъ безсмертный Мольеръ не подражалъ ли въ твореніяхъ своихъ древнимъ греческимъ и новѣйшимъ испанскимъ образцамъ? Я даже скажу болѣе: подражаніе умному, хорошему въ иноземномъ есть пріобрѣтеніе къ пользѣ отечества, особливо если подражаніе сіе такъ удачно сдѣлано, какъ въ комедіи г. Загоскина» [2]). Но и сочувственная критика не скрыла недостатковъ комедіи. Къ числу ихъ отнесены излишнія длинноты и «нѣкоторая сухость». Особенно критикъ указываетъ на 1-ю, 2-ю, 4-ю и 7-ю сцены перваго дѣйствія, 1-ю и 5-ю сцены второго и 3-ю сцену третьяго дѣйствія. Затѣмъ было указано на пристрастіе автора къ главному лицу, которому принесены въ жертву другія роли, особенно роль баронессы. При всемъ томъ относительно послѣдней замѣчено, что «счастливый вымыселъ роли сей совершенно принадлежитъ автору». Наконецъ, былъ ука-

---

[1]) Сынъ Отечества 1817 г., ч. 39, № 29, стр. 102.
[2]) Сѣверный Наблюдатель 1817 г., ч. I. стр. 25

занъ еще одинъ недостатокъ піесы: «Служанка, подобная Аннотѣ, есть лицо, свойственное иностранной, а не русской комедіи: у насъ служанки не бесѣдуютъ столь явнымъ образомъ съ господами. Знаю, что многіе писатели, и писатели извѣстные, вводили ихъ въ свои комедіи, но истинные русскіе комики убѣгали сего недостатка: Фонвизинъ вовсе изгналъ горничныхъ изъ своихъ піесъ, а Крыловъ поставилъ ихъ въ такомъ разстояніи, въ которомъ онѣ не могутъ оскорблять правдоподобія, первѣйшаго изъ всѣхъ театральныхъ правилъ» [1]).

На тѣ же недостатки «Богатонова» указывалъ и Грибоѣдовъ въ своемъ «Лубочномъ театрѣ».

Вотъ Богатоновъ вамъ! Особенно онъ милъ,
Богатъ чужимъ добромъ: все крадетъ, что находитъ!
Съ Транжирина [2]) кафтанъ стащилъ,
Да въ немъ и ходитъ!
А свѣтскій тонъ!
Не только онъ.
И вся его бесѣда
Перенята у Буйнаго Сосѣда [3]).

Такимъ образомъ, комедія Загоскина не удовлетворила и современной критики, которая справедливо указывала на отсутствіе оригинальности и на невѣрность дѣйствительности въ піесѣ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что это были общіе недостатки того времени: самъ Шаховской въ своихъ комедіяхъ оставался въ главномъ вѣренъ традиціямъ французской классической сцены и только въ слабой степени проявлялъ стремленіе воспроизвести дѣйствительную русскую жизнь. А Шаховской, несомнѣнно, служилъ образцомъ для Загоскина.

Очень скромно отзывался о своей комедіи самъ Михаилъ Николаевичъ: «Никто лучше меня не знаетъ, что она не можетъ никакъ стать на ряду съ «Полубарскими затѣями», «Модной лавкой» и другими комедіями истинно хорошими. Двѣ-три забавныя сцены составляютъ все ея достоинство». Нѣкоторыя изъ замѣчаній своего критика въ Наблюдателѣ

---

[1]) Сѣверный Наблюдатель 1817 г., ч. I, стр. 26.
[2]) Дѣйствующее лицо въ комедіи Шаховскаго: «Полубарскія затѣи или домашній театръ».
[3]) Русская Старина 1874 г., т. X, стр 159—160.

Загоскинъ нашелъ справедливыми и сдѣлалъ въ своей комедіи исправленія; такъ, при второмъ представленіи «Богатонова», авторъ выкинулъ (изъ первыхъ двухъ дѣйствій) все излишнее пустословіе, «и зрители»,—прибавляетъ Загоскинъ иронически,—«засыпали не такъ уже часто, какъ при первомъ представленіи сей піесы» [1]).

III.

Сѣверный Наблюдатель.—Театральная критика.—Столкновеніе съ Грибоѣдовымъ.—Полемика съ Сыномъ Отечества.—«Театральныя сѣни».—«Полезный совѣтъ». — «Вечеринка ученыхъ». — Интермедіи. — Служба при театрѣ и въ Публичной Библіотекѣ. — «Романъ на большой дорогѣ». — Вольное общество любителей россійской словесности. — «Добрый малый».

Дѣятельность Загоскина на журнальномъ поприщѣ давала поводы къ столкновеніямъ съ литературными противниками еще чаще, чѣмъ его драматическіе опыты. Въ 1817 году, начиная съ первыхъ чиселъ іюля, Михаилъ Николаевичъ сталъ, вмѣстѣ съ Похорскимъ и Ивановымъ, издавать журналъ Сѣверный Наблюдатель, который былъ ни что иное, какъ видоизмѣненный Русскій Пустынникъ или наблюдатель отечественныхъ нравовъ, выходившій подъ редакціей П. А. Корсакова въ теченіе первой половины 1817 года.

Вѣроятно Загоскинъ печаталъ свои произведенія и въ Русскомъ Пустынникѣ, но всѣ статьи этого журнала безъ подписи. Быть можетъ, ему принадлежитъ тамъ сатира на игроковъ подъ названіемъ: «Письмо неизвѣстнаго»; предисловіе къ этой статьѣ помѣчено буквами М. З., и одно мѣсто этого письма почти дословно встрѣчается въ комедіи Загоскина «Добрый малый»: Вельскій, одно изъ дѣйствующихъ лицъ этой комедіи, обыгрываетъ родного брата въ карты и говоритъ, подобно господину В*** въ «Письмѣ неизвѣстнаго», что, какъ родственникъ, онъ долженъ былъ стараться удержать въ своей фамиліи имѣніе, которое могло перейти въ чужія руки.

---

1) Сѣверный Наблюдатель 1817 г., ч. I, стр. 71.

С. Т. Аксаковъ передаетъ со словъ Загоскина, что послѣднему приходилось очень много работать въ Сѣверномъ Наблюдателѣ: отвѣтственный редакторъ его, Корсаковъ, по болѣзни или отсутствію, не могъ заниматься журналомъ, и Загоскинъ издавалъ его одинъ, работая день и ночь и подписывая статьи разными буквами и псевдонимами [1]). Сѣверный Наблюдатель, просуществовавъ шесть мѣсяцевъ, прекратился, а сотрудничество въ немъ Загоскина кончилось, кажется, еще раньше: 24-я книжка журнала вышла уже безъ его участія [2]).

Направленіе журнала указывается его названіемъ: Сѣверный Наблюдатель. Нравственное, сатирическое, литературное и политическое изданіе. Первое мѣсто въ немъ занималъ отдѣлъ, названный издателями «нравы»: это картины общественной жизни. Затѣмъ были отдѣлы: словесность, театръ, политика и смѣсь. Михаилъ Николаевичъ одинъ велъ театральный отдѣлъ и очень дѣятельно участвовалъ въ двухъ первыхъ. Такъ какъ большинство статей печаталось имъ безъ подписи или подписывалось только начальными буквами, то и нельзя съ полною точностью опредѣлить, какія именно статьи принадлежатъ ему, но, руководствуясь разными соображеніями, можно на долю Загоскина отнести значительную часть статей журнала. Въ программу театральнаго отдѣла входили: еженедѣльный взглядъ на представленныя въ Петербургѣ піесы, разборъ всѣхъ новыхъ театральныхъ произведеній, правила театра съ мѣстнымъ примѣненіемъ ихъ къ Россіи. Нѣкоторые изъ критическихъ отзывовъ Загоскина о піесахъ могутъ служить для характеристики его литературныхъ понятій. Такъ, онъ произноситъ рѣзкій приговоръ надъ драмою Ильина: «Лиза или торжество благодарности», пользовавшеюся въ свое время необыкновеннымъ успѣхомъ, и причисляетъ ее къ самымъ посредственнымъ драмамъ, потому что видитъ въ ней неестественность, несогласіе съ дѣйствительностью. «Что за твореніе эта Лиза»?—спрашиваетъ Загоскинъ. «Она крестьянка и говоритъ лучше всякой благовоспитанной дѣвицы. Она ходитъ жать на ряду съ прочими крестьянками и морализируетъ, разсуждаетъ не хуже какого-нибудь профессора

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 261.
[2]) Современное Обозрѣніе 1868 г., февраль, стр. 284

философіи». Послѣдняя сцена третьяго акта піесы, производившая особенный эффектъ во времена Загоскина, то же осуждается имъ, какъ въ высшей степени неправдоподобная. Въ своихъ отзывахъ Загоскинъ старался быть безпристрастнымъ и самостоятельнымъ. Это особенно замѣчательно въ отношеніи къ піесамъ Шаховскаго, котораго называли всегда «патрономъ» Загоскина. Разбирая комедію «Липецкія воды», послѣдній указывалъ достоинства этого произведенія, но не скрывалъ и недостатковъ его.

Принимая на себя обязанность театральнаго рецензента, Загоскинъ предвидѣлъ тѣ непріятности, которыя ожидали его на этомъ поприщѣ. Опасенія эти сбылись: въ № 15 Сѣвернаго Наблюдателя 1817 года былъ напечатанъ отзывъ о комедіи Грибоѣдова «Молодые супруги». «Безъ сомнѣнія, французская піеса «Le secret de menage», говорилось въ этой рецензіи, «подала г-ну Грибоѣдову мысль написать своихъ «Молодыхъ супруговъ». Впрочемъ, разница въ достоинствѣ сихъ двухъ комедій весьма ощутительна. Мы находимъ, что русская гораздо лучше: въ ней нѣтъ тѣхъ растянутыхъ сценъ, которыя дѣлаютъ французскую комедію отмѣнно утомительною; дѣйствіе идетъ быстро: нѣтъ ни одной ненужной и холодной сцены; въ ней все на своемъ мѣстѣ... Къ сожалѣнію, въ сей комедіи встрѣчаются стихи дурные, шероховатые и выраженія, совершенно неприличныя дѣйствующимъ лицамъ. Напримѣръ:

Гдѣ нѣтъ взаимности, рождается *остуда*...
Ахъ! убѣгая *разъ* она домашней *стыни*...
Тобою занята гораздо будетъ менѣй (и еще 6 стиховъ).

«Читая подобные стихи, по неволѣ вспоминаешь слова Мизантропа:

....Такіе, графъ, стихи
Противъ поэзіи суть тяжкіе грѣхи.

Это сужденіе Загоскина вызвало со стороны Грибоѣдова крайне жестокую отповѣдь, которая не была принята ни въ одинъ журналъ, но была дѣятельно распространяема въ рукописи самолюбивымъ авторомъ «Горе отъ ума»:

Извольте видѣть: вотъ
Рогатый, нерогатый скотъ,
Вотъ господинъ Загоскинъ,
Вотъ весь его причетъ:

Княгини и княжны, князь Фольгинъ и князь Блесткинъ.
Они хоть не смѣшны, да самъ за то ужь онъ
Куда смѣшонъ!
Съ нимъ вмѣстѣ быть, ей-Богу, праздникъ!
Вотъ вамъ его «Проказникъ».
Спроказилъ онъ неловко: разъ упалъ,
Да и не всталъ.
Но авторъ таковымъ примѣромъ
Не наученъ: грѣшитъ передъ партеромъ,
Проказитъ до сихъ поръ;
Что видитъ и что слышитъ
Онъ обо всемъ исправно вздоръ
И говоритъ, и пишетъ [1])

Кромѣ статей критическаго содержанія, Загоскинъ напечаталъ въ Сѣверномъ Наблюдателѣ нѣсколько небольшихъ сатирическихъ очерковъ. Нѣкоторые изъ нихъ были впослѣдствіи переработаны авторомъ и вошли въ составъ другихъ произведеній. Въ этомъ же журналѣ были напечатаны: отрывокъ изъ романа, подъ заглавіемъ: «Неравный бракъ» и нѣсколько статей полемическаго характера, направленныхъ противъ Сына Отечества или, вѣрнѣе, противъ Измайлова, который во время заграничной поѣздки Греча замѣщалъ его въ качествѣ редактора и печаталъ въ этомъ журналѣ нападки на Загоскина. Полемика эта, начавшись разсужденіями о вопросахъ искусства, вскорѣ утратила сдержанный характеръ и перешла на личности: Измайловъ ставилъ въ вину Загоскину, что онъ носитъ очки; спорившіе стали обвинять другъ друга въ безграмотности, исчисляли другъ передъ другомъ орѳографическія ошибки и т. д. [2]). Но возвратившійся изъ-за границы Гречъ положилъ конецъ этой перебранкѣ, объявивъ своимъ читателямъ, что онъ «не намѣренъ продолжать преній о Богатоновѣ, Сѣверномъ Наблюдателѣ и прочихъ подобныхъ тому комическихъ предметахъ, которые во время его отсутствія занимали книжки Сына Отечества [3]).

Въ этой полемикѣ, какъ это всегда бываетъ, каждая сторона считала себя правою. Загоскинъ глубоко возмущался

---

[1]) Русская Старина 1874 г., т. X, стр. 159–160.
[2]) Сѣверный Наблюдатель, № 12, стр. 396 — 399. Сынъ Отечества 1817 г., ч. I, стр. 399.
[3]) Сынъ Отечества 1817 г., т. 41, № 44, стр. 228—229.

несправедливыми нападками своихъ противниковъ и мстилъ имъ сатирами и комедіями. Къ этому именно времени относятся: «Театральныя сѣни», «Полезный совѣтъ», «Вечеринка ученыхъ».

Тѣхъ изъ своихъ критиковъ, которые, какъ думалъ Загоскинъ, желали только унизить его, вовсе не заботясь объ истинѣ, онъ осмѣялъ въ сатирѣ: «Театральныя сѣни». И по заглавію, и по смыслу, и по формѣ это произведеніе Загоскина очень напоминаетъ «Театральный разъѣздъ» Гоголя. Вотъ его содержаніе. Въ сѣняхъ театра толпа расходящихся зрителей. Одинъ молодой человѣкъ, который пріѣхалъ только къ концу представленія, спрашиваетъ у другаго его мнѣніе о новой комедіи. Но и послѣдній не можетъ ничего сказать, потому что проспалъ все время. Ихъ выручаетъ литераторъ Звоновъ. Онъ ужасно недоволенъ піесой: «это не комедія, а фарсъ. Первые три акта сухи, четвертый совершенно лишній, а пятый никуда не годится». Другой литераторъ, Педантинъ, недоволенъ тѣмъ, что зрители хвалили піесу, въ которой все чужое, все выкрадено изъ другихъ комедій. Въ ней есть торговка такъ-же, какъ и въ «Модной лавкѣ». Въ ней старикъ становится на колѣни, а въ «Бригадирѣ» старый совѣтникъ дѣлаетъ то же самое. Въ ней говорятъ: «Нѣтъ, дядюшка!», а у Мольера или Реньяра въ какой-то комедіи говорятъ: «Нѣтъ, батюшка». Звоновъ находитъ сцену съ табакомъ глупою, а Педантинъ замѣчаетъ: «Надобно отдать справедливость автору: въ его комедіи гораздо болѣе табаку, чѣмъ соли». На замѣчаніе, что зрители однако аплодировали, Звоновъ отвѣчаетъ: «И, сударь,—у автора есть родня, пріятели!» Сцена кончается тѣмъ, что одинъ изъ выведенныхъ въ ней молодыхъ людей ѣдетъ изъ театра въ клубъ разсказать о новой комедіи. «Что-жь ты скажешь?» спрашиваетъ его другой. «Что она никуда не годится». «Да почему-же»? «Почему? Забавный вопросъ: ее бранили двое, а хвалилъ ты одинъ». Этою сценой Загоскинъ хотѣлъ показать читающей публикѣ: «Вотъ какъ образуется у насъ общественное мнѣніе. Вотъ какіе люди рукаводятъ имъ у насъ».

Въ статьѣ «Полезный совѣтъ» выставленъ типъ людей, которыхъ Загоскинъ окрестилъ названіемъ полулитераторовъ. Клеонъ, человѣкъ лѣтъ около тридцати, не составилъ еще себѣ никакого общественнаго положенія: у него большое состояніе, хорошее родство, но этого мало, чтобы сдѣ-

латься извѣстнымъ, а «быть неизвѣстнымъ и не существовать—одно и то же» Но, къ сожалѣнію, Клеонъ ни къ чему не годенъ. Остается одно—сдѣлаться любителемъ словесности. «Изъ всѣхъ возможныхъ способовъ сдѣлаться извѣстнымъ это самый легчайшій». Для этого ненадо даже любить литературы,—довольно знать грамоту. Тутъ разомъ попадешь въ умницы, прослывешь ученымъ и тогда можно свободно говорить вздоръ отъ утра до вечера. Чѣмъ менѣе въ словахъ твоихъ будетъ смыслу, тѣмъ болѣе станутъ имъ удивляться. Надо для этого заучить имена извѣстныхъ сочинителей. Для сокращенія труда можно даже и не всѣ имена запомнить: «Рѣшись хвалить только нѣкоторыхъ писателей, а прочихъ ругать всѣхъ не по одиночкѣ, а вмѣстѣ: тогда тебѣ не нужно будетъ знать по именамъ всѣхъ сочинителей. Тебѣ должно завести библіотеку—это необходимо. Не забудь однако же велѣть разрѣзать листы въ книгахъ, которыя будутъ безъ переплета: надобно, чтобъ всѣ думали, что ты читаешь очень много. Тебѣ нуженъ также письменный столъ: разложи на немъ въ искуственномъ безпорядкѣ нѣсколько толстыхъ фоліантовъ и дюжины двѣ маленькихъ книжекъ. Выборъ ихъ долженъ быть таковъ, чтобъ всякій видѣлъ, что ты занимаешься всѣми родами словестности. Совѣтую также познакомиться со всѣми извѣстными литераторами. Ты богатъ; можешь дѣлать обѣды, давать взаймы; къ тебѣ охотно будутъ ѣздить Но, замѣть, ты долженъ знакомиться только съ **извѣстными** писателями. Будучи знакомъ съ людьми, которые считаются законодателями нашей словесности, ты можешь судить обо всемъ, не опасаясь быть осмѣяннымъ! изъ уваженія къ хорошему столу твоему, къ прекраснымъ винамъ, они будутъ находить сужденія твои справедливыми. Но всего лучше, мой милый (поговорка Загоскина), если ты будешь осуждать всякое новое произведеніе, разумѣется, написанное не твоими пріятелями. Ругая безъ разбору все, ты никогда не попадешь въ дураки. Если сочиненіе дурно, ты правъ; если хорошо—тысячи писателей, которые имѣютъ свои причины находить его дурнымъ, будутъ согласны съ тобой, и ты все останешься правымъ». Далѣе Загоскинъ говоритъ о литературныхъ партіяхъ: «Если ты хочешь быть совершенно увѣренъ въ успѣхѣ твоего намѣренія, то присоединись къ какой-нибудь литературной партіи, и тогда вмѣсто нѣсколькихъ защитниковъ, ты будешь имѣть цѣлыя

сотни». На возраженія Клеона, что, не умѣя ничего писать, онъ будетъ вездѣ безполезнымъ членомъ, Замиръ, или самъ Загоскинъ, его устами отвѣчаетъ: «Пустое! Развѣ простые воины не бываютъ иногда полезнѣе самихъ полководцевъ Пріятели твои будутъ писать эпиграммы, ты станешь развозить ихъ по городу. Они напишутъ сатиру на сочинителя противной партіи, а ты будешь читать ее всѣмъ своимъ знакомымъ и, наконецъ, почему знать, изъ простого солдата сдѣлаешься можетъ быть военачальникомъ, главою цѣлаго литературнаго общества, и тогда уже говори смѣло все, что захочешь: брани, ругай, поноси все то, что написано не въ вашемъ духѣ; сдѣлайся бичемъ истинныхъ дарованій. Поступая такимъ образомъ, ты составишь себѣ блестящую репутацію и даже, какъ Меценатъ, какъ другъ людей съ талантами, будешь имѣть право на безсмертіе». Сатира заканчивается слѣдующими словами: «Не безпокойся, ты будешь не первый полулитераторъ, который, прицѣпясь мой, милый, кой-какъ къ знаменитымъ писателямъ своего времени, доползъ вслѣдъ за ними потихоньку въ храмъ безсмертія».

Столкнувшись въ самомъ началѣ своего литературнаго поприща съ такими цѣнителями и судьями, которые казались ему пристрастными, недобросовѣстными, Загоскинъ глубоко возмущался ихъ неправдой. Съ этихъ поръ недобросовѣстный, продажный журналистъ становится надолго обычнымъ предметомъ его сатиры. Ему опротивѣли всѣ эти люди, которые по глупости или по разсчету пристраивались къ литературѣ и прикрывались ея именемъ. Такую именно среду вывелъ онъ въ своей комедіи «Вечеринка ученыхъ», написанной въ самый разгаръ литературной полемики.

Эта комедія, представленная въ первый разъ 12-го ноября 1817 г., имѣла по словамъ Аксакова, большой успѣхъ, именно вслѣдствіе того, что лица, выведенныя въ ней, взяты прямо изъ жизни, списаны съ натуры. Араповъ говоритъ, что въ то время въ Петербургѣ были въ большой модѣ литературные вечера. Многія дамы лучшаго общества собирали у себя писателей и поэтовъ для чтенія новыхъ произведеній. Загоскинъ вывелъ въ этой комедіи русскую барыню писательницу, bas bleu [1]). Дѣйствительно,

[1]) Лѣтопись русскаго театра стр. 257—258.

весь смыслъ этой комедіи заключается въ ея отношеніи къ современности: многое, быть можетъ, самое главное въ ней, остается непонятнымъ безъ сопоставленія этой комедіи съ современными ей явленіями.

Помѣщица Радугина увлекается литературой: пишетъ стихи, устраиваетъ у себя въ домѣ ученыя собранія, окружила себя людьми, которые ей въ глаза восхваляютъ ея произведенія, а за глаза смѣются надъ нею. Домъ Радугиной посѣщаетъ также князь Вячеславинъ, который женится на младшей сестрѣ Радугиной, Софьѣ, богатой невѣстѣ. Но безъ согласія старшей сестры, Софья не можетъ выдти замужъ, въ противномъ случаѣ лишается всѣхъ правъ на наслѣдство. Такъ условлено въ завѣщаніи ихъ покойнаго отца. Желая получить руку Софьи, князь прикидывается любителемъ литературы и даже иногда читаетъ въ этихъ собраніяхъ стихи, которые пишетъ не самъ, а поручаетъ журналисту Шмелеву. Послѣдній готовъ продать себя кому угодно. Другіе литераторы—Сластилкинъ, Дребеденевъ и Снѣгинъ—ходятъ просто ради обѣдовъ. Слухи о жизни Радугиной доходятъ до ея брата, Волгина, человѣка практическаго, съ большимъ здравымъ смысломъ, честнаго и горячаго. Онъ пріѣзжаетъ въ Москву и хочетъ уговорить сестру не срамить себя и его, не быть на старости лѣтъ посмѣшищемъ людей. Но все напрасно.

Другая цѣль Волгина—выдать младшую сестру за своего пріятеля Болеславскаго. Софья и Болеславскій давно уже любятъ другъ друга, но война разлучила любовниковъ: Болеславскій долженъ былъ отправиться въ заграничный походъ. Теперь онъ вернулся и является въ домъ Радугиной вмѣстѣ съ Волгинымъ, который по совѣту Софьи выдаетъ его за литератора Людмилова. Надо было такъ сдѣлать, потому что Радугина и слышать не хочетъ о Болеславскомъ и прочитъ Софью за князя Вячеславина. Послѣдній выдаетъ стихи, сочиненные Болеславскимъ, за свои, но обманъ обнаруживается, и дѣло кончается бракомъ Софьи съ Болеславскимъ. Интрига сосредоточена на томъ, что Болеславскій, разставаясь съ Софьей, сочинилъ ей стихи, которые потомъ были посланы имъ изъ арміи журналисту Шмелеву для напечатанія, но онъ не пустилъ ихъ въ печать, а продалъ Вячеславину, считая Болеславскаго убитымъ. Что бъ не было сомнѣнія въ томъ, на кого мѣтилъ Загоскинъ, выводя въ своей комедіи литераторовъ, одинъ

изъ нихъ, стихотворецъ Дребеденевъ, читаетъ оду своего сочиненія подъ заглавіемъ: «Къ Полигимніи», въ которую вошли нѣкоторыя выраженія изъ стихотвореній А. Храповицкаго и А. Ржевскаго напечатанныхъ въ Сынѣ Отечества [1]), и тѣ выраженія, которыя встрѣчались въ полемикѣ Загоскина съ Измайловымъ.

Успѣхъ піесы былъ засвидѣтельствованъ самими противниками Загоскина: рецензія, напечатанная въ Сынѣ Отечества, за подписью Юв. Пр. (то-есть, Ювеналъ Правосудовъ) кончается словами: «Пускай себѣ драматурги вопіютъ: le comique des mots est une faible ressource des esprits sans talent, sans études et sans gout! Мы слышимъ плескъ партера и райка и желаемъ автору новыхъ лавровъ на поприщѣ Таліи» [2]).

Комедія была принята противниками Загоскина, какъ литературная месть съ его стороны. Гречъ, дѣлая литературный обзоръ за 1817 годъ, писалъ: «Въ драматическомъ родѣ должно сказать съ похвалою только о переводахъ «Игрока» г. Пушкина и «Говоруна» Хмельницкаго. Прочія напечатанныя и сыгранныя въ прошломъ (1817) году комедіи не могутъ назваться произведеніями словесности. Это или слабыя копіи разнонародныхъ подлинниковъ, маскарадныя платья, сшитыя изъ всякихъ лоскутковъ—бархатныхъ и парусинныхъ, тиковыхъ и парчевыхъ, или личныя сатиры, въ которыхъ люди, по справедливости оцѣненные голосомъ критики, выставляютъ недрузей своихъ на позорище райка...» [3]).

Къ 1817 году относятся еще двѣ интермедіи Загоскина: «Макарьевская ярмарка», написанная для бенефиса Орлова, и «Лебедянская ярмарка», написанная по случаю бенефиса А. Д. Каратыгиной [4]). Самъ авторъ не придавалъ серьезнаго значенія этимъ произведеніямъ. О первомъ изъ нихъ онъ отозвался слѣдующими словами: «Макарьевская ярмарка, обыкновенная, для бенефиса написанная бездѣлка, въ которой, къ счастію, мало говорятъ и много танцуютъ» [5]).

Въ концѣ 1817 года Загоскинъ поступилъ на службу помощникомъ члена по репертуарной части на мѣсто П. А.

---

[1]) Сынъ Отечества 1817 г., ч. 40, № 36, стр. 139—143.
[2]) Сынъ Отечества 1817 г., ч. 42, № 47, стр. 66—73.
[3]) Сынъ Отечества 1818 г., ч. 43, № 1, стр. 9.
[4]) Лѣтопись русскаго театра, стр 256.
[5]) Сѣверный Наблюдатель, ч. I, стр. 20.

занъ еще одинъ недостатокъ піесы: «Служанка, подобная Анютѣ, есть лицо, свойственное иностранной, а не русской комедіи: у насъ служанки не бесѣдуютъ столь явнымъ образомъ съ господами. Знаю, что многіе писатели, и писатели извѣстные, вводили ихъ въ свои комедіи, но истинные русскіе комики убѣгали сего недостатка: Фонвизинъ вовсе изгналъ горничныхъ изъ своихъ піесъ, а Крыловъ поставилъ ихъ въ такомъ разстояніи, въ которомъ онѣ не могутъ оскорблять правдоподобія, первѣйшаго изъ всѣхъ театральныхъ правилъ» [1]).

На тѣ же недостатки «Богатонова» указывалъ и Грибоѣдовъ въ своемъ «Лубочномъ театрѣ».

Вотъ Богатоновъ вамъ! Особенно онъ милъ,
Богатъ чужимъ добромъ: все крадетъ, что находитъ!
Съ Транжирина [2]) кафтанъ стащилъ,
Да въ немъ и ходитъ!
А свѣтскій тонъ!
Не только онъ.
И вся его бесѣда
Перенята у Буйнаго Сосѣда [3]).

Такимъ образомъ, комедія Загоскина не удовлетворила и современной критики, которая справедливо указывала на отсутствіе оригинальности и на невѣрность дѣйствительности въ піесѣ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что это были общіе недостатки того времени: самъ Шаховской въ своихъ комедіяхъ оставался въ главномъ вѣренъ традиціямъ французской классической сцены и только въ слабой степени проявлялъ стремленіе воспроизвести дѣйствительную русскую жизнь. А Шаховской, несомнѣнно, служилъ образцомъ для Загоскина.

Очень скромно отзывался о своей комедіи самъ Михаилъ Николаевичъ: «Никто лучше меня не знаетъ, что она не можетъ никакъ стать на ряду съ «Полубарскими затѣями», «Модной лавкой» и другими комедіями истинно хорошими. Двѣ-три забавныя сцены составляютъ все ея достоинство». Нѣкоторыя изъ замѣчаній своего критика въ Наблюдателѣ

---

[1]) Сѣверный Наблюдатель 1817 г., ч. I, стр. 26.
[2]) Дѣйствующее лицо въ комедіи Шаховскаго: «Полубарскія затѣи или домашній театръ».
[3]) Русская Старина 1874 г., т. X, стр. 159—161.

Загоскинъ нашелъ справедливыми и сдѣлалъ въ своей комедіи исправленія; такъ, при второмъ представленіи «Богатонова», авторъ выкинулъ (изъ первыхъ двухъ дѣйствій) все излишнее пустословіе, «и зрители»,—прибавляетъ Загоскинъ иронически,—«засыпали не такъ уже часто, какъ при первомъ представленіи сей піесы» [1]).

III.

Сѣверный Наблюдатель.—Театральная критика.—Столкновеніе съ Грибоѣдовымъ.—Полемика съ Сыномъ Отечества.—«Театральныя сѣни».—«Полезный совѣтъ». — «Вечеринка ученыхъ». — Интермедіи. — Служба при театрѣ и въ Публичной Библіотекѣ. — «Романъ на большой дорогѣ». — Вольное общество любителей россійской словесности. — «Добрый малый».

Дѣятельность Загоскина на журнальномъ поприщѣ давала поводы къ столкновеніямъ съ литературными противниками еще чаще, чѣмъ его драматическіе опыты. Въ 1817 году, начиная съ первыхъ чиселъ іюля, Михаилъ Николаевичъ сталъ, вмѣстѣ съ Похорскимъ и Ивановымъ, издавать журналъ Сѣверный Наблюдатель, который былъ ни что иное, какъ видоизмѣненный Русскій Пустынникъ или наблюдатель отечественныхъ нравовъ, выходившій подъ редакціей П. А. Корсакова въ теченіе первой половины 1817 года.

Вѣроятно Загоскинъ печаталъ свои произведенія и въ Русскомъ Пустынникѣ, но всѣ статьи этого журнала безъ подписи. Быть можетъ, ему принадлежитъ тамъ сатира на игроковъ подъ названіемъ: «Письмо неизвѣстнаго»; предисловіе къ этой статьѣ помѣчено буквами М. З., и одно мѣсто этого письма почти дословно встрѣчается въ комедіи Загоскина «Добрый малый»: Вельскій, одно изъ дѣйствующихъ лицъ этой комедіи, обыгрываетъ родного брата въ карты и говоритъ, подобно господину В*** въ «Письмѣ неизвѣстнаго», что, какъ родственникъ, онъ долженъ былъ стараться удержать въ своей фамиліи имѣніе, которое могло перейти въ чужія руки.

---

[1]) Сѣверный Наблюдатель 1817 г., ч. I, стр. 71.

С. Т. Аксаковъ передаетъ со словъ Загоскина, что послѣднему приходилось очень много работать въ Сѣверномъ Наблюдателѣ: отвѣтственный редакторъ его, Корсаковъ, по болѣзни или отсутствію, не могъ заниматься журналомъ, и Загоскинъ издавалъ его одинъ, работая день и ночь и подписывая статьи разными буквами и псевдонимами [1]). Сѣверный Наблюдатель, просуществовавъ шесть мѣсяцевъ, прекратился, а сотрудничество въ немъ Загоскина кончилось, кажется, еще раньше: 24-я книжка журнала вышла уже безъ его участія [2]).

Направленіе журнала указывается его названіемъ: Сѣверный Наблюдатель. Нравственное, сатирическое, литературное и политическое изданіе. Первое мѣсто въ немъ занималъ отдѣлъ, названный издателями «нравы»: это картины общественной жизни. Затѣмъ были отдѣлы: словесность, театръ, политика и смѣсь. Михаилъ Николаевичъ одинъ велъ театральный отдѣлъ и очень дѣятельно участвовалъ въ двухъ первыхъ Такъ какъ большинство статей печаталось имъ безъ подписи или подписывалось только начальными буквами, то и нельзя съ полною точностью опредѣлить, какія именно статьи принадлежатъ ему, но, руководствуясь разными соображеніями, можно на долю Загоскина отнести значительную часть статей журнала. Въ программу театральнаго отдѣла входили: еженедѣльный взглядъ на представленныя въ Петербургѣ піесы, разборъ всѣхъ новыхъ театральныхъ произведеній, правила театра съ мѣстнымъ примѣненіемъ ихъ къ Россіи. Нѣкоторые изъ критическихъ отзывовъ Загоскина о піесахъ могутъ служить для характеристики его литературныхъ понятій. Такъ, онъ произноситъ рѣзкій приговоръ надъ драмою Ильина: «Лиза или торжество благодарности», пользовавшеюся въ свое время необыкновеннымъ успѣхомъ, и причисляетъ ее къ самымъ посредственнымъ драмамъ, потому что видитъ въ ней неестественность, несогласіе съ дѣйствительностью. «Что за твореніе эта Лиза»?—спрашиваетъ Загоскинъ. «Она крестьянка и говоритъ лучше всякой благовоспитанной дѣвицы. Она ходитъ жать на ряду съ прочими крестьянками и морализируетъ, разсуждаетъ не хуже какого-нибудь профессора

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 261.
[2]) Современное Обозрѣніе 1868 г., февраль, стр. 284

философіи». Послѣдняя сцена третьяго акта піесы, производившая особенный эффектъ во времена Загоскина, то же осуждается имъ, какъ въ высшей степени неправдоподобная. Въ своихъ отзывахъ Загоскинъ старался быть безпристрастнымъ и самостоятельнымъ. Это особенно замѣчательно въ отношеніи къ піесамъ Шаховскаго, котораго называли всегда «патрономъ» Загоскина. Разбирая комедію «Липецкія воды», послѣдній указывалъ достоинства этого произведенія, но не скрывалъ и недостатковъ его.

Принимая на себя обязанность театральнаго рецензента, Загоскинъ предвидѣлъ тѣ непріятности, которыя ожидали его на этомъ поприщѣ. Опасенія эти сбылись: въ № 15 Сѣвернаго Наблюдателя 1817 года былъ напечатанъ отзывъ о комедіи Грибоѣдова «Молодые супруги». «Безъ сомнѣнія, французская піеса «Le secret de menage», говорилось въ этой рецензіи, «подала г-ну Грибоѣдову мысль написать своихъ «Молодыхъ супруговъ». Впрочемъ, разница въ достоинствѣ сихъ двухъ комедій весьма ощутительна. Мы находимъ, что русская гораздо лучше: въ ней нѣтъ тѣхъ растянутыхъ сценъ, которыя дѣлаютъ французскую комедію отмѣнно утомительною; дѣйствіе идетъ быстро: нѣтъ ни одной ненужной и холодной сцены; въ ней все на своемъ мѣстѣ... Къ сожалѣнію, въ сей комедіи встрѣчаются стихи дурные, шероховатые и выраженія, совершенно неприличныя дѣйствующимъ лицамъ. Напримѣръ:

Гдѣ нѣтъ взаимности, рождается *остуда*...
Ахъ! убѣгая *разъ* она домашней *стѣны*...
Тобою занята гораздо будетъ менѣй (и еще 6 стиховъ).

«Читая подобные стихи, по неволѣ вспоминаешь слова Мизантропа:

....Такіе, графъ, стихи
Противъ поэзіи суть тяжкіе грѣхи.

Это сужденіе Загоскина вызвало со стороны Грибоѣдова крайне жестокую отповѣдь, которая не была принята ни въ одинъ журналъ, но была дѣятельно распространяема въ рукописи самолюбивымъ авторомъ «Горе отъ ума»:

Извольте видѣть: вотъ
Рогатый, нерогатый скотъ,
Вотъ господинъ Загоскинъ,
Вотъ весь его причетъ:

Княгини и княжны, князь Фольгинъ и князь Блесткинъ.
Они хоть не смѣшны, да самъ за то ужь онъ
Куда смѣшонъ!
Съ нимъ вмѣстѣ быть, ей-Богу, праздникъ!
Вотъ вамъ его «Проказникъ».
Спроказилъ онъ неловко: разъ упалъ,
Да и не всталъ.
Но авторъ таковымъ примѣромъ
Не наученъ: грѣшитъ передъ партеромъ,
Проказитъ до сихъ поръ;
Что видитъ и что слышитъ
Онъ обо всемъ исправно вздоръ
И говоритъ, и пишетъ [1])

Кромѣ статей критическаго содержанія, Загоскинъ напечаталъ въ Сѣверномъ Наблюдателѣ нѣсколько небольшихъ сатирическихъ очерковъ. Нѣкоторые изъ нихъ были впослѣдствіи переработаны авторомъ и вошли въ составъ другихъ произведеній. Въ этомъ же журналѣ были напечатаны: отрывокъ изъ романа, подъ заглавіемъ: «Неравный бракъ» и нѣсколько статей полемическаго характера, направленныхъ противъ Сына Отечества или, вѣрнѣе, противъ Измайлова, который во время заграничной поѣздки Греча замѣщалъ его въ качествѣ редактора и печаталъ въ этомъ журналѣ нападки на Загоскина. Полемика эта, начавшись разсужденіями о вопросахъ искусства, вскорѣ утратила сдержанный характеръ и перешла на личности: Измайловъ ставилъ въ вину Загоскину, что онъ носитъ очки; спорившіе стали обвинять другъ друга въ безграмотности, исчисляли другъ передъ другомъ орѳографическія ошибки и т. д. [2]). Но возвратившійся изъ-за границы Гречъ положилъ конецъ этой перебранкѣ, объявивъ своимъ читателямъ, что онъ «не намѣренъ продолжать преній о Богатоновѣ, Сѣверномъ Наблюдателѣ и прочихъ подобныхъ тому комическихъ предметахъ, которые во время его отсутствія занимали книжки Сына Отечества [3]).

Въ этой полемикѣ, какѣ это всегда бываетъ, каждая сторона считала себя правою. Загоскинъ глубоко возмущался

---

[1]) Русская Старина 1874 г., т. X, стр. 159 – 160.
[2]) Сѣверный Наблюдатель, № 12, стр. 396 — 399. Сынъ Отечества 1817 г., ч. I, стр. 399.
[3]) Сынъ Отечества 1817 г., т. 41, № 44, стр. 228—229.

несправедливыми нападками своихъ противниковъ и мстилъ имъ сатирами и комедіями. Къ этому именно времени относятся: «Театральныя сѣни», «Полезный совѣтъ», «Вечеринка ученыхъ».

Тѣхъ изъ своихъ критиковъ, которые, какъ думалъ Загоскинъ, желали только унизить его, вовсе не заботясь объ истинѣ, онъ осмѣялъ въ сатирѣ: «Театральныя сѣни». И по заглавію, и по смыслу, и по формѣ это произведеніе Загоскина очень напоминаетъ «Театральный разъѣздъ» Гоголя. Вотъ его содержаніе. Въ сѣняхъ театра толпа расходящихся зрителей. Одинъ молодой человѣкъ, который пріѣхалъ только къ концу представленія, спрашиваетъ у другаго его мнѣніе о новой комедіи. Но и послѣдній не можетъ ничего сказать, потому что проспалъ все время. Ихъ выручаетъ литераторъ Звоновъ. Онъ ужасно недоволенъ піесой: «это не комедія, а фарсъ. Первые три акта сухи, четвертый совершенно лишній, а пятый никуда не годится». Другой литераторъ, Педантинъ, недоволенъ тѣмъ, что зрители хвалили піесу, въ которой все чужое, все выкрадено изъ другихъ комедій. Въ ней есть торговка такъ-же, какъ и въ «Модной лавкѣ». Въ ней старикъ становится на колѣни, а въ «Бригадирѣ» старый совѣтнитъ дѣлаетъ то же самое. Въ ней говорятъ: «Нѣтъ, дядюшка!», а у Мольера или Реньяра въ какой-то комедіи говорятъ: «Нѣтъ, батюшка». Звоновъ находитъ сцену съ табакомъ глупою, а Педантинъ замѣчаетъ: «Надобно отдать справедливость автору: въ его комедіи гораздо болѣе табаку, чѣмъ соли». На замѣчаніе, что зрители однако аплодировали, Звоновъ отвѣчаетъ: «И, сударь,—у автора есть родня, пріятели!» Сцена кончается тѣмъ, что одинъ изъ выведенныхъ въ ней молодыхъ людей ѣдетъ изъ театра въ клубъ разсказать о новой комедіи. «Что-жь ты скажешь?» спрашиваетъ его другой. «Что она никуда не годится». «Да почему-же»? «Почему? Забавный вопросъ: ее бранили двое, а хвалилъ ты одинъ». Этою сценой Загоскинъ хотѣлъ показать читающей публикѣ: «Вотъ какъ образуется у насъ общественное мнѣніе. Вотъ какіе люди рукаводятъ имъ у насъ».

Въ статьѣ «Полезный совѣтъ» выставленъ типъ людей, которыхъ Загоскинъ окрестилъ названіемъ полулитераторовъ. Клеонъ, человѣкъ лѣтъ около тридцати, не составилъ еще себѣ никакого общественнаго положенія: у него большое состояніе, хорошее родство, но этого мало, чтобы сдѣ-

латься извѣстнымъ, а «быть неизвѣстнымъ и не существовать—одно и то же» Но, къ сожалѣнію, Клеонъ ни къ чему не годенъ. Остается одно—сдѣлаться любителемъ словесности. «Изъ всѣхъ возможныхъ способовъ сдѣлаться извѣстнымъ это самый легчайшій». Для этого ненадо даже любить литературы,—довольно знать грамоту. Тутъ разомъ попадешь въ умницы, прослывешь ученымъ и тогда можно свободно говорить вздоръ отъ утра до вечера. Чѣмъ менѣе въ словахъ твоихъ будетъ смыслу, тѣмъ болѣе станутъ имъ удивляться. Надо для этого заучить имена извѣстныхъ сочинителей. Для сокращенія труда можно даже и не всѣ имена запомнить: «Рѣшись хвалить только нѣкоторыхъ писателей, а прочихъ ругать всѣхъ не по одиночкѣ, а вмѣстѣ: тогда тебѣ не нужно будетъ знать по именамъ всѣхъ сочинителей. Тебѣ должно завести библіотеку—это необходимо. Не забудь однако же велѣть разрѣзать листы въ книгахъ, которыя будутъ безъ переплета: надобно, чтобъ всѣ думали, что ты читаешь очень много. Тебѣ нуженъ также письменный столъ: разложи на немъ въ искуственномъ безпорядкѣ нѣсколько толстыхъ фоліантовъ и дюжины двѣ маленькихъ книжекъ. Выборъ ихъ долженъ быть таковъ, чтобъ всякій видѣлъ, что ты занимаешься всѣми родами словестности. Совѣтую также познакомиться со всѣми извѣстными литераторами. Ты богатъ; можешь дѣлать обѣды, давать взаймы; къ тебѣ охотно будутъ ѣздить Но, замѣть, ты долженъ знакомиться только съ извѣстными писателями. Будучи знакомъ съ людьми, которые считаются законодателями нашей словесности, ты можешь судить обо всемъ, не опасаясь быть осмѣяннымъ! изъ уваженія къ хорошему столу твоему, къ прекраснымъ винамъ, они будутъ находить сужденія твои справедливыми. Но всего лучше, мой милый (поговорка Загоскина), если ты будешь осуждать всякое новое произведеніе, разумѣется, написанное не твоими пріятелями. Ругая безъ разбору все, ты никогда не попадешь въ дураки. Если сочиненіе дурно, ты правъ; если хорошо—тысячи писателей, которые имѣютъ свои причины находить его дурнымъ, будутъ согласны съ тобой, и ты все останешься правымъ». Далѣе Загоскинъ говоритъ о литературныхъ партіяхъ: «Если ты хочешь быть совершенно увѣренъ въ успѣхѣ твоего намѣренія, то присоединись къ какой-нибудь литературной партіи, и тогда вмѣсто нѣсколькихъ защитниковъ, ты будешь имѣть цѣлыя

сотни». На возраженія Клеона, что, не умѣя ничего писать, онъ будетъ вездѣ безполезнымъ членомъ, Замиръ, или самъ Загоскинъ, его устами отвѣчаетъ: «Пустое! Развѣ простые воины не бываютъ иногда полезнѣе самихъ полководцевъ Пріятели твои будутъ писать эпиграммы, ты станешь развозить ихъ по городу. Они напишутъ сатиру на сочинителя противной партіи, а ты будешь читать ее всѣмъ своимъ знакомымъ и, наконецъ, почему знать, изъ простого солдата сдѣлаешься можетъ быть военачальникомъ, главою цѣлаго литературнаго общества, и тогда уже говори смѣло все, что захочешь: брани, ругай, поноси все то, что написано не въ вашемъ духѣ; сдѣлайся бичемъ истинныхъ дарованій. Поступая такимъ образомъ, ты составишь себѣ блестящую репутацію и даже, какъ Меценатъ, какъ другъ людей съ талантами, будешь имѣть право на безсмертіе». Сатира заканчивается слѣдующими словами: «Не безпокойся, ты будешь не первый полулитераторъ, который, прицѣпясь мой, милый, кой-какъ къ знаменитымъ писателямъ своего времени, доползъ вслѣдъ за ними потихоньку въ храмъ безсмертія».

Столкнувшись въ самомъ началѣ своего литературнаго поприща съ такими цѣнителями и судьями, которые казались ему пристрастными, недобросовѣстными, Загоскинъ глубоко возмущался ихъ неправдой. Съ этихъ поръ недобросовѣстный, продажный журналистъ становится надолго обычнымъ предметомъ его сатиры. Ему опротивѣли всѣ эти люди, которые по глупости или по разсчету пристраивались къ литературѣ и прикрывались ея именемъ. Такую именно среду вывелъ онъ въ своей комедіи «Вечеринка ученыхъ», написанной въ самый разгаръ литературной полемики.

Эта комедія, представленная въ первый разъ 12-го ноября 1817 г., имѣла по словамъ Аксакова, большой успѣхъ, именно вслѣдствіе того, что лица, выведенныя въ ней, взяты прямо изъ жизни, списаны съ натуры. Араповъ говоритъ, что въ то время въ Петербургѣ были въ большой модѣ литературные вечера. Многія дамы лучшаго общества собирали у себя писателей и поэтовъ для чтенія новыхъ произведеній. Загоскинъ вывелъ въ этой комедіи русскую барыню писательницу, bas bleu [1]). Дѣйствительно,

[1]) Лѣтопись русскаго театра стр. 257—258.

весь смыслъ этой комедіи заключается въ ея отношеніи къ современности: многое, быть можетъ, самое главное въ ней, остается непонятнымъ безъ сопоставленія этой комедіи съ современными ей явленіями.

Помѣщица Радугина увлекается литературой: пишетъ стихи, устраиваетъ у себя въ домѣ ученыя собранія, окружила себя людьми, которые ей въ глаза восхваляютъ ея произведенія, а за глаза смѣются надъ нею. Домъ Радугиной посѣщаетъ также князь Вячеславинъ, который женится на младшей сестрѣ Радугиной, Софьѣ, богатой невѣстѣ. Но безъ согласія старшей сестры, Софья не можетъ выдти замужъ, въ противномъ случаѣ лишается всѣхъ правъ на наслѣдство. Такъ условлено въ завѣщаніи ихъ покойнаго отца. Желая получить руку Софьи, князь прикидывается любителемъ литературы и даже иногда читаетъ въ этихъ собраніяхъ стихи, которые пишетъ не самъ, а поручаетъ журналисту Шмелеву. Послѣдній готовъ продать себя кому угодно. Другіе литераторы—Сластилкинъ, Дребеденевъ и Снѣгинъ—ходятъ просто ради обѣдовъ. Слухи о жизни Радугиной доходятъ до ея брата, Волгина, человѣка практическаго, съ большимъ здравымъ смысломъ, честнаго и горячаго. Онъ пріѣзжаетъ въ Москву и хочетъ уговорить сестру не срамить себя и его, не быть на старости лѣтъ посмѣшищемъ людей. Но все напрасно.

Другая цѣль Волгина—выдать младшую сестру за своего пріятеля Болеславскаго. Софья и Болеславскій давно уже любятъ другъ друга, но война разлучила любовниковъ: Болеславскій долженъ былъ отправиться въ заграничный походъ. Теперь онъ вернулся и является въ домъ Радугиной вмѣстѣ съ Волгинымъ, который по совѣту Софьи выдаетъ его за литератора Людмилова. Надо было такъ сдѣлать, потому что Радугина и слышать не хочетъ о Болеславскомъ и прочитъ Софью за князя Вячеславина. Послѣдній выдастъ стихи, сочиненные Болеславскимъ, за свои, но обманъ обнаруживается, и дѣло кончается бракомъ Софьи съ Болеславскимъ. Интрига сосредоточена на томъ, что Болеславскій, разставаясь съ Софьей, сочинилъ ей стихи, которые потомъ были посланы имъ изъ арміи журналисту Шмелеву для напечатанія, но онъ не пустилъ ихъ въ печать, а продалъ Вячеславину, считая Болеславскаго убитымъ. Что бъ не было сомнѣнія въ томъ, на кого мѣтилъ Загоскинъ, выводя въ своей комедіи литераторовъ, одинъ

изъ нихъ, стихотворецъ Дребеденевъ, читаетъ оду своего сочиненія подъ заглавіемъ: «Къ Полигимніи», въ которую вошли нѣкоторыя выраженія изъ стихотвореній А. Храповицкаго и А. Ржевскаго напечатанныхъ въ Сынѣ Отечества [1]), и тѣ выраженія, которыя встрѣчались въ полемикѣ Загоскина съ Измайловымъ.

Успѣхъ піесы былъ засвидѣтельствованъ самими противниками Загоскина: рецензія, напечатанная въ Сынѣ Отечества, за подписью Юв. Пр. (то-есть, Ювеналъ Правосудовъ) кончается словами: «Пускай себѣ драматурги вопіютъ: le comique des mots est une faible ressource des esprits sans talent, sans études et sans gout! Мы слышимъ плескъ партера и райка и желаемъ автору новыхъ лавровъ на поприщѣ Таліи» [2]).

Комедія была принята противниками Загоскина, какъ литературная месть съ его стороны. Гречъ, дѣлая литературный обзоръ за 1817 годъ, писалъ: «Въ драматическомъ родѣ должно сказать съ похвалою только о переводахъ «Игрока» г. Пушкина и «Говоруна» Хмельницкаго. Прочія напечатанныя и сыгранныя въ прошломъ (1817) году комедіи не могутъ назваться произведеніями словесности. Это или слабыя копіи разнонародныхъ подлинниковъ, маскарадныя платья, сшитыя изъ всякихъ лоскутковъ—бархатныхъ и парусинныхъ, тиковыхъ и парчевыхъ, или личныя сатиры, въ которыхъ люди, по справедливости оцѣненные голосомъ критики, выставляютъ недрузей своихъ на позорище райка...» [3]).

Къ 1817 году относятся еще двѣ интермедіи Загоскина: «Макарьевская ярмарка», написанная для бенефиса Орлова, и «Лебедянская ярмарка», написанная по случаю бенефиса А. Д. Каратыгиной [4]). Самъ авторъ не придавалъ серьезнаго значенія этимъ произведеніямъ. О первомъ изъ нихъ онъ отозвался слѣдующими словами: «Макарьевская ярмарка, обыкновенная, для бенефиса написанная бездѣлка, въ которой, къ счастію, мало говорятъ и много танцуютъ» [5]).

Въ концѣ 1817 года Загоскинъ поступилъ на службу помощникомъ члена по репертуарной части на мѣсто П. А.

---

[1]) Сынъ Отечества 1817 г., ч. 40, № 36, стр. 139—143.
[2]) Сынъ Отечества 1817 г., ч. 42, № 47, стр. 66—73.
[3]) Сынъ Отечества 1818 г., ч. 43, № 1, стр. 9.
[4]) Лѣтопись русскаго театра, стр 256.
[5]) Сѣверный Наблюдатель, ч. I, стр. 20.

Корсакова [1]), но въ слѣдующемъ году оставилъ службу при театрѣ и перешелъ въ Публичную Библіотеку [2]). Въ это время Библіотека приводилась въ порядокъ, и составлялся каталогъ русскихъ книгъ; поэтому Загоскинъ имѣлъ мало свободнаго времени и въ 1819 г. написалъ только одну одноактную комедію: «Романъ на большой дорогѣ». Это тоже была литературная бездѣлка, написанная для бенефиса Сосницкихъ Въ этой комедіи, съ обыкновенною любовною интригой, Загоскинъ осмѣялъ мимоходомъ сентиментальное и фантастическое направленіе въ литературѣ. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ піесы, старуха Ландышева, представлена любительницей «страшныхъ» романовъ, какіе были въ модѣ въ концѣ прошлаго вѣка.

Съ 29-го декабря 1819 г. Загоскинъ вступилъ въ Вольное общество любителей россійской словесности дѣйствительнымъ членомъ [3]). 10-го мая 1820 года въ этомъ обществѣ происходило собраніе, и Михаилъ Николаевичъ читалъ свою статью: «Путешественникъ» [4]). Это—сатира, въ которой осмѣиваются любители всего иностраннаго, презрительно относящіеся ко всему своему, русскому Мѣстами это какъ-бы насмѣшка надъ «Письмами русскаго путешественника».

23-го іюня, въ Петербургѣ, на Большомъ театрѣ въ первый разъ была представлена комедія Загоскина «Добрый малый», посвященная при изданіи А Н. Оленину. Содержаніе ея слѣдующее: Старикъ Ладовъ, вторая жена его и ея тетка безъ ума отъ молодаго чиновника Вельскаго, который умѣетъ всѣмъ угодить: польстить учености мужа, вылѣчить попугая Ладовой, поиграть въ пикетъ съ теткой. Онъ дѣлаетъ все это, имѣя въ виду жениться на Лизѣ, дочери Ладова отъ перваго брака. Дѣла Вельскаго шли хорошо, пока не пріѣхалъ къ Ладовымъ Стародубовъ — человѣкъ, давно знающій Вельскаго. Услыхавъ, что Ладова считаетъ послѣдняго «добрымъ малымъ», Стародубовъ дѣлаетъ такую характеристику Вельскаго: «Онъ только что дурной плательщикъ, худой родственникъ, лжецъ, насмѣшникъ и без-

---

[1]) Араповъ. Лѣтопись русскаго театра, стр. 253.
[2]) *Аксаковъ*, ч. III, стр. 261.
[3]) Соревнователь просвѣщенія и благотворенія 1820 г., № 1, стр. 108.
[4]) Соревнователь, № 6, стр. 269 — 298. Статья Загоскина напечатана тамъ-же, стр 269—298.

путнаго поведенія, а впрочемъ конечно добрый малый». Не смотря на всѣ старанія Стародубова обличить негодяя, ему это долго не удается: его не хотятъ слушать, ему никто не вѣритъ Наконецъ, дѣло разрѣшается посредствомъ письма.

Главный характеръ комедіи—добрый малый — былъ задуманъ Загоскинымъ уже давно: комедія эта была представлена въ первый разъ еще въ 1817 г.; въ Сѣверномъ Наблюдателѣ была помѣщена его статейка, тоже подъ заглавіемъ: «Добрый малый». Здѣсь выведенъ журналистъ Шмелевъ, о которомъ тоже говорятъ, что онъ добрый малый, а между тѣмъ оказывается, что онъ человѣкъ неблагодарный, обманщикъ, лгунъ, дурной мужъ, пьяница.

Изъ сличенія этихъ двухъ произведеній видно, какъ подъ перомъ Загоскина сатирическій очеркъ превратился въ комедію. Этотъ пріемъ встрѣтится намъ еще не разъ въ его послѣдующей дѣятельности. Онъ вытекалъ изъ теоретическихъ взглядовъ Загоскина. По поводу «Ябеды» Капниста Загоскинъ говоритъ: «Если комедія должна быть не что иное, какъ сатира въ дѣйствіи и разговорахъ, то «Ябеда» можетъ назваться самой правильной комедіей. Невозможно выставить въ глупѣйшемъ видѣ лихоимства криводушныхъ судей По всему видно, что авторъ имѣетъ дѣло съ гражданской палатой, похожей на ту, которую онъ вывелъ въ своей комедіи, и хотѣлъ отомстить своимъ мучителямъ, предавъ ихъ на посмѣяніе публики». Далѣе это понятіе о комедіи нѣсколько ограничивается: «Піеса, въ которой почти всѣ дѣйствующія лица возбуждаютъ къ себѣ презрѣніе и только изрѣдка заставляютъ смѣяться, можетъ быть прекрасною сатирою, но никогда не будетъ хорошею комедіей. Надо, чтобы дѣйствующія лица были не только отвратительны, но и забавны» [1]).

«Добрый малый» былъ послѣднею комедіей, написанной Загоскинымъ въ Петербургѣ. въ половинѣ 1820 года, и съ этой поры начинается новый періодъ въ его жизни

---

[1]) Сѣверный Наблюдатель ч. I, стр. 195—196.

IV.

Переѣздъ въ Москву. — Грусть о Петербургѣ. — Первое время пребыванія въ Москвѣ.—Московское общество.—С. Т. Аксаковъ.—Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ.— Любительскіе спектакли.—«Богатоновъ въ деревнѣ». — «Любители словесности». — Посланіе къ Н. И. Гнѣдичу. — «Авторская клятва». — Экзаменъ на чинъ. — Служба. — «Урокъ холостымъ». — «Деревенскій философъ». — Ослабленіе литературной дѣятельности.—«Посланіе къ Людмилу».—Желаніе возвратиться въ Петербургъ. — «Репетиція на станціи». — «Благородный театръ».—Успѣхъ піесы.

Въ 1820 году родители Михаила Николаевича, съ которыми онъ жилъ въ послѣднее время въ Петербургѣ, уѣхали въ Пензу, а Новосильцевъ, также проживавшій въ Петербургѣ съ 1812 года, рѣшился переселиться въ Москву и предложилъ Загоскину помѣститься у него въ домѣ. Михаилъ Николаевичъ согласился на это вслѣдствіе своихъ стѣсненныхъ денежныхъ обстоятельствъ, хотя ему вовсе не хотѣлось покидать Петербургъ. Но онъ съ грустнымъ чувствомъ оставлялъ Петербургъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ стиховъ его «Посланія къ Гнѣдичу»:

О, сѣвера столица,
О юныхъ дней моихъ вторая колыбель!
Въ тебѣ я началъ жить, въ тебѣ я встрѣтилъ друга,
Въ тебѣ я въ первый разъ знакомъ съ любовью сталъ
И счастіе въ тебѣ-жъ семейственно позналъ,
Названіе принявъ священное супруга.

Загоскинъ думалъ, что быть можетъ, на-всегда разстался съ Петербургомъ и друзьями:

А ты, товарищъ мой, по чувствамъ и по службѣ,
Безсмертныхъ дѣвъ любимое дитя,
О, Гнѣдичъ, *можетъ быть*, съ тобою,
На вѣкъ, мой другъ, простился я!

Грустное чувство разлуки съ друзьями долго не проходило, и, спустя даже нѣсколько лѣтъ, мы встрѣчаемъ въ письмахъ Загоскина выраженіе желанія возвратиться въ Петербургъ. Какъ обрадовался онъ первому письму одного изъ своихъ петербургскихъ друзей, М. Е. Лобанова. «Если-бы ты видѣлъ», писалъ ему Загоскинъ 7-го октября 1820 года, «какъ обрадовало меня письмо твое, какъ я его перечитывалъ, какъ останавливался на каждомъ словѣ... Да, мой другъ, оно очень облегчило мое сердце, — при-

знаюсь, грустно мнѣ было подумать, что я забытъ тобою; при одной этой мысли душа моя наполнялась горестью... Когда-то Богъ приведетъ меня побывать въ Петербургѣ, обнять друзей моихъ» [1]). Загоскинъ еще таилъ въ душѣ надежду вернуться въ Петербургъ, чувствовалъ себя въ Москвѣ какъ на чужбинѣ и, ограничиваясь ролью посторонняго наблюдателя, не довѣрялъ окружающему обществу, остерегался его: «Я гляжу, замѣчаю, записываю, но на всякій случай, что-бы не вздумалось кому убить меня изъ угла (sic) камнемъ, не напечатаю ничего изъ моихъ замѣтокъ, пока не переберусь опять въ Петербургъ».

Это недовольство настоящимъ обусловливалось неопредѣленностью положенія въ московскомъ обществѣ: Загоскинъ не успѣлъ тамъ устроиться, да и семейныя обстоятельства его были очень тяжелы въ то время: происходили частыя столкновенія между нимъ и старикомъ Новосильцевымъ. человѣкомъ строптиваго и деспотическаго характера. Около этого времени Загоскинъ познакомился съ С. Т. Аксаковымъ. «При первомъ свиданіи», писалъ впослѣдствіи Аксаковъ, «Загоскинъ разсказалъ мнѣ всю свою жизнь и свое настоящее положеніе, причемъ однако не трудно было замѣтить, что у него лежало что-то на душѣ, что онъ чего-то непріятнаго и тяжелаго не договариваетъ. Онъ убѣдительно просилъ меня, чтобъ я не отдавалъ ему визита; но я, разумѣется, его не послушалъ и на другой-же день къ нему поѣхалъ. Загоскинъ жилъ въ домѣ своего тестя, въ мезонинѣ, съ женой и дѣтьми, и помѣщался очень тѣсно. Я видѣлъ, что мое посѣщеніе его смутило Комнатка, въ которой онъ меня принялъ, была проходная; всѣ наши разговоры могли слышать посторонніе люди изъ сосѣднихъ комнатъ, а равно и мы слышали все, что около насъ говорилось, особенно потому, что кругомъ разговаривали громко, ни мало не стѣсняясь присутствіемъ хозяина, принимающаго у себя гостя. Загоскинъ, очень вспыльчивый, безпрестанно краснѣлъ, выбѣгалъ, даже пробовалъ унять неприличный шумъ; но я слышалъ, что ему отвѣчали смѣхомъ. Я понялъ положеніе бѣднаго Загоскина посреди избалованнаго, наглаго лакейства, въ домѣ господина, представлявшаго въ себѣ отраженіе стариннаго русскаго каприз-

---

[1]) Историч. Вѣстникъ 1890 г., т. II, стр. 687.

наго барина екатерининскихъ временъ, по-видимому не слишкомъ уважавшаго своего зятя. Я понялъ, чего не договорилъ Загоскинъ, и поспѣшилъ уѣхать, давъ себѣ слово никогда не смущать своими посѣщеніями новаго моего пріятеля Онъ былъ такъ внутренно благодаренъ мнѣ за то, что уѣзжаю, что нѣсколько разъ принимался меня цѣловать, обѣщая всякій день навѣщать меня [1]).

Если душевное состояніе нашего писателя было довольно мрачное, то наружная сторона жизни его была, напротивъ того, очень веселая. Онъ въ это время знакомился съ московскимъ обществомъ и очень успѣшно: Загоскинъ всѣмъ нравился своимъ открытымъ, веселымъ нравомъ Вотъ какимъ изображаетъ его въ это время С. Т. Аксаковъ: «Отъ Ѳ. Ѳ. Кокошкина я узналъ, что М. Н. Загоскинъ, также уже женатый, отецъ двухъ сыновей, переѣхалъ на житье въ Москву за два мѣсяца до моего пріѣзда, что онъ предобрѣйшій человѣкъ и часто у него бываетъ. Я разсказалъ Кокошкину про оригинальную встрѣчу съ Загоскинымъ и прибавилъ, что хочу съѣздить къ нему, что мнѣ совѣстно передъ нимъ, и что я постараюсь истребить непріятное впечатлѣніе, которое, вѣроятно, у него осталось отъ перваго нашего свиданія. Кокошкинъ разсмѣялся и сказалъ мнѣ, что я не имѣю понятія о добродушіи Загоскина. Въ самомъ дѣлѣ, черезъ нѣсколько дней я встрѣтился съ нимъ у того-же Кокошкина, и Загоскинъ, предупрежденный обо мнѣ въ хорошую сторону, равно и о томъ, что я хочу къ нему пріѣхать, что мнѣ совѣстно на него взглянуть, бросился ко мнѣ на шею, разцѣловалъ меня въ пухъ и чуть не задушилъ въ своихъ объятіяхъ, потому что былъ очень силенъ. «Ну, какъ вамъ не стыдно помнить о такомъ вздорѣ!» — сказалъ онъ. «Какъ я радъ, что мы съ вами встрѣтились и будемъ жить вмѣстѣ въ Москвѣ. Ну, давайте-же руку и подружимтесь». Все это было сказано такъ искренно, такъ просто и добродушно, что я полюбилъ Загоскина съ перваго разу» [2]).

Не имѣя служебныхъ занятій, Загоскинъ могъ отдаться веселой свѣтской жизни. «Я», писалъ онъ Лобанову въ октябрѣ 1820 года, «изволишь видѣть, — ударился въ большой свѣтъ: танцую, смотрю, какъ играютъ на благородныхъ

---

[1]) *Аксаковъ*, т. IV, стр. 35.
[2]) Тамъ-же, стр. 33—34

театрахъ и... страшуся сказать, играю самъ»[1]). Больше всего Михаилъ Николаевичъ сблизился съ С. Т. Аксаковымъ, бывалъ у него каждый день, и они вмѣстѣ обѣдали и проводили вечера у общихъ знакомыхъ. Всего чаще посѣщали они Ѳ. Ѳ. Кокошкина Послѣдній пользовался тогда общимъ уваженіемъ, какъ переводчикъ «Мизантропа», какъ отличный декламаторъ, любитель и покровитель театральнаго искусства, какъ благородный артистъ и какъ гостепріимный хозяинъ У него нерѣдко собирались московскіе писатели; посѣщали его и петербургскіе литераторы, когда пріѣзжали въ Москву. «Кокошкинъ, страстный охотникъ играть на театрѣ, подкрѣпляемый моимъ горячимъ сочувствіемъ», говоритъ Аксаковъ, «не замедлилъ завести у себя въ домѣ благородные спектакли: Самымъ замѣчательнымъ изъ никъ былъ первый, когда шла комедія «Два Фигаро» Загоскинъ не участвовалъ въ спектаклѣ, но присутствовалъ на каждой репитиціи, ужиналъ вмѣстѣ съ нами и раздѣлялъ наше увлеченіе. Ему уже хотѣлось играть самому, но онъ еще боролся со своею робостью. Наконецъ, онъ рѣшился выйти на сцену; онъ выбралъ для этого маленькую піеску въ стихахъ, кажется, «Говорунъ», въ которой только одно и есть дѣйствующее лицо, говорящее безпрестанно. Выборъ весьма неудачный, какъ и самая мысль сочинить такую болтовню. Вѣроятно, она была написана для извѣстнаго лица въ обществѣ, для извѣстнаго таланта, для мастера говорить живо, весело, разнообразно и увлекательно. Ничего этого въ Загоскинѣ не было, и я, право, не знаю, для чего мы допустили его играть эту роль. Правда, зрители безпрестанно хлопали и безъ умолку хохотали; но было смѣшно не представленное лицо, а Загоскинъ: съ первыхъ словъ онъ началъ уже конфузиться, перепутывать стихи, забывать роль и не слушать суфлера. Чѣмъ больше хохотала и чѣмъ больше хлопала публика, тѣмъ больше смущался бѣдный Загоскинъ и нѣсколько разъ хотѣлъ уйти со сцены, не доигравъ піесы. Кокошкинъ и всѣ мы, стоя за кулисами, знаками, жестами и поклонами едва могли упросить его, что-бъ онъ продолжалъ. По истинѣ сказать, явленіе было вполнѣ комическое. Загоскинъ бѣсился на себя, зачѣмъ онъ вздумалъ играть; кровь бро-

---

[1]) Письмо къ М. Е. Лобанову, помѣченное 7 октября 1820 г. (Истор. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 687).

силась ему въ лицо, онъ краснѣлъ, какъ буракъ, а по піесѣ ему слѣдовало быть веселымъ, шутить и любезно болтать; эта борьба была такъ забавна въ Загоскинѣ, что людямъ, знавшимъ его коротко, трудно было удержаться отъ смѣха. Но Кокошкинъ и я, принимавшіе горячее участіе въ спектаклѣ, не смѣялись, а испугались. Когда опустился занавѣсъ, Загоскинъ долженъ былъ, по піесѣ, продолжать нѣсколько времени свою болтовню, но на сценѣ поднялся такой шумъ, крикъ и хохотъ, что зрители принялись аплодировать: Загоскинъ шумѣлъ и бранился, а мы всѣ неудержимо хохотали. Загоскинъ тутъ-же наложилъ на себя заклятіе—никогда болѣе не играть, но гдѣ клятва, тамъ и преступленіе, не знаю, кѣмъ-то было сказано, и сказано справедливо: Загоскинъ игралъ еще раза два, и каждый разъ съ такою-же неудачею [1])». Загоскинъ оказался плохимъ актеромъ; но, посѣщая любительскіе спектакли, онъ обогатился новыми наблюденіями и вскорѣ воспользовался ими для своей комедіи «Благородный театръ».

Жизнь въ Москвѣ среди писателей и любителей театра поддерживала въ Михаилѣ Николаевичѣ литературные интересы. Въ Москвѣ онъ нашелъ и лучшихъ исполнителей для своихъ комедій. «Прошу не насмѣхаться надъ здѣшнимъ театромъ», писалъ онъ Лобанову вскорѣ послѣ пріѣзда въ Москву; «здѣсь, сударь, не лицедѣи, а актеры, и даже не дурные: имъ недостаетъ только главы. Составь цѣлый оркестръ изъ виртоузовъ, но не давай имъ никогда сыгрываться, то, конечно, и посредственный оркестръ, напримѣръ, вашъ петербургскій, покажется гораздо лучше. То же самое можно сказать и о здѣшнемъ театрѣ, съ тою только разницею, что виртуозовъ здѣсь нѣтъ, а, право, есть хорошіе солисты. Мою комедію «Добрый малый» ставилъ я самъ, и, надобно сказать правду: она была разыграна вдвое лучше, чѣмъ въ Петербургѣ, и успѣхъ имѣла преболь-шой [2])». Сама Москва и ея общество представили Загоскину много новаго матеріала для наблюденій. «Я не живу здѣсь поджавши руки. Я гляжу, замѣчаю, записываю», читаемъ мы въ письмѣ Загоскина къ Лобанову [3]). Изъ этого-же

---

[1]) *Аксаковъ*, т. IV, стр. 42—43.

[2]) Письмо къ М. Е. Лобанову, отъ 7-го октября 1820 г. Истор. Вѣстникъ 1880 г.: т. II, стр. 687.

[3]) Тамъ-же.

письма узнаемъ, что Загоскинъ написалъ комедію въ 4-хъ дѣйствіяхъ: это была комедія «Богатоновъ въ деревнѣ, или сюрпризъ самому себѣ», изъ которой одна сцена была напечатана въ Соревнователѣ 1820 года.

Послѣ комедіи Загоскинъ намѣревался послать для прочтенія въ Общество любителей россійской словесности небольшую статью: «Торжественное засѣданіе преобразователей россійской азбуки». Онъ хотѣлъ вознаградить тѣ четыре мѣсяца, прошедшіе со дня избранія его въ члены Общества, въ продолженіе которыхъ Загоскинъ ничего не внесъ въ это общество. Вообще, въ теченіе 1820 и 1821 года онъ довольно дѣятельно участвовалъ въ трудахъ этого Общества и напечаталъ нѣсколько своихъ произведеній въ Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія. Здѣсь была помѣщена статейка Загоскина: «Любители словесности». Эта сатира замѣчательна тѣмъ, что въ ней выведенъ типъ отрицателя русской словесности. Къ автору приходитъ въ гости пріятель его Рогнѣдовъ, и заводитъ разговоръ о словесности. Онъ доказываетъ, что расплодившіеся у насъ въ послѣднее время «губители словесности, безграмотная толпа ложныхъ любителей словесности, приноситъ болѣе вреда, чѣмъ пользы. Кровь кипитъ въ моихъ жилахъ, когда я слушаю какого-нибудь двадцати-лѣтняго мудреца, который вмѣсто того, чтобы доучиться путемъ грамматикѣ, судитъ и рядитъ, раздаетъ и отнимаетъ безсмертіе. Онъ ничего не пишетъ и презираетъ русскій языкъ и высказываетъ такое мнѣніе: «Какіе могутъ быть споры, когда говорятъ о нашей жалкой словесности? Это все равно, еслибы стали разсуждать о характерѣ и о свойствахъ ребенка, который лежитъ еще въ колыбели... Мы можемъ быть обезьянами великихъ писателей, можемъ портить безсмертныя творенія, переводя ихъ на нашъ языкъ, можемъ даже называть себя, какъ намъ угодно; но что мы еще школьники, ученики, едва знающіе азбуку, въ этомъ, я думаю, всякій благоразумный человѣкъ долженъ будетъ со мною согласиться». Такимъ образомъ отрицаніе русской литературы было модньмъ явленіемъ еще въ двадцатыхъ годахъ. Тогда источникомъ его служила галломанія, увлеченіе всѣмъ французскимъ. Устами Рогнѣдова Загоскинъ выражетъ жалобы на недостатокъ любви къ своему родному у Русскихъ: «Въ одной только Россіи можно видѣть людей, которые находятъ удовольствіе порицать все отечественное, которые,

не имѣя понятія о нашей словесности, не зная даже языка своего, говорятъ о немъ съ презрѣніемъ; которые, пробывъ нѣсколько времени въ Парижѣ, думаютъ, что пріобрѣли симъ право быть оракулами вкуса и располагать мнѣніемъ цѣлаго общества». Вторая половина этой статьи представляетъ почти буквальное повтореніе одной изъ прежнихъ статеекъ Загоскина, помѣщенной въ Сѣверномъ Наблюдателѣ подъ заглавіемъ: «Полезный совѣтъ», съ тою только разницею, что теперь Загоскинъ помѣстилъ въ свой сатирическій очеркъ выходки противъ масоновъ. Не зная, куда пристроить совершенно ни къ чему негоднаго молодого человѣка, авторъ, устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ, совѣтуетъ ему сдѣлаться масономъ. «Что-жъ дѣлать mon cousin, я ужъ нѣсколько разъ принимался читать «Ключъ къ таинствамъ натуры» и «Приключенія послѣ смерти», да ничего не могу понять», отвѣчаетъ тотъ.

Къ концу 1820 года или во всякомъ случаѣ не позже, какъ къ началу 1821 года относятся первые стихи Загоскина [1]). Объ этомъ С. Т. Аксаковъ разсказываетъ такимъ образомъ: «До 1821 года Загоскинъ не писывалъ стиховъ; онъ не чувствовалъ паденія и мѣры стиха, и самъ признавался, что это не его дѣло. Одинъ разъ въ кругу коротскихъ пріятелей разсердили его тѣмъ, что не хотѣли даже выслушать какихъ-то его замѣчаній на какіе-то стихи, основываясь на томъ, что онъ въ стихотворствѣ ничего не понимаетъ. Загоскинъ вспылилъ и сказалъ, что онъ докажетъ всѣмъ, какъ понимаетъ это дѣло, и черезъ два мѣсяца прочелъ прекрасное, довольно длинное посланіе къ Н. И. Гнѣдичу, написанное шестистопными ямбами съ риѳмами. Оно стоило Загоскину неимовѣрныхъ трудовъ: не имѣя уха, каждый стихъ онъ раздѣлялъ черточками на слоги и стопы, и надъ каждымъ слогомъ ставилъ удареніе; въ иной день ему не удавалось выковать болѣе четырехъ стиховъ, и изъ такой египетской, тяжкой работы стихи вышли легки, свѣжи, звучны и естественны! Всѣ были изумлены» [2]). Послѣ этого перваго опыта Загоскинъ сталъ обработывать въ стихотворной формѣ сатирическія статейки, которыя до тѣхъ поръ писалъ въ прозѣ. За «Посланіемъ къ Гнѣдичу» вскорѣ послѣдовали «Авторская клятва»,

---

[1]) Современное Обозрѣніе 1868 г., февраль, стр. 286
[2]) *Аксаковъ*. т. III, стр. 264.

и «Выборъ жены», сатиры въ стихахъ. Въ первой изъ нихъ Загоскинъ смѣется надъ такимъ авторомъ, который,

. . . обиженный судомъ несправедливымъ,
Клянется съ музами разстаться навсегда,
На вѣкъ прости сказать мечтамъ любимымъ,
И, чтобъ вѣрнѣй свой выполнить обѣтъ,
Объ этомъ онъ друзьямъ въ посланьи объявляетъ,
И, разругавъ путемъ коварный злобный свѣтъ,
Стиховъ онъ не писать... стихами обѣщаетъ

Въ примѣръ тому Загоскинъ приводитъ своего пріятеля Людмилина, комическаго писателя. Людмилинъ былъ раздраженъ тѣмъ, что его комедію критиковали очень безтолково люди невѣжественные, сами не понимавшіе, чего хотятъ. Одинъ изъ нихъ говорилъ, что экспозиція дурна; но что именно въ ней дурно, этого авторъ не могъ добиться отъ своего критика. Другому не нравился языкъ піесы. Третій, педантъ, указывалъ на заимствованіе сюжета у Теренція.

И вотъ, мой милый другъ, судьи, которыхъ мнѣнья
Вездѣ, всеобщаго достойныя презрѣнья,
Оракуломъ, закономъ чтутъ.

Людмилинъ въ самыхъ черныхъ краскахъ рисуетъ и публику, и актеровъ и даетъ клятву больше не писать. Ему жаль только, что у него уже есть сюжетъ, который ему хотѣлось бы обработать для сцены. Людмилинъ уѣзжаетъ домой

. . . конечно, спать?
Ахъ, нѣтъ, мои друзья, комедіи писать.

Въ этомъ Людмилинѣ не трудно угадать самого Загоскина. Онъ тоже давалъ такія клятвы, «но страсть писать комедіи не лучше пьянства: отъ нея никогда не отстанешь», читаемъ мы въ его письмѣ къ Лобанову, отъ 7-го октября 1820 года [1]). Да и трудно было не писать, когда сюжеты представлялись въ такомъ изобиліи самою окружающею средою. «Москва—золотой рудникъ для комическихъ писателей: слушай, замѣчай, да не лѣнись писать, а за сюжетами дѣло не станетъ», писалъ Загоскинъ Лобанову 16-го апрѣля 1821 года [2]).

---

[1]) Историч. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 687.
[2]) Тамъ-же, стр. 690.

1821 годъ не принесъ, повидимому, измѣненія въ положеніи Михаила Николаевича, и потому онъ попрежнему жалуется на жизнь въ Москвѣ и стремится въ Петербургъ. «Ахъ, мой милый другъ!» писалъ онъ Лобанову 16-го апрѣля 1821 года. «Вѣрно тебѣ не такъ хочется перевесть «Федру» достойно подлинника, какъ мнѣ — перебраться въ Петербургъ. Но Богу одному извѣстно, когда это случится· будущее сокрыто отъ меня такой непроницаемой завѣсой, что не знаю даже, что будетъ со мною завтра. Пріѣхать съ тѣмъ-же, съ чѣмъ уѣхалъ, былобы глупо, а до сихъ поръ улучшеній въ моемъ состояніи непримѣтно; впрочемъ, я могу имѣть, и даже долженъ имѣть надежду, что со временемъ сдѣлаю то, что ты пишешь въ письмѣ своемъ, то-есть, куплю домикъ въ Петербургѣ и стану жить да поживать въ кругу моихъ друзей» [1]).

Въ ожиданіи перемѣны къ лучшему, Загоскинъ продолжалъ заниматься литературой, слѣдилъ за текущими явленіями въ ней и самъ писалъ, но уже старался держаться вдали отъ журнальной полемики. «Что тебѣ сказать про журнальныя брани. Богъ вѣсть, кто виноватъ: Осетровъ-ли, который роется въ навозѣ, или издатели Сына Отечества, которые называютъ навозъ превосходными стихами, Бестужева — необыкновеннымъ талантомъ. Неужели послѣдніе стихи Вяземскаго походятъ на что-нибудь? Пыльный — щепетильный, рудокопу — стопу. За однѣ эти риѳмы Аполлонъ долженъ предать его анаѳемѣ. До сихъ поръ мы черезъ-чуръ думали объ одной гармоніи звуковъ, не считая ни во что идеи и смысла, а теперь ударились въ противную сторону. Хочемъ писать сильные стихи и пишемъ такіе, которые и разжевать не можно». Высказывая такія сужденія, Загоскинъ прибавляетъ: «Впрочемъ, не думай, чтобы я сталъ мѣшаться въ эти литературныя ссоры» [2]).

Загоскинъ былъ занятъ въ это время комедіей, которую хотѣлъ въ видѣ опыта писать стихами. Это былъ «Урокъ холостымъ или наслѣдники», первая комедія Загоскина въ стихахъ. Появленіе ея на сценѣ московскаго театра относится къ 1822 году (4-го мая).

---

[1]) Тамъ-же, стр. 689.

[2]) Письмо къ М. Е. Лобанову; Истор. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 689—690.

Сознавая самъ недостаточность своего образованія и вмѣстѣ съ тѣмъ желая пріобрѣсти права по службѣ, Михаилъ Николаевичъ рѣшился держать экзаменъ для полученія чина колежскаго ассессора. 30-го октября 1821 года онъ писалъ Гнѣдичу, что уже около двухъ мѣсяцевъ не имѣетъ ни одной минуты свободной. «Я учусь геометріи, физикѣ, правамъ, статистикѣ, исторіи, однимъ словомъ — приготовляюсь къ экзамену; недѣли черезъ три надѣюсь получить аттестатъ... Ученыя занятія не помѣшали мнѣ сдѣлать планъ пяти-актной комедіи и написать половину небольшой комедіи въ стихахъ, но съ мѣсяцъ уже я не пишу ничего, кромѣ геометрическихъ фигуръ; чѣмъ ближе конецъ, тѣмъ больше долженъ я трудиться, — мнѣ же пришло въ голову учиться не на шутку, то-есть, не для одного экзамена... и того и гляди, что къ семи греческимъ мудрецамъ прибавится одинъ русскій». Въ этомъ письмѣ рисуются отношенія Загоскина къ Гнѣдичу: здѣсь, какъ и въ другихъ письмахъ, Михаилъ Николаевичъ называетъ себя ученикомъ Гнѣдича и много говоритъ о благотворномъ вліяніи его. «Обнимаю тебя, какъ искренній другъ и благодарный ученикъ, который обязанъ тебѣ, именно тебѣ за всѣ минуты наслажденія, доставляемыя ему безсмертными сестрицами, съ которыми безъ тебя онъ вѣрно бы никогда не познакомился» [1]).

Въ концѣ 1821 года положеніе Загоскина все еще было очень неопредѣленное. Онъ нигдѣ не служилъ и хлопоталъ о мѣстѣ, желалъ получить чинъ коллежскаго ассессора за выслугу лѣтъ и просилъ Гнѣдича узнать у Оленина, возможно ли это. Въ случаѣ благопріятнаго отвѣта, Загоскинъ готовъ былъ ѣхать въ Петербургъ; въ противномъ же случаѣ «постараюсь», писалъ онъ, «найти здѣсь какое-нибудь мѣсто. Я шесть лѣтъ въ чинѣ титулярнаго совѣтника; слѣдовательно, за вычетомъ двухъ лѣтъ, прожитыхъ мною здѣсь, я выслужилъ въ дѣйствительной службѣ четыре года» [2]).

Побуждаемый и практическими соображеніями и желаніемъ восполнить свое образованіе, Загоскинъ работалъ очень усердно. «Онъ трудился съ такою добросовѣстностью»,

---

[1]) По рукописи, принадлежащей П. А. Ефремову.
[2]) Тамъ же.

пишетъ Аксаковъ, «что даже вытвердилъ наизустъ римское право. Наконецъ, онъ выдержалъ испытаніе блистательно, и самъ требовалъ отъ профессоровъ, чтобъ его экзаменовали какъ можно строже. Загоскинъ, въ письмѣ ко мнѣ, очень забавно описываетъ свои экзамены и, между прочимъ, сердится на одного изъ профессоровъ, который предложилъ ему вопросъ: кто такой былъ Ломоносовъ? «Ну, можно-ли объ этомъ спрашивать», пишетъ Загоскинъ, «не мальчика, а литератора, уже получившаго нѣкоторую извѣстность? Я хотѣлъ было отвѣчать ему, что Ломоносовъ былъ сапожникъ».

2-го декабря Загоскинъ писалъ Гнѣдичу: «Экзаменъ мой кончился. Много узналъ я для себя вещей полезныхъ, а и того больше наслушался и начитался вздору. Первое постараюсь держать въ памяти, а о послѣднемъ давно уже забылъ. На будущей недѣли получу я аттестатъ и при письмѣ отправлю его къ Алексѣю Николаевичу» [1]). При этомъ же письмѣ Загоскинъ посылаетъ нѣсколько сценъ изъ небольшой комедіи, которую онъ почти кончилъ. «Не знаю, будутъ-ли мои стихи для драматическаго рода. Ты можешь ими располагать по произволу, то-есть отдать въ «Соревнователь» или въ «Сынъ Отечества». Подъ вліяніемъ Гнѣдича, Загоскинъ хотѣлъ приняться за изученіе новыхъ языковъ: «Мнѣ самому хочется давно уже приняться за то, что ты мнѣ совѣтуешь, то-есть, учиться языкамъ, а особенно испанскому. Сомнѣваюсь только, найду ли здѣсь учителя» [2]).

Заботясь объ опредѣленіи на службу, Загоскинъ послалъ аттестатъ свой А. Н. Оленину, намѣревался снова переселиться въ Петербургъ и даже назначалъ время—лѣто 1822 года [3]). Но уже въ маѣ 1822 года онъ писалъ Лобанову, что «сдѣлался настоящимъ московскимъ жителемъ и почти совсѣмъ забылъ Петербургъ» [4]). Онъ продолжалъ хлопотать о полученіи чина; просилъ справиться, что случилось съ аттестатомъ, который давно былъ отосланъ къ Оленину, обѣщавшему хлопотать о производствѣ

---

[1]) Ненапечатанное письмо къ Гнѣдичу, отъ 2-го декабря 1821 года.
[2]) Тамъ же.
[3]) Тамъ же.
[4]) Письмо къ Лобанову, отъ 2-го мая 1822 г. Истор. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 690.

Загоскина въ слѣдующій чинъ: «Вотъ уже четвертый мѣсяцъ, какъ я его отправилъ, и нѣтъ о немъ ни слуха ни духа. Мнѣ очень нужно знать, могу ли я надѣяться получить чинъ или нѣтъ» [1]).

Наконецъ, Загоскину удалось устроиться въ Москвѣ: 18-го мая 1822 г. онъ поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ Московскому военному генералъ-губернатору и въ то же время исправлялъ должность экспедитора по театральному отдѣленію [2]). 14-го іюня 1822 года Загоскинъ писалъ Гнѣдичу: «Я сдѣлался теперь совсѣмъ московскимъ жителемъ. Служу при здѣшнемъ главнокомандующемъ, который поручилъ мнѣ все производство по здѣшнему театру, а сіе бо есть море пространное, въ немъ же гада нѣсть числа» [3]).

Это обиліе дѣлъ грозило отнять у Загоскина досугъ, необходимый для занятій литературныхъ, что дѣйствительно и случилось, какъ увидимъ далѣе. Но въ 1822 году много было сдѣлано Загоскинымъ еще до поступленія на службу. 4-го мая была представлена его комедія «Урокъ холостымъ или наслѣдники», очень понравившаяся зрителямъ. Посылая печатные экземпляры этой комедіи въ Петербургъ къ Гнѣдичу для раздачи знакомымъ, Загоскинъ писалъ своему другу: «Если къ моей комедіи будутъ такъ же милостивы въ Петербургѣ, какъ снисходительны были здѣсь, то я можетъ быть зимою ужасну васъ пяти-актною комедіею въ стихахъ» [4]). Вѣроятно, вслѣдствіе служебныхъ занятій, въ литературной дѣятельности Загоскина произошло нѣкоторое ослабленіе. Гнѣдичъ замѣтилъ ему это, и Загоскинъ писалъ въ свое оправданіе: «Говоря мнѣ о новыхъ произведеніяхъ князя Шаховскаго, ты упрекаешь меня, что я заснулъ на лаврахъ. Неправда, мой другъ, во-первыхъ, потому что я не заслужилъ и листочка лавроваго, слѣдственно, не могу имѣть такой роскошной постели; во-вторыхъ, потому что я продолжаю марать бумагу. Теперь занимаюсь бездѣлушками, но мѣсяца черезъ два примусь за большое дѣло, которое дай Богъ кончить въ одинъ годъ» [5]). Эта

---

[1]) Тамъ же.
[2]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 267.
[3]) Ненапечатанное письмо къ Гнѣдичу, отъ 14 го іюня 1822 г.
[4]) Тамъ же.
[5]) Ненапечатанное письмо къ Гнѣдичу, отъ 9-го октября 1822 г.

бездѣлушка, вѣроятно, была комедія-водевиль: «Деревенскій философъ», а большое дѣло—комедія «Благородный театръ». Первая изъ этихъ комедій была написана въ концѣ 1822 года. Это одна изъ тѣхъ пьесъ, которыя писалъ Загоскинъ наскоро, для чьего-нибудь бенефиса. Аксаковъ называетъ «Деревенскаго философа» очень забавною бездѣлкою съ прекрасными куплетами; князь же Вяземскій писалъ А. А. Бестужеву: «Деревенскаго философа», вѣрно, вы и не читали, а не то и не рѣшились бы похвалить» [1]).

Въ началѣ 1823 года въ управленіи императорскими театрами произошла перемѣна, отразившаяся и на Загоскинѣ. До того времени московскій театръ зависѣлъ отъ петербургскаго, и Московскій военный генералъ-губернаторъ, князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ, всякій разъ, когда пріѣзжалъ въ Петербургъ, приглашался въ засѣданіе театральнаго комитета, для обсужденія положенія московскаго театра. Въ 1823 году московскій театръ былъ отдѣленъ отъ петербургскаго и подчиненъ главному начальству тамошняго военнаго генералъ-губернатора. Составилась въ Москвѣ особая дирекція, и Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ былъ назначенъ директоромъ московскаго театра [2]). Загоскинъ былъ опредѣленъ въ контору дирекціи его членомъ по хозяйственной части. Гнѣдичъ предвидѣлъ, что служебныя обязанности будутъ мѣшать заниматься литературою, и опасенія эти сбылись. Загоскинъ писалъ ему 15-го апрѣля 1823 года: «Правду ты говоришь, мнѣ радоваться нечего, что я сдѣланъ членомъ московской дирекціи: минуты нѣтъ свободной». Работы было тѣмъ больше, что положеніе театра было самое жалкое: «Ни денегъ, ни гардеробу, ни декорацій, словомъ ничего, кромѣ долговъ, безпорядковъ и презрѣнія, которое успѣли возбудить въ публикѣ къ русскому театру, сдѣлавъ изъ него какую-то собачью комедію». [3])

Такъ говорилъ Загоскинъ въ началѣ 1823 года и тѣ же жалобы читаемъ мы въ его письмахъ къ Лобанову въ концѣ этого года: «Что сказать мнѣ о себѣ? Я кляну иногда судьбу мою! Вообрази, минуты нѣтъ свободной. Я отъ этихъ дрянныхъ театральныхъ дѣлъ не пишу ничего. На-

---

[1]) Письмо помѣчено 20 января 1824 г.; Русская старина 1888 г., т. 60, стр. 328.

[2]) Лѣтопись русскаго театра, стр. 334—335.

[3]) Ненапечатанное письмо къ Гнѣдичу, отъ 15-го апрѣля 1823 г.

чатая комедія не подвигается впередъ»[1]). «Какъ ты счастливъ, что можешь заниматься словесностью! Пожалѣй о моей жалкой долѣ! Вотъ три мѣсяца, какъ у меня начата комедія: планъ обдуманъ, первыя сцены написаны, стихи, кажется, недурны, однимъ словомъ, я предвижу, что это будетъ лучшая моя комедія, то-есть, первая, которой я буду самъ доволенъ, и, несмотря на то, я долженъ оставить мой трудъ: хлопоты мои театральныя часъ отъ часу становятся несноснѣе, — съ уменьшеніемъ денежныхъ способовъ, прибавляются постоянно новыя заботы»... [2]). «Если хочешь сдѣлаться пентюхомъ, послужи при театрѣ» [3]).

Прекращеніе литературной дѣятельности Загоскина вызвало со стороны почитателей его таланта напоминанія. Въ Русскомъ Вѣстникѣ явилось посланіе, въ которомъ неизвѣстный авторъ обращался къ Михаилу Николаевичу съ такими словами:

Зачѣмъ-же ты молчишь?
Ты Таліи рукою
Увѣнчанъ ужъ не разъ. Умомъ и остротою
Умѣешь оживить творенія свои;
Сзываютъ зрителей всегда, мой другъ, они.
Оставь бездѣйствіе, не все-жъ намъ одолжаться;
Пора твореньями своими отличаться...
Все испестрилося, сталъ ярманкой театръ,
Вкусъ нѣжный потерялъ, а съ нимъ погасъ и даръ,
Проснись и по слѣдамъ иди, мой другъ, Мольера! [4])

Какъ-бы въ отвѣтъ на этотъ вызовъ было написано Загоскинымъ «Посланіе къ Людмилу». Авторъ, узнавъ, что его другъ Людмилъ намѣренъ посвятить себя театру, сдѣлаться жрецомъ рѣзвой Таліи, быть комикомъ, отговариваетъ его отъ этого рѣшенія, указывая на тѣ опасности, которыя ждутъ его на этомъ поприщѣ:

Иль участь горькую не знаешь ты, Людмилъ,
Въ удѣлъ сужденную комическимъ поэтамъ;
Веселья всѣ забывъ, разставшись съ цѣлымъ свѣтомъ,

---

[1]) Письмо къ М. Е. Лобанову, отъ 3-го октября 1823 г.; Историч. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 693.
[2]) Письмо къ М. Е. Лобанову, отъ 13-го ноября 1823 г ; Истор. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 693.
[3]) Письмо къ М. Е. Лобанову, отъ 2-го декабря 1823 г.; Истор. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 694.
[4]) Русскій Вѣстникъ 1824 г , кн. I. стр. 117—120.

Трудамъ всю жизнь свою ты долженъ посвятить,
Съ терпѣньемъ слушать вздоръ, безъ ропота сносить
Насмѣшки остряковъ, нападки журналистовъ.
Сужденія купцовъ, лакеевъ, копіистовъ...
Друзья заранѣе плетутъ тебѣ вѣнецъ,
Враги до времени свою скрываютъ злобу...

Далѣе живо изображаются терзанія автора во время самаго представленія его пьесы. Эта часть сатиры носитъ на себѣ отпечатокъ особенной искренности: такъ и видно, что Загоскинъ самъ все это пережилъ. Затѣмъ изображается гражданское служеніе комическаго поэта:

Жрецъ истины святой, всегдашній бичъ порока,
Поэтъ комическій льстецомъ не можетъ быть.
Но если не успѣлъ хорошаго урока
Онъ дать насмѣшникамъ, надменнымъ богачамъ,
Иль кистью вѣрною изображая намъ
Безстыднаго ханжи смиренную личину,
Не смѣлъ сорвать съ него обманчивый нарядъ,
Не смѣлъ сказать въ глаза большому господину,
Что гордость есть порокъ, что славныхъ предковъ рядъ
Безъ собственныхъ заслугъ, достойныхъ уваженья,
Не слава для него, а стыдъ и поношенье,
Коль хитрость и обманъ, злословье и вражда
Судью не строгаго найдутъ въ тебѣ,—тогда
Напрасно ты себя поэтомъ называешь.

Это мѣсто сатиры важно для характеристики взгляда автора на свое призваніе комика: онъ—учитель нравственности, бичъ пороковъ, и не даромъ Загоскинъ любилъ называть свои произведенія «уроками». Затѣмъ Загоскинъ изображаетъ отношенія журнальной критики къ вновь появившемуся сочиненію: это опять личныя воспоминанія автора о пережитой имъ эпохѣ литературной полемики. Въ концѣ концовъ сатирикъ даетъ своему другу добрый совѣтъ—оставить неблагодарный трудъ писателя комедій и если не вовсе бросить перо, то хоть избрать другой родъ литературы, напримѣръ, писать лирическія стихотворенія.

«Посланіе къ Людмилу»,—важное въ автобіографическомъ отношеніи—имѣетъ и литературныя достоинства, которыя даютъ право отнести эту сатиру къ лучшимъ произведеніямъ Загоскина. Оно не прошло незамѣченнымъ среди современниковъ автора и упрочило за нимъ литературную извѣстность. Князь П. А. Вяземскій въ письмѣ къ А. А. Бестужеву, засвидѣтельствовалъ противъ своей воли объ успѣхѣ Загоскина, къ которому относился въ то время

враждебно, слѣдующими словами: «Что за охота выставлять Загоскина? Его «Посланіе къ Людмилу»—площадное, плоское по мыслямъ и стихосложенію, взапуски выхваляемое петербургскими и московскими журналистами, точно какъ будто переродило его» [1]).

По обыкновенію, стихи свои Загоскинъ отправилъ къ Гнѣдичу при письмѣ, которое раскрываетъ намъ взаимныя отношенія этихъ писателей: «Всѣ мои стихи: порядочные, плохіе, скверные, какіе бы они ни были, буду отсылать къ тебѣ: читать на просторѣ не тяжело и дрянь. Итакъ, я не боюсь обременить тебя, тѣмъ болѣе, что и муза моя не слишкомъ плодовита. Я считаю себя даже обязаннымъ доставлять тебѣ всѣ мои маранья: если я когда-нибудь напишу хорошую комедію въ стихахъ, то этимъ буду обязанъ именно тебѣ. Дружеское твое снисхожденіе къ первымъ моимъ стихотворнымъ бездѣлкамъ, твое одобреніе, поддержало меня на семъ неизъяснимо-трудномъ для меня пути. Не можешь вообразить, какихъ ужаснѣйшихъ трудовъ стоило мнѣ пріучить себя писать стихи, и еслибъ ты принялъ холодно первое мое посланіе, то я отъ отчаянія заклялся бы вѣкъ ихъ не писать» [2]).

Хлопоты о чинѣ, для чего, какъ выше упомянуто, былъ посланъ Оленину аттестатъ, не увѣнчались успѣхомъ. Загоскинъ послѣ неоднократныхъ напоминаній о своемъ дѣлѣ, написалъ, наконецъ, Гнѣдичу въ письмѣ отъ 15-го апрѣля 1823 года: «Видно, въ слѣдующій чинъ я буду представленъ княземъ Голицынымъ. Въ такомъ случаѣ мнѣ очень былобы нужно, чтобъ Алексѣй Николаевичъ возвратилъ мнѣ мой аттестатъ». Аттестатъ, какъ видно изъ письма Гнѣдича отъ 11-го марта 1824 года, былъ высланъ [3]), и такимъ образомъ дѣло это, тянувшееся нѣсколько лѣтъ кончилось.

Не кончились однако попытки Загоскина уѣхать изъ Москвы, хотя положеніе его здѣсь, повидимому, улучшилось. «Узналъ я», писалъ П. А. Корсаковъ Загоскину въ октябрѣ 1824 года, «что ты живъ, здоровъ, а что и того не хуже—веселъ и доволенъ судьбою своею; любимъ окружающими тебя, одержимъ пріятнѣйшею изъ болѣзней рода

---

[1]) Русская Старина 1888 г., т. LX, стр. 323.
[2]) Ненапечатанное письмо къ Гнѣдичу, отъ 15-го апрѣля 1823 г.
[3]) Раутъ, кн. III. стр. 297.

человѣческаго—метроманіею и, наконецъ, что успѣхи твои на сценѣ, успѣхи, заслуживаемые твоимъ талантомъ, увлекаютъ тебя далѣе и далѣе въ Парнасскія дубравы. И самая служба твоя лелѣетъ тебя, любезный баловень музъ и фортуны, — все это хорошо и пріятно» [1]). Не смотря на такія счастливыя обстоятельства, Михаилъ Николаевичъ не совсѣмъ былъ доволенъ своею московскою жизнью, какъ это можно заключить по нѣкоторымъ выраженіямъ письма его къ Лобанову: «Слухи о моемъ переходѣ въ Петербургъ не совсѣмъ пусты. Можетъ быть, дѣйствительно, я буду директоромъ, и самымъ неожиданнымъ для меня образомъ: я и во снѣ не могъ объ этомъ видѣть; но впрочемъ, до тѣхъ поръ, пока я не прочту именнаго указа, я самъ этому плохо вѣрю. Ты пишешь, мой другъ, что въ Петербургѣ при театрѣ худо; повѣрь, что и въ Москвѣ не лучше. Въ Петербургѣ связаны руки, а здѣсь и руки, и ноги; въ Петербургѣ я (можетъ быть) буду главнымъ начальникомъ, хотя подъ вѣдѣніемъ комитета, а здѣсь я только членъ; въ Москвѣ я получаю только 2.400 руб. жалованья, а въ Петербургѣ 10.000 руб., а сверхъ того, могу шагнуть по службѣ такъ, что пріятели мои ахнутъ отъ удивленія, а враги охнутъ отъ зависти. Прощай, мой милый другъ. Если Богъ приведетъ увидѣться, то мы наговоримся досыта; если-же мнѣ на роду написано прокиснуть въ Москвѣ, то хоть изрѣдка откликайся» [2]). Изъ того-же письма видно, что литкратурныя занятія Загоскина не прерывались и въ это время, хотя досуга для нихъ было мало: «Я и хотѣлъ бы тебѣ разсказать подробнѣе о моихъ занятіяхъ, да нечего разсказывать. Я могу марать бумагу только по постамъ, а въ мясоѣды некогда подумать о литературѣ. Великимъ постомъ я почти кончилъ второй актъ «Благороднаго театра», а съ тѣхъ поръ и за перо не брался» [3]).

Къ 1826 году относится небольшой отрывокъ, напечатанный впослѣдствіи, въ 1830 году, въ Московскомъ Вѣстникѣ: «День перваго представленія новой комедіи» [4]). Эта прозаическая піеса составляетъ какъ-бы продолженіе «По-

---

[1]) Раутъ, кн. III, стр. 307.
[2]) Истор. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 695.
[3]) Истор. Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 695.
[4]) Московскій Вѣстникъ 1830 г., ч. III, № XI, стр, 196—206.

сланія къ Людмилу». Объясненія такой малой литературной производительности Загоскина въ этомъ году надо искать во множествѣ служебныхъ занятій. Такъ по крайней мѣрѣ можно, заключить по письму его къ Гнѣдичу, отъ 29-го ноября 1826 года. Поздравляя своего друга съ монаршею милостью за переводъ Гомера, Загоскинъ писалъ: «Пожалѣй обо мнѣ: ты перевелъ Гомера, а я учусь быть скоморохомъ» [1]).

Къ концу слѣдующаго 1827 года относятся два драматическія произведенія Загоскина: «Репетиція на станціи» и «Благородный театръ». Первое изъ нихъ связано съ именемъ князя Д. В. Голицына, о которомъ придется сказать поэтому нѣсколько словъ. Приведемъ здѣсь то, что писалъ Араповъ, издавшій въ 1845 году этотъ водевиль со своимъ предисловіемъ: «Князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ со вступленія въ званіе генералъ-губернатора 1820 г. до 1826, то-есть, до времени учрежденія министерства императорскаго двора, завѣдывалъ московскимъ театромъ, который главнѣйше обязанъ ему за значительные способы, которые князь исходатайствовалъ отъ высочайшихъ щедротъ на его улучшеніе. Князь Голицынъ имѣлъ обыкновеніе проводить время своего отдыха отъ заботъ и трудовъ въ любимомъ селѣ своемъ Рожественѣ, находившемся въ Дмитровскомъ уѣздѣ, въ 40 верстахъ отъ Москвы. Тамъ нерѣдко лѣтомъ и даже въ глубокую осень, въ домѣ, убранномъ съ изящною простотой, окруженномъ террасами и роскошнымъ тѣнистымъ садомъ, собирался тѣсный кругъ его знакомыхъ... Въ 1827 году цѣлое общество собралось праздновать 29-го октября, день рожденія князя въ Рожественѣ. Многіе изъ извѣстныхъ людей въ Москвѣ изъявили желаніе быть участниками предположеннаго торжества; въ дѣлѣ, гдѣ руководствуетъ сердце, не нужно прибѣгать къ усиліямъ; сюрпризъ былъ слаженъ въ нѣсколько дней. А. А. Башиловъ, будучи въ то время сосѣдомъ покойнаго князя по усадьбѣ, предложилъ съ свойственнымъ ему добродушіемъ, чтобы всѣ приготовленія дѣлались у него въ деревнѣ. Онъ первый раздѣлилъ оригинальную мысль М. Н. Загоскина, чтобы въ водевилѣ, написанномъ симъ послѣднимъ въ нѣсколько часовъ, каждый изъ участвующихъ на-

---

[1]) Ненапечатанное письмо къ Гнѣдичу, отъ 29-го ноября 1826 г.

зывался своимъ именемъ, за исключеніемъ лицъ вводныхъ, которыя должны были довершать интересъ и комизмъ пьесы. Дѣйствіе ея перенесъ Загоскинъ въ Солнечную гору (вторую станцію отъ Москвы, по прежнему распредѣленію), отъ нея ближайшій поворотъ въ село Рожествено; А. И. Писаревъ написалъ къ водевилю куплеты. Участниками были А. А. Башиловъ, Б. К. Данзасъ, А. С. Талызинъ, А. Н. Верстовскій, А. И. Писаревъ, кн. Н. А. Щербатовъ, П Н. Араповъ. Къ нимъ присоединились первоклассные артисты того времени, которые тоже просили включить ихъ въ число прочихъ, какъ людей обязанныхъ князю во время его главнаго начальства надъ московскимъ театромъ: М. С. Щепкинъ, покойные Рязанцевъ, Сабуровъ и Кубишта. Обстоятельства не позволили Ѳ. Ѳ. Кокошкину лично участвовать въ сюрпризѣ, но стихи его, для этого случая сочиненные, были прочитаны А. А. Башиловымъ. Нѣсколько пробъ водевиля были сдѣланы у Башилова въ деревнѣ, и передъ вечеромъ 29-го октября вся труппа, съ подвижнымъ театромъ, была уже въ Рожественѣ, гдѣ и представленъ былъ водевиль. Зрители до того были восхищены пьесою, что возбудили любопытство многихъ въ Москвѣ; все высшее общество желало видѣть повтореніе «Репетиціи на станціи». Кокошкинъ предложилъ участвовавшимъ еще разъ сыграть ее у него въ домѣ, и можно безъ преувеличенія сказать, что еслибы зала Кокошкина была въ три раза больше, то и тогда она не вмѣстила бы всей публики, которая по первому свѣдѣнію о представленіи водевиля во что бы то ни стало стремилась его видѣть, аплодировала куплетамъ и заставила ихъ многократно повторять при громкихъ восклицаніяхъ».

Надъ комедіею «Благородный театръ» Загоскинъ работалъ давно. Первая мысль о ней зародилась у него въ то время, когда увлеченный кружкомъ любителей театра, онъ самъ участвовалъ въ хлопотахъ по устройству любительскихъ спектаклей. Здѣсь-то, какъ мы уже замѣтили выше, имѣлъ онъ случай наблюдать этихъ любителей и подмѣтить комическія стороны дѣла, которое въ душѣ самъ любилъ. «Не подумай однакоже, мой другъ», писалъ онъ Гнѣдичу, «чтобы я хотѣлъ охуждать сіе благородное и пріятное занятіе. Нѣтъ, мнѣ хочется посмѣяться только надъ тѣми, кои дѣлаютъ изъ сей забавы государственное дѣло. Я игралъ самъ здѣсь въ трехъ труппахъ и замѣтилъ отмѣнно много забав-

наго. Сколько интригъ, происковъ и сплетней, чтобъ отбить у другого ролю! Какія хитрости, чтобы переманить хорошаго актера изъ чужой труппы въ свою! Сколько молодыхъ людей, которымъ маменьки не позволяютъ съ дочерьми сказать два слова, и которые болтаютъ съ ними что хотятъ за кулисами» [1]).

Содержаніе комедіи Загоскина состоитъ въ томъ, что нѣкто господинъ Любскій, затѣялъ устроить у себя въ домѣ благородный спектакль и созвалъ на него все высшее общество провинціальнаго города, въ которомъ проживаетъ. Постановкой пьесы завѣдуетъ авторъ ея, Посошковъ, женихъ Ольги, племянницы Любскаго. Но она желаетъ выдти замужъ не за Посошкова, а за влюбленнаго въ нея Вельскаго. Любскій хотѣлъ бы удалить послѣдняго изъ своего дома, но этого нельзя сдѣлать, потому что Вельскій участвуетъ въ пьесѣ, а до представленія осталось всего лишь нѣсколько часовъ. Молодой человѣкъ, пользуясь случаемъ играть въ одной пьесѣ съ Ольгой и быть съ нею вмѣстѣ, уговариваетъ ее бѣжать съ нимъ и тайно обвѣнчаться. Такъ это и дѣлается. Въ то время, когда начинаются съѣздъ гостей и спектакль отмѣнить уже никакъ нельзя, Любскій узнаетъ, что племянница его бѣжала съ Вельскимъ. Положеніе Любскаго безвыходное. Но дѣло улаживается: молодые люди явились уже обвѣнчанными, и Любскій принужденъ простить ихъ: только подъ этимъ условіемъ они соглашаются выйти на сцену. Фабула пьесы осложняется множествомъ подробностей и комическихъ положеній. Достоинства этой комедіи заключаются въ живости, веселости, естественности.

Успѣху «Благороднаго театра» много способствовало то обстоятельство, что ставилъ его на сцену князь Шаховской, «не имѣвшій себѣ равнаго знатока въ этомъ дѣлѣ» [2]), и приложилъ все стараніе. «Я не видывалъ», разсказываетъ С. Т. Аксаковъ, «чтобъ князь Шаховской когда-нибудь такъ хлопоталъ о своей пьесѣ, какъ онъ хлопоталъ объ этой комедіи. Почти на всѣхъ репетиціяхъ я сидѣлъ подлѣ князя и слышалъ все его бормотанье съ самимъ собою: «Плелесть, плелесть!» шепталъ онъ. «Какое богатое комическое положеніе, какая веселость, какіе веселые стихи! Откуда это все берется?.. Господь Богъ ему посилаетъ». Одинъ разъ

---

[1]) Непапечатанное письмо къ Гнѣдичу, отъ 28-го іюля 1821 г.
[2]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 269.

Шаховской даже вскочилъ, треснулъ себя по лысинѣ и закричалъ, какъ могъ, своимъ дикимъ голосомъ: «Это лучшая комедія изъ всѣхъ втолоклассныхъ французскихъ комедій, котолыми плославились ихъ автолы» [1]).

Исполнителями были лучшіе актеры того времени: «Роль Любскаго была создана, такъ сказать, по средствамъ и особенности таланта Щепкина: Любскій, съ начала до конца, находится въ тревогѣ и волненіи, горячится, выходитъ изъ себя; только Щепкинъ, надѣленный такимъ неистощимымъ запасомъ огня, могъ выдержать эту роль, не замѣняя крикомъ внутренней горячности, не дѣлаясь однообразнымъ. Не видавши, нельзя себѣ вообразить того совершенства, съ которымъ, 25 лѣтъ назадъ, игралъ Любскаго, нашъ знаменитый артистъ. Мочаловъ—въ роли Вельскаго, Сабуровъ—Посошкова и Рязанцевъ—Извѣдова, вмѣстѣ съ Кавалеровой, Рѣпиной и со всѣми другими безъ исключенія—составляли такой ладъ въ ходѣ піесы, какого я, постоянный любитель театра, никогда послѣ не видывалъ» [2]). При такихъ условіяхъ можно было ожидать успѣха: «Пьеса», по словамъ Аксакова, «имѣла самый полный, самый огромный успѣхъ: зрители задыхались отъ смѣха, хохотъ мѣшалъ хлопать, и громъ рукоплесканій вырывался только по временамъ, особенно по окончаніи каждаго акта; только въ послѣдующія представленія неумолкаемыя рукоплесканія раздавались вмѣстѣ со смѣхомъ» [3]).

Такимъ блистательнымъ успѣхомъ завершился для Загоскина 1827 годъ.

V.

«Юрій Милославскій».—Необыкновенный успѣхъ этого романа.—Недовольство Загоскина своимъ положеніемъ. — Воспоминанія Т. П. Пассекъ. — Слухи о новомъ романѣ. — Холера въ Москвѣ. — Выгоды, доставленныя автору вторымъ его романомъ.—Пріемъ, оказанный «Рославлеву».—Причина меньшаго успѣха.—«Аскольдова могила».—Комедія «Недовольные».—«Повѣсти».

Мы дошли теперь до самой славной эпохи въ жизни нашего писателя, эпохи, ознаменованной появленіемъ романа

---

[1]) *Аксаковъ*, т. IV, стр. 125—126.
[2]) Тамъ же, т. III, стр. 269.
[3]) Тамъ-же, стр. 268.

«Юрій Милославскій». Какъ ни много написалъ Загоскинъ до этого романа, и какимъ бы сочувствіемъ ни встрѣчались нѣкоторыя изъ этихъ произведеній, но «Юрій Милославскій» далеко превзошелъ ихъ всѣхъ своимъ успѣхомъ, прославилъ автора и сдѣлалъ его имя необыкновенно популярнымъ.

Прежде всего отмѣтимъ тотъ знаменательный фактъ, что успѣхъ романа, по общему мнѣнію, былъ событіемъ вовсе неподготовленнымъ, для всѣхъ неожиданнымъ. Никто не думалъ, чтобы Загоскинъ могъ написать что-нибудь подобное. Эта мысль высказывались многими лицами почти въ однихъ и тѣхъ-же словахъ и наконецъ нашла себѣ выраженіе въ слѣдующемъ анекдотѣ: «Прочитавъ въ одномъ домѣ отрывокъ изъ своего еще неоконченнаго романа «Юрій Милославскій», Загоскинъ привелъ слушателей въ такой восторгъ, что хозяйка дома, не помня себя отъ волненія, пренаивно сказала: «Признаюсь, Михаилъ Николаевичъ, я никакъ не ожидала отъ васъ такой прелести!» «И я тоже, сударыня», отвѣчалъ еще наивнѣе Загоскинъ» [1]).

Первая мысль о романѣ явилась у Загоскина давно. Еще до окончанія комедіи: «Благородный театръ», задумалъ онъ написать русскій историческій романъ на подобіе романовъ В. Скотта. «Ему до смерти надоѣло», разсказываетъ С. Т. Аксаковъ, «таскать кандалы условныхъ, противоестественныхъ законовъ, которые носитъ сочинитель, пишущій комедію, да еще шестистопными стихами съ проклятыми риѳмами». Вспомнивъ трудность, съ какою Загоскинъ писалъ стихи, и охоту щеголять мудренными риѳмами, легко понять, что онъ говорилъ очень искренно. Романъ казался ему «открытымъ полемъ, гдѣ могло свободно разгуляться воображеніе писателя» Немедленно послѣ первыхъ представленій «Благороднаго театра», Загоскинъ началъ готовиться къ сочиненію историческаго романа. «Онъ былъ весь погруженъ въ эту мысль, охваченъ ею совершенно; его всегдашняя разсѣянность, къ которой давно привыкли и которую уже не замѣчали, до того усилилась, что всѣ ее замѣтили и всѣ спрашивали другъ друга, что сдѣлалось съ Загоскинымъ. Онъ не видитъ, съ кѣмъ говоритъ, и не знаетъ, что говоритъ. Встрѣчаясь на улицахъ съ короткими

---

[1]) **Хмыровъ.** Портретная галлерея, изд. Мюнстера, стр, 225.

пріятелями, онъ не узнавалъ никого, не отвѣчалъ на поклоны и не слыхалъ привѣтствій» [1]).

Такъ писалъ Загоскинъ свой романъ. Слухи о немъ стали ходить въ обществѣ задолго до появленія «Юрія Милославскаго» въ печати. «Этотъ романъ былъ еще въ рукописи», говоритъ Ѳ. В. Булгаринъ, литературный врагъ и соперникъ М. Н. Загоскина, «можетъ быть, еще въ головѣ сочинителя, а можетъ быть, еще и не тамъ, какъ о немъ говорили въ обществахъ и, помнится, даже пѣли въ театрахъ» [2]). Романъ вышелъ въ свѣтъ въ 1829 году. Впечатлѣніе, произведенное «Юріемъ Милославскимъ» на современниковъ, можно назвать необыкновеннымъ. По словамъ С. Т. Аксакова, «восхищеніе было общее, единодушное: немного находилось людей, которые его не вполнѣ раздѣляли. Публика обѣихъ столицъ и, вслѣдъ за нею или почти вмѣстѣ съ нею, публика провинціальная пришли въ совершенный восторгъ. Впослѣдствіи, не такъ скоро, но прочно, безъ восторга, но съ какимъ-то умиленіемъ начала читать и читаетъ до сихъ поръ «Юрія Милославскаго» вся грамотная Русь. Всѣ обрадовались «Юрію Милославскому», какъ общественному пріятному событію; всѣ обратились къ Загоскину: знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы обратились со всѣми знаками уваженія, съ восторженными похвалами; всѣ, кто жили или пріѣзжали въ Москву, ѣхали къ Загоскину; кто были въ отсутствіи, писали къ нему. Всякій день получалъ онъ письма, лестныя для авторскаго самолюбія» [3]). Между прочимъ Жуковскій писалъ Михаилу Николаевичу такъ: «Благодарю, очень благодарю васъ за присылку вашего романа и за особенное удовольствіе, которое вы доставили мнѣ, давъ случай прочесть его. Вотъ что со мною случилось: получивъ вашу книгу, я раскрылъ ее съ нѣкоторою къ ней недовѣрчивостію и съ тѣмъ только, чтобы заглянуть въ нѣкоторыя страницы, получить какое-нибудь понятіе о слогѣ вообще. Но съ первой страницы перешелъ я на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышло наконецъ, что я всѣ три томика прочиталъ въ одинъ присѣстъ, не покидая книги до поздней ночи. Это для меня рѣшительное

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 270.
[2]) Сѣверная Пчела 1830 г., № 9.
[3]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 270—271.

доказательство достоинства вашего романа. Я не могъ себя никогда принудить продолжать чтеніе такого романа, въ которомъ нѣтъ занимательности для любопытства, то-есть, хорошо запутанныхъ и хорошо распутанныхъ происшествій и занимательности для ума, то-есть, истины и простоты, съ нею неразлучной. Какой-бы ни былъ слогъ, каковъ-бы ни былъ въ другихъ отношеніяхъ талантъ автора, но романъ безъ этихъ двухъ главныхъ принадлежностей будетъ скученъ. Вотъ почему я прочиталъ раза по четыре романы Вальтеръ-Скотта и не могъ дочитать «Новой Элоизы», въ которой все, что не романъ, такъ превосходно» [1]). Пушкинъ, вручая экземпляръ «Юрія Милославскаго» своей сестрѣ, Ольгѣ Сергѣевнѣ, сказалъ: «Да будетъ эта прелесть твоею настольною книгой» [2]). А. Н. Оленинъ, И. И. Дмитріевъ, кн. Шаховской, Гнѣдичъ, Крыловъ и другіе горячо и искренно привѣтствовали торжество новаго таланта. Князь Шаховской, въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Загоскину, слѣдующимъ образомъ описываетъ литературный обѣдъ у графа Ѳ. П. Толстаго, на которомъ шла рѣчь о «Юріѣ Милославскомъ»: «Я уже совсѣмъ одѣлся, чтобы ѣхать на свиданіе съ нашими первоклассными писателями, какъ вдругъ принесли мнѣ твой романъ; я ему обрадовался и повезъ съ собою мою радость къ гр. Толстому. Но тамъ меня ею уже встрѣтили. Первое дѣйствующее лицо авторскаго обѣда, явившееся на сцену, былъ Пушкинъ, и тотчасъ заговорилъ о тебѣ; Пушкинъ восхищался отрывками твоего романа, которые онъ читалъ въ журналѣ; входитъ Крыловъ изъ дворца: разсказы о тебѣ и улыбательныя одобренія твоему роману; входитъ Гнѣдичъ: въ восхищеніи отъ твоего прекраснаго романа; наконецъ, является Жуковскій и, сказавъ два слова, объявляетъ, что не спалъ вчера во всю ночь — отчего-же? Все-таки отъ твоего романа, который онъ получилъ, развернулъ, хотѣлъ прочесть кос-что, и, не сходя съ мѣста, и не ложась спать, не могъ не прочесть всѣхъ трехъ томовъ; а это самая лучшая похвала, какую онъ могъ сдѣлать твоему сочиненію. Онъ просилъ меня тотчасъ къ тебѣ написать о дѣйствіи, которое ты надъ нимъ произвелъ, о своей благодарности и о томъ, что хотя онъ еще

---

[1]) Раутъ, *Сушкова*, кн. III, стр. 301—302.

[2]) Историческій Вѣстникъ 1858 г., апрѣль, стр. 332—333. Изъ семейной хроники, Л. Н Павлищева.

не успѣлъ поднести твоего романа императрицѣ, но предварилъ ее, что она увидитъ диво на нашемъ языкѣ» [1]). С. Т. Аксакову Шаховской писалъ: «Романъ Загоскина «Юрій Милославскій» превозносится до небесъ всѣми читавшими его, кромѣ Греча и товарищей. Жуковскій спрашивалъ меня о чинѣ Михаила Николаевича и его адресѣ, чтобы сообщить его секретарю императрицы, которой онъ представилъ «Юрія Милославскаго», и она его читала съ удовольствіемъ. Судя по словамъ Жуковскаго, который не хотѣлъ вполнѣ открыть тайны, нашъ другъ долженъ получить на этихъ дняхъ благодарность и, кажется, съ очевиднымъ доказетельствомъ» [2]).

Вигель, страдавшій глазною болѣзнью, отложилъ было чтеніе «Юрія Милославскаго» до весны, но полюбопытствовалъ прочитать странички двѣ-три, «да какъ началъ», говоритъ онъ, «захотѣлось болѣе, и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, однимъ словомъ, не могъ съ нимъ разстаться, такъ что и по вечерамъ досталось бѣднымъ глазамъ моимъ. Чего вы болѣе хотите, и что могу я прибавить ко всѣмъ похваламъ, которыя отовсюду здѣсь слышу и которыя вѣрно дойдутъ или дошли уже до васъ. Какой прекрасный подарокъ литературѣ всей Россіи! C'est charmant c'est charmant, только и могу я сказать и повторить за другими!» [3]). «Одобреніе любителя, а не знатока въ словесности, еще не можетъ быть довольно лестно для васъ», писалъ Вигель, «но вотъ что я вамъ поразскажу: на дняхъ обѣдало насъ много у Дашкова, и зашелъ разговоръ о новомъ романѣ; кромѣ Жуковскаго, меня и одного весьма умнаго молодаго человѣка Титова, тутъ не было никого, кто бы его читалъ. Я далъ говорить Жуковскому; жаль, что васъ тутъ не было, чтобы послушать. Видя, что не довѣряютъ его, какъ казалось, чрезмѣрнымъ похваламъ, онъ началъ серьезно сердиться, а я сказалъ только: «Господа, не спорьте, а прочитайте!» Жуковскій хотѣлъ къ вамъ самъ писать, а на случай, что не тотчасъ успѣетъ, ибо онъ ужасно занятъ, просилъ меня сказать вамъ его дружескій поклонъ, и что романъ вашъ онъ не прочелъ, а пожралъ. Другой нашъ поэтъ, не совсѣмъ безъизвѣстный, Пушкинъ, въ восторгѣ отъ васъ. Я испол-

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III, стр 271—272.
[2]) Русскій Архивъ 1873 г., кн. I, стр. 0472.
[3]) Раутъ, *Сушкова*, кн. III, стр. 309—310

нилъ ваше порученіе и послалъ ему назначенный экземпляръ, но онъ уже прежде читалъ. Третьяго дня приносилъ ко мнѣ прилагаемое у сего письмо, но я былъ боленъ и не могъ его видѣть и принять. Говорятъ, что Алексѣй Перовскій-Погорѣльскій хочетъ одною журнальною статьею вѣнчать своего соперника, а Пушкинъ говоритъ, что если онъ не отдастъ всей справедливости, и похвалы его будутъ слабы, то онъ берется за перо и накатаетъ все, что чувствовалъ при чтеніи вашего творенія. En un mot, le succés est complet» [1]). Изъ письма М. Н. Загоскина къ Лобанову (отъ 9-го января 1830 г.), видно, что даже Россійская академія обратила вниманіе на «Юрія Милославскаго», какъ на явленіе выдающееся: «Ты спрашиваешь меня, любезный другъ, что можетъ для меня быть пріятнѣе, получить ли даръ академіи, или быть ея членомъ! Разумѣется, быть членомъ. Я эту честь почту самой лестной для меня наградою: я, надѣясь на твою дружбу и благорасположеніе почтеннаго президента, буду ожидать съ нетерпѣніемъ истинно пріятной для меня вѣсти, что я могу уже назвать большую часть прежнихъ моихъ сослуживцевъ моими сочленами» [2]). Въ этомъ же письмѣ Загоскинъ говоритъ объ успѣхѣ своего романа въ Москвѣ: «Еслибы онъ имѣлъ такой же успѣхъ у васъ, какъ здѣсь, то мнѣ ничего не осталось бы желать; въ три дня разошлось пятьсотъ экземпляровъ и кажется скоро дойдетъ до второго изданія» [3]).

« Многое измѣнилось вокругъ Загоскина», разсказываетъ С. Т. Аксаковъ: «недоброжелатели сдѣлались друзьями, порицатели комика—хвалителями романиста, съ важностью прибавляя, что наконецъ Загоскинъ напалъ на настоящую дорогу. Женщины не остались равнодушными въ общемъ дѣлѣ, и много прекрасныхъ писемъ получилъ Загоскинъ отъ женщинъ, совершенно ему незнакомыхъ; однимъ словомъ, онъ сдѣлался знаменитостью, моднымъ человѣкомъ, необходимостью обѣдовъ, баловъ, раутовъ и бесѣдъ съ литературнымъ направленіемъ, львомъ тогдашняго времени. Вниманіе и одобреніе государя довершило торжество Загоскина» [4]).

---

[1]) Раутъ, *Сушкова*, кн. III, стр. 311—312.
[2]) Историческій вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 696.
[3]) Тамъ же, стр. 696.
[4]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 272.

«Загоскина принялъ государь съ особенною благосклонностью», писалъ М. П. Погодинъ Шевыреву 23-го марта 1830 года [1]). «Въ бытность свою въ Москвѣ», такъ писалъ самъ Михаилъ Николаевичъ Лобанову въ августѣ 1830 года, «императоръ призывалъ меня къ себѣ, проговорилъ со мною въ своемъ кабинетѣ съ полчаса и осыпалъ ласками; это самая лестная награда за мои литературные труды, и я, конечно, не имѣлъ никакого права надѣяться заслужить ее. Скажу тебѣ еще диковинку на счетъ второго изданія моего романа. Отгадаешь ли, что въ первый день, какъ оно появилось въ свѣтъ, его взяли 750 экземпляровъ. Я и самъ не вѣрилъ, но издатель показалъ мнѣ даже деньги. Слава Богу! Это доказываетъ, что и у насъ начинаютъ любить читать русскія книги» [2]).

Среди искреннихъ похвалъ роману Загоскина раздавались и голоса людей, хваливших его по расчетамъ партіи; были и прямо неблагосклонные отзывы: эти послѣдніе принадлежали его старинным врагамъ. Въ письмѣ Погодина къ С. П. Шевыреву въ февралѣ 1830 года читаемъ: «Романъ Загоскина весь вышелъ въ мѣсяцъ, и начинается второе изданіе. Видишь, у насъ есть читатели! Булгарина было почти ругательство на него, и всѣ пришли въ ужасное негодованіе. Противоположная партія даже нарочно славитъ Загоскина, чтобы уронить Булгарина» [3]).

Гречъ, повидимому, тоже отнесся недоброжелательно къ Загоскину. Послѣдній послалъ ему нѣсколько экземпляровъ своего романа для раздачи петербургскимъ своимъ знакомымъ: Крылову, Гнѣдичу, Лобанову, но Гречъ медлилъ исполненіемъ этого порученія: «Я узналъ, что Николай Ивановичъ», писалъ Загоскинъ, «не очень торопился исполнить мою комиссію и доставить тебѣ и другимъ моимъ петербургскимъ пріятелятъ экземпляры моего романа; я по какому-то глупому добродушію полагалъ, что товарищъ Булгарина, съ которымъ я осмѣлился вступить въ состязаніе, сохраняетъ еще ко мнѣ прежнюю пріязнь. Видно, я вѣкъ останусь ребенкомъ» [4]). По поводу статьи Булгарина о «Юріи Милославскомъ» между имъ и Воейковымъ возникла яростная

---

[1]) Русскій Архивъ 1882 г., кн. III, стр. 162.
[2]) Историческій Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 697.
[3]) Русскій Архивъ 1882 г., кн. III, стр. 132.
[4]) Ненапечатанное письмо къ Н. И. Гнѣдичу, отъ 14-го января 1830 г.

полемика. Статья эта была напечатана въ Сѣверной Пчелѣ 1830 года (№№ 7, 8 и 9). Начавъ похвалами таланту Загоскина, критикъ затѣмъ принялся съ мелочною придирчивостью перечислять историческіе, этнографическіе и стилистическіе промахи романа и оканчивалъ такимъ замѣчаніемъ: «жаль, что г. Загоскинъ обратилъ свой пріятный талантъ на произведенія, которыя требуютъ въ авторѣ иного: надобно многое знать, многое прочесть до сочиненія романа историческаго Нашъ авторъ удачно представилъ нѣкоторые карикатурные характеры и передалъ бесѣды и толки нынѣшнихъ крестьянъ и т. п. весьма успѣшно; но не того ожидали и требовали читатели. Совѣтуемъ ему не вѣрить тѣмъ, которые станутъ въ глаза хвалить его и увѣрять, что онъ рожденъ для сочиненій въ семъ родѣ. Совѣтуемъ ему оставить исторію и древности въ покоѣ и заняться сочиненіемъ романовъ изъ нынѣшняго дворянскаго, купеческаго и болѣе мужицкаго быта, да попросить какого-нибудь семинариста выправлять его рукописи до отдачи ихъ въ типографію» [1]). **Нападки Сѣверной** Пчелы раздражали Михаила Николаевича, и въ письмѣ къ **Лобанову**, отъ 22-го января 1830 г., онъ отзывался о своихъ литературныхъ врагахъ слѣдующими словами: «Вчера я заглянулъ въ Сѣверную Пчелу: кажется, мнѣ въ ней достается порядкомъ. Неизмѣнный другъ Грибоѣдова, чувствительный Ѳаддей, ополчился противъ дерзкаго Русскаго, который хочетъ писать о Русскихъ не хуже Поляка, и наканунѣ выхода въ свѣтъ «Димитрія Самозванца» ругаетъ сочиненіе, написанное въ томъ же родѣ. Ну, есть ли стыдъ въ этихъ литературныхъ торгашахъ! И я хорошъ! Упоминать о стыдѣ, когда дѣло идетъ о парнасскихъ лоскутникахъ Гречѣ и Булгаринѣ, которые, не краснѣя, хвалятъ самихъ себя; не краснѣя, называютъ невѣжами и педантами всѣхъ тѣхъ, коимъ не нравится Выжигинъ; не краснѣя, гравируютъ свои портреты и, не краснѣя, называютъ своими друзьями извѣстныхъ друзей, которые не вопіютъ на сію обидную клевету потому только, что мертвые отвѣчать не могутъ. Извини, мой другъ, что я запачкалъ письмо мое именами сихъ журнальныхъ гаеровъ» [2]). Въ ненапечатанномъ письмѣ къ Гнѣдичу, отъ 14-го января 1830 г., Загоскинъ выражается о Булгаринѣ еще рѣзче.

---

[1]) Сѣверная Пчела 1830 г., № 9.
[2]) Историческій Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 698—'99.

Надо замѣтить, что и въ похвальныхъ отзывахъ, которые получилъ Загоскинъ по поводу «Юрія Милославскаго», были дѣлаемы указанія слабыхъ сторонъ этого романа, но къ такимъ замѣчаніямъ Михаилъ Николаевичъ относился иначе и во многомъ съ ними соглашался. Такъ, въ письмѣ къ Гнѣдичу, отъ 22-го января 1830 г. онъ говоритъ: «Первое твое замѣчаніе совершенно справедливо, а о второмъ я немного съ тобой поспорю. Не понимаю самъ, какъ могъ я, имѣя въ рукахъ своихъ описаніе Запорожской Сѣчи, въ которомъ упоминается не только о ихъ законахъ, военныхъ подвигахъ, политическомъ существованіи, но даже о мелкихъ подробностяхъ, касающихся до ихъ домашняго быта, обычаевъ и нравовъ, сдѣлать такой непростительный анахронизмъ. Виноватъ, проглядѣлъ кудри! Во второмъ изданіи непремѣнно исправлю. Но волжскую пѣснь онъ пѣть весьма можетъ; онъ родился въ Царицынѣ, былъ долго волжскимъ рыбакомъ и, вѣроятно, долженъ запѣть скорѣе какую-нибудь пѣсню затверженную имъ въ молодости, чѣмъ другую. Я даже хотѣлъ съ перваго приступа показать, что онъ не украинскій казакъ; я въ немъ хотѣлъ представить, во первыхъ, чистаго русскаго, а во вторыхъ, то, что французы называютъ officier de fortune; онъ служилъ и у поляковъ и противъ поляковъ, былъ украинскимъ казакомъ и запорожцемъ, и наконецъ поступилъ въ нижегородское ополченіе. Можетъ быть, я не хорошо выполнилъ собственное намѣреніе, но волжская пѣснь попала въ романъ не ошибкою. Я охотно бы тебя послушался и назвалъ его просто казакомъ, еслибъ для этого не долженъ былъ передѣлать весьма многое; впрочемъ, если я исправлю первую ошибку, и кудри перестанутъ развѣваться, то, кажется, это лицо не будетъ анахронизмомъ: все, что онъ говоритъ относительно къ своему званію запорожскаго казака, основано на фактахъ» [1]).

Жуковскій тоже сдѣлалъ со своей стороны нѣсколько замѣчаній: «Желая сохранить истину въ разговорѣ (который всегда у васъ живъ, безъ излишностей, и прекрасно замѣняетъ простое описаніе), вы иногда увлекаетесь и нѣсколько пестрите языкъ свой тѣми ошибками простонароднаго языка, которыя въ языкѣ, какъ орудіе писателя, составляютъ нечистоту и небрежность. Надобно непремѣнно согласить

---

[1]) Историческій Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 695.

истину костюма съ требованіями языка, который во всякомъ случаѣ долженъ быть классическимъ. Это трудно, но возможно и необходимо» [1]).

Въ Литературной Газетѣ Дельвига Пушкинъ помѣстилъ такой отзывъ объ «Юріи Милославскомъ»: «Загоскинъ точно переноситъ насъ въ 1612 годъ. Добрый нашъ народъ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши—все это угадано, все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должно было дѣйствовать, чувствовать въ смутныя времена Минина и Авраамія Палицына. Какъ живы, какъ занимательны сцены старинной русской жизни, сколько истины, добродушной веселости въ изображеніи характеровъ Кирши, Алексѣя Бурнаша, Ѳедьки Хомяка, пана Копычинскаго, батьки Еремѣя! Романическое происшествіе безъ насилія входитъ въ раму обширнѣйшаго происшествія историческаго. Авторъ не спѣшитъ своимъ разсказомъ, останавливается на подробностяхъ, заглядываетъ и въ сторону, но никогда не утомляетъ читателя. Разговоръ (живой, драматическій вездѣ, гдѣ онъ простонароденъ) обличаетъ мастера своего дѣла. Но неоспоримое дарованіе г. Загоскина замѣтно измѣняетъ ему, когда онъ приближается къ лицамъ историческимъ Рѣчь Минина на нижегородской площади слаба: въ ней нѣтъ порывовъ народнаго краснорѣчія. Боярская дума изображена холодно. Можно замѣтить два-три анахронизма и нѣкоторыя погрѣшности противъ языка и костюма... Но сіи мелкія погрѣшности и другія, замѣченныя въ 1-мъ № Московскаго Вѣстника нынѣшняго года, не могутъ повредить блистательному, вполнѣ заслуженному успѣху «Юрія Милославскаго» [2]).

Статья Московскаго Вѣстника, на которую ссылался Пушкинъ, принадлежала С. Т. Аксакову; этотъ критикъ Загоскина, указавъ въ его романѣ довольно много всякаго рода преимущественно стилистическихъ ошибокъ, вообще отзывался объ этомъ произведеніи съ большою похвалою. «Наконецъ словесность наша», писалъ онъ, «обогатилась первымъ историческимъ романомъ, первымъ твореніемъ въ этомъ родѣ, которое имѣетъ народную физіономію: характеры, обычаи, нравы, костюмъ, языкъ. Это небывалое явленіе на горизонтѣ нашей словесности. Весь романъ есть одна изъ пріятнѣйшихъ и замѣчательныхъ страницъ въ

---

[1]) Раутъ, *Сушкова*, кн. III. стр. 304.
[2]) Соч. Пушкина, изд. Литературнаго фонда, т. V, стр. 84—85

лѣтописяхъ нашей словесности» [1]). С. П. Шевыревъ, находившійся въ это время въ Италіи, получилъ отъ одного изъ своихъ знакомыхъ письмо, въ которомъ между прочимъ читаемъ: «Дѣйствительно утѣшительное явленіе въ нашей литературѣ въ нынѣшнемъ году—это «Юрій Милославскій или Русскіе въ 1612 году». Я никогда не думалъ, чтобы Загоскинъ могъ такъ удачно написать что-либо въ семъ родѣ. Въ этомъ романѣ столько русскаго, роднаго, оригинальнаго, что невольно привязываешься къ нему, какъ къ другу. Съ нимъ сливаются также и нѣкоторыя пріятныя воспоминанія. Булгаринъ съ остервенѣніемъ напалъ на него, произошла перебранка по сему случаю между нимъ и Воейковымъ, и вслѣдствіе сего за разныя ихъ дерзости и неприличія велѣно было, по высочайшему повелѣнію, разсадить по гауптвахтамъ этихъ двухъ молодцовъ и съ ними Греча, которые и высидѣли тамъ нѣсколько часовъ въ утѣшеніе всѣхъ честныхъ людей и въ поученіе Полевыхъ съ братіей» [2]).

Такимъ образомъ, вообще «Юрій Милославскій» вызвалъ восторгъ не только въ простыхъ читателяхъ, но и въ большинствѣ литературныхъ судей. Причина этого восторга заключалась въ томъ, что это былъ первый русскій историческій романъ, написанный дѣйствительно съ талантомъ. Впослѣдствіи Бѣлинскій хотя и не признавалъ за этимъ произведеніемъ художественной полноты и цѣлости, однако указывалъ, какъ на отличительныя черты его, на необыкновенное искусство автора въ изображеніи быта нашихъ предковъ, необыкновенную теплоту чувства, увлекательность разсказа, новость избраннаго авторомъ поприща, на которомъ онъ не имѣлъ себѣ ни образца, ни предшественника [3]). Позднѣе тотъ же критикъ еще разъ возвратился къ сужденію объ этомъ произведеніи. «Юрій», говорилъ онъ, «явился очень во время, когда всѣ требовали русскаго и русскаго: вотъ причина его необыкновеннаго успѣха.. Историческаго въ немъ было, надо сказать правду, очень мало, если исключить собственныя имена, числа и внѣшнія событія Русскіе люди первой половины XVII вѣка у За-

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 308, 309, 317.

[2]) Русскій Архивъ 1878 г., т. II, стр. 49. Изъ бумагъ С. П. Шевырева. Ср. также Записки о моей жизни, Н. И. Греча С.-Пб. 1886, стр. 458—459.

[3]) Соч. Бѣлинскаго, ч. 1, стр. 120.

госкина очень похожи на мужичковъ и бородатыхъ торговцевъ нашего времени. Герой—образъ безъ лица, не человѣкъ и не тѣнь: его ни руками схватить, ни глазами увидѣть; но что всего забавнѣе, этому безтѣлесному существу авторъ навязалъ понятія, чувства и деликатность сентиментальныхъ героевъ прошлаго вѣка Замашка основать русскій романъ XVII вѣка на любви показываетъ, что авторъ не вникъ въ бытъ старой Руси и увлекался подраженіями Вальтеръ-Скотту. Всѣ лица романа—осуществленіе личныхъ понятій автора; всѣ они чувствуютъ его чувствами, понимаютъ его умомъ. Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ нравятся въ чтеніи потому, что авторъ умѣлъ придать имъ какой-то призракъ дѣйствительности, и это умѣнье обличало въ немъ прежняго драматическаго писателя. Особенно же нравятся эти лица тѣмъ достолюбезнымъ добродушіемъ, которое умѣлъ придать имъ авторъ. Познакомившись съ такимъ лицомъ по одной страницѣ романа, вы знаете, что онъ будетъ говорить и дѣлать на другой, третьей и такъ до послѣдней, а все-таки съ удовольствіемъ слѣдите за нимъ Но герои добра и зла ужасно неудачны: мы говорили уже о самомъ Милославскомъ, а теперь скажемъ, что и таинственный незнакомецъ, открывающійся потомъ Мининымъ, не лучше его; бояринъ Кручина и другъ его сбиваются на мелодраматическихъ злодѣевъ... И однакожъ романъ произвелъ въ публикѣ фуроръ; онъ былъ первая попытка на русскій историческій романъ; сверхъ того, въ немъ много теплоты и добродушія, которыя сдѣлали его живымъ и одушевленнымъ; разсказъ легкій, льющійся, увлекательный: ничему не вѣрите, а читаете словно «Тысячу и одну ночь». Его и теперь можно перелистывать съ удовольствіемъ, какъ, вѣроятно, вы перелистываете иногда «Робинзона Крузо», который въ дѣтствѣ доставлялъ вамъ столько чистѣйшаго и упоительнѣйшаго наслажденія» [1]).

Между тѣмъ, какъ «Юрій Милославскій» упрочивалъ громкую извѣстность Загоскина, личное положеніе автора все еще было таково, что онъ не могъ быть имъ доволенъ. По прежнему, онъ все еще стремился въ Петербургъ: «Ты удивляешься», писалъ онъ Лобанову, «почему я, такъ сказать, приросъ къ Москвѣ Что дѣлать, любезный другъ!

---

[1]) Соч. Бѣлинскаго. ч. VI, стр. 68, 142—143.

Жена моя шестой годъ больна и не можетъ проѣхать двухъ верстъ въ каретѣ; слѣдовательно, я не могу и думать перемѣнить мое мѣстопребываніе. А съѣздить такъ, на время, для этого надобно какой-нибудь законный предлогъ. Ты не можешь вообразить, какъ мнѣ хочется самому взглянуть на Петербургъ и на петербургскихъ друзей моихъ! Повторяю еще разъ: что же дѣлать? Не такъ живи, какъ хочешь, а такъ, какъ Богъ велѣлъ» [1]). И нельзя не признать, что постоянное пребываніе въ одномъ городѣ вредно вліяло на дарованіе писателя, ограничивая его кругозоръ, тѣмъ болѣе, что Загоскинъ былъ по преимуществу наблюдатель дѣйствительности. Тѣ же жалобы, которыя мы привели изъ письма къ Лобанову, встрѣчаются и въ ненапечатанномъ письмѣ Загоскина къ Гнѣдичу, отъ 14-го января 1830 года: «Что тебѣ сказать, мой милый другъ, о моемъ московскомъ бытьѣ-житьѣ? Единообразіе, скука, тоска и какая-то растительная жизнь, разумѣется, за исключеніемъ нѣсколькихъ пріятныхъ часовъ—вотъ характеристика моего здѣшняго существованія. Театральныя хлопоты и сплетни надоѣли мнѣ до того, что я далъ честное слово не писать ничего для театра, и когда не буду служить при дирекціи, то забуду навсегда о существованіи въ Москвѣ театра, для которой довольно бы было и одной медвѣжьей травли».

Кромѣ частныхъ причинъ, на душевное настроеніе писателя могло вліять и то, что трудъ его былъ конченъ, и онъ испытывалъ ту «непонятную грусть», которая всегда за этимъ наступаетъ для творца. Говорятъ, что Пушкинъ, бесѣдуя съ сестрой своей о достиженіи Загоскинымъ намѣченной цѣли—окончанія продолжительнаго (de longue haleine) романа, высказался ей приблизительно въ слѣдующихъ словахъ: «Je félicite Загоскинъ de coeur et d'âme: son bût est atteint. Mais en est-il content? Croyez moi, que chacun de nous—poêtes ou ramanciers—c'est bien égal,—après avoir fini son ouvrage, devi nt fort triste, quand il envoie un tendre adieu aux p rsonnages, quoique crées par son imagination, mais avec lesquels il s'est identifié». Затѣмъ Пушкинъ прочиталъ стихи: «Мигъ вожделѣнный насталъ». и проч. [2]).

---

[1]) Историческій Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 696.
[2]) Историческій Вѣстникъ 1888 г., т. 32, стр. 333.

Къ этому времени относится изображеніе Загоскина, сохранившееся въ запискахъ Т. П. Пассекъ: «Загоскинъ жилъ тогда въ Старой Конюшенной, въ приходѣ Власа, съ женой и дѣтьми, въ антресоляхъ небольшого дома, принадлежавшаго Новосильцову. Однажды мы заѣхали къ Михаилу Николаевичу. Мы вошли въ гостиную. Это была довольно широкая комната, съ низкимъ потолкомъ; въ ней находился диванъ и нѣсколько креселъ, обитыхъ потертой зеленой кожей; передъ диваномъ стоялъ краснаго дерева столъ. Въ гостиной никого не было. Спустя нѣсколько минутъ, въ нее вошелъ Михаилъ Николаевичъ. Онъ напоминалъ своего брата, Николая Николаевича, ростомъ, наклонностью въ полнотѣ и открытымъ, добродушнымъ выраженіемъ лица. Цѣлый лѣсъ каштановыхъ волосъ осѣнялъ его свѣжее, румяное лицо; прекрасные, темные глаза смотрѣли живо и весело. На красивомъ ртѣ играла пріятная улыбка. Пріемы его были просты, разговоръ быстръ, въ голосѣ слышалась задушевная струя Онъ съ увлеченіемъ разсказалъ намъ о своемъ дѣтствѣ и воспитаніи, о томъ, какъ, желая выучиться французскому языку, онъ вытвердилъ наизустъ французскій лексиконъ отъ доски до доски. Съ восторгомъ говорилъ о Россіи и обо всемъ отечественномъ; бранилъ нѣмцевъ и французовъ и обозвалъ нѣкоторыхъ изъ иностранныхъ писателей свиньями. Въ это время онъ писалъ своего «Юрія Милославскаго», не ожидая такого блестящаго успѣха, какой имѣлъ этотъ романъ Съ перваго знакомства со мною Михаилъ Николаевичъ расположился ко мнѣ тепло, съ большимъ участіемъ и до конца жизни своей сохранилъ эти чувства» [1]).

Тѣ люди, которыхъ мнѣніемъ дорожилъ Загоскинъ, побуждали его къ новому труду. Они видѣли въ «Юріи Милославскомъ» только начало, первый шагъ на томъ истинномъ пути, на который теперь Загоскинъ вышелъ. «Поздравляю васъ съ счастливымъ началомъ», писалъ ему Жуковскій, «и отъ всего сердца говорю вамъ: продолжайте! Вы теперь попали на ту дорогу, по которой можете идти твердымъ шагомъ; историческій романъ—ваше дѣло;ройтесь въ лѣтописяхъ, добавляйте недостающее въ нихъ воображеніемъ и тѣмъ, что наблюдательный глазъ вашъ замѣтилъ въ насто-

[1]) Русская Старина, т. XVI, стр. 102—103.

ящемъ, которому давайте своимъ талантомъ вѣроятный цвѣтъ прошедшаго· жатва можетъ быть для васъ богатая» [1]). «Дай Богъ вамъ многія лѣта, то есть, дай Богъ вамъ многіе романы»,—читаемъ въ письмѣ Пушкина [2]). Гнѣдичъ и Вигель также совѣтовали Загоскину идти по избранному пути.

Побуждаемый дружескими совѣтами и ободренный успѣхомъ, Михаилъ Николаевичъ принялся немедленно, въ началѣ 1830 года, за новый романъ—изъ эпохи Отечественной войны [3]).

Жуковскій, услыхавъ объ этомъ, писалъ Загоскину: «Мнѣ сказывалъ князь Шаховской, что вы въ pendant вашему 1612 году пишете романъ 1812 года; не хочу съ вами спорить, но боюсь великихъ предстоящихъ вамъ трудностей. Историческія лица 1612 года были въ вашей власти: вы могли выставлять ихъ по произволу; историческія лица 1812 года вамъ не дадутся. Съ первыми вы легко могли познакомить воображеніе читателя, и онъ, благодаря вашему таланту, увѣренъ съ вами, что они точно были такими, какими ваше воображеніе ихъ представило ему; съ послѣдними этого сдѣлать нельзя: мы знаемъ ихъ; мы слишкомъ къ нимъ близки; мы уже предупреждены на счетъ ихъ, и существенность для насъ загородитъ вымыселъ; впрочемъ, нѣтъ невозможнаго. Я говорю только: трудно; на всякомъ шагу порогъ, и споткнуться легко. По прочтеніи романа вашего пришла мнѣ въ голову мысль для другого романа: напишите 1613 годъ; главнымъ происшествіемъ около котораго все можетъ группироваться, пусть будетъ молодой царь Михаилъ Ѳедоровичъ и Иванъ Сусанинъ; выведите на сцену нѣкоторыхъ изъ героевъ, намъ уже извѣстныхъ въ первомъ романѣ и потому уже привлекательныхъ для воображенія; въ первомъ романѣ Россія и все въ немъ тогдашняго времени, съ Пожарскимъ, Мининымъ, Трубецкими и другими, оставлены были вами на второмъ планѣ (что выгодно было для самаго романа, но мало соотвѣтствуетъ титулу «Русскіе 1612 года»); въ послѣднемъ все это могло бы быть приближено къ первому плану, и

---

[1]) Раутъ, *Сушкова*, кн. III, стр. 302.
[2]) Соч. Пушкина, изд. Литературнаго фонда, т. VII, стр. 215.
[3]) Письмо къ Лобанову, отъ 30-го января 1830 года. Историческій Вѣстникъ 1882 г., томъ II, стр. 696—697.

передъ вами развернулась бы картина, кипящая жизнью съ нѣкоторыми разительными лицами на самомъ первомъ планѣ, каковы Пожарскій, царь Михаилъ и его опасности, Сусанинъ и его самопожертвованіе; разумѣется, что и Кирша, и Милославскій были бы не забыты. Не знаю, будетъ ли по вкусу вашему предлагаемая мною задача; мнѣ она представила что-то исключительное. Но передъ вами обширное поле, только пишите; желаю сердечно, чтобы вашъ 1812 годъ такъ же былъ удаченъ, какъ вашъ 1612 годъ» [1]).

Загоскинъ самъ призналъ справедливость замѣчанія Жуковскаго относительно выбора эпохи, близкой, почти современной. Вотъ что говорилъ онъ Гнѣдичу въ ненапечатанномъ письмѣ, отъ 27-го апрѣля 1830 года: «Исполняю твое приказаніе, то-есть, пишу, пишу романы, но съ мѣсяцъ былъ боленъ и не принимался за перо, да и надобно сказать, взялся я за тяжелое дѣло; съ этими современниками трудно ладить: скажешь что-нибудь объ одномъ, говори и о другомъ, а не то разсердятся. Однако жъ я надежды не теряю. Богъ милостивъ, авось я съ ними управлюсь».

Въ маѣ 1830 года были уже написаны нѣкоторыя части романа, и Загоскинъ познакомилъ съ ними С. Т. Аксакова. Вотъ мнѣніе о нихъ послѣдняго, изложенное въ письмѣ его къ Шевыреву: «Загоскинъ пишетъ другой романъ: «Славскій (или Славинъ) или Русскіе въ 1812 году». Это предпріятіе весьма трудное. Я читалъ эпизодическіе разсказы военныхъ пріятелей и восхищался! Это прелесть: смѣшно, любопытно и страшно. Но частная красота можетъ составить безобразную черту въ цѣломъ уродѣ» [2]).

Избравъ эпоху для своего романа слишкомъ близкую, Загоскинъ могъ многое писать, какъ очевидецъ, или получать свѣдѣнія отъ участниковъ въ Отечественной войнѣ. Такъ, за свѣдѣніями о Фигнерѣ онъ обращался къ Д. В. Давыдову Послѣдній прислалъ ему «описаніе» Фигнера и выразилъ готовность сообщать свѣдѣнія о происшествіяхъ и лицахъ войнъ Наполеоновыхъ [3])

---

[1]) Раутъ, *Сушкова*, кн. III, стр. 302—303.
[2]) Русскій Архивъ 1878 г., кн. II, стр. 52
[3]) Раутъ, *Сушкова*, кн. III. стр. 313—314.

Публика съ нетерпѣніемъ ожидала новаго романа, слухи о которомъ, проникая въ общество, волбуждали его любопытство. Къ 20-му ноября 1830 года было написано уже три части. Обстоятельства, въ которыхъ приходилось оканчивать послѣднюю часть романа, были неблагопріятны для душевнаго настроенія автора: въ концѣ 1830 года въ Москвѣ свирѣпствовала холера, и Михаилъ Николаевичъ упалъ духомъ, подобно многимъ другимъ въ эту ужасную пору. «Печальныя извѣстія сообщу тебѣ», писалъ М. П. Погодинъ 9-го октября 1830 года С. П. Шевыреву, «холера въ Москвѣ усиливалась до вчерашняго числа. Всѣ заперлись. Загоскинъ, Верстовскій какъ зайцы» [1]). Въ другомъ письмѣ Погодинъ писалъ: «Болѣзнь уменьшается у насъ... Загоскинъ, Верстовскій, Кубаревъ — дрянь дрянью: обробѣли и носу не кажутъ никуда» [2]). Несмотря на все это, въ январѣ 1831 года «Рославлевъ» былъ конченъ [3]).

Успѣхъ «Юрія Милославскаго» возбудилъ въ публикѣ преувеличенныя ожиданія относительно новаго произведенія Загоскина, и хотя они не совсѣмъ оправдались для читателей, но для автора были очень полезны въ матеріальномъ отношеніи. Случилось событіе, небывалое до тѣхъ поръ въ нашей книжной торговлѣ. Романъ еще не былъ конченъ, какъ стали просить Загоскина, чтобъ онъ его продалъ. За право напечатать четыре завода, то-есть, 4.800 экземпляровъ, предложили сочинителю сорокъ тысячъ рублей ассигнаціями (а тогда ассигнаціи имѣли большой лажъ), съ тѣмъ только, чтобъ онъ не печаталъ второго изданія въ продолженіе трехъ лѣтъ. «Это невѣроятно, но дѣло было точно такъ и шло черезъ меня», прибавляетъ С. Т. Аксаковъ [4]). Еще невѣроятнѣе, что содержатель типографіи Н. С. Степановъ, покупавшій романъ, не имѣлъ денегъ для такого предпріятія, и что московскіе книгопродавцы купили экземпляровъ будущаго неоконченнаго романа, въ четырехъ небольшихъ частяхъ, съ обыкновенною уступкою двадцати процентовъ за комиссію, на тридцать шесть ты-

---

[1]) Русскій Архивъ, 1882 г., кн. III, стр. 171.
[2]) Тамъ же, стр. 174.
[3]) Тамъ же, стр. 180—181.
[4]) Показаніе Аксакова подтверждается письмомъ Погодина (Русскій Архивъ 1882 г., кн. III, стр. 180—181) и письмомъ самого Загоскина къ М. Е. Лобанову, отъ 2-го февраля 1831 г. (Историческій Вѣстникъ 1880 г., т. II, стр. 701).

сячъ ассигнаціями и внесли деньги впередъ, обязуюсь продавать не дороже двадцати рублей за каждый экземпляръ. «Кто знаетъ незначительность капиталовъ нашихъ московскихъ книгопродавцевъ», прибавляетъ С. Т. Аксаковъ, «ихъ осторожность, даже робость во всѣхъ книжныхъ оборотахъ, тотъ пойметъ, какъ велика была общая вѣра публики въ талантъ автора «Юрія Милославскаго»: поступокъ книгопродавцевъ служитъ только ея выраженіемъ. «Рославлевъ» не вполнѣ удовлетворилъ всеобщему ожиданію, и смѣлое предпріятіе Степанова не имѣло успѣха. Двѣ тысячи четыреста экземпляровъ, купленные книгопрадавцами, разошлись, но затѣмъ требованія на книгу прекратились. Главною причиною неудачи была холера въ Петербургѣ, куда, вмѣсто затребованныхъ 800, отправлено 100 экземпляровъ» [1]).

«Рославлевъ» имѣлъ еще нѣсколько изданій, но опасенія, которыя высказывалъ въ свое время Жуковскій, сбылись: второй романъ Загоскина не имѣлъ уже такого успѣха, какъ первый, и главною причиной тому была избранная авторомъ эпоха: задача оказалась не по силамъ его. «Написать картину двѣнадцатаго года — мысль необдуманно смѣлая», замѣчаетъ С. Т. Аксаковъ. «Еще всѣ актеры, кончивши великую драму, полные ею, стояли въ какомъ-то неясномъ волненіи, смотря съ изумленіемъ на опустѣвшую сцену ихъ дѣйствій, какъ вдругъ начинаютъ имъ представлять ихъ самихъ! Многимъ изъ нихъ это показалось кукольной комедіей» [2]).

Между тѣмъ стало поправляться и личное положеніе Загоскина: въ 1831 году онъ былъ пожалованъ въ званіе камергера высочайшаго двора, назначенъ директоромъ московскихъ театровъ [3]) и избранъ въ дѣйствительные члены Россійской академіи.

Послѣ «Рославлева» Загоскинъ принялся за третій историческій романъ, но, какъ-бы желая избѣгнуть ошибки, сдѣланной въ выборѣ эпохи для «Рославлева», удалился въ эпоху Владиміра Святаго и написалъ «Аскольдову Могилу». Избраніе эпохи, слишкомъ древней, также было не къ вы-

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 278.
[2]) Тамъ же, стр. 279.
[3]) Русскій Архивъ 1870 г., стр. 1558. *Лонгиновъ*. Управленіе русскими театрами.

годѣ автора: возсозданіе ея оказалось невозможнымъ, и «Аскольдова Могила» имѣла еще менѣе успѣха, чѣмъ «Рославлевъ». Огорченный неудачею и непріятными столкновеніями съ тогдашней духовной цензурой [1]), Загоскинъ отказался на время отъ историческаго романа и снова обратился къ театру. Онъ написалъ комедію «Недовольные», а затѣмъ испыталъ свое дарованіе въ разсказахъ фантастическаго содержанія. Однако всѣ эти произведенія не удовлетворили публики: комедія не имѣла успѣха, а «Повѣсти» прошли незамѣченными: счастье какъ будто отвернулось отъ Загоскина на литературномъ поприщѣ

VI.

Переписка съ С. А. Загоскинымъ.—«Искуситель».—«Тоска по родинѣ».—«Нескучное».—Письмо къ П. А. Корсакову. —«Кузьма Петровичъ Мирошевъ».—«Два характера».—«Оффиціальный обѣдъ»

Михаилъ Николаевичъ былъ съ дѣтства набожный, глубоко вѣрующій человѣкъ, но религіозные вопросы не занимали его доселѣ спеціально. Они стали впервые предметомъ его размышленій въ зрѣлые годы, и это должно приписать въ значительной мѣрѣ вліянію брата его Алексѣя, склоннаго къ мистицизму и фанатизму. Въ 1838 году между братьями завязалась переписка о религіозныхъ вопросахъ, любопытная для характеристики понятій Михаила Николаевича объ этомъ предметѣ [2]).

Въ письмѣ своемъ отъ 7-го марта 1838 года онъ говоритъ, что существованіе вѣчнаго мученія за гробомъ и необходимость быть непремѣнно христіаниномъ, для того чтобы спастись,—такія истины, которыя не могутъ быть постигнуты разумомъ. Человѣческое разсужденіе приходитъ въ этихъ вопросахъ къ выводамъ, противорѣчащимъ всякой логикѣ и здравому смыслу. «Въ дѣлахъ религіи нашъ земной

---

[1]) Русская Старина 1889 года, № 8, стр. 277. Дневникъ А. В. Никитенки.

[2]) Эта переписка братьевъ Загоскиныхъ напечатана въ журналѣ Домашняя Бесѣда 1860 года.

разсудокъ плохой путеводитель,» — писалъ онъ брату, — «и если ты вѣришь, что человѣкъ можетъ только или навсегда погибнуть, или навсегда спастись, что первое возможно только для христіанина, и что между этихъ двухъ состояній для души по раздѣленіи ея съ тѣломъ нѣтъ средины, то не говори, по крайней мѣрѣ, что это можно постигнуть разсудкомъ... Я не хочу много болтать», прибавляетъ Загоскинъ и отлагаетъ обмѣнъ мыслей по этому вопросу до личнаго свиданія. Характерно собственное признаніе Михаила Николаевича, что къ религіи онъ относится не разсудочно, что она была для него дѣломъ живаго чувства: «Я во многомъ съ тобою не согласенъ, но можетъ быть потому, что ты хочешь убѣдить мой разсудокъ въ томъ, что самъ понимаешь душою. Напримѣръ, адъ для тебя понятенъ. Лишеніе того блаженства, которымъ ты наслаждаешься во время молитвы, будетъ тебѣ адомъ, а могу ли я понять это состояніе души, когда не испыталъ еще, что такое молитва».

Не любя «философствованія», Михаилъ Николаевичъ иногда очень простодушно отвѣчалъ на длинныя разсужденія брата: «За письмо твое я благодарю тебя отъ всей души, спорить съ тобою не буду, потому что боюсь наврать вздору Но, воля твоя, не дѣлай никогда сравненій земнаго съ неземнымъ. Вѣрить и слѣпо вѣрить можно только душою, а когда дѣло пойдетъ па разсужденія, и вмѣшается нашъ земной разумъ, такъ никакъ не убѣдишься въ томъ, что намъ кажется несовмѣстнымъ съ нашими понятіями о справедливости и милосердіи. Ты думаешь, что дѣти и дикари будутъ спасены; такъ для чего-же не всѣ умираютъ въ младенчествѣ, и не всѣ мы дикари? Если мы до этой жизни не жили гдѣ-нибудь прежде и не были уже виновны прежде нашего появленія въ здѣшнемъ мірѣ, такъ за что такая неравная участь? Итакъ, лучше объ этомъ вовсе не говорить, а просто молить Бога, что-бъ онъ сдѣлалъ насъ младенцами, которые слѣпо вѣрятъ и, не разсуждая, повинуются Его святой волѣ».

Но внутренняя работа уже началась въ душѣ Михаила Николаевича. Отказываясь рѣшать отвлеченные богословскіе вопросы, онъ выражаетъ желаніе бесѣдовать о Спасителѣ и извѣщаетъ брата о перемѣнѣ, которую почувствовалъ въ себѣ: «Я начинаю чувствовать всю мерзость жизни моей и даже начинаю понимать (къ несчастію, очень

рѣдко), въ чемъ состоитъ твое блаженство; иногда душа моя рвется на встрѣчу къ Неизреченному, но, мой милый братъ, не продолжительны бываютъ эти минуты... Благодарю Бога и за это неизъясненное милосердіе Его: я не стою его».

Подъ вліяніемъ брата, который говорилъ, что для пониманія его мыслей необходимо «духовное перерожденіе», Михаилъ Николаевичъ начиналъ желать этого перерожденія, но его продолжалъ смущать вопросъ о правосудіи Божіемъ: «Не будемъ говорить, что тотъ-то погибнетъ, а тотъ-то спасется. Теперь я еще не могу понять, что значитъ спасеніе и гибель, и если я начну думать объ этомъ, придавая слову гибель значеніе вѣчнаго мученія, то душа моя смущается. Вспомни С . . у. Она имѣла много горя въ жизни, а послѣдніе ея годы были не что иное, какъ продолжительное и безпрерывное страданіе. Она была не злодѣйка; напротивъ, сердце ея было добро, но, кажется, она никогда не имѣла этой безпредѣльной любви къ Богу, которая одна можетъ спасти человѣка; слѣдовательно, она спастись не могла; слѣдовательно, она была создана, что бъ страдать продолжительно и перейти отъ временнаго страданія къ страданію вѣчному?... Милосердый Богъ, что-жъ это такое? Нѣтъ, мой другъ, я этого не понимаю». Сомнѣнія мучили Михаила Николаевича, и онъ восклицаетъ! «Ахъ, мой другъ! Богъ видитъ, съ какимъ-бы я восторгомъ отдалъ мой земной умъ и всѣ пріобрѣтенныя мною познанія за слѣпую вѣру простаго, безграмотнаго мужика! Если я добьюсь этого, то буду также счастливъ, какъ и ты. Вѣрить слѣпо! Да это почти то-же, что быть въ раю! Какъ-бы я полюбилъ тогда все, начиная съ смерти, которая для меня теперь ужасна, а тогда была-бы для меня радостью, надеждою и счастьемъ!»

Алексѣй Николаевичъ дѣятельно поддерживалъ переписку съ братомъ и звалъ его къ перерожденію: «О, мой милый другъ Мишель! Если ты послѣдуешь моему совѣту... въ тебѣ воспослѣдуетъ духовное перерожденіе, и ты будешь счастливъ». Эти воззванія имѣли свое дѣйствіе: Михаилъ Николаевичъ уже не возражалъ, находилъ, что его сомнѣнія разрѣшаются, и совершенно убѣдился въ томъ, что «одинъ только человѣкъ, отвергающій милосердіе Божіе, гордящійся своимъ земнымъ умомъ и возлагающій всю надежду свою на собственныя свои силы, погибнетъ, потому

что это сатанинская гордость есть удѣлъ падшихъ ангеловъ, а не блудныхъ дѣтей Господа, которыя и посреди своего разврата чувствуютъ свою грѣховность и милосердіе долготерпѣливаго Отца».

Михаилъ Николаевичъ возымѣлъ мысль о необходимости нравственнаго усовершенствованія и писалъ къ брату: «слѣдуетъ съ помощію Божьею начать свое очищеніе, то-есть, сдѣлать хотя одинъ шагъ къ своему улучшенію». Но Алексѣй Николаевичъ нашелъ, что «эта мысль только повидимому благочестивая, на самомъ же дѣлѣ проистекаетъ изъ вражды къ Богу, показывая скрытное желаніе дѣйствовать независимо отъ Бога». Онъ увидѣлъ въ этомъ грѣхъ, грозившій Михаилу Николаевичу совершенною погибелью, и старался разъяснить брату, что «великая разница между нравственнымъ человѣкомъ и человѣкомъ, желающимъ исполнять волю Божію. Спаситель не сказалъ, что нравственный человѣкъ спасется, а спасется тотъ, кто исполняетъ волю Божію, показавъ симъ, что это двѣ вещи совершенно различныя». Установивъ это различіе, Алексѣй Николаевичъ Загоскинъ говоритъ въ слѣдующемъ письмѣ: «Человѣкъ нравственный почитаетъ невинными удовольствіями все то, что не препятствуетъ достиженію цѣлей нравственныхъ. На этомъ основаніи онъ почитаетъ невинными удовольствіями балы, театры, игры безъ интереса, чтеніе романовъ и проч., а между тѣмъ эти невинныя удовольствія составляютъ одно изъ главныхъ и существенныхъ препятствій къ достиженію духовной жизни, которая есть прямѣйшая обязанность человѣка въ отношеніи къ Богу. Очевидно, что невинныя удовольствія тотъко повидимому невинны. Ты самъ-же, противъ воли, сознаешь это, ибо говоришь, напримѣръ, что священникамъ, монахамъ и вообще духовенству неприлично учавствовать въ невинныхъ удовольствіяхъ, танцовать, бывать въ театрѣ, играть въ карты — неприлично, видишь, потому, что они посвятили себя на служеніе Богу, не исполняютъ, то-есть, воли Божіей». Предвидя возраженіе что нравственность что-нибудь да значитъ, что человѣкъ порочный и человѣкъ нравственный — не одно и то-же, Алексѣй Николаевичъ говоритъ: «Это правда; между порочнымъ человѣкомъ и нравственнымъ существуетъ большая разница, но не передъ Богомъ», и въ доказательство приводитъ сравненіе: «Составляетъ ли разницу для правительства, если въ шайкѣ злоу-

мышленноиковъ одни соблюдали установленный между ними законъ, а другіе нѣтъ?»

Вся эта рѣчь Алексѣя Николаевича клонилась къ тому, чтобы высказать мнѣніе о романѣ брата «Искуситель». «Я не могъ еге прочесть всего. Онъ произвелъ во мнѣ непріятное ощущеніе. Я нашелъ въ немъ одно идолопоклонство и, къ сожалѣнію моему, долженъ сказать тебѣ, что до тѣхъ поръ, пока ты не будешь любить Бога, талантъ твой не можетъ быть полезенъ. Когда же ты получишь духовную жизнь, тогда пиши, пиши сколь возможно болѣе, пиши повѣсти, романы, все, что тебѣ вздумается: любовь твоя къ Богу будетъ проявляться въ твоемъ талантѣ, и тогда ты будешь доставлять имъ существенную пользу».

Какъ ни любилъ Михаилъ Николаевичъ своего брата, но прочтя такое письмо, не могъ не протестовать. «До сихъ поръ я никакъ не считалъ тебя за фанатика, а теперь, признаюсь, начинаю нѣсколько этого бояться, потому что замѣчаю въ тебѣ какой-то не терпящій противорѣчія деспотизмъ, самый вѣрный признакъ фанатизма... У всякаго свой путь, мой другъ; ты хочешь быть побѣдителемъ, а я, если буду на томъ свѣтѣ послѣднимъ изъ слугъ не Господа, — этого я не стою, — но послѣдняго изъ рабовъ Его, то почту себя несказанно счастливымъ, потому что вполнѣ чувствую всю нищету и грѣховность души моей. Другъ мой, Алексѣй! Съ однимъ изъ писемъ твоихъ я не разстаюсь, оно всегда со мной, другія же сушатъ и охлаждаютъ мою душу. Не понимаю я также, мой другъ, почему романъ мой ты зовешь идолопоклонствомъ. Я описываю въ немъ свѣтъ, а не монастырь, и увѣряю тебя, мои намѣренія честны. Я хотѣлъ, мѣшая дѣло съ бездѣльемъ, заставить читать себя и хоть что-нибудь сказать полезное. Ты, вѣроятно, не читалъ въ третьемъ томѣ главу подъ названіемъ «Философическій разговоръ въ харчевнѣ». Прочти его, мой другъ! Я вижу также, что намѣреніе мое показать, что въ нынѣшнемъ такъ называемомъ просвѣщеніи участвуетъ самъ сатана, тебѣ также неизвѣстно. Я пишу для свѣта, который проповѣдей не слушаетъ и часто христіанскихъ книгъ не читаетъ; я пишу также и для того, чтобы честнымъ образомъ устраивать мое и дѣтей моихъ состояніе, и если ты не гнѣваешься на ремесленника, который дѣлаетъ модную мебель и другіе предметы, служа-

щіе для одной роскоши, такъ за чтожъ я у тебя идолопоклонникъ? Видитъ Богъ, не понимаю!»

Инстинктивно понялъ Михаилъ Николаевичъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и вотъ что написалъ онъ брату: «Мнѣ кажется, ты напрасно говоришь: тотъ погибъ, этотъ погибаетъ. Кромѣ Бога, который видитъ сердце человѣческое, никто этого сказать не можетъ. И фарисей думаетъ, что мытарь погибъ, потому что благодарилъ Бога за то, что на него не походитъ. Фарисей былъ гордъ, а ты нѣтъ! Вѣрно мой другъ; но подумай хорошенько. Фарисей хвалится исполненіемъ добродѣтелей ветхаго закона, а еслибъ онъ сталъ говорить нынѣ: «Благодарю Тебя, Господи, что я не живу въ свѣтѣ, что я каждый день бываю у обѣдни и считаю себя хуже всѣхъ. Благодарю тебя, что я не похожъ на этого мытаря, который ѣздитъ по баламъ, забавляется театромъ и не говоритъ, что онъ себя презираетъ, ибо онъ погибъ, а я спасенъ», — не то же-ли самое это будетъ, съ тою только разницею, что онъ хвалился исполненіемъ не Моисеева закона, а христіанскими добродѣтелями? Ты безпрестанно говоришь: я презираю себя, я чувствую свою грѣховность. Да вѣдь это, мой другъ, самыя высокія добродѣтели христіанскія, которыя должны возбуждать къ тебѣ во всякомъ, хотя нѣсколько вѣрующемъ человѣкѣ, не презрѣніе, а глубокое почтеніе. Можетъ быть, я вру, мой другъ; и точно, мнѣ не къ лицу давать тебѣ наставленія, но во всякомъ случаѣ удержись, мой другъ, обрекать погибели кого бы то ни было: предоставь это рѣшительно суду Божію. Не вѣрю я также, чтобъ нравственный человѣкъ, то-есть, честный, кроткій, дѣлающій добро по душевному побужденію, былъ врагомъ Господа».

Въ этомъ же письмѣ Михаилъ Николаевичъ еще разъ возвращается къ своему роману: «Я сказалъ тебѣ, что писалъ его съ чистымъ намѣреніемъ, въ томъ смыслѣ, что предметомъ моимъ было бороться съ новыми идеями, которыя наводняютъ наше отечество, идеями, разрушающими порядокъ, повиновеніе къ властямъ, къ закону, идеями, которыя возстаютъ противъ всякаго вѣрованія, противъ всего, что священно для христіанина. Можетъ быть, я дурно исполнилъ мое намѣреніе, но желаніе мое было чисто. Я вовсе и не думалъ, что, писавъ это, я исполняю долгъ христіанскій, — нѣтъ, я знаю, что за это мнѣ нечего ожидать

въ будущемъ мірѣ, потому что я награжденъ въ здѣшнемъ. Я понимаю, что тебѣ читать мой романъ было непріятно: твоя душа требуетъ не этой пищи; но, мой другъ, кто читаетъ произведенія современной французской словесности, для того мой разсказъ будетъ полезенъ. Для тебя прихотливый столъ будетъ вреденъ и непріятенъ, а для того, кого подчуютъ ядомъ, этотъ столъ будетъ, сравнительно, весьма полезенъ».

На это письмо Алексѣй Николаевичъ не отвѣчалъ. Объясненіе между братьями по этому поводу тѣмъ не менѣе произошло, но гораздо позже, при ихъ свиданіи во время послѣдней болѣзни Михаила Николаевича. Объ этомъ узнаемъ мы изъ письма Алексѣя Николаевича Загоскина къ В. И. Аскоченскому: «Навѣстивъ брата во время послѣдней его болѣзни, я лично сообщилъ ему мои возраженія, и онъ сознался въ своемъ заблужденіи не на однихъ словахъ; ибо, разсказавъ мнѣ о томъ, какъ Гоголь бросилъ въ каминъ свою рукопись, онъ горько прослезился, не находя въ себѣ достаточно силы для принесенія въ жертву Богу своего Исаака—авторскую славу, и для противодѣйствія собственной любви къ себѣ» [1]).

Эта переписка съ братомъ, не оставшаяся безъ вліянія на Михаила Николаевича, характеризуетъ его направленіе въ описываемую эпоху. Къ этой эпохѣ относятся его романы «Искуситель» и «Кузьма Петровичъ Мирошевъ». Значеніе «Искусителя» опредѣляется цѣлью автора, раскрытою въ вышеприведенномъ письмѣ его къ брату. Авторъ хотѣлъ показать, что въ современномъ просвѣщеніи участвуетъ злое начало или, какъ выражался авторъ, самъ сатана. Злое начало олицетворено въ романѣ въ видѣ цивилизованнаго европейца, свѣтскаго, передоваго человѣка, барона Брокена. «Исполненныя силы филантропическія выходки, пересыпанныя остротами фразы такъ быстро слѣдовали однѣ за другими, что не было никакой возможности отдѣлить ложь отъ истины. Все, что ни говорилъ баронъ, казалось, носило на себѣ отпечатокъ неподдѣльнаго чувства справедливости и душевнаго убѣжденія. Онъ обладалъ вполнѣ великою наукою посредствомъ звучныхъ словъ и блестящихъ софизмовъ смѣшивать всѣ понятія, замѣнять

---

[1]) Домашняя Бесѣда 1860 г., стр. 320.

идеи фразами, употреблять кстати слова: человѣчество, просвѣщеніе, европеизмъ, требованія вѣка; однихъ плѣнять этими словцами, другихъ удивлять новостію своихъ ученыхъ выраженій и вообще всѣхъ, если не убѣждать, то по крайней мѣрѣ сбивать съ толку. Говорятъ, что будто бы эта наука и теперь еще въ большомъ ходу. Быть можетъ, только пора бы похоронить ее вмѣстѣ съ площадными шарлатанами, которые изъ любви къ человѣчеству лѣчатъ за деньги ото всѣхъ болѣзней хлѣбными пилюлями и подкрашенной водой. Я не стану повторять вамъ слова барона. Если вы читали французскихъ философовъ восьмнадцатаго столѣтія, то не скажу вамъ ничего новаго; если жъ вы ихъ не читали, съ чѣмъ отъ всего сердца васъ поздравляю, такъ къ чему засаривать ваше воображеніе, зачѣмъ охлаждать душу софизмами этихъ мудрецовъ, которые, не умѣя создавать ничего, старались только разрушать и, отнимая у человѣка все, даже надежду, называли себя благодѣтелями и просвѣтителями рода человѣческаго!.. Шарлатаны! Еслибы, по крайней мѣрѣ, они продавали хлѣбныя пилюли и безвредную подкрашенную воду... Нѣтъ, они торговали ядомъ!».

Загоскинъ обвиняетъ современную французскую литературу въ софистическомъ направленіи. «Ну, что за радость, напримѣръ, доказывать, что солнце грѣетъ?» иронически спрашиваетъ онъ. «Кто этого не знаетъ? Нѣтъ, попытайтесь, докажите, что отъ него холодно—это будетъ совершенный вздоръ, не спорю; да за то ужъ есть гдѣ уму-разуму расходиться; ни съ кѣмъ не столкнешься, никого не встрѣтишь, будешь одинъ въ своемъ родѣ и непремѣнно украсишь чело свое или лавровымъ вѣнкомъ генія, или можетъ быть, дурацкимъ колпакомъ; но по крайней мѣрѣ ни въ какомъ случаѣ не станешь на ряду людей обыкновенныхъ. О, какъ постигли эту истину наши современные французскіе писатели! Посмотрите, какъ скучна, какъ безцвѣтна добродѣтель, и какъ обольстителенъ и любезенъ порокъ въ ихъ сочиненіяхъ! Прочтите ихъ модные романы, трагедіи Виктора Гюго, драмы Александра Дюма; быть можетъ, вамъ сдѣлается гадко; но уже конечно вы не скажете: «Фи, какъ это пошло!» Правда, съ нѣкотораго времени и эти геніальныя мерзости начинаютъ казаться пошлыми».

Русскимъ представителемъ тѣхъ современныхъ идей,

противъ которыхъ вооружался Загоскинъ, является въ его романѣ князь Двинскій: «Русскій—не Русскій—Французъ—не Французъ, а такъ—существо какого-то средняго рода». Онъ высказываетъ такую мысль: «По моему, все то, что нельзя объяснить извѣстными законами природы, вздоръ, выдумки, басни»... «А ты увѣренъ, что всѣ законы природы тебѣ извѣстны?» спрашиваетъ самъ авторъ устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ своего разсказа. «Полно, князь! Мы еще не приподняли и уголка этой завѣсы, которая скрываетъ отъ насъ истину, и не смотря на успѣхи просвѣщенія и безпрерывныя открытія, все еще играемъ въ жмурки и ходимъ ощупью. Конечно, опытъ вѣковъ познакомилъ насъ нѣсколько съ міромъ вещественнымъ; но міръ духовный остается и теперь еще для насъ загадкою; мы постигаемъ нашей душею, что этотъ міръ существуетъ».

Вопросъ о современномъ просвѣщеніи по преимуществу занимаетъ автора въ «Искусителѣ». По мнѣнію Загоскина, «просвѣщеніе не одно, ихъ два: истинное просвѣщеніе и просвѣщеніе, основанное на одной мудрости земной, а мудрость человѣческая есть безуміе передъ Господомъ... Просвѣщеніе, основанное на религіи, есть величайшій даръ Творца, но просвѣщеніе безъ всякой вѣры—о, мой другъ, объ этомъ страшно и подумать!».. Къ проповѣдникамъ того просвѣщенія, которое Загоскинъ называетъ земнымъ, онъ обращается съ такими словами: «Господа преобразователи! сдѣлайтесь прежде христіанами, проповѣдуйте не возмутительныя правила, не позорный бунтъ, не возстаніе противъ законныхъ властей, поставленныхъ самимъ Господомъ, не насильственныя мѣры, которыя влекутъ за собою однѣ бѣдствія, нѣтъ, старайтесь разливать основанное на истинной вѣрѣ просвѣщеніе, проповѣдуйте слово Божіе, и если не вы, такъ потомки ваши достигнутъ до этой высокой цѣли, до этого всемірнаго просвѣщенія, которое тогда будетъ не бѣдствіемъ, а величайшимъ благомъ для всѣхъ людей». Въ связи съ вопросомъ о просвѣщеніи, авторъ «Искусителя» касается и вопроса о неравенствѣ людей: «Равенство состояній точно такъ же невозможно, какъ и всякое другое... Богатство моральное, которое мы называемъ просвѣщеніемъ, точно такъ-же, какъ и богатство вещественное, не можетъ быть въ равной степени удѣломъ всѣхъ людей».

Мы уже упоминали, что въ свой романъ Загоскинъ ввелъ много автобіографическихъ подробностей, въ чемъ и самъ сознается: «Къ чему эти ничтожныя подробности? скажутъ, можетъ быть, мои читатели. О, еслибъ вы знали, какъ эти мелочи для меня драгоцѣнны! Съ какимъ наслажденіемъ, описывая первыя впечатлѣнія дѣтскихъ лѣтъ, я переносился мыслію въ этотъ золотой вѣкъ моей жизни! Не мѣшайте мнѣ помолодѣть хотя на нѣсколько минутъ и не гнѣвайтесь на меня, добрые мои читатели!»

Дѣйствительно, герой романа нѣкоторыми чертами характера и даже наружностью напоминаетъ самого Загоскина. Тужиловка — это Рамзай, губернскій городъ — это Пенза; и описаніе самого города и ярмарки въ немъ сходно съ описаніемъ тѣхъ-же предметовъ въ «Воспоминаніяхъ Ф. Ф. Вигеля [1]), который даже по именамъ называетъ тѣхъ лицъ, которые выведены въ романѣ Загоскина: «Житье г. Г., подъ именемъ Рукавицына, очень удачно описано въ «Искусителѣ», романѣ Загоскина. Тамъ-же очень вѣрно изображены бывшій при Екатеринѣ губернаторъ Ступишинъ и родственникъ его Ефимъ Петровичъ Чемесовъ, подъ именемъ Двинскаго». На то, что многое въ романѣ «Искуситель» взято изъ дѣйствительности, указываетъ и самый эпиграфъ его: «C'est un tableau de fantaisie dont tout les détails sont peints d'après nature».

О пріемѣ, которымъ встрѣченъ былъ «Искуситель», приведемъ слова С. Т. Аксакова: «Судъ образованной публики и судъ литературный признали «Искусителя» самымъ слабымъ сочиненіемъ Загоскина, съ чѣмъ авторъ самъ соглашался» [2]). Но все-таки произведеніе это надѣлало въ свое время шуму, какъ и слѣдовало ожидать, имѣя въ виду тѣ вопросы, которые въ немъ затронуты, и то рѣшеніе, какое даетъ имъ авторъ. И. А. Крыловъ писалъ Загоскину въ концѣ 1818 года: «Я слышу чудеса о вашемъ новомъ романѣ «Искусителѣ» [3]).

Слѣдовавшій за «Искусителемъ» романъ Загоскина былъ «Тоска по родинѣ». Произведеніе это состоитъ изъ двухъ частей, неодинаковыхъ по своему достоинству. Въ первой описывается завязка романа—любовь героя Владиміра За-

---

[1]) Ср. кн. I, стр. 20—21, 215—231; ч. II, стр. 70—90, 92—100, 121—123.
[2]) *Аксаковъ*. т. III, стр. 282.
[3]) Раутъ, кн. III, стр. 315.

вольскаго къ Софьѣ и катастрофа: герой узнаетъ, что любимая имъ женщина—кокетка и любитъ другого; вслѣдствіе того, Завольскій покидаетъ отечество и съ разбитымъ сердцемъ отправляется за границу; во второй части романа описывается самое путешествіе героя; разсказъ получаетъ легкій, фельетонный характеръ, въ родѣ тѣхъ нравоописательныхъ очерковъ, которые Загоскинъ писалъ въ молодости. И дѣйствительно, одинъ изъ нихъ «Путешественникъ», написанный въ 1820 году, почти безъ всякихъ измѣненій внесенъ въ эту вторую часть романа. Развязка, по обыкновенію, счастливая: любовники, разлученные судьбою, соединяются. Но авторъ придавалъ значеніе не столько исторіи любви, сколько странствованіемъ своего героя: Загоскину хотѣлось изобразить западную Европу съ непривлекательной стороны. Такая тенденція романа указывается эпиграфомъ:

Чтобъ ни сулило вамъ воображенье ваше,
Не вѣрьте, той земли не сыщете вы краше,
Гдѣ ваша милая, иль гдѣ живетъ вашъ другъ!

Любовь Загоскина къ отечеству вообще и къ Москвѣ въ частности была, безъ сомнѣнія, не притворная и составляла ту силу, которая и въ его произведеніяхъ, и въ его живой, вседневной рѣчи увлекала всѣхъ безъ различія, даже людей совершенно иного направленія. Именно таковъ былъ Михаилъ Николаевичъ въ эту эпоху своей жизни, когда онъ окончательно «приросъ» (какъ онъ выразился самъ въ одномъ изъ своихъ писемъ) къ Москвѣ и сдѣлался ея «пѣвцомъ», если можно такъ выразиться.

Въ статьѣ своей «Нескучное», напечатанной въ альманахѣ «Утренняя заря» на 1840 годъ, Загоскинъ говоритъ: «Еслибъ я родился въ Италіи, то ужъ вѣрно бы попалъ въ цехъ записныхъ чичероне. Одно изъ величайшихъ моихъ наслажденій состоитъ въ томъ, что-бъ показывать проѣзжимъ всѣ диковинки и рѣдкости города». Эти слова Загоскина находятъ себѣ подтвержденіе въ слѣдующемъ разсказѣ И. И. Панаева: «Загоскинъ обнаруживалъ ко мнѣ большую внимательность и расположеніе, вѣроятно, потому, что онъ встрѣтилъ меня въ домѣ С. Т. Аксакова, съ которымъ онъ былъ очень друженъ. «Мы его сдѣлаемъ москвичемъ», говорилъ Загоскинъ Аксакову, ударяя меня по плечу. «Ему

надо показать Москву во всей красотѣ. Я свезу его на Воробьевы горы». При въѣздѣ на Воробьевы горы, Панаевъ оглянулся было. «Нѣтъ, нѣтъ, не оглядывайтесь!» вскрикнулъ Загоскинъ. «Мы сейчасъ доѣдемъ до того мѣста, съ котораго надо смотрѣть на Москву»... «Ложитесь подъ это дерево», сказалъ онъ мнѣ, «и смотрите теперь, смотрите! Отсюда лучшій видъ»... Я повиновался и началъ смотрѣть. Дѣйствительно картина была великолѣпная. Вся разметавшаяся Москва, со своими безчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда озаренная вечернимъ солнцемъ. Загоскинъ легъ возлѣ меня, протеръ свои очки и долго смотрѣлъ на свой родной городъ, съ умиленіемъ, доходившимъ до слезъ... «Ну, что... что скажете, милый», произнесъ онъ взволнованнымъ голосомъ; «какова наша Бѣлокаменная-то съ золотыми маковками? Вѣдь нигдѣ въ свѣтѣ нѣтъ такого вида. Шевыревъ говоритъ, что Римъ походитъ немного на Москву; можетъ быть, но это все не то!... Смотри, смотри!... Ну, Бога ради, какъ-же настоящему-то русскому человѣку не любить Москвы?.. Иванъ-то Великій какъ высится... Господи!... Вонъ вправо-то Симоновъ монастырь, вонъ глава Донскаго монастыря влѣво». Загоскинъ снялъ очки, вытеръ слезы, навернувшіяся у него на глазахъ, схватилъ меня за руку и сказалъ: «Ну, что, бьется-ли твое русское сердце при этой картинѣ?» Въ экстазѣ онъ началъ говорить мнѣ ты. Чудный лѣтній вечеръ, энтузіазмъ Загоскина, великолѣпная картина, которая была передъ моими глазами, заунывная русская пѣсня, раздавшаяся подъ горою, все это сильно подѣйствовало на меня. «Благодарю васъ», сказалъ я Загоскину, «это лучшій вечеръ въ моей жизни; я его никогда не забуду». Загоскинъ обнялъ меня, поцѣловалъ и сказалъ: «Ты настоящій русскій, ты нашъ; только ты пожалуйста не увлекайся этими завиральными идеями, которыя начинаютъ быть въ ходу» [1]).

Быть можетъ, эту поѣздку и свои разговоры съ Панаевымъ Загоскинъ описалъ въ статьѣ «Нескучное». Здѣсь онъ развиваетъ тѣ же взгляды на неравенство людей, на просвѣщеніе, что и въ романѣ «Искуситель»: «Охъ, ужъ вы мнѣ, господа теоретики, съ вашими высшими взглядами!

---

[1]) Литературныя воспоминанія. С.-Пб. 1888, стр. 164—166.

Что и говорить, вы смотрите высоко, да подъ носомъ-то у себя ничего не видите! Уйметесь-ли вы когда-нибудь судить о людяхъ, о вещахъ не такъ, какъ они есть на самомъ дѣлѣ».

Не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію, что Михаилъ Николаевичъ всей силой своей русской души любилъ народъ. Онъ родился и выросъ въ старинной помѣщичьей средѣ, близкой къ народу, да и впослѣдствіи, покинувъ деревню и переселясь въ столицу, любилъ сближаться съ простымъ народомъ, не вовсе порвалъ съ нимъ связи. Слѣдовательно, Загоскинъ могъ знать народъ, и тѣмъ не менѣе справедливъ дѣлаемый ему упрекъ въ невѣрномъ представленіи народа: Загоскинъ любилъ его идеализировать въ своихъ романахъ.

Любя русскій народъ, Загоскинъ считалъ просвѣщеніе совершенно необходимымъ для него, но, по мнѣнію Михаила Николаевича, оно должно быть не то показное, какимъ любятъ щеголять люди, схватившіе только верхушки образованности. «Это просвѣщеніе не кидается въ глаза; оно не имѣетъ надобности ни въ латинскомъ языкѣ, ни въ ученыхъ фразахъ, но за то оно проникаетъ, и гораздо легче, подъ соломенную кровлю безграмотнаго бѣдняка, чѣмъ въ мраморныя палаты ученаго переученаго богача. Это просвѣщеніе премудрые философы XVIII столѣтія величали фанатизмомъ, а мы, варвары русскіе, благодаря Бога, называемъ еще вѣрою. Вотъ это-то просвѣщеніе, по милости котораго злой человѣкъ становится добрымъ, скупой—милосердымъ, а строптивый—покорнымъ и смиреннымъ, оно-то одно и необходимо для крестьянина».

Загоскинъ ставитъ на первое мѣсто нравственное развитіе народа и повторяетъ слова фонъ-визинскаго Стародума почти буквально: «Безъ него и образованный человѣкъ бываетъ иногда хуже дикаго звѣря». Если такъ вредно отзывается отсутствіе нравственнаго просвѣщенія на образованныхъ людей, «то чѣмъ-же долженъ сдѣлаться тотъ, для котораго не существуетъ ни нашихъ условныхъ приличій, ни строгихъ понятій о чести, ни этого уваженія къ общему мнѣнію, которое все-таки можетъ удержать насъ иногда если не отъ тайныхъ, то, по крайней мѣрѣ, отъ явныхъ нарушеній нравственности и законовъ общежитія?» «Земное просвѣщеніе» для крестьянина,—по мнѣнію Загоскина,—роскошь. «C'est du luxe».

Разсуждая такъ, Загоскинъ понималъ, что онъ идетъ противъ господствующаго направленія, и потому выражалъ опасеніе, чтобы его «не побили камнями». «Гораздо лучше», говоритъ онъ, «хлопотать поменѣе о просвѣщеніи простого народа, а поболѣе заботиться о его счастіи. Докажи мнѣ прежде, что у насъ, въ Россіи, просвѣщенный мужикъ счастливѣе непросвѣщеннаго, и тогда я соглашусь съ тобою. Нѣтъ, мой другъ! Хорошо идти за вѣкомъ тому, кому нѣтъ надобности ходить за сохою. Вѣдь то, что мы называемъ нашимъ просвѣщеніемъ, создастъ непремѣнно для крестьянина новыя потребности, о которыхъ онъ не имѣетъ теперь никакого понятія. И слава Богу! Чѣмъ меньше у человѣка желаній, тѣмъ менѣе у него и горя! Оставь его (простой народъ) въ покоѣ; а если хочешь чего-нибудь желать, такъ пожелай лучше общаго просвѣщенія для тѣхъ людей, которые могутъ и должны быть просвѣщены. Безграмотный мужикъ не бѣда, а вотъ худо то, когда самъ помѣщикъ читаетъ по складамъ».

Въ описываемый періодъ убѣжденія Загоскина окончательно установились. Изъ двухъ направленій, которыя ясно опредѣлились въ это время въ нашемъ обществѣ: западничества и славянофильства, онъ, конечно, избралъ послѣднее, хотя философская основа этого ученія была для него, какъ всякая философія, вообще чужда. Вотъ, что писалъ Хомяковъ Самарину: «Досадно, когда видишь, что Загоскинъ (хоть онъ и славный человѣкъ) за насъ, а Грановскій противъ насъ; чувствуешь, что съ нами за одно инстинктъ, ибо Загоскинъ—выраженіе инстинкта, а умъ и мысль съ нами мириться не хотятъ» [1]). Для характеристики взглядовъ Загоскина въ описываемое время важно письмо его къ П. А. Корсакову, вызванное статьею Бурачка, въ журналѣ Маякъ. Письмо Загоскина отъ 28-го іюня 1840 г. было напечатано тамъ-же [2]), при слѣдующей замѣткѣ редакціи: «Мы дали обѣщаніе помѣщать въ «Маякѣ» всѣ дѣльныя замѣчанія на наши промахи, ошибки и заблужденія, какъ-бы эти замѣчанія горьки или сладки ни были, и, скрѣпя сердце, исполняемъ свое обѣщаніе».

Въ начальныхъ строкахъ письма высказалась вся кипучая натура Загоскина:

---

[1]) Русскій Архивъ 1879 г., кн. 3, стр. 319.
[2]) Ч. VII, стр. 101—105.

«Давно уже я сбираюсь писать къ тебѣ и поблагодарить за истинное удовольстіе, которое приноситъ мнѣ чтеніе твоего изданія, и вотъ наконецъ собрался тогда, когдабы мнѣ вовсе писать не слѣдовало, потому что я, измученный ужасными спазмами, три дня уже ничего не ѣлъ и едва могъ отъ слабости сидѣть на стулѣ; но сердце мое не терпитъ нѣмоты: я прочелъ или, лучше сказать проглотилъ послѣднюю (IV) часть Маяка, ретивое закипѣло, стклянку съ микстурой за окно, перо въ руки и пишу». Письмо свое Загоскинъ начинаетъ восторженною похвалою журналу: «Боже мой, сколько въ этой части прекрасныхъ вещей! Что за логическая, свѣтлая и умная голова у твоего товарища Бурачка! Сколько новыхъ ясныхъ идей, сколько святыхъ истинъ!» Наконецъ, благодаря Бога, явилось у насъ изданіе книги, въ которой говорятъ прямо, что безъ религіи не можетъ быть и хорошей литературы. Когда я прочелъ между прочимъ въ разборѣ «Героя нашего времени» слѣдующія слова: «Какъ не жаль хорошее дарованіе посвящать такимъ гадкимъ нелѣпостямъ, изъ одной только увѣренности, что онѣ будутъ имѣть успѣхъ! Дѣло давно извѣстное, чѣмъ всего скорѣе угодить слабымъ людямъ; но дѣло ли художника пользоваться этою слабостью людей, когда художникъ призванъ именно врачевать эту слабость, а не развивать ее»,—то я такъ и бросился бы къ Бурачку на шею».

Но это еще не значитъ, чтобы между Бурачкомъ и Загоскинымъ не было разногласій. Они существовали относительно двухъ пунктовъ. Во первыхъ, относительно Марлинскаго. «Не понимаю», говоритъ Загоскинъ, «какъ могъ Бурачекъ, человѣкъ религіозный, логическій, который такъ хорошо опредѣлилъ достоинство «Героя нашего времени»,— какъ могъ назвать Марлинскаго колоссомъ? О Господи, да простится ему этотъ грѣхъ и въ сей, и въ будущей жизни! Что такое былъ Марлинскій? Марлинскій, этотъ, по временамъ, самый рабскій подражатель неистовой французской школы, этотъ бонмотистъ, щеголяющій самыми нелѣпыми сравненіями и остротами, этотъ умникъ, который, живя на Кавказѣ, описывалъ нравы московскаго общества по Бальзаку, и, вѣроятно, лучше зналъ бытъ дербентскихъ татаръ, чѣмъ русскихъ мужичковъ; этотъ исковерканный, вычурный, осыпанный полинялыми французскими блестками Марлинскій, который говоритъ, что у л и т к а разговора перечла

на другой предметъ, и думаетъ, что сказалъ очень умно; этотъ безусловный обожатель Запада и всѣхъ его мерзостей; этотъ Марлинскій, который находитъ, что между дикимъ чеченцемъ и русскимъ дворяниномъ менѣе разстоянія, чѣмъ между этимъ послѣднимъ и какимъ-нибудь французскимъ маркизомъ или англійскимъ лордомъ, какъ будто бы всѣ маркизы и лорды люди истинно просвѣщенные, а всѣ русскіе дворяне рѣшительно невѣжды; Марлинскій, который изрѣдка только говорилъ языкомъ человѣческимъ и никогда не согрѣвалъ души читателя ни одной высокой религіозной мыслію». Второй пунктъ разногласія касался самаго Загоскина. Бурачекъ позволялъ себѣ сказать, что всѣхъ русскихъ романистовъ нельзя обвинять въ религіозности. Эти слова Загоскинъ принялъ на свой счетъ и не оставилъ безъ разъясненія. Отвѣчая на это мѣсто письма Загоскина, Керсаковъ говорилъ: «Выдаю преступника руками, вѣдайся съ нимъ самъ. Здѣсь онъ точно виноватъ тѣмъ, что не оговорилъ тебя, и тѣмъ болѣе виноватъ, что по душѣ онъ высоко цѣнитъ чистоту и прелесть твоего прямо русскаго пера. Какъ это у него сорвалось? Какъ я это просмотрѣлъ? Не знаю! Имѣешь право требовать полной сатисфакціи».

Загоскинъ былъ задѣтъ за живое тѣмъ, что Бурачекъ не оцѣнилъ или, просто, не замѣтилъ того, въ чемъ Михаилъ Николаевичъ полагалъ самую сущность своей литературной дѣятельности, самую важную сторону ея: «Я могу быть писателемъ бездарнымъ, невѣждою», восклицаетъ Загоскинъ, «всѣмъ, что ему угодно; но чтобъ въ романахъ и повѣстяхъ моихъ не проявлялись идеи религіозныя, нѣтъ, воля его, въ этомъ я никакъ не могу согласиться... Я не сомнѣваюсь, убѣжденъ, вѣрую, что мой первый романъ обязанъ своимъ успѣхомъ именно религіозному чувству, которымъ онъ согрѣтъ. Если Бурачекъ, прочтя первый томъ «Аскольдовой Могилы», не замѣтилъ въ этомъ романѣ рѣшительно религіознаго направленія, то или ему не угодно было вовсе обратить на это своего вниманія, или наши понятія о религіозности не имѣютъ ничего общаго между собою».

По этому поводу Загоскинъ опредѣляетъ свои понятія о религіозности и о томъ, какъ послѣдняя можетъ проявляться въ романѣ: «Я полагаю, что религіозность въ романѣ состоитъ въ томъ, чтобъ при всякомъ удобномъ случаѣ напоминать читателю, что земная жизнь есть не цѣль, а только средство къ достиженію цѣли, что безъ христіанской религіи нѣтъ

истиннаго просвѣщенія, что мудрованья западныхъ философовъ есть только мѣдь звенящая и кимвалъ звяцаяй, и что наконецъ одна только вѣра во Христа даетъ человѣку возможность быть истинно добродѣтельнымъ: все это—видитъ Богъ — можетъ быть, очень дурно, но я стараюсь выполнять во всѣхъ моихъ сочиненіяхъ».

Такъ понималъ Загоскинъ свою задачу, какъ писатель и, надо отдать ему справедливость, старался исполнить ее честно, не входя въ сдѣлки съ совѣстью. «Правда, съ нѣкотораго времени я поослабѣлъ, потому что усталъ воевать одинъ противъ нашихъ скептиковъ, европейцевъ, либераловъ, ненавистниковъ Россіи, апологистовъ всѣхъ неистовыхъ страстей и поэтовъ сладострастья, то-есть, защитниковъ земной жизни и всѣхъ ея плотскихъ наслажденій. Но когда сталъ выходить вашъ Маякъ и я познакомился съ Бурачкомъ, то сердце мое снова ободрилось; я сказалъ: слава Богу! Теперь я не одинъ—насъ двое! Теперь есть у меня сослуживецъ на этомъ ратномъ полѣ, да еще какой,—чудо-богатырь! Не тутъ-то было: Бурачекъ не хочетъ меня признать и товарищемъ. Нашъ полкъ не великъ, а ихъ—избави Господи!!»

Кромѣ этого недоразумѣнія, былъ еще одинъ предметъ, въ отношеніи котораго между Бурачкомъ и Загоскинымъ оказалась разница. Этотъ предметъ—философія. По мнѣнію Загоскина, его союзникъ слишкомъ много придавалъ значенія философіи. Въ этомъ Михаилъ Николаевичъ увидѣлъ слабость, желаніе служить двумъ господамъ: «Я прочелъ съ восторгомъ вашъ разборъ духовныхъ сочиненій, съ наслажденіемъ почти всю статью о словесности; но когда дочитался до колосса Марлинскаго и заглянулъ потомъ въ статью о философіи, то меня такъ холодомъ и обдало. Ахъ, батюшки, подумалъ я, ужъ не хочетъ ли онъ служить двумъ господамъ? Избави, Господи! Что это, почтенный Бурачекъ, вы такъ уважаете философію? Разумѣется, я говорю о философіи, которая ведетъ или, лучше сказать, старается вести насъ къ познанію истины и къ необходимости нашего перерожденія, другой я не признаю. Эта философія для плохаго христіанина наука сбивчивая, шаткая и рѣшительно неудовлетворительная, потому что душа чувствуетъ, что онъ ищетъ истину не тамъ, гдѣ долженъ искать ее, и что божественная истина недоступна для земнаго нашего разума, а постигается одною только вѣрою. Для истиннаго христіа-

нина философія (не прогнѣвайтесь)—одно пустословіе, потому что всѣ важнѣйшіе ея вопросы для него давно уже рѣшены. Не истинный тотъ христіанинъ, который станетъ благоговѣть передъ наукою, въ которой дѣлаются слѣдующіе вопросы (извините): «Не самобытенъ-ли видимый міръ? Конеченъ ли онъ, или у него не было начала и не будетъ конца?» Не правда ли, что эти вопросы и рѣшенія ихъ должны показаться христіанину не только пустословіемъ, но даже богохульствомъ? Осмѣлится ли онъ повѣрять своимъ ничтожнымъ земнымъ умомъ истины, изреченныя самимъ Богомъ? Да и что прибыли ему изучать философію для того, чтобъ узнать, что онъ долженъ вѣрить тому, чему давно уже, безъ всякихъ доказательствъ, вѣритъ. Воля ваша, какъ бы мнѣ ни стали умно доказывать, что я, то-есть, М. Н. Загоскинъ—точно М. Н. Загоскинъ, а все-таки бы я сказалъ, что это пустословіе. Къ чему же ведетъ эта наука того, кто вѣруетъ? Ровно ни къ чему; а неужели вы скажете, что вѣруетъ только тотъ, кто учился философіи? Г. Бурачекъ, вы называете почти всѣхъ насъ язычниками, что, къ несчастью, довольно справедливо; смотрите, не сдѣлайтесь сами язычникомъ, не вздумайте сами вмѣсто Бога покланяться философіи, то-ессь, вашему земному разуму. Древніе ему и поклонялись: это очень естественно: философія была откровеніемъ эллинскихъ мудрецовъ, а мы, по милости Божіей, христіане, то-есть, знаемъ все то, что можемъ и должны знать, не изучая ни Гегеля, ни Фихте, ни Канта, ни Окена, ни всѣхъ этихъ эллино-христіанскихъ болтуновъ, о мудрости которыхъ, кажется, не съ большою похвалою отзывается Апостолъ Павелъ».

Съ этой точки зрѣнія Загоскинъ смотрѣлъ на новыя явленія въ нашей литературѣ: князя Мышецкаго онъ ставитъ выше Лермонтова и желаетъ только, что бы князь не заразился новыми вліяніями: «Да поможетъ ему Господь», писалъ Загоскинъ, «остться и всегда такимъ, какимъ онъ есть теперь, то-есть, не острить по пустякамъ, не писать крючковатыхъ слоговъ, не франтить неумѣстной ученостію, а пуще всего—не выставлять въ хорошемъ свѣтѣ неистовыя страсти и не подражать пакостницѣ — французской словесности, хотя-бы за это прославили его въ всѣхъ казармахъ и караульняхъ Россіи необычайнымъ геніемъ: все это фольга, мишура, шумиха, а талантъ его изъ пробнаго золота».

Въ 1840 году была напечатана комедія Загоскина: «Урокъ

матушкамъ», имѣвшая, по словамъ Аксакова, очень большой успѣхъ [1]). Это повтореніе повѣсти: «Три жениха», напечатанной за пять лѣтъ передъ тѣмъ въ Библіотекѣ для чтенія.

Крупнымъ произведеніемъ Загоскина, относящимся къ описываемому періоду, былъ романъ «Кузьма Петровичъ Мирошевъ», явившійся въ свѣтъ въ началѣ 1842 года. Направленіе этого романа опредѣляется вышеизложенными взглядами Загоскина на нравственную цѣль литературныхъ произведеній. Хотя эти воззрѣнія были у автора, по его собственнымъ словамъ, всегда, но кажется, что послѣ того, какъ ему пришлось ихъ высказать въ формѣ извѣстной теоріи, они получили для него самого болѣе ясности и опредѣленности, и этомъ видѣ они являются въ романѣ «Мирошевъ». Герой романа изображенъ человѣкомъ глубоко вѣрующимъ, кроткимъ, смиреннымъ, честнымъ, свято исполняющимъ свой долгъ, безропотно переносящимъ всѣ удары судьбы, и въ то же время — это вполнѣ русскій человѣкъ, въ которомъ идеальныя стремленія уравновѣшиваются простымъ здравымъ смысломъ: общечеловѣческія евангельскія добродѣтели соединены въ немъ съ лучшими національными свойствами. При всемъ томъ это не безжизненный идеальный герой, а живой человѣкъ, возможный въ дѣйствительности Загоскинъ ставитъ это лицо въ такія положенія, въ которыхъ всего лучше проявляется идея романа: Кузьма Петровичъ, какъ Іовъ, пользуется и счастьемъ, самымъ полнымъ и невозмутимымъ въ теченіе многихъ лѣтъ и подвергается цѣлому ряду несчастій, одно другаго ужаснѣе, но никогда не теряетъ вѣры въ Бога.

Согласно своему стремленію написать «религіозный романъ», авторъ не разъ напоминаетъ читателю, что земная жизнь есть не цѣль, а только средство къ достиженію цѣли, что безъ христіанской религіи нѣтъ истиннаго просвѣщенія, что мудрованья западныхъ философовъ только «мѣдь звенящая и кимвалъ звучаяй», и что, наконецъ, одна только вѣра во Христа даетъ человѣку возможность быть истинно добродѣтельнымъ. Изображая въ своемъ романѣ любовь земную и другія человѣческія страсти, рисуя картину обыденной человѣческой жизни, Загоскинъ не разъ говоритъ читателю о высшей цѣли жизни.

---

[1]) Аксаковъ, т. III, стр. 285.

Такъ, пріятель Мирошева, Костоломовъ, великодушно подавляя въ себѣ чувство любви къ одной дѣвушкѣ, уступаетъ ее своему счастливому сопернику Рындикову и даже устраиваетъ ихъ бракъ. Но послѣ совершенія такого подвига, начинаются страданія Костоломова. «Сосватать-то я сосватал», говоритъ онъ, «а что у меня было на душѣ то, такъ одинъ Богъ знаетъ!.. Тошно, грустно, мѣста не найду!.. То хочу ѣхать къ Пышкину и сказать ему все, то убить Рындикова, то на самого себя руки наложить». Съ Костоломовымъ случилось то же, что съ самимъ авторомъ романа: и онъ впалъ въ тотъ же грѣхъ, который могъ погубить Михаила Николаевича, еслибы братъ Алексѣй не разъяснилъ ему, какъ грѣшно полагаться въ дѣлѣ нравственнаго совершенствованія на свои силы. И вотъ Загоскинъ приводитъ въ своемъ романѣ почти дословно мысль Алексѣя Николаевича. «Вдругъ мнѣ пришло въ голову», продолжаетъ Костоломовъ, «ужъ не наказываетъ ли меня Господь Богъ за гордость... Вотъ изволишь видѣть: я хотѣлъ самъ переломить себя: я, дескать, человѣкъ добродѣтельный, великодушный, на что мнѣ просить Божьей помощи, чтобъ сдѣлать доброе дѣло—и самъ сдѣлаю! Да, какъ бы не такъ! Нѣтъ, любезный, коли Богъ не поможетъ, такъ ничего путнаго не сдѣлаешь. Лишь только задумаешь что-нибудь хорошее, а бѣсъ тутъ какъ тутъ—и начнетъ тебѣ нашептывать на ухо!.. Такихъ резоновъ наскажетъ, что черное покажется бѣлымъ, а бѣлое чернымъ. Вотъ я, братецъ, спохватился, да ну-ка молиться. Слава Богу — отлегло отъ сердца!..»

Изображая смиренную чету Мирошевыхъ и ихъ простую жизнь, Загоскинъ сознательно противополагаетъ ихъ инымъ людямъ, иной жизни: «Мирошевы не давали воли своему воображенію, не летали въ туманную даль, а жили по-просту, какъ Богъ велѣлъ», говоритъ Загоскинъ, «и вѣрно въ нашъ романтическій вѣкъ показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми. Бѣдняжки, они не знали, что разгульная и буйная жизнь имѣетъ свою поэзію; что жизнь спокойная, не волнуемая страстями, вовсе не жизнь, а прозябаніе; что хотя мы живемъ на сѣверѣ, а должны смотрѣть на западъ, и такъ же, какъ тамъ, думать объ одномъ только земномъ просвѣщеніи, то-есть: что мы можемъ забыть о небесной нашей родинѣ; но за то должны предъ наукой благоговѣть, какъ предъ святынею и худо-

жеству покланяться, какъ божеству. Вѣра дѣлаетъ такихъ людей сильными и счастливыми: надъ ними бодрствуетъ провидѣніе и ведетъ ихъ неисповѣдимыми путями къ конечной цѣли». Въ жизни Кузьмы Петровича столько случайностей самыхъ неожиданныхъ и невѣроятныхъ, что критика въ числѣ недостатковъ романа прежде всего указывала на неправдоподобность Но послѣдняя вполнѣ естественно объясняется основною мыслью романа и является не помимо намѣреній автора, не по ошибкѣ его: онъ самъ готовъ признать въ нѣкоторыхъ событіяхъ жизни своего героя чудо, прямое проявленіе высшей силы. Въ самыя тяжелыя минуты, когда надъ головой Кузьмы Петровича скопляются бѣдствія, когда ему угрожаетъ разореніе, а страшное семейное горе, болѣзнь дочери, доводитъ до отчаянія жену его, и она восклицаетъ: «Нѣтъ, нѣтъ, не милостивъ къ намъ Богъ!» — смиренный, уступчивый во всемъ Кузьма Петровичъ говоритъ: «Господь посѣтилъ насъ, и мы, строптивые, недостойные рабы, встрѣчаемъ Его не съ покорностью и смиреніемъ, а съ ропотомъ на устахъ и съ отчаяніемъ въ сердцѣ!» Но Мирошева постигаетъ еще ужаснѣйшее горе. Въ Москвѣ его обвиняютъ въ воровствѣ серебряной ложки со стола его недруга графа Разумовскаго [1]). Доселѣ Кузьма Петровичъ, этотъ кроткій, смиренный христіанинъ сносилъ все безъ ропота; онъ былъ бѣденъ и никогда не жаловался на свою бѣдность, видѣлъ единственную дочь свою при смерти и говорилъ: «Да будетъ Его Святая воля!» Но это послѣднее испытаніе было тяжелѣе всѣхъ другихъ. Оно заставило было Мирошева роптать на провидѣніе, но вскорѣ онъ раскаивается и очищаетъ душу молитвою. Послѣ нея слѣдуетъ чудесное оправданіе Мирошева и награда за перенесенныя имъ бѣдствія.

Біографъ Загоскина, С. Т. Аксаковъ, высоко цѣнитъ «Мирошева»: онъ считаетъ его лучшимъ произведеніемъ Загоскина, не исключая и «Юрія Милославскаго», и этимъ сужденіемъ уравновѣшиваетъ несправедливый судъ, произнесенный надъ «Мирошевымъ» современною критикой, которая утверждала, что Загоскинъ съ обыкновеннымъ своимъ

---

[1]) Въ романѣ Загоскина графъ не названъ, но случай съ Мирошевымъ—извѣстный анекдотъ. См. сочиненія А. Измайлова, изд. Смирдина, часть II, стр. 444, и А. Л. Васильчикова: «Семейство Разумовскихъ», ч. I. стр. 184.

дарованіемъ, но съ излишнею плодовитостью, описалъ въ этомъ романѣ ничѣмъ не замѣчательную жизнь пошлаго, безхарактернаго человѣка. «Въ основѣ романа», говоритъ С. Т. Аксаковъ, «лежитъ серьезная и глубокая мысль, которую мы не хотѣли понять и оцѣнить по человѣческой гордости и тщеславію; а можетъ быть, тогда еще рано было оцѣнить ее. Загоскинъ совершилъ многотрудный подвигъ: онъ вывелъ такъ называемаго добродѣтельнаго, въ настоящемъ же случаѣ, просто добраго человѣка — камень преткновенія и для великихъ талантовъ, — и добрый человѣкъ не скученъ, а, напротивъ, возбуждаетъ полное сочувствіе. Мирошевъ ничего не сдѣлалъ необыкновеннаго, но читатель убѣжденъ, что если потребуетъ долгъ, Кузьма Петровичъ поступитъ съ полнымъ самоотверженіемъ, и что нѣтъ такого геройскаго подвига, котораго бы онъ не совершилъ не задумавшись; однимъ словомъ: это русскій человѣкъ—христіанинъ, который дѣлаетъ великія дѣла, не удивляясь себѣ, а думая, что такъ слѣдуетъ поступать, что такъ поступитъ всякій, что иначе и поступить нельзя... И только русскій человѣкъ — христіанинъ, какимъ былъ Загоскинъ, могъ написать такой романъ. Загоскинъ сдѣлалъ это безъ малѣйшаго усилія; для всякаго же другого это былъ бы подвигъ слишкомъ трудный, едва-ли возможный. Загоскину не нужно было творчества; онъ черпалъ изъ себя, изъ своей собственной духовной природы и, подобно Мирошеву, не зналъ, что онъ сдѣлалъ и даже не оцѣнилъ послѣ: онъ признавался мнѣ, что этотъ его романъ немножко скучноватъ, что онъ писалъ его такъ, чтобы потѣшить себя описаніемъ жизни самаго простого человѣка; но я думаю, что нигдѣ не проявлялся съ такой силою талантъ его, какъ въ этомъ простомъ описаніи жизни простого человѣка» [1]).

Въ 1841 году были напечатаны еще два небольшихъ произведенія Загоскина: «Два характера. Братъ и сестра» и «Оффиціальный обѣдъ». «Два характера» — это удачно задуманная и хорошо выполненная аллегорія—параллельныя характеристики Петербурга и Москвы; «Оффиціальный обѣдъ»—довольно живой разсказъ изъ провинціальнаго быта, написанный въ любимой Загоскинымъ смѣшанной эпико-драматической формѣ.

---

[1]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 286 и 289—290.

VII.

Новая должность. — Произведенія послѣдняго періода. — «Москва и москвичи». — «Брынскій лѣсъ». — «Русскіе въ началѣ XVIII столѣтія». — Послѣдніе дни.

Въ февралѣ 1842 года Михаилъ Николаевичъ Загоскинъ былъ назначенъ директоромъ Московской оружейной палаты и оставался въ этой должности до смерти, послѣдовавшей въ іюнѣ 1852 года. Этотъ послѣдній, десятилѣтній періодъ жизни нашего писателя не ознаменованъ никакими замѣчательными событіями ни во внѣшней жизни, ни въ литературной его дѣятельности.

Загоскинъ продолжалъ писать, но ничего особенно замѣчательнаго не написалъ въ это время. Пора его славы миновала, и онъ тихо доживалъ дни свои. Въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ своей жизни Загоскинъ издалъ четыре выпуска «Москвы и Москвичей», два новые романа: «Брынскій лѣсъ» и «Русскіе въ началѣ XVIII столѣтія» и нѣсколько комедій.

Окончательно сроднившись съ Москвою, Михаилъ Николаевичъ изучилъ и ея современное положеніе, и ея исторію, и подъ конецъ жизни своей задумалъ издать свои наблюденія надъ прошедшею и настоящею жизнью Москвы въ видѣ замѣтокъ нѣкоего старожила Богдана Ильича Бѣльскаго. Отъ имени послѣдняго онъ говоритъ: «Я давно уже веду записки, —не о домашней мое йжизни: въ ней не было ничего особенно замѣчательнаго, но о всемъ томъ, что касается Москвы и ея жителей, относительно къ ихъ частному, политическому и историческому быту. Я изучалъ Москву слишкомъ тридцать лѣтъ и могу сказать рѣшительно, что она не городъ, не столица, а цѣлый міръ, разумѣется, русскій. Вы найдете въ Москвѣ сокращенье всѣхъ элементовъ, составляющихъ житейскій и гражданскій бытъ Россіи, этого огромнаго колосса, которому Петербургъ служитъ головою, а Москва сердцемъ. Москва—богатый, неисчерпаемый рудникъ для каждаго наблюдателя отечественныхъ нравовъ».

Въ первомъ выходѣ «Москвы и москвичей» среди нравоописательныхъ очерковъ помѣщено и прекрасное извѣстное описаніе: «Кремль при лунномъ свѣтѣ» («Какъ прекрасенъ,

какъ великолѣпенъ нашъ Кремль въ тихую лунную ночь»...). Въ статьѣ «Московскіе балы нашего времени» Загоскинъ нарисовалъ свой портретъ: «Не смотря на его довольно свѣжее лицо и румяныя щеки, не трудно было отгадать, что онъ давно живетъ на свѣтѣ; на немъ былъ форменный камергерскій фракъ, сшитый не очень модно, однакожъ и не по-стариковски. Мнѣ съ перваго взгляда понравилась его открытая и веселая физіономія»

Второй выходъ «Москвы и москвичей» появился въ 1843 году; онъ тоже состоитъ изъ мелкихъ статеекъ разнообразнаго содержанія: сцены, списанныя съ натуры, и нѣсколько статей историческаго содержанія.

Третій выходъ «Москвы и москвичей» появился позже, въ 1848 году. Онъ менѣе заслуживаетъ вниманія, чѣмъ два первые; въ одной изъ статей этого выпуска авторъ вздумалъ защищать провинціальныхъ жителей отъ нападокъ, которымъ они будто бы подвергаются въ литературѣ. Но защита вышла слаба, такъ какъ и самъ Загоскинъ мало зналъ провинцію.

Въ 1845 году, Загоскинъ напечаталъ историческій романъ «Брынскій лѣсъ». Это была попытка представить среду раскольниковъ. Но Загоскинъ зналъ ее мало, и потому подъ его перомъ картины раскольничьяго быта отзываются вымысломъ и подражательностью: его отецъ Пафнутій очень напоминаетъ Абакука Мукльрата въ романѣ Вальтеръ-Скотта «Пуритане». Послѣднимъ изъ романовъ Загоскина былъ вышедшій въ 1848 году подъ заглавіемъ: «Русскіе въ началѣ восемнадцатаго столѣтія». Тутъ тѣ-же достоинства и тѣ же недостатки, что во всѣхъ произведеніяхъ Загоскина сороковыхъ годовъ. Успѣхъ этого романа былъ незначителенъ, равно какъ и успѣхъ послѣднихъ комедій Загоскина: «Поѣздка за границу» (1850), «Женатый женихъ» (1851) и IV-го выхода «Москвы и москвичей» (1850). На смѣну плодовитаго писателя явились уже новые литературные дѣятели, которые измѣнили вкусъ публики.

Михаилъ Николаевичъ скончался въ 1852 году, 23-го іюня, и погребенъ въ Москвѣ, въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. О послѣднихъ дняхъ его жизни предоставимъ разсказать его другу С. Т. Аксакову. «Загоскинъ начиналъ расхварываться: онъ чувствовалъ постоянный ломъ, по временамъ сильно ожесточавшійся, въ ногахъ и даже въ груди, съ какимъ-то наружнымъ раздраженіемъ кожи; впрочемъ, сначала онъ

терпѣлъ болѣе безпокойства, чѣмъ боли. Доктора находили, что это артрическая острота (разсыпная подагра), перешедшая впослѣдствіи въ подагру атоническую — нервную. Загоскинъ не любилъ лѣчиться, первую зиму онъ перемогался, продолжалъ ежедневно выѣзжать, надѣялся, что лѣто и верховая ѣзда за городомъ, которую онъ очень любилъ, лучше докторовъ возстановятъ его здоровье. Въ первый годъ точно такъ и было: онъ видимо поправился лѣтомъ, но къ осени болѣзнь возвратилась съ удвоенною силою. Загоскинъ принужденъ былъ приняться за лѣкарство; но лѣчился такъ неправильно, своенравно, такъ часто перемѣнялъ методу лѣченья и самыя средства, употреблия ихъ нерѣдко въ страшномъ излишествѣ, слѣдуя совѣтамъ не врачей, что, безъ сомнѣнія, лѣченье ему повредило и придало болѣзни силу и важность. Страданія физическія отняли у него возможность писать, а человѣку, привыкшему въ теченіе цѣлой жизни къ ежедневной умственной работѣ, такое лишеніе невыносимо. Загоскинъ принялся читать и перечиталъ все, что за недосугомъ было только просмотрѣно имъ или пропущено совсѣмъ. Сначала онъ выѣзжалъ по вечерамъ почти ежедневно, но ѣздилъ уже не въ свѣтское общество, а къ самымъ короткимъ друзьямъ, гдѣ нерѣдко увлекался своимъ живымъ характеромъ, забывая на мгновеніе мучительныя боли, горячился въ спорахъ о какихъ-нибудь современныхъ интересахъ, а иногда въ спорахъ о картахъ за пятикопѣчнымъ ералашемъ; громкій голосъ его звучно раздавался по-прежнему, по-прежнему всѣ были живы и веселы вокругъ него, и, взглянувъ въ такія минуты на Загоскина, нельзя было подумать, что онъ постоянно страдалъ недугомъ, тяжкимъ и смертельнымъ. Наконецъ, болѣзнь такъ усилилась, что онъ не могъ выѣзжать по вечерамъ — обстоятельство очень тяжелое для Загоскина, потому что при огнѣ онъ не могъ читать; его вывозили только прогуливаться, и онъ, не вылѣзая изъ экипажа, дѣлалъ визиты своимъ пріятелямъ и знакомымъ. Кромѣ собственнаго его семейства, родной братъ, Маркелъ Николаевичъ съ женою, жившіе тогда въ Москвѣ, были ежедневными его собесѣдниками. Друзья также навѣщали его, составляли пріятельскій вистъ или ералашъ, и больной не давалъ задумываться своимъ посѣтителямъ, а напротивъ нерѣдко заставлялъ ихъ смѣяться». «За три дня до смерти Загоскина», разсказываетъ Сушковъ, «я вошелъ къ нему

съ путешественникомъ, Далматомъ, графомъ Починемъ Загорскимъ, который желалъ познакомиться съ московскими литераторами и учеными... Какъ оживилось лицо Загоскина, когда я сказалъ ему, что Починъ, итальяно-славянскій литераторъ, желалъ видѣть нашего Вальтеръ-Скотта. Онъ тутъ-же разсказалъ ему о письмѣ Шипова къ Бодянскому, о перепискѣ своей съ нѣкоторыми изъ иностранныхъ писателей, о переводахъ романовъ своихъ на европейскіе языки и т. п. Это было 19-го іюня... Недѣли за двѣ до кончины своей онъ читалъ мнѣ стихи, написанные имъ въ часы отдыха отъ болѣзней, которыя болѣе двухъ лѣтъ вели упорную борьбу съ прежнимъ атлетомъ по силѣ мускуловъ и громозвучному голосу. Онъ жаловался въ нихъ на всѣ системы лѣченія, на аллопатію, гомеопатію, гидропатію, не зналъ, какъ кончить ихъ, и очень обрадовался, когда пришла намъ мысль заключить тѣмъ, что лѣкарства и исцѣленія должно ожидать свыше — оттуда, гдѣ источникъ знанія и жизни... Не знаю, кончилъ ли онъ свою лебединую пѣсню?» [1]). «Между тѣмъ безпорядочное, часто измѣняемое лѣченье героическими средствами», говоритъ Аксаковъ, «продолжалось; приключилась посторонняя болѣзнь, которая при другихъ обстоятельствахъ не должна была имѣть никакихъ печальныхъ послѣдствій; нѣкогда могучій организмъ и пищеварительныя силы ослабѣли, истощились, и 23-го іюня 1852 года, въ пятомъ часу пополудни, послѣ двухчасового спокойнаго сна, взявъ изъ рукъ меньшаго сына стаканъ съ водою и выпивъ немного, Загоскинъ внимательно посмотрѣлъ вокругъ себя... Вдругъ лицо его совершенно измѣнилось, покрылось блѣдностью и въ то же время просіяло какою-то веселостью. Онъ вздохнулъ, и его не стало. Больной заснулъ тихимъ, спокойнымъ, вѣчнымъ сномъ» [2]).

---

[1]) Раутъ, кн. III, стр. 291 и слѣд.
[2]) *Аксаковъ*, т. III, стр. 297—299.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ ПЕРЕЧЕНЬ

СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

съ библіографическими примѣчаніями.

1815.

Комедія противъ комедіи или урокъ волокитамъ, комедія въ 3 д.

Представлена въ первый разъ въ С.-Петербургѣ на Маломъ театрѣ, въ пользу актера Брянскаго, 3-го ноября 1815 г. С.-Пб. 1816 г. Цензурная помѣта: 23-го октября 1815 г.

Проказникъ, комедія въ 1 д.

Представлена въ 1-й разъ 15-го декабря 1815 г. (П. Н. Араповъ. Лѣтопись русскаго театра. С.-Пб. 1861, стр. 244—245). Не напечатана.

1817.

Макарьевская ярмарка, интермедія, составленная изъ танцевъ, игръ, пѣній и хороводовъ.

Представлена въ первый разъ 18-го іюня 1817 г. (Араповъ. Лѣт. русск. театра, стр. 253). Не напечатана.

Г. Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ, ком. въ 5 д. С.-Пб. 1817, изд. 2-е. М. 1823.

Представлена въ 1-й разъ въ С.-Пб. на Маломъ театрѣ 27-го іюня 1817 г.

Лебедянская ярмарка, интермедія.

Представлена въ 1-й разъ въ С.-Пб. 24-го сентября 1817 г. (Араповъ. Лѣт. русск. театра, стр. 256). Печатается въ первый разъ по списку, сообщенному А. Я. фонъ-Ашебергомъ.

Вечеринка ученыхъ, комедія въ 3 д. С.-Пб. 1820.

Представлена въ 1-й разъ въ С.-Пб. на Маломъ театрѣ 12-го ноября 1817 года, въ пользу актера Боброва.

Въ журналѣ: «Сѣверный Наблюдатель», издававшемся во второе полугодіе 1817-го года Загоскинымъ въ соредакторствѣ съ Похорскимъ и Ивановымъ; первому изъ названныхъ лицъ принадлежатъ; слѣдующія статьи:

Театръ и семидневный репертуаръ.

Ч. I, стр. 16—22, стр. 70—73; стр. 104—107; стр. 131—136; стр. 165—169; стр. 264—270; стр. 324—327; стр. 355—361; стр. 389—393 стр. 413—420. Всѣ статьи съ подписью: М. З.

Знатоки или исторія одного дня.

Ч. I, стр. 41—46, съ подписью: М. З., житель Лиговскаго канала.

Разговоры въ царствѣ живыхъ и мертвыхъ. Разговоръ.

Разговоръ 1-й. «Театральныя сѣни». Ч. I, стр. 81—87. Подпись: М. З. Разговоръ 2-й. «Миносовъ судъ». Ч. I, стр. 113—115. Съ тою-же подписью.

Полезный совѣтъ.

Ч. I, стр. 145—153; подписано М. З. Вошло въ составъ статьи: «Любители словесности», напечатанной въ «Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія» 1820 г., ч. IX, № 2, стр. 286—310.

Добрый малый.

Ч. I, стр. 177—181. Подпись: М. З. Вошло съ необходимыми измѣненіями въ составъ комедіи: «Добрый малый».

Письмо чувствительной женщины.

Ч. I, стр. 219—222. Безъ подписи. Подобно предыдущей статьѣ вошло въ комедію «Добрый малый».

Испытаніе.

Ч. I, стр. 243—250. Подписано: М. З.

Неравный бракъ.

Отрывокъ изъ одного русскаго романа. Ч. I, стр. 307—317; 339—350; 371—379; ч. II, стр. 3—10; 33—43; 65—72. Подпись: З-нъ.

Отвѣтъ на письмо неизвѣстнаго, помѣщенное въ 10-й книжкѣ «Сѣвернаго Наблюдателя».

Ч. I, стр. 367—370. Безъ подписи. Принадлежность этой статьи Загоскину явствуетъ изъ сличенія ея съ комедіею: «Вечеринка ученыхъ».

Быть можетъ, что, кромѣ исчисленныхъ статей, Загоскину въ журналѣ «Сѣверный наблюдатель» принадлежатъ еще нѣкоторыя, какъ, напримѣръ: Смѣсь, ч. I, стр. 396—399; Изъявленіе благодарности, ч. II, стр. 26—30; Духъ или избранныя мѣста изъ сочиненій Ювенала Прямосудова, ч. II, стр. 90—94, но на это нѣтъ прямыхъ доказательствъ.

1819.

Романъ на большой дорогѣ, комедія въ одномъ дѣйствіи. С.Пб. 1819.

Представлена въ первый разъ въ С.-Пб. на Большомъ театрѣ 29-го іюля 1819 г. въ пользу актера и актрисы Сосницкихъ.

1820.

Любители словесности.

Напечатано въ «Трудахъ Высочайше утвержденнаго общества любителей россійской словесности». (Соревнователь просвѣщенія и благотворенія)» 1820 г., № 3, стр. 286—310.

Это отчасти повтореніе статьи: «Полезный совѣтъ», напечатанной въ «Сѣверномъ Наблюдателѣ» 1817 г., ч. I.

Путешественникъ.

Напечатано въ «Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія» 1820 г., № 6, стр. 269—298.

Читано авторомъ въ засѣданіи Общества любителей росс. словесности 10-го мая 1820 г.

Добрый малый, комедія въ 3 д. С.-Пб., 1820.

Представлена въ первый разъ въ С.-Пб. 23-го іюня 1820 г., въ бенефисъ Боброва.

Сцены изъ этой комедіи (д. I, явл. 4-е; д. II, явленіе 9, 10 и 11) были напечатаны въ «Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія» 1820 г., ч. X, № 4, стр 55—70.

Богатоновъ въ деревнѣ или сюрпризъ самому себѣ, комедія въ 4 д. М. 1826.

Представлена въ первый разъ на Московскомъ театрѣ 20-го января 1821 г., слѣдовательно сочиненіе ея должно отнести къ концу 1820 года. Одна сцена изъ этой комедіи (явл. 10-е, II-го дѣйствія) была напечатана въ «Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія» 1820 г. № 12, стр. 294—304.

Торжественное засѣданіе преобразователей россійской азбуки. Не напечатано.

Эту статью Загоскинъ обѣщалъ прислать М. Е. Лобанову для прочтенія въ Обществѣ любителей росс. словесности («Историч. Вѣстникъ» 1880 г., т. II, стр. 688) послѣ окончанія комедіи: «Богатоновъ въ деревнѣ», но было-ли исполнено это обѣщаніе — неизвѣстно.

1821.

Посланіе къ П. И. Гнѣдичу, стихотвореніе.

Напечатано въ «Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія» 1821 г. ч. XIV, кн. III, стр, 302—307.

Авторская клятва, стихотвореніе.

Напечатано тамъ-же, ч. XV, кн. I, № VII, стр. 98—105.

Опытъ новыхъ разговоровъ на русскомъ и французскомъ языкѣ.

Напечатано тамъ-же, стр. 71—86.

Выборъ жены, стихотвореніе.

Напечатано тамъ-же, ч. XV, кн. II, № VIII, стр. 227—235.

1822.

Урокъ холостымъ или наслѣдники, комедія въ одномъ дѣйствіи, въ стихахъ. М. 1822.

Посвящена князю Дм. Вл. Голицыну. Представлена въ первый разъ на Московскомъ театрѣ 4-го мая 1822 г.

Нѣсколько сценъ изъ комедіи «Наслѣдники» напечатано было въ «Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія» 1822 г., ч. XVII, № 1, стр. 81—97.

Деревенскій философъ, комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи. М. 1823 г. Ценз. пом. 8 декабря 1822.

Представлена въ первый разъ на Московскомъ театрѣ II-го января 1823 г., бенефисъ Сабурова. Въ «Драматическомъ альбомѣ» на 1826 годъ напечатаны отрывки изъ оперы-водевиль: «Деревенскій философъ»; слова М. Н. Загоскина, музыка А. А. Алябьева (стр. 363, 375—376).

1823.

Посланіе къ Людмилу, стихотвореніе.

Читано было авторомъ 22-го февраля 1823 года въ засѣданіи Общества любителей росс. словесности при Московскомъ университетѣ. Напечатано: 1) въ «Трудахъ» этого общества, ч. III, стр. 230—241; 2) въ «Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія» 1823 г., ч. XXII, № 4 стр. 69—79; 3) въ «Вѣстникѣ Европы» того-же года, ч. 128, № 7, стр. 204—215.

1826.

День перваго представленія новой комедіи.

Драматическій отрывокъ въ прозѣ. Продолженіе было обѣщано, но не напечатано. «Московскій Вѣстникъ» 1830 г., ч. III, № XI. стр. 196—206.

Дата выставлена самимъ авторомъ.

1827.

Репетиція на станціи или доброму служить сердце лежитъ. Аналогическій водевиль въ 1 дѣйствіи. М. 1845.

Представленъ въ первый разъ 29-го октября 1827 года въ селѣ Рожественѣ, имѣніи свѣтлѣйшаго князя Д. В. Голицына. Издана П. Н. Араповымъ, съ посвященіемъ княгинѣ С. С. Щербатовой. М. Н. Загоскину принадлежитъ мысль пьесы и проза: куплеты писалъ А. И. Писаревъ.

Благородный театръ, комедія въ 4 дѣйствіяхъ, въ стихахъ. М. 1828.

Представлена въ первый разъ 28-го декабря 1827 года. Отрывки изъ этой комедіи были напечатаны: 1) въ альманахѣ «Русская Талія», на 1825 г. 2) Въ «Драматическомъ альбомѣ для любителей театра и музыки», на 1826 г., изд. А. Писаревымъ и А. Верестовскимъ, кн. I. М. 1826, стр. 170—192. (Пять явленій перваго дѣйствія).

1828.

Панъ Твардовскій, романтическая опера въ четырехъ д., съ хорами и танцами. Слова М. Н. Загоскина; музыка А. Н. Верестовскаго.

Отнесена къ этому году на основаніи показанія С. Т. Аксакова (Полн. собр. соч. Спб. 1886 г., ч. III, стр. 282. Ср. «Русскій Архивъ» 1878 г., т. II. стр. 389). Напечатана въ настоящемъ изданіи по списку, сообщенному А. Я. фонъ-Ашебергомъ.

Цыганская пѣсня изъ оперы: «Панъ Твардовскій» и романсъ изъ той-же оперы были напечатаны въ «Драматическомъ альбомѣ для любителей и любительницъ театра», изд. Ардаліономъ Ивановымъ, на 1828 г. С.-Пб. 1828, стр. 133—134 и 135—136. Отрывокъ напечатанъ также въ альманахѣ: «Весенніе цвѣты или собраніе романсовъ, балладъ и пѣсенъ». М. 1835, стр. 38—39.

Отрывокъ изъ комедіи «Столичные жители въ провинціи» (въ стихахъ) напеч. въ «Московскомъ Вѣстникѣ» 1829 г. (ценз. помѣта 19-го октября 1828 года) ч. I, стр. 156—180. Часть этого отрывка вошла въ составъ комедіи: «Недовольные».

1829.

Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 г. историческій романъ въ 3 частяхъ. М. 1829; изд. 2-е М. 1830; изд. 3-е М. 1830; изд. 4-е М. 1832; изд. 5-е М. 1838; изд. 6-е М. 1841; изд. 7-е М. 1846; изд. 8-е М. 1851; изд. 9-е М. 1856; С.-Пб. 1868; М. 1882; С.-Пб. 1882 С.-Пб. 1897.

1830.

Рославлевъ или русскіе въ 1812 году. М. 1831 г. (Ценз. помѣта 29 декабря 1830 г.). Изд. 2-е М. 1831; изд. 3-е М. 1851.

1833.

Аскольдова могила, повѣсть временъ Владиміра Перваго. 3 части. М. 1833; изд. 2-е М. 1853.

1834.

Вечеръ на Хопрѣ, два разсказа.

Напечатаны въ «Библіотекѣ для чтенія» 1834 г., т. III.—Вошло въ составъ «Повѣстей», изд. въ 1837 г.—Перепечатано въ «Библіотекѣ для дачъ, пароходовъ и желѣзныхъ дорогъ», изд. А. Смирдина, т. 86 и 87. С.-Пб. 1857.

1835.

Три жениха, провинціальные очерки.

Напечатано въ «Библіотекѣ для чтенія» 1835 г., т. X. Вошло въ составъ «Повѣстей», изд. 1837 г.—Перепечатано въ «Библіотекѣ для дачъ, пароходовъ и желѣзныхъ дорогъ», изд. А. Смирдина, т. 97. С.-Пб. 1857.

Впослѣдствіи М. П. Загоскинъ передѣлалъ эти очерки въ комедію: «Урокъ матушкамъ».

Аскольдова могила, романтическая опера въ 4 дѣйствіяхъ, музыка Верестовскаго. М. 1836. Изд. 2-е М. 1842 г.; изд. 3-е М. 1843 г.; изд. 4-е М. 1844 г.; изд. 5-е М. 1855 г.

Представлена въ первый разъ въ Большомъ Петровскомъ театрѣ, 15-го сентября 1835 года.

Недовольные, комедія въ 4 д., въ стихахъ.

Представлена въ первый разъ на Большомъ Петровскомъ театрѣ 2-го декабря 1835 г.

1836.

Кузьма Рощинъ, истинное происшествіе.

Напечатано въ «Библіотекѣ для чтенія» 1836 г., т. XVI. Вошло въ составъ «Повѣстей», изд. въ 1837 г. Перепечатано въ «Библіотекѣ для дачъ, пароходовъ и желѣзныхъ дорогъ», т. 101. С.-Пб. 1857. Было издано еще въ Москвѣ, въ 1860 году.

Передѣлано въ драму К. А. Бахтуринымъ: «Репертуаръ русскаго театра» 1839 г., т. II.

Повѣсти, въ 2-хъ частяхъ. М. 1837.

Первая часть (ценз. помѣта 7 сентября 1836 г.) содержитъ въ себѣ: Вступленіе и шесть разсказовъ: 1) «Панъ Твардовскій», 2) «Бѣлое привидѣніе», 3) «Нежданные гости», 4) «Концертъ бѣсовъ», 5) «Двѣ невѣстки» и 6) «Ночной поѣздъ».

Вторая часть (цензур. помѣта 4 сентября 1836 г.) содержитъ въ себѣ: 1) «Три жениха» и 2) «Кузьма Рощинъ».

1838.

Искуситель, романъ въ 3-хъ частяхъ. М. 1838 Изд. 2-е М. 1854.

Глава изъ 2-й части «Графъ Каліостро» была напечатана въ «Современникѣ» 1837 г., т. VII.

1839.

Тоска по родинѣ, повѣсть въ 2-хъ частяхъ. М. 1839. Изд. 2-е М. 1859.

Тоска по родинѣ, опера въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Музыка А. Верстовскаго. Сюжетъ взятъ изъ романа Загоскина.

Напечатана въ «Драматическомъ альбомѣ» М. 1852.
Представлена въ первый разъ въ Москвѣ 31-го августа 1839 г.

Нескучное.

Напечатано въ альманахѣ: «Утренняя Заря», на 1840 г., стр. 255—297. Ценз. помѣта 14 октября 1839 г. [1]).

1840.

Урокъ матушкамъ, русская провинціальная быль, въ трехъ дѣйствіяхъ.

Напечатано въ «Репертуарѣ русскаго театра» 1840 г., т. II, кн. 7, стр. 1—35.
Передѣлка разсказа: «Три жениха» (1835 г.).

1841.

Офиціальный обѣдъ, быль.

Напечатано въ сборникѣ «Сто русскихъ литераторовъ». С.-Пб. 1841 г., т. II, стр. 19—131.

Кузьма Петровичъ Мирошевъ, русская быль временъ Екатерины II. Четыре части. М. 1842.

Ценз. помѣта 31 октября 1841 г. Изд. 2-е М. 1847 г.

Два характера. Братъ и сестра.

Напечатано въ «Москвитянинѣ» 1841 г., ч. I, № 2, стр. 421—429.
Перепечатано во 2-мъ выходѣ «Москвы и москвичей», въ отдѣлѣ «Смѣсь».

---

[1]) Въ Утренней Зарѣ есть слѣдующее отличіе: Послѣ словъ: «Я въ этомъ совершенно съ тобою согласенъ», сказалъ мой пріятель:—«а не менѣе того желалъ бы отъ всей души, чтобъ русскій народъ полюбилъ и земное просвѣщеніе» въ альманахѣ (стр. 291—292) находится еще слѣдующій отрывокъ: — Что жъ ты покачиваешь головой? — продолжалъ мой пріятель:—да неужели ты самъ не желаешь этого?—А вотъ, постой,—сказалъ я:—дай посмотрѣть, одни ли мы?—А что?—Да такъ! Чтобъ въ меня не швырнули камнемъ. — Вотъ что! Такъ по твоему земное просвѣщеніе для крестьянина...—C'est du luxe, mon cher, — шепнулъ я вполголоса.— Вандалъ! — закричалъ мой пріятель.—Ругайся какъ хочешь,—продолжалъ я:—а мнѣ кажется, гораздо лучше хлопотать поменѣе о просвѣщеніи простого народа, а побольше заботиться объ его счастіи. Докажи мнѣ прежде, что у насъ, въ Россіи, просвѣщенный мужикъ счастливѣе непросвѣщеннаго, и тогда я соглашусь съ тобою. Нѣтъ, мой другъ!

1842.

Москва и Москвичи Записки Богдана Ильича Бѣльскаго, издаваемыя М. Н. Загоскинымъ. Выходъ первый. М. 1842. Изд. 2-е. М. 1351.

Книжка содержитъ въ себѣ: 1) «Отъ издателя»; 2) «Московскій старожилъ»; 3) «Взглядъ на Москву»; 4) «Сцены изъ московской домашней и общественной жизни». Сцена 1-я. Выборъ жениха (вошло въ составъ комедіи: «Женатый женихъ», 1851 г.); 5) Московская старина»; 6) «Контора дилижансовъ»; 7) «Два московскихъ бала въ 1801 году»; 8) «Московскіе балы нашего времени»; 9) «Сцены изъ московской домашней жизни». Сцена 2-я. Живописецъ (вошло въ составъ комедіи: «Женатый женихъ», 1851 г.); 10) «Марьина роща»; 11) «Смѣсь»; Визитныя карточки.—Московскія фабрики.—Дураки.—Большой колоколъ и царь-пушка.—Бульварный разговоръ.—Кремль при лунномъ свѣтѣ.—Воропы.

1843.

Москва и Москвичи. Записки Богдана Ильича Бѣльскаго, издаваемыя М. Н. Загоскинымъ. Выходъ второй, М. 1844. Ценз. помѣта 24 декабря 1843.

Въ составъ книжки вошли: 1) «Петровскій паркъ и вокзалъ»; 2) «Городскіе слухи» (Сохранилась въ рукописи передѣлка этой статьи въ комедію, которая и была поставлена на петербургской сценѣ въ 1844 году; см. хронику Петербургскихъ театровъ, А. И. Вольфа. С.-Пб. 1877, ч. II, стр. XLIII; въ рукописи прибавлено 15-е явленіе, которое печатается по списку, сообщенному А. Я. фонъ-Ашебергомъ) [1]. 3) «Англійскій клубъ»; 4) «Литературный вечеръ»; 5) «Ванька»; 6) «Новорожденный» (напечатано также въ «Библіотекѣ для чтенія» 1844 г., т. 62. «Смѣсь»: 1) Братъ и сестра. (Напечатано также въ «Москвитянинѣ» 1841 г., ч. I, № 2, стр. 421—429). 2) Дешевые товары. 3) Первыя театральныя представленія въ Москвѣ. 4) Русскій магазинъ. 5) Карты.

Первые два выхода «Москвы и Москвичей» появились вторымъ изданіемъ въ Москвѣ, въ 1851 году.

---

[1]) Явленіе 15-е (изъ комедіи «Городскіе слухи»).

Бураковскій (одинъ). Скажите пожалуста, вѣдь есть же такіе болтуны! Съ чего взяли? Съѣли собаки! Ну, какъ можно живого человѣка, такого толстаго, здороваго... Охъ, матушка Москва! Ужъ коли начнетъ сочинять, такъ не на животъ, а на смерть: Вѣдь дѣло то, кажется, совсѣмъ необычное, какая то фантасмагорія, а всѣ повѣрили и разсказываютъ другъ другу. И меня, стараго дурака, съ толку сбили. А ужъ я ли не знаю Москвы и вдоль и поперекъ! Всѣ эти романы и исторіи такъ встъ, отъ нечего дѣлать. Сколько на моемъ вѣку было пожаловано въ генералы, которые до сихъ поръ еще полковники. Сколько статскихъ совѣтниковъ, произведенныхъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники, которые умерли высокородными. Едва ли на небѣ столько звѣздъ, сколько ихъ роздано чиновникамъ, изъ которыхъ многіе, по сіе время, не имѣютъ даже и пряжки за безпорочную службу. Что ты будешь дѣлать! Однакожъ побѣжать, разсказать кое-кому о свадьбѣ Сицкаго, а то, пожалуй, болтуны прежде меня всѣмъ разскажутъ. Охъ, народецъ, народецъ!

(Уходитъ).

1844.

Выдержки изъ памятной книжки.

Напечатано въ альманахѣ «Литературный вечеръ», въ память В. В. Пассека. М. 1844. стр. 145—161.

1845.

Брынскій лѣсъ. Эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго. М. 1846. Ценз. помѣта 16-го октября 1845 г. Изд. 2-е. М. 1852.

Двѣ главы этого романа были напечатаны въ «Финскомъ Вѣстникѣ» 1845 г., т. VI.

1847.

Канцелярист, разсказъ (изъ предполагавшагося 5-го выхода Москвы и Москвичей).

Напечатано въ «Русскомъ Архивѣ» 1865, ст. 1303—1316.

1848.

Москва и Москвичи. Записки Богдана Ильича Бѣльскаго, издаваемыя М. Н. Загоскинымъ. Выходъ третій. М. 1848.

Содержаніе книжки; 1) Нѣсколько словъ о нашихъ провинціалахъ. 2) Четыре визита. 3) Первое мая. 4) Поѣздка за границу (передѣлано въ комедію того же названія, 1850 г.). 5) Письмо изъ Арзамаса. 6) Прогулка въ Симоновъ монастырь. Смѣсь: 1) Логическій выводъ. 2) Московскія гостиницы. 3) Андрей Евстафьевичъ Дыбковъ. 4) Москва рѣка. 5) Бабій городокъ. 6) Два слова о нашей древней и современной одеждѣ.

Всѣ эти статьи были напечатаны въ «Библіотекѣ для чтенія» 1847 г., томъ 81.

Русскіе въ началѣ XVIII-го столѣтія, разсказъ изъ временъ единодержавія Петра Перваго. М. 1848.

Отрывокъ изъ этого романа (VIII-я глава I-й части) былъ напечатанъ въ «Сѣверномъ Обозрѣніи» 1848 г., т. I, отд. 1, стр. 115—128, подъ заглавіемъ: «Московская сваха въ 1711 году», отрывокъ изъ разсказа: «Русскіе въ нѣмецкихъ кафтанахъ».

1850.

Поѣздка за границу, комедія въ 4 д. М. 1850.

Представлена въ первый разъ въ Москвѣ 29-го января 1850 г., въ Маломъ театрѣ.

Это передѣлка 4-й статьи третьяго выхода Москвы и Москвичей. Напечатана была въ «Москвитянинѣ» 1850 г., часть II, книга 2, № 8. стр. 199—287.

Москва и Москвичи. Записки Богдана Ильича Бѣльскаго, издаваемыя М. Н. Загоскинымъ. Выходъ четвертый. М. 1850.

Содержаніе книжки: 1) Къ читателямъ. 2) Купеческая свадьба. 3) Нескучное (было напечатано въ альманахѣ «Утренняя Заря», на 1840 г.). 4) Московскіе сводчики. 5) Осенніе вечера: Вступленіе.—Вечеръ первый.—Эмигрантъ.—Благодарный воръ.—Лѣкарскій дипломъ.—Предсказаніе.

Заштатный городъ, ком. въ 3 д., въ прозѣ.

Передѣлана изъ разсказа: Офиціальный обѣдъ (1841 г.). Не была играна и осталась въ рукописи. (Полн. собр. соч. С. Т. Аксакова. С.-Пб. 1886, т. III, стр. 297).

1851

Женатый женихъ, ком. въ 4 д., въ стихахъ, С.-Пб., 1851.

Напечатана въ «Библіотекѣ для чтенія» 1854 г., т. 105, отдѣлъ I, стр. 237—244. Представляетъ отчасти передѣлку двухъ статей перваго выхода Москвы и Москвичей: 8-й; Живописецъ, и 3-й: Выборъ жениха.

Предполагалось издать пятый выходъ «Москвы и Москвичей», въ составъ котораго должны были войти: разсказъ «Канцелярист», комедія «Заштатный городъ», нѣсколько мелкихъ статей и шуточное, неоконченное посланіе въ стихахъ къ А. Е. Аверкіеву. (С. Т. Аксаковъ. Полн. собр. соч., т. III, стр. 303), но предположеніе это не осуществилось.

ЮРІЙ МИЛОСЛАВСКІЙ

ИЛИ

РУССКІЕ ВЪ 1612 ГОДУ.

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Никогда Россія не была въ столь бѣдственномъ положеніи, какъ въ началѣ XVII столѣтія: внѣшніе враги, внутренніе раздоры, смуты бояръ, а болѣе всего совершенное безначаліе — все угрожало неизбѣжной погибелью землѣ Русской. Вѣрный сынъ отечества, бояринъ Михайло Борисовичъ Шеинъ, не смотря на безпримѣрную свою неустрашимость, не могъ спасти Смоленска. Этотъ, по тогдашнему времени, важный своими укрѣпленіями городъ былъ уже во власти польскаго короля Сигизмунда, войска котораго, подъ командою гетмана Жолкѣвскаго, впущенныя измѣною въ Москву, утѣсняли несчастныхъ жителей сей древней столицы. Наглость, своевольство и жестокости этого буйнаго войска превосходили всякое описаніе [1]). Имъ не уступали въ звѣрствѣ многолюдныя толпы разбойниковъ, извѣстныхъ подъ названіемъ запорожскихъ казаковъ, которые занимали или лучше сказать опустошали Черниговъ, Брянскъ, Козельскъ, Вязьму, Дорогобужъ и многіе другіе города. Въ недальнемъ разстояніи отъ Москвы стояли войска второго самозванца, прозваннаго Тушинскимъ воромъ; на сѣверѣ, шведскій генералъ Понтіусъ Де-ла-Гарди свирѣпствовалъ въ Новгородѣ и Псковѣ; однимъ словомъ, исключая нѣкоторые низовые города, почти вся земля Русская была во власти непріятелей, и одна Сергіевская лавра, осажденная войсками второго самозванца, подъ начальствомъ гетмана Сапѣги и знаменитаго

налета *), пана Лисовскаго, упорно защищалась; малое число воиновъ, слуги монастырскіе и престарѣлые иноки отстояли святую обитель. Этотъ спасительный примѣръ и увѣщательныя грамоты, которыя благочестивый архимандритъ Діонисій и незабвенный старецъ Авраамій разсылали повсюду, пробудили наконецъ усыпленный духъ народа Русскаго; затлились въ сердцахъ искры пламенной любви къ отечеству, всѣ готовы были возстать на супостата, но священныя слова: «умремъ за вѣру православную и святую Русь!» не раздавались еще на площадяхъ городскихъ; всѣ сердца кипѣли мщеніемъ, но Пожарскій, покрытый ранами, страдалъ на одрѣ болѣзни, а безсмертный Мининъ еще не выступилъ изъ толпы обыкновенныхъ гражданъ.

Въ эти то смутныя времена, въ началѣ апрѣля 1612 года, два всадника медленно пробирались по берегу луговой стороны Волги. Одинъ изъ нихъ, закутанный въ широкій охабень **), ѣхалъ впереди на борзомъ ворономъ конѣ и, казалось, совершенно не замѣчалъ, что метель становится часъ-отъ-часу сильнѣе; другой, въ нагольномъ тулупѣ, сверхъ котораго надѣтъ былъ на-распашку кафтанъ изъ толстаго бѣлаго сукна, безпрестанно останавливалъ свою усталую лошадь, прислушиваясь со вниманіемъ, но, не различая ничего, кромѣ однообразнаго свиста бури, и съ примѣтнымъ безпокойствомъ озирался на всѣ стороны.

— Полегче, бояринъ,—сказалъ онъ, наконецъ, съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ: — твой конь шагистъ, а мой сѣрко чуть ноги волочитъ.

Передній всадникъ пріостановилъ свою лошадь; а тотъ, который началъ говорить, поровнявшись съ нимъ, продолжалъ.

— Прогнѣвали мы Господа Бога, Юрій Дмитричъ, — не даетъ намъ весны. Да и впору мы выѣхали! Я говорилъ тебѣ, что будетъ погода. Вчера мы проѣхали верстъ шестьдесятъ, такъ могли бъ сегодня отдохнуть. Вотъ ужъ седьмой день, какъ мы изъ Москвы, а скоро ли доѣдемъ— Богъ вѣсть!

— Не кручинься, Алексѣй, — отвѣчалъ другой путешественникъ:—завтра мы отдохнемъ вдоволь.

---

*) Такъ назывались въ то время партизаны.
**) Верхнее платье, съ длинными рукавами и капишономъ.

— Такъ завтра мы доѣдемъ туда, куда послалъ тебя панъ Гонсѣвскій?

— Я думаю.

— Дай-то Богъ!.. Ну, ну, сѣрко, ступай!.. А что, боярин, назадъ въ Москву мы вернемся, или нѣтъ!

— Да, и очень скоро.

— Не прогнѣвайся, государь, а позволь слово молвить: не лучше ли намъ переждать, какъ тамъ все угомонится. Теперь въ Москвѣ житье худое: поляки буянятъ, православные ропщутъ, того и гляди пойдетъ рѣзня.... Постой-ка, бояринъ, постой! Сѣрко мой что-то храпитъ, да и твоя лошадь упирается: ужъ не оврагъ ли!..

Оба путешественника остановились; Алексѣй спрыгнулъ съ лошади, ступилъ нѣсколько шаговъ впередъ и вдругъ остановился, какъ вкопанный.

— Ну что?—спросилъ другой путешественникъ.

— Охъ, худо бояринъ! Мы ѣдемъ цѣликомъ, а вотъ, кажется, и оврагъ... Ахъ батюшки-свѣты, какая круть! Какъ Богъ помиловалъ!

— Такъ мы заплутались?

— Вотъ то-то и бѣда! Ну, Юрій Дмитричъ, что намъ теперь дѣлать?

— Искать дороги.

— Да какъ ее сыщешь, бояринъ? Смотри, какая метель: свѣту Божьяго не видно!

Въ самомъ дѣлѣ, вьюга усилилась до такой степени, что въ двухъ шагахъ невозможно было различать предметовъ. Снѣжная равнина, взрываемая порывистымъ вѣтромъ, походила на бурное море: холодъ ежеминутно увеличивался, а вѣтеръ превратился въ совершенный вихрь. Цѣлыя облака пушистаго снѣга крутились въ воздухѣ, и не только ослѣпляли путешественниковъ, но даже мѣшали имъ дышать свободно. Ведя за собою лошадей, которыя на каждомъ шагу оступались и вязнули въ глубокихъ сугробахъ, они прошли версты двѣ, не отыскавъ дороги.

— Я не могу идти далѣе,—сказалъ наконецъ тотъ изъ путешественниковъ, который, повидимому, былъ господиномъ. Онъ бросилъ повода своей лошади и въ совершенномъ изнеможеніи упалъ на землю.

— Ужъ не прозябъ ли ты, бояринъ?—спросилъ другой испуганнымъ голосомъ.

— Да; я чувствую, кровь застываетъ въ моихъ жи-

лахъ. Послушай... если я не смогу идти далѣе, то покинь меня здѣсь на волю Божію и думай только о себѣ.

— Что ты, что ты, бояринъ! Богъ съ тобою!

— Да, мой добрый Алексѣй, если мнѣ суждено умереть безъ исповѣди, то да будетъ его святая воля! Ты усталъ менѣе моего и можешь спасти себя. Когда я совсѣмъ выбьюсь изъ силъ, оставь меня одного, и если Господь поможетъ тебѣ найдти пріютъ, то ступай завтра въ отчину боярина Кручины Шалонскаго, — она не далеко отсюда,—отдай ему...

— Какъ, Юрій Дмитричъ, чтобъ я, твой вѣрный слуга, тебя покинулъ? Да на то-ли я вскормленъ отцомъ и матерью? Нѣтъ, родимый, если ты не можешь идти, такъ и я не тронусь съ мѣста!

— Алексѣй, ты долженъ исполнить послѣднюю мою волю!

— Нѣтъ, бояринъ, и не говори объ этомъ: умирать, такъ умирать обоимъ! Но что это?.. Не послышалось ли мнѣ?

Алексѣй снялъ шапку, наклонилъ голову и сталъ прислушиваться съ большимъ вниманіемъ.

— Хотя бъ на часокъ затихъ этотъ окаянный вѣтеръ!— вскричалъ онъ съ нетерпѣніемъ. Мнѣ показалось, что налѣво отъ насъ... Чу, слышишь, Юрій Дмитричъ?

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ Юрій, приподнимаясь на ноги:—кажется, тамъ лаетъ собака.

— И мнѣ тоже сдается. Дай то, Господи! Завтра же отслужу молебенъ святому угоднику Алексѣю... поставлю фунтовую свѣчу... пойду пѣшкомъ поклониться Печерскимъ чудотворцамъ... Чу, опять! Слышишь?

— Точно, ты не ошибаешься.

— А гдѣ лаетъ собака, тамъ и жилье. Ободрись, бояринъ; Господь не совсѣмъ насъ покинулъ.

Кого среди ночного мрака заставала метель въ открытомъ полѣ, кто испыталъ на самомъ себѣ весь ужасъ бурной зимней ночи, тотъ пойметъ восторгъ нашихъ путешественниковъ, когда они удостовѣрились, что точно слышатъ лай собаки. Надежда вѣрнаго избавленія оживила сердца ихъ; забывъ всю усталость, они пустились немедленно впередъ. Съ каждымъ шагомъ прибавлялась ихъ надежда, лай становился часъ-отъ-часу внятнѣе, и хотя буря не уменьшалась, но они не боялись уже сбиться съ своего пути.

— Кажется, не далеко отсюда,—сказалъ Юрій:—я слышу очень ясно...

— И я слышу, бояринъ, — отвѣчалъ Алексѣй, пріостановясь на минуту, —да только этотъ лай мнѣ вовсе не по сердцу.

— А что такое?

— Ничего, ничего; дай-то Богъ, чтобы было тутъ жилье!

Они прошли еще нѣсколько шаговъ; вдругъ черная большая собака съ громкимъ лаемъ бросилась на встрѣчу къ Алексѣю, начала къ нему ласкаться, вертѣть хвостомъ, визжать, и потомъ съ воемъ побѣжала назадъ. Алексѣй пошелъ за нею; но едва онъ ступилъ нѣсколько шаговъ, какъ вдругъ вскричалъ съ ужасомъ:

— Съ нами крестная сила! Ну, такъ... сердце мое чуяло... Посмотри-ка, бояринъ.

Человѣкъ въ сѣромъ армякѣ, подпоясанный пестрымъ кушакомъ, изъ-за котораго виднѣлась рукоятка широкаго турецкаго кинжала, лежалъ на снѣгу; длинная винтовка, въ суконномъ чахлѣ, висѣла у него за спиною, а съ правой стороны къ поясу привязана была толстая казацкая плеть; татарская шапка, съ густымъ околышемъ, лежала подлѣ его головы. Собака остановилась подлѣ него и, глядя пристально на нашихъ путешественниковъ, начала выть жалобнымъ голосомъ.

— Ахъ, Боже мой!— сказалъ Юрій.— Несчастный, онъ замерзъ!

Забывъ собственную опасность, Юрій наклонился заботливо надъ прохожимъ и старался привести его въ чувство. Этотъ плачевный видъ—предвѣстникъ собственной ихъ участи, усталость, а болѣе всего обманутая надежда,— все это вмѣстѣ такъ сильно подѣйствовало на бѣднаго Алексѣя, что вся бодрость его исчезла. Предавшись совершенному отчаянію, онъ началъ называть по именамъ всѣхъ родныхъ и знакомыхъ своихъ.

— Простите, добрые люди,— вопилъ онъ:— прости, моя Маринушка! Не въ добрый часъ мы выѣхали изъ дому: пропали наши головы!

— Полно ревѣть, Алексѣй,—сказалъ Юрій:—поди сюда... Этотъ бѣднякъ еще живъ, онъ спитъ, и если намъ удастся разбудить его...

— Эхъ, родной, и мы скоро заснемъ, чтобъ вѣкъ не просыпаться!

— Не грѣши, Алексѣй, Богъ милостивъ! Посмотри хорошенько: развѣ ты не видишь, что здѣсь снѣгъ укатанъ и наши лошади не вязнутъ,—вѣдь это дорога.

— Дорога? Постой, бояринъ... въ самомъ дѣлѣ... Слава Богу! Ну, Юрій Дмитричъ, сядемъ на коней, мѣшкать нечего.

— А этотъ бѣдный прохожій?

— Дай Богъ ему царство небесное; ужъ видно ему такъ на роду написано! Поѣдемъ, бояринъ.

— Нѣтъ, я попытаюсь спасти его,—сказалъ Юрій, стараясь привести въ чувство полузамерзшаго незнакомца. Минуты двѣ прошло въ безплодныхъ стараніяхъ; наконецъ прохожій очнулся, приподнялъ голову и сказалъ нѣсколько невнятныхъ словъ. Юрій, при помощи Алексѣя, поставилъ его на ноги, но онъ не могъ на нихъ держаться.

— Ну, видишь, Юрій Дмитричъ,—сказалъ Алексѣй,—намъ съ нимъ дѣлать нечего, поѣдемъ! Изъ первой деревни мы вышлемъ за нимъ сани.

— А пока мы доѣдемъ до жилья, онъ успѣетъ совсѣмъ замерзнуть.

— Что жъ дѣлать, бояринъ: своя рубашка къ тѣлу ближе!

— Алексѣй, побойся Бога! Развѣ ты не крещеный?

— Да послушай, Юрій Дмитричъ: за тебя я готовъ въ огонь и воду,—ты мой бояринъ, а умирать за всякаго прохожаго не хочу; дѣло другое — отслужить по немъ панихиду, пожалуй!..

— Молчи.... и пособи мнѣ посадить его на твою лошадь.

Алексѣй замолчалъ и принялся помогать своему господину. Они не безъ труда подвели прохожаго къ лошади; онъ переступалъ машинально и, казалось, не слышалъ и не видѣлъ ничего; но когда надобно было садиться на коня, то вдругъ оживился и, какъ будто-бы по какому-то инстинкту, вскочилъ безъ ихъ помощи на сѣдло, взялъ въ руки повода, и неподвижные глаза его вспыхнули жизнію, а на безчувственномъ лицѣ изобразилась живая радость. Черная собака, съ громкимъ лаемъ, побѣжала впередъ.

— Посмотри, бояринъ, — сказалъ Алексѣй, — онъ чуть живъ, а какимъ молодцомъ сидитъ на конѣ; видно, что ѣздокъ!.. Ого, да онъ началъ пошевеливаться! Тише, братъ,

тише: мой сѣрко и такъ усталъ! Однакожъ, Юрій Дмитричъ, или мы поразогрѣлись, или погода становится теплѣе.

— И мнѣ то же кажется.

— Какъ бы снѣгъ не такъ валилъ, то намъ бы и думать нечего. Эй, ты, мерзлый! Полно, братъ, гарцовать, сиди смирнѣе! Ну, теперь отлегло отъ сердца; а давича пришлось было такъ жутко, хоть тутъ же ложись, да умирай... Ахти, постой-ка: никакъ дорога пошла направо! Мы опять ѣдемъ цѣликомъ.

Тутъ налѣво отъ нихъ послышался лай собаки; незнакомый поворотилъ въ ту сторону.

— Куда ты, землякъ? Постой! — вскричалъ Алексѣй, схвативъ за поводъ лошадь. Или хочешь опять замерзнуть? Но незнакомый махнулъ плетью и, протащивъ нѣсколько шаговъ за собою Алексѣя, выѣхалъ на большую дорогу.

— Видишь-ли, — прошепталъ онъ едва внятнымъ голосомъ,—что моя собака лучше твоего знаетъ дорогу?

— Эге, да ты сталъ поговаривать! Ну что, братъ, ожилъ?

Незнакомый не отвѣчалъ ничего и, продолжая ѣхать молча, старался безпрестаннымъ движеніемъ разогрѣть свои оледенѣвшіе члены; онъ приподнимался на стременахъ, гнулся на ту и другую сторону, махалъ плетью и, спустя нѣсколько минутъ, запѣлъ потихоньку, но довольно твердымъ голосомъ:

Гой ты, море, море синее!
Ты, разгулье молодецкое!
Ты прости, моя любимая,
Красна дѣвица-душа!
Не трепать рукою ласковой
Щеки алыя твои,
А трепать-ли молодцу
Мнѣ широкимъ весломъ
Волгу-матушку...

— Ого, товарищъ, — сказалъ Алексѣй, — да ты никакъ совсѣмъ оттаялъ,—пѣсенки попѣвашь!

— Да, добрые люди, спасибо вамъ: долго бы мнѣ спать, еслибы вы меня не разбудили!

— Откуда ты,— спросилъ Юрій,—и куда пробираешься?

— Изъ-подъ Москвы; а куда иду, и самъ еще путемъ не знаю. Верстахъ въ пяти отсюда, неизмѣнный мой товарищъ, добрый конь, выбился изъ силъ и палъ; я хотѣлъ кой-какъ добрести до первой деревни...

— А кто ты таковъ?

— Кто я? Какъ-бы вамъ сказать... Зовутъ меня Киршею; родомъ я изъ Царицына; служилъ казакомъ въ Батуринѣ, а теперь запорожецъ.

— Запорожецъ!—вскричалъ Алексѣй, отскочивъ въ сторону.

— Да,—продолжалъ спокойно прохожій.—Я приписанъ въ Запорожской Сѣчи къ Незамановскому куреню и, безъ хвастовства скажу, не изъ послѣднихъ казаковъ. Мой родной братъ—куренной атаманъ, а дядя былъ кошевымъ.

— Помилуй, Господи!—сказалъ Алексѣй.—Запорожскій казакъ и вѣрно разбойникъ!

— Нѣтъ, товарищъ, напрасно. Въ удальствѣ я отъ другихъ не отставалъ, а гайдамакомъ никогда не былъ.

— Какъ же ты попалъ въ здѣшнюю сторону?—спросилъ съ любопытствомъ Юрій.

— А вотъ какъ: я года два шатаюсь по бѣлу свѣту, и тамъ и сямъ; да что-то въ руку нейдетъ. До меня дошелъ слухъ, что въ Нижнемъ-Новѣгородѣ набираютъ втихомолку войско; такъ я хотѣлъ попытать счастья и пристать къ здѣшнимъ.

— Противъ кого?

— А мнѣ что за дѣло: про то панство знаетъ, была бы только пожива; вѣдь стыдно будетъ вернуться въ мой курень съ пустыми руками. Другіе выставятъ на улицу чаны съ виномъ и станутъ подчивать всѣхъ прохожихъ, а мнѣ и кошевому нечего будетъ поднести.

— Зачѣмъ же ты не присталъ къ войску гетмана Жолкѣвскаго?

— Спроси лучше, зачѣмъ отсталъ?

— Такъ ты бѣглый?

— Кто, я бѣглый?!—сказалъ прохожій, пріостановя свою лошадь.

Этотъ вопросъ былъ сдѣланъ такимъ голосомъ, что Алексѣй невольно схватился за рукоятку своего охотничьяго ножа.

— Добро, добро, такъ и быть,—продолжалъ онъ,—мнѣ грѣшно на тебя сердиться... Бѣглый! Нѣтъ господинъ честной, запорожцы люди вольные и служатъ тому, кому хотятъ.

— Но развѣ вы не должны служить королю Сигизмунду?

— Должны! Такъ говорятъ и старшіе, только врядъ-

ли когда запорожскій казакъ будетъ братомъ поляку. Нечего сказать, и мы кутили порядкомъ въ Черниговѣ: все Божье, да наше! Но жгли ли мы храмы Господни, ругались ли вѣрою православною? А эти окаянные ляхи для забавы стрѣляютъ въ святыя иконы! Какъ Богъ еще терпитъ!

— Но всѣ эти безпорядки скоро прекратятся: московскіе жители добровольно избрали на царство сына короля польскаго.

— Добровольно! Хороша воля, когда надъ тобой стоятъ съ дубиною... Нехотя закричишь: давай намъ королевича Владислава? Нѣтъ, господинъ честной, не пановать надъ Москвою этому иновѣрцу. Дай только русскимъ опериться!

— Но кажется, дѣло кончено, и когда вся Москва присягнула польскому королевичу...

— Мало-ли что кажется! Вотъ и мнѣ нѣсколько разъ казалось, что тамъ направо свѣтитъ огонекъ, а теперь ничего не вижу.

— Огонь!? Гдѣ ты видишь? - вкричалъ Алексѣй.

— А вонъ посмотри, опять показался: видишь — тамъ, какъ свѣчка, теплится?

Путешественники остановились. Направо, съ полверсты отъ дороги, мелькалъ огонекъ; они поворотили въ ту сторону, и, черезъ нѣсколько минутъ, Алексѣй, который шелъ впереди съ собакою, закричалъ радостнымъ голосомъ:

— Сюда, Юрій Дмитричъ, сюда! Вотъ и плетень! Тише, бояринъ, тише: околица должна быть лѣвѣе—здѣсь! Ну, слава тебѣ, Господи, продолжалъ онъ, отворяя ворота, - доѣхали!... И во-время: слышишь ли, какъ опять завылъ вѣтеръ? Да пусть теперь бушуетъ, какъ хочетъ; намъ и горюшки мало: въ избѣ не озябнемъ.

— А развѣ мы одни теперь въ дорогѣ?—сказалъ Юрій, глядя съ безпокойствомъ на ужасный вихрь, который снова свирѣпствовалъ въ полѣ.

— Кому быть убитому, тотъ не замерзнетъ,—прошепталъ Кирша, въѣзжая въ околицу.

II.

Деревушка, въ которую въѣхали наши путешественники, находилась въ близкомъ разстояніи отъ зимней дороги, на

небольшомъ возвышеніи, которое во время разлива не понималось водою. Нѣсколько дымныхъ лачужекъ, разбросанныхъ по скату холма, окружали избу, менѣе другихъ походящую на хижину. Красное окно, въ которомъ, вмѣсто стеколъ, вставлена была напитанная масломъ полупрозрачная холстина, обширный крытый дворъ, а болѣе всего—звуки различныхъ голосовъ и громкій гулъ довольно шумной бесѣды, въ то время, какъ во всѣхъ другихъ хижинахъ царствовала глубокая тишина,—все доказывало, что это постоялый дворъ, и что не одни наши путешественники искали въ немъ пріюта отъ непогоды.

Домашній простанародный бытъ тогдашняго времени почти ничѣмъ не отличался отъ нынѣшняго; внутреннее устройство крестьянской избы было то же самое: та же огромная печь, тѣ же палати, большой столъ, лавки и передній уголъ, украшенный иконами святыхъ угодниковъ. Въ теченіе двухъ столѣтій измѣнились только нѣкоторыя мелкія подробности: въ наше время въ хорошей бѣлой избѣ обыкновенно кладется печь съ трубою, а стѣны украшаются иногда картинками, представляющими «Шемякинъ судъ» или «Мамаево Побоище»; въ XVII вѣкѣ эта роскошь была извѣстна однимъ боярамъ и богатымъ купцамъ гостиной сотни [2]). Слѣдовательно, читателямъ не трудно будетъ представить себѣ внутренность постоялаго двора, въ которомъ за большимъ дубовымъ столомъ сидѣло нѣсколько проѣзжихъ. Пукъ горящей лучины, воткнутый въ свѣтецъ, изливалъ довольно яркій свѣтъ на все общество, по остаткамъ хлѣба и пустымъ деревяннымъ чашамъ можно было догадаться, что они только что отъужинали, и, вмѣсто десерта, запивали гречневую кашу брагою, которая въ большой мѣдной ендовѣ стояла посреди стола. Вдоль стѣны, на лавкѣ, сидѣли трое проѣзжихъ; одинъ изъ нихъ, одѣтый въ лисью шубу, говорилъ съ большимъ жаромъ, не забывая однако же подливать безпрестанно изъ ендовы въ свою дорожную серебряную кружку. Оба его сосѣда, казалось, слушали его съ большимъ вниманіемъ, и съ почтеніемъ отодвигались каждый разъ, когда ораторъ, приходя въ восторгъ, начиналъ размахивать руками. Съ перваго взгляда можно было отгадать, что человѣкъ въ лисьей шубѣ — зажиточный купецъ, а оба внимательные слушатели—его работники. Насупротивъ ихъ сидѣлъ въ красномъ кафтанѣ, съ привѣшенною къ кушаку саблею, стрѣлецъ; шапка съ остроконечною тульею лежала

возлѣ него на столѣ; онъ также съ большимъ вниманіемъ, но вмѣстѣ и съ примѣтнымъ неудовольствіемъ, слушалъ купца, разсказъ котораго, казалось, производилъ совершенно противное дѣйствіе на сосѣда его—человѣка средняго роста, съ рыжей бородою и отвратительнымъ лицомъ. Въ косыхъ глазахъ его, устремленныхъ на разсказчика, блистала злобная радость; онъ безпрестанно вертѣлся на скамьѣ, потиралъ руки и казался отмѣнно довольнымъ. Трудно было бы отгадать, къ какому классу людей принадлежалъ этотъ послѣдній, еслибъ отъ безпрестаннаго движенія не распахнулся его смурый однорядокъ и не открылись, вышитыя красной шерстью на груди его кафтана, двѣ буквы: *З* и *Я*, означавшія, что онъ принадлежитъ къ числу полицейскихъ служителей, которые въ то время назывались... я боюсь оскорбить нѣжный слухъ моихъ читателей, но, соблюдая сколь возможно историческую истину, долженъ сказать, что ихъ въ XVII столѣтіи называли: земскими ярыжками. Въ переднемъ углу, подъ образами, сидѣлъ человѣкъ лѣтъ за-сорокъ, одѣтый весьма просто; черная окладистая борода, высокій лобъ, покрытый морщинами, а болѣе всего—орлиный, быстрый взглядъ, отличали его отъ другихъ. Смуглое, исполненное жизни, лицо его выражало глубокую задумчивость и какое-то грозное спокойствіе человѣка, увѣреннаго въ необычайной своей силѣ: широкія плечи, жилистыя руки, высокая богатырская грудь, все оправдывало эту послѣднюю догадку. Облокотясь небрежно на столъ, онъ казалось, не обращалъ никакого вниманія на своихъ сосѣдей, и только изрѣдка поглядывалъ на полицейскаго служителя: ничѣмъ неизъяснимое презрѣніе изображалось тогда въ глазахъ его, и этотъ взглядъ, быстрый какъ молнія, которая, блеснувъ, въ минуту потухаетъ, становился снова неподвижнымъ, выражая опять одну задумчивость и совершенное равнодушіе къ общему разговору.

— Помилуй, Господи!...—вскричалъ стрѣлецъ, когда человѣкъ въ лисьей шубѣ окончилъ свой разсказъ.—Неужто въ самомъ дѣлѣ, вся Москва цѣловала крестъ этому иновѣрцу? [3])

— Развѣ ты не слышишь?—сказалъ земскій.— И чему дивиться? Плетью обуха не перешибешь; да и что намъ, мелкимъ людямъ, до этого за дѣло?

— Какъ что за дѣло!—возразилъ купецъ, который между тѣмъ осушилъ однимъ глоткомъ кружку браги:—да развѣ

мы не православные? Мало ли у насъ князей и знаменитыхъ бояръ, есть изъ кого выбрать! Да вотъ, недалеко идти: хоть, напримѣръ, князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій...

— Нашелъ человѣка!— подхватилъ земскій.—Князь Пожарскій!...—повторилъ онъ съ злобною улыбкою, отъ которой безобразное лицо его сдѣлалось еще отвратительнѣе.— Нѣтъ, хозяинъ, у него поляки отбили охоту соваться туда, куда не спрашиваютъ. Небойсь, хватился за умъ, убрался въ свою Пурецкую волость, да вотъ уже почти цѣлый годъ тише воды, ниже травы; чай и теперь еще бока побаливаютъ.

— Да и поляки-то, братъ, не скоро его забудутъ, — сказалъ стрѣлецъ, ударивъ рукой по своей саблѣ.—Я самъ былъ въ Москвѣ и поработалъ этою дурою, когда, въ прошломъ мартѣ мѣсяцѣ, помнится, въ день святаго угодника Хрисанфа, князь Пожарскій принялся колотить этихъ незванныхъ гостей. То-то была свалка!... Мы сдѣлали на Лубянкѣ, кругомъ церкви Введенія Божіей Матери, засѣку и ровно двое сутокъ отгрызались отъ супостатовъ....

— А на третьи насилу ноги уплели!

— Чтожъ дѣлать, товарищъ: сила солому ломитъ. Самъ гетманъ нагрянулъ на насъ со всѣмъ войскомъ....

— И, чай, Пожарскій первый далъ тягу? Говорятъ, онъ куда легокъ на ногу.

Тутъ молчаливый проѣзжій бросилъ на земскаго одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, о которыхъ мы говорили; правая рука его, со сжатымъ кулакомъ, невольно отдѣлилась отъ стола, онъ самъ приподнялся до половины.... Но прежде, чѣмъ кто-нибудь изъ присутствовавшихъ замѣтилъ это движеніе, проѣзжій сидѣлъ уже, облокотясь на столъ, и лицо его выражало по-прежнему совершенное равнодушіе.

— Послушай, товарищъ, — сказалъ стрѣлецъ, посмотрѣвъ молча нѣсколько времени на земскаго, — кажется ты не о двухъ головахъ!

— Такъ что жъ?

— А то, любезный, что другой у тебя не останется, какъ эту сломятъ. Ну, пристало-ли земскому ярыжкѣ говорить такія рѣчи о князѣ Пожарскомъ? Я человѣкъ смирный, а у другаго бы ты первымъ словомъ подавился! Я самъ видѣлъ, какъ князя Пожарскаго замертво вынесли изъ Москвы. Нѣтъ, братъ, онъ не побѣжитъ первый, хотя бы

повстрѣчался съ самимъ сатаною, на котораго, сказать мимоходомъ, ты съ рожи то очень похожъ.

Осанистый купецъ улыбнулся, его работники громко захохотали, а земскій, не смѣя отвѣчать стрѣльцу, ворчалъ про себя:

— Бранись, братъ, бранись, брань на вороту не виснетъ. Вы всѣ стрѣльцы—буяны. Да не долго вамъ храбровать.... скоро язычекъ прикусите!

— Господинъ земскій,—сказалъ съ важностью купецъ,—его милость дѣло говоритъ: не личитъ нашему брату злословить такого знаменитаго боярина, каковъ свѣтлый князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій.

— Да я не свои рѣчи говорю,—возразилъ земскій, оправясь отъ перваго испуга.—Бояринъ Кручина Шалонскій не хуже вашего Пожарскаго; послушайте-ка, что о немъ разсказываютъ.

— Бояринъ Кручина Шалонскій?—повторилъ купецъ.—Слыхали мы объ его умѣ и дородствѣ!... У насъ въ Балахнѣ разсказывали, что этотъ бояринъ Шалонскій....

— Ведетъ хлѣбъ-соль съ поляками, — подхватилъ стрѣлецъ. — Ну да, тотъ самый! Какой онъ русскій бояринъ! Хуже бусурмана: мучитъ крестьянъ, разорилъ всѣ свои отчины, забылъ Бога, и даже, прости, Господи, мое согрѣшеніе,—прибавилъ онъ, перекрестясь и посмотрѣвъ вокругъ себя съ ужасомъ, — и даже говорятъ, будто-бы онъ... вымолвить страшно... ѣстъ по постамъ скоромное!

— Ахъ, онъ безбожникъ! — вскричалъ купецъ, всплеснувъ руками.—И Господь Богъ терпитъ такое беззаконіе!

— Потише, хозяинъ, потише!— сказалъ земскій.— Бояринъ Шалонскій помолвилъ дочь свою за пана Гонсѣвскаго, который теперь гетманомъ и главнымъ воеводою въ Москвѣ; такъ не худо бы инымъ-прочимъ держать языкъ за зубами. У гетмана руки длинныя, а Балахна не за тридевять земель отъ Москвы, да и самъ бояринъ шутить не любитъ: неравно прилучится тебѣ ѣхать мимо его помѣстьевъ съ товарами, такъ смотри, чтобъ не продать съ накладомъ!...

— Оборони, Господи! — вскричалъ купецъ, поблѣднѣвъ отъ страха.—Да я, государь милостивый, ничего не говорю, видитъ Богъ, ничего! Мы люди малые, что намъ толковать о боярахъ...

— Куда ваша милость ѣдетъ? — продолжалъ земскій. — Не назадъ ли въ Балахну?

— На что тебѣ, добрый человѣкъ?

— Да такъ!... Большая дорога идетъ черезъ боярское село, а проселочныхъ теперь нѣтъ; такъ волей или неволей, а тебѣ придется заѣхать къ боярину. Ему вѣрно нужны всякіе товары.

— Да со мною ничего нѣтъ; видитъ Богъ, ничего! Все продалъ въ Костромѣ.

— И вѣрно на чистыя денежки?

— Какія чистыя, все въ долгъ! Разоренье да и только!

— А вотъ я бы побожился, что у тебя за пазухой цѣлый мѣшокъ денегъ: посмотри, какъ лѣвая сторона отдулась!

Холодный потъ выступилъ на лбу у бѣднаго купца; онъ невольно опустилъ руку за пазуху и сказалъ въ полголоса, стараясь казаться спокойнымъ:

— Смотри, пожалуй... Въ самомъ дѣлѣ, кажись будто много, а всего-то на все двѣ-три новогородки *), да алтынъ пять мѣдныхъ денегъ: не знаю, съ чѣмъ до дому доѣхать!

— Жаль, хозяинъ, — продолжалъ земскій, — что у тебя въ повозкахъ, хоть кажется въ нихъ и много клади, — прибавилъ онъ, взглянувъ въ окно,—не осталось никакихъ товаровъ: ты могъ-бы ихъ всѣ сбыть. Бояринъ Шалонскій и богатъ и тароватъ. Ужъ подлинно живетъ по-барски: хоромы какъ царскія палаты, холопей полонъ дворъ, мяса хоть не ѣшь, меду хоть не пей; нечего сказать—разливанное море! Чай и вы о немъ слыхали? — прибавилъ онъ, оборотясь къ хозяину постоялаго двора.

— Какъ-ста не слыхать, господинъ честной,— отвѣчалъ хозяинъ, почесывая голову.—И слыхали и видали: знатный бояринъ!..

— А ужъ какой благой, Богъ съ нимъ! — примолвила хозяйка, поправляя нагорѣвшую лучину.

— Молчи, баба, не твое дѣло.

— Вѣстимо не мое, Пахомычъ. А каково-то нашему сосѣду, Васьяну Степанычу? Поспрошай-ка у него.

— А что такое онъ сдѣлалъ съ вашимъ сосѣдомъ? — спросилъ стрѣлецъ.

— А вотъ что, родимый. Сосѣдъ нашъ, убогій помѣщикъ, одинъ сынъ у матери. Ономнясь бояринъ зазвалъ его къ себѣ пображничать. Что-жъ, батюшка, — для своей

*) Мелкая серебряная монета

потѣхи запилъ его въ медвѣжью шкуру, да и ну травить собакою! И, слышь ты, они, и баринъ и собака, такъ остервенились, что насилу водой розлили. Привезли его сердечнаго еле-жива, а бѣдная-то барыня ужъ вопила, вопила!... Легко ль, недѣлю головы не приподымалъ!

— Ахъ, ты простоволосая! — сказалъ земскій. — Да кому-жъ и тѣшить боярина, какъ не этимъ мелкопомѣстнымъ? Вѣдъ онъ ихъ поитъ и кормитъ, да уму-разуму научаетъ. Вотъ хотя и вашъ Васьянъ Степановичъ, давно ли кричалъ: «на что намъ польскаго королевича!» А теперь, небойсь, не то заговорилъ!...

— Да, кормилецъ, правда. Онъ, говоритъ, что все будетъ по старому. Дай-то Господь! Бывало, придетъ Юрьевъ день, заплатишь поборы, да и дѣло съ концомъ: любъ помѣщикъ—остался, а не любъ—пошелъ, куда хошь.

— А вамъ бы только шататься, да ничего не платить,— сказалъ стрѣлецъ.

— Какъ-ста бы не платить! — отвѣчалъ хозяинъ. — Да тяга больно велика: поборы поборами, а тамъ, какъ поѣдешь въ дорогу: головщина, мытъ, мостовщина...

— Вотъ то-то же, глупыя головы,—прервалъ земскій,— что вамъ убыли, если у васъ старшими будутъ поляки? Да и гдѣ намъ съ ними возиться! Не даромъ въ Писаніи сказано: «трудно прать противъ рожна». Что намъ за дѣло, кто будетъ государствовать въ Москвѣ: русскій-ли царь, польскій-ли королевичъ? Было бы намъ легко.

Тутъ деревянная чаша, которая стояла на скамьѣ въ переднемъ углу, съ громомъ полетѣла на полъ. Всѣ взоры обратились на молчаливаго проѣзжаго: глаза его сверкали, ужасная блѣдность покрывала лицо, губы дрожали; казалось, онъ хотѣлъ однимъ взглядомъ превратить въ прахъ рыжаго земскаго.

— Что съ тобою, добрый человѣкъ?— сказалъ стрѣлецъ послѣ минутнаго общаго молчанія.

Незнакомый какъ будто бы очнулся отъ сна: провелъ рукою по глазамъ, взглянулъ вокругъ себя и прошепталъ глухимъ отрывистымъ голосомъ:

— Тьфу, батюшки! Смотри пожалуй, никакъ я вздремнулъ!

— Вѣрно тебѣ померещилось что ни есть страшное? — спросилъ купецъ.

— Да... я видѣлъ и слышалъ сатану!

Купецъ перекрестился, работники его отодвинулись подалѣе отъ незнакомца, и всѣ съ какимъ-то ужасомъ и нетерпѣніемъ ожидали продолженія разговора; но проѣзжій молчалъ, а купецъ, казалось, не смѣлъ продолжать своихъ вопросовъ. Въ эту минуту послышался на улицѣ конскій топотъ.

— Чу,—сказалъ хозяинъ,—никакъ еще проѣзжіе? Слышишь, жена, Жучка залаяла! Ступай, посвѣти.

Ворота заскрипѣли... Громкій, незнакомый лай, на который Жучка отвѣчала робкимъ ворчаньемъ, раздался на дворѣ, и черезъ минуту Юрій, вмѣстѣ съ Киршею, вошли въ избу.

III.

— Хлѣбъ да соль, добрые люди!—сказалъ Юрій, помолясь иконамъ.

— Милости просимъ!—отвѣчалъ хозяинъ.

— Ахъ, сердечный!—вскричала хозяйка.—Смотри, какъ тебя занесло снѣгомъ! То-то, чай, назябся!

— А вотъ отогрѣемся,— сказалъ Кирша, помогая Юрію скинуть покрытый снѣгомъ охобень.

— Да это никакъ бояринъ? — шепнула хозяйка своему мужу.

Скинувъ верхнее платье, Юрій остался въ малиновомъ, обшитомъ галунами, полукафтаньи; къ шелковому кушаку привѣшена была польская сабля; а черезъ плечо, на серебряной цѣпочкѣ, висѣлъ длинный турецкій пистолетъ. Остриженные въ кружекъ темнорусые волосы казались почти черными отъ противоположности съ бѣлизною лица, цвѣтущаго юностью и здоровьемъ; отвага и добродушіе блистали въ большихъ голубыхъ глазахъ его; а улыбка, съ которою онъ повторилъ свое привѣтствіе, подойдя къ столу, выражала такое радушіе, что всѣ проѣзжіе, не исключая рыжаго земскаго, привставъ, сказали въ одинъ голосъ: «милости просимъ, господинъ честной, милости просимъ!» И даже молчаливый незнакомецъ отодвинулся къ окну и предложилъ ему занять почетное мѣсто подъ образами.

— Спасибо, добрый человѣкъ!—сказалъ Юрій.—Я больно прозябъ и лягу отогрѣться на печь.

— Откуда твоя милость?—спросилъ купецъ.

— Изъ Москвы, хозяинъ.

— Изъ Москвы! А что, господинъ честной, точно ли правда, что тамъ цѣловали крестъ королевичу Владиславу?

— Правда.

— Вотъ тебѣ и царствующій градъ! — вскричалъ стрѣлецъ. — Хороши москвичи! По мнѣ бы уже лучше покориться Димитрію.

— Покориться? Кому?—сказалъ земскій.—Самозванцу?... Тушинскому вору?...

— Добро, добро! Называй его, какъ хочешь, а все-таки онъ держится вѣры православной и не полякъ; а этотъ королевичъ Владиславъ, этотъ еретикъ....

— Слушай, товарищъ! — сказалъ Юрій съ примѣтнымъ неудовольствіемъ.—Я до ссоръ не охотникъ, такъ скажу напередъ: думай, что хочешь, о польскомъ королевичѣ, а вслухъ не говори.

— А почему бы такъ?

— Потому, что я самъ цѣловалъ крестъ королевичу и при себѣ не дамъ никому ругаться его именемъ.

Сожалѣніе и досада изобразились на лицѣ молчаливаго проѣзжаго. Онъ смотрѣлъ съ какимъ-то грустнымъ участіемъ на Юрія, который, во всей красотѣ съ отвагой кипящаго юноши, стоялъ, сложивъ спокойно руки, и гордымъ взглядомъ, казалось, вызывалъ смѣльчака, который рѣшился бы ему противорѣчить. Стрѣлецъ, окинувъ взоромъ все собраніе, и не замѣчая ни на одномъ лицѣ охоты взять открыто его сторону, замолчалъ. Наконецъ земскій, съ видомъ величайшаго униженія, спросилъ у Юрія:

— Скоро ли пресвѣтлый королевичъ польскій прибудетъ въ свой царствующій градъ Москву?

— Его ожидаютъ,—отвѣчалъ Юрій отрывисто.

— А что, ваша милость, чай ужъ давнымъ-давно и послы въ Польшу отправлены?

— Нѣтъ, не въ Польшу,—сказалъ громкимъ голосомъ молчаливый незнакомецъ,—а подъ Смоленскъ, который разоряетъ и моритъ голодомъ король польскій въ то время, какъ въ Москвѣ цѣлуютъ крестъ его сыну.

Юрій примѣтнымъ образомъ смутился.

— Ужъ эти смоляне! — вскричалъ земскій.— По-дѣломъ, ништо имъ! Буяны!... Чѣмъ бы встрѣтить батюшку, короля польскаго, съ хлѣбомъ, да съ солью, они, разбойники, и въ городъ его не пустили!

— Эхъ, господинъ земскій!—возразилъ купецъ.—Да вѣдь онъ пришелъ съ войскомъ и хотѣлъ Смоленскомъ владѣть. какъ своей отчиной.

— Такъ что жъ? — продолжалъ земскій. — Ужъ если мы покорились сыну, такъ отецъ воленъ брать, что хочетъ. Не правда ли, ваша милость?

Лицо Юрія вспыхнуло отъ негодованія.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ, — мы не для того цѣловали крестъ польскому королевичу, чтобъ иноплеменные, какъ стая коршуновъ, дѣлили по себѣ и рвали на части святую Русь! Да у кого бы изъ православныхъ поднялась рука и языкъ повернулся присягнуть иновѣрцу, еслибъ онъ не обѣщалъ сохранить землю Русскую въ прежней ея славѣ и могуществѣ?

— И, государь милостивый!—подхватилъ земскій.—Можно бъ, кажется, поклониться королю польскому Смоленскомъ. Не важное дѣло—одинъ городишка! Для такой радости не только отъ Смоленска, но даже отъ полъ-Москвы можно отступиться.

— Я повторяю еще, — сказалъ Юрій, не обращая никакого вниманія на слова земскаго, — что вся Москва присягнула королевичу; онъ одинъ можетъ прекратить бѣдствіе злосчастной нашей родины и, если сдержитъ свое обѣщаніе, то я первый готовъ положить за него мою голову. Но тотъ, — прибавилъ онъ, взглянувъ съ презрѣніемъ на земскаго,—тотъ, кто радуется, что мы, для спасенія отечества, должны были избрать себѣ царя среди иноплеменныхъ, тотъ не русскій, не православный и даже хуже некрещенаго татарина!

Молчаливый незнакомецъ съ живостью протянулъ свою руку Юрію; глаза его, устремленные на юношу, блистали удовольствіемъ. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но Юрій, не замѣтивъ этого движенія, отошелъ отъ стола, взобрался на печь и, разостлавъ свой широкій охобень, легъ отдохнуть.

— А что,—спросилъ Кирша у хозяина,—чай, проѣзжіе гости не все у тебя пріѣли?

— Щей нѣтъ, родимый, — отвѣчалъ хозяинъ; — а есть только толокно, да гречневая каша.

— И на томъ спасибо! Давай-ка ихъ сюда.

— А его милость что будетъ кушать?—спросила заботливо хозяйка, показывая на Юрія.

— Не хлопочи, тетка, — сказалъ Алексѣй, войдя въ

избу;—въ этой кисѣ есть что перекусить. Вотъ тебѣ пирогъ, да жареный гусь, поставь въ печь.... Послушайте-ка, добрые люди,—продолжалъ онъ, обращаясь къ проѣзжимъ:—у кого изъ васъ гнѣдой конь съ длинной гривой?

— Это мой жеребецъ, — отвѣчалъ молчаливый незнакомецъ.

— Ой-ли? Ну, братъ, какой знатный конь! Жаль, если онъ себѣ на какой-нибудь рожонъ бокъ напоритъ! Ступай-ка скорѣй: онъ отвязался и бѣгаетъ по двору.

Незнакомый вскочилъ и вышелъ поспѣшно изъ избы.

— Что это за пугало? Не знаешь ли, кто онъ? — спросилъ земскій у хозяина.

— А Богъ вѣсть кто? — отвѣчалъ хозяинъ. — Кажись не нашъ братъ, крестьянинъ: не то купецъ, не то посадскій....

— Откуда онъ ѣдетъ?

— Господъ его знаетъ! Вишь какой лѣшій, слова не вымолвитъ!

— Да, у него лицо не миловидное!—замѣтилъ купецъ.— Подъ вечеръ я не хотѣлъ бы съ нимъ въ лѣсу повстрѣчаться.

— А какой рыжій дѣтина!—примолвилъ стрѣлецъ.—Я такихъ богатырскихъ плечъ сродясь не видывалъ.

Между тѣмъ Алексѣй и Кирша сѣли за столъ.

— Ну, братъ,—сказалъ Алексѣй,—тѣсненько намъ будетъ: на полатяхъ лежатъ ребятишки, а по лавкамъ-то спать придется намъ сидя.

— Молчи, будетъ просторно,—шепнулъ Кирша,—принимаясь ѣсть толокно.

Купецъ, который не смѣлъ обременять вопросами Юрія, хотѣлъ воспользоваться случаемъ и поговорить вдоволь съ его людьми. Давъ время Алексѣю утолить первый голодъ, онъ спросилъ его: давно-ли онъ изъ Москвы?

— Седьмой день, хозяинъ,—отвѣчалъ Алексѣй.—Словно воловъ гонимъ! День стоимъ, два ѣдемъ. Вишь, какую погоду Богъ даетъ!

— А что, вы московскіе уроженцы?

— Какъ же? Мы оба съ бариномъ природные москвичи.

— Такъ вы и при Гришкѣ Отрепьевѣ жили въ Москвѣ?

— Вѣстимо, хозяинъ? Я былъ и въ Кремлѣ, какъ этотъ еретикъ, видя бѣду неминучую, прыгнулъ въ окно. Да видно, чортъ отъ него отступился: не кверху, а книзу полѣтѣлъ, проклятый!

— Ему бы поучиться летать у жены своей, Маринки,—сказалъ стрѣлецъ.—Говорятъ, будто бы эта вѣдьма, когда приступили къ царскимъ палатамъ, при всѣхъ обернулась сорокою, да и порхъ въ окно!.. Чему жъ ты ухмыляешься—продолжалъ онъ, обращаясь къ купцу,—чай, и до тебя этотъ слухъ дошелъ?

— Не всякому слуху вѣрь,—сказалъ съ важностію купецъ.

— Знаю, знаю, вы люди грамотные, ни чему не вѣрите!

— Ученье свѣтъ, а неученье тьма, товарищъ.—Мало ли что глупый народъ толкуетъ? Такъ и надо всему вѣрить? Ну, разсуди самъ: какъ можно, чтобъ Маринка обернулась сорокою? Вѣдь она родилась въ Польшѣ, а всѣ вѣдьмы родомъ изъ Кіева.

— Оно, кажись, и такъ, хозяинъ, — продолжалъ стрѣлецъ, почти убѣжденный этимъ доказательствомъ;—однакожъ вся Москва говоритъ объ этомъ.

— Да она и теперь еще около Москвы летаетъ,—сказалъ Кирша, положа на столъ деревянную ложку, которою ѣлъ толокно.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ?—вскричалъ купецъ.

— Я самъ ее видѣлъ, — продолжалъ спокойно запорожецъ.

— Какъ видѣлъ!

— А вотъ также, хозяинъ, какъ вижу теперь, что у тебя въ этой фляжкѣ романея. Не правда ли?

— Ну, да; такъ что жъ?

— Ничего.

— Гдѣ? Какъ бы тебѣ сказать?.. Не припомню... У меня морозомъ всю память отшибло.

— Добро, добро,—сказалъ купецъ,—дай-ка сюда свой стаканъ...

— Спасибо! Да наливай полнѣе... Хорошо! Ну, слушай же,—продолжалъ запорожецъ, выпивъ однимъ духомъ весь стаканъ. — Я видѣлъ Маринку въ Тушинѣ, только лгать не хочу: на сороку она вовсе не походитъ.

— Въ Тушинѣ?

— Да, въ Тушинѣ, вмѣстѣ съ Димитріемъ, котораго вы называете вторымъ самозванцемъ, а она величаетъ своимъ мужемъ.

— Вотъ что!.. Такъ ты и Тушинскаго вора знаешь?

— Какъ не знать!

— Правда ли, что онъ молодчина собою? — спросилъ стрѣлецъ.

— Какой молодчина!.. Ни дать, ни взять польскій жидъ. Вотъ второй гетманъ его войска, панъ Лисовскій, такъ нечего сказать,—удалая голова!

— Лисовскій?—вскричалъ купецъ.—Этотъ злодѣй... душегубецъ.

— Да, хозяинъ, гдѣ онъ пройдетъ со своими сорванцами, тамъ хоть шаромъ покати, все чисто: ни кола, ни двора! Но за то въ схваткѣ всегда первый, и готовъ за послѣдняго изъ своихъ налетовъ самъ лечь головою... Лихой наѣздникъ!

— Такъ ты его знаешь?—спросилъ купецъ.

— Какъ не знать! Дай-ка, хозяинъ, еще стаканчикъ... За твое здоровье....

— Говорятъ, у этого Лисовскаго,—сказалъ купецъ, спрятавъ за пазуху свою фляжку,—такое демонское лицо, что онъ и на человѣка не походитъ.

— Да, онъ не красивъ собою,—продолжалъ Кирша.—Я знаю только одного удальца, у котораго лицо смуглѣе и усы чернѣе, чѣмъ у пана Лисовскаго. Прежде этого молодца не меньше Лисовскаго боялись.

— А теперь?—спросилъ купецъ.

— А теперь онъ, чаи, шатается по лѣсу и страшенъ только для вашей братіи купцовъ.

— Кто жъ этотъ человѣкъ?

— Кто этотъ человѣкъ?... Кой прахъ, у меня опять въ горлѣ пересохло!... Дай-ка хозяинъ свою фляжку... Спасибо!—продолжалъ Кирша,—осушивъ ее до дна. Ну, что бишь я говорилъ.

— Ты говорилъ о какомъ-то человѣкѣ,—сказалъ купецъ, который, по твоимъ словамъ, страшнѣе Лисовскаго.

— Да, да, вспомнилъ! Этотъ верзила былъ есауломъ у разбойничьяго атамана Хлопки....

— У котораго,—сказалъ земскій,—было въ шайкѣ тысячъ двадцать разбойниковъ, и котораго еще при царѣ Борисѣ...

— Разбилъ бояринъ Басмановъ,—прервалъ Кирша.—Ну, да; самаго Хлопку-то убили, а есаулъ его ускользнулъ. Да вы, чай, о немъ слыхали? Онъ прозывается Чортовъ Усъ.

— Какъ не слыхать,— сказалъ купецъ.— Оборони Господи! Говорятъ, этотъ Чортовъ Усъ злѣе бывшаго своего атамана.

— А пуще-то всего онъ не жалуетъ губныхъ старостъ, да земскихъ,—примолвилъ Кирша.—Кругомъ Калуги не осталось деревца, на которомъ бы не висѣло хотя по одному земскому ярыжкѣ.

— Разбойникъ!—закричалъ земскій.

— А развѣ ты его знавалъ? — спросилъ купецъ запорожца.

— Знакомства съ нимъ не водилъ, а видать видалъ.

— Гдѣ же ты видѣлъ?

— Я видѣлъ его два раза,—отвѣчалъ Кирша.—Первый разъ въ Калугѣ, гдѣ была у него разбойничья пристань; а во второй,—прибавилъ онъ въ-полголоса, но такъ, что всѣ его слышали:—а второй разъ... я видѣлъ его здѣсь.

— Какъ здѣсь? — вскричалъ купецъ, помертвѣвъ отъ ужаса.

— Давно ли!—спросилъ земскій, заикаясь.

— Сегодня,—отвѣчалъ равнодушно Кирша.

— Сегодня?! — повторилъ купецъ глухимъ, прерывающимся голосомъ.—Съ нами крестная сила? Да гдѣ же онъ?...

— Сейчасъ сидѣлъ вонъ тамъ—въ переднемъ углу, подъ образами.

— Такъ это онъ!—вскричалъ купецъ, и всѣ взоры обратились невольно на пустой уголъ. Нѣсколько минутъ продолжалось мертвое молчаніе, потомъ все пришло въ движеніе на постояломъ дворѣ. Алексѣй хотѣлъ разбудить своего господина, но Кирша шепнулъ ему что-то на ухо, и онъ успокоился. Купецъ и его работники едва дышали отъ страха; земскій дрожалъ; стрѣлецъ посматривалъ, молча, на свою саблю; но хозяинъ и хозяйка казались совершенно спокойными.

— Да чего мы такъ перепугались? — сказалъ стрѣлецъ, собравшись съ духомъ.—Насъ много, а онъ одинъ.

— А Богъ вѣсть, одинъ ли?— возразилъ земскій. — Онъ что-то часто въ окно поглядывалъ.

— Да, да,—подхватилъ дрожащимъ голосомъ купецъ:—онъ

точно кого-то дожидался. А за поясомъ у него... видѣли какой ножище? Аршина въ два!

— Слушай, хозяинъ,—сказалъ торопливо земскій,—бѣги скорѣй на улицу, вели ударить въ набатъ!...

— Экъ-ста что выдумалъ! Въ набатъ!—отвѣчалъ хозяинъ.—Да развѣ здѣсь село? У насъ и церкви нѣтъ.

— Все равно... сдѣлай тревогу, сбери народъ!.. Да скачи скорѣй къ губному старостѣ*); онъ верстахъ въ пяти отсюда и мигомъ прикатитъ съ объѣзжими.

— Что-ты, Богъ съ тобою! — вскричала хозяйка. — Да развѣ намъ бѣлый свѣтъ опостылѣлъ! Станемъ мы ловить разбойника! Небойсь, вашъ губной староста не пріѣдетъ гасить, какъ товарищи этого молодца зажгутъ съ двухъ концовъ нашу деревню! Нѣтъ кормилецъ, ступай себѣ, лови его на большой дорогѣ; а у насъ въ дому не тронь.

— Дура!—сказалъ стрѣлецъ.—Да развѣ ты не боишься, что онъ васъ ограбитъ?

— И, батюшка, около насъ какая пожива! Проводимъ его завтра съ хлѣбомъ да съ солью, такъ онъ же намъ спасибо скажетъ.

— Да намъ и не впервой,—прибавилъ хозяинъ.—У насъ ставали не разъ, — вотъ эти, что за польскимъ-то войскомъ таскаются... какъ, бишь, ихъ зовутъ?... Да, лагерная челядь! Почище нашихъ разбойниковъ, да и тутъ Богъ миловалъ!

— Ну, какъ хотите,—сказалъ купецъ:—ловите его, или нѣтъ, а я минуты здѣсь не останусь, благо погода унялась. Ступайте, ребята, запрягайте лошадей, да Бога ради проворнѣе!

— Такъ и я съ тобою,—сказалъ стрѣлецъ.—Тебѣ будетъ повадиѣе со мною ѣхать; видишь у меня есть чѣмъ оборониться.

— Возьмите ужъ и меня,—прибавилъ вполголоса земскій:—я здѣсь ни за что одинъ не останусь.—Видите ли,—продолжалъ онъ, показывая на Киршу и Алексѣя: мы всѣ въ тревогѣ, а они и съ мѣста не тронулись. А кто они? Богъ вѣсть.

— Правда, правда!—шепнулъ купецъ, поглядывая робко на Киршу.—Посмотрите-ка, у этого озорника, что вытянулъ

---

*) Почти то же, что нынѣшній капитанъ-исправникъ.

всю мою флягу, ножъ,—сабля... А рожа-то какая, рожа!.. Ухъ, батюшки! Унеси Господь скорѣе!..

Двери отворились и незнакомый вошелъ въ избу. Купецъ съ земскимъ прижались къ стѣнѣ, хозяинъ и хозяйка встрѣтили его низкими поклонами; а стрѣлецъ, отступивъ два шага назадъ, взялся за саблю. Незнакомый, не замѣчая ничего, нѣсколько разъ перекрестился, молча подостлалъ подъ голову свою шубу и расположился на скамьѣ, у переднихъ оконъ. Всѣ пріѣзжіе, кромѣ Кирши и Алексѣя, вышли одинъ за другимъ изъ избы.

— Теперь растолкуй мнѣ, Кирша,—сказалъ вполголоса Алексѣй,—что тебѣ вздумалось назвать разбойникомъ этого проѣзжаго?

— Какъ что? Посмотри какой просторъ!.. На любой лавкѣ ложись!

— Ну какъ онъ объ этомъ узнаетъ?

— Такъ мнѣ же онъ скажетъ спасибо.

— Есть за что! А если его схватятъ?.

— Ахъ, ты, голова, голова! То ли теперь время, чтобъ хватать разбойниковъ? Теперь-то имъ и житье: всѣ ихъ боятся, а ловить ихъ некому. Погляди, какая честь будетъ этому пріѣзжему: хозяинъ съ него и за постой не возьметъ.

Черезъ нѣсколько минутъ, купецъ, въ провожаніи земскаго и стрѣльца, расплатясь съ хозяиномъ съѣхалъ со двора. Кирша отворилъ дверь, свистнулъ, и его черная собака вбѣжала въ избу.

— Теперь и тебѣ будетъ мѣсто,—сказалъ онъ бросивъ ей большой ломоть хлѣба.—Поужинай, Зарѣзъ, поужинай, голубчикъ! Ты, чай, больно проголодался.

Это напомнило Алексѣю, что баринъ его также еще не ужиналъ; но, видя, что Юрій спитъ крѣпкимъ сномъ, онъ не рѣшился будить его.

— Скажи-ка мнѣ,— спросилъ запорожецъ, ложась на скамью подлѣ Алексѣя: — вѣрно у твоего боярина есть на сердцѣ кручина? Не по лѣтамъ онъ что-то пасмуренъ.

— Да, братъ, есть горе.

— Что, чай сокрушила молодца красна дѣвица?

— Вотъ то-то и бѣда! Изволишь видѣть...

Тутъ Алексѣй, понизивъ голосъ, сталъ что-то разсказывать Киршѣ, который, выслушавъ спокойно, сказалъ:

— Эхъ, любезный, жаль, что твой бояринъ не запорож-

скій казакъ! У насъ въ куреняхъ отъ этого не сохнутъ: живемъ какъ братья, а сестеръ намъ не надобно[4]). Отъ этихъ бабъ всздѣ бѣда. Доброй ночи товарищъ!

Скоро все утихло на постояломъ дворѣ и только, отъ времени до времени, на палатяхъ принимались ревѣть ребятишки; но заботливая мать, попеременно, то колотила ихъ, то набивала имъ ротъ кашею, и все черезъ минуту приходило въ прежній порядокъ и тишину.

IV.

Еще вторые пѣтухи не пропѣли, какъ вдругъ двѣ тройки примчались къ постоялому двору. Густой паръ валилъ отъ лошадей, и въ то время, какъ изъ саней вылѣзало нѣсколько человѣкъ, закутанныхъ въ шубы, усталые кони, чувствуя близость ночлега, взрывали копытами глубокій снѣгъ и храпѣли отъ нетерпѣнія.

— Гей, отпирайте проворнѣй!...—раздался подъ окномъ грубый голосъ.— Да ну же, поворачивайтесь,— не то ворота вонъ!

Пока хозяйка вздувала огонь, а хозяинъ слѣзалъ съ полатей, нетерпѣніе вновь пріѣхавшихъ дошло до высочайшей степени; они стучали въ ворота, бранили хозяина, а особливо одинъ, который, испорченнымъ русскимъ языкомъ, примѣшивая ругательства на чистомъ польскомъ, грозился сломать хозяину шею. На постояломъ дворѣ всѣ, кромѣ Юрія, проснулись отъ шума. Наконецъ, ворота отворились и толстый полякъ, въ провожаніи двухъ казаковъ, вошелъ въ избу. Казаки, войдя, перекрестились на иконы; а полякъ, не снимая шапки, закричалъ сиповатымъ басомъ:

— Гей, хозяинъ! Что у тебя здѣсь за челядь? Вонъ всѣ отсюда!.... Эй, вы, оглохли, что ль! Вонъ, говорятъ вамъ!

Молчаливый проѣзжій приподнялъ голову и, взглянувъ хладнокровно на поляка, опустилъ ее опять на изголовье. Алексѣй и Кирша вскочили; послѣдній, протирая глаза, глядѣлъ съ примѣтнымъ удивленіемъ на пана, который сбросивъ шубу, остался въ одномъ кунтушѣ, опоясанномъ богатымъ кушакомъ.

Еслибъ нужно было живописцу изобразить воплощенную, не гордость, которая, къ несчастію, бываетъ иногда

порокомъ людей великихъ, но глупую спѣсь—неотъемлемую принадлежность душъ мелкихъ и ничтожныхъ,—то, списавъ самый вѣрный портретъ съ этого проѣзжаго, онъ достигъ бы совершенно своей цѣли. Представьте себѣ четвереугольное туловище, которое едва могло держаться въ равновѣсіи на двухъ короткихъ и кривыхъ ногахъ; величественно закинутую назадъ голову, въ превысокой косматой шапкѣ; широкое, багровое лице; огромные, оловянаго цвѣта, круглые глаза; вздернутый носъ, похожій на луковицу, и безконечные усы, которые не опускались книзу и не подымались вверхъ, но въ прямомъ, горизонтальномъ направленіи, казалось, защищали надутыя щеки, разрумяненныя природою и частымъ употребленіемъ горѣлки. Спѣсь, чванство и глупость, какъ въ чистомъ зеркалѣ, отражались въ каждой чертѣ лица его, въ каждомъ движеніи и даже въ самомъ голосѣ, который переходя безпрестанно изъ охриплаго баса въ сиповатый дискантъ, изображалъ попеременно: то надменную волю знаменитаго вельможи, увѣреннаго въ безусловномъ повиновеніи; то неукротимый гнѣвъ грознаго повелителя, коего приказанія не исполняются съ должной покорностью.

Между тѣмъ, какъ этотъ проѣзжій отдавалъ казакамъ какія-то приказанія на польскомъ языкѣ, Кирша не переставалъ на него смотрѣть. На лицѣ запорожца изображались попеременно совершенно противоположныя чувства: сначала, казалось, онъ удивился и, смотря на странную фигуру поляка, старался что-то припомнить; потомъ презрѣніе изобразилось въ глазахъ его; черезъ минуту они заблистали веселостью и почти въ то же время, при встрѣчѣ съ гордымъ взглядомъ поляка изъявляли глубочайшую покорность, которую однакожъ трудно было согласить съ насмѣшливой улыбкою, едва замѣтною, но не менѣе того выразительною.

— Ну, что жъ вы стали? — сказалъ панъ грознымъ басомъ, оборотясь снова къ Алексѣю и Киршѣ.—Иль не слышали?.. Вонъ отсюда!

Повелительный голосъ поляка представлялъ такую странную противоположность съ наружностію, которая возбуждала чувство, совершенно противное страху, что Алексѣй, не думая повиноваться, стоялъ какъ вкопаный, глядѣлъ во всѣ глаза на пана и кусалъ губы, чтобъ не лопнуть со смѣху.

— Цо то есть! — завизжалъ дискантомъ полякъ. — Ахъ, вы москали, да знаете ли, кто я?

— Не гнѣвайся, ясновельможный панъ, — сказалъ съ низкимъ поклономъ Кирша: — мы съ просонья не разсмотрѣли твоей милости. Дозволь намъ хотя въ уголку остаться. Вотъ лишь разсвѣнетъ, такъ мы и въ дорогу.

— А это что за неучъ растянулса на скамьѣ? — продолжалъ панъ, взглянувъ на молчаливаго прохожаго. — Гей, ты, олухъ!

Незнакомый приподнялся, но вмѣсто того, чтобы встать, сѣлъ на скамью и спросилъ хладнокровно у поляка, чего онъ требуетъ?

— Пошелъ вонъ изъ избы!

— Мнѣ и здѣсь хорошо.

— И ты еще смѣешь разсуждать! Вонъ, говорятъ тебѣ!

— Слушай, полякъ, — сказалъ незнакомый твердымъ голосомъ: — постоялый дворъ не для одного тебя выстроенъ, а если тебѣ тѣсно, такъ убирайся самъ отсюда.

— Цо то есть? — заревѣлъ полякъ. — Почекай, москаль, почекай. Гей, хлопцы, вытолкайте вонъ этого грубіяна!

— Вытолкать? Меня?.. Попытайтесь, — отвѣчалъ незнакомый, приподымаясь медленно со скамьи. — Ну, что жъ вы стали, молодцы? — продолжалъ онъ, обращаясь къ казакамъ, которые, не смѣя тронуться съ мѣста, глядѣли съ изумленіемъ на колоссальныя формы проѣзжаго. — Что, ребята, видно я не по васъ?

— Рубите этого разбойника! — закричалъ полякъ, пятясь къ дверямъ. — Рубите въ мою голову!

— Нѣтъ, господа честные, прошу у меня не буянить, — сказалъ хозяинъ. — А ты, добрый человѣкъ, никакъ забылъ, что хотѣлъ чѣмъ-свѣтъ ѣхать? Слышишь, вторые пѣтухи поютъ!

— И впрямь пора запрягать, — сказалъ торопливо проѣзжій и, не обращая никакого вниманія на поляка и казаковъ, вышелъ вонъ изъ избы.

— Ага! Догадался! — сказалъ полякъ, садясь въ передній уголъ. — Счастливъ ты, что унесъ ноги, а не то бы я съ тобою перевѣдался. Нехъ ихъ вшисци дьябли везмо! Какіе здѣсь буяны! Видно, не были еще въ передѣлѣ у пана Лисовскаго.

— Пана Лисовскаго? — повторилъ Кирша. — А ваша милость его знаетъ?

— Какъ не знать!—отвѣчалъ полякъ, погладивъ съ важностью свои усы. — Мы съ нимъ пріятели: побратались на ратномъ полѣ, вмѣстѣ били москалей...

— И вѣрно подъ Троицкимъ монастыремъ? — прервалъ запорожецъ.

Полякъ поглядѣлъ пристально на Киршу и, поправя свою шапку, продолжалъ важнымъ голосомъ:

— Да, да, подъ Троицкимъ монастыремъ, изъ котораго москали не смѣли днемъ и носу показывать!

— Прошу не погнѣваться,— возразилъ Кирша:—я самъ служилъ въ войскѣ гетмана Сапѣги, который стоялъ подъ Троицею, и, помнится, русскіе колотили насъ порядкомъ; бывало какъ случится: то днемъ, то ночью. Вотъ, напримѣръ, помнишь, ясновельможный панъ, какъ однажды поутру, на монастырскомъ капустномъ огородѣ?.. Что это ваша милость изволитъ вертѣться? Иль не ловко сидѣть?

— Ничего, ничего...—отвѣчалъ полякъ, стараясь скрыть свое смущеніе.

— Какъ теперь гляжу,—продолжалъ Кирша:—на этомъ огородѣ лихая была схватка, и панъ Лисовскій одинъ за десятерыхъ работалъ.

— Да, да,—прервалъ полякъ,— онъ дрался, какъ чортъ! Я смѣло это могу говорить потому, что не отставалъ отъ него ни на минуту.

— Такъ поэтому, ясновельможный, ты былъ свидѣтелемъ, какъ онъ наткнулся на одного молодца, который, во время драки, словно заяцъ, притаился между грядъ, и какъ панъ Лисовскій отпотчивалъ этого труса нагайкою?

Оловянные глаза поляка завертѣлись во всѣ стороны, а багровый носъ засверкалъ, какъ уголь.

— Какъ нагайкой?—вскричалъ онъ.— Кого нагайкой?... Это вздоръ!... Этого никогда не было!

— Помилуй, какъ не было! — продолжалъ Кирша. — Да объ этомъ все войско Сапѣги знаетъ. Этотъ трусишка служилъ въ региментѣ Лисовскаго товарищемъ и, помнится, прозывался... да, точно такъ... паномъ Копычинскимъ.

— Неправда, не вѣрьте ему! — закричалъ полякъ, обращаясь къ казакамъ.—Это клевета!.. Копычинскаго не только Лисовскій, но и самъ чортъ не смѣлъ бы ударить нагайкою: онъ никого не боится!

— Да что жъ за нелегкая угораздила его завалиться между грядъ въ то время, какъ другіе дрались?

— Что? Какъ что?.. Да кто тебѣ сказалъ, что я лежалъ между грядъ?

— Ага! Такъ это ты, ясновельможный? прошу покорно, чего злые люди не выдумаютъ! Вѣдь точно говорятъ, что Лисовскій тебя поколотилъ, и что еслибъ на другой день ты не бѣжалъ въ Москву, то онъ, для острастки другихъ, непремѣнно бы тебя повѣсилъ.

— Какой вздоръ, какой вздоръ!—прервалъ полякъ, стараясь казаться равнодушнымъ.—Да что съ тобою говорить! Гей, хозяинъ, что у тебя есть? Я хочу поужинать.

— Ахти, кормилецъ, — отвѣчалъ хозяинъ, — да у меня ничего, кромѣ хлѣба, не осталось.

— Какъ ничего?

— Видитъ Богъ, ничего!.. Была корчага каши, толокно и горшокъ щей, да все проѣзжіе поѣли.

— Быть не можетъ, чтобъ у тебя ничего не осталось. Гей, Нехорошко, — продолжалъ онъ, взглянувъ на одного изъ казаковъ, — пошарь-ка въ печи: не найдешь ли чего нибудь.

Казакъ отодвинулъ заслонку и вытащилъ жаренаго гуся.

— Цо то есть?—закричалъ полякъ.—Ахъ ты, лайдакъ! Какъ же ты говорилъ, что у тебя нѣтъ съѣстнаго?

— Да это чужое, родимый, — сказала хозяйка. — Этого гуся привезъ съ собою вотъ тотъ баринъ, что спитъ на печи.

— А кто онъ? Полякъ?

— Нѣтъ, кормилецъ, кажись русскій.

— Москаль?.. Такъ давай сюда!

Алексѣй хотѣлъ было вступиться за право собственности своего господина; но одинъ изъ казаковъ далъ ему такого толчка, что онъ едва устоялъ на ногахъ.

— Разбуди своего барина, — шепнулъ Кирша; — онъ лучше нашего управится съ этимъ буяномъ.

Пока Алексѣй будилъ Юрія и объявлялъ ему о насильственномъ завладѣніи гуся, полякъ, снявъ шапку, расположился спокойно ужинать. Юрій слѣзъ съ печи, спряталъ за пазуху пистолетъ и, отдавъ потихоньку приказаніе Алексѣю, который въ ту же минуту вышелъ изъ избы, подошелъ къ столу.

— Добраго здоровья! — сказалъ онъ, поклонясь вѣжливо пану.

Полякъ, не переставая ѣсть, кивнулъ головою и пока-

залъ молча на скамью. Юрій сѣлъ на другомъ концѣ стола и, помолчавъ нѣсколько времени, спросилъ: по вкусу ли ему жареный гусь?

— Какъ проголодаешься, такъ все будетъ вкусно, — отвѣчалъ полякъ.—А что, это гусь твой?

— Мой, панъ.

— Нечего сказать, вы, москали, догадливѣе насъ: всегда съ запасомъ ѣздите. Правда, намъ это и ненужно; для насъ, поляковъ, нѣтъ ничего завѣтнаго.

— Конечно, панъ, конечно. Да что жъ ты пересталъ? Кушай на здоровье!

— Не хочу; я сытъ.

— Не совѣстись; покушай!

— Нѣтъ, ѣшь самъ, если хочешь.

— Спасибо: я не привыкъ кормится ничьими объѣдками; да не люблю, чтобъ и другіе не доѣдали. Кушай, панъ!

— Я ужъ тебѣ сказалъ, что не хочу.

— Не прогнѣвайся: ты сейчасъ говорилъ, что для поляковъ нѣтъ ничего завѣтнаго, то-есть: у нихъ въ обычаѣ брать чужое, не спросясь хозяина... Быть можетъ. А мы русскіе, хлѣбосолы, любимъ потчивать: у всякаго свой обычай. Кушай, панъ!

— Да что жъ ты присталъ въ самомъ дѣлѣ!?..

— И не отстану до тѣхъ поръ, пока ты не съѣшь всего гуся.

— Какъ всего?

— Да, всего! — повторилъ Юрій, вынимая пистолетъ.— Прошу покорно: принялся ѣсть, такъ ѣшь!

— Цо то есть!?—завизжалъ полякъ.—Гей хлопцы!

Быстрымъ движеніемъ руки, Юрій, подвинувъ впередъ столъ, притиснулъ къ стѣнѣ поляка и обернувшись назадъ, закричалъ казакамъ:

— Стойте, ребята! Ни съ мѣста!

Эти слова были произнесены такимъ повелительнымъ голосомъ, что казаки, которые хотѣли броситься на Юрія, остановились.

— Слушайте, товарищи, продолжалъ Юрій: если кто изъ васъ тронется съ мѣста, пошевелитъ однимъ пальцемъ, то я въ тотъ же мигъ размозжу ему голову! А ты ясновельможный, прикажи имъ выдти вонъ: я угощаю одного тебя.—Ну, что жъ ты молчишь? Слушай, полякъ! Я никогда

не божился понапрасну; а теперь побожусь, что ты не успѣешь перекреститься, если они сейчасъ не выйдутъ. Долголь мнѣ дожидаться?—прибавилъ онъ, направляя дуло пистолета прямо въ лобъ поляку.

— Іезусъ, Марія! — закричалъ полякъ, стараясь спрятать подъ столъ свою обритую голову. — Ступайте вонъ!... Ступайте вонъ!...

— Эй, ребята, убирайтеся!—сказалъ Кирша.—А не то этотъ бояринъ какъ-разъ влѣпитъ ему пулю въ лобъ: онъ шутить не любитъ.

— Ступайте вонъ, злодѣи! Ступайте вонъ!—продолжалъ кричать полякъ, закрывая руками глаза, чтобъ не видѣть конца пистолета, который въ эту минуту казался ему длиннѣе крѣпостной пищали. Казаки, выходя вонъ, повстрѣчались съ незнакомымъ пріѣзжимъ, который, посмотрѣвъ съ удивленіемъ на это странное угощеніе, сталъ потихоньку разспрашивать хозяина.

— Теперь Кирша,—сказалъ Юрій,—между тѣмъ какъ я стану угощать дорогого гостя, возьми свою винтовку и посматривай, чтобъ эти молодцы не воротились. Ну, панъ, прошу покорно! Да поторапливайся: мнѣ некогда дожидаться?

Полякъ, не отвѣчая ни слова, принялся ѣсть, а Юрій, не перемѣняя положенія, продолжалъ его потчивать. Бѣдный панъ спѣшилъ глотать цѣлыми кусками, давился. Нѣсколько разъ принимался онъ просить помилованія, но Юрій оставался непреклоннымъ, и умоляющій взоръ поляка встрѣчалъ всякій разъ роковое дуло пистолета, взведенный курокъ и грозный взглядъ, въ которомъ онъ ясно читалъ свой смертный приговоръ.

— Позволь хоть отдохнуть!. .—пропищалъ онъ наконецъ, задыхаясь.

— И, полно, панъ! Мнѣ некогда дожидаться, доѣдай!...

— Смѣлѣй, панъ Копычинскій, смѣлѣй! — сказалъ Кирша.—Ты видишь, не много осталось. Что робѣть—то хуже... Ну, вотъ и дѣло съ концомъ!—промолвилъ онъ, когда полякъ проглотилъ послѣдній кусокъ.

— И, кстати ли?—прервалъ Юрій.—Угощать, такъ угощать! Тамъ въ печи долженъ быть пирогъ. Кирша, подайка его сюда!

— Взмилуйся! — завопилъ полякъ отчаяннымъ голосомъ.—Не могу, якъ пана Бога кохамъ, не могу.

— Что, панъ, будешь ли впередъ непрошенный кушать за чужимъ столомъ?—сказалъ незнакомый проѣзжій.—Спасибо тебѣ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Юрію,—спасибо, что проучилъ этого наглеца! Да будетъ съ него; брось этого негодяя! У насъ на Руси лежачихъ не бьютъ. Дай мнѣ свою руку!... Молодецъ! Авось-ли Богъ приведетъ намъ еще встрѣтиться. Быть можетъ, ты поймешь тогда, что присяга, вынужденная обманомъ и силою, ничтожна предъ Господомъ, и что умереть за вѣру православную и святую Русь честнѣе, чѣмъ жить подъ ярмомъ иновѣрца и носить позорное имя раба иноплеменныхъ. Прощай, хозяинъ! Вотъ тебѣ за постой,—промолвилъ онъ, бросивъ на столъ нѣсколько мѣдныхъ денегъ.

— Не надо, кормилецъ!—сказалъ хозяинъ съ низкимъ поклономъ.—Мы и такъ довольны.

Незнакомый поглядѣлъ съ удивленіемъ на хозяина; но, не отвѣчая ничего, пожалъ руку Юрію, перекрестился, вышелъ изъ избы и черезъ минуту промчался шибкою рысью мимо постоялаго.

Межъ тѣмъ полякъ успѣлъ выдраться изъ-за стола и пробирался къ дверямъ. Юрій остановилъ его.

— Не уходи, панъ,—сказалъ онъ:—я сейчасъ ѣду, и ты можешь остаться и буянить здѣсь на просторѣ, сколько хочешь. Прощай, Кирша!

— Нѣтъ, бояринъ, прошу не прогнѣваться,—сказалъ запорожецъ:—я по милости твоей гляжу на свѣтъ Божій, и не отстану отъ тебя до тѣхъ поръ, пока ты самъ меня не прогонишь.

— По мнѣ пожалуй! Но пѣшій конному не товарищъ.

— Да у меня есть на что купить лошадь.

— А я продамъ,—сказалъ хозяинъ: знатный конь! Не много храмлетъ, а шагистъ; и хоть ему за десять, а такой строгій, что только держись. Ну, вѣришь-ли Богу: еслибъ онъ не окривѣлъ, такъ я бы съ нимъ ни за что въ свѣтѣ не разстался!

— Добро, добро!—прервалъ Кирша.—Лишь бы только онъ дотащилъ меня до перваго базара.

— Мы поѣдемъ шагомъ,—сказалъ Юрій,—такъ ты успѣешь насъ догнать. Прощай, панъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ поляку, который, не смѣя пошевелиться, сидѣлъ смирнехонько на лавкѣ.—Впередъ знай, что не всѣ москали сносятъ спокойно обиды, и что есть много рус-

скихъ, которые, уважая храбраго иноземца, не попустятъ никакому забіякѣ, хотя бы онъ былъ и полякъ, ругаться надъ собою. А всего лучше вспоминай почаще о жареномъ гусѣ. До зобаченья, ясновельможный панъ!

V.

Утренняя заря румянила свѣжую равнину; вдали, сквозь рѣдѣющій мракъ, забѣлѣлись верхи холмовъ, и звѣзды, одна послѣ другой, потухали на чистомъ небосклонѣ. Дорога, по которой ѣхалъ Юрій въ сопровожденіи вѣрнаго слуги своего, извиваясь съ полверсты по берегу Волги, вдругъ круто повернула на-лѣво, и прямо противъ нихъ дремучій боръ, какъ черная безконечная полоса, обрисовался на пламенѣющемъ востокѣ. Проѣхавъ версты двѣ, они очутились при въѣздѣ въ темный боръ; дорога шла опушкою лѣса; среди частаго кустарника, подобно огромнымъ сѣдымъ привидѣніямъ, угрюмо возвышались вѣковыя сосны и вѣтвистыя ели; на ихъ исполинскихъ вершинахъ, покрытыхъ инеемъ, играли первые лучи восходящаго солнца, и длинныя тѣни ихъ, устилая всю дорогу, далеко ложились въ чистомъ полѣ.

Алексѣй нѣсколько разъ начиналъ говорить съ своимъ господиномъ; но Юрій не отвѣчалъ ни слова. Погруженный въ глубокую думу, онъ ѣхалъ медленно, опустя поводья своей лошади. Послѣднія слова незнакомаго проѣзжаго отозвались въ душѣ его: тысячи различныхъ мыслей и противоположныхъ желаній волновали его грудь. «Русскіе—рабы иноплеменныхъ!» Ахъ, эти слова, какъ похоронная пѣснь, какъ смертный приговоръ, обливали хладомъ его сердце, кипящее любовью къ вѣрѣ и отечеству.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ, наконецъ, какъ будто бъ отвѣчая на слова незнакомца:—нѣтъ, Господь не допуститъ насъ быть рабами иновѣрцевъ! Мы клялись повиноваться не польскому королевичу, но благовѣрному Русскому царю. Владиславъ отречется отъ своей ереси; онъ покинетъ свой родной край; наша земля будетъ его землею; наша вѣра православная—его вѣрою. Такъ, онъ будетъ отцемъ нашимъ; онъ соединитъ всѣ помышленія и сердца дѣтей своихъ; разсѣетъ, какъ прахъ земной, коварные замыслы супостатовъ. И тогда, какой иноплеменный дерзнетъ посягнуть на святую Русь?

— Кой чортъ!—вскричалъ Алексѣй, наѣхавъ на колоду, черезъ которую лошадь его съ трудомъ перескочила.—Пора бы солнышку проглянуть; что это оно залѣнилось сегодня... всходитъ не всходитъ.

— Мы ѣдемъ въ тѣни,—отвѣчалъ Юрій.—Вотъ тамъ, кажется, поворотъ, и намъ будетъ ѣхать свѣтлѣе.

— И теплѣе, бояринъ; а здѣсь такъ вѣтромъ насквозь и прохватываетъ. Ну, Юрій Дмитричъ,—продолжалъ Алексѣй, радуясь, что господинъ его началъ съ нимъ разговаривать,—лихо же ты отдѣлалъ этого похвальбишку поляка! Вотъ что называется—угостить по-русски! Чай ему недѣли двѣ ѣсть не захочется. Однакожъ, бояринъ, какъ мы выѣзжали изъ деревни, такъ въ уши мнѣ нанесло что-то неладное, и не будь я Алексѣй Бурнашъ, если теперь вся деревушка не набита конными поляками.

— Ты слышалъ конскій топотъ?

— Да, бояринъ; а зимою табуновъ не гоняютъ. Чего добраго!... Кострома недалеко отсюда, а тамъ стоятъ поляки: не диво имъ завернуть и въ здѣшнюю сторону.

— Да, это быть можетъ.

— Ну, если этотъ трусъ Копычинскій имъ нажалуется и они пустятся за нами въ погоню? А за проводникомъ у нихъ дѣло не станетъ: Кирша не даромъ остался на постояломъ дворѣ.

— И, Алексѣй, побойся Бога! Неужели ты думаешь, что тотъ, кто по милости нашей глядитъ на свѣтъ Божій, не посовѣстится...

— Эхъ, бояринъ! Захотѣлъ ты совѣсти въ этихъ чертяхъ запорожцахъ; они наврядъ и Бога-то знаютъ, окаянные! Станетъ запорожскій казакъ помнить добро! Да онъ, прости Господи, отца родного продастъ за чарку горѣлки. Ну, вотъ, кажется, и просѣка. Ай да лѣсокъ! Эка трущоба: зги божьей не видно! То-то приволье, бояринъ; есть гдѣ поохотиться! Чай, здѣсь медвѣдей и всякаго звѣря тьма-тьмущая!

Наши путешественники въѣхали по узкой просѣкѣ въ средину лѣса. Съ каждымъ шагомъ темный боръ становился непроходимѣе, и, не смотря на то, что сильный вѣтеръ колебалъ вершины деревьевъ, внизу царствовала совершенная тишина. Отъ времени до времени, прорываясь сквозь чащу лѣса, скользилъ вдоль просѣки яркій лучъ восходящаго солнца; но по обѣимъ сторонамъ дороги густой мракъ

покрывалъ всѣ предметы. Все было мертво вокругъ, и только изрѣдка черный воронъ, пробудясь отъ конскаго топота, перелеталъ съ одной сосны на другую, осыпая пушистымъ инеемъ Юрія и Алексѣя, который, при каждомъ разѣ, вздрогнувъ отъ страха, робко озирался во всѣ стороны. Не замѣчая охоты въ своемъ господинѣ продолжать разговоръ, онъ принялся насвистывать пѣсню. Нѣсколько минутъ ѣхали молча, какъ вдругъ Алексѣй, осадивъ свою лошадь, сказалъ робкимъ голосомъ:

— Слышишь, бояринъ?

— Что такое?—спросилъ Юрій, какъ будто пробудясь отъ сна.

— Чу! Слышишь? Кто-то скачетъ за нами!

— Да, и очень шибко... Это вѣрно Кирша.

— Нѣтъ, Юрій Дмитричъ! Я видѣлъ клячу, которую продавалъ ему хозяинъ постоялаго двора: на ней далеко не ускачешь. Гляди-ка сюда, бояринъ... Видишь—чернѣется вдали? Какой это Кирша! Словно птица летитъ.

Всадникъ, который, дѣйствительно, съ необычайной быстротою приближался къ нашимъ путешественникамъ, выскакалъ на небольшую поляну и солнечный лучъ отразился на лицѣ его. Юрій тотчасъ узналъ въ немъ запорожца, который, припавъ къ сѣдельной лукѣ, вихремъ мчался по дорогѣ.

— Ну, не говорилъ-ли я тебѣ, что это Кирша?—сказалъ онъ Алексѣю.

— Вижу, бояринъ, вижу! Теперь и я узнаю его косматую шапку и черную собаку. Да откуда взялся у него гнѣдой конь? Кажись, онъ покупалъ пѣгую лошадь? Экъ его черти несутъ! Тише ты, тише, дьяволъ! Совсѣмъ было смялъ боярина.

— Не теряйте времени, — сказалъ торопливо Кирша, осадя съ трудомъ свою лошадь:—за вами погоня!

— Ну, такъ... чуяло мое сердце!—вскричалъ Алексѣй. Въ деревнѣ поляки?..

— Да, три хоругви *) и человѣкъ двѣсти лагерной челяди.

— Съ нами крестная сила! Что жъ мы мѣшкаемъ, боринъ? По лошадямъ, да унеси Господь!

---

*) Конныя роты.

— Чего жъ ты боишься?—сказалъ Юрій.—Когда поляки узнаютъ, кто я...

— Оно такъ, Юрій Дмитричъ, но пока ты будешь имъ толковать, что ѣдешь съ грамотой пана Гонсѣвскаго, они успѣютъ подстрѣлить насъ обоихъ: у поляковъ расправа короткая.

— А особливо,—прибавилъ Кирша,—когда они увѣрены, что ты ихъ пріятель и везешь съ собою много денегъ.

— Да еще въ добавокъ,—прервалъ Алексѣй,—чуть-чуть не заставилъ поляка подавиться жаренымъ гусемъ.

— За труса Копычинскаго,—продолжалъ Кирша,—они бы не вступились, да онъ увѣрилъ ихъ, что ты врагъ поляковъ и везешь казну въ Нижній-Новгородъ. Я вмѣстѣ съ другими втерся на постоялый дворъ и все это слышалъ своими ушами. Пока регименгарь *) отряжалъ за вами погоню, я сталъ придумывать, какъ бы васъ избавить отъ бѣды неминучей. Вышелъ на дворъ, глядь... у крыльца одинъ шеренговый держитъ за поводъ этого коня; посмотрѣлъ—парень щедушный; я подошелъ поближе, изноровился, да хвать его по лбу кулакомъ! Не пикнулъ, сердечный! А я, прыгъ на коня, въ заднія верота, проселкомъ; выскакалъ на большую дорогу, да и былъ таковъ! Однако жъ, слышите ли, какой гулъ идетъ по лѣсу? Кой чортъ, да неужели они всѣ пустились за вами въ погоню!

Въ самомъ дѣлѣ, казалось, весь лѣсъ оживился: глухой шумъ, похожій на отдаленный ревъ воды, прорвавшій плотину, свистъ и пистолетные выстрѣлы пробудили стаи птицъ, которыя съ громкимъ крикомъ пронеслись надъ головами нашихъ путешественниковъ.

— Живѣй, бояринъ, живѣй!—закричалъ Кирша, понуждая свою лошадь.—Эти сорванцы ближе, чѣмъ мы думаемъ. Посмотри, какъ ощетинился Зарѣзъ: не даромъ онъ бросается во всѣ стороны. Назадъ, Зарѣзъ, назадъ! Ну, такъ и есть!.. Берегись, бояринъ!

Вдругъ раздался громкій выстрѣлъ, и лошадь Юрія повалилась мертвая на землю. Шагахъ въ восьмидесяти передъ толпою конныхъ поляковъ летѣлъ удалой наѣздникъ.

— Стойте!—закричалъ онъ, прицѣливая вторымъ пистолетомъ на Киршу. Быстрѣе молніи соскочилъ запорожецъ на землю.

---

*) Полковой командиръ.

— Садись на моего коня, бояринъ,—сказалъ онъ,—а я перевѣдаюсь съ этимъ налетотъ!

Онъ схватилъ свою винтовку, пуля засвистѣла и почти въ ту же самую минуту испуганная лошадь, безъ сѣдока, пронеслась мимо нашихъ путешественниковъ.

— Ну, теперь съ Богомъ!—сказалъ Кирша.

— А ты?—спросилъ Юрій.

— Пѣшему вездѣ дорога.

— Но если тебя убьютъ?

— Такъ что жъ? Долгъ платежемъ красенъ. Съ Богомъ!

— Ради Христа, бояринъ,—закричалъ Алексѣй,—поспѣшимъ: вотъ они!

Толпа конныхъ поляковъ, съ громкимъ крикомъ, быстро приближалась къ нашимъ путешественникамъ.

— Да что тутъ растабарывать! Не прогнѣвайся, бояринъ,—сказалъ Кирша, ударивъ нагайкою лошадь, на которой сидѣлъ Юрій. Лихой конь взвился на дыбы и, какъ изъ лука стрѣла, помчался вдоль дороги.

— Ловите пѣшаго! Подстрѣлите его!—заревѣли изъ толпы дикіе голоса и пули посыпались градомъ. Но Кирша былъ уже далеко; онъ пустился бѣгомъ по узенькой тропинкѣ, которая, изгибаясь между кустовъ, шла въ глубину лѣса. Пробѣжавъ шаговъ двѣсти, Кирша остановился; онъ прилегъ на-земь и сталъ прислушиваться: чуть-чуть отзывался вдали конскій топотъ, отголосокъ не повторялъ уже дикихъ криковъ буйной толпы всадниковъ; вскорѣ все утихло, и усталая собака улеглась спокойно у ногъ его. Увѣрясь, наконецъ, что онъ внѣ опасности, набожный запорожецъ перекрестился; потомъ, вынувъ изъ-за пазухи рожекъ съ порохомъ и пулю, началъ заряжать свою винтовку. Кирша не успѣлъ еще порядкомъ приколотить пулю, какъ вдругъ Зарѣзъ поднялъ уши, заворчалъ, опрометью бросился назадъ по тропинкѣ, и черезъ минуту, съ лаемъ возвратился къ своему господину.

— Что ты, что ты, Зарѣзушка?—сказалъ Кирша погладивъ его ласково рукою.—Что съ тобою сдѣлалось? Ужъ не почуялъ ли ты краснаго звѣря? Кой прахъ! Да что ты ко мнѣ такъ прижимаешься?... Неужели... да нѣтъ! Я и пѣшій насилу сквозь эту дичь продирался... Однакожъ и мнѣ кажется... Ужъ не медвѣдь ли?... Нѣтъ, чортъ возьми!.. Молчать, Зарѣзъ!

Вдругъ въ близкомъ разстояніи захрустѣлъ валежникъ

и шаги многихъ людей, поспѣшно идущихъ, раздались по лѣсу. Киршѣ не трудно было догадаться, что нѣсколько спѣшенныхъ всадниковъ послано за нимъ въ погоню, и что опасность еще не миновалась. Боясь заплутаться въ этомъ непроходимомъ лѣсу, онъ снова пустился по тропинкѣ, которая часъ-отъ-часу становилась незамѣтнѣе и, наконецъ, при выходѣ на большую поляну, совсѣмъ исчезла. Кирша остановился въ недоумѣніи: онъ чувствовалъ всю опасность выдти на открытое мѣсто; но на другой сторонѣ поляны, въ самой чащѣ лѣса, тонкій дымокъ, пробираясь сквозь густыя вѣтви, обѣщалъ ему убѣжище, а можетъ быть и защиту. Межъ тѣмъ шумъ приближался, разсуждать было некогда: онъ рѣшился и вышелъ изъ лѣсу. «Вотъ онъ! Держите его! Схватите живаго!» загремѣли позади грубые голоса. Кирша оглянулся: человѣкъ десять вооруженныхъ поляковъ выбѣжали на поляну,—нельзя было и помышлять объ оборонѣ. Двое изъ нихъ, опередя своихъ товарищей, стали догонять его; еще нѣсколько шаговъ—и запорожецъ достигъ-бы опушки лѣса, какъ вдругъ набѣжавъ на пенекъ, онъ споткнулся и упалъ.

— Ага, лайдакъ! попался!—закричалъ одинъ изъ поляковъ, вырывая у него изъ рукъ винтовку.

— Скрути хорошенько этого поганаго москаля!—заревѣлъ другой, но вѣрный Зарѣзъ, какъ тигръ, кинулся на грудь къ поляку, схватилъ его за горло и ударилъ о-земь. Товарищъ бросился къ нему на помощь, а Кирша вскочилъ и, добѣжавъ до частаго кустарника, почти безъ чувствъ повалился на снѣгъ. Онъ не могъ видѣть, что происходило въ полѣ; но слышалъ ясно крикъ и ругательства поляковъ, громкій лай, потомъ отчаянный вой и, наконецъ, послѣдній визгъ издыхающаго Зарѣза. Сердце его обливалось кровью; нѣсколько разъ брался онъ за рукоятку своего кинжала, силился встать; но, задыхаясь и въ совершенномъ изнеможеніи, падалъ опять на землю. Между тѣмъ, сколько могъ онъ разслышать, поляки, собравшись въ кружокъ, разсуждали межъ собою, должны ли воротиться, или продолжать его преслѣдовать? Къ счастію Кирши, прошло нѣсколько минутъ въ спорахъ, и, когда они рѣшились, повидимому, продолжать свои поиски, онъ успѣлъ уже отдохнуть и, поднявшись на ноги, пустился къ тому мѣсту, надъ которымъ носилось прозрачное дымное облако.

VI.

Кирша, съ трудомъ пробираясь сквозь чащу, дошелъ наконецъ до высокаго плетня, обрытаго глубокою канавою. Не теряя времени, онъ перелѣзъ чрезъ плетень, за которымъ дюжины двѣ ульевъ, безъ всякаго порядка разставленныхъ, окружали небольшую избушку, до половины занесенную снѣгомъ. Дымъ, выходя изъ слуховаго окна, крутился надъ ея соломенною кровлею; а у самыхъ дверей огромная цѣпная собака, пригрѣтая солнышкомъ, лежала подлѣ своей конуры. Почуя незнакомаго, она громко залаяла; Кирша остановился, ожидая, что кто-нибудь выйдетъ изъ избы, но никто не появлялся. Онъ, вынувъ изъ своей дорожной сумы кусокъ хлѣба, бросилъ его собакѣ, и умилостивленный Церберъ, ворча, спрятался въ свою конуру.

— Бѣдный Зарѣзъ!—сказалъ Кирша, входя въ избу. Ты также бывало сторожилъ мой домъ, да не такъ легко было тебя задобрить!

Съ перваго взгляда запорожецъ увѣрился, что въ избѣ никого не было; но затопленная печь, покрытый ширинкою столъ и початый коровай хлѣба, подлѣ котораго стоялъ большой кувшинъ съ брагою, все доказывало, что хозяинъ отлучился на короткое время. Отъ печи, вдоль избы, шла перегородка, за которою стояли пустые ульи, кадки и нѣсколько боченковъ. Кирша не успѣлъ еще порядкомъ осмотрѣться, какъ вдругъ послышались въ близкомъ разстояніи голоса. Не зная, кто подходитъ, другъ, или недругъ, онъ спрятался за перегородку и прилегъ между двухъ ульевъ, за которыми нельзя было его никакъ примѣтить. Кто-то вышелъ въ избу. Запорожецъ притаилъ дыханіе и сталъ внимательно прислушиваться.

— Входи смѣлѣй, Григорьевна, — сказалъ грубый голосъ.—Небойся: кто приходитъ ко мнѣ съ хлѣбомъ, да солью, тому порчи бояться нечего.

— Вѣстимо, батюшка Архипъ Кудимовичъ,—отвѣчалъ женскій голосъ, перерываемый частымъ кашлемъ:—вѣстимо! Ты человѣкъ добрый; да дѣло-то мое непривычное.

— Садись; добро, тетка! Да что это у тебя за пазухой?

— Такъ, кой-что, родимый! Просимъ покорно принять. Вотъ въ этомъ кулечкѣ пирогъ, а это штофикъ вишневки съ боярскаго погреба.

— Спасибо, Григорьевна, спасибо!

— Кушай на здоровье, кормилецъ! Это шлетъ тебѣ Аграфена Власьевна.

— Нянюшка нашей молодой барышни?

— Да, батюшка! Ей самой некогда перемолвить съ тобой словечка, такъ просила меня... О, охъ, родимый! Сокрушила ее дочка боярская, Анастасья Тимоѳеевна. Богъ вѣсть, что съ ней подѣлалось: плачетъ да горюетъ; совсѣмъ зачахла. Боярину прислали изъ Москвы какого-то досужаго поляка—рудомета, чтоль?... не знаю; да и тотъ толку не добьется. И нашептывалъ, и заморскаго зелья давалъ, и мало-ли чего другого,—все проку нѣтъ. Ужъ не съ дурного ли глазу ей такая немочь приключилась? Какъ ты думаешь, Архипъ Кудимовичъ?

— Не диво, Григорьевна, не диво. А давно ли она хвораетъ?

— Власьевна сказывала, что о зимнемъ Николѣ, когда бояринъ ѣздилъ съ ней въ Москву, она была здоровехонька; пріѣхала назадъ въ отчину—стала призадумываться; а какъ батюшка просваталъ ее за какого то большого польскаго пана, такъ она съ тѣхъ поръ какъ въ воду опущенная.

— Вотъ что! А не въ примѣту ли было, что въ Москвѣ, кто ни есть, пристально на ея барышню поглядывалъ?

— Какъ же, родимый! Она съ Настасьей Тимоѳеевной каждый день слушала обѣдню у Спаса-на-Бору, и всякій разъ какой-то русый молодецъ глазъ съ нея не сводилъ.

— Вотъ, что! А не знаетъ-ли она, кто этотъ дѣтина?

— Нѣтъ, батюшка! Однажды только Власьевна вслушалась, что слуга называлъ его Юріемъ Дмитричемъ; а по платью и обычаю, кажись, онъ не изъ простыхъ.

Эти послѣднія слова удвоили любопытство Кирши и принудили его остаться въ чуланѣ, изъ котораго онъ хотѣлъ было уже выйдти.

— Ну, какъ ты мекаешь, кормилецъ,—продолжала Григорьевна;—болѣзнь что ль у нея какая, или она сохнетъ?...

— Съ глазу, Григорьевна, съ глазу!

— И нянюшка тоже троститъ; чему и быть другому! Да ты, батюшка, самъ на это дока, и если захочешь пособить...

— Нѣтъ, Григорьевна, плохо дѣло: кто испортилъ, тому ее и пользовать надо. Однако я все-таки поговорю самъ съ Власьевной.

— Поговори, родимый, поговори: умъ хорошо, а два лучше. Ну, батюшка, теперь и я тебѣ челомъ! Не оставь меня, горемычную! Вѣдь и у меня есть до тебя просьба.

— Что такое, Григорьевна?

— Вымолвить не смѣю.

— Говори, небойсь!

— Я пришла къ тебѣ уму-разуму поучиться, кормилецъ.

— Какъ такъ?

— Ты знаешь: дѣло мое вдовье, ни за мной, ни передо мною; вовсе голая сирота... Подъ-часъ перекусить нечего.

— Знаю, знаю.

— Тебя умудрилъ Господь, Архипъ Кудимовичъ, ты всю подноготную знаешь: лошадь ли сбѣжитъ, корова ли зачахнетъ, червь ли нападетъ на скотину, задумаетъ ли парень жениться, начнетъ ли молодица выкликать,—все къ тебѣ, да къ тебѣ, съ поклономъ. Да и самъ бояринъ, нѣтъ-нѣтъ, а скажетъ тебѣ ласковое слово. Гдѣ бъ ни пировали, Кудимовичъ тутъ-какъ-тутъ: какъ, дескать, не позвать такого знахаря—бѣду наживешь!...

— Конечно такъ, Григорьевна. Да о чемъ-же ты хлопочешь?

— А вотъ о чемъ, кормилецъ: научи ты меня, глупую, твоему досужеству,—такъ и меня чаркою никто не обнесетъ, и меня не хуже твоего чествовать станутъ.

— Экъ съ чѣмъ подъѣхала, старая хрѣновка! Смотри пожалуй! Ужъ не хочешь ли со мной потягаться?

— И, что ты, кормилецъ! Выше лба уши не растутъ. Что велишь, то и буду дѣлать.

— Ой-ли?

— Видитъ Господь, Архипъ Кудимовичъ! Что бъ со мной ни было, а изъ твоей воли не выступлю.

— Ну, ну, быть такъ! Рожа-то у тебя бредетъ: тебя и такъ все величаютъ старою вѣдьмой... Да точно ли ты не выступишь изъ моей воли?

— Въ кабалу къ тебѣ пойду, родимый!

— То-то же, смотри!... Слушай, Григорьевна: ужъ такъ и быть, я бы подался, дѣло твое сиротское... да у бабы волосъ длиненъ, а умъ коротокъ. Ну, если ты сболтнешь?...

— Кто? Я, батюшка?... Да изсуши меня Господь тоньше аржаной соломенки, что бъ мнѣ свѣту божьяго не видать... издохнуть безъ исповѣди!....

— Добро, добро, не божись!... Дай подумать... Ну, слушай же, Григорьевна, — продолжалъ мужской голосъ послѣ минутнаго молчанія.—Сегодня у насъ на селѣ свадьба· дочь нашего волостнаго дьяка идетъ за прикащикова сына. Вотъ какъ они поѣдутъ къ вѣнцу, ты заберись въ женихову избу на полати, прижмись къ уголку, потупься и нашептывай про себя.

— А что же, кормилецъ,—шептать мнѣ велишь?

— Да что на умъ взбредетъ; и о чемъ-бы тебя ни стали спрашивать—смотри, ни словечка! Бормочи себѣ подъ носъ, да покачивайся изъ стороны въ сторону.

— Слушаю, батюшка!

— Вотъ какъ поѣздъ воротится изъ церкви, я взойду въ избу, и лишь только переступлю черезъ порогъ, ты въ тотъ же мигъ,—ужъ не пожалѣй себя для перваго раза,—швыркомъ съ полатей, такъ и грянься о полъ!

— О полъ? Ахъ, мой родимый! Да я этакъ и косточекъ не сберу!

— Вотъ еще боярыня какая? А тебѣ бы, чай, хотѣлось, лежа на боку, сдѣлаться колдуньей? Ну, если успѣешь, подкинь соломки, да смотри, чтобъ никому не въ примѣту.

— Слушаю, батюшка, слушаю!

— Что бъ я ни говорилъ,—кричи только: «виновата»! А тамъ ужъ не твое дѣло. Третьяго-дня пропали боярскія красна; если тебя будутъ о нихъ спрашивать, возьми ковшъ воды, пошепчи надъ нимъ, взгляни на меня, и какъ я мотну головою, то отвѣчай, что они на гумнѣ Ѳедьки Хомяка запрятаны въ овинѣ.

— Ахъ, батюшки-свѣты! Неужто въ самомъ дѣлѣ Ѳедька Хомякъ?..

— Ономнясь онъ грозился поколотить меня, такъ пусть теперь развѣдается съ прикащикомъ!

— Постой-ка! Да ты никакъ шелъ оттуда, какъ я съ тобой повстрѣчалась?

— Молчи, старая карга! Ни гу-гу объ этомъ? Слышишь-ли? Видомъ не видала, слыхомъ не слыхала!

— Слышу, батюшка, слышу!

— Завтра приходи опять сюда: мнѣ кой-что надо съ тобой перемолвить, а теперь убирайся проворнѣй. Да, смотри, обойди сторонкою, чтобъ никто не подмѣтилъ, что ты была у меня,—понимаешь?

— Разумѣю, кормилецъ, разумѣю.

— Ну, то-то-же... Ступай!

— Прощенья просимъ, батюшка Архипъ Кудимовичъ!

— Постой-ка: никакъ собака лаетъ?... Такъ и есть! Кого это нелегкая сюда несетъ?... Слушай, Григорьевна, если тебя здѣсь застанутъ, такъ все дѣло испорчено. Спрячься скорѣй въ этотъ чуланъ, закинь крючекъ и притаись, какъ мертвая.

Григорьевна вошла за перегородку и, захлопнувъ дверь, прижалась къ улью, за которымъ лежалъ Кирша. Чрезъ минуту нѣсколько человѣкъ, гремя саблями, съ шумомъ вошли въ избу.

— Гей, москаль!—закричалъ одинъ голосъ.—Нѣтъ ли у тебя кого-нибудь здѣсь?

— Никого, батюшка.

— Ты врешь! У тебя спрятанъ мошенникъ, котораго мы ищемъ.

— Видитъ Богъ, нѣтъ!

— Говори всю правду, а не то я съ одного маху вышибу изъ тебя душу. Гей, Будила, и ты, Сума, осмотрите чердакъ, а мы обшаримъ здѣсь всѣ уголки! Что у тебя за этой перегородкой?

— Пустые ульи, да кой-какая старая посуда.

— Лжешь, москаль! Дверь приперта изнутри: тамъ кто-нибудь да есть. Ну-ка, товарищи, въ плети его, такъ онъ заговоритъ.

— Помилуйте, господа честные! Всю правду скажу: тамъ сидитъ женщина.

— Женщина! Да на кой же чортъ ты ее туда запряталъ?

— Не прогнѣвайся, кормилецъ: вы люди ратные,—дальше отъ васъ, дальше отъ грѣха.

— Давай ее сюда,—закричали грубые голоса.

— Да, кстати: вотъ, кажется, штофъ наливки,—сказалъ тотъ, который допрашивалъ хозяина. Мы его разопьемъ вмѣстѣ съ этой затворницей. Выходи, красавица, а не то двери вонъ!... Экъ она приперлась, проклятая!... Ну-ка, товарищи, разомъ!

— Стойте, ребята!—сказалъ кто-то хриповатымъ голосомъ. Штурмовать—мое дѣло; только уговоръ лучше денегъ: кто первый ворвется, того и добыча. Посторонитесь!

Отъ сильнаго натиска могучаго плеча пробой вылетѣлъ и дверь растворилась настежъ.

— Ай, да молодецъ, Нагиба,—закричали поляки.—Ну, выводи скорѣе плѣнныхъ!

— Полно жъ упираться, лебедка, выходи!—сказалъ широкоплечій Нагиба, вытащивъ на средину избы Григорьевну.—Кой чортъ! Да это старая колдунья!—закричалъ онъ, выпустивъ ее изъ рукъ.

— Твоимъ бы ртомъ да медъ пить, родимый!—отвѣчала Григорьевна съ низкимъ поклономъ.

— Поздравляемъ, панъ Нагиба!—закричали съ громкимъ хохотомъ поляки.—Подцѣпилъ красотку!

— Ахъ, ты, беззубая! Ну, съ твоей-ли харей прятаться отъ молодцевъ?—сказалъ Нагиба, ударивъ кулакомъ Григорьевну.—Вонъ отсюда, старая чертовка! А ты, рыжая борода, ступай съ нами, да выпроводи насъ на большую дорогу.

— Постой, братъ,—сказалъ другой голосъ:—все-ли мы осмотрѣли? Нѣтъ-ли еще кого-нибудь за этой перегородкой?

— Видитъ Богъ, нѣтъ, кормилецъ!—отвѣчалъ хозяинъ, посматривая съ безпокойствомъ на темный уголъ чулана, въ которомъ стояли двѣ кадки съ медомъ.—Кромѣ пустыхъ ульевъ и старой посуды, тамъ ничего нѣтъ.

— И впрямь,—сказалъ Нагиба:—кой чортъ велитъ ему забиться въ эту западню, когда за каждымъ кустомъ онъ можетъ отъ насъ спрятаться? Пойдемте, товарищи. Э, да слушай ты, хозяинъ, чаи, у тебя денежки водятся?

— Какъ Богъ святъ, ни одного пула *) нѣтъ, родимый.

— Ну, ну, полно прижиматься! Отдавай волею, а не то...

— Помилосердуй, кормилецъ! Вотъ-те Христосъ, вчера послѣднія деньжонки отнесъ боярину моему, Тимоѳею Ѳедоровичу Шалонскому.

— Слушай, москаль, подавай сейчасъ!...

— Что ты, Нагиба, въ умѣ ли?—сказалъ одинъ изъ поляковъ.—Иль забылъ, что намъ наказывалъ панъ регементарь? Если этотъ старикъ служитъ боярину Кручинѣ Шалонскому, такъ мы и волосомъ не должны отъ него поживиться.

— Панъ регементарь! Панъ регементарь!... Э, нехъ его вписци дьябли!...

— Тсъ, тише! Что ты орешь, дуралей!—перервалъ тотъ-же полякъ.—Иль ты думаешь, что отъ твоего лба пуля от-

*) Самая мелкая мѣдная монета.

скочитъ? Смотри, ясновельможный шутить не любитъ! Пойдемте, ребята. А ты, хозяинъ, ступай передомъ, да выведи насъ на большую дорогу.

Черезъ нѣсколько минутъ изба опустѣла и Кирша могъ вздохнуть свободно. Онъ вышелъ потихоньку изъ чулана; шелестъ шаговъ едва былъ слышенъ вдали; вскорѣ все утихло. Встревоженная собака снова улеглась спокойно на солнышкѣ и, вертя привѣтливо хвостомъ, пропустила мимо себя Киршу, какъ стараго знакомца. Запорожецъ не сомнѣвался, что тропинка, идущая прямо отъ пчельника, выведетъ его въ отчину боярина Шалонскаго, гдѣ, по словамъ Алексѣя, онъ надѣялся увидѣть Юрія, если ему удалось спастись отъ преслѣдованія поляковъ. Онъ прошелъ версты четыре, не встрѣтивъ никого, но лѣсъ рѣдѣлъ примѣтнымъ образомъ и вдали цѣлыя облака дыма доказывали близость обширнаго селенія. Наконецъ тропинка привела его къ огородамъ. Пробираясь вдоль плетня, онъ подошелъ къ небольшой часовнѣ, противъ которой, сквозь растворенныя ворота гумна, виднѣлся рядъ низкихъ, покрытыхъ соломою, хижинъ. Желая скорѣй добраться до жилья, онъ рѣшился пройти задами. Есть русская пословица: пуганая ворона и куста боится; она сбылась надъ Киршею. Проходя мимо пустого овина, ему послышалось, что кто-то идетъ; первое движеніе запорожца было спрятаться въ овинъ. Прежде чѣмъ Кирша могъ образумиться и вспомнить, что его никто уже не преслѣдуетъ, онъ очутился на днѣ овинной ямы и, можетъ быть, заплатилъ бы дорого за свой отчаянный скачекъ, еслибъ не упалъ на что-то мягкое. Не смотря на темноту, онъ тотъ же часъ узналъ ощупью, что подъ нимъ лежатъ нѣсколько кусковъ тонкой холстины. Тутъ вспомнилъ онъ чудный разговоръ, который слышалъ на пчельникѣ. «Добро ты, поддѣльный колдунъ»! подумалъ Кирша. «Посмотримъ, шепнетъ ли тебѣ чортъ на ухо, что боярскія красна перешли изъ овина Ѳедьки Хомяка въ другое мѣсто»? Эта мысль его развеселила. Онъ вытащилъ изъ ямы холстъ, вынесъ его въ лѣсъ и, зарывъ въ снѣгъ, подлѣ часовни, пошелъ по проложенной между двухъ огородовъ узенькой тропинкѣ.

Кирша вышелъ на широкую улицу, посреди которой, на небольшой площадкѣ, полуразвалившаяся деревянная церковь отличалась отъ окружающихъ ее избъ однимъ крестомъ и низкою, похожею на голубятню, колокольнею. Вся

паперть и погостъ были усыпаны народомъ; священникъ, въ полномъ облаченіи, стоялъ у церковныхъ дверей; взоры его, также какъ и всѣхъ присутствующихъ, были обращены на толпу, которая медленно приближалась ко храму. Оружіе и воинственный видъ запорожца обратили на себя общее вниманіе, и когда онъ подошелъ къ церковному погосту, толпа съ почтеніемъ разступилась и всѣ передніе крестьяне, поглядывая съ робостію на Киршу, приподняли торопливо свои шапки, кромѣ одного плечистаго дѣтины, который, взглянувъ довольно равнодушно на запорожца, обратился снова въ ту сторону, откуда приближалось нѣсколько саней и человѣкъ двадцать конныхъ и пѣшихъ. Открытый и смѣлый видъ крестьянина понравился Киршѣ; онъ подошелъ къ нему и спросилъ:

— Для чего православные толпятся вокругъ церкви?

— Да такъ-ста,—отвѣчалъ крестьянинъ.—Народъ глупъ: вишь везутъ къ вѣнцу дочь волостнаго дьяка, такъ и всѣ пришли позѣвать на молодыхъ. Словно диво какое!

— Она выходитъ за сына вашего прикащика?

— А почему ты знаешь?

— Слухомъ земля полнится, товарищъ.

— Да ты вѣрно здѣшній?

— Нѣтъ, я сейчасъ пришелъ въ вашу деревню и никого здѣсь не знаю.

— Ой-ли?

— Право такъ! А скажи-ка мнѣ: вонъ тамъ налѣво чьи хоромы?

— Боярина нашего, Тимоѳея Ѳедоровича Шалонскаго.

— Не пріѣхалъ ли къ нему кто-нибудь сегодня?

— Богъ вѣсть! Мы къ боярскому двору близко и не подходимъ.

— Что такъ? Развѣ онъ человѣкъ лихой?

— Не роди мать на свѣтѣ! Намъ и отъ холопей-то его житья нѣтъ.

— Что ты, Ѳедька Хомякъ, горланишь! — перервалъ другой крестьянинъ съ сѣдою, осанистою бородою.—Не слушай его, добрый человѣкъ: нашъ бояринъ,—дай Богъ ему долгія лѣта,—господинъ милостивый, и мы живемъ за нимъ припѣваючи.

— Да, братъ, запоешь, какъ послѣднюю овцу потащатъ на барскій дворъ.

— Замолчишь ли ты, глупая башка!—продолжала сѣ-

дой старикъ.—Эй, братъ, не сноситъ тебѣ головы! Не потачь, господинъ честной, не вѣрь ему: онъ это такъ, съ дуру говоритъ.

— Небойсь, дѣдушка,—сказалъ Кирша, улыбаясь, я человѣкъ заѣзжій и вашего боярина не знаю. А есть-ли у него дѣтки?

— Одна дочка, родимый, Анастасья Тимоѳеевна—ангелъ небесный!

— Да, неча сказать,—прибавилъ первый крестьянинъ,—вовсе не въ батюшку: такая добрая, привѣтливая; а собой-то—красное солнышко! Ну, всѣмъ бы взяла, если бъ была подороднѣе, да здоровья-то Богъ не даетъ.

— Глядь-ка, Хомякъ!—закричалъ старикъ.—Вонъ ѣдетъ дьякъ съ невѣстою, да еще и въ боярскихъ саняхъ. Шапки долой, ребята!

Поѣздъ приближался къ церкви. Впереди, въ свѣтло-голубыхъ кафтанахъ, съ бѣлыми ширинками черезъ плечо, ѣхали верхами двое дружекъ; позади ихъ, въ небольшихъ санкахъ, везъ икону малолѣтный братъ невѣсты, которая, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, ѣхала въ выкрашенныхъ малиновою краскою саняхъ, обитыхъ внутри кармазинною объярью; подъ ногами у нихъ подостлана была шкура бѣлаго медвѣдя, а конская упряжь украшена множествомъ лисьихъ хвостовъ. Рядъ саней со свахами и родственниками жениха и невѣсты оканчивался толпою пѣшихъ и всадниковъ, посреди которыхъ красовался женихъ на бѣломъ конѣ; котораго сбруя обвѣшена была разноцвѣтными кистями, а повода замѣнялись мѣдными цѣпями,—роскошь, перенятая простолюдинами отъ знатныхъ бояръ, у которыхъ эти цѣпи бывали не только изъ серебра, но даже нерѣдко изъ чистаго золота.

Кирша, вслѣдъ за женихомъ, кое-какъ продрался въ церковь, которая до того была набита народомъ, что едва оставалось довольно мѣста для совершенія брачнаго обряда. Все шло чинъ-чиномъ и крестьяне, не смотря на тѣсноту, наблюдали почтительное молчаніе; но въ ту самую минуту, какъ молодой, по тогдашнему обычаю, бросилъ на земь и началъ топтать ногами стклянку съ виномъ, изъ которой во время вѣнчанья, пилъ попеременно со своею невѣстою, народъ зашумѣлъ, и глухой шопотъ раздался на церковной паперти. «Раздвиньтесь, посторонитесь, дайте пройдти Архипу Кудимовичу!» —повторили многіе голоса. Толпа отхлы-

нула отъ дверей и на порогѣ показался высокаго роста крестьянинъ съ рыжею окладистою бородою. Наружность его не обѣщала ничего важнаго; но страхъ, съ которымъ смотрѣли на него всѣ окружающіе, и имя, произносимое въ полголоса почти всѣми, тотчасъ надоумили Киршу, что онъ видитъ въ сей почтенной особѣ хозяина пчельника, гдѣ жизнь его висѣла на волоскѣ. Кудимычъ остановился въ дверяхъ, бѣглымъ взглядомъ окинулъ внутренность церкви и, замѣтя въ толпѣ Ѳедьку Хомяка, улыбнулся съ такимъ злобнымъ удовольствіемъ, что Кирша далъ себѣ честное слово—спасти отъ напраслины невиннаго крестьянина и вывести на свѣжую воду подложнаго колдуна. Межъ тѣмъ обрядъ вѣнчанья кончился, и молодые отправились тѣмъ-же порядкомъ въ домъ прикащика. Кудимычъ, по приглашенію жениха, присоединился къ поѣзду, а Кирша вмѣшался въ толпу пѣшихъ гостей и отправился также пировать у молодыхъ.

На половинѣ дороги крестьянская дѣвушка съ испуганнымъ лицомъ подбѣжала къ санямъ прикащика и сказала ему что-то потихоньку; онъ поблѣднѣлъ какъ смерть, подозвалъ къ себѣ Кудимыча и вся процессія остановилась. Они довольно долго говорили межъ собой шепотомъ; наконецъ Кудимычъ сказалъ громкимъ голосомъ: «Пусти, я пойду передомъ; не бойся ничего: я знаю, что дѣлать!» Весь порядокъ шествія нарушился: одни вылѣзли изъ саней, другіе окружили колдуна, и всѣ крестьяне, вмѣсто того, что бы разойтись по домамъ, пустились вслѣдъ за молодыми; а колдунъ важно выступилъ впередъ и, ободряя прикащика, повелъ за собою всю толпу къ дому новобрачныхъ.

VII.

Мы оставили Юрія и слугу его, Алексѣя, въ виду цѣлой толпы поляковъ, которые считали ихъ вѣрной добычею; но они скоро увидѣли, что ошиблись въ разсчетѣ. Въ нѣсколько минутъ наши путешественники потеряли ихъ изъ виду. Безпрестанные изгибы и повороты дороги, которая часто съуживалась до того, что двумъ коннымъ нельзя было ѣхать рядомъ, способствовали имъ укрыться отъ преслѣдованія густой толпы всадниковъ, которые, стѣсняясь въ узкихъ мѣстахъ, мѣшали другъ другу и должны были по-

неволѣ останавливаться. Проскакавъ нѣсколько верстъ, наши путешественники стали придерживать своихъ лошадей, и вскорѣ совершенная тишина, ихъ окружающая, и едва слышный, отдаляющійся конскій топотъ увѣрили ихъ, что поляки воротились и имъ нечего опасаться.

— Ну, бояринъ,—сказалъ Алексѣй,—помиловалъ насъ Господь!

— А бѣдный Кирша?

— И, Юрій Дмитричъ, онъ дѣтина проворный... Да и какъ поймать его въ такомъ дремучемъ лѣсу?

— Но если онъ раненъ?

— Богъ милостивъ! Онъ вѣрно уцѣлѣлъ.

— Я дорого-бы далъ, чтобъ увѣриться въ этомъ. Ну, Алексѣй, не совѣстно ли тебѣ? Ты подозрѣвалъ Киршу въ измѣнѣ...

— Каюсь, бояринъ, грѣшилъ на него; да и теперь думаю...

— Что такое?

— Что онъ не запорожецъ.

— Вездѣ есть добрые люди, Алексѣй.

— Да ты, пожалуй, бояринъ, и поляковъ называешь добрыми людьми.

— Конечно; я знаю многихъ, на которыхъ хотѣлъ бы походить.

— И также, какъ они, гнаться за проѣзжими, чтобъ ихъ ограбить?

— Шайка русскихъ разбойниковъ, или толпа польской лагерной челяди ничего не доказываютъ. Нѣтъ, Алексѣй: я уважаю храбрыхъ и благородныхъ поляковъ. Придетъ время, вспомнятъ и они, что въ ихъ жилахъ течетъ кровь нашихъ предковъ славянъ; быть можетъ, внуки наши обнимутъ поляковъ, какъ родныхъ братьевъ, и два сильнѣйшія поколѣнія древнихъ владыкъ всего сѣвера сольются въ одинъ великій и непобѣдимый народъ!

— Не погнѣвайся, бояринъ: ты, живя съ этими ляхами, черезъ-чуръ мудренъ сталъ и говоришь такъ красно, что я ни словечка не понимаю. Но воля твоя, что будетъ впередъ, то Богъ вѣсть; а теперь куда бы хорошо, еслибъ эти незванные гости убрались во свояси. Покойный твой батюшка,—дай Богъ ему царство небесное,—не такъ изволилъ думать. Ты послѣ смерти боярыни нашей, а твоей матери, остался у него одинъ, какъ порохъ въ глазу; а

онъ все-таки говаривалъ, что легче бы ему видѣть тебя, единороднаго своего сына, въ ранней могилѣ, чѣмъ слугою короля польскаго, или мужемъ невѣрной полячки.

— Мужемъ!...—повторилъ вполголоса Юрій, и глубокая печаль изобразилась на лицѣ его. Нѣтъ, добрый Алексѣй, Господь не благословилъ меня быть мужемъ той, которая пришла мнѣ по сердцу: такъ видно суждено мнѣ цѣлый вѣкъ сиротой промаяться!

— И, бояринъ, бояринъ! Не одна звѣзда на небѣ свѣтитъ, не одна красна дѣвица на святой Руси. Ты все еще думаешь объ этой черноглазой боярышнѣ, которую видалъ въ Москвѣ у Спаса на Бору!... Вольно жъ тебѣ было не провѣдать, кто она такова; откладывалъ, да откладывалъ, а она вдругъ сгинула, да пропала. И то сказать, неужели отъ этого зачахнуть съ тоски такому молодцу, какъ ты, бояринъ? Кликни только кличъ, что хочешь жениться, такъ не оберешься невѣстъ, а можетъ быть... почему знать, суженаго конемъ не объѣдешь: и не ищешь, а найдешь свою черноглазую красавицу...

— Обвѣнчанную съ другимъ!... Нѣтъ, лучше вѣкъ ее не видать, чѣмъ видѣть на ея пальцѣ обручально кольцо, которымъ она помѣнялась не со мною!

— Что Богъ велитъ, то и будетъ. Но теперь, бояринъ, дѣло идетъ не о томъ, по какой дорогѣ намъ ѣхать? Вотъ ихъ двѣ: направо въ лѣсъ, налѣво изъ лѣсу... Да кстати, вонъ ѣдетъ мужичекъ съ хворостомъ. Эй, слушай ка, дядя! По которой дорогѣ выѣдемъ мы въ отчину боярина Кручины Шалонскаго?

При этомъ грозномъ имени крестьянинъ снялъ шапку, поклонился въ поясъ проѣзжимъ и молча показалъ налѣво. Чрезъ полчаса наши путешественники выѣхали изъ лѣсу, и длинный рядъ низкихъ избъ, выстроенныхъ по берегу небольшой рѣчки, представился ихъ взорамъ. Широкая поперечная улица вела къ церкви, а по другой сторонѣ рѣки, на отлогомъ холмѣ, возвышались тесовая кровля и красивый теремъ боярскаго дома, обнесеннаго высокимъ тыномъ, похожимъ на крѣпостной палисадъ. Вокругъ господскаго двора разбросаны были жилыя избы дворовыхъ людей, конюшня, псарня и огромный скотный дворъ. Всѣ эти строенія, съ ихъ пристройками, клѣтьми и загородками, занимали столь большое пространство, что съ перваго взгляда ихъ можно было почесть вторымъ селомъ, не ме-

нѣе перваго. Переѣхавъ черезъ мостъ, утвержденный на толстыхъ сваяхъ, путешественники поднялись въ гору и въѣхали на обширный боярскій дворъ. Лицевая сторона главнаго зданія занимала въ длину болѣе пятнадцати саженей, но вышина дома ни мало не соотвѣтствовала длинѣ его. Небольшія четвероугольныя окна, съ красными рамами и разноцвѣтнымя ставнями, раздѣлялись широкими простѣнками. Съ лѣвой стороны домъ оканчивался крыльцомъ, съ огромнымъ навѣсомъ, поддерживаемымъ деревянными столбами, которымъ дана была форма нынѣшнихъ точеныхъ балясъ, употребляемыхъ иногда для украшенія наружности домовъ. Съ правой стороны домъ примыкалъ къ двухъ-этажному терему, котораго окна были почти вдвое болѣе оконъ остальной части дома. По обѣимъ сторонамъ забора выстроены были длинныя застольни, приспѣшная и погреба съ высокою голубятнею, а посреди двора стояли висячія качели. Мы должны замѣтить нашимъ читателямъ, что гордый бояринъ Кручина славился своею роскошью и что его давно уже упрекали въ подражаніи иноземцамъ и въ явномъ презрѣніи къ простымъ обычаямъ предковъ; а посему описаніе его дома не можетъ дать вѣрнаго понятія объ образѣ жизни тогдашнихъ русскихъ бояръ. Ихъ дома не удивляли огромностью и великолѣпіемъ: большая комната, называемая свѣтлицею, отдѣлялась отъ черной избы просторными и теплыми сѣнями, въ которыхъ живали горничныя, получившія отъ сего названіе *сѣнныхъ дѣвушекъ*. Иногда узкая и крутая лѣстница вела изъ сѣней въ теремъ; кругомъ дома строились погреба, конюшни, клѣти и бани. Вотъ краткое, но довольно вѣрное описаніе домовъ бояръ и дворянъ того времени, которые крѣпко держались старинной русской пословицы: не красна изба углами, а красна пирогами.

Проѣзжая дворомъ, Юрій замѣтилъ большія приготовленія, слуги бѣгали взадъ и впередъ, въ приспѣшной пылалъ яркій огонь; нѣсколько поваровъ суетились вокругъ убитаго быка; все доказывало, что бояринъ Кручина ожидаетъ къ себѣ гостей. Тѣ изъ челядинцевъ, съ которыми встрѣчался Юрій, подъѣзжая къ крыльцу, смотрѣли на него съ удивленіемъ: измятый и поношенный охобень, коимъ съ ногъ до головы онъ былъ окутанъ, некрасивая одежда Алексѣя, однимъ словомъ, ничто не оправдывало дерзости незнакомаго гостя, который, вопреки обычаю простолюди-

новъ, не сошелъ съ лошади у воротъ и въѣхалъ верхомъ на дворъ гордаго боярина. Отдавъ своего коня Алексѣю, Юрій взошелъ по отлогой лѣстницѣ въ обширную переднюю комнату. Вокругъ стѣнъ, на широкихъ скамьяхъ сидѣли человѣкъ двадцать холопей, одѣтыхъ въ цвѣтные кафтаны; развѣшенные въ порядкѣ панцыри, бердыши, кистени, сабли и ружья служили единственнымъ украшеніемъ голыхъ стѣнъ сего покоя. Одинъ изъ слугъ, не вставая съ мѣста, спросилъ грубымъ голосомъ Юрія: кого ему надобно?

— Боярина Тимоѳея Ѳедоровича,—отвѣчалъ Юрій.

— А отъ кого ты присланъ?

Вмѣсто отвѣта, Юрій сбросилъ свой охобень. Обшитый богатыми галунами кафтанъ и дорогая сабля подѣйствовали сильнѣе на этихъ невѣждъ, чѣмъ благородный видъ Юрія: они вскочили проворно съ своихъ лавокъ, и тотъ, который сдѣлалъ первый вопросъ, поклонясь, вѣжливо, сказалъ, что бояринъ еще не вставалъ, и если гостю угодно подождать, то онъ проситъ его въ другую комнату. Юрій вошелъ вслѣдъ за слугою въ четыреугольный обширный покой, посреди котораго стояли длинные дубовые столы, а вдоль стѣны—покрытыя пестрыми коврами лавки. Прошло болѣе часа; никто не показывался. Отъ нечего дѣлать, Юрій сталъ разсматривать развѣшенные по стѣнамъ портреты, довольно изрядной по тогдашнему времени живописи. Почти всѣ представляли поляковъ, а одинъ—короля польскаго, въ коронѣ и порфирѣ. Портретъ былъ поясной и король былъ представленъ облокотившимся на столъ, на которомъ лежалъ скипетръ съ двухглавымъ орломъ и, священный для всѣхъ русскихъ, вѣнецъ Мономаховъ. Юрій вздрогнулъ отъ негодованія, прочтя надпись на польскомъ языкѣ: «Сигизмундъ король Польскій и царь Русскій». Не помышляя о послѣдствіи перваго необдуманнаго движенія, онъ протянулъ руку, чтобъ сорвать портретъ со стѣны, какъ вдругъ двери изъ внутреннихъ покоевъ растворились и человѣкъ лѣтъ тридцати, опрятно одѣтый, вошелъ въ комнату. Поздравивъ Юрія съ пріѣздомъ и объявивъ себя однимъ изъ *знакомцевъ* боярина *), онъ спросилъ: какую надобность имѣетъ пріѣзжій до хозяина?

---

*) Знакомцами назывались тогда жившіе у бояръ бѣдныя дворяне: они ѣдали за боярскимъ столомъ и составляли ихъ домашнюю бесѣду.

— Я долженъ самъ говорить съ Тимоѳеемъ Ѳедоровичемъ, — отвѣчалъ Юрій.

— Ему теперь некогда; онъ отправляетъ гонца въ Москву.

— Я самъ изъ Москвы и привезъ ему грамоту отъ пана Гонсѣвскаго.

— Отъ пана Гонсѣвскаго? А, это другое дѣло! Милости просимъ! Я тотчасъ доложу боярину. Дозволь только спросить: при тебѣ что ль получили извѣстіе въ Москвѣ о славной побѣдѣ короля польскаго.

— О какой побѣдѣ?

— Такъ ты не знаешь? Смоленскъ взятъ.

— Возможно ли?!

— Да, да, это гнѣздо бунтовщиковъ теперь въ нашихъ рукахъ; бояринъ Тимоѳей Ѳедоровичъ вчера получилъ грамоту отъ своего пріятеля, смоленскаго уроженца, Андрея Дедешина, который помогъ королю завладѣть городомъ...

— И вѣрно не былъ награжденъ, какъ слѣдуетъ, за такую услугу?—сказалъ Юрій, съ трудомъ скрывая свое негодованіе·

— О, нѣтъ! онъ теперь въ большой милости у короля польскаго.

— Не вѣрю: Сигизмундъ не потерпитъ при лицѣ своемъ измѣнника.

— Что ты! Какой онъ измѣнникъ! Когда городъ взяли, всѣ измѣнники и бунтовщики заперлись въ соборѣ, подъ которымъ былъ пороховой погребъ, подожгли сами себя и всѣ сгибли до единаго. Туда имъ и дорога!... Но, не погнѣвайся, я пойду и доложу о тебѣ боярину.

— Вѣрные смоляне!—сказалъ Юрій, оставшись одинъ.— Для чего я не могъ погибнуть вмѣстѣ съ вами! Вы положили головы за вашу родину, а я... Я клялся въ вѣрности тому, чей отецъ, какъ лютый врагъ, разоряетъ землю Русскую.

Громкій крикъ, раздавшійся на дворѣ, разсѣялъ на минуту его мрачныя мысли. Онъ подошелъ къ окну: посреди двора нѣсколько слугъ обливали водою какого-то безобразнаго старика; несчастный дрожалъ отъ холода, кривлялся и, дѣлая престранные прыжки, ревѣлъ нелѣпымъ голосомъ. Добрый, чувствительный Юрій никакъ не догадался бы, что значитъ эта жестокая шутка, еслибъ громкій хохотъ въ сосѣднемъ покоѣ не надоумилъ его, что это одна изъ

потѣхъ боярина Шалонскаго. Отвращеніе, чувствуемое имъ къ хозяину дома, удвоилось при видѣ этой безчеловѣчной забавы, которая кончилась тѣмъ, что посинѣвшаго отъ холода и едва живого старика оттащили въ застольную. Вслѣдъ за симъ потѣшнымъ зрѣлищемъ вошелъ опять тотъ же знакомецъ боярина и пригласилъ Юрія идти за собою. Пройдя одну небольшую комнату, провожатый его отворилъ обитыя краснымъ сукномъ двери и ввелъ его въ покой, котораго стѣны были обтянуты голландскою позолоченою кожею. Передъ большимъ столомъ, на высокихъ рѣзныхъ креслахъ сидѣлъ человѣкъ, лѣтъ пятидесяти. Блѣдное лицо, носящее на себѣ отпечатокъ сильныхъ, необузданныхъ страстей; рѣдкая съ просѣдью борода и сѣрые небольшіе глаза, которые, сверкая изъ подъ насупленныхъ бровей, казалось, готовы были отъ малѣйшаго прекословія запылать бѣшенствомъ,—все это вмѣстѣ составляло наружность вовсе непривлекательную. Подбритые на польскій образецъ волосы, низко повязанный кушакъ по длинному штофному кафтану,—придавали ему видъ богатаго польскаго пана; но, въ то же время, надѣтая на распашку, сверхъ кафтана, съ золотыми петлицами ферязь напоминала пышную одежду бояръ русскихъ. Юрію не трудно было отгадать, что онъ видитъ передъ собою боярина Кручину. Поклонясь вѣжливо, онъ подалъ ему, обвернутое шелковымъ снуркомъ, письмо пана Гонсѣвскаго.

— Давно-ли ты изъ Москвы?—спросилъ бояринъ, развертывая письмо.

— Осьмой день, Тимоѳей Ѳедоровичъ.

— Осьмой день! Хорошаго-же гонца выбралъ мой будущій зять! Ну, молодецъ, еслибъ ты служилъ мнѣ, а не пану Гансѣвскому...

— Я служу одному царю Русскому, Владиславу,—перервалъ хладнокровно Юрій.

— Въ самомъ дѣлѣ? Да кто-же ты таковъ, вѣрный слуга царя Владислава?—спросилъ насмѣшливо Кручина.

— Юрій, сынъ боярина Димитрія Милославскаго.

— Димитрія Милославскаго?... Закоснѣлаго ненавистника поляковъ?... И ты, сынъ его?... Но все равно!... Садись, Юрій Дмитричъ. Диво, что панъ Гонсѣвскій не нашелъ никого прислать ко мнѣ, кромѣ тебя!

— Я изъ дружбы къ нему взялся отвезти къ тебѣ эту грамоту.

— Сынъ боярина Милославскаго величаетъ польскаго королевича царемъ Русскимъ... зоветъ Гонсѣвскаго своимъ другомъ... диковинка! Такъ по этому и твой отецъ за умъ хватился?

— Его ужъ нѣтъ давно на свѣтѣ.

— Вотъ что!... Не осуди, Юрій Дмитричъ: я прочту, о чемъ ко мнѣ панъ Гонсѣвскій въ своемъ листу пишетъ.

Юрій замѣтилъ, что боярин, читая письмо, становился часъ отъ-часу пасмурнѣе: досада и нетерпѣніе изображались на лицѣ его.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ, дочитавъ письмо:—съ ними добромъ не раздѣлаешься! По мнѣ бы съ корнемъ вонъ! Я бы вспахалъ и засѣялъ мѣсто, на которомъ стоитъ этотъ разбойничій городишка! Вотъ что въ своемъ листу пишетъ ко мнѣ Гонсѣвскій,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Юрію:—до него дошелъ слухъ, что неугомонные нижегородцы набираютъ изподтишка войско; такъ онъ желаетъ, чтобъ я отправилъ тебя въ Нижній поразвѣдать, что тамъ дѣлается, и, если можно, преклонить главныхъ зачинщиковъ къ покорности, обѣщая имъ милость королевскую. Онъ, дескать, сынъ боярина московскаго, который славился своею ненавистью къ полякамъ, такъ примѣръ его можетъ вразумить этихъ малоумныхъ: когда-де сынъ Димитрія Милославскаго цѣловалъ крестъ королевичу польскому, такъ ужъ, видно, такъ и быть должно.

— Я съ радостью готовъ исполнить порученіе Гонсѣвскаго,—отвѣчалъ Юрій:—ибо увѣренъ въ душѣ моей, что избраніе Владислава спасетъ отъ конечной гибели наше отечество.

— Да, да,—прервалъ боярин,—мирвольте этимъ бунтовщикамъ, уговаривайте ихъ! Дождетесь того, что всѣ низовые города къ нимъ пристанутъ, и тогда попытайтесь ихъ унять. Нѣтъ, господа москвичи, не словомъ ласковымъ усмиряютъ непокорныхъ, а мечемъ и огнемъ! Гонсѣвскій прислалъ сюда пана Тишкевича съ регментомъ; но этимъ ихъ не запугаешь. Еслибъ онъ меня послушался и отправилъ поболѣе войска, то давнымъ бы давно не осталось въ Нижнемъ бревна на бревнѣ, камня на камнѣ!

— Не весело, боярин, правой рукой отсѣкать себѣ лѣвую; не радостно русскому возставать противъ русскаго. Мало ли и такъ пролито крови христіанской! Не одна тысяча православныхъ легла подъ Москвою! И не противны ли

Господу Богу молитвы тѣхъ, коихъ руки облиты кровью братьевъ?

Бояринъ Кручина поглядѣлъ пристально на Юрія и съ насмѣшливой улыбкой спросилъ его: на которомъ году желаетъ онь сдѣлаться схимникомъ, и ради чего, вмѣсто четокъ, прицѣпилъ саблю къ своему поясу?

— Что я умѣю владѣть саблею, бояринъ, — сказалъ Юрій, — это знаютъ враги Россіи; а удостоюсь ли быть схимникомъ, про то вѣдаетъ одинъ Господь.

— Да не думаешь ли ты, сердобольный посланникъ Гонсѣвскаго,—продолжалъ бояринъ,—что нижегородцы будутъ къ тебѣ также милосерды и побоятся умертвить тебя, какъ предателя и слугу короля польскаго?

— И дѣло бъ сдѣлали, еслибъ я, Юрій Милославскій, былъ слугою короля польскаго.

— Ого, молодчикъ!... Да ты что-то крупно поговариваешь!—сказалъ Кручина, нахмуривъ свои густыя брови.

— Да, бояринъ,—продолжалъ Юрій,—я служу не польскому королю, а царю русскому, Владиславу.

— Но Сигизмундъ развѣ не отецъ его?

— Его, а не нашъ. Такъ думаетъ вся Москва, такъ думаютъ всѣ русскіе!

— Полегче, молодецъ, полегче! За всѣхъ не ручайся. Ты еще молоденекъ, не тебѣ учить стариковъ: мы знаемъ лучше вашего, что пригоднѣе для земли Русской. Сегодня ты отдохнешь, Юрій Дмитричъ, а завтра чѣмъ свѣтъ отправишься въ дорогу, я дамъ тебѣ грамоту къ пріятелю моему, боярину Истомѣ Туренину. Онъ живетъ въ Нижнемъ, и я прошу тебя во всемъ совѣтоваться съ этимъ испытаннымъ въ дѣлахъ и прозорливымъ мужемъ. Пускай, на первый случай, нижегородцы присягнутъ хоть Владиславу; а тамъ... что Богъ дастъ! Отъ сына до отца не далеко...

— Нѣтъ, бояринъ, пока русскіе не переродились ..

— Добро, мы поговоримъ объ этомъ послѣ. Знай только, Юрій Дмитричъ, что въ сильную бурю на поврежденномъ кораблѣ правитъ рулемъ не малое дитя, а опытный кормчій. Но у меня есть нужныя дѣла... И такъ, не взыщи... прощай, покамѣстъ!—Не съ ума ли сошелъ Гонсѣвскій,— продолжалъ бояринъ, провожая глазами выходящаго Юрія:— прислать ко мнѣ этого мальчишку, который безпрестанно твердитъ о Владиславѣ, да объ отечествѣ! Видно у нихъ въ Москвѣ-то умъ за разумъ зашелъ. Добро, молодчикъ! Ты

поѣдешь въ Нижній, и что бъ у тебя на умѣ ни было, а меня не проведешь: или будешь плясать по моей дудкѣ, или...

Бояринъ свистнулъ и спросилъ вошедшаго слугу: пріѣхалъ ли изъ города его стремянный Омляшъ?

— Сейчасъ слѣзъ съ лошади, государь,—отвѣчалъ служитель.

— Скажи, чтобъ онъ никому не показывался, а пришелъ бы ко мнѣ тайкомъ, черезъ садовую калитку, и былъ бы готовъ къ отъѣзду. Ступай!... Да позови ко мнѣ Власьевну.

Черезъ нѣсколько минутъ вошла въ покой старушка лѣтъ шестидесяти, въ шелковомъ шушунѣ и малиновой, обложенной мѣхомъ, шапочкѣ. Помолясь иконамъ, она низко поклонилась боярину и сложивъ смиренно руки, ожидала въ почтительномъ молчаніи приказаній своего господина.

— Ну, что, Власьевна,—спросилъ бояринъ,—порадуешь ли ты меня? Какова Настенька?

— Все также, батюшка, Тимоѳей Ѳедоровичъ! Ничего не кушаетъ, сна вовсе нѣтъ: всю ночь прометалась изъ стороны въ сторону, все изволитъ тосковать, а о чемъ, сама не знаетъ! Ужъ я ее спрашивала: что ты, мое дитятко, что ты моя радость? Что съ тобою дѣлается?... «Больна, мамушка!» Вотъ и весь отвѣтъ; а что болитъ, Богъ вѣсть!

Бояринъ призадумался. Дурной гражданинъ едва-ли можетъ быть хорошимъ отцомъ; но и дикіе звѣри любятъ дѣтей своихъ, а сверхъ того честолюбивый бояринъ видѣлъ въ ней будущую супругу любимца короля польскаго; она была для него вѣрнѣйшимъ средствомъ къ достиженію почестей и могущества, составлявшихъ единственный предметъ всѣхъ тайныхъ думъ и нетерпѣливыхъ его желаній. Промолчавъ нѣсколько времени, онъ спросилъ: употребляла ли больная снадобья, которыя оставилъ ей польскій врачъ передъ отъѣздомъ своимъ въ Москву?

— Э, эхъ, батюшка, Тимоѳей Ѳедоровичъ!—отвѣчала старушка, покачавъ головою —Съ этихъ то снадобьевъ никакъ ей хуже сдѣлалось. Воля твоя, бояринъ, гнѣвайся на меня, если хочешь, а я стою на томъ, что Анастастьѣ Тимоѳеевнѣ попритчилось не даромъ. Нѣтъ, отецъ мой, не спроста она хворать изволитъ.

— Какъ ты думаешь, Власьевна, что она испорчена?

— Испорчена, батюшка; видитъ Богъ, испорчена!

— Я плохо этому вѣрю; ну, да если ничто не помогаетъ, такъ дѣлать нечего: поговори съ Кудимычемъ.

— Я ужъ и безъ твоего боярскаго приказа хотѣла съ нимъ объ этомъ словечко перемолвить; да говорятъ, будто бы здѣсь есть какой-то прохожій, который и Кудимыча за поясъ заткнулъ. Такъ не прикажешь ли, Тимоѳей Ѳедоровичъ, ему поклониться! Онъ теперь на селѣ у прикащика Ѳомы пируетъ съ молодыми.

— Хорошо, пошли за нимъ: пусть посмотритъ Настеньку. Да скажи ему: если онъ ей пособитъ, то просилъ бы у меня, чего хочетъ; но если ей сдѣлается хуже, то даромъ что онъ колдунъ, не отворожится,—запорю батогами!... Ну, ступай!—продолжалъ бояринъ, вставая.—Черезъ часъ, а можетъ быть и прежде, я приду къ вамъ и взгляну самъ на больную.

Межъ тѣмъ дворянинъ, которому поручено было угощать Юрія, пройдя черезъ всѣ комнаты ввелъ его въ одинъ боковой покой, въ которомъ стояло нѣсколько кроватей безъ пологовъ.

— Вотъ здѣсь,—сказалъ онъ,—отдыхаютъ гости боярина. Не хочешь ли и ты успокоиться, или перекусить чего нибудь? Дорожному человѣку во всякое время ѣсть хочется!

— Благодарю,—отвѣчалъ Юрій,—я не голоденъ, а желалъ бы отдохнуть.

— Такъ не чинись, бояринъ, прилягъ и засни; нынче же обѣдать будутъ поздно: Тимоѳей Ѳедоровичъ хочетъ порядкомъ угостить пана Тишкевича, который сегодня прибылъ сюда съ своимъ регментомъ. Добраго сна, Юрій Дмитричъ! А я теперь пойду и взгляну, прибрали ли твоихъ коней.

Юрій, оставшись одинъ, подошелъ къ окну, изъ котораго видѣнъ былъ садъ, или, по тогдашнему, огородъ, который и въ наше время не заслужилъ бы другого названія. Полсотни толстыхъ липъ, двѣ или три куртины плодовитыхъ деревьевъ, большой прудъ съ жирными карасями, множество кустовъ смородины и малины и нѣсколько грядъ съ овощами,—вотъ, что замѣняло тогда нынѣшнія красивыя аллеи, бесѣдки, каскады и сюрпризы. Юрію показалось, что кто-то идетъ по саду, вдоль забора, между кустовъ. Онъ не обратилъ бы на это никакого вниманія, еслибъ

этотъ человѣкъ не походилъ на вора, который хочетъ пробраться такъ, чтобъ его никто не замѣтилъ; онъ шелъ сугробомъ, потому что проложенная по саду тропинка была слишкомъ на виду, и какъ будто-бы съ робостью оглядывался на всѣ стороны. По отдаленію, Юрій не могъ разсмотрѣть его въ лицо, но замѣтилъ, что онъ высокаго роста и сложенъ богатыремъ. Желая хоть немного отдохнуть, Милославскій, не раздѣваясь, прилегъ на одну изъ кроватей. Не смотря на усталость, онъ долго не могъ заснуть: какъ тяжелый свинецъ, неизъяснимая грусть лежала на его сердцѣ; всѣ свѣтлыя мечты, всѣ радостныя надежды, свобода, счастіе отечества,—все, что наполняло восторгомъ его душу, замѣнилось какимъ-то мрачнымъ предчувствіемъ. Слова боярина Кручины, а болѣе всего взятіе Смоленска, доказывали ему, что съ избраніемъ Владислава не прекратились бѣдствія Россіи. Междоусобная война, торжество враговъ и, наконецъ, порабощеніе отечества, во всей ужасной истинѣ своей представились его воображенію. Часъ отъ часу билось сильнѣе сердце пламеннаго юноши, кровь волновалась въ его жилахъ, но усталость взяла свое: глаза его сомкнулись, мечты облеклись въ одежду истины и сновидѣніе перенесло Юрія въ первопрестольный градъ Царства Русскаго. Ему казалось, что все небо подернуто густымъ туманомъ; что онъ, вмѣстѣ съ толпою покрытыхъ рубищемъ и горько плачущихъ гражданъ московскихъ, подходитъ къ Грановитой Палатѣ; что на высокомъ царскомъ теремѣ развивается красное знамя съ изображеніемъ одноглаваго орла. Юрій съ ужасомъ отвращаетъ свои взоры... И вотъ передъ нимъ древній храмъ Спаса на Бору; церковныя двери растворены; онъ входитъ и кто жъ спѣшитъ къ нему на встѣчу?.. Она! Тихій, едва слышный шопотъ долетаетъ до ушей его: «Я долго, долго дожидалась тебя, мой суженый! Поспѣшимъ... Священникъ готовъ; онъ ждетъ насъ у налоя; пойдемъ!» Съ безмолвнымъ восторгомъ Юрій прижимаетъ къ сердцу ея руку... И вотъ уже они стоятъ рядомъ... Имъ подаютъ брачныя свѣчи... Вдругъ буйные крики раздаются у дверей. Толпа поляковъ врывается во внутренность храма и съ неистовымъ хохотомъ окружаетъ невѣсту; Юрій ищетъ своей сабли, — ея нѣтъ; хочетъ бросится на злодѣевъ, но онѣмѣвшіе члены ему ни повинуются. Съ воплемъ отчаянія, въ совершенномъ безсиліи, онъ повергается на хладный церковный помостъ, теряетъ чувства и снова, какъ будто бъ

пробудясь отъ сна, видитъ себя посреди Красной площади. Надъ нимъ ясныя небеса... Кругомъ толпится народъ... Радость на всѣхъ лицахъ... Тихое очаровательное пѣніе раздается въ храмахъ Господнихъ. Вдали, сквозь тонкій туманъ на сѣверо-востокѣ, изъ за стѣнъ незнакомой ему святой обители, показывается восходящее солнце... Она опять возлѣ него; на правой рукѣ ея обручальный перстень... Со взоромъ, исполненнымъ неизъяснимой нѣжности, она говоритъ ему: «Радость дней моихъ, ненаглядный мой, посмотри: видишь ли, какъ восходитъ солнце русское?... Скоро, скоро заблистаетъ въ яркихъ лучахъ его наша милая родина!... Смотри: вотъ гонитъ оно остатки грозныхъ тучъ, которыя вдали, какъ гробовой покровъ, чернѣются на западѣ...» Но вдругъ Юрій снова видитъ польскихъ воиновъ, снова слышитъ вопли отчаянія... Она опять исчезла и онъ одинъ, какъ горькій сирота, скитается по опустѣлымъ улицамъ московскимъ, или въ мучительной тоскѣ сидитъ посреди пирующихъ враговъ и слышитъ съ ужасомъ громкія восклицанія: «Да здраствуетъ Сигизмундъ, король польскій и царь Русскій!»

VIII.

Покуда Юрій спитъ и обманчивыя сновидѣнія поперемѣнно то терзаютъ, то услаждаютъ его душу, мы должны возвратиться къ новобрачнымъ, которыхъ оставили посреди улицы. Читатели, вѣроятно не забыли, что Кирша вмѣшался въ толпу гостей, а Кудимычъ шелъ впереди всего поѣзда. Толпа народа, провожавшая молодыхъ, ежеминутно увеличивалась: старики, женщины и дѣти выбѣгали изъ хижинъ; на всѣхъ лицахъ изображалось нетерпѣливое ожиданіе; полуодѣтые, босые ребятишки, дрожа отъ страха и холода, забѣгали впередъ и робко посматривали на колдуна, который, приближаясь къ дому новобрачныхъ, останавливался на каждомъ шагу и смотрѣлъ внимательно кругомъ себя, показывая примѣтное безпокойство. Не дойдя нѣсколькихъ шаговъ до воротъ избы, онъ вдругъ остановился, задрожалъ и, оборотясь назадъ, закричалъ дикимъ голосомъ:

— Стойте, ребята! Никто ни съ мѣста!

Глухой шопотъ пробѣжалъ по толпѣ; передніе стали пятиться назадъ, задніе полѣзли впередъ; слѣдуя народной пословицѣ: «на людяхъ и смерть красна», каждый прижи-

мался къ своему сосѣду, и, не смотря на ужасную тѣсноту, одинъ Кирша вышелъ впередъ.

Межъ тѣмъ Кудимычъ дѣлалъ необычайныя усилія, чтобъ подойти къ воротамъ; казалось, какая-то невидимая сила тянула его назадъ, и каждый разъ, какъ онъ подымалъ ногу, чтобы перешагнуть черезъ подворотню, его отбрасывало на нѣсколько шаговъ; потъ градомъ катился съ его лица. Наконецъ, послѣ многихъ тщетныхъ усилій онъ, задыхаясь, повалился на землю и прохрипѣлъ едва внятнымъ голосомъ:

— Охъ неловко!... Неладно, ребята!... Чуръ меня, чуръ!... Никто не моги трогаться съ мѣста!... Охъ, батюшка, недаровое! Быть бѣдѣ!...

Отъ этихъ ужасныхъ словъ шарахнулась вся толпа; у многихъ волосы стали дыбомъ, а молодая, почти безъ чувствъ, упала на руки къ своему отцу, который трясся и дрожалъ, какъ въ злой лихорадкѣ.

— Что намъ дѣлать?—спросилъ дьякъ, заикаясь отъ страха,

— Погоди, дай попытаюсь еще! — отвѣчалъ Кудимычъ, приподнимаясь съ трудомъ на ноги.

Онъ пробормоталъ нѣсколько невнятныхъ словъ, дунулъ на всѣ четыре стороны и вдругъ съ разбѣгу перепрыгнулъ черезъ подворотню.

— Ну, теперь не бойтесь ничего! — закричалъ онъ.— Наша взяла! Всѣ за мной!

Онъ нѣсколько разъ долженъ былъ повторить это приглашеніе, прежде чѣмъ молодые, родня и гости рѣшились за нимъ слѣдовать; наконецъ примѣръ Кирши, который, по первому призыву, вошелъ на дворъ, подѣйствовалъ на всѣхъ. Кудимычъ, подойдя къ дверямъ избы, остановился, и когда сѣни наполнились людьми, то онъ, оборотясь назадъ, сказалъ:

— Я войду послѣдній, а вы ступайте впередъ и посмотрите, какъ раздѣлаюсь при васъ съ этой старой вѣдьмой.

Тутъ снова начались церемоніи: прикащикъ предлагалъ дьяку идти впередъ, дьякъ уступалъ эту честь прикащику.

— Помилуй, батюшка,—сказалъ наконецъ послѣдній: я здѣсь хозяинъ въ дому. а ты гость,— такъ милости просимъ!

— Ни, ни, Ѳома Кондратьичъ?—отвѣчалъ дьякъ. Ты первый служебникъ боярскій, и не пригоже мнѣ, какъ фальшеру и прокурату, не отдавать подобающей тебѣ чести.

— Ну, если такъ, пожалуй я войду,—сказалъ приказчикъ, въ которомъ утѣшенное самолюбіе побѣдило на минуту весь страхъ. Онъ перекрестился, шагнулъ черезъ порогъ, и вдругъ, отскочивъ съ ужасомъ, закричалъ:

— Чуръ меня, чуръ! Тамъ кто-то нашептываетъ... Иди кто хочетъ, я ни за что не пойду...

— Пустите меня,—сказалъ Кирша,—я не робкаго десятка и никакой колдуньи не испугаюсь.

— Ступай, молодецъ, ступай!—закричали многіе изъ гостей.

— Пускай идетъ,—шепнулъ приказчикъ дьяку.—Надъ нимъ бы и тряслось! Это какой-то прохожій, такъ не велика бѣда!

Кирша вошелъ и расположился преспокойно въ переднемъ углу. Когда же прикащикъ, а за нимъ молодые и вся свадебная компанія перебрались понемногу въ избу, то взоры обратились на уродливую старуху, которая, сидя на полатяхъ, покачивалась изъ стороны въ сторону и шептала какія-то варварскія слова. Кирша замѣтилъ на полу, подъ самыми полатями, нѣсколько сноповъ соломы, какъ будто безъ намѣренія брошенныхъ, которые тотчасъ напомнили ему, чѣмъ должна кончиться вся комедія.

— Ну, теперь садитесь всѣ по лавкамъ,—закричалъ изъ сѣней Кудимычъ:—да сидите смирно, никто не шевелись!

Едва приказъ былъ исполненъ, какъ онъ съ одного скачка очутился посреди избы, и въ то же время старуха съ дикимъ воплемъ стремглавъ слетѣла съ полатей, и растянулась на соломѣ. Всѣ присутствующіе, исключая Кирши, вскрикнули отъ удивленія и ужаса.

— Что, Григорьевна, будешь ли напредки со мною схватываться?—сказалъ торжественно Кудимычъ

— Виновата, виновата!—завизжала старуха.

— Ага, покорилась старая вѣдьма!

— Виновата, отецъ мой, виновата!

— То-то, виновата! Знай сверчокъ свой шестокъ!

— Виновата, Архипъ Кудимычъ!

— Ну, такъ и быть, повинную голову и мечъ не сѣчетъ; я жъ человѣкъ не злой и лиха не помню... Добро, вставай, Григорьевна! Миръ, такъ миръ... Дай ка ей чарку вина, посади ее за столъ, да угости хорошенько,—продолжалъ Кудимычъ вполголоса, обращаясь къ прикащику.—Не надо съ ней ссориться: не ровенъ часъ, меня не слу-

чится... Да, что грѣхъ таить: и я на силу съ ней справился,—сильна, проклятая!

— Милости просимъ, матушка, Пелагея Григорьевна!— сказалъ привѣтливо хозяинъ. — Садись-ка вотъ здѣсь возлѣ Кудимыча. Да скажи пожалуйста: за что такая немилость? Мы, кажись, всегда въ ладу живали.

— Нѣтъ, батюшка,—отвѣчала съ низкимъ поклономъ старуха:—противъ тебя у меня никакого умысла не было;а правду сказать, хотѣлось потягаться съ Архипомъ Кудимовичемъ.

— Да, видно, не подъ-силу пришелъ!— прервалъ, усмѣхаясь, колдунъ. — Впередъ наука: не спросясь броду, не суйся въ воду. Ну, да что объ этомъ толковать: кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ! Теперь рѣчь не о томъ: пора за хозяйскій хлѣбъ и соль приниматься.

Въ одну минуту весь столъ покрылся разными похлебками. Сначала всѣ ѣли молча; но дружки такъ усердно подчивали гостей виномъ и брагою, что вскорѣ всѣ языки пришли въ движеніе и общій разговоръ становился часъ-отъ-часу шумнѣе. Одинъ Кирша молчалъ. Многимъ изъ гостей и самому хозяину казалось весьма чуднымъ поведеніе незнакомца, который, не будучи приглашенъ на свадьбу, занялъ первое мѣсто, ѣлъ за двоихъ и не говорилъ ни съ кѣмъ ни слова; но самое это равнодушіе, воинственный видъ, а болѣе всего смѣлость, имъ оказанная, внушали къ нему во всѣхъ присутствующихъ какое-то невольное уваженіе; всѣ посматривали на него съ любопытствомъ, но никто не рѣшался съ нимъ заговорить.

Въ числѣ гостей была одна пожилая сѣнная дѣвушка, которая, пошептавъ съ хозяиномъ, обратилась къ Кудимычу и спросила его, не можетъ ли онъ пособить ея горю?

— Не равно горе, матушка Татьяна Ивановна! — отвѣчалъ Кудимычъ, котораго нѣсколько чарокъ вина развеселили порядкомъ. — Если ты попросишь, чтобъ я убавилъ тебѣ годковъ пятокъ, такъ воля твоя,—не могу.

— Вотъ еще что вздумалъ! — сказала сѣнная дѣвушка съ досадою.—Развѣ я перестарокъ какой! Не о томъ рѣчь, Кудимычъ: на боярскомъ дворѣ сдѣлалась пропажа.

— Ужъ не коня ли свели?

— Нѣтъ, красна пропали. Вчера я сама ихъ видѣла: онѣ бѣлились на боярскомъ огородѣ, а сегодня сгинули, да пропали. Ночью была погода, такъ и слѣду не осталось: не знаемъ, на кого подумать.

— Что, видно, безъ меня дѣло не обойдется?

— То-то и есть, Архипъ Кудимовичъ: выкупи изъ бѣды, родимый! Вѣдь я за нихъ въ отвѣтѣ.

— Пожалуй, я не прочь!.. Иль нѣтъ: пускай на мировой вся честь Григорьевнѣ. Ну-ка, родная, покажи свою удаль!

— Смѣю ли я при тебѣ, Архипъ Кудимовичъ!—отвѣчала смиренно Григорьевна.

— Полно ломаться то, голубушка? Я ужъ поработалъ, теперь очередь за тобою.

— Ну, если ты велишь, родимый, такъ дѣлать нечего. Подайте мнѣ ковшъ воды.

При самомъ началѣ этого разговора, глубокая тишина распространилась по всей избѣ: говоруны замолкли, дружки унялись потчивать, голодные перестали ѣсть; одинъ Кирша, не обращая ни малѣйшаго вниманія на колдуна и колдунью, ѣлъ и пилъ по-прежнему. Григорьевнѣ подали ковшикъ съ водой. Пошептавъ надъ нимъ нѣсколько минутъ, она начала пристально смотрѣтъ на поверхность воды.

— Ахъ, батюшки-свѣты!—сказала она, наконецъ, покачавъ головою. — Кто бы могъ подумать!... Мужикъ богатый, семейный, а пустился на такое дѣло...

— Кого жъ ты видишь?—спросилъ съ нетерпѣніемъ прикащикъ.—Говори.

— Нѣтъ. батюшка, не могу: жаль вымолвить. На вотъ, смотри самъ.

— Я ничего не вижу,—сказалъ прикащикъ, посмотрѣвъ на воду.

— А видишь ли ты, гдѣ боярскія красна? — спросила сѣнная дѣвушка.

— Вижу, — отвѣчала Григорьевна: — они въ овинѣ, на гумнѣ у Ѳедьки Хомяка.

— Такъ это онъ?—вскричалъ прикащикъ.—Тѣмъ лучше! Я ужъ давно до него добираюсь. Терпѣть не могу этого буяна: сущій разбойникъ, и передъ моимъ писаремъ шапки не ломаетъ!... Эй, ребята, сбѣгай кто-нибудь на гумно къ Хомяку!

Одинъ изъ дружекъ вышелъ поспѣшно изъ избы.

— Ну, Григорьевна, я не ожидалъ отъ тебя такой прыти,—сказалъ Кудимычъ:—хоть бы мнѣ, такъ въ пору! Точно, точно, — прибавилъ онъ, посмотрѣвъ на ковшъ съ водою, — красна укралъ Ѳедька Хомякъ, и они теперь у него запрятаны въ овинѣ.

— Вы лжете оба! — закричалъ громовымъ голосомъ Кирша. Кудимычъ вздрогнулъ, Григорьевна поблѣднѣла, и всѣ взоры обратились на запорожца. — Я васъ выучу колдовать, негодные!— продолжалъ Кирша.— Вы говорите, что красна въ овинѣ у Ѳедьки Хомяка?

— Ну, да, — сказалъ Кудимычъ, оправясь отъ перваго замѣшательства.—Что ты, лучше моего что ль это знаешь?

— Видно лучше: ихъ тамъ нѣтъ!

— Какъ нѣтъ?—вскричала Григорьевна.

— Да, голубушка!—отвѣчалъ спокойно Кирша.— Не за свое ремесло ты принялась, да и за выучку больно дешево платишь. Нѣтъ, тетка, однимъ штофомъ наливки и пирогомъ не отдѣлаешься!

Отъ этихъ неожиданныхъ словъ Кудимычъ и Григорьевна едва усидѣли на лавкѣ; ихъ страхъ удвоился, когда вошедшій дружка объявилъ, что не нашелъ красенъ въ показанномъ мѣстѣ.

— Да гдѣ жъ они? — спросила торопливо сѣнная дѣвушка.

— Небойсь, найдутся!—сказалъ Кирша.—Пошлите кого-нибудь разрыть снѣгъ на задахъ, подлѣ самой часовни.

Нѣсколько гостей, не ожидая приказанія, побѣжали вонъ изъ избы.

— Послушай, господинъ прикащикъ, — продолжалъ Кирша:—не грѣши на Ѳедьку Хомяка, онъ ни въ чемъ не виноватъ. Не правда ли, Кудимычъ?.... Ну, что ты молчишь: ты знаешь, что не онъ укралъ красна?

Несчастный колдунъ сидѣлъ неподвижно, какъ истуканъ, поглядывалъ съ ужасомъ на Киршу и не могъ выговорить ни слова.

— Эге, братъ, такъ ты вздумалъ отмалчиваться! — закричалъ запорожецъ. — Да вотъ постой, любезный, я тебѣ язычекъ развяжу! Подайте ка мнѣ рѣшето, да кочанъ капусты: у меня и самъ воръ заговоритъ!

Кудимычъ затрясся какъ осиновый листъ.

— Помилуй!—прошепталъ онъ трепещущимъ голосомъ.— Твой верхъ—покоряюсь!

— Что, братъ, жутко пришло!

— Не губи меня, окаяннаго!

— А ты развѣ не хотѣль погубить Ѳедьку Хомяка? Нѣтъ, нѣтъ, давайте рѣшето!

— Пусти душу на покаяніе! — продолжалъ Кудимычъ,

повалясь въ ноги запорожцу. — Не зарѣжь безъ ножа! Да кланяйся, дура!—шепнулъ онъ Григорьевнѣ, которая также упала на колѣни передъ Киршею.

— И слушать не хочу! — отвѣчалъ запорожецъ.—Нѣтъ вамъ милости, негодные! Ну что жъ стали? Подавайте кочанъ капусты!

— Помилуй! — завопилъ Кудимычъ.— Зарокъ тебѣ даю, родимый: вѣкъ не стану колдовать!

— Полно, не будешь ли?

— Видитъ Богъ, не буду!

— И другихъ не станешь учить?

— Не стану, батюшка!

— Ну, такъ и быть, пусть на свадьбѣ никто не горюетъ: Богъ тебя проститъ, только впередъ не за свое дѣло не берись и знай, хоть меня здѣсь и не будетъ, а если я провѣдаю, что ты опять ворожишь, то у тебя тотъ же часъ языкъ отымется.

Въ продолженіе этой странной сцены, удивленіе присутствующихъ дошло до высочайшей степени: они видѣли ужасъ Кудимыча, но никто не понималъ настоящей его причины.

— Что это значитъ? — спросилъ наконецъ дьякъ прикащика.

— Какъ что? Развѣ не видишь, что дока на доку нашелъ.

— Вотъ что! Ну, Ѳома Кондратьичъ, мудренъ этотъ прохожій! Смотри ка, смотри: вонъ и холстъ несутъ!

Сѣнная дѣвушка съ радостнымъ крикомъ схватила холстъ, который внесли въ избу.

— Слава тебѣ, Господи! — сказала она, осмотрѣвъ всѣ куски. — Цѣлехонекъ!... Побѣгу къ Власьевнѣ и обрадую ее; а то мы не знали, какъ и доложить объ этомъ боярину.

— Чего же вы дожидаетесь? — спросилъ Кирша Кудимыча и Григорьевну. — Я васъ простилъ, такъ убирайтесь вонъ! Что бъ и духу вашего здѣсь не пахло!

Пристыженный колдунъ, не отвѣчая ни слова, вышелъ вонъ изъ избы; но Григорьевна, наклонясь къ Киршѣ, сказала въ полголоса:

— Не погнѣвайся, отецъ мой: я вижу, Кудимычъ плохой знахарь; вотъ еслибъ твоя милость взялъ меня на выучку...

— Молчи, старая дура! — закричалъ Кирша. — Пошла

вонъ! А не то у меня опять полетишь съ палатей, да только солому то я велю прибрать!

Григорьевна, не смѣя продолжать разговора съ грознымъ незнакомцемъ, отвѣсила низкій поклонъ всей компаніи и побрела вслѣдъ за Кудимычемъ...

— А позволь спросить твою милость, имени и отчества не знаю,—сказалъ прикащикъ запорожцу: – откуда изволишь идти и куда?

— Издалека, добрый человѣкъ; а иду туда, куда Богъ приведетъ.

— По всему видно, что ты путемъ пошатался на бѣломъ свѣтѣ.

— Да, и такъ пошатался, что пора бы на покой.

— А что, господинъ честной, вѣрно ты за моремъ набрался такой премудрости?

— Бывалъ и за моремъ; всего натерпѣлся, и у басурмановъ былъ въ полону.

— Ой ли! Гдѣ жъ это? Чай, далеко отсюда?

— Далеконько, за Хвалынскимъ моремъ.

— Что это за Казанью что-ль?

— Нѣтъ, подалѣе: за Астраханью.

— Что, ваша милость, какова тамъ земля? Неужли то Господь Богъ также благодать свою посылаетъ и на этотъ поганый народъ, какъ и на насъ православныхъ?

— Видно, что такъ. Знатная земля; всего довольно: и серебра, и золота, и самоцвѣтныхъ камней, и всякаго съѣстного! Зимой только Богъ ихъ обидѣлъ.

— Какъ такъ? Да неужели у нихъ вовсе зимы нѣтъ?

— Ни снѣгу нейдетъ, ни вода не мерзнетъ.

— Ахъ, батюшки-свѣты!—вскричалъ прикащикъ, всплеснувъ руками. – Экая диковинка. Вовсе нѣтъ зимы! Подлинно Божье наказанье! Да подѣломъ имъ, басурманамъ!

— Эхъ, Ѳома Кондратьичъ!—шепнулъ дьякъ прикащику. Да развѣ не видишь, что онъ издѣвается надъ нами!

— Поразскажи ка намъ, добрый человѣкъ,—сказалъ одинъ изъ гостей,—что тамъ еще диковиннаго есть?

— Пожалуй; да вотъ, еслибъ здѣсь нашлась чарка-другая романеи, такъ веселѣй бы разсказывать.

— Для дорогаго гостя какъ не найдти,— сказалъ прикащикъ.— Эй, Марѳа, вынь-ка тамъ изъ поставца, съ верхней полки, стклянку съ романеею! Да, смотри,—приба-

вилъ онъ потихоньку,—подай ту, что стоитъ направо: она ужъ почата.

Романею подали; гости придвинулись поближе къ запорожцу, который, выпивъ за здоровье молодыхъ, принялся разсказывать всякую всячину: о басурманской вѣрѣ персіянъ, объ Араратской горѣ, о степяхъ непроходимыхъ, о золотомъ пескѣ, о медовыхъ рѣкахъ, о слонахъ и верблюдахъ; мѣшалъ правду съ небылицами, и до того занялъ хозяина и гостей своими разсказами, что никто не замѣтилъ вошедшаго слугу, который, переговоря съ работницею Маѳою, подошелъ къ Киршѣ и, поклонясь ему, ласково объявилъ, что его требуютъ на боярскій дворъ.

IX.

Мы попросимъ теперь читателей послѣдовать за нами во внутренность терема боярской дочери, Анастасьи Тимоѳеевны. Занимаемая ею половина состояла изъ двухъ просторныхъ комнатъ. Вокругъ ничѣмъ не обитыхъ стѣнъ первой, на широкихъ лавкахъ, сидѣли за пряжею дворовыя дѣвушки; глубокая тишина, наблюдаемая въ этомъ покоѣ, прерывалась только изрѣдка шепотомъ двухъ сосѣдокъ, или стукомъ веретена, падающаго на полъ. Вторая комната была вся обита краснымъ сукномъ; въ правомъ углу стоялъ раззолоченный кивотъ съ иконами, въ богатыхъ серебряныхъ окладахъ; нѣсколько огромныхъ, обитыхъ жестью сундуковъ, съ приданымъ и нарядами боярышни, занимали всю лѣвую сторону покоя; въ одномъ простѣнкѣ висѣло четыреугольное зеркало въ узорчатыхъ рамкахъ, и шитое золотомъ и шелками полотенце. Прямо противъ дверей стояла высокая кровать съ штофнымъ пологомъ; кругомъ ея, на небольшихъ скамейкахъ, сидѣли Власьевна и нѣсколько ближнихъ сѣнныхъ дѣвушекъ; однѣ перенизывали дорогія монисты *) изъ крупныхъ бурмитскихъ зеренъ, другія разноцвѣтными шелками и золотомъ вышивали въ пяльцахъ. На ихъ румяныхъ лицахъ цвѣла молодость, красота и здоровье; но веселость не оживляла ясныхъ очей ихъ. Утирая украдкою слезы, онѣ печально посматривали на молодую госпожу свою, которая, облокотясь правою рукою на изголовье, была погру-

*) Ожерелья.

жена въ глубокую задумчивость. Краса садовъ, пышная роза, и увядая, прекраснѣе свѣжихъ полевыхъ цвѣтовъ: такъ точно, не смотря на изнурительную болѣзнь, дочь боярская казалась прекраснѣе всѣхъ ее окружающихъ дѣвицъ. Изрѣдка грустная улыбка, напоминающая прелесное сравненіе одного рускаго стихотворца:

Улыбка горести подобна
На гробъ положеннымъ цвѣтамъ...

появлялась на розовыхъ устахъ ея. Восточный жемчугъ, которымъ украшены были ея блестящія зарукавья, и бѣлое, какъ снѣгъ, покрывало не превосходили бѣлизною ея блѣднаго лица, на которомъ ясно изображались слѣды безпрерывныхъ душевныхъ страданій. Казалось, въ ея потухшихъ неподвижныхъ взорахъ можно было сосчитать всѣ ночи, проведенныя безъ сна въ терзаніяхъ мучительной тоски, понятной только для тѣхъ, которые, подобно ей, страдали, не раздѣляя ни съ кѣмъ своей горести. Богатый парчевый опашень*), небрежно накинутый сверхъ легкой объяринной ферязи**); широкая золотая лента съ жемчужной подвязью, большія изумрудныя серьги, драгоцѣнныя зарукавья, однимъ словомъ, весь пышный нарядъ ея представлялъ разительную противоположность съ видомъ глубокаго унынія, которое изображалось во всѣхъ чертахъ лица ея.

— Ну, что жъ ты молчишь, Терентьичъ? — сказала Власьевна, оборотясь къ дверямъ, подлѣ которыхъ стоялъ слѣпой старикъ въ поношенномъ синемъ кафтанѣ.—Видишь, боярышня призадумалась: начни другую сказку, да, смотри повеселѣе.

— Слушаю, матушка Аграфена Власьевна,— отвѣчалъ слѣпой съ низкимъ поклономъ.— Да кажись, и та, что я разсказывалъ...

— И полно, батюшка, что въ ней хорошаго! «Царевна полюбила добраго молодца, злые люди ихъ разлучили... А тамъ змѣй Горынычъ унесъ ее за тридевять земель въ тридесятое государство, и она, бѣдная сиротинка, безъ милаго

---

*) Женское верхнее платье, съ длинными висячими до земли рукавами и большимъ капишономъ.

**) Женская ферязь — платье, почти одинаковаго покроя съ нынѣшними сарафанами.

дружка и безъ кровныхъ, зачахла съ тоски-кручины...» Ну, что тутъ веселаго?

— Изъ сказки слова не выкинешь, матушка Аграфена Власьевна.

— Вотъ то-то и есть: разскажи другую.

— Въ угоду ли вамъ будетъ повѣсть о славномъ князѣ Владимірѣ, Кіевскомъ Солнышкѣ, Святославовичѣ, и о сильномъ его могучемъ богатырѣ, Добрынѣ Никитичѣ?

— Ну, ну, разсказывай! Мы послушаемъ.

Слѣпой разскащикъ разгладилъ с ою бороду, выправилъ усы и началъ:

— Ни вихри, не вѣтры въ поляхъ подымаются, не буйные крутятъ пыль черную; выѣзжаетъ то сильный могучій богатырь, Добрыня Никитичъ, на своемъ конѣ богатырскомъ, съ однимъ Торопомъ слугой; на немъ доспѣхи ратные, какъ солнышко, горятъ; на серебряной цѣпи виситъ мечъ-кладенецъ въ полтораста пудъ; во правой рукѣ копье булатное, на конѣ сбруя красна золота. Онъ подъѣзжаетъ ко святому граду Кіеву... Глядитъ: въ заповѣдныхъ лугахъ княженетскихъ раскинуты шатры басурманскіе, несмѣтно войско облегаетъ стѣны кіевскія. Завидя силу поганую, могучій Добрыня вскрикиваетъ богатырскимъ голосомъ, засвистываетъ молодецкимъ посвистомъ. Отъ того ли посвисту сыръ боръ преклоняется и листъ съ деревьевъ осыпается; онъ бьетъ коня по крутымъ ребрамъ; богатырскій конь разъяряется, мечетъ изъ-подъ копытъ по сѣнной копнѣ; бѣжитъ въ поля, земля дрожитъ, изо рта пламя пышетъ, изъ ноздрей дымъ столбомъ. Богатырь гонитъ силу поганую: гдѣ конемъ вернетъ, тамъ улица, гдѣ копьемъ махнетъ—съ переулками, гдѣ мечемъ рубнетъ—нѣту тысячи.

— Довольно; будетъ, Терентьичъ,—прервала тихимъ голосомъ прекрасная Анастасья.—Ты ужъ усталъ. Мамушка, вели дать ему чарку водки.

— Да выслушай, родная,—сказала Власьевна:—можетъ статься, онъ и поразвеселитъ тебя.

— Нѣтъ, мамушка, меня ничто не развеселитъ.

— Ну, власть твоя, сударыня! Ступай, Терентьичъ. Эй, вы, красныя дѣвицы, сведите его внизъ: вѣдь онъ, пожалуй, со слѣпу то расшибется. Ну, матушка Анастасья Тимоѳеевна, продолжала она, ужъ я право, и не придумаю, что съ тобою дѣлать. Не позвать ли Аѳоньку дурака?

— Ахъ, нѣтъ, не надобно!

— Семъ кликнемъ, родная! Да позовемъ дуру Матрешку; они поболтаютъ, побранятся межъ собой; а что бъ распотѣшить тебя, такъ пожалуй, подерутся, матушка.

— Зачѣмъ ты меня сегодня нарядила, мамушка? — сказала со вздохомъ Анастастья.—Мнѣ и безъ нарядовъ такъ тяжело... такъ тошно!..

— И, свѣтикъ мой! Да какъ же тебѣ сегодня не быть нарядною? Авось Богъ поможетъ намъ внизъ сойдти. Вѣдь у батюшки твоего сегодня пиръ горой: какой-то большой польскій панъ будетъ.

— Какой панъ?... Откуда?—вскричала Анастасья.

— Чего жъ ты испугалась, родимая? Ну, такъ и есть! Ты вѣрно подумала?... Вотъ то-то и бѣда! Панъ, да не тотъ.

— Слава Богу!

— Охъ, вы дѣвушки, дѣвушки! Всѣ то вы на одну стать! Не онъ, такъ слава Богу; а еслибъ онъ, такъ и нарядовъ бы у насъ недостало! Нѣтъ, матушка, сегодня будетъ какой то панъ Тишкевичъ; а отъ жениха твоего, пана Гонсѣвскаго, присланъ изъ Москвы гонецъ. Ужъ не сюда ли онъ сбирается, чтобъ обвѣнчаться съ тобою? Нечего сказать: пора бы честнымъ пиркомъ да за свадебку... Что ты, что ты, родная? Христосъ съ тобой! Что съ тобой сдѣлалось? На тебѣ вовсе лица нѣтъ!

— Ничего, мамушка, пройдетъ.... Все пройдетъ!...—прошептала Анастасья едва слышнымъ голосомъ.—Только Бога ради, не говори мнѣ о панѣ Гонсѣвскомъ!...

— Не говорить о твоемъ суженомъ? Охъ, дитятко, не хорошо! Я ужъ давно замѣчаю, что ты этого не жалуешь... Неужли то въ самомъ дѣлѣ?... Да, нѣтъ! Гдѣ слыхано идти противъ отцовой воли; да и дѣвичье ли дѣло браковать жениховъ! Нѣтъ, родимая, у насъ, благодаря Бога, не такъ какъ за моремъ: невѣсты сами жениховъ не выбираютъ: за кого благословятъ родители, за того и ступай. Поживешь, боярышня, замужемъ, такъ самоіі слюбится.

— Нѣтъ, мамушка, не жилица я на этомъ свѣтѣ!

— И, полно, матушка! Теперь то тебѣ и пожить! Женихъ твой знатнаго рода, въ славѣ и чести... Не нашеіі вѣры—такъ что жъ? Прежніі патріархъ Гермогенъ не хотѣлъ васъ благословить; но за то теперешніі, святѣйшіі

Игнатій и грамоту написалъ къ твоему батюшкѣ, что онъ разрѣшаетъ тебѣ идти съ нимъ подъ вѣнецъ. Такъ о чемъ же тебѣ грустить?

— А развѣ ты знаешь, что онъ пришелъ мнѣ по сердцу, что я люблю его?

— И, что ты, родимая! Какъ не любить! Мало ли онъ дарилъ тебя и жемчугомъ, и золотомъ, и дорогими парчами и меня старуху вспомнилъ. Легко ль, подумаешь: отсыпалъ мнѣ, голубчикъ, пятьдесятъ золотыхъ корабленниковъ [5]), да на три тѣлогрѣи заморскаго штофа подарилъ. И этакой суженый тебѣ не любъ? Эхъ матушка, Анастасья Тимофеевна, не гнѣви Господа Бога! И что въ немъ охаить можно? Собою молодецъ: такой дородный, осанистый! Ну, право, сродясь лучше не видала; развѣ только... и то наврядъ,—вотъ тотъ молодой баринъ, что къ Спасу на Бору къ обѣднѣ ходилъ... Помнишь?... Такой еще богомольный; всегда, бывало, придетъ прежде насъ и станетъ у лѣваго клироса... Что, боярышня, повеселѣй стала? То-то-же, слушайся насъ старухъ! Самой будетъ радостно, какъ на твоего муженька станутъ всѣ засматриваться... Ну, вотъ, опять нахмурилась! О, охъ, родимая! Обошелъ тебя дурной человѣкъ!... Да вотъ посмотримъ, что то Богъ дастъ сегодня!

— Анюта, — сказала Анастасья одной молодой и прекрасной дѣвушкѣ, которая ближе всѣхъ къ ней сидѣла,— спой эту пѣсню... ты знаешь... ту, что я такъ люблю.

Анюта, не переставая вышивать въ пяльцахъ, запѣла тихимъ, но весьма пріятнымъ голосомъ:

«Не сиди, мой другъ, поздно вечеромъ,
Ты не жги свѣчи воску яраго,
Ты не жди меня до полуночи!

Ахъ прошли, прошли
Наши красны дни;
Наши радости
Буйный вѣтръ унесъ!
Мнѣ отецъ родной
И родная мать
Подъ вѣнецъ идти
Не съ тобой велятъ.
Не горятъ въ небесахъ
Но два солнышка,—
Не любить двухъ разовъ
Добру молодцу!...
Я послушаюсь
Отца, матери:
Подъ вѣнецъ пойду

Не съ тобой, душа...
Обвѣнчаюся
Я съ иной женой;
Я съ иной женой —
Съ смертью раннею!...
Не ручей журчитъ,
Не рѣка шумитъ:
Льются слезы
Красной дѣвицы;
Во слезахъ она
Слово молвила:
Ахъ ты, милый мой!
Ты сердечный другъ!
Не жилица я
На бѣломъ свѣту!...
Нѣтъ у горлинки
Двухъ голубчиковъ, —
Нѣтъ у дѣвицы
Милыхъ двухъ дружковъ!...

Не сидитъ она поздно вечеромъ,
А горитъ свѣча воску яраго;
На столѣ стоитъ новъ тесовый гробъ,
Во гробу лежитъ красна дѣвица».

— Перестань, Аннушка,—сказала Власьевна.—Ты и на здороваго человѣка тоску нагонишь. Что это, прости Господи, словно панихиду поешь!

Тутъ вошла одна пожилая женщина и шепнула ей что-то на ухо.

— Хорошо, хорошо!—отвѣчала Власьевна.— Скажи ему, что бъ онъ подождалъ. Анастасья Тимоѳеевна,—продолжала она, — знаешь ли что, матушка?.. У насъ на селѣ теперь есть прохожій, про котораго и нивѣсть что разсказываютъ. Ужъ Кудимычъ ли нашъ не мудрецъ, да и тотъ передъ нимъ язычекъ прикусилъ. Позволь ему, сударыня, словечка два съ тобой перемолвить... Да полно же, родная, головкою мотать! Прикажи ему войдти.

— Зачѣмъ, мамушка? На что?

— А на то, моя радость, что если онъ подлинно человѣкъ досужій, то и твоей болѣзни поможетъ.

— Моей болѣзни... Нѣтъ, мамушка... мнѣ поможетъ одна смерть!

— И, полно, боярышня! Спозаранковъ умирать собираешься! Ну что, родная, не кликнуть ли его?

— Не надобно.

— Послушай, Анастасья Тимоѳеевна: вѣдь государь твой батюшка изволилъ приказать,—такъ власть твоя, сударыня, ослушаться не смѣю.

— О, если батюшкѣ угодно, такъ позови.

Двери отворились, и нашъ знакомецъ Кирша вошелъ въ комнату. Поклонясь на всѣ четыре стороны, онъ остановился у порога.

— Милости просимъ! — сказала Власьевна.— Въ добрый часъ! Милости просимъ!.. Вотъ наша больная...

— Вижу, бабушка,—отвѣчалъ Кирша, бросивъ быстрый взглядъ на Анастасью.—Вижу... Гмъ, гмъ.

— Ну, что ты скажешь, отецъ мой?

— Что я скажу?.. Гмъ, гмъ!

— Ахти! Что это, батюшка, ты мычать изволишь? Ужъ къ добру ли?

— А вотъ, посмотримъ. Мнѣ надобно съ вашей боярышней словца два перемолвить, да такъ, чтобъ никто не слыхалъ.

— Какъ? Чтобъ никто не слыхалъ?

— Да, да: ворожбѣ такъ надобно. Станьте-ка всѣ поодаль.

— Нельзя ли хоть мнѣ?..

— Нѣтъ, бабушка, никому.

— Ну, ну, быть по твоему. Вставайте, дѣвушки, отойдемте къ дверямъ.

Кирша подошелъ къ Анастасьѣ и попросилъ ее показать ему правую руку. Нехотя и съ примѣтнымъ отвращеніемъ она исполнила его желаніе. Кирша, посмотрѣвъ пристально на ладонь, сказалъ въ полголоса:

— Анастасья Тимоѳеевна, я долженъ объявить правду: тебя сглазили.

Больная взглянула съ презрѣніемъ на запорожца и отворотилась.

— Да, да, боярышня,—повторилъ важно Кирша.—Тебя точно сглазили голубые глаза одного русоволосаго молодца. Болѣзнь твоя вотъ тутъ—въ сердцѣ.

Блѣдныя щеки больной вспыхнули; она взглянула недовѣрчиво на Киршу, хотѣла что-то сказать, но слова замерли на устахъ ея.

— Ты нынѣшней зимой,—продолжалъ запорожецъ,—въ первый разъ встрѣтилась съ нимъ въ Москвѣ.

Анастасья вздрогнула, кинула робкій взглядъ вокругъ себя и устремила удивленные взоры на Киршу, который послѣ минутнаго молчанія, прибавилъ весьма тихо:

— Ты видала его почти каждый день въ соборной церкви... кажется... точно такъ: у Спаса на Бору.

Больная, отдернувъ торопливо свою руку, вскрикнула отъ ужаса.

— Что ты, Анастасья Тимоѳеевна?—спросила Власьевна, подбѣжавъ къ кровати.—Что съ тобою.

— Ничего, — отвѣчала Анастасья. — Отойди, мамушка, отойди!

— Если ты еще хоть разъ подойдешь, старуха, то испортишь все дѣло, — сказалъ сердито Кирша. — Стой, вонъ тамъ, да гляди издали! Пожалуй-ка мнѣ опять свою ручку, боярышня, — продолжалъ онъ, когда Власьевна отошла прочь.—Вотъ такъ... Гмъ, гмъ! Ну, Анастасья Тимоѳеевна, тебѣ жаловаться нечего: если онъ тебя сглазилъ, то и ты его испортила,—ты крушишься о немъ, а онъ тоскуетъ по тебѣ.

— Смотрите-ка, смотрите!— шепнула Власьевна дѣвушкамъ. — Что это съ боярышней дѣлается? Лицо какъ жаръ горитъ! Ни дать, ни взять, какъ бывало прежде... Слава тебѣ, Господи!

— Постой ка, боярышня,—продолжалъ послѣ небольшой остановки запорожецъ. — Да у тебя еще другая кручина, какъ туманъ осенній, на сердцѣ лежитъ... Я вижу, тебя хотятъ выдать замужъ... за одного большого польскаго пана... Не горюй, Анастасья Тимоѳеевна: этой свадьбѣ не бывать! Я скажу словца два твоему батюшкѣ, такъ онъ не повезетъ тебя въ Москву; а твой женихъ сюда не пріѣдетъ: ему скоро будетъ не до этого.

— Ахъ, дай-то Богъ! — вскричала Анастасья, сложивъ набожно свои руки.

— Да, да, боярышня. Нынче времена шаткія: кто сегодня вверху, тотъ завтра внизу.

— Глядите ка,—сказала Анюта,—Анастасья Тимоѳеевна плачетъ, а лицо такое веселое. Что за диво!

— Нишни, Анюта, не мѣшай! — шепнула Власьевна, стараясь вслушаться въ разговоръ, который, по-видимому, становился часъ-отъ-часу занимательнѣе.

— Однакожъ, боярышня, — продолжалъ запорожецъ, — ты до тѣхъ поръ совсѣмъ не оправишься, пока не увидишь опять того, кто тебя сглазилъ, и не обойдешь вмѣстѣ съ нимъ вокругъ церковнаго налоя.

— Съ нимъ!.. — повторила Анастасья трепещущимъ голосомъ.

— Да, да, съ нимъ! И я вижу, — прибавилъ Кирша, — что это рано, или поздно, а будетъ.

Больная не могла выговорить ни слова: внезапная радость оковала уста ея; въ нѣмомъ восторгѣ она устремила къ небесамъ свои взоры. Но вдругъ на лицѣ ея изобразилось глубокое уныніе, глаза померкли и прежняя, безжизненная блѣдность покрыла снова ея увядшія ланиты.

— Нѣтъ, — сказала она, отталкивая руку запорожца, — нѣтъ!.. Покойная мать моя завѣщала мнѣ возлагать всю надежду на Господа, а ты — колдунъ; языкомъ твоимъ говоритъ врагъ Божій, врагъ истины. Отойди, оставь меня, соблазнитель, — я не вѣрю тебѣ! А еслибъ и вѣрила, то что мнѣ въ этой радости, за которую не могу и не должна благодарить Спасителя и Матерь его, Пресвятую Богородицу!

— О, если такъ, боярышня, — сказалъ Кирша, — такъ знай же: я не колдунъ, и ты безъ грѣха можешь вѣрить словамъ моимъ!

— Ты не колдунъ?.. Но кто же ты?

— Для другихъ пока останусь колдуномъ: безъ этого я не могъ бы говорить съ тобою; но, вотъ тебѣ Господь Богъ порукою и пусть меня, какъ труса, выгонятъ изъ Незамановскаго куреня, или, какъ убійцу своего брата, казака, живого зароютъ въ землю [6]),—если я не такой же православный, какъ и ты.

— Но какимъ чудомъ ты могъ отгадать то, что знала я одна, и вѣдалъ одинъ Господь?

— Долго разсказывать, боярышня... Да повѣрь ужь моей совѣсти: право я не колдунъ; а все таки знаю, что Юрій Дмитричъ Милославскій тебя любитъ; что, можетъ статься, вы скоро увидите другъ друга... Молись Богу и надѣйся! А что ты не будешь за паномъ Гонсѣвскимъ, за это тебѣ ручается Кирша, запорожецъ, который знаетъ навѣрное, что его милости и всѣмъ этимъ иновѣрцамъ скоро придетъ такъ жутко въ Москвѣ, какъ злому кошевому атаману на радѣ *), когда начнутъ его уличать въ неправдѣ. Гдѣ ему о свадьбѣ думать! О своей головѣ призадумается!.. Ну, что, боярышня, полегче ли тебѣ?

— Ахъ... да!—отвѣчала Анастасья, приложивъ къ сердцу свою руку.

— Теперь вы можете всѣ подойти,— сказалъ Кирша, оборотясь къ дверямъ.

---

*) Такъ назывались общія собранія запорожскихъ казаковъ.

— Ну, что, дитятко мое?...—спросила торопливо Власьевна, подбѣжавъ къ больной.

— Ахъ, мамушка, мамушка!—отвѣчала всхлипывая Анастасья.—Боже мой!... Мнѣ такъ легко... такъ весело!.. Поздравь меня, родная!...—продолжала она, кинувшись къ ней на шею.—Анюта... вы всѣ... подите ко мнѣ... дайте расцѣловать себя!... Боже мой!... Боже мой! Не сонъ ли это?.. Нѣтъ, нѣтъ... я чувствую... мое сердце... Ахъ, я дышу свободно!...

Слезы градомъ катились изъ прелестныхъ очей ея, устремленныхъ на святыя иконы.

— Подите, подите,—сказала она наконецъ тихимъ голосомъ.—Я хочу остаться одна... мнѣ надобно... я должна... Ступайте, милыя, оставьте меня одну!

Всѣ вышли въ другую комнату.

— Ну, батюшка, тебѣ честь и слава!—сказала Власьевна запорожцу.— На-роду моемъ такого дива не видывала! Съ одного разу какъ рукой снялъ!... Теперь смѣло проси у боярина, чего хочешь.

— Я за многимъ не гонюсь,—отвѣчалъ Кирша,—и если бояринъ пожалуетъ мнѣ добраго коня...

— За трехъ не постоитъ! Да не нужно ли будетъ тебѣ еще поговорить съ Анастасьей Тимоѳеевной?

— Нѣтъ, не надобно. Съ бояриномъ мнѣ нужно словцо перемолвить, а для нея... Постой-ка на часокъ... На вотъ тебѣ...

— Что это, батюшка?... Сухарь!

— Да, да, сухарь. Смотри: семь дней сряду давай своей боярышнѣ пить съ этого сухаря что ей самой вздумается: воды, квасу, меду-ли, все равно.

— Слушаю, батюшка.

— Кружку наливай вровень съ краями и подноси лѣвой рукой.

— Слушаю, батюшка.

— Всю недѣлю сама не пей ничего, кромѣ воды; а о наливкѣ забудь и думать!

— Какъ, отецъ мой, и передъ обѣдомъ?

— И передъ обѣдомъ, и послѣ обѣда. Слышишь ли? Ни капельки!

— Слышу, батюшка, слышу! Вѣдь я еще не оглохла: шесть дней не пить ничего, кромѣ воды.

— Не шесть, а ровно семь бабушка.

— Да, бишь, да! Цѣлую недѣлю .. Дѣлать нечего! Не даромъ говорятъ,—прибавила Власьевна сквозь зубы,—что всѣ эти колдуны съ причудами. Семь дней!... Легко вымолвить!

Тутъ двое слугъ, войдя поспѣшно, растворили дверь настежъ, и бояринъ Кручина вошелъ въ комнату. Всѣ присутствующіе вытянулись въ нитку и отвѣсили молча по низкому поклону; одна Власьевна, забывъ должное къ нему уваженіе, закричала громкимъ голосомъ.

— Милости просимъ, государь Тимоѳей Ѳедоровичъ, милости просимъ!... Что пожалуешь за радостную вѣсточку?

— Что ты, старуха, въ умѣ ли?—сказалъ бояринъ.

— Безъ ума, родимый, безъ ума! Вѣдь боярышня совсѣмъ выздоровѣла.

— Возможно ли?

— Да, батюшка! Изволь самъ на нее взглянуть.

— Бояринъ вошелъ къ своей дочери и, поговоря съ нею нѣсколько минутъ, возвратился назадъ. Радость, удивленіе и вмѣстѣ какая-то недовѣрчивость изображались на лицѣ его; онъ устремилъ проницательный взглядъ на Киршу, который весьма равнодушно, хотя и почтительно, смотрѣлъ на боярина.

— Какъ тебя зовутъ?—спросилъ наконецъ Кручина.

— Киршею,—отвѣчалъ запорожецъ.

— Давно ли ты здѣсь?

— Съ сегодняшняго утра.

— Куда идешь!

— На мою родину, въ Царицынъ.

— Когда ты проходилъ дворомъ, то повстрѣчался съ слугою боярина Милославскаго и говорилъ съ нимъ. Ты его знаешь?

— Вчера мы ночевали вмѣстѣ на постояломъ дворѣ.

— Онъ объявилъ, что ты запорожецъ.

— Да, я запорожскій казакъ; но въ Царицынѣ у меня отецъ и мать.

— Не желаешь ли остаться здѣсь и служить мнѣ?

— Нѣтъ, Тимоѳей Ѳедоровичъ, я хочу пожить дома.

Высокій лобъ боярина покрылся морщинами; онъ взглянулъ угрюмо на запорожца и, помолчавъ нѣсколько времени, продолжалъ:

— Ты облегчилъ болѣзнь моей дочери: чѣмъ могу наградить тебя?

— Я сгубилъ моего коня, боярин; а пѣшкомъ ходить не привыкъ...

— Выбирай любого на моей конюшнѣ. Я не спрашиваю тебя, какъ ты умудрился помочь Анастасьѣ: колдунъ ли ты, или обманщикъ — для меня все равно; но кто будетъ мнѣ порукою, что болѣзнь ея не возвратится? Ты долженъ остаться здѣсь, пока я не увѣрюсь въ совершенномъ ея выздоровленіи.

— Нельзя, бояринъ: а спѣшу домой.

— Вздоръ, ты останешься!

— Нѣтъ, Тимоѳей Ѳедоровичъ, не останусь.

Бояринъ взглянулъ съ удивленіемъ на Киршу. Привыкнувъ къ безусловному повиновенію всѣхъ его окружающихъ, онъ не могъ надивиться дерзости простого казака, который, находясь совершенно въ его власти, осмѣливался ему противорѣчить.

— Посмотримъ,—сказалъ онъ съ призрительною улыбкою,—посмотримъ, удастся ли бродягѣ переупрямить боярина Шалонскаго!

— Власть твоя, Тимоѳей Ѳедоровичъ!—продолжалъ спокойно Кирша. — Ты воленъ насильно меня оставить; но, смотри, чтобъ послѣ не пенять!

Глаза боярина Кручины засверкали, какъ у тигра.

— Молчи, холопъ!—заревѣлъ онъ громкимъ голосомъ.— Ты смѣешь грозить мнѣ!... Знаешь ли ты, бродяга, что я могу всякаго колдуна, какъ бѣшеную собаку, повѣсить на первой осинѣ!

— А развѣ отъ этого тебѣ будетъ легче, — отвѣчалъ Кирша, устремивъ смѣлый взоръ на боярина,—когда единородная дочь твоя зачахнетъ и умретъ прежде, чѣмъ ты назовешь знаменитаго пана Гонсѣвскаго своимъ зятемъ?

Бояринъ поблѣднѣлъ, какъ смерть: онъ пожиралъ глазами запорожца. Нѣсколько минутъ продолжалось глубокое молчаніе, похожее на ту мертвую тишину, которая предшествуетъ ужасному громовому удару. Наконецъ страхъ потерять единственную дочь, а вмѣстѣ съ ней и всѣ надежды на блестящую будущность, побѣдилъ въ немъ желаніе наказать дерзкаго незнакомца. «Тотъ, кто излѣчилъ въ нѣсколько минутъ такимъ чудеснымъ образомъ дочь его, вѣроятно, могъ столь же легко сдѣлать противное». Эта мысль спасла Киршу. Лицо боярина, обезображенное судорожными движеніями гнѣва, доведеннаго до высочай-

шей степени, начало мало-по-малу принимать свой обыкновенный мрачный, но спокойный видъ. Онъ бросилъ грозный взглядъ на всѣхъ предстоящихъ, какъ будто желая напомнить имъ, что дерзость Кирши не должна служить для нихъ примѣромъ; потомъ, взглянувъ довольно ласково на запорожца, сказалъ:

— Ну, голубчикъ, ты не робкаго десятка! Добро, добро! Если ты не хочешь остаться, такъ ступай съ Богомъ! Я не стану тебя держать.

— Такъ-то лучше, бояринъ!—сказалъ Кирша.—Неволею изъ меня ничего не сдѣлаешь; а за твою ласку я скажу тебѣ то, чего силою ты вѣкъ бы изъ меня не выпыталъ. Анастасью Тимоѳеевну испортили въ Москвѣ, и если она прежде шести мѣсяцевъ и шести дней опять туда пріѣдетъ, то съ нею сдѣлается еще хуже, и тогда, прошу не погнѣваться, никто въ цѣломъ свѣтѣ ей не поможетъ.

— Шесть мѣсяцевъ,—вскричалъ бояринъ.—Но въ будущемъ мѣсяцѣ я долженъ непремѣнно ѣхать съ нею въ Москву.

— Не ѣзди, Тимоѳей Ѳедоровичъ!

— Не могу: я далъ слово пану Гонсѣвскому.

— Возьми его назадъ.

— Нѣтъ, я не измѣнялъ никогда моему обѣщанію.

— Ну, воля твоя! Было бы сказано, а тамъ дѣлай, что хочешь.

— Но не знаешь ли ты какого способа?...

— Никакого, бояринъ. Если ты прежде шести мѣсяцевъ и шести дней привезешь боярышню въ Москву, хоть напримѣръ въ понедѣльникъ, — то на той же недѣлѣ въ пятницу будешь ее отпѣвать.

— Ты лжешь, бездѣльникъ!

— А изъ чего мнѣ лгать, бояринъ? Гнѣвить тебя прибыли мало; и что мнѣ до этого, поѣдешь ли ты въ Москву или останешься здѣсь?... Я и знать объ этомъ не буду.

Бояринъ призадумался, а Кирша продолжалъ:

— Я кончилъ свое дѣло, Тимоѳей Ѳедоровичъ; теперь позволь мнѣ идти.

— Андрюшка! — сказалъ Кручина одному изъ слугъ.— Отведи его на село къ прикащику; скажи, чтобы онъ угостилъ его порядкомъ, оставилъ завтра отобѣдать, а потомъ далъ бы ему любого коня изъ моей конюшни и три золотыхъ корабленника. Да крѣпко-на-крѣпко накажи ему,—

прибавилъ бояринъ вполголоса, — чтобъ онъ не спускалъ его со двора и не давалъ никому, а особливо пріѣзжимъ, говорить съ нимъ наединѣ. Этотъ колдунъ мнѣ что-то очень подозрителенъ!

Кирша вышелъ вмѣстѣ со слугою, и почти въ то же время на боярскій дворъ въѣхали верхами человѣкъ пять поляковъ, въ богатыхъ одеждахъ; а за ними столько же польскихъ гусаръ, вооруженіе которыхъ, не смотря на свое великолѣпіе, показалось бы въ наше время довольно чуднымъ маскарадным нарядомъ. Всѣ гусары были въ латахъ и шишакахъ; къ латамъ сзади придѣланы были огромныя крылья; по обѣимъ сторонамъ шишака — точно такія же, но гораздо менѣе, а за плечами, вмѣсто плащей, развѣвались леопардовыя кожи. Каждый гусаръ былъ вооруженъ палашомъ и длиннымъ дротикомъ, украшеннымъ цвѣтнымъ флюгеромъ.

— Вотъ и панъ Тишкевичъ со своими товарищами! — сказалъ бояринъ Кручина, взглянувъ въ окно. — Но кто это ѣдетъ по лѣвую его сторону?... Мнѣ помнится, этой красной рожи я никогда не видывалъ!

Сказавъ эти слова, Шалонскій отправился на встрѣчу къ своимъ гостямъ; а Власьевна и сѣнная дѣвушка вошли опять въ комнату къ своей боярышнѣ.

X.

Дворецкій и нѣсколько слугъ встрѣтили гостей на крыльцѣ; неуклюжій и толстый полякъ, который ѣхалъ возлѣ пана Тишкевича, не доѣзжая до крыльца, спрыгнулъ, или, лучше сказать, свалился съ лошади и успѣлъ прежде всѣхъ помочь регименгарю сойти съ коня. Вѣроятно, каждый изъ читателей нашихъ знаетъ, хотя по слуху, извѣстнаго Санхо-Пансу; но если въ эту минуту услужливый полякъ весьма походилъ на этого знаменитаго конюшаго, то панъ Тишкевичъ ни мало не напоминалъ собою рыцаря Плачевнаго Образа. Онъ былъ средняго роста, плечистъ и сидѣлъ молодцомъ на конѣ. Быстрыя движенія, смѣлый взглядъ, смуглое, откровенное лицо, все доказывало, что панъ Тишкевичъ провелъ большую часть своей жизни въ кругу безстрашныхъ воиновъ, живалъ подъ открытымъ небомъ и также беззаботно ходилъ на смертную драку, какъ

на шумный и веселый пиръ своихъ товарищей. Трое другихъ молодцеватыхъ поляковъ отличались огромными усами и надменнымъ видомъ, совершенно противоположнымъ добродушію, которое изображалось на открытомъ и благородномъ лицѣ ихъ начальника. Бояринъ Кручина встрѣтилъ гостей въ столовой комнатѣ. При видѣ портрета польскаго короля съ извѣстной надписью, поляки взглянули съ гордой улыбкой другъ на друга; панъ Тишкевичъ также улыбнулся; но когда взоры его встрѣтились со взорами хозяина, то что-то, весьма похожее на презрѣніе, изобразилось въ глазахъ его: казалось, онъ съ трудомъ побѣдилъ это чувство и не очень торопился пожать протянутую къ нему руку боянина Кручины. Послѣ первыхъ привѣтствій, Тишкевичъ представилъ хозяину сначала своихъ сослуживцевъ, а потомъ толстаго поляка, который исправлялъ при немъ съ такимъ усердіемъ должность конюшаго.

— Этотъ краснощекій весельчакъ,— сказалъ онъ,—панъ Копычинскій, который и безъ меня былъ бы твоимъ гостемъ, потому что отправленъ къ тебѣ гонцомъ изъ Москвы съ извѣстіемъ, что царикъ *) убитъ.

— Какъ!—вскричалъ Кручина.—Тушинскій воръ?

— Да! Его убили въ Калугѣ, куда онъ всякій разъ прятался, какъ медвѣдь въ свою берлогу.

— Насилу-то калужане за умъ взялись!

— Не калужане, бояринъ,—сказалъ съ важнымъ видомъ Копычинскій: — спроси меня, я это дѣло знаю: его убилъ перекрещеный татаринъ, Петръ Урусовъ; а калужскіе граждане, отомщая за него, перерѣзали всѣхъ татаръ и провозгласили новорожденнаго его сына, подъ именемъ Іоанна Дмитріевича, Царемъ Русскимъ.

— Безумные! — вскричалъ бояринъ. — Да неужели для нихъ честнѣе служить внуку Сандомирскаго воеводы, чѣмъ державному королю польскому?... Я увѣренъ, что панъ Гонсѣвскій безъ труда усмиритъ этихъ крамольниковъ; теперь Сапѣга и Лисовскій не станутъ имъ помогать... Но, милости просимъ, дорогіе гости! Не угодно ли выпить и закусить чего-нибудь?

Бояринъ ввелъ своихъ гостей въ другую комнату, въ которой большой круглый столъ уставленъ былъ блюдами

---

*) Такъ называли поляки второго самозванца.

съ холоднымъ кушаньемъ и различными водками. Когда гости закусили, разговоръ снова возобновился.

— Знаешь ли бояринъ, — сказалъ панъ Тишкевичъ, обтирая свои усы, — что сегодня по-утру мы охотились въ твоихъ дачахъ?

— Милости просимъ! — отвѣчалъ бояринъ. — Забавляйтесь, сколько душѣ вашей угодно.

— И чуть-чуть,— продолжалъ Тишкевичъ,— не заполевали краснаго звѣря.

— Такъ вамъ не удалось?

— Вотъ то-то и досадно! А такіе звѣрки не часто попадаются.

— Такъ что жъ, панъ: если хочешь, завтра мы поохотимся вмѣстѣ, и я ручаюсь тебѣ ..

— Не ручайся, бояринъ: теперь этотъ звѣрь далеко. Мы ловили сегодня одного молодца, который пробирается съ казною въ Нижній-Новгородъ.

— Въ Нижній?...—вскричалъ Кручина.

— Да, въ Нижній,—повторилъ Тишкевичъ.—Вотъ панъ Копычинскій лучше это разскажетъ: онъ совсѣмъ-было подтенетилъ его.

— Да,—сказалъ Копычинскій, вытянувъ чарку водки.— Онъ у меня сквозь пальцевъ проскользнулъ. Я засталъ его съ двумя провожатыми на постояломъ дворѣ, верстахъ въ десяти отсюда; съ перваго взгляда онъ показался мнѣ подозрительнымъ; вотъ я и принялся допрашивать его порядкомъ; онъ забормоталъ, сбился въ рѣчахъ и занесъ такую околесную, что я тотъ же часъ его и за воротъ. Мой парень сначала было расхрабрился, заговорилъ и то и се: да я не кто другой! Прижалъ его къ стѣнѣ, приставилъ къ рожѣ пистолетъ, крикнулъ... Трусишка испугался и покаялся мнѣ во всемъ.

— Да какъ же ты ихъ упустилъ?—спросилъ съ нетерпѣніемъ бояринъ.

— А вотъ какъ: я велѣлъ ихъ запереть въ холодную избу, поставилъ караулъ, а самъ легъ соснуть; казаки мои, — нехъ ихъ вписци дьябли везмо, — также вздремнули: такъ, видно, они вылѣзли въ окно, сѣли на своихъ коней, да и до лѣсу... Что жъ ты, бояринъ, качаешь головою?—продолжалъ Копычинскій, ни мало не смущаясь. —Иль не вѣришь? Дали букъ, такъ! Спроси хоть пана регимента.

— На меня не ссылайся, панъ,—сказалъ Тишкевичъ:— я столько же знаю объ этомъ, какъ и бояринъ; такъ въ свидѣтели не гожусь; а только, мнѣ помнится, ты разсказывалъ, что заперъ ихъ не въ избу, а въ сѣни.

— Ну, да, не все ли это равно! — прервалъ Копычинскій.—Дѣло въ томъ, что они ушли, а откуда: изъ сѣней, или изъ избы,—отъ этого намъ не легче. Какъ ты прибылъ съ своимъ регементомъ, то они не могли быть еще далеко, и не моя вина, если твои молодцы ихъ не изловили.

— У одного изъ нихъ убили коня,—сказалъ Тишкевичъ:— но за то и у меня лучшій налетъ въ регементѣ лежитъ теперь съ прострѣленнымъ плечомъ.

— Вылѣзли въ окно... и съ оружіемъ!—прошепталъ бояринъ.—А не не въ вримѣту ли тебѣ, каковы они собою?

— Одинъ изъ провожатыхъ—малый дородный, плотный...

— И также вилѣзъ въ окно?...

— У страха очи велики, бояринъ: и въ щелку пролѣзешь, какъ смерть на носу! Другой похожъ на казака; а самый то главный—дѣтина молодой, русоволосый, высокаго роста, лицомъ бѣлъ... или, можетъ статься, такъ мнѣ показалось: онъ больно струсилъ и поблѣднѣлъ, какъ смерть, когда я припугнулъ его пистолетомъ; одѣтъ очень чисто, въ малиновомъ суконномъ кафтанѣ...

— Однимъс ловомъ,—прервалъ бояринъ,— точь-въ-точь, какъ этотъ молодецъ, что стоитъ позади тебя.

Копычинскій обернулся и, отпрыгнувъ назадъ, закричалъ съ ужасомъ:

— Вотъ онъ!... Держите, схватите его!.. У него за пазухою пистолетъ!

— Неправда, панъ,—сказалъ съ улыбкою Юрій.— Теперь со мною нѣтъ пистолета: я чужимъ добромъ никого не угощаю.

— Что все это значитъ?—спросилъ панъ Тишкевичъ.— Растолкуйте мнѣ...

— Прежде всего прошу познакомиться,— сказалъ Кручина.—Это Юрій Дмитричъ Милославскій; онъ присланъ ко мнѣ изъ Москвы съ тайнымъ порученіемъ отъ пана Гонсѣвскаго.

Поляки отвѣчали довольно вѣжливо на поклонъ Милославскаго; а панъ Тишкевичъ оборотясь къ Копычинскому,

спросилъ сердитымъ голосомъ: какъ онъ смѣлъ сочинить ему такую сказку? Копычинскій не отвѣчалъ ни слова.... Устремя свои бездушные глаза на Юрія, онъ стоялъ, какъ вкопанный, и только одна лихорадочная дрожь доказывала, что несчастный хвастунъ не совсѣмъ еще претворился въ истукана.

— Я вижу, отъ него толку не добьешься,—продолжалъ Тишкевичъ. — Потрудись, панъ Милославскій, разсказать намъ, какъ онъ допытался отъ тебя, что ты везешь казну въ Нижній-Новгородъ, какъ заперъ тебя и служителей твоихъ въ холодную избу, и какъ вы всѣ трое выскочили изъ окна, въ которое, чай, и курица не пролѣзетъ?

Юрій разсказалъ имъ всѣ подробности своей встрѣчи съ Копычинскимъ; разумѣется угощеніе и жареный гусь не были забыты. Панъ Тишкевичъ хохоталъ отъ добраго сердца; но другіе поляки, казалось, не очень забавлялись разсказомъ Юрія; особливо одинъ, который, закручивая свои безконечные усы, поглядывалъ изподлобья вовсе неласково на Милославскаго.

— Чортъ возьми!—вскричалъ онъ наконецъ.—Я не вѣрю, чтобъ какой ни есть полякъ допустилъ надъ собою такъ ругаться.

— И, панъ ротмистръ,— сказалъ Тишкевичъ:— не всѣ поляки походятъ другъ на друга!

— Еслибъ я былъ на мѣстѣ этого мерзавца,— продолжалъ сердитый ротмистръ, бросивъ презрительный взглядъ на Копычинскаго, который пробирался по-тихоньку къ дверямъ комнаты,—то клянусь моими усами...

— Скорѣй далъ бы себѣ раздробить черепъ,—прервалъ регментарь,— чѣмъ съѣлъ бы гуся! Я въ этомъ увѣренъ, также какъ и въ томъ, что всякій правдивый полякъ порадуется, когда удалый москаль проучитъ хвастунишку и труса, хотя бы онъ носилъ кунтушъ и назывался полякомъ. Давай руку, панъ Милославскій! Будемъ друзьями! Ты не врагъ поляковъ; но еслибъ былъ и врагомъ нашимъ, я сказалъ бы то же самое. Мы молодцовъ любимъ; съ ними и драться то веселѣе! А ты, храбрый панъ Копычинскій... Ага, да онъ ужъ далъ тягу!..Тѣмъ лучше... Надѣюсь, бояринъ, ты не заставишь насъ сидѣть за однимъ столомъ съ этимъ негодяемъ: онъ, я думаю, сытехонекъ, а если на бѣду опять проголодался, то прикажи его накормить въ застольнѣ, да потѣшь, Тимоѳей Ѳедорычъ, вели его попотчивать жаре-

нымъ гусемъ!.. Кстати, панъ,—прибавилъ онъ обращаясь снова къ Юрію:—мы, кажется, помѣнялись съ тобою конями? Только на твоемъ недалеко уѣдешь: онъ и теперь еще лежитъ въ лѣсу, на большой дорогѣ... Нѣтъ, нѣтъ,—продолжалъ онъ, не давая отвѣчать Юрію:—дѣло кончено; я плохой барышникъ, вотъ и все тутъ! Владѣй на здоровье моимъ конемъ. Не ты виноватъ, что я повѣрилъ этому хвастуну Копычинскому, который долженъ благодарить Бога за то, что не виситъ теперь между небомъ и землею; а не миновать бы ему этихъ качелей, еслибъ мои молодцы подстрѣлили самого тебя, а не твою лошадь.

— Позволь спросить, панъ регименгарь,—сказалъ Юрій,—что сдѣлалось съ однимъ изъ моихъ провожатыхъ, который остался пѣшимъ въ лѣсу?

— Онъ, я думаю, и теперь еще разгуливаетъ по лѣсу.

— Такъ онъ уцѣлѣлъ?.. Слава Богу!

— Да, уцѣлѣлъ. Этотъ мошенникъ подбилъ глазъ моему слугѣ, увелъ моего коня и подстрѣлилъ лучшаго моего налета; но я не сержусь на него. Еслибъ ему нечѣмъ было замѣнить твоей убитой лошади, то врядъ ли бы я теперь съ тобою познакомился.

Межъ тѣмъ число гостей значительно умножилось пріѣздомъ сосѣдей Шалонскаго. Большая часть изъ нихъ были: помѣстные дѣти боярскіе, человѣкъ пять жильцовъ и только двое родословныхъ дворянъ: Лесута-Храпуновъ и Замятня-Опалевъ. Первый занималъ нѣкогда при дворѣ царя Ѳеодора Іоанновича значительный постъ стряпчаго съ ключемъ [7]). Наружность его не имѣла ничего замѣчательнаго: онъ былъ небольшого роста, худощавъ и, несмотря на осанистую свою бороду и величавую поступь, не походилъ ни мало на важнаго царедворца: онъ говорилъ безпрестанно о покойномъ царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, для того, чтобъ повторять какъ можно чаще, что любимымъ его стряпчимъ съ ключемъ былъ Лесута-Храпуновъ. Второй, Замятня-Опалевъ, бывшій при семъ царѣ думнымъ дворяниномъ, обѣщалъ съ перваго взгляда гораздо болѣе, чѣмъ отставной придворный: онъ былъ роста высокаго и чрезвычайно дороденъ; огромная окладистая борода, покрывала дебелую грудь его и опускалась до самаго пояса; всѣ движенія его были медленны; онъ говорилъ протяжно и съ разстановкою. Служивъ при одномъ изъ самыхъ набожныхъ царей Русскихъ, Замятня-Опалевъ привыкъ употреблять въ разговорахъ, кстати и не кстати,

изреченія, почерпнутыя изъ церковныхъ книгъ, буквальное изученіе которыхъ было въ тогдашнее время признакомъ отличнаго воспитанія и нерѣдко замѣняло умъ и даже природныя способности, необходимыя для государственнаго человѣка. Борисъ Ѳедоровичъ Годуновъ, умѣя цѣнить людей по ихъ достоинствамъ, вскорѣ по восшествіи своемъ на престолъ, уволилъ ихъ обоихъ отъ службы. Съ тѣхъ поръ изъ уклончивыхъ придворныхъ они превратились въ величайшихъ, хотя и вовсе не опасныхъ враговъ правительства. Все, что ни дѣлалось при дворѣ, становилось предметомъ ихъ всегдашнихъ порицаній: признаніе Лже-Димитрія царемъ Русскимъ, междуцарствіе, вторженіе враговъ въ сердце Россіи, однимъ словомъ, всѣ бѣдствія отечества были, по ихъ мнѣнію, слѣдствіемъ оказанной имъ несправедливости. «Когда бъ блаженной памяти царь Ѳедоръ Іоанновичъ здравствовалъ и Лесута-Храпуновъ былъ на своемъ мѣстѣ,—говаривалъ отставной стряпчій,—то Гришка Отрепьевъ не смѣлъ бы и подумать назваться Димитріемъ». «Еслибы дворянинъ Опалевъ засѣдалъ по прежнему въ царской думѣ,—повторялъ безпрестанно Замятня,—то не поляки бы были въ Москвѣ, а русскіе въ Краковѣ». «Но прибавлялъ онъ всегда съ горькой улыбкою,—блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ!» Въ царствованіе Дже-Димитрія, а потомъ Шуйскаго, оба заштатные чиновники старались опять попасть ко двору; но попытки ихъ не имѣли успѣха и они рѣшились пристать къ партіи боярина Шалонскаго, который обнадеживалъ Лесуту, что съ присоединеніемъ Россіи къ польской коронѣ, число сановниковъ при дворѣ короля Сигизмунда немнуемо удвоится и онъ не только займетъ при ономъ мѣсто, равное прежней его степени, но даже, въ награду усердной службы, получитъ званіе одного изъ дворцовыхъ маршаловъ его польскаго величества. А Замятню-Опалева увѣрилъ, что онъ непремѣнно будетъ засѣдать въ польскомъ сенатѣ, въ которомъ, по уничтоженіи думы, учредятся мѣста сенаторовъ, по дѣламъ, касающимся до Россіи.

Когда хозяинъ познакомилъ этихъ двухъ отставныхъ сановниковъ съ поляками, Замятня, послѣ нѣкоторыхъ привѣтствій, произнесенныхъ со всею важностью будущаго сенатора, спросилъ пана Тишкевича:

— Не изъ Москвы ли онъ идетъ съ региментомъ?

— Изъ Москвы, — отвѣчалъ отрывисто полякъ, кото-

рому надутый видъ Опалева съ перваго взгляда не понравился.

— И такъ справедливо,—спросилъ въ свою очередь Лесута-Храпуновъ,— что въ Москвѣ цѣловали крестъ не свѣтлѣйшему королю Сигизмунду, а юному сыну его Владиславу?

— Справедливо.

— Хороши же тамъ сидятъ головы!—воскликнулъ Замятня. «Горе тебѣ граде, въ немъ же царь твой юнъ!»— вѣщаетъ премудрый Соломонъ; да и чего ждать отъ бояръ, которые засѣдали въ думѣ при злодѣѣ Годуновѣ?

— Для чего же ты не ѣдешь самъ въ Москву?—сказалъ насмѣшливо панъ Тишкевичъ.—Ты бы ихъ наставилъ на путь истинный.

— Чтобъ я сталъ якшаться съ этими малоумными?... Сохрани Господи!... Не даромъ говоритъ Сирахъ: «Касаяйся смолѣ очернится, а пріобщаяйся безумнымъ, точенъ имъ будетъ».

— Вотъ то-то и есть!— подхватилъ Лесута.— При блаженной памяти царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, были головы, а нынѣче... Да что тутъ говорить!... Когда я служилъ при свѣтломъ лицѣ его, въ санѣ стряпчаго съ ключемъ, то однажды его царское величество, идя отъ заутрени, изволилъ мнѣ сказать...

— Ты разскажешь намъ это за столомъ,— прервалъ хозяинъ.— Милости просимъ, дорогіе гости, чѣмъ Богъ послалъ!

Всѣ вышли снова въ столовую, въ которой накрытый цвѣтной скатертью столъ уставленъ былъ множествомъ различныхъ кушаньевъ. Всѣ блюда, тарелки и чаши были оловянныя; но напротивъ стола въ открытомъ поставцѣ разставлены были весьма красиво, серебряные ковши, кубки, стопы, чары и братины. Противъ каждыхъ двухъ приборовъ стояли также серебряные сосуды: одинъ съ солью, другой съ перцемъ, а третій, стеклянный, съ уксусомъ. Лучшимъ и раскошнѣйшимъ блюдомъ былъ жареный павлинъ; имъ и начался обѣдъ; потомъ стали подавать лапшу съ курицею, лѣнивые щи, разныя похлебки, пирогъ съ бараниной, курникъ, подсыпанный яйцами, сырники и различныя жаркія. Множество блюдъ составляло все великолѣпіе стола тогдашняго времени; впрочемъ, предки наши были неприхотливы и за столомъ любили только одно: наѣдаться

о сыта, и напиваться до упаду. Обѣдъ оканчивался обыкновенно закусками, между коими занимали первое мѣсто: арципаны, цукаты, инбирь въ патокѣ, шептала и леденцы; ряники и коврижки, также какъ и нынѣ, подавались послѣ обѣда у однихъ простолюдиновъ и бѣдныхъ дворянъ.

Когда всѣ наѣлись, началась попойка. Сколько Юрій, сидѣвшій подлѣ пана Тишкевича, ни отказывался, но принужденъ былъ пить не менѣе другихъ, еслибъ, къ счастію, не могъ ссылаться на примѣръ своего сосѣда, который рѣшительно отказался пить изъ большихъ кубковъ, и хотя хозяинъ начиналъ нѣсколько разъ хмуриться, но изъ уваженія къ регименгарю оставилъ ихъ обоихъ въ покоѣ и выместилъ свою досаду на другихъ. Одинъ сѣдой жилецъ не допилъ своего кубка,— бояринъ принудилъ его самого выпить себѣ остатокъ меда на голову; боярскому сыну, который отказался выпить кружку наливки, велѣлъ насильно влить въ ротъ большой стаканъ полынной водки, и хохоталъ во все горло, когда несчастный гость, задыхаясь и почти безъ чувствъ, повалился на полъ. Между тѣмъ и панъ Тишкевичъ, не смотря на свою умѣренность, сталъ поговаривать веселѣе.

— Бояринъ,—сказалъ онъ,—еслибъ супруга твоя здравствовала, то вѣрно бъ не отказадась поднести намъ по чаркѣ вина и допустила бы взглянуть на свѣтлыя свои очи; такъ нельзя ли намъ удостоиться присутствія твоей прекрасной дочери? У васъ, можетъ быть, не въ обычаѣ, чтобъ дѣвицы показывались гостямъ; но вѣдь ты, боярин, почти нашъ братъ полякъ: дозволь полюбоваться невѣстою пана Гонсѣвскаго.

— И выпить изъ башмачка ея,—прибавилъ усатый ротмистръ,—за здравіе знаменитаго жениха и счастливое окончаніе веселья.

— Она не очень здорова,—отвѣчалъ Кручина.

— Мы всѣ тебя объ этомъ просимъ!— закричали поляки.

— Быть по вашему,— сказалъ хозяинъ, подозвавъ къ себѣ одного служителя, который, выслушавъ приказаніе своего господина, вышелъ поспѣшно вонъ изъ комнаты.

— А скоро ль боярин, веселье? — спросилъ регименгарь.

— Я хотѣлъ было въ будущемъ мѣсяцѣ ѣхать въ Москву...

— Не совѣтую: тамъ что-то все не ладится: того и гляди, начнется такая попойка, что и у трезвыхъ въ головѣ зашумитъ.

— Какъ такъ!—сказалъ Лесута-Храпуновъ.—Да развѣ не вы господа въ Москвѣ?

— Да покамѣсть!—отвѣчалъ Тишкевичъ.—Войдти то въ нее мы вошли...

— «Въ граде крѣпкій вниде премудрый»,—прервалъ, заикаясь, Опалевъ,—«и разруши утвержденіе, на неже надѣяшася нечестивіи!»

— Вотъ то-то и худо, что не вовсе разрушили!— продолжалъ Тишкевичъ.—Ну, да что объ этомъ говорить. Наше дѣло рубиться, а объ остальномъ знаютъ лучше насъ старшіе.

— И вѣдомо такъ,—сказалъ Лесута,—когда я былъ стряпчимъ съ ключемъ, то однажды, блаженной памяти царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, идя къ обѣднѣ, изволилъ сказать мнѣ: «Ты, Лесута, малый добрый, знаешь свою стряпню; а въ чужія дѣла не мѣшаешься». Въ другое время, какъ онъ изволилъ отслушать часы и я сталъ ему докладывать, что любимую его шапку попортила моль...

— Не о шапкѣ рѣчь,—прервалъ хозяинъ;—изволь допивать свой кубокъ! Да и ты, любезный сосѣдъ, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Замятнѣ,—прошу отъ другихъ не отставать. Допивай... Вотъ такъ! Люблю за обычай! Теперь просимъ покорно вотъ этого...

— Ни, ни, бояринъ!— отвѣчалъ Замятня, съ трудомъ пошевеливая усами. — Сказано бо есть: «не упивайся виномъ»!

— Да это не вино, а наливка!

— Ой ли? Ну, если такъ, пожалуй! Наливку пить законъ не претитъ.

— Вѣстимо нѣтъ,—примолвилъ Лесута.— Покойный государь, Ѳеодоръ Іоанновичъ, всегда, отслушавъ вечерню, изволилъ выкушивать чарку вишневки, которую однажды поднося ему на золотомъ подносѣ, я сказалъ...

— Моя хоть и не на золотомъ подносѣ,— прервалъ хозяинъ,—а прошу прикушать!... Ну, что, какова?

— «Не красна похвала въ устахъ грѣшника», глаголетъ премудрый Сирахъ, — сказалъ Замятня, осуша свой кубокъ:—а нельзя достойно не восхвалить: наливка ей-же-ей преизрядная!

Когда къ концу обѣда всѣ гости порядкомъ подгуляли, бояринъ Кручина велѣлъ снова наполнить серебряныя стопы и сказалъ громкимъ голосомъ:

— Кто любитъ Кручину Шалонскаго, тотъ за мной!... За здравіе побѣдителей Смоленска!

— Виватъ!—закричали поляки.

— Да здравствуютъ всѣ неустрашимые воины!—примолвилъ Тишкевичъ, поднявъ кверху свой кубокъ.

Всѣ гости, кромѣ Юрія, осушили свои стопы.

— Пей, Юрій Дмитричъ!—закричалъ бояринъ.

— Я пью на погибель враговъ; а смоляне—русскіе и братья наши,—отвѣчалъ спокойно Юрій.

— Твои, а не мои, — возразилъ Кручина, бросивъ презрительный взглядъ на Юрія.— Бунтовщики и крамольники никогда не будутъ братьями Шалонскаго.

— Жаль, молодецъ,— сказалъ Тишкевичъ, пожавъ руку Юрія,—жаль, что ты не нашъ братъ полякъ!

Угрюмое чело боярина Кручины часъ-отъ-часу становилось мрачнѣе; нѣсколько минутъ продолжалось общее молчаніе: всѣ глядѣли съ удивленіемъ на дерзкаго юношу, который осмѣливался столь явно противорѣчить и неповиноваться грозному хозяину.

— Посмотримъ, какъ ты не выпьешь теперь! — прошепталъ, наконецъ, сквозь зубы бояринъ.

Онъ спросилъ позолоченный кубокъ и, выливъ въ него полбутылки мальвуазіи, всталъ со своего мѣста; всѣ послѣдовали его примѣру.

— Ну, дорогіе гости,—сказалъ онъ,—этотъ кубокъ долженъ всѣхъ обойдти. Кто пьетъ изъ него,—прибавилъ онъ, бросивъ грозный взглядъ на Юрія,— тотъ другъ нашъ; кто не пьетъ, тотъ врагъ и супостатъ! За здравіе свѣтлѣйшаго, державнѣйшаго Сигизмунда, короля польскаго и Царя Русскаго! Да здравствуетъ!

— Виватъ!—воскликнули поляки.

— Да здравствуетъ! — повторили всѣ русскіе, кромѣ Юрія.

— «И да расточатся врази его»!— заревѣлъ басомъ Замятня-Опалевъ. — «Да преидетъ животъ ихъ, яко слѣдъ облака, и яко мгла разрушится отъ лучъ солнечныхъ».

— Аминь!—возгласилъ хозяинъ, опрокинувъ осушенный кубокъ надъ своею головою.

Юрій едва могъ скрывать свое негодованіе: кровь ки-

пѣла въ его жилахъ, онъ мѣнялся безпрестанно въ лицѣ; правая рука его невольно искала рукоятку сабли, а лѣвая, крѣпко прижатая къ груди, казалось, хотѣла удержать сердце, готовое вырваться наружу. Когда очередь дошла до него, глаза благороднаго юноши заблистали необыкновеннымъ огнемъ; онъ окинулъ бѣглымъ взоромъ всѣхъ пирующихъ и сказалъ твердымъ голосомъ:

— Бояринъ, ты предлагаешь намъ пить за здравіе царя Русскаго, и такъ, да здравствуетъ Владиславъ, законный царь Русскій, и да погибнутъ всѣ измѣнники и враги отечества!

— Стой, Милославскій!—закричалъ хозяинъ.—Или пей, какъ указано, или кубокъ мимо!

— Подавай другимъ, — сказалъ Юрій, отдавая кубокъ дворецкому.

— Слушай, Юрій Дмитричъ! — продолжалъ бояринъ съ возростающимъ бѣшенствомъ. — Мнѣ ужь надоѣло твое упрямство; съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь не заглядывай! Пей, какъ всѣ пьютъ!

— Я твой гость, а не рабъ,—отвѣчалъ Юрій.—Приказывай тому, кто не можетъ тебя ослушаться.

— Ты будешь пить, дерзкій мальчишка! — прошипѣлъ какъ змѣй, дрожащимъ отъ бѣшенства голосомъ, Кручина.— Да, клянусь честію, ты выпьешь, или захлебнешься! Подайте кубокъ!.. Гей, Томила, Удалой, сюда!

Двое огромнаго роста слугъ, съ звѣрскими лицами, подошли къ Юрію.

— Бояринъ!—сказалъ Милославскій, взглянувъ презрительно на служителей, которые, казалось, не слишкомъ охотно повиновались своему господину.—Я безъ оружія въ твоемъ домѣ... и если ты хочешь прослыть разбойникомъ, то можешь легко меня обидѣть; но не забудь, бояринъ: обидѣвъ Милославскаго, берегись оставить его живого!

— Въ послѣдній разъ спрашиваю тебя, — продолжалъ едва внятнымъ голосомъ Шалонскій:—хочешь ли ты волею пить за здравіе Сигизмунда такъ, какъ пьемъ мы всѣ?

— Нѣтъ.

— Пей, говорю я тебѣ!—повторилъ Кручина, устремивъ на Юрія, какъ раскаленный уголь, сверкающіе глаза.

— Милославскіе не измѣняли никогда ни присягѣ, ни слову своему. Не пью!

— Такъ влейте же ему весь кубокъ въ горло!—заревѣлъ неистовымъ голосомъ хозяинъ.

— Стойте!—вскричалъ панъ Тишкевичъ.—Стыдись, бояринъ! Онъ твой гость, дворянинъ; если ты позабылъ это, то я не допущу его обидѣть. Прочь, негодяи! — прибавилъ онъ, схватясь за свою саблю.—Или... клянусь честію польскаго солдата, ваши дурацкія башки сей же часъ вылетятъ за окно!

Оробѣвшіе слуги отступили назадъ, а бояринъ, задыхаясь отъ злобы, въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ не могъ вымолвить ни слова. Наконецъ, оборотясь къ поляку, сказалъ прерывающимся голосомъ:

— Не погнѣвайся, панъ Тишкевичъ, если я напомню тебѣ, что ты здѣсь не у себя въ региментѣ, а въ моемъ дому, гдѣ, кромѣ меня, никто не воленъ хозяйничать.

— Не взыщи, бояринъ, я привыкъ хозяйничать вездѣ, гдѣ настоящій хозяинъ не помнитъ, что дѣлаетъ! Мы, поляки, можемъ и должны желать, чтобъ нашъ король былъ царемъ Русскимъ; мы присягали Сигизмунду, но Милославскій цѣловалъ крестъ не ему, а Владиславу. Что будетъ, то Богъ вѣсть; а теперь онъ дѣлаетъ то, что сдѣлалъ бы и я на его мѣстѣ.

Казалось, бояринъ Кручина успѣлъ нѣсколько поразмыслить и догадаться, что зашелъ слишкомъ далеко; помолчавъ нѣсколько времени, онъ сказалъ довольно спокойно Тишкевичу:

— Дивлюсь, панъ, какъ горячо ты защищаешь недруга твоего государя.

— Да, бояринъ: я грудью стану за друга и недруга, если онъ молодецъ и смѣло идетъ на неравный бой; а не заступлюсь за труса и подлеца, каковъ панъ Копычинскій, хотя бъ онъ былъ роднымъ моимъ братомъ.

— Но, неужели ты повѣрилъ, что я въ самомъ дѣлѣ рѣшусь обидѣть моего гостя? И, панъ Тишкевичъ! Я хотѣлъ только попугать его, а по мнѣ, пожалуй, пусть пьетъ хоть за здравіе татарскаго хана; отъ его словъ никого не убудетъ. Подайте ему кубокъ!

Юрій взялъ кубокъ и, оборотясь къ хозяину, повторилъ снова:

— Да здравствуетъ законный царь Русскій, и да погибнутъ всѣ враги и предатели отечества!

— Аминь! — раздался громкій голосъ за дверьми столовой.

— Что это значитъ?— закричалъ Кручина.— Кто осмѣлился?... Подайте его сюда!

Двери отворились и человѣкъ среднихъ лѣтъ, босикомъ, въ рубищѣ, подпоясанный веревкою, съ растрепанными волосами и всклокоченною бородою, въ два прыжка очутился по-среди комнаты. Не смотря на нищенскую его одежду и странныя ухватки, сейчасъ можно было догадаться, что онъ не сумасшедшій: глаза его блистали умомъ, а на благообразномъ лицѣ выражалась необыкновенная кротость и спокойствіе души.

— Ба, ба, ба, Митя!— вскричалъ Замятня-Опалевъ, который, вмѣстѣ съ Лесутой-Храпуновымъ, во все продолженіе предыдущей сцены, наблюдалъ осторожное молчаніе. — Какъ это Богъ тебя принесъ? Я думалъ, что ты въ Москвѣ.

— Нѣтъ, Гаврилычъ, — отвѣчалъ юродивый; — тамъ душно, а Митя любитъ просторъ. То ли дѣло въ чистомъ полѣ! Молись на всѣ четыре стороны, никто не помѣшаетъ.

— Зачѣмъ впустили этого дурака?—сказалъ Кручина.

— Кто онъ таковъ?—спросилъ Тишкевичъ.

— Тунеядецъ, міроѣдъ, который, Богъ знаетъ почему, прослылъ юродивымъ.

— Не выгоняй его, бояринъ! Я никогда не видывалъ вашихъ юродивыхъ: послушаемъ, что онъ будетъ говорить.

— Пожалуй; только у меня есть дураки гораздо его забавнѣе. Эй ты, блаженный, зачѣмъ ко мнѣ пожаловалъ?

— Соскучился по тебѣ, Ѳедорычъ, — отвѣчалъ Митя.— Эхъ, жаль мнѣ тебя, видитъ Богъ, жаль!... Худо, Ѳедорычъ, худо!... Митя шелъ селомъ, да плакалъ: мужички испитые, церковь на боку, а ты себѣ на умѣ: попиваешь да бражничаешь съ пріятелями!... А вотъ какъ все пріѣшь, да выпьешь, чѣмъ то станешь угощать нежданную гостью?... Хвать, хвать,— анъ въ погребѣ и вина нѣтъ! Худо, Ѳедорычъ, худо!

— Что ты врешь, дуракъ?

— Такъ, Ѳедорычъ, Митя болтаетъ, что ему вздумается, а смерть придетъ, какъ Богъ велитъ... Ты думаешь со двора, а голубушка на дворъ: не успѣешь стола накрыть... Здравствуй, Дмитричъ, — продолжалъ онъ, подойдя къ Юрію. — И ты здѣсь попиваешь?... Ай да молодецъ!... Смотри, не охмѣлѣй!

— Мнѣ помнится, Митя, я видалъ тебя у покойнаго батюшки?—сказалъ ласково Юрій.

— Да, да, Дмитричъ. Жаль тёску: раненько умеръ; при немъ не залетать бы къ коршунамъ ясному соколу. Жаль мнѣ тебя, голубчикъ, жаль! Связалъ себя по рукамъ, по ногамъ!.. Да, Богъ милостивъ: не вѣкъ въ кандалахъ ходить!.. Побывай у Сергія,—легче будетъ!

— Эй, ты, Митя!—сказалъ Тишкевичъ,—полно говорить съ другими. Поговори со мной.

— А что мнѣ говорить съ тобою? Вишь ты какой усатый!... Боюсь!

— Не бойся!... На-ка вотъ тебѣ!—продолжалъ полякъ, подавая ему серебряную монету.

— Спасибо!... На что мнѣ?... Я вѣдь на своей сторонѣ: съ голоду не умру; побереги для себя: ты человѣкъ заѣзжій.

— Возьми, у меня и безъ этой много.

— Ой-ли! Смотри, чтобъ достало!... Погостишь, погостишь, да надо же въ дорогу... Не близко мѣсто, не скоро до дому дойдешь... Да еще неравно и проводы будутъ... Береги денежку на черный день!

— Я черныхъ дней не боюсь, Митя.

— И я, братъ, въ тебя! Не боюсь ничего: пришелъ незваный, да и все тутъ!... А какъ хозяинъ погонитъ, такъ давай Богъ ноги!

— И давно пора!—сказалъ Кручина, которому весьма не нравились двусмысленныя слова юродиваго.—Убирайся ка вонъ, покуда цѣлъ!

— Пойду, пойду, Ѳедорычъ! Я не въ другихъ: не стану дожидаться, чтобъ меня въ шею протолкали. А жаль мнѣ тебя, голубчикъ, право жаль! То-то вдовье дѣло!... Некому тебя ни прибрать, ни прихолить!... Смотри-ка, сердечный, какъ ты замаранъ... чернехонекъ, мѣстечка бѣленькаго не осталось!... Эхъ, Ѳедорычъ, Ѳедорычъ!... Не вѣкъ жить неумойкою! Пора прибраться!... Захватитъ гостья немытаго, плохо будетъ!

— Я не хочу понимать дерзкихъ рѣчей твоихъ, безумный! .. Пошелъ вонъ!

— Послушай-ка, Гаврилычъ! — продолжалъ юродивый, обращаясь къ Замятнѣ.—Ты книжный человѣкъ: гдѣ бишь это говорится: «Сѣявый злая, пожнетъ злая?»

— Въ притчахъ Соломоновыхъ,—отвѣчалъ важно Замятня; онъ же премудрый Соломонъ глаголетъ: «не сѣй на браздахъ неправды, не имаши пожати ю съ седмерицею».

— Слышишь ли, Ѳедорычъ, что говорятъ умные люди?

А мы съ тобой, дураки, не понимаемъ какъ не понимаемъ!

— Вонъ отсюда, бродяга, или я разможжу тебѣ голову!

— Бей, Ѳедоровычъ, бей! А Митя все-таки свое будетъ говорить... Бѣдненькій охъ, а за бѣдненькимъ Богъ! А какъ Ѳедорычу придется охать, то-то худо будетъ!... Онъ заохаетъ, а мужички его вдвое... Онъ закричитъ: «Господи помилуй», а въ тысячу голосовъ завопятъ: «онъ самъ никого не миловалъ»... Такъ знаешь ли что, Ѳедорычъ?... Изъ-за другихъ то тебя вовсе не слышно будетъ!... Жаль мнѣ тебя, жаль!

— Молчи, змѣя! — вскричалъ бояринъ,—вскочивъ изъза стола.

Онъ замахнулся на юродиваго, который, сложа крестомъ руки, смотрѣлъ на него съ видомъ величайшей кротости и душевнаго соболѣзнованія. Вдругъ двери во внутренніе покои растворились и кто-то громко вскрикнулъ. Бояринъ вздрогнулъ, съ испуганнымъ видомъ поспѣшилъ въ другую комнату, слуги начали суетиться и всѣ гости повскакали со своихъ мѣстъ. Юрій сидѣлъ противъ самыхъ дверей: онъ видѣлъ, что пышно одѣтая дѣвица, покрытая съ головы до ногъ богатою фатою, упала безъ чувствъ на руки къ старухѣ, которая шла позади ея. Въ минуту общаго смятенія, юродивый подбѣжалъ къ Юрію.

— Смотри, Дмитричъ,—сказалъ онъ,—крѣпись!... Терпи!... Стерпится, слюбится! Ты постоишь за правду, а теска то, вонъ-тамъ, и заговоритъ: «Ай-да сынокъ: утѣшилъ мою душеньку!...» Прощай, покамѣстъ!... Митя будетъ молиться Богу, молись и ты!... Онъ не въ насъ: хоть и высоко, а все слышитъ!... А у Троицы то, Дмитричъ, у Троицы—раздолье, есть гдѣ помолиться!... Не забудь!... Сказавъ сіи слова, онъ выбѣжалъ вонъ изъ комнаты.

Юрій едва слышалъ, что говорилъ ему юродивый; онъ не понималъ самъ, что съ нимъ дѣлалось: голосъ упавшей въ обморокъ дѣвицы, вѣроятно, дочери боярина Кручины, проникъ до глубины его сердца: что-то знакомое, близкое душѣ его, отозвалось въ этомъ крикѣ, который, казалось Юрію, походилъ болѣе на радостное восклицаніе, чѣмъ на вопль горести. Онъ не смѣлъ мыслить, не смѣлъ надѣяться; но, противъ воли, Москва, Кремль, Спасъ на Бору и прекрасная незнакомка представились его воображенію. Болѣе получаса бояринъ не показывался, и когда онъ вошелъ об-

ратно въ столовую комнату, то, не смотря на то, что весьма скоро притворилъ дверь въ сосѣдственный покой, Юрій успѣлъ разглядѣть, что въ немъ никого не было, кромѣ одного высокаго ростомъ служителя, спѣшившаго уйти въ противоположныя двери. Милославскому показалось, что этотъ служитель походитъ на человѣка, замѣченнаго имъ по утру въ боярскомъ саду.

— Дочь моя, — сказалъ Шалонскій пану Тишкевичу,— весьма жалѣетъ, что не можетъ тебя видѣть: она не совсѣмъ еще здорова и очень слаба; но надѣюсь, что скоро...

— Заалѣетъ опять, какъ маковъ цвѣтъ,—прервалъ Лесута-Храпуновъ. Нечего сказать, всякій позавидуетъ пану Гонсѣвскому, когда Анастасія Тимоѳѣевна будетъ его супругою.

— «Жена доблія веселитъ мужа своего»,—промолвилъ Замятня,—«и лѣта его исполнитъ миромъ».

— Да будетъ по глаголу твоему, сосѣдъ!—сказалъ съ улыбкою Кручина.—Юрій Дмитричъ,—продолжалъ онъ, подойдя къ Милославскому,—ты что-то призадумался... Помиримся! Я и самъ виню себя, что не кстати погорячился. Ты цѣловалъ крестъ сыну, я готовъ присягнуть отцу,—оба мы желаемъ блага нашему отечеству, такъ ссориться намъ не за что, а чему быть, тому не миновать.

Юрій въ знакъ примиренія подалъ ему руку.

— Ну, дорогіе гости,—продолжалъ бояринъ, теперь милости просимъ повеселиться.—Гей, наливайте кубки, подносите взварецъ *); да пѣсенниковъ! Живо!

Толпа дворовыхъ, одѣтыхъ по большей части въ охотничьи платья польскаго покроя, вошла въ комнату. Инструментальную часть хора составляли: гудокъ, балалайка, рожокъ, мѣдные тазы и сковороды. По знаку хозяина, раздались удалыя волжскія пѣсни, и черезъ нѣсколько минутъ столовая комната превратилась въ настоящій цыганскій таборъ. Всѣ приличія были забыты; пьяные господа обнимали пьяныхъ слугъ; нѣкоторые гости ревѣли въ разладъ вмѣстѣ съ пѣсенниками; другіе, у которыхъ ноги были тверже языка, приплясывали и кривлялись, какъ рыночные скоморохи, и даже важный Замятня-Опалевъ нѣсколько разъ

*) Горячій напитокъ, родъ пунша, въ составъ котораго входили: пиво, медъ, вино и пряные коренья. Въ Малороссіи и до сихъ поръ еще въ употребленіи сей національный пуншъ, подъ именемъ варенухи.

приподнимался, чтобъ проплясать голубца; но, видя, что всѣ его усилія напрасны, пробормоталъ:

— «Сердце мое смятеся и остави мя сила моя!»

Панъ Тишкевичъ хотя не принималъ участія въ сихъ отвратительныхъ забавахъ, но, казалось, не скучалъ и смѣялся отъ добраго сердца, смотря на безумныя потѣхи другихъ. Напротивъ Юрій, привыкшій съ младенчества къ благочестію въ домѣ отца своего, ожидалъ только удобной минуты, что бы уйдти въ свою комнату; онъ желалъ этого тѣмъ болѣе, что день клонился уже къ вечеру, а ему должно было отправиться чѣмъ свѣтъ въ дорогу.

Громкія восклицанія возвѣстили появленіе плясуновъ и плясуній. Безстыдство и развратъ, во всей безобразной наготѣ своей, представились тогда изумленнымъ взорамъ Юрія. Онъ не смѣлъ никогда и помыслить, чтобъ человѣкъ, созданный по образу и по подобію Божію, могъ унизиться до такой степени. Всѣ гости походили на бѣснующихся. Ихъ буйное веселье, неистовые вопли, обезображенныя виномъ лица, все согласовалось съ отвратильнымъ крикомъ полупьянаго хора и гнуснымъ содержаніемъ развратныхъ пѣсенъ. Боярину Кручинѣ показалось, что одинъ изъ плясуновъ прыгаетъ хуже обыкновеннаго.

— Эге, Андрюшка!—закричалъ онъ.—Да ты никакъ сталъ умничать? Погоди, голубчикъ, у меня, прибавишь провору! Гей, Томила, Удалой, въ плети его!

Приказаніе въ ту же минуту было исполнено.

— Что, братъ?—сказалъ съ громкимъ хохотомъ Кручина несчастному плясуну, котораго жалобный крикъ сливался съ веселыми восклицаніями пирующихъ.—Никакъ подъ эту пѣсенку ты живѣе поплясываешь!... Катай его!

Юрій хотѣлъ было умилостивить боярина; но онъ не сталъ его слушать, а Замятня-Опалевъ закричалъ:

— Не мѣшайся, молодецъ, не въ свои дѣла! Писано есть: «непокоривому рабу сокруши ребра»; и Сирахъ глаголетъ: «пища и жезлiе и бремя ослу; хлѣбъ и наказаніе и дѣло рабу».

— Но онъ же премудный Сирахъ вѣщаетъ,—прервалъ Лесута, радуясь, что можетъ также похвастаться своей ученостью: «не буди излишенъ надъ всякою плотію, и безъ суда не сотвори ничесо же». Это часто изволилъ мнѣ говаривать блаженной памяти царь Ѳеодоръ Іоанновичъ. Какъ теперь помню, однажды, отстоявъ всенощную, его царское величество...

— Вѣрно пошелъ спать,—прервалъ Тишкевичъ.—Кажется, и намъ пора. Прощай, бояринъ! Пусть мои товарищи веселятся у тебя хоть всю ночь, а я привыкъ вставать рано, такъ мнѣ пора на покой.

Хозяинъ не сталъ удерживать регимента́ря и Милославскаго, который также съ нимъ распрощался. Комната, гдѣ до обѣда отдыхалъ Юрій, назначена былъ полякамъ, а ему отвели покой въ отдаленномъ домикѣ, на другомъ концѣ двора. Онъ нашелъ въ немъ своего слугу, который, повидимому, угощенъ былъ не хуже своего господина и едва стоялъ на ногахъ. Милославскій, помолясь Богу, раздѣлся безъ помощи Алексѣя и прилегъ на мягкую перину; но сонъ бѣжалъ отъ глазъ его: впечатлѣніе, произведенное на Юрія появленіемъ боярской дочери, не совсѣмъ еще изгладилось; мысль, что, можетъ быть, онъ провелъ весь день подъ одною кровлею съ своею прекрасною незнакомкою, наполняла его душу какимъ-то грустнымъ, неизъяснимымъ чувствомъ. Но вскорѣ самая простая мысль уничтожила всѣ его догадки: онъ много разъ видалъ свою незнакомку, но никогда не слышалъ ея голоса; слѣдовательно, еслибъ она была и дочерью боярина Кручины, то, не увидавъ ея въ лицо, онъ не могъ узнать ее по одному только голосу; а сверхъ того ему утѣшительнѣе было думать, что онъ ошибся, чѣмъ узнать, что его незнакомка—дочь боярина Кручины и невѣста пана Гонсѣвскаго. Мало-по-малу успокоилось волненіе въ крови его, воображеніе охладѣло, и Юрій, наконецъ, заснулъ крѣпкимъ и спокойнымъ сномъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

Copyright Material Removed

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Порядокъ нашего повѣствованія требуетъ, чтобъ мы возвратились нѣсколько назадъ. Читатели, вѣроятно, не забыли, что Кирша, поддержавъ съ честію славу искуснаго колдуна, отправился, въ сопровожденіи одного слуги, обратно въ домъ прикащика. Ему хотѣлось вывѣдать, долго ли пробудетъ Юрій въ домѣ боярина Шалонскаго, и когда оставитъ его, то по какой дорогѣ. Кирша былъ удалой наѣздникъ, любилъ подраться, попить, побуянить; но и въ самомъ пылу сраженія щадилъ безоружнаго врага, не забавлялся, подобно своимъ товарищамъ, надъ плѣнными, то есть не рѣзалъ имъ ни ушей, ни носовъ, а только, обобравъ съ ногъ до головы и оставивъ въ одной рубашкѣ, отпускалъ ихъ на всѣ четыре стороны. Правда, это случалось иногда зимою, въ трескучіе морозы; но зато и лѣтомъ онъ поступалъ съ ними съ тѣмъ же самымъ милосердіемъ и терпѣливо сносилъ насмѣшки товарищей, которые называли его отцомъ Киршею, и говорили, что онъ не запорожскій казакъ, а баба. Вѣчно мстить за нанесенную обиду и никогда не забывать сдѣланнаго ему добра,—вотъ правило, которому Кирша не измѣнилъ во всю жизнь свою. Юрій спасъ его отъ смерти, и онъ готовъ былъ ежедневно подвергать свою жизнь опасности, чтобъ оказать ему хотя малѣйшую услугу; а посему и не удивительно, что ему весьма хотѣлось знать, скоро ли и куда ѣдетъ Юрій? Когда онъ сошелъ съ боярскаго двора, то спросилъ своего провожатаго:

— Не знаешь ли, какъ долго пробудетъ здѣсь Милославскій?...

— Не знаю,—отвѣчалъ отрывисто слуга.

— А не можешь ли, молодецъ, спросить объ этомъ у его служителя?

— Нѣтъ!

— Нѣтъ! Ну, если ты не хочешь, такъ мнѣ можно съ нимъ поговорить?

— Нѣтъ.

— А если я пойду самъ искать его?

— Я не пущу тебя.

— А если я тебя не послушаюсь?

— Я возьму тебя за воротъ.

— За воротъ! А если я хвачу тебя за это кулакомъ?

— Я кликну людей и мы переломаемъ тебѣ ребра.

— Коротко и ясно! Такъ мнѣ никакъ нельзя его видѣть.

— Нѣтъ.

— А скажи, пожалуйста, всѣ ли боярскіе холопы такіе медвѣди, какъ ты?

— Попадешься къ нимъ въ лапы, такъ самъ узнаешь.

— Спасибо за ласку!

— Не на чемъ.

Въ продолженіе этого разговора, они подошли къ прикащиковой избѣ. Слуга, сдавъ Киршу съ рукъ на руки хозяину, отправился назадъ. Веселое общество пирующихъ встрѣтило его съ громкими воскицаніями. Всѣ уже знали, какимъ счастливымъ успѣхомъ увѣнчалась ворожба запорожца; старая сѣнная дѣвушка, бывшая свидѣтельницею этого чудеснаго излѣченія, бѣгала изъ двора во дворъ, какъ полоумная, и радостная вѣсть, со всѣми подробностями и прикрасами, подобно быстрому потоку, распространилась по всему селу.

— Милости просимъ, батюшка, милости просимъ!—сказалъ хозяинъ, сажая его въ передній уголъ. — Разскажи намъ, какъ ты вылѣчилъ боярышню? Вѣдь она точно была испорчена?

— Да, хозяинъ, испорчена.

— Правда ли,—спросилъ дьякъ,—что лишь только ты вошелъ въ теремъ, то Анастасья Тимоѳеевна залаяла собакою?

— И, нѣтъ, Мемнонъ Филиповичъ!—возразилъ одинъ изъ гостей,— Татьяна сказывала, что боярышня запѣла пѣтухомъ.

— Ну, вотъ еще!—вскричалъ хозяинъ.—Неправда: она куковала кукушкою, а пѣтухомъ не пѣла!

— Помилуй, Ѳома Кондратьичъ!—прервала одна толстая сваха.—Да развѣ Татьяна не при мнѣ разсказывала, что боярышня изволила выкликать всѣми звѣриными голосами?

— Татьяна вретъ!—сказалъ важно Кирша.—Когда я примусь нашептывать, такъ у меня хоть какая кликуша язычекъ прикуситъ. Да и пристало ли боярской дочери лаять собакою и пѣть пѣтухомъ! Она не ваша сестра холопка: будетъ съ нея и того, что почахнетъ, да потоскуетъ.

— Истинно такъ, милостивецъ!—промолвилъ дьякъ.—Не пригоже такой именитой боярышнѣ быть кликушею... Иная рѣчь въ нашемъ быту: наше дѣло таковское, а ихъ милость...

— Что толковать о боярахъ!—прервалъ прикащикъ.—Послушай ка, добрый человѣкъ! Тимоѳей Ѳедоровичъ приказалъ тебѣ выдать три золотыхъ карабленника, да жалуетъ тебя на выборъ любымъ конемъ изъ своей боярской конюшни.

— Знаю, хозяинъ.

— Ну, то-то же: смотри, не позарься на воронаго аргамака, съ бѣлой на лбу отмѣтиной.

— А для чего же нѣтъ?

— Онъ, правда, конь богатый: персидской породы, четырехъ лѣтъ и не даромъ прозванъ Вихремъ,—русака на скаку затопчетъ...

— Что жъ тутъ дурнаго?

— А то, что на немъ не усидѣлъ бы и могучій богатырь Еруслanъ Лазаревичъ. Такое зелье, что Боже упаси! Сѣсть то на него всякій сядетъ, только до сихъ поръ никто еще не слѣзалъ съ него порядкомъ: сначала и туда, и сюда, да вдругъ какъ взовьется на дыбы, учнетъ передомъ и задомъ,—батюшки-свѣты!... Хоть кому небо съ овчинку покажется!

Въ продолженіе этого разсказа, глаза запорожца сверкали отъ радости.

— Давай его сюда!—закричалъ онъ.—Его то мнѣ и надобно! Чортъ ли въ этихъ заводскихъ клячахъ! Подавай намъ изъ косяка, звѣря!

— Вотъ еще что!—сказалъ прикащикъ, глядя съ удивленіемъ на восторгъ запорожца.—Видно, братъ, у тебя шея то крѣпка! Ну, что за потѣха!...

— Что за потѣха! Эхъ хозяинъ! Не арканилъ ты на всемъ скаку лихаго коня, не смучивалъ его въ чистомъ полѣ, не приводилъ овечкою въ свой курень,—такъ тебѣ ли знать потѣхи удалыхъ казаковъ!... Что за конь, если на немъ и баба усидитъ!

— Да, да!—шепнулъ дьякъ прикащику.—Ему легко: не самъ сидитъ, черти держутъ.

Межъ тѣмъ молодые давно уже скрылись, гости стали уходить одинъ послѣ другого, и вскорѣ въ избѣ остались только хозяинъ, сваха, дружка и Кирша. Прикащикъ, по тогдашнему русскому обычаю [1]), которому не слѣдовалъ его бояринъ, старавшійся во всемъ подражать полякамъ, предложилъ Киршѣ отдохнуть, и черезъ нѣсколько минутъ въ избѣ все стихло, какъ въ глубокую полночь.

Кирша проснулся прежде всѣхъ. Проведя нѣсколько часовъ сряду въ душной избѣ, ему захотѣлось наконецъ поосвѣжиться. Когда онъ вышелъ на крыльцо, то замѣтилъ большую перемѣну въ воздухѣ: небо было покрыто дождевыми облаками, легкій полуденный вѣтерокъ дышалъ теплотою; словомъ, все предвѣщало наступленіе весенней погоды и конецъ морозамъ, которые съ неслыханнымъ постоянствомъ продолжались въ то время, когда обыкновенно проходятъ уже рѣки и показывается зелень. Въ то время, какъ онъ любовался перемѣною погоды, ему послышалось, что на сосѣднемъ дворѣ кто-то вполголоса разговариваетъ. Узнавъ по опыту, какъ выгодно иногда подслушивать, онъ тихонько подошелъ къ плетню, который отдѣлялъ его отъ разговаривающихъ, и хотя съ трудомъ, но вслушался въ слѣдующія слова, произнесенныя голосомъ, не вовсе ему незнакомымъ:

— Жаль, братъ, Омляшъ, жаль, что ты былъ въ отлучкѣ! Безъ тебя знатная была работа: купчина богатый, а клади-то въ повозкахъ, клади! Да и серебреца нашлось довольно. Мнѣ сказывали, ты опять въ дорогу?

— Да, чортъ побери!..—отвѣчалъ кто-то сиповатымъ басомъ.—Не дадутъ соснуть порядкомъ. Я думалъ, что недѣльки на двѣ отдѣлался,—не тутъ-то было! Бояринъ посылаетъ меня въ ночь на нижегородскую дорогу, верстъ за сорокъ.

— Зачѣмъ?

— А вотъ изволишь видѣть...—Тутъ нѣсколько словъ было сказано такъ тихо, что Кирша не могъ ничего разобрать, потомъ сиповатый голосъ продолжалъ:

— Онъ было сначала велѣлъ мнѣ за нимъ только присматривать, да видно послѣ обѣда передумалъ. Ты знаешь, чай, верстахъ въ десяти отъ Нижняго, овражекъ въ лѣсу?

— Какъ не знать?

— Туда передомъ четырехъ молодцовъ ужъ отправили, а я взялся поставить имъ милаго дружка... Понимаешь?

— Разумѣю. Далъ раза, да и концы въ воду. За все про все отвѣчай нижегородцы: ихъ дѣло, да и все тутъ!

— Не вовсе такъ, любезный! Съ слугой-то торговаться не станемъ, а господина велѣно живьемъ захватить.

— Да кто этотъ Милославскій?

— Какой-то боярскій сынокъ. Онъ, слышь ты, пріѣхалъ изъ Москвы отъ Гонсѣвскаго, да что-то подъ ладъ не дается. Дѣтина бойкій! Говорятъ, будто-бъ онъ сегодня за обѣдомъ чуть-чуть не подрался съ бояриномъ.

— Съ бояриномъ?.. Ну, братъ, видно же, сорви голова!

— Видно такъ! И правду-матку сказать, если онъ живой въ руки не дастся...

— Такъ что жъ? Рука что ль дрогнетъ?

— Не то, чтобъ дрогнула... да пора честь знать, Прокофьичъ!

— Полно, братъ Омляшъ, прикидывайся съ другими. Не онъ первый, не онъ послѣдній...

— А что ты думаешь! И то сказать: однимъ меньше, однимъ больше—куда ни шло! Вотъ о спожинкахъ стану говѣть, такъ за одинъ пріемъ все выскажу на исповѣди; а тамъ можетъ статься...

— Въ монахи что ль пойдешь?..

— Въ монахи не въ монахи, а пудовую свѣчу поставлю. Не все грѣшить, Прокофьичъ, душа надобна.

Тутъ голоса замолкли. Кирша замѣтилъ въ плетнѣ небольшое отверстіе, сквозь которое можно было разсмотрѣть все, что происходило на сосѣднемъ дворѣ; онъ поспѣшилъ воспользоваться этимъ открытіемъ и увидѣлъ двухъ человѣкъ входящихъ въ избу. Одинъ изъ нихъ показался ему огромнаго роста, но онъ не успѣлъ разсмотрѣть его въ лицо; а въ другомъ съ перваго взгляда узналъ земскаго ярыжку, съ которымъ въ прошедшую ночь повстрѣчался на постояломъ дворѣ. Открывъ столь нечаяннымъ образомъ, что Юрій долженъ отправиться по нижегородской дорогѣ, и желая предупредить его о грозящей ему опасности, Кирша рѣшился пуститься на удачу и, во что бы ни стало, отыскать Юрія или Алексѣя. Но едва онъ вышелъ за ворота,

какъ вооруженный дубиною крестьянинъ заступилъ ему дорогу.

— Пусти-ка, товарищъ! — сказалъ Кирша, стараясь пройдти.

— Не велѣно пускать, — отвѣчалъ крестьянинъ.

— Не велѣно! Какъ такъ?

— Да такъ-ста! Не приказано, вотъ и все тутъ!

— Не приказано, такъ не пускай!—сказалъ Кирша возвращаясь во дворъ.

— Да не пройдешь и въ заднія ворота,—закричалъ ему вслѣдъ крестьянинъ: и тамъ приставленъ караулъ.

— Такъ я здѣсь въ западнѣ! Ахъ, чортъ побери! Эй, слушай-ка, дядя, пусти. Мнѣ только пройтись по улицѣ.

— Я тѣ толкомъ говорю, слышь ты, заказано.

— Да кто заказалъ?

— Приказчикъ.

— Зачѣмъ?

— А лукавый его знаетъ; вонъ спроси у него самого.

— Э, дорогой гость!... Куда?—закричалъ прикащикъ, показавшись въ дверяхъ—избы. Скоренько проснуться изволилъ.

— Господинъ прикащикъ, — сказалъ весьма важно Кирша,—ради чего ты вздумалъ меня держать у себя подъ карауломъ? Развѣ я мошенникъ какой?

— Не погнѣвайся! Я приставилъ караулъ, пока спалъ, а теперь тотчасъ сниму. Эй, ты, Терешка, ступай домой!

— Я у тебя въ гостяхъ, хозяинъ, а не въ полону, и воленъ идти, куда хочу.

— Вотъ то-то и есть, что нѣтъ, любезный! Бояринъ строго наказалъ не выпускать тебя на волю.

— Да неужто въ самомъ дѣлѣ онъ хочетъ задержать меня насильно?

— Отъ него приказано, чтобъ я угощалъ тебя сегодня и завтра, а послѣ-завтра, хоть чѣмъ-свѣтъ, возьми деньги, да коня и ступай себѣ съ Богомъ на всѣ четыре стороны.

— Ну, было изъ чего караулъ приставлять! Да я и самъ хотѣлъ еще денекъ отдохнуть. На кой чортъ мнѣ торопиться? Вѣдь не вездѣ даромъ кормить станутъ!

— Тимоѳею Ѳедоровичу не угодно, чтобъ ты показывался его гостямъ.

— Такъ вотъ что! Онъ опасается, чтобъ я не пробол-

тался кому-нибудь изъ поляковъ, что невѣста пана Гонсѣвскаго была испорчена.

— Видно, что такъ.

— Стану я толковать объ этомъ! Да изъ меня дубиною слова не вышибешь!.. Что это, хозяинъ, никакъ на барскомъ дворѣ пѣсни поютъ! Поглядѣлъ бы я, какъ бояре-то веселятся!

— Что ты, братъ! Неравно Тимоѳей Ѳедоровичъ тебя увидитъ,—сохрани Боже... бѣда!

— Такъ Господь съ ними! Пусть они веселятся себѣ на барскомъ дворѣ, а мы, хозяинъ, попируемъ у тебя... Да, кстати, вонъ и гости опять идутъ.

— Какъ же, любезный! И сегодня, и завтра цѣлый день всѣ бражничаютъ у меня.

Толпа родственниковъ, передъ которою важно выступалъ волостной дьякъ, подошла къ прикащику; молодые вышли ихъ встрѣчать на крыльцо, и черезъ минуту изба снова наполнилась гостьми, а столъ покрылся кушаньемъ и различными напитками.

Тѣмъ изъ читателей нашихъ, которымъ не удалось постоянно жить въ деревнѣ и видѣть своими глазами, какъ наши низовые крестьяне угощаютъ другъ друга, безъ сомнѣнія, покажется невѣроятнымъ огромное количество браги и съѣстныхъ припасовъ, которые можетъ помѣстить въ себѣ желудокъ русскаго человѣка, когда онъ знаетъ, что пьетъ и ѣстъ даромъ. Но всего страшнѣе, что тотъ же самый человѣкъ, который съѣстъ за одинъ пріемъ то, чего какой нибудь итальянецъ не скушаетъ въ цѣлую недѣлю, въ случаѣ нужды, готовъ удовольствоваться кускомъ чернаго хлѣба, или небольшимъ сухаремъ, и не поморщится, запивая его плохою колодезною водою. Въ храмовые праздники, церковный причтъ обходитъ обыкновенно всѣ дома своего селенія; не зайдти въ какую-нибудь избу, значитъ обидѣть хозяина; зайдти и не поѣсть,—обидѣть хозяйку; а чтобъ не обидѣть ни того, ни другаго, иному церковному старостѣ, или дьячку, придется разъ двадцать сряду пообѣдать. Это невѣроятно, однакожъ справедливо, и мы должны были сдѣлать это небольшое отступленіе для того, чтобъ замѣтить нашимъ читателямъ, что ни мало не погрѣшаемъ противъ истины, заставивъ гостей прикащика почти безпрерывно цѣлый день пить, ѣсть и веселиться.

Но не всѣ гости веселились. На сердцѣ запорожца ле-

жалъ тяжелый камень: онъ началъ терять надежду спасти Юрія. Напрасно старался онъ казаться веселымъ! разсѣянные отвѣты, безпокойные взгляды, нетерпѣніе, задумчивость—все изобличало необыкновенное волненіе души его. Къ счастію, прежде, чѣмъ хозяинъ могъ это замѣтить, одна счастливая мысль оживила его надежду; взоры его прояснились, онъ взглянулъ веселѣе и, обращаясь къ прикащику, сказалъ:

— Знаешь-ли что, хозяинъ? Если мнѣ нельзя побывать на боярскомъ дворѣ, то не можно ли заглянуть на конюшню?

— Нельзя, любезный! Я долженъ быть при тебѣ неотлучно, а ты видишь, у меня гости. Да что тебѣ вздумалось?

— А вотъ что: помнишь, ты говорилъ мнѣ о ворономъ персидскомъ аргамакѣ? Меня раздумье беретъ! хоть я и люблю удалыхъ коней, ну, да если онъ въ самомъ дѣлѣ такой звѣрь, что съ нимъ и ладу нѣтъ?

— Да, братъ, больно лихъ.

— Вотъ то-то, чтобъ маху не дать. Если мнѣ самому нельзя идти на конюшню, то хоть его вели сюда привести.

Прикащикъ задумался.—Привести-то можно,—сказалъ онъ наконецъ,—но, уговоръ лучше денегъ: любуйся имъ сколько хочешь, но верхомъ не садись.

— Да какъ же я узнаю: годится-ли онъ для меня, или нѣтъ? Позволь на немъ по улицѣ проѣхать.

— Нѣтъ дорогой гость, нельзя.

— Нельзя такъ нельзя; вели хоть такъ привести.

— Андрюшка! — сказалъ прикащикъ одному молодому парню, который прислуживалъ за столомъ.— Сбѣгай, братъ, на конный дворъ, да вели конюхамъ привести сюда ворного персидскаго жеребца.

Кирша, поговоривъ еще нѣсколько времени съ хозяиномъ и гостьми, всталъ по-тихоньку изъ-за стола; онъ тотчасъ замѣтилъ, что хотя караулъ былъ снятъ отъ воротъ, но за то у самыхъ дверей сидѣлъ широкоплечій крестьянинъ, мимо котораго прокрасться было невозможно. Запорожецъ отыскалъ свою саблю, прицѣпилъ ее къ поясу, надѣлъ черезъ плечо нагайку, спряталъ за пазуху кинжалъ и, подойдя опять къ столу, сѣлъ по-прежнему между прикащикомъ и дьякомъ. Помолчавъ нѣсколько времени, онъ спросилъ перваго:

— Весело ли ему будетъ называться дѣдушкою?

— Какъ-же!—отвѣчалъ прикащикъ.—Я и сплю и вижу, чтобъ завестись внучатами. Пора: шестой десятокъ доживаю!

— А что бы ты хотѣлъ для первой радости,—продолжалъ запорожецъ:—внука или внучку?

— Вѣстимо, внука! Дѣвка товаръ продажный: не успѣетъ подрости, анъ, глядишь, и сбывай съ рукъ.

— А я, прошу не прогнѣваться, сказалъ дьякъ: хочу не внука, а внучку.

— А почему такъ?—спросилъ хозяинъ.

— Да, такъ! Скоро-ли отъ внука-то дѣтей дождешься? Дѣдомъ быть весело, а прадѣдомъ еще веселѣе.

— Не успѣлъ дочери выдать, да ужъ о правнукахъ думаешь! Пустое, сватъ: дай, Господи, внука!

— Пошли, Господи, внучку!

— Такъ не будетъ-же по твоему!

— Анъ будетъ! И если святые угодники услышатъ грѣшныя мои молитвы...

— Послушайте, господа честные,—перервалъ Кирша:—ну, если я услужу вамъ обоимъ?

— Какъ такъ?—спросили вмѣстѣ дьякъ и прикащикъ.

— А вотъ какъ: если я захочу, то молодая родитъ двойню,—мальчика и дѣвочку.

— То-то-бы знатно!—вскричалъ прикащикъ.—Я сталъ бы лелѣять внука...

— А я нянчить внучку!—промолвилъ дьякъ—Да не издѣваешься ли ты надъ нами?

— Право, нѣтъ! Послушай, хозяинъ,—продолжалъ Кирша вполголоса,—припаси мнѣ завтра крупичатой муки, да сотоваго меду! я изготовлю пирожокъ, и какъ молодые его покушаютъ, то черезъ девять мѣсяцевъ ты съ внукомъ, а онъ съ внучкою.

— Неужто въ самомъ дѣлѣ?—вскричалъ прикащикъ.

— Ужъ я вамъ говорю. Припасите двѣ зыбки, да пріискивайте имена для новорожденныхъ.

— Я назову внука Тимоѳеемъ, въ честь боярина,—сказалъ прикащикъ.

— А я внучку—Анастасіей, въ честь боярышни,—промолвилъ дьякъ.

— Такъ, за здравіе Тимоѳея и Анастасіи!—возгласилъ торжественно Кирша, приподнявъ кверху огромный ковшъ съ брагою.—Многія лѣта?

— Многія лѣта!—воскликнули всѣ гости.

— Ахъ ты, родимый!—сказалъ прикащикъ, обнимая запорожца.—Чѣмъ мнѣ отслужить тебѣ? Послушай-ка: если я къ тремъ боярскимъ кораблепникамъ прибавлю своихъ два... три... ну, куда ни шло: четыре алтына!..

— Нѣтъ, хозяинъ, не такое дѣло: за это мнѣ денегъ брать не велѣно; а если хочешь меня потѣшить, такъ не пожалѣй завтра за обѣдомъ романеи.

— И вишневки, и романси, и фряжскаго вина... и что твоей душенькѣ угодно будетъ!

— Ой-ли такъ? Ладно-же, хозяинъ, по рукамъ!

— По рукамъ, любезный! Постой-ка: вотъ, кажется и Вихря привели... Что за конь!

Кирша и всѣ гости встали изъ-за стола и вышли, вслѣдъ за хозяиномъ, на улицу. Два конюха съ трудомъ держали подъ-уздцы воронаго жеребца. Онъ былъ средняго роста, но весьма красивъ собою: волнистая грива, блестя какъ полированный агатъ, опускалась струями съ его лебединой шеи; онъ храпѣлъ, взрывалъ копытомъ землю, и кровавые глаза его сверкали какъ раскаленное желѣзо. При первомъ взглядѣ на борзаго коня, Кирша вскрикнулъ отъ удивленія; забилось сердце молодецкое въ груди удалаго казака: онъ забылъ на нѣсколько минутъ всѣ свои намѣренія, Милославскаго, самого себя, и въ нѣмомъ восторгѣ, почти съ подобострастіемъ, смотрѣлъ на Вихря, который, какъ будто-бы чувствуя присутствіе знатока, рисовался, плясалъ и, казалось хотѣлъ совсѣмъ отдѣлиться отъ земли.

— Ну, что?—спросилъ прикащикъ.—Не правду-ли я тебѣ говорилъ? Смотрѣть любо, знатный конь! А на что онъ годится?

— Почему знать, хозяинъ? Мы и не такихъ звѣрей умучивали, и еслибъ ты дозволилъ мнѣ дать на немъ концевъ десятокъ вдоль этой улицы, такъ, можетъ статься...

— Нѣтъ, любезный: помни уговоръ.

— Да чего ты боишься?

— Какъ чего? Богъ вѣсть, что у тебя на умѣ. Какъ вздумаешь дать тягу, такъ куда мнѣ будетъ дѣваться отъ боярина?

— Тьфу пропасть! Да на кой чортъ мнѣ тебя обманывѣдь: послѣ-завтра я воленъ ѣхать куда хочу?

— То дѣло другое, пріятель! Послѣ-завтра, пожалуй, я самъ тебя подсажу, а теперь—ни, ни!..

— Ну, хозяинъ, ты не хочешь меня потѣшить, такъ не прогнѣвайся, если и я тебя тѣшить не стану.

— Эхъ, любезный, и радъ бы радостью, да разсуди самъ... Какъ ты думаешь, сватъ,—продолжалъ прикащикъ, обращаясь къ дьяку:—дать-ли ему промять Вихря, или нѣтъ?

— Какъ ты, Ѳома Кондратьичъ, а я мыслю такъ: когда тебѣ наказано быть при немъ неотлучно, то довлѣетъ хранить его, какъ зѣницу ока, со всякою опасностью, дабы не подвергнуть себя гнѣву и опалѣ боярской.

— Ну, вотъ слышишь, что говорятъ умные люди? Нельзя, любезный!

— Я вижу, господинъ дьякъ,—сказалъ Кирша,—ты ужъ раздумалъ и въ прадѣды не хочешь; а жаль, была бы внучка!

— Я ничего не говорю, возразилъ дьякъ:—видитъ Богъ, ничего! Какъ хочетъ сватъ.

— И я, дуракъ,—продолжалъ Кирша:—есть о чемъ просить! Не нынче, такъ послѣ-завтра, а я все-таки съ конемъ, и вы все-таки безъ внучатъ.

— Какъ такъ? Помилуй!—вскричали прикащикъ и дьякъ.

— Да такъ! Пословицу знаете: «какъ аукнется, такъ и откликнется»... Пойдемте назадъ въ избу!

— Не троньте его, — сказалъ вполголоса одинъ изъ конюховъ.—Вишь какой выскочка! Не хуже его пытались усидѣть на Вихрѣ, да летали же вверхъ ногами. Пускай сядетъ; я вамъ порукою—не ускачетъ изъ села.

— Да, да,—промолвилъ другой конюхъ,—видали мы хватовъ почище его! Мигнуть не успѣете, какъ онъ хватится о-земь, лишь ноги загремятъ!

— Добро, такъ и быть, любезный!—сказалъ прикащикъ Киршѣ.—Если ужъ ты непремѣнно хочешь... Да что тебѣ загорѣлось?

— Бѣгите, ребята,—шепнулъ дьякъ двумъ крестьянскимъ парнямъ, ты на тотъ конецъ, а ты на этотъ: покараульте; да приприте хорошенько околицу.

— Охъ, сватъ,—сказалъ прикащикъ,—не даромъ у меня сердце замираетъ! Ну если... упаси Господи!.. Нѣтъ —продолжалъ онъ рѣшительнымъ голосомъ, схвативъ Киршу за руку,—воля твоя, сердись или нѣтъ, а я тебя не пускаю! Какъ ускачешь изъ села...

— Право! А золотые то боярскіе кораблянники! Небось, вамъ оставлю? Вотъ дурака нашли!

— А что ты думаешь, сватъ?—продолжалъ прикащикъ, убѣжденный этимъ послѣднимъ доказательствомъ.—Въ самомъ дѣлѣ, чортъ ли велитъ ему бросить задаромъ три корабленника?... Ну, ну, быть такъ: осѣдлайте коня.

Въ двѣ минуты конь былъ осѣданъ. Толпа любопытныхъ разступилась... Кирша оправился, подтянулъ кушакъ, надвинулъ шапку и, не торопясь, подошелъ къ коню. Сначала онъ сталъ его приголубливать: потрепалъ ласково по шеѣ, погладилъ, потомъ зашелъ съ лѣвой стороны и вдругъ, какъ птица, вспорхнулъ на сѣдло.

— Дальше, ребята, дальше!—закричали конюхи.—Смотрите, какая пойдетъ потѣха!

Народъ отхлынулъ какъ вода, и наѣздникъ остался одинъ посреди улицы. Не давъ образумиться Вихрю, Кирша пріударилъ его нагайкою. Какъ разъяренный левъ, дикій конь встряхнулъ своею густою гривой и взвился на воздухъ; народъ ахнулъ отъ ужаса; прикащикъ поблѣднѣлъ и закричалъ конюхамъ:

— Держите его, держите! Ахти, не быть ему живому! Держите, говорятъ вамъ!

— Да, чортъ его теперь удержитъ!—сказалъ одинъ изъ конюховъ.—Какъ слетитъ на-земь, такъ мы его подымемъ!

— Ахъ, батюшка!—продолжалъ кричать прикащикъ.—Держите его! Слышите-ль, бояринъ приказалъ мнѣ угощать его завтра, а онъ сегодня сломитъ себѣ шею! Господи, Господи, страсть какая!... Ну, пропала моя головушка!

Межъ тѣмъ удары калмыцкой плети градомъ сыпались на Вихря; бѣшеный конь билъ передомъ и задомъ, съ визгомъ метался на-право и на-лѣво, загибалъ голову, чтобъ схватить зубами своего сѣдока, и вытягивался почти прямо, подымаясь на дыбы; но Кирша какъ будто бы приросъ къ сѣдлу и продолжалъ не уставая работать нагайкою. Толпа любопытныхъ зрителей едва переводила духъ, всѣ сердца замирали... Болѣе получаса прошло въ этой борьбѣ искусства и ловкости съ силою; наконецъ полуизмученный Вихрь, соскучивъ бѣсноваться на одномъ мѣстѣ, пустился стрѣлою вдоль улицы и, проскакавъ съ версту, круто повернулъ назадъ; Кирша пошатнулся, но усидѣлъ. Казалось, неукротимый конь прибѣгнулъ къ этому способу избавиться отъ своего мучителя, какъ къ послѣднему средству, послѣ котораго долженъ былъ покориться его волѣ; онъ вдругъ присмирѣлъ и, повинуясь искусному наѣзднику, пошелъ

шагомъ, потомъ рысью описалъ нѣсколько круговъ по широкой улицѣ и, наконецъ, на всемъ скаку остановился противъ избы прикащика.

— Живъ ли ты?—вскричалъ хозяинъ.

— Ну, молодецъ!—сказалъ одинъ изъ конюховъ, смотря съ удивленіемъ на покрытаго бѣлою пѣною аргамака.—Тебѣ и владѣть этимъ конемъ!

— А я такъ не дивлюсь,—продолжалъ дьякъ, обращаясь къ прикащику.—Вѣдь я говорилъ тебѣ: не самъ сидитъ, черти держутъ!

— Слѣзай проворнѣй, любезный,—продолжалъ прикащикъ.—Пока ты не войдешь въ избу, у меня сердце не будетъ на мѣстѣ.

— Не торопись, хозяинъ,—сказалъ Кирша, дай мнѣ покрасоваться... Не подходите, ребята,—закричалъ онъ конюхамъ: не пугайте его!...—Ну, теперь не задохнется,—прибавилъ запорожецъ, давъ время коню перевести духъ.—Спасибо, хозяинъ, за хлѣбъ за соль! Береги мои корабленники, да не поминай лихомъ!

— Какъ?... Что!...—закричалъ прикащикъ.

Вмѣсто отвѣта запорожецъ ослабилъ поводья, понагнулся впередъ, гикнулъ и, какъ молнія, исчезъ изъ глазъ удивленной толпы.

— Держите его, держите!—раздался громкій крикъ прикащика, заглушаемый общимъ восклицаніемъ изумленнаго народа.

Но Кирша не опасался ничего: поставленный на въѣздѣ караульный, думая, что самъ сатана въ видѣ запорожца мчится къ нему на встрѣчу, сотворивъ молитву, упалъ ничкомъ на-земь. Кирша перелетѣлъ на всемъ скаку черезъ затворенную околицу, и когда, спустя нѣсколько минутъ, онъ обернулся назадъ, то, построенный на крутомъ холмѣ, высокій боярскій теремъ показался ему едва замѣтнымъ пятномъ, которое вскорѣ совсѣмъ исчезло въ туманной дали густыми тучами покрытаго небосклона.

II.

Всѣ спали крѣпкимъ сномъ въ домѣ боярина Кручины. Многіе изъ гостей, пропировавъ до полуночи, лежали преспокойно въ столовой: иные на скамьяхъ, другіе подъ

скамьями; одинъ хозяинъ и Юрій съ своимъ слугою опередили солнце, послѣдній съ похмѣлья едва могъ пошевелить головою и поглядывалъ не очень весело на своего господина. Бояринъ Кручина распрощался довольно холодно съ своимъ гостемъ

— Желаю тебѣ, Юрій Дмитричъ, благополучно съѣздить въ Нижній,—сказалъ онъ:—но я опасаюсь, чтобъ ты не испыталъ на себѣ самомъ, каковы эти нижегородцы. Прощай!

— Ты хотѣлъ, Тимоѳей Ѳедоровичъ, дать мнѣ грамоту къ боярину Истомѣ-Туренину,—сказалъ Юрій.

— Да, да! Но я передумалъ; теперь это лишнее... иль нѣтъ...—продолжалъ бояринъ, спохватясь и чувствуя, что онъ не кстати проговорился.—Благо ужъ листъ мой готовъ, такъ, все равно, вотъ онъ, возьми! Счастливой дороги! Да милости просимъ на возвратномъ пути,—прибавилъ онъ съ насмѣшливою улыбкою и взглядомъ, въ которомъ отражалась вся злоба адской души его.

Никогда и ни съ кѣмъ Юрій не разставался съ такимъ удовольствіемъ: онъ согласился бы лучше снова провести ночь въ открытомъ полѣ, чѣмъ вторично переночевать подъ кровлею дома, въ которомъ, казалось ему, и самый воздухъ былъ напитанъ измѣною и предательствомъ. Раскланявшись съ хозяиномъ. онъ проворно вскочилъ на своего коня и, не оглядываясь, поскакалъ вонъ изъ селенія.

Мы, русскіе, привыкли къ внезапнымъ перемѣнамъ времени и не дивимся скорымъ переходамъ отъ зимняго холода къ весеннему теплу; но тотъ, кто знаетъ сѣверъ по одной наслышкѣ, едва ли повѣритъ, что Юрій, захваченный наканунѣ погодою и едва не замерзшій съ своимъ слугою, долженъ былъ скинуть верхнее платье и ѣхать въ одномъ кафтанѣ. Во всю ночь, проведенную имъ въ домѣ боярина Кручины, шелъ проливной дождь, и когда онъ выѣхалъ на большую дорогу, то взорамъ его представились совершенно новые предметы: тысячи быстрыхъ ручьевъ стремились по скатамъ холмовъ; въ оврагахъ ревѣли мутные потоки, а низкія поля казались издалека обширными озерами. Когда наши путешественники потеряли изъ виду отчину боярина Шалонскаго, Алексѣй, снявъ шапку, перекрестился.

— Ну, теперь отлегло отъ сердца! — сказалъ онъ. — Хвала Творцу небесному: вырвались изъ этого омута! Еслибъ ты зналъ, бояринъ, чего я вчера наслушался и насмотрѣлся...

— Я также слышалъ и видѣлъ довольно, Алексѣй.

— Да, тебѣ, Юрій Дмитричъ, хорошо было пировать съ хозяиномъ; заглянулъ бы къ намъ въ застольную: ни дать, ни взять лобное мѣсто! Тотъ пролилъ стаканъ меду—дерутъ, этотъ обмишулился и подалъ травнику вмѣсто наливки—порютъ, чихнулъ громко, кашлянулъ—за все, про все катаютъ. Ахъ ты, Владыко небесный! Ну адъ кромѣшный, да и только! Правда и холопы-то хороши: какъ подпили, да начали похваляться, такъ у меня волосы дыбомъ стали! Знаешь ли что, Юрій Дмитричъ? Вѣдь дневной разбой: самъ бояринъ обозы останавливаетъ, и если купецъ, проѣзжая чрезъ его отчину, не зайдетъ къ нему съ поклономъ, такъ ужъ навѣрное выѣдетъ изъ села въ одной рубашкѣ. Помнишь вчерашняго купца, котораго мы застали на постояломъ дворѣ? Онъ было хотѣлъ втихомолку проѣхать мимо села задами; анъ и попался въ бѣду: облупили его какъ липку, да изъ четырехъ лошадей двухъ выпрягли,—«ты, дескать, поѣдешь теперь налегкѣ, такъ и двѣ довезутъ!»

— Возможно ли? И на него нѣтъ управы?...

— И, Юрій Дмитричъ, кому его унимать! Говорятъ, что при царѣ Борисѣ Ѳедоровичѣ его порядкомъ было скрутили, а какъ началась суматоха, пошли самозванцы, да поляки, такъ онъ принялся буянить пуще прежняго. Теперь времена такія: нигдѣ не найдешь ни суда, ни расправы.

— Однакожъ, Алексѣй, мнѣ кажется, тебѣ вчера вовсе не было скучно: ты на-силу на ногахъ стоялъ.

— Виноватъ, боярин! Въ этомъ проклятомъ домѣ только и хорошаго, что одно вино. Какъ не выпьешь лишней чарки? А нечего сказать: каково вино и медъ?.. Хоть у кого съ двухъ стакановъ въ головѣ затрещитъ!

— Не узналъ ли ты чего нибудь о Киршѣ?

— Какъ же! Я вчера встрѣтился съ нимъ на боярскомъ дворѣ, да не успѣлъ двухъ словъ перемолвить: его вели къ боярину.

— Зачѣмъ?

— Не знаю; мнѣ только проболтался одинъ пьяный слуга, что Киршѣ большая честь была: бояринъ подарилъ ему коня и велѣлъ прикащику угощать его, какъ самого себя.

— Что бъ это значило?

— Кто его знаетъ; ужъ не остался ли служить у боя-

рина! Товарищами у него будутъ все сорванцы, да разбойники, онъ самъ запорожскій казакъ, такъ ему житье будетъ привольное; глядишь—еще бояринъ сдѣлаетъ его есауломъ своей разбойничьей шайки! Рыбакъ рыбака далеко въ плесѣ видитъ!

— Нѣтъ, Алексѣй, Кирша добрый малый; онъ не можетъ быть разбойникомъ; и послѣ того, что онъ для меня сдѣлалъ...

— А что такое онъ сдѣлалъ? Онъ былъ у тебя въ долгу, такъ диво ли, что вздумалъ расплатиться? Вѣдь и у разбойника бываетъ подъ-часъ совѣсть, бояринъ; а чтобъ онъ былъ добрый человѣкъ—не вѣрю! Нѣтъ, Юрій Дмитричъ: какъ волка не корми, а онъ все въ лѣсъ глядитъ.

Юрій не отвѣчалъ ни слова; погруженный въ глубокую задумчивость, онъ старался не помышлять о настоящемъ, искалъ, но тщетно, утѣшенія въ будущемъ, и только изрѣдка воспоминаніе о прошедшемъ услаждало его душу. Милославскій былъ свидѣтелемъ минутной славы отечества; онъ самъ, съ вѣрными дружинами, подъ предводительствомъ юноши-героя, безсмертнаго Скопина, громилъ враговъ Россіи; онъ не зналъ тогда страданій безнадежной любви; веселый, безпечный юноша, онъ любилъ Бога, отца, святую Русь и ненавидѣлъ однихъ враговъ ея; а теперь... Ахъ, сколько разъ завидовалъ онъ участи своего полководца, который, какъ будто бы предчувствуя бѣдствія Россіи, торопился украситъ лаврами юное чело свое и, обремененный не лѣтами, но числомъ побѣдъ, похоронить вмѣстѣ съ собою всѣ надежды отечества!

Наши путешественники, миновавъ Балахну, отъ которой отчина боярина Кручины находилась верстахъ въ двадцати, продолжали ѣхать, наблюдая глубокое молчаніе. Соскучивъ не получать отвѣта на свои вопросы, Алексѣй, по обыкновенію, принялся насвистывать пѣсню, и понукать сѣрко, который началъ уже пріостанавливаться. Проведя часа два въ семъ занятіи, онъ потерялъ, наконецъ, терпѣніе и рѣшился снова заговорить съ своимъ господиномъ.

— Пора бы намъ покормить коней,—сказалъ онъ.—Въ Балахнѣ ты не хотѣлъ остановиться, бояринъ, и вотъ ужъ мы проѣхали верстъ пятнадцать, а жилья все нѣтъ, какъ нѣтъ.

— Мнѣ кажется, вонъ тамъ... подлѣ самаго лѣсу... Ты зорокъ, Алексѣй, посмотри: не изба ли это.

— Нѣтъ, Юрій Дмитричъ: это простой шалашъ, или стогъ сѣна, а только не изба.

— Не ошибаюсь ли я? Мнѣ кажется, подлѣ этого шалаша кто то стоитъ... Видишь?

— Вижу, бояринъ: вонъ и конь привязанъ къ дереву... Ну, такъ и есть: это стогъ сѣна. Вѣрно какой-нибудь проѣзжій захотѣлъ покормить даромъ свою лошадь... Никакъ онъ насъ увидѣлъ... Садится на коня... Кой прахъ! Что жъ онъ стоитъ на одномъ мѣстѣ? Ни взадъ, ни впередъ!.. Онъ какъ будто насъ дожидается... Полно, добрый ли человѣкъ?.. Смотри, онъ скачетъ къ намъ!.. Берегись бояринъ!.. Что это? Съ нами крестная сила! Не дьявольское-ли новожденіе?.. Вѣдь онъ остался въ отчинѣ боярина Шалонскаго?... Ахъ, батюшки-свѣты!.. Точно, это Кирша.

— По добру-ли, по здорову, Юрій Дмитричъ?—закричалъ запорожецъ, подскакавъ къ нашимъ путешественникамъ.

— Экъ тебя нелегкая носитъ!—сказалъ Алексѣй.—Что ты, съ неба что ль свалился?

— Нѣтъ, товарищъ, не съ неба свалился, а вырвался изъ ада,— отвѣчалъ запорожецъ, повернувъ свою лошадь.

— Мы думали, что ты остался у боярина Шалонскаго,—сказалъ Юрій.

— Онъ было хотѣлъ меня задержать, да Кирша себѣ на умѣ! По мнѣ лучше быть простымъ казакомъ на волѣ, чѣмъ атаманомъ подъ палкою какого-нибудь боярина. Ну, что, Юрій Дмитричъ, вамъ, чай, пора дать конямъ вздохнуть?

— Доѣдемъ до первой станціи, такъ остановимся.

— Отсюда близехонько есть небольшой выселокъ,—вонъ тамъ... за этимъ лѣсомъ. Я боялся васъ проглядѣть, такъ стоялъ постоемъ на большой дорогѣ.

— И, какъ видно, небольно исхарчился, любезный!— промолвилъ Алексѣй.—Смотри, какъ растрепалъ стогъ сѣна! Наврядъ ли хозяинъ скажетъ тебѣ спасибо.

— А вольно жъ ему ставить стога на большой дорогѣ,— отвѣчалъ хладнокровно запорожецъ.

— Скажи, Кирша,—спросилъ Юрій,—за что ты попалъ въ милость къ боярину Кручинѣ?

— За то, что взялся не за свое дѣло.

— Какъ такъ?

— А вотъ какъ, Юрій Дмитричъ: я былъ смолоду

рыбакомъ, не зналъ устали, трудился день и ночь; разъ пять тонулъ, заносило меня погодою къ басурманамъ; словомъ, натерпѣлся всякаго горя, а деньжонокъ не скопилъ. Пошелъ въ украинскіе казаки, служилъ вѣрой и правдой гетману, рубился съ поляками, дрался съ татарами, сносилъ холодъ и голодъ,—и нечего было послать моимъ старикамъ на одежонку. Записался въ запорожцы, уморилъ съ горя красну дѣвицу, съ которой былъ помолвленъ; терпѣлъ нападки отъ своихъ братьевъ-казаковъ за то, что миловалъ женъ и дѣтей, не увѣчилъ безоружныхъ, не жегъ для забавы дома, когда въ нихъ не было вражеской засады,—и чуть-было меня не зарыли живого въ землю съ однимъ нахаломъ казакомъ, котораго за насмѣшки я хватилъ неловко по головѣ нагайкою: да, къ счастію онъ отдохнулъ. Потомъ таскался два года съ польскимъ войскомъ, лилъ кровь христіанскую, спасъ отъ смерти пана Лисовскаго,—и все-таки не разбогатѣлъ. А вздумалъ однажды на роду прикинуться колдуномъ,—такъ мнѣ за это дали три золотыхъ корабленника, да этого аргамака, которому, вѣришь-ли, Юрій Дмитричъ, цѣны нѣтъ,—промолвилъ Кирша, лаская своего борзаго коня и поглядывая на него съ нѣжностью страстнаго любовника.

— Что за вздоръ!—сказалъ Юрій.—Какъ ты могъ прикинуться колдуномъ?

— И,—бояринъ, мало-ли чѣмъ прикидываются люди на бѣломъ свѣтѣ, да не всѣмъ такъ удается, какъ мнѣ. Знаешь ли, что я не на шутку сдѣлался колдуномъ, и если хочешь, разскажу сейчасъ по пальцамъ, что у тебя на душѣ и о чемъ ты тоскуешь?

— Мудренъ бы ты былъ, еслибъ отгадалъ.

— А вотъ увидишь.

Кирша посмотрѣлъ на него пристально и продолжалъ:

— Бояринъ, тебя сокрушила черноглазая красавица! Не правда ли?

Юрій поглядѣлъ съ удивленіемъ на запорожца.

— Что ты, бояринъ, слушаешь этого балясника!—сказалъ Алексѣй.—Большое диво отгадать, когда я самъ ему объ этомъ проболтался!

— Что дашь, бояринъ,—продолжалъ запорожецъ, не слушая Алексѣя,—если я скажу тебѣ, кто такова родомъ и гдѣ живетъ теперь твоя чернобровая боярышня?

— Перестань шутить, Кирша!

— Я не шучу, Юрій Дмитричъ: ты видалъ ее въ Москвѣ въ соборномъ храмѣ Спаса на Бору.

— Вотъ-те разъ!—вскричалъ Алексѣй.—Да этого я ему не сказывалъ; видитъ Богъ, не сказывалъ! Отъ кого ты узналъ?..

— То ли еще я знаю! Вотъ ты, Юрій Дмитричъ, не вѣдаешь, любитъ ли она тебя, а я знаю.

— Возможно ли? — вскричалъ Милославскій, остановя свою лошадь.

— Да, бояринъ: она по тебѣ сохнетъ пуще, чѣмъ ты по ней.

— И такъ, она еще не замужемъ?

— Нѣтъ.

— Но кто она, гдѣ живетъ? Какъ ты могъ узнать?... Говори, говори скорѣе!...

— И сердце твое не чуяло, чты ты ночевалъ съ ней подъ одною кровлею?... Она дочь боярина Кручины Шалонскаго.

— Невѣста пана Гонсѣвскаго!—вскричалъ Алексѣй.

— Невѣста, а не жена.

— Дочь боярина Кручины!...—прошепталъ Юрій, поблѣднѣвъ, какъ приговоренный къ смерти.—Боярина Кручины!...—повторилъ онъ съ отчаяніемъ.—И такъ все кончено!...

— Нѣтъ, не все, Юрій Дмитричъ! Мало ли что можетъ случиться? И если тебѣ суждено на ней жениться...

— На ней!... Никогда, никогда!—прервалъ Милославскій.—Но, можетъ быть, ты обманулся... Да, добрый Кирша, ты точно обманулся... Эта кроткая дѣвица, этотъ ангелъ красоты—дочь Шалонскаго... Невозможно!...

— Да что мы остановились, бояринъ? Лошадей баляcами не кормятъ. Поѣдемъ шажкомъ впередъ, до деревушки версты три, такъ я успѣю тебѣ разсказать все, и тогда ты повѣришь, что я тебя не обманываю.

Юрій слушалъ со вниманіемъ разсказъ запорожца, и чѣмъ вѣрнѣе казалось, что прекрасная незнакомка—дочь боярина Кручины, тѣмъ мрачнѣе становились его взоры. Онъ не помышлялъ о препятствіяхъ: обстоятельства и время могли ихъ разрушить; его не пугало даже то, что Анастасія была невѣста пана Гонсѣвскаго; но назвать отцомъ своимъ человѣка, котораго онъ презиралъ въ душѣ своей, соединиться узами родства съ злодѣемъ, предателемъ оте-

чества... Ахъ, одна эта мысль превращала въ ничто всѣ его надежды! Еслибъ все благопріятствовало любви его, то собственная его воля была бы непреодолимымъ препятствіемъ. Супругъ дочери боярина Кручины могъ ли, не краснѣя, слышать объ измѣнѣ и предательствѣ? Могъ ли призывать правдивое мщеніе небесъ и согражданъ на главу крамольниковъ, обрекшихъ гибели и вѣчному позору свою родину? Если безъ Анастасіи онъ не могъ быть совершенно счастливымъ, то спокойная совѣсть, чистая, святая любовь къ отечеству, увѣренность, что онъ исполнилъ долгъ православнаго, не посрамилъ имени отца своего,—все могло служить ему утѣшеніемъ и утверждало въ намѣреніи: разстаться навсегда съ любимою его мечтою. Но когда Кирша сталъ разсказывать о разговорѣ своемъ съ Анастасіею, когда Юрій узналъ, какъ былъ любимъ, то все мужество его поколебалось.

— Довольно,—сказалъ онъ прерывающимся голосомъ,—довольно!... Я не хочу знать ничего болѣе.

— Какъ хочешь, бояринъ,—отвѣчалъ Кирша,—взглянувъ съ удивленіемъ на Милославскаго.

— Несчастный! Могъ ли я думать, что блаженнѣйшій часъ въ моей жизни будетъ для меня Божьимъ наказаніемъ!... Не говори, не говори ничего болѣе!

— Я и такъ молчу, бояринъ.

— Ахъ, Кирша, зачѣмъ ты сказалъ мнѣ!... Какой ангелъ тьмы внушилъ тебѣ мысль...

— Виноватъ, Юрій Дмитричъ! Я думалъ тебя порадовать: Анастасья Тимоѳеевна...

— Молчи!... Не произноси никогда этого имени!

— Слушаю, бояринъ.

— Не напоминай мнѣ никогда... или нѣтъ, разскажи мнѣ все! Что она говорила съ тобою?... Знаетъ ли она, что я крушусь по ней, что бѣлый свѣтъ мнѣ опостылѣлъ?...

— Какъ же! Она ожила, когда узнала, что ты ее любишь. Вспомнить не могу,—такъ слезы ручьемъ и полились...

— Боже мой, Боже мой!

— Зарыдала, принялась молиться Богу...

— Перестань Кирша... перестань!...

— Да, помилуй, бояринъ,—сказалъ запорожецъ, не понимая истинной причины горести Милославскаго,—отчего

ты такъ кручинишься? Во-первыхъ, и то слава Богу, что ты узналъ, наконецъ, кто такова твоя незнакомая красавица; во-вторыхъ, почему ты ей не суженый? Ты знаменитаго рода, богатъ, молодецъ собою... Она помолвлена за пана Гонсѣвскаго, а все-таки этой свадьбѣ не бывать. Припомни мое слово: скоро ни одной приходской церкви не останется во владѣніи у гетмана и онъ, со всей своей польскою ордою, не будетъ смѣть изъ Кремля носа показать! Всѣ православные того только и ждутъ, чтобъ подошла рать изъ низовыхъ городовъ, и тогда пойдетъ такая ножевщина... Да что и говорить!... Если всѣ русскіе примутся дружно, такъ гдѣ стоять ляхамъ! Много-ли ихъ?... Шапками закидаемъ!

— Ты забылъ, Кирша, что я цѣловалъ крестъ Владиславу.

— Эхъ, бояринъ! Ну если вы избрали на царство королевича польскаго, такъ что-жъ онъ сидитъ у себя въ Краковѣ? Давай его на-лицо! Пусть приметъ вѣру православную и владѣетъ нами! А то, небойсь, прислали войско, да гетмана, какъ будто бъ мы присягали полякамъ! Нѣтъ, Юрій Дмитричъ, видно по всему, что король-то польскій хочетъ васъ на бобахъ провести.

Никогда еще Юрію не приходила въ голову эта мысль, и хотя она выражена была нѣсколько грубо, но поразила его своею истиною.

— Ахъ, Кирша,—вскричалъ онъ съ восторгомъ,—я позабылъ бы все мое горе, еслибъ могъ увѣриться въ истинѣ словъ твоихъ! Но, къ несчастію, это однѣ догадки; а я клялся быть вѣрнымъ Владиславу,—прибавилъ Юрій, и сверкающій, исполненный мужества, взоръ, оживившій на минуту угрюмое чело его, потухъ, какъ потухаетъ на мрачныхъ осеннихъ небесахъ мгновенный блескъ полуночной зарницы.

Межъ тѣмъ наши путешественники подъѣхали къ деревнѣ, въ которой намѣрены были остановиться. Крайняя изба показалась имъ просторнѣе другихъ и, хотя хозяинъ объявилъ, что у него нѣтъ ничего продажнаго и, казалось, не слишкомъ охотно впустилъ ихъ на дворъ, но Юрій рѣшился у него остановиться. Кирша взялся убрать коней, а Алексѣй отправился искать по другимъ дворамъ для лошадей корма, а для своего господина горшка молока, въ которомъ хозяинъ также отказалъ проѣзжимъ.

Можетъ быть кто-нибудь изъ читателей нашихъ захочетъ знать, почему Кирша не намекнулъ ни Юрію, ни Алексѣю о предстоящей имъ опасности, тѣмъ болѣе, что главною причиною его побѣга изъ отчины Шалонскаго было желаніе предупредить ихъ объ этомъ адскомъ заговорѣ? Но дорогою онъ передумалъ. Счастливый случай открылъ ему сердечную тайну Милославскаго и прекрасной Анастасіи, а вмѣстѣ съ этимъ поселилъ въ душѣ его непреодолимое желаніе, во чтобы ни стало, соединить двухъ любовниковъ. Мы говорили уже, что онъ полагалъ почти священной обязанностью мстить за нанесенную обиду, и, слѣдовательно, не сомнѣвался, что Юрій, узнавъ о злодѣйскомъ умыслѣ боярина Кручины, сдѣлается навсегда непримиримымъ врагомъ его, то-есть, при первомъ удобномъ случаѣ постарается отправить его на тотъ свѣтъ. Хотя Кирша былъ и запорожскимъ казакомъ, но понималъ однакожъ, что нельзя было Юрію въ одно и тоже время мстить Шалонскому и быть мужемъ его дочери; а по сей то самой причинѣ онъ рѣшился до времени молчать, не упуская впрочемъ изъ виду главнѣйшей своей цѣли, то-есть,—спасенія Юрія отъ грозящей ему опасности.

Юрій войдя въ избу, спросилъ хозяина, кому принадлежитъ пѣгая лошадь, которую онъ замѣтилъ, проходя дворомъ.

— Проѣзжій, батюшка,—отвѣчалъ хозяинъ:—ѣдетъ изъ Казани въ Нижній.

— Да гдѣ же онъ?

— Вышелъ поискать себѣ съѣстнаго. У меня и хлѣба-то вдоволь нѣтъ: дней пять тому назадъ нагрянула ко мнѣ цѣлая ватага шишей *), — все пріѣли; слава тебѣ Господи, что голова на плечахъ осталась!

— А развѣ и здѣсь эти разбойники водятся?

— Недавно показались. Послушаешь ихъ, такъ они то одни и стоятъ за вѣру православную; а попадись имъ въ руки хоть басурманъ, хоть полякъ, хоть православный, все равно,—рубашки на тѣлѣ не оставятъ.

— Такъ поэтому теперь опасно ѣздить по вашей дорогѣ?

---

*) Такъ прозвали поляки буйныя толпы, неподчиненныхъ никакому порядку, русскихъ партизановъ, или охотниковъ, которыхъ можно уподобить испанскимъ гверильясамъ.

— Нѣтъ, батюшка, Господь милостивъ! До этихъ храбрецовъ дошла вѣсть, что верстахъ въ тридцати отсюда идетъ польская рать, такъ и давай Богъ ноги! Всѣ кинулись назадъ, по Волгѣ за Нижній, и теперь на большой дорогѣ ни одного шиша не встрѣтишь.

— Вотъ, бояринъ, молоко: кушай на здоровье!—сказалъ Алексѣй, войдя въ избу.—Ну деревенька: словно послѣ пожара,—ничего нѣтъ! Насилу кое-какъ нашелъ два горшечка молока у одной старухи. Хорошо еще, что успѣлъ захватить хоть этотъ; а то какой то проѣзжій хотѣлъ оба взять за себя. Хозяинъ, дай мнѣ хоть хлѣбца! Да нѣтъ-ли стаканчика браги? Одолжи, любезный!

Когда Кирша вошелъ опять въ избу, хозяинъ поставилъ на столъ деревянный жбанъ съ брагою и положилъ каравай хлѣба. Къ счастію, наши путешественники такъ хорошо были угощены наканунѣ, что почти вовсе могли обойтись безъ обѣда. Къ тому же Юрій отказался отъ ѣды, и хотя сначала Алексѣй уговаривалъ его покушать и не дотрогивался до молока, но наконецъ видя, что его господинъ рѣшительно не хочетъ обѣдать, вздохнулъ тяжело, покачалъ головою и принялся, вмѣстѣ съ Киршею, такъ усердно работать около горшка, что въ два мига въ немъ не осталось ни капли молока. Окончивъ эту умѣренную трапезу, Алексѣй вышелъ вонъ изъ избы и, минутъ черезъ пять, прибѣжалъ назадъ, какъ бѣшеный. Никогда еще Милославскій не видалъ своего смиреннаго Алексѣя въ такомъ необычайномъ расположеніи духа; онъ почти былъ увѣренъ, что этотъ тихій малый во всю жизнь свою не сердился ни разу, и потому не удивительно, что съ нѣкоторымъ безпокойствомъ спросилъ: что съ нимъ случилось?

— Что со мной случилось, бояринъ!—отвѣчалъ запыхавшись Алексѣй.—Чортъ бы ее побралъ! Старая колдунья!.. Вѣдьма кіевская!... Слыхано ли дѣло!... Живодерка проклятая!

— Да кто? На кого ты такъ озлился?

— Ну, есть ли въ ней Христосъ: пять алтынъ!... Да стоитъ ли она сама, съ внучатами, съ коровою и со всѣми своими животами пять алтынъ! Ахъ старая карга!.. Смотри, пожалуй, лять алтынъ!

— Скажешь ли ты мнѣ, наконецъ?..

— Какъ бы знато, да вѣдано, такъ я лучше подавился бы сухою коркою, чѣмъ хлебнулъ хоть ложку ея снятаго

молока! Какъ ты думаешь, бояринъ? Эта старушенка проситъ за свой горшечекъ молочишка пять алтынъ!... Пять алтынъ, когда за двѣ копѣйки можно купить цѣлую корчагу сливокъ!

— Ты самъ виноватъ, Алексѣй: зачѣмъ не торговался?

— Да кому придетъ въ голову... Беззубая жидовка!...

— О чемъ тутъ кричать? Заплати ей, что она требуетъ, такъ и дѣло съ концомъ...

— Нѣтъ, бояринъ, хоть убей меня на этомъ мѣстѣ...

— Алексѣй, я не люблю приказывать десять разъ одно и то же.

— Ну, какъ хочешь, бояринъ,—отвѣчалъ Алексѣй, понизивъ голосъ.—Казна твоя, такъ и воля твоя; а я ни за что бы не далъ ей больше копѣйки... Слушаю, Юрій Дмитричъ,— продолжалъ онъ, замѣтивъ нетерпѣніе своего господина.— Сейчасъ расплачусь.

— Позволь мнѣ заплатить ей, бояринъ!—сказалъ Кирша.— Разумѣется, твоими деньгами.

— Пожалуй.

— Давай ка пять алтынъ, Алексѣй. Да, кстати, вотъ никакъ она сама изволитъ сюда идти.

Старуха, въ изорванной кичкѣ и толстомъ сѣромъ зипунѣ, вошла въ избу, перекрестилась и, поклонясь низехонько на всѣ четыре стороны, сказала Алексѣю:

— Ну что жъ, мой кормилецъ, не держи меня, разсчитывайся.

— Вотъ я съ тобой разсчитаюсь, тетка,—сказалъ запорожецъ,—а онъ ничего не знаетъ.—Поди ка сюда! Ты просишь пять алтынъ за твое молоко?

— Да, батюшка, пять алтынъ. Прошу не погнѣваться: я въ своемъ добрѣ вольна...

— Знаю, мой свѣтъ, знаю. Вотъ пять алтынъ—получай.

Старуха съ жадностію схватила деньги и принялась ихъ считать.

— Ну, что, такъ ли?—спросилъ запорожецъ.

— Такъ, батюшка!

— Все ли ты сполна получила?

— Все, отецъ мой!

— Слышишь, хозяинъ! Будь свидѣтелемъ. Ну, тетка, глупа же ты!

— А что, мой кормилецъ?

— Ахъ ты, дура неповитая! Ну тѣ ли времена, чтобъ

продавать горшокъ молока по пяти алтынъ? Мы нигдѣ меньше рубля не платили.

— Какъ такъ, батюшка?

— Да такъ. Опростоволосилась, голубушка, вотъ и все тутъ.

— Не меньше рубля!—повторила старуха, всплеснувъ руками.—Ахъ я глупая! Всѣ то насъ бѣдныхъ обманываютъ...

— И, тетка, на то въ морѣ щука, чтобъ карась не дремалъ.

— Не грѣхъ ли вамъ обижать старуху!

— Да чѣмъ мы тебя обижаемъ? Что запросила, то и даемъ.

— Богъ вамъ судья, господа честные,—обманывать круглую сироту!

— Какая ты сирота!—закричалъ Алексѣй.—У тебя вся изба биткомъ набита внучатами.

— Да, батюшка, малъ-мала меньше!

— Что ты врешь! Меньшой-то внукъ цѣлой головой меня выше. Пошла вонъ, старая хрычевка!

— Пойду, батюшка, пойду! Что ты гонишь! Прощенья просимъ!.. Заплати вамъ, Господь, и въ здѣшнемъ, и въ будущемъ свѣтѣ... Чтобъ вамъ ѣхать, да не доѣхать... Чтобъ вы...

— Ну, ну, проваливай,—прервалъ Алексѣй, выталкивая за дверь старуху.

— Что тебѣ вздумалось сказать этой вѣдьмѣ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Киршѣ,—что мы платимъ вездѣ по рублю за горшокъ молока?

— Какъ что?— отвѣчалъ запорожецъ.— Да знаешь-ли, что она теперь недѣли двѣ ни спать, ни ѣсть не будетъ съ горя; а сверхъ того первый проѣзжій, съ котораго она попроситъ рубль за горшокъ молока, непремѣнно ее поколотитъ... Ну, вотъ посмотри: не правду-ли я говорю?

Въ самомъ дѣлѣ, какой-то проѣзжій, съ которымъ старуха повстрѣчалась у воротъ избы, сказавъ съ ней нѣсколко словъ, принялся таскать ее за волосы, приговаривая: «вотъ тебѣ рубль! вотъ тебѣ рубль!...» Потомъ, бросивъ ей небольшую мѣдную монету, вошелъ на дворъ Кирша смотрѣлъ съ большимъ примѣчаніемъ на этого проѣзжаго; и подлинно, наружность его обратила бы на себя вниманіе самаго нелюбопытнаго человѣка. Онъ былъ необычайно высокъ, но,

вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ плотенъ и широкъ въ плечахъ, что казался почти средняго роста; не только видомъ, но даже ухватками онъ походилъ на медвѣдя, и можно было подумать, что небольшая, обросшая рыжеватыми волосами, голова его, ошибкою попала на туловище, въ которомъ не было ничего человѣческаго. Лицо его выражало какое-то бездушное спокойствіе; небольшіе прищуренные глаза казались заспанными, а голосъ напоминалъ дикій ревъ животнаго, съ которымъ онъ имѣлъ столь близкое сходство. Этотъ уродливый великанъ, войдя въ избу, поклонился нашимъ путешественникамъ и промычалъ.

— Добраго здоровья, господа проѣзжіе!

Кирша вздрогнулъ и сталъ еще внимательнѣе разсматривать незнакомца.

— Откуда ѣдешь, любезный?—спросилъ Юрій.

— Изъ Казани, бояринъ.

— Въ Нижній-Новгородъ?

— Да, въ Нижній.

— Такъ ты намъ попутчикъ?

— Если ваша милость дозволитъ, такъ я отъ васъ не отстану. Хоть, правда, ничего дурного не слышно, а все-таки больше народу—ѣдешь веселѣе.

— Посмотри, добрый человѣкъ,—сказалъ хозяинъ Киршѣ,—изъ вашихъ коней одинъ сорвался: чтобъ со двора не сбѣжалъ!

Кирша поспѣшилъ выйдти на дворъ. Въ самомъ дѣлѣ, его Вихрь оторвался отъ коновязи и подбѣжалъ къ другимъ лошадямъ; но вмѣсто того, чтобъ съ ними драться, чего и должно было ожидать отъ такого дикаго коня, аргамакъ стоялъ смирнехонько подлѣ пѣгой лошади, ласкался къ ней и, казалось, радовался, что былъ съ ней вмѣстѣ.

— Ого,—сказалъ Кирша,—такъ вы съ одной конюшни!.. Вотъ что!.. Видно я не ошибаюсь: не издалека этотъ казанецъ ѣдетъ.

Привязавъ опять на прежнее мѣсто своего коня, онъ возвратился въ избу, подсѣлъ къ проѣзжему, попотчивалъ его брагою и спросилъ, давно-ли онъ изъ Казани.

— Близко недѣли,—отвѣчалъ проѣзжій.

— Знатный городокъ!—продолжалъ запорожецъ.—Я живалъ въ немъ мѣсяцевъ по шести сряду, и у меня есть тамъ задушевный пріятель. Не зналъ ли ты купца изъ мясного ряда, по имени Кирилла Степанова, а по прозванью... какъ

бишь его?.. Дай Богъ память! Тьфу, батюшки... Такое мудреное прозвище... вспомнить не могу!

Тутъ Кирша призадумался, началъ почесывать въ головѣ, топалъ ногою отъ нетерпѣнія и, давъ незнакомому заговорить съ Юріемъ, который сталъ разспрашивать его о Казани, вдругъ вскрикнулъ:

— Омляшъ!

Проѣзжій вздрогнулъ и быстро повернулся къ Киршѣ.

— Да, да, — продолжалъ казакъ, не обращая, повидимому, никакого вниманія на примѣтный испугъ проѣзжаго: вспомнилъ! Омляшъ... иль нѣтъ... Бурдашъ, что-ль?.. Какъ-то этакъ. Не знавалъ ли ты, братъ, этого купчину?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ отрывисто проѣзжій, поглядѣвъ пристально на запорожца, который промолвилъ весьма спокойно:

— Жаль, товарищъ, что ты его не знаешь. Вотъ ужъ близко года, какъ я съ нимъ разстался. Что-то онъ, сердечный, подѣлываетъ? Говорятъ, будто торжишка его худо идетъ?

— Почему мнѣ знать! — отвѣчалъ проѣзжій грубымъ голосомъ. — Если, бояринъ, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Юрію, — ты хочешь засвѣтло пріѣхать въ Нижній, то мѣшкать нечего: чай, дорога плоха, а до города еще не близко.

— За нами дѣло не станетъ,— сказалъ Алексѣй. — Мы поѣли, лошади также,—хоть сейчасъ въ дорогу.

— Ступайте же ребята,— промолвилъ Кирша,— да сѣдлайте коней, а я мигомъ буду готовъ.

Проѣзжій и Алексѣй вышли изъ избы.

— Послушай-ка, Юрій Дмитричъ, — сказалъ запорожецъ,—пистолетъ-то у тебя знатный, да заряженъ ли онъ?

— А что?

— Да такъ, бояринъ: дорожнымъ людямъ дремать не надобно.

— Развѣ ты опасаешься чего-нибудь?

— Времена такія, Юрій Дмитричъ. Конечно, никто какъ Богъ, да не даромъ же пословица въ народѣ: «береженаго и Богъ бережетъ».

Выходя вонъ изъ избы, Кирша повстрѣчался въ сѣняхъ съ хозяиномъ и спросилъ его:

— Далеко ли до Нижняго?

— Верстъ двадцать съ походомъ,—отвѣчалъ хозяинъ.

— Мнѣ помнится, есть овраги?

— Всего одинъ. На половинѣ дороги будетъ часовня, тутъ годовъ съ пятокъ назадъ потеряли трехъ нижегородскихъ купцовъ; а версты полторы за часовней придетъ овражекъ, да небольшой.

— Нельзя ли миновать?

— Нѣтъ-ста, не минуешь. Правда, отъ часовни пойдетъ старая дорога въ городъ; да по ней давно уже не ѣздятъ.

— Что такъ?

— Буеракъ на буеракѣ и, бывало, въ осеннее время вовсе проѣзду нѣтъ.

Кирша пошелъ сѣдлать своего коня и, черезъ четверть часа, наши путешественники отправились въ дорогу. Алексѣй не отставалъ отъ своего господина; а запорожецъ, держась лѣвой стороны проѣзжаго, ѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ шагахъ въ десяти позади. Нѣсколько уже разъ незнакомый посматривалъ съ удивленіемъ на его лошадь.

— Кой чортъ!—сказалъ онъ наконецъ.—Чѣмъ больше я смотрю... Да гдѣ ты добылъ этого коня?

— А на что тебѣ?

— Еслибъ только онъ былъ побойчѣе, такъ я бы въ него вклепался: я точь-въ-точь такого же коня знаю... Ну, вотъ ни-дать ни-взять, и на лбу такая же отмѣтина. Правда, тотъ не пошелъ бы шагомъ, какъ этотъ... а ужъ такъ схожи межъ собой, какъ двѣ капли воды!

— Ага,—сказалъ про себя Кирша,—призналъ боярскаго коня, господинъ казанецъ! Чему дивиться, — промолвилъ онъ громко: — человѣкъ въ человѣка приходитъ, а конь и подавно.

Тутъ дорога, которая версты двѣ извивалась полями, повернула налѣво и пошла лѣсомъ. Кирша попѣвалъ беззаботно веселыя пѣсни, заговаривалъ съ проѣзжимъ, шутилъ; однимъ словомъ, можно было подумать, что онъ совершенно спокоенъ и не опасается ничего. Но въ то же время малѣйшій шорохъ возбуждалъ все его вниманіе: онъ пріостанавливалъ подъ разными предлогами своего коня, бросалъ зоркій взглядъ на обѣ стороны дороги и, казалось, хотѣлъ проникнуть взоромъ въ самую глубину лѣса. Около двухъ часовъ ѣхали они, не встрѣчая никого и не замѣчая никакихъ признаковъ жилья; наконецъ, вдали, подлѣ самой дороги, стало виднѣться что-то похожее на строеніе; но когда

они подъѣхали ближе, то увидѣли, вмѣсто избы, полуразвалившуюся большую часовню. Кирша осадилъ по-легоньку свою лошадь и проѣхавъ нѣсколько шаговъ позади незнакомаго вдругъ вскрикнулъ:

— Гей, товарищъ, посмотри-ка, что у тебя на шапкѣ!

Едва проѣзжій успѣлъ схватить ее съ головы, какъ отъ сильнаго удара нагайкою у него посыпались искры изъ глазъ. Онъ выхватилъ изъ-за пазухи длинный ножъ; но Кирша повторилъ ударъ, — незнакомый зашатался и упалъ съ лошади. Съ быстротою птицы, запорожецъ спрыгнулъ съ коня, кинулся на лежащаго и прежде, чѣмъ онъ могъ очнуться, скрутилъ ему назадъ руки собственнымъ его кушакомъ.

— Что ты, разбойникъ!—вскричалъ Алексѣй.

— Разбойникъ-то лежитъ,— отвѣчалъ спокойно Кирша, затягивая узелъ.

— Съ чего ты взялъ?.. Почему ты знаешь?..—спросилъ торопливо Юрій.

— А потому знаю, что слышалъ своими ушами, какъ этотъ душегубецъ сговаривался съ такими же ворами тебя ограбить. Насъ дожидаются за версту отсюда въ оврагѣ... Ага, собака, очнулся!— сказалъ онъ незнакомцу, который, опомнясь, старался приподняться на ноги. — Да не уйдешь, голубчикъ! Съ вашей братьей расправа короткая, — прибавилъ онъ, вынимая изъ ноженъ саблю.

— Стой Кирша! Я не допущу тебя!—вскричалъ Юрій.— Ну, если ты ошибаешься?...

— Эхъ, бояринъ! Коли не вѣришь мнѣ, такъ посмотри хорошенько на эту рожу. Ну, можно ли съ такой образиной не быть разбойникомъ?

— Побойтесь Бога! Что я вамъ сдѣлалъ? — прохрипѣлъ незнакомый.

— Что, братъ, заговорилъ! — прервалъ запорожецъ. — Такъ говори же все! Если ты покаешься, мы тебя помилуемъ; а если же нѣтъ, такъ прощайся навсегда съ бѣлымъ свѣтомъ! Сказывай, много ли у тебя товарищей въ засадѣ?

— Помилуйте! Какихъ товарищей?

— Слушай, Омляшъ, — закричалъ грознымъ голосомъ Кирша:—я знаю тебя... говори правду!

Незнакомецъ съ ужасомъ взглянулъ на запорожца, но не отвѣчалъ ни слова.

— Такъ видно, братъ, съ тобой одинъ конецъ, — сказалъ Кирша, обнаживъ свою саблю. — Я не хочу губить твоей души, молись Богу!

— Постой!—вскричалъ незнакомый.

— Нѣтъ, намъ некогда съ тобой растабаривать! Кайся проворнѣй въ грѣхахъ, или... Такъ и быть, въ послѣдній разъ, — промолвилъ Кирша, поднявъ свою саблю, — говори сейчасъ, сколько у тебя товарищей?

— Шестеро,—прошепталъ разбойникъ.

— Слышишь, бояринъ? — сказалъ Кирша. — Счастливъ ты, что я далъ тебѣ слово... Дѣлать нечего, околѣвай своей смертью, проклятый! Помогите мнѣ привязать его къ дереву, да нѣтъ ли у васъ чѣмъ нибудь заткнуть ему глотку, а то какъ мы отъѣдемъ, онъ подыметъ такой ревъ, что его за версту услышатъ.

Алексѣй вынулъ изъ кисы платокъ и, пособляя Киршѣ привязать къ дереву разбойника, спросилъ:

— Для чего ты не предувѣдомилъ насъ объ этомъ въ деревнѣ?

— Я боялся, что вы не сумѣете притвориться,—отвѣчалъ запорожецъ. — Этотъ воръ какъ-разъ смекнулъ бы дѣло, далъ тягу, и мы вѣрно бы ихъ рукъ не миновали.

— Но мы и теперь ихъ не минуемъ,—сказалъ Юрій.

— Авось, бояринъ! Богъ милостивъ!— промолвилъ Кирша, садясь на лошадь.—Здѣсь есть другая дорога. Говорятъ, она больно плоха, да все лучше: за то остановки не будетъ.

Кирша поѣхалъ впередъ. Подлѣ самой часовни дорога дѣлилась на-двое: та, которая шла направо, едва была замѣтна и походила болѣе на межевую просѣку, чѣмъ на большую дорогу. Кирша повернулъ по ней и, пробираясь съ большимъ трудомъ сквозь кустарникъ, пеньки и кучи валежника, медленно подвигался впередъ; глубокія рытвины и крутые овраги встрѣчались имъ почти на каждомъ шагу и только изрѣдка, на проталинахъ, едва замѣтныя колеи означали проѣзжую дорогу. Съ полчаса ѣхали они, не говоря ни слова, вдругъ налѣво послышался отдаленный свистъ; ближе къ нимъ отвѣчали тѣмъ же. Кирша остановился и скинулъ шапку. Нѣсколько минутъ, подобно истукану, онъ пробылъ въ этомъ неподвижномъ положеніи. Едва замѣтно было, что онъ переводитъ духъ; казалось, ни одинъ волосъ не пошевелился на головѣ его во все время, какъ онъ прислушивался къ свисту.

— Ну, боярин! — сказалъ онъ, надѣвая шапку, — мы точно ихъ миновали. Теперь надобно выбираться опять на большую дорогу; а не то мы заѣдемъ въ такую трущобу, что какъ-разъ загубимъ всѣхъ коней.

Путешественники стали держаться лѣвой стороны; хотя съ большимъ трудомъ, но попали, наконецъ, на прежнюю дорогу и часа черезъ два, выѣхавъ изъ лѣсу, очутились на луговой сторонѣ Волги, противъ того мѣста, гдѣ впадаетъ въ нее широкая Ока. Огромныя льдины неслись внизъ по ея теченію; весь противоположный берегъ усыпанъ былъ народомъ, а на утесистой горѣ нагорной стороны блестѣли главы соборныхъ храмовъ и бѣлѣлись огромныя башни высокихъ стѣнъ знаменитаго *Новгорода Низовскія земли*.

III.

Наши путешественники находились въ весьма затруднительномъ положеніи: Нижній-Новгородъ былъ передъ ними, но имъ невозможно было переправиться черезъ Волгу, на которой ледъ тронулся и шелъ такъ густо, что на простой рыбачьей лодкѣ нельзя было переѣхать на другую сторону, не подвергая себя неминуемой погибели. Кругомъ ихъ не замѣтно было никакого жилья, кромѣ пустыхъ сараевъ и небольшихъ рыбачьихъ хижинъ безъ дворовъ, повидимому также необитаемыхъ. Проѣхавъ съ версту по берегу рѣки, путешественники увидѣли, наконецъ, избу, передъ которою стояло человѣкъ двадцать рыбаковъ; всѣ они смотрѣли съ большимъ вниманіемъ на противоположный берегъ.

— Глядь-ка, боярин,—сказалъ Алексѣй:—вонъ тамъ у пристани, никакъ человѣкъ идетъ по рѣкѣ!.. Такъ и есть! Ахъ, батюшки-свѣты, кого это нелегкая понесла! Смотри, смотри!.. Ну... поминай какъ звали!

Въ самомъ дѣлѣ, какой-то смѣльчакъ, отойдя шаговъ двадцать отъ противоположнаго берега, провалился сквозь ледъ и утонулъ въ виду множества любопытныхъ, которые толпились на переправѣ.

— Ахъ, Боже мой!—вскричалъ Юрій.— Зачѣмъ пускаютъ этотъ народъ?...

— А кто его удержитъ боярин? Русскій человѣкъ на

томъ стоитъ: гдѣ бѣдовое дѣло, тутъ-то удаль свою и показать.

Межъ тѣмъ они подъѣхали къ рыбакамъ. Одинъ изъ нихъ, сѣдой, какъ лунь, съ жаромъ доказывалъ другимъ, что прохожій не могъ бы утонуть, еслибъ былъ легче на ногу.

— Да, ребята,— говорилъ онъ,— все дѣло въ снаровкѣ, а то какъ не перейти! Льдины толстыя, хоть кого подымутъ.

— Эхъ, Пахомъ Кондратьичъ, — возразилъ одинъ молодой рыбакъ,—какая теперь ходьба! Развѣ, прости Господи, какой ни есть полоумный сунется!

— Охъ, вы, молокососы! — сказалъ сѣдой старикъ, покачивая головою. — Не прежніе мои годы, а то бы я показалъ вамъ, какъ переходятъ по льдинамъ. У насъ, бывало, это плохое дѣло!.. Да, правду-матку сказать, и народъ-то не тотъ былъ.

— Что ты, дѣдушка, больно расхвастался! — прервалъ Кирша. — Неужли то на святой Руси всѣ молодцы повывелись?

— Нѣтъ, господинъ проѣзжій,—отвѣчалъ старикъ, махнувъ рукою,— не видать мнѣ такихъ удальцевъ, какіе бывали въ старину! Да вотъ хоть для вашей бы милости, въ мое время, тотчасъ выискался бы охотникъ перейдти на ту сторону и прислать съ перевозу большую лодку; а теперь, небойсь, дожидайтесь! Увидите, если не придется вамъ ночевать на этомъ берегу. Кто пойдетъ за лодкою?

— Я,—сказалъ одинъ широкоплечій крестьянинъ.

— Ай да молодецъ!—вскричалъ Кирша.—Постой-ка да ты никакъ крестьянинъ боярина Шалонскаго, Ѳедька Хомякъ?

— А ты тотъ прохожій, что разспрашивалъ меня о боринѣ?

— Ну, да! Какъ ты сюда попалъ?

— Да такъ, горе взяло! Житья не было отъ прикащика: взъѣлся на меня за то, что я не снялъ шапки передъ его писаремъ, и ну придираться! За все про все отвѣчай Хомякъ, — мочушки не стало! До насъ дошелъ слухъ, будто бы здѣсь набираютъ вольницу и хотятъ крѣпко стоять за вѣру православную; вотъ я помолился святымъ угодникамъ, да и тягу изъ села... А сиротъ Господь Богъ не покинетъ.

— Послушай, молодецъ, — сказалъ Юрій: — я не хочу, чтобъ ты шелъ для меня на вѣрную смерть. Какъ можно теперь переходить Волгу!

— А почему нѣтъ, бояринъ? Смѣлымъ Богъ владѣетъ! Авось перейду!

— А если ты утонешь?

— Что на роду написано, того не миновать! Дайте-ка мнѣ багоръ.

— На, молодецъ! — сказалъ сѣдой рыбакъ. — Да полно, за свое ли дѣло берешься?

— Авось! Богъ милостивъ!

— Нѣтъ, я не допущу тебя! — вскричалъ Юрій.

— Ой-ли! Такъ лови жъ меня, бояринъ! — сказалъ Хомякъ, перепрыгнувъ черезъ закраину.

— Держись правѣй! — закричалъ сѣдой рыбакъ. — Вотъ такъ!.. Эй, смотри, не становись на эту льдину, не сдержитъ!.. Ай да парень!.. Хорошо, хорошо!.. Отталкивайся живѣй!.. Багромъ то, братъ, багромъ!.. Не туда, не туда! Постой!.. Ну, сбился!.. Не быть пути!..

— Ахти, — вскричалъ Алексѣй, — сорвался... упалъ въ воду!.. Ахъ батюшки!.. Тонетъ, сердечный!..

— Ну, ребята,— сказалъ старикъ:— не правду ли я говорилъ?.. Что нынче за народъ: ни силы, ни проворства... Смотри: какъ ключъ ко дну пошелъ!

— Вынырнулъ! — закричалъ Кирша. — Не робѣй, товарищъ, не робѣй!

— Что толку, что вынырнулъ! — возразилъ сѣдой рыбакъ. — Его какъ разъ затретъ льдинами. Какъ нѣтъ снаровки, такъ смѣлостью не возьмешь...

— Кондратьичъ! Кондратьичъ! — закричалъ одинъ изъ молодыхъ рыбаковъ.—Глядь ка... справился!

— И впрямь справился... Смотри, пожалуй!

— Эва, какъ пошелъ!..—продолжалъ молодой парень.— Со льдины на льдину!.. Ну, хватъ дѣтина!.. А что ты думаешь, дойдетъ, точно дойдетъ!

— Богъ вѣсть!—сказалъ старикъ, покачивая головою.— Вишь какой торопыга, — словно по полю бѣжитъ! Смотри, вплавь пошелъ!.. Дѣло!.. Дѣло!.. Лихо, молодецъ! Знатно!.. Вотъ это по-нашенски!

Крестьянинъ уже былъ на срединѣ рѣки. Ободряемый криками и похвалами, которые долетали до него съ противоположнаго берега, онъ удвоилъ усилія, перепрыгивалъ

съ одной льдины на другую, переправлялся вплавь тамъ, гдѣ ледъ шелъ рѣже, и наконецъ, борясь ежеминутно со смертію, достигъ пристани, гдѣ былъ встрѣченъ радостными восклицаніями необъятной толпы народа. Взойдя на берегъ, онъ отряхнулся, помолился на соборные храмы; потомъ, оборотясь назадъ, отвѣсилъ низкій поклонъ рыбакамъ и Юрію, которые, махая шапками, привѣтствовали его громкимъ крикомъ. Черезъ нѣсколько минутъ, большой досчаникъ отчалилъ отъ берега и, приставъ къ тому мѣсту, гдѣ дожидались проѣзжіе, перевезъ ихъ съ немалымъ трудомъ и опасностію на городскую сторону Волги. Юрій, желая наградить безстрашнаго крестьянина, искалъ его нѣсколько времени въ толпѣ народа; но его уже не было на пристани. Заплатя щедрою рукою за перевозъ, Милославскій разспросилъ, гдѣ живетъ боярин Истома-Туренинъ и отправился къ нему въ домъ, въ сопровожденіи Кирши и Алексѣя.

Чтобъ подняться на гору, Милославскій долженъ былъ проѣхать мимо Благовѣщенскаго монастыря, при подошвѣ котораго соединяется Ока съ Волгою. Пріостановясь на минуту, чтобъ полюбоваться прелестнымъ мѣстоположеніемъ этой древней обители, онъ замѣтилъ полуодѣтаго нищаго, который, на песчаной косѣ, противъ самыхъ монастырскихъ воротъ, игралъ съ дѣтьми и, казалось, забавлялся не менѣе ихъ. Увидѣвъ проѣзжихъ, нищій сдѣлалъ нѣсколько прыжковъ, отъ которыхъ всѣ ребятишки померли со смѣху, и, подбѣжавъ къ Юрію, закричалъ:

— Здравствуй, Дмитричъ!

— А! Митя, ты здѣсь! Когда ты успѣлъ?...

— Эко диво... Шелъ, шелъ, да и пришелъ. Завтра, братъ, здѣсь пиръ во весь міръ, такъ я торопился.

— Какой пиръ?

— А вотъ самъ увидишь. Жаль мнѣ тебя, сердечный! Для всѣхъ будетъ праздникъ, а для тебя будни.

— Какъ такъ, Митя?.. Развѣ я не православный?

— Вотъ то-то и горе, Дмитричъ: ты, чай, справляешь праздники по московскимъ святцамъ?

— Я тебя не понимаю.

— Мало ли чего ты не понимаешь! Самъ виноватъ: не спѣшить было молодцу, не пришлось бы каяться! А у кого ты пристанешь, Дмитричъ?

— У боярина Истомы-Туренина.

— Ай да хватъ! Смотри, пожалуй! Изъ огня, да въ лымя!.. Ну, Дмитричъ, держи ухо востро!.. Ты, чай, наешь, гдѣ сказано: «будьте мудри яко зміи и цѣли яко олубіе?» Смотри, не поддавайся! Андрюшка Туренинъ менъ... Поднесетъ тебѣ сладенькаго, ты разлакомишься, ыпьешь чарку, другую... а какъ зашумитъ въ головушкѣ, акъ и горькое покажется сладкимъ; да каково-то съ помѣлья будетъ!... Станешь каяться, да поздно!

— Спасибо, Митя! Я не забуду твоихъ совѣтовъ. Но нѣ пора...

— Съ Богомъ, голубчикъ, ступай!.. Да слушай, молодецъ: какъ будешь у Сергія, такъ помолись и за меня. Смотри, не забудь!

Сказавъ эти слова, юродивый принялся опять играть съ ебятишками; а Милославскій, поднявшись въ гору, въѣхалъ Ивановскими воротами въ городъ. Первый проходящій показалъ ему, недалеко отъ городской площади, домъ боярина Стомы. Наружность его ничѣмъ не отличалась отъ другихъ домовъ, которые вообще были низки и не красиво остроены. Въ небольшой передней комнатѣ встрѣтился Юрію опрятно одѣтый слуга, и когда Милославскій сказалъ му свое имя, то, попросивъ его подождать, онъ пошелъ отчасъ съ докладомъ къ боярину. Двери черезъ минуту отворились, и хозяинъ съ распростертыми объятіями выбѣжалъ а встрѣчу къ своему гостю.

— Милости просимъ, Юрій Дмитричъ! — воскликнулъ нъ, обнимая Милославскаго. — Добро пожаловать!.. Ну, огъ ли я ожидать такой радости?!.. Сынъ друга моего, илое дитя, которое столько разъ я няньчилъ на рукахъ оихъ — Милославскій у меня въ дому!.. Ахъ, мой родный! Да какъ же ты выросъ, какимъ сталъ молодцомъ!.. й, Парменъ!.. Никаноръ!.. Накрывайте на столъ!.. Напомните слугъ дорогаго гостя, велите убрать лошадей. Да инесите сюда бутылочку имбирнаго меда... Садись, мой сный соколъ!.. Садись, мой красавецъ! Какъ двѣ капли оды—вылитый батюшка... дай Богъ ему царство небесное! абы ты зналъ, Юрій Дмитричъ, какъ мы были съ нимъ ружны!..

— Не погнѣвайся, Андрей Никитичъ: я что-то неомню?..

— Да какъ тебѣ и помнить! Ты былъ еще грудным ебенкомъ, какъ я жилъ въ Москвѣ и водилъ хлѣбъ-соль съ

твоимъ батюшкою. То-то былъ столбовой русскій бояринъ! Терпѣть не могъ поляковъ? Бывало, какъ схватится съ Кривымъ-Салтыковымъ, который всегда стоялъ грудью за этихъ ляховъ, такъ святыхъ вонъ вынеси! Не то бы было, еслибъ онъ еще здравствовалъ! Не пировать бы иновѣрцамъ на святой Руси!... Эхъ? Какъ подумаю, до чего мы дожили, Юрій Дмитричъ, — промолвилъ бояринъ, утирая текущія изъ глазъ слезы,—такъ сердце кровью и обливается!.. Прогнѣвили мы грѣшные, Господа Бога!..

Юрій не могъ опомниться отъ удивленія. Онъ не сомнѣвался, что найдетъ въ пріятелѣ Шалонскаго посѣдѣвшаго въ дѣлахъ, хитраго старика, всей душой привязаннаго къ полякамъ; а вмѣсто того видѣлъ передъ собою человѣка лѣтъ пятидесяти, съ самой привлекательной наружностью, и съ такимъ простодушнымъ и откровеннымъ лицомъ, что, казалось, вся душа его была на языкѣ и, какъ въ чистомъ зеркалѣ, изображалась въ его ясныхъ взорахъ, исполненныхъ добросердечія и чувствительности. Онъ хотѣлъ уже спросить, не живетъ ли въ Нижнемъ другой бояринъ, Истома-Туренинъ; но хозяинъ, не давъ ему времени сдѣлать этотъ вопросъ, продолжалъ:

— Видно ты пошелъ по батюшкѣ, Юрій Дмитричъ!.. Ужъ вѣрно не даромъ къ намъ пожаловалъ! Правду сказать: здѣсь только православные и остались; кабы не Нижній-Новгородъ, то вовсебы земля Русская осиротѣла!.. Помоги вамъ Господь!

— Да, Андрей Никитичъ,—отвѣчалъ Юрій;—я за дѣломъ сюда пріѣхалъ. Меня прислалъ изъ Москвы пріятель мой, панъ Гонсѣвскій,

— Пріятель твой, панъ Гонсѣвскій!—вскричалъ Истома, вскочивъ со скамьи.

— А вчера я ночевалъ у боярина Кручины-Шалонскаго...

— У Тимоѳея Ѳедоровича!... И ты Юрій Дмитричъ Милославскій?..

— Да, бояринъ! Я привезъ къ тебѣ отъ Шалонскаго грамоту.

— Тише! Бога ради, тише!—прошепталъ Истома, поглядывая съ робостію вокругъ себя.—Вотъ что!.. Такъ ты изъ нашихъ!... Ну, что, Юрій Дмитричъ?... Идетъ ли сюда изъ Москвы войско? Размечутъ ли по бревну этотъ крамольный городишка?.. Перевѣшаютъ ли всѣхъ зачинщиковъ? Зароютъ

ли живого въ землю этого разбойника, поджигу, Козьму Сухорукаго?... Давнуть такъ давнуть порядкомъ,—промолвилъ онъ шопотомъ.—Да, Юрій Дмитричъ, такъ чтобъ и правнуки то дрожкой дрожали!

Нѣсколько минутъ Юрій не могъ промолвить ни слова отъ удивленія и ужаса. Его поразили не слова хозяина, а непостижимая перемѣна всей его наружности: въ одно мгновеніе не осталось на лицѣ его и слѣдовъ того простодушія и доброты, которыя сначала плѣнили Милославскаго. Всѣ черты лица его выражали такую нечеловѣческую злобу, онъ съ такимъ адскимъ наслажденіемъ обрекалъ гибели согражданъ своихъ, что Юрій, отступивъ нѣсколько шаговъ назадъ, готовъ былъ оградить себя крестнымъ знаменіемъ. И подлинно, этотъ взоръ, который за минуту до того обворожилъ своимъ добродушіемъ и вдругъ сдѣлался похожимъ на ядовитый взглядъ василиска, напомнилъ такъ живо *соблазнителя*, что набожный Юрій едва удержался и не сотворилъ молитвы: «Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его». Межъ тѣмъ хозяинъ продолжалъ дѣлать ему вопросъ за вопросомъ и, наконецъ, потерявъ терпѣніе, вскричалъ:

— Да отвѣчай же, Юрій Дмитричъ! Что ты на меня такъ уставился?

— Я не могу надивиться, бояринъ... Послѣ первыхъ рѣчей твоихъ...

— То-то молодость, молодость!... Да неужели ты думаешь, что я съ перваго разу все выскажу, что у меня на душѣ? Я живу въ Нижнемъ, а ты сынъ боярина Милославскаго, такъ какъ же я могъ говорить иначе?... Но, тише! Вотъ несутъ медъ!... Подай сюда, Никаноръ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ служителю.—Ну ка, Юрій Дмитричъ, выпьемъ за здравіе храбрыхъ нижегородцевъ и на погибель супостатовъ нашихъ, поляковъ! Услышь Господи, грѣшныя молитвы раба Твоего!—промолвилъ Истома, устремивъ къ небесамъ глаза свои, выражающіе душевное смиреніе и упорную молитву.—Оставь кувшинъ здѣсь и ступай вонъ,—сказалъ онъ слугѣ, осушивъ до дна свой кубокъ.

— Ну, теперь—продолжалъ Истома, притворивъ плотно двери комнаты,—ты можешь, Юрій Дмитричъ, смѣло отвѣчать на мои вопросы: никто не войдетъ.

— Да это напрасная предосторожность,—отвѣчалъ Юрій.— Мнѣ нечего таиться: я присланъ отъ пана Гонсѣвскаго не

съ тѣмъ, чтобы губить нижегородцевъ. Нѣтъ, бояринъ, отсѣки по локоть ту руку, которая подымется на брата, а всѣ русскіе должны быть братьями между собою. Пора намъ вспомнить Бога, Андрей Никитичъ; а не то и Онъ насъ совсѣмъ забудетъ.

— Какъ!... Что это значитъ!...—вскричалъ Истома, измѣнившись въ лицѣ.

— Вотъ листъ боярина Кручины,—прочти. Онъ вѣрно пишетъ въ немъ, зачѣмъ я присланъ и какъ намѣренъ поступать.

Истома принялъ дрожащею рукою письмо и, прочтя его со вниманіемъ, казалось, нѣсколько ободрился.

— Теперь я вижу, о чемъ идетъ дѣло,—сказалъ онъ.—Ты присланъ отъ пана Гонсѣвскаго миротворцемъ. Вѣдь ты цѣловалъ крестъ королевичу Владиславу?

— Да,—отвѣчалъ отрывисто Юрій.

— Такъ въ самомъ дѣлѣ, чего же лучше! Всѣ нижегородскіе жители чтятъ память бывшаго своего воеводы, а твоего покойнаго родителя: можетъ статься, примѣръ твой на нихъ и подѣйствуетъ. Дай то, Господи! Досадуя на ихъ упорство, иногда кажется, вотъ такъ бы и запалилъ съ четырехъ концовъ весь городъ!... А какъ подумаешь, да размыслишь, что они такіе же православные, такъ жаль станетъ. Эхъ, Юрій Дмитричъ, всѣ мы таковы!... Не по нашему дѣлается, такъ на первыхъ порахъ вотъ такъ бы и съѣлъ; а дойдетъ до чего нибудь—хвать, анъ и сердца вовсе нѣтъ! Вотъ хоть теперь: ты, чай, думаешь, куда дескать, Истома-Туренинъ золъ: всѣхъ хочетъ вѣшать, да живыхъ въ землю закапывать!... И, мой родимый!... Дай-ка мнѣ въ самомъ дѣлѣ волю, такъ и бѣшеной собаки не повѣшу... Свое вѣдь, батюшка, родное!

— Я очень радъ, бояринъ, что ты однѣхъ со мною мыслей, и вѣрно не откажешь свести меня съ почетными здѣшними гражданами. Можетъ быть, мнѣ удастся преклонить ихъ къ покорности и доказать, что если междуцарствіе продолжится, то гибель отечества нашего неизбѣжна. Безъ головы и могучее тѣло богатыря...

— Всеконечно такъ! — прервалъ Истома,— ничто иное, какъ безжизненный трупъ, добыча хищныхъ враговъ и плотоядныхъ звѣрей!... Правда, королевичъ Владиславъ молоденекъ и не ему бы править такимъ обширнымъ государствомъ, каково царство Русское; но за то наставникъ

у него хорошъ; премудрый король Сигизмундъ вѣрно
оставитъ его своими совѣтами. Конечно, лучше бы
ыло, еслибъ мы всѣ вразумились, что честнѣе повиноваться
ытному мужу, какъ бы онъ ни назывался: царемъ
Русскимъ или польскимъ королемъ, чѣмъ незрѣлому
ношѣ...

— А кто здѣсь управляетъ дѣлами? — прервалъ Юрій,
елая прекратить разговоръ, возмущающій его душу.

— Да какъ тебѣ сказать: здѣсь много теперь именитыхъ
ѣводъ и бояръ,—отвѣчалъ Туренинъ, — но сила то не въ
ихъ, а знаешь ли въ комъ?... Стыдно сказать, Юрій Дми-
ичъ! Добро бы нашъ братъ, бояринъ или родовой дворя-
инъ; а то какой-то смердъ, бобыль [2]), простой мясникъ!..
рамъ и позоръ для всей земли русской! Этотъ сѣрокафтан-
икъ помыкаетъ цѣлымъ городомъ: что сказалъ Козьма Ми-
ичъ Сухорукій, то и свято. Впередъ знаю, когда будешь
овѣщаться съ здѣшними сановниками, то и его позовутъ;
что жъ ты думаешь: этотъ холопъ, отдавая подобающую
есть боярамъ и воеводамъ, станетъ молчать и во всемъ съ
ними соглашаться? Нѣтъ, Юрій Дмитричъ,—начнетъ орать
уще всѣхъ!... Вотъ до чего мы дожили!

— Однакожъ, бояринъ, видно, этотъ мясникъ чѣмъ ни есть
аслужилъ такую довѣренность своихъ сограждан?

— Вѣстимо чѣмъ: онъ мужикъ ражій, голосъ какъ изъ
очки: а на площади, межъ глупаго народа, тотъ и правъ,
го горланитъ больше другихъ.

— Когда же я могу имѣть свиданіе съ здѣшними сано-
никами?

— Завтра мы сберемся всѣ для этого у князя Дмитрія
Іамстрюковича Черкасскаго.

— И ты надѣешься, что слова мои подѣйствуютъ?

— Богъ вѣсть. Начнутъ, пожалуй, говорить: зачѣмъ
оролевичъ Владиславъ не ѣдетъ въ Москву? Зачѣмъ по-
яки разоряютъ нашу землю? Зачѣмъ король Сигизмундъ
ереть Смоленскъ? Зачѣмъ то, зачѣмъ другое? Всего не пе-
ослушаешь. А кто корень всему злу?.. Бывшій патріархъ
ермогенъ. Этотъ крамольный чернецъ вѣчно шелъ поперекъ
сѣмъ умнымъ боярамъ. Да вотъ, хоть при постриженіи въ
ноки Василія Шуйскаго, онъ одинъ его отстаивалъ и,
огда Шуйскій не сталъ отвѣчать во время обряда, и род-
твенникъ мой, князь Василій Туренинъ, произносилъ за
его всѣ обѣты, то знаешь ли, что сдѣлалъ Гермогенъ?

Провозгласилъ на эктиньѣ Шуйскаго — благовѣрнымъ царемъ Русскимъ; а родственника моего, Туренина — новопостриженнымъ инокомъ Василіемъ! Каково это тебѣ покажется?... Да что и говорить! Сами виноваты: вѣдь охота же была мирволить? Какъ бы съ первыхъ поровъ святѣйшаго Игнатія опять въ патріархи: а Гермогена на смиреніе въ Соловки, такъ давнымъ бы давно все пришло въ порядокъ.

— Не всѣ такъ думаютъ о святѣйшемъ Гермогенѣ, бояринъ; я первый чту его высокую душу и христіанскія добродѣтели. Еслибъ мы всѣ такъ любили наше отечество, какъ сей благочестивый мужъ, то не пришлось бы намъ искать себѣ царя среди иноплеменныхъ... Но что прошло, того не воротишь!

— Конечно, что прошло, то прошло!... Но вотъ намъ несутъ поужинать. Не взыщи, дорогой гость, на убогость моей трапезы! Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады: сегодня я ѣмъ постное. Ты, можетъ быть, не понедѣльничаешь, Юрій Дмитричъ? И на что тебѣ! Не всѣ должны съ такимъ упорствомъ изможжать плоть свою, какъ я, многогрѣшный. Садись-ка, мой родимый, да похлебай этой ушицы. Стерляжья, батюшка! У меня свой садокъ, и не только стерляди, осетры никогда не переводятся.

Послѣ сытнаго ужина, за которымъ хозяинъ не слишкомъ изнурялъ свое грѣховное тѣло, Юрій, простясь съ бояриномъ, пошелъ въ отведенный ему покой. Алексѣй сказалъ ему, что Кирша ушелъ со двора и еще не возвращался. Милославскій уже ложился спать, какъ вдругъ запорожецъ вошелъ въ комнату.

— Я пришелъ проститься съ тобою, бояринъ!—сказалъ онъ.—Ты вѣрно здѣсь не останешься, а я остаюсь.

— Дай Богъ тебѣ всякаго счастія, добрый Кирша! Я никогда не забуду услугъ твоихъ!

— Я также, бояринъ, вѣчно стану помнить, что безъ тебя спалъ бы и теперь еще непробуднымъ сномъ въ чистомъ полѣ. И еслибъ ты не ѣхалъ назадъ въ Москву, то я ни за что бы тебя не покинулъ. А что, Юрій Дмитричъ, неужели то у тебя сердце лежитъ больше къ полякамъ, чѣмъ къ православнымъ? Эй, останься здѣсь, бояринъ!

Юрій вздохнулъ и не отвѣчалъ ни слова. Помолчавъ нѣсколько времени, онъ спросилъ Киршу, при чемъ онъ остается въ Нижнемъ?

— Я встрѣтилъ на площади,— отвѣчалъ запорожецъ,— казацкаго старшину, Смагу-Жигулина, котораго зналъ еще въ Батуринѣ: онъ обрадовался мнѣ, какъ родному брату, и беретъ меня къ себѣ въ есаулы. Кабы ты зналъ, бояринъ, какъ у всѣхъ ратныхъ людей, которые валомъ валятъ въ Нижній, кипитъ въ жилахъ кровь молодецкая! Только и думушки, чтобъ идти въ Бѣлокаменную, да порѣзаться съ поляками. За однимъ дѣло стало: старшаго еще не выбрали, а если нападутъ на удалаго воеводу такъ ляхамъ не сдобровать!

— Но развѣ ты думаешь, Кирша, что всѣ тѣ, которые цѣловали крестъ Владиславу, не станутъ защищать своего законнаго государя?

— Да вѣдь присяга то была со всячинкою, Юрій Дмитричъ: кто волею, кто изъ подъ палки!

— Какъ бы то ни было, но я не теряю надежды. Можетъ быть, нижегородцы склонятся на мирныя предложенія пана Гонсѣвскаго, и когда Владиславъ сдержитъ свое царское слово и пріѣдетъ въ Москву...

— Такъ не за что будетъ и драться... Оно такъ, бояринъ, да нашему-то брату что дѣлать тогда? Не землю же пахать, въ самомъ дѣлѣ!

— А для чего же и не такъ! Одни разбойники живутъ бѣдствіями мирныхъ гражданъ. Нѣтъ, Кирша, пора намъ образумиться и перестать губить отечество въ угоду крамольныхъ бояръ и упитанныхъ кровію нашей грабителей, пановъ Сапѣги и Лисовскаго, которыхъ давно бы не стало съ ихъ разбойничьими шайками, еслибъ русскіе не враждовали сами другъ на друга.

— Можетъ статься, ты и дѣло говоришь, Юрій Дмитричъ,— сказалъ Кирша, почесывая голову;— да удальство то насъ заѣло! Ну, какъ сидѣть весь вѣкъ поджавши руки? Съ тоски умрешь!... Правда, намъ, запорожцамъ, есть чѣмъ позабавиться: татары то крымскіе подъ бокомъ, а все охота забираетъ помѣриться съ ясновельможными поляками... Однакожъ, бояринъ, тебѣ пора, чай отдохнуть. Говорятъ завтра ранехонько будетъ на площади какое-то сходбище: чай и ты захочешь послушать, о чемъ нижегородцы толковать станутъ.

Милославскій распрощался съ Киршею и, несмотря на усталость, провелъ большую часть ночи, размышляя о своемъ положеніи, которое показалось ему вовсе незавидным.

Какъ ни старался Юрій увѣрить самого себя, что, преклонивъ къ покорности нижегородцевъ, онъ исполнитъ долгъ свой и спасетъ отечество отъ бѣдствій междоусобной войны, но, не смотря на всѣ убѣжденія холоднаго разсудка, онъ чувствовалъ, что охотно бы отдалъ половину своей жизни, еслибъ могъ предстать предъ гражданъ нижегородскихъ не посланникомъ пана Гонсѣвскаго, но простымъ воиномъ, готовымъ умереть въ рядахъ ихъ за свободу и независимость Россіи.

IV.

Заря еще не занималась; все спало въ Нижнемъ-Новѣгородѣ; во всѣхъ домахъ и среди опустѣлыхъ его улицъ царствовала глубокая тишина, и только изрѣдка на боярскихъ дворахъ ночные сторожа, стуча сонною рукою въ чугунныя доски, прерывали молчаніе ночи. Въ этотъ часъ, посвященный всеобщему покою, какой-то человѣкъ высокаго роста, закутанный съ ногъ до головы въ черный охобень, пробирался, какъ ночной тать, вдоль по улицѣ, стараясь примѣтнымъ образомъ держаться какъ можно ближе къ заборамъ домовъ. Казалось, малѣйшій шорохъ пугалъ его: онъ останавливался, робко посматривалъ вокругъ себя и, наконецъ, подойдя къ калиткѣ дома боярина Туренина, тихо стукнулъ кольцомъ. Подождавъ нѣсколько времени, онъ повторилъ этотъ знакъ и, когда услышалъ, что кто-то подходитъ къ калиткѣ, то, свистнувъ два раза, отошелъ прочь. Черезъ минуту вышелъ на улицу человѣкъ небольшого роста съ фонаремъ; высокій незнакомецъ, снявъ почтительно свою шапку, открылъ голову, обвязанную полотномъ, на которымъ примѣтны были кровавыя пятна. Они поговорили съ полчаса между собою; потомъ человѣкъ небольшого росту, въ которомъ не трудно было узнать хозяина дома, вошелъ опять на дворъ, а незнакомецъ пустился скорыми шагами по улицѣ, ведущей внизъ горы.

Темноголубыя небеса становились часъ-отъ-часу прозрачнѣе и бѣлѣе; величественная Волга подернулась туманомъ; востокъ запылалъ и первый лучъ восходящаго солнца, осыпавъ искрами позлащенныя главы соборныхъ храмовъ, возвѣстилъ наступленіе незабвеннаго дня, въ который раздался и прогремѣлъ по всей землѣ Русской первый общій кликъ: «Умремъ за вѣру православную и Святую Русь!»

Солнце взошло, но тишина и молчаніе царствовали еще повсюду. Вдругъ прозвучалъ на соборной колокольнѣ первый ударъ колокола, за нимъ другой, вотъ третій... все чаще, все сильнѣе... призывной гулъ промчался по всей окрестности и все ожило въ Нижнемъ-Новѣгородѣ.

— Ахти, никакъ пожаръ! — вскричалъ Алексѣй, вскочивъ съ своей постели. Онъ подбѣжалъ къ окну, подлѣ котораго стоялъ уже его господинъ.—Что бъ это значило?— продолжалъ онъ.—Къ заутрени что ль?.. Нѣтъ, это не благовѣстъ!.. Точно... бьютъ въ набатъ!.. Ну, вотъ и народъ зашевелился!.. Глядь-ка, бояринъ, всѣ бѣгутъ сюда!.. Экъ ихъ высыпало!.. Да этакъ скоро и на улицу не продерешься!

— Одѣвайся, Юрій Дмитричъ, — сказалъ Истома-Туренинъ, войдя въ ихъ покой.—Пойдемъ посмотрѣть, что тамъ еще этотъ глупый народъ затѣваетъ?

Въ двѣ минуты Милославскій и слуга его были уже совсѣмъ одѣты. Они съ трудомъ могли выйдти за ворота дома: вся ихъ улица, ведущая на городскую площадь, кипѣла народомъ.

— Тише, дѣтушки, тише! — говорилъ, запыхавшись, одинъ сѣдой старикъ, котораго двое взрослыхъ внучатъ вели подъ руки.—Дайте духъ перевести!

— Ну, отдохни, дѣдушка,—сказалъ одинъ изъ внучатъ;— да только поскорѣе, а то какъ опоздаемъ, такъ не продеремся къ лобному мѣсту.

— И не услышимъ, что будетъ говорить Козьма Миничъ,—подхватилъ другой внукъ.— Ну, что, отдохнулъ ли, родимый?

— Ухъ, батюшки!.. Погодите!.. Вовсе уморился!

— Напрасно, дѣдушка, ты не остался дома.

— Что ты, дитятко, побойся Бога! Остаться дома, когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ животъ свой положить за матушку святую Русь!.. Да еслибы и васъ у меня не было, такъ я ползкомъ бы приползъ на городскую площадь.

— Постой-ка!.. Да вотъ и батюшка! — сказалъ первый внукъ.—Втроемъ-то мы тебя и на рукахъ донесемъ.

Сынъ и двое внучатъ, подхватя на руки старика, пустились почти бѣгомъ по улицѣ.

— Да что жъ ты отстаешь, жена, — сказалъ, пріостановясь, небольшого роста, но плотный посадскій, обратясь

къ толстой горожанкѣ, которая спотыкаясь и едва дыша отъ усталости, бѣжала вслѣдъ за нимъ.

— Задохнулась, Терентій Никитичъ... Видитъ Богъ, задохнулась!

— Вотъ то-то же! И зачѣмъ тебя нелегкая понесла! Сидѣла бы дома на печи...

— И, батюшка! Да развѣ я не хочу также послушать, о чемъ вы на площади толковать будете?

— Вѣстимо о чемъ: когда идти на супостатовъ.

— И ты пойдешь, Терентій Никитичъ?

— А какъ же? Развѣ я не такой же православный, какъ и всѣ?..

— А ребятишки-то наши! На кого ихъ покинешь?.. Вѣдь малъ-мала меньше!

— Да, жаль, что маленьки! Правда, старшему двѣнадцать годковъ, такъ онъ отъ меня не отстанетъ.

— Какъ, батюшка!.. Ты хочешь?..

— А что жъ? Не подыметъ рогатины, такъ съ ножемъ пойдетъ: авось хоть одного супостата на тотъ свѣтъ отправитъ,—и то бы слава Богу!

Тутъ новая толпа, хлынувъ рѣкою изъ поперечной улицы, увлекла съ собою посадскаго и жену его. Какъ бурное море шумѣлъ и волновался народъ на городской площади; бояре и простолюдины, именитые граждане и люди ратные — всѣ тѣснились вокругъ лобнаго мѣста, на всѣхъ лицахъ изображалось нетерпѣливое ожиданіе. Вдругъ народъ зашумѣлъ болѣе прежняго, раздались громкія восклицанія: «Вотъ Козьма Миничъ! Глядите, вонъ онъ!» И человѣкъ среднихъ лѣтъ, весьма просто одѣтый, но осанистый и видный собою, взошелъ на лобное мѣсто. Оборотясь къ соборнымъ храмамъ, онъ трижды сотворилъ крестное знаменіе, поклонился на всѣ четыре стороны и, по мановенію руки его, утихло все вокругъ лобнаго мѣста; мало-по-малу молчаніе стало распространяться по всей площади, шумъ отдалялся, глухой говоръ безсчисленнаго народа становился все тише... тише... и чрезъ нѣсколько минутъ лишенный зрѣнія могъ бы подумать, что городская площадь совершенно опустѣла.

— Граждане нижегородскіе!— началъ такъ безсмертный Мининъ.—Кто изъ васъ не вѣдаетъ всѣхъ бѣдствій царства Русскаго? Мы всѣ видимъ его гибель и разореніе, а помощи и очищенія ни откуда не чаемъ. Доколѣ злодѣямъ и

супостатамъ напоять землю Русскую кровію нашихъ братьевъ? Доколѣ православнымъ стонать подъ позорнымъ ярмомъ иновѣрцевъ? Отвѣтствуйте, граждане нижегородскіе! Потерпимъ ли мы, чтобъ царствующій градъ повиновался воеводѣ иноплеменному? Предадимъ ли на поруганіе пречистый образъ Владимірскія Божія Матери и честныя многоцѣлебныя мощи Петра, Алексія, Іоны и всѣхъ Московскихъ чудотворцевъ? Покинемъ ли въ рукахъ иновѣрцевъ сиротствующую Москву?.. Отвѣтствуйте, граждане нижегородскіе!

— Нѣтъ, нѣтъ! — загремѣли тысячи голосовъ. — Идемъ къ Москвѣ! Не выдадимъ святую Русь!..

— И такъ, во имя Божіе, къ Москвѣ!.. Но чтобъ не безплодно положить намъ головы и смертію нашей искупить отечество, мы должны избрать достойнаго воеводу. Я былъ въ Пурецкой волости у князя Димитрія Михайловича Пожарскаго; едва излѣчившійся отъ глубокихъ язвъ, сей неустрашимый военачальникъ готовъ снова обнажить мечъ и грянуть Божіею грозой на супостата. Граждане нижегородскіе, хотите ли имѣть его главою? Любъ ли вамъ стольникъ и знаменитый воевода, князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій?

— Хотимъ, хотимъ! Онъ любъ намъ!—воскликнулъ народъ, волнуясь часъ-отъ-часу болѣе.

— Граждане и братіи!—продолжалъ Мининъ.—Неужели, умирая за вѣру христіанскую и желая стяжать нетлѣнное достояніе на небесахъ, мы пожалѣемъ достоянія земного? Нѣтъ, православные! Для содержанія людей ратныхъ отдадимъ все злато и серебро; а если мало и сего, продадимъ всѣ имущества, заложимъ женъ и дѣтей нашихъ... Вотъ все, что я имѣю! — продолжалъ онъ, бросивъ на лобное мѣсто большой мѣшокъ, наполненный серебряною монетою.— И пусть выступитъ желающій купить мой домъ, — съ сего часа онъ принадлежитъ не мнѣ, а Нижнему-Новгороду, а я самъ, мы всѣ, вся кровь наша — земскому дѣлу и всей землѣ русской.

— Отдаемъ всѣ наши имущества! Умремъ за вѣру православную и святую Русь!—загремѣли безчисленные голоса. —Нарекаемъ тебя выборнымъ отъ всея земли человѣкомъ! Храни казну нижегородскую!—воскликнулъ весь народъ.

Въ эту минуту общаго восторга, развернлись западныя двери соборнаго храма Преображенія Господня; и Печерскій

архимандритъ Ѳеодосій, въ сопровожденіи многочисленнаго духовенства, во всемъ облаченіи, со святыми иконами и церковными хоругвями, вышелъ на городскую площадь. Народъ разступился, весь духовный синклитъ взошелъ на лобное мѣсто. Раздался громкій благовѣстъ. Іереи запѣли соборомъ: «Царю небесный, Утѣшителю, Душе истины», и Мининъ, а вслѣдъ за нимъ всѣ граждане преклонили колѣна. Когда жъ, благославляя оружіе христолюбиваго войска, благочестивый архимандритъ Ѳеодосій, возведя къ небесамъ взоръ, исполненный чистѣйшей вѣры, возгласилъ молитву: «Господи Боже нашъ, Боже силъ! Сильный въ крѣпости и крѣпкій во бранѣхъ...», народъ палъ ницъ, зарыдалъ и всѣ мольбы слились въ одну общую, единственную молитву: «да спасетъ Господь царство русское!» По окончаніи молебствія, Ѳеодосій, осѣнивъ животворящимъ крестомъ и окропивъ святою водою усердно молящійся народъ, произнесъ вдохновеннымъ голосомъ: «Съ нами Богъ! Разумѣйте языцы, и покоряйтеся, яко съ нами Богъ! Спѣшите, избранные Господомъ, на спасеніе страждущей Россіи! Какъ огонь палящій, предъидетъ сила Господня предъ вами и посрамится врагъ нечестивый и возрадуются сердца православныхъ! Воины Христовы, не жалѣйте благъ земныхъ: слава нетлѣнная ожидаетъ насъ на землѣ и вѣчное блаженство на небесахъ. Грядите, вѣрные сыны Россіи, грядите во имя Господне! На васъ благословеніе всѣхъ пастырей духовныхъ! За васъ святыя молитвы страдальца Гермогена! Кто противъ васъ? Кто противъ Господа силъ?»

О, какъ недостаточенъ, какъ безсиленъ языкъ человѣческій для выраженія высокихъ чувствъ души, пробудившейся отъ своего земного усыпленія. Сколько жизней можно отдать за одно мгновеніе небеснаго, чистаго восторга, который наполнялъ въ сію торжественную минуту сердца всѣхъ русскихъ! Нѣтъ, любовь къ отечеству не земное чувство! Оно слабый, но вѣрный отголосокъ непреодолимой любви къ тому безвѣстному отечеству, о которомъ, не постигая сами тоски своей, мы скорбимъ и тоскуемъ почти со дня рожденія нашего!

Всѣ спѣшили по домамъ, чтобъ сносить свои имущества на площадь, и не прошло получаса, какъ вокругъ лобнаго мѣста возвышались горы серебряныхъ денегъ, сосудовъ и различныхъ товаровъ: простой холстъ лежалъ подлѣ куска дорогой парчи, мѣшокъ мѣдной монеты—подлѣ кошелька,

наполненнаго золотыми деньгами. Гражданинъ Мининъ принималъ все съ равною лаской, благодарилъ всѣхъ именемъ Нижняго-Новгорода и всей земли русской, и хотя нѣсколько сотъ рабочихъ любей переносили безпрестанно эти дары въ приготовленныя для сего кладовыя на берегу Волги, но число ихъ, казалось, ни мало не уменьшалось.

Старинный нашъ знакомецъ, Алексѣй, находился также въ толпѣ гражданъ, которые тѣснились съ приношеніями вокругъ лобнаго мѣста. Обшаривъ свои карманы и не найдя въ нихъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ монетъ, онъ снималъ ужъ съ себя серебряный крестъ, какъ вдругъ кто-то, ударивъ его по плечу, сказалъ:

— Нѣтъ, братъ, не разставайся съ отцовскимъ благословеніемъ: я положу и за тебя и за себя.

— А, это ты Кирша!—сказалъ Алексѣй.—Какъ, и ты хочешь класть?

— Да, товарищъ! Вотъ въ этомъ мѣшечкѣ все, что я накопилъ; да Богъ съ нимъ! Жаль только, что мало!.. Эге, любезный, ты все еще ревешь! Полно, братъ; что ты разхныкался, словно малый ребенокъ!

— А ты самъ развѣ не плачешь?—отвѣчалъ Алексѣй.

— Кто? Я? Вогъ вздоръ какой!—вскричалъ запорожецъ, утирая рукавомъ свои глаза.—А что ты думаешь,—продолжалъ онъ,—никакъ въ самомъ дѣлѣ? Кой прахъ! Что это, братъ Алексѣй? Мнѣ часто случалось у насъ въ Запорожской сѣчи гулять и веселиться: пьешь, бывало безъ просыпу цѣлую недѣлю, и хоть нельзя сказать, чтобъ было очень весело, а пляшешь и поешь съ утра до вечера. Теперь же, ну вѣришь ли Богу, такъ сердце отъ радости выскочить и хочетъ, а вовсе не до пѣсенъ: все бы плакалъ... Да и всѣ также, на кого ни посмотришь.... Что за диво такое!

Въ самомъ дѣлѣ, все многолюдное собраніе народа составляло въ эту минуту одно благочестивое семейство: не слышно было громкихъ восклицаній; проливая слезы радости и умиленія, какъ въ свѣтлый день Христовъ, всѣ съ братскою любовью обнимали другъ друга... Но кто этотъ отверженный? Кто стоитъ поодаль отъ всей толпы, съ померкшимъ взоромъ, съ отчаяньемъ на челѣ, блѣдный, полумертвый, какъ преступникъ, идущій на казнь, какъ блудный сынъ, взирающій издалека на пирующихъ своихъ братьевъ?.. Ахъ, это Юрій Милославскій! Это тотъ, кто отдалъ бы

тысячу жизней за то, чтобъ воскликнуть вмѣстѣ съ другими: «Умремъ за вѣру православную и святую Русь!» Не смотря на приглашеніе боярина Истомы, который, заливаясь слезами, кричалъ громче всѣхъ: «идемъ къ матушкѣ Москвѣ»,—Юрій не хотѣлъ подойти вмѣстѣ съ нимъ къ лобному мѣсту. Онъ не видѣлъ Минина, не слышалъ словъ его; но видѣлъ общій восторгъ народа, видѣлъ радостныя слезы, усердныя мольбы всѣхъ русскихъ: и какъ отступникъ отъ вѣры отцовъ своихъ, не смѣлъ молиться вмѣстѣ съ ними. Ему казалось, что каждый гражданинъ нижегородскій, проходя мимо его, готовъ былъ сказать: «Презрѣнный рабъ Владислава, чего ты хочешь отъ свободныхъ сыновъ Россіи?.. Бѣги, не оскверняй своимъ присутствіемъ сіе священное торжество вѣры и любви къ отечеству! Ты не русскій, ты не сынъ Милославскаго!» Тутъ вспомнилъ Юрій послѣднія слова умирающаго своего родителя. Благословляя его охладѣвшею уже рукою, онъ сказалъ: «Юрій, держись вѣры православной; не своди дружбы съ врагами нашего отечества и не забывай, что Милославскіе всегда стояли грудью за правду и святую Русь!»

— Такъ,—вскричалъ несчастный юноша,—присутствіе мое при семъ торжествѣ есть оскверненіе святыни! Я не могу, я не долженъ оставаться здѣсь долѣе!

Онъ поспѣшилъ оставить площадь; но на каждомъ шагу встрѣчались ему толпы гражданъ, несущихъ свои имущества; вездѣ раздавались поздравленія, на всѣхъ лицахъ сіяла радость. Пробѣжавъ нѣсколько улицъ, онъ очутился, наконецъ, въ одномъ отдаленномъ предмѣстьи, и, не видя никого вокругъ себя, сѣлъ отдохнуть на скамьѣ, подлѣ воротъ небольшой хижины. Не прошло двухъ минутъ, какъ нѣсколько женщинъ и почти столѣтній старикъ подошелъ къ скамьѣ, на которой сидѣлъ Юрій. Старикъ сѣлъ возлѣ него.

— Какъ это, господинъ честный,—сказалъ онъ,—ты здѣсь, а не на площади?

— Я сейчасъ оттуда,—отвѣчалъ Юрій.

— И я на старости ходилъ. Слава Богу, кой-какъ дотащился; теперь готовъ умереть хоть завтра! Да и пора костямъ на покой!

— Ты, я думаю, очень старъ, дѣдушка?—спросилъ Юрій, стараясь перемѣнить разговоръ.

— Да, молодецъ, безъ малаго годовъ сотню прожилъ, а

на всемъ вѣку не бывалъ такъ радостенъ, какъ сегодня. Благодареніе Творцу Небесному, очнулись наконецъ православные!.. Эхъ, жаль! Кабы Господь продлилъ дни бывшаго воеводы нашего, Дмитрія Юрьевича Милославскаго, то-то былъ бы для него праздникъ!.. Дай Богъ ему царство небесное, столбовой былъ русскій бояринъ!.. Ну, да если не здѣсь, такъ тамъ онъ вмѣстѣ съ нами радуется!

— Я слышала, дѣдушка,—сказала одна изъ женщинъ,—что у него есть сынъ.

— Какъ-же! Помнится, Юрій Дмитріевичъ. Если онъ пошелъ по батюшкѣ, то вѣрно будетъ нашимъ гостемъ и въ Москвѣ съ поляками не останется. Нѣтъ, дѣтушки! *Милославскіе всегда стояли грудью за правду и святую Русь!*

— Ахти,—вскричала одна изъ женщинъ,—что это съ молодцомъ сдѣлалось? Никакъ онъ полоумный... Смотри-ка, дѣдушка, какъ онъ пустился отъ насъ бѣжать! Прямехонько къ Волгѣ... Ахъ, Господи, Боже мой! Долго-ли до грѣха: какъ съ дуру-то нырнетъ въ воду, такъ и поминай какъ звали!

Какъ громомъ пораженный послѣдними словами старика, Юрій, не видя ничего передъ собою, не зная самъ, что дѣлаетъ, пустился бѣжать по узкой улицѣ, ведущей къ Волгѣ. Въ ушахъ его раздавались слова умирающаго отца; ему казалось, что его преслѣдуютъ, что кто-то называетъ его по имени, что множество голосовъ повторяютъ: «Вотъ онъ! Вотъ Милославскій!» Вся кровь застыла въ его жилахъ. Вдругъ ему послышалось, что вслѣдъ на нимъ прогремѣлъ ужасный голосъ: «Да взыдетъ вѣчная клятва на главу измѣнника!» Волосы его стали дыбомъ, смертный холодъ пробѣжалъ по всѣмъ членамъ, въ глазахъ потемнѣло, и онъ упалъ безъ чувствъ въ двухъ шагахъ отъ Волги, на краю утесистаго берега, застроеннаго обширными сараями.

Солнце было уже высоко, когда Милославскій очнулся; подлѣ него стоялъ Алексѣй.

— Слава тебѣ Господи!—вскричалъ онъ, замѣтивъ, что Юрій пришелъ въ себя.—Ну, перепугалъ ты меня, бояринъ! Что это съ тобой сдѣлалось?

— Гдѣ я?—спросилъ Милославскій, взглянувъ съ удивленіемъ вокругъ себя.

— На берегу Волги. Какъ помиловалъ тебя Господь,

Юрій Дмитричъ? И что съ тобою сдѣлалось? Мнѣ сказали на площади, что ты пошелъ внизъ подъ гору, а я за тобой слѣдомъ; гляжу: сидишь смирнехонько подлѣ какого-то старичка, вдругъ какъ будто бы тебя чѣмъ обожгло: какъ вскочишь, да ударишься бѣжать! Я за тобою, а ты пуще! Я ну кричать: «Постой, Юрій Дмитричъ, постой, не бѣги!» А ты пуще... Ну, вѣришь-ли, осипъ, кричавши: «куда, бояринъ, куда?» Гляжу, прямо къ Волгѣ... Сердце у меня замерло!... Да, слава Богу, что тебя обморокъ ошибъ, прежде, чѣмъ ты успѣлъ добѣжать до рѣки. И то бѣда: ужъ оттиралъ, оттиралъ тебя, и водой прыскалъ, и виномъ теръ,—на силу-то очнулся. Да что это, бояринъ, съ тобою попритчилось?

— Такъ, Алексѣй, ничего! Теперь мнѣ лучше. Но скажи... мнѣ помнится, я слышалъ чей-то голосъ... Кто возлѣ меня предавалъ проклятію измѣнника?

— Какого измѣнника, бояринъ? Я ничего не слышалъ.

— Ничего?... А что за народъ толпится вокругъ этихъ сараевъ?.. О чемъ они говорятъ?.. Чу! Слышишь? Они называютъ меня по имени.

— И, нѣтъ, Юрій Дмитричъ; это тебѣ чудится! Развѣ не видишь, сюда складываютъ все, что нижегородцы нанесли на площадь.

— На площадь?... Я также былъ на площади?...

— Какъ же боринъ!

Юрій провелъ рукою по глазамъ и, какъ будто бъ пробудившись отъ глубокаго сна, сказалъ:

— Да, да, теперь я вспомнилъ!.. Мы остановились здѣсь у боярина Истомы-Туренина...

— Да, Юрій Дмитричъ, и, чай, онъ ждетъ тебя къ обѣду.

Юрій, при помощи Алексѣя, приподнялся на ноги и только что хотѣлъ идти, какъ вдругъ позади его кто-то сказалъ:

— Здравствуй, бояринъ! Милости просимъ! Добро пожаловать къ намъ въ Нижній Новгородъ!

Милославскій невольно вздрогнулъ и, бросивъ быстрый взглядъ на того, кто его привѣтствовалъ, узналъ въ немъ тотчасъ таинственнаго незнакомца, съ которымъ ночевалъ на постояломъ дворѣ.

— Ну вотъ, не отгадалъ ли я,—продолжалъ незнакомецъ: Богъ привелъ намъ опять увидѣться.

— Такъ это ты! — вскричалъ Алексѣй.— Я было и на площади призналъ тебя, да боялся вклепаться. Ну, Козьма Миничъ, дай Богъ тебѣ здоровья, красно ты говоришь!

— Какъ,—сказалъ Юрій,—ты тотъ знаменитый гражданинъ?...

— И, бояринъ! Я просто гражданинъ нижегородскій и ничѣмъ другихъ не лучше. Развѣ ты не видѣлъ, какъ всѣ граждане, наперерывъ другъ передъ другомъ, отдавали свои имущества? На мнѣ хоть это платье осталось, а другой послѣднюю одеженку притащилъ на площадь: такъ мнѣ ли хвастаться, бояринъ!

— Но развѣ не ты первый?...

— Ну, да... я первый заговорилъ—такъ что жъ?... Велико дѣло!... Нельзя же всѣмъ разомъ говорить. Не я, такъ заговорилъ бы другой, не другой, такъ третій... А скажи ка, бояринъ, ужъ не хочешь ли и ты пристать къ намъ? Ты цѣловалъ крестъ королевичу Владиславу, а душа-то въ тебѣ все-таки русская.

— Къ несчастью, ты говоришь правду! — сказалъ со вздохомъ Юрій.

— А почему жъ къ несчастью? Скажи мнѣ, легко ль тебѣ было присягать польскому королевичу?

— Ахъ!... Видитъ Богъ, нѣтъ!

— А для чего жъ ты это сдѣлалъ?

— Для того, что былъ увѣренъ и теперь еще... да, и теперь еще надѣюсь, что этою жертвою мы спасемъ отъ гибели наше отечество.

— Вотъ видишь ли, все-таки у тебя отечество на умѣ. Послушай, я скажу тебѣ побасенку, бояринъ. Одинъ мужичекъ, переплывая черезъ рѣку, сталъ тонуть. У него было три сына: меньшой, думая, что онъ одинъ не спасетъ его, принялся кричать, рвать на себѣ волосы и призывать на помощь всѣхъ проходящихъ; между тѣмъ мужикъ выбился изъ силъ, и когда старшій сынъ бросился спасать его, то на силу вытащилъ изъ воды и чуть было самъ не утонулъ съ нимъ вмѣстѣ. На берегу стоялъ третій сынъ, или лучше сказать, пасынокъ; онъ не просилъ помощи, да и самъ не думалъ спасать утопающаго отца, а разсчитывалъ, стоя на одномъ мѣстѣ, какая придется ему часть изъ отцовскаго наслѣдія. Какъ ты думаешь, бояринъ, хоть меньшему сыну и не за что сказать спасибо, а по мнѣ все-таки честнѣе быть имъ чѣмъ пасынкомъ?

Юрій молча пожалъ руку Минина, который продолжалъ:

— Чему дивиться, что ты связалъ себя клятвеннымъ обѣщаніемъ, когда вся Москва сдѣлала то же самое. Да вотъ хоть, напримѣръ, князь Дмитрій Мамстрюковичъ Черкасскій изволилъ мнѣ сказывать, что сегодня у него въ дому сберутся здѣшніе бояре и старшины, чтобъ выслушать гонца, который присланъ къ намъ съ предложеніемъ отъ пана Гонсѣвскаго. И какъ ты думаешь, кто этотъ довѣренный человѣкъ злѣйшаго врага нашего?.. Сынъ бывшаго воеводы нижегородскаго, боярина Милославскаго.

— Да это господинъ мой!—вскричалъ Алексѣй.

— Какъ! Такъ это ты, Юрій Дмитричъ?— сказалъ Мининъ, снявъ почтительно свою шапку и устремивъ на Милославскаго взоръ, исполненный душевнаго состраданія.— Ну, жаль мнѣ тебя! Кому другому, а тебѣ куда должно быть тяжело, боринъ!

— Я исполню долгъ свой, Козьма Миничъ,—отвѣчалъ Юрій.—Я не могу поднять оружія на того, кому клялся въ вѣрности; но никогда руки мои не обагрятся кровію единовѣрцевъ; и если междоусобная война неизбѣжна, то...— тутъ Милославскій остановился; глаза его заблистали...— Да!—продолжалъ онъ, я далъ обѣтъ служить вѣрой и правдой Владиславу: но есть еще клятва, предъ которою ничто всѣ обѣщанія и клятвы земныя... Такъ! Самъ Господь ниспослалъ мнѣ эту мысль; она оживила мою душу!...

Въ самомъ дѣлѣ, давно уже лицо Милославскаго не выражало такой твердой рѣшимости и спокойствія. Вся бодрость его возвратилась.

— Прощай, почтенный гражданинъ!—сказалъ онъ Минину.—Я спѣшу теперь въ домъ боярина Туренина и черезъ нѣсколько часовъ явлюсь вмѣстѣ съ нимъ предъ лицомъ сановниковъ нижегородскихъ, въ числѣ которыхъ надѣюсь увидѣть и тебя. Повторяю еще разъ: я исполню долгъ мой: но.. прошу тебя — не осуждай меня прежде времени!

V.

Часу въ шестомъ пополудни Юрій и боринъ Туренинъ отправились въ домъ къ князю Черкасскому. Проходя го-

кою площадью, на которой никого уже не было, Туре-
сказалъ Юрію:
— Насилу то эти дурачье угомонились! Я право, думалъ,
они до самой ночи протолкаются на площади. Куда, по-
ешь, народъ то глупъ! Сгоряча рады отдать все; а тамъ,
самимъ перекусить нечего будетъ, такъ и заговорятъ
имъ голосомъ. Небойсь, уймутся кричать: «пойдемъ къ
шкѣ Москвѣ!»
— Но, кажется, бояринъ,—сказалъ Юрій, — и ты кри-
вмѣстѣ съ другими?
— Съ волками надо выть по волчьи, Юрій Дмитричъ; и
го свой царь въ головѣ, тотъ не станетъ плыть въ бурю
ивъ годы, да и сговоришь ли съ цѣлымъ народомъ! Вотъ
рь дѣло другое: можно будетъ и потолковать и посу-
. Смотри, Юрій Дмитричъ, говори смѣло! Я знаю на-
дъ, что пуще всѣхъ будутъ противъ мира князь Дмит-
Мамстрюковичъ Черкасскій, да Григорій Образцовъ:
ый потому, что сынъ князя Мамстрюка и такой же
онъ чеченецъ,—ему бы все рѣзаться; а второй оттого,
природный нижегородецъ и терпѣть не можетъ поля-
. Съ другими то сговорить еще можно; правда, они поз-
Козьму Сухорукаго, а этотъ нахалъ станетъ теперь
анить пуще прежняго.
Позволь сказать, бояринъ; мнѣ кажется, онъ человѣкъ
мный.
— Кто? Онъ? Что ты! Иль забылъ, что его наимено-
выборнымъ отъ всея земли человѣкомъ! Такъ ему,
теперь чортъ не братъ! Чего добраго заломается въ
ое мѣсто... Но вотъ и домъ князя Дмитрія Мамстрюко-
...

Пройдя широкимъ дворомъ, посреди котораго возвыша-
обширныя, по тогдашнему времени, каменныя палаты
я Черкасскаго, они добрались, по узкой и круглой
ницѣ, до первой комнаты, гдѣ оставивъ свои верхнія
ья, вошли въ просторный покой, въ которомъ за боль-
ъ столомъ сидѣло человѣкъ около двадцати. Съ перваго
ида можно было узнать хозяина дома, сына знамени-
Черкасскаго князя, по его выразительному смуглому
и большимъ чернымъ глазамъ, въ которыхъ блистало
неукротимое мужество дикихъ сыновъ неприступнаго
аза. По правую руку его сидѣли: татарскій военачаль-
Барай-Мурза Алѣевичъ Кутумовъ, воевода Михайло

Юрій молча пожалъ руку Мини… …щовъ, нѣ-
— Чему дивиться, что т… …ковскихъ пол-
обѣщаніемъ, когда вся … …Петръ Ивановичъ
вотъ хоть, наприм… …Левашевъ, дьякъ
Черкасскій изволи… …ото всѣхъ—граж-
въ дому сберут… …Князь Черкасскій встрѣ-
слушать гонца, … …Ивана Сухорукаго и Милославскаго въ дверяхъ ком-
ніемъ отъ па… …привѣтствій тому и
этотъ довѣрс… …холодныхъ садиться, и, по данному знаку,
Сынъ бывш… …подносъ имъ и хозяину по кружкѣ
скаго.

— Да…

— К… …Юрій Дмитричъ,—сказалъ князь Черкасскій,—поздрав-
нинъ, … …съ счастливымъ пріѣздомъ въ Нижній-Новгородъ,
лослав… …сказать правду, для всѣхъ насъ было бы радостнѣе
Ну, … …выпить этотъ кубокъ за здравіе сына Дмитрія Юрьевича
быт… …Милославскаго, а не посланника отъ поляковъ и вѣрнопод-
даннаго королевича Владислава.

Ю… — Князь Дмитрій Мамстрюковичъ,— сказалъ вполго-
р… …ляхъ бояринъ Мансуровъ;—не забывай нашего уговора: по-
смотри-ка, его въ жаръ бросило отъ твоихъ рѣчей!

— Не вытерпѣлъ, бояринъ! — отвѣчалъ Черкасскій,—
Грустно, видитъ Богъ, грустно! Вѣдь я былъ задушевный
другъ его батюшкѣ… Юрій Дмитричъ, продолжалъ Черкас-
скій, оборотясь къ Милославскому, бояринъ Истома-Туре-
нинъ извѣстилъ насъ, что ты пріѣхалъ съ предложеніями
отъ ляха Гонсѣвскаго, засѣвшаго съ войскомъ въ Москвѣ,
которую взялъ обманомъ и лестію богоотступникъ, Лотеръ
и злодѣй гетманъ Жолкѣвскій.

— Да, да злодѣй гетманъ Жолкѣвскій! — повторилъ Ба-
рай-Мурза.

— Гетманъ Жолкѣвскій не злодѣй,— сказалъ Юрій.—
Еслибъ всѣ совѣтники короля Сигизмунда были столь же
благородны и честны, какъ онъ, то давно бы прекратились
бѣдствія отечества нашего.

— То есть, Владиславъ былъ бы московскимъ воево-
дою!...—прервалъ князь Черкасскій.

— А мы всѣ рабами короля польскаго'...—промолвилъ
насмѣшливо дворянинъ Образцовъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Юрій,—не воеводою, а самодержав-
нымъ и законнымъ царемъ Русскимъ. Жолкѣвскій клялся
въ этомъ и сдержитъ свою клятву: онъ не фальшеръ, не
злодѣй, а храбрый и честный воинъ.

правда, это ложь!—вскричалъ Черкасскій.

да, это ложь!—повторилъ Барай-Мурза.

ь противна Господу, бояре,— сказалъ спокойно -и вотъ почему должно говорить правду даже и тогда, дѣло идетъ о врагахъ нашихъ.

— Защищай, Юрій Дмитричъ, защищай этихъ кровойцъ!—прервалъ хозяинъ.—Да и чему дивиться; свой своу по неволѣ братъ!

— Князь Дмитрій,—шепнулъ бояринъ Мансуровъ,—не обирай своего гостя!

— Рабъ Владислава и угодникъ ляха Гонсѣвскаго никогда не будетъ моимъ гостемъ!— вскричалъ съ возрастающимъ жаромъ князь Черкасскій...— Нѣтъ онъ не гость ой!... Я дозволяю ему объявить, чего желаетъ отъ насъ стойный сподвижникъ грабителя Сапѣги; пусть исполнитъ онъ данное ему отъ Гонсѣвскаго порученіе и забудетъ навсегда, что князь Черкасскій былъ другомъ отца о!

— Да, да, пусть онъ говоритъ, а мы послушаемъ!—сказалъ Барай-Мурза, поглаживая свою густую бороду.

— Не забывай, однакожъ, Юрій Дмитричъ,—прибавилъ бояринъ Образцовъ, бросивъ грозный взглядъ на Юрія,— то ты стоишь передъ сановниками нижегородскими и что ерзкой рѣчью оскорбишь въ лицѣ нашемъ весь Нижній-Новгородъ.

— Я буду говорить истину,—сказалъ хладнокровно Юрій, ставая съ своего мѣста.—Бояре и сановники нижегородскіе! присланъ къ вамъ отъ пана Гонсѣвскаго съ мирнымъ редложеніемъ. Вамъ уже извѣстно, что вся Москва цѣловала крестъ королевичу Владиславу, гетманъ Жолкѣвскій рисягнулъ за него, что онъ испроситъ соизволеніе своего ержавнаго родителя креститься въ вѣру православную: что е потерпитъ въ землѣ Русской ни латинскихъ костеловъ, и другихъ иновѣрныхъ храмовъ, и что станетъ, по древему обычаю благовѣрныхъ Царей Русскихъ, править землею нашею, какъ наслѣдственною своею державою. Не безъизвѣстно также вамъ, что Великій Новгородъ, Псковъ и многіе другіе города станутъ подъ тяжкимъ игомъ свѣйскаго ревоцы, Понтуса; что шайки Тушинскаго вора и запорожскіе казаки грабятъ и разоряютъ наше отечество, и что околѣ оно не изберетъ себѣ главы—не прекратятся мятежи, рамолы и междоусобія. Бояре и сановники нижегородскіе,

архимандритъ Ѳеодосій, въ сопровожденіи многочисленнаго духовенства, во всемъ облаченіи, со святыми иконами и церковными хоругвями, вышелъ на городскую площадь. Народъ разступился, весь духовный синклитъ взошелъ на лобное мѣсто. Раздался громкій благовѣстъ. Іереи запѣли соборомъ: «Царю небесный, Утѣшителю, Душе истины», и Мининъ, а вслѣдъ за нимъ всѣ граждане преклонили колѣна. Когда жъ, благославляя оружіе христолюбиваго войска, благочестивый архимандритъ Ѳеодосій, возведя къ небесамъ взоръ, исполненный чистѣйшей вѣры, возгласилъ молитву: «Господи Боже нашъ, Боже силъ! Сильный въ крѣпости и крѣпкій во бранѣхъ...», народъ палъ ницъ, зарыдалъ и всѣ мольбы слились въ одну общую, единственную молитву: «да спасетъ Господь царство русское!» По окончаніи молебствія, Ѳеодосій, осѣнивъ животворящимъ крестомъ и окропивъ святою водою усердно молящійся народъ, произнесъ вдохновеннымъ голосомъ: «Съ нами Богъ! Разумѣйте языцы, и покоряйтеся, яко съ нами Богъ! Спѣшите, избранные Господомъ, на спасеніе страждущей Россіи! Какъ огонь палящій, предъидетъ сила Господня предъ вами и посрамится врагъ нечестивый и возрадуются сердца православныхъ! Воины Христовы, не жалѣйте благъ земныхъ: слава нетлѣнная ожидаетъ насъ на землѣ и вѣчное блаженство на небесахъ. Грядите, вѣрные сыны Россіи, грядите во имя Господне! На васъ благословеніе всѣхъ пастырей духовныхъ! За васъ святыя молитвы страдальца Гермогена! Кто противъ васъ? Кто противъ Господа силъ?»

О, какъ недостаточенъ, какъ безсиленъ языкъ человѣческій для выраженія высокихъ чувствъ души, пробудившейся отъ своего земного усыпленія. Сколько жизней можно отдать за одно мгновеніе небеснаго, чистаго восторга, который наполнялъ въ сію торжественную минуту сердца всѣхъ русскихъ! Нѣтъ, любовь къ отечеству не земное чувство! Оно слабый, но вѣрный отголосокъ непреодолимой любви къ тому безвѣстному отечеству, о которомъ, не постигая сами тоски своей, мы скорбимъ и тоскуемъ почти со дня рожденія нашего!

Всѣ спѣшили по домамъ, чтобъ сносить свои имущества на площадь, и не прошло получаса, какъ вокругъ лобнаго мѣста возвышались горы серебряныхъ денегъ, сосудовъ и различныхъ товаровъ: простой холстъ лежалъ подлѣ куска дорогой парчи, мѣшокъ мѣдной монеты—подлѣ кошелька,

наполненнаго золотыми деньгами. Гражданинъ Мининъ принималъ все съ равною ласкою, благодарилъ всѣхъ именемъ Нижняго-Новгорода и всей земли русской, и хотя нѣсколько сотъ рабочихъ любей переносили безпрестанно эти дары въ приготовленныя для сего кладовыя на берегу Волги, но число ихъ, казалось, ни мало не уменьшалось.

Старинный нашъ знакомецъ, Алексѣй, находился также въ толпѣ гражданъ, которые тѣснились съ приношеніями вокругъ лобнаго мѣста. Обшаривъ свои карманы и не найдя въ нихъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ монетъ, онъ снималъ ужъ съ себя серебряный крестъ, какъ вдругъ кто-то, ударивъ его по плечу, сказалъ:

— Нѣтъ, братъ, не разставайся съ отцовскимъ благословеніемъ: я положу и за тебя и за себя.

— А, это ты Кирша!—сказалъ Алексѣй.—Какъ, и ты хочешь класть?

— Да, товарищъ! Вотъ въ этомъ мѣшечкѣ все, что я накопилъ; да Богъ съ нимъ! Жаль только, что мало!.. Эге, любезный, ты все еще ревешь! Полно, братъ; что ты разхныкался, словно малый ребенокъ!

— А ты самъ развѣ не плачешь?—отвѣчалъ Алексѣй.

— Кто? Я? Вогъ вздоръ какой!—вскричалъ запорожецъ, утирая рукавомъ свои глаза.—А что ты думаешь,—продолжалъ онъ,—никакъ въ самомъ дѣлѣ? Кой прахъ! Что это, братъ Алексѣй? Мнѣ часто случалось у насъ въ Запорожской сѣчи гулять и веселиться: пьешь, бывало безъ просыпу цѣлую недѣлю, и хоть нельзя сказать, чтобъ было очень весело, а пляшешь и поешь съ утра до вечера. Теперь же, ну вѣришь ли Богу, такъ сердце отъ радости выскочить и хочетъ, а вовсе не до пѣсенъ: все бы плакалъ... Да и всѣ также, на кого ни посмотришь.... Что за диво такое!

Въ самомъ дѣлѣ, все многолюдное собраніе народа составляло въ эту минуту одно благочестивое семейство: не слышно было громкихъ восклицаній; проливая слезы радости и умиленія, какъ въ свѣтлый день Христовъ, всѣ съ братскою любовью обнимали другъ друга... Но кто этотъ отверженный? Кто стоитъ поодаль отъ всей толпы, съ померкшимъ взоромъ, съ отчаяньемъ на челѣ, блѣдный, полумертвый, какъ преступникъ, идущій на казнь, какъ блудный сынъ, взирающій издалека на пирующихъ своихъ братьевъ?.. Ахъ, это Юрій Милославскій! Это тотъ, кто отдалъ бы

тысячу жизней за то, чтобъ воскликнуть вмѣстѣ съ другими: «Умремъ за вѣру православную и святую Русь!» Не смотря на приглашеніе боярина Истомы, который, заливаясь слезами, кричалъ громче всѣхъ: «идемъ къ матушкѣ Москвѣ»,—Юрій не хотѣлъ подойти вмѣстѣ съ нимъ къ лобному мѣсту. Онъ не видѣлъ Минина, не слышалъ словъ его; но видѣлъ общій восторгъ народа, видѣлъ радостныя слезы, усердныя мольбы всѣхъ русскихъ: и какъ отступникъ отъ вѣры отцовъ своихъ, не смѣлъ молиться вмѣстѣ съ ними. Ему казалось, что каждый гражданинъ нижегородскій, проходя мимо его, готовъ былъ сказать: «Презрѣнный рабъ Владислава, чего ты хочешь отъ свободныхъ сыновъ Россіи?.. Бѣги, не оскверняй своимъ присутствіемъ сіе священное торжество вѣры и любви къ отечеству! Ты не русскій, ты не сынъ Милославскаго!» Тутъ вспомнилъ Юрій послѣднія слова умирающаго своего родителя. Благословляя его охладѣвшею уже рукою, онъ сказалъ: «Юрій, держись вѣры православной; не своди дружбы съ врагами нашего отечества и не забывай, что Милославскіе всегда стояли грудью за правду и святую Русь!»

— Такъ,—вскричалъ несчастный юноша,—присутствіе мое при семъ торжествѣ есть оскверненіе святыни! Я не могу, я не долженъ оставаться здѣсь долѣе!

Онъ поспѣшилъ оставить площадь; но на каждомъ шагу встрѣчались ему толпы гражданъ, несущихъ свои имущества; вездѣ раздавались поздравленія, на всѣхъ лицахъ сіяла радость. Пробѣжавъ нѣсколько улицъ, онъ очутился, наконецъ, въ одномъ отдаленномъ предмѣстьи, и, не видя никого вокругъ себя, сѣлъ отдохнуть на скамьѣ, подлѣ воротъ небольшой хижины. Не прошло двухъ минутъ, какъ нѣсколько женщинъ и почти столѣтній старикъ подошелъ къ скамьѣ, на которой сидѣлъ Юрій. Старикъ сѣлъ возлѣ него.

— Какъ это, господинъ честный,—сказалъ онъ,—ты здѣсь, а не на площади?

— Я сейчасъ оттуда,—отвѣчалъ Юрій.

— И я на старости ходилъ. Слава Богу, кой-какъ дотащился; теперь готовъ умереть хоть завтра! Да и пора костямъ на покой!

— Ты, я думаю, очень старъ, дѣдушка?—спросилъ Юрій, стараясь перемѣнить разговоръ.

— Да, молодецъ, безъ малаго годовъ сотню прожилъ, а

на всемъ вѣку не бывалъ такъ радостенъ, какъ сегодня. Благодареніе Творцу Небесному, очнулись наконецъ православные!.. Эхъ, жаль! Кабы Господь продлилъ дни бывшаго воеводы нашего, Дмитрія Юрьевича Милославскаго, то-то былъ бы для него праздникъ!.. Дай Богъ ему царство небесное, столбовой былъ русскій бояринъ!.. Ну, да если не здѣсь, такъ тамъ онъ вмѣстѣ съ нами радуется!

— Я слышала, дѣдушка,—сказала одна изъ женщинъ,— что у него есть сынъ.

— Какъ-же! Помнится, Юрій Дмитріевичъ. Если онъ пошелъ по батюшкѣ, то вѣрно будетъ нашимъ гостемъ и въ Москвѣ съ поляками не останется. Нѣтъ, дѣтушки! *Милославскіе всегда стояли грудью за правду и святую Русь!*

— Ахти,—вскричала одна изъ женщинъ,—что это съ молодцомъ сдѣлалось? Никакъ онъ полоумный... Смотри-ка, дѣдушка, какъ онъ пустился отъ насъ бѣжать! Прямехонько къ Волгѣ... Ахъ, Господи, Боже мой! Долго-ли до грѣха: какъ съ дуру-то нырнетъ въ воду, такъ и поминай какъ звали!

Какъ громомъ пораженный послѣдними словами старика, Юрій, не видя ничего передъ собою, не зная самъ, что дѣлаетъ, пустился бѣжать по узкой улицѣ, ведущей къ Волгѣ. Въ ушахъ его раздавались слова умирающаго отца; ему казалось, что его преслѣдуютъ, что кто-то называетъ его по имени, что множество голосовъ повторяютъ: «Вотъ онъ! Вотъ Милославскій!» Вся кровь застыла въ его жилахъ. Вдругъ ему послышалось, что вслѣдъ на нимъ прогремѣлъ ужасный голосъ: «Да взыдетъ вѣчная клятва на главу измѣнника!» Волосы его стали дыбомъ, смертный холодъ пробѣжалъ по всѣмъ членамъ, въ глазахъ потемнѣло, и онъ упалъ безъ чувствъ въ двухъ шагахъ отъ Волги, на краю утесистаго берега, застроеннаго обширными сараями.

Солнце было уже высоко, когда Милославскій очнулся; подлѣ него стоялъ Алексѣй.

— Слава тебѣ Господи!—вскричалъ онъ, замѣтивъ, что Юрій пришелъ въ себя.—Ну, перепугалъ ты меня, бояринъ! Что это съ тобой сдѣлалось?

— Гдѣ я?—спросилъ Милославскій, взглянувъ съ удивленіемъ вокругъ себя.

— На берегу Волги. Какъ помиловалъ тебя Господь,

Юрій Дмитричъ? И что съ тобою сдѣлалось? Мнѣ сказали на площади, что ты пошелъ внизъ подъ гору, а я за тобой слѣдомъ; гляжу: сидишь смирнехонько подлѣ какого-то старичка, вдругъ какъ будто бы тебя чѣмъ обожгло: какъ вскочишь, да ударишься бѣжать! Я за тобою, а ты пуще! Я ну кричать: «Постой, Юрій Дмитричъ, постой, не бѣги!» А ты пуще... Ну, вѣришь-ли, осипъ, кричавши: «куда, бояринъ, куда?» Гляжу, прямо къ Волгѣ... Сердце у меня замерло!... Да, слава Богу, что тебя обморокъ ошибъ, прежде, чѣмъ ты успѣлъ добѣжать до рѣки. И то бѣда: ужъ оттиралъ, оттиралъ тебя, и водой прыскалъ, и виномъ теръ,—на силу-то очнулся. Да что это, бояринъ, съ тобою попритчилось?

— Такъ, Алексѣй, ничего! Теперь мнѣ лучше. Но скажи... мнѣ помнится, я слышалъ чей-то голосъ... Кто возлѣ меня предавалъ проклятію измѣнника?

— Какого измѣнника, бояринъ? Я ничего не слышалъ.

— Ничего?... А что за народъ толпится вокругъ этихъ сараевъ?.. О чемъ они говорятъ?.. Чу! Слышишь? Они называютъ меня по имени.

— И, нѣтъ, Юрій Дмитричъ; это тебѣ чудится! Развѣ не видишь, сюда складываютъ все, что нижегородцы нанесли на площадь.

— На площадь?... Я также былъ на площади?...

— Какъ же бояринъ!

Юрій провелъ рукою по глазамъ и, какъ будто бъ пробудившись отъ глубокаго сна, сказалъ:

— Да, да, теперь я вспомнилъ!.. Мы остановились здѣсь у боярина Истомы-Туренина...

— Да, Юрій Дмитричъ, и, чай, онъ ждетъ тебя къ обѣду.

Юрій, при помощи Алексѣя, приподнялся на ноги и только что хотѣлъ идти, какъ вдругъ позади его кто-то сказалъ:

— Здравствуй, бояринъ! Милости просимъ! Добро пожаловать къ намъ въ Нижній Новгородъ!

Милославскій невольно вздрогнулъ и, бросивъ быстрый взглядъ на того, кто его привѣтствовалъ, узналъ въ немъ тотчасъ таинственнаго незнакомца, съ которымъ ночевалъ на постояломъ дворѣ.

— Ну вотъ, не отгадалъ ли я,—продолжалъ незнакомецъ: Богъ привелъ намъ опять увидѣться.

— Такъ это ты! — вскричалъ Алексѣй.— Я было и на площади призналъ тебя, да боялся вклепаться. Ну, Козьма Миничъ, дай Богъ тебѣ здоровья, красно ты говоришь!

— Какъ,—сказалъ Юрій,—ты тотъ знаменитый гражданинъ?...

— И, бояринъ! Я просто гражданинъ нижегородскій и ничѣмъ другихъ не лучше. Развѣ ты не видѣлъ, какъ всѣ граждане, наперерывъ другъ передъ другомъ, отдавали свои имущества? На мнѣ хоть это платье осталось, а другой послѣднюю одеженку притащилъ на площадь: такъ мнѣ ли хвастаться, бояринъ!

— Но развѣ не ты первый?...

— Ну, да... я первый заговорилъ—такъ что жъ?... Велико дѣло... Нельзя же всѣмъ разомъ говорить. Не я, такъ заговорилъ бы другой, не другой, такъ третій... А скажи ка, бояринъ, ужъ не хочешь ли и ты пристать къ намъ? Ты цѣловалъ крестъ королевичу Владиславу, а душа-то въ тебѣ все-таки русская.

— Къ несчастью, ты говоришь правду! — сказалъ со вздохомъ Юрій.

— А почему жъ къ несчастью? Скажи мнѣ, легко ль тебѣ было присягать польскому королевичу?

— Ахъ!... Видитъ Богъ, нѣтъ!

— А для чего жъ ты это сдѣлалъ?

— Для того, что былъ увѣренъ и теперь еще... да, и теперь еще надѣюсь, что этою жертвою мы спасемъ отъ гибели наше отечество.

— Вотъ видишь ли, все-таки у тебя отечество на умѣ. Послушай, я скажу тебѣ побасенку, бояринъ. Одинъ мужичекъ, переплывая черезъ рѣку, сталъ тонуть. У него было три сына: меньшой, думая, что онъ одинъ не спасетъ его, принялся кричать, рвать на себѣ волосы и призывать на помощь всѣхъ проходящихъ; между тѣмъ мужикъ выбился изъ силъ, и когда старшій сынъ бросился спасать его, то на силу вытащилъ изъ воды и чуть было самъ не утонулъ съ нимъ вмѣстѣ. На берегу стоялъ третій сынъ, или лучше сказать, пасынокъ; онъ не просилъ помощи, да и самъ не думалъ спасать утопающаго отца, а разсчитывалъ, стоя на одномъ мѣстѣ, какая придется ему часть изъ отцовскаго наслѣдія. Какъ ты думаешь, бояринъ, хоть меньшему сыну и не за что сказать спасибо, а по мнѣ все-таки честнѣе быть имъ чѣмъ пасынкомъ?

Какъ ни старался Юрій увѣрить самого себя, что, преклонивъ къ покорности нижегородцевъ, онъ исполнитъ долгъ свой и спасетъ отечество отъ бѣдствій междоусобной войны, но, не смотря на всѣ убѣжденія холоднаго разсудка, онъ чувствовалъ, что охотно бы отдалъ половину своей жизни, еслибъ могъ предстать предъ гражданъ нижегородскихъ не посланникомъ пана Гонсѣвскаго, но простымъ воиномъ, готовымъ умереть въ рядахъ ихъ за свободу и независимость Россіи.

IV.

Заря еще не занималась; все спало въ Нижнемъ-Новѣгородѣ; во всѣхъ домахъ и среди опустѣлыхъ его улицъ царствовала глубокая тишина, и только изрѣдка на боярскихъ дворахъ ночные сторожа, стуча сонною рукою въ чугунныя доски, прерывали молчаніе ночи. Въ этотъ часъ, посвященный всеобщему покою, какой-то человѣкъ высокаго роста, закутанный съ ногъ до головы въ черный охобень, пробирался, какъ ночной тать, вдоль по улицѣ, стараясь примѣтнымъ образомъ держаться какъ можно ближе къ заборамъ домовъ. Казалось, малѣйшій шорохъ пугалъ его: онъ останавливался, робко посматривалъ вокругъ себя и, наконецъ, подойдя къ калиткѣ дома боярина Туренина, тихо стукнулъ кольцомъ. Подождавъ нѣсколько времени, онъ повторилъ этотъ знакъ и, когда услышалъ, что кто-то подходитъ къ калиткѣ, то, свистнувъ два раза, отошелъ прочь. Черезъ минуту вышелъ на улицу человѣкъ небольшого роста съ фонаремъ; высокій незнакомецъ, снявъ почтительно свою шапку, открылъ голову, обвязанную полотномъ, на которымъ примѣтны были кровавыя пятна. Они поговорили съ полчаса между собою; потомъ человѣкъ небольшого росту, въ которомъ не трудно было узнать хозяина дома, вошелъ опять на дворъ, а незнакомецъ пустился скорыми шагами по улицѣ, ведущей внизъ горы.

Темноголубыя небеса становились часъ-отъ-часу прозрачнѣе и бѣлѣе; величественная Волга подернулась туманомъ; востокъ запылалъ и первый лучъ восходящаго солнца, осыпавъ искрами позлащенныя главы соборныхъ храмовъ, возвѣстилъ наступленіе незабвеннаго дня, въ который раздался и прогремѣлъ по всей землѣ Русской первый общій кликъ: «Умремъ за вѣру православную и Святую Русь!»

Солнце взошло, но тишина и молчаніе царствовали еще повсюду. Вдругъ прозвучалъ на соборной колокольнѣ первый ударъ колокола, за нимъ другой, вотъ третій... все чаще, все сильнѣе... призывной гулъ промчался по всей окрестности и все ожило въ Нижнемъ-Новѣгородѣ.

— Ахти, никакъ пожаръ! — вскричалъ Алексѣй, вскочивъ съ своей постели. Онъ подбѣжалъ къ окну, подлѣ котораго стоялъ уже его господинъ.—Что бъ это значило?— продолжалъ онъ.—Къ заутрени что ль?.. Нѣтъ, это не благовѣстъ!.. Точно... бьютъ въ набатъ!.. Ну, вотъ и народъ зашевелился!.. Глядь-ка, бояринъ, всѣ бѣгутъ сюда!.. Экъ ихъ высыпало!.. Да этакъ скоро и на улицу не продерешься!

— Одѣвайся, Юрій Дмитричъ, — сказалъ Истома-Туренинъ, войдя въ ихъ покой.—Пойдемъ посмотрѣть, что тамъ еще этотъ глупый народъ затѣваетъ?

Въ двѣ минуты Милославскій и слуга его были уже совсѣмъ одѣты. Они съ трудомъ могли выйдти за ворота дома: вся ихъ улица, ведущая на городскую площадь, кипѣла народомъ.

— Тише, дѣтушки, тише! — говорилъ, запыхавшись, одинъ сѣдой старикъ, котораго двое взрослыхъ внучатъ вели подъ руки.—Дайте духъ перевести!

— Ну, отдохни, дѣдушка,—сказалъ одинъ изъ внучатъ;— да только поскорѣе, а то какъ опоздаемъ, такъ не продеремся къ лобному мѣсту.

— И не услышимъ, что будетъ говорить Козьма Миничъ,—подхватилъ другой внукъ.— Ну, что, отдохнулъ ли, родимый?

— Ухъ, батюшки!.. Погодите!.. Вовсе уморился!

— Напрасно, дѣдушка, ты не остался дома.

— Что ты, дитятко, побойся Бога! Остаться дома, когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ животъ свой положить за матушку святую Русь!.. Да еслибы и васъ у меня не было, такъ я ползкомъ бы приползъ на городскую площадь.

— Постой-ка!.. Да вотъ и батюшка! — сказалъ первый внукъ.—Втроемъ-то мы тебя и на рукахъ донесемъ.

Сынъ и двое внучатъ, подхватя на руки старика, пустились почти бѣгомъ по улицѣ.

— Да что жъ ты отстаешь, жена, — сказалъ, пріостановясь, небольшого роста, но плотный посадскій, обратясь

къ толстой горожанкѣ, которая спотыкаясь и едва дыша отъ усталости, бѣжала вслѣдъ за нимъ.

— Задохнулась, Терентій Никитичъ... Видитъ Богъ, задохнулась!

— Вотъ то-то же! И зачѣмъ тебя нелегкая понесла! Сидѣла бы дома на печи...

— И, батюшка! Да развѣ я не хочу также послушать, о чемъ вы на площади толковать будете?

— Вѣстимо о чемъ: когда идти на супостатовъ.

— И ты пойдешь, Терентій Никитичъ?

— А какъ же? Развѣ я не такой же православный, какъ и всѣ?..

— А ребятишки-то наши! На кого ихъ покинешь?.. Вѣдь малъ-мала меньше!

— Да, жаль, что маленьки! Правда, старшему двѣнадцать годковъ, такъ онъ отъ меня не отстанетъ.

— Какъ, батюшка!.. Ты хочешь?..

— А что жъ? Не подыметъ рогатины, такъ съ ножемъ пойдетъ: авось хоть одного супостата на тотъ свѣтъ отправитъ,—и то бы слава Богу!

Тутъ новая толпа, хлынувъ рѣкою изъ поперечной улицы, увлекла съ собою посадскаго и жену его. Какъ бурное море шумѣлъ и волновался народъ на городской площади; бояре и простолюдины, именитые граждане и люди ратные — всѣ тѣснились вокругъ лобнаго мѣста, на всѣхъ лицахъ изображалось нетерпѣливое ожиданіе. Вдругъ народъ зашумѣлъ болѣе прежняго, раздались громкія восклицанія: «Вотъ Козьма Миничъ! Глядите, вонъ онъ!» И человѣкъ среднихъ лѣтъ, весьма просто одѣтый, но осанистый и видный собою, взошелъ на лобное мѣсто. Оборотясь къ соборнымъ храмамъ, онъ трижды сотворилъ крестное знаменіе, поклонился на всѣ четыре стороны и, по мановенію руки его, утихло все вокругъ лобнаго мѣста; мало-по-малу молчаніе стало распространяться по всей площади, шумъ отдалялся, глухой говоръ безсчисленнаго народа становился все тише... тише... и чрезъ нѣсколько минутъ лишенный зрѣнія могъ бы подумать, что городская площадь совершенно опустѣла.

— Граждане нижегородскіе!— началъ такъ безсмертный Мининъ.—Кто изъ васъ не вѣдаетъ всѣхъ бѣдствій царства Русскаго? Мы всѣ видимъ его гибель и разореніе, а помощи и очищенія ни откуда не чаемъ. Доколѣ злодѣямъ и

супостатамъ напоять землю Русскую кровію нашихъ братьевъ? Доколѣ православнымъ стонать подъ позорнымъ ярмомъ иновѣрцевъ? Отвѣтствуйте, граждане нижегородскіе! Потерпимъ ли мы, чтобъ царствующій градъ повиновался воеводѣ иноплеменному? Предадимъ ли на поруганіе пречистый образъ Владимірскія Божія Матери и честныя многоцѣлебныя мощи Петра, Алексія, Іоны и всѣхъ Московскихъ чудотворцевъ? Покинемъ ли въ рукахъ иновѣрцевъ сиротствующую Москву?.. Отвѣтствуйте, граждане нижегородскіе!

— Нѣтъ, нѣтъ! — загремѣли тысячи голосовъ. — Идемъ къ Москвѣ! Не выдадимъ святую Русь!..

— И такъ, во имя Божіе, къ Москвѣ!.. Но чтобъ не безплодно положить намъ головы и смертію нашей искупить отечество, мы должны избрать достойнаго воеводу. Я былъ въ Пурецкой волости у князя Димитрія Михайловича Пожарскаго; едва излѣчившійся отъ глубокихъ язвъ, сей неустрашимый военачальникъ готовъ снова обнажить мечъ и грянуть Божіею грозой на супостата. Граждане нижегородскіе, хотите ли имѣть его главою? Любъ ли вамъ стольникъ и знаменитый воевода, князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій?

— Хотимъ, хотимъ! Онъ любъ намъ!—воскликнулъ народъ, волнуясь часъ-отъ-часу болѣе.

— Граждане и братіи!—продолжалъ Мининъ.—Неужели, умирая за вѣру христіанскую и желая стяжать нетлѣнное достояніе на небесахъ, мы пожалѣемъ достоянія земного? Нѣтъ, православные! Для содержанія людей ратныхъ отдадимъ все злато и серебро; а если мало и сего, продадимъ всѣ имущества, заложимъ женъ и дѣтей нашихъ... Вотъ все, что я имѣю! — продолжалъ онъ, бросивъ на лобное мѣсто большой мѣшокъ, наполненный серебряною монетою.— И пусть выступитъ желающій купить мой домъ, — съ сего часа онъ принадлежитъ не мнѣ, а Нижнему-Новгороду, а я самъ, мы всѣ, вся кровь наша — земскому дѣлу и всей землѣ русской.

— Отдаемъ всѣ наши имущества! Умремъ за вѣру православную и святую Русь!—загремѣли безчисленные голоса. —Нарекаемъ тебя выборнымъ отъ всея земли человѣкомъ! Храни казну нижегородскую!—воскликнулъ весь народъ.

Въ эту минуту общаго восторга, развернлись западныя двери соборнаго храма Преображенія Господня; и Печерскій

архимандритъ Ѳеодосій, въ сопровожденіи многочисленнаго духовенства, во всемъ облаченіи, со святыми иконами и церковными хоругвями, вышелъ на городскую площадь. Народъ разступился, весь духовный синклитъ взошелъ на лобное мѣсто. Раздался громкій благовѣстъ. Іереи запѣли соборомъ: «Царю небесный, Утѣшителю, Душе истины», и Мининъ, а вслѣдъ за нимъ всѣ граждане преклонили колѣна. Когда жъ, благославляя оружіе христолюбиваго войска, благочестивый архимандритъ Ѳеодосій, возведя къ небесамъ взоръ, исполненный чистѣйшей вѣры, возгласилъ молитву: «Господи Боже нашъ, Боже силъ! Сильный въ крѣпости и крѣпкій во бранѣхъ...», народъ палъ ницъ, зарыдалъ и всѣ мольбы слились въ одну общую, единственную молитву: «да спасетъ Господь царство русское!» По окончаніи молебствія, Ѳеодосій, осѣнивъ животворящимъ крестомъ и окропивъ святою водою усердно молящійся народъ, произнесъ вдохновеннымъ голосомъ: «Съ нами Богъ! Разумѣйте языцы, и покоряйтеся, яко съ нами Богъ! Спѣшите, избранные Господомъ, на спасеніе страждущей Россіи! Какъ огонь палящій, предъидетъ сила Господня предъ вами и посрамится врагъ нечестивый и возрадуются сердца православныхъ! Воины Христовы, не жалѣйте благъ земныхъ: слава нетлѣнная ожидаетъ насъ на землѣ и вѣчное блаженство на небесахъ. Грядите, вѣрные сыны Россіи, грядите во имя Господне! На васъ благословеніе всѣхъ пастырей духовныхъ! За васъ святыя молитвы страдальца Гермогена! Кто противъ васъ? Кто противъ Господа силъ?»

О, какъ недостаточенъ, какъ безсиленъ языкъ человѣческій для выраженія высокихъ чувствъ души, пробудившейся отъ своего земного усыпленія. Сколько жизней можно отдать за одно мгновеніе небеснаго, чистаго восторга, который наполнялъ въ сію торжественную минуту сердца всѣхъ русскихъ! Нѣтъ, любовь къ отечеству не земное чувство! Оно слабый, но вѣрный отголосокъ непреодолимой любви къ тому безвѣстному отечеству, о которомъ, не постигая сами тоски своей, мы скорбимъ и тоскуемъ почти со дня рожденія нашего!

Всѣ спѣшили по домамъ, чтобъ сносить свои имущества на площадь, и не прошло получаса, какъ вокругъ лобнаго мѣста возвышались горы серебряныхъ денегъ, сосудовъ и различныхъ товаровъ: простой холстъ лежалъ подлѣ куска дорогой парчи, мѣшокъ мѣдной монеты—подлѣ кошелька,

наполненнаго золотыми деньгами. Гражданинъ Мининъ принималъ все съ равною ласкою, благодарилъ всѣхъ именемъ Нижняго-Новгорода и всей земли русской, и хотя нѣсколько сотъ рабочихъ любей переносили безпрестанно эти дары въ приготовленныя для сего кладовыя на берегу Волги, но число ихъ, казалось, ни мало не уменьшалось.

Старинный нашъ знакомецъ, Алексѣй, находился также въ толпѣ гражданъ, которые тѣснились съ приношеніями вокругъ лобнаго мѣста. Обшаривъ свои карманы и не найдя въ нихъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ монетъ, онъ снималъ ужъ съ себя серебряный крестъ, какъ вдругъ кто-то, ударивъ его по плечу, сказалъ:

— Нѣтъ, братъ, не разставайся съ отцовскимъ благословеніемъ: я положу и за тебя и за себя.

— А, это ты Кирша!—сказалъ Алексѣй.—Какъ, и ты хочешь класть?

— Да, товарищъ! Вотъ въ этомъ мѣшечкѣ все, что я накопилъ; да Богъ съ нимъ! Жаль только, что мало!.. Эге, любезный, ты все еще ревешь! Полно, братъ; что ты разхныкался, словно малый ребенокъ!

— А ты самъ развѣ не плачешь?—отвѣчалъ Алексѣй.

— Кто? Я? Вогъ вздоръ какой!—вскричалъ запорожецъ, утирая рукавомъ свои глаза.—А что ты думаешь,—продолжалъ онъ,—никакъ въ самомъ дѣлѣ? Кой прахъ! Что это, братъ Алексѣй? Мнѣ часто случалось у насъ въ Запорожской сѣчи гулять и веселиться: пьешь, бывало безъ просыпу цѣлую недѣлю, и хоть нельзя сказать, чтобъ было очень весело, а пляшешь и поешь съ утра до вечера. Теперь же, ну вѣришь ли Богу, такъ сердце отъ радости выскочить и хочетъ, а вовсе не до пѣсенъ: все бы плакалъ... Да и всѣ также, на кого ни посмотришь.... Что за диво такое!

Въ самомъ дѣлѣ, все многолюдное собраніе народа составляло въ эту минуту одно благочестивое семейство: не слышно было громкихъ восклицаній; проливая слезы радости и умиленія, какъ въ свѣтлый день Христовъ, всѣ съ братскою любовью обнимали другъ друга... Но кто этотъ отверженный? Кто стоитъ поодаль отъ всей толпы, съ померкшимъ взоромъ, съ отчаяньемъ на челѣ, блѣдный, полумертвый, какъ преступникъ, идущій на казнь, какъ блудный сынъ, взирающій издалека на пирующихъ своихъ братьевъ?.. Ахъ, это Юрій Милославскій! Это тотъ, кто отдалъ бы

тысячу жизней за то, чтобъ воскликнуть вмѣстѣ съ другими: «Умремъ за вѣру православную и святую Русь!» Не смотря на приглашеніе боярина Истомы, который, заливаясь слезами, кричалъ громче всѣхъ: «идемъ къ матушкѣ Москвѣ»,—Юрій не хотѣлъ подойти вмѣстѣ съ нимъ къ лобному мѣсту. Онъ не видѣлъ Минина, не слышалъ словъ его; но видѣлъ общій восторгъ народа, видѣлъ радостныя слезы, усердныя мольбы всѣхъ русскихъ: и какъ отступникъ отъ вѣры отцовъ своихъ, не смѣлъ молиться вмѣстѣ съ ними. Ему казалось, что каждый гражданинъ нижегородскій, проходя мимо его, готовъ былъ сказать: «Презрѣнный рабъ Владислава, чего ты хочешь отъ свободныхъ сыновъ Россіи?.. Бѣги, не оскверняй своимъ присутствіемъ сіе священное торжество вѣры и любви къ отечеству! Ты не русскій, ты не сынъ Милославскаго!» Тутъ вспомнилъ Юрій послѣднія слова умирающаго своего родителя. Благословляя его охладѣвшею уже рукою, онъ сказалъ: «Юрій, держись вѣры православной; не своди дружбы съ врагами нашего отечества и не забывай, что Милославскіе всегда стояли грудью за правду и святую Русь!»

— Такъ,—вскричалъ несчастный юноша,—присутствіе мое при семъ торжествѣ есть оскверненіе святыни! Я не могу, я не долженъ оставаться здѣсь долѣе!

Онъ поспѣшилъ оставить площадь; но на каждомъ шагу встрѣчались ему толпы гражданъ, несущихъ свои имущества; вездѣ раздавались поздравленія, на всѣхъ лицахъ сіяла радость. Пробѣжавъ нѣсколько улицъ, онъ очутился, наконецъ, въ одномъ отдаленномъ предмѣстьи, и, не видя никого вокругъ себя, сѣлъ отдохнуть на скамьѣ, подлѣ воротъ небольшой хижины. Не прошло двухъ минутъ, какъ нѣсколько женщинъ и почти столѣтній старикъ подошелъ къ скамьѣ, на которой сидѣлъ Юрій. Старикъ сѣлъ возлѣ него.

— Какъ это, господинъ честный,—сказалъ онъ,—ты здѣсь, а не на площади?

— Я сейчасъ оттуда,—отвѣчалъ Юрій.

— И я на старости ходилъ. Слава Богу, кой-какъ дотащился; теперь готовъ умереть хоть завтра! Да и пора костямъ на покой!

— Ты, я думаю, очень старъ, дѣдушка?—спросилъ Юрій, стараясь перемѣнить разговоръ.

— Да, молодецъ, безъ малаго годовъ сотню прожилъ, а

на всемъ вѣку не бывалъ такъ радостенъ, какъ сегодня. Благодареніе Творцу Небесному, очнулись наконецъ православные!.. Эхъ, жаль! Кабы Господь продлилъ дни бывшаго воеводы нашего, Дмитрія Юрьевича Милославскаго, то-то былъ бы для него праздникъ!.. Дай Богъ ему царство небесное, столбовой былъ русскій бояринъ!.. Ну, да если не здѣсь, такъ тамъ онъ вмѣстѣ съ нами радуется!

— Я слышала, дѣдушка,—сказала одна изъ женщинъ,— что у него есть сынъ.

— Какъ-же! Помнится, Юрій Дмитріевичъ. Если онъ пошелъ по батюшкѣ, то вѣрно будетъ нашимъ гостемъ и въ Москвѣ съ поляками не останется. Нѣтъ, дѣтушки! *Милославскіе всегда стояли грудью за правду и святую Русь!*

— Ахти,—вскричала одна изъ женщинъ,—что это съ молодцомъ сдѣлалось? Никакъ онъ полоумный... Смотри-ка, дѣдушка, какъ онъ пустился отъ насъ бѣжать! Прямехонько къ Волгѣ... Ахъ, Господи, Боже мой! Долго-ли до грѣха: какъ съ дуру-то нырнетъ въ воду, такъ и поминай какъ звали!

Какъ громомъ пораженный послѣдними словами старика, Юрій, не видя ничего передъ собою, не зная самъ, что дѣлаетъ, пустился бѣжать по узкой улицѣ, ведущей къ Волгѣ. Въ ушахъ его раздавались слова умирающаго отца; ему казалось, что его преслѣдуютъ, что кто-то называетъ его по имени, что множество голосовъ повторяютъ: «Вотъ онъ! Вотъ Милославскій!» Вся кровь застыла въ его жилахъ. Вдругъ ему послышалось, что вслѣдъ на нимъ прогремѣлъ ужасный голосъ: «Да взыдетъ вѣчная клятва на главу измѣнника!» Волосы его стали дыбомъ, смертный холодъ пробѣжалъ по всѣмъ членамъ, въ глазахъ потемнѣло, и онъ упалъ безъ чувствъ въ двухъ шагахъ отъ Волги, на краю утесистаго берега, застроеннаго обширными сараями.

Солнце было уже высоко, когда Милославскій очнулся; подлѣ него стоялъ Алексѣй.

— Слава тебѣ Господи!—вскричалъ онъ, замѣтивъ, что Юрій пришелъ въ себя.—Ну, перепугалъ ты меня, бояринъ! Что это съ тобой сдѣлалось?

— Гдѣ я?—спросилъ Милославскій, взглянувъ съ удивленіемъ вокругъ себя.

— На берегу Волги. Какъ помиловалъ тебя Господь,

Юрій Дмитричъ? И что съ тобою сдѣлалось? Мнѣ сказали на площади, что ты пошелъ внизъ подъ гору, а я за тобой слѣдомъ; гляжу: сидишь смирнехонько подлѣ какого-то старичка, вдругъ какъ будто бы тебя чѣмъ обожгло: какъ вскочишь, да ударишься бѣжать! Я за тобою, а ты пуще! Я ну кричать: «Постой, Юрій Дмитричъ, постой, не бѣги!» А ты пуще... Ну, вѣришь-ли, осипъ, кричавши: «куда, бояринъ, куда?» Гляжу, прямо къ Волгѣ... Сердце у меня замерло!... Да, слава Богу, что тебя обморокъ ошибъ, прежде, чѣмъ ты успѣлъ добѣжать до рѣки. И то бѣда: ужъ оттиралъ, оттиралъ тебя, и водой прыскалъ, и виномъ теръ,—на силу-то очнулся. Да что это, бояринъ, съ тобою попритчилось?

— Такъ, Алексѣй, ничего! Теперь мнѣ лучше. Но скажи... мнѣ помнится, я слышалъ чей-то голосъ... Кто возлѣ меня предавалъ проклятію измѣнника?

— Какого измѣнника, бояринъ? Я ничего не слышалъ.

— Ничего?... А что за народъ толпится вокругъ этихъ сараевъ?.. О чемъ они говорятъ?.. Чу! Слышишь? Они называютъ меня по имени.

— И, нѣтъ, Юрій Дмитричъ; это тебѣ чудится! Развѣ не видишь, сюда складываютъ все, что нижегородцы нанесли на площадь.

— На площадь?... Я также былъ на площади?...

— Какъ же бояринъ!

Юрій провелъ рукою по глазамъ и, какъ будто бъ пробудившись отъ глубокаго сна, сказалъ:

— Да, да, теперь я вспомнилъ!.. Мы остановились здѣсь у боярина Истомы-Туренина...

— Да, Юрій Дмитричъ, и, чай, онъ ждетъ тебя къ обѣду.

Юрій, при помощи Алексѣя, приподнялся на ноги и только что хотѣлъ идти, какъ вдругъ позади его кто-то сказалъ:

— Здравствуй, бояринъ! Милости просимъ! Добро пожаловать къ намъ въ Нижній Новгородъ!

Милославскій невольно вздрогнулъ и, бросивъ быстрый взглядъ на того, кто его привѣтствовалъ, узналъ въ немъ тотчасъ таинственнаго незнакомца, съ которымъ ночевалъ на постояломъ дворѣ.

— Ну вотъ, не отгадалъ ли я,—продолжалъ незнакомецъ: Богъ привелъ намъ опять увидѣться.

— Такъ это ты! — вскричалъ Алексѣй.— Я было и на площади призналъ тебя, да боялся вклепаться. Ну, Козьма Миничъ, дай Богъ тебѣ здоровья, красно ты говоришь!

— Какъ,—сказалъ Юрій,—ты тотъ знаменитый гражданинъ?...

— И, бояринъ! Я просто гражданинъ нижегородскій и ничѣмъ другихъ не лучше. Развѣ ты не видѣлъ, какъ всѣ граждане, наперерывъ другъ передъ другомъ, отдавали свои имущества? На мнѣ хоть это платье осталось, а другой послѣднюю одеженку притащилъ на площадь: такъ мнѣ ли хвастаться, бояринъ!

— Но развѣ не ты первый?...

— Ну, да... я первый заговорилъ—такъ что жъ?... Велико дѣло... Нельзя же всѣмъ разомъ говорить. Не я, такъ заговорилъ бы другой, не другой, такъ третій... А скажи ка, бояринъ, ужъ не хочешь ли и ты пристать къ намъ? Ты цѣловалъ крестъ королевичу Владиславу, а душа-то въ тебѣ все-таки русская.

— Къ несчастью, ты говоришь правду! — сказалъ со вздохомъ Юрій.

— А почему жъ къ несчастью? Скажи мнѣ, легко ль тебѣ было присягать польскому королевичу?

— Ахъ!... Видитъ Богъ, нѣтъ!

— А для чего жъ ты это сдѣлалъ?

— Для того, что былъ увѣренъ и теперь еще... да, и теперь еще надѣюсь, что этою жертвою мы спасемъ отъ гибели наше отечество.

— Вотъ видишь ли, все-таки у тебя отечество на умѣ. Послушай, я скажу тебѣ побасенку, бояринъ. Одинъ мужичекъ, переплывая черезъ рѣку, сталъ тонуть. У него было три сына: меньшой, думая, что онъ одинъ не спасетъ его, принялся кричать, рвать на себѣ волосы и призывать на помощь всѣхъ проходящихъ; между тѣмъ мужикъ выбился изъ силъ, и когда старшій сынъ бросился спасать его, то на силу вытащилъ изъ воды и чуть было самъ не утонулъ съ нимъ вмѣстѣ. На берегу стоялъ третій сынъ, или лучше сказать, пасынокъ; онъ не просилъ помощи, да и самъ не думалъ спасать утопающаго отца, а разсчитывалъ, стоя на одномъ мѣстѣ, какая придется ему часть изъ отцовскаго наслѣдія. Какъ ты думаешь, бояринъ, хоть меньшему сыну и не за что сказать спасибо, а по мнѣ все-таки честнѣе быть имъ чѣмъ пасынкомъ?

Юрій молча пожалъ руку Минина, который продолжалъ:

— Чему дивиться, что ты связалъ себя клятвеннымъ обѣщаніемъ, когда вся Москва сдѣлала то же самое. Да вотъ хоть, напримѣръ, князь Дмитрій Мамстрюковичъ Черкасскій изволилъ мнѣ сказывать, что сегодня у него въ дому сберутся здѣшніе бояре и старшины, чтобъ выслушать гонца, который присланъ къ намъ съ предложеніемъ отъ пана Гонсѣвскаго. И какъ ты думаешь, кто этотъ довѣренный человѣкъ злѣйшаго врага нашего?.. Сынъ бывшаго воеводы нижегородскаго, боярина Милославскаго.

— Да это господинъ мой!—вскричалъ Алексѣй.

— Какъ! Такъ это ты, Юрій Дмитричъ?— сказалъ Мининъ, снявъ почтительно свою шапку и устремивъ на Милославскаго взоръ, исполненный душевнаго состраданія.— Ну, жаль мнѣ тебя! Кому другому, а тебѣ куда должно быть тяжело, бояринъ!

— Я исполню долгъ свой, Козьма Миничъ,—отвѣчалъ Юрій.—Я не могу поднять оружія на того, кому клялся въ вѣрности; но никогда руки мои не обагрятся кровію единовѣрцевъ; и если междоусобная война неизбѣжна, то...— тутъ Милославскій остановился; глаза его заблистали...— Да!—продолжалъ онъ, я далъ обѣтъ служить вѣрой и правдой Владиславу: но есть еще клятва, предъ которою ничто всѣ обѣщанія и клятвы земныя... Такъ! Самъ Господь ниспослалъ мнѣ эту мысль; она оживила мою душу!...

Въ самомъ дѣлѣ, давно уже лицо Милославскаго не выражало такой твердой рѣшимости и спокойствія. Вся бодрость его возвратилась.

— Прощай, почтенный гражданинъ!—сказалъ онъ Минину.—Я спѣшу теперь въ домъ боярина Туренина и черезъ нѣсколько часовъ явлюсь вмѣстѣ съ нимъ предъ лицомъ сановниковъ нижегородскихъ, въ числѣ которыхъ надѣюсь увидѣть и тебя. Повторяю еще разъ: я исполню долгъ мой: но.. прошу тебя — не осуждай меня прежде времени!

V.

Часу въ шестомъ пополудни Юрій и бояринъ Туренинъ отправились въ домъ къ князю Черкасскому. Проходя го-

родскою площадью, на которой никого уже не было, Туренинъ сказалъ Юрію:

— Насилу то эти дурачье угомонились! Я право, думалъ, что они до самой ночи протолкаются на площади. Куда, подумаешь, народъ то глупъ! Сгоряча рады отдать все; а тамъ, какъ самимъ перекусить нечего будетъ, такъ и заговорятъ другимъ голосомъ. Небойсь, уймутся кричать: «пойдемъ къ матушкѣ-Москвѣ!»

— Но, кажется, бояринъ,—сказалъ Юрій, — и ты кричалъ вмѣстѣ съ другими?

— Съ волками надо выть по волчьи, Юрій Дмитричъ; и у кого свой царь въ головѣ, тотъ не станетъ плыть въ бурю противъ годы, да и сговоришь ли съ цѣлымъ народомъ! Вотъ теперь дѣло другое: можно будетъ и потолковать и посудить. Смотри, Юрій Дмитричъ, говори смѣло! Я знаю наперед, что пуще всѣхъ будутъ противъ мира князь Дмитрій Мамстрюковичъ Черкасскій, да Григорій Образцовъ: первый потому, что сынъ князя Мамстрюка и такой же какъ онъ чеченецъ,—ему бы все рѣзаться; а второй оттого, что природный нижегородецъ и терпѣть не можетъ поляковъ. Съ другими то сговорить еще можно; правда, они позвали Козьму Сухорукаго, а этотъ нахалъ станетъ теперь горланить пуще прежняго.

— Позволь сказать, бояринъ; мнѣ кажется, онъ человѣкъ скромный.

— Кто? Онъ? Что ты! Иль забылъ, что его наименовали выборнымъ отъ всея земли человѣкомъ! Такъ ему, чай, теперь чортъ не братъ! Чего добраго заломается въ первое мѣсто... Но вотъ и домъ князя Дмитрія Мамстрюковича...

Пройдя широкимъ дворомъ, посреди котораго возвышались обширныя, по тогдашнему времени, каменныя палаты князя Черкасскаго, они добрались, по узкой и круглой лѣстницѣ, до первой комнаты, гдѣ оставивъ свои верхнія платья, вошли въ просторный покой, въ которомъ за большимъ столомъ сидѣло человѣкъ около двадцати. Съ перваго взгляда можно было узнать хозяина дома, сына знаменитаго Черкасскаго князя, по его выразительному смуглому лицу и большимъ чернымъ глазамъ, въ которыхъ блистало все неукротимое мужество дикихъ сыновъ неприступнаго Кавказа. По правую руку его сидѣли: татарскій военачальникъ Барай-Мурза Алѣевичъ Кутумовъ, воевода Михайло

Самсоновичъ Дмитріевъ, дворянинъ Григорій Образцовъ, нѣсколько старшинъ казацкихъ и дворянъ московскихъ полковъ; по лѣвую сторону сидѣли: бояринъ Петръ Ивановичъ Мансуровъ-Плещеевъ; стольникъ Ѳедоръ Левашевъ, дьякъ Семенъ Самсоновъ, а нѣсколько поодаль ото всѣхъ—гражданинъ Козьма Миничъ Сухорукій. Князь Черкасскій встрѣтилъ боярина Туренина и Милославскаго въ дверяхъ комнаты. Сказавъ нѣсколько холодныхъ привѣтствій тому и другому, онъ попросилъ ихъ садиться, и, по данному знаку, вошедшій служитель поднесъ имъ и хозяину по кружкѣ меду.

— Юрій Дмитричъ,—сказалъ князь Черкасскій,—поздравляю тебя съ счастливымъ пріѣздомъ въ Нижній-Новгородъ, хотя сказать правду, для всѣхъ насъ было бы радостнѣе выпить этотъ кубокъ за здравіе сына Дмитрія Юрьевича Милославскаго, а не посланника отъ поляковъ и вѣрноподданнаго королевича Владислава.

— Князь Дмитрій Мамстрюковичъ,— сказалъ вполголоса бояринъ Мансуровъ;—не забывай нашего уговора: посмотри-ка, его въ жаръ бросило отъ твоихъ рѣчей!

— Не вытерпѣлъ, бояринъ! — отвѣчалъ Черкасскій,— Грустно, видитъ Богъ, грустно! Вѣдь я былъ задушевный другъ его батюшкѣ... Юрій Дмитричъ, продолжалъ Черкасскій, оборотясь къ Милославскому, бояринъ Истома-Туренинъ извѣстилъ насъ, что ты пріѣхалъ съ предложеніями отъ ляха Гонсѣвскаго, засѣвшаго съ войскомъ въ Москвѣ, которую взялъ обманомъ и лестію богоотступникъ, Лотеръ и злодѣй гетманъ Жолкѣвскій.

— Да, да злодѣй гетманъ Жолкѣвскій! — повторилъ Барай-Мурза.

— Гетманъ Жолкѣвскій не злодѣй,— сказалъ Юрій.— Еслибъ всѣ совѣтники короля Сигизмунда были столь же благородны и честны, какъ онъ, то давно бы прекратились бѣдствія отечества нашего.

— То есть, Владиславъ былъ бы московскимъ воеводою!...—прервалъ князь Черкасскій.

— А мы всѣ рабами короля польскаго'...—промолвилъ насмѣшливо дворянинъ Образцовъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Юрій,—не воеводою, а самодержавнымъ и законнымъ царемъ Русскимъ. Жолкѣвскій клялся въ этомъ и сдержитъ свою клятву: онъ не фальшеръ, не злодѣй, а храбрый и честный воинъ.

— Неправда, это ложь!—вскричалъ Черкасскій.

— Да, да, это ложь!—повторилъ Барай-Мурза.

— Ложь противна Господу, бояре,— сказалъ спокойно Юрій:—и вотъ почему должно говорить правду даже и тогда, когда дѣло идетъ о врагахъ нашихъ.

— Защищай, Юрій Дмитричъ, защищай этихъ кровопійцъ!—прервалъ хозяинъ.—Да и чему дивиться; свой своему по неволѣ братъ!

— Князь Дмитрій,—шепнулъ бояринъ Мансуровъ,—не обижай своего гостя!

— Рабъ Владислава и угодникъ ляха Гонсѣвскаго никогда не будетъ моимъ гостемъ!— вскричалъ съ возрастающимъ жаромъ князь Черкасскій...— Нѣтъ онъ не гость мой!... Я дозволяю ему объявить, чего желаетъ отъ насъ достойный сподвижникъ грабителя Сапѣги; пусть исполнитъ онъ данное ему отъ Гонсѣвскаго порученіе и забудетъ навсегда, что князь Черкасскій былъ другомъ отца его!

— Да, да, пусть онъ говоритъ, а мы послушаемъ!—сказалъ Барай-Мурза, поглаживая свою густую бороду.

— Не забывай, однакожъ, Юрій Дмитричъ,—прибавилъ дворянинъ Образцовъ, бросивъ грозный взглядъ на Юрія,— что ты стоишь передъ сановниками нижегородскими и что дерзкой рѣчью оскорбишь въ лицѣ нашемъ весь Нижній-Новгородъ.

— Я буду говорить истину,—сказалъ хладнокровно Юрій, вставая съ своего мѣста.—Бояре и сановники нижегородскіе! Я присланъ къ вамъ отъ пана Гонсѣвскаго съ мирнымъ предложеніемъ. Вамъ уже извѣстно, что вся Москва цѣловала крестъ королевичу Владиславу, гетманъ Жолкѣвскій присягнулъ за него, что онъ испроситъ соизволеніе своего державнаго родителя креститься въ вѣру православную: что не потерпитъ въ землѣ Русской ни латинскихъ костеловъ, ни другихъ иновѣрныхъ храмовъ, и что станетъ, по древнему обычаю благовѣрныхъ Царей Русскихъ, править землею нашею, какъ наслѣдственною своею державою. Не безъизвѣстно также вамъ, что Великій Новгородъ, Псковъ и многіе другіе города станутъ подъ тяжкимъ игомъ свѣйскаго воеводы, Понтуса; что шайки Тушинскаго вора и запорожскіе казаки грабятъ и разоряютъ наше отечество, и что доколѣ оно не изберетъ себѣ главы—не прекратятся мятежи, крамолы и междоусобія. Бояре и сановники нижегородскіе,

послѣдуйте примѣру гражданъ московскихъ, цѣлуйте крестъ королевичу Владиславу, не возставайте другъ противъ друга; покоритесь избранному царствующимъ градомъ законному государю нашему,—и именемъ Владислава, Гонсѣвскій обѣщаетъ вамъ милость царскую, всякую льготу, убавку податей и торговлю свободную. Я сказалъ все, бояре и сановники нижегородскіе! Избирайте, чего хотите вы....

— Упиться кровію враговъ нашихъ,— вскричалъ Черкасскій,—кровію губителей Россіи, кровію всѣхъ ляховъ!

— Да, да, всѣхъ ляховъ! — повторилъ Барай-Мурза Алѣевичъ Кутумовъ, поглядывая на Черкасскаго.

— Но русскіе, присягнувшіе въ вѣрности Владиславу...

— Пусть гибнутъ вмѣстѣ съ врагами вѣры православной!—прервалъ хозяинъ.

— И такъ,—возразилъ Юрій,— одна жажда крови, а не любовь къ отечеству, бояринъ, заставляетъ тебя поднять оружіе!...

Черкасскій устремилъ сверкающій взоръ на Милославскаго и, помолчавъ нѣсколько времени, спросилъ его: былъ ли онъ на нижней торговой площади?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Юрій, не понимая, къ чему клонится этотъ вопросъ.

— Жаль,—продолжалъ Черкасскій:—ты увидѣлъ бы, что на ней цѣла еще висѣлица, на которой нижегородцы повѣсили измѣнника Вяземскаго [3]). Берегись дерзкою рѣчью напомнить имъ, что не одинъ князь Вяземскій достоинъ этой позорной казни!

— Князь Дмитрій...—сказалъ бояринъ Мансуровъ—пристало ли тебѣ, хозяину дома!... Побойся Бога!... Сограждане,—продолжалъ онъ,—вы слышали предложеніе пана Гонсѣвскаго; пусть каждый изъ васъ объявитъ свободно мысль свою. Бояринъ князь Черкасскій, тебѣ яко старшему сановнику думы нижегородскоіі, довлѣетъ говорить первому: какой даешь отвѣтъ пану Гонсѣвскому?

— Я уже отвѣчалъ,—сказалъ Черкасскій.— Избранный нами главою земскаго дѣла, князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій пусть ведетъ насъ къ Москвѣ! Тамъ станемъ мы отвѣчать гетману; онъ узнаетъ, чего хотятъ нижегородцы, когда мы устелемъ трупами враговъ всѣ поля московскія!

— И такъ, ты объявляешь?...

— Непримиримую вражду до тѣхъ поръ, пока хотя одинъ ляхъ, или предатель дышетъ воздухомъ русскимъ! Мщеніе за погибшихъ братьевъ, кровь за кровь!

Мурза Кутумовъ всталъ съ своего мѣста, погладилъ бороду и началъ;

— Бояре, что сказалъ князь Дмитрій Мамстрюковичъ Черкасскій, то говорю и я: вражда непримиримая... доколѣ хотя одинъ ляхъ или русскій... то есть, предатель... сирѣчь измѣнникъ...

— Довольно, Бурай-Мурза, садись! — прервалъ Черкасскій.

Барай-Мурза Алѣевичъ Кутумовъ отвѣсилъ низкій поклонъ всѣмъ присутствующимъ и сѣлъ на прежнее мѣсто.

— Граждане нижегородскіе! — сказалъ кипящій мужествомъ и ненавистью къ полякамъ дворянинъ Образцовъ. Чего требуетъ отъ насъ этотъ атаманъ разбойничьей шайки, этотъ извергъ, пирующій въ Москвѣ на могилахъ нашихъ братьевъ?... Онъ желалъ бы, чтобъ нижегородцы положили оружіе также, какъ желаетъ хищный волкъ, чтобы стадо осталось безъ пастыря и защиты. Сигизмундъ даетъ намъ своего сына—и беретъ Смоленскъ, древнее достояніе царей православныхъ! Поляки предлагаютъ намъ миръ—и покрываютъ пепломъ селъ и городовъ всю землю Русскую! Нѣтъ сограждане! Не царствующій градъ цѣловалъ кресгъ королевичу Владиславу, а плѣнная Москва; не свободные граждане клялись въ вѣрности иноплеменному, но безоружные жители, рабы, отягченные оковами!... И насильственная клятва, данная подъ ножемъ убійцъ, должна служить примѣромъ для вольныхъ сыновъ Нижняго-Новагорода!... Нѣтъ да будетъ вѣчная вражда между нами и злодѣемъ нашимъ, Сигизмундомъ! Гибель и смерть всѣмъ ляхамъ!

— Гибель и смерть всѣмъ ляхамъ! — повторили Черкасскій, Барай-Мурза и всѣ старшины казацкіе.

— Мужи доблестные и вѣрные сыны отечества!—сказалъ бояринъ Туренинъ, вставая съ своего мѣста.—Нельзя безъ радостныхъ слезъ видѣть ваше рвеніе на защиту земли Русской! И во мнѣ кипитъ желаніе обагриться кровію враговъ нашихъ, и я готовъ идти къ Москвѣ; но прежде всего слѣдуетъ помыслить, чего требуетъ отъ насъ отечество: кровавой мести, или спасенія отъ конечной своей гибели? Великое

дѣло, съ малымъ и необученнымъ войскомъ устоять противъ безчисленныхъ враговъ... но Господь укрѣпить десницу рабовъ Своихъ, хотя, по тяжкимъ грѣхамъ нашимъ, мы недостойны, чтобъ совершилось надъ нами сіе чудо, и по истинѣ, не должны надѣяться... но милосердіе Всевышняго неистощимо. Пусть будетъ такъ: мы побѣдимъ ненавистныхъ ляховъ; разсѣемъ, какъ прахъ земной, ихъ несмѣтныя ополченія; очистимъ Москву и, несмотря на то, останемся попрежнему безъ главы; и вящшее тогда постигнетъ насъ бѣдствіе. Каждый знаменитый бояринъ и воевода пожелаетъ быть царемъ Русскимъ; начнутся крамолы, возстанутъ новые самозванцы, пуще прежняго польется кровь христіанская, и отечество наше, обезсиленное междоусобіемъ, не могущее противустать сильному врагу, погибнетъ на вѣки; и царствующій градъ, подобно святому граду Кіеву, содѣлается достояніемъ иновѣрцовъ и отчиною короля свѣйскаго, или врага нашего Сигизмунда, который теперь предлагаетъ намъ сына своего въ законные государи, а тогда пришлетъ на воеводство одного изъ рабовъ своихъ. Помыслите, сограждане, что станется тогда въ вѣрою православною, что станется со всѣми нами, когда и имя царства Русскаго изгладится изъ памяти людской!?... Я все сказалъ: судите слова мои, бояре и сановники нижегородскіе!

— Боярин Андрей Никитичъ Туренинъ!— сказалъ съ низкимъ поклономъ дьякъ Семенъ Самсоновичъ.—Въ рѣчахъ твоихъ много разума, хотя ты напрасно возвеличилъ могущество враговъ нашихъ. Намъ извѣстно безсиліе ляховъ: они сильны однимъ несогласіемъ нашимъ; но ты изрекъ истину, говоря о междоусобіяхъ и крамолахъ, могущихъ возникнуть между бояръ и знаменитыхъ воеводъ, а посему я мыслю такъ: нижегородцамъ не присягать Владиславу, но и не ходить къ Москвѣ, а собирать войско, дабы дать отпоръ, если ляхи замыслятъ насъ покорить силою; Гонсѣвскому же объявить, что мы не станемъ цѣловать креста королевичу польскому, пока онъ не прибудетъ самъ въ царствующій градъ, не крестится въ вѣру православную и не утвердитъ своимъ царскимъ словомъ и клятвеннымъ обѣщаніемъ договорной грамоты, подписанной боярскою думой и гетманомъ Жолкѣвскимъ.

— Я мыслю то же самое,—сказалъ боринъ Мансуровъ.— Безвременная поспѣшность можетъ усугубить бѣдствія оте-

чества нашего. Мой отвѣтъ пану Гонсѣвскому: не ждать отъ насъ покорности, доколѣ не будетъ исполнено все, что обѣщано именемъ Владислава въ договорной грамотѣ; а намъ ожидать отвѣта и къ Москвѣ не ходить, пока не получимъ вѣрнаго извѣстія, что король Сигизмундъ измѣнилъ своему слову.

— Мы согласны во всемъ съ бояриномъ Мансуровымъ,— сказали воевода Михаилъ Самсоновичъ Дмитріевъ и стольникъ Левашовъ.

— И мы также! — вскричали всѣ дворяне московскихъ полковъ.

Князь Черкасскій вскочилъ съ своего мѣста.

— Какъ!—сказалъ онъ, блѣднѣя отъ гнѣва и досады. — Вы согласны признать Владислава царемъ Русскимъ?

— Да, если онъ сдержитъ свое обѣщаніе, — отвѣчалъ спокойно Мансуровъ.

— Признать своимъ владыкою невѣрнаго поляка!—прервалъ Образцовъ.

— Онъ отречется отъ своей ереси, — возразилъ дьякъ Самсоновъ.

— Кто нейдетъ къ Москвѣ, тотъ измѣнникъ и предатель!—вскричалъ Черкасскій.

— Измѣнникъ и предатель!—повторилъ Барай-Мурза.

— Князь Дмитрій!—сказалъ Мансуровъ,— и ты, Мурза Алѣевичъ Кутумовъ! Не забывайте, что вы здѣсь не на городской площади, а въ совѣтѣ сановниковъ нижегородскихъ. Я люблю святую Русь не менѣе васъ; но вы ненавидите однихъ поляковъ, а я ненавижу еще болѣе крамолы, междоусобіе и безполезное кровопролитіе, противныя Господу и пагубныя для нашего отечества. Если жъ надобно будетъ сражаться, вы увидите тогда, умѣетъ ли бояринъ Мансуровъ владѣть мечемъ и умирать за вѣру православную!

— Бояринъ,—сказалъ Образцовъ,—когда мы не согласны межъ собою, то пусть рѣшитъ весь Нижній-Новгородъ, кто изъ всѣхъ насъ любитъ болѣе свое отечество?

— Вы это сейчасъ увидите, бояре и сановники нижегородскіе,—сказалъ Мининъ, вставая съ своего мѣса и поклонясь почтительно всѣмъ присутсвующимъ.

— Да ты еще ничего не говорилъ, Козьма Миничъ, — вскричалъ Черкасскій,—Говори, говори, чья сторона правѣе?

— Не мнѣ, послѣднему изъ гражданъ нижегородскихъ,— отвѣчалъ Мининъ,—быть судьею между именитыхъ бояръ и воеводъ: довольно и того, что вы не погнушались допустить

меня, простого человѣка, въ вашъ боярскій совѣтъ и дозволили говорить на ряду съ вами, высокими сановниками царства Русскаго! Нѣтъ бояре! Пусть посредникомъ въ спорѣ вашемъ будетъ равный съ вами родомъ и саномъ знаменитымъ; пусть рѣшитъ, идти ли намъ къ Москвѣ или нѣтъ, посланникъ и другъ пана Гонсѣвскаго.

— Что ты, Миничъ, въ умѣ ли?—вскричалъ Черкасскій.

— Юрій Дмитричъ,—продолжалъ Мининъ, обращаясь къ Милославскому,—ты исполнилъ долгъ свой, ты говорилъ, какъ посланникъ гетмана польскаго, теперь я спрашиваю тебя—сына Дмитрія Юрьевича Милославскаго, что должны мы дѣлать: идти ли къ Москвѣ или покориться Сигизмунду?

Яркій румянецъ покрылъ лицо Юрія; онъ приподнялся до половины, хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ остановился и съ судорожнымъ движеніемъ закрылъ рукою глаза свои.

— Бояринъ,—продолжалъ Мининъ,—если бы ты не цѣловалъ крестъ Владиславу, если бъ сегодня молился вмѣстѣ съ нами на городской площади, если бъ ты былъ гражданиномъ нижегородскимъ, что бы сдѣлалъ ты тогда?... Отвѣчай, Юрій Дмитричъ!

— Что сдѣлалъ-бы я?—сказалъ Юрій, устремивъ сверкающій взоръ на Минина.—Что сдѣлалъ бы я?... Положилъ бы мою голову за святую Русь!

— Что ты, Юрій Дмитричъ!—шепнулъ Туренинъ.

— Молчи, бояринъ, — вскричалъ Милославскій съ возрастающимъ жаромъ.—Это выше всѣхъ силъ моихъ! Такъ, граждане нижегородскіе! Я умеръ бы, благословляя Господа, допустившаго меня пролить всю кровь за вѣру православную. Къ Москвѣ, вѣрные и счастливые нижегородцы! Спасайте угнетенныхъ вашихъ братьевъ! Они ждутъ васъ. Они рабы поляковъ, а не подданные Владислава. Не вѣрьте Сигизмунду: онъ вѣчный и непримиримый врагъ нашъ; не страшитесь поляковъ: ихъ многочисленная рать страшна для однихъ безоружныхъ жителей московскихъ. Спѣшите, храбрые нижегородцы! Спѣшите водрузить хоругвь Спасителя на поруганныхъ стѣнахъ священнаго Кремля! Вы свободны, вы не присягали иноплеменнику. А я... я добровольно поклялся быть вѣрнымъ Владиславу; я не могу умереть вмѣстѣ съ вами! Но если не оружіемъ, то молитвами буду участвовать въ святомъ и великомъ дѣлѣ вашемъ. Такъ, граждане нижегородскіе! Я удалюсь въ обитель преподобнаго Сергія: тамъ, облегченный въ одежду инока, при гробѣ угодника

Божія стану молиться день и ночь, да поможетъ вамъ Господь спасти отъ гибели царство Русское!

Юрій замолчалъ: крупныя слезы градомъ катились по лицу его. Пораженные неожиданною рѣчью Милославскаго, всѣ присутствующіе онѣмѣли отъ удивленія. Нѣсколько минутъ продолжалось общее молчаніе; вдругъ опрокинутый столъ съ громомъ полетѣлъ на полъ, и князь Черкасскій, перескочилъ черезъ него, бросился на шею къ Милославскому.

— Прости меня, любезный,—кричалъ онъ, прижимая его къ груди своей:—я обидѣлъ тебя!... Пусть осмѣлится кто-нибудь сказать, что ты не сынъ моего друга Милославскаго!

— Да, да, пусть попытается кто-нибудь! — повторилъ Барай-Мурза.

— Ты достоенъ былъ нижегородцемъ, Юрій Дмитричъ!— сказалъ Образцовъ, пожимая его руку.

Мининъ не говорилъ ни слова, но съ нѣжностію отца смотрѣлъ на Юрія и утиралъ потихоньку текущія изъ глазъ слезы.

— И такъ,—продолжалъ Черкасскій, теперь кажется, намъ спорить не о чемъ? Идемъ ли къ Москвѣ?

— Идемъ!—вскричали почти всѣ присутствующіе.

— Къ Москвѣ, такъ къ Москвѣ!—сказалъ бояринъ Мансуровъ.—Дождемся князя Пожарскаго, да съ Божьимъ благословеніемъ...

— Но кто же будетъ главою Царства Русскаго?—спросилъ дьякъ Самсоновъ.

— Прежде очистимъ Москву, а тамъ ужъ подумаемъ,— отвѣчалъ Мансуровъ.

— Изберемъ всею семьею въ цари—кого Богъ дастъ,— сказалъ Образцовъ.

— И поклянемся,—прибавилъ Мансуровъ,—жить дружно, забывать всякую вражду, а помнить одного Бога и святую Русь!

— Насилу-то и ты заговорилъ, молодецъ! — закричалъ Черкасскій.—Пусть дьяки и бояре, которые ничѣмъ не лучше дьяковъ,— прибавилъ онъ, взглянувъ на Туренина,—засѣдаютъ въ приказахъ, а въ воинскую думу имъ бы и носа не надобно показывать.

— Теперь, Юрій Дмитричъ,—сказалъ бояринъ Мансуровъ,—ты можешь отвезти нашъ отвѣтъ Гонсѣвскому.

— Не лучше-ли остаться съ нами,—прервалъ Черкасскій,- и подраться съ поляками?

— Нѣтъ, бояринъ, Богъ караетъ клятвопреступниковъ: пока я ношу мечъ—я подданный Владислава.

— Юрій Дмитричъ,—сказалъ Мансуровъ,—мы дозволяемъ тебѣ пробыть завтрашній день въ Нижнемъ-Новгородѣ; но я совѣтовалъ бы тебѣ отправиться скорѣе: завтра же весь городъ будетъ знать, что ты присланъ отъ Гонсѣвскаго, и тогда, не погнѣвайся, смотри, чтобъ съ тобой не случилось того же, что съ княземъ Вяземскимъ. Народъ подъ-часъ бываетъ глупъ: какъ расходится, такъ его ничѣмъ не уймешь.

— Прощай, бояринъ!—сказалъ Мининъ.—Дай Богъ тебѣ счастія! Не знаю отчего, а мнѣ все сдается, что я увижу тебя опять не въ монашеской рясѣ, а съ мечемъ въ рукахъ, и не въ святой обители, а на ратномъ полѣ противъ общихъ враговъ нашихъ.

Милославскій, уходя, замѣтилъ, что боярина Туренина не было уже въ комнатѣ. У самыхъ дверей дома встрѣтилъ его Алексѣй; онъ казался очень встревоженнымъ.

— Я больше часу дожидаюсь тебя здѣсь, Юрій Дмитричъ,—сказалъ онъ.—Знаешь ли что? Вѣдь хозяинъ то нашъ недобрый человѣкъ!

— Что ты хочешь сказать?

— А то, что мы изъ одного омута попали въ другой. Воля твоя, бояринъ, сердись на меня, или нѣтъ, а я, не спросясь тебя, перетащилъ наши пожитки на постоялый дворъ, вотъ тотъ, что возлѣ самой пристани.

— Для чего ты это сдѣлалъ?

— А вотъ для чего. Знаешь ли, кто теперь спрятанъ въ дому у боярина Туренина?... Тотъ самый разбойникъ, который вчера въ лѣсу хотѣлъ насъ ограбить!

— Неужели?

— Да добро бы одинъ, а то съ нимъ еще четверо пострѣловъ, изъ которыхъ каждый убереть насъ обоихъ. Какъ ты пошелъ сюда, я вышелъ поглядѣть на улицу и присѣлъ у самыхъ воротъ за столбомъ. Этакъ около сумерекъ, гляжу,—крадутся пятеро молодцовъ вдоль забора: я-то за столбомъ имъ былъ не въ примѣту, а мнѣ все было видно. Вотъ одинъ изъ нихъ шмыгъ въ ворота! Глядь — тотъ самый разбойникъ, котораго Кирша называлъ Омляшемъ. Онъ перемолвилъ словца два съ дворецкимъ, махнулъ товарищамъ и они шасть на дворъ! Пошептались, потолковали межъ собой, да и полѣзли всѣ на сѣнникъ. Вотъ, боринъ, я и смекнулъ, что дѣло плоховато; тотчасъ всѣ наши пожитки и конскую сбрую вытащилъ по-тихоньку за ворота, да ну-ка скорѣй выводить лошадей, будто бъ на во-

допой; навьючилъ на одну все наше добро да и былъ таковъ. Хорошо еще, что некому было за мной присмотрѣть: дворецкій видно заболтался съ своими гостями, другіе слуги пошли шататься по городу, а конюха такъ пьяны, что лыкомъ не вяжутъ.

— Ты хорошо сдѣлалъ, Алексѣй. Я и самъ не слишкомъ довѣряю нашему хозяину.

— Да онъ сущій Іуда-предатель! Сегодня на площади я на него насмотрѣлся: то взглянетъ, какъ рублемъ подаритъ, то посмотритъ изъ-подлобья, словно дикій звѣрь. Когда Козьма Миничъ говорилъ, то онъ съѣсть его хотѣлъ глазами; а какъ послѣ подошелъ къ нему, такъ, Господи Боже мой, откуда взялися медовыя рѣчи! И молодецъ-то онъ, и православный, сынъ отечества, и Богъ вѣсть что! Ну, вотъ такъ мелкимъ бѣсомъ и разсыпался.

Въ продолженіе этого разговора они дошли до городскихъ воротъ, и когда вышли въ предмѣстье, то Юрій увидѣлъ, что кто-то идетъ за нимъ слѣдомъ. Несмотря на умножающуюся ежеминутно темноту, Милославскій замѣтилъ, что всякій разъ, когда онъ оглядывался назадъ, этотъ человѣкъ старался прятаться за углы домовъ. Юрій шепнулъ Алексѣю, что бъ онъ остерегался и вынулъ на всякій случай саблю. Между тамъ они вошли въ улицу, или лучше сказать, переулокъ, ведущій прямо къ пристани. По обѣимъ его сторонамъ тянулись длинные заборы и только изрѣдка кое-гдѣ выстроены были небольшія избы; но и тѣ казались пустыми и, вѣроятно, служили амбарами для склада хлѣба и товаровъ. Когда они поравнялись съ одною полуразвалившеюся деревянною церковью, которая, судя по разбитымъ окнамъ и совершенно обрушенной паперти, давно уже была оставлена,—незнакомый, который слѣдовалъ за ними издалека, удвоилъ шаги и сталъ къ нимъ приближаться. Юрій, желая скорѣе узнать, чего хочетъ отъ нихъ этотъ безотвязный прохожій, пошелъ вмѣстѣ съ Алексѣемъ прямо къ нему на встрѣчу. Но лишь только они приблизились другъ къ другу и Алексѣй успѣлъ закричать: — «берегись, бояринъ, это разбойникъ Омляшъ»,—незнакомый свистнулъ, четверо его товарищей выбѣжали изъ церкви и почти въ ту же минуту Алексѣй, проколотый въ двухъ мѣстахъ ножемъ, упалъ безъ чувствъ на землю.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Прежде, чѣмъ мы приступимъ къ продолженію этой повѣсти, намъ должно предувѣдомить читателей, что промежутокъ времени, отдѣляющій эту главу отъ предыдущей, заключаетъ въ себѣ почти четыре мѣсяца. Большей части нашихъ читателей, безъ сомнѣнія, извѣстны всѣ обстоятельства, предшествовавшія освобожденію Москвы и вступленію на всероссійскій престолъ Михаила Ѳеодоровича Романова; но, не смотря на то, мы полагаемъ нужнымъ упомянуть, хотя мимоходомъ, о томъ, что происходило въ Нижнемъ-Новѣгородѣ и около Москвы отъ апрѣля мѣсяца до начала августа 1612 года. Избранный единодушно главою земскаго ополченія, князь Пожарскій, излѣчась отъ ранъ своихъ, вступилъ въ Нижній-Новгородъ, сопровождаемый вѣрною дружиною воиновъ. Его величественная наружность, радушіе и ласковое со всѣми обращеніе привлекли къ нему всѣ сердца. Бояре и воеводы, старѣе его чинами и родомъ, не смотря на закоренѣлый предразсудокъ мѣстничества, добровольно подчинились его власти; со всѣхъ сторонъ спѣшили подъ знамена его люди ратные: смоляне, дорогобужане и вязьмичи, жившіе въ Арзамасѣ, явились первые; вслѣдъ за ними рязанцы, коломенцы и жители отдаленной Украины умножили собою число *свободныхъ людей*,—такъ называли себя воины, составлявшіе отечественное ополченіе нижегородское, которое вскорѣ, подъ предводительствомъ Пожарскаго, двинулось къ Ярославлю. Въ семъ

городѣ, подкупленные злодѣемъ Заруцкимъ, убійцы посягнули на жизнь знаменитаго вождя; но Богъ не допустилъ ихъ свершить это злодѣяніе, а великодушный Пожарскій не только не предалъ ихъ заслуженной казни, но вырвалъ изъ рукъ народа, хотѣвшаго растерзать ихъ на части. Важныя причины замедлили приходъ нижегородцевъ подъ Москву; наконецъ, приближеніе гетмана Хоткѣвича съ сильнымъ войскомъ, посланнымъ противъ стоящаго подъ Москвою князя Трубецкаго, побудило Пожарскаго поспѣшить своимъ приходомъ къ столицѣ, и 1-го августа 1162 года, нижегородское ополченіе прибыло къ Троицкой лаврѣ, отстоящей отъ Москвы въ 64 верстахъ.

Въ началѣ августа мѣсяца, въ одно прекрасное утро, какой-то прохожій, съ небольшою котомкою за плечами и весьма бѣдно одѣтый, едва переступая отъ усталости, шелъ по большой нижегородской дорогѣ, которая въ семъ мѣстѣ была проложена почти по самому берегу Волги. Его изнуренный видъ, блѣдное лицо и впалыя щеки — все показывало въ немъ человѣка, недавно излѣчившагося отъ тяжкой болѣзни; но въ то же время нельзя было не замѣтить, что причиною его необычайной худобы была не одна тѣлесная болѣзнь: глубокая горесть изображалась на лицѣ его, а покраснѣвшіе отъ слезъ глаза ясно доказывали, что его душевныя страданія не миновались вмѣстѣ съ недугомъ, отъ котораго онъ повидимому совершенно излѣчился. Дойдя до густой березовой рощи, которую перерѣзывала узкая проселочная дорога, онъ остановился и, казалось, съ большимъ вниманіемъ сталъ разсматривать едва замѣтное полуобгорѣвшее строеніе, коего развалины виднѣлись на высокомъ холмѣ, верстахъ въ пяти отъ рощи, въ тѣни которой онъ тогда находился.

— Я не ошибаюсь,—сказалъ онъ наконецъ: это отчина боярина Шалонскаго... Слава Богу, она останется у меня въ сторонѣ!..

Сказавъ эти слова, прохожій сѣлъ подъ кустомъ и, вынувъ изъ котомки ломоть чернаго хлѣба, принялся завракать. Онъ не успѣлъ еще проглотить перваго куска, какъ вдругъ ему послышался въ близкомъ разстояніи конскій топотъ, и черезъ минуту человѣкъ двадцать казаковъ, вы-

ѣхавъ проселочною дорогою изъ рощи, потянулись вдоль опушки къ тому мѣсту, на которомъ расположился прохожій. Впереди всѣхъ, на ворономъ конѣ, ѣхалъ начальникъ отряда; онъ отличался отъ другихъ казаковъ не платьемъ, которое было весьма просто, но богатою конскою сбруею и блестящимъ оружіемъ, украшеннымъ дорогою серебряною насѣчкою. Когда онъ поравнялся съ прохожимъ, который нѣсколько уже минутъ не спускалъ съ него глазъ, то сей послѣдній вскрикнулъ радостнымъ голосомъ:

— Такъ точно, это онъ!.. Здравствуй, Кирша!

— Почему ты меня знаешь, добрый человѣкъ? — спросилъ всадникъ, пріостановя своего коня.

— Такъ, видно, я больно похудѣлъ, когда и ты меня не узнаешь? Вглядись-ка хорошенько...

— Вотъ-те разъ!.. Неужели?.. Да нѣтъ, зачѣмъ ему здѣсь быть?

— Правда, братъ Кирша, и я не чаялъ здѣсь быть; а думалъ, что меня отпоютъ и похоронятъ въ Нижнемъ-Новѣгородѣ.

Неужели-то въ самомъ дѣлѣ ты Алексѣй Бурнашъ?

— Въ старину меня такъ зывали.

— Ахъ батюшки! Что это тебя такъ перевернуло?.. А гдѣ твой баринъ?..

Вмѣсто отвѣта, Алексѣй закрылъ лицо руками и горько заплакалъ

— Что съ нимъ сдѣлалось?—спросилъ запорожецъ, соскочивъ съ коня.—Гдѣ онъ?

— Ужъ вѣрно тамъ...—сказалъ Алексѣй, показывая на небо.—Онъ былъ ангелъ во плоти!

— Такъ Юрій Дмитричъ?..

— Приказалъ долго жить,—отвѣчалъ всхлипывая, вѣрный служитель Милославскаго.

— Ахъ, Боже мой! Боже мой!—вскричалъ запорожецъ. Гей, ребята, долой съ коней! Мы можемъ здѣсь позавтракать и дать вздохнуть лошадямъ; да подайте-ка мою кису.

Казаки спѣшились и, разнуздавъ коней, пустили ихъ на обширный лугъ, который разстилался передъ рощею; а сами, поставивъ на небольшомъ возвышеніи часового, расположились кружкомъ подъ деревьями. Кирша, вынувъ изъ кисы флягу съ виномъ и большой пирогъ съ капустою, сѣлъ подлѣ Алексѣя.

— Ну-ка, братъ, перекуси,—сказалъ онъ:—ты я вижу,

больно отощалъ. Да разскажи мнѣ, какъ это случилось, что твой бояринъ умеръ? Онъ былъ такой дѣтина здоровый, кровь съ молокомъ! Отчего-бы кажется?...

— Его зарѣзали,—отвѣчалъ Алексѣй.

— Какъ?.. Кто?.. Гдѣ?..

— А вотъ послушай. Ты, чай, помнишь, какъ въ Нижнемъ на площади, когда Козьма Мининъ Сухорукій...

— Помню, помню!

— Ну, въ этотъ самый день, вечеромъ, бояринъ былъ у князя Черкасскаго, и на дворѣ уже стало смеркаться, какъ мы пошли съ нимъ на постоялый дворъ, въ который перебрались изъ дома этого жида, Истомы-Туренина. Вотъ, недалеко отъ пристани, вдругъ выскочили на насъ изъ пустой церкви человѣкъ пять разбойниковъ; не успѣлъ я мигнуть, какъ меня хватили въ бокъ ножемъ, и я не взвидѣлъ свѣта Божьяго. Не помню, долго ли пробылъ безъ памяти; а какъ очнулся, то увидѣлъ, что лежу на скамьѣ въ избѣ и подлѣ меня стоитъ сѣдой старикъ. Я узналъ ужъ послѣ, что онъ рыбакъ, и что, идучи по-утру съ пристани, наткнулся на меня нечаянно и, замѣтя, что я еще дышу, ради Христа перенесъ меня къ себѣ въ избу. Какъ сквозь сонъ помню: лишь только онъ мнѣ пересказалъ объ этомъ, я опять обезпамятѣлъ, и ужъ спустя недѣли четыре, придя въ себя, спросилъ его о боярынѣ; онъ сказалъ мнѣ, что никакого тѣла не подымали на томъ мѣстѣ, гдѣ нашли меня... Видно, злодѣи зарѣзали Юрія Дмитрича и бросили въ Волгу. Меня пользовала какая-то досужая старушка, и я, безъ малаго четыре мѣсяца, былъ при смерти, а какъ немного поправился, то задумалъ идти въ подмосковную нашу отчину. О тебѣ и спрашивать было нечего: мнѣ сказали, что всѣ ратные люди ушли въ Ярославль съ княземъ Пожарскимъ. Такъ я отслужилъ третьяго дня панихиду по моемъ боярынѣ и отправился въ путь... Да что-то ноги плохо слушаются: на-силу тащусь.

— Ахъ, жалость какая!—сказалъ Кирша, когда Алексѣй кончилъ свой разсказъ.—Ужъ если ему было на роду писано не дожить до сѣдыхъ волосъ, такъ пусть бы онъ умеръ со славою на ратномъ полѣ: на людяхъ и смерть красна; а то, подумаешь, умереть одному, подъ ножемъ разбойника!.. Я справлялся о васъ въ дому боярина Туренина; да онъ самъ мнѣ сказалъ, что вы давнымъ давно уѣхали въ Москву.

— Злодѣй! Онъ лучше меня знаетъ, куда отправился Юрій Дмитричъ: это его дѣло!

— Неужели?

— Какъ Богъ святъ! У него въ дому разбойничья пристань.

— Такъ не даромъ же онъ стречка далъ изъ Нижняго. Когда князь Пожарскій прибылъ къ намъ въ городъ, такъ, говорятъ, его вездѣ искали, да не нашли.... Ну, братъ Алексѣй, ошеломилъ ты меня!.. Мнѣ все еще не вѣрится...

— И я долго не вѣрилъ. Вѣдь про покойнаго моего боярина было какое-то пророчество; и такъ какъ до сихъ поръ уже многое сбылось, то я не бралъ вѣры, чтобъ его зарѣзали; да пришлось, наконецъ, повѣрить.

— А что такое о немъ пророчили? Разскажи, братъ, пожалуйста...

— Вотъ изволишь видѣть: это случилось при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномъ, когда батюшка моего покойнаго боярина былъ еще дитятею; нянюшка его Ѳеодора, разсказывала мнѣ это подъ большой тайной. Однажды... Надобно тебѣ сказать, что матушка его, то-есть, бабушка, Юрія Дмитрича, была премилосердная: вся нищая братія въ околоткѣ ею только и жила. Ну вотъ, однажды, въ день рожденія... нѣтъ, въ день именинъ своего сожителя, она изволила на крыльцѣ своеручно раздавать милостыню неимущимъ, которыхъ набралось на боярскій дворъ видимо-не-видимо. Всѣ нищіе, какъ водится, такъ и лѣзли другъ передъ другомъ, чтобъ схватить милостыню; одна только старушка не рвалась впередъ и, стоя поодаль, тѣрпѣливо дожидалась своей очереди. Вотъ уже боярыня отдавала послѣднюю копѣйку, и иной нищій попроворнѣй другихъ, протягивалъ въ четвертый разъ руку, а старушка все не трогалась съ мѣста. На ту пору нянюшка Ѳеодора стояла также на крыльцѣ, замѣтила старуху и доложила о ней боярынѣ: нищую подозвали, и когда боярыня, вынувъ изъ кармана цѣлый алтынъ, подала ей и сказала: «молись за здравіе именинника»; то старушка, взглянувъ пристально на боярыню и помолчавъ нѣсколько времени, промолвила: «Охъ ты, моя родимая! Здоровъ то онъ будетъ, да уцѣлѣетъ ли его головушка?»... «Какъ такъ?» спросила боярыня поблѣднѣвъ, какъ смерть. «Дай-то, Господи, продолжала старушка, чтобъ о вешнемъ Николѣ не пришлось тебѣ пани-

хиды служить». Сказавъ эти слова, старуха поклонилась, юркнула въ толпу нищихъ и—слѣдъ простылъ. Боярыня закричала: «Ищите ее, приведите сюда!» Не тутъ то было: сгинула да пропала, и всѣ нищіе сказали въ одинъ голосъ, что не знаютъ, кто она такова, откуда взялась и куда дѣвалась. Ну, что жъ? И въ самомъ дѣлѣ, вскорѣ послѣ того, злодѣй Малюта Скуратовъ обнесъ передъ царемъ нашего боярина и его казнили наканунѣ Николина дня. Боярыня, оставшись вдовою съ однимъ малолѣтнимъ сыномъ, Дмитріемъ Юрьевичемъ, батюшкою покойнаго моего господина, отправилась въ свою закамскую отчину, и ровно десять лѣтъ о той старушкѣ слуху не было. Въ это время Дмитрій Юрьевичъ подросъ, женился и прижилъ покойнаго моего господина, Юрія Дмитріевича. Вотъ однажды, около Петрова дня, они всей семьей отправились въ Калугу, повидаться съ родными. Имъ пришлось подъ вечеръ проѣзжать Брынскимъ лѣсомъ. Боярыня и Ѳеодора ѣхали въ колымагѣ [1]), а бояринъ и холопы верхомъ. Вдругъ въ самой серединѣ лѣса, застигла ихъ гроза, загремѣлъ громъ, поднялся вихрь, дождь полилъ, какъ изъ вердра, и пошелъ такой гулъ по лѣсу, что лошади шарахнулись и стали на одномъ мѣстѣ, какъ вкопаныя,—ни взадъ, ни впередъ. Ѳеодора божилась мнѣ, что она этакой грозы сродясь не видывала. Молодая боярыня со страху зарылась въ подушки, а старая, хоть также робѣла, однакожъ замѣтила и показала Ѳедорѣ, что подлѣ дороги, противъ самой колымаги, сидитъ подъ кустомъ какая-то женщина. Вдругъ блеснула молонья, освѣтила все кругомъ. Ѳедора ахнула, а старая боярыня, толкнувъ ее тихонько локтемъ, приказала молчать: онѣ обѣ узнали въ этой прохожей старушку, которая предсказала о смерти покойнаго боярина. Вотъ, какъ гроза поунялась, боярыня вылѣзла изъ колымаги, подошла къ старухѣ и начала съ нею говорить шопотомъ. Но тутъ набѣжала новая туча, загремѣлъ опять громъ и сдѣлалась такая темнять, что хоть глазъ выколи; а когда прочистилось, то старухи ужъ не было. Какъ она ушла, куда дѣвалась, Богъ вѣсть! Старая боярыня крѣпилась мѣсяца два, наконецъ не вытерпѣла и пересказала Ѳедорѣ, подъ большою тайной, что нищая говорила съ ней о ея внукѣ, Юріѣ Дмитричѣ, что будто бъ онъ натерпится много горя, рано осиротѣетъ и хоть будетъ человѣкъ ратный, а умретъ на своей постели; что станетъ служить иноплеменному государю; по-

любитъ красну дѣвицу, не зная, кто она такова; и что, всего то чуднѣе, хоть и женится на ней, а свадьба ихъ будетъ не веселѣе похоронъ.

— Что жъ изъ этого сбылось?

— Какъ что? На двадцатомъ году Юрій Дмитричъ осиротѣлъ, служилъ королевичу Владиславу и полюбилъ боярыню Шалонскую, не зная, кто она такова.

— Правда, правда! Но вѣдь ему должно было умереть своею смертью?

— Кажись бы должно, а на бѣду вышло не такъ.

— И что за свадьба, которая не веселѣе похоронъ?

— Ужъ этого, любезный, и нянюшка Ѳедора растолковать не могла.

— Вотъ то-то и есть! Не всѣ, братъ, предсказанія сбываются. Пожалуй, и про меня въ Царицынѣ какой-то цыганъ сказалъ, что я попаду въ Запорожскую сѣчь и вѣкъ останусь простымъ казакомъ... Что жъ вышло? Одно сбылось, а другое нѣтъ. Ты видишь самъ,—продолжалъ Кирша, взглянувъ съ удовольствіемъ на своихъ казаковъ,—у меня подъ началомъ вотъ этакихъ молодцовъ до сотни наберется; и кабы я зналъ да вѣдалъ, кто эти душегубцы, которые потеряли Юрія Дмитрича, такъ я бы ихъ съ моими ребятами на днѣ морскомъ нашелъ!.. Ужъ поплатились бы мнѣ за твоего боярина!—промолвилъ Кирша, принимаясь за флягу съ виномъ.

— Одного то изъ нихъ ты знаешь; я его и впотьмахъ разсмотрѣлъ: онъ тотъ самый разбойникъ... вотъ что ты называлъ Омляшемъ.

— Какъ!—вскричалъ Кирша, выронивъ изъ рукъ свою флягу.

— Ну, да, тотъ самый, котораго ты, помнишь, въ лѣсу перекрестилъ по головѣ нагайкою.

— Ахъ, Боже мой! Алексѣй, знаешь ли что? Вѣдь твой бояринъ то, можетъ быть, живъ!

— Что ты говоришь?

— Этотъ Омляшъ и его товарищи—слуги боярина Кручины-Шалонскаго...

— Неужто?

— Я слышалъ своими ушами, что имъ приказано было захватить Юрія Дмитрича живьемъ. Ну, теперь понимаешь ли, почему не нашли твоего боярина ни живого, ни мертваго?. Онъ теперь въ рукахъ у этого кровопійцы, Шалонскаго.

— А что ты думаешь?

— Вѣрно такъ, и если только онъ живъ...

— Дай то, Господи!

— То, во что бъ ни стало, а Кирша его выручитъ. Видишь тамъ вдали: вѣдь это, кажется, отчина Шалонскаго?

— Должно быть она; только куда дѣвались его хоромы, тамъ на холмѣ...

— Одни угольки остались... Это, братъ, наше дѣло; хозяина-то, жаль, не захватили. Когда мы проходили черезъ село и стали добиваться отъ крестьянъ, гдѣ ихъ бояринъ, то всѣ мужички въ одинъ голосъ сказали, что онъ со всѣми своими пожитками, холопами и домочадцами уѣхалъ, а куда—никто не знаетъ. Пуще всего грызъ на него зубы бояринъ Образцовъ. Съ досады, что онъ отъ насъ ускользнулъ, мы запалили его хоромы: первый пукъ соломы бросилъ въ нихъ Ѳедька Хомякъ, который по всѣмъ дворамъ искалъ прикащика, и ужъ еслибы онъ попался Хомяку въ руки, не сдоброватъ бы ему! Мы было хотѣли поджечь и село, да жаль стало мужичковъ: они сердечные, не виноваты, что ихъ бояринъ предатель и измѣнникъ.

— Такъ что жъ прибыли, если Юрій Дмитричъ и живъ,—сказалъ печально Алексѣй,—когда мы не вѣдаемъ, куда этотъ злодѣй Шалонскій его запряталъ?

— А почему знать,—можетъ быть и добьемся толку? Жаль, что со мной народу то немного, а то бы я не выпустилъ изъ села ни одной души, пока не узналъ, гдѣ теперь ихъ бояринъ. Статься не можетъ, чтобъ въ цѣлой отчинѣ не нашлось никого, кто бъ зналъ, куда онъ запропастился.

— Можетъ быть онъ уѣхалъ въ Москву?

— Со всей своей дворнею? Что ты, братъ! Въ Москвѣ и полякамъ то перекусить нечего, такъ и примутъ они его съ такою ватагою! Нѣтъ, онъ вѣрно теперь въ какомъ нибудь другомъ помѣстьѣ... Да, вотъ постой: достанемъ языка, такъ авось что-нибудь вывѣдаемъ.

— Эхъ, любезный,—сказалъ Алексѣй, покачивая головою,—не вѣрится мнѣ!... Ты бы сначала меня обрадовалъ, а послѣ, какъ подумалъ... не можетъ быть! Если его и взяли живаго, такъ вѣрно ужъ давнымъ давно уходили.

— Авось, братъ! Попытка не шутка, а спросъ не бѣда!

Слава Богу, что мой старшина, Смага-Жигулинъ, не отпустилъ меня одного! Чтобъ мы стали теперь дѣлать?

— Да какъ ты сюда попалъ?

— Меня послалъ князь Пожарскій съ грамотою къ нижегородцамъ, и я было ужъ совсѣмъ отправился съ однимъ только казакомъ, да Жигулинъ велѣлъ мнѣ взять съ собою этихъ ребятъ. Около Москвы теперь вовсе проѣзду нѣтъ: по всѣмъ дорогамъ бродятъ шиши, хоть они грабятъ и рѣжутъ однихъ поляковъ, да измѣнниковъ, но, неровенъ часъ,— когда они подъ хмѣлькомъ, то имъ всѣ кажутся или поляками или измѣнниками; а нашу братію казаковъ, и чужихъ и своихъ, они терпѣть не могутъ. Говорятъ, у нихъ старшимъ какой-то деревенскій батька. Мнѣ разсказывали про него и Богъ вѣсть что! Чудо-богатырь, аршинъ трехъ ростомъ, а зовутъ его, помнится, отцомъ Еремѣемъ [2]). Всѣ подмосковные шиши въ такомъ у него послушаніи, что безъ его благословенія рукъ отвести не смѣютъ, и еслибъ не онъ, такъ отъ этихъ русскихъ налетовъ и православнымъ житья бы не было.

— Такъ ты ѣдешь теперь изъ Нижняго?

— Да; торопиться мнѣ не зачѣмъ, станемъ искать твоего боярина, авось Господь намъ поможетъ... Постой-ка, мнѣ пришло въ голову... А что, и въ самомъ дѣлѣ!.. Я знаю въ этомъ селѣ одного мужичка: онъ со всей боярскою дворнею водилъ знакомство, и ремесломъ колдунъ; такъ вѣрно лучше другаго можетъ намъ намекнуть... Эй, молодцы,—продолжалъ Кирша, побудьте здѣсь, а я на часокъ съ мѣста отлучусь? Вотъ этотъ парень разскажетъ вамъ, о чемъ идетъ дѣло. Малышъ, ты останешься старшимъ; если я черезъ часъ не вернусь, то ступайте всѣ... вонъ въ тотъ лѣсъ, что позади села. Сборное мѣсто недалеко отъ огородовъ, подлѣ деревянной часовни: да только безъ шуму, втихомолку и не кучею, а въ разсыпную, понимаешь?

— Разумѣю,—отвѣчалъ Малышъ, небольшаго роста но ловкій и проворный казачій урядникъ.

— Смотри, чтобъ безъ меня ребята не дурили: проѣзжихъ не трогать!

— Слышите ли, товарищи, что есаулъ то говорилъ?— сказалъ Малышъ.—Однакожъ Кирила Пахомычъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Киршѣ,—неравно повезутъ изъ Балахны вино, или брагу, такъ по чаркѣ другой можно?...

— Ну, ну, такъ и быть; только чуръ, ребята, изъ бо-

чекъ дны не выбивать! Подайте моего коня, да если вамъ придется ѣхать въ лѣсъ, такъ дайте и этому дѣтинѣ заводную лошадь.

Кирша вскочилъ на своего Вихря и, повторивъ еще разъ всѣ приказанія, пустился полемъ къ знакомому для насъ лѣсу, который чернѣлся верстахъ въ трехъ налѣво отъ большой дороги.

II.

Кирша пробирался осторожно опушкою лѣса, и, не встрѣтивъ никого, поровнялся наконецъ съ гумномъ Ѳедьки Хомяка, которое, вѣроятно, принадлежало уже другому крестьянину; онъ поворотилъ къ часовнѣ и пустился по тропинкѣ, ведущей на пчельникъ Кудимыча. Проѣхавъ версты полторы, Кирша повстрѣчался съ крестьянскою дѣвушкою.

— Здорово, красная дѣвица!—сказалъ онъ, приподнявъ вѣжливо свою шапку.—Откуда идешь?

Дѣвушка сначала испугалась, но ласковый голосъ и веселый видъ запорожца ее успокоили.

— Я иду домой, господинъ честной,—отвѣчала она, отвѣсивъ низкій поклонъ Киршѣ.

— И вѣрно ходила ворожить на пчельникъ?

— А почему ты это знаешь?—спросила она, взглянувъ на него съ удивленіемъ.

— Видно знаю! Ну, что, радостную ли вѣсточку сказалъ тебѣ Кудимычъ?.. Скоро ли свадьба?

— Архипъ Кудимычъ баитъ, что скоро. Да почему ты знаешь?...

— Какъ не знать!.. А что, лебедка, чай, ты не съ пустыми руками къ нему ходила?

— Коли съ пустыми! Я ему носила на поклонъ полъсорока яицъ, да двѣ копѣйки.

— Экъ твой суженый то расхарчился!

— Вотъ еще, велико дѣло двѣ копѣйки! Да меня Ванюша не постоитъ и за два алтына. Да почему ты знаешь?

— Мало ли что я знаю, голубушка! А что отсюда не далеко до пчельника?

— Близехонько.

— Прощай, красавица!

Кирша поѣхалъ далѣе, а крестьянская дѣвушка, стоя на одномъ мѣстѣ, провожала его глазами до тѣхъ поръ, пока не потеряла совсѣмъ изъ виду. Не доѣхавъ шаговъ пятидесяти до пчельника, запорожецъ слѣзъ съ лошади и, привязавъ ее къ дереву, пробрался между кустовъ до самыхъ воротъ загородки. Двери избушки были растворены, а собака спала крѣпкимъ сномъ подлѣ своей конуры. Кирша вошелъ такъ тихо, что Кудимычъ, занятый счетомъ яицъ, которыя въ большомъ рѣшетѣ стояли передъ нимъ на столѣ, не приподнялъ даже головы.

— Кудимычъ!—сказалъ Кирша грознымъ голосомъ.

Колдунъ вздрогнулъ, поднялъ голову, вскрикнулъ, хотѣлъ вскочить; но его ноги подкосились, и онъ сѣлъ опять на скамью.

— Узнаешь ли ты меня?—продолжалъ запорожецъ, глядя ему прямо въ глаза.

— Узналъ, батюшка, узналъ!—пробормоталъ, заикаясь, Кудимычъ.

— Такъ то ты помнишь свое обѣщаніе, негодный,— а?... Не божился ли ты мнѣ, что не станешь никогда колдовать?

— И не колдую, отецъ мой! Видитъ Богъ, не колдую!

— Право?.. А это что? Кто принесъ тебѣ это рѣшето яицъ? Чьи это двѣ копѣйки?.. Ага, прикусилъ язычекъ.

— Помилуй, кормилецъ! Какъ Богъ святъ...

— Молчи!.. Кто тебѣ сказалъ, что Ванька скоро женится, а?...

— Никто, батюшка, никто! Я ничего не говорилъ.

— Ого! Да ты еще запираешься! Такъ постой-же... *Гирей, мурей, алла боржукъ!*

— Виноватъ, отецъ мой!—закричалъ колдунъ, вскочивъ со скамьи и повалясь въ ноги къ запорожцу.

— Вотъ этакъ то лучше, негодный! А не то, я скажу еще одно словечко, такъ тебя скоробитъ въ бараній рогъ!

— Что дѣлать, согрѣшилъ, окаянный! Мѣсяца четыре крѣпился, да сегодня чортъ принесъ эту проклятую Марѳушку!... «Поворожи, да поворожи!...» Пристала ко мнѣ, какъ лихоманка,—не зналъ какъ отвязаться!

— Добро, добро, встань! Счастливъ ты, что у меня есть до тебя дѣльце; а то узналъ бы, каково со мной шутить!.. ты долженъ сослужить мнѣ службу.

— Все, что прикажешь, батюшка!

— Если ты мнѣ поможешь въ одномъ дѣкѣ, такъ и я тебѣ удружу. Вѣдь ты только обманываешь добрыхъ людей, а хочешь ли, я сдѣлаю изъ тебя исправнаго колдуна?

— Какъ не хотѣть, батюшка! Да я тогда за тебя куда хочешь, и въ огонь и въ воду!

— Слушай же! Во первыхъ, ты вѣрно знаешь, гдѣ бояринъ Шалонскій?

— Кто, батюшка?

— Бояринъ Кручина-Шалонскій.

— Тимоѳей Ѳедоровичъ?

— Ну, да.

— То есть, бояринъ мой?

— Кой чортъ! Что ты братъ, переминаешься? Смотри, не вздумай солгать! Боже тебя сохрани!

— Что грѣха таить, родимый, знать то я знаю...

— Такъ что жъ?

— Да не велѣно сказывать.

— А я тебѣ приказываю.

— Да на что тебѣ, кормилецъ?... Вѣдь ты и безъ меня всю подноготную знаешь; тебѣ стоитъ захотѣть, такъ ты сейчасъ увидишь, гдѣ онъ.

— Вотъ то то и дѣло, что нѣтъ: у кого въ дому я пользовалъ, надъ тѣмъ моя ворожба цѣлый годъ не дѣйствуетъ.

— Вотъ что!

— А ты, братъ, и безъ ворожбы знаешь, такъ сказывай!

— Отецъ родной, взмилуйся! Вѣдь меня совсѣмъ обдерутъ... и если бояринъ узнаетъ, что я проболтался...

— Небось, никому не скажу.

— Не смѣю, батюшка! Воля твоя, не смѣю!

— Такъ ты сталъ еще упрямиться!... Погоди же, голубчикъ!... *Гирей, мурей...*

— Постой, постой!.. Охъ, батюшки! Что мнѣ дѣлать?.. Да точно ли ты никому не скажешь?

— Дуралей! Когда ты самъ будешь колдуномъ, такъ что тебѣ сдѣлаетъ бояринъ? Если захочешь, такъ никто и пчельника твоего не найдетъ: всѣмъ глаза отведешь.

— Оно такъ, батюшка; но еслибъ ты зналъ, каковъ нашъ бояринъ!..

— Да что ты торгуешься, въ самомъ дѣлѣ?—закричалъ ворожецъ.—Въ послѣдній разъ: скажешь ли ты мнѣ, или нѣтъ, гдѣ теперь Тимоѳей Ѳедоровичъ?

— Не гнѣвайся, кормилецъ, не гнѣвайся,— все скажу! Онъ теперь живетъ верстъ семьдесятъ отсюда, въ Муромскомъ лѣсу.

— Въ Муромскомъ лѣсу?

— У него тамъ много пустошей; а живетъ онъ на хуторѣ, который выстроилъ еще покойный его батюшка; одни говорятъ, для того, чтобъ охотиться и бить медвѣдей; другіе баютъ, для того, чтобъ держать пристань и грабить обозы. Этотъ хуторъ прозывается Теплымъ Станомъ и, какъ слышно, въ такомъ захолустьѣ построенъ, что и въ полдни солнышка не видно. Сказываютъ также, что когда-то была на томъ мѣстѣ пустынь, отъ которой осталась одна каменная ограда, да подземные склепы, и что будто съ тѣхъ поръ, какъ ее разорили татары и погубили всѣхъ старцевъ, никто не смѣлъ и близко къ ней подходить; что каждую ночь перерѣзанные монахи встаютъ изъ могилъ и сходятся служить сами по себѣ панихиду; что частенько, когда дѣлывали около этого мѣста порубки, мужики слыхали въ сумерки благовѣстъ. Одинъ старикъ, котораго сынъ и теперь еще живъ, разсказывалъ, что однажды зимою, отыскивая медвѣжій слѣдъ, онъ заплутался и въ самую полночь забрелъ на пустынь; онъ божился, что своими глазами видѣлъ, какъ цѣлый рядъ монаховъ, въ черныхъ рясахъ, со свѣчами въ рукахъ, тянулся вдоль ограды и, обойдя кругомъ всей пустыни, пропалъ надъ самымъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ и до сихъ поръ видны могилы. Старикъ замѣтилъ, что всѣ они были изувѣчены: у одного перерѣзано горло, у другаго разрублена голова, а третій шелъ вовсе безъ головы...

— И этотъ старикъ отъ страху не умеръ? — спросилъ робкимъ голосомъ Кирша, который въ первый разъ отъ роду почувствовалъ, что можетъ и самъ подъ-часъ струсить.

— Нѣтъ не умеръ,—отвѣчалъ Кудимычъ; а такъ испугался, что тутъ же рехнулся и, какъ говорятъ, до самой смерти не приходилъ въ память.

— Какъ же отецъ вашего боярина рѣшился на этомъ мѣстѣ построить хуторъ?

— Онъ былъ, не тѣмъ помянуто, какой-то еретикъ: ничему не вѣрилъ, въ церковь не заглядывалъ, въ баню не ходилъ, не лучше былъ татарина. Правда баютъ, при немъ мертвецы наружу не показывались, а только по ночамъ холопы его слыхали, что подъ землею кто-то охаетъ и стонетъ. Былъ слухъ, что это живые люди, заточенные

въ подземелья; а я такъ мекаю, да и всѣ такъ мыслятъ, что это души усопшихъ; а не показывались они потому, что старый бояринъ былъ ничѣмъ не лучше тѣхъ некрещеныхъ бусурмавъ, которые разорили пустынь. Однакожъ, наконецъ, и онъ унялся ѣздить на хуторъ; послѣ жъ его смерти, годовъ двадцатъ, никто туда не заглядывалъ и только въ прошломъ лѣтѣ, по приказанію Тимоѳея Ѳедоровича починили боярскій домъ и поисправили всѣ службы.

— Ну, теперь скажи мнѣ: этакъ мѣсяца четыре назадъ, не слыхалъ ли ты, что изъ Нижняго привезли сюда насильно одного молодого боярина?...

— Мѣсяца четыре?... Кажись нѣтъ!...

— Точно ли такъ?

— Постой-ка!.. Вѣдь это никакъ придется близко Святой?... Ну, такъ и есть!.. Ммѣ сказывала мамушка Власьевна, что въ субботу на Ѳомино воскресенье ей что-то ночью не поспалось; вотъ она передъ свѣтомъ слышитъ, что вдругъ прискакали на боярскій дворъ, подошла къ окну, глядь: сидитъ кто-то въ телѣгѣ, руки скручены назадъ, ротъ завязанъ; прошло такъ около часу, вышелъ изъ хоромъ боярскій стремянный, Омляшъ, сѣлъ на телѣгу, подлѣ этого горемыки, да и по всѣмъ по тремъ.

— Такъ точно, это онъ!—вскричалъ Кирша.—Можетъ быть, я найду его на хуторѣ... Послушай, Кудимычъ, ты долженъ проводить меня до Теплаго Стана!

— Что ты, родимый: я сродясь тамъ не бывалъ!

— Полно, такъ ли?

— Видитъ Богъ, нѣтъ!

— Такъ не достанешь ли ты мнѣ проводника?

— Наврядъ. Дворовыхъ въ селѣ ни души не осталось; а изъ мужиковъ, чай, также, какъ я, никто туда не ѣзжалъ.

— Но не можешь ли хоть растолковать, по какой дорогѣ надо ѣхать?

— Кажись, по муромской. Кабы знато да вѣдано, такъ я межъ словъ повыспросилъ бы у боярскихъ холопей: они часто ко мнѣ наѣзжаютъ. Вотъ дней пять тому назадъ ночевалъ у меня Омляшъ; его посылали тайкомъ къ боярину Лесутѣ-Храпунову; отъ него бы я добился, какъ проѣхать на Теплый Станъ; хоть онъ смотритъ медвѣдемъ, а подъ хмѣлькомъ все выболтаетъ. Въ прошлый разъ, какъ онъ вытянулъ цѣлый жбанъ браги, такъ и принялся мнѣ разсказывать, что у нихъ на хуторѣ...

Тутъ вдругъ и Кудимычъ поблѣднѣлъ, затрясся и слова замерли на языкѣ его.

— Ну, что жъ у нихъ на хуторѣ? — сказалъ запорожецъ.—Да кой прахъ, что съ тобой сдѣлалось?

Вмѣсто отвѣта, Кудимычъ показалъ на окно, въ которое съ надворья выглядывала отвратительная рожа, съ прищуренными глазами и рыжей бородой.

— Омляшъ!—вскричалъ Кирша, выхвативъ свою саблю, но въ ту же минуту нѣсколько человѣкъ бросились на него сзади, обезоружили и повалили на полъ.

— Скрутите его хорошенько! — закричалъ въ окно Омляшъ; а я сейчасъ перевѣдаюсь съ хозяиномъ.—Ну-ка Архипъ Кудимычъ,—сказалъ онъ, входя въ избу:—я все слышалъ: посмотримъ твоего досужества, какъ то ты теперь отворожишься!

— Виноватъ батюшка!—завопилъ Кудимычъ, упавъ на колѣни.—Не губи моей души!... Дай покаяться!

— Ахъ ты проклятый колдунъ! Такъ ты всякому прохожему разсказываешь, гдѣ живетъ нашъ бояринъ?

— Батюшка, отецъ родимый! Въ первый и послѣдній разъ проболтался,—вѣкъ никому не скажу!...

— И не скажешь, я за это порукою!...

Омляшъ махнулъ кистенемъ и Кудимычъ съ раздробленной головой повалился на полъ.

— Ай да Омляшъ!—сказалъ небольшаго роста человѣкъ, въ которомъ Кирша узналъ тотчасъ земскаго ярыжку.—Исполать тебѣ! Смотри-ка не пикнулъ!

— Я не люблю томить,—отвѣчалъ хладнокровно Омляшъ:—мой обычай: далъ раза и дѣло съ концомъ!—А ты что за птица?—продолжалъ онъ, обращаясь къ Киршѣ.—Ба, ба, ба! Старый пріятель! Милости просимъ! Что жъ ты молчишь, иль не узналъ своего крестника?

— Да это тотъ самый колдунъ,—сказалъ одинъ изъ товарищей Омляша, что пользовалъ нашу боярышню.

— Ой ли? Ну, братъ, не знаю, кого ты ворожишь, а нагайкою лихо дерешься. Ребята, поищите-ка веревки да подлиннѣе, чтобъ повыше его вздернуть; а вонъ, кстати, у самыхъ воротъ знатная сосна!

— Знаете ль, молодцы,—сказалъ земскій, что повѣсить и одного колдуна богоугодное дѣло:—а мы за одинъ пріемъ двоихъ отправимъ къ чорту... Эко счастье привалило!

— А скажи-ка, крестный батюшка, — спросилъ Ом-

ляшъ, зачѣмъ ты сюда зашелъ? Ужъ не прислали ли тебя нарочно повывѣдать, гдѣ нашъ бояринъ?... Что жъ ты молчишь,—продолжалъ Омляшъ.—Заговорилъ бы ты у меня, да некогда съ тобой растабарывать... Ну, что стали, ребята? Удалой, тащи его къ соснѣ, да втяните на самую макушку: пусть онъ оттуда караулитъ пчельникъ!

Киршу вывели за ворота. Удалой влѣзъ на сосну, перекинулъ черезъ толстый сукъ веревку; а Омляшъ, сдѣлавъ на одномъ концѣ петлю, надѣлъ ее на шею запорожцу.

— Послушайте, молодцы,—сказалъ Кирша:—что вамъ прибыли губить меня? Отпустите живого, такъ каятся не будете.

— Ага, братъ, заговорилъ, да нѣтъ, любезный, насъ не убаюкаешь! Подымайте его!

— Постойте, я дамъ за себя выкупъ!

— Выкупъ?... Погодите, ребята.

— Что ты его слушаешь, Омляшъ.—сказалъ земскій, я его кругомъ обшарилъ: теперь у него и полъ-деньги нѣтъ за душой.

— Здѣсь въ лѣсу есть кладъ.

— Кладъ!—вскричалъ Омляшъ!—А что вы думаете, ребята? Вѣдь онъ колдунъ, такъ не диво, если знаетъ...—Да не обманываешь ли ты!

— Что мнѣ прибыли обманывать? Вѣдь я у васъ въ рукахъ.

— Ну, добро, добро; покажи намъ, гдѣ кладъ!—сказалъ земскій.

— Да покажи вамъ, а послѣ вы меня все-таки уходите! Нѣтъ, побожитесь прежде, что вы отпустите меня живого!

— Ты еще вздумалъ съ нами торговаться!—вскричалъ Омляшъ.—Покажи намъ кладъ, а тамъ посмотримъ, что съ тобой дѣлать!

— Какъ бы не такъ! Обѣщайтесь отпустить меня съ честью, такъ покажу; а безъ этого,—прибавилъ твердымъ голосомъ Кирша,—хотя въ куски меня рѣжьте, ни слова не вымолвлю.

— Ну, ну,—сказалъ земскій, мигнувъ Омляшу,—такъ и быть! Вотъ тѣ Христосъ! мы тебя отпустимъ на всѣ четыре стороны, и ничѣмъ не обидимъ, только покажи кладъ!

— Точно-ли такъ, ребята?...

— Да, да,—повторилъ Омляшъ и его товарищи:—мы ничѣмъ тебя не обидимъ и отпустимъ съ честью.

— Смотрите же, молодцы!—Вѣдь вамъ грѣшно будетъ, если вы меня обманете,—сказалъ Кирша.

— Не обмани только ты, а мы не обманемъ,—отвѣчалъ Омляшъ.—Удалой, возьми-ка его подъ руку, я пойду передомъ, а вы, ребята, идите по сторонамъ; да смотрите, чтобъ онъ не юркнулъ въ лѣсъ. Я его знаю: онъ хватъ-дѣтина! Томила, захвати веревку-то съ собой: не равно онъ насъ морочитъ, такъ было бы на чемъ его повѣсить.

— А вотъ кстати и заступъ,—сказалъ земскій.—Вѣдь мы не руками же станемъ раскапывать землю!

Кирша повелъ ихъ по тропинкѣ, которая шла къ селенію. Желая продлить время, онъ безпрестанно останавливался и шелъ весьма медленно, отвѣчая на угрозы и понужденія своихъ провожатыхъ, что долженъ удостовѣриться по разнымъ примѣтамъ, туда ли онъ ихъ ведетъ. Поровнявшись съ часовнею, онъ остановился; окинулъ быстрымъ взоромъ всѣ окружности и удостовѣрился, что его казаки не прибыли еще на сборное мѣсто. Помолчавъ нѣсколько времени, онъ сказалъ, что не можетъ исполнить своего обѣщанія до тѣхъ поръ, пока не развяжутъ ему рукъ.

— Не хлопочи, братъ, — отвѣчалъ Омляшъ:—покажи намъ только мѣсто, а ужъ копать будешь не ты.

— Да много выкопаете! — сказалъ запорожецъ.—Вѣдь кладъ не всѣмъ дается: за это надо взяться умѣючи.

— Что правда, то правда,—промолвилъ земскій.—Я много разъ слыхалъ, что безъ досужаго человѣка кладъ никому въ руки не дается,—какъ не успѣешь сказать: «аминь, аминь разсыпься», такъ и ступай искать его въ другомъ мѣстѣ.

— Ну, ну, хорошо! Развяжите его,—сказалъ Омляшъ, да чуръ не дремать, ребята, а ужъ я его не смигну!

Когда Киршѣ развязали руки, онъ спросилъ заступъ, очертилъ имъ большой кругъ подлѣ часовни и сталъ посрединѣ; потомъ, пробормотавъ нѣсколько невнятныхъ словъ и объявя, что долженъ послушать, выходитъ ли кладъ наружу, или спускается внизъ, прилегъ ухомъ къ землѣ. Сначала онъ не слышалъ ничего: все было тихо кругомъ; наконецъ ему послышался отдаленный конскій топотъ.

— Ну что, чуешь ли что-нибудь?—спросилъ съ нетерпѣніемъ Омляшъ.

— Да, да,—отвѣчалъ запорожецъ; дѣло идетъ порядкомъ, только торопиться не надобно. Я примусь теперь копать землю, а вы стойте вокругъ за чертою; да смотрите,

не шевелитесь! Къ этому кладу большой караулъ приставленъ: не легко онъ достанется.

— А что,—спросилъ робкимъ голосомъ земскій,—ужъ не будетъ ли какого демонскаго навожденія?

— Не безъ того то, любезный!— отвѣчалъ Кирша важнымъ голосомъ.—Лукавый хитеръ, напуститъ на васъ страхъ! Смотрите, ребята, чуръ не робѣть! Что-бъ вамъ ни померещилось, стойте смирно, а пуще всего не оглядывайтесь назадъ.

— Что за вздоръ!—сказалъ Омляшъ, взглянувъ подозрительно на Киршу.—Я никогда не слыхивалъ ,чтобъ бѣсъ— наше мѣсто свято—показывался по утрамъ, когда ужъ пѣтухи давнымъ-давно пропѣли.

— Не слыхалъ, такъ другіе отъ тебя услышатъ! Становитесь въ кружокъ, и не говорите ни слова, смотрите внизъ, а если покажется изъ земли огонекъ, тотчасъ зачурайтесь.

Наблюдая глубокое молчаніе, всѣ стали кругомъ Кирши, который, пошептавъ нѣсколько минутъ, принялся копать съ съ большими разстановками.

— Чу,—шепнулъ Омляшъ земскому:слышишьли?... Конскій топотъ!..

— Ради Бога, молчи!—отвѣчалъ земскій дрожащимъ голосомъ.

— Тсъ!... Что вы? Ни гугу!—сказалъ запорожецъ, погрозивъ пальцемъ.

Шумъ часъ-отъ-часу приближался и становился внятнѣе.

— Я слышу голоса!—промолвилъ Омляшъ, посматривая съ безпокойнымъ видомъ вокругъ себя.—Эй ты, колдунъ!..

— Тсъ!...

— Если ты завелъ насъ въ какую-нибудь засаду, то...

— Тсъ!...

— Уймешься ли ты?—сказалъ Томила, ткнувъ его локтемъ.

— Къ намъ точно подъѣзжаютъ! — вскричаль Омляшъ, вынувъ изъ-за пояса большой ножъ.

— Эхъ, братецъ перестань,—шепнулъ Удалой: — это намъ мерещится!

Земскій не говорилъ ни слова; онъ не смѣлъ пошевелить губами и стоялъ ,какъ вкопанный.

— Слушайте, ребята,—сказалъ Кирша, переставъ копать,—если вы не уйметесь говорить, то быть бѣдѣ! То-ли

еще будетъ, да не бойтесь, стойте только смирно и не оглядывайтесь назадъ, а я уже знаю, когда зачурать.

Омляшъ замолчалъ и, устремивъ проницательный взоръ на запорожца, слѣдилъ глазами каждое его движеніе. Между тѣмъ изъ за кустовъ показался казакъ, за нимъ другой... тамъ третій...

— Ну, ребята,—сказалъ запорожецъ; дѣло идетъ къ концу: стойте крѣпко!...—Малышъ сюда!..

— Измѣна!..—вскричалъ Омляшъ, схвативъ за воротъ Киршу. Онъ ударилъ его о земь и, нанеся надъ нимъ ножъ, сказалъ:

— Если кто изъ нихъ тронется съ мѣста...

Вдругъ раздался ружейный выстрѣлъ... Омляшъ вскрикнулъ, хотѣлъ опустить ножъ, направленный прямо въ сердце запорожца; но Кирша рванулся назадъ и, разбойникъ захрипѣвъ, упалъ мертвый на землю. Удалой и Томила выхватили сабли, но въ одно мгновеніе проколотые дротиками казаковъ, отправились вслѣдъ за Омляшемъ. Въ продолженіе этой минутной суматохи земскій не смѣлъ пошевелиться и, считая все это дьявольскимъ навожденіемъ, творилъ про себя, заикаясь отъ страха, молитву. Когда жъ, по знаку запорожца, двое казаковъ принялись вязать ему руки, онъ не вытерпѣлъ и закричалъ, какъ сумасшедшій.

— Чуръ меня, чуръ! Наше мѣсто свято!...

— Что ты горло то деретъ?—сказалъ Кирша.—Отъ этихъ чертей ни крестомъ, ни пестомъ не отдѣлаешься.

— Что жъ это такое?...—спросилъ земскій, поглядывая вокругъ себя, какъ помѣшанный.—Омляшъ!.. Удалой!... Томила!

— Полно орать, никого не докличешься; мы съ ними раздѣлались, теперь очередь за тобою...

— Ахъ, батюшки свѣты! Такъ мы попались въ засаду?..

— Не погнѣвайся! Ребята, веревку ему на шею; да на первую осину!

— Помилуй,—закричалъ земскій,—что я тебѣ сдѣлалъ?

— А развѣ вы не хотѣли меня повѣсить? Долгъ платежомъ красенъ!

— Не я, видитъ Богъ, не я: это все Омляшъ! Я ни слова не говорилъ!...

— Добро, добро, тебя не переслушаешь. Проворнѣй, ребята!

— Взмилуйся!—заревѣлъ земскій, растянувшись въ но-

гахъ запорожца.—Таскай меня, бей... вели отодрать плетьми, дѣлай со мной, что хочешь... только будь отецъ родной, отпусти живого!

Уродливая фигура земскаго, его отчаянный видъ, всклокоченная рыжая борода, растрепанные волосы, однимъ словомъ, вся наружность его казалась столь забавною казакамъ, что они, умирая со смѣху, не слишкомъ торопились исполнять приказаніе своего начальника. Одинъ добрый Алексѣй сжалился надъ несчастнымъ ярыжкою.

— Не губи его души,—сказалъ онъ Киршѣ,—Богъ съ нимъ!...

— Пустое, братъ,—отвѣчалъ запорожецъ, мигнувъ Алексѣю:—тащите его!... Иль нѣтъ...постой!... Слушай, рыжая собака! Если ты хочешь, чтобъ я тебя помиловалъ, то говори всю правду; но смотри, лишь только ты заикнешься, такъ и петлю на шею! Живъ ли Юрій Дмитричъ Милославскій?

— Живъ, батюшка! Видитъ Богъ живъ!

— Неужто въ самомъ дѣлѣ?—вскричалъ Алексѣй.

— Гдѣ онъ теперь?—продолжалъ Кирша.

— Въ Муромскомъ лѣсу, на хуторѣ у боярина Тимоѳея Ѳедоровича.

— Доведешь ли ты насъ туда?

— Доведу, кормилецъ, доведу!

— Поможешь ли намъ выручить Юрія Дмитрича?

— Помогу, отецъ мой, помогу!

— А гдѣ теперь дочь боярина Шалонскаго, Анастасія Тимоѳеевна!

— Не знаю, батюшка!

— Не знаешь?

— Какъ Богъ святъ, не знаю; а слышалъ только, что батюшка отвезъ ее въ какой-то монастырь подъ Москву, въ которомъ игуменья приходится ей теткою.

— Много ли у боярина на хуторѣ холопей?

— Много, батюшка: за сотню будетъ.

— За сотню?.. Правду ли ты говоришь?

— Сущую правду, кормилецъ! Всѣхъ по пальцамъ перечту: Гаврила, Антонъ, Федотъ, Кондратій...

— Вѣрю, вѣрю... Ахъ чортъ возьми! Такъ дѣло то трудновато... тутъ на-силу не возьмешь...

— Ужъ я вамъ помогу,—прервалъ земскій,—только отпустите меня живого; я всѣ тропинки въ лѣсу знаю, и до-

веду васъ ночью до самаго хутора, такъ что ни одна душа не услышитъ.

— Хорошо, господинъ ярыжка,—сказалъ Кирша:—если мы выручимъ Юрія Дмитрича, то я отпущу тебя безъ всякой обиды, а если ты плохо станешь намъ помогать, то закопаю живого въ землю. Малышъ, дай ему коня, да приставь къ нему двухъ казаковъ, и если они только замѣтятъ, что онъ хочетъ дать тягу, или, чего Богъ сохрани, завести насъ не туда, куда надо, такъ тутъ же ему и карачунъ! А я между тѣмъ сбѣгаю за моимъ Вихремъ: онъ недалеко отсюда, и какъ-разъ васъ догоню.

— На коня, добрые молодцы!—закричалъ Малышъ.—Эй ты, рыжая борода, впередъ, показывай дорогу!.. Ягайло, ступай возлѣ него по правую сторону, а ты, Павша, держись лѣвой руки. Ну, ребята, съ Богомъ!...

III.

Знаменитые въ народныхъ сказкахъ и древнихъ преданіяхъ, дремучіе лѣса Муромскіе и до нынѣ пользуются неоспоримымъ правомъ воспламенять воображеніе русскихъ поэтовъ. Тотъ, кому не случалось проѣзжать ими, съ ужасомъ представляетъ себѣ непроницаемую глубину этихъ дикихъ пустынь, сыпучіе пески, поросшія мхомъ и частымъ ельникомъ непроходимыя болота, мрачныя поляны, устланныя цѣлыми поколѣніями исполинскихъ сосенъ, которыя породились, взросли и истлѣвали на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, гдѣ нѣкогда возвышались ихъ прежніе, современные вѣкамъ, прародители; однимъ словомъ, и въ наше время многіе воображаютъ Муромскіе лѣса

Жилищемъ вѣдьмъ, волковъ,
Разбойниковъ и злыхъ духовъ.

Но, къ сожалѣнію юныхъ поэтовъ нашихъ и къ счастію всѣхъ путешественниковъ, они давно уже потеряли свою піитическую физіономію. Напрасно бы стали мы искать окруженную топкими болотами долину, гдѣ нѣкогда, по древнимъ сказаніямъ, возвышалось на семи дубахъ неприступное жилище Соловья-разбойника; никто въ селѣ Карачаровѣ не покажетъ любопытному путешественнику того мѣста, гдѣ была хижина, въ которой родился и *сидѣлъ* сидѣлъ тридцать лѣтъ могучій богатырь Илья Муро-

мецъ. О вѣдьмахъ не говорятъ уже и въ самомъ Кіевѣ; злые духи остались въ однѣхъ операхъ, а романтическіе разбойники, по милости классическихъ капитанъ-исправниковъ, вовсе перевелись на святой Руси; и бѣдный путешественникъ, мечтавшій насладиться всѣми ужасами ночного нападенія, пріѣхавъ домой, со вздохомъ разряжаетъ свои пистолеты, и развѣ иногда можетъ похвастаться мужественнымъ своимъ нападеніемъ на станціоннаго смотрителя, который, *Богъ знаетъ почему*, не давалъ ему до самой полуночи лошадей, или побѣдою надъ упрямымъ извощикомъ, у котораго *вѣрно было что-нибудь на умѣ*, потому что онъ ѣхалъ шагомъ по тяжелой песчаной дорогѣ, и подъѣзжая къ одному оврагу, насвистывалъ пѣсню. Но что всего не сноснѣе: этотъ дремучій лѣсъ, который въ старину представлялся воображенію чѣмъ-то таинственнымъ, неопредѣленнымъ, безконечнымъ,—весь вымѣренъ, раздѣленъ на десятины, и сочинитель романа не найдетъ въ немъ ни одного уголка, котораго-бы уѣздный землемѣръ не показалъ ему на общемъ планѣ всей губерніи. Правда, говорятъ, будто бы и въ наше время голодные волки бродятъ по лѣсу и кой-гдѣ въ дуплахъ завываютъ филины и сычи; но эти мелкіе второклассные ужасы такъ уже износились во всѣхъ страшныхъ романахъ, что намъ придется скоро отыскивать дѣвственную природу, со всѣми дикими ея красотами, въ пустыняхъ Барабинскихъ, или въ безконечныхъ лѣсахъ южной Сибири.

Слишкомъ за двѣсти лѣтъ до этого, то-есть, во времена Междуцарствія, хотя мы и не можемъ сказать утвердительно, живали ли въ Муромскихъ лѣсахъ вѣдьмы, лѣшіе и злые духи; но, по крайней мѣрѣ, это народное повѣрье существовало тогда еще во всей своей силѣ; что жъ касается до разбойниковъ, то, не смотря на старанія губныхъ старостъ, огнищанъ и всей земской полиціи тогдашняго времени, дорога Муромскимъ лѣсомъ вовсе была не безопасна. Купецъ изъ какого-нибудь низоваго города, отправляясь во Владиміръ, прощался во всѣми своими родными и, доѣхавъ благополучно до Мурома, полагалъ необходимою обязанностью отслужить благодарственный молебенъ муромскимъ чудотворцамъ—святымъ и благовѣрнымъ князю Петру и княгинѣ Ѳевроніи.

Мы попросимъ теперь читателей перенестись вмѣстѣ съ ними въ самую глубину Муромскаго лѣса, на Теплый

Станъ, хуторъ боярина Шалонскаго. Чтобъ дать сколь возможно болѣе понятія о его мѣстоположеніи, мы скажемъ только, что онъ находился верстахъ въ двадцати отъ большой дороги, и почти столько же отъ береговъ Оки, которая перерѣзываетъ, или, лучше сказать, оканчиваетъ большой Муромскій лѣсъ. Не доѣзжая верстъ пяти до хутора, должно было переправиться черезъ обширное болото, въ коемъ терялась небольшая рѣчка, которая, прокрадываясь потомъ между мховъ и поросшихъ тростникомъ небольшихъ озеръ, впадала въ Оку. Узкая, едва замѣтная тропинка извивалась по болоту; по обѣимъ сторонамъ ея разстилались, повидимому, зеленѣющіе луга; но горе проѣзжему, который, плѣнясь ихъ наружностію, рѣшился бы съѣхать въ сторону съ грязной и безпокойной дороги: подъ этою обманчивою зеленою оболочкою скрывалась смерть, и одинъ неосторжоный шагъ на эту бездонную трясину подвергалъ проѣзжаго неминуемой гибели; увязнувъ разъ, онъ не могъ бы уже, безъ помощи другихъ, выбраться на твердое мѣсто; съ каждымъ новымъ усиліемъ погружался бы все глубже и, продолжая тонуть понемногу, испыталъ бы на себѣ всѣ мученія медленныхъ казней, придуманныхъ безчеловѣчіемъ и жестокостью людей. По другой сторонѣ топи начиналась прямая просѣка, ведущая на окруженную со всѣхъ сторонъ болотами и дремучимъ лѣсомъ обширную поляну; во всю ширину ея простирались стѣны древней обители, на развалинахъ которой былъ выстроенъ хуторъ боярина Кручины. Небольшая рѣчка, о которой мы уже говорили, обтекая кругомъ всей стѣны, составляла, передъ самымъ выѣздомъ на поляну, продолговатый и довольно широкій прудъ; длинная и узкая гать служила плотиною, по которой подъѣзжали къ самымъ стѣнамъ хутора. По всѣмъ угламъ четырехсторонней ограды построены были круглыя башни, изъ которыхъ двѣ, казалось, готовы были ежеминутно разрушиться; но остальныя не смотря на всѣ признаки ветхости, могли еще быть обитаемы. Надъ главными воротами, на которыхъ замѣтны были остатки живописи, изображавшей, вѣроятно, святыхъ угодниковъ, возвышалась до половины разрушенная сторожевая башня. Внутри ограды, вдоль всей восточной стѣны, выстроены были бревенчатые хоромы боярина Шалонскаго, а остальная часть хутора занята службами и огромною конюшнею. На самой серединѣ двора видны были остатки довольно обширной, но низкой церкви; узкія, по-

хожія на трещины, окна совершенно заглохли травою, а вся поверхность сводовъ поросла кустами жимолости, изъ середины которыхъ подымались двѣ, или три молодыя ели.

Глухая полночь давно уже наступила; вѣтеръ завывалъ между деревьями, и ни одна звѣздочка не блистала на черныхъ, густыми тучами покрытыхъ, небесахъ. Почти всѣ жители Теплаго Стана покоились крѣпкимъ сномъ, и только караульный, поставленный на сторожевой башнѣ, изрѣдка перекликался съ своимъ товарищемъ, стоявшимъ у противоположныхъ воротъ. Кой-гдѣ мелькалъ сквозь окна слабый свѣтъ лампадъ, висящихъ передъ иконами, и одна только часть хоромъ боярина Кручины казалась ярко освѣщенною. Въ обширномъ покоѣ, за дубовымъ столомъ, покрытымъ остатками ужина, сидѣлъ Кручина-Шалонскій, съ задушевнымъ своимъ другомъ, бояриномъ Истомою-Туренинымъ; у дверей комнаты дремали, прислонясь къ стѣнѣ, двое слугъ; при каждомъ новомъ порывѣ вѣтра, отъ котораго стучали ставни и раздавался по лѣсу глухой гулъ, они, вздрогнувъ, посматривали робко другъ на друга и, казалось, не смѣли взглянуть на окна, изъ коихъ можно было различить, не смотря на темноту, часть западной стѣны и сторожевую башню, на которыхъ отражались лучи ярко освѣщеннаго покоя.

— Выпей-ка еще этотъ кубокъ,—сказалъ Кручина, наливая Туренину огромную серебряную кружку.—Я давно уже замѣтилъ, что ты мыслишь тогда только за одно со мною, когда у тебя зашумитъ порядкомъ въ головѣ. Воля твоя, а ты ужъ черезъ чуръ всего опасаешься Смѣлымъ Богъ владѣетъ, Андрей Никитичъ, а робкаго одинъ лѣнивый не бьетъ!

— Благоразуміе не робость, Тимоѳей Ѳедоровичъ,—отвѣчалъ Туренинъ.—И ради чего Господь одарилъ насъ умомъ и мыслію, если мы и съ сѣдыми волосами будемъ поступать, какъ малыя дѣти? Дозволь себѣ сказать: ты ужъ не въ мѣру малоопасенъ; да вотъ хоть, напримѣръ, для какой потребы эти два пострѣла торчатъ у дверей? Развѣ для того, чтобъ подслушивать наши рѣчи.

— Подслушивать? Да смѣютъ ли они имѣть уши, когда стоятъ въ моемъ покоѣ?

— Смѣютъ ли!.. Чего не смѣетъ подъ-часъ это хамово отродье! Послушай, Тимоѳей Ѳедоровичъ: коли ты желаешь

продолжать со мною начатый разговоръ, то вышли вонъ своихъ челядинцевъ.

— Ну, если хочешь, пожалуй! Эй вы, дурачье, ступайте вонъ!

Слуги молча поклонились и вышли въ другую комнату.

— Вотъ этакъ то лучше,—сказалъ Туренинъ, притворяя дверь.—И такъ, Тимоѳей Ѳедоровичъ,—продолжалъ онъ, садясь на прежнее мѣсто,—ты рѣшился оставить Теплый Станъ!

— Да, дѣлать нечего. Гетманъ Хоткѣвичъ долженъ быть уже подъ Москвою, и если нижегородскіе разбойники съ атаманомъ своимъ, Пожарскимъ, и есауломъ его, мясникомъ Сухоруковымъ, и подоспѣютъ на помощь къ князю Трубецкому, то все ему не сдобровать: Заруцкій съ своими казаками и рукъ не отведутъ; такъ, разсуди самъ, какой я добьюсь чести, если во все это время просижу здѣсь на хуторѣ, какъ медвѣдь въ своей берлогѣ?

— Оно такъ, Тимоѳей Ѳедоровичъ; не худо бы намъ добраться до войска пана Хоткѣвича: если онъ будетъ побѣдителемъ, тѣмъ лучше для насъ,—и мы тамъ были налицо; если жъ, на бѣду, его поколотятъ...

— Что ты?.. Можетъ ли это статься?

— Богъ вѣсть, не узнаешь, любезный! Иногда удается и телята волка поймати, а Пожарскій не изъ простыхъ воеводъ: хитеръ и на руку охулки не положитъ. Ну, если какимъ ни есть случаемъ да посчастливится нижегородцамъ устоять противъ поляковъ и очистить Москву, что тогда съ нами будетъ? Тебя они величаютъ измѣнникомъ, да и я, чай, записанъ у Пожарскаго въ *нетяхъ* *): такъ намъ обоимъ жутко придется. А какъ будемъ при Хоткѣвичѣ, то, какова ни мѣра: плохо пришло —въ Польшу уѣдемъ, и если не здѣсь, такъ тамъ будемъ въ чести.

— Вотъ то то же; ты видишь самъ, что намъ мѣшкать не должно.

— Видѣть то я вижу, да какъ мы доберемся до польскаго войска?.. Ѣхать однимъ... того и гляди попадешься въ руки къ разбойникамъ шишамъ, отъ которыхъ, говорятъ,

---

*) Такъ назывались тѣ, которые, по требованію правительства не являлись на службу.

около Москвы проѣзду нѣтъ; взять съ собой человѣкъ тридцать холопей... съ такой оравой тайкомъ не прокрадешься; а Пожарскій давно уже изъ Ярославля, со всѣмъ войскомъ, къ Москвѣ выступилъ.

— Не выходить бы ему изъ Ярославля,—вскричалъ Кручина,—еслибъ этотъ дуракъ, Сенька Ждановъ, не промахнулся! И что съ нимъ сдѣлалось?.. Я его, какъ самаго удалаго изъ моихъ слугъ, послалъ къ Заруцкому; а тотъ отправилъ его съ двумя казаками въ Ярославль зарѣзать Пожарскаго,—и этого-то, собачій сынъ, не умѣлъ сдѣлать! Какъ подумаешь, такъ не изъ чего этихъ хамовъ и хлѣбомъ кормить!

— Какъ бы то ни было, Тимоѳей Ѳедоровичъ, а дѣлать нечего: надобно пуститься на удалую. Но, такъ какъ, по мнѣ, все лучше попасться въ руки къ Пожарскому, чѣмъ къ этимъ проклятымъ шишамъ, то мой совѣтъ, однимъ намъ въ дорогу не ѣздить.

— И я то же думаю. И такъ, если завтра погода будетъ получше... Тьфу батюшки, что за вѣтеръ! Экой гулъ идетъ по лѣсу!

— Да, погодка разыгралась. И то сказать: въ лѣсу не такъ, какъ въ чистомъ полѣ,—и небольшой вѣтерокъ подыметъ такой шумъ, что подумаешь свѣту преставленіе... Чу! Слышишь ли: и свиститъ, и воетъ?... Ахъ, батюшки-свѣты! Что это, словно человѣческіе голоса?

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ Кручина, вставая съ своего мѣста,—и мнѣ что-то послышалось...—прибавилъ онъ, глядя изъ окна на сторожевую башню.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Туренинъ, покачавъ сомнительно головою:—это не такъ близко отсюда, а развѣ за плотиною въ просѣкѣ.

— Уже не ѣдетъ ли назадъ Омляшъ съ товарищами?—сказалъ Кручина.

— Можетъ статься,—отвѣчалъ Туренинъ;—однакожъ не худо, еслибъ ты велѣлъ разбудить человѣкъ десятокъ холопей.

— На что?

— Да такъ, чтобъ, знаешь ли, врасплохъ не пожаловали гости.

— Помилуй, любезный! Кому?.. Кто, кромѣ нашихъ, въ такую темнеть, проѣдетъ болотомъ?

— Все такъ; а, право, не мѣшало бы...

— Э, да я вижу, ты еще не допилъ своего кубка! Ну-ка, братъ, выкушай на здоровье! Авось храбрости въ тебѣ прибудетъ. Помилуй, чего ты опасаешься? Въ нашей сторонѣ никакого войска нѣтъ; а еслибъ и было, такъ кого нелегкая понесетъ? Вѣрнѣе всего, что намъ послышалось. Омляшъ всѣ тропинки въ лѣсу знаетъ, да и онъ наврядъ пустится теперь черезъ болото.

— А куда ты его отправилъ?

— Къ Замятнѣ-Опалеву. Сегодня или завтра, чѣмъ-свѣтъ, ему назадъ вернуться должно. И такъ, Андрей Никитичъ, дѣло кончено: мы завтра отправляемся въ дорогу. Знаешь ли, что намъ придется ѣхать мимо Троицкой лавры?

— Для чего?

— Да надо завернуть въ Хотьковскую обитель за Настенькой: она ужъ четвертый мѣсяцъ живетъ тамъ у своей тетки, сестры моей, игуменьи Ирины. Не вѣкъ ей оставаться невѣстою, пора ужъ быть и женою пана Гонсѣвскаго; а къ тому жъ, если намъ придется уѣхать въ Польшу, то какъ ее послѣ выручить? Хоть, правду сказать, я не въ тебя, Андрей Никитичъ, и вѣрить не хочу, чтобъ этотъ нижегородскій сбродъ устоялъ противъ обученнаго войска польскаго и такого знаменитаго воеводы, каковъ гетманъ Хоткѣвичъ.

— Не говори, Тимоѳей Ѳедоровичъ, мало ли что случиться можетъ; не подумаешь впередъ, такъ чтобъ послѣ локтей не кусать. Ну, а скажи мнѣ, если завтра мы отсюда отправимся, что ты сдѣлаешь съ Милославскимъ? Неужли-то потащишь съ собою?

— Да, мнѣ хотѣлось бы этого предателя руками выдать пану Гонсѣвскому.

— Нѣтъ, Тимоѳей Ѳедоровичъ, неравно попадемся сами, такъ бѣдовое дѣло: вѣдь онъ живая улика.

— Что правда, то правда; придется оставить его здѣсь.

— Вотъ то-то же! Ну, къ чему навязалъ себѣ на шею эту заботу? Кабы твой Омляшъ меня послушался, то давно бъ объ этомъ Милославскомъ и слуху не было. Такъ нѣтъ: «мнѣ, дескать, наказано отъ боярина, живьемъ его схватить». Живьемъ!... Вотъ теперь и возись съ нимъ!

— Да знаешь ли, что этотъ мальчишка обидѣлъ меня за столомъ, при панѣ Тишкевичѣ и всѣхъ моихъ гостяхъ? Вспомнить не могу!... — продолжалъ Кручина, засверкавъ глазами... — Этотъ щенокъ осмѣлился угрожать мнѣ!... И ты

хочешь, чтобъ я удовольствовался его смертью!... Нѣтъ, чортъ возьми! Я хотѣлъ, и теперь еще хочу, уморить его въ кандалахъ: пусть онъ таетъ, какъ свѣча, пусть, умирая по-немногу, узнаетъ, каково оскорбить боярина Шалонскаго!

— Оно такъ,—прервалъ хладнокровно Туренинъ,—конечно, весело потѣшиться надъ своимъ злодѣемъ, да что бъ оглядокъ не было. Ты оставишь его здѣсь... ну, а коли, чего Боже сохрани, безъ тебя онъ, какъ ни есть, вырвется на волю?... Эхъ, Тимоѳей Ѳедоровичъ, послушайся моего совѣта!... Мертвые не болтаютъ.

— Такъ ты думаешь?...

— Ну, да: хватилъ ножемъ, да и концы въ воду!

Бояринъ Кручина, помолчавъ нѣсколько минутъ, повторилъ вполголоса:

— Ножемъ!... Но неужели я долженъ самъ?...

— Кто тебѣ говоритъ? Что, у тебя мало что-ль молодцовъ?... Стоитъ только намекнуть...

— Омляшъ и Удалой въ дорогѣ, а на другихъ я не больно надѣюсь.

— Вели позвать моего дворецкаго: у него рука не дрогнетъ.

— Такъ ты думаешь, что мы должны... что для безопасности нашей?...

— Какъ-же! Вѣдь онъ насъ за руки держитъ; одинъ конецъ,—такъ и намъ и ему легче будетъ.

— Ну, инъ быть по твоему, — сказалъ Кручина, вставая медленно изъ-за стола. Онъ наполнилъ огромную кружку виномъ и, выпивъ ее однимъ духомъ, подошелъ къ дверямъ, взялся за скобку, но вдругъ остановился; казалось, нѣсколько минутъ онъ боролся съ самимъ собою и наконецъ прошепталъ глухимъ голосомъ:

— Нѣтъ, не могу!... Никакъ не могу!...

— Чуденъ ты мнѣ!—сказалъ, покачавъ головою, Туренинъ. — Вѣдь ты хотѣлъ же его уморить въ кандалахъ?

— Да, и какъ вспомню, что этотъ молокососъ осмѣлился ругаться надо мною, то вся кровь закипитъ!

— Такъ что жъ?

— Такъ что жъ!... Эхъ, Андрей Никитичъ! Въ сердцахъ я готовъ на все: самъ зарѣжу того, кто осмѣлится мнѣ поперечить... А вѣдь онъ въ рукахъ!...

— Тѣмъ лучше.

— Въ цѣпяхъ... истомленный голодомъ, едва живой...

Когда подумаю, что онъ, не вымолвивъ ни слова, какъ мученикъ, протянетъ свою шею... Нѣтъ, Андрей Никитичъ, не могу! Видитъ Богъ, не могу!...

— Кто говоритъ, Тимоѳей Ѳедоровичъ; конечно, жаль: дѣтина молодой, здоровый, дожилъ бы до сѣдыхъ волосъ... Да что жъ дѣлать: своя рубашка къ тѣлу ближе.

Шалонскій бросился на скамью и, закрывъ обѣими руками лицо, не отвѣчалъ ни слова.

— Послушай, любезный,—продолжалъ Туренинъ,—что сдѣлано, то сдѣлано: назадъ не воротишься: и о чемъ тутъ думать? Не при мнѣ ли Милославскій говорилъ нижегородцамъ, чтобъ не покорялись Владиславу? Не по его ли совѣту они пошли подъ Москву? Не онъ ли ободрялъ ихъ, разсказывая о безсиліи поляковъ и готовности гражданъ московскихъ возстать противъ Гонсѣвскаго? Но клялся ли онъ въ вѣрности Владиславу? Не измѣнилъ ли своей присягѣ и не заслуживаетъ ли этотъ предатель смертной казни? Ну, что жъ ты молчишь? Отвѣчай, Тимоѳей Ѳедоровичъ!

— Бояринъ Туренинъ, — сказалъ Кручина, бросивъ на него угрюмый взглядъ, — не намъ съ тобою осуждать Милославскаго... Но ты правъ, назадъ вернуться не можно. Дѣлай, что хочешь... и пусть эта кровь падетъ на твою голову!

— Аминь!—сказалъ Туренинъ, подходя къ дверямъ.

— Постой!—вскричалъ Шалонскій. — Слышишь ли!... Это ужъ не вѣтеръ...

— Да, — отвѣчалъ Туренинъ, отворяя окно. — Точно... Конскій топотъ!

— Неужели Омляшъ? Скоро-жъ онъ назадъ воротился... Нишни!... Караульный съ кѣмъ-то разговариваетъ... Кажется... Точно такъ, это голосъ Прокофьича.

— Земскаго ярыжки, который у тебя живетъ?

— Да, я отправилъ его вмѣстѣ съ Омляшемъ.

— Ну, такъ и есть; это должны быть они... Вотъ и караульный сошелъ съ башни... отворяетъ ворота... Кой чортъ!... А сколько ты людей отправилъ съ Омляшемъ?

— Ихъ было всего четверо.

— Четверо?... Полно, такъ-ли?... Кажется, ихъ гораздо больше... Постой-ка... Тьфу, батюшки, какая темнеть!

Тутъ на дворѣ раздался болѣзненный крикъ, похожій на удушливое и слабое восклицаніе умирающаго человѣка.

— Что это значитъ?—спросилъ торопливо Туренинъ.

— Дурачье, — сказалъ Кручина: — ужъ не задавили ли кого-нибудь въ потемкахъ?

— Тимоѳей Ѳедоровичъ,—вскричалъ Туренинъ,—посмотри-ка!... Мнѣ кажется, что отъ воротъ идетъ что-то много пѣшихъ людей...

— Право?... Ну, спасибо Замятнѣ! Я просилъ его прислать ко мнѣ десятка два своихъ холопей. У меня здѣсь больныхъ на-половину, а какъ возьмемъ съ собой человѣкъ тридцать, такъ было бы кому хуторъ покараулить. Пожалуй, заберутся въ гости и разбойники.

— А что, у тебя заведено что ль, держать по ночамъ ворота настежъ?

— Какъ настежъ?

— Да развѣ не видишь? Караульный и не думаетъ запирать.

— Въ самомъ дѣлѣ... Можетъ быть, не всѣ еще въ ѣхали.

— Не всѣ?... Кажется, и такъ порядочная кучка прошла дворомъ.

Вдругъ въ сѣняхъ послышались шаги многихъ людей, поспѣшно идущихъ.

— Тимоѳей Ѳедоровичъ,—вскричалъ испуганнымъ голосомъ Туренинъ, — сюда идутъ!...

— Что это значитъ?...—спросилъ Кручина, подойдя къ дверямъ.

Въ сосѣднемъ покоѣ раздался громкій крикъ, и Кирша, въ сопровожденіи пяти казаковъ и Алексѣя, вбѣжалъ въ комнату.

— Измѣна!—вскричалъ Шалонскій.

— Молчать!... — сказалъ Кирша, прицѣлясь въ него пистолетомъ. — Слушайте, бояре! Если изъ васъ кто-нибудь пикнетъ, то тутъ вамъ и конецъ! Тимоѳей Ѳедоровичъ, веди насъ сейчасъ туда, гдѣ запрятанъ у тебя Юрій Дмитричъ Милославскій.

Шатонскій протянулъ руку, чтобъ схватить со стола ножъ; но Туренинъ, удержавъ его, закричалъ:

— Бога ради, бояринъ, не губи насъ обоихъ! Добрый человѣкъ!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Киршѣ...

— Тсъ, ни слова!—прервалъ запорожецъ.—Гдѣ ключи отъ его темницы?

Кручина молча показалъ на стѣну.

— Хорошо, — сказалъ Кирша, снявъ ихъ со стѣны:—

возьмите каждый по свѣчѣ и показывайте, куда идти... Да Боже васъ сохрани сдѣлать тревогу!... Ребята, подъ руки ихъ, ножи къ горлу... вотъ такъ!... Ступай!

Въ сосѣднемъ покоѣ къ нимъ присоединилось пятеро другихъ казаковъ; двое по рукамъ и ногамъ связанныхъ слугъ лежали на полу. Сойдя съ лѣстницы, они пошли вслѣдъ за Шалонскимъ къ развалинамъ церкви. Когда они проходили мимо службъ, то, несмотря на глубокую тишину, ими наблюдаемую, шумъ отъ ихъ шаговъ пробудилъ нѣсколькихъ слугъ; въ двухъ или трехъ мѣстахъ народъ зашевелился, и растворились окна.

— Тимоѳей Ѳедоровичъ,—сказалъ Кирша,—если всѣ эти рожи сей же часъ не спрячутся, то...—Онъ приставилъ дуло пистолета къ его виску...—Слышишь-ли, бояринъ?

Шалонскій не отвѣчалъ ни слова, но Туренинъ закричалъ прерывающимся отъ страха голосомъ:

— Что вы глазѣете, дурачье, или хотите подсматривать за вашими боярами?... Вотъ я васъ, бездѣльники!...

Окна затворились, и снова настала совершенная тишина. Подойдя къ развалинамъ, казаки вошли, вслѣдъ за боярином Кручиною, во внутренность разоренной церкви. Въ трапезѣ, противъ того мѣста, гдѣ замѣтны еще были остатки каменнаго амвона, Шалонскій показалъ на чугунную широкую плиту, съ толстымъ кольцомъ. Когда ее подняли, открылась узкая и крутая лѣстница, ведущая внизъ.

— Тимоѳей Ѳедоровичъ, — сказалъ Кирша, потрудись итти впередъ; а ты, бояринъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Туренину, — ступай-ка подлѣ меня: неравно у васъ есть какая-нибудь лазейка, и если онъ отъ насъ ускользнетъ, то хоть ваша милость не вывернется.

Сойдя ступеней двадцать, они очутились въ обширномъ подземельѣ; покрытыя надписями чугунныя доски и каменныя плиты, съ высѣченными словами, доказывали, что это подземелье служило склепомъ, въ которомъ хоронили нѣкогда усопшихъ иноковъ. Въ одномъ углубленіи, окованная желѣзомъ низкая дверь была заперта огромнымъ висячимъ замкомъ. Кручина, не говоря ни слова, остановился подлѣ нея: въ одну минуту замокъ былъ отпертъ, дверь отворилась, и Алексѣй, вмѣстѣ съ Киршею и двумя казаками, вошелъ, или лучше сказать, пролѣзъ, со свѣчкою въ рукахъ, сквозь узкое отверстіе, въ небольшой четыреугольный погребъ. Въ немъ, прикованный толстой цѣпью къ стѣнѣ, ле-

жалъ на соломѣ несчастный Милославскій. Услышавъ необычный шумъ и увидя вошедшихъ людей, онъ молча перекрестился и закрылъ рукою глаза.

— Ахти, насъ обманули,—вскричалъ Алексѣй: это не онъ!

Звуки знакомаго голоса пробудили отъ безчувствія полумертваго Юрія; онъ открылъ глаза, привсталъ и, протянувъ впередъ руки, промолвилъ слабымъ голосомъ:

— Алексѣй, ты ли это?

— Боже мой... это его голосъ!—вскричалъ вѣрный служитель, бросившись къ ногамъ своего господина.—Юрій Дмитричъ, — продолжалъ онъ всхлипывая: — батюшка!... Отецъ ты мой!... Ахъ, злодѣи... богоотступники!... Что это они сдѣлали съ тобою? Господи, Боже мой! Краше въ гробъ кладутъ!... Варвары, кровопійцы!

Рыданія прерывали слова его; онъ покрывалъ поцѣлуями руки и ноги Юрія, который, казалось, не могъ еще образумиться отъ этого нечаяннаго появленія и не понималъ самъ, что съ нимъ дѣлалось.

— Добро, будетъ, Алексѣй! — сказалъ запорожецъ. — Успѣешь нарадоваться и нагореваться послѣ; теперь намъ не до того. Ребята, проворнѣй сбивайте съ него цѣпи!... Иль нѣтъ... постой... въ этой связкѣ должны быть отъ нихъ ключи.

Кирша не ошибся: ключи нашлись, и черезъ нѣсколько минутъ, ведя подъ руки Юрія, который съ трудомъ переступалъ, они вышли вонъ изъ погреба.

— Алексѣй, — сказалъ запорожецъ, — выведи поскорѣй своего господина на свѣжій воздухъ, а мы тотчасъ будемъ за вами. Ну, бояре, — продолжалъ онъ,—милости просимъ на мѣсто Юрія Дмитрича; вамъ вдвоемъ скучно не будетъ, вы люди умные, чай, есть о чемъ поговорить. Эй, молодцы! Пособите имъ войти въ покой, въ которомъ они угощали боярина Милославскаго.

Туренинъ хотѣлъ что-то сказать; но казаки, не слушая его, втолкнули ихъ обоихъ въ погребъ, заперли дверь, и когда выбрались опять въ церковь, то принялись было за плиту; но Кирша, не приказавъ имъ закрывать отверстія, вышелъ на паперть. Казалось, чистый воздухъ укрѣпилъ нѣсколько изнуренныя силы Милославскаго. Они дошли безъ всякаго препятствія до воротъ, подлѣ которыхъ стояли на часахъ двое казаковъ и лежалъ убитый караульный; а на плотинѣ, шагахъ въ десяти отъ стѣны, дожидались съ

лошадьми остальные казаки и земскій. Алексѣй, при помощи другихъ, посадилъ Юрія на лошадь, и вся толпа, вслѣдъ за земскимъ, который ѣхалъ впереди между двухъ казаковъ, переправясь въ глубокомъ молчаніи черезъ плотину, пустилась рысью вдоль просѣки, ведущей къ болоту.

IV.

Проѣхавъ версты четыре на-рысяхъ, Кирша приказалъ своимъ казакамъ остановиться, чтобъ дать отдохнуть Милославскому, который съ трудомъ сидѣлъ на лошади, несмотря на то, что съ одной стороны поддерживалъ его Кирша, а съ другой ѣхалъ подлѣ самаго стремени Алексѣй.

— Отдохни, бояринъ, — сказалъ запорожецъ, вынимая изъ сумы флягу съ виномъ и кусокъ пирога,—да на-ка, хлебни и закуси, чѣмъ Богъ послалъ. Теперь надо будетъ тебѣ покрѣпче сидѣть на конѣ: сейчасъ пойдетъ дорога болотомъ, и намъ придется ѣхать по одиночкѣ, такъ поддерживать тебя будетъ некому.

Юрій, не отвѣчая ни слова, схватилъ съ жадностію пирогъ и принялся ѣсть.

— Ну, Юрій Дмитричъ, — продолжалъ Кирша, — сладко же, видно, тебя кормили у боярина Кручины! Ахъ, сердечный, смотри, какъ онъ за обѣ щеки убираетъ! А пирогъ-то вовсе не на славу испеченъ.

— Душегубцы!—сказалъ Алексѣй. — Чтобъ имъ самимъ издохнуть голодною смертью!... Кушай, батюшка, кушай, мой родимый!... Разбойники!

— На-ка, выпей винца, бояринъ,—прибавилъ Кирша.— Ахъ, Господи, Боже мой! Гляди-ка, на-силу держитъ въ рукахъ флягу! Экъ они его доканали!

— Басурманы, антихристы! — вскричалъ Алексѣй. — Чтобъ имъ самимъ весь вѣкъ капли вина не пропустить въ горло! Проклятые!

Утоливъ нѣсколько свой голодъ, Юрій сказалъ довольно твердымъ голосомъ:

— Спасибо, добрый Кирша; видно, мнѣ на роду написано вѣкъ оставаться твоимъ должникомъ: который разъ спасаешь ты меня отъ смерти!...

— И, Юрій Дмитричъ, охота тебѣ говорить! Слава тебѣ Господи, что всякій разъ удавалось; а какъ считать по ра-

замъ, такъ твой одинъ разъ стоитъ всѣхъ моихъ. Не диво, что я тебѣ служу: за добро добромъ и платятъ; а ты изъ чего бился со мною часа полтора, когда нашелъ меня почти мертваго въ степи, и могъ самъ замерзнуть, желая помочь Богъ знаетъ кому? Нѣтъ, бояринъ, я вѣкъ съ тобой не расплачусь.

— Но какъ ты узналъ о моемъ заточеніи? Какъ удалось тебѣ?...

— На просторѣ все разскажу; а теперь, чай, ты по-отдохнулъ, такъ пора въ путь. Если обо всемъ провѣдаютъ, да пустятся за нами въ погоню, такъ дѣло плоховато: по болоту не разскачешься, и насъ, пожалуй, по одиночкѣ всѣхъ, какъ тетеревей, перестрѣляютъ.

— Небось, Кирилла Пахомычъ,—сказалъ Малышъ,—безъ бояръ за нами погони не будетъ; а мы, хоть ты намъ и не приказывалъ, всетаки входъ въ подземелье завалили опять плитою, такъ ихъ не скоро отыщутъ.

— Эхъ, братъ Малышъ, напрасно! Ну, если ихъ не найдутъ, и они умрутъ голодною смертью!

— Такъ что жъ за бѣда! Туда имъ и дорога! Иль тебѣ ихъ жаль?...

— Не то чтобъ жаль; но вѣдь, по правдѣ сказать, бояринъ Шалонскій мнѣ никакого зла не сдѣлалъ: я ѣлъ его хлѣбъ и соль. Вотъ, дѣло другое, Юрій Дмитричъ, конечно, безъ грѣха могъ бы уходить Шалонскаго, да на бѣду у него есть дочка, такъ и ему нельзя... Эхъ, чортъ возьми: кабы можно было, вернулся бы назадъ!... Ну, дѣлать нечего... Эй, вы, передовые ступай! Да пусть рыжій то ѣдетъ болотомъ первый, и если вздумаетъ дать стречка, такъ посадите ему въ затылокъ пулю... Съ Богомъ!

Доѣхавъ до топи, всѣ казаки вытянулись въ одинъ рядъ. Земскій ѣхалъ впереди, а вслѣдъ за нимъ одинъ казакъ, державшій наготовѣ винтовку, чтобъ ссадить его съ коня, при первой попыткѣ къ побѣгу. Они проѣхали, хотя съ большимъ трудомъ и опасностію, но безъ всякаго приключенія, почти всю проложенную болотомъ дорожку; но шагахъ въ десяти отъ выѣзда на твердую дорогу, лошадь подъ земскимъ ярыжкою испугалась толстой колоды, лежащей поперекъ тропинки, поднялась на дыбы, опрокинулась на бокъ и, придавя его всѣмъ тѣломъ, до половины погрузилась съ нимъ въ трясину, которая, разступясь, обхватила кругомъ коня и вскадника, и, подобно удаву, всасываю-

щему въ себя живую добычу, начала понемногу тянуть ихъ въ бездонную свою пучину.

— Батюшки, помогите!—завопилъ земскій.—Погибаю... помогите!

Казаки остановились, но Кирша закричалъ:

— Что вы его слушаете, ребята? Ступай мимо!

— Отцы мои, помогите!—продолжалъ кричать земскій.— Меня тянетъ внизъ... задыхаюсь... помогите!...

— Эхъ, любезный, — сказалъ Алексѣй, тронутый жалобнымъ крикомъ зе́мскаго, — вели его вытащить! Вѣдь ты самъ же обѣщалъ.,.

— Да,—отвѣчалъ хладнокровно Кирша,—я обѣщалъ отпустить его безъ всякой обиды, а вытаскивать изъ болота уговора не было.

— Послушай, Кирша Пахомычъ, — промолвилъ Малышъ,—чортъ съ нимъ! Ну, что ужъ, такъ и быть, прикажи его вытащить.

— Что ты, братъ! Вѣдь мы дали слово отпустить его на всѣ четыре стороны, и если ему вздумалось проѣхаться по болоту, такъ намъ какое дѣло? Пускай себѣ разгуливаетъ!

— Бога ради,—вскричалъ Милославскій,—спасите этого бѣдняка!

— И, боярин, — отвѣчалъ Кирша,—есть когда намъ съ нимъ возиться; да и о чемъ тутъ толковать? Дурная трава изъ поля вонъ!

— Слышишь ли, какъ онъ кричитъ? Неужели въ тебѣ нѣтъ жалости?

— Нѣтъ, Юрій Дмитричъ! — отвѣчалъ рѣшительнымъ голосомъ запорожецъ.—Долгъ платежемъ красенъ: вчера этотъ бездѣльникъ прежде всѣхъ отыскалъ веревку, чтобъ меня повѣсить. Рысью, ребята!—закричалъ онъ, когда вся толпа выѣхала на твердую дорогу.

Долго еще долеталъ до нихъ по вѣтру отчаянный вопль земскаго; громкій отголосокъ разносилъ его по лѣсу... Вдругъ все затихло. Алексѣй снялъ шапку, перекрестился и сказалъ вполголоса:

— Успокой, Господи, его душу!

— И дай ему царство небесное!—промолвилъ Кирша.— Я на томъ свѣтѣ ему зла не желаю.

Они не отъѣхали полуверсты отъ болота, какъ у передовыхъ казаковъ лошади шарахнулись и стали храпѣть; че-

резъ минуту изъ-за куста сверкнули, какъ уголь, блестящіе глаза, и вдругъ межъ деревьевъ, вдоль опушки, промчалась цѣлая стая волковъ.

— Экое чутье у этихъ звѣрей!—сказалъ Кирша, глядя вслѣдъ за волками.—Посмотрите-ка, вѣдь они пробираются къ болоту...

Никто не отвѣчалъ на это замѣчаніе, отъ котораго волосы стали дыбомъ и замерло сердце у добраго Алексѣя. Вмѣстѣ съ разсвѣтомъ выбрались они, наконецъ, изъ лѣсу на большую дорогу и, проѣхавъ еще версты три, въѣхали въ деревню, отъ которой оставалось до Мурома не болѣе двадцати верстъ. Въ ту самую минуту, какъ путешественники, остановясь у постоялаго двора, слѣзли съ лошадей, показалась вдали довольно большая толпа всадниковъ, ѣдущихъ по нижегородской дорогѣ. Алексѣй, введя Юрія въ избу, началъ хлопотать объ обѣдѣ и понукать хозяина, который обѣщался попотчивать ихъ отличною ухою. Всѣ казаки въѣхали во дворъ, а Кирша, не приказавъ имъ разнуздывать лошадей, остался у воротъ, чтобы посмотрѣть на проѣзжихъ, которыхъ передовой, поравнявшись съ постоялымъ дворомъ, слѣзъ съ лошади и, подойдя къ Киршѣ, сказалъ:

— Добраго здоровья, господинъ честной! Ты, я вижу, не здѣшній?

— Да, любезный,—отвѣчалъ запорожецъ.

— Такъ у тебя и спрашивать нечего.

— Почему знать,—о чемъ спросишь!

— Да вотъ, бояре не знаютъ, гдѣ проѣхать на хуторъ Теплый Станъ.

— Теплый Станъ? Къ боярину Шалонскому?

— Такъ ты знаешь!

— Какъ не знать! Вы дорогу то мимо проѣхали.

— Версты три отсюда?

— Ну да; она осталась у васъ въ правой рукѣ.

— Вотъ что!.. И мы, по сказкамъ, то же думали, да боялись заплутаться; вишь, здѣсь какая глушь: какъ сунешься не спросясь, такъ заѣдешь и Богъ вѣсть куда.

Въ продолженіе этого разговора проѣзжіе поравнялись съ постоялымъ дворомъ. Впереди ѣхалъ верховой съ ручнымъ бубномъ, ударяя въ который, онъ подавалъ знакъ простолюдинамъ очищать дорогу; за нимъ рядомъ двое богато одѣтыхъ бояръ; шага два позади ѣхалъ краснощекій

толстякъ съ предлинными усами, въ польскомъ платьѣ и огромной шапкѣ; а вслѣдъ за ними человѣкъ десять хорошо вооруженныхъ холопей.

— Степанъ Кондратьевичъ,—сказалъ передовой, подойдя къ одному изъ бояръ, который былъ дороднѣе и осанистѣе другого:—вотъ этотъ молодецъ говоритъ, что дорога на Теплый Станъ осталась у насъ позади.

— Ну, вотъ,—вскричалъ дородный бояринъ,—не говорилъ ли я, что намъ должно было ѣхать по той дорогѣ? А все ты, Ѳома Сергѣевичъ! Не даромъ вѣщаетъ премудрый Соломонъ: «неразуміе мужа погубляетъ пути его».

— Небольшая бѣда,—отвѣчалъ другой бояринъ,—что мы верты двѣ или три проѣхали лишняго; вѣдь хуже, еслибъ мы заплутались. «Не спросясь броду, не суйся въ воду», говаривалъ всегда, блаженной памяти, царь Ѳеодоръ Іоанновичъ.

— Знаю, знаю; ужъ ты разъ десять мнѣ это разсказывалъ,—прервалъ дородный бояринъ.—Войдемъ-ка лучше въ избу, да перекусимъ чего-нибудь. Хоть и сказано: «отъ плодовъ устенъ твоихъ насытишь чрево свое», но отъ одного разглагольствованія сытъ не будешь. А вы, смотрите, съ коней не слѣзать; мы сейчасъ отправимся опять въ дорогу.—Сказавъ сіи слова, оба боярина, въ которыхъ читатели, вѣроятно, узнали уже Лесуту-Храпунова и Замятню-Опалева, слѣзли съ коней и пошли въ избу. Краснощекій толстякъ спустился также съ своей лошади, и когда подошелъ къ воротамъ, то Кирша, заступя ему дорогу, сказалъ улыбаясь:

— Ба, ба, ба! Здравствуй, ясновельможный панъ Копычинскій! По добру ли, по здорову?

Полякъ взглянулъ гордо на Киршу и хотѣлъ пройти мимо.

— Что такъ заспѣсивился, панъ?—продолжалъ запорожецъ, остановивъ его за руку.—Перемолви хоть словечко!

— Цо то есть!—вскричалъ Копычинскій, стараясь вырваться.—Отцѣпись, москаль!

— А развѣ ты его знаешь?—спросилъ Киршу одинъ изъ служителей проѣзжихъ бояръ.

— Какъ же! Мы давнишніе знакомцы. Не хочешь ли, панъ, покушать? У меня есть жареный гусь.

— Слушай, москаль,—завизжалъ Копычинскій:—если ты не отстанешь, то дали букъ....

— И, полно буянить, ясновельможный! Что хорошаго? Вѣдь здѣсь грядокъ нѣтъ, спрятаться негдѣ.

Полякъ вырвался и, отступя шага на два, ухватился съ грознымъ видомъ за рукоятку своей сабли.

— Небось, добрый человѣкъ,—сказалъ служитель,—онъ только пугаетъ: вѣдь сабля-то у него деревянная.

— Ой-ли! Эй, слушай-ка, панъ! — закричалъ Кирша вслѣдъ поляку, который спѣшилъ уйти въ избу.—У какого москаля отбилъ ты свою саблю?.. Ушелъ!.. Какъ онъ къ вамъ попался?

— Онъ, изволишь видѣть,—отвѣчалъ служитель,—пріѣхалъ, мѣсяца четыре назадъ, изъ Москвы; да не поладилъ что ль съ паномъ Тишкевичемъ, который на ту пору былъ въ нашихъ мѣстахъ съ своимъ регементомъ; только говорятъ, будто бъ ему сказано, что если онъ назадъ вернется въ Москву, то его тотчасъ повѣсятъ; вотъ онъ и пріютился къ господину нашему, Степану Кондратьичу Опалеву. Вишь, рожа-то у него какая дурацкая!.. Пошелъ къ боярину въ шуты; да такой задорный, что не приведи Господи!

Кирша вошелъ также въ избу. Оба боярина сидѣли за столомъ и трудились около большого пирога, не обращая никакого вниманія на Милославскаго, который ѣлъ молча на другомъ концѣ стола уху, изготовленную хозяиномъ постоялаго двора.

— Ты что ль, молодецъ, сказывалъ нашимъ людямъ, — спросилъ Лесута у запорожца,—что мы миновали дорогу на Теплый Станъ?

— Да, бояринъ. Я вчера самъ тамъ былъ.

— И видѣлъ Тимоѳея Ѳедоровича?

— Какъ же: и его, и боярина Туренина.

— Такъ и Туренинъ на хуторѣ? Ну что, здоровы ли они?

— Слава Богу! Только больно испостились.

— Какъ такъ?

— Да развѣ ты не знаешь, бояринъ?... Они теперь оба живутъ затворниками.

— Затворниками?

— Какъ же! Если ты не найдешь ихъ въ хоромахъ, то ищи въ подземномъ склепѣ, подъ церковнымъ поломъ.

— Что жъ они тамъ дѣлаютъ?

— Вѣстимо что: спасаются!

— Эко диво!—сказалъ Опалевъ.—И вина не пьютъ?

— Какое вино! Не пріѣзжайте вы къ нимъ, такъ они дня три или четыре куска бы въ ротъ не взяли: такіе стали постники.

— Что это имъ вздумалось?..—вскричалъ Лесута.—Да они этакъ вовсе себя уходятъ!

— Вотъ то-то и есть, — прибавилъ Опалевъ:—«ученье свѣтъ, а неученье тьма». Что сказано въ Екклезіастѣ: «не буди правдивъ вельми, и не мудрися излишне, да нѣкогда изумишися».

— Видно, бояринъ, они этой книги не читывали.

Въ это время Копычинскій, который, сидя у дверей избы, посматривалъ пристально на Юрія, вдругъ вскочилъ и, подойдя къ Замятнѣ-Опалеву, сказалъ ему на ухо:

— Бояринъ, уѣдемъ скорѣе отсюда: здѣсь неловко!

— Что ты врешь, дуракъ!—сказалъ Замятня.

— Нѣтъ, не вру,—продолжалъ полякъ:—посмостри-ка на этого блѣднаго и худого дѣтину...

— Ну, что за диковинка?

— Ты, видно, его не знаешь... Онъ настоящій разбойникъ!

— Разбойникъ!.. Постой-ка, лицо что-то знакомое... Ну, точно такъ... Позволь спросить, вѣдь ты, кажется, Юрій Дмитричъ Милославскій?

Юрій отвѣтствовалъ однимъ наклоненіемъ головы.

— Въ самомъ дѣлѣ! — вскричалъ Лесута-Храпуновъ. — Теперь и я признаю тебя. Ну, какъ ты похудѣлъ! Что это съ тобой сдѣлалось!

— Онъ четыре мѣсяца былъ при смерти боленъ, — отвѣчалъ Кирша.

— То-то тебя и не видно было, — продолжалъ Лесута-Храпуновъ.—Помнишь ли, Юрій Дмитричъ, какъ мы познакомились съ тобой у боярина Шалонскаго?

— Помню,—отвѣчалъ Юрій.

— Не правда ли, что онъ знатную намъ задалъ пирушку!.. Помнится, вы съ нимъ что-то повздорили: да, кажется, помирились. Нечего сказать, онъ немного крутенекъ, не любитъ, чтобъ ему поперечили; а ужъ хлѣбосолъ, и какъ захочетъ, такъ умѣетъ приласкать!

— «Прещеніе его подобно рыканію львову,—прервалъ Опалевъ,—и яко же роса злаку, тако тихость его».

— Эхъ, Юрій Дмитричъ,—продолжалъ Лесута,—много съ тѣхъ поръ воды утекло! Вовсе житья не стало нашему

брату, родовому дворянину! Нижегородскіе крамольники все вверхъ дномъ поставили. Хотя бы, къ примѣру сказать, меня: стряпчаго съ ключемъ,—повѣришь ли, Юрій Дмитричъ,—въ грошъ не ставятъ, а какой-нибудь простой посадскій или мясникъ—воеводою!

— Да, да,—промолвилъ Опалевъ,—чего мы не насмотрѣлись!

— Ты, вѣрно, Юрій Дмитричъ,—сказалъ Лесута, помолчавъ нѣсколько времени,—пробираешься къ пану Хоткѣвичу?

— Я и самъ еще не знаю,—отвѣчалъ отрывисто Милославскій.

— Да другого то дѣлать нечего,—продолжалъ Лесута:—въ Москву теперь не проѣдешь. Вокругъ нея идетъ такая каша, что упаси Господи: и Трубецкой, и Пожарскій, и Заруцкій, и проклятые шиши, и, словомъ, весь русскій сбродъ, ни дать ни взять, какъ саранча, загатилъ всѣ дороги около Москвы. Я слышалъ, Гонсѣвскій перебрался въ станъ къ гетману Хоткѣвичу, а въ Москвѣ остался старшимъ панъ Струся. О, охъ, Юрій Дмитричъ! Плохія времена, отецъ мой! Того и гляди, придется пенять отцу и матери, зачѣмъ на свѣтъ родили?

— Что ты, Степанъ Кондратьичъ! —вскричалъ Опалевъ.— Не моги говорить такихъ рѣчей: «злословящему отца и матерь угаснетъ свѣтильникъ, зѣницы же очесъ его узрятъ тьму».

— Да мы и такъ ужъ давно ходимъ въ потемкахъ, — возразилъ Лесута.—Когда стряпчій съ ключемъ, какъ я, или думный дворянинъ, какъ ты, не знаютъ, куда головъ приклонить, такъ видно, уже пришли послѣднія времена.

— Что и говорить, Степанъ Кондратьевичъ: мерзость запустѣнія!.. По всему видно, что скоро наступитъ время, когда угаснетъ солнце, свергнутся звѣзды съ тверди небесной, и настанетъ повсюду тьма кромѣшная! Не даромъ прозорливый Сирахъ глаголетъ...

— Однакожъ намъ пора въ путь,—прервалъ Лесута, вставая съ своего мѣста.—Прощенія просимъ, Юрій Дмитричъ! Мы будемъ отъ тебя кланяться Тимоѳею Ѳедоровичу!

— Да не забудьте же, бояре,—промолвилъ Кирша,—если не найдете его въ хоромахъ, то ищите въ склепѣ подъ церковнымъ поломъ.

— А гдѣ мой дуракъ? — закричалъ Опалевъ.—Эй, ты, панъ, куда ты запропастился?

— Я здѣсь, ясновельможный,—отвѣчалъ Копычинскій, выглядывая изъ сѣней.—Прикажешь садиться на коня?

— Садись!.. Да тише, ты, польское чучело! Куда торопишься?.. Смотри пожалуй, съ ногъ было спибъ Степана Кондратьевича.

Часа черезъ два и наши путешественники отправились также въ дорогу. Отдохнувъ цѣлыя сутки въ Муромѣ, они на третій день прибыли во Владиміръ; и когда Юрій объявилъ, что намѣренъ ѣхать прямо въ Сергіевскую лавру, то Кирша, несмотря на то, что долженъ былъ для этого сдѣлать довольно большой крюкъ, взялся проводить его съ своими казаками до самаго монастырскаго посада.

V.

Троицкая лавра святого Сергія, эта священная для всѣхъ русскихъ обитель, показавшая неслыханный примѣръ вѣрности, самоотверженія и любви къ отечеству, была во время междуцарствія первымъ, по богатству и великолѣпію своему, монастыремъ въ Россіи; ибо древнее достояніе князей русскихъ, первопрестольный градъ Кіевъ, съ своею знаменитою Печерскою лаврою, принадлежалъ полякамъ. Обитель Троицкая, основанная около половины четырнадцатаго столѣтія Радонежскимъ чудотворцемъ, преподобнымъ Сергіемъ близъ протока, называемаго Кончурою, отстоитъ отъ Москвы не далѣе шестидесяти четырехъ верстъ. Хотя въ 1612 году великолѣпная церковь святого Сергія, высочайшая въ Россіи колокольня, двѣ башни прекрасной готической архитектуры и много другихъ зданій не существовали еще въ Троицкой лаврѣ; но высокія стѣны, восемь огромныхъ башенъ, соборы: Троицкій, съ позлащенною кровлею, и Успенскій, съ пятью главами, четыре другія церкви, обширныя монастырскія строенія, многолюдный посадъ, большіе сады, тѣнистыя рощи, свѣтлые пруды, гористое живописное мѣстоположеніе—все плѣняло взоры путешественника, все поселяло въ душѣ его непреодолимое желаніе посвятить нѣсколько часовъ уединенной молитвѣ и поклониться смиренному гробу основателя этой святой обители.

Въ описываемую нами эпоху, Троицкая лавра походила болѣе на укрѣпленный замокъ, чѣмъ на тихое убѣжище

миролюбивыхъ иноковъ. Разставленныя по стѣнамъ и башнямъ пушки, множество людей ратныхъ, вооруженные слуги монастырскіе, а болѣе всего поврежденныя ядрами стѣны и обширныя пепелища, покрытыя развалинами домовъ, находившихся внѣ ограды, напоминали каждому, что этотъ монастырь въ недавнемъ времени выдержалъ осаду, которая останется навсегда въ лѣтописяхъ нашего отечества непостижимою загадкою, или, лучше сказать, явнымъ доказательствомъ могущества и милосердія Божія. Тридцать тысячъ войска польскаго, подъ предводительствомъ извѣстныхъ своею воинскою доблестью и звѣрскимъ мужествомъ, пановъ: Сапѣги и Лисовскаго, не успѣли взять приступомъ монастыря, защищаемаго горстью людей, изъ которыхъ большая часть въ первый разъ взялась за оружіе; въ теченіе шести недѣль, болѣе шестидесяти осадныхъ орудій, гремя день и ночь, не могли разрушить простыхъ кирпичныхъ стѣнъ монастырскихъ. Упованіе на Господа и любовь къ отечеству превозмогли всю силу многочисленнаго непріятеля: простые крестьяне стояли твердо, какъ посѣдѣвшіе въ бояхъ воины, бились съ ожесточеніемъ и гибли, какъ герои. Никто не хотѣлъ окончить жизнь на своей постели; едва дышащіе отъ ранъ и болѣзней, не могущіе уже сражаться воины, иноки и слуги монастырскіе приползали умирать на стѣнахъ святой обители отъ вражескихъ пуль и ядеръ, которыя сыпались градомъ на беззащитныя ихъ головы. Начальники осажденнаго войска, князь Долгорукій и Голохвастовъ, готовясь, по словамъ лѣтописца, *на трапезѣ кровопролитной испить чашу смертную за отечество*, цѣловали крестъ надъ гробомъ святаго Сергія: *сидѣть въ осадѣ безъ измѣны*,—и сдержали свое слово [3]). Простоявъ болѣе шестнадцати мѣсяцевъ подъ стѣнами лавры, воеводы польскіе, покрытые стыдомъ, бѣжали отъ монастыря, который недаромъ называли въ рѣчахъ своихъ *каменнымъ гробомъ*, ибо обитель святаго Сергія была дѣйствительно обширнымъ гробомъ для большей части войска и могилою ихъ собственной воинской славы.

Въ одно прекрасное утро, передъ раннею обѣднею, человѣкъ пять слугъ монастырскихъ, собравшись въ кружокъ, отдыхали на лугу, подлѣ святыхъ воротъ лавры. Одинъ изъ нихъ, который, судя по его усталому виду и запыленному платью, только-что пріѣхалъ съ дороги; разсказывалъ что-то съ большимъ жаромъ; всѣ слушали его со внима-

ніемъ, кромѣ одного высокаго и молодцеватаго дѣтины. Не принимая, повидимому, никакого участія въ разговорѣ, онъ смотрѣлъ пристально вдоль ростовской дороги, которая, огибая Терентьевскую гору, терялась вдали между полей, густыхъ рощъ и разсыпанныхъ въ живописномъ безпорядкѣ селеній.

— Полно, такъ-ли, братъ Суета?—сказалъ одинъ изъ слугъ монастырскихъ, покачавъ головою.—И тебя къ нему допустили?

— Какъ же, братецъ!—отвѣчалъ разсказчикъ, напоминающій своимъ колоссальнымъ видомъ преданія о могучихъ витязяхъ древней Россіи.—Стану я лгать! Я своеручно отдалъ ему грамоту отъ нашего архимандрита; говорилъ съ нимъ лицомъ къ лицу, и онъ безъ малаго словъ десять изволилъ перемолвить со мною.

— А мнѣ такъ не удалось посмотрѣть на князя Дмитрія Михайловича Пожарскаго,—сказалъ тотъ же служитель:—я былъ въ отлучкѣ, какъ онъ стоялъ у насъ въ лаврѣ. Что, братъ Суета, правда ли, что онъ молодецъ собою?

— Какъ бы тебѣ сказать?.. Росту не очень большого и въ плечахъ узенекъ,—отвѣчалъ Суета, кинувъ гордый взоръ на собственныя свои богатырскія плечи,—но зато куда благообразенъ собою!... А что за взглядъ! Ахъ ты, Господи, Боже мой!.. Повѣрите ль, ребята: какъ я къ нему подходилъ, гляжу, кой прахъ,—мужиченокъ небольшой, ну, вотъ не больше тебя,—прибавилъ Суета, показывая на одного молодого парня средняго роста:—а какъ онъ выступилъ впередъ, да взглянулъ, такъ мнѣ показалось, что онъ цѣлой головой меня выше! Вы знаете, товарищи, я дѣтина не робкій и силка есть, а еслибъ пришлось мнѣ на ратномъ полѣ схватиться съ княземъ Пожарскимъ, такъ, что грѣха таить: не побожусь, статься можетъ, и я бы сбрендилъ.

— Что ты Суета? помилуй?... Ты для почину цѣлый полкъ ляховъ одинъ остановилъ и человѣкъ двадцать супостатовъ перекрошилъ своимъ бердышемъ, такъ статочное ли дѣло, чтобъ ты сробѣлъ одного человѣка.

— Да слышишь ли ты, голова: онъ на другихъ-то людей вовсе не походитъ! Посмотрѣлъ бы ты, какъ онъ сѣлъ на коня; какъ подлетѣлъ соколомъ къ войску, когда оно, войдя въ Москву, остановилось у Арбатскихъ воротъ; какъ показалъ на Кремль и соборные храмы, и что тогда было въ его глазахъ и на лицѣ!... Такъ, я тебѣ скажу, и взгля-

нуть-то страшно! Подлѣ его стремени ѣхалъ Козьма Миничъ Сухорукій... Ну, братъ, и этотъ молодецъ! Не такъ грозенъ,какъ князь Пожарскій, а нашего поля ягода, — за себя постоитъ!

— А что слышно о полякахъ?

— Вѣстимо что: одни сидятъ въ Кремлѣ, да выглядываютъ изъ-за стѣнъ, какъ сычи; а другіе съ гетманомъ Хоткѣвичемъ, какъ говорятъ, близехонько отъ Москвы.

— Такъ стало-быть скоро большая схватка будетъ?

— Видно, что такъ. Жаль только, что наша сила поубавилась: измѣнникъ Заруцкій ушелъ въ Коломну, да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно, такой сбродъ!... Они жъ, говорятъ, осерчали за то, что нижегородцы не пошли къ нимъ въ таборы; а по мнѣ, такъ дѣло и сдѣлали: что имъ якшаться съ этими разбойниками? Вся понизовская сила, что пришла съ княземъ Пожарскимъ, истинно христолюбивое войско, не налюбуешься! А какъ посмотришь на дружины князя Трубецкого, такъ бѣжалъ бы прочь, безъ оглядки: только и думаютъ, какъ бы гдѣ поналиться, да ограбить кого бы ни было, чужихъ или своихъ, все равно. Есть правда, и у нихъ ребята знатные, да сволочи-то много.

— А не попадались ли тебѣ на московской дорогѣ шиши? Говорятъ, они вездѣ шатаются.

— Какъ же! Они и меня останавливали верстахъ въ тридцати отсюда; но лишь только я вымолвилъ, что ѣду изъ Троицы, къ князю Пожарскому, тотчасъ отпустили, да еще на дорогу стаканчикъ вина поднесли.

— Вотъ что! Тамъ они не вовсе разбойники?

— Какіе разбойники!... Правда, ихъ держитъ въ рукахъ какой-то приходскій священникъ села Кудинова, отецъ Еремѣй; безъ его благословенья они никого не тронутъ; а онъ, дай Богъ ему здоровья, стоитъ въ томъ: рѣжь, какъ хочешь поляковъ и русскихъ измѣнниковъ, а православныхъ не тронь!... Да что тамъ такое? Посмотрите-ка, что это Мартьяшъ уставился?... Глазъ не спускаетъ съ ростовской дороги.

— А кто его знаетъ?—отвѣчалъ одинъ изъ служителей.— Мы слушаемъ твои разсказы, а онъ вѣдь глухъ; такъ, можетъ статься, отъ бездѣлья по сторонамъ глазѣетъ.

— Нѣтъ, братъ Данило,—сказалъ Суета,—не говори: онъ даромъ смотрѣть не станетъ; подлинно, Господь умудряетъ

юродивыхъ! Мартьяшъ глухъ и нѣмъ, а кто лучше его справлялъ службу, когда мы бились съ поляками? Бывало, какъ онъ стоитъ сторожемъ, такъ и думушки не думаешь, спи себѣ вдоволь: муха не прокрадется.

Вдругъ Мартьяшъ вскочилъ, схватилъ за руку Суету и, заставивъ его встать, показалъ пальцемъ на ростовскую дорогу.

— Ну, такъ и есть!—вскричалъ Суета.—Видите ли, ребята?...

— Да,—сказалъ Данило, —побольшой дорогѣ ѣдутъ казаки. Пойти, сказать старшинамъ.

— Постой, вотъ они никакъ всѣ выѣхали изъ-за рощи... Да ихъ наврядъ будетъ человѣкъ тридцать; изъ чего дѣлать тревогу?

— А если это только передовые?—сказалъ одинъ изъ служителей.

— И, нѣтъ,—продолжалъ Суета:—тамъ дальше никого не видно. Видите ли, Мартьяшъ усѣлся опять на прежнее мѣсто и вовсе на нихъ не смотритъ, такъ вѣрно ужъ опасаться нечего: какіе-нибудь проѣзжіе или богомольцы.

— Да, такъ и должно быть,—сказалъ Данило.—Посмотрите, впереди казаковъ ѣдетъ какой-то бояринъ... Вотъ, сняли шапки и молятся на соборы... Видно, какой-нибудь понизовскій дворянинъ ѣдетъ къ намъ на богомолье.

Читатели наши, безъ сомнѣнія, уже догадались, что боярин, ѣдущій въ сопровожденіи казаковъ, былъ Юрій Дмитричъ Милославскій. Когда они доѣхали до святыхъ воротъ, то Кирша, спѣша возвратиться подъ Москву, попросилъ Юрія отслужить за него молебенъ преподобному Сергію и, подаря ему коня, отбитаго у польскаго наѣздника, и литовскую богатую саблю, отправился далѣе по московской дорогѣ. Милославскій, подойдя къ монастырскимъ служителямъ, спросилъ, можетъ ли онъ видѣть архимандрита?

— Врядъ ли, бояринъ, — отвѣчалъ Суета:—я сейчасъ былъ у него въ палатахъ, онъ что-то прихворнулъ и лежитъ въ постели; а если у тебя есть какое дѣло, то можешь переговорить съ отцемъ келаремъ.

— Авраміемъ Палицынымъ?

— Да, бояринъ; онъ вчера пріѣхалъ изъ подъ Москвы и нынче же, послѣ трапезы, опять туда ѣдетъ.

— Не можетъ ли кто-нибудь изъ васъ проводить меня въ его келью?

— Пожалуй ,я провожу,—сказалъ Суета.—А ты, братъ,— продолжалъ онъ, обращаясь къ Алексѣю,—отведи коней въ гостиницу!

— А гдѣ бы достать чего-нибудь перекусить, любезный?—спросилъ Алексѣй.

— Ужъ тамъ тебя накормятъ; благодаря Бога, изъ Сергіевской лавры ни одинъ еще богомолецъ голодный не уходилъ.

Юрій, идя вслѣдъ за Суетою, замѣтилъ, что и внутри монастыря большая часть строеній была повреждена, и хотя множество рабочихъ людей занято было поправкою оныхъ, но на каждомъ шагу встрѣчались слѣды опустошенія и долговременной осады, выдержанной обителью.

— Вотъ въ этихъ палатахъ живалъ прежде отецъ Авраамій,—сказалъ Суета, указавъ на небольшое двухъэтажное строеніе, прислоненное къ оградѣ.—Да видишь, какъ ихъ злодѣи-ляхи отдѣлали: насквозь гляди! Теперь онъ живетъ вонъ въ той связи, что за соборами, не просторнѣе другихъ старцевъ; да онъ, Богъ съ нимъ, не привередливъ: была бъ у него только келья въ сторонѣ, чтобъ не мѣшали ему молиться да писать, такъ съ него и довольно.

— А что онъ такое пишетъ?

— Богъ вѣсть! Послушникъ его Ѳиногенъ мнѣ сказывалъ, что онъ пишетъ какое-то сказаніе объ осадѣ нашего монастыря, и будто бы въ немъ говорится что-то и обо мнѣ; да я плохо вѣрю: иная рѣчь о нашихъ воеводахъ, князѣ Долгоруковѣ и Голохвастовѣ—ихъ дѣло боярское; а мы люди малые, что о насъ писать?.. Сюда, бояринъ, на это крылечко.

Пройдя длиннымъ коридоромъ до самаго конца зданія, они остановились, и Суета, постучавъ въ небольшую дверь, сказалъ вполголоса:

— Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй меня грѣшнаго!

— Аминь!—отвѣчалъ кто-то пріятнымъ и звучнымъ голосомъ внутри кельи.

— Теперь ступай, бояринъ, — сказалъ Суета, отворяя дверь.

Юрій взошелъ въ небольшую келью, съ однимъ окномъ. Въ лѣвомъ углу стояла деревянная скамья съ такимъ же изголовьемъ; въ правомъ налой, надъ которымъ теплилась лампада передъ Распятіемъ и двумя образами; къ самому

окну приставленъ былъ большой, ничѣмъ не покрытый столъ; вдоль одной стѣны, на двухъ полкахъ, стояли книги въ толстыхъ переплетахъ и лежало нѣсколько свитковъ. Передъ столомъ, на скамьѣ, сидѣлъ старецъ въ простой черной рясѣ и разсматривалъ съ большимъ вниманіемъ толстую тетрадь, которая лежала передъ нимъ на столѣ. Приходъ Юрія не прервалъ его занятія; онъ взялъ перо, поправилъ нѣсколько словъ и прочелъ вслухъ: «Въ сей бо день гетманъ Сапѣга и Лисовскій, со всѣми полки своими, польскими и литовскими людьми, и съ русскими измѣнники, побѣгоша къ Дмитреву, никѣмъ же гонимы, но десницею Божіей...» Тутъ онъ написалъ еще нѣсколько словъ, всталъ съ своего мѣста и, благословя подошедшаго къ нему Юрія, спросилъ ласково: какую онъ имѣетъ до него надобность?

— Отецъ Авраамій,—отвѣчалъ съ смиреннымъ видомъ Юрій,—я имѣю до тебя немаловажную просьбу.

— Садись, молодецъ, и говори, чего ты отъ меня хочешь.

Кроткій и вмѣстѣ величественный видъ старца, его блестящіе умомъ и исполненные добросердечія взоры, пріятный, благозвучный голосъ, а болѣе всего, извѣстныя всѣмъ русскимъ благочестіе и пламенная любовь къ отечеству, все возбуждало въ душѣ Юрія чувство глубочайшаго почтенія къ сему безсмертному сподвижнику добродѣтельнаго Діонисія. Помолчавъ нѣсколько времени, Милославскій сказалъ робкимъ голосомъ:

— Отецъ Авраамій, я не смѣю надѣяться, что ты исполнишь мою просьбу.

— Говори смѣло, чадо мое,—отвѣчалъ старецъ:—намъ ли многогрѣшнымъ отвергать просьбы нашихъ братьевъ, когда мы сами ежечасно, какъ малыя дѣти, прибѣгаемъ съ суетными мольбами къ общему Отцу нашему!

— Я хочу,—продолжалъ Милославскій, ободренный ласковою рѣчью Авраамія,—умереть свѣту и, при помощи твоей, изъ воина земного содѣлаться воиномъ Христовымъ.

Старецъ поглядѣлъ на Юрія и спросилъ съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ:

— Ты желаешь вступить въ обитель нашу послушникомъ?

— Да, отецъ Авраамій, и если Господь Богъ сподобитъ, а вы, благочестивые наставники, удостоите меня принять образъ иноческій...—то всѣ желанія мои исполнятся.

Авраамій покачалъ головою и, взглянувъ съ соболѣзнованіемъ на Юрія, сказалъ:

— Въ столь юные годы... на утрѣ жизни твоей!... Но точно ли, мой сынъ, ты ощущаешь на душѣ своей призваніе Божіе? Я вижу на твоемъ лицѣ слѣды глубокой скорби, и если ты, не вынося съ душевнымъ смиреніемъ тяготѣющей надъ главою твоею десницы Всевышняго, движимый единымъ отчаяніемъ, противнымъ Господу, спѣшишь покинуть отца и матерь, а, можетъ быть, супругу и дѣтей, то жертва сія недостойна Господа: не горесть земная и отчаяніе ведутъ къ Нему, но чистое покаяніе и любовь.

— У меня нѣтъ ни отца, ни матери,—сказалъ Юрій:— я сирота!

— Но кто ты, юноша?

— Юрій Милославскій.

— Сынъ покойнаго боярина Милославскаго?

— Да, сынъ его.

Старецъ устремилъ испытующій взоръ на Юрія, и, послѣ короткаго молчанія, сказалъ, съ примѣтнымъ удивленіемъ:

— И ты, сынъ Дмитрія Милославскаго, желаешь, наряду съ безсильными старцами, съ изувѣченными и не могущими сражаться воинами, посвятить себя единой молитвѣ, когда вся кровь твоя принадлежитъ отечеству? Ты, юноша, во цвѣтѣ лѣтъ своихъ, желаешь, сложивъ спокойно руки, смотрѣть, какъ тысячи твоихъ братьевъ, умирая за вѣру отцовъ и святую Русь, утучняютъ своею кровію родныя поля московскія?

— Итакъ, отецъ Авраамій, ты отвергаешь мою просьбу?

— Нѣтъ, Юрій Дмитричъ, не я!.. Взгляни вокругъ себя, вопроси эти полуразрушенныя стѣны, пожженные дома, могилы иноковъ, падшихъ въ кровавой битвѣ съ врагомъ вѣры православной, и если ихъ безмолвный отвѣтъ не напомнитъ тебѣ долга твоего, то ты не сынъ Димитрія! Нѣтъ, Юрій Дмитричъ, не здѣсь твое мѣсто: оно въ рядахъ храбрыхъ дружинъ нижегородскихъ, подъ стѣнами оскверненнаго присутствіемъ злодѣевъ Кремля! Сынъ мой, свѣтла предъ Господомъ жизнь праведника, но вѣнецъ мученика есть верхъ его благости и милосердія! Иди стяжать сію нетлѣнную награду! Ступай, умри вѣрнымъ защитникомъ православной Греческой церкви и достойнымъ сыномъ добродѣтельнаго Димитрія!

Юрій, потупивъ глаза, стоялъ какъ преступникъ предъ своимъ судіею и не отвѣчалъ ни слова.

— Ты молчишь,—продолжалъ Авраамій:—колеблешься?.. Да проститъ тебя Господь: ты наругался надъ моими сѣдинами, ты обманулъ меня! Юноша, ты не сынъ Милославскаго!

— Ахъ, отецъ Авраамій,—промолвилъ едва слышнымъ голосомъ Юрій,—я не могу поднять меча на защиту моей родины!

— Не можешь?

— Я цѣловалъ крестъ королевичу Владиславу...

— Несчастный!...

Нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе; наконецъ, Авраамій сказалъ, какъ будто бъ нехотя:

— Юрій Дмитричъ, ты, можетъ быть, не знаешь, что святѣйшій Гермогенъ разрѣшилъ всѣхъ православныхъ отъ сей богопротивной присяги?

— Но я цѣловалъ крестъ добровольно. Отецъ Авраамій, не вынужденная клятва тяготитъ мою душу; нѣтъ, никто не не понуждалъ меня присягать королевичу польскому, и тайный, неотступный голосъ моей совѣсти твердитъ мнѣ ежечасно: горе клятвопреступнику! Такъ, отецъ мой, Юрій Милославскій доженъ остаться слугою Владислава; но инокъ, умершій для свѣта, служитъ единому Богу...

— И отечеству, бояринъ,—прервалъ съ жаромъ Авраамій.—Мы не иноки западной церкви и, благодаря Всевышняго, переставая быть мірянами, не перестаемъ быть русскими. Вспомни, Юрій Дмитричъ, гдѣ умерли благочестивые старцы Пересвѣтъ и Ослябя!... Но я слышу благовѣстъ.. Пойдемъ, сынъ мой, станемъ молить угодника Божія, да просіяетъ истина для очей нашихъ и да подастъ тебѣ Господь силу и крѣпость для исполненія святой Его воли!

По окончаніи литургіи и молебствія съ колѣнопреклоненіемъ о дарованіи побѣды надъ врагомъ, Авраамій, подведя Юрія ко гробу преподобнаго Сергія, сказалъ торжественнымъ голосомъ:

— Бояринъ Юрій Дмитричъ Милославскій, желаешь ли ты отречься отъ міра и всѣхъ прелестей его?

— Желаю!—отвѣчалъ твердымъ голосомъ Юрій.

— Не ищешь ли ты укрыться въ обители нашей отъ заботъ, трудовъ и опасностей, тебѣ по рожденію и сану предстоящихъ? Не избираешь ли ты часть сію, дабы избѣ-

жать заслуженнаго наказанія, или по всякому другому, единственно земному побужденію?

— Нѣтъ!

— Не обѣщался ли ты предъ Господомъ имѣть попеченіе о земномъ благѣ отца, матери, супруги и дѣтей?

— Я сирота... и не былъ никогда женатъ.

— Итакъ, да будетъ по желанію твоему, бояринъ Милославскій! Я принимаю здѣсь, при гробѣ преподобнаго Сергія, твой обѣтъ: посвятить себя на всю жизнь покаянію, посту и молитвѣ. Преклони главу твою... Рабъ Божій, Юрій, съ сего часа ты не принадлежишь уже міру, и я, именемъ Господа, разрѣшаю тебя отъ всѣхъ клятвъ и обѣщаній мірскихъ. Встань, послушникъ старца Авраамія; отнынѣ ты долженъ слѣпо исполнять волю твоего пастыря и наставника. Ступай въ станъ князя Пожарскаго, ополчись оружіемъ земнымъ противъ общаго врага нашего и, если Господь не благословитъ украсить чело твое вѣнцомъ мученика, то, по окончаніи брани, возвратись въ обитель нашу для принятія ангельскаго образа и служенія Господу не съ оружіемъ въ рукахъ, но въ духѣ кротости, смиренія и любви.

— Итакъ,—воскликнулъ Юрій, обливаясь слезами,—я снова могу сражаться за мою родину! Ахъ, я чувствую, ничто не тяготитъ моей совѣсти!... Душа моя спокойна!... Отецъ Авраамій, ты возвратилъ мнѣ жизнь.

— Возблагодаримъ за сіе Господа и святыхъ угодниковъ Его! — сказалъ старецъ, преклоня колѣна вмѣстѣ съ Юріемъ.

Послѣ усердной и продолжительной молитвы, Авраамій Палицынъ, прощаясь съ Юріемъ, сказалъ:

— Отдохни сегодня, Юрій Дмитричъ, въ нашей обители, а завтра, чѣмъ свѣтъ, отправься къ Москвѣ. Стой крѣпко за правду; не попускай нечестивыхъ осквернить святыню храмовъ православныхъ; сражайся, какъ сынъ Милославскаго, но щади безоружнаго врага, не проливай напрасно крови человѣческой. Ступай, сынъ мой! — промолвилъ Авраамій, обнимая Юрія.—Да предъидетъ предъ тобою Ангелъ Господень и да сопутствуетъ тебѣ благословеніе старика, который,—Всевышній да проститъ ему сіе прегрѣшеніе,—любитъ свою земную родину почти такъ же, какъ должны бы мы всѣ любить одно небесное отечество наше!

На другой день, вмѣстѣ съ солнечнымъ восходомъ, Юрій,

въ сопровожденіи Алексѣя, выѣхалъ изъ лавры и пустился по дорогѣ, ведущей къ Москвѣ.

VI.

Когда наши путешественники, миновавъ Хотьковскую обитель, отъѣхали верстъ тридцать отъ лавры, Юрій спросилъ Алексѣя, знаетъ ли онъ, куда они ѣдутъ?

— Вѣстимо куда, — отвѣчалъ съ примѣтною досадою Алексѣй:—въ Москву, къ пану Гонсѣвскому!

— Ты не отгадалъ: мы ѣдемъ въ станъ князя Пожарскаго.

— Зачѣмъ?

— Затѣмъ, чтобъ драться съ поляками.

— Съ поляками!.. Да нѣтъ, ты шутишь, бояринъ!

— Видитъ Богъ, не шучу. Я ужъ больше не слуга Владислава.

— Слава тебѣ, Господи!—вскричалъ Алексѣй.—Насилу ты за умъ хватился, бояринъ! Ну, отлегло отъ сердца! Знаешь ли что, Юрій Дмитричъ? Теперь я скажу всю правду: я не отсталъ бы отъ тебя, что бы со мной на томъ свѣтѣ ни было, еслибъ ты пошелъ служить не только полякамъ, но даже татарамъ; а какъ бы зналъ да вѣдалъ, что у меня было на совѣсти? Каждый день я клалъ по двадцати земныхъ поклоновъ, чтобъ Господь простилъ мое прегрѣшеніе и наставилъ тебя на путь истинный.

— Ну, вотъ видишь, Алексѣй, твоя молитва даромъ не пропала. Но я что-то очень усталъ. Какъ ты думаешь, не остаться ли намъ въ этомъ селѣ?

— Да и пора, Юрій Дмитричъ; мы, чай, слишкомъ верстъ двадцать отъѣхали. Вонъ, кажется и постоялый дворъ... А видно по всему, здѣсь пировали незваные гости. Смотри-ка, ни одной старой избы нѣтъ, всѣ съ иголочки! Охъ, эти проклятые ляхи! Накутили они на нашей матушкѣ святой Руси!

Путешественники въѣхали на постоялый дворъ. Юрій легъ отдохнуть, а Алексѣй, убравъ лошадей, подсѣлъ къ хозяйкѣ, которая въ одномъ углу избы трудилась за прялкою, и спросилъ ее:

— Не слышно ли чего-нибудь о полякахъ?

— И, родимый, наше дѣло крестьянское,—отвѣчала хозяйка, поправивъ подъ собою донце,—мы ничего не вѣдаемъ.

— А что, развѣ поляки никогда не бывали въ вашемъ селѣ?

— Какъ не бывать!

— Ну что, голубушка, чай, они вамъ памятны?

— Вѣстимо, кормилецъ.

— Ужъ нечего сказать, знатные ребята! Не такъ ли?

Хозяйка взглянула недовѣрчиво на Алексѣя и не отвѣчала ни слова.

— Куда, чай, съ ними весело хлѣбъ-соль водить?—продолжалъ Алексѣй.—Не правда ли?

— Вѣстимо, батюшка, — промолвила вполголоса хозяйка.—Дай имъ Богъ здоровья—люди добрые.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Какъ-же,—такіе привѣтливые!

— Что ты, шутишь что ли?

— И, родимый, до шутокъ ли намъ!

— Неужели въ самомъ дѣлѣ?... Кого жъ ты больше любишь: своихъ иль поляковъ?... Ну, что жъ ты молчишь, лебедка, или языкъ отнялся?... Ну, сказывай, кого?

— Кого прикажешь, батюшка.

— Не о приказѣ рѣчь; я толкомъ тебѣ говорю: кого больше любишь, насъ иль поляковъ?

— Васъ, батюшка, васъ! А вы за кого стоите, господа честные?

— Чего тутъ спрашивать: за матушку святую Русь.

— Полно, такъ ли, родимый?

— Видитъ Богъ, такъ! Мы ѣдемъ подъ Москву биться съ поляками не на животъ, а на смерть.

— Ой ли? Помоги вамъ Господи!... Разбойники!... Въ разоръ насъ разорили! Прошлой зимой такъ всю и одеженку то у насъ обобрали. Чтобъ имъ самимъ ни дна, ни покрышки! Передохнуть бы всѣмъ, какъ въ чадной избѣ тараканамъ!... Еретики, душегубцы, нехристь проклятая!

— Ба, ба, ба! Что ты, молодица? Кого ты это изволишь честить!

— Кого?... Какъ, кого?... Вѣстимо, кого!... Кого ты родимый, того и я.

— Да что ты переминаешься?... Чего ты боишься? Иль не видишь, что мы православные?

— О, охъ, батюшка, не равны православные! Этакъ съ часъ мѣста останавливались у насъ двое проѣзжихъ бояръ и съ ними человѣкъ сорокъ холопей, вотъ и стали

меня такъ же, какъ и твоя милость, изъ ума выводитъ; а я сдуру то и выболтай все, что на душенькѣ было; и лишь только вымолвила, что мы денно и нощно молимъ Бога, чтобъ вся эта иноземная сволочь убралась во свояси, вдругъ одинъ изъ бояръ, мужичина такой ражій, Богъ съ нимъ, какъ заоретъ въ источный голосъ, да ну меня изъ своихъ ручекъ плетью! Ужъ онъ каталъ, каталъ меня! Кабы не молодая боярыня, дочка что ль его, не знаю, такъ онъ бы запоролъ меня до смерти! Дай Богъ ей доброе здоровье и жениха по сердцу: вступилась за меня горемычную и, какъ господа стали съѣзжать со двора, потихоньку сунула мнѣ въ руку серебряную копѣечку. То-то добрая душа! Изъ себя не такъ чтобъ очень красива, не дородна, взглянуть не на что... Ахти, я, дура,—промолвила хозяйка, вскочивъ торопливо со скамьи:—заболталась тобой, съ кормилецъ!... Чай, у меня хлѣбы то пересидѣли.

Юрій, который отъ сильнаго волненія души, произведеннаго внезапною перемѣною его положенія, не смыкалъ глазъ во всю прошедшую ночь, теперь отдохнулъ нѣсколько часовъ сряду; и когда они, отправясь опять въ путь, отъѣхали еще верстъ двадцать пять, то солнце начало уже садиться. Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ дорога, проложенная сквозь мелкій кустарникъ, шла по самому краю глубокаго оврага, поросшаго частымъ лѣсомъ, имъ послышался отдаленный шумъ, вслѣдъ за которымъ раздался громкій выстрѣлъ. Юрій пріостановилъ своего коня.

— Что это, бояринъ, — вскричалъ Алексѣй:—слышишь?... Другой... третій... четвертый... Ахти, батюшки, считать не поспѣешь!... Ой, ой, ой, какая тамъ идетъ жарня!

— Что бъ это такое было?—сказалъ Юрій, прислушиваясь къ стрѣльбѣ, которая часъ отъ часу становилась сильнѣе.—Мы, кажется, еще не близко отъ Москвы.

— Сердце мое чуетъ, — прервалъ Алексѣй:—это разбойники шиши проказятъ! Не воротиться ли намъ, бояринъ?

— Если это шиши, такъ намъ бояться нечего. Поѣдемъ поближе, Алексѣй.

Они не успѣли отъѣхать пятидесяти шаговъ, какъ вдругъ изъ-за куста заревѣлъ грубый голосъ.

— Кто ѣдетъ? Стой!...

И человѣкъ двадцать вооруженныхъ кистенями, рогатинами и винтовками разночинцевъ высыпали изъ оврага

и заслонили дорогу нашимъ путешественникамъ. Съ перваго взгляда можно было принять всю толпу за шайку разбойниковъ: большая часть изъ нихъ была одѣта въ крестьянскіе кафтаны, но кой-гдѣ мелькали остроконечныя шапки стрѣльцовъ, и человѣка три походили на казаковъ; а тотъ, который вышелъ впередъ и, повидимому, былъ начальникомъ всей толпы, отличался отъ другихъ богатою дворянскою шубою, надѣтою сверхъ простого сѣраго зипуна; онъ подошелъ къ Юрію и спросилъ его не слишкомъ ласково:

— Кто вы таковы?

— Проѣзжіе, — отвѣчалъ Милославскій.

— Куда ѣдете?

— Подъ Москву.

— Не вмѣстѣ ли, вонъ, съ тѣми боярами, что ѣдутъ впереди!

— Нѣтъ, мы ѣдемъ сами по себѣ.

— Полно, такъ ли?

— Видитъ Богъ, такъ, господа шиши! — закричалъ Алексѣй.

— Ты врешь: мы православное земское войско, а не шиши! Постой ка, братъ: насъ этакъ прозвали зубоскалы поляки, такъ видно ты, голубчикъ, съ ними знаешься!

— Да, да, они измѣнники!—заревѣла вся толпа.—Долой ихъ съ лошадей!

— Что вы, ребята, перекреститесь! — вскричалъ Алексѣй.—Мы ѣдемъ съ бояриномъ изъ Троицы къ князю Пожарскому биться съ поляками.

— Не вѣрь имъ, Бычура, — сказалъ одинъ изъ стрѣльцовъ:—они, точно, измѣнники!

— Постойте, ребята, — прервалъ Бычура:—чтобъ маху не дать!... Какъ тебя зовутъ, молодецъ? — продолжалъ онъ, обращаясь къ Юрію.

— Юрій Милославскій.

— Сынъ покойнаго воеводы нижегородскаго!

— Да, сынъ его.

— Коли такъ, — сказалъ Бычура, снимая почтительно свою шапку,—то мы просимъ прощенія, бояринъ, что тебя остановили; и если ты точно Юрій Дмитричъ Милославскій и ѣдешь изъ Троицы, то не изволь ничего бояться.

— Я ничего и не боюсь, добрые люди! Только не задерживайте меня: я тороплюсь къ Москвѣ.

— Не погнѣвайся, — ты слышишь, какая жареха идетъ на большой дорогѣ?... Такъ воля твоя, а изволь пообождать.

— Но что значитъ эта стрѣльба?

— Да такъ, бояринъ, наши молодцы справляются тамъ съ русскими измѣнниками.

— А почему вы знаете, что они измѣнники?

— Какъ не знать; они было и проводника ужъ нашли, который взялся довести ихъ до войска пана Хоткѣвича; да не на то напали, онъ изъ нашихъ: повелъ ихъ проселкомъ, водитъ, водилъ, да вывелъ, куда надо. Теперь не отвертятся!

— Нельзя ли намъ хоть стороной объѣхать?

— Оно бы можно,—сказалъ Бычура, почесывая голову:— да, не погнѣвайся, господинъ честной,—тебѣ надо прежде заѣхать въ село Кудиново.

— Зачѣмъ?

— А вотъ, изволишь видѣть, мы наслышались о батюшкѣ твоемъ у нашего старшины, отца Еремѣя, священника села Кудинова; такъ онъ лучше нашего узнаетъ, точно ли ты Юрій Дмитричъ Милославскій.

— Какъ,—вскричалъ съ досадою Юрій,—вы не вѣрите?...

— Не то чтобъ не вѣрили, бояринъ, да сбруя то на конѣ твоемъ польская.

— Такъ что жъ!

— Оно, конечно, ничего, не велика бѣда, что и сабля то у тебя литовская: статься можетъ, она досталась тебѣ съ бою;да все лучше, когда ты повидаешься съ отцомъ Еремѣемъ. Вѣдь иной, какъ попадется къ намъ въ руки, такъ со страстей, не въ обиду твоей чести будь сказано, не только Милославскимъ, а пожалуй княземъ Пожарскимъ назовется:

Тутъ кто-то подбѣжалъ запыхавшись къ толпѣ и закричалъ:

— Что вы здѣсь стоите, ребята? Ступайте на подмогу!

— А развѣ васъ тамъ мало? — сказалъ Бычура.

— Да, порядкомъ поубавилось. Теперь дѣло пошло въ рукопашную: одного то боярина, что поменьше ростомъ, съ первыхъ разовъ повалили; да зато другой такъ нашихъ варомъ и варитъ; а глядя на него, и холопы, какъ приняли насъ въ ножи, такъ мы свѣту Божьяго не взвидѣли. Бѣгите проворнѣй, ребята!

Бычура, приказавъ четверымъ шишамъ сѣсть на коней и проводить нашихъ путешественниковъ въ село Кудиново, побѣжалъ съ остальными товарищами впередъ. Юрій и Алексѣй должны были поневолѣ слѣдовать за своими провожатыми и, проскакавъ верстъ пять проселочной дорогой, въѣхали въ селеніе, окруженное почти со всѣхъ сторонъ болотами и частымъ березовымъ лѣсомъ. Посреди села, передъ небольшою деревянною церковью, на обширномъ лугу, толпился народъ. Провожатые слѣзли съ лошадей; Юрій и Алексѣй сдѣлали то же и подошли, вслѣдъ за ними, къ двумъ большимъ липамъ, подъ которыми сидѣлъ на скамьѣ человѣкъ лѣтъ тридцати, съ курчавою черною бородою и распущенными по плечамъ волосами. Онъ былъ одѣтъ отмѣнно богато для сельскаго священника: его длинный, ничѣмъ не подпоясанный однорядокъ съ петлицами походилъ на боярскую ферязь, а желтые сапоги, съ длинными загнутыми кверху носками, напоминали также щеголеватую обувь знатныхъ особъ тогдашняго времени. Взглянувъ нечаянно на противоположную сторону, Алексѣй съ ужасомъ замѣтилъ два высокіе столба съ перекладиною, которые, вѣроятно, поставлены были не для украшенія площади и что-то вовсе не походили на качели. Присоединясь къ толпѣ, путешественники и ихъ провожатые остановились, ожидая, когда дойдетъ до нихъ очередь явиться предъ лицемъ грознаго отца Еремѣя, къ которому подходили, одинъ послѣ другого, отрядные начальники со всѣхъ дорогъ, ведущихъ къ Москвѣ.

— Спасибо, сынокъ! — сказалъ онъ, выслушавъ донесеніе о дѣйствіяхъ отряда посерпуховской дорогѣ.—Знатно! Десять поляковъ и шесть запорожцевъ положено на мѣстѣ, а нашихъ ни одного. Ай да молодецъ!... Темрюкъ, ты хоть родомъ изъ татаръ, а стоишь за отечество не хуже коренного русскаго! Ну что, Матерой, говори, что у васъ по владимірской дорогѣ дѣлается?

— Да что, отецъ Еремѣй, хоть вовсе не выходить на большую дорогу: вотъ уже третій день ни одного ляха въ глаза не видимъ; измѣнники перевелись, и кого ни остановишь — все православный, да православный. Кабы ты дозволилъ поплотнѣе допрашивать проѣзжихъ, такъ авось ли бы и отыскался какой-нибудь предатель; а то, разсуди милостиво, кому охота взводить добровольно на себя такую бѣду?

— Да, какъ бы не такъ! Дай вамъ волю, такъ у васъ, пожалуй, и Козьма Миничъ Сухорукій измѣнникомъ будетъ. Нѣтъ, ребята, чуръ у меня своихъ не трогать! Ну, что ты скажешь, Звѣревъ?

— По ярославской дорогѣ все благополучно, — отвѣчалъ рыжеватый дѣтина съ разбойничьимъ лицомъ.—Сегодня, почитай, никого проѣзжихъ не было.

— И ты никого не останавливалъ?

— Никого.

— Смотри, не лги: вѣдь скажешь же на исповѣди всю правду! Точно ли ты никого не останавливалъ?

— Какъ Богъ святъ, никого.

— Право.... Эй, вы, подойдите-ка сюда!

Тутъ вышли изъ толпы двое купцовъ и, поклонясь низко отцу Еремѣю, стали возлѣ него.

— Ну,—продолжалъ онъ, взглянувъ грозно на Звѣрева,— знаешь ли ты этихъ гостей нижегородскихъ?... Что, прикусилъ язычекъ?

— Виноватъ, отецъ Еремѣй, — сказалъ Звѣревъ, упавъ на колѣни, — помилуй! Не я же одинъ отъ нихъ поживился!

— Кто поставленъ отъ меня старшимъ надъ другими, тотъ за всѣхъ одинъ и въ отвѣтѣ! Развѣ я благословлялъ тебя на разбой?... Зачѣмъ ты ихъ ограбилъ, а?... На висѣлицу его!

Глухой ропотъ пробѣжалъ по всей толпѣ. Передніе не смѣли ничего говорить, но задніе зашумѣли и мѣстахъ въ трехъ раздались голоса:

— Какъ-ста не на висѣлицу!... Много будетъ!... Всѣхъ не перевѣшаешь!...

— Что, что?... Много будетъ? — сказалъ отецъ Еремѣй, приподнимаясь медленно со своего мѣста.

— Посмотри-ка, бояринъ,—шепнулъ Алексѣй Юрію.— Господи, Боже мой!... Что это?... Экій чудо-богатырь!... Да передъ нимъ и Омляшъ показался бы малымъ ребенкомъ!

— Ахъ вы, крамольники,—продолжалъ отецъ Еремѣй,— халдейцы проклятые! [2]) Да знаете ли, что я васъ къ церковному порогу не допущу, что вы всѣ, какъ псы окаянные, передохнете безъ исповѣди!

Ропотъ утихъ, но никто не трогался съ мѣста, чтобъ выполнить приказаніе отца Еремѣя.

— Что вы дожидаетесь? — закричалъ онъ громовымъ

гоосломъ. Иль хотите, чтобъ я повѣсилъ его своими руками?... Темрюкъ, Гаврило, Матерой, возьмите его!... Ну, что жъ вы стали? — промолвилъ онъ, выступя нѣсколько шаговъ впередъ.

Виновнаго схватили и, несмотря на отчаянное сопротивленіе, потащили къ висѣлицѣ.

— Взмилуйся, батюшка,—сказалъ одинъ изъ кущовъ,— не прикажи его вѣшать, а вели только намъ отдать то, что у насъ отняли.

— Ваше добро не пропадетъ, а не въ свое дѣло не мѣшайтесь, — отвѣчалъ хладнокровно отецъ Еремѣй.

— Преложи гнѣвъ на милость, батюшка! Богъ съ нимъ, мы ничего не ищемъ, — сказалъ купецъ.

— Нѣтъ, господа купцы, кто милуетъ разбойниковъ, того самъ Богъ не помилуетъ; да я ужъ давно замѣтилъ, что онъ не чистъ на руку... А развѣ, и то только для васъ, дамъ время покаяться. Эй, постойте, ребята: отведите его въ мірскую избу! Матерой, приставь къ нему караулъ; да смотри, чтобъ онъ былъ чѣмъ-свѣтъ повѣшенъ, и если кто-нибудь хоть пикнетъ, то я завтра велю поставить другую висѣлицу. Ба, ба, ба, Кондратій.... Ты какъ здѣсь?...— продолжалъ онъ, замѣтивъ одного изъ провожатыхъ Юрія, который, поклонясь почтительно, подошелъ къ нему вмѣстѣ со своими товарищами подъ благословеніе. — Ну что, дѣтушки, какъ вы справились съ этими измѣнниками?

— Авось, Господь поможетъ!—отвѣчалъ Кондратій.—А шибко дерутся, собачьи дѣти: достанется и нашимъ на орѣхи!

— Какъ?—вскричалъ отецъ Еремѣй.—Такъ у васъ на троицкой дорогѣ еще дерутся, а вы здѣсь?...

— Не гнѣвайся, батюшка: насъ прислалъ къ тебѣ Бычура вотъ съ этимъ проѣзжимъ, который показался намъ подозрительнымъ, хоть онъ и называетъ себя Юріемъ Дмитричемъ Милославскимъ.

— Милославскимъ? — повторилъ священникъ, подойдя къ Юрію.—Сыномъ Дмитрія Юрьевича? Милости просимъ, бояринъ! Ахъ ты, мой соколъ ясный!... — промолвилъ онъ, благословляя Юрія.—Какъ ты схожъ съ покойнымъ твоимъ родителемъ: какъ двѣ капли воды!... Дай Богъ ему царство небесное: онъ не оставлялъ меня своею милостію! Батюшка твой изволилъ охотиться около нашего села, и хоть я былъ тогда простымъ дьячкомъ, но онъ не гнушался моего дома

и всегда изволилъ останавливаться у меня. Просимъ покорно, Юрій Дмитричъ, ко мнѣ, въ мою избенку, да чѣмъ Богъ послалъ!

Юрій и Алексѣй вошли вслѣдъ за священникомъ въ большую и свѣтлую избу, построенную внутри церковнаго погоста.

— Жена,—сказалъ отецъ Еремѣй, войдя въ избу,—накрывай столъ, подай склянку вишневки, да смотри, поворачивайся: что есть въ печи, все на столъ мечи!.. Знаешь ли, кто нашъ гость?

— Не знаю, батюшка!—отвѣчала попадья съ низкимъ поклономъ.

— Сынъ боярина Милославскаго!

— Ой-ли?.. Охъ, ты мой кормилецъ!.. Подлинно, дорогой гость!.. Пожалуй, батюшка, изволь садиться, милости просимъ! А я мигомъ все спроворю.

— Куда изволишь ѣхать, бояринъ?—спросилъ отецъ Еремѣй.

— Къ князю Пожарскому, подъ Москву.

— Биться съ супостатами? Дѣло, Юрій Дмитричъ! Да и какъ такому молодцу сидѣть поджавши руки, когда вся Русь святая двинулась грудью къ матушкѣ-Москвѣ! Ну что, бояринъ, ты ужъ, чай, давно женатъ и дѣтки есть?

— Нѣтъ, батюшка,—отвѣчалъ со вздохомъ Юрій,—я не женатъ и вѣкъ останусь холостымъ.

— Да видно мнѣ ужъ такъ на роду написано.

— Не ручайся, Юрій Дмитричъ: придетъ часъ воли Божіей...

— Да,—прервалъ Милославскій,—я надѣюсь, что часъ воли Божіей придетъ скоро; но только не такъ, какъ ты думаешь, отецъ Еремѣй!

— Что это, бояринъ, ужъ не о смертномъ ли часѣ ты говоришь? Оно правда, мы всѣ подъ Богомъ ходимъ, и ты ѣдешь не на свадебный пиръ; да Господь милостивъ, и если загадывать впередъ, такъ лучше думать, что не по тебѣ станутъ служить панихиду, а ты самъ отпоешь благодарственный молебенъ въ Успенскомъ соборѣ; и вѣрно, когда по всему Кремлю подъ колокольный звонъ раздастся: «Тебѣ Бога хвалимъ», ты будешь смотрѣть веселѣе теперешняго... А!.. Наливайко!—вскричалъ отецъ Еремѣй, увидя входящаго казака.—Ты съ троицкой дороги? Ну, что?

— Слава Богу, справились съ злодѣями,—отвѣчалъ казакъ:—я пріѣхалъ передовымъ.

— Много побито нашихъ?

— Да съ полсорока, больше, своихъ не дочтемся! Измѣнники дрались не на животъ, а на смерть: всѣ легли до единаго. Правда, было за что и постоять: сундуковъ-то съ добромъ, серебряной посуды—возовъ съ пять, а казны на тройкѣ не увезешь! Наши молодцы нашли въ одной телѣгѣ боченокъ романеи, да такъ-то на радости натянулись, что насилу на коняхъ сидятъ. Бычура съ пятьюдесятью человѣками ѣдетъ за мной слѣдомъ, а другіе съ повозками поотстали.

— А гдѣ вашъ старшина?

— Кто? Ѳедоръ Хомякъ?... Не спрашивай о немъ батюшка: измѣнникъ!

— Что ты говоришь?

— Бычура изъ своихъ рукъ застрѣлилъ этого предателя. Вотъ какъ было все дѣло: ихъ оставили всего человѣкъ двадцать, не больше; но съ ними былъ ихъ бояринъ, и нечего сказать—молодецъ! Стали поперегъ просѣки, которая идетъ направо въ лѣсъ, да слышь ты, вотъ такъ нашихъ въ лоскъ и кладутъ. Мы глядь туда, сюда,—гдѣ Ѳедька Хомякъ? Не тутъ-то было! Чѣмъ-бы ему, какъ старшинѣ, ни пяди отъ насъ, онъ вздумалъ спасать дочь измѣнника боярина и ужъ совсѣмъ было выпроводилъ ее изъ лѣсу, да Богъ попуталъ. Бычура, который былъ позади въ засадѣ и шелъ къ намъ на подмогу, повстрѣчался съ нимъ въ оврагѣ; его, какъ предателя, застрѣлилъ, а боярышню, вмѣстѣ съ ея сѣнною дѣвушкой, поворотилъ назадъ.

— Напрасно; пустили бъ ихъ на всѣ четыре стороны! На что вамъ онѣ?

— Какъ на что, отецъ Еремѣй? Вѣдь она дочь измѣнника!

— Да развѣ мы воюемъ съ бабами?

— Вѣстимо не съ бабами, да наши молодцы не то говорятъ... А вотъ никакъ они въѣхали въ село.

Юрій едва дышалъ въ продолженіе этого разговора: онъ не смѣлъ остановиться на мысли, отъ которой вся кровь застывала въ его жилахъ; но не смотря на то, сердце его невольно сжималось отъ ужаснаго предчувствія. Вдругъ пронесся по улицѣ громкій гулъ; конскій топотъ, пѣсни, дикія восклицанія, буйный свистъ огласили окрестность; толпа пьяныхъ всадниковъ, при радостныхъ крикахъ всего селенія, промчалась вихремъ по улицѣ, спѣшилась у цер-

ковнаго погоста и окружила домъ священника. Черезъ минуту Бычура, въ сопровожденіи человѣкъ двадцати окровавленныхъ и покрытыхъ пылью товарищей, вошелъ въ избу.

— Поздравляемъ, батька,—сказалъ онъ не слишкомъ почтительнымъ голосомъ:—знатная добыча! Нечего сказать, поработали мы сегодня на матушку святую Русь!

— Спасибо, дѣтушки!—отвѣчалъ отецъ Еремѣй.—Жаль только, что и нашихъ легло довольно!

— Зато ужъ и мы натѣшили свои душеньки, и завтра можемъ позабавиться! Мы захватили дочь одного изъ измѣнниковъ-бояръ; такъ какъ прикажешь: сегодня что-ль ее на висѣлицу, иль завтра?.. Да вотъ она на-лицо.

Два мужика внесли закутанную съ ногъ до головы въ богатую фату, дѣвицу; за нею шла, заливаясь слезами, молодая сѣнная дѣвушка.

— Несчастная: она умерла отъ страха!—сказалъ Юрій.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Бычура,—она только въ забытьи; дорогою ее разъ пять схватывало. Пройдетъ!

— Варвары, злодѣи, кровопійцы!—кричала, всхлипивая сѣнная дѣвушка.—Добьюсь ли я отъ васъ хоть каплю воды?

— На, голубушка,—сказала попадья, подавая ковшъ воды,—спрысни ее! Бѣдная боярышня!—промолвила она жалобнымъ голосомъ.—Неужли то вы надъ нею не взмилуетесь?

— Молчи, жена,—шепнулъ священникъ:—утро вечера мудренѣе... Хорошо, ребята! Пусть она здѣсь переночуетъ, а завтра увидимъ!

Невольно повинуясь какому-то непреодолимому влеченію, Юрій подошелъ къ скамьѣ, на которой лежала несчастная дѣвица. Въ ту самую минуту, какъ горничная, стараясь привести ее въ чувство, распахнула фату, въ коей она была закутана, Милославскій бросилъ быстрый взглядъ на блѣдное лицо несчастной... обмеръ, зашатался, хотѣлъ что-то вымолвить, но вмѣсто словъ, невнятый, раздирающій сердце вопль вырвался изъ груди его.

Незнакомая дѣвица открыла глаза и, посмотрѣвъ вокругъ себя, устремила неподвижный и спокойный взоръ на Юрія.

— Ну, вотъ: вѣдь я говорилъ, что очнется!—сказалъ хладнокровно Бычура.

— Анастасья!...—вскричалъ наконецъ Милославскій.

— Опять онъ!...—шепнула Анастасья, закрывъ рукою глаза свои.—Ахъ, я все еще сплю!

— О, еслибъ это былъ сонъ!.. Анастасья!

— Боже мой, Боже мой!.. Такъ я не сплю... это онъ!.. Но зачѣмъ мы здѣсь... вмѣстѣ съ этими палачами!.. Ахъ, я сейчасъ была въ Москвѣ... ты былъ одинъ со мной... а теперь!..

— Ба, ба, ба!... Такъ ты ее знаешь, бояринъ?—спросилъ Бычура.

— Да, добрые люди!—подхватилъ Юрій.—Вы ошибаетесь, она не дочь Шалонскаго.

— Какъ такъ?

— И я также думаю, ребята!—сказалъ священникъ.—Я видалъ боярина Шалонскаго: она вовсе на него не походитъ.

— Кой прахъ!—возразилъ одинъ изъ нищей.—Что жъ онъ, какъ я разрубилъ ему голову, промолвилъ, умирая, своимъ холопамъ: «спасайте дочь мою!»

— Какъ? — вскричала Анастасья.... — Умирая?... Кто умеръ?

— Бояринъ Кручина Шалонскій.

— Родитель мой?...

— Слышишь-ли, батька, что она говоритъ?—сказалъ Бычура.—Что жъ это, бояринъ, никакъ ты вздумалъ насъ морочить?

— Но развѣ вы не видите?... Она сама не знаетъ, что говоритъ... она безъ памяти!

— Нѣтъ,—сказала твердымъ голосомъ Анастасья,—я не отрекусь отъ отца моего. Да, злодѣи, я дочь боярина Шалонскаго, и если для васъ мало, что вы, какъ разбойники, погубили моего родителя, то умертвите и меня!.. Что мнѣ радости на бѣломъ свѣтѣ, когда я вижу среди убійцъ отца моего... Ахъ, умертвите меня!

— Анастасья,—вскричалъ Юрій,—неужели ты можешь думать?..

— Нѣтъ, боярышня,—сказалъ священникъ,—хоть и жаль, а надобно сказать правду: онъ не помогалъ нашимъ молодцамъ. Да что объ этомъ толковать!.. До завтра, ребята; съ Богомъ! Вамъ, чай, пора отдохнуть... Ну, что жъ вы переминаетесь? Ступайте!

— Да вотъ, батька,—сказалъ Бычура, почесывая голову,—товарищи говорятъ, что сегодня за одинъ бы ужъ пріемъ,—повѣсить ее, такъ и дѣло въ шляпѣ!

— Ахъ, вы богоотступники!—вскричала сѣнная дѣ-

вушка.—Что вы затѣваете? Иль вы думаете, что теперь ужъ некому вступиться за боярышню? Такъ знайте же, разбойники, что она помолвлена за гетмана Гонсѣвскаго, и если вы ее хоть волосомъ тронете, такъ онъ васъ всѣхъ живыхъ въ землю закопаетъ.

— Какъ?.. Она невѣста пана Гонсѣвскаго?—сказалъ Бычура.

— Что вы слушаете эту дуру!—прервалъ священникъ.

— Да, да, невѣста пана Гонсѣвскаго,—продолжала кричать горничная, и Боже васъ сохрани...

— Невѣста Гонсѣвскаго!—повторила съ яростнымъ крикомъ вся толпа.—На висѣлицу ее!.. Тащите, ребята на висѣлицу!

— Остановитесь,—сказалъ отецъ Еремѣй, заслонивъ собою Анастасью:—я приказываю вамъ!..

Но неистовые крики заглушили слова священника. Быстрѣе молніи роковая вѣсть облетѣла все селеніе, въ одну минуту изба наполнилась вооруженными людьми, весь церковный погостъ покрылся народомъ и тысячи голосовъ, осыпая проклятіями Гонсѣвскаго, повторяли:

— На висѣлицу невѣсту еретика!

— Да выслушайте меня, дѣтушки!—сказалъ священникъ, успѣвъ наконецъ возстановить тишину вокругъ себя.—Развѣ я стою за нее? Я только говорю, чтобъ вы подождали до завтра.

— Нѣтъ, батька,—возразилъ Бычура,—выдавай намъ ее сейчасъ, а то будетъ поздно: вишь она опять обмерла!.. Гдѣ ей дожить до завтра!..

— Ребята,—вскричалъ Юрій,—не берите на душу этого грѣха! Она невинна: отецъ насильно выдавалъ ее замужъ.

— Все равно!—подхватилъ одинъ пьяный мужикъ съ всклокоченною бородою и сверкающими глазами.—Этотъ жидъ Гонсѣвскій посадилъ на колъ моего брата... На висѣлицу ее!

— Онъ отрубилъ голову отцу моему!—вскричалъ другой.

— Разстрѣлялъ безъ суда пятерыхъ нашихъ товарищей!—промолвилъ третій.

— Тащите ее!—заревѣла вся толпа.

— Друзья мои!—продолжалъ Юрій, ломая въ отчаяніи свои руки.—Ради Бога!.. Если вы хотите кого-нибудь казнить, такъ умертвите меня.

— Что ты, боярин, развѣ мы разбойники?—сказалъ

Бычура.—Ты православный и стоишь за нашихъ, а она дочь предателя, еретичка и невѣста злодѣя нашего Гонсѣвскаго.

— Такъ попытайтесь же взять ее!—вскричалъ Юрій, вынимая свою саблю.

— Безумный!—сказалъ священникъ, схвативъ его за руку.—Иль ты о двухъ головахъ?.. Слушайте, ребята,—продолжалъ онъ:—я присудилъ повѣсить за разбой Сеньку Звѣрева; вамъ всѣмъ его жаль,—ну, такъ и быть: не троньте эту дѣвчонку, которая и такъ чуть жива, и я прощу вашего товарища.

— Нѣтъ, батька!—сказалъ Бычура.—Если Звѣревъ виноватъ, то мы не стоимъ за него: дѣлай съ нимъ, что тебѣ угодно; а намъ давай невѣсту пана Гонсѣвскаго!

— Да, да!—вскричала вся толпа.—Мы изъ твоей воли не выступаемъ, Еремѣй Аѳанасьевичъ: казни кого хочешь, а еретичку намъ выдавай!

Юрій съ ужасомъ замѣтилъ, что твердость священника поколебалась: въ его смущенныхъ взорахъ ясно изображались нерѣшимость и боязнь. Онъ видѣлъ, что распаленная виномъ и мщеніемъ буйная толпа начинала уже забывать свое повиновеніе, и одинъ грозный видъ и всѣмъ извѣстная исполинская его сила удерживали въ нѣкоторыхъ границахъ главныхъ зачинщиковъ, которые, понукая другъ друга, не рѣшались еще употребить насиліе; но этотъ страхъ не могъ продолжаться долго. Снаружи крикъ бѣшенаго народа умножался ежеминутно, и нѣсколько уже разъ имя священника произносилось съ ругательствомъ и угрозами. Взоры его становились часъ-отъ-часу мрачнѣе, онъ поглядывалъ съ состраданіемъ то на Юрія, то на безчувственную Анастасью; но вдругъ лицо его прояснилось, онъ схватилъ за руку Милославскаго и сказалъ вполголоса:

— Готовъ ли ты пуститься на все, чтобъ спасти эту несчастную?

— На все, отецъ Еремѣй!

— Если такъ—она спасена! Ну, дѣтушки,—продолжалъ онъ, обращаясь къ толпѣ,—видно васъ не переспоришь: быть по вашему! Только не забудьте, ребята, что она такая-же крещеная, какъ и мы, такъ намъ грѣшно будетъ погубить ея душу. Возьмите ее бережненько, да отнесите за мною въ церковь; тамъ она скорѣй очнется! Дайте мнѣ только время исповѣдать ее, приготовить къ смерти; а тамъ дѣлайте, что хотите.

— Ну вотъ, что дѣло, то дѣло, батька,—сказалъ Бычура,—въ этомъ съ тобою никто спорить не станетъ. Ну-ка, ребята, пособите мнѣ отнести ее въ церковь!... Да выходите же вонъ изъ избы!... Экъ они набились,—не продерешься!... Ступай-ка отецъ Еремѣй, передомъ: ты скорѣй ихъ пораздвинешь.

Минуты черезъ двѣ въ избѣ не осталось никого, кромѣ Юрія, Алексѣя и сѣнной дѣвушки, которая, заливаясь горькими слезами и вычитая всѣ добродѣтели своей боярышни, вопила голосомъ. Милославскій, не смотря на обѣщаніе отца Еремѣя, былъ также въ ужасномъ положеніи; онъ ходилъ взадъ и впередъ по избѣ, какъ человѣкъ, лишенный разсудка: поперемѣнно то хватался за свою саблю, то, закрывъ руками глаза, бросался въ совершенномъ отчаяніи на скамью и плакалъ какъ ребенокъ. Алексѣй не смѣлъ утѣшать его и, наблюдая глубокое молчаніе, стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ. Не прошло и пяти минутъ, какъ вдругъ двери вполовину отворились и небольшого роста старичекъ, въ которомъ, по заглаженнымъ назадъ волосамъ и длинной косѣ, не трудно было узнать приходскаго дьячка, махнулъ рукою Милославскому, и когда Алексѣй хотѣлъ идти за своимъ господиномъ, то шепнулъ ему, чтобъ онъ остался въ избѣ. Юрій вышелъ съ своимъ проводникомъ на церковный погостъ и, пробираясь осторожно вдоль забора, подошелъ къ паперти. Входя на лѣстницу, онъ оглянулся назадъ: вокругъ всей ограды, подлѣ пылающихъ костровъ, сидѣли кучами вооруженные люди; ихъ неистовыя восклицанія, буйные разговоры, звѣрскій хохотъ, съ коимъ они указывали по-временамъ на висѣлицу, вокругъ которой разведены были также огни и толпился народъ, все это вмѣстѣ составляло картину столь отвратительную, что Юрій невольно содрогнулся и поспѣшилъ, вслѣдъ за дьячкомъ, войдти во внутренность церкви. Передъ иконостасомъ теплилась одна лампада, а въ трапезѣ, подлѣ налоя, во всемъ облаченіи, стоялъ отецъ Еремѣй и трепещущая Анастасья.

— Скорѣй, Юрій Дмитричъ, скорѣй!—сказалъ священникъ, идя къ нему навстрѣчу.—Становись подлѣ своей невѣсты!

— Моей невѣсты?—повторилъ съ ужасомъ Юрій.

— Да, это одинъ способъ спасти ее! Слышишь ли, какъ бѣснуются эти буйныя головы? Малѣйшее промедленіе будетъ стоить ей жизни. Еще разъ спрашиваю тебя, хочешь ли спасти ее?

— Хочу!—сказалъ рѣшительно Юрій, и отецъ Еремѣй, снявъ съ руки Анастасьи два золотыхъ перстня, началъ обрядъ вѣнчанья. Юрій отвѣчалъ твердымъ голосомъ на вопросы священника, но смертная блѣдность покрывала лицо его; крупныя слезы сверкали сквозь длинныя рѣсницы потупленныхъ глазъ Анастасьи; голосъ дрожалъ, но живой румянецъ пылалъ на щекахъ ея и, горячая рука трепетала въ ледяной и, какъ мраморъ, безчувственной рукѣ Милославскаго.

Между тѣмъ, нетерпѣніе палачей несчастной Анастасьи дошло до высшей степени.

— Что жъ это? Батька издѣвается что ль надъ нами?— вскричалъ наконецъ Бычура. – Гдѣ видано держать два часа на исповѣди? Кабы насъ, такъ онъ успѣлъ бы уже давно десятка два отправить. Послушайте, ребята, войдемте въ церковь; при людяхъ исповѣдавать нельзя, такъ ему придется нехотя кончить.

— А что ты думаешь?... И впрямь!.. Въ церковь, такъ въ церковь!... Пойдемте, ребята!—закричали товарищи Бычуры, и вслѣдъ за нимъ хлынули всей толпой на паперть.

— Вотъ-те разъ,—сказалъ Бычура, остановясь въ недоумѣніи:—вѣдь двери-то заперты!..

— Такъ что жъ? Ну-ка, товарищи, понапремъ,—вскричалъ Матерой,—авось, съ петель соскочитъ!

Вдругъ двери церковныя съ шумомъ отворились, и отецъ Еремѣй, въ полномъ облаченіи, устремивъ сверкающій взглядъ на буйную толпу, предсталъ предъ нее, какъ грозный ангелъ Господень.

— Богоотступники!—воскликнулъ онъ громовымъ голосомъ.—Какъ дерзнули вы силою врываться въ храмъ Господа нашего?.. Чего хотите вы отъ служителя алтарей, нечестивые святотатцы?

— Отецъ Еремѣй,— отвѣчалъ Бычура робкимъ голосомъ, посматривая на присмирѣвшихъ своихъ товарищей,—вѣдь ты самъ обѣщалъ выдать намъ невѣсту Гонсѣвскаго?

— И сдержалъ бы мое обѣщаніе, если бъ могъ выдать вамъ невѣсту нашего злодѣя.

— А почему жъ ты не можешь!

— Ея здѣсь нѣтъ!

— Какъ, нѣтъ?.. Ребята, что жъ это?..

— Да, здѣсь нѣтъ никого, кромѣ Юрія Дмитріевича Милославскаго и законной его супруги, боярыни Милослав-

ской! Вотъ они!—прибавилъ священникъ, показыя на новобрачныхъ, которые въ вѣнцахъ и держа другъ друга за руки, вышли на паперть и стали возлѣ своего защитника.

— Православные,—продолжалъ отецъ Еремѣй, не давая образумиться удивленной толпѣ,—развѣ не видите, что они обвѣнчаны, а кого Господь сочеталъ на небеси, тѣхъ на землѣ человѣкъ разлучить не можетъ!

— Да,—вскричалъ Юрій,—ничто не разлучитъ меня съ моею супругою, и если вы жаждете упиться ея неповинною кровью, то умертвите и меня вмѣстѣ съ нею!

— Слышите ль, православные? Вы не можете погубить жены, не умертвя вмѣстѣ съ нею мужа, а я посмотрю, кто изъ васъ осмѣлится поднять руку на друга моего, сподвижника князя Пожарскаго и сына знаменитаго боярина Дмитрія Юрьевича Милославскаго?

Глубокое молчаніе распространилось по всей толпѣ, которая безпрестанно увеличивалась отъ прибѣгающаго со всѣхъ сторонъ народа.

— Какъ вы думаете, товарищи?...—промолвилъ наконецъ Бычура.

— Не знаемъ ста, какъ ты!...—отвѣчалъ Наливайко.

— Вишь, батько-то стоитъ за нихъ грудью,—прибавилъ Матерой.

На всѣхъ лицахъ замѣтно было какое-то сомнѣніе и неловѣрчивость. Всѣ молча поглядывали другъ на друга, и въ эту рѣшительную минуту одно удачное слово могло усмирить всѣ умы, точно такъ же какъ одно буйное восклицаніе—превратить снова весь народъ въ безжалостныхъ палачей. Уже нѣсколько пьяныхъ мужиковъ, съ звѣрскими рожами, готовы были подать первый знакъ къ убійству, но отецъ Еремѣй предупредилъ ихъ намѣреніе.

— Ну, что жъ вы задумались, православные!—воскликнулъ онъ,—принимая изъ рукъ дьячка кружку съ виномъ. За мной, дѣтушки!... Да здравствуютъ новобрачные!

Два или три голоса повторили поздравленіе, но вся толпа молчала.

— А чтобъ было чѣмъ выпить за ихъ здоровье,—продолжалъ отецъ Еремѣй,—бояринъ жалуетъ вамъ бочку вина, ребята!

— Да здравствуютъ новобрачные!—закричали сотни голосовъ.

— А я,—прибавилъ священникъ,—на радости прощаю

Звѣрева и выдаю изъ собственной моей казны по пяти алтынъ на человѣка.

— Ура!—заревѣлъ весь народъ.—Многія лѣта боярынѣ Милославской!... Да здравствуютъ молодые!

— Спасибо, ребята! Сейчасъ велю вамъ выкатить бочку вина, а завтра приходите за деньгами. Пойдемъ, бояринъ,— промолвилъ отецъ Еремѣй вполголоса: — пока они будутъ пить и веселиться, намъ зѣвать не должно... Я велѣлъ осѣдлать коней вашихъ и приготовить лошадей для твоей супруги и ея служительницы. Васъ провожать будетъ Темрюкъ: онъ парень добрый и вѣрно теперь во всемъ селѣ одинъ одинехонекъ не пьянъ; хоть онъ и крестился въ нашу вѣру, а все еще придерживается своего басурманскаго обычая,—вина не пьетъ.

Когда они вошли въ избу и сѣнная дѣвушка узнала, что ея госпожа не должна уже ничего опасаться, то совсѣмъ бы обезумѣла отъ радости, еслибъ ей не объявили, что боярышня ея вышла замужъ за Милославскаго. Это извѣстіе тотчасъ расхолодило ея восторгъ.

— Какъ,—вскричала она,—Анастасья Тимоѳеевна обвѣнчалась?... Ну, хороша свадебка!... Безъ помолвки, безъ дѣвишника!... Ахъ, Боже мой!... Что, еслибъ Власьевна это узнала!... Ахъ, ты моя родимая, сиротка ты безталанная! Некому было тебя, горемычную, и повеличать передъ свадьбою!...

— И, голубушка,—сказалъ священникъ,—до величанья ли имъ было! Ты, чай, слышала, какія ей на площади попѣвали свадебныя пѣсенки? Ну, бояринъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Юрію,—куда жъ ты теперь поѣдешь съ своею супругою?... Чай, въ станѣ у князя Пожарскаго жить боярынямъ не пристало?... Не худо, еслибъ ты отвезъ на время свою супругу въ Хотьковскій монастырь; онъ близехонько отсюда, и вѣрно игуменья не откажетъ дать пріютъ боярынѣ Милославской.

— Она родная моя тетка,—сказала Анастасія.

— Такъ и думать нечего—въ добрый часъ, бояринъ! У меня на душѣ будетъ легче, какъ вы уѣдете... Не то, чтобъ я боялся... однакожъ все лучше... лукавый силенъ... Поѣзжайте съ Богомъ!

— Отецъ Еремѣй,—сказалъ Юрій,—чѣмъ могу я возблагодарить тебя?...

— Не за что, Юрій Дмитричъ! Я взысканъ былъ милостію

твоего покойнаго родителя и, служа его сыну, только что выплачиваю старый долгъ. Но вотъ, кажется, и Темрюкъ готовъ! Онъ проведетъ васъ задами; хоть васъ никто не посмѣетъ остановить, однакожъ лучше не ѣхать мимо церкви. Дай вамъ, Господи, совѣтъ и любовь, во всемъ благое поспѣшеніе, несчетные годы и всякаго счастья! Прощайте!

Молодые и служители ихъ, проѣхавъ задними воротами на огороды, въ сопровожденіи Темрюка, добрались потихоньку до околицы и выѣхали изъ села Кудинова.

VII.

Въ этотъ самый день, въ который, по необычайному стеченію обстоятельствъ, Милославскій нарушилъ обѣтъ, данный имъ наканунѣ: посвятить остатокъ дней своихъ безбрачной жизни, часу въ десятомъ ночи какой-то бѣдный прохожій, въ изорванномъ сѣромъ кафтанѣ, шелъ скорыми шагами вдоль большой московской дороги, проложенной въ этомъ мѣстѣ по скату глубокаго оврага, поросшаго густымъ лѣсомъ. Миновавъ длинный и узкій мостъ, перекинутый чрезъ топкую пойму, прохожій вышелъ на небольшую поляну, пересѣкаемую поперечною дорогой. Ночь была лунная, и, несмотря на густую тѣнь отъ деревьевъ, можно было безъ труда различить всѣ предметы. Прохожій, достигнувъ перекрестка, остановился, вздрогнулъ и съ ужасомъ отступилъ назадъ: освѣщенная полнымъ мѣсяцемъ вся правая сторона поляны была покрыта кучами мертвыхъ тѣлъ. Пораженный этимъ неожиданнымъ зрѣлищемъ прохожій стоялъ уже нѣсколько минутъ неподвижно на одномъ мѣстѣ, какъ вдругъ слабый, едва слышный стонъ долетѣлъ до его слуха, и въ то же время ему показалось, что среди большой груды тѣлъ, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ поперечная дорога выходила на поляну, кто-то приподнялъ съ усиліемъ голову и, вздохнувъ тяжело, опустилъ ее опять на землю. Подойдя поближе, прохожій увидѣлъ, что этотъ несчастный, покрытый глубокими язвами, одинъ изъ всѣхъ сохранилъ еще признаки жизни. Въ то время, какъ человѣколюбивый незнакомецъ, желая, повидимому, подать какую-нибудь помощь раненому, заботливо надъ нимъ наклонялся, онъ снова сдѣлалъ движеніе и повернулся лицомъ къ сторонѣ, освѣщенной луною.

— Правосудный Боже!—вскричалъ прохожій, отступивъ назадъ и сложа крестообразно свои руки. Это онъ, это тотъ надменный и сильный бояринъ!... Итакъ, исполнилась мѣра долготерпѣнія Твоего, Господи!... Но онъ дышитъ, онъ живъ еще... Ахъ, еслибъ этотъ несчастный успѣлъ примириться съ Тобою! Но какъ привести его въ чувство?... — прибавилъ прохожій, посмотрѣвъ вокругъ себя.—Изба полѣсовщика недалеко отсюда... попытаюсь...

Онъ приподнялъ раненаго, въ которомъ читатели, вѣроятно, узнали уже боярина Кручину-Шалонскаго, положилъ его на плечи и, сгибаясь подъ этою ношею, пошелъ вдоль поперечной дороги, въ концѣ которой мелькалъ сквозь чащу деревьевъ едва замѣтный тусклый огонекъ.

Почти въ то же самое время Милославскій и его супруга выѣхали изъ села Кудинова; впереди ѣхалъ провожатый ихъ татаринъ Темрюкъ, а позади Алексѣй и сѣнная дѣвушка. Во все время, пока до ихъ слуха долетали еще громкіе крики и веселыя пѣсни, Анастасья наблюдала глубокое молчаніе и, вздрагивая при каждомъ новомъ радостномъ восклицаніи, которое доносилъ до нихъ отголосокъ, съ трепетомъ прижималась къ Милославскому. Но когда вокругъ нихъ все утихло и, мало-по-малу, стало потухать блѣдное зарево отъ пылающихъ костровъ, вокругъ которыхъ пировала буйная толпа ея палачей, она, казалось, стала дышать свободнѣе и, наконецъ, сказала робкимъ, исполненнымъ прелести, голосомъ:

— Ты молчишь, Юрій Дмитричъ!... Промолви хотя словечко... Ахъ, одно твое слово ласковое, одинъ твой привѣтъ могутъ уменьшить скорбь несчастной сироты.

— Анастасья, — отвѣчалъ тихимъ голосомъ Юрій,—я самъ сирота, и мнѣ-ли, горькому, безталанному, утѣшать тебя въ несчастіи, когда для самого меня нѣтъ утѣшенья на бѣломъ свѣтѣ?... Ахъ, не на радость соединилъ тебя Господь со мною!

— Не на радость?... Нѣтъ, Юрій Дмитричъ, я не хочу гнѣвить Бога; съ тобою и горе мнѣ будетъ радостью. Ты не знаешь и не узналъ бы никогда, еслибъ не былъ моимъ супругомъ, что я давнымъ-давно люблю тебя. Во снѣ и наяву никогда и нигдѣ я не разставалась съ тобою... ты былъ всегда моимъ суженымъ. Когда злодѣйка кручина томила мое сердце, я вспоминала о тебѣ, и твой образъ, какъ

ангелъ-утѣшитель, проливалъ отраду въ мою душу. Теперь ты мой, и если ты также меня любишь...

— Люблю ли я тебя?!... — вскричалъ Милославскій.— Тебя!... Ахъ, Анастасья, помнишь ли, въ Москвѣ, у Спаса на Бору?... Я не зналъ, кто ты, когда въ первый разъ тебя увидѣлъ, но сердце мое забилось отъ радости... Мнѣ казалось, что я встрѣтился съ тобою послѣ долгой разлуки, что я давно тебя знаю... что я не могъ не знать тебя! Несчастный, я забылъ все... забылъ, что стою въ храмѣ Божіемъ, — недоконченная молитва замерла на устахъ моихъ... Нѣтъ, я согрѣшилъ еще болѣе: въ безуміи моемъ, я молился не на лики святыхъ угодниковъ... Анастасья, я видѣлъ одну тебя! Такъ я прогнѣвилъ Господа и долженъ сносить безъ ропота горькую мою участь. Но ты молилась, Анастасья! Въ глазахъ твоихъ, устремленныхъ на святыя иконы, сіяла благодать Божія... Я видѣлъ ясно— никакіе земные помыслы не омрачали души твоей... Тебя не тяготитъ ужасный грѣхъ поруганной святыни!... За что жъ Господь наказалъ насъ обоихъ?

— Не грѣши, Юрій Дмитричъ! Къ чему этотъ безразсудный ропотъ? Всевышній посѣтилъ насъ скорбію, мы оба сироты; но развѣ Онъ до конца насъ покинулъ? И должны ли мы искушать Его милосердіе въ ту самую минуту, когда онъ, сжалясь надъ нами, соединилъ насъ на вѣки?

— На вѣки! — повторилъ вполголоса Юрій. — Ахъ, Анастасья!...

— Да, мой милый, мой сердечной другъ, одна смерть можетъ разлучитъ насъ!... Дай мнѣ свою руку, радость дней моихъ, ненаглядный мой!... Не правда ли, ты никогда не покинешь твоей Анастасьи... никогда?... Чувствуешь ли ты,—продолжала она голосомъ, исполненнымъ неизъяснимой нѣжности, прижимая руку Юрія къ груди своей,—чувствуешь ли, какъ бьется мое сердце?... Оно живетъ тобою! И если когда-нибудь ты перестанешь любить меня...

— Никогда, никогда! — прошепталъ Юрій, покрывая пламенными поцѣлуями ея трепещущую руку.

— Безцѣнный мой!... Избавитель мой!... О, какъ снова мнѣ жизнь становится мила!... Она твой даръ, мой возлюбленный; она вся принадлежитъ тебѣ!... Ахъ, повтори еще разъ, что ты меня любишь!

— Болѣе всего на свѣтѣ! — вскричалъ Милославскій, забывъ на минуту весь ужасъ своего положенія.

— И ты можешь роптать на промыслъ Божій?... И я смѣю называть себя сиротою, когда ты супругъ мой!...

Какъ пробужденный отъ глубокаго сна, Юрій вздрогнулъ.

— Твой супругъ!...—повторилъ онъ, отдернувъ съ ужасомъ свою руку.

— Что съ тобою, мой милый другъ?—спросила робкимъ голосомъ Анастасья.

Юрій не отвѣчалъ ни слова.

— Ты молчишь?... — продолжала она. — Ахъ, говори, Юрій Дмитричъ, скажи, чѣмъ могла я прогнѣвить тебя?

— Анастасья,—отвѣчалъ наконецъ Милославскій,—я не ропщу... я покоряюсь волѣ Всевышняго; но мы несчастливы, мой другъ, очень несчастливы!

— Нѣтъ, пока ты называешь меня своею супругою... пока я принадлежу тебѣ...

— Но знаешь ли ты, сирота злополучная?.. Такъ, къ чему откладывать... для чего томить тебя медленною смертью!... Анастасья... я не супругъ твой!

— Ты не супругъ мой? Но не ты ли сейчасъ обошелъ со мною налой церковный?... Не съ тобою ли я помѣнялась этимъ перстнемъ?...

— Чтобъ спасти тебя, я долженъ былъ это сдѣлать, но я не могу быть ничьимъ супругомъ.

— Не можешь?

— Да, Анастасья! Вчера, надъ гробомъ преподобнаго Сергія, я клялся оставить свѣтъ и произнесъ обѣтъ: по окончаніи брани, возложить на себя одежду инока.

— Милосердный Боже!... Такъ для чего жъ, жестокій, ты не далъ мнѣ умереть?

— Выслушай меня, Анастасья, и не осуждай меня!

Юрій сталъ разсказывать, какъ онъ любилъ ее, не зная, кто она; какъ несчастный случай открылъ ему, что его незнакомка—дочь боярина Кручины; какъ онъ, потерявъ всю надежду быть ея супругомъ и связанный присягою, которая препятствовала ему возстать противъ враговъ отечества, рѣшился отказаться отъ свѣта; какъ произнесъ обѣтъ иночества и, повинуясь волѣ своего наставника, Авраамія Палицына, отправился изъ Троицкой лавры сражаться, подъ стѣнами Москвы, за вѣру православную; наконецъ, какимъ образомъ онъ попалъ въ село Кудиново и для чего долженъ былъ назвать ее своею супругою. Анастасья съ необыкновенною твердостью выслушала весь раз-

сказъ его; но, когда онъ кончилъ, она завернулась въ свою фату, зарыдала, и горькія слезы рѣкой полились изъ глазъ ея. Юрій молча продолжалъ ѣхать подлѣ нея; нѣсколько разъ онъ хотѣлъ возобновить разговоръ, но слова замирали на устахъ его. И что могъ бы онъ сказать въ утѣшеніе несчастной, горькой сиротѣ?

Вдали мелькнулъ огонекъ; Темрюкъ остановилъ свою лошадь и, обращаясь къ Юрію, сказалъ:

— Видишь, бояринъ, вонъ тамъ, за этими деревьями?... Это Хотьковъ монастырь. Чай, теперь вы и безъ проводника доѣдете: дорога прямая, а мнѣ пора и отдохнуть, вотъ другія сутки, какъ я глазъ не сводилъ.

Юрій отпустилъ своего провожатаго, и черезъ четверть часа наши путешественники доѣхали до монастырскихъ воротъ. Не скоро достучались они привратника; наконецъ, калитка отворилась, и монастырскій слуга, протирая заспанные глаза, спросилъ сердитымъ голосомъ:

— Кто тутъ?... Что за полуночники такіе?...

Но, узнавъ Анастасью, вскрикнулъ отъ радости и побѣжалъ доложить о ней игуменьѣ. Путешественники сошли съ лошадей. Анастасья молчала, Юрій также; но когда черезъ нѣсколько минутъ ворота отворились и надобно было разставаться, вся твердость ихъ исчезла. Анастасья, рыдая, упала на грудь Милославскаго.

— Прости, мой избавитель,—говорила она всхлипывая;— прости навсегда!

— Навсегда!... Нѣтъ, Анастасья! — вскрикнулъ Юрій, заключивъ ее въ свои объятія.—Когда мы оба проснемся отъ тяжкаго земного сна для жизни безконечной, тогда мы увидимся опять съ тобою!... И тамъ, гдѣ нѣтъ ни плача, ни воздыханій, тамъ, о, милый другъ, я снова назову тебя моею супругою!

Анастасья вырвалась изъ его объятій. Тяжелыя ворота заскрипѣли, застучалъ желѣзный запоръ, привратникъ захлопнулъ калитку, и Юрій, вскочивъ на коня, помчался вихремъ отъ стѣнъ обители, въ которой, какъ въ безмолвной могилѣ, онъ похоронилъ навсегда все земное свое счастье.

Оставимъ на нѣсколько времени Юрія, который спѣшилъ, въ крови враговъ или въ своей собственной, утопить мучительную тоску свою, и перенесемся въ хижину, гдѣ, осыпанный проклятіями, заклейменнный позорнымъ

именемъ предателя, нѣкогда сильный и знаменитый боярин, но теперь покинутый цѣлымъ міромъ, безпріютный страдалецъ боролся со смертію. До половины вросшая въ землю, освѣщенная однимъ восковымъ огаркомъ, который теплился передъ иконами, лачужка полѣсовщика была въ эту минуту послѣднимъ земнымъ жилищемъ богатаго боярина Кручины, привыкшаго жить съ царскою пышностію. Нѣсколько сноповъ соломы, брошенныхъ на скамью, замѣняли роскошное пуховое ложе, а вмѣсто толпы покорныхъ рабовъ, одинъ бѣдный, покрытый изорваннымъ рубищемъ нищій сидѣлъ у его изголовья. Испустя тяжелый вздохъ, умирающій очнулся отъ своего безпамятства и открылъ глаза; нѣсколько минутъ его тусклые, безжизненные взоры оставались неподвижными; наконецъ, мало по-малу онъ сталъ различать окружавшіе его предметы. Съ большимъ усиліемъ онъ поднялъ руку и, молча, поднесъ ее къ запекшимся кровію устамъ своимъ. Нищій подалъ ему ковшъ съ водою, и боярин, утоливъ свою жажду, промолвилъ невнятнымъ голосомъ:

— Гдѣ я?

— Въ избѣ, у добраго человѣка, — отвѣчалъ нищій.

— Кто говоритъ со мною?

— Это я, Ѳедорычъ: Митя.

— Гдѣ мои слуги?

— Твои слуги!... Бѣдняжка!... Ты всѣхъ ихъ отпустилъ на волю, Ѳедорычъ!

— Гдѣ моя дочь?

— Какъ?... Такъ и она, сердечная, была съ тобою?... Голубушка моя!... Ну, Ѳедорычъ, пришла бѣда—растворяй ворота!

— Ахъ, я начинаю вспоминать... убійцы... кровь!... Такъ... они умертвили ее!... Злодѣи! А я живъ еще!.. Зачѣмъ?... Для чего?

— Какъ зачѣмъ, Ѳедорычъ?... Подумай-ка хорошенько! Вѣдь благочестивую дочь твою въ расплохъ-бы не застали: она всегда, какъ чистая голубица, готова была принять жениха своего. А что бъ ты сталъ дѣлать, горемычный, еслибы Господь не умилосердился надъ тобою и не далъ тебѣ времени принарядиться, да раззнакомиться съ твоими пріятелями?—Оглянись-ка, Ѳедорычъ, посмотри, сколько ихъ стоитъ за тобою: гордость, и злость, и неправда, и убійство, и всякое нечестіе!...—Эй, Ѳедорычъ, не губи себя, голубчикъ:

отрекись отъ этихъ друзей, не бери ихъ съ собою! — Вѣдь двери-то на небеса небольшія, — съ такой оравой туда не пролѣзешь!

Блѣдныя щеки Шалонскаго вспыхнули; казалось, всѣ силы его возвратились: онъ приподнялся до половины и, устремивъ дикій взоръ на Митю, сказалъ твердымъ голосомъ:

— О чемъ ты говоришь, юродивый? Чего ты отъ меня хочешь?.. Покаянія?.. Нѣтъ!.. Поздно!.. Если все правда, чему я вѣрилъ въ ребячествѣ, то приговоръ мой давно уже произнесенъ!

— И, Ѳедорычъ, Ѳедорычъ! Кто это тебѣ сказалъ?

— Да, если изъ двухъ дорогъ я выбралъ одну и шелъ по ней всю жизнь мою, то могу ли передъ смертью возвратиться опять на перепутье?

— Можешь ли?!—прервалъ Митя, и глаза его заблистали необыкновеннымъ огнемъ, и кроткое величіе праведника изобразилось на челѣ его, выражавшемъ до того одно простодушіе и смиреніе.—Можешь ли?!—повторилъ онъ вдохновеннымъ голосомъ. — Ничтожное, бренное созданіе! Тебѣ ли полагать предѣлы милосердію Божію? Тебѣ ли измѣрять неизмѣримую любовь Творца къ его созданію?.. Такъ, съ юности твоей преданный лукавству и нечестію, упитанный неповинною кровію, ты шелъ путемъ беззаконія, дѣла твои вопіютъ на небеса; но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказалъ: «помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ»! И едва слова сіи излетѣли изъ устъ убійцы—и уже имя его было начертано на небеси! Едва омытая кровію Спасителя душа его воспарила въ горнія селенія, и уже навстрѣчу ей спѣшилъ самъ Искупитель! О, бояринъ, возведи скорбящій взоръ къ Отцу нашему, пожелай только быть вмѣстѣ съ Нимъ, и Онъ уже съ тобою, и Онъ уже въ душѣ твоей!...

Какъ истомленный жаждою въ знойный день усталый путникъ глотаетъ съ жадностію каждую каплю пролившаго на главу его благотворнаго дождя, такъ слушалъ умирающій исполненныя христіанской любви слова своего утѣшителя. Закоснѣлое въ преступленіяхъ сердце боярина Кручины забилось раскаяніемъ; съ каждымъ новымъ словомъ юродиваго измѣнялся видъ его, и, наконецъ, на блѣдномъ, полумертвомъ лицѣ изобразилась послѣдняя ужасная борьба порока, ожесточенія и сильныхъ страстей съ душою, проникнутою первымъ лучемъ небесной благодати.

— Какъ?! — сказалъ онъ послѣ продолжительнаго молчанія.—Ты, котораго я выгналъ съ позоромъ изъ дома своего, надъ кѣмъ ругался, кого осыпалъ проклятіями, кто долженъ меня ненавидѣть, желать моей вѣчной погибели...

— Твоей погибели!.. Ахъ, ты не знаешь... ты не вкусилъ еще всей сладости любви христіанской, бояринъ!.. Твоей погибели!.. Пусть Господь возьметъ остатокъ дней моихъ за одно мгновеніе твоего душевнаго покаянія! Но, что я говорю, безсмысленный! Нужна ли эта ничтожная жертва, дабы подвигнуть къ милосердію Того, Кто есть безпредѣльная любовь... которая наполняетъ уже твою душу, бояринъ!.. Такъ, я вижу благодать Всевышняго въ твоихъ потухающихъ взорахъ!.. Ты плачешь?.. Плачь, бояринъ, плачь! Эти слезы!.. О, привѣтствуй сихъ посланниковъ небесныхъ!..

Кто можетъ описать чувство умирающаго грѣшника, когда перстъ Божій коснулся души его? Онъ видѣлъ всю мерзость прошедшихъ дѣлъ своихъ, возгнушался самимъ собою, ненавидѣлъ себя; но не отчаяніе, а надежда и любовь наполняли его душу.

— Милосердый Боже, — воскликнулъ онъ, проливая источники слезъ,—для чего я не могу продлить мою позорную жизнь?.. Для чего въ болѣзняхъ, страданіяхъ, покрытый язвами, отъ всѣхъ отверженный, всѣми презираемый, я не могу изгладить продолжительнымъ покаяніемъ хотя сотую часть моихъ тяжкихъ беззаконій?..

— Ихъ нѣтъ уже, бояринъ, — сказалъ съ восторгомъ Митя:—твои слезы смыли ихъ!.. Первыя слезы кающагося грѣшника!.. О, какое веселіе, какое торжество готовится на небесахъ, когда я, окаянный, недостойный грѣшникъ, скрывающій гордость и тщету даже подъ симъ бѣднымъ рубищемъ, не нахожу словъ для изъясненія моей радости!

Ослабѣвъ отъ сильнаго душевнаго потрясенія, бояринъ Кручина опустился на свое ложе; предвѣстница близкой смерти, лихорадочная дрожь пробѣжала по всѣмъ его членамъ.—Митя, Митя,—сказалъ онъ прерывающимся голосомъ,—конецъ мой близокъ... я изнемогаю!.. Если дочь моя не погибла, сыщи ее... отнеси ей мое грѣшное благословеніе... Я чувствую, свѣтильникъ жизни моей угасаетъ... Ахъ, еслибъ я могъ, какъ православный, умереть смертью христіанина!.. Еслибъ Господь сподобилъ меня... Нѣтъ, нѣтъ!.. Достоинъ ли убійца и злодѣй прикоснуться нечистыми

устами... О, ангелъ утѣшитель мой! Митя... молись о кающемся грѣшникѣ!..

Вдругъ кто-то постучался у окна.

— Кто тутъ?—спросилъ Митя.

— Священникъ изъ села Никольскаго,—отвѣчалъ незнакомый голосъ.

— Священникъ!—вскричалъ юродивый.

— Да, добрый человѣкъ! Я ѣду съ требою къ умирающему, да заплутался; не выведешь ли меня на большую дорогу?

— Слышишь ли, Тимоѳей Ѳедоровичъ? Сомнѣвайся еще въ милосердіи Божіемъ! Войди, батюшка; здѣсь также есть умирающій.

— Митя,—вскричалъ Кручина,— приподыми меня, пособи мнѣ встать... Нѣтъ... оставь меня... я чувствую въ себѣ довольно силы...

Бояринъ приподнялся, лицо его покрылось живымъ румянцемъ, его жадные взоры, устремленные на дверь хижины, горѣли нетерпѣніемъ... Священникъ вошелъ, и черезъ нѣсколько минутъ на оживившемся лицѣ примиреннаго съ небесами изобразилось кроткое веселіе и спокойствіе праведника: Господь допустилъ его произнести молитву: «Днесь, Сыне Божій, причастника мя пріими»! Онъ соединился со своимъ Искупителемъ. И когда глаза его закрылись навѣки, Митя, почтивъ прахъ его послѣднимъ цѣлованіемъ, сказалъ тихимъ голосомъ:

— Прости, Тимоѳей Ѳедоровичъ! Веселись въ горнихъ селеніяхъ, избранный для прославленія неизреченнаго милосердія Божія! Ты жилъ какъ злодѣй и кончилъ жизнь какъ праведникъ... Блаженна часть твоя: надъ тобою совершилась великая тайна искупленія!..

VIII.

Въ первый день рѣшительный битвы русскихъ съ гетманомъ Хоткевичемъ, то-есть 22-го августа 1612 года, около полудня, въ бывшей Стрѣлецкой слободѣ, гдѣ нынѣ Замоскворѣчье, близъ самаго Крымскаго брода, стояли дружины князя Трубецкого, составленныя по большей части изъ буйныхъ казаковъ, пришедшихъ къ Москвѣ не для защиты отечества, но для грабежа и добычи [5]). Съ перваго

взгляда на эти разбросанныя безъ всякаго порядка по берегу Москвы-рѣки толпы пѣшихъ и конныхъ ратниковъ, можно было догадаться, что духъ мятежа и своевольства царствовалъ въ рядахъ сего необузданнаго и едва знающаго подчиненность войска. Во многихъ мѣстахъ раздавались пѣсни и громкія восклицанія, и даже шагахъ въ двадцати отъ ставки главнаго своего воеводы, князя Трубецкого, человѣкъ пятьдесятъ казаковъ, расположась покойно вокругъ пылающаго костра и попивая въ круговую, шумѣли и кричали во все горло, осыпая ругательствами нижегородское ополченіе, пришедшее съ княземъ Пожарскимъ. При появленіи старшинъ, никто не трогался съ мѣста: ни одинъ казакъ не приподымалъ своей шапки, и даже нерѣдко грубыя насмѣшки и обидныя прозванія раздавались вслѣдъ за проходящими начальниками, которыхъ равнодушіе доказывало, что они давно уже привыкли къ такому своевольству. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ этого войска стояли особо человѣкъ пятьсотъ всадниковъ, въ числѣ которыхъ замѣтны были также казаки; но порядокъ и тишина, ими наблюдаемые, и примѣтное уваженіе къ старшинамъ, которые находились при свохъ мѣстахъ въ безпрестанной готовности къ сраженію, все удостовѣряло, что этотъ небольшой отрядъ не принадлежалъ къ войску князя Трубецкого. Впереди, на небольшомъ земляномъ возвышеніи, съ котораго можно было слѣдовать взоромъ за изгибами Москвы-рѣки, обтекающей Воробьевы горы, стоялъ начальникъ этой отдѣльной дружины. Казалось, все вниманіе его было обращено къ сторонѣ Ново-Дѣвичьяго монастыря, вокругъ котораго и по всему пространству Лужниковъ, разсыпаны были палатки и шатры многочисленной рати польской. Шагахъ въ десяти позади его разговаривали вполголоса давнишніе знакомцы наши: Кирша и Алексѣй. Первый смотрѣлъ также съ большимъ вниманіемъ въ ту сторону, гдѣ расположено было непріятельское войско.

— Ну, что,—спросилъ Алексѣй:—выходятъ ли они изъ лагеря?

— Кажется, нѣтъ,—отвѣчалъ Кирша.—Видно, еще князь Пожарскій не двинулся отъ Арбатскихъ воротъ.

— А скажи, пожалуйста, любезный: не знаешь ли, зачѣмъ онъ прислалъ васъ сюда съ моимъ господиномъ?

— Князь Трубецкой просилъ у него подмоги, чтобъ ударить въ поляковъ, когда начнется сраженіе.

— Да развѣ у него мало войска? Посмотри-ка, видимо-невидимо! Однихъ казаковъ, почитай, столько же, сколько насъ всѣхъ у князя Пожарскаго—и пѣшихъ, конныхъ.

— Эхъ, братъ Алексѣй: и много, да чортъ ли въ нихъ! Вишь, какая вольница! Мы съ часу-на-часъ ждемъ драки, а они себѣ и въ усъ не дуютъ! Далъ бы этимъ озорникамъ въ воеводы пана Лисовскаго, такъ онъ бы ихъ повернулъ по своему; у него, бывало, расправа короткая: ладно, такъ ладно, а не такъ, такъ пулю въ лобъ!.. Эва, слышишь, какъ покрикиваютъ подлѣ самаго шатра княжескаго, какъ будто бъ имъ чортъ не братъ! Небось, у Лисовскаго не стали бъ этакъ горланить. Бывало, какъ закрутитъ усы, да гаркнетъ, такъ во всемъ лагерѣ услышишь, какъ муха пролетитъ... Постой-ка, братъ... постой! Никакъ, поляки зашевелились... Чу, пушка... другая!.. Пошла потѣха!

Вся окрестность дрогнула. Со стороны Арбатскихъ воротъ, какъ отдаленный громъ, пронесся глухой ропотъ по воздуху: двинулись пѣхотныя дружины нижегородскія, промчалась конница, бой закипѣлъ и, черезъ нѣсколько минутъ, вся окружность Ново-Дѣвичьяго монастыря покрылась густыми облаками дыма.

— Эхъ, еслибъ поскорѣй дошла до насъ очередь!—вскричалъ Кирша... Такъ руки и зудятъ!..

— Эка трескотня!..—сказалъ Алексѣй.—Ухъ, какъ грянули изъ пушекъ! Да это никакъ съ нашей стороны?

— Съ нашей, съ нашей!.. — прервалъ Кирша. — Вотъ такъ!.. Знатно, ребята, знатно! Катай ихъ, еретиковъ!

Весь отрядъ, подъ начальствомъ Милославскаго, котораго, вѣроятно, читатели наши узнали уже въ начальникѣ отдѣльнаго отряда, горѣлъ нетерпѣніемъ вступить въ бой съ непріятелемъ; но въ дружинахъ князя Трубецкого не замѣтно было никакого движенія. Онъ самъ не показывался изъ своей ставки; и хотя сраженіе на Дѣвичьемъ полѣ продолжалось уже болѣе двухъ часовъ и ежеминутно становилось жарче, но во всемъ войскѣ князя Трубецкого не замѣтно было никакихъ приготовленій къ бою, все оставалось попрежнему: одни отдыхали, другіе веселились, и только нѣсколько сотъ казаковъ, взобравшись изъ одного любопытства на кровли домовъ, смотрѣли, какъ на потѣшное зрѣлище, на кровопролитный бой, отъ послѣдствій котораго зависѣла участь не только Москвы, но, можетъ быть, и всего Царства Русскаго.

Едва скрывая свое негодованіе, Кирша подошелъ къ одной толпѣ, которая стояла далѣе другихъ отъ шатра главнаго воеводы.

— Что, товарищи, — сказалъ онъ, — не пора ли и вамъ взнуздать коней?

— Зачѣмъ?—спросилъ одинъ казакъ.

— Какъ зачѣмъ? Чай, нашимъ становится жутко; вотъ ужъ часа три, какъ они бьются съ поляками.

— Такъ что жъ?.. На здоровье! Пусть себѣ забавляются! — прервалъ другой казакъ. — Богаты пришли изъ Ярославля, отстоятся и сами отъ гетмана!

— Спѣсивы больно!—подхватилъ одинъ урядникъ.—Не пошли къ намъ въ таборы, такъ пусть теперь одни и справляются съ ляхами!

— Они не хотѣли съ нами знаться, — промолвилъ первый казакъ, — такъ и мы ихъ знать не хотимъ. Ну-ка, Терешка, запѣвай плясовую!

Полупьяный казакъ затянулъ пѣсню, и вся толпа гаркнула вслѣдъ за нимъ хоромъ. Милославскій подошелъ къ ставкѣ князя Трубецкого.

— Не пора ли намъ?—сказалъ онъ казацкому старшинѣ, который стоялъ у дверей шатра.

— Какъ придетъ время, такъ вамъ прикажутъ,—отвѣчалъ хладнокровно старшина.

— Нельзя ли мнѣ поговорить съ княземъ Димитріемъ Тимоѳеевичемъ?

— Нѣтъ, онъ никого не велѣлъ къ себѣ пускать.

Вдругъ подскакалъ къ шатру покрытый пылью и окровавленный всадникъ; спрыгнувъ съ коня, онъ спросилъ торопливо:

— Гдѣ князь Димитрій Тимоѳеевичъ Трубецкой?

— На что тебѣ?—спросилъ старшина.

— Я присланъ отъ князя Пожарскаго: поляки начинаютъ насъ одолѣвать.

— Неужто въ самомъ дѣлѣ?—прервалъ съ насмѣшливою улыбкою старшина.

— Къ нимъ прибываетъ безпрестанно свѣжее войско, а мы все одни; и еслибъ князь Димитрій Михайловичъ не приказывалъ всѣмъ коннымъ спѣшиться, то насъ давно бы сбили съ поля. Онъ проситъ подмоги.

— И, полно, братъ, одни отгрызетесь! Да постой, куда ты?

— Къ вашему воеводѣ.

— Не велѣно пускать! Съ Богомъ, убирайся-ка, откуда пріѣхалъ.

— Что жъ мнѣ сказать князю Димитрію Михайловичу?

— Что мы желаемъ ему справиться съ поляками, а сами будемъ драться тогда, когда до насъ дойдетъ очередь.

— Нѣтъ,—вскричалъ Милославскій,—это уже превосходитъ все терпѣніе! Если вы не боитесь Бога и хотите изъ личной вражды и злобы губить наше отечество, то я съ моей дружиной не останусь здѣсь.

— Потише, молодецъ, не горячись! Ты здѣсь не старшій воевода. И какъ бы ты смѣлъ, безъ приказа князя Димитрія Тимоѳеевича, идти на бой?

— А вотъ увидишь! — сказалъ Милославскій, подходя къ своему отряду.

— На коня, товарищи!

— Именемъ главнаго воеводы, князя Трубецкого, приказываю тебѣ не трогаться съ мѣста!..—сказалъ старшина, подбѣжавъ къ Юрію, который садился на лошадь.

— Я служу не ему, а отечеству!—отвѣчалъ Юрій, выѣзжая впередъ.

— Стойте!—вскричалъ старшина, а не то я велю остановить васъ силою.

— Попытайся, — сказалъ Юрій, взглянувъ съ презрѣніемъ на старшину.—Живѣй, ребята!—продолжалъ онъ.—Сабли вонъ!.. Съ Богомъ!.. Впередъ!..

Въ полминуты отрядъ Милославскаго переправился черезъ Москву-рѣку и при громкихъ восклицаніяхъ: «умремъ за вѣру православную и святую Русь»!—помчался на мѣсто сраженія.

Изъ всей дружины Милославскаго остался на другой сторонѣ рѣки одинъ только казакъ, и читатели едва ли отгадаютъ, что этотъ предатель былъ нашъ старинный знакомецъ Кирша. Но честный и храбрый запорожецъ не для измѣны отсталъ отъ своихъ. Онъ замѣтилъ, что рѣшительный поступокъ Милославскаго сильно подѣйствовалъ на многихъ казаковъ изъ войска князя Трубецкого, нѣкоторые даже вслухъ кричали, что стыдно передъ людьми и грѣшно передъ Богомъ выдавать своихъ единовѣрцевъ. Четверо атамановъ казацкихъ: Ѳилатъ Межаковъ, Аѳанасій Коломна, Дружина Романовъ и Марко Козловъ, казалось, болѣе другихъ досадовали на свое бездѣйствіе, и когда Кирша подошелъ

къ нимъ, то Аѳанасій Коломна сказалъ ему съ негодованіемъ:

— Не совѣстно ли тебѣ отставать отъ своихъ?

— Нѣтъ, господа старшины, — отвѣчалъ Кирша: — мнѣ совѣстно, да только не за себя, а за васъ.

— Ну, тебѣ ли говорить? — вскричалъ Козловъ. — Бѣглецъ, — покинулъ своихъ товарищей!..

— Да я и другихъ казаковъ уговаривалъ здѣсь остаться. Какъ намъ глаза показать передъ войскомъ князя Пожарскаго? Вѣдь мы такіе же казаки, какъ вы, такъ не радостно будетъ слушать, какъ православные станутъ при насъ всѣхъ казаковъ называть измѣнниками.

— Измѣнниками! — вскричалъ Дружина Романовъ.

— А какъ же,—продолжалъ Кирша:—развѣ мы не измѣнники? Наши братья, такіе же русскіе, какъ мы, льютъ кровь свою, а мы здѣсь стоимъ—поджавши руки... По мнѣ, ужъ честнѣе быть за одно съ ляхами! А то что мы: ни то ни се—хуже бабъ! Тѣ хоть Бога молятъ за своихъ, а мы что? Эхъ, товарищи, видитъ Богъ, мы этого сраму вѣкъ не переживемъ!

— А что вы думаете, вѣдь онъ правду говоритъ, ребята,—сказалъ Межаковъ:—гдѣ слыхано выдавать своихъ!

— Вся бѣда оттого, что наши воеводы повздорили между собою, — прибавилъ Дружина Романовъ.

— Да пусть ихъ ссорятся,—закричалъ Марко Козловъ:— намъ какое до этого дѣло! Кто какъ хочетъ, а я съ моимъ полкомъ иду. Гей, батуринскіе, на коня!

— И мы также идемъ!—вскричали Коломна, Межаковъ и Романовъ.

Казаки столпились вокругъ своихъ начальниковъ; но большая часть изъ нихъ явно показывала свою ненависть къ нижегородцамъ, и многіе рѣшительно объявили, что не станутъ драться съ гетманомъ. Атаманы, готовые идти на помощь къ князю Пожарскому, начинали уже колебаться, какъ вдругъ одинъ изъ казаковъ, который съ кровли высокой избы смотрѣлъ на сраженіе, закричалъ:

— Ай-да нижегородцы: попятили ляховъ!.. Глядите-ка: поляки бѣгутъ!

— Бѣгутъ?.. — вскричалъ Кирша.—Такъ вамъ и дѣлать нечего. Прощайте, ребята, я одинъ поѣду! Ну, знатная же будетъ пожива нижегородцамъ! Говорятъ, въ польскомъ станѣ золота и серебра хоть возами вози!

— Что жъ мы зѣваемъ, ребята?—заговорили межъ собой казаки.—На коней!..

— На коней!—повторили тысячи голосовъ.

— Живѣй, добрые молодцы, живѣй; садись!—закричали атаманы.

Изъ ставки начальника прибѣжалъ было съ приказаніями завоеводчикъ *); но атаманы отвѣчали въ одинъ голосъ:

— Не слушаемся, идемъ помогать нижегородцамъ! Ради нелюбви вашей Московскому государству и ратнымъ людямъ пагуба становится.

И не слушая угрозъ присланнаго чиновника, переправились со своими казаками за Москву-рѣку и поскакали, въ сопровожденіи Кирши, на Дѣвичье поле, гдѣ нѣсколько уже минутъ кровопролитный бой кипѣлъ сильнѣе прежняго.

Между тѣмъ отрядъ Юрія, проѣхавъ берегомъ Москвы-рѣки, ударилъ съ боку на непріятеля, который начиналъ уже быстро подвигаться впередъ, несмотря на отчаянное сопротивленіе князя Пожарского. Какъ ангелъ-истребитель, летѣлъ передъ своимъ отрядомъ Юрій Милославскій; въ нѣсколько минутъ онъ смялъ, втопталъ въ рѣку, разсѣялъ совершенно первый конный полкъ, который встрѣтилъ его дружину позади Ново-Дѣвичьяго монастыря. Пролить всю кровь за отечество, не выйти живому изъ сраженія — вотъ все, чего желалъ этотъ несчастный юноша. Врываясь, какъ бурный потокъ, въ самыя густыя толпы польскихъ гусаръ, онъ бросался на ихъ мечи, устилалъ свой путь мертвыми тѣлами и, невидимо хранимый десницею Всевышняго, оставался невредимъ. Отборная его дружина, почти вся составленная изъ стрѣльцовъ московскихъ, не уступала ему въ мужествѣ. Опрокинувъ еще нѣсколько пѣхотныхъ региментовъ, они врѣзались въ самую средину сторожевыхъ полковъ непріятельскихъ. Отъ орлинаго взора князя Пожарскаго не укрылось замѣшательство, въ какое приведены были поляки отъ этого неожиданнаго нападенія; онъ двинулъ впередъ все войско... Поляки дрогнули, побѣжали; но, соединясь со сторожевыми полками своими, возобновили снова сраженіе на самомъ берегу Москвы-рѣки. Положеніе отряда Милославскаго, изъ котораго не осталось уже и третьей доли, становилось часъ-отъ-часу опаснѣе; окруженный со

*) Званіе, равное нынѣшнему генералъ-адъютанту.

всѣхъ сторонъ, стиснутый между многочисленныхъ полковъ непріятельскихъ, онъ продолжалъ биться съ ожесточеніемъ, нѣсколько разъ пробивался грудью впередъ. Наконецъ, свѣжая, еще не бывшая въ дѣлѣ непріятельская конница втѣснилась въ сжатые ряды этой горсти безстрашныхъ воиновъ, разорвала ихъ, и каждый стрѣлецъ долженъ былъ драться поодиночкѣ съ непріятелемъ, въ десять разъ его сильнѣйшимъ. Этотъ неравный бой не могъ продолжаться долго. Въ ту самую минуту, какъ Милославскій, подлѣ котораго бились съ отчаяніемъ Алексѣй и человѣкъ пять стрѣльцовъ, упалъ безъ чувствъ отъ сильнаго сабельнаго удара, раздался дикій крикъ казаковъ, которые, подъ командою атамановъ, подоспѣли наконецъ на помощь къ Пожарскому. Въ одно мгновеніе опрокинутые поляки разсыпались по полю, и Кирша, съ сотнею удалыхъ наѣздниковъ, гоня передъ собой бѣгущаго непріятеля, очутился подлѣ того мѣста, гдѣ, плавая въ крови своей и окруженный трупами враговъ, лежалъ безъ чувствъ Юрій Милославскій. Запорожецъ соскочилъ съ коня, при помощи Алексѣя положилъ Юрія на лошадь, вывезъ изъ тѣсноты и, доѣхавъ до Арбатскихъ воротъ, внесъ въ одинъ мѣщанскій домъ, который менѣе другихъ показался ему разореннымъ. Оставивъ съ нимъ Алексѣя, Кирша возвратился на поле сраженія; но оно было уже совсѣмъ очищено отъ непріятеля. Пришедшіе на помощь казаки князя Трубецкого рѣшили участь этого дня: ихъ неожиданное нападеніе разстроило поляковъ, и гетманъ Хоткѣвичъ, отступя въ безпорядкѣ за Москву-рѣку, остановился у Поклонной горы.

Несмотря на претерпѣнное непріятелемъ пораженіе, онъ успѣлъ ночью на 23-е число, при помощи измѣнника Григорія Орлова, провести въ Кремль шестьсотъ человѣкъ гайдуковъ. Усиленный этимъ отрядомъ, крѣпостной гарнизонъ сдѣлалъ чѣмъ свѣтъ вылазку и взялъ за Москвой-рѣкой небольшой окопъ, близъ церкви св. Георгія. Желая воспользоваться этою удачею, гетманъ Хоткѣвичъ, зайдя со стороны Донскаго монастыря, напалъ на конницу князя Трубецкаго, которая, не выдержавъ перваго натиска, дала хребетъ и смѣшала въ бѣгствѣ своемъ конные полки князя Пожарскаго. Пѣхотныя дружины нижегородскія остановили однакоже стремленіе непріятеля: упорный бой продолжался до шестаго часа по-полудни. Тщетно Пожарскій требовалъ помощи отъ князя Трубецкаго: онъ отступилъ въ свои

укрѣпленные заборы, близъ Крымскаго брода, не принималъ никакого участія въ сраженіи, и нижегородское ополченіе должно было выдерживать одно весь натискъ многочисленнаго непріятеля. Наконецъ, непреодолимое мужество этихъ вѣрныхъ сыновъ Россіи восторжествовало надъ множествомъ враговъ: гетманъ принужденъ былъ отступить. Казаки Трубецкаго, увидя бѣгущаго непріятеля, присоединились было сначала къ ополченію князя Пожарскаго; но въ то самое время, когда рѣшительная побѣда готова была уже увѣнчать усилія русскаго войска, казаки снова отступили и, осыпая ругательствами нижегородцевъ, побѣжали назадъ въ свой укрѣпленный лагерь. Это предательство измѣнило совершенно видъ сраженія: поляки ободрились, русскіе дрогнули, и князь Пожарскій, гнавшій уже непріятеля, увидѣлъ съ ужасомъ, что войско его, утомленное безпрерывнымъ боемъ и разстроенное измѣною казаковъ, едва удерживало за собою поле сраженія. Предвѣстники побѣды, радостные крики раздавались въ рядахъ вражескихъ; отчаяніе и робость изображались на усталыхъ лицахъ воиновъ нижегородскихъ... Гибель войска русскаго, а вмѣстѣ съ нимъ и паденіе Россіи, казались уже неизбѣжными. Въ эту рѣшительную минуту, вдохновенный свыше, знаменитый Авраамій Палицынъ прибѣжалъ въ станъ казаковъ князя Трубецкаго, умоляя ихъ со слезами подать помощь погибающимъ братьямъ. Исполненныя пламенной любви къ отечеству слова его потрясли наконецъ закоснѣлыя въ буйствѣ и нечестіи сердца этихъ грубыхъ воиновъ. Обѣщая однимъ нетлѣнную награду на небесахъ, предлагая другимъ всю казну монастырскую, онъ заклиналъ всѣхъ именемъ Божіимъ не выдавать отечества и спѣшить на помощь къ князю Пожарскому. Увлеченные сильнымъ чувствомъ и неизъяснимымъ краснорѣчіемъ того безсмертнаго старца, всѣ казаки возстали, двинулись впередъ и, повторяя имя святого Сергія, грудью ударили на поляковъ. Въ то же время гражданинъ Мининъ, съ тремя отборными дворянскими дружинами, обойдя въ тылъ сильному непріятельскому отряду, расположенному за Москвой-рѣкой, истребилъ его совершенно. Смятеніе и наконецъ бѣгство непріятеля сдѣлалось всеобщимъ. Укрѣпленный лагерь, артиллерія, весь обозъ достались побѣдителямъ, и гетманъ Хоткѣвичъ, потерявъ почти половину своего войска, на другой день поутру, то есть 25-го числа августа, бѣжалъ со стыдомъ отъ Москвы.

Оставшіеся поляки заперлись въ Кремлѣ и, вскорѣ по взятіи нашими войсками Китай-города, окруженные со всѣхъ сторонъ, должны бы были сдаться, еслибъ несогласія между главными начальниками и явная нелюбовь одного войска къ другому не мѣшали осаждающимъ дѣйствовать общими силами. Уже близко двухъ мѣсяцевъ продолжалась осада Кремля; наконецъ поляки, изнуренные голодомъ и доведенные, по словамъ лѣтописцевъ, до ужасной необходимости пожирать другъ друга, рѣшились сдаться военноплѣнными.

Но намъ пора уже возвратиться къ герою нашей повѣсти. По взятіи Китай-города и окружающихъ его предмѣстій, раненый Милославскій переѣхалъ, по приглашенію князя Пожарскаго, въ собственный домъ его, на Лубянку *). Юрій начиналъ уже оправляться, но онъ чувствовалъ себя столь слабымъ, что не смѣлъ еще выходить изъ дому. Въ пылу сраженія и потомъ во время тяжкой болѣзни, онъ, казалось, забылъ о своемъ положеніи; но когда тѣлесная болѣзнь его миновалась, то сердечный недугъ съ новою силою овладѣлъ его душою. Иногда посѣщалъ его князь Пожарскій, изрѣдка Авраамій Палицынъ и князь Черкасскій; но безотлучно находились при немъ добрый его служитель и вѣрный Кирша, которому удавалось иногда, веселыми своими разсказами, разсѣявать на нѣсколько минутъ мрачныя мысли и глубокое уныніе, овладѣвшія душою несчастнаго юноши.

Однимъ вечеромъ Кирша, войдя поспѣшно въ комнату больнаго закричалъ:

— Добрыя вѣсти, Юрій Дмитричъ, добрыя вѣсти!

— Какія вѣсти?—спросилъ Милославскій.

— Завтра мы будемъ пѣть благодарственный молебенъ въ Успенскомъ соборѣ.

— Поэтому поляки сдаются?

— Видно, что такъ. А надобно имъ честь отдать постояли за себя! Кабы имъ было что перекусить, не стали бы просить милости; да голодомъ то мы ихъ доѣхали!

— И ты точно знаешь, что мы завтра входимъ въ Кремль?

— Говорятъ такъ; поляки, какъ слышно, просятъ только

---

*) Домъ князя Пожарскаго находился противъ церкви Введенія Божіей Матери, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ домъ 3-й гимназіи.

о томъ, чтобъ имъ сдаться нашему воеводѣ, князю Пожарскому, а не другому кому. Видно и они ужъ знаютъ, каковы казаки Трубецкаго. Посмотрѣлъ бы ты, Юрій Дмитричъ, когда выпустили изъ Кремля на нашу сторону боярскихъ женъ, которыя были въ полону у поляковъ, какой бунтъ подняли эти разбойники! И какъ ты думаешь, за что?... За то, что имъ не дали грабить русскихъ боярынь!.. Хороши защитники отечества!... Но вотъ никакъ отецъ Авраамій идетъ тебя навѣстить... Такъ и есть. Онъ лучше тебѣ разскажетъ обо всемъ, бояринъ.

Авраамій Палицынъ вошелъ къ Юрію и, благословя его, спросилъ, какъ онъ себя чувствуетъ.

— Все также, — отвѣчалъ Милославскій.

— Все также?—сказалъ старецъ, покачавъ съ неудовольствіемъ головою.—Кажется, давно бы пора тебѣ оправиться. Жаль, Юрій Дмитричъ, если ты еще такъ слабъ, что не можешь сидѣть на конѣ: мы завтра входимъ въ Кремль!

— Я ужъ слышалъ объ этомъ, отецъ Авраамій, и рѣшился, во чтобъ ни стало, войти въ Кремль съ вами.

— Но если твое здоровье требуетъ...

— Нѣтъ, эта радостная вѣсть оживила меня, и я начинаю чувствовать въ себѣ довольно силы...

— И такъ завтра, чѣмъ-свѣтъ...

— Ты увидишь меня на конѣ, передъ моимъ отрядомъ, отецъ Авраамій.

— Прощай, Юрій Дмитричъ! Я зашелъ только провѣдать тебя и не могу долго съ тобой оставаться. Завтрашній день мнѣ бы надобно ѣхать верстъ за пятьдесятъ для исполненія одной священной обязанности; но такъ какъ мы входимъ въ Кремль, то мнѣ нельзя отлучиться изъ Москвы, и я хочу послать сейчасъ гонца для увѣдомленія, что обрядъ, при которомъ присутствіе мое необходимо, не можетъ быть совершенъ завтра. Послѣ-завтра я буду свободенъ и успѣю еще исполнить то, чего отъ меня требуютъ, —промолвилъ Авраамій, вздохнувъ отъ глубины души.— Прощай, сынъ мой!—продолжалъ онъ.—Да укрѣпитъ Господь твои силы и да снидетъ на главу твою Его животворящая благодать!

IX.

Наконецъ, наступило 22-е число октября 1612 года—

день, достопамятный и незабвенный въ лѣтописяхъ нашего отечества. Вмѣстѣ съ восходомъ солнечнымъ, поляки вышли двумя толпами изъ Кремля. Эти несчастные, изнуренные голодомъ, походили болѣе на мертвецовъ, чѣмъ на живыхъ людей. Одна половина гарнизона, находившаяся подъ командою пана Будилы, вышла на сторону князя Пожарскаго, и встрѣчена была не ожесточеннымъ непріятелемъ, но человѣколюбивымъ войскомъ, которое поспѣшило накормить и успокоить, какъ братьевъ, тѣхъ самыхъ людей, коихъ наканунѣ называло своими врагами. Совсѣмъ другая участь постигла остальную часть гарнизона, вышедшую, подъ начальствомъ пана Струса, на сторону князя Трубецкаго: буйные казаки, для которыхъ не было ничего святого, перерѣзали большую часть плѣнныхъ поляковъ и ограбили остальныхъ. Это нарушеніе всѣхъ правъ народныхъ было, такъ сказать, предвѣстникомъ тѣхъ грабежей, убійствъ и пожаровъ, которыми, по окончаніи брани, ознаменовали слѣдъ свой неистовые казаки, разсѣясь, какъ стая хищныхъ звѣрей, по всей Россіи.

По выходѣ непріятеля изъ Кремля, войско князя Пожарскаго, предшествуюемое архимандритомъ Діонисіемъ, Авраміемъ Палицынымъ и многочисленнымъ духовенствомъ, вступило, Спасскими воротами, во внутренность этого древняго жилища православныхъ царей русскихъ. Впереди всей рати понизовской ѣхалъ верховный вождь, князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій; на величественномъ и вмѣстѣ кроткомъ челѣ сего знаменитаго мужа и въ его небесноголубыхъ очахъ, устремленныхъ на святые соборные храмы, сіяла неизъяснимая радость; по правую его руку, на лихомъ закубанскомъ конѣ, гарцовалъ удалой князь Дмитрій Мамстрюковичъ Черкасскій; съ лѣвой стороны ѣхали: князь Дмитрій Петровичъ Пожарскій-Лопата, бояринъ Мансуровъ, Образцовъ, гражданинъ Мининъ, Милославскій и прочіе начальники. Арсеній, епископъ Галасунскій, съ иконою Владимірской Божіей Матери, встрѣтилъ побѣдителя у самыхъ Спасскихъ воротъ. Вслѣдъ за войскомъ хлынули въ Кремль безчисленныя толпы народа; раздался громкій благовѣстъ; нижегородское ополченіе построилось вокругъ царскихъ чертоговъ; духовенство, начальники, именитые граждане взошли въ Успенскій соборъ и *русское* «Тебе Бога хвалимъ», оглася своды церковные, раздалось наконецъ въ стѣнахъ священнаго Кремля, столь долго служившаго верте-

помъ разбойничьимъ для враговъ иноплеменныхъ и для предателей собственной своей родины.

Выходя изъ Успенскаго собора, Милославскій повстрѣчался съ Мининымъ.

— Ну, вотъ видишь, бояринъ, — сказалъ знаменитый гражданинъ нижегородскій, я не пророкъ, а предсказаніе мое сбылось. Сердце въ насъ вѣщунъ, Юрій Дмитричъ! Прощаясь съ тобою въ Нижнемъ, я головой бы моей поручился, что увижу тебя опять на полѣ ратномъ, противъ общаго врага нашего, и не въ монашеской рясѣ, а съ мечемъ въ рукахъ. Когда ты прибылъ къ намъ въ станъ, то я напоминалъ тебѣ объ этомъ, да ты что-то мнѣ отвѣчалъ такъ чудно, бояринъ, что я вовсе не понялъ твоихъ рѣчей.

— Что жъ я отвѣчалъ тебѣ, Козьма Миничъ?

— Какъ теперь помню, ты сказалъ мнѣ, что мое пророчество сбылось только въ половину.

— И говорилъ истинную правду.

— Какъ такъ, бояринъ? Я что-то въ толкъ не беру: ты, кажется, одѣтъ не чернецомъ; а что твой мечъ въ ножнахъ не оставался, такъ этому я самъ былъ свидѣтелемъ. Правда, ты и теперь съ виду походишь на затворника... Да будь повеселѣе, бояринъ! Кажется, есть чему порадоваться: злодѣевъ не стало. Много пролито крови христіанской; да и то слава Богу, что наконецъ правда взяла свое! Грустно только видѣть, какъ поруганы и осквернены храмы Господни, да это также дѣло поправное; а вотъ что чудо, Юрій Дмитричъ: съ одними супостатами мы справились, какъ то справимся съ другими!

— Съ другими?...

— Ну, да! Посмотри, — продолжалъ Мининъ, — указывая на безпорядочныя толпы казаковъ князя Трубецкаго, которые не входили, а врывались, какъ непріятели, Троицкими и Боровицкими воротами, въ Кремль. Видишь ли, Юрій Дмитричъ, какъ бѣснуются эти разбойники? Ну, походитъ ли эта сволочь на православное и христолюбивое войско? Еслибъ они не боялись насъ, то давно бы бросились грабить чертоги царскіе. Посмотри-ка, словно волки рыщутъ вокругъ Грановитой палаты!

Въ самомъ дѣлѣ, своевольные казаки разсыпались по всему Кремлю, ломились толпами въ домы боярскіе и, казалось, выжидали только удобной минуты, чтобъ ворваться

въ царскія палаты и разграбить казну, оставленную поляками.

Между тѣмъ Юрій и гражданинъ Мининъ, продолжая разговаривать другъ съ другомъ, подошли нечувствительно къ церкви святаго Спаса на Бору. Въ ту самую минуту, какъ Милославскій поровнялся противъ церковныхъ дверей, густыя тучи заслонили восходящее солнце, раздался дикій крикъ казаковъ, которые, пользуясь тѣснотой и безпорядкомъ, ворвались наконецъ въ чертоги царскіе, и въ то же самое время, многочисленныя толпы покрытыхъ рубищемъ, гражданъ московскихъ, испуганныхъ буйствомъ этихъ грабителей, бѣжали укрыться по домамъ своимъ. Юрій невольно содрогнулся; въ его глазахъ наяву повторялось то, что онъ видѣлъ нѣкогда во снѣ, будучи гостемъ въ домѣ боярина Кручины. Мининъ поспѣшилъ назадъ на соборную площадь, приглашая Милославскаго идти съ нимъ вмѣстѣ; но онъ не слышалъ словъ его: какая то непреодолимая сила влекла его ко храму Спаса на Бору. Въ растерзанной душѣ его стали пробуждаться одно за другимъ тысячи грустныхъ воспоминаній. Нѣсколько минутъ онъ колебался; наконецъ, съ трепетомъ переступилъ церковный порогъ. Все было тихо внутри; дневной свѣтъ, проникая съ трудомъ сквозь узкія, едва замѣтныя окна, боролся съ вѣчнымъ сумракомъ, который царствовалъ подъ низкими и тяжелыми сводами этого древняго храма, пережившаго многія столѣтія. Ни одна свѣча не горѣла передъ иконами, и только налѣво, за низкою аркою, отражался вдоль стѣны тусклый свѣтъ лампады, которая теплилась надъ гробомъ святителя Стефана Пермскаго.

Кто опишетъ горестныя чувства Милославскаго, когда онъ вступилъ во внутренность храма, гдѣ въ первый разъ прелестная и невинная Анастасія, какъ ангелъ небесный, представилась его обвороженному взору? Ахъ, все прошедшее оживилось въ его воображеніи: онъ видѣлъ ее предъ собою, онъ слышалъ ея голосъ!... Несчастный юноша не устоялъ противъ сего жестокаго испытанія: онъ забылъ всю покорность волѣ Всевышняго; неизъяснимая тоска, безумное отчаяніе овладѣли его душею.

— Злополучный, — вскричалъ онъ, — для чего ты спѣшилъ погубить самого себя? Она твоя супруга, и ты не можешь, не долженъ называть ее своею... О, Анастасія, Анастасія!...

— Что ты, Юрій Дмитричъ? — сказалъ позади Милославскаго знакомый голосъ. Онъ обернулся и увидѣлъ подходящаго Авраамія.—Что съ тобою? — продолжалъ Палицынъ.—Ахъ, сынъ мой, ты для не молитвы взошелъ въ сей храмъ: эти блуждающіе взоры, это отчаяніе на обезображенномъ челѣ твоемъ... Нѣтъ, Юрій Дмитричъ, не такъ молятся христіане!

— Отецъ мой, — вскричалъ Юрій, — отецъ мой, спаси меня!... Въ душѣ моей весь адъ... всѣ мученія погибающаго грѣшника!

— Что ты говоришь, сынъ мой? Какое преступленіе тяготитъ твою совѣсть?

— Одна ужасная тайна!

— Тайна?... Для чего жъ ты скрывалъ ее отъ меня? Развѣ я не пастырь, не наставникъ, не другъ твой?

— Отецъ Авраамій, я... женатъ!

— Женатъ, — вскричалъ Палицынъ. — Онъ посмотрѣлъ молча на Юрія и повторилъ съ негодованіемъ:— женатъ! Для чего жъ ты обманулъ меня, несчастный? И ты дерзнулъ во храмѣ Божіемъ, предъ лицомъ Господа твоего, осквернить свои уста лукавствомъ и неправдою!... Ахъ, Юрій Дмитричъ, что ты сдѣлалъ!

— Нѣтъ, отецъ мой, я не обманулъ тебя: я не былъ женатъ, когда клялся посвятить себя безбрачной жизни; не помышлялъ нарушить этотъ обѣтъ, данный предъ гробомъ святаго угодника Божія! И могъ ли я думать, что на другой же день назову моею супругою дочь злѣйшаго врага моего, боярина Кручины-Шалонскаго?

Удивленіе сковало уста Авраамія Палицына... Но вдругъ на лицѣ его изобразилось живое состраданіе, онъ взялъ Милославскаго за руку и сказалъ тихимъ голосомъ:

— Успокойся, Юрій Дмитричъ! Я вижу, ты не совсѣмъ еще выздоровѣлъ.

— Ахъ, еслибъ это была правда, отецъ мой... еслибъ это былъ одинъ бредъ!... Такъ я открою тебѣ мою душу, выслушай меня!

Юрій разсказалъ все отцу Авраамію, и когда онъ кончилъ, то этотъ добродѣтельный старецъ, заключа его въ свои объятія, сказалъ сквозь слезы:

— Нѣтъ, Юрій Дмитричъ, ты не нарушилъ своего обѣта! Ты не клятвопреступникъ, точно также, какъ не самоубійца тотъ, кто гибнетъ, спасая своего ближняго!

— Но кто же я?...

— Супругъ Анастасіи. Ты обѣщался быть инокомъ, но обрядъ постриженія не былъ совершенъ надъ тобою, и, простой бѣглецъ, ты можешь, не оскорбляя Церкви, возвратиться снова въ міръ. Ты не свободенъ болѣе располагать собою: вся жизнь твоя принадлежитъ Анастасіи, этой несчастной сиротѣ, соединенной съ тобою неразрывными узами, освященными однимъ изъ великихъ таинствъ нашей православной церкви.

Не смѣя предаваться радости, не вѣря самому себѣ, Юрій сказалъ дрожащимъ голосомъ:

— Какъ, отецъ Авраамій, я могу еще надѣяться, что послѣ даннаго мною обѣта?...

— Московскіе святители разрѣшатъ тебя отъ онаго,— прервалъ Палицынъ.—Такъ, Юрій Дмитричъ, я вижу ясно перстъ Божій, указующій тебѣ путь, по коему ты долженъ слѣдовать. Всевышній помогъ намъ очистить Москву; но, побѣдивъ внѣшнихъ враговъ, мы не спасли еще отъ гибели наше отечество. Честолибивые бояре, крамольники, буйные казаки, всѣ соединенные теперь общимъ бѣдствіемъ, скоро возстанутъ другъ противъ друга и, какъ стая голодныхъ псовъ, начнутъ терзать собственнную свою родину. Никогда еще благочествиые и твердые въ любви своей къ отечеству бояре не были столь нужны для сиротствующей земли Русской. Ты пойдешь по стопамъ покойнаго твоего родителя, Юрій Дмитричъ! Ты будешь твердѣйшимъ оплотомъ отечества противъ ухищренія и злобы домашнихъ враговъ нашихъ! А что бы ты былъ, произнеся обѣтъ иночества? Отрекаясь міра, ты заключалъ еще въ душѣ своей любовь мірскую. Что сталось бы съ тобою, еслибъ ты поколебался въ своей вѣрѣ; еслибъ, искушаемый земными помыслами, ты предался отчаянію, и твой преступтый языкъ произнесъ бы хулу на самого себя, сталъ бы проклинать?... О, Юрій Дмитричъ, отъ одной мысли застываетъ кровь въ моихъ жилахъ!... Благодари Господа, что ты не произнесъ еще обѣта, котораго разрѣшить не въ силахъ вся власть человѣческая!

Съ безмолвнымъ восторгомъ слушалъ Милославскій утѣшительныя слова своего наставника.

— Безумный,—вскричалъ онъ наконецъ,—и я смѣлъ роптать на Промыслъ Божій... Я могу назвать Анастасію моею супругою; могу, не отягчая преступленіемъ моей совѣсти, прижать ее къ своему сердцу!...

— Да, бояринъ, пусть добродѣтельная супруга будетъ наградою за труды, понесенные тобою для отечества! Но гдѣ она теперь?...

— Въ Хотьковскомъ монастырѣ, въ которомъ игуменья родная ея тетка.

— Въ Хотьковскомъ монастырѣ?... Племянница игуменьи?... — Ахъ, Юрій Дмитричъ, для чего ты молчалъ? Еслибъ ты зналъ!... Но войдемъ, поклонимся гробу преподобнаго Стефана Пермскаго.

Юрій вошелъ въ сѣверный придѣлъ, а Палицынъ пріостановился, чтобъ взглянуть, какія должно было сдѣлать поправки въ главномъ иконостасѣ, съ котораго были содраны всѣ серебряныя украшенія. Милославскій подошелъ къ гробницѣ святителя и тутъ только замѣтилъ, что онъ и прежде былъ не одинъ въ церкви. Какой-то нищій стоялъ передъ гробницею; длинные и густые волосы, опускаясь въ безпорядкѣ съ поникшаго чела его, покрывали изможденное и блѣдное лицо, на коемъ ясно изображались всѣ признаки потухающей жизни. Услышавъ близкій шумъ, онъ повернулся лицомъ къ Милославскому, ласково протянулъ къ нему изсохшую свою руку и произнесъ слабымъ голосомъ:

— Здравствуй, Дмитричъ! Ужъ я ждалъ, ждалъ тебя!... Насилу ты пришелъ!

— Это ты, Митя! — сказалъ Юрій. — Ахъ, Боже мой, что съ тобой сдѣлалось? Бѣдняжка, какъ ты похудѣлъ!

— Домой сбираюсь, Дмитричъ!... Да и пора, голубчикъ, видитъ Богъ, пора! Помаялся, пошатался лѣтъ пятьдесять по чужой сторонѣ, будетъ съ меня!

— А гдѣ твоя родина? — спросилъ Юрій, не понимая истиннаго смысла словъ юродиваго.

— Гдѣ моя родина? Чай, тамъ же, гдѣ и твоя.

— Такъ поэтому близко отсюда?

— И близко и далеко, какъ пойдешь, голубчикъ.

— А, теперь я понимаю, — сказалъ Милославскій:—ты говоришь не о земномъ своемъ отечествѣ и хочешь сказать, что смерть твоя близка. Почему ты это думаешь?

— И радъ бы не думать, Дмитричъ, да думается... Вотъ бояринъ Шалонскій и гадать не гадалъ, а вдругъ отправился, и какъ же?... Прямехонько туда, куда дай Богъ попасть и мнѣ, и тебѣ, и всякому доброму человѣку.

— Что ты говоришь, Митя?

Кроткое небесное веселіе изобразилось на лицѣ юродиваго, глаза его наполнились слезами.

— Да, Юрій Дмитричъ! — сказалъ онъ прерывающимся отъ сильнаго чувства голосомъ.—Тамъ, въ горнихъ селеніяхъ, не скорбятъ уже о заблудшемъ сынѣ: онъ возвратился въ домъ Отца своего!

— Такъ онъ покаялся передъ смертію?...

— И Господь отверзъ ему свои объятія. Я былъ свидѣлемъ сего торжества милосердія и благости Божіей; я, презрѣнный, окаянный грѣшникъ, удостоился отнести дочери не тщетное, но святое благословеніе умирающаго родителя.

Митя замолчалъ и, сложа крестообразно руки, устремилъ къ небесамъ взоръ, исполненный любви, надежды и душевнаго умиленія. Помолчавъ нѣсколько времени, Юрій спросилъ робкимъ голосомъ:

— Ты видѣлъ ее?

— Да, Дмитричъ, видѣлъ. Я третьяго дня былъ въ Хотьковѣ.

— Ну, что?... Говори, Митя, здорова ли она?

— Слава Богу! Она мнѣ все разсказала... Бѣдная, горемычная сиротина! Постой-ка: у меня есть отъ нея посылочка... На, возьми.

— Что я вижу? Мой обручальный перстень.

— Да, Дмитричъ! Сегодня утромъ она обручится съ женихомъ получше насъ съ тобою.

— Милосердый Боже!... Итакъ, она...

— Успокойся, Юрій Дмитричъ, — сказалъ Палицынъ, который, подойдя къ Юрію, засталъ окончаніе этого разговора:—Анастасія не произнесетъ обѣта разстаться навсегда съ тобою! Я долженъ былъ сегодня постричь ее, и завтра поѣду въ Хотьковскую обитель, но не для того, чтобъ разлучить тебя съ супругою, а чтобъ привезти ее сюда и соединить васъ навѣки.

Юрій почти безъ чувствъ упалъ на грудь отца Авраамія, Митя утирая рукавомъ текущія изъ глазъ слезы, тихо склонился надъ гробомъ угодника Божія, и черезъ нѣсколько минутъ, когда Милославскій, уходя вмѣстѣ съ Палицынымъ изъ храма, подошли съ нимъ проститься Мити уже не было: онъ возвратился на свою родину!

Спустя недѣли три послѣ описаннаго нами приключенія, Кирша, прощаясь съ Алексѣемъ, который провожалъ его до городскихъ воротъ, сказалъ:

— Поклонись, братъ, еще разъ отъ меня твоему боярину. Вѣкъ не забуду его благодѣяній! По милости его я могу теперь завестись своимъ домикомъ и жить не хуже всякаго атамана.

— А на что тебѣ свой домъ? Вѣдь вы, запорожцы, живете всѣ вмѣстѣ, какъ старцы въ общинѣ.

— Да кто тебѣ сказалъ, что я поѣду жить въ Запорожскую сѣчь? Нѣтъ, любезный, какъ я посмотрѣлъ на твоего боярина и его супругу, такъ у меня прошла охота оставаться вѣкъ холостымъ запорожскимъ казакомъ! Я ѣду въ Батуринъ, заведусь также женою, и дай Богъ, чтобъ я хоть въ половину былъ такъ счастливъ, какъ твой бояринъ! Нечего сказать: помаялся онъ, сердечный, да и наградилъ же его Господь за терпѣнье! Прощай, Алексѣй, авось, Богъ приведетъ намъ еще когда-нибудь увидѣться!

Мы полагаемъ достаточнымъ упомянуть только слегка о послѣдствіяхъ народной войны 1612 года, ибо увѣрены, что большей части нашихъ читателей извѣстны всѣ историческія подробности этой любопытной эпохи *возрожденія* Россіи. Вскорѣ по взятіи Кремля, король польскій пытался снова завладѣть Москвою; но осада и отчаянная защита Волоколамска доказали ему, что онъ вторично не успѣетъ обольстить русскихъ. Простоявъ безъ всякой пользы подъ этимъ небольшимъ городомъ, онъ рѣшился не ходить далѣе и побѣжалъ со всѣмъ своимъ войскомъ назадъ въ Польшу. По совершенномъ освобожденіи отъ внѣшнихъ враговъ, Россія долго бѣдствовала отъ внутреннихъ мятежей и безпокойствъ; наконецъ, Господь умилосердился надъ несчастнымъ отечествомъ нашимъ: всѣ несогласія прекратились, общій гласъ народа наименовалъ царемъ русскимъ сына добродѣтельнаго Филарета, Михаила Ѳедоровича Романова, и въ 1613 году, 11-го числа іюля, этотъ юный царь, дѣдъ великаго Петра, возложилъ на главу свою вѣнецъ Мономаховъ. Утвердивъ князя Пожарскаго въ званіи думнаго боярина, онъ осыпалъ милостями и наградами всѣхъ, бравшихъ участіе въ великомъ дѣлѣ освобожденія Россіи. Старинные наши знакомцы: Замятня-Опалевъ и Лесута-Храпуновъ явились также ко двору: первый хотѣлъ было объявить свои права на засѣданіе въ царской Думѣ; но узнавъ, что простой мясникъ, Козьма Сухорукій, наименованъ

такимъ же, какъ онъ, думнымъ дворяниномъ, ускакалъ назадъ въ свои отчины, повторяя съ важностію любимое свое изреченіе: «Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ». Лесута-Храпуновъ, какъ человѣкъ придворный, снесъ терпѣливо эту обиду, нанесенную родовымъ дворянамъ; но когда, несмотря на всѣ его просьбы, ему, по званію стряпчаго съ ключемъ, не дозволили нести царскій платокъ и рукавицы, при обрядѣ коронованія, то онъ, забывъ все благоразуміе и осторожность, приличныя старому царедворцу, убѣжалъ изъ царскихъ палатъ, заперся одинъ въ своей комнатѣ и, наговоря шопотомъ много обидныхъ рѣчей насчетъ новаго правительства, уѣхалъ на другой день возвояси, разсказывать сосѣдямъ о блаженно памяти Царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, и о томъ, какъ онъ изволилъ жаловать своею царскою милостію ближняго своего стряпчаго Лесуту-Храпунова.

Наступилъ тридцатый годъ царствованія Михаила Ѳеодоровича Романова. Подъ кроткимъ и мудрымъ его правленіемъ Россія отдохнула отъ протекшихъ бѣдствій, и гордящіеся своимъ просвѣщеніемъ народы Западной Европы начинали уже съ примѣтнымъ безпокойствомъ посматривать на этого сѣвернаго исполина, которому не доставало только великаго Петра, чтобъ удивить вселенную своимъ могуществомъ и славою.

Въ одно весеннее утро, наканунѣ Троицына дня, по ростовской дорогѣ тянулись многочисленныя толпы богомольцевъ. Граждане московскіе, жители низовыхъ провинцій и даже обитатели благословленной Украины, всѣ спѣшили на храмовой праздникъ знаменитой Троицкой лавры. Внутри ограды монастырской, посреди толпящагося народа, мелькали высокія шапки бояръ русскихъ; именитые гости московскіе, съ женами и дѣтьми своими, переходили изъ храма въ храмъ, служили молебны, сыпали золотомъ и многоцѣнными вкладами умножали богатую казну монастырскую. Среди множества этихъ усердныхъ богомольцевъ отличались отъ всѣхъ, нестолько одеждою, сколько бодрымъ и воинственнымъ видомъ, украинскіе казаки, присланные съ богатыми дарами отъ гетмана малороссійскаго. Ихъ старшина, человѣкъ средняго роста, но повидимому, еще въ полной силѣ, обращалъ на себя болѣе другихъ общее вниманіе; онъ осматривалъ съ большимъ любопытствомъ

всѣ ближайшія окрестности монастырскія и показывалъ толпѣ, которая всюду за нимъ слѣдовала, тѣ мѣста, на которыхъ стояли нѣкогда войска пановъ Сапѣги и Лисовскаго.

— Здѣсь,—говорилъ—онъ, дѣлали поляки подкопъ; вонъ тамъ, въ этомъ оврагѣ, Лисовскій совсѣмъ было попался въ руки удалымъ служителямъ монастырскимъ. А здѣсь, противъ этой башни, молодецъ Селява, обрекши себя неминуемой смерти, перекрошилъ около десятка супостатовъ и умеръ, выкупая своею кровію погибшую душу родного брата, который передался полякамъ.

Въ числѣ любопытныхъ, которые окружали старшину, одинъ молодой боярин, видный и прекрасный собою, казалось, внимательнѣе всѣхъ слушалъ разсказы стараго воина. Онъ осыпалъ его вопросами, и когда старшина, увлеченный воспоминаніями прошедшихъ своихъ подвиговъ, отъ осады Троицкаго монастыря перешелъ къ знаменитой побѣдѣ князя Пожарскаго, одержанной подъ Москвою надъ войскомъ гетмана Хоткѣвича, то вниманіе молодого боярина удвоилось; лицо его пылало, а въ голубыхъ, кипящихъ мужествомъ и исполненныхъ жизни, глазахъ изобразились досада и нетерпѣніе безстрашнаго воина, когда онъ слушаетъ разсказъ о знаменитомъ боѣ, въ которомъ, къ несчастію, не могъ участвовать.

Служитель молодого боярина, сѣдой какъ лунь старикъ, не спускалъ также глазъ съ разскащика, который, обойдя кругомъ монастыря, вошелъ наконецъ въ ограду и сталъ разсматривать надгробные камни.

— Надъ кѣмъ поставленъ этотъ деревянный голубецъ?— спросилъ онъ у одного проходящаго старца.

— Тутъ похороненъ Борисъ Годуновъ,—отвѣчалъ хладнокровно инокъ.

— Годуновъ!...—повторилъ старшина, покачавъ головою.—Думалъ ли онъ, когда подъ Серпуховымъ осматривалъ свое безчисленное войско, что надъ нимъ поставятъ эту убогую деревянную часовню!...

Облокотясь на одинъ высокій нагробный камень, казацкій старшина продолжалъ смотрѣть задумчиво на этотъ краснорѣчивый памятникъ ничтожества величія земного, не замѣчая, что сѣдой служитель молодого боярина стоялъ попрежнему подлѣ него и, казалось, пожиралъ его глазами...

— Такъ,—вскричалъ наконецъ этотъ неотвязчивый старикъ:—это онъ!.. Кирша!

Старшина вздрогнулъ и, взглянувъ быстро на служителя, спросилъ, почему онъ его знаетъ?

— Ты ужъ не въ первый разъ не узнаешь меня,—отвѣчалъ старикъ.—И то сказать: вѣкъ пережить, не поле перейти! Когда ты знавалъ меня, я былъ еще дѣтина молодой, а теперь насилу ноги волочу, и не годы, пріятель, а горе сокрушило меня грѣшнаго.

— Да кто же ты?

— Алексѣй Бурнашъ.

— Какъ, служитель боярина Милославскаго?

— Что, братъ, не вѣрится?

— Нѣтъ, нѣтъ, я начинаю узнавать тебя... Здравствуй, пріятель!—продолжалъ Кирша, обнимая съ радостію Алексѣя.

Между тѣмъ, одинъ пожилой купецъ и съ нимъ молодой человѣкъ, повидимому, сынъ его, подошли къ надгробному камню, возлѣ котораго стоялъ Кирша, и стали разбирать надпись.

— Ну что, старый товарищъ,—спросилъ Кирша,—какъ поживаешь? Да скажи пожалуйста, кто этотъ молодой боринъ, вонъ тотъ, съ которымъ ты ходилъ и который меня такъ обо всемъ разспрашивалъ?

— Владиміръ Юрьевичъ Милославскій.

— Сынъ Юрія Дмитріевича?

— Да, сынъ его.

— Ну, молодецъ! Вотъ таковъ то былъ съ молоду его батюшка,—кровь съ молокомъ! А что онъ подѣлываетъ? Гдѣ онъ, здоровъ ли? Чай, устарѣлъ такъ же, какъ и ты?

Алексѣй взглянулъ печально на Киршу и не отвѣчалъ ни слова.

— Посмотри-ка, Ванюша, — сказалъ пожилой купецъ своему сыну:—оба въ одинъ день... видно, любили другъ друга.

— Да что жъ ты молчишь,—вскричалъ запорожецъ,—иль не слышалъ? Я спрашиваю тебя, гдѣ теперь Юрій Дмитричъ?

Въ эту самую минуту молодой купецъ наклонился и прочелъ тихимъ голосомъ: «*Лѣта 7130-го, октября въ десятый день, представися рабъ Божій боляринъ Юрій Милославскій и супруга его Анастасія*»...

КОНЕЦЪ.

ИСТОРИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАНІЯ.

Часть первая.

1) Вотъ что говоритъ очевидецъ, полякъ Маскевичъ: «Моей ротѣ досталось на часть два города: Суздаль и Кострома, въ 70-ти миляхъ отъ столицы. Мы тотчасъ разослали товарищей съ лагерною челядью, для собранія живности; но наши такъ были неумѣренны, что, не довольствуясь хорошимъ обхожденіемъ русскихъ, брали безъ разбора все, что имъ нравилось, такъ что у самаго знатнаго боярина отнимали насильно жену, или дочь...»

2) *Гостиную сотню* составляли богатѣйшіе купцы. Въ Новѣгородѣ они назывались именитыми людьми. Ихъ можно сравнить съ нынѣшними купцами первой гильдіи.

3) Московскіе жители цѣловали крестъ царевичу Владиславу въ 1610 году: слѣдовательно въ 1611 году знали уже объ этомъ не только близъ Нижняго Новагорода, да и въ самыхъ отдаленныхъ провинціяхъ царства Русскаго. Тушинскій воръ также убитъ въ 1610 году. Сочинитель винится въ сихъ анахронизмахъ.

4) Большая часть запорожскихъ казаковъ, получившихъ сіе названіе отъ днѣпровскихъ *пороговъ*, за которыми они поселились, была составлена изъ холостыхъ людей всѣхъ состояній. Женатые казаки имѣли въ разныхъ мѣстахъ и въ довольномъ разстояніи отъ главнаго ихъ мѣстопребыванія, извѣстнаго подъ именемъ Сѣчи, особые дома, называемые *зимовками*, въ которыхъ жили ихъ жены съ семействами; а въ самой Сѣчи не дозволялось жить ни одной женщинѣ.

5) Золотая монета иностранной чеканки почти вдвое больше червонца. Сочинитель розысканія о древности русскихъ монетъ полагаетъ, что *корабленниками* назывались у насъ бывшіе въ обращеніи англійскіе *нобели*.

6) За самое величайшее преступленіе почиталось у запорожскихъ казаковъ умышленное убійство своего товарища. Убійцу закапывали живого съ убитымъ. Рѣдко случалось, чтобъ сей законъ не исполнялся: одна отличная храбрость и любовь всѣхъ казаковъ могли иногда спасти отъ сей казни преступника. Воровъ наказывали также весьма строго, разумѣется, что воромъ считался только тотъ, кто укралъ что-нибудь у своего товарища, запорожскаго казака. Виновнаго привязывали на площади къ столбу, и въ теченіе трехъ дней, а иногда долѣе, онъ долженъ былъ сносить побои и ругательства всѣхъ проходящихъ. Уличеннаго вторично въ семъ преступленіи привязывали на нѣсколько времени къ столбу, а потомъ вѣшали.

7) *Стряпчіе* служили при Дворѣ; они смотрѣли за царскою *стряпнею*. Подъ именемъ *стряпни* разумѣли тогда мелкія принадлежности къ царскому одѣянію, какъ-то: шапку, рукавицы, платокъ, посохъ и проч. *стряпчіе съ ключемъ* хотя исправляли при Царѣ ту же должность, но знаніемъ своимъ равнялись съ думными дворянами и стояли выше комнатныхъ стольниковъ.

Степень *дѣтей боярскихъ*, по мнѣнію Миллера, была первою степенью дворянъ россійскихъ, въ чины еще неопредѣленныхъ. Имъ раздавались помѣстья и вмѣнялось въ обязанность: въ военное время быть готовыми на службу царскую, съ извѣстнымъ числомъ, на ихъ собственное иждивеніе, вооруженныхъ всадниковъ. Они стояли въ 8-й, т. е. въ послѣдней степени дворянъ тогдашняго времени.

Жильцы считались въ 7-й степени старинныхъ русскихъ чиновъ. По первоначальному своему назначенію, они должны были составлять охранное войско московское; но впослѣдствіи употреблялись и въ дальніе походы; главною же обязанностію было развозить царскія грамоты. Ихъ жаловали также помѣстьями, а за отличіе опредѣляли иногда воеводами въ небольшіе города.

Думные дворяне были членами Царской Думы, въ которой они засѣдали вмѣстѣ съ думными боярами окольничими.

Часть вторая.

1) Въ старину всѣ русскіе, безъ исключенія, спали послѣ обѣда. Московскіе жители, понося Лже-Димитрія, говорили, между прочимъ, что онъ, какъ еретикъ, не ходитъ въ баню и не отдыхаетъ послѣ обѣда.

2) Земледѣльцевъ и всѣхъ вообще, занимавшихся черною работою, называли въ старину *смердами*. *Бобыль*, по толкованію Татищева, есть слово татарское, означающее то же самое, что слово: неимущій. Бобылями называли крестьянъ, не имѣющихъ своей пашни; но многіе изъ нихъ подъ симъ названіемъ производили немаловажную торговлю. Прежде они не платили никакихъ податей и составляли самый низшій классъ народа русскаго.

3) «Мятежники, мордва, черемисы и Лже-дмитріевы шайки, ляхи, россіяне, съ воеводою княземъ Вяземскимъ, осаждали Нижній Новгородъ; вѣрные жители обрекли себя на смерть, простились съ женами и дѣтьми и единодушною вылазкою разбили осаждающихъ на-голову; взяли Вяземскаго и немедленно повѣсили, какъ измѣнника» (*Карамзинъ*, Исторія Государства Россійскаго. Томъ 12-й).

Часть третья.

1) Олеарій говоритъ въ своемъ путешествіи въ Россію, при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, что боярыни русскія ѣздили верхами и въ телѣгахъ, покрытыхъ алымъ сукномъ. И хотя Успенскій, въ своемъ опытѣ повѣствованій о древностяхъ русскихъ, полагаетъ, что *колымаги* (экипажъ, похожій на нынѣшнія кареты, но только безъ рессоръ) употреблялись при одномъ Дворѣ; но вѣроятно ли, чтобъ русскія боярыни пускались въ дальнія дороги верхомъ, или въ открытой телѣгѣ? И почему не предполагать, что крытыя телѣги съ гардинками, о коихъ въ другомъ мѣстѣ упоминаетъ Олеарій, не были ихъ дорожнымъ экипажемъ и не назывались

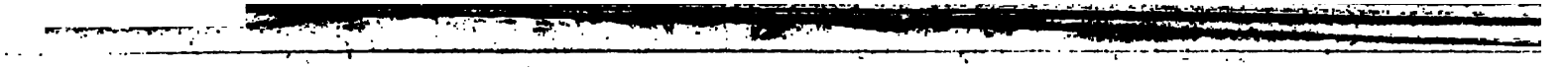
также колымагами, отъ которыхъ онѣ отличались одною только простотою отдѣлки?

2) Священникъ села Кудинова, отецъ Еремѣй, лицо не вымышленное, хотя о немъ и не упоминается въ лѣтописяхъ времени междуцарствія. Онъ, точно, былъ начальникомъ русскихъ *иеримасовъ* и замѣчателенъ потому уже, что священствовалъ 97 лѣтъ сряду. Бывъ рукоположенъ въ іерея въ 1600 году, въ царствованіе Бориса Ѳеодоровича Годунова, сдалъ свой приходъ сыну своему, Никитѣ Еремѣеву, въ 1697 году, въ царствованіе Императора Петра 1

3) Хотя Голохвастовъ былъ впослѣдствіи подозрѣваемъ въ измѣнѣ и единомысліи съ уличеннымъ предателемъ, казначеемъ монастырскимъ Іосифомъ Дѣвочкинымъ, но изъ лѣтописи Авраама Палицына видно, что онъ до конца осады оставался воеводою и раздѣлялъ по прежнему съ княземъ Долгоруковымъ начальство надъ войскомъ лавры; слѣдовательно, можно полагать, что подозрѣніе сіе оказалось неосновательнымъ.

4) По словамъ Олеарія, халдейцами назывались люди изъ самаго низкаго состоянія, кои, получивъ дозволеніе отъ патріарха наряжаться во время святокъ, бѣгали по улицамъ замаскированные и съ факелами въ рукахъ, дѣлали различныя буйства и безпорядки, останавливали проходящихъ и жгли бороды у тѣхъ, кои не хотѣли откупаться деньгами. Эти гаеры были у всѣхъ въ величайшемъ презрѣніи, и Олеарій увѣряетъ, что будто бы ихъ всякій разъ, по окончаніи святокъ, какъ вновь поступающихъ въ число православныхъ, крестили во Іорданѣ. Къ сему должно присовокупить, что въ наше время, въ нѣкоторыхъ провинціяхъ, крестьяне считаютъ должнымъ окунывать во Іорданѣ тѣхъ, кои о святкахъ наряжались.

5) Вотъ что говоритъ лѣтопись о казакахъ, бывшихъ въ войскѣ князя Трубецкаго: «Многое раззореніе христіаномъ твориху, и грабежи и убійства вездѣ содѣваху, и кто можетъ изрещи злое ,то насиліе ихъ, и сія бѣда послѣдняя бысть горше первыя (т. е. нашествія поляковъ), а смирити и унять ихъ невозможно, собралося бо казаковъ сихъ множество, и бысть мятежъ сей и насиліе по всей земли.



КУЗЬМА РОЩИНЪ

I.

Разбойникъ.

Говорятъ, что нѣтъ ничего прекраснѣе и разнообразнѣе уединенныхъ береговъ рѣки Свири, которая, соединяя Онежское озеро съ Ладогой, перерѣзываетъ поперекъ всю западную часть Олонецкой губерніи. Я не думаю, однакожъ, чтобы берега ея были живописнѣе нагорной стороны широкой Оки, особливо на пространствѣ тридцати или сорока верстъ въ окрестностяхъ одного уѣзднаго города, котораго названіе, безъ сомнѣнія, отгадаютъ читатели, если я скажу, что нѣкогда, съ обширнымъ своимъ округомъ, онъ составлялъ отдѣльное государство и былъ столицею царя, но только не православнаго. Лѣтъ восемьдесятъ тому назадъ, верстахъ въ восьми отъ этого прежде бывшаго престольнаго града, на высокой горѣ, которая почти отвѣсно опускается до самой Оки, стоялъ обширный господскій домъ вовсе не красивой наружности,—объ этомъ старики наши мало думали, — но сложенный на прочномъ кирпичномъ фундаментѣ, изъ толстыхъ сосновыхъ брусьевъ, съ дощатою плотною кровлею, съ огромными печами, съ маленькими окнами словомъ—домъ, построенный такъ, какъ строили въ старину свои дома богатые помѣщики, которые не знали англійскаго слова comfortable, но любили жить тепло и спокойно; не прорубали большихъ итальянскихъ оконъ, не имѣли понятія о цѣльныхъ стеклахъ, не украшали лѣпными барельефами своихъ деревянныхъ домовъ, но зато и не строили ихъ изъ лучинокъ; порѣже нашего кашляли и почаще оставляли дома въ наслѣдство своимъ внучатамъ.

Въ полуверстѣ отъ барскаго двора начинался, также по гористому берегу рѣки, длинный порядокъ крестьянскихъ избъ; онъ оканчивался большимъ лугомъ, посреди котораго

стояла обшитая тесомъ деревенская церковь; позади нея выстроены были бѣлыя избы для священника и всего причта. Деревенское кладбище было расположено поодаль отъ церкви, внизъ по крутому скату горы; но два или три надгробныхъ камня и нѣсколько деревянныхъ голубцовъ возвышались на самомъ церковномъ погостѣ. Тутъ было мѣсто вѣчнаго успокоенія дворянъ Ильменевыхъ, родовыхъ помѣщиковъ села Зыкова и прилежавшихъ къ нему двухъ деревень,—что все вмѣстѣ составляло душъ до восьми сотъ, и давало право Сергѣю Филипповичу Ильменеву, тогдашнему помѣщику Зыковской волости, полагать себя въ числѣ первыхъ дворянъ Ка.....ва уѣзда.

Въ одинъ ненастный вечеръ,—это было въ концѣ шестой недѣли Великаго поста,—Сергѣй Филипповичъ Ильменевъ, добрый старикъ лѣтъ шестидесяти, въ широкомъ калмыцкомъ тулупѣ и красныхъ сафьянныхъ сапожкахъ, сидѣлъ за небольшимъ дубовымъ столикомъ противъ своего сосѣда, мѣлкопомѣстнаго дворянина и пожилого вдовца, Ивана Тимоѳеевича Зарубкина; они играли въ шахматы. Въ одномъ углу комнаты супруга хозяина, въ бѣломъ пудремантѣ и преогромномъ накрахмаленномъ чепцѣ, вязала чулокъ; подлѣ нея, при свѣтѣ двухъ сальныхъ огарковъ, Машенька, миловидная дѣвушка лѣтъ семнадцати, единственная дочь Ильменевыхъ, вышивала въ пяльцахъ; позади нея, облокотясь на высокую спинку стула, стоялъ молодой и видный офицеръ въ драгунскомъ мундирѣ. Поодаль отъ нихъ, три краснощекія сѣнныя дѣвушки, съ длинными косами, въ мухояровыхъ кофтахъ, сидѣли за круглыми подушками и плели кружева; у дверей переминался съ ноги на ногу вооруженный свѣчными щипцами мальчикъ, въ байковомъ казакинѣ; а въ самомъ темномъ углу комнаты, прислонясь спиною къ большой изразцовой печи съ лежанкою, стоялъ человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, высокаго роста, съ окладистою русою бородою. По платью можно было его принять за богатаго мѣщанина или купца.

Если дѣйствительно наружныя формы и выраженіе лица служатъ вывѣскою душевныхъ нашихъ качествъ, то конечно лицо этого человѣка было исключеніемъ изъ общаго правила. Пріятная наружность, простодушная веселая улыбка и въ то же время пара сѣрыхъ глазъ, которые повременамъ сверкали изъ-подъ густыхъ бровей, какъ сверкаютъ глаза тигра, когда онъ крадется къ своей добычѣ,—все это

вмѣстѣ составляло такую чудную смѣсь добра и зла, что самъ краснорѣчивый Лафатеръ, который съ такимъ разнообразіемъ описалъ и разгадалъ тысячи двѣ человѣческихъ физіономій, задумался бы, взглянувъ на лицо этого купца. Казалось, онъ смотрѣлъ съ большимъ участіемъ на играющихъ въ шахматы; но лишь только замѣчалъ, что никто не обращаетъ на него вниманія, безпокойный и быстрый взоръ ого облеталъ всю комнату и вспыхивалъ, какъ порохъ, останавливаясь на небольшомъ желѣзномъ сундукѣ, который помѣщался въ переднемъ углу подъ образами.

— Какъ я погляжу на тебя, Владиміръ Ивановичъ,— сказала драгунскому офицеру хозяйка дома, не переставая вязать свой чулокъ,—такъ, видитъ Богъ, и вѣрить то не хочется, чтобъ такой бравый молодецъ былъ тотъ самый Володя, котораго я, десять лѣтъ тому назадъ, за уши драла! Да надолго ли ты намъ достался, батюшка?

— Я думаю, Варвара Дмитріевна,—отвѣчалъ офицеръ,— что нашъ полкъ прогоститъ у васъ до самой зимы. Моей ротѣ приказано заготовить фуражу на шесть мѣсяцевъ.

— А гдѣ ты, мой отецъ, квартируешь съ твоими солдатами?

— Я живу у батюшки, а рота моя стоитъ въ полуверстѣ отъ меня, въ большомъ экономическомъ селеніи... Какъ бишь его зовутъ?

— А, знаю, знаю! Село Воскресенское. Да это близехонько. Ахти-хти-хти!.. То-то горько будетъ твоему батюшкѣ, когда ему придется опять съ тобой разстаться!

— Да, авось, не разстанемся, матушка Варвара Дмитріевна, — сказалъ Зарубкинъ, подвинувъ впередъ одну пѣшку.—Я хочу взять его въ отставку; пора: послужилъ царю-государю,—будетъ съ него. А то, пожалуй, уѣдетъ опять куда-нибудь лѣтъ на десять, такъ некому будетъ меня похоронить. Легко вымолвить: десять лѣтъ мы не видались; а послѣдніе три года, какъ началась война съ пруссакомъ и угнали ихъ въ эту Нѣметчину, такъ и слуху объ немъ вовсе не было. Эхъ, матушка, матушка! Я ужъ на ладанъ дышу, плохъ сталъ; гдѣ мнѣ одному хозяйничать: то проглядишь, того не досмотришь...

— И, полно, Иванъ Тимоѳеичъ! Да ты еще такой хозяинъ, что и намъ бы не худо у тебя поучиться; мы только что концы съ концами сводимъ, а ты, батюшка, живешь не по нашему, и копѣечку зашибить умѣешь; съ каждымъ

годомъ становишься богаче: то купишь деревеньку, то при хватишь землицы. Да вотъ и у насъ почти двѣ пустоши сторговалъ! Откуда что берется. Года три тому назадъ, у тебя и двадцати душъ не было, а теперь, чай, подъ сотни идетъ?

— Слава Богу, матушка, найдемъ и побольше. Да въ томъ то и дѣло: чтобъ все это прахомъ не пошло, такъ надобно мнѣ помощника, а Володѣ моему помощницу. Не правда ли, ваша благородіе... а?.. Ну, что молчишь? Чай скажешь, что дочка моего сосѣда, Ѳаддея Карпыча Побирашкина, тебѣ не приглянулась?

— Да я ее только однажды и видѣлъ, батюшка,—отвѣчалъ офицеръ съ примѣтною досадою:—и вовсе не имѣю желанія увидаться съ нею въ другой разъ.

— Полно, полно, молодецъ! — продолжалъ Зарубкинъ, подвинувъ впередъ еще одну шашку.—А о чемъ же ты по ночамъ вздыхать изволишь? Вѣрите ль, матушка, съ того самаго часу, какъ онъ ее увидѣлъ, а это былъ тотъ день, какъ я въ первый разъ привезъ его къ вамъ, онъ вовсе не тотъ сталъ: все задумывается; люди добрые спятъ, а онъ бродитъ, какъ шальной, по лѣсу; не позовешь обѣдать, такъ самъ не пойдетъ; да и за обѣдомъ то ѣстъ, словно ребенокъ; вовсе хлѣба лишился! А кажется, всѣмъ здоровъ; и городской нашъ лѣкарь, Иванъ Ѳомичъ, то же говоритъ. Ну, что жъ это значитъ.

— Да, да, — сказала хозяйка, взглянувъ съ лукавою улыбкою на офицера; — по этимъ примѣтамъ и я начинаю думать... Что ты, Машенька, все нагибаешься?

— Ничего, маменька! — отвѣчала дѣвушка, не сводя глазъ съ своей работы: — клубокъ упалъ.

— Да развѣ дѣвка не могла поднять? Смотри, какъ ты покраснѣла: вся кровь въ лицо бросилась.

— Что, Сергѣй Филипповичъ, надумались ли, батюшка? — спросилъ Зарубкинъ хозяина, который нѣсколько уже разъ брался поперемѣнно то за ту, то за другую шашку.

— Эхъ, братецъ, не торопи! Разговаривай съ женою, а мнѣ думать не мѣшай!

— Ну что, матушка? — продолжалъ Зарубкинъ, обращаясь снова къ хозяйкѣ.—Вѣдь я, точно, правъ. Владиміръ у меня малый совѣстливый, стыдливый; отъ него правды, какъ отъ красной дѣвушки, не скоро добьешься, а чему быть, тому не миновать.

— Да помилуйте, батюшка, — сказалъ съ нетерпѣніемъ драгунскій офицеръ, — что вамъ вздумалось на меня клепать?...

— Добро, добро, любезный! Развѣ я не видѣлъ, какъ ты на нее поглядывалъ?... Потерпишь, потерпишь, да смолвишь когда-нибудь. И я такъ же въ старину тосковалъ о моей покойницѣ; точно также таилъ отъ всѣхъ, что она пришлась мнѣ больно по сердцу; и у меня такъ же сна не было, и кусокъ въ горлѣ останавливался; а ужъ тоска то была какая, тоска, ахъ ты, Господи Боже мой: два раза изъ петли вынимали! Зато какъ подослалъ сваху, да пошло дѣло на ладъ, такъ, вѣрите ль, чуть было не спился отъ радости, совсѣмъ ошалѣлъ! Подумаешь, какъ все на свѣтѣ мудрено устроено! Вотъ, напримѣръ, хоть эта любовь: курьезное дѣло! Любого молодца съ ногъ срѣжетъ!

— Охъ, эта пѣшка! — вскричалъ Сергѣй Филипповичъ, потирая лѣвой рукой свой лобъ. — Ну, точно бѣльмо на глазу! Нельзя вывести коня, ладья стоитъ безъ дѣла... Ахъ, чортъ возьми!... Ужъ добро бы шашка, а то эта дрянь, пѣшка проклятая!

— Да такъ то всегда и бываетъ, Сергѣй Филипповичъ,— сказалъ Зарубкинъ, улыбаясь съ довольнымъ видомъ: — не бойся боярина, а бойся слуги. Не великъ человѣкъ секретарь нашего воеводы, а всѣ ему въ поясъ кланяются. Я прошлаго года попытался не послать ему на именины барашка въ бумажкѣ, такъ онъ чуть меня совсѣмъ не погубилъ. Выдумалъ, окаянный, что будто бы по зимамъ этотъ злодѣй Рощинъ держитъ у меня на хуторѣ свою разбойничью пристань; и еслибы вы, мой благодѣтель и милостивецъ, не вступились въ мое горе, да не оправдали передъ начальствомъ, такъ меня бы, горемычнаго, какъ липку облупили. Я себѣ и думать не думаю; вдругъ прислали ко мнѣ сыщиковъ. Господи, Боже мой, какъ пошли они куръ душить! А тамъ нагрянула ко мнѣ цѣлая ватага подъячихъ изъ суда, принялись бражничать, давай имъ вина, наливки, того-сего; а ужъ какъ жрутъ-то, проклятые, жрутъ!.. Ключница моя, Никитишна, подастъ имъ бывало для фриштика жаренаго гуся, да окорокъ ветчины или бараній бокъ; глядь-поглядь, однѣ косточки остались! Такъ бѣдная и всплеснетъ руками. Да что и говорить, въ конецъ было разорили! Ну что, Сергѣй Филиповичъ, изволили пойти слономъ?

— Пошелъ, братецъ.

— Напрасно, батюшка, напрасно! Шахъ королю.

— Какъ такъ?..

— Да такъ! Укрыться-то нечѣмъ: шахъ и матъ.

— Подлинно шахъ и матъ! — раздался грубоватый голосъ позади Зарубкина: — да только вамъ, сударь, а не Сергѣю Филипповичу.

Зарубкинъ обернулся: позади него стоялъ купецъ.

— Полно, такъ ли, любезный, — сказалъ хозяинъ, взглянувъ съ удивленіемъ на купца. — Конечно, со стороны виднѣе, но, воля твоя...

— Посмотрите хорошенько.

— Смотрѣть то, я смотрю, да ничего путнаго не вижу.

— Попытайтесь, сударь; извольте-ка заслонить вашего царя конемъ.

— Такъ что жъ? Онъ возьметъ его ферязью.

— Некогда будетъ, Сергѣй Филипповичъ; вѣдь, тронувъ съ мѣста коня, вы откроете вашу ладью и скажете ему шахъ и матъ.

— Ахъ, батюшка, подлинно такъ! — вскричалъ Ильменевъ.—Точно, точно! Его царю нельзя двинуться съ мѣста!.. Что, братъ Иванъ Тимоѳеевичъ, а!

— Постойте, постойте, дайте подумать!

— Чего тутъ думать? Матъ, да и только!

— Тьфу ты, пропасть! Въ самомъ дѣлѣ! Ахъ я дуракъ, дуракъ! Увязилъ ферязь, приперъ самъ царя... слона не вывелъ!... А игра-то какая была!

— Ай да купецъ молодецъ!—сказалъ хозяинъ,—Да ты, видно, любезный, мастеръ въ шахматы играть.

— Маракую, батюшка. У насъ, въ Астрахани, персіянъ довольно; я часто съ ними игрывалъ; такъ около нихъ и понаторѣлъ немного.

— А ты ѣдешь изъ Астрахани?

— Да, сударь; я тамошній купецъ.

— И, вѣрно, пробираешься въ Москву?

— Статься можетъ, и до Питера доѣду.

— А что, любезный, — не прогнѣвайся, имени твоего и отчества не знаю...

— Алексѣй Артамоновъ, батюшка.

— А по прозванью?

— Выдыбаевъ.

— Послушай, Алексѣй Артамоновичъ: ты ѣдешь из-

далека, такъ вѣрно и коней своихъ измучилъ и самъ умаялся; останься-ка у меня, отдохни порядкомъ, да разговѣйся вмѣстѣ съ нами, а тамъ и съ Богомъ!

— Всенижайше благодарю, батюшка, за вашу ласку,— отвѣчалъ купецъ съ низкимъ поклономъ.

— Ну что, остаешься?

— И радъ бы радостью, Сергѣй Филипповичъ, да никакъ нельзя: завтра надо чѣмъ-свѣтъ опять въ дорогу. Будетъ, батюшка, и того, что вы, по вашей милости, изволили сегодня укрыть меня, дорожнаго человѣка, отъ темной ночи и непогоды.

— Эй, братъ, останься! Мы будемъ съ тобой въ шахматы биться, а лошадки твои межъ тѣмъ отдохнутъ. Вѣдь Христовъ день не за горами.

— Знаю, сударь, знаю; да объ страстной мнѣ надо быть неотмѣнно въ Муромѣ. Вотъ какъ я тамъ всѣ дѣла свои исправлю, такъ, если вашей милости угодно, къ празднику опять вернусь сюда. Въ Москву торопиться нечего: мнѣ надо быть тамъ послѣ Ѳоминой. Такъ, чѣмъ ѣхать муромскими лѣсами, я лучше поѣду на Рязань. Да и крюку-то почти не будетъ; чай, отъ вашего помѣстья дней въ пять легонько до нашей кормилицы Бѣлокаменной доѣдешь!

— Я и въ третьи сутки поспѣваю. Смотри же, любезный, коли такъ, такъ такъ! Милости просимъ! Пріѣзжай нашимъ куличемъ разговѣться. Э, да скажи-ка мнѣ, братецъ, ты человѣкъ дорожный: что поговариваютъ объ этомъ чортовѣ сынѣ, разбойникѣ Кузьмѣ Рощинѣ? Ока давно уже прошла, а о немъ что-то вовсе не слышно. Ужъ не поймали ли его гдѣ-нибудь.

— Дай-то, Господи! Теперь онъ, какъ слышно, тѣшится со своими молодцами по Волгѣ и, говорятъ, близъ Макарья ужъ три села выжегъ.

— Вотъ что! Такъ онъ на Волгу перебрался? Что, видно, здѣсь жутко пришлось?

— Да, батюшка: теперь по Окѣ стоятъ вездѣ воинскія команды, такъ онъ и бросился внизъ по матушкѣ по Волгѣ, а шайка-то у него, какъ видно, пребольшая. Мнѣ сказывали, что онъ на трехъ косныхъ лодкахъ разъѣзжаетъ.

— Да что ему, прости Господи, ужъ не самъ ли сатана помогаетъ? Два года по Окѣ разбойничалъ, теперь грабитъ

на Волгѣ, и все ему съ рукъ сходитъ! Ну, дорого бы я далъ, чтобъ хоть разъ взглянуть на этого Рощина.

— А я такъ и даромъ его видѣлъ, — сказалъ съ улыбкою купецъ.

— Неужели, батюшка? — вскричала Варвара Дмитріевна. — Когда?

— Дней семь тому назадъ. Верстахъ въ десяти отъ Нижняго я вмѣстѣ съ нимъ ужиналъ и ночевалъ на постояломъ дворѣ.

— Какъ, вмѣстѣ съ Рощинымъ? — прервалъ Сергѣй Филипповичъ.—И ты остался цѣлъ?

— А вотъ, какъ видите. Онъ былъ одинъ одинехонекъ, и я узналъ ужъ послѣ, кто со мною ужиналъ: мнѣ на другой день сказалъ объ этомъ хозяинъ постоялаго двора.

— Такъ чего же смотрѣлъ этотъ бездѣльникъ? Ему бы надобно было кликнуть народъ, да связать этого разбойника.

— Связать! Нѣтъ, батюшка, это легко вымолвить; не только хозяинъ постоялаго двора, да и все село знало, что у нихъ ночуетъ Рощинъ, а, небойсь, никто не сунулся.

— Да неужели онъ такъ страшенъ, что къ нему и приступиться то никто не смѣетъ?

— А какъ бы вамъ сказать, сударь?... Повыше меня цѣлой головой. Вотъ господинъ офицеръ молодецъ собой, плечистъ, а тотъ вдвое плотнѣе будетъ. А рожа то какая! Не приведи Господи и во снѣ увидѣть! Борода по поясъ...

— И, вѣрно, рыжая,—сказала робкимъ голосомъ Варвара Дмитріевна.

— Нѣтъ, сударыня, какъ смоль черная.

— Да что за вздоръ!—прервалъ хозяинъ.—Вѣдь этотъ Рощинъ не Полканъ же богатырь какой. Ну, можетъ ли статься, чтобъ цѣлое село не справилось съ однимъ человѣкомъ?!

— Какъ не справиться? Да вѣдь мужички то себѣ на умѣ. Его схватятъ, такъ товарищи останутся, а въ селѣ то не останется ни кола, ни двора. Слыхали ли вы, сударь, поговорку: какъ подпустятъ краснаго пѣтуха, такъ запоешь и курицей.

— Правда, правда! Да чего же нижегородскій воевода смотритъ! У меня бы этотъ разбойникъ давнымъ-давно сидѣлъ въ острогѣ. Да милости просимъ, пускай пожалуетъ ко мнѣ въ гости!

— Эхъ, батюшка, не напрашивайтесь! —прервалъ Зарубкинъ.

— А что жъ!—продолжалъ хозяинъ.—Приму, угощу и въ банѣ выпарю, да такъ, что онъ до новыхъ вѣниковъ незабудетъ. Вѣдь я не кто другой: свистну только, такъ у меня пятьдесятъ молодцовъ хоть сейчасъ подъ ружье станови. Конечно ты, Иванъ Тимоѳеевичъ, дѣло другое, тебѣ какъ не бояться! У тебя что за дворня! Чай, душенокъ пять-шесть. А я двѣсти душъ держу на мѣщинѣ, любезный!

— Такъ, сударь, такъ; вѣстимо: большому кораблю большое и плаванье; да вѣдь и онъ, батюшка, не самъ-другъ выходитъ на грабежъ.

— Такъ что жъ? Эка фигура! Чтобъ я не справился съ этою сволочью! Да у меня любой псарь на пятерыхъ разбойниковъ пойдетъ.

— Эхъ, батюшка, не хвалитесь. Не ровенъ часъ. Знаете ли вы, какую штуку выкинулъ третьяго года этотъ Рощинъ съ княземъ Владиміромъ Павловичемъ Зашибаевымъ?

— А что такое?— спросилъ съ любопытствомъ Ильменевъ.

— И я объ этомъ не слыхала,—сказала Варвара Дмитріевна. Разскажи намъ батюшка!

Она положила на столъ свой чулокъ. Машенька перестала вышивать. Всѣ сдвинулись въ кружокъ, поближе къ Зарубкину, и онъ началъ:

— Вотъ изволите видѣть: года два тому назадъ этотъ Рощинъ былъ вовсе не страшенъ; теперь у него цѣлая шайка, а тогда онъ одинъ-одинехонекъ промышлялъ по большимъ дорогамъ. Всѣ окружные дворяне и вы, Сергѣй Филипповичъ, не разъ изволили досадовать на мѣстное начальство, которое не могло справиться съ однимъ разбойникомъ; но пуще всѣхъ кричалъ князь Владиміръ Павловичъ и также, какъ вы, батюшка, хвалился передъ всѣми, и въ грошъ не ставилъ Рощина. «Да что этотъ плутъ не вздумаетъ меня ограбить!»—сказалъ онъ однажды на отъѣзжемъ полѣ. «Ужъ то-то бы я потѣшился! Да будь онъ хоть семи пядей во лбу, а отъ меня бы не отвертѣлся; ужъ я бы привелъ его на арканѣ къ нашему ротозѣю воеводѣ, у котораго воевоѣ, у котораго этотъ мошенникъ скоро голову съ плечъ украдетъ. И что онъ за разбойникъ! Такъ, воришка, шишимора!» Вотъ, видно, эти рѣчи и дошли до Рощина. Однажды, около Петрова дня,—вы изволили быть тогда со

всѣмъ вашимъ семействомъ въ Москвѣ,—князь Владиміръ Павловичъ собрался на богомолье въ Ольговъ-Успенскій монастырь, что верстъ двадцать отсюда, на самой Окѣ. Рощинъ провѣдалъ объ этомъ. Вы вѣрно знаете, что его сіятельство изволитъ ѣздить всегда очень людно; такъ одному разбойнику нельзя остановить его на большой дорогѣ. Прошу отгадать, что этотъ вражій сынъ, Рощинъ, придумалъ? Онъ отправился ранехонько впередъ и догналъ цѣлую ватагу нищихъ, которые шли также въ Успенскій монастырь, все чающіе движенія воды, калѣки, увѣчные старики и старухи. Съ этимъ народомъ ему не трудно было справиться: какъ пристрастилъ ихъ ружьемъ, да зыкнулъ: «сарынь на кичку!» такъ всѣ они, какъ овсяные снопы, и повалились ничкомъ на земь. «Слушай, нищая братія!»—заревѣлъ Рощинъ страшнымъ голосомъ. «Сейчасъ съ дороги долой, ложись въ кусты, да никто ни гу-гу; пошевелиться не смѣй! Вы, старухи, лежать смирно, а вы, старики и увѣчные, слушайте мой приказъ: лишь только я закричу: «Гей вы, сорванцы, вставай!»—такъ вы всѣ привстаньте немного и высуньте изъ-за кустовъ головы. Закричу: «ложись»—мигомъ припадай опять въ кусты. Да смотрите вы, убогіе, если изъ васъ кто безъ приказу пошевелится или голосъ подастъ, такъ тутъ ему и карачунъ!» Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Нищая братія улеглась въ кустахъ, а Рощинъ вышелъ на середину дороги и сталъ поджидать проѣзжихъ. Вотъ князь Владиміръ Павловичъ ѣдетъ въ своемъ четверомѣстномъ рыдванѣ; впереди скачутъ вершники, на запяткахъ стоятъ гусары, а позади, на двухъ тройкахъ, везутъ всякихъ челядинцевъ; и всѣ съ оружіемъ: кто съ пистолетомъ, кто съ саблею, кто съ охотничьимъ ножемъ. «Стой»! — закричалъ Рощинъ, когда рыдванъ съ нимъ поравнялся. Кучеръ, въ котораго онъ уставилъ конецъ своей длинной винтовки, остановился, гусары спрыгнули съ запятокъ, передовые вернулись назадъ, остальные холопы повыскакали изъ телѣгъ, окружили со всѣхъ сторонъ Рощина, а князь высунулся изъ рыдвана и закричалъ: — «Бейте этого мошенника въ мою голову!»—«Ни съ мѣста!»—заревѣлъ удалой разбойникъ.—«Я Рощинъ; здѣсь вся моя шайка, и если кто изъ васъ хоть руку отведетъ, хоть однимъ пальцемъ пошевелитъ, такъ я васъ всѣхъ, какъ барановъ, перерѣжу... Смотрите!»—продолжалъ онъ, показывая на кусты:—«Гей вы, сорванцы, вставай!»—Господи Боже мой! Такъ у кня-

жескихъ холопей руки и опустились, изъ каждаго куста высунулось головъ по пяти, и бѣдному князю со страстей показалось, что въ засадѣ лежитъ человѣкъ двѣсти. «Ну что, видите?»—сказалъ Рощинъ.—«Ложись, ребята! А вы, сарынь проклятая, стоять смирно, а не то, какъ гаркну, такъ праху вашего не останется!—Здравствуйте, батюшка, ваше сіятельство»,—продолжалъ Рощинъ, отворяя дверцы рыдвана,—«вы изволили похваляться, что приведете меня на арканѣ къ нашему воеводѣ; вотъ я самъ на лицо, и веревку припасъ. Милости прошу, попытайтесь, батюшка!» Бѣдный князь хотѣлъ что-то сказать, да поперхнулся первымъ словомъ. «Что, ваше сіятельство»,—молвилъ Рощинъ:—иль язычекъ онѣмѣлъ? Слушай, князь», — прибавилъ онъ грознымъ голосомъ: «мнѣ бы надобно было за твое хвастовство удавить тебя этою веревкою, да такъ ужъ и быть; счастливъ ты, что у меня обычай первую вину прощать. Добро, выкладывай все, что у тебя есть въ карманахъ; я знаю, ты всегда возишь съ собою денежки!» Дѣлать было нечего: князь отдалъ ему свои завѣтные часы, черепаховый рожокъ съ табакомъ, въ серебряной оправѣ, да пятьдесятъ крестовиковъ. Когда Рощинъ очистилъ совсѣмъ его карманы, онъ поклонился ему низехонько и сказалъ: «Прощай, князь, благодарствуй за твое жалованье; не забывай Кузьмы Рощина, да помни коренную русскую пословицу: не хвались, а прежде Богу помолись! Что стали, ребята? Садись по мѣстамъ. Ну, трогай лошадей! Да чуръ не оглядываться, а не то пошлю въ догонку такого свинцоваго гонца, что отъ него и шестерикомъ не ускачешь». Проѣзжіе помчались безъ оглядки, а Рощинъ юркнулъ въ лѣсъ, да и былъ таковъ. Нищіе пролежали въ кустахъ до самой ночи. Вотъ одинъ колченогій, посмѣлѣе другихъ, выползъ на большую дорогу, и какъ увидѣлъ, что никого нѣтъ, закричалъ своимъ товарищамъ, и вся ватага поплелась опять впередъ. На другой день,—я самъ былъ тогда въ монастырѣ,—посмотрѣли бы вы, что сдѣлалось съ княземъ, когда онъ узналъ, на какую штуку поддѣлъ его этотъ сорванецъ Рощинъ. Онъ совсѣмъ взбѣленился, принялся колотить своихъ челядинцевъ, перепоролъ десятка два нищихъ и до того кричалъ и бѣсновался, что его хотѣли было отчитывать.

— Въ самомъ дѣлѣ штука! — сказалъ Сергѣй Филиппович.—Ну, хитеръ онъ, разбойникъ! Да и то сказать, что за народъ у этого князя Владиміра Павловича: дворецкій

соня, людишки — дрянь! Да ихъ не только разбойникъ съ ружьемъ, а простой мужикъ съ рогатиною на большой дорогѣ ограбитъ. Я помню, однажды на отъѣзжемъ полѣ князевы собаки остановили волка. Какъ вы думаете?... Вѣдь никто изъ его охотниковъ приступиться къ нему не смѣлъ; и еслибы не мой стремянный, такъ они навѣрное бы его упустили, кричатъ изъ далека: тю-лю-лю-лю-лю, а никто спѣшиться не хочетъ. Хуже бабъ! Ну вотъ, ни дать ни взять, какъ людишки двоюродной моей сестры Авдотьи Павловны Хлестовой; да и тѣ, чай, бойчѣе стали съ тѣхъ поръ, какъ побывали въ передѣлкѣ у Рощина. Ну, эта штука была также славная.

— А что это, сударь, за случай былъ? — спросилъ Зарубкинъ.

— Да такой-то случай, что когда сестра стала мнѣ объ этомъ разсказывать, такъ я, видитъ Богъ, расцѣловалъ бы этого разбойника. Вотъ послушай, любезный, какая была оказія. Прошлаго лѣта сестра поѣхала, изъ Каширской деревни, повидаться съ родственникомъ своимъ, пронскимъ воеводою. Она ѣхала въ четырехъ повозкахъ, и съ нею было человѣкъ десять людей, ребята все молодые и не съ пустыми руками: у троихъ были даже ружья. Верстахъ въ петидесяти отъ города Пронска остановилъ ихъ на большой дорогѣ Рощинъ. Онъ былъ только самъ-четвертъ; но лишь крикнулъ на сестриныхъ людей, такъ эти плюгавцы тутъ же и повалились ему въ ноги. Рощинъ велѣлъ ихъ всѣхъ перевязать, а самъ подошелъ къ сестрѣ, снялъ шапку и началъ просить, какъ будто бы изъ милости, чтобъ отдала ему всѣ деньги, которыя съ нею были. Разумѣется, сестра не стала съ нимъ торговаться, и когда онъ обобралъ ее кругомъ, такъ видно съ испугу и, не понимая сама, что говоритъ, сказала: «Батюшка, что ты со мною сдѣлалъ: вѣдь мнѣ не съ чѣмъ будетъ доѣхать до Пронска!» — «Да, боярыня», — отвѣчалъ Рощинъ: — «тебѣ еще раза два покормить придется, а корма нынѣ дорогіе. Нечего дѣлать, на тебѣ, сердечная, рублевикъ взаймы». — «Да какъ же я тебѣ отдамъ?»—сказала сестра, которая все еще не могла порядкомъ образумиться. — «Все равно, матушка, отдай нищимъ, — пусть молятся за Кузьму Рощина». — «Теперь я поговорю съ вами, слуги вѣрные», — продолжалъ онъ совсѣмъ уже другимъ голосомъ, обращаясь къ связаннымъ людямъ. «Такъ то вы, негодяи, бережете

вашу добрую боярыню! Экіе болваны! Десять человѣкъ дали себя перевязать четыремъ разбойникамъ! А еще съ ружьями! Вы только хлѣбъ то барскій ѣсть умѣете, хамы проклятые, небойсь, никто изъ васъ руки не отвелъ, чтобъ оборонить вашу кормилицу... Да ужъ не изволь безпокоиться, матушка», — прибавилъ онъ, обращаясь опять къ сестрѣ: «я задамъ имъ теплую баню; не станутъ выдавать тебя руками первому встрѣчному разбойнику. Эй, молодцы, въ плети ихъ! Перебирай всѣхъ поодиночкѣ! Да у меня, смотри, чуръ, не мирволить!» Что жъ ты думаешь, братецъ: вѣдъ въ самомъ дѣлѣ онъ такъ ихъ всѣхъ отодралъ, что они и теперь еще спины у себя почесываютъ!

— Ну, молодецъ! — вскричалъ Зарубкинъ. — И придетъ же въ голову пересѣчь людей за то, что они ему безъ драки покорились? Ай да Рощинъ!

Вошелъ слуга и доложилъ, что кушанье готово.

— Жена, — сказалъ Сергѣй Филипповичъ, вынимая изъ камзольнаго кармана свои огромные серебрянные часы, — что мы сегодня такъ рано ужинаемъ?... Эге, да какъ же мы заболтались,—продолжалъ онъ, вставая:—девять часовъ, десятый! Иванъ Тимоѳеевичъ, Алексѣй Артамоновичъ, милости прошу. Жена, веди Владиміра Ивановича,—вѣдь онъ твой гость; да, смотри, не больно съ нимъ перемигивайся,— я и такъ ужъ давно за вами примѣчаю.

Послѣ ужина всѣ разошлись по своимъ комнатамъ. Зарубкину и купцу отвели ночлегъ въ одномъ изъ флигелей дома, а драгунскому офицеру, по собственному его желанію, приготовили постель въ садовой бесѣдкѣ, которая одной стороной обращена была къ сосновой рощѣ, а другой къ господскому дому, и соединялась съ нимъ длинною, обсаженною липами, дорожкою. Во время ужина небо совершенно прочистилось; затихъ холодный сѣверный вѣтеръ, и когда офицеръ вошелъ въ садъ, легкій южный вѣтерокъ повѣялъ на него ароматомъ отъ сосновой рощи и обдалъ своею весеннею теплотою. Войдя въ бесѣдку, онъ сказалъ мальчику, который дожидался его со свѣчею, что не имѣетъ никакой надобности въ его услугахъ. Мальчикъ ушелъ, а офицеръ, оставшись одинъ, вышелъ на крыльцо бесѣдки. Въ господскомъ домѣ свѣтились еще кое-гдѣ огоньки. Вотъ они стали тухнуть понемногу. Черезъ полчаса всѣ окна потемнѣли, и только сквозь одно, задернутое бѣлою гардиною, проникалъ слабый, едва замѣтный свѣтъ лампады,

которая горѣла передъ образами въ спальной Варвары Дмитріевны Ильменевой. Прошло еще около часу, и вдругъ въ самомъ крайнемъ окнѣ замелькалъ самый яркій огонекъ. Офицеръ встрепенулся; какъ въ минуту отчаяннаго боя, забилось его ретивое, онъ спрыгнулъ съ крыльца, и, пробираясь подлѣ самыхъ деревьевъ, пошелъ по дорожкѣ, ведущей къ дому. Ночъ была темная, и не только подъ кровомъ вѣтвистыхъ липъ, но даже и на открытомъ мѣстѣ нельзя было въ двухъ шагахъ различать предметы; однакожъ онъ робко посматривалъ вокругъ себя и какъ будто прислушивался къ собственнымъ шагамъ. Не дойдя до конца дорожки, онъ повернулъ въ сторону, продрался сквозь куртину плодовитыхъ деревьевъ, перемялъ нѣсколько кустовъ смородины, развелъ голыми руками два куста колючаго крыжовника, и вышелъ къ самому дому; потомъ, прокравшись вдоль стѣны, подошелъ къ открытому окну, противъ котораго на небольшомъ столикѣ стояла зажженная свѣча.

— Вы ли это, Владиміръ Ивановичъ? — раздался едва слышный шопотъ.

— Да, это я, — отвѣчалъ офицеръ прерывающимся отъ сильнаго чувства голосомъ.

— Тише, Бога ради, тише.

Огонь погасъ, и черезъ минуту послышался опять прежній шопотъ.

— Подойдите ближе къ окну!... Вотъ такъ!... Боже мой, какъ на дворѣ свѣтло.... Ни одного облачка.

— Не бойтесь! Теперь ужъ поздно, ночь темная...

— О, нѣтъ!... Посмотрите, какъ эти звѣзды блестятъ... Отъ нихъ свѣтло, какъ днемъ! Ну, если садовникъ васъ видѣлъ?

— Успокойтесь! Кругомъ все тихо, всѣ спятъ.

— Ахъ, Владиміръ Ивановичъ, я чувствую, что дѣлаю очень дурно; но мнѣ нужно было переговорить съ вами: мнѣ кажется, я не пережила бы этой ночи, еслибъ не высказала вамъ всего, что у меня на душѣ. Послушайте! Для чего сегодня вечеромъ вашъ батюшка говорилъ о дочери этого Побирашкина? Почему онъ думаетъ, что она вамъ нравится?... Гдѣ вы съ ней видѣлись?... Когда?... Не правда ли, она очень хороша собою?...

— Что вы, Богъ съ вами, Марья Сергѣевна. Да она только что не уродъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, она лучше меня: у нея большіе черные глаза.

— Но можно ли ихъ сравнить съ вашими?

— Прекрасный ростъ ..

— И одно плечо ниже другого.

— Такъ вы замѣтили...

— Да, это въ глаза бросается.

— Но за то она такъ мила, такъ умна!

— Помилуйте! Двухъ словъ не умѣетъ сказать сряду.

— Не правда, она умнѣй меня. Но только знаете, что она презлая.

— Какое мнѣ да этого дѣло!

— Вашъ батюшка, какъ видно, очень хочетъ, чтобъ вы на ней женились.

— Можетъ быть, да я не хочу.

— Но если онъ станетъ васъ упрашивать, будетъ каждый день говорить одно и то же?

— Не безпокойтесь; я завтра же ему скажу, что терпѣть не могу этой Побирашкиной.

— О, какъ вы облегчили мое сердце!—сказала Машенька, прижавши къ груди свою руку.—Еслибъ вы знали... еслибъ ты зналъ, Владиміръ, что я чувствую!

Слезы прервали слова ея. Она отошла отъ окна, и рыдая, упала на колѣни предъ иконой Божіей Матери.

— Что вы, Марья Сергѣевна? Что съ вами?—вскричалъ съ безпокойствомъ офицеръ.

— Ничего,—сказала она, подойдя опять къ окну и подавая Владиміру свою руку, которую онъ покрылъ пламенными поцѣлуями.—Мнѣ теперь такъ весело, такъ легко!—говорила Машенька, а между тѣмъ крупныя слезы капали изъ-подъ ея густыхъ рѣсницъ.

Бѣдная дѣвушка, довѣрчивая, какъ дитя, не думала о будущемъ; она была счастлива въ эту минуту, и, какъ тихое весеннее утро, въ которое и дождь и солнышко безпрерывно смѣняютъ другъ друга, она и плакала и улыбалась почти въ одно время.

— Такъ вы не послушаетесь вашего батюшки,—шепнула она наконецъ,—не женитесь на ней?

— Ни за что на свѣтѣ!

— Милый Владиміръ! Но если вашъ батюшка потребуетъ, чтобъ вы непремѣнно на комъ-нибудь женились... Въ нашемъ сосѣдствѣ такъ много молодыхъ дѣвушекъ...

— Я вамъ клянусь, что ни одна изъ нихъ не будетъ моею женою.

— Я вѣрю вамъ, Владиміръ Ивановичъ! Но, несмотря на то... Ахъ, эта неизвѣстность такъ мучительна! Одинъ разъ легче умереть, чѣмъ умирать каждый день... Откройтесь во всемъ вашему батюшкѣ; пусть онъ поговоритъ...

— Съ отцомъ вашимъ?—прервалъ Владиміръ.—И вы думаете, что онъ спокойно его выслушаетъ?... И вы надѣетесь, что вашъ отецъ, богатый родовой дворянинъ, отдастъ за меня дочь свою?

— Да чѣмъ же вы хуже другихъ? Вы офицеръ, вашъ батюшка человѣкъ благородный...

— Но отецъ его... Нѣтъ, нѣтъ! Зачѣмъ себя обманывать? Не бывать этому никогда; не судилъ намъ Господь въ этой жизни быть счастливыми! Божій рай на небесахъ, Марья Сергѣевна, а мы съ вами живемъ на землѣ.

— Но для чего же вамъ отчаиваться? Я увѣрена, добрая матушка съ радостью благословитъ меня, а батюшка... Да вы не знаете, какъ онъ меня любитъ! Онъ тысячу разъ говорилъ, что отдастъ меня только за того, кто будетъ мнѣ по сердцу.

— О, въ этомъ я увѣренъ: онъ не станетъ принуждать васъ! Но и вы также не пойдете замужъ противъ его воли, а онъ никогда не согласится назвать меня своимъ сыномъ. Третьяго дня, разговаривая съ батюшкой, онъ сказалъ: «Видно, мнѣ придется на старости перебраться въ Москву; дочь у меня невѣста, а во всей нашей округѣ нѣтъ по ней ни одного жениха». И лишь только батюшка намекнулъ ему о старшемъ сынѣ здѣшняго воеводы, какъ онъ закричитъ: «Что, что? Да не съ ума ли ты сошелъ? Мой дѣдъ служилъ царю окольничьимъ, а прадѣдъ сидѣлъ въ боярской думѣ; и я выдамъ дочь свою за внука какого-нибудь подьячаго съ приписью? Да по мнѣ она лучше вѣкъ въ дѣвкахъ оставайся! Господи, Боже мой! Чтобъ я, послѣдній въ родѣ Ильменевыхъ, породнился съ какимъ-нибудь щелкоперомъ?... Нѣтъ, любезный, ему и во снѣ это не привидится». Ну Марья Сергѣевна, неужели и послѣ этого вы можете надѣяться.

— А почему знать? Богъ милостивъ. Вы очень нравитесь батюшкѣ. Матушка васъ любитъ; а сверхъ того, если вы не имѣете никакой надежды, такъ чего же вамъ и бояться? Вѣдь ужъ хуже этого быть не можетъ.

— А чего боится приговоренный къ смерти преступникъ?—сказалъ мрачнымъ голосомъ Владиміръ.—Онъ знаетъ, что гибель его неизбѣжна, а, еслибъ могъ, отдалилъ бы хоть на полминуты казнь свою. Неужели вы думаете, что намъ позволятъ видѣться и тогда, когда любовь наша не будетъ уже тайною? Не видѣть, не быть подлѣ васъ, не говорить съ вами безъ свидѣтелей!... Да развѣ такая жизнь лучше смерти? Ахъ, Марья Сергѣевна, не мѣшайте мнѣ пожить еще хоть нѣсколько дней!

— Нѣтъ, Владиміръ Ивановичъ, эти тайныя свиданія должны кончиться. Я люблю васъ: вы это знаете; но вы честный, благородный человѣкъ, и вѣрно не захотите сами, чтобы та, которая желала навсегда принадлежать вамъ, была недостойна уваженія вашего. Если вы не можете быть моимъ мужемъ, то мы должны непремѣнно разстаться.

— Разстаться!—повторилъ съ отчаяніемъ Владиміръ.

— Да, это необходимо,—продолжала сквозь слезы, но твердымъ голосомъ, Машенька;—я не могу быть съ вами вмѣстѣ и стараться убѣгать васъ. О, Владиміръ, будьте моимъ защитникомъ противъ самихъ себя! Если ваши чувства совершенно сходны съ моими, то я не требую отъ васъ невозможнаго, не хочу, чтобъ вы меня забыли; но разстаться мы должны непремѣнно.

— Такъ вы желаете, чтобъ жизнь мнѣ опыстылѣла, чтобъ я сталъ проклинать минуту, въ которую увидѣлъ васъ въ первый разъ?

— Нѣтъ, Владиміръ Ивановичъ,—сказала тихимъ гололосомъ Машенька;—я хочу, чтобъ мы и въ несчастіи нашемъ имѣли какое-нибудь утѣшеніе. Если мы разстанемся теперь, то можемъ, не краснѣя, вспоминать другъ о другѣ. Вамъ не въ чемъ будетъ упрекать себя, а мнѣ можно будетъ молиться о васъ съ надеждою, что Господь услышитъ мою молитву. Я сказала все. Дѣлайте, что вамъ угодно; только знайте, что я или въ послѣдній разъ вижусь съ вами безъ свидѣтелей, или навсегда буду принадлежать вамъ... Но что это?... Мнѣ кажется, сюда идутъ... Боже мой!... Такъ точно... Ахъ, Владиміръ Ивановичъ, если кто-нибудь насъ слышалъ?.. Уйдите, ради Бога, уйдите скорѣе!

Машенька затворила окно, Владиміръ спрятался позади большого рябиноваго куста; шаги приближались, кто-то говорилъ съ большимъ жаромъ, но такъ тихо, что Владиміръ не могъ понять ни одного слова. Вдругъ разговари-

вающіе поворотили въ сторону и вышли изъ куртины на небольшую поляну. Ихъ было двое. Несмотря на темноту, Владиміръ не могъ ошибиться и принятъ ихъ за караульщиковъ; онъ замѣтилъ также, что одинъ изъ нихъ по своему видному росту весьма походилъ на проѣзжаго купца, съ которымъ онъ ужиналъ. Въ другое время эта ночная прогулка возбудила бы его любопытство; но теперь ему было не до того, и когда эти полуночники, продолжая разговаривать между собою, исчезли за деревьями, онъ вышелъ опять на дорожку, и, наблюдая попрежнему всю возможную осторожность, добрался наконецъ до своей бесѣдки.

Повидимому, не нужно сказывать читателямъ, что Владиміръ не могъ заснуть ни на минуту. Послѣднія слова Машеньки безпрестанно раздавались въ ушахъ его, и когда ему приходило на мысль, что черезъ нѣсколько часовъ участь его должна навсегда рѣшиться, сердце въ немъ сжималось и замирало отъ ужаса. По временамъ, слабый лучъ надежды проникалъ въ его растерзанную душу; но почти въ то же время жестокій, неумолимый разсудокъ обдавалъ ее холодомъ; ему казалось, что какой-то неотвязчивый злой духъ шепталъ надъ его изголовьемъ: «Безумный, и ты можешь надѣяться,—ты, сынъ бѣднаго помѣщика и внукъ отпущенника,—что богатый и родовой бояринъ выдастъ за тебя единородную дочь свою! Конечно, онъ любитъ ее, и вѣрно желаетъ видѣть счастливою; но эта барская спѣсь!... Нѣтъ, ты напрасно стараешься себя обманывать. Ты хочешь испытать свое счастіе?—Испытай! Но знай заранѣе, тебя ждетъ не радость, а горе и позоръ; не ласковый привѣтъ, а презрѣніе и обидныя насмѣшки». Нѣсколько разъ Владиміръ рѣшался не говорить ничего отцу своему и упросить начальство перевести его роту куда-нибудь подалѣе за Рязань; но, несмотря на это, кончилъ тѣмъ, что вскочилъ чѣмъ-свѣтъ съ постели и побѣжалъ къ Ивану Тимоѳеевичу, который ночевалъ въ одномъ изъ флигелей дома. Онъ такъ перепугалъ спросонья бѣднаго старика, что тотъ не могъ долго понять, о чемъ идетъ дѣло. Владиміръ объявилъ отцу, что онъ долженъ непремѣнно сватать за него дочь хозяина, и, не давъ ему образумиться, прибавилъ, что если просьба его не будетъ исполнена, то онъ самъ подыметъ на себя руки или, по крайней мѣрѣ, уйдетъ служить за тридевять земель въ тридесятое государство, и никогда уже не воротится на свою родину.

— Я сейчасъ отправлюсь домой,—продолжалъ онъ,—и стану тамъ дожидаться рѣшенія моей участи; какой бы отвѣтъ вы ни получили, поспѣшите меня увѣдомить. Я солдатъ, и привыкъ сносить безъ ропота все, что ни пошлетъ на меня Господь; но неизвѣстность... Ахъ, батюшка, это не земное мученіе, не пытка, а мука адская, съ которой ничто сравниться не можетъ!

Владиміръ обнялъ отца, побѣжалъ на конюшню, осѣдлалъ персидскаго жеребца своего и помчался вихремъ вонъ изъ села Зыкова.

Было уже около шести часовъ утра. Варвара Дмитріевна Ильменева почивала еще крѣпкимъ сномъ; но супругъ ея давно обошелъ всѣ деревенскія свои заведенія, побывалъ на псарнѣ; завернулъ на конный дворъ; надавалъ тузовъ одному лѣнтяю конюху, который не продиралъ еще глазъ; покричалъ съ своимъ управителемъ, и, выпивъ добрую чарку домашней настойки, трудился около жирнаго балыка и отличной паюсной икры, которую наканунѣ получилъ изъ Астрахани. Въ эту то самую интересную минуту двери потихоньку растворились, и Иванъ Тимоѳеевичъ Зарубкинъ вошелъ на цыпочкахъ въ столовую. Багровый носъ его казался не столь краснымъ, какъ обыкновенно, волосы были растрепаны, лѣвая рука почтительно засунута за камзолъ, а правою онъ перебиралъ машинально свои кисейныя манжеты.

— А, сосѣдъ любезный,—закричалъ Ильменевъ,—милости просимъ! Я думалъ, что ты еще спишь богатырскимъ сномъ такъ же, какъ и моя барыня. Ну-ка, Иванъ Тимоѳеевичъ, попробуй икорки; прямо изъ Астрахани получилъ отъ пріятеля. Ужъ нечего сказать, икра!... Диво! И настойка хоть куда. Налей себѣ чарку, да посмакуй хорошенько, такъ скажешь спасибо моей Варварѣ Дмитріевнѣ; что и говорить, мастерица!... Да подойди, братецъ, что ты, какъ пень, стоишь на одномъ мѣстѣ? Закуси чего-нибудь.

— Всепокорнѣйше васъ благодарю,—сказалъ Зарубкинъ, перегнувшись почти вдвое.—Кушайте себѣ, батюшка, на здоровье, а мнѣ ѣсть не хочется.

— Такъ ты видно, братъ, ужъ позавтракалъ?

— Никакъ нѣтъ, сударь.

— Такъ что жъ ты не кушаешь?... Да кой прахъ, что это тебя коробитъ? Здоровъ ли ты, братецъ?

— Тѣломъ, слава Богу; да на сердцѣ то у меня, батюшка...

— И, полно, любезный! Хвати-ка добрую красоулю, такъ и на сердцѣ легко будетъ. Прошу покорно!

— Нѣтъ, Сергѣй Филипповичъ, не трапезою душа живится; конечно, и я чарочку другую въ день выпью ради стомаха, но теперь мнѣ вовсе не до питья, батюшка.

— Кой чортъ! Да что съ тобой случилось?

Зарубкинъ всплеснулъ руками и такъ жалко искривилъ рожу, что Ильменевъ повторилъ съ безпокойствомъ свой вопросъ.

— Охъ, батюшка,—сказалъ Зарубкинъ,—не даромъ говорятъ: дѣти радость, дѣти и горе! А у кого всего на всего одно только дѣтище...

— И, любезный! и мало, и много дѣтей, все равно. Вѣдь и десять сыновей, какъ десять пальцевъ: любой отрѣжь, все больно. Да что тебѣ вздумалось говорить объ этомъ? Ужъ не занемогъ ли твой Владиміръ?

— Хуже, Сергѣй Филипповичъ, хуже.

— Какъ хуже?

— Да, батюшка; мой Володя... О, Господи, и выговорить страшно!... Съ ума сошелъ.

— Какъ такъ? — вскричалъ Ильменевъ, вскочивъ со стула.

— Совсѣмъ рехнулся; того и гляжу, что самъ на себя руки подыметъ.

— Что ты говоришь?

— Наладилъ одно: хочу, батюшка, жениться, да и только.

— Такъ вотъ что!—сказалъ Ильменевъ, садясь на прежнее мѣсто.—Ахъ, ты, шутъ нарядный!... Перепугалъ меня до смерти! Эко диво, подумаешь: малому двадцать семь лѣтъ, а онъ жениться захотѣлъ!

— Да знаете ли, на комъ, батюшка?

— Неужели въ самомъ дѣлѣ на дочери этого жидомора Побирашкина?

— И, сударь, да о чемъ бы мнѣ тогда горевать? Сегодня посватался, а завтра и сговоръ. Нѣтъ, Сергѣй Филипповичъ, Володя мой влюбленъ по уши, да только не въ нее.

— Такъ что жъ, и всякая другая дѣвушка за него пойдетъ. Вѣдь нынче, любезный, женихи-то въ сапожкахъ ходятъ, а невѣстами хоть прудъ пруди.

— Такъ, батюшка, такъ,—да не ровна невѣста.

— И, полно, братецъ, такой молодецъ, какъ твой Владиміръ, кому не женихъ!

Лицо Зарубкина просіяло; поблѣднѣвшій носъ покрылся снова обычнымъ румянцемъ, и онъ, цѣлуя въ плечо Ильменева, сказалъ радостнымъ голосомъ:

— Ахъ, ты, отецъ мой родной! Дай Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать! Утѣшь тебя, Господь, какъ ты утѣшилъ меня на старости!

— Что ты, что ты?—прервалъ Ильменевъ.—Да развѣ я въ первый разъ это говорю? Вѣстимо, такого жениха, какъ твой Владиміръ, никто не забракуетъ!

— Въ самомъ дѣлѣ, батюшка?

— Конечно, братецъ; за него пойдетъ дѣвушка и не Побирашкиной чета.

— Ну, а еслибъ онъ, сударь,—продолжалъ Зарубкинъ, говоря съ разстановкою и не смѣя глядѣть прямо въ глаза Ильменеву,—примѣромъ будучи сказать, вздумалъ посвататься, то есть влюбился... сирѣчь пожелалъ бы себѣ въ сожительницы... Не ради чего нибудь другого прочаго!... Боже сохрани, станетъ онъ о приданомъ думать!.. Душъ триста, четыреста, такъ и за глаза; а тамъ воля Господня... Два вѣка никто не живетъ... Да и то сказать, дай Богъ вамъ прожить несчетные годы; не имъ, такъ дѣткамъ ихъ достанется.

— Да что ты за околесную несешь?—сказалъ Ильменевъ, поглядѣвъ съ удивленіемъ на Зарубкина.—Какимъ дѣтямъ достанется? Что достанется?.. Тьфу, чортъ возьми! Да на комъ же ты хочешь женить своего сына?

— Не я, Сергѣй Филипповичъ, видитъ Богъ, не я! Когда бы не онъ, такъ мнѣ бы это и во снѣ не приснилось, и еслибъ не ваши ласковыя рѣчи, языкъ бы не повернулся сказать, что мой Володя желаетъ вступить въ законный бракъ...

Тутъ Иванъ Тимоѳеевичъ заикнулся, да и было отчего: глаза его встрѣтились съ глазами Ильменева, и онъ прочелъ въ нихъ что-то очень не ласковое.

— Желаетъ вступить въ законный бракъ,— повторилъ Сергѣй Филипповичъ, оттолкнувъ отъ себя тарелку съ икрою.

— Да, батюшка, — продолжалъ робкимъ голосомъ Зарубкинъ,— мой сынъ желаетъ... вступить въ законный бракъ...

— Съ кѣмъ?—заревѣлъ хозяинъ.

У бѣднаго свата ноги подкосились, и онъ промолвилъ, захлебываясь на каждомъ словѣ: «съ предостойною... прекрасною... и многолюбезною дочкою вашею»...

Ильменевъ вскочилъ со стула; глаза у него засверкали.

— Съ моею дочерью!— вскричалъ онъ, ударивъ такъ сильно по столу кулакомъ, что глиняная перечница слетѣла на полъ и разбилась вдребезги.

— Съ моею дочерью!— повторилъ онъ, сдѣлавъ шагъ впередъ.

Зарубкинъ попятился назадъ; но, замѣтивъ, что въ передней никого не было, остался въ комнатѣ. Между тѣмъ гнѣвный взглядъ хозяина смягчился.

— Скажи мнѣ, братецъ,—спросилъ онъ, наконецъ, почти хладнокровно,—когда ты успѣлъ наклюкаться?

— Кто, я?... Помилуйте, маковой росинки во рту не было!

— Пошелъ, пошелъ, проспись!... Ахъ ты, полоумный старичишка! Да какъ тебѣ въ голову пришло, что я выдамъ мою Машеньку за твоего сына? Ужъ не потому ли, что онъ офиціи добился?... Велико дѣло!... Драгунскій офицеръ!... Прошу покорно, съ чѣмъ изволилъ подъѣхать! Куда въ родню нарохтится! Да ты, видно, вовсе забылъ, что твой отецъ служилъ псаремъ у покойнаго моего батюшки?

— Не извольте гнѣваться, ваше высокородіе. Видитъ Богъ, я этому не причиною; я и самъ толковалъ Володѣ: «Что ты, глупый, затѣялъ? Ну, по плечу ли тебѣ такая невѣста? Что ты срамиться то хочешь; перекрестись!» Ужъ я говорилъ, говорилъ, что толку: слышать не хочетъ, и повѣрите ль, батюшка, какъ шальной, вотъ такъ на стѣну и лѣзетъ.

— Чтобъ духу его не было въ моемъ домѣ! Слышишь!

— Да онъ, сударь, и такъ чѣмъ-свѣтъ ускакалъ къ себѣ въ деревню.

— Ага, догадался! Видно, братъ, онъ умнѣй тебя.

— Эхъ, батюшка Сергѣй Филипповичъ, когда бы вы сами не польстили меня...

— Польстилъ? Чѣмъ?...

— Да какъ же! Не вы ли изволили говорить, что моего сына никто не забракуетъ!

— Да я то же самое сказалъ третьяго дня сыну моего старосты, Андрюшкѣ Рыжему; такъ и ему бы надо посвататься за мою дочь? Дурачина, знай сверчокъ свой шестокъ, а залетитъ ворона въ высокія хоромы такъ и шею свернутъ. Покойный мой батюшка,—дай Богъ ему царство небесное! — велѣлъ бы тебя дубьемъ со двора проводить, а можетъ статься и на конюшнѣ выдрать; я не въ него, посмѣюсь надъ этимъ сватовствомъ съ женою, да съ дочерью...

— Батюшка,—прервалъ Зарубкинъ, сложивъ униженно руки,— не извольте только гнѣваться, такъ я всю правду скажу: вѣдь мой Володя не смѣлъ бы и посвататься за вашу дочь, когда бы не было на это собственной ея воли.

— Какъ?!—закричалъ Ильменевъ.—Возможно ли?!.. Дочь моя осмѣлилась?!... Безъ моего вѣдома?!... Ты лжешь!.. Быть не можетъ!

Въ эту самую минуту двери гостиной растворились, и Машенька вошла въ столовую. Она была блѣдна, какъ смерть; грудь ея сильно волновалась, но покраснѣвшіе отъ слезъ глаза выражали не страхъ, а какую то твердую рѣшимость и даже спокойствіе.

— Ты здѣсь, мой другъ?—вскричалъ Ильменевъ.—Поди сюда. Какъ ты думаешь, что говоритъ этотъ старый дуралей? Онъ увѣряетъ меня, что сынъ его, съ твоего согласія и воли, осмѣлился за тебя свататься.

— Это правда, батюшка,—сказала Машенька.

Румяное лицо Сергѣя Филипповича помертвѣло; онъ остолбенѣлъ и, молча, какъ безумный, устремилъ свои неподвижные глаза на бѣдную дѣвушку.

— Какъ?... Что?—прошепталъ онъ, наконецъ, задыхаясь отъ гнѣва.

— Да, батюшка, это правда, — повторила Машенька кроткимъ, но твердымъ голосомъ.

— Ну вотъ, изволите видѣть?—сказалъ Зарубкинъ.

— Молчи! — закричалъ Ильменевъ такъ грозно, что Иванъ Тимоѳеевичъ съ одного прыжка очутился въ передней.—Вонъ отсюда, холопъ, вонъ! Эй, люди, люди!...

Зарубкинъ исчезъ.

Минутъ пять продолжалось молчаніе. Съ видомъ глубочайшей покорности, но въ то же время и съ утѣшительнымъ чувствомъ подсудимаго, котораго обвиняетъ все, кромѣ

собственной совѣсти, смотрѣла Машенька на разгнѣваннаго отца. Ильменевъ, не говоря ни слова, ходилъ скорыми шагами взадъ и впередъ по комнатѣ; румянецъ то исчезалъ, то выступалъ багровыми пятнами на блѣдномъ лицѣ его; губы дрожали; казалось, онъ употреблялъ всѣ силы, чтобъ удержать первый порывъ своего гнѣва. Вдругъ Ильменевъ остановился противъ своей дочери, ласково взялъ ее за руку и почти умоляющимъ голосомъ сказалъ:

— Машенька, другъ мой, не правда ли, вѣдь ты смѣялась?... Ты шутила надъ этимъ полоумнымъ старикомъ?

Слезы брызнули изъ глазъ бѣдной дѣвушки. Этотъ ласковый голосъ, этотъ нѣжный взглядъ отца поразили ее сильнѣе, чѣмъ гнѣвъ и всѣ упреки, къ которымъ она приготовилась.

— Ты плачешь?! — вскричалъ Ильменевъ. — Такъ это правда? Такъ ты осмѣлилась?...

— Выслушайте меня, батюшка! — сказала Машенька, которой суровый видъ отца возвратилъ всю прежнюю твердость.—Я никогда не выступлю изъ вашей воли, и безъ родительскаго благословенія никто не поведетъ меня къ вѣнцу; но я не хочу скрывать отъ васъ ничего. Да, батюшка, я люблю Владиміра Ивановича, и если не могу быть его женою, то останусь навсегда съ вами. Вы вѣрно не захотите, чтобы дочь ваша, любя одного, сказала другому предъ престоломъ Божіимъ, что желаетъ вѣчно принадлежать ему. Людей можно обмануть, батюшка; но Бога не обманешь.

— Машенька, другъ мой, — сказалъ Ильменевъ, устремивъ на дочь свою взоры, исполненные удивленія, — что сдѣлалось съ тобою!.. Куда дѣвался твой дѣвичій стыдъ?!.. И кто далъ тебѣ волю располагать собою? Дочь влюбилась безъ вѣдома отца и матери!.. Дѣвчонка говоритъ, что не выйдетъ замужъ ни за кого, потому что ее не выдаютъ за офицерика, у котораго отецъ съ приписью подъячій, а дѣдъ былъ псаремъ! Слушай, дочь: если ты не выкинешь этой дури изъ головы, если я услышу когда-нибудь, что ты назовешь по имени этого негодяя, то я навсегда отрекусь отъ тебя; забуду, что у меня была дочь, и развѣ только умирая, вспомню объ этомъ, но не для того, чтобъ оставить ей мое благословеніе. Нѣтъ, я унесу его съ собой въ могилу...

— Батюшка! — вскричала съ отчаяніемъ бѣдная дѣвушка.

— Да, да, — продолжалъ Ильменевъ часъ-отъ-часу съ большимъ жаромъ, — если и на томъ свѣтѣ отецъ можетъ благословлять дѣтей своихъ, такъ не жди этого благословенія, не приходи плакать надъ моей могилою: ты ничѣмъ его не вымолишь!

Машенька хотѣла что-то сказать, хотѣла подойти къ отцу, но ноги ея подкосились, и она упала безъ чувствъ на землю.

— Дочь моя, дочь моя!—закричалъ Ильменевъ, бросившись къ ней на помощь. — Что съ тобой, дитя мое?.. Она безъ памяти!.. Эй, кто-нибудь!.. Дѣвка, дѣвка!.. Бѣдняжка, что ты надѣлала со своею головою!.. Проклятый Зарубкинъ!.. Ужь попадешься же ты мнѣ когда-нибудь... Возьмите вашу барышню, — продолжалъ онъ, обращаясь къ горничнымъ дѣвушкамъ, которыя вбѣжали въ столовую,—уложите ее на постель и позовите ко мнѣ Варвару Дмитріевну.

Черезъ нѣсколько минутъ вошла жена Ильменева.

— Поди сюда, матушка!—сказалъ онъ, идя къ ней навстрѣчу.—Такъ-то ты смотришь за своею дочерью? Знаешь ли ты?...

— Охъ, батюшка Сергѣй Филипповичъ, все знаю! Машенька сегодня по утру во всемъ мнѣ призналась!

— Ну, что скажешь, сударыня?

— Что тутъ сказать? Наслалъ Господь горе, такъ дѣлать нечего.

— Какъ дѣлать нечего?

— Да не гнѣвайся, батюшка; мы всѣ люди, всѣ человѣки, всѣ подъ Богомъ ходимъ. Конечно, Владиміръ Ивановичъ женихъ не богатый, не чиновный, да ужь если такая судьба нашей Машенькѣ...

— Судьба! — повторилъ Ильменевъ.—Ахъ, ты, глупая! Да съ чего ты это вздумала? Прошу покорно!.. Судьба... Такъ, по твоему, первый пострѣлъ, который приглянется твоей дочери, ей и женихъ? Судьба!.. А мы то что съ тобою? Что я отчимъ что ль, а ты мачиха?

— Такъ, батюшка Сергѣй Филипповичъ, такъ, да вѣдь суженаго то конемъ не объѣдешь, и чему быть, тому не миновать!

— Чтобъ я породнился съ этимъ отпущенникомъ! Чтобъ меня, родового дворянина, называли сватомъ какіе-нибудь подъячіе!..

— Помилуй, Сергѣй Филиппович, — да вѣдь у Владиміра Ивановича, кромѣ старика отца, никого родныхъ нѣтъ!

— Право?... А не хочешь ли, я въ моей дворнѣ найду ему внучатныхъ братцевъ?! Полно вздоръ говорить, жена! Пока я живъ, этому не быть. Слышишь ли, не бывать! И если кто-нибудь впередъ мнѣ объ этомъ заикнется...

— А, если, батюшка, дочь наша зачахнетъ съ горя? Посмотрѣлъ бы ты на нее! Господи, Боже мой!.. Словно, рѣка льется.

— Вздоръ, сударыня, вздоръ!.. Дѣвичьи слезы — роса утренняя; проглянетъ солнышко, росы какъ не бывало. Подари ей свои изумрудныя сережки или сдѣлай новое объяринное платье, такъ дѣло и съ концомъ!

— Смотри, батюшка, чтобъ не пришлось, вмѣсто объяриннаго платья, сшить ей бѣлый саванъ! Вѣдь ты не знаешь, какъ она любитъ Владиміра Ивановича.

— Полно, матушка. Скоро полюбила, такъ скоро и разлюбитъ.

— Не говори такъ, Сергѣй Филиппович! Сохрани Господь и помилуй, а ужъ если, Божьимъ попущеніемъ, эта лиходѣйка любовь заберется въ дѣвичье сердце, такъ ея ничѣмъ не выживешь. Вѣдь любовь, батюшка, на взглядъ, и красна и презрядна, какъ махровый цвѣтъ; а на самомъ то дѣлѣ и горька и цѣпка, какъ репейникъ.

— Эге, да это цѣликомъ изъ исторіи объ Аленкуртѣ и Флоридѣ!.. Вотъ то-то и есть! Начитались вы обѣ съ дочерью этихъ дурацкихъ книгъ, набили вздоромъ свои головы. Да и чему быть путному! Вчера я приказалъ Малашкѣ принести мнѣ изъ спальни календарь; гляжу, тащитъ ко мнѣ... Что такое?.. «Повѣсть о княжнѣ Жеванѣ», дочери какого-то мексиканскаго царя, Фирдедондака! Господи, Боже мой, вотъ, до чего довела насъ эта грамота! Какъ, дескать, русской барышнѣ не умѣть читать, когда въ Нѣметчинѣ простыя мѣщанки читаютъ?.. Читаютъ! А на что? Знали бы, да знали свои пяльцы, такъ не пошла бы эта заморская дурь въ голову; не стали бы безъ вѣдома отца и матери сами выбирать себѣ жениховъ и влюбляться въ каждаго встрѣчнаго и поперечнаго. Да что объ этомъ говорить! Слушай, жена: я люблю дочь не меньше тебя, но никогда не соглашусь на этотъ срамъ: не бывать внуку псаря моимъ сыномъ!

— Но подумай, батюшка!

— Нечего тутъ думать. Какъ пройдетъ эта дурь, такъ сама скажешь мнѣ спасибо.

— А если не пройдетъ, Сергѣй Филипповичъ!

— Да что жъ ты въ самомъ дѣлѣ!—закричалъ грознымъ голосомъ Ильменевъ.—Иль учить меня вздумала? Слышишь ли, чтобъ объ этомъ впередъ и рѣчи не было!

— Воля твоя, Сергѣй Филипповичъ, — сказала робкимъ голосомъ покорная жена;—только смотри, чтобъ не пришлось послѣ пенять на самихъ себя.

— Добро, добро; умны вы съ дочкой то больно стали! Съ тѣхъ поръ, какъ побывали со мной въ Питерѣ, да наслушались тамъ всякихъ бусурманскихъ рѣчей, такъ съ вами и ладу нѣтъ. И то сказать, я самъ дуракъ: зачѣмъ пускалъ къ себѣ въ домъ эту книжную чуму, этого краснобая Тредьяковскаго? Вѣдь онъ то всему злу и корень... Святочное пугало! Вспомнить не могу: придетъ, бывало, въ своемъ дурацкомъ парикѣ, торчитъ, какъ роженъ; подъ мышкою книга, въ карманѣ тетрадь, начнетъ говорить виршами и занесетъ такую околесную, что самъ чортъ его не разберетъ.

— Напрасно, батюшка: Василій Кирилловичъ Тредьяковскій человѣкъ очень хорошій.

— Хорошій! А кто пріучилъ васъ къ этимъ вздорнымъ книгамъ? Бывало, то принесетъ къ вамъ какую-то героическую повѣсть «Аргениду», то разныя стиходѣйства; да всякія другія лихія болѣсти. Изъ меня, было, хотѣлъ сдѣлать такого же, какъ самъ книжника и фарисея. Помнишь, однажды вытащилъ изъ-за пазухи маленькую книжонку, прижалъ меня къ стѣнѣ, да и ну на фандарахъ: «не подумайте, ваше высокородіе, что я, ради какого высокомѣрнаго надмѣнія, про сію книжицу: «Ѣзда на островъ Любви» имянуемую, продерзостно доложить вамъ осмѣлюсь, что въ оной, такъ сказать, закраснѣвающаяся съ честнаго устыденія рѣчь, есть какъ безпорочна, такъ и не напыщена, но нѣкоторою природною красотою возносится. Я было на попятный дворъ. Куда, прихватилъ меня за кафтанную петлю, надулся, какъ индѣйскій пѣтухъ, да какъ примется читать... Царю мой Небесный!.. И теперь еще морозъ по кожѣ подираетъ. Ужь онъ пыталъ, пыталъ меня! А ты-то, мать моя, уши развѣсила, да такъ и надсѣдаешься: «Ахъ, батюшки мои, что за вирши такія!.. Господи, какъ хорошо! Куда, дескать, вы, сударь Василій Кирилловичъ, сладко

писать изволите»! Анъ вотъ тебѣ и сладко! Небойсь, горько стало. Бывало, каждый день только и слышишь: тоска сердечная, любовь безконечная, игры, да смѣхи, любовныя утѣхи; такъ что за диво, коли у дѣвчонки голова кругомъ пошла?! Да вотъ постой, я приберу къ рукамъ всѣ эти скверныя книжонки!.. Видишь, грамотницы какія!.. Ну, что стоишь, матушка? Чай, все утро ничего не дѣлала? Пошла, пошла, задавай уроки своимъ кружевницамъ, да у меня смотри, чтобъ объ этомъ лурацкомъ сватовствѣ и въ поминѣ не было!

Варвара Дмитріевна ушла къ Машенькѣ, которая слегла въ постель, а Ильменевъ велѣлъ осѣдлать себѣ лошадь, надѣлъ полевой кафтанъ и до самаго обѣда проѣздилъ кругомъ своего села. Къ столу явилась одна Варвара Дмитріевна.

— Что Машенька? — спросилъ Ильменевъ, не глядя на свою жену.

— Плачетъ, батюшка.

— Плачетъ! — повторилъ сквозь зубы Сергѣй Филипповичъ.—Плачетъ!.. Ну, пусть себѣ плачетъ: уймется когда-нибудь.

Послѣ обѣда весь вечеръ Ильменевъ бился въ шашки со своимъ дворецкимъ, и какъ ни старался смѣтливый Ѳома поддаваться своему барину, а не могъ проиграть ни одной игры. Онъ ужиналъ одинъ. Варвара Дмитріевна не выходила изъ комнаты своей дочери. Ильменеву очень хотѣлось взглянуть на больную; но онъ укрѣпился и, какъ слѣдуетъ разгнѣванному отцу, ушелъ спать, не простясь съ женою и не перекрестя на сонъ грядущій своей дочери. На другой день за обѣдомъ онъ спросилъ опять у Варвары Дмитріевны:

— Что Машенька?

— Плачетъ пуще прежняго, — отвѣчала бѣдная старушка, утирая глаза.

— Пуще прежняго, — сказалъ вполголоса Ильменевъ.— Глупая дѣвчонка!.. Пуще прежняго!.. Ну, видно, слезы-то у нея не покупныя!

Такъ прошла цѣлая недѣля. Вотъ наступилъ великій годовой праздникъ. Машенька не могла еще подняться съ постели. Ильменевъ и жена его сходились только за столомъ и въ церкви; одна плакала, другой прикидывался сердитымъ; но давно уже сердце его не вмѣщало другого чувства, кромѣ состраданія и любви: онъ грустилъ не менѣе

своей дочери, и даже по временамъ приходилъ въ отчаяніе, не видя никакого средства пособить ея горю. Ему казалось точно такъ же невозможнымъ выдать дочь свою за Зарубкина, какъ желать, чтобъ старшій сынъ его, который умеръ еще въ ребячествѣ, всталъ изъ могилы и явился къ нему цвѣтущимъ двадцатилѣтнимъ юношею. Нѣсколько ночей сряду приходилъ онъ украдкою къ дверямъ комнаты, въ которой жила Машенька, чтобъ послушать, спокойно ли она спитъ.

— Авось пройдетъ! — говорилъ онъ, если ему казалось, что сонъ ея спокоенъ.—Разбойникъ Зарубкинъ!—шепталъ онъ съ бѣшенствомъ, когда замѣчалъ по неровному ея дыханію, что она плачетъ.

Наканунѣ Свѣтлаго Воскресенья, Машенька вышла въ первый разъ къ столу. Грустно было взглянуть на бѣдную дѣвушку: она была такъ блѣдна, такъ слаба, что не только отецъ и мать, но даже слуги не могли безъ слезъ ее видѣть. Молча, но почти съ ласковымъ видомъ, Ильменевъ далъ ей поцѣловать свою руку. Машенька не плакала, она глотала свои слезы; но могла ли она скрыть, на полумертвомъ лицѣ, эти глубокіе слѣды безотрадной горести и томительныхъ ночей, проведенныхъ безъ сна?

— Проклятый драгунъ!—прошепталъ Ильменевъ.—И кто его угораздилъ быть сыномъ этого Зарубкина? Бѣдняжка совсѣмъ извелась... А что дѣлать?... Хоть бы дѣдушка то его не былъ псаремъ у покойнаго моего батюшки!

Послѣ самаго молчаливаго обѣда, Машенька поцѣловала опять руку у отца и пошла въ свою комнату; Варвара Дмитріевна отправилась вслѣдъ за нею, а Сергѣй Филипповичъ съ горя прилегъ на постель и заснулъ.

Что дѣлалъ между тѣмъ Зарубкинъ? Нѣсколько дней сряду онъ употреблялъ всѣ средства, чтобъ утѣшить своего сына; но видя, наконецъ, что его краснорѣчіе гибнетъ даромъ, махнулъ рукою и сказалъ тоже, что Ильменевъ:

— Ну, дѣлать нечего, пускай себѣ тоскуетъ: уймется когда-нибудь!

Деревня Ивана Тимоееевича Зарубкина отдѣлялась только однимъ выгономъ отъ большого экономическаго селенія, въ которомъ стояла рота драгунъ подъ командою его сына; нѣсколько черныхъ, до половины вросшихъ въ землю, лачужекъ окружало господскій домъ, который мы называемъ домомъ, потому что изъ соломенной его кровли выглядывала

кирпичная труба, и что обширный дворъ его обнесенъ былъ не плетнемъ, а заборомъ. На этомъ барскомъ дворѣ, вмѣстѣ съ индѣйскими пѣтухами и курами, преважно расхаживалъ ручной журавль; спокойно валялись въ грязи домашнія свиньи, и нѣсколько утокъ плавало въ огромной лужѣ, которая, какъ Средиземное море, стояла, не пересыхая, круглый годъ, на самой серединѣ двора. Во всемъ домѣ было только два покоя и одна пристроенная сбоку свѣтелка: въ ней жилъ Владиміръ; сзади, къ дому примыкали обширный огородъ и конопляникъ, а за ними начиналась дубовая роща, которая доходила почти до самыхъ гуменъ казеннаго селенія.

Въ послѣдній день Страстной недѣли, часу въ седьмомъ вечера, Владиміръ сидѣлъ на крыльцѣ передъ домомъ своего отца. Съ этого мѣста видъ на всѣ окрестности былъ прекрасный; но Владиміръ смотрѣлъ не на величественное теченіе широкой Оки, не на крутые ея берега, усыпанные селами; взоры его не останавливались на отдаленной и живописной группѣ городскихъ домовъ, изъ среды которыхъ подымалась высокая башня татарской мечети, которая и до сихъ поръ существуетъ. Нѣтъ, онъ глядѣлъ прямо передъ собою на темный сосновый боръ, за которымъ, какъ сквозь туманъ, виднѣлась тесовая кровля господскаго дома; подъ этою кровлею жила Машенька Ильменева; въ этомъ домѣ онъ увидѣлъ ее въ первый разъ. Вотъ что-то вдали, какъ неподвижное облачко дыма, стоитъ надъ самою кровлею дома... Такъ точно,—это вершина сибирскаго кедра, посаженнаго въ саду дѣдомъ Ильменева. Давно ли Владиміръ вмѣстѣ съ *нею* любовался этимъ великаномъ дремучихъ лѣсовъ Сибири? Давно ли *она*, переносясь мыслію въ этотъ пустынный и безлюдный край, говорила ему: «О, какъ были бъ мы счастливы, еслибы могли жить тамъ, вдали отъ всѣхъ, одни съ нашей любовью»! Давно ли и мысль о вѣчной разлукѣ съ нею казалась ему невозможною? А теперь!...

— Опять ты носъ повѣсилъ, Володя!—сказалъ Зарубкинъ, подойдя къ своему сыну.—Да полно грустить!... Завтра Свѣтлый праздникъ, всѣ православные должны веселиться, а ты, смотри-ка, словно въ воду опущенный... Грѣхъ, Володя, право, грѣхъ!

— Я не грущу, батюшка.

— Не грустишь? Погляди ка на себя, на что ты сталъ

похожъ: кости да кожа! Вчера, въ пятницу, ты не хотѣлъ обѣдать: «Я, дескать, батюшка, въ этотъ великій день до звѣзды не ѣмъ». А сегодня что?

— Сегодня я обѣдалъ.

— Хорошъ обѣдъ: двѣ ложки пустыхъ щей, да корочку хлѣба!... Эхъ, Володя, Володя, напустилъ ты на себя дурь!... Да что въ самомъ дѣлѣ: иль на всемъ бѣломъ свѣтѣ для тебя только и есть одна невѣста? И что тебѣ въ ней полюбилось?... Ни дородства въ тѣлѣ, ни румянца въ лицѣ; такъ, взглянуть не на что!... Рѣсницы длинныя, да глаза по ложкѣ,—эка невидаль! Посмотри-ка дочку воеводскаго секретаря, Говоркова; ты ея еще не видалъ; она гоститъ въ Рязани у своей крестной матери. Вотъ ужъ подлинно есть чѣмъ полюбоваться. Что и говорить, царь-дѣвица! Ростомъ съ тебя будетъ, черноглазая, чернобровая, въ щекахъ румянецъ такъ и пышетъ. А ужъ обычай то какой: дѣвка веселая, затѣйница, на мѣстѣ не посидитъ. А голосъ то, голосъ!... Какъ зальется: «Ахъ, ты море, море синее», такъ за версту слышно. И эта не придетъ по сердцу, найдемъ другую. Вѣдь тебя, Володя, любая невѣста съ руками оторветъ; не всѣ такіе чваны, какъ этотъ гордецъ Ильменевъ,— чтобъ ему, проклятому, цѣлый вѣкъ внучатъ не дождаться! Онъ бригадиръ, у него восемьсотъ душъ, такъ ужъ ему съ нашимъ братомъ, ординарнымъ помѣщикомъ, и породниться нельзя! Эка спѣсь, подумаешь!... Велико дѣло—ваше высокородіе; намъ и превосходительные кланяются. Да если пошло на то, такъ хочешь ли, Володя, я сосватаю тебѣ дочь сосѣда нашего, князя Беркутова? Хоть онъ и татарскаго отродья, а все-таки сіятельный, и въ табели о рангахъ не ниже стоитъ этого высокороднаго скареда. Что, Володя, хочешь ли?

— Нѣтъ, батюшка, я хочу служить.

— Да что тебѣ служба далась? Вотъ пошелъ бы лучше по гражданской части...

— Не хочу, батюшка. Но вотъ ужъ, кажется, смеркаться начало... Прощайте, батюшка, я пойду сосну; вѣдь въ полночь надо быть у заутрени.

— Погоди, Володя, — сказалъ Зарубкинъ: — поболтаемъ еще кой о чемъ. Иль нѣтъ, — продолжалъ онъ торопливо: — ступай, голубчикъ, ступай... сосни, въ самомъ дѣлѣ!

— Что это, батюшка,—сказалъ Владиміръ:—мнѣ ка-

жется, у нашихъ воротъ кто-то дожидается, вонъ тамъ, видите, за забором, въ высокой мѣховой шапкѣ?

— Какой-нибудь прохожій или проѣзжій. Богъ съ нимъ: теперь намъ не до гостей! Ступай, Володя, ступай!

Владиміръ вошелъ въ домъ, а Зарубкинъ съ примѣтною робостью подбѣжалъ къ воротамъ, отперъ калитку и впустилъ во дворъ человѣка высокаго роста, въ синемъ купеческомъ кафтанѣ.

— Здравствуйте, батюшка .Иванъ Тимоѳеевичъ, — сказалъ гость, не приподнимая своей шапки.

— Тише, Бога ради, тише!—прошепталъ Зарубкинъ, посматривая съ ужасомъ вокругъ себя.—Въ умѣ ли ты, Кузьма Степанычъ: на дворѣ свѣтлехонько, и народъ еще порядкомъ не угомонился, а ты лѣзешь прямо ко мнѣ въ домъ.

— Небойсь, меня никто не видѣлъ.

— Какъ никто? Да мой Владиміръ сейчасъ здѣсь былъ; ну, если бъ онъ тебя узналъ?

— Такъ назвалъ бы Алексѣемъ Артамонычемъ Выдыбаевымъ. Вѣдь у меня на лбу не написано, что я...

— Тише, тише!... Что ты горланишь!

Гость засмѣялся.

— Ну, братъ Иванъ Тимоѳеевичъ,—сказалъ онъ,—трусоватъ ты. Видно, въ воеводской то канцеляріи тебя путемъ припугнули. Да вотъ, постой, скоро ты совсѣмъ окуражишься; какъ покину навсегда вашу сторону, такъ и всѣ концы въ воду. Я зашелъ къ тебѣ, Иванъ Тимоѳеевичъ, проститься.

— Проститься?

— Да, любезный. Вишь, нагнали сюда этихъ сухарниковъ драгуновъ, чтобъ имъ передохнуть окаяннымъ. Теперь по всей Окѣ ходу нѣтъ нашему брату.

— Да, Кузьма Степанычъ, держи ухо остро!

— Когда бъ ихъ не такъ людно было, то я бы и охъ не молвилъ; у меня ребята все удалые, любому изъ нихъ по два солдата мало на закуску; да вотъ бѣда: придется не по два, а десятка по три на брата, такъ, знаешь ли, и не въ моготу.

— Ты сбираешься отсюда подалѣе?

— Да, голубчикъ! Дѣлать нечего: сила солому ломитъ. Завтра спущусь по Окѣ вплоть до самой Волги, а тамъ погляжу: есть пожива около Нижняго,—ладно; нѣтъ,—такъ

внизъ по матушкѣ, къ Царицыну; тамъ есть, къ чему руки приложить: и струговъ много, и купцовъ не мало, а всякой вольницы и безпаспортныхъ счету нѣтъ. Что въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Тимоѳеевичъ, не цѣлый же вѣкъ шмольничать, да по рублевикамъ сбирать; хватилъ разомъ,—а тамъ и шабашъ!

— То-то же, Кузьма, видно ужъ и самому надоѣло?

— Не то, чтобъ надоѣло: кому волюшка не люба? Житье разгульное, промыселъ удалой; да два то столбика съ перекладинкой мнѣ больно не по сердцу, любезный.

— Кому они по-сердцу! Ну, Кузьма Степанычъ, если такъ, прощай, пріятель; добраго пути, счастливой дороженьки!

— Постой, постой, Иванъ Тимоѳеевичъ! Иль ты думаешь, что я на прощанье съ моей родимой стороной не захочу по себѣ памяти оставить?

— Небойсь, тебя не скоро забудутъ.

— И, любезный, у народа память коротка. Да не мѣшаетъ и хлѣбцемъ запастись на дорогу. Послушай, голубчикъ, сослужи ужъ мнѣ послѣднюю службу. Вотъ тебѣ пятьдесятъ крестовиковъ; мало,—такъ еще десятокъ накину; а дѣло то все для тебя гроша не стоитъ.

— Что ты еще затѣваешь?

— Вотъ изволишь видѣть...

— Тсъ!... Тише, тише!—прервалъ Зарубкинъ, поглядывая съ робостью на отдаленный уголъ двора.—Смотри, смотри, кто это тамъ крадется подлѣ забора?

— Гдѣ?

— Вотъ прямо противъ насъ.

Гость опять засмѣялся.

— Ну, правду говорятъ,—сказалъ онъ,—«пуганая ворона и куста боится». Экъ тебѣ со страстей то мерещится! Да развѣ не видишь, что это твой журавль?

— Журавль? Тьфу, батюшки,—въ самомъ дѣлѣ!... Проклятый... какъ онъ меня напугалъ! Однакожъ, знаешь ли, что: здѣсь мѣсто прохожее, а людишки мои не всѣ еще улеглись; пойдемъ-ка лучше въ рощу.

— Да не шатается ли въ ней твой полуночникъ?

— Кто? Владиміръ? Нѣтъ, онъ пошелъ спать. Пойдемъ, Кузьма Степанычъ, пойдемъ!—продолжалъ Зарубкинъ, таща за собою гостя.—Володя прошлую ночь глазъ не смыкалъ, такъ вѣрно спитъ теперь мертвымъ сномъ.

Но Владиміръ не спалъ. Онъ ушелъ въ свою свѣтелку для того только, чтобъ пробраться изъ нея въ рощу, гдѣ могъ на свободѣ грустить и мечтать о протекшихъ минутахъ мимолетнаго счастія; о погибшей навсегда надеждѣ; о вѣрномъ, неизмѣнномъ другѣ всѣхъ злополучныхъ,—о своемъ послѣднемъ смертномъ часѣ, который такъ ужасенъ для счастливца и такъ утѣшителенъ, такъ радостенъ для того, кто испилъ до дна всю чашу земной горести. Смерть—конецъ тяжкаго изгнанія, берегъ родной земли, о, какъ мила ты для усталаго бѣдняка! Съ какимъ восторгомъ, устремивъ къ небесамъ взоры, утомленный страданіемъ, онъ повторяетъ неизъяснимо утѣшительныя слова: «Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и Азъ упокою вы». Съ какимъ веселіемъ спѣшитъ онъ сбросить съ себя тяжелое бремя земной жизни, грѣховъ и горя, болѣзней, житейскихъ заботъ и грустнаго воспоминанія, всегда минутныхъ радостей и вѣчно постоянныхъ бѣдъ!

Владиміръ съ полчаса ходилъ уже по рощѣ; все было тихо, и даже неугомонные грачи, которыхъ шумный крикъ съ утра до вечера раздавался по лѣсу, замолкли и пріютились на вершинахъ вѣтвистыхъ дубовъ и высокихъ березъ. Вдругъ ему показалось, что шаги его повторяются въ близкомъ отъ него разстояніи... Это не отголосокъ! Нѣтъ!.. Такъ точно, онъ не одинъ гуляетъ по рощѣ... Вотъ хрупнула сухая вѣтка .. раздался шорохъ между кустовъ... и нѣсколько невнятныхъ словъ долетѣло до его слуха. Владиміръ остановился, шаги послышались ближе, кто-то назвалъ его по имени. Голосъ показался ему знакомымъ. Владиміръ прислонился къ дереву и, почти совсѣмъ закрытый высокимъ кустомъ жимолости, сталъ прислушиваться.

— Полно, Иванъ Тимоѳеевичъ!—продолжалъ тотъ самый голосъ.—Ну, что ты ломаешься? Эка важность, приперетъ часика на три свѣтелку, въ которой живетъ твой сынъ. Пусть проспитъ заутреню... Эхъ, братъ, зазнался ты! Бывало, изъ двухъ рублей сбѣгалъ бы на рысяхъ до самой Рязани, а теперь даютъ тебѣ пятьдесятъ крестовиковъ за такое плевое дѣло, а ты еще кочевряжишься!

— Да для чего же ты хочешь, чтобъ я продержалъ Володю взаперти до самаго утра?

— Какое тебѣ до этого дѣло?

— Нѣтъ, воля твоя, Кузьма Степанычъ, прежде скажи

— Ну, слушай, любезный! Да только знай напередъ

если я тебѣ все выскажу, такъ ужъ, хочешь не хочешь, а дѣлай по моему. Я сбираюсь сегодня поздравить съ праздникомъ сосѣда твоего, Сергѣя Филипповича Ильменева.

— Помилуй, Кузьма, что ты затѣваешь?!

— Какъ, что? Да развѣ ты забылъ? Вѣдь я при тебѣ далъ слово пріѣхать разговѣться его куличемъ. Правда, я не сказалъ ему, что привезу съ собой гостей; да у него домъ, какъ полная чаша, про всѣхъ будетъ, всего вдоволь. Мои молодцы въ полуверстѣ отъ его дома вышли на берегъ и ждутъ только меня, чтобъ приняться за работу. Вотъ какъ ударятъ въ колоколъ и всѣ сберутся въ церковь, такъ они съ двухъ концовъ и зажгутъ село, а сами тотчасъ на сборное мѣсто, то-есть въ домъ его высокородія, да и гуляй, молодцы! Мужички и дворовые станутъ хлопотать около пожара, а мы на просторѣ поочистимъ барскія кладовыя, кинемся на лодки, а тамъ и поминай, какъ звали. Ну, понимаешь ли теперь, зачѣмъ мнѣ надо, чтобы твой сынъ до утра не выходилъ изъ своей свѣтелки?

— Нѣтъ, не понимаю.

— Ахъ ты голова, голова! Да развѣ ты не замѣтилъ, что твой сынокъ засматривается на дочку Ильменева? Ну, какъ онъ увидитъ, что Зыково горитъ, да нагрянетъ со своею командою прежде, чѣмъ мы успѣемъ убраться по добру, по здорову, такъ дѣло то будетъ плоховато; а если ты его продержишь взаперти, такъ и бояться нечего: безъ командирскаго приказа ни одинъ драгунъ не посмѣетъ отлучиться отъ своей квартиры. Ну, что, смекнулъ ли теперь, любезный?

— Понимаю, Кузьма Степанычъ, понимаю. На-ка твои пятьдесятъ крестовиковъ, возьми ихъ назадъ!

— Я ужъ тебѣ сказалъ, что еще десять прибавлю.

— И пяти сотъ не возьму.

— Что такъ?

— Да такъ, не надо. Я тебѣ, Кузьма Степанычъ, не указъ! дѣлай, что хочешь, а на меня не надѣйся. Хотя Ильменевъ и больно меня разобидѣлъ, но я никогда не забуду, что ѣлъ его хлѣбъ и соль. Нѣтъ, любезный, бери одинъ этотъ грѣхъ на свою душу, а я съ тобой дѣлиться не стану. Да и ты нашелъ время: въ Христовъ день!.. Эхъ, братъ Кузьма, Бога въ тебѣ нѣтъ!

— А давно ли, батюшка Иванъ Тимоѳеевичъ, вы стали такъ совѣстливы? Ужъ не хотите ли покаяться и раздать

нищимъ свое имѣніе? Слушай, братъ: черезъ недѣлю ты воленъ каяться; но если ты прежде съ кѣмъ заикнешься объ этомъ, вымолвишь хоть полслова, такъ не будь я Кузьма Рощинъ, если не издохнешь вотъ на этомъ ножѣ. Видишь, что выдумалъ! Нѣтъ, голубчикъ; не хочешь дѣлать, что я приказываю, не дѣлай; но только знай, что если хоть одинъ драгунъ будетъ на пожарѣ, такъ читай себѣ заранѣе отходную. Прощай!

— Постой, постой, Кузьма Степанычъ. Что ты, перекрестись!.. Ну, самъ ты разсуди: за что мнѣ быть въ отвѣтѣ, ежели съ тобой какая ни есть бѣда случится? Самъ лѣзешь въ петлю, а я отвѣчай!

— Ужъ тамъ думай, какъ хочешь; было бы сказано.

— Да выслушай: ты боишься драгуновъ, а Сергѣй то Филипповичъ Ильменевъ, чай, отпору тебѣ не дастъ? Вѣдь онъ не кто другой; у него дворовыхъ человѣкъ пятьдесятъ, и все молодецъ къ молодцу, оружія всякаго вдоволь; да и самъ то онъ за себя постоитъ. Эй, Кузьма, смотри, чтобъ оглядокъ не было!

— Да развѣ ты не знаешь, что врасплохъ одинъ десятерыхъ прибьетъ?

— Такъ, любезный, такъ; а если кто-нибудь дастъ ему вѣсточку?..

— Вѣсточку?.. Ой-ли? Послушай, Иванъ Тимоѳеевичъ,— Богъ вѣсть, что у тебя на умѣ; но если я попаду въ западню, такъ не прогнѣвайся. Пошелъ со мной за однимъ, такъ одну чашу и пей. Нарочно живой въ руки отдамся, чтобъ объявить въ судѣ, у кого я по зимамъ держу мою пристань.

— Что ты, что ты, Кузьма Степанычь! Да не ты ли божился?...

— Да, я божился, что не выдамъ тебя ни за что, когда ты станешь служить мнѣ вѣрою и правдою.

— Да что жъ тебѣ надобно?

— Теперь ничего; дѣлай, что хочешь. До свиданья, товарищъ!

— Постой, постой!.. Экій ты задорный! Ну, ну, добро, быть по твоему.

— Что, надумался? То-то-же! Прощай, пріятель, мнѣ болтать съ тобою некогда.

— А пятьдесятъ то рублей!

— На, вотъ, бери.

— Охъ, Кузьма, Кузьма, не сдобровать намъ съ тобою.. Да ты хотѣлъ еще десять рубликовъ накинуть.

— На, на, возьми, крапивное сѣмя! Да только смотри, братъ, не сатани! Не сдержишь своего слова, такъ я сдержу мое. Прощай покамѣстъ.

Голоса умолкли. Опять раздался шорохъ по рощѣ. Вотъ онъ слился вдали съ тихимъ шопотомъ вѣтра. Прошло еще нѣсколько минутъ. Владиміръ стоялъ все на томъ же мѣстѣ. Неподвижный, какъ истуканъ, онъ съ трудомъ переводилъ дыханіе, которое вмѣстѣ съ глубокимъ стономъ вырывалось изъ груди его. Подъ темнымъ сводомъ небесъ, усыпанныхъ яркими звѣздами, казалось, все покоилось кроткимъ и тихимъ сномъ, но въ душѣ несчастнаго юноши ревѣла буря. Праведный Боже, и это былъ не сонъ? И голосъ, который онъ слышалъ, былъ голосъ его отца! И тотъ, кому онъ обязанъ жизнію, кто называетъ его сыномъ, — товарищъ презрѣнныхъ убійцъ, наемникъ и слуга разбойника Рощина!

— Зачѣмъ я, горемычный, вернулся на родину! — сказалъ Владиміръ прерывающимся голосомъ.—Матушка, матушка, зачѣмъ я пережилъ тебя. О, родная, зачѣмъ ты умолила Господа! Для чего я не сложилъ на чужой сторонѣ своей злосчастной головы! Теперь я былъ бы съ тобою!

Бѣдный Владиміръ залился слезами... Въ эту минуту онъ думалъ только о своемъ вѣчномъ позорѣ, о безчестномъ имени, которое передастъ ему отецъ, умирая подъ рукою палача, какъ сообщникъ и товарищъ Рощина. Вдругъ мысль о томъ, что черезъ нѣсколько часовъ шайка разбойниковъ будетъ пировать въ домѣ Ильменева, мелькнула въ головѣ его: онъ вспомнилъ въ то же время угрозы Рощина: если этотъ злодѣй спасется, то гибель отца его неизбѣжна; если онъ или одинъ изъ разбойниковъ его будетъ захваченъ живымъ, то правительство узнаетъ все, и тогда — что ожидаетъ Владиміра? Презрѣнье товарищей, вѣчный срамъ и позоръ...

— Боже мой, Боже мой, вразуми меня! — прошепталъ Владиміръ.

— Володя, Володя, гдѣ ты?—раздался въ близкомъ разстояніи голосъ Зарубкина.

Владиміръ вздрогнулъ. Этотъ голосъ возвратилъ ему всю твердость: отецъ ищетъ его, чтобы исполнить свой договоръ съ разбойникомъ, чтобъ сдѣлать и его участникомъ своего гнуснаго заговора.

— Нѣтъ, нѣтъ, лучше смерть, чѣмъ вѣчный позоръ!— вскричалъ Владиміръ, пустившись бѣгомъ по тропинкѣ, которая вела въ село, гдѣ стояли его драгуны.

Въ нѣсколько минутъ онъ достигъ противоположной опушки лѣса; тропинка оканчивалась высокимъ плетнемъ. Владиміръ перелѣзъ черезъ него и очутился на старомъ, давно покинутомъ гумнѣ, которое соединялось съ обширными деревенскими огородами. Онъ не успѣлъ еще сдѣлать двадцати шаговъ, какъ вдругъ оступился и полетѣлъ стремглавъ въ глубокую овинную яму; разбросанные на днѣ ея снопы полусгнившей соломы спасли его отъ ушиба; но прошло нѣсколько минутъ прежде, чѣмъ Владиміръ очнулся отъ сильнаго потрясенія. Онъ всталъ. Слабый ночной свѣтъ, который проникалъ сверху, помогъ ему разсмотрѣть, что не было даже и остатковъ лѣстницы, по которой спускались нѣкогда въ яму. Владиміръ пытался сначала выбраться на поверхность земли, цѣпляясь за стѣну, но всѣ усилія его остались тщетными; земля осыпалась подъ его руками, ноги скользили, онъ обрывался и падалъ снова на дно ямы. Болѣе двухъ часовъ прошло въ этихъ напрасныхъ попыткахъ; онъ не смѣлъ просить помощи: за плетнемъ, шагахъ въ пятидесяти отъ него, раздавались голоса, между которыми Владиміръ ясно различалъ голосъ своего отца. Наконецъ, мало-по-малу голоса стали отдаляться, затихли, опять настала глубокая тишина... Вдругъ раздался вдали и прогудѣлъ первый ударъ колокола. Вся кровь застыла въ жилахъ Владиміра.

— Милосердый Боже!—вскричалъ онъ.—Это условный знакъ; еще полчаса, и все погибло...

Вотъ, въ селѣ, отъ котораго отдѣляли Владиміра одни огороды, начался также благовѣстъ; народъ зашевелился по улицамъ, и надежда вспыхнула снова въ душѣ несчастнаго юноши; онъ началъ кричать, громкій отголосокъ повторялъ его отчаянные вопли, но никто не спѣшилъ къ нему на помощь. Измученный безпрерывными усиліями и въ совершенномъ изнеможеніи, Владиміръ упалъ на сырую землю. Какъ живой мертвецъ въ открытой могилѣ, лежалъ онъ неподвижно и смотрѣлъ съ мрачнымъ отчаяніемъ на безоблачныя небеса. Онъ не молился; нѣтъ въ головѣ его не было никакихъ мыслей; ни одинъ вздохъ не вылеталъ сквозь стиснутые зубы, даже сердце, казалось, застыло и перестало биться въ одервенѣвшей груди его... Но что это?..

Неужели утро?.. Звѣзды блѣднѣютъ; вотъ побѣлѣли небеса; вотъ они становятся все свѣтлѣе и свѣтлѣе; вотъ на нихъ ложится какой то кровавый отблескъ... Такъ точно, это зарево пожара... Все кончено. Въ домѣ Ильменевыхъ раздаются буйные крики убійцъ. Несчастный старикъ и жена его подъ ножами разбойниковъ; а дочь... дочь!... Быть можетъ, въ эту минуту она лежитъ безъ чувствъ въ позорныхъ объятіяхъ злодѣя; быть можетъ, ея чистое, дѣвственное чело, заклейменное поцѣлуемъ гнуснаго разбойника... О, какой адъ закипѣлъ въ душѣ Владиміра! Онъ вскочилъ, какъ безумный, впился руками въ рыхлыя стѣны своей темницы, хватался зубами за осыпающуюся землю; окровавленные его пальцы вонзались въ нее, какъ когти дикаго звѣря. Напрасныя усилія! Цѣлыя глыбы влажной земли отрывались, падали на дно ямы, и утесистыя стѣны становились еще круче и неприступнѣе.

— Помогите, Бога ради, помогите!—закричалъ, наконецъ, Владиміръ, выбившись совершенно изъ силъ.

— Кто тутъ оретъ?—раздался вверху голосъ на самомъ краю ямы.

— Это ты, Жегулинъ?—спросилъ Владиміръ, узнавъ по голосу своего ротнаго трубача.

— Ахъ, ты, Господи Боже мой... Ваше благородіе! Какъ это васъ угораздило?

— Скорѣй, скорѣй, вытащи меня изъ этой ямы!

— Сейчасъ, ваше благородіе. Разомъ сбѣгаю за лѣстницей.

— Нѣтъ, нѣтъ; прежде бѣги на ротный дворъ; труби тревогу: сѣдлать лошадей, карабины зарядить, всѣ на коня!

— Слушаю, ваше благородіе.

— Постой!... Ты видишь пожаръ?

— Какъ не видѣть, ваше благородіе! Такъ и пышетъ. Должно быть, Зыково горитъ.

— Такъ нѣтъ сомнѣнія!... Скорѣй, Бога ради, скорѣй!

Жегулинъ побѣжалъ. Черезъ четверть часа вся окрестность дрогнула, и земля застонала отъ конскаго топота. Владиміръ впереди своихъ драгунъ промчался по дорогѣ въ село Зыково.

Теперь намъ должно вернуться нѣсколько назадъ и посмотрѣть, что дѣлается въ помѣстьѣ Сергѣя Филипповича Ильменева.

Было уже близко полуночи. Тихо струилась широкая

Ока; луговая сторона ея, покрытая разливомъ, представляла видъ необозримого озера, посреди котораго чернѣлись мѣстами не совсѣмъ потопленные кусты и до половины залитыя водою деревья. Ничьи шаги не раздавались ни на барскомъ дворѣ, ни на широкой улицѣ села. Деревня не городъ, въ ней полуночный часъ—часъ общаго отдохновенія. Но отчего же въ это позднее время мелькали по всѣмъ избамъ огоньки, и въ господскомъ домѣ освѣщены были всѣ окна? Чего ожидали эти красныя дѣвушки и разряженныя въ пухъ молодицы? Зачѣмъ выбѣгали онѣ безпрестанно за ворота и посматривали съ такимъ нетерпѣніемъ на колокольню своей приходской церкви? Для чего во всемъ селѣ Зыковѣ, отъ старика до малаго ребенка, никто не ложился спать? Для чего?... Всякій, кто живалъ въ деревнѣ, безъ труда будетъ отвѣчать на этотъ вопросъ; послѣдній часъ великой субботы былъ уже на исходѣ; еще нѣсколько минутъ и, вмѣстѣ съ первымъ ударомъ колокола, все закипитъ жизнію, всѣ дома опустѣютъ, и Божій храмъ наполнится народомъ.

На завалинѣ одной изъ крайнихъ избъ села Зыкова сидѣлъ худощавый старикъ, лѣтъ осьмидесяти; онъ также поглядывалъ съ нетерпѣніемъ на колокольню, которая подымалась изъ-за соломенныхъ кровель на противоположномъ концѣ улицы.

— Ну, видно, кумъ Герасимъ прилегъ соснуть,—промолвилъ наконецъ старикъ, покачавъ головою:—вотъ ужъ первые пѣтухи пропѣли, такъ чего жъ онъ дожидается? Эхи-хи! Нѣтъ, старый нашъ дьячекъ Парѳенъ не въ него былъ; ужъ тотъ бы не задремалъ передъ заутреней!

— Дѣдушка, а дѣдушка, ты здѣсь?— спросилъ молодой парень, выглянувъ изъ полурастворенныхъ воротъ.

— Что ты, Ванюша? Подь сюда.

— А что, дѣдушка,—сказалъ Иванъ, подходя къ старику,—ты пойдешь, аль нѣтъ къ заутрени?

— Вѣстимо, пойду! Вѣдь Богъ вѣсть, доживу ли еще до другого Свѣтлаго праздника.

— Да коли ты пойдешь, дѣдушка, такъ дома то никого не останется.

— И, Ванюша, да чего намъ беречь-то? Что у насъ, аль казна какая?

— Казна не казна, дѣдушка, а все-таки лошадка, скотинка, да то, да се. Слава тебѣ, Господи, есть и отъ насъ чѣмъ ворамъ поживиться!

— Да что тебѣ, Иванъ, все воры мерещутся? Вчера повечеру ты баялъ, что на Окѣ какія-то лодки съ народомъ разъѣзжаютъ.

— Да, дѣдушка! Я самъ видѣлъ двѣ косныя лодки и, кажись, не съ бурлаками; а теперь слышишь, какъ жучка то на огородѣ лаетъ?

— Такъ что жъ?

— Какъ что? Ужъ я унималъ, унималъ ее, и хворостиной раза два огрѣлъ по боку; такъ нѣтъ,—вотъ такъ и рвется! Видно, что-нибудь да есть.

— И, парень, чему быть!

— То то, дѣдушка, ужъ не забрался ли къ намъ кто-нибудь на зады?

— На зады? Зачѣмъ? Вязанку-другую соломки снести?.. Такъ что-жъ? Богъ съ нимъ! Онъ не разбогатѣетъ, а мы не обѣднѣемъ... Чу!

На колокольнѣ раздался первый ударъ колокола.

— Слава тебѣ, Господи,—сказалъ старикъ, перекрестясь: —вотъ ударили и къ заутрени. Ухъ, батюшки, такъ сердце и запрыгало отъ радости... Да что жъ онъ?.. Иль опять заснулъ? Хорошъ звонарь, ударитъ, да домой сходитъ. Ну, такъ ли надо благовѣстить въ Христовъ день?.. Эхъ, кумъ, кумъ, поучился бы ты у покойника Парѳена! Бывало, тотъ пріударитъ, такъ что твой набатъ! А этотъ... Эка мямля, подумаешь!... Ну, затянулъ!

— Смотри ка, дѣдушка, никакъ ужъ съ барскаго двора народъ идетъ?

— Зашевелились! Вотъ и шабры наши вышли за вотота... Ну, что, Ваня, стоишь? Какъ всѣ православные сберутся въ церковь, такъ не продерешься. Ступай, посылай жену.

— Постой-ка, постой: слышишь, какъ жучка опять залаяла? Эй, дѣдушка, останься дома!

— Эхъ, полно! Наладилъ одно, да одно: жучка лаетъ! Эко диво! Ну, заяцъ пробѣжалъ по огороду, такъ вотъ она и надсѣдается.

— Власть твоя, дѣдушка, а у меня сердце что-то недоброе чуетъ. Ну, да воля Господня! Вотъ и Груня идетъ. Пойдемъ, родимый

Старикъ всталъ съ завалины и, опираясь на свой посохъ, поплелся вмѣстѣ съ внучатами къ заутрени.

Не прошло еще и десяти минутъ отъ перваго удара ко-

локола, а въ церкви уже невозможно было пошевелиться отъ тѣсноты; вновь приходящіе становились на паперти: вскорѣ и на самомъ погостѣ началъ толпиться народъ. Всѣ ожидали съ нетерпѣніемъ своихъ господъ; вмѣстѣ съ ихъ приходомъ должна была начаться заутреня. Вотъ пробѣжалъ тихій шопотъ по всей церкви; народъ заколыхался и, несмотря на тѣсноту, отъ самыхъ дверей до амвона, посреди густой толпы образовалось пустое мѣсто.

— Посторонись, посторонись!—заговорили со всѣхъ сторонъ.—Господа идутъ.

И Сергѣй Филипповичъ Ильменевъ съ женою и дочерью вошли въ церковь.

— Родная то наша какъ похудѣла,—шептали между собой крестьянскія бабы, посматривая съ горемъ на Машеньку: —вовсе схизнула! Ахъ, ты Господи Боже мой, кровинки въ лицѣ не осталось!

Семейство Ильменевыхъ, пройдя всю церковь, помѣстилось на лѣвомъ клиросѣ, и служба началась. Вотъ стали подымать хоругви и мѣстные образа; народъ вслѣдъ за ними потянулся шумнымъ ходомъ изъ церкви; но лишь только священникъ, окруженный своимъ причтомъ, и крестьяне съ образами вышли на паперть, послышался сначала невнятный говоръ,—и вдругъ сотни голосовъ слились въ одно общее восклицаніе ужаса.

— Пожаръ, пожаръ!—раздалось на паперти.

— Горимъ! Батюшки, горимъ!—закричали въ церкви.

Народъ заволновался, всѣ крестьяне хлынули толпою къ дверямъ и, давя другъ друга, высыпали на погостъ. Ильменевы вышли изъ церкви послѣдніе. На дворѣ было свѣтло, какъ днемъ. Нѣсколько избъ пылало на противоположномъ концѣ улицы. Вдругъ пламя показалось посреди села, а черезъ минуту вспыхнулъ огонь противъ самой церкви. Быстро, какъ огненная рѣка, разлился пожаръ отъ одного конца селенія до другого, и черныя тучи дыма улеглись надъ пылающими кровлями домовъ.

Если вамъ не удавалось никогда видѣть пожара въ деревнѣ, то, конечно, вы имѣете только одно слабое понятіе объ этомъ ужасномъ бѣдствіи. Въ городѣ такъ близка всякая помощь; тамъ есть полиція, которая смотритъ за порядкомъ и сберегаетъ имущества обывателей, въ то время, какъ хорошо устроенная пожарная команда работаетъ дружно, безъ замѣшательства, имѣя въ рукахъ своихъ всѣ средства,

чтобы дѣйствовать съ успѣхомъ; но въ деревнѣ, особливо лѣтъ сорокъ тому назадъ, когда еще начальство не обращало вниманія на то, чтобы сельскіе жители строились просторнѣе, пожаръ являлъ самую ужасную картину разрушенія, гибели и безпорядка. Выстроенныя безъ всякихъ промежутковъ сотни полторы избъ и клѣтушекъ, составлявшихъ село Зыково, казались въ эту минуту однимъ обширнымъ костромъ. Пылающіе отрывки соломенныхъ кровель летали и крутились по воздуху; крестьяне, какъ безумные, бросались въ огонь, спасали дѣтей, вытаскивали свое имущество, выгоняли лошадей на улицу; никто не слушалъ другъ друга; каждый думалъ только о себѣ. Крикъ и плачъ ребятишекъ, вопли отчаянныхъ матерей, трескъ отъ разрушающихся строеній, все заглушало голосъ Ильменева, который, съ хладнокровіемъ стараго солдата, хотѣлъ было сначала распоряжаться и отдавать приказанія; но, видя, что никто его не слушаетъ, онъ велѣлъ всѣмъ дворовымъ остаться въ деревнѣ и помогать крестьянамъ тушить огонь, а самъ отправился съ женою и дочерью домой.

— Не бойся,—говорилъ онъ Машенькѣ, которая дрожала отъ страха,—до насъ огонь не доберется; отъ нашей усадьбы до деревни съ полверсты, да и вѣтеръ не въ ту сторону.

— Господи, Господи,—сказала съ ужасомъ бѣдная Варвара Дмитріевна, когда, пробираясь задами, она увидѣла, что почти все селеніе охвачено огнемъ,—за что Ты насъ наказуешь? Чѣмъ мы провинились передъ Тобою? Вотъ, грѣхъ какой!... И въ самый Свѣтлый праздникъ!

— И загорѣлось въ трехъ мѣстахъ разомъ! — шепталъ Сергѣй Филипповичъ, покачивая головою.—Ну, это не даромъ!... Я провожу васъ до дому, а самъ пойду опять на пожаръ! Тутъ что нибудь-да есть. Ужъ не по насердкамъ ли кто-нибудь?... Ужъ не сосѣдъ ли нашъ Кочерышкинъ, съ которымъ мы въ тяжбѣ?... Чего добраго,—отъ этого негодяя все станется. Что это?—продолжалъ Ильменевъ взглянувъ на ярко освѣщенныя окна своего дома, до котораго оставалось ужъ не болѣе двухсотъ шаговъ.—Иль мнѣ мерещится!.. Да у насъ въ домѣ суетятся люди!... Видишь, жена... какъ-будто бы таскаютъ что-то... Ну, такъ и есть! Дурачье, я велѣлъ имъ всѣмъ остаться на пожарѣ; такъ нѣтъ, прибѣжали, какъ прибѣжали! И вѣрно выносятся!

— Охъ, батюшка, Сергѣй Филипповичъ, право не худо,

что они выбираются! Ну, если вѣтеръ повернетъ въ нашу сторону?

— Такъ успѣли бы и тогда... Скоты!... Пройдемте вотъ здѣсь садомъ; тутъ будетъ ближе... Да ступайте скорѣе: вѣдь они, пожалуй, съ дуру то весь домъ поставятъ вверхъ дномъ!

Сергѣй Филипповичъ отворилъ калитку, и лишь только онъ вошелъ въ садъ, какъ вдругъ тяжкій стонъ раздался у самыхъ ногъ его.

— Что это такое?—вскричалъ Ильменевъ, отскочивъ съ ужасомъ назадъ.

Передъ нимъ лежалъ человѣкъ, весь въ крови, съ разрубленною головою.

— Вы ли это, батюшка баринъ? — прошепталъ умирающій.

— Ахъ, Боже мой, садовникъ Кудимычъ! Что съ тобой сдѣлалось?

— Разбойники!

— Врешь,—раздался подлѣ грубый голосъ:—не разбойники, а удалая вольница рязанская! Милости просимъ, хозяинъ; принимай дорогихъ гостей.

И прежде, чѣмъ Ильменевъ успѣлъ очнуться, его окружили, схватили вмѣстѣ съ женою и дочерью, и несмотря на отчаянное сопротивленіе, потащили по дорожкѣ, ведущей къ дому.

Если вамъ случалось когда-нибудь, гуляя въ праздничный день за городомъ, войти поневолѣ въ питейный домъ или какую-нибудь харчевню, чтобы укрыться отъ внезапной грозы, то вы вѣрно видали, какъ пируетъ и веселится низшій классъ нашего общества. Безъ всякаго сомнѣнія, эта буйная, неистовая радость, эти безумныя восклицанія пьяной черни, это скотское и срамное веселіе возбуждало въ высочайшей степени ваше отвращеніе, и вы, несмотря на проливной дождь, спѣшили выйти опять на воздухъ, чтобы не задохнуться въ заразительной атмосферѣ разврата, чтобы не видѣть гнуснаго порока во всей безобразной наготѣ его. Теперь представьте себѣ сборище людей, въ сравненіи съ которымъ эту бесѣду налитой виномъ сволочи можно было бы назвать почти хорошимъ обществомъ, и тогда вы будете имѣть понятіе о томъ, что происходило въ домѣ Сергѣя Филипповича Ильменева въ то время, когда онъ со всей своей дворней былъ на пожарѣ.

Въ обширной столовой его барскихъ хоромъ пировали человѣкъ тридцать разбойниковъ; одни въ нарядныхъ плисовыхъ полукафтаньяхъ, забрызганныхъ кровью, запачканныхъ грязію: другіе въ лохмотьяхъ, въ сѣрыхъ зипунахъ, въ красныхъ рубашкахъ, съ засученными рукавами; у одного за поясомъ заткнуты были пистолеты, у другого торчалъ широкій ножъ; по угламъ стояли длинныя винтовки и рогатины, а по-срединѣ комнаты бочка вина съ выбитымъ дномъ. Кругомъ нея валялись стеклянныя бутыли, и наливки разныхъ цвѣтовъ стояли лужами на полу. У самыхъ дверей лежалъ зарѣзанный старикъ, дворецкій Ильменева, а подлѣ внукъ его, грудной ребенокъ, съ размозженною головою былъ брошенъ на кучу разбитыхъ бутылокъ. По всей комнатѣ валялись узлы съ платьемъ, серебряная посуда, ларцы и окованные желѣзомъ сундуки. На одномъ изъ нихъ сидѣлъ человѣкъ лѣтъ тридцати, въ зеленой курткѣ, небольшого роста, плечистый, съ отвратительною красною рожей и обритымъ лбомъ. Это былъ извѣстный есаулъ Рощина, бѣглый солдатъ, по прозванью Филинъ, самый кровожадный звѣрь изъ всей этой стаи голодныхъ волковъ.

— Эй ты, Ежъ,—закричалъ онъ сиповатымъ голосомъ одному изъ разбойниковъ,—подай-ка мнѣ еще стаканчикъ винца: что-то на сердцѣ не весело. Да куда дѣвался атаманъ?

— Вонъ, въ томъ покоѣ; все возится около желѣзнаго сундучка,—отвѣчалъ разбойникъ, подавая есаулу серебряную чару съ виномъ.

— Да что онъ ему, словно кладъ, не дается?

— Ну, вотъ поди ты! Вишь, такъ прикованъ къ полу, что и ломъ не беретъ.

— Такъ половицу вонъ!

— Пытались отодрать; да нѣтъ, не подается; видно, ерши въ балку пропущены.

Два разбойника вошли въ столовую, волоча за собой огромный дубовый сундукъ.

— Ну, что жъ вы стали?—закричалъ Филинъ.—Тащите проворнѣе.

— Да вотъ этотъ мѣшаетъ,—отвѣчалъ одинъ изъ разбойниковъ, указывая на убитаго старика:—вишь, растянулся поперекъ дороги.

— Постойте, ребята, я подсоблю.

Есаулъ всталъ, оттолкнулъ ногою убитаго и помогъ имъ втащить сундукъ.

— Ну, что,—продолжалъ онъ:—совсѣмъ очистили барскую кладовую?

— Да, почитай совсѣмъ; такъ кой-какой хламъ остался.

— Такъ вы бы огоньку подложили; по мнѣ ужъ грабить, такъ грабить; чего самъ не захватилъ, такъ то огнемъ гори.

— Оно бы, кажись, и такъ; да развѣ ты не слышалъ приказа атамана?

— Какого приказа?

— Да чтобъ не жечь барскихъ хоромъ.

— А почему такъ?

— Про то онъ знаетъ.

— Онъ знаетъ, а я не знаю, да и знать не хочу.

— Ой-ли? Эй, Филинъ, смотри! Ты что то крупно поговариваешь! Услышитъ Кузьма...

— Такъ что жъ? Что я холопъ что ли его? Велика фигура атаманъ! И кто его атаманомъ то поставилъ? Кого онъ спрашивался? Дери его горой!... Да чѣмъ мы хуже его?

— Ну, полно, не шуми, осиновое яблоко, не мѣшай грибамъ цвѣсти,—проревѣлъ одинъ мужичина, аршинъ трехъ росту, съ огромною курчавою головою.

— А тебя, Каланча, кто спрашиваетъ?—сказалъ есаулъ, взглянувъ исподлобья на разбойника.—Хочу шумѣть, такъ и шумлю!

— Смотри, чтобъ у тебя въ головѣ не зашумѣло!—продолжалъ великанъ, зачерпнувъ ковшикъ вина изъ бочки.

— Что, что?—закричалъ, подойдя къ нему, Филинъ.—А крѣпко ли твоя то башка на плечахъ держится?

— Да что жъ ты въ самомъ дѣлѣ хорохоришься?—сказалъ Каланча, пріостановясь пить.—Много ли тебя въ землѣ, а на землѣ то немного. Вишь, богатырь какой! Завалился за маковое зерно, да думаетъ, что ему и чортъ не братъ.

— Слушай ты, долговязый,—заревѣлъ есаулъ,—да какъ ты смѣешь?...

— Полно же, полно, не суйся мнѣ подъ ноги! Неравно наступлю, такъ и поминай, какъ звали.

— Ахъ ты, жердь проклятая,—вскричалъ Филинъ, стараясь схватить за воротъ колоссальнаго разбойника.

— Да полно тянуться то, не достанешь!—сказалъ Каланча, оттолкнувъ Филина —Эй, братъ, отстань; дамъ раза, такъ другого не попросишь!

— Тише, тише, ребята,—закричали разбойники.—Атаманъ идетъ.

Рощинъ вошелъ въ столовую.

— Что вы тутъ развозились?—сказалъ онъ, взглянувъ сердито на Каланчу и есаула.—Чѣмъ бы торопиться все къ рукамъ прибрать, они схватились драться, дурачье!... Филинъ, возьми съ собой человѣкъ десятокъ, да перетаскай все на лодки! Ну, что стоишь? Поворачивайся!

Есаулъ, ворча сквозь зубы, какъ цѣпная собака, принялся съ товарищами за работу.

— Носите все садомъ, — продолжалъ Рощинъ, — прямо внизъ къ Окѣ; да проворнѣй: вѣдь намъ не сутки здѣсь гостить!... А это что?—прибавилъ онъ, указывая на убитыхъ.— Старикъ и ребенокъ?... Ахъ вы мясники, мясники! Что они съ вами въ драку что ли лѣзли?... Кто ихъ зарѣзалъ?

— Да старика то я хватилъ,—сказалъ, почесывая въ головѣ, Каланча.—Онъ чуть было не улизнулъ на село. А парнишку пришибъ есаулъ: визжать больно сталъ.

— Эка бѣшеная собака!... Кровопійца!... Ну, да теперь некогда объ этомъ толковать. Эй ты, Цапля!... Поди-ка сюда. Ты, бывало, мастеръ безъ ключа отпирать чужіе замки; не ухитришься ли какъ ни есть отпереть желѣзный сундучекъ, вонъ въ томъ покоѣ? Ужъ мы около него попотѣли; хоть тресни, не отдерешь отъ полу... Иль нѣтъ, постой-ка на минутку, авось и безъ тебя дѣло обойдется.

Четверо разбойниковъ ввели въ комнату связаннаго Ильменева и почти внесли на рукахъ жену его и дочь, которыя отъ страху едва могли держаться на ногахъ.

— Милости просимъ, ваше высокородіе!—сказалъ Рощинъ, поклонясь вѣжливо Ильменеву.—Я сдержалъ мое слово и пріѣхалъ къ вамъ разговѣться.

— Возможно ли?—вскричалъ Ильменевъ.—Алексѣй Артамоновичъ!

— Да, сударь, и Алексѣемъ бывалъ. Что дѣлать, Сергѣй Филипповичъ; не погнѣвайтесь: на томъ стоимъ!

— Такъ поэтому ты...

— Кузьма Рощинъ, котораго вы изволили величать Кузькою и хотѣли принять, угостить и въ банѣ выпарить.

— Ну, боишься ли ты Бога? — воскликнула Варвара Дмитріевна, всплеснувъ руками.—Есть ли въ тебѣ совѣсть?.. За нашу хлѣбъ-соль...

— Молчи, жена!—сказалъ Ильменевъ.—Захотѣла ты совѣсти въ разбойникѣ!

— И у насъ есть, баринъ, своя совѣсть,—прервалъ Ро-

щинъ:—у другого бы помѣщика не осталось ни кола, ни двора, а твои хоромы цѣлехоньки; отъ другого бы хозяина мы огонькомъ допытались, гдѣ лежатъ его денежки, а тебя я съ поклономъ прошу: «Пожалуй, батюшка Сергѣй Филипповичъ, ключъ отъ своего сундука!» Не пожалуешь, такъ Богъ съ тобой! И сами поищемъ. Только не погнѣвайся, матушка Варвара Дмитріевна, ежели мы тебя обшаримъ немножко; мнѣ помнится, что ключи то у тебя въ карманѣ побрякивали.

— На, злодѣй, возьми!—проговорила Ильменева, подавая ему связку ключей.

— Покорнѣйше благодаримъ, матушка! Будьте спокойны, васъ никто ничѣмъ не обидитъ. Эй, вы, пострѣлы, шапки долой! Да у меня смотри, не лаяться при барыняхъ; дѣло дѣломъ, а почетъ почетомъ.

Вдругъ въ близкомъ разстояніи отъ дома раздался выстрѣлъ.

— Что это?—вскричалъ Рощинъ.—Кто смѣетъ?... Развѣ я не приказывалъ?... Еще!... Проклятые! Переполошатъ все село!... Эй, Каланча, бѣги скорѣй, скажи этимъ дуракамъ...

— Гдѣ атаманъ?—загремѣли голоса въ передней, и нѣсколько разбойниковъ съ испуганными лицами вбѣжало въ столовую.

— Что вы?—сказалъ Рощинъ, идя къ нимъ на встрѣчу.

— Драгуны!...

— Возможно ли?... Анаѳема Зарубкинъ! Это его дѣло... Гдѣ они?

— Близехонько; сейчасъ выѣхали изъ-за рощи.

— Много ли ихъ?

— Видимо, невидимо...

— Эй, ребята, — закричалъ громовымъ голосомъ Рощинъ,—живо! Забирай, что полегче, да садомъ на Оку! Филинъ, сбери сторожевыхъ и бѣги туда же!... Двери въ переднихъ сѣняхъ на запоръ! Вы всѣ заднимъ крыльцомъ на-утекъ, а я покамѣстъ побуду здѣсь... Одинъ челнокъ оставить у берега... Лодкамъ отчаливать, да внизъ по Окѣ... Ступай, ребята!... А ты, Сергѣй Филипповичъ,—продолжалъ Рощинъ, запирая изнутри двери въ прихожую,—изволь стоять смирно. Вы также, барыни, смотрите, ни гугу,—какъ будто бы никого въ покоѣ нѣтъ! А если кто-нибудь изъ васъ подастъ голосъ, такъ не прогнѣвайтесь,—прибавилъ онъ, вынимая изъ-за пояса пистолетъ.—Чу!. Нахлынули.

На дворѣ послышался конскій топотъ

— Измѣнникъ!—прошепталъ Рощинъ.—Іуда Предатель! Да погоди: не тебя, такъ сына!

Онъ подошелъ къ окну, изъ котораго виденъ былъ весь дворъ, открылъ форточку и взвелъ курокъ у своего пистолета.

— Спѣшились!... Вотъ онъ... впереди своихъ драгунъ... Милости просимъ!... Подходи, подходи, голубчикъ!... Вотъ такъ... Владиміръ Ивановичъ,— закричалъ громкимъ голосомъ Рощинъ, — отнеси это своему батюшкѣ...

Вмѣстѣ съ выстрѣломъ Машенька вскрикнула и упала безъ чувствъ на полъ.

— Сюда, за мной!—загремѣлъ на крыльцѣ голосъ Владиміра.

— Что за дьявольщина,— сказалъ Рощинъ,— неужели промахнулся?.. Ну, дѣлать нечего; авось разочтусь съ батюшкою... Чу!... Ворвались въ сѣни... мѣшкать нечего.

— Ломайте дверь!—закричали голоса въ передней.

— Ты не уйдешь, злодѣй!—сказалъ Ильменевъ.

— Богъ милостивъ, Сергѣй Филипповичъ! А не уйду, такъ вотъ моя оборона,—прибавилъ Рощинъ, подбѣжавъ къ лежащей безъ чувствъ Машенькѣ.

Онъ схватилъ ее, взбросилъ какъ перышко на плечо и кинулся вонъ изъ комнаты.

— Дочь моя, дочь!—вскричала съ отчаяніемъ Варвара Дмитріевна.—Помогите, Бога ради, помогите!

Крѣпкая дубовая дверь затрещала подъ ударами ружейныхъ прикладовъ, и черезъ минуту Владиміръ съ драгунами ворвался въ столовую.

— Сергѣй Филипповичъ!—вскричалъ онъ, подбѣгая къ Ильменеву.—Вы живы?... Гдѣ дочь ваша?

— Батюшка, спаси!—завопила Варвара Дмитріевна.

— Гдѣ она?.. Бога ради, говорите! Скорѣй, скорѣй!

— Ее унесъ разбойникъ Рощинъ.

— Куда?

— Батюшка, не знаю! Вѣрно, садомъ къ Окѣ.

— Спаси мою дочь, и она твоя!—вскричалъ Ильменевъ.

— За мной, ребята!

И, прежде, чѣмъ драгуны успѣли выйти вслѣдъ за нимъ на заднее крыльцо, онъ бѣжалъ уже по саду.

Рощинъ, несмотря на свою ношу, былъ уже далеко. Въ нѣсколько минутъ онъ выбрался изъ сада и сосновой рощи; ему оставалось только спуститься съ горы къ небольшому заливу рѣки, гдѣ межъ потопленныхъ кустовъ причалены были лодки разбойниковъ. Вдругъ внизу, на Окѣ, загремѣли выстрѣлы.

— Неужели,—прошепталъ онъ,—ихъ успѣли отхватить? Да не можетъ статься! Они, вѣрно, отстрѣливаются,— промолвилъ онъ, начиная спускаться по крутой тропинкѣ.

Дорожка вилась между кустовъ, которые мѣшали ему видѣть ближній берегъ рѣки.

— Да что жъ они не выплываютъ на середину?—проговорилъ Рощинъ, поглядывая вдаль.—Дурачье, нашли время держаться берега!

Онъ продолжалъ идти, прислушиваясь къ ружейнымъ выстрѣламъ, до того мѣста, гдѣ тропинка поворачивала круто въ сторону и огибала небольшой песчаный холмъ, который стоялъ почти отвѣсно надъ самою рѣкою. Рощинъ вбѣжалъ на него, и въ первый еще разъ безстрашное сердце разбойника дрогнуло отъ ужаса: налѣво подъ его ногами разстилался небольшой заливъ; три косныя лодки вытащены были на берегъ, и человѣкъ пятьдесятъ драгунъ встрѣчали изъ-за нихъ ружейными выстрѣлами прибѣгающихъ разбойниковъ; вся пристань была устлана ихъ трупами.

— Ну, плохо дѣло! — сказалъ Рощинъ, опуская на землю Машеньку, которая начинала приходить въ себя.

Онъ окинулъ быстрымъ взоромъ всю окрестность: направо, шагахъ въ пятидесяти отъ него, подлѣ рыбачьей хижины, понятой водою, причалена была лодка.

— Авось успѣю! — шепнулъ онъ.

— Владиміръ! — вскрикнула Машенька слабымъ голосомъ.

Быстро обнялъ разбойникъ одной рукой Машеньку, выхватилъ изъ-за пазухи широкій ножъ и занесъ его надъ грудью полумертвой дѣвушки, но Владиміръ былъ уже подлѣ; поднятая рука разбойника замерла въ его рукѣ, и ножъ выпалъ на землю. Рощинъ бросилъ Машеньку и отвелъ лѣвою рукою направленный на него пистолетъ; выстрѣлъ раздался; пуля свистнула мимо. Сильнымъ порывомъ разбойникъ освободилъ свою правую руку, обхватилъ обѣ-

ими Владиміра, прижалъ его къ груди, и смертная борьба началась. Она была непродолжительна: отчаянное мужество, гибкость, необычайная мощь Владиміра,—ничто не устояло противъ колоссальной силы Рощина: онъ задушилъ его въ своихъ объятіяхъ, сшибъ съ ногъ, придавилъ колѣномъ къ землѣ и, поднимая свой ножъ, сказалъ вполголоса:

— Это тебѣ! А батюшкѣ честь впереди!

Съ воплемъ отчаянія кинулась Машенька на грудь Владиміра подъ самый ножъ разбойника; онъ остановился и устремилъ свои сверкающіе глаза на бѣдную дѣвушку.

— О, ради твоего послѣдняго часа, ради самого Господа!—произнесла умирающимъ голосомъ Машенька.

Въ неумолимыхъ взорахъ разбойника мелькнуло что-то похожее на жалость.

— Сюда, братцы, сюда! — загремѣли вблизи голоса, и человѣкъ десять драгунъ выбѣжали изъ-за кустовъ.

— Молись за нее Богу!—сказалъ Рощинъ.

Онъ вскочилъ, отступилъ шага два назадъ и со всего размаха бросился въ рѣку.

— На берегъ, ребята! — вскричалъ вахмистръ, который бѣжалъ передъ драгунами,—и лишь только онъ вынырнетъ...

— Стойте! — сказалъ Владиміръ, подымаясь съ трудомъ на ноги. — Пусть онъ умираетъ своею смертію: мы не палачи.

— И то правда, ваше благородіе!—отвѣчалъ вахмистръ, войдя со своими товарищами на песчаный холмъ.—Рѣка въ разливѣ, не переплыветъ.

— Вотъ онъ, вотъ онъ! — закричали драгуны.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ берега, Рощинъ показался на поверхности воды; онъ плылъ съ неимовѣрною быстротою.

— Смотри, смотри, куда пробирается! — сказалъ вахмистръ.—Вонъ тамъ, на водѣ, подлѣ той избенки, видите, причалена лодка?... Зорокъ, собака!

Рощинъ доплылъ до рыбачьей хижины, прыгнулъ въ лодку, въ полминуты выбрался на быстрину и помчался стрѣлою внизъ по теченію рѣки.

— Эхъ, ваше благородіе, — сказалъ одинъ драгунъ, — прозѣвали мы его.

— Молчи, дуракъ! — прервалъ вахмистръ.—Видно, ему такъ на роду написано; кому быть повѣшену, тотъ не утонетъ.

— Дочь моя, дочь моя! Она жива! — раздались позади голоса, и Машенька бросилась на шею къ Ильменеву.

— Теперь поцѣлуй жениха своего, — сказалъ Сергѣй Филипповичъ, подводя ее къ Владиміру.

— И да благословитъ васъ Господь!—прошептала Варвара Дмитріевна, обнимая ихъ обоихъ.

На другой день, около вечерень, Ивана Тимоѳеевича Зарубкина нашли зарѣзаннымъ въ лѣсу, въ двухъ шагахъ отъ его усадьбы. Вся шайка Рощина была истреблена, но онъ самъ пропалъ безъ вѣсти. Владиміръ женился на Машенькѣ, вышелъ въ отставку и вмѣстѣ съ Ильменевыми отправился на житье въ Москву. Прошло лѣтъ двадцать; имя удалого разбойника почти совсѣмъ изгладилось изъ памяти прибрежныхъ жителей Оки; одни зыковскіе крестьяне пугали еще Кузьмою Рощинымъ дѣтей своихъ и разсказывали имъ, какъ онъ выжегъ ихъ село, какъ разграбилъ барскій домъ, какъ молодой ихъ баринъ, Владиміръ Ивановичъ, нагрянулъ на его шайку со своими драгунами и перерубилъ всѣхъ до тла, кромѣ самого Рощина, который обернулся сѣрымъ волкомъ и, какъ слышно, убѣжалъ въ Брынскіе лѣса, гдѣ и теперь рыскаетъ по ночамъ и воетъ такъ, что кругомъ его верстъ за десять по всему сырому бору стонъ идетъ, земля дрожитъ и птица со страстей гнѣзда не вьетъ.

II.

Судъ Божій.

Тысяча семьсотъ семьдесятъ первый годъ памятенъ для московскихъ жителей, — онъ былъ одимъ изъ самыхъ тяжкихъ годовъ для нашей древней столицы; и теперь еще старики, разсказывая про былое, говорятъ: «Это случилось года два до московской чумы; это было въ самый чумной годъ». Выражаясь такимъ образомъ, они увѣрены, что опредѣляютъ съ большою точностью время происшествія. До сихъ поръ московскіе старожилы вспомнаютъ съ ужасомъ объ этой «годинѣ бѣдствія», съ которой, по словамъ ихъ, едва-ли можетъ сравниться французскій погромъ 1812 г. Я почти согласенъ съ этимъ: въ 1812 году, смотря на необъятное пепелище Москвы, на тысячи разрушенныхъ и сгорѣвшихъ домовъ, вы могли думать, что тѣ, которые

въ нихъ жили, зажгли ихъ собственною своею рукою, что они утратили часть своего достоянія, но спаслись сами, и, можетъ быть, спасли симъ пожертвованіемъ славу, могущество и самобытность своей родины. Эта утѣшительная мысль, эта мысль, возвышающая душу, накидывала какой-то очаровательный покровъ на развалины Москвы; вы смотрѣли не съ горемъ, но съ благоговѣніемъ и гордостью на эти священныя груды камней, на эту обширную могилу враговъ Россіи. Пусть скажетъ тотъ, кто вскорѣ по изгнаніи французовъ былъ въ Москвѣ, не была ли эта мысль для него ангеломъ-утѣшителемъ даже и тогда, когда онъ сидѣлъ на развалинахъ собственнаго своего дома.

Въ 1771 году Москва не горѣла, по улицамъ не дымились остовы домовъ: дома стояли попрежнему на своихъ мѣстахъ; но эти заколоченныя двери, забитыя досками окна, эти вывѣски смерти — красные кресты на воротахъ зачумленныхъ домовъ, которые, какъ два ряда огромныхъ гробовъ, тянулись по обѣимъ сторонамъ улицы — не во сто ли разъ ужаснѣе всякаго пожара? Прибавьте къ тому почти совершенное безначаліе, безмолвіе могильное въ предмѣстіяхъ, неистовые крики бунтующей черни въ срединѣ города, — этой безумной толпы, которая, упившись кровію тѣхъ, кои заботились о ея же спасеніи, грабила, разбивала кабаки и устилала своими зараженными трупами опустѣлыя улицы Москвы. Представьте себѣ все это, и вы вѣрно согласитесь, что бѣдствіе 1771-го года было гораздо тяжелѣе для московскихъ жителей, чѣмъ то, которое въ 1812 году сдѣлалось началомъ, а, можетъ быть, и главною причиною спасенія всей Европы.

Восточная чума, которую простой народъ такъ выразительно называетъ *моромъ*, показалась въ Москвѣ еще въ 1770 году; она свирѣпствовала тогда въ Молдавіи и Валахіи, гдѣ въ то время расположены были наши войска. Частыя сообщенія московскихъ жителей съ дѣйствующею арміею, вѣроятно, были причиною появленія язвы сначала въ Малороссіи, а потомъ и въ самой Москвѣ. Мѣры, принятыя начальствомъ, казалось, прекратили ее совершенно; но въ слѣдующемъ, то есть въ 1771 г., въ мартѣ мѣсяцѣ она открылась снова и усилилась до того, что въ сентябрѣ число ежедневно умиравшихъ доходило до тысячи человѣкъ. Всѣ старанія для прекращенія моровой язвы были безуспѣшны.

Чернь негодовала на учрежденіе карантинныхъ домовъ, запечатаніе бань, а болѣе всего на запрещеніе погребать умирающихъ при городскихъ церквахъ. Въ смутныя времена обманщики и плуты всегда пользуются легковѣріемъ народнымъ. Одинъ фабричный изъ суконнаго двора началъ разглашать, будто бы видѣлъ во снѣ, что это бѣдствіе постигло Москву за то, что никто не только не пѣлъ молебна, но даже и свѣчи не хотѣлъ поставить образу Божіей Матери, находящемуся у Варварскихъ воротъ. Несмотря на нелѣпость этой сказки, или, лучше сказать, потому именно, что въ ней все противорѣчило истинной вѣрѣ и здравому смыслу, безумная чернь кинулась толпою къ Варварскимъ воротамъ; начались безпрерывные молебны, здоровые и больные стекались со всѣхъ концовъ Москвы, заражали другъ друга и, разнося смерть по домамъ своимъ, гибли цѣлыми семействами.

Въ это то бѣдственное время, рано по утру, 15 сентября, тащилась шагомъ, по большой ярославской дорогѣ, телѣга, запряженная тройкою лошадей; въ ней сидѣлъ купецъ въ синемъ кафтанѣ тонкаго сукна, сверхъ котораго наброшена была дорогая лисья шуба. Съ перваго взгляда на его бѣлую какъ снѣгъ бороду и высокій лобъ, покрытый морщинами, можно было подумать, что онъ доживаетъ осьмой десятокъ; но жизнь, которая горѣла въ его глазахъ, по временамъ грустныхъ и задумчивыхъ, его прямой и видный станъ, не совсѣмъ поблекшія щеки, все доказывало, что не лѣта, а горе провело эти глубокія морщины на лицѣ и покрыло преждевременною сѣдиною его голову.

— Вотъ ужъ солнышко и пригрѣвать стало,—сказалъ проѣзжій, спуская съ плечъ свою шубу.—Эй, другъ сердечный,—продолжалъ онъ, обращаясь къ ямщику,—ты ужъ версты четыре ѣдешь шагомъ: не пора ли рысцой?

— Постой, хозяинъ,—отвѣчалъ ямщикъ:—выберемся на горку, такъ и рысью поѣдемъ. Да что ты больно торопишься? Теперь всѣ норовятъ изъ Москвы, а въ Москву охотниковъ мало.

— А ты давно ли былъ въ Москвѣ?—спросилъ купецъ.

— Да вотъ ономнясь, дней пятокъ назадъ, возилъ ростовскаго купца.

— Ну, что, полегче ли стало?

— Куда легче! Такой моръ, что и сказать нельзя! Такъ, слышь ты, варомъ и варитъ. Гробовъ не успѣваютъ дѣлать.

— Боже мой, Боже мой,—прошепталъ купецъ,—не накажи меня по грѣхамъ моимъ!

— Прогнѣвали мы Господа,—продолжалъ ямщикъ.—А слышалъ ли ты, хозяинъ: на Варварскихъ воротахъ явился образъ Боголюбской Божіей Матери?

— Нѣтъ, не слышалъ.

— Я въ прошлый разъ ходилъ самъ ему свѣчу поставить. Господи, Боже мой, народу то, народу!... Такъ другъ друга и давятъ! А, говорятъ, стали мереть пуще прежняго.

— И не диво, любезный,—вѣдь эта болѣзнь пристаетъ... Ну, теперь дорога пошла подъ горку,—продолжалъ купецъ:—пріударь-ка, голубчикъ!

— Погоди, хозяинъ, выберемся изъ этого села, такъ поѣдемъ: вишь, по улицѣ то грязь какая; вовсе дороги нѣтъ.

Проѣзжіе въѣхали въ село Пушкино. Кое-гдѣ лаяли тощія собаки, и заморенные голодомъ телята бродили по улицѣ; но нигдѣ не слышно было голоса человѣческаго, ни одна труба не дымилась: все было мертво и тихо, какъ въ глубокую полночь.

— Что это, любезный,—спросилъ купецъ,—иль еще по домамъ всѣ спятъ? Кажись, солнышко высоко.

— Какое спятъ!— отвѣчалъ ямщикъ, покачивая головою.—Все Пушкино вымерло.

— Возможно ли? Неужели всѣ до одного?

— Всѣ отъ мала до велика; во всемъ селѣ живой души не осталось.

— Всѣ, до одного! — повторилъ купецъ вполголоса.— Быть можетъ, въ этой избѣ дня три тому назадъ отецъ любовался своею семьею... мать няньчила дѣтей своихъ...

— А теперь,—прервалъ ямщикъ,—и воротъ то притворить некому; тутъ жилъ мой кумъ Ѳаддей, мужикъ богатый; а семья то какая была: шестеро сыновей, молодецъ къ молодцу! Недѣли двѣ тому назадъ всѣ были здоровехоньки; а какъ въ послѣдній разъ я проѣзжалъ, такъ, гляжу, горемычный старикъ одинъ какъ перстъ сидитъ на завалинкѣ. Онъ что-то хотѣлъ мнѣ сказать въ догонку, да вдругъ покатился, застоналъ и тутъ же при мнѣ Богу душу отдалъ.

Миновавъ длинный порядокъ крестьянскихъ дворовъ, проѣзжіе стали приближаться къ деревенской околицѣ. Изъ крайней избы, высунувшись до половины въ окно, смотрѣла на улицу крестьянская баба, повязанная бѣлымъ платкомъ.

— Слава Тебѣ Господи,—сказалъ проѣзжій:—насилу то увидѣли живого человѣка!

Ямщикъ покачалъ головою.

— Да развѣ ты ослѣпъ?—продолжалъ купецъ.—Вонъ въ крайней то избѣ.

— Вижу, хозяинъ; да она ужъ пятыя сутки смотритъ изъ окна. Видно, голубушка, хотѣла передъ смертью взглянуть на свѣтъ Божій. Сердечная!... И прибрать то ее некому!

Купецъ невольно содрогнулся, когда они поровнялись съ избою, изъ которой выглядывала эта ужасная хозяйка. Онъ закрылъ руками глаза, чтобъ не видѣть ея обезображеннаго и покрытаго черными пятнами лица, на которомъ замерло выраженіе нестерпимой муки и адскаго страданія.

Когда проѣзжіе выѣхали изъ села, ямщикъ тронулъ лошадей и поѣхалъ небольшою рысью.

— Да прибавь немного ходу,—сказалъ купецъ: этакъ мы цѣлый день протащимся!

— Какъ еще ѣхать-то?—пробормоталъ извозчикъ, пошевеливая вожжами.—И куда спѣшишь, хозяинъ! Вѣдь не на радость ѣдешь.

— Почему ты это знаешь?—спросилъ торопливо купецъ.

— Да что теперь веселаго то въ Москвѣ?

— У меня тамъ жена и дѣти.

— Вотъ что!... Да постой-ка, — продолжалъ ямщикъ, оборачиваясь къ своему сѣдоку:—никакъ ты московскій гость, Ѳедотъ Абрамычъ Сибиряковъ?

— Да, это я.

— То-то, я слышу, голосъ знакомъ. Ахъ Ты, Господи, Боже мой, на силу призналъ!

— Да почему ты меня знаешь?

— Какъ не знать! Я прошлую осень возилъ тебя со всею семьей въ Ростовъ. Вѣдь у тебя свой домъ на Варваркѣ, въ приходѣ Максима Исповѣдника? Такія знатныя каменныя палаты.

— Постой, постой,—сказалъ купецъ:—а тебя не Андреемъ ли зовутъ?

— Андреемъ, батюшка. Я и сожительницу, и дѣтокъ твоихъ знаю. Ну, ужъ хозяюшка у тебя, что за добрый человѣкъ! Дай Богъ ей много лѣтъ здравствовать. И двѣ дочки, нечего сказать, такія ласковыя, пригожія... Вотъ сынокъ то у тебя...

— У меня нѣтъ сына.

— А кто жъ это былъ съ вами? Такъ, парнишка рыженькій, некашный собою, Терешей зовутъ?

— Это мой пріемышъ.

— Да на что жъ тебѣ пріемышъ, коли у тебя свои родныя дочки есть?

— Я взялъ его тогда, когда еще у меня дѣтей не было.

— Вотъ что! Ну, не погнѣвайся, хозяинъ: навязалъ ты на себя лихую болѣсть! Вѣдь этотъ пострѣлъ Тереша вовсе озорникъ. Да какой злющій!... Помнишь, въ Большихъ Мытищахъ мы остановились дать вздохнуть лошадямъ. Вы пошли чайку напиться, а я забѣжалъ на царское кружало винца хлебнуть. Что жъ ты думаешь этотъ рыжій безъ меня надѣлалъ? Возьми да и разнуздай потихоньку всѣхъ лошадей! Еще хорошо, что я спохватился, а то бѣда, да и только: кони у меня лихіе—косточки бы живой не оставили. Вотъ я сталъ на него браниться, такъ онъ же, чертенокъ, лукнулъ въ меня камнемъ, да чуть-чуть глазъ не вышибъ.

— Да,—сказалъ со вздохомъ купецъ, — видно, по грѣхамъ наказалъ меня Господь.

— И, хозяинъ; да что онъ родной что ль тебѣ? На порогъ, да и въ шею!

— Нѣтъ, другъ сердечный; когда Господь Богъ и отъ меня, окаяннаго грѣшника, не вовсе еще отступился, такъ мнѣ ли покинуть безъ призрѣнья этого круглаго сироту! Придется терпѣть отъ него горе; что дѣлать, любезный,— видно, на это была воля Божья; и если бы только Господь помиловалъ жену мою и дѣтей...

— Небойсь, хозяинъ,—прервалъ ямщикъ, — авось все ладно будетъ; Богъ милостивъ... Ну, вотъ теперь дорога пойдетъ скатертью; потѣшить что ль твою милость?

— Пожалуйста, любезный! Поспѣешь въ Москву къ обѣднямъ, такъ я тебѣ рубль на водку дамъ.

— Спасибо, хозяинъ! Да крѣпка ли у тебя повозка то?— сказалъ ямщикъ, подбирая вожжи.—Эй вы, други! Смотри, Ѳедотъ Абрамычъ, держись!—продолжалъ онъ, вытаскивая изъ за пояса свой ременный кнутъ.—Ну, что стали!... Ударю! Эй ты, сѣрко, замялся!... Али ножки болятъ?

Удалой ямщикъ свистнулъ, гаркнулъ, и телѣга вихремъ помчалась по широкой дорогѣ. Тарасовка, Большія Мытыщи, Ростокино, село Алексѣевское, со своимъ царскимъ домомъ

и зеркальными прудами, замелькали мимо проѣзжихъ, и благовѣстъ еще не начинался въ городѣ, когда ямщикъ, осадивъ съ трудомъ свою лихую тройку, остановился близъ креста у Троицкой заставы. Къ нимъ подошелъ, какъ будто нехотя, старый инвалидъ, и узнавъ, что купецъ ѣдетъ изъ «благополучнаго» города Ярославля, безъ дальнихъ разспросовъ отворилъ рогатку.

— Ну, счастливъ ты, хозяинъ!—сказалъ ямщикъ, тронувъ лошадей.—Меня въ прошлый разъ отъ самыхъ полуденъ продержали за рогаткою почитай вплоть до вечеренъ; разспросовъ то сколько было!...

— А вотъ обозъ, что передъ нами идетъ,—сказалъ купецъ,—его вовсе не останавливали.

— Да, да!—подхватилъ ямщикъ.—Что за притча такая?

— Видно, любезный, и караулить то ужъ некому нашу матушку Москву.

— Что ты, хозяинъ? Мало ли здѣсь всякихъ командъ! Однихъ выборныхъ, да десятскихъ тьма тьмущая. Нѣтъ, знать, въ Москвѣ то полегче стало.

— Дай-то Господи! — произнесъ съ глубокимъ вздохомъ купецъ.

Обозъ, который ѣхалъ передъ проѣзжими, вдругъ сталъ торопливо сворачивать въ сторону, и впереди раздался отвратительный, сиповатый голосъ:

— Сворачивай проворнѣй, господа ѣдутъ.

Въ одну минуту вся середина улицы опустѣла, и купецъ увидѣлъ передъ собою такой страшный поѣздъ, что сердце его оледенѣло отъ ужаса. Къ заставѣ тянулся длинный рядъ роспусковъ, нагруженныхъ гробами; нѣкоторые изъ нихъ были такъ плохо сколочены, что, казалось, при каждомъ потрясеніи готовы были развалиться; иные были даже вовсе безъ крышъ, и безобразные, едва прикрытые цыновками трупы выглядывали изъ нихъ на проходящихъ. Живые люди, которые окружали эту похоронную процессію, показались проѣзжему еще ужаснѣе самихъ мертвецовъ, не потому, что они были одѣты какими-то пугалами, въ вощаные балахоны и колпаки, но ихъ пьяныя, развратныя физіономіи, ихъ звѣрскія лица, ихъ безумный хохотъ при видѣ проѣзжихъ, которые торопились сворачивать съ дороги, — все придавало имъ видъ настоящихъ демоновъ. Нѣсколько поодаль шли гарнизонные солдаты съ ружьями и ѣхалъ полицейскій чиновникъ верхомъ.

— О, Господи, — сказалъ купецъ:—что это за люди!... Въ нихъ нѣтъ и образа человѣческаго.

— Развѣ не видишь, хозяинъ, что они въ кандалахъ?— прервалъ ямщикъ.—Это разбойники.

— Разбойники?—повторилъ робкимъ голосомъ купецъ.

— Ну да. Сначала вывозили покойниковъ за городъ казенные погонщики; да больно стали мереть, такъ теперь наряжаютъ изъ острога колодниковъ.

— Эй, ты, хозяинъ, — закричалъ одинъ каторжный, — почни кубышку то, дай что-нибудь!... Нечѣмъ помянуть покойниковъ.

— Да полно, не скупись! — промолвилъ другой.—Вѣдь завтра, можетъ статься, и тебя туда же потащимъ.

Купецъ бросилъ имъ горсть мелкихъ денегъ; всѣ разбойники, какъ голодныя собаки, кинулись подбирать мѣдные гроши; одинъ только колодникъ, аршинъ трехъ росту, не подражалъ ихъ примѣру. Онъ стоялъ неподвижно на своемъ мѣстѣ и пристально смотрѣлъ на купца.

— Ну, что ты, Каланча, глаза-то выпучилъ! — закричалъ одинъ изъ его товарищей.—Иль захотѣлъ плети отвѣдать? Ступай!

— Проѣзжай скорѣе, любезный, — шепнулъ купецъ:— на этихъ людей и глядѣть то страшно!

— Поживешь здѣсь денька два, такъ привыкнешь, — пробормоталъ ямщикъ, погоняя лошадей.

Они проѣхали отъ заставы до самой Сухаревой башни, не встрѣтивъ ни одного прохожаго. Мертвая тишина, изрѣдка прерываемая глухими воплями, которые проникали сквозь стѣны домовъ; кой-гдѣ на церковныхъ погостахъ окостенѣлые трупы нищихъ; заколоченныя двери, окна съ выбитыми стеклами и вездѣ, почти на каждомъ шагу, красные кресты на воротахъ... За Сухаревой башней проѣзжіе стали обгонять сначала людей, идущихъ поодиночкѣ, потомъ цѣлыя толпы мужчинъ и женщинъ, и когда выѣхавъ къ Никольскимъ воротамъ, поворотили налѣво, мимо городской стѣны, то должны были безпрестанно останавливаться, чтобъ не передавить народа.

— Смотри-ка хозяинъ, — сказалъ ямщикъ, — какъ всѣ православные бѣгутъ помолиться Боголюбской Божіей Матери! Глядь-ка, глядь! Вонъ тамъ, у Варварскихъ воротъ!... Ахъ ты, Господи! Эва народу то! словно въ котлѣ кипятъ!

— Да что это? — сказалъ купецъ, прислушиваясь къ

какимъ-то невнятнымъ звукамъ, которые, какъ отдаленные перекаты грома, раздавались посреди безчисленной толпы народа. Это не походитъ на обыкновенный людской говоръ... Слышишь, какъ кричатъ?

— Слышу, Ѳедотъ Абрамычъ. Въ прошлый разъ народу не меньше было, а такъ не шумѣли... Ужъ не фабричные ли?

— Избави, Господи!...

— Авотъпостой, хозяинъ; подъѣдемъближе, такъувидимъ.

Не доѣзжая шаговъ трехъсотъ до Варварскихъ воротъ, проѣзжіе должны были остановиться. Все пространство между городскою стѣною и приходскою церковью Всѣхъ Святыхъ было усыпано народомъ.

— Ну, дѣлать нечего, — сказалъ купецъ, вылѣзая изъ телѣги: —ступай назадъ; авось Ильинскими воротами проѣдешь на Варварку, а я ужъ какъ-нибудь добреду пѣшкомъ до дому.

Ямщикъ поворотилъ лошадей, а купецъ смѣшался съ народомъ, и поперемѣнно, то продираясь медленно впередъ, то быстро увлекаемый бѣгущими толпами, очутился въ нѣсколько минутъ у самыхъ Варварскихъ воротъ. Прежде всего кинулся ему въ глаза стоящій на высокой скамьѣ небольшого роста человѣкъ, съ растрепанными волосами, запачканный, оборванный; однимъ словомъ, похожій на убѣжавшаго изъ тюрьмы колодника; онъ кричалъ отъ времени до времени охриплымъ и протяжнымъ голосомъ: «Порадѣйте, православные, Богоматери на всемірную свѣчу.» Къ образу Боголюбской Божіей Матери, вдѣланному саженяхъ въ двухъ отъ земли въ стѣну башни, приставлена была лѣстница; народъ лѣзъ по ней безпрерывно вверхъ: одни прикладывались, другіе ставили свѣчи; нижніе цѣплялись за верхнихъ, стаскивали ихъ внизъ, падали сами; ихъ топтали въ ногахъ, давили; клятвы, крики, женскій визгъ, стоны умирающихъ—все заглушалось общимъ ропотомъ народа, который волновался и шумѣлъ, какъ бурное море. Прислушиваясь къ разговорамъ нѣкоторыхъ лицъ, пріѣзжій купецъ былъ пораженъ именемъ преосвященнаго Амвросія и намеками на опасность, угрожающую добродѣтельному пастырю. Онъ хотѣлъ узнать подробнѣе, въ чемъ дѣло; разспрашивалъ многихъ; отвѣты были темны или заключались въ общихъ угрозахъ, и онъ не сталъ обращать на нихъ вниманія.

Когда толпа начала рѣдѣть, купецъ снова пошелъ впередъ. Миновавъ церковь Георгія Побѣдоносца, онъ выбрался на просторъ; позади него кипѣли толпы народа, но впереди вся улица была пуста, и только кое-гдѣ изъ оконъ домовъ выглядывали украдкою жены богатыхъ купцовъ, которыя жили взаперти и не смѣли выходить на улицу. Вдругъ купецъ, который шелъ скорыми шагами, остановился; онъ увидѣлъ вдали кровлю своего дома; сердце его сжалось, холодный потъ выступилъ на блѣдномъ лицѣ. До этой рѣшительной минуты онъ не вовсе былъ несчастливъ: онъ могъ надѣяться, могъ думать: «у меня есть жена, у меня есть дѣти!» Но теперь... еще нѣсколько шаговъ, еще полминуты—и, быть можетъ, онъ давно уже одинъ въ цѣломъ мірѣ; горькій сирота, съ сѣдыми волосами, быть можетъ, онъ станетъ искать и не найдетъ могилы, надъ которою могъ бы поплакать.

— Милосердый Боже,—прошепталъ бѣдный старикъ,— не мнѣ просить Тебя о милости; но чтобъ искупить ихъ жизнь, нашли на меня болѣзни, страданія, дозволь мнѣ живому лечь въ могилу, и я стану прославлять Твое милосердіе!

Въ эту самую минуту оборванный и безобразный собою мальчишка, который бѣжалъ, оглядываясь безпрестанно назадъ, наткнулся на купца.

— Тереша, — вскрикнулъ онъ, схвативъ его за руку,— ты ли это?

— Вѣстимо я, — пробормоталъ мальчишка, стараясь вырваться.

— Да постой! Куда ты бѣжишь?!... Ну что, скажи: всѣ ли у насъ здоровы? Что моя жена?... Что дочери?

— А что имъ дѣлается!—сказалъ мальчикъ, поглядывая съ нетерпѣніемъ впередъ.

— Такъ онѣ живы?

— А кто ихъ знаетъ!

— Да развѣ ты живешь не съ ними?

— Вѣстимо, нѣтъ! Мнѣ колотушки то надоѣли... Да пусти меня!

— Возможно ли?—вскричалъ купецъ.—Ты покинулъ мой домъ!? Да какъ ты смѣлъ...

— А вотъ какъ!—сказалъ мальчикъ, высвободивъ свою руку и пускаясь бѣгомъ къ Варварскимъ воротамъ.

— Онъ живъ! — прошепталъ купецъ, глядя вслѣдъ за

своимъ пріемышемъ. — А быть можетъ, этотъ ангелъ во плоти, жена моя, мои дѣти... О, скорѣй, скорѣй!—продолжалъ онъ, торопясь идти впередъ. Что будетъ, то будетъ; а лучше одинъ конецъ!

И вотъ ужъ онъ подлѣ своего дома; глядитъ, ставни заперты, двери съ улицы заколочены досками, онъ спѣшитъ къ воротамъ... Праведный Боже! На нихъ красный крестъ!... Но кажется?... Такъ точно: да дворѣ залаяла собака. Такъ домъ не совсѣмъ еще покинутъ! Купецъ стучитъ въ калитку: отвѣта нѣтъ; одна лишь собака, почуявъ хозяина, лаетъ пуще прежняго. Проходитъ нѣсколько минутъ, — все та же мертвая тишина. Вотъ въ сосѣднемъ домѣ медленно отворилось окно, и человѣкъ съ блѣднымъ, больнымъ лицемъ, сказалъ купцу.

— Не стучи, любезный: въ этомъ домѣ никого нѣтъ.

— Никого?—повторилъ бѣдный старикъ прерывающимся голосомъ.—А хозяйка дома?

— Третій день, какъ умерла.

— А ея дочери?

— Вчера послѣднюю отвезли на кладбище.

— Послѣднюю!!... — прошепталъ купецъ.

Онъ прислонился къ стѣнѣ своего дома. Несчастный не лишился памяти; онъ чувствовалъ, онъ понималъ, что у него нѣтъ ни жены, ни дѣтей, — есть горе, которое мы, Богъ знаетъ почему, называемъ горемъ: оно не имѣетъ и не можетъ имѣть имени на языкѣ человѣческомъ. Это чувство непродолжительно, какъ послѣдній вздохъ умирающаго; но полжизни безпрерывныхъ болѣзней, цѣлый вѣкъ страданій тѣлесныхъ ничто предъ этою минутною смертію души. Старикъ-сирота молчалъ; въ глазахъ его не было слезъ, въ груди ни одного вздоха; онъ взглянулъ на небеса: они были ясны, чисты, но такъ же безотвѣтны, также мертвы, какъ душа его. Ему казалось, что кто-то шепталъ надъ его ухомъ: «Не стучись и тамъ, старикъ: и тамъ тебѣ никто не откликнется». Безжизненные взоры купца остановились на притворѣ церкви, противъ которой онъ находился. Вдругъ они вспыхнули.

— Итакъ, — вскричалъ онъ, заскрежетавъ зубами,—ни раскаяніе, ни теплыя молитвы, ни кровавыя слезы мои, ничто не могло смягчить Тебя!

Въ эту минуту кто-то вышелъ изъ церкви; въ ней служили молебенъ, и черезъ растворенныя двери послышались

тихіе голоса; на клиросѣ пѣли: «Царю Небесный, утѣшителю души истинный!» Слова отчаянія замерли на устахъ купца, кроткое смиреніе, какъ благотворный дождь, пролилось въ его душу, слезы брызнули изъ глазъ, и онъ упалъ во прахъ предъ карающею десницею своего Господа.

Усердная молитва облегчила сердце несчастнаго. Онъ чувствовалъ всю великость своей потери; онъ могъ сказать: «Прискорбна есть душа моя даже до смерти», но не роптalъ уже на Того, Кто даетъ и отнимаетъ.

— Да будетъ Твоя святая воля! — сказалъ онъ, устремивъ глаза на икону Спасителя, которая висѣла надъ притворомъ церкви. — Твой праведный судъ совершился надо мною, Ты видишь мои страданія!... Господи, Господи, примирился ли я съ Тобою?

Скоро нагрянула толпа людей, шедшихъ отъ Варварскихъ воротъ, и онъ услышалъ снова имя Амвросія. Купецъ задрожалъ; онъ сталъ страшиться за безопасность почитаемаго архипастыря, котораго зналъ лично.

Съ горестью въ сердцѣ, должны мы упомянуть о происшествіи, котораго ужасъ не позволяетъ намъ раскрывать всѣ подробности.

Кромѣ бѣдствій, которыя претерпѣла Москва въ это время, ей суждено было еще прибавить черную страницу къ своимъ лѣтописямъ. Ужасное злодѣяніе совершилось въ ея стѣнахъ: архіепископъ Амвросій палъ, какъ извѣстно, подъ ножемъ шайки гнусныхъ злоумышленниковъ. Накинемъ скорѣе завѣсу на это святотатственное событіе, о которомъ московскіе старожилы доселѣ не могутъ вспомнить безъ содроганія, и скажемъ только, какое участіе принималъ въ немъ нашъ пріѣзжій купецъ панскаго ряда, Ѳедотъ Абрамовичъ Сибиряковъ.

Удостовѣрившись въ дѣйствительности замысла злодѣевъ, этотъ несчастный человѣкъ рѣшился спасти Амвросія. На другой день, 16 сентября, рано по утру онъ поскакалъ въ Донской монастырь, гдѣ тогда жилъ архіерей. Онъ засталъ у воротъ обители одного молодого послушника и келейника Амвросіева, и требовалъ отъ нихъ настоятельно, чтобы они убѣдѣли достойнаго пастыря тотчасъ уѣхать подальше отъ Москвы. Преосвященный не успѣлъ еще выполнить его совѣта, какъ уже убійцы были у воротъ монастыря. Онъ искалъ убѣжища въ церкви. Злодѣи вломились въ храмъ, и тотъ самый пріемышъ Сибирякова, змѣя, вопло-

щенная въ человѣческомъ тѣлѣ, открылъ его на хорахъ и указалъ разъяреннымъ изувѣрамъ. Разбойники стащили преосвященнаго съ хоръ. Одинъ изъ нихъ, въ которомъ Сибиряковъ узналъ фабричнаго, собиравшаго у Варварскихъ воротъ деньги «на всемірную свѣчу», бѣсновался болѣе другихъ. Истощивъ всѣ бранныя слова, онъ заносилъ уже широкій ножъ надъ грудью жертвы. Сибиряковъ схватилъ его за руку и остановилъ ударъ.

— А этотъ что вступается?—заревѣли голоса разбойниковъ.—Бейте его.

— Что вы, братцы, — принужденъ былъ сказать купецъ,—вѣдь я съ вами! Пригожее ли дѣло осквернять храмъ Господень? Выведемъ его изъ монастыря, а тамъ допросимъ, увидимъ...

— Правда, правда,— вскричали разбойники:—вѣдь онъ не уйдетъ!

Сибиряковъ надѣялся, что онъ между тѣмъ успѣетъ усовѣстить изверговъ; но всѣ его усилія были тщетны: Амвросій погибъ. Злоумышленники не избѣгли заслуженнаго наказанія. Петръ Дмитріевичъ Еропкинъ, единственный тогда начальникъ въ Москвѣ успѣлъ собрать нѣсколько ротъ Великолуцкаго полка, который стоялъ верстахъ въ тридцати отъ города, и при помощи этой горсти солдатъ, разсѣялъ скопище и переловилъ зачинщиковъ. Вслѣдъ за этимъ прибылъ въ Москву главнокомандующій, графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ, гражданскій губернаторъ Юшковъ и оберъполиціймейстеръ Бахметьевъ. Вскорѣ спокойствіе было совершенно возстановлено и учреждена особая комиссія для произведенія слѣдствія объ убіеніи архіепископа Амвросія. Великость преступленія и собственная безопасность столицы требовали необычайныхъ мѣръ строгости; изъ числа участвовавшихъ къ убіеніи архіерея, двое были повѣшены, а остальныхъ, которыхъ было весьма много, приговорили наказать, по жеребью десятаго, кнутомъ.

Въ концѣ сентября мѣсяца, въ судебную палату, въ которой засѣдала слѣдственная комиссія, вошелъ чиновникъ пожилыхъ лѣтъ; онъ былъ оченъ блѣденъ и, казалось, съ трудомъ передвигалъ ноги.

— А, это вы, Аѳанасій Кирилловичъ,—вскричалъ предсѣдатель комиссіи, привставая со своего мѣста.—Милости просимъ! Что, какъ ваше здоровье?

— Слава Богу, брожу понемножку,—отвѣчалъ Аѳанасій

Кирилловичъ, садясь на ряду съ другими членами коммисіи за присутсвенный столъ.

— А мы ужъ начинали безпокоиться,— сказалъ одинъ изъ его товарищей:—съ перваго дня открытія комиссіи вы занемогли, и вотъ третья недѣля, какъ о васъ не было ни слуху, ни духу.

— Да, батюшка, чуть было не умеръ! Ну что у васъ дѣлается.

— Я думаю, скоро все кончимъ,—сказалъ предсѣдатель.— Двое главныхъ убійцъ приговорены уже къ смертной казни; а сегодня тѣ, которые также участвовали въ преступленіи, будутъ вынимать жеребья; изъ нихъ десятый, по приговору комиссіи, долженъ быть наказанъ, какъ уголовной преступникъ.

— Смотрите, господа, чтобъ кто-нибудь не пострадалъ напрасно; вы знаете волю нашей милосердой царицы: лучше десятерыхъ виноватыхъ простить, чѣмъ одного невиннаго наказать.

— О, что касается до этого, мы можемъ быть покойны!— прервалъ одинъ изъ членовъ, стариный нашъ знакомецъ, Владиміръ Ивановичъ Зарубкинъ. Подсудимые доброводьно и безъ всякаго пристрастнаго допроса, сознались въ своемъ преступленіи, выключая одного, который запирается; но всѣ обстоятельства и показанія очевидцевъ его уличаютъ.

— Я прикажу прочесть вамъ списокъ ихъ именъ, — сказалъ предсѣдатель...—Потрудитесь, Кондратій Прохоровичъ,—продолжалъ онъ обращаясь къ секретарю.

Секретарь взялъ со стола листъ исписанной бумаги и началъ читать:

— Десятокъ первый: московскій купецъ гостиной сотни, Ѳедотъ Авраамовъ Сибиряковъ...

— Что, что?—прервалъ Аѳанасій Кирилловичъ.—Какъ ты его называешь?

— Ѳедотъ Авраамовъ, то-есть, въ простонародьи, Ѳедотъ Абрамовъ Сибиряковъ.

— Этотъ богатый купецъ, который лѣтъ десять тому назадъ выѣхалъ въ Москву изъ Иркутска?

— Точно такъ, ваше высокородіе.

— Не можетъ быть!—вскричалъ Аѳанасій Кирилловичъ.— Это ошибка! Я знаю Сибирякова; онъ человѣкъ умный, набожный, достойный всякаго уваженія...

— И, не смотря на то,—подхватилъ предсѣдатель,—онъ точно былъ въ числѣ убійцъ покойнаго Амвросія.

— И самъ признался въ этомъ?

— Напротивъ, онъ стоитъ въ томъ, что не виновенъ, но доказательства его преступленія такъ очевидны...

— О, Бога ради, не торопитесь!—прервалъ съ жаромъ Аѳанасій Кирилловичъ.—Я повторяю еще разъ, это должна быть ошибка. Подумайте, господа, если впослѣдствіи откроется, что онъ невиненъ.

— Позвольте доложить, ваше высокородіе,—сказалъ секретарь:—вотъ показаніе полицейскаго чиновника, Кочеткова, который, переодѣвшись фабричнымъ, былъ вмѣстѣ съ разбойниками въ монастырскомъ соборѣ въ то самое время, какъ архіерея стащили съ хоръ. Онъ слышалъ своими ушами, какъ купецъ Сибиряковъ приказывалъ вывести преосвященнаго Амвросія изъ церкви и казнить его за монастырскою оградою.

— Но если этотъ Кочетковъ не видалъ его никогда прежде, и обманутый сходствомъ лица...

— Вотъ то-то и бѣда, Аѳанасій Кирилловичъ,—сказалъ предсѣдатель:—полицейскій чиновникъ, который на него донесъ, знаетъ его лично, и даже не разъ хлѣбъ-соль съ нимъ важивалъ.

— Да это еще не все, ваше высокородіе, — продолжалъ секретарь:—пріемышъ вышереченнаго купца Сибирякова добровольно и по чистой совѣсти показалъ, что оный Сибиряковъ, выводя, при помощи своихъ клевретовъ, за монастырскія ворота покойнаго архіепископа Амвросія, одинъ изъ первыхъ наложилъ на него свою святотатственную руку; а таковое уважительное и согласное показаніе двухъ очевидцевъ, по силѣ законовъ, обращается въ явную и неоспоримую улику.

— Воля ваша, господа, — сказалъ Аѳанасій Кирилловичъ,—я увѣренъ въ его невинности, и не смотря на показанія очевидцевъ, которыя впрочемъ могутъ быть слѣдствіемъ личной вражды...

— Да о чемъ вы такъ хлопочете?!—прервалъ предсѣдатель.—Пусть этотъ Сибиряковъ вынетъ свой жребій: быть можетъ ему посчастливится; а если нѣтъ, такъ успѣемъ и тогда объ этомъ поговорить... Прикажите ввести сюда купца Сибирякова, — продолжалъ онъ, обращаясь къ секретарю.

Черезъ минуту двери отворились, и знакомый намъ купецъ вошелъ въ присутствіе.

— Ѳедотъ Абрамовичъ,—вскричалъ его защитникъ, — тебя ли я здѣсь вижу?!

— Здравствуй батюшка Аѳанасій Кирилловичъ!— сказалъ купецъ, помолясь иконѣ и низко поклонившись своимъ судьямъ.

— Всѣ обстоятельства тебя обвиняютъ, — продолжалъ Аѳанасій Кирилловичъ;—но я не могу повѣрить, чтобъ ты былъ въ числѣ злоумышленниковъ и убійцъ покойнаго архіерея.

— Дай Богъ вамъ много лѣтъ здравствовать! — сказалъ купецъ, и на болѣзненномъ лицѣ его изобразилась унылая радость.—Вотъ первое слово утѣшенія, которое я слышу съ тѣхъ поръ, какъ нахожусь въ числѣ преступниковъ.

— И твой пріемышъ, эта змѣя, которую ты отогрѣлъ на груди своей...

— Что дѣлать, батюшка Аѳанасій Кирилловичъ! И добрыя дѣла грѣшника обращаются на главу его.

— Сибиряковъ,— сказалъ предсѣдатель, — подойди къ присутственному столу. Ты долженъ вынуть самъ свой жребій. Вотъ десять свернутыхъ бумажекъ: одна только изъ никъ отмѣчена крестомъ; авось не она тебѣ попадется.

Купецъ перекрестился и взялъ одинъ изъ жеребьевъ; руки его дрожали; онъ хотѣлъ передать его секретарю.

— Нѣтъ,—сказалъ предсѣдатель:—разверни самъ.

Сибиряковъ развернулъ; вся кровь бросилась ему въ лицо, которое почти въ то же время снова покрылось смертною блѣдностью.

— Съ крестомъ,—сказалъ хладнокровно секретарь, взглянувъ на развенутую бумажку.

— Боже мой!—вскричалъ Аѳанасій Кирилловичъ, вскочивъ со своего мѣста и подойдя къ Сибирякову. Такъ точно!

— Господа судьи,—сказалъ купецъ дрожащимъ голосомъ,—мнѣ нечего сказать въ мое оправданіе, я ужъ все переговорилъ; но повторяю еще разъ, и Богъ видитъ, что говорю истину: я не виновенъ.

Предсѣдатель подалъ знакъ, чтобъ вывели купца изъ присутствія.

— Не теряй надежды, Ѳедотъ Абрамовичъ, — шепнулъ его заступникъ:—Богъ милостивъ.

— Ну теперь дѣлать нечего,—сказалъ одинъ изъ членовъ:—видно ему на роду было написано...

— Послушайте, господа товарищи,—прервалъ Аѳанасій

Кирилловичъ, пробѣжавъ нѣсколько бумагъ, которыя подалъ ему секретарь:—я готовъ положить руку на Евангеліе и присягнуть, что онъ невиненъ. Вотъ его допросные пункты. Показаніе полицейскаго чиновника опровергается самымъ признаніемъ купца: онъ не запирался, а съ перваго слова объявилъ, что точно подалъ совѣтъ злодѣямъ, которые хотѣли убить архіерея въ церкви, вывести его за монастырскую ограду. Но для чего онъ это сдѣлалъ? Для того, чтобъ дать время убійцамъ образумиться и почувствовать всю гнусность ихъ преступленія. Въ его допросѣ видно также, что, въ доказательство своей невинности, онъ ссылается на архіерейскаго келейника.

— Котораго нигдѣ не нашли,—замѣтилъ секретарь.

— Афанасій Кирилловичъ,—сказалъ предсѣдатель,—мы всѣ васъ уважаемъ, и охотно вѣримъ словамъ вашимъ; но вы не были свидѣтелемъ этого несчастнаго происшествія, а въ уголовномъ дѣлѣ показанія очевидцевъ служатъ главнымъ основаніемъ для судейскаго приговора.

— Но всѣ другіе преступники сознались...

— А онъ не признается! Такъ что жъ? Быть можетъ, это доказываетъ только то, что онъ не способенъ даже и къ раскаянію. И гдѣ была бы справедливость, еслибы мы оправдали преступника, котораго все уличаетъ, потому только, что онъ не сознается въ своемъ преступленіи?

— Я прошу васъ объ одномъ,—сказалъ помолчавъ Аѳанасій Кирилловичъ:—позвольте его перевести въ другой десятокъ, и пусть онъ еще одинъ разъ вынетъ жребій... Господа товарищи,—продолжалъ онъ, обращаясь ко всѣмъ членамъ,—ради меня, изъ уваженія къ дружбѣ, которую я имѣлъ всегда къ этому несчастному, не откажите въ моей просьбѣ!

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ Владиміръ Ивановичъ Зарубкинъ:—теперь я вспомнилъ, я слыхалъ много хорошаго объ этомъ купцѣ; онъ былъ истинный отецъ всѣхъ бѣдныхъ.

— И я то же слышалъ,—прибавилъ предсѣдатель.—Конечно, это не даетъ намъ права, вопреки всѣмъ доказательствамъ, признать его невиннымъ; но если вы, господа, согласны, изъ уваженія къ просьбѣ почтеннаго нашего товарища, я прикажу перевести его въ другой десятокъ. Пускай еще разъ испытаетъ свое счастье.

Члены комиссіи, поговоривъ нѣсколько минутъ между

собою, согласились на предложеніе своего предсѣдателя, и купца ввели опять въ судейскую.

— Сибиряковъ,—сказалъ предсѣдатель,—до твоего преступленія ты велъ себя, какъ примѣрный гражданинъ, дѣлалъ много добра, былъ честію всего московскаго купечества. Изъ уваженія къ прежнему твоему поведенію и къ просьбѣ благодѣтеля твоего, Аѳанасія Кирилловича, мы переводимъ тебя въ другой десятокъ и дозволяемъ еще разъ вынуть жребій.

Купецъ, молча, поклонился, медленно подошелъ къ столу и взялъ изъ второго десятка одну изъ свернутыхъ бумажекъ. Когда онъ сталъ ее развертывать, Аѳанасій Кирилловичъ не усидѣлъ на своемъ мѣстѣ; онъ подошелъ къ Сибирякову и спросилъ торопливо:

— Ну, что?

— Посмотрите сами, — сказалъ съ горькою улыбкою купецъ, подавая ему жеребій.

— Опять крестъ! — вскричалъ почти съ отчаяніемъ его защитникъ.

— Опять! — повторилъ предсѣдатель.—Ну, это несчастливо!

— Келейникъ покойнаго архіерея желаетъ войти въ присутствіе, — сказалъ громкимъ голосомъ присяжный, отворяя дверь.

— Введи его скорѣй! — закричалъ Аѳанасій Кирилловичъ. — Ну, видишь ли, Ѳедотъ Абрамовичъ, самъ Богъ посылаетъ тебѣ защитника.

— Да, — прошепталъ купецъ, — теперь я вижу, какъ Богъ спасаетъ грѣшника.

— Что тебѣ, любезный, надобно? — спросилъ предсѣдатель у келейника, когда онъ вошелъ въ присутствіе.

— Слава тебѣ, Господи, — сказалъ онъ, увидѣвъ купца Сибирякова,—кажется, я поспѣлъ во время!... Господа судьи, я келейникъ покойнаго архіепископа Амвросія; сегодня только возвратился въ Москву изъ Воскресенскаго монастыря и услышалъ, что купецъ Сибиряковъ, по какому-то ложному извѣту, попалъ въ число преступниковъ, судимыхъ за убіеніе нашего преосвященнаго владыки. Я не знаю, что на него доказываютъ, но объявляю, здѣсь передъ зерцаломъ, и готовъ присягою подтвердить мое показаніе, что этотъ самый купецъ прибѣжалъ въ Донской монастырь за нѣсколько времени до прихода убійцъ; что онъ увѣдо-

милъ черезъ меня его преосвященство объ ихъ богомерзкомъ намѣреніи; умолялъ насъ оставить немедленно Донской монастырь, и, еслибы не вышло остановки въ лошадяхъ, покойный архіепископъ, по милости этого добраго человѣка, остался бы въ живыхъ и управлялъ бы доселѣ своею духовною паствою.

— Ну, господа, — вскричалъ съ радостію Аѳанасій Кирилловичъ,—можете ль вы теперь сомнѣваться въ его невинности? Нельзя же въ одно время и желать спасти, и быть убійцею одного и того же человѣка!

— Да, — сказалъ предсѣдатель, — это показаніе совершенно его оправдываетъ.

— И если бы нашелся еще другой свидѣтель, — прибавилъ секретарь.

— Я могу вамъ его представить,—прервалъ келейникъ.— Когда этотъ купецъ объявилъ мнѣ объ угрожающей намъ опасности, я былъ вмѣстѣ съ однимъ изъ послушниковъ Донского монастыря; теперь онъ не могъ придти со мною, потому что больно избитъ злодѣями и вчера только въ первый разъ всталъ съ постели.

— Ну вотъ, любезный другъ, — вскричалъ Аѳанасій Кирилловичъ,—не говорилъ ли я тебѣ—Богъ милостивъ, не теряй надежды? Видишь ли теперь, какъ милосердъ и справедливъ «судъ Божій?»

— Вижу, — прошепталъ купецъ; но лицо его, то блѣдное, то покрытое багровыми пятнами, выражало не радость, а внутреннюю, тяжкую борьбу.

— Господинъ Сибиряковъ, — сказалъ предсѣдатель, — я не сомнѣваюсь, ты будешь оправданъ; но судебный порядокъ не дозволяетъ мнѣ сейчасъ освободить тебя изъ подъ ареста.

— Я беру его на поруки, — прервалъ Аѳанасій Кирилловичъ.

— Такъ и дѣло съ концомъ... Поздравляю тебя, Ѳедотъ Абрамовичъ: ты свободенъ.

— Свободенъ! — повторилъ купецъ, и глаза его заблистали необычайнымъ огнемъ.—Да, я скоро буду свободенъ... Господа судьи: я преступникъ!

— Что ты, что ты!? — вскричалъ Аѳанасій Кирилловичъ.

Всѣ присутствующіе молча взглянули другъ на друга.

— Возможно ли? — сказалъ съ удивленіемъ предсѣда-

тель.—Ты самъ сознаешься, что былъ въ числѣ убійцъ покойнаго Амвросія?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Сибиряковъ,—этого тяжкаго грѣха я не прибавилъ къ прочимъ; священная кровь его не возстанетъ противъ меня въ страшный часъ суда Божія; я желалъ не погубить, а спасти его. Но эти преступныя руки не разъ обагрялись въ крови христіанской, и судъ Божій долженъ свершиться надо мною... Безумный, — продолжалъ купецъ, не обращая вниманія на удивленіе всѣхъ присутствующихъ, — я думалъ, что, избѣгнувъ наказанія земного, могу примириться съ Богомъ и моею совѣстью. Нѣсколько дней назадъ у меня была добрая жена, милыя дѣти; Богъ взялъ ихъ къ себѣ. Онъ видѣлъ мое сердце, Онъ слышалъ мои стоны, и не простилъ меня! Сирота, призрѣнный и вскормленный мною, оклеветалъ меня; зло было мнѣ наградой за добро; но я не сѣтовалъ на неисповѣдимыя судьбы Божіи и, молча, покорился Его волѣ; а совѣсть, совѣсть, какъ голодный коршунъ, продолжала терзать мое сердце!... Ни раскаяніе, ни молитва, ни слезы, ничто не облегчало его. Меня осудили, какъ преступника; я не роптalъ, а сказалъ изъ глубины души: «Да будетъ Его святая воля!» И все тотъ же тяжелый камень лежалъ на груди моей. Господа судьи, я преступникъ.

— Да въ чемъ же ты себя обвиняешь? — спросилъ старинный нашъ знакомецъ Зарубкинъ.

— Владиміръ Ивановичъ, — сказалъ купецъ, — посмотрите на меня хорошенько! Я узналъ васъ съ перваго взгляда: двадцать лѣтъ почти совсѣмъ васъ не измѣнили,— и не диво: сонъ вашъ былъ спокоенъ, васъ не терзала совѣсть, не мучило позднее и безплодное раскаяніе; на васъ не гнѣвался Господь...

— Но кто же ты? — спросилъ Владиміръ Ивановичъ.

— Кузьма Рощинъ! — отвѣчалъ тихимъ, но твердымъ голосомъ купецъ.

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Біографическій очеркъ	I
Хронологическій перечень сочиненій М. Н. Загоскина съ библіографическими примѣчаніями	CV
Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 году	1
Кузьма Рощинъ.	269

М. Н. ЗАГОСКИНЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ВТОРОЙ

ИЗДАНІЕ
ПОСТАВЩИКА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО Т—ВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный дв., 18 | МОСКВА, Кузнецкій мостъ, 12
1898

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Подъ самодержавнымъ и кроткимъ правленіемъ двухъ первыхъ царей изъ рода Романовыхъ, отечество наше начинало уже забывать всѣ прошедшія свои страданія. Какъ торжествующій побѣдитель, едва не погибшій въ борьбѣ съ сильнымъ врагомъ, смотритъ съ гордостію — но также и съ невольнымъ трепетомъ, на свою грудь, покрытую исцѣлѣвшими ранами: такъ точно и святая Русь, съ внутреннимъ сознаніемъ своей силы, но вмѣстѣ и съ ужасомъ вспоминала о бѣдствіяхъ, претерпѣнныхъ ею во времена междуцарствія. Въ послѣднія тридцать лѣтъ, благодаря твердому и мудрому правленію царя Алексѣя Михаиловича, Россія отдохнула и стала попрежнему царствомъ сильнымъ, богатымъ и самобытнымъ; почти вездѣ изгладились кровавые слѣды ея враговъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, и одно только изустное преданіе напомилало русскимъ о нашествіи иноплеменныхъ, о грабежахъ буйныхъ полчищъ Трубецкаго, о разореніи Москвы, о постыдныхъ предательствахъ, измѣнахъ—и, можетъ быть, скоро всѣ эти казни Божіи, эти самозванцы, поляки, междуусобія и крамолы стали бы имъ казаться какимъ-то смутнымъ, тяжкимъ сномъ, еслибъ вмѣстѣ съ кончиною царя Ѳеодора Алексѣевича не возникъ снова этотъ духъ мятежа и безначалія, отъ которыхъ не рѣдко гибнутъ цѣлые народы и сильныя царства становятся добычею слабыхъ своихъ сосѣдей.

Отъ царствующаго рода оставалось только два сына царя Алексѣя Михаиловича: отъ перваго брака царевичъ Іоаннъ, отъ втораго Петръ:— первый, едва вышедшій изъ дѣтства, второй еще дитя. Рожденная отъ перваго брака старшая ихъ сестра, царевна Софья Алексѣевна, была одна изъ прекраснѣйшихъ женщинъ своего времени, одаренная умомъ и способностями истинно необычайными; но въ то же время властолюбивая, хитрая и готовая пожертвовать всѣмъ для достиженія своей цѣли. Царевичъ Іоаннъ, юноша кроткій и благоразумный, но слабый здоровьемъ, отказался добровольно отъ своего наслѣдственнаго права, и десятилѣтный Петръ былъ единогласно провозглашенъ царемъ Русскимъ. Это единодержавное правленіе продолжалось только три недѣли. Царевна Софія, при помощи родственника своего, боярина Милославскаго, и другихъ приверженныхъ ей вельможъ, склонила на свою сторону московскихъ стрѣльцовъ. Они взбунтовались, побросали съ высокихъ каланчей своихъ съѣзжихъ избъ тѣхъ полковниковъ, которые старались удержать ихъ отъ мятежа, перерѣзали главныхъ своихъ начальниковъ, князей Долгорукихъ—отца и сына, умертвили родственниковъ Петра, бояръ Нарышкиныхъ, князя Черкасскаго, двухъ князей Ромодановскихъ, только что возвратившагося изъ ссылки знаменитаго Артамона Сергѣевича Матвѣева, многихъ другихъ бояръ и сановниковъ—и потомъ силою возвели на престолъ, въ соцарствованіе Петру, брата его царевича Іоанна, а сестру ихъ, Софію, объявили соправительницею — или, вѣрнѣй сказать — правительницею царства Русскаго, потому что сначала выходили указы за подписаніемъ ея и обоихъ царей, а впослѣдствіи подписывала ихъ одна Софья Алексѣевна. Но это было мало для властолюбивой царевны; она предвидѣла, что власть ея не долго продлится. Десятилѣтній Петръ не походилъ на обыкновенныхъ дѣтей: на его юномъ и прекрасномъ челѣ лежала печать помазанника Божія. Избранникъ небесъ, переродитель Россіи, онъ и въ дѣтскихъ годахъ удивлялъ всѣхъ своимъ умомъ, твердостію и безстрашіемъ. Всѣ его ребяческія забавы, всѣ дѣтскія потѣхи имѣли высокую, безсмертную цѣль, которую, можетъ быть, отгадывала одна Софья. Еще нѣсколько лѣтъ и это порфирородное дитя будетъ самодержавнымъ, мощнымъ царемъ, съ которымъ всякая борьба сдѣлается невозможною. Слѣдствіемъ этого предвидѣнія были безпрестанные мятежи, возмущенія стрѣльцовъ и заговоры,

всегда клонившіеся къ тому, чтобъ погубить державнаго отрока Петра, который былъ не подъ силу Софьѣ Алексѣевнѣ, не смотря на то, что ее называли премудрою.

Прежде, чѣмъ я приступлю къ моему разсказу, мнѣ должно познакомить читателей съ тогдашнимъ единственнымъ въ Москвѣ сборнымъ мѣстомъ, или, если хотите, гуляньемъ всѣхъ праздныхъ людей, зѣвакъ, вѣстовщиковъ, охотниковъ до новостей, разныхъ промышленниковъ, а иногда и людей, имѣющихъ важные замыслы. Это гулянье, или лучше сказать, сходбище, на которомъ, по словамъ иностранныхъ писателей, народъ толпился каждый день съ утра до вечера, это сборное мѣсто, напоминающее римскій форумъ — называлось, и теперь еще называется, Красной площадью; только нынѣшняя во многомъ не походитъ на прежнюю. Покровскій соборъ, то есть церковь Василія Блаженнаго, Лобное мѣсто и Спасскія ворота—вотъ все, что осталось въ прежнемъ видѣ. Вмѣсто нынѣшнихъ красивыхъ и легкихъ Никольскихъ воротъ возвышалась тяжелая четыреугольная башня съ небольшой вышкою и воротами, которыя также назывались Никольскими. Кремль отдѣлялся отъ Красной площади не такъ, какъ теперь, одной высокой стѣною,—ихъ было три, одна другой выше; надъ зубцами внутренней—то есть самой высокой стѣны, была деревянная крыша, точно такая же, какъ теперь, надъ оградою Троице-Сергіевской лавры. Выше кремлевскихъ стѣнъ блистали, какъ и теперь, главы соборовъ, монастырскихъ церквей и сіялъ въ вышинѣ златой крестъ Ивава Великаго. Направо къ Никольскимъ воротамъ, за стѣною Кремля, виднѣлась кровля дома боярина Бориса Михаиловича Лыкова; налѣво къ собору Василія Блаженнаго высоко подымались огромныя хоромы ближнихъ бояръ, Ивана Васильевича Морозова и князя Якова Куденетовича Черкасскаго. У Иверскихъ воротъ, которыя тогда назывались Каретными и Воскресенскими, существовала уже часовня Иверской Божіей Матери, разумѣется не теперешняя, а построенная въ 1666-омъ году, по указу царя Алексѣя Михаиловича; нынѣшняя существуетъ съ небольшимъ пятьдесятъ лѣтъ. Тогдашніе ряды или гостиный дворъ былъ кирпичный съ деревянными пристройками; онъ раздѣлялся на четыре двора: старый, новый, соляной и рыбный; въ первыхъ двухъ были ряды и амбары, въ послѣднихъ отдѣльныя лавочки, шалаши, балаганы и палатки. Лучшіе ряды

были: панскій суровскій, фряжскій и веницейскій. Кругомъ Лобнаго мѣста и по всей Красной площади разбросаны были также лавочки, шалаши и балаганы, въ которыхъ торговали шапками, рукавицами, всякимъ мелочнымъ товаромъ и съѣстными припасами. Вблизи отъ Лобнато мѣста стояло невысокое каменное зданіе, на плоской кровлѣ котораго лежали двѣ огромныя мѣдныя пушки — это былъ домъ земскаго приказа или полиціи. Изъ двухъ улицъ, выходящихъ на Красную площадь, нынѣшняя Ильинка была замѣчательна тѣмъ, что на ней, подъ открытомъ небомъ, происходило то, что въ наше время дѣлается обыкновенно по домамъ или въ особенно заведенныхъ для того комнатахъ. На этой улицѣ стригли волосы и, вѣроятно, посѣтители этихъ воздушныхъ salon pour la coupe des cheveux были очень многочисленны. Олеарій, жившій въ Москвѣ при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, говоритъ, что въ этой улицѣ всегда лежали на землѣ остриженные волосы такими толстыми и густыми слоями, что проходящимъ казалось, будто бы они ходятъ по тюфякамъ.

Въ 1682 году, вскорѣ послѣ перваго стрѣлецкаго бунта, въ ясный лѣтній вечеръ, на Красной площади, на которой по обыкновенію толпился народъ, одинъ молодой человѣкъ стоялъ прислонясь къ наружной стѣнѣ Лобнаго мѣста. Онъ былъ видный и прекрасный собою мужчина; его темноголубымъ глазамъ съ черными рѣсницами, румянымъ щекамъ и мягкимъ шелковистымъ кудрямъ позавидовала бы любая московская красавица; по его одеждѣ не трудно было отгадать, что онъ принадлежитъ къ числу младшихъ начальниковъ стрѣлецкаго войска. Этотъ молодой человѣкъ смотрѣлъ задумчиво и съ примѣтной грустію на рабочихъ людей, которые спѣшили окончить кирпичный довольно высокій столбъ, сооружаемый на самой срединѣ площади; по временамъ онъ бросалъ также исполненный презрѣнія взглядъ на отвратительную толпу продавцовъ, которые почти всѣ были стрѣльцы. Они явно и безъ всякаго опасенія продавали вещи, награбленныя ими во время мятежа. Ихъ буйныя и дерзкія рѣчи, наглость, съ какою они зазывали, или, лучше сказать, тащили къ себѣ покупщиковъ, обидныя насмѣшки, которымъ подвергались всѣ мирные граждане, не желавшіе покупать добытый разбоемъ товаръ, угрозы и ругательства, которыми эти вооруженные торгаши осыпали бѣдныхъ купцовъ, торгующихъ съ ними на одной площади,—

все изобличало этотъ буйный разгулъ ослѣпленныхъ удачею мятежниковъ; они безпечно предавались своей наистовой радости и веселію, а межъ тѣмъ надъ ихъ преступными главами сбиралась Божія гроза. Никто изъ нихъ не помышлялъ о страшномъ днѣ отмщенія—а этотъ день былъ уже близко.

— Что ты, горе богатырь, такъ призадумался?—сказалъ, подойдя къ этому молодому человѣку, стрѣлецкій сотникъ пожилыхъ лѣтъ и вовсе некрасивой наружности.

— А! здравствуй, Лутохинъ!—промолвилъ какъ будто бы нехотя молодой человѣкъ.

— Я и не зналъ, что ты пріѣхалъ,—продолжалъ пожилой стрѣлецъ.—Ну, братъ, понаслышались мы о тебѣ!... Поздравляю, Дмитрій Афанасьичъ!

— Съ чѣмъ?

— Какъ съ чѣмъ?... Вѣдь ты, два мѣсяца тому назадъ, поѣхалъ отсюда въ Кострому къ своему дядѣ Семену Яковлевичу Денисову.

— Ну да!

— И не засталъ его въ живыхъ.

— Такъ ты съ этимъ то меня поздравляешь?

— Не съ этимъ, братецъ! Да вѣдь онъ отказалъ тебѣ свое родовое помѣстье. Ты теперь человѣкъ богатый.

— Да Богъ съ нимъ съ этимъ богатствомъ!... Покойный дядя былъ мнѣ вмѣсто отца родного; кровныхъ у меня никого нѣтъ. Что я теперь? Одинъ какъ перстъ!

— А другой-то дядя—Андрей Яковлевичъ Денисовъ?

— Этого я знаю только по наслышкѣ.

— И я его никогда не видывалъ, а слыхать то слыхалъ. О немъ идетъ много всякихъ рѣчей: никоновцы зовутъ его еретикомъ, а тѣ изъ нашихъ, которые придерживаются старины, величаютъ столпомъ православія. Да гдѣ онъ теперь?

— Богъ вѣсть!... Покойная матушка сказывала мнѣ, что онъ сначала спасался въ Соловкахъ, послѣ жилъ за Онегою, а тамъ отправился на житье въ Стародубъ; а въ самомъ то дѣлѣ, чай, никто не знаетъ, гдѣ онъ теперь.

— Да, это правда. Мало ли что про него болтаютъ:— говорятъ, что онъ часто и въ Москвѣ бываетъ... да еще то ли!... Разсказываютъ, будто бы его въ одно время видали въ разныхъ мѣстахъ. Вотъ примѣромъ сказать: ты бы сегодня подъ вечеръ повстрѣчался къ нимъ въ Костромѣ, а мнѣ бы онъ попался теперь на Красной площади. Да это

все, чай, бабьи сплетни.—Скажи-ка мнѣ лучше, Дмитрій Афанасьевичъ, ты вчера что ль пріѣхалъ изъ Костромы?

— Нѣтъ, сегодня поутру.

— Ну, братъ Левшинъ!—продолжалъ пожилой стрѣлецъ,—жаль, что тебя здѣсь не было—пороботали мы!

— Да,—прошепталъ молодой человѣкъ, — пороботали, да только кому? Вѣдь можно поработать и Господу, и сатанѣ?

— Сатанѣ?... Что ты, что ты,—перекрестись!

— Пожалуй, у меня рука подымется: я не мятежникъ и не убійца.

— Да что жъ ты, Левшинъ въ самомъ дѣлѣ! — вскричалъ пожилой стрѣлецъ.—Да развѣ мы бунтовщики какіе? Вѣдь мы послужили царю нашему Іоанну Алексѣевичу и нашей матушкѣ царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ.

— А Петра то Алексѣевича ты забылъ?...

— Ну что жъ?... Вѣдь и онъ также царствуетъ.

— Поработали!—продолжалъ вполголоса молодой человѣчъ.—Хороша работа!... Какъ то вамъ будетъ отвѣчать на томъ свѣтѣ, коли на этомъ еще не отвѣтите!... Страшно подумать... сколько ближнихъ бояръ, знаменитыхъ сановниковъ!..

— Экій ты, братецъ, какой! Да слышь ты, они всѣ были измѣнники?

— Измѣнники? Неправда!... Да еслибъ и такъ: измѣнниковъ судитъ царь и дума боярская, а мы что за судьи?

— Что за судьи?... Видишь ли ты этотъ столбъ?

— Вижу.

— А знаешь-ли, что онъ строится съ дозволенія нашей матушки-царевны Софьи Алексѣевны?

— Знаю.

— А вѣдомо ли тебѣ, что его ставятъ здѣсь ради того, чтобы на вѣки вѣковъ знали о нашей вѣрной службѣ и объ измѣнѣ бояръ, за которыхъ ты заступаешься?

— Все знаю—и дай Богъ, чтобъ этотъ столбъ скорѣе развалился.

— Ого!... Такъ ты этакъ-то поговараваешь, Дмитрій Афанасьевичъ?... Да чему и дивиться!... Вѣдь ты не нашъ братъ: ты стрѣлецъ только по имени. Отецъ твой Афанасій Ильичъ Левшинъ...

— Что мой отецъ? Онъ служилъ стрѣлецкимъ головою.

— Знаемъ, знаемъ! А все-таки онъ былъ родовой человѣкъ. Твоя покойная матушка родомъ Денисова, племянница князю Мышецкому,—ты самъ теперь богатый помѣщикъ: такъ пригоже ли тебѣ, такому боярину, служить въ стрѣлецкомъ войскѣ! Тебѣ бы давно ударить челомъ, чтобъ тебя перевели въ жильцы. Вѣдь отъ жильцовъ-то недалеко и до стряпчихъ; а тамъ, глядишь, роденька твой, князь Мышецкій, замолвитъ за тебя словечко ближнему боярину князю Голицыну—такъ ты какъ-разъ и въ стольники попадешь.

— Нѣтъ, Лутохинъ: гдѣ служилъ и умеръ на службѣ мой отецъ, тамъ и я буду служить.

— А коли такъ, зачѣмъ же ты говоришь такія рѣчи? Иль ты не знаешь пословицы: съ волками жить по волчьи выть.

— Я не волкъ, а человѣкъ, и по волчьи выть не умѣю,— сказалъ отрывисто молодой стрѣлецъ, отходя прочь отъ Лобнаго мѣста.

Онъ не успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ другой стрѣлецкій сотникъ, почти однихъ лѣтъ и также весьма пріятной наружности, кинулся къ нему на шею и закричалъ:

— Здравствуй, братъ Левшинъ!... Давно ли ты изъ Костромы?...

— Только что пріѣхалъ, — отвѣчалъ Левшинъ. — Эхъ, братъ Колобовъ! — продолжалъ онъ, — не чаялъ я видѣть того, что вижу! Да неужели и ты такой же крамольникъ, какъ этотъ Ѳедька Лутохинъ, съ которымъ я сейчасъ говорилъ?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьевичъ, не обижай! И я, и всѣ мои товарищи неповинны въ этомъ грѣхѣ предъ Богомъ и царемъ. Сухарева полкъ, въ которомъ я служу, не измѣнилъ своей присягѣ. Сначала помутили и нашихъ ребятъ, и они было завозились, да пятисотенный Иванъ Васильевичъ Бурмистровъ,—дай Богъ ему здоровья!—сказалъ, что ляжетъ вмѣсто порога у царскихъ палатъ; вотъ они язычекъ-то и прикусили! А тамъ вышелъ пятидесятникъ Борисовъ, человѣкъ кажись, небольно грамотный, а какъ началъ имъ толковать, что такое есть присяга, такъ всѣ, братецъ, прослезились!

— Ну слава Богу! — сказалъ Левшинъ, — хоть одинъ полкъ! Все-таки душѣ полегче.

— Да за то ужъ, братъ, какъ другіе то полки насъ не жалуютъ—вотъ такъ бы и проглотили; да благо нельзя!... Вѣдь цѣлый полкъ не одинъ человѣкъ — подавишься! Знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ: тебѣ бы не худо переписаться въ нашъ полкъ. Вашъ полковникъ Бухвостовъ болѣнъ, такъ заурядъ правитъ полкомъ Кузьма Иванычъ Чермновъ, задушевный другъ Самбулову, Цыклеру и Щегловитому; а вѣдь они то и были первыми зачинщиками мятежа. Чего добраго, коли на бѣду эти разбойники провѣдаютъ, что ты не тянешь на ихъ руку, такъ они какъ разъ тебя уходятъ.

— Какъ! безъ суда?

— Какой судъ! Скажутъ, что ты измѣнникъ—вотъ и все! Вѣдь нашъ теперешній то набольшій князь Иванъ Андреевичъ Хованскій, имъ съ руки: что бъ они ни сдѣлали, все шито до крыто!...

— Эхъ, братъ Колобовъ, не хотѣлось бы мнѣ оставить полкъ, въ которомъ помнятъ еще моего покойнаго батюшку.

— Развѣ помнили, а теперь у нихъ не то на умѣ. — Эй, Левшинъ, послушайся меня! Хочешь, я теперь же пойду къ Ивану Васильевичу Бурмистрову?... Онъ это дѣло разомъ уладитъ.

— Ну-инъ бытъ по твоему,—сказалъ Левшинъ. — Вѣдь по правдѣ то сказать, и покойный батюшка не сталъ бы служить съ бунтовщиками.

— Тсъ! тише! что ты горланишь! — шепнулъ Колобовъ. — Иль тебѣ надоѣло голову на плечахъ носить? Кругомъ насъ ушей то много—про себя, что хочешь, говори, а вслухъ не моги!—Вѣдь здѣсь, братецъ, на площади расправа коротка — ни за что пропадешь!... Ты теперь куда — домой что ль?...

— Нѣтъ, еще не домой. Зайду въ Успенскій соборъ поклониться святымъ угодникамъ.

— Ну, ступай, а я завтра у тебя по утру побываю.

Левшинъ, простясь съ своимъ пріятелемъ, отправился въ Кремль. Подойдя къ Спасскимъ воротамъ, онъ увидѣлъ, что множество празношатающихся людей всякаго состоянія и въ томъ числѣ нѣсколько стрѣльцовъ, столпилось вокругъ одного нищаго. Лицо, руки и босыя ноги этого нищаго были запачканы грязью, а сверхъ посконнаго балахона, отъ котораго оставались одни только лохмотья, надѣта была черезъ плечо воревка, на которой висѣлъ плетеный изъ

лыка кошель. Впрочемъ, лицо его было не безобразно, и сѣдые распущенные по плечамъ волосы придавали ему видъ состарѣвшагося въ трудахъ монастырскаго послушника.

— Ну что вы пристали! — говорилъ онъ плаксивымъ голосомъ дурака, котораго раздразнили.—Наладили одно да одно: «Гриша! гдѣ ты былъ? Гриша! куда ты пропадалъ?» — Такъ не скажу! На что вамъ.

— Вотъ ужъ цѣлый годъ никто тебя не видѣлъ у Спасскихъ воротъ, — сказалъ одинъ купецъ. — Мы, Гриша, думали, что ты умеръ.

— Нѣтъ, братъ, живехонекъ!...

— На-ка тебѣ, Гриша, копеечку, — сказалъ другой купецъ.

— На что мнѣ? У меня, братъ, и своихъ копеечекъ то было много.

— Куда жъ ты ихъ подѣвалъ?—сказалъ первый купецъ.

— Разошлись по бѣлу свѣту.

— Эхъ, Гриша, Гриша! зачѣмъ же ты ихъ не берегъ?...

— Большіе колокола не велѣли.

Вся толпа засмѣялась.

— Смѣйтесь, смѣйтесь! А послушайте-ка сами, что колокола говорятъ.

— А что они говорятъ, Гриша? — спросилъ одинъ изъ купцовъ.

— Да маленькіе то лепечутъ: «денегъ дай, денегъ дай, денегъ дай!» А большіе то, видно, умнѣе маленькихъ; тѣ гудятъ: «деньги гибель, деньги гибель, деньги гибель!»

Хохотъ въ толпѣ удвоился.

— Да! вамъ смѣхъ, а мнѣ и полъ-смѣха не было, — продолжалъ нищій. — Жаль было съ денежками разставаться, а все-таки большихъ колоколовъ послушался: началъ мои копеечки раздавать—бери, кто хочетъ! И теперь,— прибавилъ онъ съ веселой улыбкой, — слава тебѣ Господи, нѣтъ за душой ни полушечки!

— Гриша, — сказалъ одинъ изъ стрѣльцовъ, — спой-ка намъ Алексѣя Божья человѣка.

— Да, спой!... Какъ бы не такъ! Вѣдь поешь, коли на сердцѣ весело, а мнѣ плакать хочется.

— О чемъ, Гриша?

— Да есть о чемъ. Пришелъ я вчера издалека, пообносился, усталъ, намаялся. Вотъ думаю: погоди! отведу же я себѣ душеньку; въ Москвѣ у меня пріятелей то много:

тотъ дастъ калачикъ, тотъ рубашенку, тотъ зипунъ... Дай пойду къ князю Юрію Алексѣевичу Долгорукову. Онъ, бывало, голубчикъ, всегда меня и напоитъ, и накормитъ. Пошелъ. Стукъ, стукъ! — «Что ты?»—Пришелъ повидаться съ князюшкой. — «Такъ ступай на погостъ: его убили стрѣльцы». А сынокъ то его? «Лежитъ съ нимъ рядышкомъ». — Ну, нечего дѣлать! Я къ князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому. — «Приказалъ, дескать, долго жить! Убили стрѣльцы». — Я къ князьямъ Ромодановскимъ. — «Свезли, дескать, на кладбище — убили стрѣльцы!» Вотъ думаю: пойду къ Артамону Сергѣевичу Матвѣеву — вѣдь его стрѣльцы-то отцомъ роднымъ называли, такъ ужъ вѣрно у нихъ и руки на него не подымутся. — Пришелъ. Стукнулъ въ калитку. — «Кого надобно?»... Артамона Сергѣевича. «Помолись за его душу—убили стрѣльцы!»...

— Туда измѣнникамъ и дорога!—прервалъ стрѣлецъ.— А ты, Гриша, пустого то не мели.

— Да, да! — подхватилъ другой стрѣлецъ, — ты смотри, лохмотникъ, ври да не завирайся! Пошелъ бы лучше да умылся—замарашка этакій! Руки то всѣ въ грязи.

— И, братъ! — сказалъ нищій. — Что грязь?... Грязь ничего! Ополоснулся водицей — глядишь, и бѣлехонекъ! А вотъ какъ руки то замараешь христіанской кровью, такъ ужъ ихъ, голубчикъ, ничѣмъ не отмоешь.

— Вотъ что выдумалъ!...—промолвилъ третій стрѣлецъ, огромнаго роста и съ звѣрской, глупой рожею. — Ничѣмъ не отмоешь. Эва! какую околесную несетъ!

— Нѣтъ, не околесную, — подхватилъ первый стрѣлецъ. — Онъ себѣ на умѣ! Вишь, какія рѣчи говоритъ!

— Эхъ, братцы,—продолжалъ нищій,—погуляли, потѣшились — будетъ! пора и Богу помолиться! Вѣдь Онъ терпитъ, терпитъ, да какъ устанетъ терпѣть — такъ худо, ребята! И къ вамъ также придутъ: «стукъ, стукъ!» — Кого надобно? «Стрѣльцовъ молодцовъ». — Были, дескать, были, да всѣ сплыли и на показъ не осталось.

— Ахъ ты, воронъ зловѣщій, — завопилъ первый стрѣлецъ.—Да что жъ ты, въ самомъ дѣлѣ, такъ раскаркался?— Гоните его, ребята, съ площади долой! Полоумный этакій!... Пошелъ! пошелъ!

Стрѣльцы бросились на нищаго и начали его бить и гнать передъ собою толчками.

— Что вы это, братцы? — закричалъ Левшинъ.—Ну не грѣшно ли вамъ? Недужный старикъ—нищій!...

Тутъ кто-то схватилъ Левшина за руку. Онъ обернулся. Передъ нимъ стоялъ пріятель его Колобовъ, блѣдный, какъ смерть. — Скорѣй, скорѣй отсюда! — прошепталъ онъ торопливо.

— Постой, братецъ!—сказалъ Левшинъ.—Дай выручить этого бѣдняка. Они прибьютъ его до полусмерти.

— Эхъ, братецъ, оставь ихъ! Ну что они ему сдѣлаютъ? вѣдь онъ убогій человѣкъ. Поколотятъ, да и все! А ты о головѣ то своей подумай.

— О головѣ?...

— Пойдемъ! — сказалъ Колобовъ, оглядываясь робко назадъ и таща за собою Левшина.—Тамъ въ Кремлѣ я все тебѣ скажу.

II.

Войдя Спасскими воротами въ Кремль, Колобовъ повелъ своего пріятеля на то самое мѣсто, гдѣ теперь Разводная площадь. Въ то время вся эта площадь была покрыта деревянными домами бояръ и бревенчатыми избами, изъ которыхъ многія были ничѣмъ не лучше нынѣшнихъ бѣлыхъ крестьянскихъ избъ.

— Вотъ здѣсь мы можемъ на минуту остановиться, — сказалъ Колобовъ.—Сюда они не придутъ. Ну, слава Богу, что я тебя отыскалъ!... Еслибъ ты имъ попался!...

— Кому, братецъ?

— Ну, Левшинъ, не говорилъ ли я тебѣ...

— Да что такое?

— А то, что тебѣ надобно скорѣй отсюда убираться,— да не къ намъ, въ стрѣлецкую слободу: тамъ тебя найдутъ...

— Найдутъ? — Кто найдетъ?

— А вотъ послушай. Простясь съ тобою, я пошелъ къ Ивану Васильевичу Бурмистрову. Онъ живетъ въ своемъ домѣ на Неглинной. Какъ я сталъ подходить къ Каретнымъ воротамъ, слышу — тебя называютъ громко по имени. Гляжу, стоятъ человѣкъ двадцать стрѣльцовъ, да трое сотниковъ твоего полка—этотъ буянъ Михайло Чечотка, Андрей Головлинскій и мошенникъ Ѳедька Лутохинъ. Я подошелъ поближе и сталъ прислушиваться. — «Да, братцы», — говорилъ Лутохинъ, «Левшинъ всѣхъ насъ позоритъ, говоритъ,

что мы разбойники и бунтовщики, смѣется надъ нашимъ столбомъ».—«Ахъ онъ измѣнникъ!»—закричалъ Чечотка.—«Ребята! знаете ли что? Петлю ему на шею, да вздернемъ его на этотъ столбъ!» — «Вздернемъ!» — закричали стрѣльцы.—«Стойте, братцы, стойте!... Что вы?»—молвилъ Андрей Головлинскій; — «вѣдь онъ нашъ братъ, стрѣлецкій сотникъ, а не купчина какой. Коли онъ измѣнникъ, такъ его надо казнить порядкомъ. Отведемъ его къ полковнику. Вы знаете, Кузьма Иванычъ Чермновъ потачки не дастъ...» — «Да что жъ»,—закричалъ опять Чечотка, — «развѣ мы сами съ этимъ дворянчикомъ не справимся?» — «Кто и говоритъ», — сказалъ Головлинскій. — «Убить не долго, да что въ этомъ толку то? Еще пожалуй скажутъ, что мы по насердкамъ убили этого измѣнника. Нѣтъ, братцы! пусть прежде сдѣлаютъ ему пристрастный вопросъ, а какъ уличатъ въ измѣнѣ, такъ выведутъ на площадь, да казнятъ всенародно, по приговору стрѣлецкаго приказа... Знаете ли что? Пойдемте всѣ къ нему на домъ; коли еще онъ не вернулся, такъ мы его подождемъ». — «Въ самомъ дѣлѣ», — молвилъ Лутохинъ,—«пойдемте, братцы, захватимъ на дому этого Іуду предателя, скрутимъ ему руки назадъ, да и потащимъ къ полковнику Чермнову: онъ его допроситъ посвойски!» — «А коли онъ начнетъ барахтаться,» — промолвилъ Чечотка, — «такъ мы его и безъ полковника порѣшимъ!... Собакѣ, измѣннику — собачья и смерть. Не такъ ли, ребята?»—«Такъ!»—заревѣли въ одинъ голосъ стрѣльцы, да всей гурьбой и отправились на Москворѣцкій мостъ, а я побѣжалъ тебя отыскивать, и слава тебѣ Господи, что нашелъ.

— Ужъ не думаютъ ли эти разбойники, — сказалъ Левшинъ,—что я живой имъ отдамся въ руки?

— Не о томъ рѣчь, братецъ!... Ты вѣдь одинъ съ цѣлымъ полкомъ не сладишь. Вотъ какъ перейдешь къ намъ, такъ у тебя будетъ заступа — не выдадимъ; а теперь денька на три тебѣ надо пріискать какое-нибудь укромное мѣстечко. Ко мнѣ нельзя: я живу за Москвою-рѣкою въ слободѣ, а тамъ тебя и ночью то будутъ сторожить... Знаешь ли что? У меня есть знакомая старушка, она держитъ въ Зарядьѣ постоялый дворъ; сама она старообрядка, и останавливаются у нея всѣ пріѣзжіе и старообрядцы. Старуха добрая; я ей скажу, что ты задолжалъ богатымъ людямъ и что тебя на правежъ тащили, да ты ушелъ, такъ она

отведетъ тебѣ такой уголокъ, что тебя въ полгода и земскій приказъ не отыщетъ. Намъ придется опять идти черезъ Красную площадь, да, чай, ужъ эти разбойники давно за Москвой-рѣкой, такъ мы съ ними не встрѣтимся. Пойдемъ, Дмитрій Афанасьевичъ. Пока я не сдамъ тебя съ рукъ на руки моей старухѣ, до той поры у меня отъ сердца не отляжетъ.

Оба сотника, оставивъ Кремль, вышли опять на Красную площадь; съ перваго взгляда они увидѣли, что на ней происходитъ что-то необыкновенное. Народъ волновался, шумѣлъ, и многочисленныя толпы со всѣхъ сторонъ площади спѣшили къ Лобному мѣсту. Увлеченные этимъ людскимъ потокомъ наши молодые стрѣльцы подошли довольно близко къ Лобному мѣсту — и тутъ представилось Левшину совершенно неожиданное для него зрѣлище. Множество людей, изъ которыхъ нѣкоторые были одѣты какъ чернецы, стояло съ иконами, крестами и святымъ евангеліемъ: у иныхъ были въ рукахъ огромные свитки, другіе толпились вокругъ налоевъ, на которыхъ лежали разогнутыя церковныя книги; передъ ними полупьяные мужики держали зажженныя свѣчи, — а на Лобномъ мѣстѣ стоялъ въ подрясникѣ человѣкъ высокаго роста, съ косматой бородой и растрепанными длинными волосами. Онъ кричалъ громкимъ голосомъ: «Послушай, народъ христіанскій, обличеніе на новую Никоніанскую вѣру!... Постойте, православные, за истинную церковь, ибо нынѣ уже нѣтъ православной церкви, и прямая вѣра погибе на земли!... Се бо антихристъ насталъ!»

— Что это такое?—спросилъ Левшинъ, когда они, продравшись сквозь толпы и миновавъ церковь Василія Блаженнаго, повернули налѣво по Варваркѣ. — Что это за человѣкъ такой?

— Да все тотъ же разстрига Никита Пустосвятъ. Вотъ ужъ онъ цѣлую недѣлю таскается по всѣмъ площадямъ, рынкамъ и кружаламъ—мутитъ вездѣ народъ.

— И его до сихъ поръ не уймутъ?

— Да, братъ, сунься-ка! За его вѣру стоитъ половина стрѣлецкаго войска, да никакъ и самъ князь-то Иванъ Андреевичъ Хованскій того же толку придерживается... Охъ, братъ Левшинъ, — плохія времена!... То-то и есть! помирволили сначала этимъ крамольникамъ — дали повадку, а теперь имъ ужъ удержу нѣтъ!... Ну, вотъ и церковь

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ВТОРОЙ

ИЗДАНІЕ
ПОСТАВЩИКА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО Т—ВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный дв., 18 | МОСКВА, Кузнецкій мостъ, 12
1898

ТИПОГРАФІЯ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО
ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ
Спб., В. О., 16 л., № 5—7.

БРЫНСКІЙ ЛѢСЪ

ЭПИЗОДЪ

ИЗЪ ПЕРВЫХЪ ГОДОВЪ ЦАРСТВОВАНІЯ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Подъ самодержавнымъ и кроткимъ правленіемъ двухъ первыхъ царей изъ рода Романовыхъ, отечество наше начинало уже забывать всѣ прошедшія свои страданія. Какъ торжествующій побѣдитель, едва не погибшій въ борьбѣ съ сильнымъ врагомъ, смотритъ съ гордостію — но также и съ невольнымъ трепетомъ, на свою грудь, покрытую исцѣлѣвшими ранами: такъ точно и святая Русь, съ внутреннимъ сознаніемъ своей силы, но вмѣстѣ и съ ужасомъ вспоминала о бѣдствіяхъ, претерпѣнныхъ ею во времена междуцарствія. Въ послѣднія тридцать лѣтъ, благодаря твердому и мудрому правленію царя Алексѣя Михаиловича, Россія отдохнула и стала попрежнему царствомъ сильнымъ, богатымъ и самобытнымъ; почти вездѣ изгладились кровавые слѣды ея враговъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, и одно только изустное преданіе напомилало русскимъ о нашествіи иноплеменныхъ, о грабежахъ буйныхъ полчищъ Трубецкаго, о разореніи Москвы, о постыдныхъ предательствахъ, измѣнахъ—и, можетъ быть, скоро всѣ эти казни Божіи, эти самозванцы, поляки, междуусобія и крамолы стали бы имъ казаться какимъ-то смутнымъ, тяжкимъ сномъ, еслибъ вмѣстѣ съ кончиною царя Ѳеодора Алексѣевича не возникъ снова этотъ духъ мятежа и безначалія, отъ которыхъ не рѣдко гибнутъ цѣлые народы и сильныя царства становятся добычею слабыхъ своихъ сосѣдей.

Отъ царствующаго рода оставалось только два сына царя Алексѣя Михаиловича: отъ перваго брака царевичъ Іоаннъ, отъ втораго Петръ:— первый, едва вышедшій изъ дѣтства, второй еще дитя. Рожденная отъ перваго брака старшая ихъ сестра, царевна Софья Алексѣевна, была одна изъ прекраснѣйшихъ женщинъ своего времени, одаренная умомъ и способностями истинно необычайными; но въ то же время властолюбивая, хитрая и готовая пожертвовать всѣмъ для достиженія своей цѣли. Царевичъ Іоаннъ, юноша кроткій и благоразумный, но слабый здоровьемъ, отказался добровольно отъ своего наслѣдственнаго права, и десятилѣтный Петръ былъ единогласно провозглашенъ царемъ Русскимъ. Это единодержавное правленіе продолжалось только три недѣли. Царевна Софія, при помощи родственника своего, боярина Милославскаго, и другихъ приверженныхъ ей вельможъ, склонила на свою сторону московскихъ стрѣльцовъ. Они взбунтовались, побросали съ высокихъ каланчей своихъ съѣзжихъ избъ тѣхъ полковниковъ, которые старались удержать ихъ отъ мятежа, перерѣзали главныхъ своихъ начальниковъ, князей Долгорукихъ—отца и сына, умертвили родственниковъ Петра, бояръ Нарышкиныхъ, князя Черкасскаго, двухъ князей Ромодановскихъ, только что возвратившагося изъ ссылки знаменитаго Артамона Сергѣевича Матвѣева, многихъ другихъ бояръ и сановниковъ—и потомъ силою возвели на престолъ, въ соцарствованіе Петру, брата его царевича Іоанна, а сестру ихъ, Софію, объявили соправительницею — или, вѣрнѣй сказать — правительницею царства Русскаго, потому что сначала выходили указы за подписаніемъ ея и обоихъ царей, а впослѣдствіи подписывала ихъ одна Софья Алексѣевна. Но это было мало для властолюбивой царевны; она предвидѣла, что власть ея не долго продлится. Десятилѣтній Петръ не походилъ на обыкновенныхъ дѣтей: на его юномъ и прекрасномъ челѣ лежала печать помазанника Божія. Избранникъ небесъ, переродитель Россіи, онъ и въ дѣтскихъ годахъ удивлялъ всѣхъ своимъ умомъ, твердостію и безстрашіемъ. Всѣ его ребяческія забавы, всѣ дѣтскія потѣхи имѣли высокую, безсмертную цѣль, которую, можетъ быть, отгадывала одна Софья. Еще нѣсколько лѣтъ и это порфирородное дитя будетъ самодержавнымъ, мощнымъ царемъ, съ которымъ всякая борьба сдѣлается невозможною. Слѣдствіемъ этого предвидѣнія были безпрестанные мятежи, возмущенія стрѣльцовъ и заговоры,

всегда клонившіеся къ тому, чтобъ погубить державнаго отрока Петра, который былъ не подъ силу Софьѣ Алексѣевнѣ, не смотря на то, что ее называли премудрою.

Прежде, чѣмъ я приступлю къ моему разсказу, мнѣ должно познакомить читателей съ тогдашнимъ единственнымъ въ Москвѣ сборнымъ мѣстомъ, или, если хотите, гуляньемъ всѣхъ праздныхъ людей, зѣвакъ, вѣстовщиковъ, охотниковъ до новостей, разныхъ промышленниковъ, а иногда и людей, имѣющихъ важные замыслы. Это гулянье, или лучше сказать, сходбище, на которомъ, по словамъ иностранныхъ писателей, народъ толпился каждый день съ утра до вечера, это сборное мѣсто, напоминающее римскій форумъ — называлось, и теперь еще называется, Красной площадью; только нынѣшняя во многомъ не походитъ на прежнюю. Покровскій соборъ, то есть церковь Василія Блаженнаго, Лобное мѣсто и Спасскія ворота—вотъ все, что осталось въ прежнемъ видѣ. Вмѣсто нынѣшнихъ красивыхъ и легкихъ Никольскихъ воротъ возвышалась тяжелая четыреугольная башня съ небольшой вышкою и воротами, которыя также назывались Никольскими. Кремль отдѣлялся отъ Красной площади не такъ, какъ теперь, одной высокой стѣною,—ихъ было три, одна другой выше; надъ зубцами внутренней—то есть самой высокой стѣны, была деревянная крыша, точно такая же, какъ теперь, надъ оградою Троице-Сергіевской лавры. Выше кремлевскихъ стѣнъ блистали, какъ и теперь, главы соборовъ, монастырскихъ церквей и сіялъ въ вышинѣ златой крестъ Ивава Великаго. Направо къ Никольскимъ воротамъ, за стѣною Кремля, виднѣлась кровля дома боярина Бориса Михаиловича Лыкова; налѣво къ собору Василія Блаженнаго высоко подымались огромныя хоромы ближнихъ бояръ, Ивана Васильевича Морозова и князя Якова Куденетовича Черкасскаго. У Иверскихъ воротъ, которыя тогда назывались Каретными и Воскресенскими, существовала уже часовня Иверской Божіей Матери, разумѣется не теперешняя, а построенная въ 1666-омъ году, по указу царя Алексѣя Михаиловича; нынѣшняя существуетъ съ небольшимъ пятьдесятъ лѣтъ. Тогдашніе ряды или гостиный дворъ былъ кирпичный съ деревянными пристройками; онъ раздѣлялся на четыре двора: старый, новый, соляной и рыбный; въ первыхъ двухъ были ряды и амбары, въ послѣднихъ отдѣльныя лавочки, шалаши, балаганы и палатки. Лучшіе ряды

были: панскій суровскій, фряжскій и веницейскій. Кругомъ Лобнаго мѣста и по всей Красной площади разбросаны были также лавочки, шалаши и балаганы, въ которыхъ торговали шапками, рукавицами, всякимъ мелочнымъ товаромъ и съѣстными припасами. Вблизи отъ Лобнато мѣста стояло невысокое каменное зданіе, на плоской кровлѣ котораго лежали двѣ огромныя мѣдныя пушки — это былъ домъ земскаго приказа или полиціи. Изъ двухъ улицъ, выходящихъ на Красную площадь, нынѣшняя Ильинка была замѣчательна тѣмъ, что на ней, подъ открытомъ небомъ, происходило то, что въ наше время дѣлается обыкновенно по домамъ или въ особенно заведенныхъ для того комнатахъ. На этой улицѣ стригли волосы и, вѣроятно, посѣтители этихъ воздушныхъ salon pour la coupe des cheveux были очень многочисленны. Олеарій, жившій въ Москвѣ при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, говоритъ, что въ этой улицѣ всегда лежали на землѣ остриженные волосы такими толстыми и густыми слоями, что проходящимъ казалось, будто бы они ходятъ по тюфякамъ.

Въ 1682 году, вскорѣ послѣ перваго стрѣлецкаго бунта, въ ясный лѣтній вечеръ, на Красной площади, на которой по обыкновенію толпился народъ, одинъ молодой человѣкъ стоялъ прислонясь къ наружной стѣнѣ Лобнаго мѣста. Онъ былъ видный и прекрасный собою мужчина; его темноголубымъ глазамъ съ черными рѣсницами, румянымъ щекамъ и мягкимъ шелковистымъ кудрямъ позавидовала бы любая московская красавица; по его одеждѣ не трудно было отгадать, что онъ принадлежитъ къ числу младшихъ начальниковъ стрѣлецкаго войска. Этотъ молодой человѣкъ смотрѣлъ задумчиво и съ примѣтной грустію на рабочихъ людей, которые спѣшили окончить кирпичный довольно высокій столбъ, сооружаемый на самой срединѣ площади; по временамъ онъ бросалъ также исполненный презрѣнія взглядъ на отвратительную толпу продавцовъ, которые почти всѣ были стрѣльцы. Они явно и безъ всякаго опасенія продавали вещи, награбленныя ими во время мятежа. Ихъ буйныя и дерзкія рѣчи, наглость, съ какою они зазывали, или, лучше сказать, тащили къ себѣ покупщиковъ, обидныя насмѣшки, которымъ подвергались всѣ мирные граждане, не желавшіе покупать добытый разбоемъ товаръ, угрозы и ругательства, которыми эти вооруженные торгаши осыпали бѣдныхъ купцовъ, торгующихъ съ ними на одной площади,—

все изобличало этотъ буйный разгулъ ослѣпленныхъ удачею мятежниковъ; они безпечно предавались своей наистовой радости и веселію, а межъ тѣмъ надъ ихъ преступными главами сбиралась Божія гроза. Никто изъ нихъ не помышлялъ о страшномъ днѣ отмщенія—а этотъ день былъ уже близко.

— Что ты, горе богатырь, такъ призадумался?—сказалъ, подойдя къ этому молодому человѣку, стрѣлецкій сотникъ пожилыхъ лѣтъ и вовсе некрасивой наружности.

— А! здравствуй, Лутохинъ!—промолвилъ какъ будто бы нехотя молодой человѣкъ.

— Я и не зналъ, что ты пріѣхалъ,—продолжалъ пожилой стрѣлецъ.—Ну, братъ, понаслышались мы о тебѣ!... Поздравляю, Дмитрій Афанасьичъ!

— Съ чѣмъ?

— Какъ съ чѣмъ?... Вѣдь ты, два мѣсяца тому назадъ, поѣхалъ отсюда въ Кострому къ своему дядѣ Семену Яковлевичу Денисову.

— Ну да!

— И не засталъ его въ живыхъ.

— Такъ ты съ этимъ то меня поздравляешь?

— Не съ этимъ, братецъ! Да вѣдь онъ отказалъ тебѣ свое родовое помѣстье. Ты теперь человѣкъ богатый.

— Да Богъ съ нимъ съ этимъ богатствомъ!... Покойный дядя былъ мнѣ вмѣсто отца родного; кровныхъ у меня никого нѣтъ. Что я теперь? Одинъ какъ перстъ!

— А другой-то дядя—Андрей Яковлевичъ Денисовъ?

— Этого я знаю только по наслышкѣ.

— И я его никогда не видывалъ, а слыхать то слыхалъ. О немъ идетъ много всякихъ рѣчей: никоновцы зовутъ его еретикомъ, а тѣ изъ нашихъ, которые придерживаются старины, величаютъ столпомъ православія. Да гдѣ онъ теперь?

— Богъ вѣсть!... Покойная матушка сказывала мнѣ, что онъ сначала спасался въ Соловкахъ, послѣ жилъ за Онегою, а тамъ отправился на житье въ Стародубъ; а въ самомъ то дѣлѣ, чай, никто не знаетъ, гдѣ онъ теперь.

— Да, это правда. Мало ли что про него болтаютъ:— говорятъ, что онъ часто и въ Москвѣ бываетъ... да еще то ли!... Разсказываютъ, будто бы его въ одно время видали въ разныхъ мѣстахъ. Вотъ примѣромъ сказать: ты бы сегодня подъ вечеръ повстрѣчался къ нимъ въ Костромѣ, а мнѣ бы онъ попался теперь на Красной площади. Да это

все, чай, бабьи сплетни.—Скажи-ка мнѣ лучше, Дмитрій Афанасьевичъ, ты вчера что ль пріѣхалъ изъ Костромы?

— Нѣтъ, сегодня поутру.

— Ну, братъ Левшинъ!—продолжалъ пожилой стрѣлецъ,—жаль, что тебя здѣсь не было—пороботали мы!

— Да,—прошепталъ молодой человѣкъ, — пороботали, да только кому? Вѣдь можно поработать и Господу, и сатанѣ?

— Сатанѣ?... Что ты, что ты,—перекрестись!

— Пожалуй, у меня рука подымется: я не мятежникъ и не убійца.

— Да что жъ ты, Левшинъ въ самомъ дѣлѣ! — вскрпчалъ пожилой стрѣлецъ.—Да развѣ мы бунтовщики какіе? Вѣдь мы послужили царю нашему Іоанну Алексѣевичу и нашей матушкѣ царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ.

— А Петра то Алексѣевича ты забылъ?...

— Ну что жъ?... Вѣдь и онъ также царствуетъ.

— Поработали!—продолжалъ вполголоса молодой человѣчъ.—Хороша работа!... Какъ то вамъ будетъ отвѣчать на томъ свѣтѣ, коли на этомъ еще не отвѣтите!... Страшно подумать... сколько ближнихъ бояръ, знаменитыхъ сановниковъ!..

— Экій ты, братецъ, какой! Да слышь ты, они всѣ были измѣнники?

— Измѣнники? Неправда!... Да еслибъ и такъ: измѣнниковъ судитъ царь и дума боярская, а мы что за судьи?

— Что за судьи?... Видишь ли ты этотъ столбъ?

— Вижу.

— А знаешь-ли, что онъ строится съ дозволенія нашей матушки-царевны Софьи Алексѣевны?

— Знаю.

— А вѣдомо ли тебѣ, что его ставятъ здѣсь ради того, чтобы на вѣки вѣковъ знали о нашей вѣрной службѣ и объ измѣнѣ бояръ, за которыхъ ты заступаешься?

— Все знаю—и дай Богъ, чтобъ этотъ столбъ скорѣе развалился.

— Ого!... Такъ ты этакъ-то поговараваешь, Дмитрій Афанасьевичъ?... Да чему и дивиться!... Вѣдь ты не нашъ братъ: ты стрѣлецъ только по имени. Отецъ твой Афанасій Ильичъ Левшинъ...

— Что мой отецъ? Онъ служилъ стрѣлецкимъ головою.

— Знаемъ, знаемъ! А все-таки онъ былъ родовой человѣкъ. Твоя покойная матушка родомъ Денисова, племянница князю Мышецкому,—ты самъ теперь богатый помѣщикъ: такъ пригоже ли тебѣ, такому боярину, служить въ стрѣлецкомъ войскѣ! Тебѣ бы давно ударить челомъ, чтобъ тебя перевели въ жильцы. Вѣдь отъ жильцовъ-то недалеко и до стряпчихъ; а тамъ, глядишь, роденька твой, князь Мышецкій, замолвитъ за тебя словечко ближнему боярину князю Голицыну—такъ ты какъ-разъ и въ стольники попадешь.

— Нѣтъ, Лутохинъ: гдѣ служилъ и умеръ на службѣ мой отецъ, тамъ и я буду служить.

— А коли такъ, зачѣмъ же ты говоришь такія рѣчи? Иль ты не знаешь пословицы: съ волками жить по волчьи выть.

— Я не волкъ, а человѣкъ, и по волчьи выть не умѣю,— сказалъ отрывисто молодой стрѣлецъ, отходя прочь отъ Лобнаго мѣста.

Онъ не успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ другой стрѣлецкій сотникъ, почти однихъ лѣтъ и также весьма пріятной наружности, кинулся къ нему на шею и закричалъ:

— Здравствуй, братъ Левшинъ!... Давно ли ты изъ Костромы?...

— Только что пріѣхалъ, — отвѣчалъ Левшинъ. — Эхъ, братъ Колобовъ! — продолжалъ онъ, — не чаялъ я видѣть того, что вижу! Да неужели и ты такой же крамольникъ, какъ этотъ Ѳедька Лутохинъ, съ которымъ я сейчасъ говорилъ?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьевичъ, не обижай! И я, и всѣ мои товарищи неповинны въ этомъ грѣхѣ предъ Богомъ и царемъ. Сухарева полкъ, въ которомъ я служу, не измѣнилъ своей присягѣ. Сначала помутили и нашихъ ребятъ, и они было завозились, да пятисотенный Иванъ Васильевичъ Бурмистровъ,—дай Богъ ему здоровья!—сказалъ, что ляжетъ вмѣсто порога у царскихъ палатъ; вотъ они язычекъ-то и прикусили! А тамъ вышелъ пятидесятникъ Борисовъ, человѣкъ кажись, небольно грамотный, а какъ началъ имъ толковать, что такое есть присяга, такъ всѣ, братецъ, прослезились!

— Ну слава Богу! — сказалъ Левшинъ, — хоть одинъ полкъ! Все-таки душѣ полегче.

— Да за то ужъ, братъ, какъ другіе то полки насъ не жалуютъ—вотъ такъ бы и проглотили; да благо нельзя!... Вѣдь цѣлый полкъ не одинъ человѣкъ — подавишься! Знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ: тебѣ бы не худо переписаться въ нашъ полкъ. Вашъ полковникъ Бухвостовъ боленъ, такъ заурядъ правитъ полкомъ Кузьма Иванычъ Чермновъ, задушевный другъ Самбулову, Цыклеру и Щегловитому; а вѣдь они то и были первыми зачинщиками мятежа. Чего добраго, коли на бѣду эти разбойники провѣдаютъ, что ты не тянешь на ихъ руку, такъ они какъ разъ тебя уходятъ.

— Какъ! безъ суда?

— Какой судъ! Скажутъ, что ты измѣнникъ—вотъ и все! Вѣдь нашъ теперешній то набольшій князь Иванъ Андреевичъ Хованскій, имъ съ руки: что бъ они ни сдѣлали, все шито до крыто!...

— Эхъ, братъ Колобовъ, не хотѣлось бы мнѣ оставить полкъ, въ которомъ помнятъ еще моего покойнаго батюшку.

— Развѣ помнили, а теперь у нихъ не то на умѣ. — Эй, Левшинъ, послушайся меня! Хочешь, я теперь же пойду къ Ивану Васильевичу Бурмистрову?... Онъ это дѣло разомъ уладитъ.

— Ну-инъ быть по твоему,—сказалъ Левшинъ. — Вѣдь по правдѣ то сказать, и покойный батюшка не сталъ бы служить съ бунтовщиками.

— Тсъ! тише! что ты горланишь! — шепнулъ Колобовъ. — Иль тебѣ надоѣло голову на плечахъ носить? Кругомъ насъ ушей то много—про себя, что хочешь, говори, а вслухъ не моги!—Вѣдь здѣсь, братецъ, на площади расправа коротка — ни за что пропадешь!... Ты теперь куда — домой что ль?...

— Нѣтъ, еще не домой. Зайду въ Успенскій соборъ поклониться святымъ угодникамъ.

— Ну, ступай, а я завтра у тебя по утру побываю.

Левшинъ, простясь съ своимъ пріятелемъ, отправился въ Кремль. Подойдя къ Спасскимъ воротамъ, онъ увидѣлъ, что множество празношатающихся людей всякаго состоянія и въ томъ числѣ нѣсколько стрѣльцовъ, столпилось вокругъ одного нищаго. Лицо, руки и босыя ноги этого нищаго были запачканы грязью, а сверхъ посконнаго балахона, отъ котораго оставались одни только лохмотья, надѣта была черезъ плечо воревка, на которой висѣлъ плетеный изъ

лыка кошель. Впрочемъ, лицо его было не безобразно, и сѣдые распущенные по плечамъ волосы придавали ему видъ состарѣвшагося въ трудахъ монастырскаго послушника.

— Ну что вы пристали! — говорилъ онъ плаксивымъ голосомъ дурака, котораго раздразнили.—Наладили одно да одно: «Гриша! гдѣ ты былъ? Гриша! куда ты пропадалъ?» — Такъ не скажу! На что вамъ.

— Вотъ ужъ цѣлый годъ никто тебя не видѣлъ у Спасскихъ воротъ, — сказалъ одинъ купецъ. — Мы, Гриша, думали, что ты умеръ.

— Нѣтъ, братъ, живехонекъ!...

— На-ка тебѣ, Гриша, копеечку, — сказалъ другой купецъ.

— На что мнѣ? У меня, братъ, и своихъ копеечекъ то было много.

— Куда жъ ты ихъ подѣвалъ?—сказалъ первый купецъ.

— Разошлись по бѣлу свѣту.

— Эхъ, Гриша, Гриша! зачѣмъ же ты ихъ не берегъ?...

— Большіе колокола не велѣли.

Вся толпа засмѣялась.

— Смѣйтесь, смѣйтесь! А послушайте-ка сами, что колокола говорятъ.

— А что они говорятъ, Гриша? — спросилъ одинъ изъ купцовъ.

— Да маленькіе то лепечутъ: «денегъ дай, денегъ дай, денегъ дай!» А большіе то, видно, умнѣе маленькихъ; тѣ гудятъ: «деньги гибель, деньги гибель, деньги гибель!»

Хохотъ въ толпѣ удвоился.

— Да! вамъ смѣхъ, а мнѣ и полъ-смѣха не было, — продолжалъ нищій. — Жаль было съ денежками разставаться, а все-таки большихъ колоколовъ послушался: началъ мои копеечки раздавать—бери, кто хочетъ! И теперь,— прибавилъ онъ съ веселой улыбкой, — слава тебѣ Господи, нѣтъ за душой ни полушечки!

— Гриша, — сказалъ одинъ изъ стрѣльцовъ, — спой-ка намъ Алексѣя Божья человѣка.

— Да, спой!... Какъ бы не такъ! Вѣдь поешь, коли на сердцѣ весело, а мнѣ плакать хочется.

— О чемъ, Гриша?

— Да есть о чемъ. Пришелъ я вчера издалека, пообносился, усталъ, намаялся. Вотъ думаю: погоди! отведу же я себѣ душеньку; въ Москвѣ у меня пріятелей то много:

тотъ дастъ калачикъ, тотъ рубашенку, тотъ зипунъ... Дай пойду къ князю Юрію Алексѣевичу Долгорукову. Онъ, бывало, голубчикъ, всегда меня и напоитъ, и накормитъ. Пошелъ. Стукъ, стукъ! — «Что ты?»—Пришелъ повидаться съ князюшкой. — «Такъ ступай на погостъ: его убили стрѣльцы». А сынокъ то его? «Лежитъ съ нимъ рядышкомъ». — Ну, нечего дѣлать! Я къ князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому. — «Приказалъ, дескать, долго жить! Убили стрѣльцы». — Я къ князьямъ Ромодановскимъ. — «Свезли, дескать, на кладбище — убили стрѣльцы!» Вотъ думаю: пойду къ Артамону Сергѣевичу Матвѣеву — вѣдь его стрѣльцы-то отцомъ роднымъ называли, такъ ужъ вѣрно у нихъ и руки на него не подымутся. — Пришелъ. Стукнулъ въ калитку. — «Кого надобно?»... Артамона Сергѣевича. «Помолись за его душу—убили стрѣльцы!»...

— Туда измѣнникамъ и дорога!—прервалъ стрѣлецъ.— А ты, Гриша, пустого то не мели.

— Да, да! — подхватилъ другой стрѣлецъ, — ты смотри, лохмотникъ, ври да не завирайся! Пошелъ бы лучше да умылся—замарашка этакій! Руки то всѣ въ грязи.

— И, братъ! — сказалъ нищій. — Что грязь?... Грязь ничего! Ополоснулся водицей — глядишь, и бѣлехонекъ! А вотъ какъ руки то замараешь христіанской кровью, такъ ужъ ихъ, голубчикъ, ничѣмъ не отмоешь.

— Вотъ что выдумалъ!...—промолвилъ третій стрѣлецъ, огромнаго роста и съ звѣрской, глупой рожею. — Ничѣмъ не отмоешь. Эва! какую околесную несетъ!

— Нѣтъ, не околесную, — подхватилъ первый стрѣлецъ. — Онъ себѣ на умѣ! Вишь, какія рѣчи говоритъ!

— Эхъ, братцы,—продолжалъ нищій,—погуляли, потѣшились — будетъ! пора и Богу помолиться! Вѣдь Онъ терпитъ, терпитъ, да какъ устанетъ терпѣть — такъ худо, ребята! И къ вамъ также придутъ: «стукъ, стукъ!» — Кого надобно? «Стрѣльцовъ молодцовъ». — Были, дескать, были, да всѣ сплыли и на показъ не осталось.

— Ахъ ты, воронъ зловѣщій, — завопилъ первый стрѣлецъ.—Да что жъ ты, въ самомъ дѣлѣ, такъ раскаркался?— Гоните его, ребята, съ площади долой! Полоумный этакій!... Пошелъ! пошелъ!

Стрѣльцы бросились на нищаго и начали его бить и гнать передъ собою толчками.

— Что вы это, братцы? — закричалъ Левшинъ.—Ну не грѣшно ли вамъ? Недужный старикъ—нищій!...

Тутъ кто-то схватилъ Левшина за руку. Онъ обернулся. Передъ нимъ стоялъ пріятель его Колобовъ, блѣдный, какъ смерть. — Скорѣй, скорѣй отсюда! — прошепталъ онъ торопливо.

— Постой, братецъ!—сказалъ Левшинъ.—Дай выручить этого бѣдняка. Они прибьютъ его до полусмерти.

— Эхъ, братецъ, оставь ихъ! Ну что они ему сдѣлаютъ? вѣдь онъ убогій человѣкъ. Поколотятъ, да и все! А ты о головѣ то своей подумай.

— О головѣ?...

— Пойдемъ! — сказалъ Колобовъ, оглядываясь робко назадъ и таща за собою Левшина.—Тамъ въ Кремлѣ я все тебѣ скажу.

II.

Войдя Спасскими воротами въ Кремль, Колобовъ повелъ своего пріятеля на то самое мѣсто, гдѣ теперь Разводная площадь. Въ то время вся эта площадь была покрыта деревянными домами бояръ и бревенчатыми избами, изъ которыхъ многія были ничѣмъ не лучше нынѣшнихъ бѣлыхъ крестьянскихъ избъ.

— Вотъ здѣсь мы можемъ на минуту остановиться, — сказалъ Колобовъ.—Сюда они не придутъ. Ну, слава Богу, что я тебя отыскалъ!... Еслибъ ты имъ попался!...

— Кому, братецъ?

— Ну, Левшинъ, не говорилъ ли я тебѣ...

— Да что такое?

— А то, что тебѣ надобно скорѣй отсюда убираться,— да не къ намъ, въ стрѣлецкую слободу: тамъ тебя найдутъ...

— Найдутъ? — Кто найдетъ?

— А вотъ послушай. Простясь съ тобою, я пошелъ къ Ивану Васильевичу Бурмистрову. Онъ живетъ въ своемъ домѣ на Неглинной. Какъ я сталъ подходить къ Каретнымъ воротамъ, слышу — тебя называютъ громко по имени. Гляжу, стоятъ человѣкъ двадцать стрѣльцовъ, да трое сотниковъ твоего полка—этотъ буянъ Михайло Чечотка, Андрей Головлинскій и мошенникъ Ѳедька Лутохинъ. Я подошелъ поближе и сталъ прислушиваться. — «Да, братцы», — говорилъ Лутохинъ, «Левшинъ всѣхъ насъ позоритъ, говоритъ,

что мы разбойники и бунтовщики, смѣется надъ нашимъ столбомъ».—«Ахъ онъ измѣнникъ!»—закричалъ Чечотка.—«Ребята! знаете ли что? Петлю ему на шею, да вздернемъ его на этотъ столбъ!» — «Вздернемъ!» — закричали стрѣльцы.—«Стойте, братцы, стойте!... Что вы?»—молвилъ Андрей Головлинскій; — «вѣдь онъ нашъ братъ, стрѣлецкій сотникъ, а не купчина какой. Коли онъ измѣнникъ, такъ его надо казнить порядкомъ. Отведемъ его къ полковнику. Вы знаете, Кузьма Иванычъ Чермновъ потачки не дастъ...» — «Да что жъ»,—закричалъ опять Чечотка, — «развѣ мы сами съ этимъ дворянчикомъ не справимся?» — «Кто и говоритъ», — сказалъ Головлинскій. — «Убить не долго, да что въ этомъ толку то? Еще пожалуй скажутъ, что мы по насердкамъ убили этого измѣнника. Нѣтъ, братцы! пусть прежде сдѣлаютъ ему пристрастный вопросъ, а какъ уличатъ въ измѣнѣ, такъ выведутъ на площадь, да казнятъ всенародно, по приговору стрѣлецкаго приказа... Знаете ли что? Пойдемте всѣ къ нему на домъ; коли еще онъ не вернулся, такъ мы его подождемъ». — «Въ самомъ дѣлѣ», — молвилъ Лутохинъ,—«пойдемте, братцы, захватимъ на дому этого Іуду предателя, скрутимъ ему руки назадъ, да и потащимъ къ полковнику Чермнову: онъ его допроситъ посвойски!» — «А коли онъ начнетъ барахтаться,» — промолвилъ Чечотка, — «такъ мы его и безъ полковника порѣшимъ!... Собакѣ, измѣннику — собачья и смерть. Не такъ ли, ребята?»—«Такъ!»—заревѣли въ одинъ голосъ стрѣльцы, да всей гурьбой и отправились на Москворѣцкій мостъ, а я побѣжалъ тебя отыскивать, и слава тебѣ Господи, что нашелъ.

— Ужъ не думаютъ ли эти разбойники, — сказалъ Левшинъ,—что я живой имъ отдамся въ руки?

— Не о томъ рѣчь, братецъ!... Ты вѣдь одинъ съ цѣлымъ полкомъ не сладишь. Вотъ какъ перейдешь къ намъ, такъ у тебя будетъ заступа — не выдадимъ; а теперь денька на три тебѣ надо пріискать какое-нибудь укромное мѣстечко. Ко мнѣ нельзя: я живу за Москвою-рѣкою въ слободѣ, а тамъ тебя и ночью то будутъ сторожить... Знаешь ли что? У меня есть знакомая старушка, она держитъ въ Зарядьѣ постоялый дворъ; сама она старообрядка, и останавливаются у нея всѣ пріѣзжіе и старообрядцы. Старуха добрая; я ей скажу, что ты задолжалъ богатымъ людямъ и что тебя на правежъ тащили, да ты ушелъ, такъ она

отведетъ тебѣ такой уголокъ, что тебя въ полгода и земскій приказъ не отыщетъ. Намъ придется опять идти черезъ Красную площадь, да, чай, ужъ эти разбойники давно за Москвой-рѣкой, такъ мы съ ними не встрѣтимся. Пойдемъ, Дмитрій Афанасьевичъ. Пока я не сдамъ тебя съ рукъ на руки моей старухѣ, до той поры у меня отъ сердца не отляжетъ.

Оба сотника, оставивъ Кремль, вышли опять на Красную площадь; съ перваго взгляда они увидѣли, что на ней происходитъ что-то необыкновенное. Народъ волновался, шумѣлъ, и многочисленныя толпы со всѣхъ сторонъ площади спѣшили къ Лобному мѣсту. Увлеченные этимъ людскимъ потокомъ наши молодые стрѣльцы подошли довольно близко къ Лобному мѣсту — и тутъ представилось Левшину совершенно неожиданное для него зрѣлище. Множество людей, изъ которыхъ нѣкоторые были одѣты какъ чернецы, стояло съ иконами, крестами и святымъ евангеліемъ: у иныхъ были въ рукахъ огромные свитки, другіе толпились вокругъ налоевъ, на которыхъ лежали разогнутыя церковныя книги; передъ ними полупьяные мужики держали зажженныя свѣчи, — а на Лобномъ мѣстѣ стоялъ въ подрясникѣ человѣкъ высокаго роста, съ косматой бородой и растрепанными длинными волосами. Онъ кричалъ громкимъ голосомъ: «Послушай, народъ христіанскій, обличеніе на новую Никоніанскую вѣру!... Постойте, православные, за истинную церковь, ибо нынѣ уже нѣтъ православной церкви, и прямая вѣра погибе на земли!... Се бо антихристъ насталъ!»

— Что это такое?—спросилъ Левшинъ, когда они, продравшись сквозь толпы и миновавъ церковь Василія Блаженнаго, повернули налѣво по Варваркѣ. — Что это за человѣкъ такой?

— Да все тотъ же разстрига Никита Пустосвятъ. Вотъ ужъ онъ цѣлую недѣлю таскается по всѣмъ площадямъ, рынкамъ и кружаламъ—мутитъ вездѣ народъ.

— И его до сихъ поръ не уймутъ?

— Да, братъ, сунься-ка! За его вѣру стоитъ половина стрѣлецкаго войска, да никакъ и самъ князь-то Иванъ Андреевичъ Хованскій того же толку придерживается... Охъ, братъ Левшинъ, — плохія времена!... То-то и есть! помирволили сначала этимъ крамольникамъ — дали повадку, а теперь имъ ужъ удержу нѣтъ!... Ну, вотъ и церковь

Максима Блаженнаго! — Сюда, направо, Дмитрій Афанасьевичъ, ступай за мной, — прибавилъ Колобовъ, начиная спускаться съ крутой деревянной лѣстницы, которая, изгибаясь по скату горы, вела въ одну изъ улицъ *Зарядья*.

Зарядье, то есть часть города, находящаяся за рядами, и теперь составлена почти изъ однихъ въѣзжихъ домовъ, подворьевъ и харчевенъ; только теперь этотъ набережный кварталъ Китай-города застроенъ весь каменными домами, а тогда, за небольшимъ исключеніемъ, они всѣ были деревянные. Нынѣшніе постоялые дворы по большимъ дорогамъ могутъ дать понятіе о тогдашнихъ подворьяхъ Зарядья; они были только гораздо обширнѣе, и, вмѣсто одной большой избы, составлялись иногда изъ трехъ или четырехъ избъ, соединенныхъ межъ собою крытыми переходами; тутъ были и зимнія теплыя хаты съ широкой печью и палатями, и лѣтнія свѣтлицы съ красивыми рѣзными скамьями, дубовымъ чистымъ столомъ и оловяннымъ висячимъ умывальникомъ. Лучшимъ украшеніемъ этихъ избъ и свѣтлицъ были, такъ же какъ и теперь, живописныя иконы; передъ ними обыкновенно теплилась лампада, а изъ-за нихъ виднѣлась ивовая лоза, то есть верба, которая смѣнялась однажды въ году послѣ заутрени на Вербное Воскресенье. Иногда также на одной полкѣ съ образами стояла стклянка съ богоявленской водою и лежало яйцо, которымъ хозяинъ или хозяйка дома похристосовалась въ послѣднее Свѣтлое Воскресенье съ своимъ приходскимъ священникомъ.

Левшинъ и Колобовъ, спустясь по лѣстницѣ въ Зарядье, прошли шаговъ двѣсти вдоль прямой улицы, которая вела къ Москвѣ-рѣкѣ; потомъ, повернувъ налѣво въ кривой и грязный переулокъ, остановились подлѣ воротъ, занимающихъ промежутокъ между двухъ высокихъ избъ. Обѣ эти избы были въ два жилья, крыты гонтомъ и украшены рѣзными коньками и узорчатыми подвѣсками.

— Ну, вотъ и Мещовское подворье! — сказалъ Колобовъ.—Дома ли хозяйка? Эй, бабушка! ты дома что ль? — закричалъ онъ, подойдя къ открытому окну одной изъ избъ.

— Кто тутъ? — раздался въ избѣ пискливый голосъ — и въ небольшое окно сначала высунулся огромный красный носъ, а потомъ вдвинулось, какъ въ тѣсную раму, толстое, брюзглое лицо съ отвисшимъ подбородкомъ.

— Здорово, Архипьевна!

— Ахъ ты, соколъ мой ясный, Артемій Никифоровичъ! — пропищала эта безобразная рожа, ухмыляясь самымъ привѣтливымъ образомъ.—Милости просимъ, батюшка! Пожалуйте, пожалуйте! калитка отперта.

Наши пріятели взошли со двора въ небольшія сѣнцы, въ которыхъ встрѣтила ихъ хозяйка дома, толстая, здоровая старуха, въ поношенной камчатой тѣлогрѣѣ и красной камлотовой юбкѣ. Голова ея была повязана шелковымъ платкомъ и, какъ видно, на скорую руку, потому что Колобовъ, взглянувъ на нее, засмѣялся и сказалъ:

— Здравствуй Архипьевна!—Что это у тебя шлыкъ то на сторонѣ?

— Торопилась, батюшка, торопилась! — отвѣчала старуха, поправляя свой головной уборъ.—Вѣдь хуже, еслибъ вы застали меня простоволосою.—Милости просимъ въ мою келью, господа честные, милости просимъ!

Стрѣльцы вошли въ небольшую хату, довольно опрятную, но такую низкую, что Левшинъ, который былъ высокаго роста, едва не доставалъ головою до потолка. Въ переднемъ углу, на полкѣ, вмѣсто обыкновенныхъ живописныхъ иконъ, стоялъ огромный мѣдный складень съ выпуклыми изображеніями святыхъ и висѣли на гвоздикѣ кожаныя чотки.

— Архипьевна,—сказалъ Колобовъ,—я привелъ къ тебѣ этого молодца; онъ также, какъ я, стрѣлецкій сотникъ.

— Вижу, батюшка, вижу!

— Мы съ нимъ задушевные пріятели—крестами давно помѣнялись.

— Сирѣчь вы крестовые братья. Такъ, батюшка, такъ!

— Вотъ изволишь видѣть: онъ позадолжалъ и ужъ его сегодня вели на правежъ...

— На правежъ!... этакого молодца и красавца!... Помилуй Господи!... Видала я, какъ на этихъ правежахъ бьютъ прутьями по ногамъ. Мука, батюшка, мука!

— А дѣлать то нечего, Архипьевна; еслибъ онъ не ушелъ, такъ пришлось бы ему стоять босикомъ передъ приказомъ.

— Полно такъ ли, Артемій Никифоровичъ? Ужъ не хотѣли ли его только пугнуть? То-ли время теперь, чтобъ стрѣлецкаго сотника отдавать на правежъ!... Да какой купецъ или горожанинъ посмѣетъ...

— Вѣстимо, Архипьевна, купецъ не посмѣетъ, да онъ

задолжалъ не купцамъ, а своей братьи, начальнымъ стрѣлецкимъ людямъ.

— Вотъ что!... Ну это иная рѣчь, батюшка: тутъ ужъ за него вступиться будетъ некому.

— Денька черезъ три онъ какъ-нибудь справится и заплатитъ, да теперь то не можетъ, такъ знаешь ли, на это время надобно его куда ни есть припрятать, — понимаешь?

— Смекаю, батюшка.

— Не найдешь ли ты ему какой-нибудь уголокъ?

— Какъ бы не найдти, да на тотъ грѣхъ все мое подворье биткомъ набито проѣзжими—и все, батюшка, издалека, все люди нашей старой вѣры, со всѣхъ мѣстъ: съ Поморья, съ Вятки, изъ Брынскихъ лѣсовъ... Говорятъ, будто бы соборъ будетъ, и наши станутъ спорить съ никоновцами и отстаивать истинную вѣру... Помоги имъ Господи!

— Эхъ, не о томъ рѣчь, бабушка!—Ты мнѣ скажи: неужли то у тебя нѣтъ ни одного порожняго уголка?

— Есть то, есть, кормилецъ! На заднемъ дворѣ знатная свѣтелка! И лѣсенка въ нее особая.

— Такъ чего же лучше!

— А вотъ что, Артемій Никифоровичъ: рядомъ то съ нею другая свѣтелка, да внизу еще два покоя,—и въ нихъ во всѣхъ живетъ одинъ пріѣзжій...

— Ну такъ что жъ?

— Жилецъ то, батюшка, не простой...

— Да не бояринъ же какой-нибудь!..

— Бояринъ не бояринъ, а кабы вы знали, кто у него вчера былъ тайкомъ...

— А кто, бабушка?

— Да вѣдь вы, пожалуй, разболтаете...

— Нѣтъ, Архипьевна,—нѣтъ! Говори смѣло.

— Къ нему вчера, — продолжала старуха шопотомъ,— приходилъ въ сумерки, одинъ одинехонекъ... сама батюшка, видѣла, своими глазами...

— Да кто?

— Вашъ набольшой-то воевода...

— Князь Иванъ Андреевичъ Хованскій?

— Онъ!

— Вотъ что?... Да нѣтъ ли у твоего жильца дочки?..

— И, полно!... Что ты, грѣховодникъ!... Ну, конечно, дочка есть,—да то-то и бѣда: она живетъ въ свѣтлицѣ, такъ

если узнаютъ, что я подъ бокъ къ ней посадила такого молодца...

— Да вѣдь, чай, между имъ и этой красавицей стѣна будетъ?

— Какая стѣна... такъ изъ дощечекъ; и на бѣду и двери есть; хоть онѣ и заколочены, а все, батюшка, какъ то непригоже...

— Знаешь ли что Архипьевна: если тебя спросятъ, такъ ты скажи, что пустила въ эту свѣтелку недужнаго человѣка, старика... Вѣдь онъ никуда выходить не станетъ, и всего то на три дня...

— Правда, дочка то проѣзжаго, — продолжала Архипьевна,—днемъ только сидитъ въ свѣтлицѣ, а ночуетъ, обѣдаетъ и ужинаетъ внизу.

— Такъ чего же ты боишься? Лишь только эта красавица въ свѣтлицу, такъ онъ притаится, какъ заяцъ подъ кочкою. Ей и въ голову не придетъ, что подлѣ нея живутъ.

— Ну инъ быть по вашему! Только смотри, молодецъ, живи смирно, чтобъ тебя и слышно не было.

— Да ужъ не опасайся!—прервалъ Колобовъ.—Вѣдь и онъ у меня ни дать, ни взять красная дѣвушка.

— Я затѣмъ это говорю, батюшка, что этотъ жилецъ то, кажись, отъ всѣхъ прячетъ свою дочку,—и мнѣ даже не далъ перемолвить съ ней ни словечка; у нихъ дверь всегда на замкѣ.

— А отецъ ея также сидитъ взаперти? — спросилъ Левшинъ.

— Нѣтъ батюшка, и онъ, и служитель его часто выходятъ; ихъ и теперь нѣтъ дома. Работница его Дарья, также забѣжитъ иногда ко мнѣ; а дочка, словно затворница какая, никуда ни пяди: весь день сидитъ одна-одинехонька, да вышиваетъ въ пяльцахъ. Вотъ была въ Москвѣ, а Москвы не видала!

— Такъ это дѣло слажено,—сказалъ Колобовъ.—Что придется за постой и за хлѣбы, считай на мнѣ, а теперь веди-ка насъ скорѣй въ свѣтлицу. Да смотри, бабушка: коли неравно станутъ пытать, не живетъ ли у тебя какой стрѣлецкій сотникъ...

— Такъ я, батюшка, хоть образъ со стѣны сниму. Не живетъ да и только! И почему мнѣ знать, что онъ стрѣлецкій сотникъ? Мое дѣло бабье!—Пожалуйте...

Левшинъ и Колобовъ, вслѣдъ за хозяйкою постоялаго

двора, прошли задними воротами на другой дворъ, застроенный клѣтьми и амбарами, посреди которыхъ стояла высокая изба въ два жилья и съ двумя крыльцами, одно съ лицевой стороны подъ досчатымъ навѣсомъ, который поддерживали красивыя балясы, другое съ боку и безъ всякихъ украшеній. Архипьевна пробралась сторонкою, завернула за уголъ избы и по крутой лѣсенкѣ ввела стрѣльцовъ въ небольшія сѣни.

— Постойте ка на минуту, молодцы,—сказала она:— я пойду взгляну, гдѣ моя жилица.

— Да развѣ ты, бабушка, сквозь стѣну-то увидишь?—

— И, кормилецъ! въ досчатой стѣнѣ всегда щелочки есть,—отвѣчала Архипьевна, входя въ свѣтлицу.

— Слышишь, Левшинъ? — сказалъ Колобовъ. — Смотри же, братъ, скажи мнѣ, хороша ли твоя сосѣдка. Вѣдь тебѣ дѣлать то будетъ нечего, сиди себѣ у стѣнки, да въ щелку и посматривай.

— Ступайте, господа честные,—промолвила Архипьевна, растворяя дверь.—Жилица моя внизу.

Наши пріятели вошли въ небольшую свѣтелку съ однимъ окномъ.

— Вонъ, батюшка,—сказала Архипьевна, обращаясь къ Левшину,—тамъ подъ лавкой лежитъ войлочекъ. Не прогнѣвайся, лишней перины у меня нѣтъ, да и подушечекъ то Богъ не далъ. Что жъ дѣлать—не взыщите!

— И, бабушка, есть о чемъ хлопотать!—прервалъ Колобовъ:—была бы только крыша. Вѣдь нашъ братъ ратный человѣкъ, ходя наѣстся и стоя выспится.

— А что, молодецъ,—сказала Архипьевна, обращаясь къ Левшину,—не принести ли тебѣ поужинать?

— Спасибо, бабушка! Я ужинать не стану,—отвѣчалъ Левшинъ.

— Что ты, что ты, кормилецъ! Безъ ужина, да безъ молитвы никогда спать не ложись... .

— Нѣтъ, любезная, я ѣсть не хочу.

— Что нужды, батюшка; ты на это не смотри: и не хочется да покушай.

— Не тронь его, Архипьевна,—прервалъ Колобовъ.— Коли онъ не хочетъ ѣсть, такъ я за него поѣмъ; ты же ономнясь хвалилась, что у тебя есть астраханская бѣлужина.

— Есть, батюшка!... Да есть также и малиновый медокъ—вотъ тотъ самый, что ты жаловать изволишь.

— Право? Такъ я, бабушка, къ тебѣ заверну.

— Милости просимъ! А твоему крестовому братцу видно ужъ принести пораньше позавтракать. Ты что хочешь, молодецъ? Я сама тебѣ состряпаю. Хочешь ли перепечу крупичатую или курникъ съ яичной подсыпкою?

— Все равно, бабушка, все равно!

— Нѣтъ, батюшка, не все равно: перепеча перепечой, а курникъ курникомъ...

— Ну, какъ сама хочешь.

— Такъ лучше курникъ—это будетъ посытнѣе. Теперь пойду на ледникъ, нацѣжу свѣженькаго медку жбанъ, да ужъ такъ и быть... рѣдкій гость!... есть у меня завѣтная наливочка: прошлаго года гостинецъ изъ Черкасъ привезли... Ну ужъ, батюшка, есть чѣмъ почествовать,—сластынь такая, что и сказать нельзя!... Прощенья просимъ!... Смотри же, Артемій Никифоровичъ, я буду тебя дожидаться.

— Да небось, Архипьевна, припасай только намъ своей хваленой наливки то, а ужъ мы твои гости.

— Такъ я пойду. Счастливо оставаться, господинъ честной!... Спокойной ночи, крѣпкаго сна... Охъ, да на тощакъ-то какой сонъ!

— Засну, бабушка! — сказалъ Левшинъ, улыбаясь.— Прощай!...

— Насилу ушла! — промолвилъ Колобовъ, когда Архипьевна вышла изъ свѣтлицы.—Старуха добрая, а ужь куда здорова болтать. Ну, братъ Левшинъ, ты самъ покамѣстъ пристроенъ къ мѣстечку, теперь надо подумать о твоихъ домашнихъ. Тебя эти разбойники не захватятъ на дому, да зато ужь все твое доброе подымутъ на царя, заберутъ твоихъ служителей, начнутъ отъ нихъ выпытывать, гдѣ ты—замучаютъ ихъ, сердечныхъ!

— Я этого не боюсь,—сказалъ Левшинъ.—Вѣдь я еще и самъ въ домѣ то не былъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Я сегодня около вечеренъ пріѣхалъ сюда налегкѣ съ однимъ знакомымъ купцомъ изъ Ростова. Онъ взъѣхалъ къ своему родному брату, который служитъ поддьякомъ въ холопьемъ приказѣ, а тотъ не хотѣлъ отпустить меня безъ угощенья; разсказалъ мнѣ почти со слезами обо всѣхъ безбожныхъ дѣлахъ этихъ окаянныхъ мятежниковъ,—и я прямо изъ его дома пришелъ на Красную площадь, гдѣ съ тобой и повстрѣчался.

— Такъ ты одинъ пріѣхалъ изъ Костромы?

— Нѣтъ. Мой слуга Феропонтъ и конюхъ ѣдутъ на долгихъ. Послѣ покойнаго дядюшки досталось мнѣ много всякаго добра...

— А, вотъ что! Такъ у тебя обозецъ сюда идетъ?

— И коней ведутъ, двухъ персидскихъ аргамаковъ. Однимъ изъ нихъ тебѣ челомъ бью, Артемій Никифоровичъ.

— Спасибо, Дмитрій Афанасьичъ!

— А другого оставлю для себя; Султаномъ зовутъ.— Что за конь, братецъ!... Феропонтъ никогда не бывалъ въ Москвѣ, такъ я велѣлъ ему дожидаться меня по Троицкой дорогѣ у креста.

— Когда ты ихъ ждешь?

— Да завтра поутру должны быть.

— Такъ я вмѣсто тебя ихъ встрѣчу.

— А я было самъ думалъ...

— Нѣтъ, братъ, погоди!... Неравно еще наткнешься на кого-нибудь изъ своихъ товарищей. Ужь вѣрно они обо всемъ донесли полковнику Чермнову; чай, онъ теперь и рветъ и мечетъ. Вотъ, какъ перейдешь въ нашъ полкъ, такъ ты себѣ передъ нимъ хоть вовсе шапки не ломай; а пока еще ты у него подъ началомъ, такъ онъ можетъ тебя и силою потянуть на расправу... Э! да постой-ка!... Вѣдь ты никакъ знакомъ съ бояриномъ Кириллою Андреевичемъ Буйносовымъ?

— Какъ же! Онъ очень любилъ моего покойнаго батюшку и меня изволитъ жаловать.

— Такъ я завтра же поутру у него побываю. Я слышалъ, что онъ живетъ въ ладу съ нашимъ главнымъ воеводою, княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хованскимъ, и коли замолвитъ ему словечко, такъ тебя завтра же переведутъ въ нашъ полкъ. Ну, братъ Левшинъ, дѣлать нечего, пришлось тебѣ жить затворникомъ!... И то сказать—впередъ наука! Думай, что хочешь, а языку то воли не давай. Плетью, братъ, обуха не перешибешь. Ты лучше по моему: сиди у моря, да жди погоды; будетъ и на нашей улицѣ праздникъ: не все станутъ мирволить этимъ крамольникамъ. Дай только подрости нашему батюшкѣ, Петру Алексѣевичу, такъ онъ приберетъ къ рукамъ и ихъ и сестрицу свою,—промолвилъ вполголоса Колобовъ.—Да что объ этомъ толковать—не наше дѣло!... Прощай, братъ, до завтрава! Пойду смаковать хваленой наливочки... а ты смо-

три—на улицу ни ногой!... Да не забудь, Левшинъ: я завтра спрошу тебя, хороша ли твоя сосѣдка?

Простившись съ своимъ пріятелемъ, Левшинъ сѣлъ на лавку и призадумался не о томъ, что онъ долженъ былъ скрываться, какъ преступникъ, что неосторожной рѣчью возстановилъ противъ себя своихъ сослуживцевъ, — нѣтъ! чистая и благородная душа его не терпѣла нѣмоты. Онъ не могъ не высказать того, что было у него на сердцѣ, и повторилъ бы снова тѣ же самыя слова передъ всѣмъ полкомъ своимъ.—Умереть за правду весело,—думалъ онъ,—а грустно жить такимъ круглымъ сиротою. Что я? Безъ отца, безъ матери, безъ кровныхъ... Я теперь богатъ, а на что мнѣ это богатство? Кого я имъ порадую?.... Ахъ! зачѣмъ Господь не послалъ мнѣ подругу по-сердцу!.... Я желалъ бы, чтобъ она была бѣдна: я осыпалъ бы ее жемчугомъ, одѣвалъ бы въ парчу, тѣшилъ бы какъ малое дитя... а теперь кого я потѣшу? кому скажу: «ты дѣлила со мной и бѣдность и горе; у насъ все было пополамъ,—такъ раздѣли же со мной и мое богатство, и мои радости. Веселись, моя ненаглядная, чтобъ и мнѣ было весело; будь счастлива, чтобъ и я, глядя на тебя, былъ счастливъ!»... Почему знать, можетъ быть, злодѣи отыщутъ меня?... Они не пощадили и родственниковъ царя, такъ что же для нихъ убить беззащитнаго бобыля, безъ рода и племени. Почему знать, можетъ быть, завтра или черезъ нѣсколько дней меня не станетъ и некому будетъ поплакать о горькой долѣ бѣднаго сироты, и развѣ только добрый Колобовъ, да и то тайкомъ, отслужитъ панихиду за упокой души раба Божія Дмитрія!

Никогда еще Левшинъ не чувствовалъ такъ сильно эту непреодолимую тоску одиночества. Нѣтъ! никакія двужескія связи, никакая пріязнь не могутъ замѣнить для души нашей ласки отца и матери, привѣтъ родныхъ сестеръ и братьевъ, и эту святую, неизмѣнную любовь доброй жены, которая — я увѣренъ въ этомъ — и умирая, не покидаетъ своего мужа: она измѣняетъ только свое названіе, и вмѣсто жены становится его ангеломъ-хранителемъ!—Мы, дѣти девятнадцатаго столѣтія, чтобъ разсѣять грустныя мысли, отправляемся въ театръ, скачемъ на гулянье, ѣдемъ на балъ,—а тоска за нами слѣдомъ: отъ нея никуда не ускачешь! У нашихъ предковъ было средство повѣрнѣе этого. Когда ихъ мучила грусть, томило уныніе,—они молились Богу, и горькій плачь скорби превращался въ тихія слезы

умиленія; а эти слезы... о, вѣрьте мнѣ! какъ роса небесная для цвѣтка, попаленнаго зноемъ, такъ эти слезы для души, истомленной земною горестью! — Левшинъ прибѣгнулъ къ этому средству—и, когда усердная молитва облегчила его душу, онъ прилегъ на жесткій войлокъ, положилъ подъ голову свое платье и, какъ на мягкомъ пуховикѣ роскошнаго богача, заснулъ самымъ тихимъ и спокойнымъ сномъ.

III.

Левшинъ проснулся рано поутру, и едва успѣлъ одѣться и помолиться Богу, какъ вошла къ нему Архипьевна, неся на деревянномъ блюдѣ завтракъ.

— Ну, вотъ, батюшка,—сказала она,—изволь покушать моей стряпни.—Я принесла къ тебѣ съ позаранкомъ затѣмъ, чтобъ ты позавтракалъ, прежде чѣмъ твоя сосѣдка придетъ въ свѣтлицу. Что, молодецъ, проголодался!... Чай, у тебя сна вовсе не было?

— Нѣтъ, бабушка, я спалъ хорошо.

— Ну, диво! А я, грѣшница, коли не поужинаю вдоволь, такъ во всю ночь глазъ не сведу... Поболтала бы я съ тобой, да некогда: пора на рынокъ идти... Охъ, сердечный! скучно тебѣ будетъ, не съ кѣмъ словечка перемолвить; а еслибъ и было съ кѣмъ, такъ придетъ твоя сосѣдка и ты, хочешь или не хочешь, а молчи... да ужь помолчи же, батюшка! Не введи меня, старуху, въ слово.

— И ты думаешь, Архипьевна, сосѣдка не догадается, что подлѣ нея живутъ? Нельзя же мнѣ цѣлый день не пошевелиться.

— Да это, батюшка, ничего! Пустила, дескать, денька на три хвораго старичка. А какъ начнешь говорить, такъ не повѣрятъ: голосъ то у тебя не стариковскій. Ну, изволь же, батюшка, покушать на здоровье моего курника!... Да вотъ тебѣ въ этомъ кулечкѣ калачикъ, крупичатый хлѣбъ, штофикъ съ медомъ, а въ сѣняхъ я поставила кувшинъ съ водою... Прощай покамѣстъ, молодецъ!... Пораньше то на рынкѣ изъ первыхъ рукъ купишь,—продолжала Архипьевна, уходя:—а только опоздай немного, такъ эти окаянные прасолы все захватятъ. Вѣдь теперь на перекупщиковъ, — промолвила она, остановясь въ дверяхъ, — никакой управы не найдешь. Не прогнѣвайся, они почитай всѣ

стрѣльцы... Охъ! батюшка, жутко намъ отъ нихъ приходитъ: все забираютъ въ свои руки!

Не смотря на приглашеніе гостепріимной хозяйки, Левшинъ не дотронулся до завтрака; ему было вовсе не до того: онъ чувствовалъ, что съ нимъ происходитъ что-то небывалое; онъ не могъ присѣсть на одномъ мѣстѣ; кровь приливала безпрестанно къ сердцу, которое поминутно замирало отъ какого-то тревожнаго ожиданія. Вчера еще онъ вовсе не думалъ о своей сосѣдкѣ, а теперь, Богъ вѣсть почему, она не выходила у него изъ головы. Сначала онъ самъ не понималъ, отчего желаетъ съ такимъ нетерпѣніемъ увидѣть вовсе незнакомую ему дѣвицу, быть можетъ, весьма непригожую собою; но подъ конецъ, какое-то темное и въ то же время непреодолимое предчувствіе овладѣло совершенно его душею. Оно какъ будто бы говорило ему: «вотъ здѣсь, за этой перегородкою, живетъ та неизмѣнная подруга, неразлучная спутница въ жизни, которая предназначена тебѣ отъ Господа». Нетерпѣніе его умножалось съ каждой минутою. Вотъ прошелъ часъ, другой... — Полно, придетъ ли она сегодня? — думалъ Левшинъ, ходя взадъ и впередъ по своей тѣсной горенкѣ. — Ужъ солнце высоко!... Чай, скоро благовѣстъ начнется... Чу!... Вотъ и загудѣлъ успенскій колоколъ!... Пора бы, кажется... Нѣсколько разъ подходилъ онъ къ досчатой стѣнѣ и смотрѣлъ въ щелку, хотя всякій разъ видѣлъ одно и то же: чистую свѣтлицу, побольше той, которую онъ занималъ, лежанку изъ бѣлыхъ изразцевъ, скамью, столъ, а на столѣ большія пяльцы. Но вотъ, наконецъ, послышался шорохъ... Левшинъ прижался къ перегородкѣ и притаилъ дыханіе. Двери въ свѣтлицу отворились, вошла женщина средняго роста; но прежде, чѣмъ Левшинъ успѣлъ взглянуть на ея лицо, она обернулась спиною къ перегородкѣ, чтобъ, по тогдашнему благостивому обычаю, помолиться предъ иконами. Какъ ни коротка была эта молитва, но Левшинъ успѣлъ полюбоваться прекраснымъ станомъ своей сосѣдки. Она была въ шелковомъ сарафанѣ, съ непокрытой головою, которую опоясывала одна только алая ленточка; ея заплетенные въ широкую косу волосы, черные и блестящіе, какъ вороново крыло, опускались почти до самой земли; на ногахъ ея были красные черевички, которые показались Левшину похожими на башмачки осьмилѣтняго ребенка. Когда сосѣдка его, помолясь передъ иконами, оборотилась къ нему ли-

цомъ, онъ едва могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія... Нѣтъ! никогда и въ самыхъ пылкихъ мечтахъ своихъ не создавалъ онъ существа прелестнѣе этой красы дѣвицы, которая теперь представилась ему на яву! Вы можетъ быть, знаете изъ старинныхъ пѣсенъ, что тогдашній идеалъ женской красоты немного имѣлъ въ себѣ романтическаго. Бѣлизна, дородность и яркій румянецъ въ щекахъ составляли главное достоинство русской красавицы. Отчего же Левшинъ смотрѣлъ съ такимъ упоеніемъ на эту дѣвицу съ гибкимъ станомъ и почти блѣдными щеками?—Ужъ не потому ли, что истинная, совершенная красота, не смотря на условныя и весьма различныя понятія о красотѣ, просто и безъ всякаго отчета плѣняетъ насъ своей неизъяснимой прелестью?... Вѣроятно, Левшинъ не думалъ ничего подобнаго, всѣ чувства его слились въ одно зрѣніе. Онъ не разсуждалъ, а смотрѣлъ только съ восторгомъ на эти черные, задумчивые глаза, въ которыхъ выражалось какое-то спокойное уныніе и тихая кротость младенца, на эти алыя уста, на это бѣлое, какъ снѣгъ, дѣвственное чело, на эти обворожительныя ямочки на щекахъ и мелкіе, ровные зубы, которые блеснули, какъ чистый жемчугъ, когда красавица, взглянувъ на свою работу, улыбнулась и молвила довольно громко: «Ну, батюшка будетъ доволенъ! У него еще не было такого наряднаго ручника». Эти слова были сказаны такимъ звучнымъ и очаровательнымъ голосомъ, что въ наше время какой-нибудь меломанъ назвалъ бы его непремѣнно *музыкальнымъ*. Дѣвица, полюбовавшись нѣсколько времени своей работою, сѣла за пяльцы. Съ полъ-часа Левшинъ не отходилъ отъ перегородки; онъ не спускалъ глазъ съ своей красавицы, слѣдилъ за каждымъ ея движеніемъ, и когда она встала, чтобъ достать шелкъ, который лежалъ на полкѣ, то сердце въ немъ замерло отъ испуга. Онъ подумалъ, что его сосѣдка хочетъ уйдти. Прошло еще нѣсколько минутъ, красавица перестала работать, облокотилась на столъ и задумалась. Повидимому, эти размышленія были не очень пріятны, потому что ея свѣтлыя очи затуманились и налились слезами. — Да что это онъ мнѣ все мерещится, — шепнула она, — и во снѣ и на яву!... Ахъ зачѣмъ я его видѣла!... Прежде мнѣ было только скучно, а теперь!... — Тутъ снова послышался шорохъ.

— Это ты, Дарья — спросила дѣвица тихимъ и привѣтливымъ голосомъ.

— Я, матушка, — отвѣчала, входя въ свѣтлицу, толстая, здоровая дѣвка въ крашенинной душегрѣйкѣ, затрапезной юбкѣ и кожаныхъ чеботкахъ, надѣтыхъ на босую ногу.

— Батюшка дома?

— Нѣтъ, ушелъ вмѣстѣ съ Антономъ... Не съ кѣмъ словечка перемолвить!... Я было толкнулась къ хозяйкѣ, и та на рынокъ ушла... вотъ я, Софья Андреевна, къ тебѣ; все-таки вдвоемъ повеселѣе... Да что это?... Никакъ ты плачешь?...

— Нѣтъ, Дарья, такъ...

— Какъ такъ!.. Смотри-ка, смотри! слезы такъ и льются!...

— Скучно, Дашенька, грустно!

— И, матушка! о чемъ тебѣ грустить?—сказала Дарья, садясь на скамью. — Ужъ тебя ли батюшка не лелѣетъ!... Чего у тебя нѣтъ?... И платья шелковыя, и дорогія монисты, и жемчужныя ожерелья...

— Жемчужныя ожерелья!... А на что онѣ мнѣ?...

— Какъ на что?... Открой скрынку, да и любуйся!... Нѣтъ, Софья Андреевна, не гнѣви Господа!... Коли твое житье не житье, такъ что же наше?... Вотъ ты захотѣла Москву посмотрѣть, — батюшка тебя и въ Москву привезъ...

— Въ Москву!... Такъ, по твоему, этотъ постоялый дворъ Москва?

— А какъ же!... Развѣ ты изъ своей свѣтлицы Ивана Великаго не видишь?

— Москва!... — повторила въ полъ-голоса дѣвица. — Да неужели въ самомъ дѣлѣ я вижу Москву въ первый разъ?

— Вѣстимо въ первый, матушка.

— Такъ отчего же мнѣ кажется... Кремль, соборы, Иванъ Великій... да, да! я ужъ ихъ когда-то видѣла... Ахъ, какъ мнѣ тяжело!... вотъ такъ и хочется о чемъ-то вспомнить... да нѣтъ, не могу!.. Знаешь ли, Даша: у меня въ головѣ бываетъ иногда — ну точь въ точь, какъ ночью, когда начинаетъ заниматься заря... станетъ свѣтлѣть... свѣтлѣть... Вотъ, смотришь, сейчасъ и солнышко взойдетъ... вдругъ набѣгутъ тучи, все потускнѣетъ, подернется мглою и опять потемки — опять ничего! Помнишь ли, Даша, когда мы ѣхали Москвою, я вдругъ вскрикнула?

— Помню, матушка!

— А знаешь ли отчего?

— Да оттого, что къ намъ въ повозку заглянули пьяные стрѣльцы.

— О, нѣтъ! я ихъ не видѣла.

— Такъ отчего же?

— А вотъ отчего: мы проѣхали мимо большого дома съ высокимъ теремомъ... какъ я на него взглянула, такъ у меня сердце и забилось!... Вѣдь этотъ домъ... Ну, вотъ, ты опять станешь надо мной смѣяться...

— Нѣтъ, не стану. Ну что этотъ домъ, Софья Андреевна?

— Да, да! этотъ домъ, два крыльца съ большими навѣсами, теремъ съ тремя окнами, бѣлая каменная кладовая съ желѣзной дверью — все это показалось мнѣ знакомымъ, роднымъ... вотъ такъ бы туда и бросилась... Помнишь, какъ я заплакала?... Ты, вѣрно, думала оттого, что меня напугали стрѣльцы?... Нѣтъ, Дашенька, мнѣ жаль было разстаться съ этимъ домомъ.

— И, матушка, ты опять за старое! Вѣдь ужъ сколько разъ тебѣ толковали, что лѣтъ пятнадцать тому назадъ, — тебѣ еще было тогда годка четыре, — ты была при смерти больна, и какъ выздоровѣла, такъ забыла все прежнее, а помнила только то, что видѣла въ бреду.

— Въ бреду!... Ахъ какъ это чудно!... Я и теперь какъ будто бы сквозь сонъ, а помню... Даша! вѣдь у меня сестеръ не было?

— Не было, матушка.

— А мнѣ помнится, ихъ было много... и маленькія и большія... У меня и матушка была...

— Ну, конечно, была; да только ты ея не помнишь. Батюшка твой сказывалъ, что тебѣ и году еще не было, какъ она умерла.

— Ахъ, нѣтъ, Даша!... Я говорю о другой, — ну вотъ что я во снѣ то видѣла... Постой! — продолжала дѣвица приложивъ руку къ головѣ. — Да, да!... у меня и отецъ также былъ, только совсѣмъ не такой, какъ батюшка... и матушка у меня была, и нянюшка... Погоди, погоди!... кажется, я начинаю вспоминать... Мы все ѣдемъ, ѣдемъ!... А тамъ какой то темный лѣсъ... а тамъ... Да, помню... мнѣ что-то сдѣлалось очень страшно... со мною никого нѣтъ, ни матушки, ни нянюшки... А тамъ я какъ будто бы заснула, и долго, долго спала... А что было послѣ — ну, ужъ этого, Дашенька, я никакъ не могу вспомнить!...

— И, Софья Андреевна! охота же тебѣ вспоминать о томъ, что ты видѣла въ бреду! Я тогда у васъ въ дому не жила, а слышала послѣ: у тебя была такая огневица, что ты, почитай, цѣлый мѣсяцъ въ память не приходила, такъ диво ли, что тебѣ и Богъ вѣсть что мерещилось?... И со мной была однажды такая же болѣзнь, и мнѣ также помстилось, что я боярыня, что у меня золота и серебра полные сундуки насыпаны; а какъ пришлось послѣ опять за квашню приниматься, такъ поневолѣ вспомнила, что я работница... Да что объ этомъ говорить! Знаешь ли, Софья Андреевна, зачѣмъ я была теперь у нашей хозяйки? Я хочу отъ нея допытаться, что за молодцевъ такихъ она провела вчера черезъ нашъ дворъ; а ужъ нечего сказать— молодцы!... Особливо тотъ, который пониже; что за личмянной дѣтина такой!...

— Ахъ, нѣтъ, Дашенька! тотъ, который выше, гораздо миловиднѣе.

— Э!... такъ и ты ихъ видѣла?

— Да... такъ... мелькомъ... Я на ту пору сидѣла у окна... Чему жъ ты, Дарья, смѣешься?

— Тому, матушка, что ты этакъ закраснѣлась... Ну!.. еще! словно маковъ цвѣтъ!.. Э — ихъ, Софья Андреевна!.. молоденька ты, матушка!.. Ну что за бѣда, что ты взглянула на пригожаго дѣтину? Вѣть ты не черница какая!

— Знаешь ли что, Дашенька?.. Помнишь, прошлаго года объ святкахъ, ты уговорила меня гадать?

— Помню, матушка! Ты еще сказывала мнѣ, что видѣла во снѣ молодца русоволосаго, съ голубыми глазами... Неужели этотъ высокій дѣтина?..

— Ахъ, Дашенька, ну точь въ точь такой же! И взглядъ такой же унылый, и платье, помнится, на немъ такое же...

— Вотъ что!... Ну, Софья Андреевна, видно онъ твой суженый.

— И, полно, Даша!.. Прохожій!..

— Что, матушка, прохожій, — не узнаешь!.. Вотъ и я также: ѣла на святкахъ пересолъ и меня во снѣ напоилъ какой-то вовсе незнакомый дѣтина. Что жъ ты думаешь? Не прошло мѣсяца, какъ я его увидѣла!.. Да ты знаешь его: работникъ твоего батюшки, Архипка рыжій...

— Архипка!.. Да вѣдь онъ женатъ?

— А почему знать, матушка, можетъ быть и овдовѣетъ.

— Такъ ты думаешь, что этотъ прохожій молодецъ мой суженый?

— Да видно, что такъ. А жаль, что не другой!... Другой то пригожѣе.

— Ахъ, нѣтъ, Дашенька!

— Да чѣмъ же этотъ высокій показался тебѣ лучше своего товарища?

— Я и сама не знаю; но ужъ только лучше его я въ жизнь свою никого не видала.

Вы можете себѣ представить, каково было Левшину, когда въ эту самую минуту, можетъ быть, блаженнѣйшую во всей его жизни, двери изъ сѣней отворились, и онъ увидѣлъ Колобова, который манилъ его къ себѣ. Левшинъ отскочилъ отъ перегородки, вышелъ потихоньку въ сѣни и затворилъ за собою дверь.

— Ну, что ты, братецъ? — спросилъ онъ почти съ досадою.

— Да что, Дмитрій Афанасьичъ,—отвѣчалъ Колобовъ, улыбаясь,—я вижу: не въ пору гость хуже татарина!—Ну что, хороша ли?

— Кто хороша?

— Вѣстимо кто— твоя сосѣдка.

— А почему я знаю. Она ни разу не приходила въ свѣтлицу.

— Такъ чего жъ ты смотрѣлъ въ щелку то?

— Такъ—отъ бездѣлья.

— Хитришь, братъ!... Ну, если твоей сосѣдки нѣтъ, такъ войдемъ къ тебѣ въ свѣтлицу.

— Нѣтъ, нѣтъ!—прервалъ торопливо Левшинъ.—Лучше здѣсь!... Неравно кто-нибудь войдетъ, услышитъ, что мы разговариваемъ...

Колобовъ засмѣялся.

— Эхъ, полно, братецъ! — сказалъ Левшинъ; — говори скорѣй, зачѣмъ ты пришелъ?

— Какъ зачѣмъ?... Повидаться съ тобой, да взглянуть на твою сосѣдку.

— Охота же тебѣ, Колобовъ...

— Ну, ну, не сердись!... Экій ревнивый какой!... Вотъ что, братецъ: я сейчасъ былъ у боярина Кириллы Андреевича Буйносова; онъ ужъ все знаетъ: на тебя донесли князю Хованскому, а тотъ ему пересказалъ. Какъ я сталъ говорить, что ты хочешь перейти въ нашъ полкъ, такъ

бояринъ покачалъ головою и сказалъ: «Поздненько Левшинъ хватился; теперь ужъ рѣчь не о томъ, а какъ бы только голова то на плечахъ осталась. Сегодня, какъ совсѣмъ смеркнется, прійди съ нимъ тайкомъ ко мнѣ, такъ авось мы придумаемъ, какъ горю пособить».—Отъ боярина Буйносова я отправился къ Кресту и, какъ туда попалъ, гляжу—тянется по Троицкой дорогѣ обозецъ, телѣгъ шесть, и двухъ коней ведутъ; на задней телѣгѣ ѣдетъ холопъ, такой дюжій, что страшно взглянуть: рожа широкая, рябая...

— Ну, такъ и есть! — прервалъ Левшинъ; — это Ферапонтъ.

— Я закричалъ: стой, ребята! — Вы не Димитрія ли Афанасьевича Левшина?—«Его—ста», молвилъ передній подводчикъ. Кто изъ васъ Ферапонтъ?—«Я, ваша милость!»—отвѣчалъ рябой, соскочивъ съ телѣги. Я сказалъ ему, что высланъ навстрѣчу, что имъ теперь на-домъ къ тебѣ ѣхать нельзя, и чтобъ они остановились въ первомъ постояломъ дворѣ и ждали приказа. Оттуда я пошелъ къ тебѣ, — и, знаешь ли что, Левшинъ? какъ я проходилъ черезъ Красную площадь, такъ слышалъ такія непригожія рѣчи, что упаси Господи! Народъ такъ и кипитъ—и все какіе-то разночинцы; а Никита Пустосвятъ стоитъ опять на Лобномъ мѣстѣ и кричитъ: «Пойдемте, православные, въ соборъ изгонять хищнаго волка.... Да возстанетъ истинная церковь, и расточатся всѣ враги ея!...»

— И некому унять этого злодѣя!—вскричалъ Левшинъ.

— Какой унять!... Къ нему весь народъ пристаетъ. Крикъ и гамъ такой, что и сказать нельзя! Мнѣ повстрѣчался нашъ пятисотенный Бурмистровъ и съ нимъ человѣкъ двѣсти стрѣльцовъ: идутъ въ Кремль охранять царскія палаты. Я и самъ туда же и сейчасъ побѣгу.

— Какъ! — сказалъ Левшинъ; — неужели эта сволочь осмѣлится ворваться въ чертоги царскіе?

— Чего добраго, отъ нихъ все станется.

— Такъ и я съ тобою!—вскричалъ Левшинъ.

Онъ вбѣжалъ въ свѣтлицу и схватилъ свою саблю. Увлеченный первымъ порывомъ этотъ пылкій и благородный юноша забылъ, что его могутъ и видѣть и слышать изъ сосѣдняго покоя.

— Что ты, Левшинъ, что ты?—сказалъ Колобовъ, идя вслѣдъ за нимъ въ свѣтлицу:—да о своемъ ли ты умѣ? Ты

хочешь идти въ Кремль... Да развѣ ты не знаешь, что твои злодѣи ищутъ тебя по всему городу?... И добро бы еще въ другое время, а то теперь, когда эти окаянные крестоизмѣнники опять завозились!... Да ты и до Кремля не дойдешь. Лишь только выйдешь на площадь, такъ тебя тотчасъ же и уходятъ.

— Воля Божія, Артемій Никифорычъ,—чему быть, тому не миновать.

— Да сдѣлай милость—останься!...

— Останься!... Эхъ, братъ, не тебѣ бы говорить, не мнѣ-бы слушать!... Чтобъ я въ то время, какъ нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ будетъ окруженъ измѣнниками и предателями, сидѣлъ, какъ баба, взаперти?.. Нѣтъ Колобовъ! не тому училъ меня покойный батюшка. «Коли пришлось умирать за вѣру православную и за царя»,—говаривалъ онъ,—«такъ не торгуйся: ложись, да и умирай! Тамъ будетъ хорошо».

— И, братецъ! Да что значитъ одинъ лишній человѣкъ?...

— Что значитъ! А почему ты знаешь, можетъ быть, мнѣ то Господь и судилъ заслонить моею грудью того, кому я цѣловалъ крестъ и святое евангеліе?

— Эй, Левшинъ—подумай!... Вѣдь ты идешь на вѣрную смерть.

— Наша жизнь, Колобовъ, въ рукѣ Божіей. Коли мнѣ не суждено погибнуть отъ моихъ злодѣевъ, такъ я останусь живъ; а если суждено, такъ не честнѣе ли мнѣ умереть съ оружіемъ въ рукахъ у порога царскаго, чѣмъ здѣсь или въ другомъ какомъ захолустьѣ?

Въ эту минуту послышался какой то глухой и невнятный шумъ, похожій на отдаленный громъ, котораго раскаты слились въ одинъ грозный и протяжный гулъ.

— Чу!...—сказалъ Левшинъ,—слышишь ли, братецъ?

— Да, Дмитрій Афанасьичъ, и здѣсь слышно; какъ воютъ на площади эти голодные волки. Видно опять крови захотѣлось!...

— Идемъ!...

— Нѣтъ, воля твоя, я тебя ни за что не пущу; лучше самъ не пойду.

— Такъ оставайся же одинъ!—вскричалъ Левшинъ.

Онъ оттолкнулъ своего пріятеля, опрометью бросился вонъ и въ три прыжка очутился внизу лѣстницы. Въ то

самое время, какъ онъ выбѣжалъ изъ свѣтлицы, за перегородкою раздался горестный вопль и кто-то прошепталъ: «Боже мой. Боже мой! онъ идетъ на смерть!...»—«Эхъ жаль молодца!»—проговорилъ другой голосъ и все затихло. Когда Левшинъ вышелъ на дворъ и обернулся, чтобъ посмотрѣть, идетъ ли за нимъ Колобовъ, то невольно взглянулъ на свѣтлицу своей сосѣдки— и что жъ онъ увидѣлъ? *Она* стояла у открытаго окна. Ея взоръ, исполненный любви и страха, былъ устремленъ на него... О, это уже не случай! Она была у окна для того, чтобы онъ ее видѣлъ... Эти глаза, наполненные слезами, этотъ умоляющій взглядъ, эти сложенныя руки!.. Казалось, она хотѣла ему сказать: «о не ходи, не ходи! останься здѣсь! живи для той, которая тебя любитъ!» Но вдругъ окно затворилось и подлѣ Левшина раздался голосъ Колобова.

— Ну, что ты, братецъ, остановился? Ужъ не передумалъ ли?... Эй, Дмитрій Афанасьичъ, послушай меня!

Левшинъ стоялъ блѣдный, какъ смерть; онъ едва могъ дышать, онъ чувствовалъ, что кровь застывала въ сердцѣ... О! кто можетъ разгадать, что происходило въ эту минуту въ душѣ влюбленнаго юноши?... Святой долгъ—и первая любовь; тамъ, въ Кремлѣ, почти вѣрная смерть,— а здѣсь, быть можетъ, цѣлый вѣкъ блаженства, подлѣ той, которую избрало его сердце!... Да! эта душевная борьба была ужасна; но она не долго продолжалась; полумертвое лицо Левшина оживилось снова, взоры вспыхнули и онъ, схвативъ за руку своего пріятеля, сказалъ твердымъ голосомъ:

— Въ Кремль, мой другъ!... въ Кремль! А тамъ что Богъ дастъ? Его святая воля!

— Куда вы это, молодцы?— спросила Архипьевна, которая стояла у воротъ постоялаго двора.

— Теперь на площадь, бабушка,—отвѣчалъ Колобовъ.

— Да на площади никого нѣтъ: всѣ въ Кремлѣ.

— Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ?... Я вамъ говорила, что будетъ соборъ. Грановитая то палата биткомъ набита; всѣ наши тамъ.

— Слышишь, братъ?—вскричалъ Левшинъ: — а мы еще здѣсь. Скорѣй, скорѣй!

— Что за диво! — прошептала Архипьевна. — Вчера этотъ молодецъ отъ правежа прятался, а теперь въ Кремль идетъ!... Ахъ, батюшки! бѣгомъ пустились!... Ужъ не

хотятъ ли и они постоять за истинную вѣру?... Давай Господи!

IV.

Левшинъ и Колобовъ, добѣжали въ нѣсколько минутъ до Красной площади; на ней народъ не толпился по обыкновенію, но за то у Спасскихъ воротъ была такая давка, что они должны были по неволѣ остановиться.

— Что, молодцы, — сказалъ какой-то нищій, который сидѣлъ у самыхъ воротъ, пріютясь къ стѣнѣ,—знать ходу нѣтъ?... Эва какъ народъ то сперся въ воротахъ—ни туда, ни сюда!

— А! это ты, Гриша?—сказалъ Левшинъ.

— Я, братъ.

— Бѣдненькій! чай, тебя вчера больно стрѣльцы то прибили?

— Да, братъ, потрепали, дай Богъ имъ здоровья!... Да что вы напираете—не пройдете, молодцы. Дайте народу схлынуть. Вишь Никита какъ всѣхъ перебулгатилъ: ужъ за нимъ людей то шло—видимо не видимо!... Эхъ Никитушка, Никитушка! — продолжалъ нищій, покачивая головою,—слѣпой вождь слѣпыхъ!... Жаль мнѣ тебя, голубчикъ! Много за тобой пришло сюда друзей и пріятелей, а много ли ихъ будетъ съ тобой, какъ выведутъ тебя на площадь?...

— Что ты это, Гриша, говоришь?—спросилъ Колобовъ.

— Такъ, братъ, про себя!—сказалъ нищій и запѣлъ въ полъ-голоса: Со святыми упокой!... Ахъ, что-то не поется,— промолвилъ онъ, остановясь, и горько заплакалъ.

— Ахъ, батюшка Дмитрій Афанасьевичъ!—сказалъ какой-то приземистый и плечистый дѣтина, лѣтъ тридцати пяти, подойдя къ нашимъ пріятелямъ, которые, какъ ни старались, а не могли подвинуться ни шагу впередъ.

— Это ты, Ферапонтъ? — вскричалъ Левшинъ.—Зачѣмъ ты здѣсь?

— Виноватъ, батюшка, не утерпѣлъ! Хотѣлось поклониться московскимъ угодникамъ.

— Эхъ, братъ!—прервалъ Колобовъ,—напрасно ты ушелъ съ постоялаго двора...

— Да тамъ, батюшка, остались конюхъ Вавила и двое подводчиковъ: ничего не пропадетъ.

— Успѣлъ бы и послѣ побывать въ соборахъ, то ли теперь время.

— А что, сударь?

— Развѣ не видишь?

— Вижу батюшка: народъ такъ и валитъ въ Кремль... Видно, ходъ?

— Какой ходъ!

— Что жъ это, Колобовъ!—вскричалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ.—Долго ли намъ здѣсь стоять? Пойдемъ лучше къ Никольскимъ воротамъ

— А вамъ, батюшка, пройти что ль?—спросилъ Ферапонтъ. — Такъ прикажите; я какъ разъ дорожку прочищу.

— Вишь какой Еруланъ Лазаревичъ!—сказалъ Колобовъ.—Нѣтъ, братъ, тутъ на силу не возьмешь.

— А вотъ посмотримъ!—прошепталъ Ферапонтъ.— Онъ уперся могучимъ плечомъ въ толпу, понатужился, двинулъ — и вся эта плотная масса народа заколебалась.

— Тише, тише!—раздались голоса впереди.

— Батюшки, давятъ!—закричали подъ воротами.—Смерть моя!... раздавили!.,. Куда ты, разбойникъ этакій!... Тише, тише!...—Но Ферапонтъ, не обращая вниманія на всѣ эти вопли и ругательства, продолжалъ медленно подвигаться впередъ, а за нимъ Левшинъ и Колобовъ.

— Уфъ, жарко! — сказалъ онъ, отдуваясь, когда они выбрались наконецъ за ворота.—Ну, тѣсно! Еще бы этакъ саженей десятка три-четыре, такъ и я бы изъ силъ выбился!

— Экій быкъ!—промолвилъ Колобовъ, глядя съ удивленіемъ на Ферапонта.—Однакожъ, братъ, ступай и здѣсь передомъ: вишь народу то набралось! А. чай, тамъ, около Грановитой палаты, хоть по головамъ ходи.

И подлинно, вся нынѣшняя Дворцовая площадь запружена была народомъ. Несмотря на охранную стражу, составленную изъ стрѣльцовъ Сухарева полка, толпы всякаго рода и званія людей ежеминутно прорывались къ Красному крыльцу, которое было все усыпано народомъ. Ферапонтъ принялся снова работать плечьми, валилъ народъ направо и налѣво, и лишь только потряхивалъ курчавою головою, когда какой-нибудь невѣжливый кулакъ задѣвалъ его по затылку. Вотъ наконецъ наши пріятели протѣснились до Краснаго крыльца и, оставивъ Ферапонта внизу,

начали взбираться по лѣстницѣ. Мимоходомъ они замѣтили, что большая часть людей, захватившихъ всѣ входы въ Грановитую палату, состояла изъ раскольниковъ: у каждаго за поясомъ четки, у иныхъ въ рукахъ книги и почти у всѣхъ за пазухою каменья. Всѣ эти раскольники были въ какомъ-то изступленіи, и у нѣкоторыхъ лица выражали такое нечеловѣческое звѣрство и остервенѣніе, что страшно было на нихъ взглянуть.

Въ сѣняхъ передъ Грановитой палатою столпилось человѣкъ двѣсти этихъ бѣшеныхъ изувѣровъ — пройти было невозможно.

— Посторонитесь ребята!—сказалъ Левшинъ.—Мы идемъ въ Грановитую палату.

— Постоите и въ сѣняхъ!— промолвилъ одинъ высокій старикъ въ длинномъ балахонѣ.

— Говорятъ вамъ, посторонитесь! — повторилъ вспыльчиво Левшинъ.

— А тебѣ говорятъ, стой тамъ, гдѣ стоишь!... Вишь, какой выскочка!... Да не пыли, не пыли, молодецъ, надорвешься!

Колобовъ толкнулъ локтемъ Левшина и, оборотясь къ старику, сказалъ вполголоса: — Экій ты, братецъ, какой!... Да тамъ въ палатѣ, чай, православныхъ меньше, чѣмъ никоновцевъ, такъ что жъ вы своихъ то не пускаете? Вѣдь этакъ мы не одолѣемъ.

— А вы развѣ наши?

— Ваши, ваши!—шепнулъ Колобовъ.

— Посторонитесь, правовѣрные!—закричалъ старикъ.

Толпа разступилась. У дверей Грановитой палаты стоялъ довольно сильный отрядъ изъ стрѣльцовъ и дѣтей боярскихъ; разумѣется, Колобовъ и Левшинъ, какъ стрѣлецкіе *начальные люди*, были пропущены. Они вошли въ палату, и вотъ что представилось ихъ взорамъ: на царскомъ мѣстѣ сидѣли цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи; рядомъ съ ними, по лѣвую сторону, сидѣла на великолѣпныхъ креслахъ *соправительница*, царевна Софья Алексѣевна; подлѣ нея вдовствующая царица Наталья Кирилловна, великія княжны Татьяна Михаиловна и Марья Алексѣевна. Потомъ на скамьяхъ, которыя тянулись вдоль стѣнъ всей палаты, размѣщены были по старшинству думные бояре, окольничьи и прочіе первые государственные и придворные сановники. По правую сторону царскаго мѣста сидѣлъ свя-

тѣйшій патріархъ Іоакимъ, одиннадцать митрополитовъ, четыре архіепископа, два епископа*) и всѣ московскіе архимандриты. Съ обѣихъ сторонъ царскаго мѣста стояли рынды, младшіе придворные чины и человѣкъ пьятьдесятъ вооруженныхъ жильцовъ, одѣтыхъ въ шелковые разноцвѣтные *терлики*. Вся средина палаты была занята толпою раскольниковъ: тутъ были люди всѣхъ званій, и въ томъ числѣ многіе, принадлежащіе, повидимому, къ духовному сословію. Это были бѣглые чернецы, выгнанные изъ монастырей послушники и разстриги изъ бѣлаго духовенства; одни изъ нихъ держали въ рукахъ иконы, другіе огромныя зажженныя свѣчи. Впереди этой буйной сволочи стоялъ передъ налоемъ разстрига Никита Пустосвятъ. По обѣимъ сторонамъ у входа въ Грановитую палату толпились стрѣльцы разныхъ полковъ съ своими начальниками. Колобовъ присоединился къ отряду Сухарева полка; Левшинъ сталъподлѣ него. Когда они вошли въ палату, дьякъ Борисъ Протасовъ читалъ, по приказу царей, челобитную Никиты, въ которой этотъ мятежный разстрига, называя себя и своихъ единомышленниковъ православными, а все духовенство, начиная съ патріарха, отступниками отъ истинной вѣры, требовалъ собора для всенароднаго обличенія всѣхъ послѣдователей, по словамъ его, нечестивой Никоніанской ереси. Когда челобитная была прочтена, Никита и нѣкоторые изъ его сообщниковъ, ссылаясь на принесенныя ими древнія рукописи, начали въ самыхъ дерзкихъ и обидныхъ выраженіяхъ обвинять духовенство въ злоумышленномъ искаженіи церковныхъ книгъ. Святѣйшій патріархъ и митрополитъ астраханскій Никифоръ отвѣтствовали имъ, что сдѣланныя при патріархѣ Никонѣ поправки въ церковныхъ книгахъ были необходимы; что нѣкоторые списки, при сличеніи ихъ, оказались несходными межъ собою, и что даже многіе изъ прежнихъ переводовъ греческихъ церковныхъ книгъ не во всемъ были сходны съ своими подлинниками. Но всѣ эти доказательства, основанныя на истинѣ и здравомъ смыслѣ, остались тщетными. Грубое невѣжество и эта фарисейская гордость, которую мы называемъ фанатизмомъ, ненавидятъ истину. Многорѣчіе, пустословіе, превратное толкованіе текстовъ и насиліе—вотъ ихъ здравый смыслъ и логика. Вмѣсто того,

*) Одинъ изъ нихъ былъ, причтенный нынѣ къ лику святыхъ угодниковъ, преподобный епископъ Митрофаній.

чтобъ слушать съ должнымъ уваженіемъ слова своихъ духовныхъ пастырей или, по крайней мѣрѣ, возражать имъ съ кротостію и приличіемъ, Никита и его сообщники, забывъ, что находятся въ присутствіи самихъ царей, подняли такой неистовый крикъ, что заглушили совершенно рѣчи архипастырей и не давали имъ выговорить ни слова. Я думаю, всякому случалось видѣть людей и пообразованнѣе раскольниковъ, которые полагаютъ, что побѣдили своихъ противниковъ, потому что имъ удалось ихъ *перекричать*,— такъ удивительно ли, что Никита и его товарищи, почитая себя побѣдителями, приступили смѣло къ главной своей цѣли, то есть къ торжественному проповѣдыванію, въ присутствіи царей и всего духовенства, своихъ невѣжественныхъ бредней и богопротивной ереси; но тутъ возсталъ противъ нихъ архіепископъ холмогорскій Аѳанасій. Онъ нѣкогда раздѣлялъ самъ заблужденія этихъ послѣдователей Аввакумовскаго раскола, и слѣдовательно зналъ лучше другихъ, на чемъ они основывали свои превратныя понятія о вѣрѣ. На всѣ ихъ лживыя умствованія онъ возражалъ словами Спасителя, его апостоловъ, святыхъ отцевъ, и самыми ясными, неоспоримыми доказательствами изобличалъ всю нелѣпость ихъ противозаконныхъ толковъ и вѣрованій; но это вовсе не усмирило, а только привело въ большую ярость мятежниковъ.—«Эта, по словамъ лѣтописца, гидра изувѣрія, чѣмъ болѣе была поражаема, тѣмъ страшнѣе становилась». Угрозы заступили мѣсто доказательствъ, и разстрига Никита, видя себя совершенно побѣжденнымъ, въ безумной ярости бросился на архіепископа Аѳанасія и ударилъ его въ грудь. Это, буйное святотатство было началомъ всеобщаго смятенія. Изступленные крики и неистовые вопли мятежниковъ заглушили все. Раскольники, бывшіе въ сѣняхъ, сломили стражу и ворвались въ палату; тѣ, которые стояли на Красномъ крыльцѣ, обратились къ народу и начали кричать: «Ступайте, правовѣрные, спасайте церковь! на соборѣ насиліе! Никоновцы бьютъ православныхъ!» Въ самой палатѣ раздавались вездѣ мятежные крики: «Очистимъ отъ хищныхъ волковъ церковь!»—вопили раскольники: истребимъ всѣхъ слугъ антихристовыхъ! Въ эту минуту общаго смятенія, царь Іоаннъ Алексѣевичъ, Софья Алексѣевна и весь дворъ, по выраженію того же лѣтописца, въ несказанномъ страхѣ и слезахъ ушли изъ палаты, и на царскомъ мѣстѣ осталось одно десятилѣтнее дитя; но это дитя былъ Петръ.

Окинувъ смѣлымъ взглядомъ мятежную толпу, онъ всталъ, снялъ съ головы своей царскій вѣнецъ и дѣтскимъ, но уже мощнымъ голосомъ сказалъ: «Пока этотъ вѣнецъ на главѣ моей и душа въ тѣлѣ, не попущу воевать святую церковь: и какъ я самъ нарицаю ее матерью и вѣрю, что она есть правая и истинная, такъ и всѣмъ повелѣваю вѣрить! Ну что жъ вы?»—продолжалъ онъ, обращаясь къ стрѣльцамъ, и грозные взоры его засверкали гнѣвомъ,—«берите этихъ крамольниковъ!» Въ одно мгновеніе все измѣнилось. Голосъ царя Русскаго, какъ гласъ Божій, поразилъ мятежниковъ. Стрѣльцы, державшіе сторону раскольниковъ, выдали ихъ руками. Левшинъ первый съ обнаженною саблею кинулся въ толпу, а за нимъ всѣ тѣ изъ стрѣльцовъ, которые не принадлежали къ расколу. Въ нѣсколько минутъ зачинщики были схвачены, и всѣ ихъ сообщники выгнаны изъ палаты.

Во все это время юный государь стоялъ на царскомъ мѣстѣ; его грозный, но спокойный взоръ былъ устремленъ на толпу стрѣльцовъ, которые не принимали участія въ усмиреніи мятежниковъ; казалось, онъ чувствовалъ, что только одинъ всемощный взоръ помазанника Божія могъ оковать буйную волю крамольныхъ стрѣльцовъ, готовыхъ стать грудью за своихъ сообщниковъ. Когда въ палатѣ не осталось ни одного раскольника, то державшіе ихъ сторону стрѣльцы стали также выходить понемногу. Эта вовсе неожиданная развязка, разрушивъ всѣ замыслы дерзкихъ бунтовщиковъ, превратила ихъ въ толпу робкихъ преступниковъ, которые помышляютъ только о томъ, чтобъ избѣгнуть заслуженнаго наказанія. Одни изъ нихъ пробрались потихоньку на Лыковъ дворъ — этотъ главный притонъ мятежныхъ стрѣльцовъ, а другіе присоединились даже къ тѣмъ, которые гнали изъ Кремля раскольниковъ. Вскорѣ не осталось во всей Грановитой палатѣ никого, кромѣ государя Петра Алексѣевича, нѣсколькихъ ближнихъ его бояръ и всего духовенства. Тогда началось умилительное зрѣлище, о которомъ повѣствуютъ лѣтописцы. Престарѣлый патріархъ Іоакимъ, а вмѣстѣ съ нимъ и весь священный синклитъ, спасенный единымъ словомъ державнаго отрока, пали къ стопамъ его. Владыка православной церкви русской, святители московскіе, всѣ пастыри духовные—старцы, посѣдѣвшіе въ подвигахъ вѣры, трудахъ и молитвѣ—у ногъ десятилѣтняго ребенка!... Но этотъ ребенокъ былъ уже великій

мужъ духомъ, мудростію и силою своей непреклонной воли.

Когда Дворцовая площадь и окружныя мѣста были совершенно очищены отъ мятежниковъ и вся эта сволочь, всегда дерзкая при успѣхѣ и трусливая при малѣйшемъ сопротивленіи, разсыпалась во всѣ стороны,—Левшинъ, который во время этой суматохи разлучился съ Колобовымъ, встрѣтился съ нимъ опять у подворья Крутицкаго монастыря *).

— Это ты, Левшинъ?—вскричалъ Колобовъ. Ну, слава тебѣ Господи! А я ужъ было совсѣмъ отчаялся, думалъ, что ты попалъ въ руки къ твоимъ злодѣямъ.

— Нѣтъ, Богъ помиловалъ.

— Погоди-ка, братъ!—сказалъ Колобовъ.—Онъ поглядѣлъ кругомъ; казалось, все было спокойно; изрѣдка прокрадывался около стѣнки какой-нибудь горожанинъ, робко озираясь кругомъ; кой-гдѣ мелькали черныя рясы духовенства, которое помаленьку пробиралось изъ Грановитой палаты въ Чудовъ монастырь, и только вдали, у Спасскихъ воротъ, слышны были крики стрѣльцовъ, которые продолжали гнать изъ Кремля остальной народъ.

— Смотри-ка,—сказалъ Колобовъ,—давно ли здѣсь негдѣ было и яблоку упасть, а теперь хотя шаромъ покати!... Зато, чай, на Красной площади народъ такъ и кипитъ!... Дѣлать то нечего, братъ: придется тебѣ пообождать.

— Да,—отвѣчалъ Левшинъ,—теперь врядъ ли я доберусь благополучно до Мещевскаго подворья.

— Тише, тише, братецъ!... что ты кричишь!—прервалъ Колобовъ озираясь.—Ну, если кто-нибудь подслушаетъ...

— Да вѣдь мы здѣсь одни.

— Нѣтъ, братъ, не одни!... Кажись, тамъ за угломъ кто-то кашлянулъ...

— Я ничего не слышалъ.

— А вотъ посмотримъ.

Колобовъ обошелъ кругомъ подворья.

— Ну, что?—спросилъ Левшинъ.

— Теперь никого нѣтъ. Только вотъ что, Дмитрій Афанасьевичъ: какъ я зашелъ за тотъ уголъ, такъ мнѣ пока-

---

*) Это подворье стояло нѣкогда на нынѣшней Разводной площади, рядомъ съ церковью Николы Густонскаго, въ близкомъ разстояніи отъ дома боярина Шереметева.

залось, что кто-то юркнулъ на дворъ къ боярину Шереметеву.

— Кто-нибудь изъ его холопей.

— Статься можетъ, а все-таки лучше, коли ты будешь поопасливѣе... Чу! слышишь, какъ шумятъ на площади?

— Слышу, братецъ.

— Да вотъ скоро рабредутся. Время обѣденное—пора и за кашу приниматься. Ну, Дмитрій Афанасьичъ, хорошу было кашу заварилъ этотъ Никита, какъ то ему придется ее расхлебывать!... Вѣришь ли, братецъ, очнуться не могу! Какъ это намъ помогъ Господь?... Вѣдь въ палатѣ, кромѣ нашихъ Сухаревскихъ, почитай всѣ стрѣльцы были за раскольниковъ; съ тѣмъ и пришли, чтобъ за нихъ стоять.

— Да, Колобовъ, кабы не батюшка Петръ Алексѣевичъ...

— Да, да!... Исполать ему! Какъ онъ всталъ на своемъ царскомъ мѣстѣ, такъ, вѣришь ли Богу, показался мнѣ выше тебя!... Подумаешь: всего десять годковъ—что жъ будетъ, какъ онъ подрастетъ?... Ну, Дмитрій Афанасьичъ, вотъ это царь такъ царь!

— И всѣ его покинули!—сказалъ Левшинъ;—оставили одного посреди мятежниковъ!...

— Въ томъ то и дѣло братецъ!... Охъ, матушка Софья Алексѣевна! хитра ты, а все не будетъ по твоему; кого Господь Богъ хранитъ, тому люди ничего не сдѣлаютъ. Вотъ хоть ты, Левшинъ: видѣлъ ли, какъ въ палатѣ смотрѣлъ на тебя полковникъ Чермновъ? Вотъ такъ бы и проглотилъ живого! И негодяй Чечотка и Ѳедька Лутохинъ глазъ съ тебя не спускали,—а что они тебѣ сдѣлали?

— Не до того было, братецъ.

— И ничего не сдѣлаютъ! Ты, Левшинъ, видѣлъ ли въ палатѣ боярина Кириллу Андреевича Буйносова?

— Нѣтъ, не видѣлъ.

— А онъ тебя видѣлъ, долго шептался съ нашимъ воеводою, княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хованскимъ и они оба на тебя смотрѣли.

— Такъ ты думаешь, князь Хованскій за меня заступится?

— А какъ же?... Онъ для Кириллы Андреевича все на свѣтѣ сдѣлаетъ; только теперь то не попадись въ руки къ твоимъ злодѣямъ, а ужъ тамъ дѣло какъ-нибудь уладятъ.

— Постой-ка,—сказалъ Левшинъ,—кажется и на площади все утихло. Не пора ли намъ идти?

— Ну, пожалуй! Пойдемъ къ Спасскимъ воротамъ, а тамъ посмотримъ.

Левшинъ и Колобовъ дошли до Вознесенскаго монастыря, не встрѣтивъ почти никого; но когда они вышли за Спассія ворота, то увидѣли, что на Красной площади много еще было стрѣльцовъ и народъ толпился около Лобнаго мѣста.

— Погоди, братъ!—сказалъ Колобовъ.—Вотъ, кажется, идутъ сюда стрѣльцы моей сотни... Ну, такъ и есть! Ивашка Троцкій... вонъ Ларька Недосѣкинъ... Знаешь ли что? Я вмѣстѣ съ ними провожу тебя до Зарядья; мы пойдемъ кучкою, ты въ серединѣ: тамъ никто тебя не увидитъ.

— Ну что вы, молодцы, нейдете? Теперь вѣдь просторно,—раздался позади ихъ знакомый голосъ Гриши. Онъ сидѣлъ на прежнемъ мѣстѣ, прислонясь къ стѣнѣ.—Вотъ, подумаешь,—продолжалъ нищій,—шли въ Кремль какъ на праздникъ, чинно, шажкомъ, съ иконами, а изъ Кремля то... у!... батюшки!... словно дождь—всѣ въ разсыпную! кто куда попалъ: кто домой, кто въ лавки, кто въ разбойный приказъ...

— Въ разбойный приказъ?—спросилъ Левшинъ.

— А какъ же? Вѣдь Никиту не домой отвели... Эхъ, буйная, буйная головушка! Не долго тебѣ головушкѣ на плечахъ оставаться!... Зачѣмъ пошелъ, то и нашелъ!

— Ты это говоришь,—спросилъ Колобовъ,—о разбойникѣ Никитѣ?

— Разбойникѣ?... Дай то Богъ, чтобъ было по твоему, голубчикъ!... Разбойникъ что!... А вотъ худо, какъ онъ въ Іуды попадется—помилуй Господи!...

— Эй, Недосѣкинъ!—закричалъ Колобовъ.—Троцкій!... Ребята!... Подите-ка сюда!

Человѣкъ пятнадцать стрѣльцовъ подошли къ Колобову.

— Вы куда, братцы?—спросилъ Колобовъ.—Въ слободу?

— Въ слободу, батюшка Артемій Никифоровичъ!—отвѣчалъ одинъ изъ стрѣльцовъ.

— Такъ и мы съ вами. Пойдемъ, Дмитрій Афанасьичъ!

Окруживъ своими стрѣльцами Левшина, Колобовъ повелъ эту небольшую толпу прямо къ Москворѣцкому мосту. Дойдя до воротъ, которыя также назывались Москворѣцкими, онъ остановился и шепнулъ:

— Теперь съ Богомъ, Дмитрій Афанасьичъ!... До дому тебя съ такой ватагой довести нельзя: всѣхъ переполошишь.

Да и къ чему? Видишь, кругомъ все пусто; ты здѣсь мимо заборовъ прокрадешься такъ, что тебя никто не увидитъ. Ступай теперь налѣво по улицѣ, а тамъ какъ повернешь въ третій переулокъ, ты и дома. Прощай, братъ!... Вечеромъ я у тебя побываю.

Левшинъ, простясь съ Колобовымъ, добрался благополучно до своего переулка; въ немъ было все тихо и спокойно. Увидѣвъ издали Мещовское подворье, онъ остановился посмотрѣть, можетъ ли пройдти въ него такъ, чтобъ никто этого не замѣтилъ. При взглядѣ на это подворье мысль о прекрасной незнакомкѣ снова овладѣла его душею. Кто не знаетъ, что любовь безъ надежды—не радость; но послѣ того, что Левшинъ видѣлъ, уходя съ подворья, ему нельзя было не надѣяться; онъ не могъ чувствовать тогда вполнѣ своего счастія; онъ шелъ на встрѣчу къ своимъ злодѣямъ, его ожидала почти вѣрная смерть или, по-крайней мѣрѣ, заточеніе и ссылка; а теперь!... Господь помиловалъ его; онъ остался живъ и свободенъ; онъ опять ее увидитъ, услышитъ снова ея плѣнительный голосъ... быть можетъ... о, нѣтъ сомнѣнья!... она дозволитъ ему говорить съ нею... Но если отецъ ея?... Да кто жъ онъ такой?... Знатный и богатый человѣкъ не станетъ жить на этомъ подворьѣ... Такъ неужели онъ не согласится выдать дочь свою за родового человѣка и богатаго помѣщика?... Нѣтъ, нѣтъ! не можетъ быть: ей нельзя принадлежать другому—она его суженая!... И вотъ Левшинъ женатъ!... вотъ ѣдетъ на житье въ свое костромское помѣстье... О! какимъ земнымъ раемъ будетъ для него это привольное село на берегу Волги-матушки! этотъ свѣтлый и красивый домъ на высокомъ холму, съ котораго вся Кострома какъ на блюдечкѣ! этотъ завѣтный лугъ, эта березовая роща, въ которой онъ станетъ гулять съ своимъ милымъ, ненаглядным другомъ сперва вдвоемъ, а тамъ—если Богъ благословитъ... Нѣтъ, страшно подумать о такомъ счастіи!... Вѣдь этакъ блаженствуютъ только на небесахъ!... Такъ мечталъ Левшинъ, подходя скорыми шагами къ подворью. Когда онъ поровнялся съ избою, въ которой жила Архипьева, она высунулась изъ окна и закричала: «Эй, молодецъ, молодецъ! поди-ка сюда!» Но Левшинъ ничего не слышалъ; онъ вбѣжалъ въ ворота и, не обращая вниманія на то, что происходило вокругъ него, спѣшилъ скорѣе дойдти до задняго двора. И до того ли ему было, чтобъ смотрѣть по сторо-

намъ: въ пяти шагахъ отъ него, въ свѣтлицѣ, у растворенаго окна, на томъ же самомъ мѣстѣ, стояла *она*. Онъ видѣлъ этотъ взоръ, исполненный счастья и любви, онъ слышалъ это радостное восклицаніе, которое при его появленіи вырвалось невольно изъ прелестныхъ устъ незнакомки... Но вдругъ лицо ея покрылось смертной блѣдностію и въ то же время, позади Левшина, загремѣлъ грубый голосъ: «здравствуй, господинъ костромской помѣшикъ».

Левшинъ обернулся—передъ нимъ стояли стрѣлецкіе сотники Лутохинъ и Чечотка, а въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ человѣкъ десять стрѣльцовъ, вооруженныхъ саблями и короткими бердышами.

— Смотри, какой спѣсивый сталъ! —сказалъ Чечотка.— Къ нему гости пришли, а онъ шапки не ломаетъ.

— Что вамъ надобно?—спросилъ Левшинъ.

— Да такъ!—отвѣчалъ Лутохинъ.—Не угодно-ли твоей милости прогуляться съ нами къ полковнику Чермнову.

— Зачѣмъ?

— Видно хочетъ съ тобой побесѣдовать. Вишь ты какой невидимка! пріѣхалъ изъ побывки, да къ начальнику и глазъ не кажешь. Пойдемъ-ка, братъ, пойдемъ!

— А если я не пойду?

— Такъ мы тебя поведемъ.

— И какъ еще!—подхватилъ Чечотка.—Съ почетомъ: руки назадъ, да веревку на шею.—Эй, молодцы! вяжите его.

— Меня!—вскричалъ Левшинъ. Онъ отскочилъ назадъ, прислонился къ избѣ спиною и выхватилъ свою саблю.

— Такъ ты еще драться хочешь? — заревѣлъ Чечотка, вынимая также свою саблю.—Ахъ ты измѣнникъ этакій! Братцы, — продолжалъ онъ, обращаясь къ стрѣльцамъ,— намъ приказано отыскать и схватить этого предателя живаго или мертваго. Не дается живой—такъ рубите его!

— Стрѣльцы бросились всей толпою на Левшина; но вдругъ двери избы отворились и раздался повелительный голосъ:—Стойте, ребята!... Что вы дѣлаете?

— Князь Иванъ Андреевичъ,—вскричалъ Чечотка, опустивъ свою саблю.—Всѣ стрѣльцы остановились и сняли почтительно шапки, когда къ нимъ подошелъ человѣкъ средняго роста, пожилыхъ лѣтъ, въ шелковомъ полукафтаньи, сверхъ котораго надѣта была простая однорядка изъ чернаго сукна; въ рукѣ у него была костяная трость въ золо-

той оправѣ, а на головѣ шапка мурмолка съ собольимъ околышемъ. Это былъ главный начальникъ стрѣлецкаго войска и приказа, князь Иванъ Андреевичъ Хованскій.

— Что у васъ здѣсь за драка была? — спросилъ онъ строгимъ голосомъ.

— Не драка, государь милостивый князь, — отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ Лутохинъ.—А вотъ мы по приказу нашего полковника хотѣли взять этого бунтовщика...

— Бунтовщика... Какого бунтовщика?

— Да вотъ нашего сотника Левшина.

— Левшина!—вскричалъ Хованскій.—Такъ это ты, голубчикъ?... Ага, сердечный дружокъ, попался!... О! да ты еще, братъ, отбиваться хотѣлъ,—видишь какой бойкій... Возьмите у него саблю!

Левшинъ молча подалъ ее Лутохину.

— Такъ это ты, измѣнникъ?—продолжалъ Хованскій.— Да если правда, что ты дерзнулъ говорить такія непригожія рѣчи и позорить христолюбивую надворную потѣху...

— Истинно правда, батюшка князь Иванъ Андреевичъ, — сказалъ Лутохинъ. — Пожалуй, онъ теперь отопрется...

— Кто?—сказалъ Левшинъ;—я отопрусь?...

— Молчи, бунтовщикъ! — закричалъ Хованскій. — Я знаю, что ты хочешь сказать.—Мнѣ, дескать, и запираться не въ чемъ, я этого не говорилъ,—Да вотъ погоди, какъ попадешь въ застѣнокъ, такъ смолвишь!... Да еще то ли я о тебѣ слышалъ!... Мнѣ Кирилла Алексѣевичъ Буйносовъ все пересказалъ. Ты зачѣмъ ѣздилъ въ Кострому?... Знаемъ мы — все знаемъ!... Вишь что затѣяли, окаянные крамольники!...

— Я никогда не былъ крамольникомъ, — сказалъ Левшинъ.—Я ѣздилъ въ Кострому...

— Молчи, говорятъ тебѣ!—прервалъ гнѣвно Хованскій.— Вздумалъ меня учить!... Я знаю лучше тебя, что говорю!

— А коли тебѣ, батюшка князь Иванъ Андреевичъ,— сказалъ Чечотка, — доподлинно извѣстно, что онъ измѣнникъ, такъ ужъ съ нимъ бы одинъ конецъ. Прикажи только: мы его сей же часъ при тебѣ казнимъ.

— Казнимъ! — повторилъ Хованскій. — Ахъ ты глупая голова?... Одного казнишь, а десятеро останутся... Ужъ коли этотъ измѣнникъ говорилъ такія рѣчи на площади, такъ неужели вы думаете, что онъ одинъ?... Нѣтъ, ребята,

ихъ цѣлая шайка. Этого молодца надобно будетъ и въ Кострому спосылать для улики; и коли правда то, о чемъ мнѣ донесли, такъ тебѣ, дружокъ, и на плахѣ то мѣста не будетъ; а коли неправда, такъ я все-тахи ушлю тебя туда, куда и воронъ костей не заносилъ. Лутохинъ! возьми съ собою двухъ молодцовъ, да отведи этого мятежника въ земскій приказъ. Ты мнѣ за него головою отвѣчаешь. А тамъ скажи, что покамѣстъ я за нимъ не пришлю, берегли бы его съ великимъ опасеніемъ. Чего добраго, пожалуй, этотъ сорви-голова самъ на себя руки подыметъ; а намъ улика надобна... Съ Богомъ, ребята! ступайте по домамъ! Благодарствую вамъ за ваше усердіе—и впередъ всѣхъ измѣнниковъ ловите!

— Будемъ, отецъ нашъ, будемъ!—закричали стрѣльцы.

— Ну, батюшка, — сказалъ Лутохинъ, обращаясь къ Левшину, — не угодно ли вашей милости!.. Ты, Сучковъ, ступай по правой сторонѣ; ты, Мутовкинъ, по лѣвой, а я ужъ пойду сзади. Да смотрите, чтобъ онъ стречка не далъ: вѣдь молодецъ-то легокъ на ногу — не догонишь! Пожалуй, батюшка, пожалуй!

Левшинъ, уходя со двора, взглянулъ на свѣтлицу: окно было открыто по прежнему; но гдѣ же его прекрасная незнакомка?.. О, въ эту минуту она была счастливѣе своего суженаго! Она не чувствовала, что, можетъ быть, разстается съ нимъ навсегда!—Когда толпа бѣшеныхъ стрѣльцовъ, съ поднятыми бердышами, бросилась на Левшина, кровь застыла въ ея жилахъ, сердце перестало биться и она упала безъ чувствъ подлѣ окна своей свѣтлицы.

V.

Вѣроятно, мои читатели не забыли, что земскій приказъ, куда велѣно было отвести Левшина, находился на Красной площади, недалеко отъ Лобнаго мѣста. Когда Лухотинъ привелъ въ этотъ приказъ своего арестанта, солнце стояло уже высоко, и вся площадь была пуста. Въ старину, и простой народъ, и купцы, и бояре, однимъ словомъ, всѣ, не исключая самого царя, обѣдали всегда въ одинъ и тотъ же часъ, то есть около полудня, и непремѣнно отдыхали послѣ обѣда. Въ это время по всему городу распространялась глубокая тишина, и даже бездомные нищіе не бродили по

опустѣвшимъ улицамъ; но пообѣдавъ, чѣмъ Богъ послалъ, отдыхали, разумѣется, лѣтомъ, въ хорошую погоду, на погостахъ, а въ дурную на папертяхъ приходскихъ церквей, которыхъ было тогда въ Москвѣ, конечно, вчетверо болѣе, чѣмъ теперь.

Въ передней комнатѣ земскаго приказа, если только можно назвать комнатою какой-то подвалъ съ низкимъ сводомъ, грязнымъ каменнымъ помостомъ и узенькимъ окномъ, сидѣло на скамьяхъ человѣкъ десять *объѣзжихъ* земскихъ ярыжекъ и одинъ очередной *огнищанинъ*, то есть полицейскій офицеръ тогдашняго времени.

— Здравствуйте, братцы!—сказалъ Лутохинъ, входя въ этотъ покой.—Князь Иванъ Андреевичъ Хованскій прислалъ къ вамъ гостя.

— Милости просимъ!—отвѣчалъ огнищанинъ вставая.— Эге! да онъ никакъ вашъ братъ, стрѣлецкій сотникъ?

— Нашъ братъ?.. Нѣтъ, любезный, мы съ измѣнниками не братаемся.

— Съ измѣнниками?.. Вотъ что! Такъ надобно разбудить нашего дневальнаго поддьяка. То-то разгнѣвается!.. Онъ только что прилегъ всхрапнуть, — да воля его... измѣнникъ дѣло не шуточное!

Огнищанинъ растворилъ двери въ другой покой и закричалъ: «Вставай, Ануфрій Трифонычъ»!

Вмѣсто отвѣта послышалось что-то похожее на глухой ревъ медвѣдя, котораго потревожили въ берлогѣ; потомъ все опять затихло.

— Слышишь, Ануфрій Трифонычъ? — закричалъ опять огнищанинъ.—Вставай!

— Что тамъ еще? — пробормоталъ охриплый голосъ. — Прахъ бы васъ взялъ! Зачѣмъ?

— Отъ князя Ивана Андреевича... Ступай проворнѣй!

— Иду, иду!

Двери растворились настежь, и изъ сосѣдняго покоя вышелъ, или, вѣрнѣй сказать, вылѣзъ человѣкъ непомѣрной толщины, съ круглымъ багровымъ лицомъ, широкимъ расплющеннымъ носомъ и почти голымъ подбородкомъ, на которомъ два клочка короткихъ волосъ замѣняли бороду. На немъ былъ долгополый, запачканный чернилами, кафтанъ съ высокимъ *козыремъ*, то есть стоячимъ воротникомъ; на ногахъ поношенные желтые сапоги; на головѣ шелковая *тафья*; или круглая шапочка, похожая на жидовскую ер-

молку, а за поясомъ висѣла на цѣпочкѣ мѣдная чернилица и футляръ, также мѣдный, для пера.

— Эка служба, подумаешь! — сказалъ онъ, перевалясь черезъ порогъ и протирая свои заспанные глаза.—Чай, теперь и каторжные-то спятъ въ острогѣ, а ты вставай!.. Нелегкая меня понесла!.. Ну, что вамъ надобно?

— Да вотъ сдать тебѣ этого барина, — сказалъ Лутохинъ, указывая на Левшина. — Князь Иванъ Андреевичъ приказалъ держать его подъ крѣпкою стражею, пока онъ за нимъ не пришлетъ, да присматривать хорошенько, чтобъ онъ тяги не далъ или не поднялъ самъ на себя рукъ.

— Небось, въ кандалахъ не уйдетъ и рукъ на себя не подыметъ: я велю ихъ въ колодку заколотить.

— Ужъ тамъ какъ знаешь!.. Теперь давай мнѣ ярлыкъ, что я тебѣ сдалъ его съ рукъ на руки.

Поддьякъ написалъ на клочкѣ бумаги расписку и отдалъ ее Лутохину.

— Прощай, господинъ костромской помѣщикъ!—сказалъ Лутохинъ,—уходя. Счастливо оставаться!.. Какъ выйдешь въ люди, да будешь стольникомъ, такъ не забудь и насъ грѣшныхъ!

Левшинъ поглядѣлъ съ презрѣніемъ на Лутохина и не отвѣчалъ ни слова.

— Эй, вы! — сказалъ поддьякъ. — Васька Фуфлыга, Андрюшка Бутузъ, ведите-ка этого молодца ко мнѣ.

Двое земскихъ ярыжекъ ввели Левшина во второй покой. Въ немъ стоялъ большой столъ, покрытый краснымъ сукномъ и заваленный бумагами; кругомъ стола съ полдюжины небольшихъ скамеекъ, вдоль стѣны широкая лавка и въ углу на полкѣ икона въ раззолоченномъ кивотѣ.

— Да ты, молодецъ, — сказалъ поддьякъ, — кажись, изъ начальныхъ людей надворной пѣхоты!.. Смотри пожалуй— усъ только пробивается!... Ну, братъ, раненько ты въ чины заѣлся!.. Вотъ то-то и есть! кабы вашу братью молокососовъ держали въ черномъ тѣлѣ, какъ вы бы жили посмирнѣе... Ты что?.. Чай, вздумалъ бунтовать противъ начальниковъ!

Левшинъ молчалъ.

— О, да ты спѣсивъ, голубчикъ, — продолжалъ поддьякъ,—и отвѣчать не хочешь!... Да вотъ погоди, какъ сведутъ тебя въ Константино-Еленскую башню, такъ тамъ, братъ, заговоришь! Въ застѣнкѣ то не по нашему допра-

шиваютъ. Ребята, обыщите его: нѣтъ ли съ нимъ ножа. Вишь, онъ смотритъ какимъ разбойникомъ!

Земскіе ярыжки не нашли ничего у Левшина, кромѣ небольшого кошелька съ серебряною монетою.

— Э! да ты, братъ, съ денежками!—сказалъ поддьякъ.— Дайте-ка сюда!

Онъ взялъ кошелекъ и высыпалъ всѣ деньги на столъ.

— Ого!—шепнулъ онъ, и глаза у него засверкали. — Да тутъ рублей десять будетъ!... Эхъ, любезный! жаль мнѣ тебя,—видитъ Богъ, жаль!... Человѣкъ ты молодой, непривычный... какъ посидишь этакъ сутокъ двое въ колодкѣ, да въ цѣпяхъ, такъ жутко покажется!... Фуфлыга! что вѣсу то въ нашихъ кандалахъ?

— Да пудика полтора съ походцемъ будетъ,—отвѣчалъ ярыжка.

— Слышишь, молодецъ?... И въ колодку то, какъ руки забьютъ, такъ,—не прогнѣвайся! больно косточки побаливать станутъ... Бутузъ! помнишь того купца?...

— Какъ-же,—отвѣчалъ другой ярыжка.—Вотъ ужъ третій мѣсяцъ, какъ онъ руками не владѣетъ.

— Слышишь, молодецъ?... И покоецъ то, куда вашу братью сажаютъ, со всячинкой: лечь коротко, стать низко, присѣсть не на чемъ...

— Для чего ты все это мнѣ говоришь?—спросилъ Левшинъ.

— А вотъ для чего, молодецъ: хочешь ли, я не велю тебя ковать, и ты останешься здѣсь со мною?

— Какъ не хотѣть.

— Только вотъ что, любезный: жаль то мнѣ тебя жаль, да и на свой страхъ брать не хочется. Я человѣкъ небогатый, семейный: жена, дѣти...

— Ну, ну, хорошо! — прервалъ Левшинъ: — я знаю, чего ты хочешь. Возьми эти деньги себѣ.

— Спасибо, добрый молодецъ, спасибо!... Только не всѣ: надо подѣлиться. Вотъ вамъ полуполтинникъ, ребята!— продолжалъ поддьякъ, обращаясь къ ярыжкамъ.— Да вотъ еще два алтынника: купите винца и попотчивайте своихъ товарищей, чтобъ имъ завидно не было. Ну, ступайте, ребята!... А ты, молодецъ, хочешь присѣсть, такъ садись; а коли хочешь отдохнуть, такъ ложись, — вонъ тамъ на лавкѣ. Я и самъ прилягу: глаза такъ и слипаются... Да ты что на окна то посматриваешь?—промолвилъ поддьякъ.—

Нѣтъ, голубчикъ! всѣ съ желѣзными рѣшетками; да и безъ нихъ не пролѣзешь—узеньки! А изъ дверей не выпустятъ. Ложись-ка лучше, братъ, да сосни.

Поддьякъ положилъ себѣ подъ голову связанную кипу бумагъ, протянулся на скамьѣ, зѣвнулъ раза два и захрапѣлъ, какъ удавленный. Левшинъ прилегъ также на лавку, но только не для того, чтобъ спать. Говорятъ, что сонъ утѣшитель несчастныхъ; да ихъ то онъ рѣдко и посѣщаетъ. Эта лиходѣйка, томительная безсонница, почти всегда бываетъ неразлучной подругой душевной грусти и тоски. О себѣ Левшинъ не очень заботился: ему не трудно было отгадать, что князь Хованскій вовсе не имѣетъ желанія погубить его, и что всѣ эти строгія рѣчи и угрозы не значатъ ничего. Хованскій не могъ иначе говорить при стрѣльцахъ; и еслибъ сталъ имъ явно противорѣчить, то, вѣроятно, они вышли бы изо всякаго повиновенія. Даже самое обвиненіе, что будто бы Левшинъ участвовалъ въ какомъ-то костромскомъ заговорѣ, и что его должно отправить туда для улики, доказывало, что князь Хованскій хотѣлъ только подъ этимъ предлогомъ услать его подалѣе отъ Москвы. Однимъ словомъ, Левшинъ могъ надѣяться, что жизнь его теперь въ безопасности; но зато для него исчезла вся надежда увидѣть опять свою незнакомку. Онъ не зналъ, кто она, кто этотъ чудакъ, ея отецъ, который прячетъ отъ всѣхъ свою дочь, — живетъ въ Зарядьѣ на плохомъ подворьѣ, какъ самый простой горожанинъ или какой-нибудь иногородный небогатый купецъ — и котораго однакожъ посѣщаетъ старшій воевода всего стрѣлецкаго войска, властолюбивый и надменный князь Хованскій. Почему знать, можетъ быть, этотъ проѣзжій сегодня, завтра или черезъ нѣсколько дней уѣдетъ навсегда изъ Москвы?... И вотъ чѣмъ кончились всѣ надежды бѣднаго юноши! Эта приволжская деревня, этотъ рай земной, эти вечернія прогулки съ милымъ другомъ, всѣ эти радости, все это блаженство земное—обманчивый призракъ, безумная мечта, необычайный минутный сонъ!

Чего не передумалъ, чего не перечувствовалъ Левшинъ въ эти два часа, въпродолженіе которыхъ толстый поддьякъ пыхтѣлъ и храпѣлъ попеременно то басомъ, то дискантомъ. Наконецъ этотъ стражъ, котораго впрочемъ нельзя было назвать неусыпнымъ, потянулся, зѣвнулъ и всталъ.

— Ну что, молодецъ,—спросилъ онъ,—вздремнулъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ отрывисто Левшинъ. — Я не сплю послѣ обѣда.

— Не спишь? Не хорошо, любезный, не хорошо! Всѣ православные должны спать послѣ обѣда; одни только еретики,—вотъ какъ былъ самозванецъ Гришка Отрепьевъ, — и въ баню по субботамъ не ходятъ и не отдыхаютъ поѣвши. Да ты, молодецъ, обѣдалъ ли сегодня?

— Нѣтъ, не обѣдалъ.

— Такъ что жъ ты не скажешь, голубчикъ? Ужъ коли я взялъ тебя на руки, такъ ты мой гость.

Поддьякъ подошелъ къ столу, выдвинулъ ящикъ и вынулъ деревянное блюдо, на которомъ лежало полпирога.

— На-ка, любезный,—сказалъ онъ, — покушай на здоровье. Знатный пирогъ, съ кашею!

Вы уже знаете, любезные читатели, что Левшинъ вовсе не походилъ на этихъ героевъ любви и самоотверженія, которые умираютъ, произнося имя своей любезной и въ продолженіе нѣсколькихъ томовъ питаются одной любовью и воздухомъ. Онъ не ѣлъ болѣе сутокъ, и хотя чувствовалъ непреодолимое отвращеніе отъ своего собесѣдника, однакожъ присѣлъ къ его пирогу и утолилъ свой голодъ.

— Ну, теперь, молодецъ, — сказалъ поддьякъ, — не хочешь ли подкрѣпить себя травничкомъ?

— Спасибо! Я вина не пью,—отвѣчалъ Левшинъ.

— И это напрасно, любезный!... Вино веселитъ сердце человѣческое, и одни поганые татары его не пьютъ, а вѣдь мы съ тобой православные. Выкушай чарочку!

— Нѣтъ, право, не могу.

— Ну, какъ хочешь! — Поддьякъ спряталъ блюдо съ остатками пирога, сѣлъ къ столу и началъ что-то писать, а Левшинъ прилегъ опять на лавку и предался своимъ грустнымъ думамъ. Такъ прошло часа два или три. Вдругъ въ передней комнатѣ послышались громкіе голоса: «Ступай, ступай!» кричалъ кто-то. «Ребята, помогите! Вишь, онъ въ притолку упирается»!

— Что у васъ тамъ? — спросилъ поддьякъ, вставая. Двери отворились, и вошелъ огнищанинъ, а за нимъ трое земскихъ ярыжекъ, изъ которыхъ одинъ велъ за воротъ мужика, оборваннаго, замараннаго грязью, съ подбитыми глазами и окровавленнымъ лицомъ.

— А! это ты, Антошка Шелыганъ?—сказалъ поддьякъ,

обращаясь къ земскому ярыжкѣ, который тащилъ за собою мужика.— Кого ты это подтенетилъ?

— Да вотъ, батюшка Ануфрій Трифонычъ, идемъ мы: я да Ивашка Кучумовъ, по Зарядью; глядимъ — лежитъ этотъ хмѣльной на улицѣ на самой серединѣ. Ну, долго ль до грѣха,—мѣсто проѣзжее. Мы стали его подымать, а онъ учалъ драться, да еще вздумалъ народъ скликать: кричитъ, что мы его обобрали.

— Ахъ, онъ мошенникъ!... пьяница этакій!

— Помилуй, батюшка!—промолвилъ мужикъ.

— Молчи!—закричалъ поддьякъ. — Ты кто таковъ? Колотырникъ какой-нибудь!... Бездомный бродяга!...

— Нѣтъ, батюшка! я живу при мѣстѣ, работникомъ на подворьи.

— А валяешься пьяный по улицамъ.

— Отецъ родной! — вскричалъ мужикъ, кланяясь въ ноги,—прикажи слово вымолвить!

— Ну что? Говори!

— Вотъ какъ дѣло было: стою я у стѣнки...

— У стѣнки!—прервалъ огнищанинъ. — Видно, ноги то не держатъ!

— Батюшка! да я хмѣльного въ ротъ не беру!... видитъ Богъ, не беру!

— Добро, добро!—сказалъ поддьякъ.—Ну говори: стоишь ты у стѣнки...

— Вотъ они, батюшка, ко мнѣ и подошли, да ни съ того, ни съ другого — и ну ко мнѣ придираться: что, дескать, ты тутъ стоишь?—Да такъ, молъ, стою!—Ты, дескать, воръ, высматриваешь, какъ-бы что стянуть!...—Да и ну меня по скуламъ!... Сбили съ ногъ, вытащили мошну съ деньжонками...

— Не слушай, Ануфрій Трифонычъ, — прервалъ одинъ изъ земскихъ ярыжекъ. — Онъ вретъ; мы его пальцемъ не тронули, а, видно, онъ самъ съ пьяна гдѣ-нибудь рожей-то на уголъ наткнулся.

— Не тронули!—повторилъ мужикъ.—Бога вы не боитесь!... Посмотрите-ка на мои глаза!

— Что глаза?—прервалъ поддьякъ. — Глаза какъ глаза! заплыли съ перепоя—вотъ и все!

— Съ какого перепоя, батюшка?... Я и по праздникамъ то вина не пью.

— Не пьешь!... да ты и теперь еле живъ — пьяница

этакій!... Алексѣй Пахомычъ! — продолжалъ поддьякъ, обращаясь къ огнищанину:—ну, посмотри, хмѣленъ ли онъ?

— Какой хмѣленъ! — сказалъ огнищанинъ; — лыкомъ не вяжетъ!... Бутузъ подойди-ка къ нему поближе... Ну, что?

— Фу ты, батюшки!—промолвилъ земскій ярыжка, наморщивъ рожу.—Да отъ него, какъ отъ бочки, такъ винищемъ и несетъ!

Мужикъ заревѣлъ: — Господи Боже мой!—говорилъ онъ всхлипывая. — Вотъ грѣхъ какой! Ни за что, ни про что избили—да я же виноватъ!—Кормилецъ!... отецъ родной!... да вели мнѣ хотъ деньжонки то отдать!

— Ахъ ты дуракъ этакій!—подхватилъ огнищанинъ. — Да почему ты знаешь, кто твои деньги взялъ? На улицѣ народу то много: какъ валяешься пьяный, такъ тебя всякій прохожій оберетъ.

— Пустите, пустите! — раздался въ передней комнатѣ женскій голосъ. — Я дойду и до вашего старшаго, что вы, въ самомъ дѣлѣ!... Иль на васъ управы нѣтъ?

— Кто тамъ это кричитъ?—спросилъ поддьякъ.

— Я, батюшка! — сказала толстая пожилая горожанка, входя въ комнату.

— Что ты, голубушка?

— А вотъ что, кормилецъ: управы прошу... дневной грабежъ!...

— Что ты это мелешь?

— Нѣтъ, не мелю!... Этотъ парень мой батракъ...

— Такъ что жъ?

— А то, что его избили и ограбили вотъ эти озорники.

— Врешь ты, дура! Они подняли его пьянаго на улицѣ.

— Пьянаго?... Что ты, батюшка, перекрестись! Да онъ вина то сродясь не пивалъ!

— Такъ, видно, сегодня въ первый разъ хлебнулъ, — сказалъ одинъ изъ ярыжекъ.

— Неправда!... Моя работница стояла у воротъ и все видѣла. — Вотъ что, батюшка, — продолжала старуха: — этотъ земскій ярыжка на меня злится: въ прошлый праздникъ я ему ничего не дала, такъ онъ и хотѣлъ выместить на моемъ работникѣ.

— Ахъ ты разбойница!—вскричалъ поддьякъ.—Да какъ ты смѣешь такія рѣчи говорить?...

— Постой-ка, голубушка!—сказалъ огнищанинъ.—Вѣдь ты держишь Мещевское подворье?

— Я, батюшка!

— Заявляли ли тебѣ наказъ боярина нашего князя Михайлы Никитича Львова, чтобъ мести каждый день улицу передъ домомъ—а?

— Заявляли.

— Такъ что жъ ты не исполняешь этого приказа? Вотъ ужъ четвертый день, Ануфрій Трифонычъ, не могу добиться; самъ заходилъ,—не слушаетъ, да и только!

— Помилуй батюшка: вѣдь всю прошлую недѣлю дождикъ такъ и лилъ, грязь по колѣно, — чего тутъ мести?

— Чего мести? — заревѣлъ поддьякъ.—Ахъ ты бунтовщица этакая!... Сказано, мести, такъ мети!

— Да она никогда не мететъ, — подхватила огнищанинъ.—Всѣ сосѣди жалуются.

— Сосѣди! — повторила старуха. — Ну такъ я всю же правду скажу. У меня, какъ просохнетъ передъ домомъ, такъ пылинки не найдешь; а вотъ мой сосѣдъ, Михей Бутрюмовъ, у него и метлы то въ заводѣ нѣтъ, а все съ рукъ сходитъ—и не диво: онъ къ твоей милости каждый праздникъ съ поклономъ ходитъ.

— Эге!—вскричалъ поддьякъ:—извѣтъ!... доносъ въ лихоимствѣ!... О, старуха! да это дѣло не шуточное!... Алексѣй Пахомычъ! садись-ка, братъ, да пиши, а я порядкомъ ее допрошу.

— Что ты, что ты, кормилецъ!—вскричала старуха испуганнымъ голосомъ.—Какой извѣтъ?... Я это... такъ—къ слову молвила.

— Къ слову?... Вотъ мы тебѣ дадимъ слово!... Пиши: такого-то мѣсяца и числа, земскіе ярыжки, Ивашка Кучумовъ и Антошка Шелыганъ, подняли на улицѣ въ Зарядьи пьянаго батрака съ Мещевскаго подворья. Хозяйка батрака... Какъ тебя зовутъ?...

— Батюшка, помилуй!—завопила старуха, повалясь въ ноги.—Сглуповала, отецъ мой, сглуповала!

— Чего тутъ миловать! Говори, какъ тебя зовутъ?...

— Ѳедосья Архипова.

— Ѳедосья Архипова... хорошо!... Женка Ѳедосья Архипова... Да ты что? замужняя, вдова или дѣвка?

— Горькая вдова, батюшка, сиротинка горемычная!...

Взмилуйся, отецъ родной! не погуби!... Баба я старая, глупая!...

— А вотъ какъ тебя вспрыснутъ шелепами, да посидишь въ острогѣ, такъ будешь умнѣе!... Ну, пиши: хозяйка вышесказаннаго батрака, вдова Ѳедосья Архипова, съ великимъ шумомъ и буйствомъ и насиліемъ ворвалась въ земскій приказъ, и учла она вышереченная вдова Ѳедосья Архипова говорить непригожія рѣчи и разными хульными словами позорить честь не токмо земскаго ярыжки Шелыгана, но и начальнаго человѣка, огнищанина Алексѣя Подпекалова, якобы оный Подпекаловъ, предаваясь злому лихоимству и хищенію...

— Батюшка, я этого не говорила!—вскричала старуха.— Видитъ Богъ, не говорила!... Къ присягѣ пойду...

— Пиши, Алексѣй Пахомычъ, пиши!

— Послушай, Ануфрій Трифонычъ,—сказалъ Левшинъ, подойдя къ столу. — Мнѣ надо съ тобой словечко перемолвить.

— Ну что, молодецъ? — спросилъ поддьякъ, отойдя къ сторонѣ съ Левшинымъ.

— А вотъ что: денегъ у меня нѣтъ...

— Знаю, любезный, знаю!

— А есть золотой перстень—вотъ посмотри.

— Да!... перстенекъ хоть куда.

— Возьми и носи его на здоровье, только дозволь мнѣ поговорить съ этой старухою и отпусти ее домой вмѣстѣ съ работникомъ.

— Нельзя, любезный, право, нельзя! Какъ дашь повадку, такъ послѣ съ ними и не сладишь.

— Такъ ты не берешь?

— Какъ бы не взять... Да, право, надобно поучить уму-разуму эту старую коргу—выскочка этакая!

— Ну, полно!... Надѣнь-ка перстень на палецъ...

— Дай-ка, дай!... Смотри пожалуй!... какъ по мнѣ дѣланъ!... И онъ, точно, золотой?

— Я не стану тебя обманывать.

— Ну, что съ тобой дѣлать! быть по твоему.

Поддьякъ подошелъ къ огнищанину, пошепталсяся съ нимъ и сказалъ старухѣ, которая дрожкомъ дрожала и едва держалась отъ страха на ногахъ:

— Что, голубушка, присмирѣла небось? Будешь помнить?...

— Буду, батюшка, буду!

— И напредки не забывай: выше лба ушн не растутъ.

— Такъ, батюшка, такъ!

— На носу себѣ заруби!...

— Зарублю, батюшка, зарублю!

— То-то-же!... Ну, ужъ такъ и быть, Богъ тебя проститъ!... Ступай домой съ своимъ батракомъ, — да смотри, старуха, впередъ всегда мети передъ домомъ!

— Кормилецъ! да я и такъ каждый день...

— Опять заговорила!... Ужъ коли сказано, что не метешь—такъ не метешь! Да смотри за работникомъ, чтобъ онъ впередъ по улицамъ-то пьяный не валялся.

— Батюшка! дѣло прошлое, а вѣдь онъ человѣкъ трезвый,— покарай меня Господь...

— Эка назойливая баба!—вскричалъ поддьякъ. — Ты у ней хоть колъ на головѣ теши, а она все свое!... Ужъ коли въ земскомъ приказѣ по обыску окажется, что ты и сама пьяна, такъ не смѣй поперечить—дура этакая!... Безъ вины виновата!

— Слышу, батюшка, слышу!

— То-то слышу!... Смотри, попадешься въ другой разъ... да и теперь... кланяйся вотъ этому молодцу. Кабы не онъ упросилъ...

— Ахъ, Господи!—вскричала старуха.—Да это никакъ... Ну, такъ и есть!... Ахъ ты мой ясный соколъ!

— Да, бабушка, это я. Поди-ка сюда на минутку.

Левшинъ отвелъ ее къ сторонѣ и сказалъ:

— Ну что, Архипьевна, чай, твои жильцы, сосѣди-то мои, больно перепугались?

— Ахъ, батюшка! какихъ страстей я-то натерпѣлась!... Думаю, убьютъ у меня въ дому человѣка!

— А мои сосѣди что?

— Вѣдь я тебя все у окна дожидалась. Хотѣла сказать, что на дворѣ-то засада; кликала тебя, да ты, какъ шальной, такъ на дворъ и пробѣжалъ.

— Не о томъ рѣчь, Архипьевна. Ты мнѣ скажи, что мои сосѣди?...

— Да что, батюшка, видно, больно переполошились: лишь только тебя со двора свели, такъ жилецъ-то мигомъ собрался...

— Собрался!... Куда?

— А кто его знаетъ! Въ дорогу, батюшка.

Левшинъ поблѣднѣлъ. — Въ дорогу! — повторилъ онъ.— Кто?... Вотъ тотъ постоялецъ?

— Ну, ду! у котораго дочка-то жила рядомъ съ тобою, въ свѣтелкѣ. Батюшки, какъ заторопились!... Запрягли двѣ тройки, расплатились со мной, да и поминай, какъ звали!

— Такъ они уѣхали?

— Уѣхали, батюшка.

— Послушай, Архипьевна: ты вѣрно знаешь, кто такой этотъ проѣзжій?

— Нѣтъ, родимый, видитъ Богъ не знаю!

— Да развѣ ты не могла спросить у работницы?

— Пыталась, да, видно, заказано: не говоритъ да и только... На что, дескать, тебѣ, Архипьевна, знать, кто твои жильцы? Платили бы они только исправно за постой.

— И ты не знаешь также, куда они поѣхали?

— Не вѣдаю, батюшка!... Ну, прощенья просимъ, мой отецъ!... Охъ, скорѣй бы отсюда убраться!... Спасибо тебѣ, что ты меня старуху изъ бѣды выручилъ!... Не даромъ, батюшка, говорится: «языкъ мой, врагъ мой!» Эка я дура, подумаешь, пришла управы просить!... Вотъ то-то и есть: вѣкъ прожила, а ума не нажила!... Ну, дай Богъ тебѣ добраго здоровья!... Счастливо оставаться!

Вслѣдъ за старухою и ея работникомъ вышли всѣ изъ покоя, и Левшинъ остался попрежнему одинъ съ поддьякомъ, который принялся разсматривать съ большимъ вниманіемъ перстень. Онъ снялъ его съ пальца, положилъ на ладонь, привѣсился и сказалъ вполголоса:

— Что за прахъ такой!... Легокъ, больно легокъ!... А кажись не дутый!... Ну, молодецъ, поддѣлъ ты меня!... Вѣдь перстень то не золотой!...

— Мнѣ однакожъ давали за него пятнадцать рублей,— отвѣчалъ Левшинъ.

— Пятнадцать!... Что больно много! Кабы мнѣ дали за него пять, такъ я бы въ ножки поклонился!... Ну, да дѣлать нечего: что съ воза упало, то пропало!... А только если онъ мѣдный, такъ это, любезный, на твоей совѣсти останется. Вѣдь мы не жиды: намъ грѣшно другъ друга обманывать.

— Да кто тебя обманываетъ? — прервалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ.—Вольно жъ тебѣ не вѣрить!

— Ну, ну, не гнѣвись!—молвилъ поддьякъ, принимаясь,

опять за письмо. — И то сказать: даровому коню въ зубы не смотрятъ.

Левшинъ сѣлъ на скамью и предался снова своимъ грустнымъ размышленіямъ. И такъ все кончено! Сбылись его предчувствія: она уѣхала изъ Москвы!... Онъ навсегда разстался съ нею... О, конечно навсегда.... Гдѣ станетъ онъ искать ее?... И въ Москвѣ не найдешь того, кого не знаешь по имени; а не Москвѣ чета наша матушка святая Русь: широко она раскинулась; въ ней одной полтретья всего міра Божьяго и, куда ни поѣдешь, вездѣ люди живутъ.

— Нѣтъ! — думалъ Левшинъ, — не судилъ мнѣ Господь быть счастливымъ! Сиротой я живу — сиротой и умереть придется!... Я знаю, Колобовъ сказалъ бы мнѣ: «Что ты, братъ! развѣ одна звѣзда на небѣ свѣтитъ? Мало ли красныхъ дѣвицъ на Руси живетъ! Приглянулась тебѣ одна — погоди: приглянется другая! — Нѣтъ, коли не она моя суженая, такъ не обходить мнѣ налоя рука въ руку съ сердечнымъ другомъ, не мѣняться съ нимъ кольцами?... Видно моя суженая-ряженая — мать сыра земля. Много звѣздъ на небѣ... да, много—не перечтешь... да солнышко-то одно!... И то слава Богу — поглядѣлъ я на него, полюбовался... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! лучше-бъ вовсе его не видать!...»

На дворѣ стало смеркаться; поддьякъ прибралъ къ сторонѣ свои бумаги, вынулъ изъ поставца сулею съ травникомъ, ковригу хлѣба, студень, горшокъ съ гречневой кашей, накрылъ столъ ширинкою и расположился на немъ ужинать вмѣстѣ съ огнищаниномъ. Разумѣется, онъ пригласилъ также и своего арестанта; но Левшинъ отказался. Когда поддьякъ и огнищанинъ опорожнили по нѣсколько чарокъ травника, то у нихъ пошла такая разгульная рѣчь, побасенки, которыя они принялись разсказывать другъ другу, были до такой степени отвратительны и развратны, что Левшинъ не могъ скрыть своего омерзенія; онъ легъ на лавку, повернулся къ нимъ спиною и притворился спящимъ. Часа полтора продолжалась эта пытка, наконецъ полупьяные собесѣдники разошлись. Поддьякъ скинулъ съ себя верхнее платье, пробормоталъ молитву, отвѣсилъ нѣсколько земныхъ поклоновъ — и лишь только повалился на скамью, то въ ту же минуту заснулъ мертвымъ сномъ. Левшинъ не скоро послѣдовалъ его примѣру. Онъ также помолился — и, вѣроятно, молитва его была усерднѣе; но глаза его не смыкались почти во всю ночь. Онъ заснулъ передъ самымъ раз-

свѣтомъ или, лучше сказать, задремалъ, потому что этотъ сонъ не мѣшалъ ему слышать безпрестанный стукъ, похожій на работу плотниковъ, которые что-то строили въ близкомъ разстояніи отъ земскаго приказа.

VI.

На восточной сторонѣ небосклона начинали уже тухнуть звѣзды; но увѣнчанный своими заборами, высокій кремлевскій холмъ былъ еще покрытъ ночною тѣнью. Внизу, у его подошвы, какъ сѣдое море, волновался утренній туманъ надъ обширнымъ Замоскворѣчьемъ. Все было погружено въ глубокій сонъ. Но вотъ, темноголубые небеса начинаютъ становиться прозрачнѣе; вотъ осыпались искрами и засверкали кресты высокихъ калоколенъ; вотъ облились свѣтомъ и позлащенныя главы церквей; народъ зашевелился по улицамъ. Москва проснулась.

Межъ тѣмъ тревожный сонъ Левшина все еще продолжался: этотъ ночной стукъ, который онъ слышалъ въ своемъ забытьи, превратился въ какой-то невнятный говоръ людей; потомъ началось громкое чтеніе, вслѣдъ за нимъ послышались стоны, плачъ и рыданія, а тамъ какъ будто бы упало что-то тяжелое; раздался глухой вопль — и все затихло. Во все это время Левшинъ не спалъ, а находился въ томъ полусознательномъ состояніи, когда мы сквозь сонъ слышимъ близкіе къ намъ звуки и, хотя не очень ясно, однакожъ различаемъ окружающіе насъ предметы: но въ то же самое время грезимъ и видимъ сны, въ которыхъ, разумѣется, ложь и истина безпрестанно смѣняютъ другъ друга. Левшинъ слышалъ очень ясно этотъ говоръ, чтеніе, плачъ и вопли; полузакрытымъ глазамъ его представлялись, какъ будто бы въ туманѣ, низкіе своды земскаго приказа, его тяжелыя стѣны, окно съ желѣзной рѣшеткою; онъ видѣлъ лампаду, которая висѣла передъ иконою — и межъ тѣмъ ему казалось, что онъ стоитъ въ церкви, гдѣ при тускломъ свѣтѣ погребальныхъ свѣчей, отпѣваютъ покойника; что священникъ читаетъ разрѣшительную молитву; что родные и друзья усопшаго лобызаютъ его съ плачемъ и рыданіемъ: что вдругъ тяжелая гробовая крыша съ громкимъ стукомъ падаетъ на церковный помостъ—и среди общаго мертваго молчанія раздается удуш-

ливый вопль покойника. Онъ медленно подымается изъ гроба. Левшинъ слышитъ вокругъ себя какой-то непонятный шопотъ; всѣ тѣснятся, спѣшатъ къ церковнымъ дверямъ, а онъ стоитъ, какъ прикованный, и не можетъ пошевелиться ни однимъ членомъ. Вотъ тухнутъ всѣ свѣчи: но вмѣсто темноты разливается кругомъ кровавый свѣтъ, похожій на зарево отдаленнаго пожара; церковный помостъ начинаетъ колебаться. По всѣмъ угламъ, вдоль стѣнъ, вездѣ подымаются надгробныя плиты и сотни мертвецовъ въ бѣлыхъ саванахъ начинаютъ показываться изъ своихъ могилъ. Покойникъ окидываетъ бездушнымъ ледянымъ взоромъ всю церковь. Глаза его встрѣчаются съ глазами Левшина: онъ подымаетъ свою изсохшую руку, указываетъ на него пальцемъ—и вотъ вся толпа мертвецовъ, заскрежетавъ зубами, бросается прямо къ нему; одинъ изъ нихъ хватаетъ его за грудь... Онъ вскрикиваетъ и въ ту же самую минуту подлѣ него раздается знакомый голосъ: «Что ты, что ты, молодецъ?... Это я!»

Левшинъ очнулся и вскочилъ.

— Экъ ты какъ заспался! — продолжалъ поддьякъ.—Не прогнѣвайся, раненько я тебя бужу, да дѣлать нечего; меня—прахъ бы ихъ взялъ!—еще ранѣе твоего разбудили, а теперь то самый лучшій сонъ и есть!... За тобой, молодецъ, пришли отъ князя Ивана Андреевича.

— Отъ князя Хованскаго?

— Ну, да! Тамъ въ прихожей дожидается тебя пятидесятникъ съ двумя стрѣльцами! Пойдемъ, любезный!

Поддьякъ сдалъ пятидесятнику своего арестанта, и когда вышелъ вслѣдъ за нимъ на крыльцо, то сказалъ: «Взгляни-ка, братъ, сюда на-лѣво!» Левшинъ обернулся. Почти рядомъ съ земскимъ приказомъ, на высокихъ подмосткахъ, лежалъ трупъ человѣка, одѣтаго въ черное платье; подлѣ, на окровавленной плахѣ, стояла отрубленная голова его. Это блѣдное, обезображенное лицо, на которомъ замерло судорожное выраженіе нестерпимой муки и отчаянія, было до того ужасно, что Левшинъ невольно отворотился.

— Кто это? —спросилъ онъ вполъ-голоса.

— Да вотъ этотъ разстрига, что такъ вчера храбровалъ,—отвѣчалъ поддьякъ.

— Никита?

— Да! Никита Пустосвятъ.

«Боже мой! — подумалъ Левшинъ, — давно ли этотъ мя-

тежникъ, окруженнный безчисленнной толпою народа, шелъ въ Кремль, какъ торжествующій побѣдитель; а теперь!... Куда дѣвались всѣ его защитники?... Онъ умеръ одинъ—и трупъ его, выставленный на позоръ, брошенъ, покинутъ всѣми!»

Въ самомъ дѣлѣ, вся площадь была пуста; въ нѣсколькихъ шагахъ отъ мѣста казни стояли вооруженные стрѣльцы; по временамъ останавливались прохожіе и, вглянувъ издалека на казненнаго преступника, продолжали спокойно идти своей дорогою. Одинъ только нищій въ изорванномъ рубищѣ, съ распущенными по плечамъ волосами и непокрытой головою, стоялъ на подмосткахъ подлѣ казненнаго преступника; склонивъ надъ нимъ свою сѣдую голову, онъ тихимъ голосомъ творилъ молитву и слезы его капали на окровавленный трупъ. Этотъ нищій былъ Гриша.

— Ну, прощай, любезный!—сказалъ поддьякъ, облобызавъ Левшина. — Дай Господи, чтобъ все кончилось благополучно!... Жаль мнѣ тебя — видитъ Богъ жаль!... Парень ты добрый, а коли правду говорятъ, что ты измѣнникъ...

— Мнѣ нечего бояться, — прервалъ Левшинъ: — совѣсть моя чиста.

— Совѣсть?... Что совѣсть, любезный... Коли у тебя другой заступы нѣтъ, такъ дѣло-то плоховато!... Конечно, Богъ не безъ милости, — почему знать, можетъ статься пожалѣютъ твоей молодости... только смотри, любезный, коли тебя не казнятъ, такъ не забудь, заверни опять сюда.

— Зачѣмъ?

— А вотъ зачѣмъ: ты говорилъ, что тебѣ давали за перстень пятнадцать рублей; ну, хочешь ли, другъ сердечный... такъ и быть! я тебѣ этотъ перстень за четырнадцать рублей уступлю?

— Хорошо, хорошо! — сказалъ Левшинъ, уходя вслѣдъ за своими провожатыми. Они вышли изъ Китай-города Каретными воротами и повернули на лѣво.

— Куда вы меня ведете?—спросилъ Левшинъ.

— Куда велѣно,—отвѣчалъ пятидесятникъ.

— Да вѣдь, кажется, домъ князя Ивана Андреевича Хованскаго не въ этой сторонѣ?

— Вѣстимо, не въ этой. Онъ живетъ на Знаменкѣ.

— Такъ мы идемъ не къ нему?

— Нѣтъ.

— Куда же?

— А вотъ какъ придешь, такъ узнаешь.

Левшинъ замолчалъ. Дойдя до того мѣста, гдѣ рѣчка Неглинная впадаетъ въ Москву-рѣку, они повернули направо, и когда, миновавъ церковь Илья Обыденнаго и Зачатейскій монастырь, переправились Крымскимъ бродомъ на ту сторону рѣки, то Левшину не трудно было догадаться, что его ведутъ къ боярину Кириллѣ Андреевичу Буйносову: онъ жилъ недалеко отъ Калужскихъ воротъ и, вѣроятно, одинъ изъ всѣхъ ближнихъ бояръ не имѣлъ дома въ Кремлѣ, или, по крайней-мѣрѣ, въ его окрестностяхъ. Подходя къ этимъ брусянымъ хоромамъ, которыя стояли въ глубинѣ обширнаго двора, Левшинъ увидѣлъ, что у воротъ дожидается дворецкій боярина Буйносова. Пятидесятникъ сдалъ ему съ рукъ въ руки Левшина и отправился съ своими стрѣльцами въ обратный путь.

— Милости просимъ, Дмитрій Афанасьевичъ! — сказалъ дворецкій, отпирая калитку. — Бояринъ давно ужъ тебя дожидается.—Всѣ твои пожитки, — продолжалъ онъ, идучи съ Левшинымъ по двору,—перевезли сегодня къ намъ. Ужъ не изволь опасаться, батюшка: синяго пороха не пропадетъ!... У насъ, слава Богу, кладовыхъ довольно.

— Да это, кажется, Феропонтъ? — спросилъ Левшинъ.

— Вонъ что тамъ у конюшни держитъ двухъ осѣдланныхъ коней?... Да, батюшка, это твой служитель.

Войдя по широкому крыльцу въ обширныя сѣни, въ которыхъ толпилось человѣкъ двадцать боярскихъ холопей, дворецкій отворилъ двери въ первый покой и сказалъ:

— Пожалуй сюда, батюшка! Я пойду, доложу о тебѣ боярину; а ты побесѣдуй покамѣстъ съ его милостію, — прибавилъ онъ, указывая на Колобова, который кинулся на шею къ своему пріятелю и закричалъ:

— Здравствуй, Дмитрій Афанасьичъ! Ну, слава тебѣ Господи! Не чаялъ я видѣть тебя живымъ.

— И ты здѣсь, Артемій Никифоровичъ?

— Какъ же! Ты помнишь, мы вчера съ тобой уговорились придти сюда попозднѣе вечеркомъ?... Вотъ я этакъ въ сумерки и отправился за тобою на Мещовское подворье; лишь только дошелъ до Зарядья, глядь — на встрѣчу мнѣ Архипьевна бѣжитъ бѣгомъ, шушунъ на распашку — въ попыхахъ. — «Куда бабушка?» — «Въ земскій приказъ». «Зачѣмъ?» — «Управы просить!... Душегубцы этакіе! разбойники!... кнутобойцы!...» — «Да что такое?» — Ограбили,

батюшка, прибили до полусмерти моего Ѳедотку!» — «Да кто?»—«А вотъ эти живодеры, кровопійцы, земскіе ярыжки!... Ни за что, ни про что изувѣчили у меня парня!... Да его же, за то, что онъ кричалъ, въ земскій приказъ оттащили... воры этакіе, висѣльники!...» — «А я, Архипьевна, иду къ тебѣ на подворье». — «Ужъ не къ твоему ли крестовому братцу?»—«Къ нему».—«Ахъ, родной, ты мой, да вѣдь его захватили стрѣльцы!»—«Какъ такъ?»—«А вотъ какъ:пришли прежде его ко мнѣ на подворье, засѣли по угламъ и какъ твой крестовый братецъ вошелъ на дворъ—они его и цапъ-царапъ!» — «И увели съ собой?» — «Увели батюшка!... Ну, ужъ перепугалась я!... Экій денекъ! и стрѣльцы и земскіе ярыжки!... Да съ ними то я справлюсь! Слыханое ли дѣло: дневной грабежъ!... Нѣтъ, батюшка, я ихъ доѣду!... Ударю на нихъ челомъ боярину князю Львову; а коли онъ суда не дастъ, такъ я закричу слово и дѣло'... до царей дойду!... Прощай, батюшка—прощай!»—Я было хотѣлъ ее поразспросить хорошенько — куда! Моя старуха пустилась благимъ матомъ по улицѣ, а я кинулся къ боярину Кириллѣ Андреевичу, разсказалъ ему все; онъ отправился къ князю Хованскому, а мнѣ приказалъ перевести сюда всѣ твои пожитки. Ну, братъ Левшинъ, истинно Господь тебя помиловалъ! Вчера у насъ въ слободѣ одинъ молодецъ, сотникъ полку Лопухина, сболтнулъ по-твоему, такъ его тутъ же уходили. Нѣтъ, братъ, что Богъ дастъ впередъ, а теперь держи ухо востро!...

— Дмитрій Афанасьичъ! пожалуй, батюшка, къ боярину!—сказалъ дворецкій, выходя изъ сосѣдняго покоя.

Въ этомъ покоѣ, въ которомъ обыкновенно хозяинъ *трапезничалъ* съ своими гостями, вся домашняя утварь состояла изъ большого дубоваго стола, лавокъ, покрытыхъ коврами, и двухъ огромныхъ поставцовъ, наполненныхъ серебряною посудою. Разумѣется, въ переднемъ углу стояли на полкѣ святыя иконы въ великолѣпныхъ окладахъ; но голыя стѣны комнаты не были ничѣмъ украшены, и только на одной изъ нихъ висѣлъ, весьма дурно написанный масляными красками, портретъ царя Алексѣя Михайловича. Пройдя этой комнатой, Левшинъ вошелъ въ угольный покой, убранный по тогдашнему времени весьма роскошно: стѣны въ немъ были обтянуты кожаными позолоченными обоями, которыя вывозились тогда изъ Голландіи, а полъ обитъ краснымъ сукномъ. Въ одномъ углу подыма-

лась до самаго потолка, росписанная крупными узорами, изразцовая печь, на ножкахъ или столбикахъ, также изразцовыхъ. Вдоль стѣнъ стояло нѣсколько стульевъ съ высокими спинками; посреди комнаты, за столомъ, сидѣлъ въ креслалъ, обитыхъ малиновымъ рытымъ бархатомъ, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ; на немъ былъ шелковый *ходильный зипунъ*, а сверхъ него камлотовый *опашень*. Это былъ боярин Кирилла Андреевичъ Буйносовъ. Не смотря на грустное выраженіе его взоровъ, которые изобличали какую-то глубокую душевную скорбь, онъ вовсе не казался ни угрюмымъ, не суровымъ. Его блѣдное и худое лицо, на которомъ были еще замѣтны остатки прежней красоты, исполнено было благородства, безъ всякой примѣси этой смѣшной боярской спѣси, которая и въ старину и въ нашъ вѣкъ, и вѣроятно въ будущія времена, всегда останется вѣрнымъ признакомъ или грубаго невѣжества, или природной глупости, слегка прикрытой *европейскимъ* просвѣщеніемъ.

— Здравствуй, Дмитрій Аѳанасьевичъ! — сказалъ ласковымъ голосомъ Буйносовъ.—Садись, голубчикъ!

Левшинъ съ низкимъ поклономъ отказался отъ предложенной чести.

— Ну, полно, безъ чиновъ!... Садись, любезный!... Ты, я чаю, больно умаялся!

— Я не знаю, какъ мнѣ тебя благодарить, бояринъ...— промолвилъ Левшинъ.

— Что я, Дмитрій Афанасьевичъ! — прервалъ Буйносовъ.—Я тутъ не причемъ!... Благодари во-первыхъ Бога, а во-вторыхъ князя Ивана Хованскаго. Что я хлопоталъ о тебѣ, такъ это не большое диво: ты сынъ задушевнаго моего пріятеля — дай Богъ ему царство небесное!... И тебя самого я люблю, почитай, какъ родного, а все бы мнѣ не удалось вырвать тебя изъ злодѣйскихъ рукъ, кабы не князь Иванъ Андреевичъ. Да и ты, молодецъ, охота же тебѣ дразнить этихъ бѣшеныхъ собакъ!

— Что жъ дѣлать, бояринъ, не утерпѣлъ... Когда я услышалъ и увидѣлъ самъ, до чего дошло буйство этихъ богоотступныхъ мятежниковъ, такъ сердце во мнѣ заговорило.

— Сердце?... Да неужели ты думаешь, что мы, старики, смотримъ на это, какъ не потѣху?... Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, и наше сердце обливается кровью, и мы, называя это мя-

тежное войско православнымъ и христолюбивымъ, скорбимъ и сокрушаемся душою; да дѣлать то нечего: пришлось мирволить, коли сила не беретъ.

— Власть твоя, бояринъ, а по мнѣ лучше погибнуть, чѣмъ мирволить злодѣямъ. Вѣдь за правду умереть не бѣда.

— Кто говоритъ... Дай Господи и мнѣ умереть за правду, лишь только бы смерть то моя пошла въ прокъ; а коли я умру только для того, чтобъ убавилось число вѣрныхъ слугъ царскихъ, которыхъ и безъ того немного остается, такъ что въ этомъ толку? Князья Долгорукіе, Ромодановскіе, бояринъ Матвѣевъ—попытались стать грудью противъ крамольниковъ—что жъ вышло?... Они погибли, а мятежники унялись ли злодѣйствовать?... Нѣтъ: они еще больше ожесточились. Когда дикій звѣрь сорвется съ цѣпи, да отвѣдаетъ крови человѣческой, такъ не присмирѣетъ, а сдѣлается еще злѣе.

— Такъ что жъ, бояринъ, неужели давать волю этому звѣрю?...

— Коли сила есть, такъ не давай; а коли тебѣ одолѣть его нельзя, такъ не лучше ли до поры до времени прикармливать его, да въ тихомолку обкладывать тенетами, чѣмъ дразнить и гибнуть понапрасну?... Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ! и я былъ молодъ, какъ ты, и у меня также кровь кипѣла въ жилахъ—да уходился! Не даромъ говорятъ: вѣкъ пережить, не поле перейдти; чего не увидишь, чего не услышишь, чего не натерпишься!... А горя то горя!...— промолвилъ бояринъ, и на глазахъ его навернулись слезы.— Да, Дмитрій Афанасьичъ!—продолжалъ онъ,—и тебѣ грустно жить въ одиночествѣ; но ты еще молодъ: Богъ дастъ, у тебя будетъ своя семья, добрая жена, милыя дѣти; а каково быть круглымъ сиротою тому, кто смотритъ ужъ въ могилу?... Какъ подумаешь: умереть на рукахъ челядинцовъ, не оставить послѣ себя ни роду, ни племени... Да что говорить объ этомъ! Коли Господь послалъ крестъ, такъ неси его безъ ропота и покоряйся... Поговоримъ ка лучше о другомъ. Тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ, нельзя въ Москвѣ оставаться, и чѣмъ скорѣе ты отсюда уѣдешь, тѣмъ лучше. Я на будущей недѣлѣ хочу отправиться въ мою Брянскую вотчину, такъ возьму тебя съ собою, а теперь поѣзжай въ мою подмосковную; она на Серпуховской дорогѣ и только въ пяти верстахъ отъ Коломенскаго, да зато въ сторонѣ, кругомъ лѣсная дача, проѣзжей боль-

шой дороги нѣтъ, такъ ты покамѣсть можешь тамъ жить безъ всякаго опасенія. Только смотри—въ Коломенское ни ногой! Туда часто изволитъ наѣзжать государь Петръ Алексѣевичъ, такъ иногда бываетъ очень людно. Неравно еще съ кѣмъ ни есть повстрѣчаешься, а на первыхъ порахъ не худо бы, чтобъ твои сослуживцы вовсе о тебѣ забыли: пусть себѣ думаютъ, что ты безъ вѣсти пропалъ. Можетъ статься, денька черезъ четыре я съ тобой увижусь, а теперь прощай, любезный!... Мѣшкать нечего. Съ тобой поѣдетъ твой слуга и одинъ изъ моихъ домашнихъ. Ну, съ Богомъ, Дмитрій Афанасьичъ,—отправляйся!

Когда Левшинъ откланялся боярину и вышелъ на дворъ, то увидѣлъ, что все уже готово къ его отъѣзду: у воротъ дожидался боярскій вершникъ, а у крыльца стоялъ Феропонтъ, держа подъ уздцы двухъ осѣдланныхъ коней. Въ одномъ изъ нихъ Левшинъ узналъ своего аргамака. Колобовъ былъ тутъ-же. Онъ смотрѣлъ съ нѣмымъ восторгомъ на Султана. Этотъ гордый персидскій конь, почуя своего сѣдока, заходилъ ходуномъ, заплясалъ и началъ грызть свои, покрытыя пѣною, удила.

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ Колобовъ, — достался тебѣ конь! Я еще его подъ сѣдломъ-то не видѣлъ. Вотъ ужъ подлинно всѣмъ взялъ!... Огонь, а не лошадь!... Жилки всѣ играютъ!... Хорошъ и тотъ, котораго ты мнѣ пожаловалъ, а все не то... Ну, прощай, другъ сердечный!... Когда то приведетъ Господь опять увидѣться?

— И, батюшка! — сказалъ Феропонтъ, подводя къ Левшину Султана: — гора съ горой не сойдется, а человѣку съ человѣкомъ какъ не сойтись!

— Бояринъ не сказалъ мнѣ, куда тебя отправляетъ, — продолжалъ Колобовъ, — а намекнулъ только, что врядъ ли ты скоро въ Москву вернешься. Ну, да Богъ милостивъ, увидимся когда-нибудь.

Левшинъ обнялъ Колобова, вскочилъ на коня и черезъ нѣсколько минутъ доѣхалъ до земляного вала, то есть нынѣшней Садовой улицы. Выѣхавъ Калужскими воротами за городъ, онъ, по старинному обычаю, снялъ шапку и помолился на соборы. Феропонтъ послѣдовалъ его примѣру, перекрестился и сказалъ: «Прощай, матушка Москва бѣлокаменная! Не долго мы въ тебѣ погостили! Слава тебѣ Господи, что я въ Кремлѣ побывалъ, а то бы не удалось и угодникамъ то московскимъ поклониться!» Оставя въ

правой рукѣ Калужскую дорогу, Левшинъ пустился по Серпуховской. Онъ не говорилъ ни слова, но душа его была преисполнена грусти. Два дня тому назадъ онъ спѣшилъ возвратиться въ свой родимый городъ, а теперь бѣжитъ изъ него, какъ изгнанникъ. Онъ былъ въ Москвѣ и не успѣлъ даже сходить на могилу отца своего и матери. Привязанность къ родимой сторонѣ всегда становится сильнѣе, когда мы переживаемъ всѣхъ близкихъ нашему сердцу; намъ кажется, что мы еще не вовсе осиротѣли, если живемъ тамъ, гдѣ покоятся кости нашихъ кровныхъ и родныхъ, гдѣ мы родились, гдѣ встрѣчаемъ тѣхъ, съ которыми свыклись еще въ ребячествѣ; гдѣ все напоминаетъ намъ о прежней семейной жизни, о дѣтскихъ нашихъ радостяхъ... Покинуть это мѣсто; быть можетъ, навсегда разстаться съ своей родимой стороною — о, конечно, это второе сиротство едва ли легче перваго!

Солнце было уже довольно высоко, когда наши путешественники, отъѣхавъ верстъ семь отъ Москвы, стали спускаться съ крутой горы. Левшинъ продолжалъ ѣхать молча, но спутники его давно разговаривали межъ собою. Боярскій челядинецъ, пожилой человѣкъ лѣтъ пятидесяти, узнавъ, что Феропонтъ видѣлъ Москву только мимоѣздомъ, пустился въ росказни.

— Я голубчикъ,—говорилъ онъ,—старожилъ московскій и не только въ ней всякій закоулочекъ назову тебѣ по имени, да и что вокругъ то ея, все знаю... Да вотъ, примѣромъ сказать, хоть это урочище: оно прозывается Котлы—и деревню также зовутъ — знаешь ли, любезный, что на этомъ самомъ мѣстѣ сожгли проклятаго самозванца Гришку Отрепьева?

— Живого?

— Нѣтъ, мертваго. Вотъ ужъ лѣтъ тридцать, какъ мнѣ это разсказывалъ мой дѣдушка—упокой Господи его душу! А онъ ужъ и тогда доживалъ седьмой десятокъ. Господи Боже мой, чего онъ не насмотрѣлся!... и боярскихъ смутъ, и польскихъ погромовъ, и какъ ляхи завладѣли Москвою, какъ воевода князь Пожарскій бился съ ними на Лубянкѣ, какъ онъ послѣ, вмѣстѣ съ Кузьмой Миничемъ, привелъ изъ Понизовья православное войско подъ Москву; какъ ляхи отсиживались въ Кремлѣ, какъ наши, при помощи Божіей, ихъ одолѣли — все видѣлъ!... Вотъ онъ то мнѣ сказывалъ, что вывезли сюда окаянное тѣло Гришки Отрепьева, сожгли

на кострѣ, потомъ собрали весь пепелъ, зарядили имъ пушку, да и шарахнули по вѣтру.

— А ради чего — спросилъ Феропонтъ, — сожгли этого самозванца? Или ужъ такъ бояре присудили и царь указалъ?

— А вотъ ради чего, любезный. Онъ сначала лежалъ убитый трое сутокъ на пожарѣ...

— На пожарѣ?

— Сирѣчь на Красной площади: ее, братъ, въ старину этакъ называли. Во все это время, кругомъ въ околодкѣ, никому покоя не было: каждую ночь, вплоть до первыхъ пѣтуховъ, начнется, бывало, надъ нимъ такая бѣсовщина дѣяться, что всѣ и по домамъ то дрожкой дрожатъ: и въ бубны бьютъ, и въ сопѣлы играютъ, и шумъ, и гамъ, и свистъ!... Вотъ стащили его въ убогій домъ за Яузскія ворота — и тамъ возня поднялась! Ночью всѣ мертвецы въ убогомъ домѣ повставали, да ну-ка пѣсни орать!... Мало того: поднялись бури, вихри, всякая непогодица, и послѣ вешняго Николы выпалъ снѣгъ по колѣно. Вотъ бояре то и призадумались. Доложили царю Василію Ивановичу; а царь Василій Ивановичь, видя, что дѣло то плохо, и указалъ его сжечь поодаль отъ Москвы.

— Вотъ что!... Только правда ли это, любезный?

— Экій ты, братецъ, какой! Да развѣ ты не знаешь, что Гришка то Отрепьевъ былъ колдунъ и чернокнижникъ?

— Право?

— Какъ же!... Вѣдь онъ и родную то матушку царевича Дмитрія обморочилъ и боярину Басманову глаза отвелъ.

— Ну, это дѣло иное!... Коли онъ былъ колдунъ, такъ не диво!

— Что жъ ты думаешь? — продолжалъ разсказчикъ. — Гришку Отрепьева казнили и сожгли на кострѣ — кажись, чего бы еще?... Такъ нѣтъ! Не прошло двухъ лѣтъ, какъ опять проявился такой же самозванецъ. — «Это, дескать, не меня сожгли... меня, дескать, хотѣли извести, да не удалось». Простой народъ сталъ къ нему приставать — пошла опять кутерьма: кто за него, кто за царя Василія Ивановича. Вотъ и этотъ самозванецъ подступилъ къ Москвѣ и долго стоялъ съ войскомъ въ подмосковномъ селѣ Тушинѣ. Покойный дѣдушка самъ туда ходилъ.

— Что жъ это? — прервалъ Феропонтъ. — Да коли вся

Москва видѣла, какъ сожгли самозванца, такъ какъ же народъ повѣрилъ этому вору?

— Ну, вотъ поди ты!... Вѣстимо, нашъ братъ дворовый человѣкъ не повѣритъ, а вѣдь простой то народъ глупъ!... Принесетъ ему сорока на хвостѣ вѣсточку, а онъ уши то и развѣситъ!... Глупой бабѣ да сермяжнику, что хочешь, братъ, плети, они съ дуру всему повѣрятъ... Э! да что жъ это твой баринъ?... Куда онъ своротилъ! Дмитрій Афанасьевичъ! не туда: направо по дорожкѣ.

Левшинъ повернулъ по узенькой тропинкѣ, которая, пробираясь между засѣянныхъ полей, вела къ густому березовому лѣсу. Когда онъ увидѣлъ себя подъ тѣнью этихъ столѣтнихъ березъ, то ему стало еще грустнѣе. Онъ невольно вспомнилъ и о своей березовой рощѣ на берегу Волги и о той, которая превратила бы для него эту рощу въ земной рай. Проѣхавъ версты три этимъ заповѣднымъ лѣсомъ, наши путешественники очутились на обширной полянѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ густымъ чернолѣсьемъ. Когда Левшинъ окинулъ взглядомъ это лѣсное *удолье*, то забылъ на минуту все свое горе. Средину всей поляны занимала баярская усадьба. Въ глубинѣ двора, застроеннаго съ обѣихъ сторонъ службами, стоялъ господскій домъ, то есть большая брусяная изба, крытая тесомъ, у которой, вмѣсто обыкновеннаго крыльца, былъ устроенъ подъ навѣсомъ досчатый *рундукъ* или помостъ, похожій на нынѣшнія террасы. Передъ самымъ домомъ, въ пушистыхъ зеленыхъ берегахъ, разливался прихотливо широкій проточный прудъ; съ одной стороны онъ оканчивался плотиною, обсаженною ракитникомъ, съ другой вливался въ него довольно большой ручей. Поодаль отъ пруда, кругомъ ветхой, деревянной церкви, какъ дѣти вокругъ родной матери, пріютились низенькія крестьянскія избы, съ ихъ соломенными кровлями и плетневыми заборами. Конечно, все это вмѣстѣ не составляло ничего особенно прекраснаго или живописнаго; но эта тишина, этотъ лѣсъ, этотъ свѣтлый прудъ, эта зелень, усыпанная цвѣтами, и даже простота и убогость приходской церкви и боярскаго дома,— все наполняло душу какимъ-то кроткимъ, неизъяснимымъ спокойствіемъ. Левшинъ вовсе не желалъ, — да и вы бы не захотѣли,—встрѣтить въ этомъ смиренномъ уголкѣ ни великолѣпный храмъ Божій, ни каменныя палаты барскія: все что напоминаетъ намъ о земномъ величіи, роскоши и суетѣ

мірской, показалось бы вамъ не у мѣста въ этомъ тихомъ и спокойномъ убѣжищѣ, поселясь въ которомъ, вы могли бы думать, что живете за тысячу верстъ отъ Москвы.

— Ну, вотъ и пріѣхали!—сказалъ провожатый, слѣзая съ коня.—Добро пожаловать!—промолвилъ онъ съ низкимъ поклономъ. — Милости просимъ, Дмитрій Афанасьичъ, въ наше село Богородское!... Въ немъ часто гащивалъ покойный твой батюшка; вотъ Богъ привелъ и тебѣ съ нами пожить. Милости просимъ!

Онъ отворилъ околицу, и Левшинъ, объѣхавъ правымъ берегомъ пруда, сошелъ съ коня у воротъ боярскаго дома.

VII.

Вотъ уже прошло болѣе трехъ недѣль, какъ Левшинъ оставилъ Москву. Въ селѣ Богородскомъ ждали со дня на день боярина Буйносова, но онъ не ѣхалъ. Впрочемъ, Левшинъ вовсе не скучалъ: въ хорошую погоду онъ ходилъ иногда съ мѣткой пищалью стрѣлять дичь, а ея очень много было въ этихъ заповѣдныхъ дачахъ, въ которыхъ изрѣдка только охотился самъ бояринъ; въ дурную погоду бесѣдовалъ съ приходскимъ священникомъ или проводилъ время въ разговорахъ съ словоохотнымъ челядинцемъ боярскимъ и своимъ добрымъ Феропонтомъ. Въ нашъ вѣкъ это послѣднее занятіе показалось бы довольно страннымъ; но тогда еще просвѣщеніе не положило въ отечествѣ нашемъ этой рѣзкой грани между господиномъ и его слугою. Въ старину было много и такихъ господъ, которымъ грамота вовсе не далась; да и дворяне, по тогдашнему образованные, отличались, по большей части, отъ своихъ безграмотныхъ домочадцевъ не образомъ мыслей, не познаніями и ученостію, а только тѣмъ, что *умѣли* читать и писать. Сверхъ того между служителями и ихъ господами существовала тогда связь особеннаго рода: ее почти можно назвать семейною. Господа называли своихъ слугъ домочадцами, и эти *чады дома* готовы были при всякомъ случаѣ умереть за своихъ бояръ, которые въ свою очередь любили ихъ какъ *домашнихъ* и дарили иногда за вѣрную службу

цѣлыми деревнями *). Чаще всего Левшинъ бродилъ безъ всякой цѣли по лѣсу, особенно тамъ, гдѣ должно было прокладывать себѣ дорогу; онъ любилъ продираться сквозь эту глушь, гдѣ сплошныя деревья сплетаются своими вершинами и ни одинъ лучъ полуденнаго солнца не падаетъ на влажную землю, покрытую полусгнившими листьями и валежникомъ. Эта пустынная, мрачная дичь была ему по душѣ. Въ одну изъ своихъ прогулокъ онъ зашелъ въ глубокій, поросшій мелкимъ лѣсомъ, оврагъ. На днѣ его журчалъ ручей, тотъ самый, который передъ господской усадьбою вливался въ прудъ. Въ концѣ этого оврага, сквозь густыя вѣтви дикой черемухи, виднѣлся высокій плетень, а за нимъ соломенная кровля небольшой избушки. Левшинъ пошелъ къ этому жилью. Онъ не успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ изъ за плетня показался служитель его, Феропонтъ съ довольнымъ лицомъ и съ распухшимъ прищуреннымъ глазомъ.

— Это ты, Феропонтъ?—сказалъ Левшинъ.

— Я, батюшка,—отвѣчалъ Феропонтъ, вытирая рукою свои длинные усы и бороду.

— Что это у тебя глазъ то?

— Ничего, Дмитрій Афанасьичъ! Я былъ вотъ здѣсь на пчельникѣ у Савельича, такъ пчела ужалила. Что за медъ!... Ну, ужъ нечего сказать: бѣлый, зернистый!... Да не угодно ли, батюшка, и тебѣ отвѣдать?...

— Пожалуй.

— Только самъ туда не ходи: какъ разъ облѣпятъ пчелы. Побудь здѣсь на минуту, я сейчасъ вынесу тебѣ свѣжій сотникъ, прямехонько изъ улья.

Феропонтъ ушелъ опять на пчельникъ, а Левшинъ прилегъ подъ тѣнь черемухи у ручья, который тихо струился въ своихъ берегахъ, поросшихъ осокою. Вотъ послышались ему вдали охотничьи рога. Эти невнятные, исчезающіе въ воздухѣ, звуки долетали до него только по вѣтру — и черезъ нѣсколько минутъ вмѣстѣ съ нимъ затихли. Межъ тѣмъ Феропонтъ возвратился, неся деревянное блюдо, на

*) При царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ опальный боярин, Иванъ Григорьевичъ Нагой, отдалъ своему слугѣ, Богдану Сидорову, за вѣрную его службу и усердіе, наслѣдственную свою вотчину сельцо Ануфріево съ деревнями. Вѣроятно, въ старину подобные случаи повторялись нерѣдко.

которомъ лежалъ свѣжій сотъ меду, ножикъ и ломоть чернаго хлѣба.

— Покушай, Дмитрій Афанасьичъ, на здоровье, — сказалъ онъ, подавая ему блюдо. — Савельичъ при мнѣ подрѣзалъ этотъ сотъ. Ну, батюшка, какой онъ досужій пчеловодъ!... А знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ? Вѣдь Савельичъ то жилъ въ скиту у твоего дядюшки, Андрея Яковлевича Денисова.

— Въ какомъ скиту?

— Да вотъ тамъ за Онегою.

— Какъ же онъ туда попалъ?

— Въ бѣгахъ былъ. Савельичъ мнѣ все разсказалъ. Вотъ изволишь видѣть: онъ долго былъ раскольникомъ; лѣтъ шесть тому назадъ Господь вразумилъ его принять опять православную вѣру, такъ онъ пришелъ съ повинной головой къ боярину. Бояринъ, — дай Богъ ему здоровье! — принялъ его не съ гнѣвомъ, а съ милостію, и порадовался, что онъ, хотя и поздненько, а все-таки обратился на путь истинный.

— Послушай, Феропонтъ: я все еще путемъ не знаю, покойный дядюшка, Семенъ Яковлевичъ, въ ссорѣ что ль былъ съ своимъ братомъ, Андреемъ Яковлевичемъ?

— Въ ссорѣ, батюшка. А, говорятъ, въ старину они жили душа въ душу. Андрей Яковлевичъ продалъ всѣ свои вотчины и уѣхалъ сначала въ Соловки, а тамъ долго жилъ за Онегою и присылалъ часто гонцовъ къ твоему покойному дядюшкѣ, и тотъ также писалъ къ нему грамотки.

— А за что они поссорились.

— Вотъ за что, батюшка: можетъ быть, ты не знаешь, что покойный твой дядюшка, а нашъ баринъ, Семенъ Яковлевичъ, держался одного толку съ своимъ братомъ, сирѣчь — не прогнѣвайся, батюшка! — былъ такой же еретикъ, какъ и онъ. Правда, только то и было въ немъ худаго... Этакой доброй души поискать! Не токма свои, да и всѣ чужіе то шли къ нему словно къ отцу родному. Случится ли съ кѣмъ бѣда: домишко сгоритъ — къ Семену Яковлевичу! Выбьетъ ли поле градомъ — къ Семену Яковлевичу!... Сосѣди межъ собой повздорятъ — къ нему же на судъ! А ужъ объ нищей братіи и говорить нечего: со двора не сходили. Грѣшно также сказать, чтобъ онъ обижалъ нашъ церковный причетъ; онъ и имъ въ нуждѣ помогалъ, только ни самъ въ Божью церковь не входилъ,

ни священника къ себѣ съ крестомъ не допускалъ; а молился у себя въ образной по какимъ-то старинным книгамъ. Намъ никому не было помѣхи говѣть, исповѣдываться и ходить къ причастію, да самъ то онъ никогда не исповѣдывался и не пріобщался. Вотъ, батюшка, годовъ пять тому назадъ наслалъ на него Господь какую-то немощь; сталъ онъ чахнуть: что день, то хуже. Приводили къ нему всякихъ знахарей — все лучше нѣтъ! Вотъ послали въ Москву по какого-то досужаго человѣка изъ нѣмчинъ. Пріѣхалъ и тотъ, прожилъ у насъ сутокъ трое, давалъ барину всякія снадобья; да какъ увидѣлъ, что ему отъ нихъ льготы никакой нѣтъ, а стало еще тяжелѣе, и что вся дворня посматриваетъ на него изъ подлобья, такъ онъ за добра ума, поворотя оглобли, да и былъ таковъ!... Прошло этакъ еще съ недѣлю; баринъ пересталъ ужъ и съ постели вставать; не ѣстъ, не пьетъ— кости да кожа. Худо дѣло!... Однажды подъ вечерокъ, собрались мы всѣ въ людскую, да и толкуемъ межъ собой: что съ нами сиротами станется, кто будетъ у насъ бариномъ?... Вотъ нашъ дворецкій, Прокофій Иванычъ — ты ужъ его не засталъ, батюшка — и началъ намъ говорить: «Что вы, ребята, о пустякахъ то болтаете?... Кому достанемся, кто бариномъ будетъ? — Вѣстимо дѣло, безъ барина не останемся; а вы о томъ подумайте, что нашъ батюшка Семенъ Яковлевичъ — кормилецъ нашъ, родной отецъ!—умираетъ какъ собака!» Вотъ всѣ мы такъ руками и всплеснули. «Ахъ, батюшки! вѣдь правда: умретъ онъ безъ покаянія!» — «Да что жъ дѣлать-то, Прокофій Иванычъ?»—сказалъ ключникъ Терентій. — «А вотъ что: ступай хоть ты скорѣй къ отцу Василію, скажи ему, что Семенъ Яковлевичъ умираетъ и зоветъ его къ себѣ; а мы пойдемте всѣ къ барину, повалимся ему въ ноги. Господь милостивъ—авось упросимъ его, чтобъ онъ души-то своей не губилъ!» — Идемте, ребята! — закричали всѣ, — да цѣлой гурьбой, и старый и малый, всѣ до единаго пошли къ барину. Стали входить потихоньку въ его опочивальню—глядимъ, лежитъ сердечный, чуть живъ!—Что вы, братцы?— промолвилъ онъ,—зачѣмъ пришли?—Кормилецъ ты нашъ!— сказалъ дворецкій,—ты былъ намъ всѣмъ вмѣсто отца роднаго, и мы, какъ дѣти, пришли просить тебя — не откажи намъ въ послѣдней нашей просьбѣ! Дворецкій повалился въ ноги, а за нимъ и мы всѣ упали на земь. — Ну, что? —

шепнулъ Семенъ Яковлевичъ;—говори!—Батюшка баринъ!—сказалъ Прокофій Ивановичъ,—ты человѣкъ добрый, за тебя богомольцевъ много будетъ, да всѣ ихъ молитвы-то въ прокъ не пойдутъ, коли ты умрешь, какъ нехристь какая. Прикажи позвать священника! Глядимъ—баринъ нахмурился.—Ступайте вонъ, дурачье! — молвилъ онъ гнѣвно.—Не ваше дѣло!—Какъ, батюшка, не наше!—заговорилъ дворецкій.—Да коли ты, отецъ нашъ, умрешь безъ покаянія, такъ какой отвѣтъ дадимъ мы Господу Богу, когда на страшномъ судѣ онъ скажетъ намъ: «Окаянные! вашъ добрый господинъ кормилъ и поилъ васъ, берегъ какъ дѣтей родныхъ, а вы, рабы нечестивые, не лежали у его порога, не умоляли его покаяться!» — Братцы! — промолвилъ дворецкій, заливаясь слезами, — просите всѣ барина! — Вотъ поднялся, батюшка, такой вопль и плачъ, что и сказать нельзя! Баринъ долго крѣпился, все гналъ насъ вонъ, да видно подъ конецъ слезы-то наши одолѣли. — Ну, ну, глупые! — промолвилъ онъ,—позовите попа! — А батька и въ двери!—Ты, Дмитрій Афанасьичъ, и его также не засталъ: о спожинкахъ будетъ ровно годъ, какъ онъ померъ... Вотъ ужъ былъ подлинно Божій человѣкъ!... Такой смирный, любовный! И горя-то ему, сердечному, много было: похоронилъ подъ старость жену, да семерыхъ дѣтей, а все не унывалъ! Иногда ему сгрустнется — заплачетъ, да тутъ же и начнетъ каяться: «Ахъ, я грѣшникъ, грѣшникъ! да развѣ Господь не воленъ въ своемъ?... Онъ далъ, Онъ и взялъ — буди Его святая воля!» Утретъ глаза и какъ ни въ чемъ не бывало. — Вотъ какъ онъ вошелъ въ барскую опочивальню, — какъ теперь все помню, — помолился на святыя иконы и сказалъ:—Миръ дому сему!...—Здравствуй, Семенъ Яковлевичъ? — промолвилъ онъ, подойдя къ барину. — Ну, слава тебѣ Господи! видно попомнились передъ Богомъ твои добрыя дѣла, и милостыня твоя принесла свой плодъ. Ты желаешь, Семенъ Яковлевичъ, исполнить послѣдній долгъ христіанскій?—Не я,—проговорилъ бояринъ, — а вотъ они пристали.—А самъ-то ты, Семенъ Яковлевичъ?...—спросилъ священникъ. — Я бы тебя, Василій Алексѣичъ, не потревожилъ! — Вотъ что, молвилъ отецъ Василій. — Такъ прощай, бояринъ! Мнѣ у тебя дѣлать нечего.

Мы всѣ кинулись къ священнику: «Батюшка, не уходи!» «Эхъ, дѣтушки!» сказалъ отецъ Василій, «не знаете сами, чего просите. Да коли онъ хотѣлъ приступить къ такому

дѣлу ради того только, чтобъ отъ васъ отвязаться, такъ это будетъ ему не во спасеніе, а въ пущую гибель. Ужъ по мнѣ лучше ему умереть еретикомъ, чѣмъ лукавымъ Іудою». Іудою! — прошепталъ баринъ привставая. «Да, Семенъ Яковлевичъ» — сказалъ отецъ Василій. «Вѣруешь ли ты, что я служитель истинной, православной церкви и желаешь ли отъ всей твоей души примириться съ нею!... Отвѣчай, Семенъ Яковлевичъ!»

У насъ у всѣхъ сердца такъ и замерли. Глядимъ на барина, ждемъ, что онъ скажетъ... Ни словечка! Молчитъ, какъ убитый.

— Ну вотъ видишь ли, бояринъ, — заговорилъ опять отецъ Василій, — ты молчишь, такъ не правду ли я говорилъ? Лукавый Іуда, предавая Спасителя, называлъ Его своимъ наставникомъ и лобзалъ Его, а ты что хотѣлъ дѣлать? развѣ не то же самое?

— Да знаешь ли,—промолвилъ наконецъ баринъ, — что скоро уже тридцать лѣтъ...

— Какъ ты самъ отлучилъ себя отъ церкви, — перебилъ отецъ Василій.—Знаю, бояринъ!... Великій грѣхъ — подлинно великій!... А все не бѣда! Ты грѣшникъ — такъ что жъ? Мы всѣ грѣшники: да для кого же Христосъ и распинался, какъ не для насъ? Не онъ ли самъ сказалъ: «Приде бо сынъ человѣческій взыскати и спасти погибшаго!...» Вотъ онъ и пришелъ къ тебѣ. А ты, Семенъ Яковлевичъ, прими Его съ вѣрой и любовію—не такъ, какъ Іуда, но какъ мытарь. Не бойся грѣха твоего: Господь милосердъ. Вѣдь Онъ, нашъ батюшка, несетъ на себѣ грѣхи всего міра — такъ ужъ твои не много Ему тяготы прибавятъ.

Мы всѣ словечка не могли вымолвить отъ слезъ, а баринъ молчалъ, только въ щекахъ у него заигралъ румянецъ, и глаза изъ мутныхъ сдѣлались такими свѣтлыми.

— Да, Семенъ Яковлевичъ, — сказалъ опять отецъ Василій,—кто кается, того Господь не отвергаетъ. Не намъ грѣшнымъ чета великій апостолъ Петръ, а вѣдь и онъ трижды отрекся отъ Христа, да какъ покаялся, такъ остался попрежнему первымъ ученикомъ Господнимъ. Ты также отрекся отъ православной церкви, покайся и ты—возвратись къ ней, какъ блудный сынъ къ отцу, и она такъ же, какъ этотъ сердобольный отецъ, приметъ тебя съ радостію, со-

грѣетъ на груди своей, отретъ твои слезы и облечетъ въ лучшую свою одежду!...

Тутъ самъ отецъ Василій заплакалъ; глядимъ—и баринъ нашъ, молчалъ, молчалъ, да какъ вдругъ зарыдаетъ!... а слезы то — слезы! такъ рѣкой и потекли!... Отецъ Василій махнулъ намъ рукой; мы всѣ вышли, и что жъ, Дмитрій Афанасьичъ? покойный твой дядюшка исповѣдался, пріобщился, и съ того самаго часа пошло ему все лучше, да лучше, такъ что онъ недѣли черезъ двѣ почитай совсѣмъ оправился. Вотъ радость-то была, когда онъ, отецъ нашъ, въ первый разъ пріѣхалъ къ обѣднѣ... Ну, вѣришь ли Богу, Дмитрій Афанасьичъ, такое было для всѣхъ веселье, словно въ великій день Христовъ!... Народу набилось въ церковь видимо-невидимо: и дѣды и внучата, всѣ поднялись!... Иной старикъ ужъ года два не слѣзалъ съ полатей, а тутъ— откуда ноги взялись,—бредетъ въ церковь, чтобъ на барина взглянуть, да помолиться о его здоровьи. Вотъ какъ обѣдня отошла, отецъ Василій вышелъ на амвонъ и сказалъ: «Православные! возблагодаримъ теперь всѣмъ міромъ Господа за душевное и тѣлесное исцѣленіе благочестиваго раба Его, боярина нашего Симіона». Онъ началъ служить благодарственный молебенъ; мы всѣ пали на колѣни, а баринъ повалился передъ иконою Спасителя, да такъ во всю службу и не вставалъ. Спустя недѣлю послѣ этого, дядюшка твой отправилъ гонца съ грамотой къ братцу своему. Эту грамоту возилъ Алешка Косой. Какъ Андрей Яковлевичъ прочелъ ее, такъ распалился такимъ гнѣвомъ, что и Господи!.. Учалъ кричать, топать ногами!... «Скажи, дескать, твоему барину, что изо всѣхъ моихъ родныхъ я любилъ только его одного, а теперь онъ хуже для меня всякаго татарина... Вонъ отсюда, холопъ предателя! Нѣтъ тебѣ здѣсь ни хлѣба, ни воды, ни кровли! Я скорѣй приму въ свой домъ разбойника и накормлю бѣшенаго пса, чѣмъ слугу окаяннаго отступника!»—Вѣстимо дѣло, Алешка Косой поклонился, да и давай Богъ ноги!—Вотъ, Дмитрій Афанасьичъ, какъ поссорились твои дядюшки. Не знаю, что Андрей Яковлевичъ, а покойный твой дядюшка Семенъ Яковлевичъ, очень объ этомъ горевалъ, и не разъ еще посылалъ къ своему брату, только пріемъ то посланнымъ былъ всегда одинакій: на порогъ да въ шею!

— А что, Ферапонтъ, дядюшка Андрей Яковлевичъ женатъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, батюшка, объ этомъ и рѣчи никогда не было... Э! да что это?... Чу! слышишь, Дмитрій Афанасьичъ?

— Да, слышу: охотничьи рога.

— И кажись не далеко... Пойдемъ-ка, батюшка, посмотримъ, что это такое.

— Пойдемъ,—сказалъ Левшинъ вставая. — Да лѣсомъ то еще далеко?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, и полверсты не будетъ. Вонъ по той дорожкѣ мы какъ разъ выйдемъ вонъ изъ лѣсу.

Левшинъ и Ферапонтъ пошли по узенькой тропинкѣ и черезъ нѣсколько минутъ повстрѣчались съ боярскимъ челядинцемъ, который также пробирался въ поле.

— И ты, Сидорычъ, идешь туда же? — сказалъ Левшинъ.

— Какъ-же, Дмитрій Афанасьичъ, и я хочу взглянуть на царскую охоту.

— На царскую?

— Да, батюшка! Вѣдь это изволитъ охотиться государь Петръ Алексѣевичъ съ ближними своими боярами. Сейчасъ пріѣхалъ на село стремянный нашего господина, Антонъ Курышовъ; онъ сказывалъ, что сегодня поутру собралось въ Коломенскомъ до двадцати бояръ.

— И все съ охотами?—спросилъ Ферапонтъ.

— Вѣстимо съ охотами.

— То-то, чай, народу-то!

— Какъ-же! Однихъ стремянныхъ человѣкъ до тридцати, да только имъ приказано всѣмъ остаться, и за своими боярами на охоту не ѣздить.

— Какъ такъ?... Вѣдь ловчіе то и псари будутъ съ гончими порскать по лѣсу, да звѣря поставлять въ чистое поле, а при борзыхъ то собакахъ кто останется?

— Видно, одни господа. Антонъ говорилъ, что и нашему боярину пришлось взять четырехъ собакъ на свору: Злодѣя, Налета, Буяна и Касатку. Онѣ привыкли рыскать за стремянными, такъ за бариномъ нейдутъ. Лихія собаки—что и говорить! Да какъ-то онъ съ ними справится!... Коли онѣ завидятъ сердечнаго дружка, а онъ не успѣетъ ихъ со своры спустить...

— Да!... не усидитъ на конѣ... Я самъ былъ у покойнаго барина стремяннымъ; ѣздокъ не плохой и силишка есть, а такъ грохнулся однажды съ лошади, что небо съ

овчинку показалось! Нѣтъ, любезный, коли собаки у тебя на сворѣ, такъ не зѣвай!... Да что это боярамъ-то вздумалось?...

— А Богъ ихъ знаетъ!... За споромъ что ль дѣло стало, или такъ, ради потѣхи.

— Хороша потѣха!... И что за неволя, подумаешь!...

— Эхъ, братъ! да вѣдь у бояръ-то часто охота бываетъ пуще неволи.

— Ну вотъ припомни мое слово, Сидорычъ: безъ грѣха дѣло не обойдется.

Въ продолженіе этого разговора они дошли непримѣтнымъ образомъ до конца лѣса. Передъ ними открылись обширныя, холмистыя поля. Направо по суходолу разстилались заповѣдныя луга села Богородскаго; налѣво по лощинамъ тянулся длинный рядъ болотъ, поросшихъ мелкимъ кустарникомъ. Прямо передъ ними въ живописномъ безпорядкѣ разбросано было нѣсколько отдѣльныхъ рощъ, которыя на охотничьемъ языкѣ называются *отъемными островами*. Между этими рощами и лѣсомъ, на опушкѣ котораго стоялъ Левшинъ, было не болѣе полу-версты. Одѣтые въ разноцвѣтныя платья, псари, ловчіе и доѣзжачіе, которые, очевидно, принадлежали разнымъ господамъ, стояли поодаль отъ крайней рощи и дожидались только приказанія, чтобъ *бросить* гончихъ въ островъ. Бояре на красивыхъ персидскихъ коняхъ разъѣзжали по полю, держа на шелковыхъ сворахъ борзыхъ собакъ, которыя безпрестанно путались между собою, подбѣгали подъ лошадей и, повидимому, весьма тревожили непривычныхъ къ этому дѣлу господъ. Вотъ бояре начали занимать мѣста по перелѣскамъ, нѣкоторые изъ нихъ потянулись къ Богородскому лѣсу и стали шагахъ въ пятидесяти отъ его опушки.

— Кто этотъ господинъ? — спросилъ Феропонтъ у боярскаго челядинца;—вонъ что прямо противъ насъ на соврасомъ конѣ?

— Въ голубомъ аксамитномъ кафтанѣ?

— Да... кажись такой строгій, смотритъ все изъ-подлодья.

— Это, любезный, ближній комнатный стольникъ государя Петра Алексѣевича, князь Ѳеодоръ Юрьевичъ Ромодановскій.

— А вотъ этотъ бояринъ—такой дородный, что стоитъ у куста?

— Въ скарлатномъ зипунѣ и парчевой мурмолкѣ?... Это князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій; а вотъ подъѣхалъ къ нему князь Троекуровъ... Экъ онъ собакъ-то нацѣплялъ! никакъ съ полъ-дюжины будетъ!... Ахъ онѣ проклятыя, такъ и рвутся!... А вонъ отъ перелѣску ѣдетъ сюда на ворономъ конѣ бояринъ Иванъ Максимовичъ Языковъ...

— Да ты никакъ всѣхъ бояръ-то знаешь, Никита Сидорычъ!

— А какъ-же!... Вѣдь они почитай всѣ къ намъ жалуютъ... Э! смотри-ка—смотри!... Долгоруковскія-то собаки начали грызться съ Троекуровскими... Ну!.. пошла свалка!... Вотъ оно безъ стремянныхъ то!... Куда боярамъ ладить съ этими псами!... Гляди-ка, братъ, подъ княземъ Троекуровымъ конь-то никакъ испугался!.. Экъ онъ началъ прядать!... Ахти, батюшки! убьетъ онъ его.

— Нѣтъ,—сказалъ Феропонтъ, — ничего!... Вонъ и собакъ-то кой-какъ растащили...

— Да это что!—молвилъ боярскій челядинецъ.—Погоди, братъ, то ли еще будетъ!

— Посмотри ка сюда, Никита Сидорычъ; кто это тамъ изъ-за рощи выѣхалъ... вотъ этотъ, безъ собакъ?

— На сѣромъ конѣ?

— Да, въ красномъ кафтанѣ съ золотыми петлицами... Ого, братъ! да передъ нимъ всѣ бояре шапки снимаютъ!...

— Постой-ка — постой!... Ужъ не онъ ли это, нашъ батюшка?... Ну, такъ и есть — онъ! точно онъ!... Шапку долой, братецъ!...

— Да что жъ это за бояринъ такой? — спросилъ Феропонтъ, снимая шапку.

— Что-ты!... Какой бояринъ!... Развѣ не видишь? Это самъ государь Петръ Алексѣичъ!

— Право!... Вѣдь я сродясь его не видывалъ!... Кабы онъ, нашъ батюшка, поближе сюда подъѣхалъ!

— Нѣтъ, изволилъ поворотить направо... Вонъ взъѣхалъ на холмикъ... Знать оттуда будетъ смотрѣть на охоту.

— А эти-то, что позади его ѣдутъ, видно самые набольшіе бояре?

— Ну, вѣстимо!... Одинъ, чай, дядька его, Кирилла Полуектовичъ Нарышкинъ! а другой... нѣтъ любезный!... кажись и не бояринъ, и не ратный человѣкъ... Вишь какъ онъ позади плетется... Лошаденка невзрачная и самъ-то

онъ сидитъ на ней тавимъ увальнемъ... Долженъ быть учитель государя Петра Алексѣевича.

— А развѣ царскій-то учитель не бояринъ?

— Нѣтъ. Дьякъ челобитнаго приказа, Никита Алексѣевичъ Зотовъ... Ну, вотъ и псари зашевелились!... Видно приказано спускать гончихъ!...

Тутъ словоохотный челядинецъ и Феропонтъ перестали разговаривать; они обратили вниманіе на толпу псарей, которые спѣшились и начали суетиться около своихъ гончихъ собакъ.

VIII.

Пока охотники дѣлали всѣ нужныя распоряженія и *распаривали* гончихъ собакъ, сцѣпленныхъ попарно желѣзными *смычками*, прошло довольно времени. Вотъ двинулись, наконецъ, псари съ своими стаями; за ними потянулись ловчіе и доѣзжачіе, и въ нѣсколько минутъ вся эта пестрая толпа разсыпалась по рощѣ.

— Что, братъ, — сказалъ вполголоса Никита, — твой баринъ охотникъ или нѣтъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ отрывисто Ферапонтъ.

— То-то, я гляжу: мы ждемъ, не дождемся, когда потѣха начнется, а ему, кажись, и дѣла нѣтъ!... Прислонился къ дереву, задумался, глазъ кверху не подымаетъ!... Ну, я не въ него!... Не знаю, какъ ты, а у меня теперь такъ сердце и замираетъ; такъ и поджидаю; вотъ тявкнетъ первая!

— Что дѣлать, любезный! — сказалъ Феропонтъ, покачивая головою. — Диковинка, да и только!... Подумаешь, какъ не любить псовую охоту?... Да есть-ли на свѣтѣ потѣха лучше этой?... У покойнаго дядюшки Дмитрія Афанасьича знатная была охота—и гончія отличныя. За одного выжлеца сосѣдъ давалъ ему двѣ семьи крестьянъ—такъ онъ и слышать не хотѣлъ! Что жъ ты думаешь, любезный: вѣдь баринъ всѣхъ перевелъ!

— Неужли?

— Видитъ Богъ, такъ!

— Чѣмъ-же онъ забавлялся, когда жилъ въ своей вотчинѣ?

— Хозяйничалъ, судилъ и рядилъ крестьянъ, да также, какъ здѣсь, пострѣливалъ и гулялъ по лѣсу.

— Видно ужъ, братъ, такой у него обычай!... А вѣдь баринъ, кажись, добрый?

— Такой-то добрый, что мы всѣ за него хоть сейчасъ въ огонь и въ воду!... Да ты что это, Сидорычъ, все посматриваешь?...

— А вотъ смотрю: что жъ это они ни изъ короба, ни въ коробъ? Пора бы на слѣдъ напасть; кажись, народу не мало!... Чу!... никакъ тявкнула!... Такъ и есть!... Натекла!... Ну! подхватили!...

Вся роща оживилась; громкіе крики, свистъ и порсканье псарей начали сливаться съ лаемъ собакъ. Бояре стояли неподвижно на своихъ мѣстахъ, устремивъ внимательные взоры на рощу; борзыя собаки, приподнявъ уши, прислушивались къ гоньбѣ гончихъ. Эта гоньба, сначала слабая, безпрестанно усиливаясь, превратилась наконецъ въ какой-то безумный лай и визгъ.

— Ого! — вскричалъ челядинецъ, — напали на горячій слѣдъ!

— Какой слѣдъ!—прервалъ Феропонтъ. — Чу?... слышишь? гонятъ по зрячему.

— Да, любезный, да, точно по зрячему!

— Такъ что жъ они такъ разметались? — продолжалъ Феропонтъ.—И тутъ и тамъ. Ну, братъ! видно зайцевъ то у васъ въ рощѣ довольно!... Вотъ, вотъ!... Гляди, гляди!...

Въ одномъ перелѣскѣ мелькнулъ заяцъ, въ то же время съ полъ-дюжины другихъ, отдѣлясь отъ лѣсной опушки, понеслись по полю — и тутъ началась эта чудная охота, описанная довольно подробно въ Дѣяніяхъ Петра Великаго и въ одной русской лѣтописи *). Всѣ бояре разсыпались въ разныя стороны, поднялась бѣшеная скачка, крикъ, безпорядица. Кто не успѣлъ спустить своихъ собакъ, того онѣ стаскивали съ коня; кто успѣлъ, тотъ летѣлъ вслѣдъ за ними по кочкамъ и пенькамъ. Не привыкшія къ такой отчаянной ѣздѣ, лошади спотыкались, падали и давили подъ собой перепутанныхъ въ своры собакъ. Тутъ лежала лошадь, прижавъ къ землѣ своего всадника; тамъ мчался конь безъ сѣдока; здѣсь валялась въ грязи боярская шапка, а подлѣ купался въ лужѣ самъ бояринъ. Однимъ словомъ, въ нѣ-

*) Исторія послѣдованія царствъ отъ Рюрика до Петра Великаго.

сколько минутъ все пространство между рощами и Богородскимъ лѣсомъ превратилось въ настоящее поле сраженія, или, по крайней мѣрѣ, кавалерійской схватки.

— Вотъ тебѣ и охота!—вскричалъ челядинецъ. — Ну, бояре то сегодня понатѣшутся — будутъ помнить!... Батюшки свѣты! куда это скачетъ вонъ тотъ бояринъ?... Прямехонько въ трясину!... Правѣй, бояринъ!... Правѣй!... болото!... Ну!!! сѣлъ!... Вонъ и другой!...

— Совсѣмъ завязли! — прервалъ Феропонтъ. — Экъ лошади то бьются!... Да побѣжимъ, Никита Сидорычъ, вытащимъ ихъ какъ-нибудь!

— Вытащимъ!.... Поди-ка, братъ, сунься!... Я однажды забрелъ ночью въ это болотце, такъ по поясъ втюрился. Нѣтъ, братъ, тутъ безъ жердей ничего не сдѣлаешь.

— Да здѣсь валежнику то много; вонъ лежитъ цѣлая елка.

Въ продолженіе этого разговора, направо отъ нихъ показался пожилыхъ лѣтъ бояринъ, подъ которымъ испуганный конь летѣлъ, какъ стрѣла. Закусивъ удила, онъ мчался во всю прыть вдоль самой опушки лѣса. Вдругъ цѣлая стая собакъ, гонясь за зайцемъ, который пробирался въ Богородскій лѣсъ, кинулась подъ ноги бѣшеному коню; онъ запрыгалъ, началъ бить и передомъ, и задомъ, но бояринъ, повидимому, хорошій ѣздокъ, удержался въ сѣдлѣ, и конь, какъ будто бъ чувствуя, что не можетъ сбить своего сѣдока, взвился на дыбы, скакнулъ впередъ и со всѣхъ четырехъ ногъ грянулся о земь.

— Господи!... что это?—вскричалъ челядинецъ.—Да это никакъ нашъ бояринъ!... Ну, такъ и есть!

Феропонтъ съ Никитою, вслѣдъ за нимъ и Левшинъ, бросились на помощь къ боярину Буйносову. Они подняли его на ноги.

— Батюшка ты нашъ!—сказалъ челядинецъ,—да ты, я чай, совсѣмъ расшибся!

— Ничего,—отвѣчалъ Буйносовъ.—Кажись, я не очень ушибся... вотъ только на правую то ногу ступить не могу.

— Ужъ не переломилъ ли ты ее, Кирилла Андреевичъ?—спросилъ съ безпокойствомъ Левшинъ.

— Не знаю, только больно кажется зашибъ. Помогите-ка мнѣ сѣсть на коня, да поскорѣй въ Богородское.

Буйносова посадили на лошадь; Феропонтъ взялъ ее подъ уздцы и пошелъ шагомъ, а Левшинъ пошелъ подлѣ стре-

мени, чтобъ въ случаѣ нужды поддержать ушибленнаго боярина. Межъ тѣмъ челядинецъ побѣжалъ на пчельникъ за Савельичемъ, который не только былъ хорошимъ пчеловодомъ, но слылъ также во всемъ околодкѣ лучшимъ костоправомъ и *досужимъ* человѣкомъ; у него всѣ лѣчились и многіе выздоравливали, вѣроятно, потому, что его медицинскіе способы ограничивались, по большей части, *наговорами* и слѣдовательно не мѣшали дѣйствовать натурѣ, этому медику, которому хорошіе доктора иногда помогаютъ, а дурные почти всегда задаютъ двойную работу. Черезъ полъчаса бояринъ Буйносовъ доѣхалъ до своей подмосковной. Когда его раздѣли и уложили въ постель, явился Савельичъ, мужикъ пожилой, но еще здоровый, съ угрюмымъ лицомъ и окладистой бородою, которая начинала уже сѣдѣть. Прочитавъ длинную молитву, онъ подошелъ къ боярину, перекрестилъ три раза его ногу, приговаривая: «помоги Господи!» — и началъ ее ощупывать. Эта операція продолжалась нѣсколько минутъ. Наконецъ Савельичъ вымолвилъ: «Слава Тебѣ Господи! ножка твоя, батюшка Кирилла Андреевичъ, цѣлехонька, суставчики по своимъ мѣстамъ, только кость то крѣпко зашиблена. Прикажи ее припаривать трухою, такъ, Богъ милостивъ, все пройдетъ».

— А что, Савельичъ,—спросилъ бояринъ,—дня черезъ три можно мнѣ ѣхать въ дорогу?

— Нѣтъ, кормилецъ. Велика будетъ милость Божья, коли ты и черезъ недѣлю встанешь съ постели.

— Черезъ недѣлю?... Какъ же это Савельичъ! а вѣдь мнѣ крайняя нужда...

— Что жъ дѣлать, батюшка, потерпи!

— Я сбирался ѣхать въ знакомую тебѣ сторону, такъ хотѣлъ и тебя взять съ собою.

— Власть твоя, батюшка!

— И ты думаешь, что прежде трехъ недѣль...

— Можетъ статься, немного и попрежде, только наврядъ.

— Ну, дѣлать нечего!... Ступай, Савельичъ, да только никуда не отлучайся, неравно ты мнѣ понадобишься.

— Слушаю, батюшка.

Савельичъ поклонился въ поясъ своему боярину и вышелъ вонъ изъ покоя.

— Садись-ка Дмитрій Афанасьичъ!...—сказалъ Буйносовъ,—вотъ здѣсь—подлѣ моей кровати. Ну что, всѣмъ ли доволенъ?

— Всѣмъ, Кирилла Андреевичъ. По милости твоей, я живу здѣсь, какъ въ родномъ своемъ дому.

— Вотъ подумаешь,—продолжалъ Буйносовъ, — загадывать то никогда не должно. Завтра я хотѣлъ отправиться въ дорогу—и вмѣсто этого... А все князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій!... Кабы не онъ, такъ не лежать бы мнѣ сегодня въ растяжку.

— Что жъ онъ такое сдѣлалъ?

— А вотъ что: онъ давно уже приставалъ къ царю Петру Алексѣевичу: «Пожалуй дескать, государь, позабавься когда ни есть любимою потѣхою твоего покойнаго родителя, царя и великаго государя Алексѣя Михаиловича — дозволь намъ, вѣрнымъ слугамъ твоимъ, хоть разъ потѣшиться вмѣстѣ съ тобою псовой охотою». Глядя на него и я и другіе бояре начали о томъ же государю челомъ бить. Онъ все изволилъ отнѣкиваться: времени дескать, нѣтъ, учиться надобно—и то и другое.—Такъ нѣтъ! Князь Ромодановскій не унялся и насъ все подбивалъ о томъ же. Третьяго дня учитель царскій, Никита Алексѣевичъ Зотовъ, сказалъ мнѣ, будто бы государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ говорить, что и боярамъ то не слѣдъ ѣздить съ собаками; это дескать, и забава то псарская, а не боярская; бояре, дескать, должны не за зайцами рыскать, а съ врагами воевать или засѣдать въ царской думѣ.—Послушайтесь меня,—примолвилъ Зотовъ,—отстаньте отъ государя Петра Алексѣевича, а не то ужъ онъ сыграетъ съ вами шуточку. Ну, вотъ и вышло такъ! Вчера князь Ромодановскій началъ опять подзывать государя на охоту; къ нему присталъ князь Иванъ Андреевичъ Хованскій,—а вѣдь онъ краснобай!—началъ расписывать такъ псовую охоту, что и Господи!... Это почитай, дескать, то же ратное дѣло; тутъ, дескать, потребны и проворство, и смѣтка, и воинская хитрость, и то и се.—Подлинно, не даромъ прозвали этого Хованскаго тароруемъ—закидалъ всѣхъ словами. Государь Петръ Алексѣевичъ слушалъ, ухмылялся, да и сказалъ: «Ну, инъ быть по вашему, бояре. Просимъ завтра ко мнѣ въ Коломенское; оттуда поѣдемъ охотиться въ дачахъ Кириллы Андреевича Буйносова. Мы слышали, что въ его заповѣдныхъ рощахъ много всякаго звѣря». Вотъ сегодня поутру и собрались мы съ нашими охотами въ Коломенское. Какъ государь Петръ Алексѣевичъ вышелъ садиться на коня, то изволилъ сказать, указывая на стремянныхъ: «На что этотъ народъ? Дѣло

другое псари: они при гончихъ, а съ борзыми то собаками мы сами станемъ охотиться». Я было промолвилъ, что намъ безъ стремянныхъ остаться нельзя; но Государь изволилъ заговорить свое: «Мнѣ дискать не пригоже тѣшиться охотою съ вашими холопами; я, дискать, бояре, хочу охотиться съ одними вами».—Что будешь дѣлать? воля его царская; пришлось брать на своры собакъ. Ты, чай, видѣлъ, Дмитрій Афанасьичъ, какъ мы охотились? Кто съ лошади слѣтѣлъ, кто въ болото попалъ. А батюшка Петръ Алексѣевичъ сталъ въ сторонкѣ, глядитъ, какъ мы рыскаемъ словно шальные по полю, да посмѣивается. Ну, нечего сказать, уменъ, дай Богъ ему здоровья!... Охъ нога!... Вотъ ужъ подлинно разумъ не по лѣтамъ! Коли онъ и теперь нашу братью стариковъ учитъ уму, такъ что жъ будетъ впередъ.... Ой, батюшки!... вотъ и бока то стали побаливать!

— Не послать ли, Кирилла Андреевичъ, за Савельичемъ?

— Нѣтъ, а потрудись сказать, чтобъ пришли скорѣе припарить мнѣ ногу, да не мѣшало бы и баню истопить. Теперь я отдохну немного, а ты ступай, Дмитрій Афанасьичъ, покушай; и коли мой дворецкій пріѣхалъ изъ Москвы, такъ пошли его ко мнѣ.

Левшинъ, передавъ людямъ приказаніе боярина, пообѣдалъ на скорую руку и отправился, по своему обыкновенію, бродить по лѣсу. Дикое мѣстоположеніе пчельника, близъ котораго Левшинъ былъ поутру, очень ему приглянулось, и онъ захотѣлъ побывать еще разъ въ этомъ лѣсистомъ оврагѣ, въ глубинѣ котораго было свѣжо и прохладно даже въ самый знойный день. Подходя къ пчельнику, онъ повстрѣчался опять съ Феропонтомъ.

— Э, голубчикъ!—сказалъ Левшинъ,—да ты видно до меду то большой охотникъ?

— Да, батюшка,—отвѣчалъ Феропонтъ; — я былъ на пчельникѣ, только не затѣмъ, чтобъ медку поѣсть. Мнѣ надобно было кой-о-чемъ потолковать съ Савельичемъ.

— Да развѣ ты боленъ?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ. Я все разспрашивалъ Савельича о Брынскихъ лѣсахъ. Вѣдь онъ и тамъ бывалъ. Я этой стороны вовсе не знаю, такъ не мѣшаетъ поразспросить о ней бывалыхъ людей... Ну, Дмитрій Афанасьичъ, какъ онъ мнѣ поразсказалъ, такъ ѣзда то по этимъ Брынскимъ лѣсамъ со всячинкою!... Не худо намъ запастись всякимъ оружіемъ.

— Намъ?... Да развѣ бояринъ посылаетъ меня въ Брынскіе лѣса?

— Такъ ты ничего не слышалъ?

— Ничего.

— Ну, видно, бояринъ не успѣлъ еще тебѣ сказать. Какъ ты отъ него вышелъ, такъ онъ позвалъ къ себѣ дворецкаго, велѣлъ ему снарядить меня въ дорогу и дать добраго коня съ своей конюшни. Я выбралъ себѣ, батюшка, лошадку не такъ чтобъ очень взрачную собою—а ужъ лошадь!... убить, да уѣхать! Бояринъ купилъ ее на Дону; первая лошадь во всемъ косякѣ была.

— Да почему ты знаешь?...

— Что тебя, Дмитрій Афанасьичъ, посылаютъ въ Брынскій лѣсъ?... Мнѣ дворецкій объ этомъ сказывалъ.

— Вѣдь это, кажется, далеко отсюда?

— Не такъ чтобы очень. Савельичъ говоритъ, что по зимнему пути и порожнякомъ можно на четвертыя сутки доѣхать.

— Такъ это путь недальній.

— И дорога то, говорятъ, бредетъ, да только до Мещовска, и тамъ лѣсами больно плоха; а съ тѣхъ поръ, какъ въ нихъ развелись раскольничьи скиты, такъ проселочнымъ дорогамъ и перекресткамъ счету нѣтъ, какъ разъ заплутаешься. Да и сброду всякаго много: коли вора сослѣдили и ему придержаться негдѣ, такъ онъ юркнетъ въ Брынскій лѣсъ и поминай какъ звали!... Разбойникъ ли уйдетъ изъ острога — куда? въ Брынскій лѣсъ; разстрига какой-нибудь, бѣглый холопъ — всѣ туда!... Не то, чтобъ всякій раскольничій скитъ былъ воровской пристанью, — нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ! Савельичъ говоритъ, что въ иныхъ скитахъ живутъ очень смирно и зазнамо разбойника держать не станутъ; да вѣдь у него на лбу не написано, что онъ разбойникъ; а мошеннику что вѣру перемѣнить?... Прилетъ въ любой скитъ, да скажетъ: «хочу, дескать, спасаться и постоять за истинную вѣру»,—такъ его какъ разъ примутъ.

— Коли это правда, такъ Брынскій то лѣсъ настоящее разбойничье гнѣздо?

— Да, батюшка, въ старину, говорятъ, и проѣзду не было. Теперь начали тамъ селиться и завелись большія помѣстья, такъ стало потише; а съ той поры, какъ переѣхалъ туда на житье въ свою вотчину какой-то бояринъ

Куродавлевъ, — по дорогамъ-то шалить почитай вовсе перестали. Знаешь ли что, батюшка, ужъ не къ этому ли Куродавлеву посылаетъ насъ бояринъ?... Вѣдь они старинные пріятели.

— Можетъ быть и къ нему.

— Э!... постой-ка, батюшка!... Да это никакъ тебя кличутъ?... Ну, такъ и есть!... Здѣсь!... здѣсь!... Видно боярину тебя спрашиваетъ... Сюда, Сидорычъ, сюда!... Дмитрій Афанасьичъ здѣсь.

— Что это, батюшка, въ какую ты зашелъ трущобу?— сказалъ Сидорычъ, продираясь сквозь густые кусты. — Насилу я тебя нашелъ! Пожалуй къ боярину; онъ давно ужъ изволитъ тебя спрашивать.

Левшинъ поспѣшилъ исполнить приказаніе Буйносова. Онъ нашелъ его за столомъ, на которомъ было все нужное для письма. Бояринъ перечитывалъ про себя довольно большой столбецъ, исписанный его рукою. Окончивъ чтеніе, онъ свернулъ въ круглый свитокъ эту длинную полосу бумаги, обвязалъ ее снуркомъ и сталъ прикладывать къ концамъ этого снурка восковую печать съ изображеніемъ преподобнаго Кириллы чудотворца Новозерскаго.

— Присядь, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Буйносовъ, продолжая заниматься своимъ дѣломъ.—Мнѣ надо съ тобою поговорить.

— А что твоя нога, Кирилла Андреевичъ! — спросилъ Левшинъ.

— Да поваливаетъ, а ужъ стать на нее вовсе не могу. Это бы ничего — я еще по милости Божіей, дешево отдѣлался, и кабы мнѣ не нужно было ѣхать въ дорогу, такъ и охъ бы не молвилъ... А нужда крайняя!... Ну, да видно Богу не угодно, дѣлать нечего! Ты помнишь, я думаю, что я сбирался ѣхать въ мою Брынскую вотчину и хотѣлъ тебя взять съ собою?... Здѣсь тебѣ оставаться нельзя, Дмитрій Афанасьичъ; хоть моя подмосковная и въ сторонѣ, а все какъ-то не надежно — близко больно; того и гляди, что забредутъ сюда прежніе твои сослуживцы, или кто-нибудь изъ моихъ домашнихъ проболтается — долго ли до грѣха!... А тамъ хоть цѣлый вѣкъ живи, никто о тебѣ не провѣдаетъ. Тебѣ надобно будетъ ѣхать за Мещовскъ, Брынскими лѣсами. Въ этихъ лѣсахъ живетъ, въ своей вотчинѣ, въ полуверстѣ отъ проѣзжей дороги, старинный мой пріятель, Юрій Максимовичъ Куродавлевъ. Ты отве-

зешь ему эту грамотку,—продолжалъ бояринъ, подавая запечатанный свитокъ Левшину, — и погостишь у него до моего пріѣзда. Юрій Максимовичъ человѣкъ очень добрый; есть у него свои причуды, — да у кого ихъ нѣтъ! Въ старину онъ былъ чудо-богатырь, удалой воинъ, лихой наѣздникъ и за круговой братиною такой весельчакъ, что хоть кого распотѣшитъ; теперь онъ поуходился, а все еще удали то въ немъ на трехъ молодцовъ станетъ. А какой радушный хозяинъ, какой хлѣбосолъ!... Только ужъ не прогнѣвайся: что ему въ голову засѣло, того, какъ говорится, клиномъ не выколотишь. Да вотъ хоть теперешнее его житье; ну что за радость? забился въ этакую глушь! И добро бы еще былъ человѣкъ семейный, а то вдовецъ, дѣтей нѣтъ; я чаю, вовсе одичалъ!... Бывало, водилъ хлѣбъ-соль съ своею братьею боярами, жилъ всегда съ людьми, а теперь живетъ съ разбойниками, медвѣдями, волками да и тѣхъ то скоро не будетъ: онъ ихъ всѣхъ переведетъ. А все вѣдь по упрямству: задумалъ считаться мѣстами, когда покойный государь Ѳеодоръ Алексѣевичъ указалъ быть безъ мѣстъ. Я пытался было вызвать его опять въ Москву, да нѣтъ, и слышать не хочетъ. «Я, дескать, обиженъ крѣпко — стою въ томъ, и самъ ни за что не попячусь: безъ царскаго указу не вернусь въ Москву!» Что будешь съ нимъ дѣлать... Я недавно получилъ отъ него вѣсточку: — пишетъ онъ мнѣ, что до него дошли слухи о послѣднемъ стрѣлецкомъ мятежѣ. «Да я, дескать, и вѣры этому не даю—не можетъ статься, чтобъ русскіе люди дерзнули возстать противъ своего Царя, и помазанника Божія. Да этакого, дескать, срама никогда не бывало на святой Руси». — Вотъ ты будешь для него живой грамоткой, Дмитрій Афанасьичъ, и когда онъ узнаетъ, ради чего ты бѣжалъ изъ Москвы, такъ онъ съ тобою и разстаться не захочетъ. Юрій Максимовичъ пишетъ также ко мнѣ... Да что!... и вѣрить этому и говорить объ этомъ не хочу!... А то еще, пожалуй, дашь себѣ волю—обнадѣешься!... Зачѣмъ?... Я ужъ привыкъ къ моей грусти и давно пересталъ надѣяться... — Бояринъ опустилъ голову, закрылъ руками глаза и, помолчавъ нѣсколько времени, заговорилъ опять, обращаясь къ Левшину: — Тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ, должно отправиться сегодня въ ночь, такъ, чтобъ къ свѣту верстъ тридцать отъѣхать. Днемъ около Москвы вездѣ стрѣльцы шатаются, какъ разъ кому-нибудь попадешься. Коли дастъ Господь, и я смогу дней

черезъ пять пуститься въ дорогу, такъ мѣшкать не стану. Да скажи-ка мнѣ, Дмитрій Афанасьичъ, не нужны ли тебѣ деньги?...

— Нѣтъ, Кирилла Андреевичъ, благодарствуй за твое отеческое попеченіе!... Денегъ у меня довольно: онѣ вѣдь не всѣ со мною были, когда я попался въ руки къ моимъ злодѣямъ; а коли милость твоя будетъ, такъ прикажи мнѣ дать какое-нибудь оружіе: меня привели къ тебѣ съ пустыми руками.

— А вотъ, — сказалъ бояринъ, — сними-ка со стѣнки эту саблю... Нѣтъ! не эту... Эту пожаловалъ мнѣ царь Алексѣй Михайловичъ; ее дѣлали на заказъ въ оружейной мастерской палатѣ... А вотъ подлѣ то... Сабля казылбашская, въ серебряной оправѣ... Ну, да! вотъ эта!... Изволь владѣть ею. Сабля добрая, булатная, и вѣрно тебѣ по рукѣ придется... Да возьми ка еще съ собою вотъ эти турскіе пистоли...

— Зачѣмъ, бояринъ?... и такъ много твоихъ милостей,— сказалъ Левшинъ, любуясь великолѣпной полосою своей сабли.— Будетъ съ меня и этого товарища.

— Такъ скажи дворецкому, чтобъ онъ отпустилъ слугѣ твоему пищаль или пару пистолей. По дремучимъ лѣсамъ спустя рукава ѣздить не надо; почему знать?... не разбойникъ, такъ медвѣдь попадется. Теперь, Дмитрій Афанасьичъ, потрудись вынуть изъ кіота—вонъ эту икону Иверской Божіей Матери, въ серебряномъ золоченомъ окладѣ.

Левшинъ исполнилъ приказаніе Буйносова.

— Подай мнѣ ее сюда,—продолжалъ бояринъ.—Я хочу благословить тебя на дорогу. Да сохранитъ тебя отъ всякаго зла Пречистая Дѣва подъ святымъ покровомъ Своимъ. Она заступница и мать всѣхъ сиротъ, а ты вѣдь также, какъ я, круглый сирота.

Когда Левшинъ приложился къ иконѣ, бояринъ поцѣловался съ нимъ и сказалъ:

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ, я снабдилъ тебя оружьемъ земнымъ и духовнымъ, теперь съ Богомъ!... Да смотри же, лишь только смеркнется, такъ и отправляйся; чѣмъ дальше ты за ночь отъѣдешь отъ Москвы, тѣмъ лучше.

Простясь съ Буйносовымъ, Левшинъ пошелъ въ свою свѣтлицу. Онъ засталъ въ ней Феропонта, который, уложивъ въ небольшой кожаный чемоданъ свои и барскія пожитки, набивалъ суконную кису съѣстными припасами.

— Что это?—сказалъ Левшинъ;—жареный гусь!... крупичатый пирогъ!... цѣлый окорокъ ветчины!... Да мы всего этого и въ десять дней не съѣдимъ.

— Такъ что жъ, батюшка?... Люди умные говорятъ: ѣдешь въ дорогу на день, бери хлѣба на недѣлю!

— А это хлѣбъ что ль?—спросилъ Левшинъ, указывая на огромную жестяную сулею, штофа въ два.

— Подпасъ лучше хлѣбца, Дмитрій Афанасьичъ! Съ людьми дорожными всяко бываетъ: иной разъ придется ночевать въ чистомъ полѣ, подъ дождемъ — промокнешь, продрогнешь, такъ было бы чѣмъ душу отвести.

— То то, смотри! не больно часто въ эту сулею то заглядывай!

— И, что ты, батюшка! Да развѣ я пьяница какой?... Выпилъ стаканъ, другой—много три, да и шабашъ!

Левшинъ пошелъ проститься съ священникомъ, а Ферапонтъ отправился въ людскую поужинать; хлебнулъ на дорогу винца и принялся сѣдлать лошадей.

Вотъ солнышко сѣло и по ночнымъ небесамъ разсыпались звѣзды. Левшинъ простился въ послѣдній разъ съ этимъ тихимъ убѣжищемъ, въ которомъ провелъ нѣсколько дней, если не вовсе чуждыхъ грусти, то, по крайней мѣрѣ, спокойныхъ. Наши путешественники, выѣхавъ за околицу села Богородскаго, добрались проселкомъ до большой Калужской дороги и пустились по ней рысью. Утренняя заря только еще стала заниматься, когда они, *пробѣжавъ*, съ небольшими отдыхами, слишкомъ тридцать верстъ сряду, своротили въ сторону и остановились покормить лошадей въ небольшой деревнѣ, которая, притаясь за лѣскомъ, стояла въ полуверстѣ отъ проѣзжей дороги.

IX.

Въ концѣ семнадцатаго столѣтія въ числѣ непроходимыхъ лѣсовъ, покрывавшихъ нѣкогда большую часть Россіи, одно изъ первыхъ мѣстъ занимали, находящіеся въ нынѣшней Калужской губерніи, дремучіе лѣса, посреди которыхъ протекаетъ небольшая рѣчка *Брынь*. И теперь еще лѣса *Брынскіе*, о которыхъ нерѣдко упоминаютъ въ народныхъ сказкахъ и повѣрьяхъ, представляются воображенію простолюдиновъ какими-то безвѣстными дебрями, мрачнымъ

и пустынным̀ъ жилищемъ косматыхъ медвѣдей, голодныхъ волковъ, лѣшихъ, оборотней и разбойниковъ; въ этомъ отношеніи они берутъ даже первенство надъ знаменитымъ Муромскимъ лѣсомъ, и если крестьянинъ степныхъ губерній желаетъ сказать про какого-нибудь бѣглаго, что онъ пропалъ безъ-вѣсти, то нерѣдко выражается слѣдующимъ образомъ: «Кто его отыщетъ, кормилецъ!... чай, ушелъ въ Брынскіе лѣса». Въ 1682 году, среди этихъ непроходимыхъ лѣсовъ, на старой Мещовской дорогѣ, стоялъ, близъ рѣчки Брыни, верстахъ въ шестидесяти отъ ея впаденія въ рѣку Жиздру, постоялый дворъ. Окруженный со всѣхъ сторонъ дремучимъ лѣсомъ, онъ былъ единственнымъ пріютомъ для проѣзжихъ. Верстъ на десять кругомъ не было, какъ говорится, ни кола, ни двора, и зимою голодные волки приходили выть подъ самыми окнами *Краснаго стана:* такъ назывался этотъ постоялый дворъ.

Въ одинъ жаркій лѣтній день человѣкъ до двадцати дорожныхъ людей, изъ которыхъ одни ѣхали въ Мещовскъ, а другіе въ Брянскъ, остановились кормить въ Красномъ станѣ. Въ избѣ было душно, и почти всѣ проѣзжіе по большей части простые обозники, пообѣдавъ чѣмъ Богъ послалъ, то есть похлебавъ щей и поѣвъ крутой гречневой каши съ масломъ, отдыхали на завалинѣ передъ избою. Шагахъ въ пятидесяти отъ нихъ, вдоль длинной поляны, обхваченной со всѣхъ сторонъ сплошнымъ боромъ, струилась рѣчка Брынь; по лѣвому ея берегу тянулась песчаная дорога, которая, въ полуверстѣ отъ постоялаго двора, какъ будто-бы соскучивъ слѣдовать за всѣми изгибами рѣчки, круто поворачивала въ сторону и терялась въ лѣсной глуши. У самыхъ воротъ постоялаго двора, поодаль отъ другихъ, сидѣлъ на скамьѣ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, въ короткомъ суконномъ балахонѣ съ узкими рукавами. Это платье, не подпоясанное ни кушакомъ, ни поясомъ, было застегнуто въ двухъ мѣстахъ на мѣдныя круглыя пуговицы. На лѣвой рукѣ его висѣли кожаныя чотки, которыя оканчивались, вмѣсто креста, двумя треугольниками, также кожаными. Этотъ проѣзжій держалъ у себя на колѣняхъ деревянную, крытую олифой, чашку, изъ которой ѣлъ гречневую кашу оловянной ложкою, а подлѣ него на скамьѣ стояла сулея, оплетенная берестою. Онъ остановился кормить въ одно время съ другими проѣзжими, но не захотѣлъ обѣдать за общимъ столомъ и ѣсть изъ посуды, принадлежащей хо-

зяину постоялаго двора. Наружность этого проѣзжаго была довольно замѣчательна. Длинная съ просѣдью борода, приглаженная и расчесанная съ большимъ стараніемъ, но къ которой, сколько можно было замѣтить, никогда не прикасались ножницы; курчавая голова, крутой, широкій лобъ, вздернутый кверху носъ и сѣрые угрюмые глаза, по временамъ задумчивые, а иногда сверкающіе и исполненные жизни—все это вмѣстѣ составляло физіономію не очень красивую, но весьма выразительную и носящую на себѣ отпечатокъ какого-то самобытнаго и твердаго характера. Съ краю на завалинѣ сидѣлъ другой проѣзжій, котораго можно было принять, по одеждѣ, за простого горожанина или слугу богатаго боярина. Подлѣ него отдыхалъ, также на завалинѣ, худощавый купецъ съ длинной бородою и подбритымъ затылкомъ, который прикрывался высокимъ *козыремъ*, то есть стоячимъ воротникомъ суконнаго *охабня* съ закинутыми назадъ рукавами. Этотъ купецъ разговаривалъ съ своимъ сосѣдомъ протяжно, свысока и какимъ-то вычурнымъ языкомъ, который, повидимому, казался его собесѣднику верхомъ краснорѣчія и премудрости человѣческой.

— Ну, господинъ прикащикъ,—говорилъ этотъ сладкоглаголивый купецъ, обращаясь къ своему сосѣду,—если бы я вѣдалъ, что по симъ Брынскимъ лѣсамъ лѣтняя дорога столь тяжка и многотрудна, то ни за какія блага въ мірѣ не поѣхалъ бы самъ изъ Москвы въ этотъ Брянскъ, который,—прости Господи!—словно кладъ намъ не дается.

— А ваша милость обыватель московскій? — спросилъ почтительно приказчикъ.

— Да любезный!—отвѣчалъ купецъ, поглаживая съ довольнымъ видомъ свою длинную бороду. — Мы, благодаря вопервыхъ Господа, а во вторыхъ родителей нашихъ, числимся въ Московской гостиной сотнѣ.

— Такъ-съ, батюшка, — такъ-съ!... А что, я думаю, куда красна наша матушка Москва бѣлокаменная?... Хоть бы издалека однимъ глазкомъ на нее взглянуть!

— А развѣ ты никогда не бывалъ въ нашемъ престольномъ градѣ?

— Нѣтъ, батюшка!... Бояринъ посылаетъ меня по своимъ отчинамъ, а въ его московскій домъ ѣздитъ другой прикащикъ.

— Вотъ что!... Да, братецъ, да! благолѣпна наша матушка Москва златоглавая, различнымъ зодчествомъ укра-

шена; а сколько храмовъ Божьихъ!... какіе терема царскіе!...

— Чай, все, батюшка, такъ золотомъ и горитъ?

— Да, любезный, да!... Истинно очеослѣпительное велелѣпіе! И златомъ чистымъ, и каменьемъ честнымъ, и жемчугомъ многоцѣннымъ, и мусіемъ дивнымъ—всѣмъ украшены чертоги царскіе.

— Такъ, батюшка, такъ!... То-то, подумаешь, наше деревенское дѣло—что мы? Люди темные, ничего не видали, ничего не слыхали!... Что и говорить: въ лѣсу росли, пенькамъ Богу молились. А, чай, въ Москвѣ то и другихъ всякихъ диковинокъ много?... Вотъ мнѣ недавно разсказывали про какую-то заморскую вещь. Она стоитъ на царскомъ дворѣ за Благовѣщенскимъ соборомъ—сама въ колоколъ бьетъ.

— А, знаю, знаю!—подхватилъ купецъ.—Эта вещь, любезный, называется часомѣрье, на всякій часъ ударяетъ молотомъ, размѣряя часы дневные и ночные. Не бо человѣкъ ударяше, но человѣковидно, самозвонно, страннолѣпно и сотворено человѣческою хитростію...

— А вся хитрость человѣческая суета бо есть,—прервалъ громко проѣзжій въ балахонѣ,—и всѣ дѣла ея богомерзки и богопротивны.

Купецъ обернулся и поглядѣлъ съ удивленіемъ на проѣзжаго, который принялся снова ѣсть свою гречневую кашу.

— А что, батюшка,—сказалъ приказчикъ, не обращая вниманія на слова проѣзжаго,—давно ли ты изъ Москвы?

— Да близко недѣли, любезный.

— Ну что, хозяинъ, какъ здравствуютъ государи и великіе цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи? И все ли благополучно въ нашемъ престольномъ градѣ?

— Теперь, благодареніе Господу, нечестивые крамольники перестали злодѣйствовать, смятенія народныя прекратились—и заступленіемъ Владимірской Божіей Матери и московскихъ угодниковъ, устыжены и попраны всѣ враги православія. А съ мѣсяцъ тому назадъ куда тяжко было!... Смуты да мятежи!... Бывало каждый день гудитъ всполошный колоколъ и буйные стрѣльцы, яко звѣри хищные, рыскаютъ по стогнамъ градскимъ!... Сколько знаменитыхъ бояръ они перегубили!... Да еще мало того: соорудили на Красной плащади столбъ съ таковою надписью, якобы они, проклятые крестоизмѣнники, постояли за правду и казнили

не честныхъ бояръ, а предателей и злодѣевъ. Вотъ стрѣльцы поугомонились, такъ залаяли эти псы нечестные—стригольники, авакумовцы и разные другіе еретики; а пуще то всѣхъ этотъ продерзостный авакумецъ, разстрига, Никита Пустосвятъ,—сей волкъ несытый, до-стойно стяжавшій...

— Вѣнецъ мученическій! — прервалъ проѣзжій въ балахонѣ.

Купецъ нахмурилъ брови и сказалъ въ полъ-голоса:— Ну, такъ и есть—раскольникъ!... Экъ они, окаянные, плодятся! словно саранча какая!... Вотъ ужъ третьяго сегодня вижу.

— Да развѣ ты не знаешь, хозяинъ,—прервалъ также въ полъ голоса приказчикъ,—вѣдь здѣсь въ Брынскихъ то лѣсахъ настоящій ихъ притонъ и есть?

— Притонъ!... Имъ теперь вездѣ притонъ!... Кабы ты зналъ да вѣдалъ, у кого они подъ крылышкомъ!... Ну, дастъ отвѣтъ передъ Господомъ царевна Софья Алексѣевна... Богъ съ ней!...

— Какъ такъ?... Да неужели благочестивая наша царевна Софья Алексѣевна...

— Да, любезный,—продолжалъ купецъ, понизивъ еще голосъ,—она то имъ, окаяннымъ, и мирволитъ... Что грѣхъ таить: и смуты, и мятежи, и всякія безчинства стрѣлецкія—все было по ея наущенію; такъ диво ли, что она раскольниковъ приголубливаетъ?... Вѣдь стрѣльцы-то почитай, всѣ еретики: кто стригольникъ, кто авакумецъ, кто субботникъ —такой сбродъ, что не приведи Господи!... Прилучилось мнѣ однажды, по моимъ торговымъ дѣламъ зайти къ нимъ на Лыковъ дворъ,—вотъ что въ Кремлѣ у Троицкихъ воротъ,—такъ я не зналъ, куда дѣваться отъ ихъ богохульныхъ рѣчей. И въ старину бывали еретики: еще при дѣдушкѣ царя Іоанна Васильевича Грознаго, ближній дьякъ Курицынъ, по прозванью Волкъ, казненъ за жидовскую ересь, да тогда они отметались отъ церкви тайно и во услышаніе всѣмъ не дерзали богохульствовать, — а нынѣ... Истинно любезный, неусыпающая скорбь душѣ моей, какъ помыслю, до чего мы дожили!... Окаянные раскольники съ буйными воплями вызываютъ на состязаніе святителей православной церкви; крамольные стрѣльцы врываются въ царскіе чертоги, губятъ неповинныхъ бояръ—и что жъ любезный?... Имъ же даютъ похвальныя грамоты и, ради почета, жалуютъ изъ стрѣльцовъ въ надворную пѣтоху!... А все

вѣдь Софья Алексѣевна!... Эхъ, кабы не она, такъ благодать бы Божья!... У насъ былъ бы одинъ царь Петръ Алексѣевичъ,—а то двое!... Ну, когда это бывало на святой Руси?... И Господь Богъ единъ на небесахъ, такъ на что же намъ двухъ царей?

— Да вѣдь они, хозяинъ, родные братья, такъ почему жъ имъ обоимъ не царствовать?

— Нѣтъ, господинъ приказчикъ! То ли дѣло, когда одна глава правитъ всѣмъ тѣломъ. Хорошъ царь — Божья милость; неблагой и немилосердый—что жъ дѣлать, любезный —наказанье Господне!... Вѣдь все отъ Господа: и благорастворенiе воздуховъ небесныхъ, и изобилiе плодовъ земныхъ, и язва, и гладъ, и трусъ, и казнь, и милость,—все въ руцѣ Божiей!... Такъ что жъ намъ мудровать?... Вотъ хоть въ Бозѣ почивающiй покойный государь Алексѣй Михайловичъ царствовать началъ съ юныхъ годовъ; были противъ него и смуты народныя и самозванцы. Одинъ разбойникъ Стенька Разинъ чего стоилъ! Да какъ никто царю не мѣшалъ, такъ онъ со всѣми управился, распространилъ и увеличилъ Царство Русское, воротилъ назадъ Смоленскъ, выгналъ ляховъ изъ Украины, а царство Миритинское само ему поддалось.

— Такъ батюшка, такъ!... Что и говорить: былъ царь-государь! Врядъ ли вымолимъ у Господа другого подъ-стать ему покойнику.

— Да врядъ, любезный!... То-то было времячко!

— Такъ, батюшка! было, было, — да видно быльемъ поросло!

— Вотъ ужъ истинно,—продолжалъ купецъ,—пожили мы во всякомъ гобзованiи и довольствѣ!... А веселья то какiя бывали!... И псовая охота съ рогами и трубами за селомъ Алексѣевскимъ, и соколиная потѣха... А игрища то какiя!... Какъ теперь гляжу: была комедь въ Преображенскомъ, потѣшали государя иноземцы, какъ Олоферну царю голову отсѣкли; да еще о Новуходоносорѣ царѣ, о телѣ златѣ и о трехъ отроцѣхъ... А ужъ лучше то всего было, однажды, зимою—кажись въ день Аксиньи полухлѣбницы—въ домѣ боярина Артамона Сергѣевича Матвѣева, дворовые люди его лицедѣяли, какъ царь Артаксеркъ указалъ повѣсить Амана; и нѣмцы въ органы играли, и на фiолахъ, и всякiя другiя потѣхи разныя...

— Да какъ это, хозяинъ,—прервалъ приказчикъ,—уда-

лось тебѣ побывать на этихъ игрищахъ? Хоть ты и гость московскій, да вѣдь, чай, на такія игрушки и потѣхи царскія допускаютъ однихъ только князей да бояръ?

— А вотъ какъ, любезный: въ Преображенскомъ есть у меня пріятель, подключникъ кормоваго дворца, по прозванію Ершъ Кутерма; а на пиру боярина Артамона Сергѣевича Матвѣева приказалъ пропустить меня въ потѣшную палату свойственникъ его, а мой благодѣтель, Кирилла Андреевичъ Буйносовъ.

— Кирилла Андреевичъ Буйносовъ?... Да вѣдь онъ то и есть мой бояринъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?... Ну, любезный, въ сорочкѣ же ты родился!... Да такихъ господъ, каковъ твой, на бѣломъ свѣтѣ мало.

— Что и говорить, батюшка,—дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!

— Дай Господи!... Да что онъ у васъ все такой грустный!... Вотъ ужъ я его милость третій годъ знаю, а никогда не видывалъ, чтобъ онъ изволилъ распотѣшиться. Все какъ будто бы сердце ему что-то щемитъ.

— Охъ, батюшка! да какъ у него сердцу то и не болѣть: вѣдь онъ круглый сирота!... А семья то какая была! одиннадцать дочерей, одна другой лучше!

— И ни одной въ живыхъ не осталось?

— Ни единой! всѣхъ прибралъ Господь. Три утонули, переѣзжая на паромѣ черезъ Оку, пять скончались отъ разныхъ недуговъ, двѣ померли отъ оспы, а послѣдняя то дочка, самая меньшая, Богъ знаетъ гдѣ.

— Какъ такъ?

— Да такъ, батюшка, безъ вѣсти пропала!

— Безъ вѣсти пропала?... Что за диво такое!... Я, чай, у вашего боярина хожалыхъ то за дочками было довольно?

— Какъ же: и матушки, и нянюшки — мало ли этой челяди у нашего боярина.

— Такъ чего же онѣ смотрѣли?

— Что жъ дѣлать, на грѣхъ мастера нѣтъ, кормилецъ! Ужъ подлинно, нянюшка Татьяна и мамушка Игнатьевна смотрѣли за своей барышней, съ глазъ ее не спускали, по пятамъ ходили, а все-таки сгибла да пропала. Вотъ то-то и есть: чего Господь Богъ беречь не станетъ, того ужъ люди не уберегутъ.

— Такъ, любезный—такъ! Да не даромъ и пословица:

у семи нянекъ дитя всегда безъ глазу.—Да какъ же это случилось?

— А вотъ какъ: тому годовъ пятнадцать назадъ, лѣтомъ, объ эту же пору, бояринъ мой со всей семьей ѣхалъ изъ Мещовска въ свою Брынскую волость. Верстахъ въ тридцати отсюда, близъ села Бѣликова, разсудилось покойной его сожительницѣ остановиться пополдничать на одной полянѣ, въ лѣсу. Бояринъ нашъ всегда ѣздитъ по дорогамъ людно. Насъ было всѣхъ этакъ человѣкъ до пятидесяти. Вотъ мы раскинули для господъ шатры, сводили коней на водопой, разложили огни, да и ну варить кашицу. Господа пополдничали, прилегли отдохнуть, а дочки ихъ съ нянюшками и съ сѣнными дѣвушками разбрелись во всѣ стороны, однѣ стали на лугу въ горѣлки играть, другія пошли въ лѣсъ по грибы. Вотъ этакъ около вечеренъ, господа поднялись, начали укладываться; барышни стали разсаживаться по колымагамъ и кибиткамъ, а я пошелъ, нарвалъ на лугу колокольчиковъ, ландышей, ноготковъ, связалъ одинадцать пучечковъ, да и сталъ ихъ раздавать всѣмъ боярскимъ дочкамъ, каждой по пучку. Кажись, роздалъ всѣмъ, а гляжу—одинъ пучокъ лишній. Кой прахъ,—подумалъ я,—видно задѣлилъ какую-нибудь! Обошелъ опять всѣ повозки, перечелъ всѣхъ барышенъ... а! вотъ что: самой то меньшой нѣтъ! Смотрю, мамушка Игнатьевна роется въ кибиткѣ, да укладываетъ подушки.—Гдѣ твое дитя? — спросилъ я. — А вонъ тамъ въ лѣсу съ нянюшкою. Я въ лѣсъ—вдругъ пырь мнѣ въ глаза Татьяна!—А барышня твоя гдѣ?—Чай тамъ у повозки съ мамушкой Игнатьевной.—Да вѣдь она была съ тобою?—Ну да, прежде изволила ходить по лѣсу со мною, а тамъ, какъ набрала грибковъ, и побѣжала показывать ихъ мамушкѣ, да видно ужъ такъ при ней и осталась.—Что ты! перекрестись!... Игнатьевна вонъ тамъ, одна-одинехонька, а дитя то ваше гдѣ?—Ахъ, Господи—закричала Татьяна,—такъ видно барышня осталась въ лѣсу!... Вотъ мы съ Татьяной въ лѣсъ. Начали кричать, аукать — кто-то откликается, да только не ребячьимъ голосомъ. — Охъ, худо! — подумалъ я,—не доброе! Ужъ не лѣшій ли?... Избави Господи! Онъ и взрослаго обойдетъ, такъ бѣда!—Мы съ Татьяной обѣгали всю опушку, осмотрѣли каждый кусточекъ,—нѣтъ какъ нѣтъ!... Вотъ и господа хватились своей дочки. Батюшки, какая пошла тревога!... Самъ бояринъ сѣлъ на коня; холопи, кто верхомъ, кто пѣшкомъ разбрелись въ

разсыпную по лѣсу, проискали всю ночь, осипли кричавши... нѣтъ барышни—сгибла да пропала!... Трое сутокъ простояли мы на этомъ мѣстѣ, изо всего околодка сбили поголовно крестьянъ, верстъ на пятнадцать обшарили гугомъ...

— И все по напрасну?

— Да, батюшка.

— Таки вовсе никакихъ слѣдовъ не оказалось?

— Ну, нѣтъ. Въ одномъ мѣстѣ какъ будто бы на слѣдъ напали: этакъ версты три отъ нашей стоянки, одинъ изъ холопей поднялъ четырехъ-конечный серебрянный крестикъ; его признали за тотъ самый тѣльникъ, который носила боярышня.

— Четырехъ-конечный крестикъ?... Куда раскольники не жалуютъ этихъ крестиковъ!... А что, ничего больше не нашли?

— Ничего.

— Да какъ же она его обронила: вѣдь, чай, крестъ то висѣлъ у нея на гайтанчикѣ?

— Какъ же, батюшка.

— Видно металась больно, сердечная!

— Видно что такъ, кормилецъ. Одному только мы очень дивовались: вмѣстѣ съ этимъ крестикомъ, на томъ же самомъ гайтанѣ, барышня носила образокъ въ серебряномъ окладѣ — икону святой великомученицы Варвары; этимъ образкомъ благословилъ ее крестный отецъ, бояринъ Куродавлевъ. Такъ ужъ если она крестикъ обронила, такъ и образокъ бы вмѣстѣ съ нимъ нашли.

— Ну, это еще не диво; завалился куда-нибудь. А какихъ она была годковъ?

— Да еще четырехъ лѣтъ не было.

— Атъ, дитятко горемычное!... Видно она, голубушка, увязалась за бабочкой, или за птичкой какою!... Долго ли такому младенцу заплутаться!... А тамъ чай забрела въ трясину, или дикій звѣрь...

— Должно быть такъ, батюшка!... То-то жалость была!.. И теперь, какъ вспомню, такъ сердце кровью обольется! Бояринъ рветъ на себѣ волосы, боярыня лежитъ какъ мертвая—слезъ даже нѣтъ. Нянюшка Татьяна убѣжала въ лѣсъ, да ужъ назадъ и не бывала; Игнатьевну изъ петли вынули, а боярыня съ той поры стала хизнуть, прочахла всю осень, а тамъ хуже, да хуже, да о зимнемъ Николѣ Богу душу и отдала. Подлинно, правду говорятъ: «пришла

бѣда, отворяй ворота». Одно горе съ плечъ, другое на плечи: скончалась сожительница, стали умирать дочери. Каково, подумаешь: съ небольшимъ въ три года изъ люднаго семьянина сдѣлаться круглымъ сиротою!... Ты, батюшка, знаешь господина — ужъ подлино добрая душа!... Благочестивъ, богомоленъ...

— Да, да! истинно христолюбивый бояринъ.

— Отходилъ ли отъ него когда нищій безъ подаянія?... Обижалъ ли онъ кого?

— Сохрани Господи!... Да таковой клеветы не изречетъ и врагъ его.

— Такъ какъ же послѣ этого не согрѣшишь, не скажешь: за что такой гнѣвъ Божій...

— Что ты это, господинъ приказчикъ?—прервалъ купецъ:—и думать этого не моги... Да развѣ ты не вѣдаешь: кого Господь любитъ, того и наказуетъ?

— Такъ, батюшка, такъ!... Кто и говоритъ, конечно. буди во всемъ Его святая воля!... А все какъ подумаешь...

— Постой-ка, постой, любезный!... Вотъ никакъ еще ѣдутъ постояльцы... Видишь, вонъ тамъ два вершника, по дорогѣ изъ Мещовска?... Вонъ опять выѣхали!... Э! да это, кажись, люди ратные!

Отъ лѣсной опушки отдѣлились два всадника и шибкой рысью подъѣхали къ воротамъ постоялаго двора.

X.

Съ перваго взгляда можно было отгадать, что одинъ изъ пріѣхавшихъ всадниковъ былъ господинъ, а другой его слуга. Подъ первымъ былъ дорогой персидскій аргамакъ, въ бархатной, шитой золотомъ, уздечкѣ, подъ вторымъ поджарый донецъ, не очень взрачный собою, но повидимому не знающій устали и готовый верстъ двадцать сряду мчать удалого сѣдока, какъ говорится въ сказкахъ: «по горамъ и по доламъ, по болотамъ зыбучимъ и пескамъ сыпучимъ». Господинъ былъ прекрасный и видный собою молодецъ, лѣтъ двадцати двухъ или трехъ. Слугѣ казалось лѣтъ подъ сорокъ; онъ былъ небольшого роста, но необычайно плотенъ, могучъ плечами, съ длинными жилистыми руками и высокой богатырской грудью; его широкое, изрытое оспою, лицо

было [illegible] неправды, но, не смотря на это, [illegible] казались даже приятными, потому что выражали какую-то простодушную веселость и доброту, не чуждые [illegible] на лица [illegible], которыми всегда отличался прежний русский народ от своих северных и западных соседей. Мы зовем теперь этих соседей финнами и белоруссами, а в старину их называли Чудью белоглазой и Литвою поганой. Этот старинный обычай давать и чужим и своим прозвища, в которых почти всегда заключается насмешка, принадлежит также к числу особенностей русского народного характера.

Проезжий господин был одет очень щеголевато: на нем был светло-зеленый суконный кафтан съ малиновым подбоем и золотыми петлицами, малиновая остроконечная шапка съ меховым околышем и желтые сафьянные сапоги съ медными скобами. Къ шелковому съ золотыми кистями кушаку была привешана богатая персидская сабля, а на толстом шелковом снурке висела, через плечо, нагайка, у которой кнутовище было украшено перламутром и слоновою костью. Слуга этого проезжаго был одет очень просто: на нем была войлочная белая шапка, посконный *азям* и въ накидку длинная *однорядка* из толстаго сермяжнаго сукна; но за то онъ былъ вооружен лучше своего господина... Онъ былъ также при сабле, и сверх того из-за кушака виднелась деревянная рукоятка длиннаго ножа, а надетая через плечо *берендейка* или ремень, съ привешенными къ нему деревянными патронами и привязанная къ седельной луке *ручница*, то есть ручная короткая пищаль, доказывали, что онъ имелъ при себе не одно холодное оружие и могъ бы, въ случае нужды, биться съ врагом—как говорили въ старину—огненнымъ боемъ. Я думаю, читатели давно уже узнали въ этихъ проезжихъ знакомца своего Левшина и слугу его Ферапонта.

Бог помощь, добрые люди!—сказалъ Левшинъ, соскочив молодцем съ своего коня.

Милости просимъ!—отвечали купецъ и приказчикъ, вставая и вежливо кланяясь проезжему. Обозники сняли также свои шапки и отвесили ему по низкому поклону; один только проезжий въ балахоне не привсталъ, не поклонился, а только взглянулъ изъ-подлобья на проезжаго молодца, сначала довольно сурово, а потомъ съ приметнымъ любопытством.

— Феропонтъ!—продолжалъ Левшинъ,—дай конямъ то немного простынуть, а тамъ своди ихъ на рѣчку.

— Да не велишь ли, батюшка, ихъ разсѣдлать, — сказалъ хозяинъ постоялаго двора, подойдя съ почтительнымъ поклономъ къ проѣзжему.

— Нѣтъ, любезный — отвѣчалъ Левшинъ, — мы здѣсь кормить не станемъ, а дадимъ только конямъ вздохнуть и немного поразомнемся.

— Такъ не въ угоду ли будетъ твоей милости перекусить чего-нибудь? У меня есть гречневая каша съ масломъ, щи добрыя...

— Спасибо, хозяинъ!... Я обѣдалъ верстъ пятнадцать отсюда—въ селѣ Бардуковѣ.

— Пятнадцать верстъ!... Нѣтъ, кормилецъ, будетъ и двадцать съ хвостикомъ.

— Ого! такъ мы скоро ѣхали.

— Да видно такъ, господинъ честной. Эва, какъ ваши лошадки то уморились!... такъ паръ отъ нихъ и валитъ!

— Ничего, любезный, кони добрые.

— Такъ, батюшка, такъ!... А вишь какъ они умаялись!... Право слово, кормилецъ, прикажи задать имъ сѣнца, пусть себѣ перехватятъ сердечные!

— Нѣтъ, голубчикъ, некогда дожидаться.

— А куда такъ поспѣшаетъ твоя милость? — спросилъ купецъ.

— Да не такъ чтобы далеко отсюда: въ село Толстошеино.

— Толстошеино?—повторилъ хозяинъ постоялаго двора.— Знаемъ, батюшка, знаемъ! Тутъ еще на озерѣ есть барская усадьба; хоромы такія знатныя — съ большимъ огородомъ.

— Да, да,—подхватилъ купецъ;—мы прошлаго года зимою тутъ ѣхали. Истинно боярская усадьба! Брусяной домъ, съ теремомъ и двумя вышками, крытъ весь гонтомъ, а окна наихитрѣйшей рѣзьбою украшены. Намъ сказывали, что тутъ живетъ на покоѣ самъ помѣщикъ, какой-то бояринъ Куродавлевъ. Не къ нему ли, господинъ честной, ты изволишь ѣхать?

— Къ нему, любезный.

— Ужъ не гонцомъ ли отъ князя Ивана Андреевича Хованскаго?

— Почему ты это думаешь?

— Да вотъ, я вижу, ты самъ изъ начальныхъ людей стрѣлецкаго войска... сирѣчь надворной пѣхоты — не прогнѣвайся, по старой привычкѣ промолвился!..,

— Все едино, хозяинъ.

— Нѣтъ, господинъ честной, не все едино. Коли васъ за усердіе пожаловали въ надворную пѣхоту, такъ называть стрѣлецкимъ войскомъ не приходится. За службу и почетъ, батюшка!... А вотъ я все гляжу на тебя... кажись, по всѣмъ примѣтамъ... ну, такъ и есть... ты долженъ быть сотникомъ полка Василія Ивановича Бухвостова.

— Отгадалъ, любезный.

— Да какъ и не отгадать? Вѣдь ты въ своемъ служильномъ нарядѣ: свѣтлозеленый кафтанъ съ малиновымъ подбоемъ... Мы, батюшка, сами люди московскіе, не въ глуши живемъ. Мы и съ головою то твоимъ — сирѣчь полковникомъ Василіемъ Ивановичемъ Бухвостовымъ старинные пріятели.

— Право?

— Какъ же, батюшка! Онъ и товары въ моей лавкѣ забираетъ... Мы съ нимъ всегда хлѣбъ соль важивали... Вотъ ужъ подлинно достойный сановникъ! Во всемъ старины держится... Истинно благоцвѣтущая вѣтвь прежней православной рати стрѣлецкой!..

— Прежней... Такъ по твоему нынѣшняя...

— Также православное войско, — подхватилъ торопливо купецъ. — Кто и говоритъ, господинъ честной!.. Ну, если этакъ и бывали смуты — такъ что жъ?.. и стрѣльцы такіе же люди; а всѣ мы подъ Богомъ ходимъ: — единъ Господь безъ грѣха!.. Да они же всегда возставали противъ измѣнниковъ, а коли случаемъ между измѣнниками попадались имъ на копья и неповинные бояре и люди добрые, такъ это Божьимъ попущеньемъ!.. Человѣкъ слѣпъ, батюшка! Вѣдь онъ часто и самъ не вѣдаетъ, что творитъ!.. Нѣтъ, господинъ честной: кто другой, а я стою въ томъ, что и нынѣшняя надворная пѣхота христолюбивое войско. Говорятъ, будто бы иные изъ васъ отступили отъ православія; да я этому и вѣры не даю — видитъ Богъ, не даю!.. И что мнѣ до этого?.. На то есть пастыри духовные—а я что?.. Я человѣкъ торговый, не богословъ какой...

— Неправда!—сказалъ громко проѣзжій въ балахонѣ.— Ты точно богословъ, да только не однословъ.

Этотъ неожиданный, но справедливый упрекъ до того

смутилъ купца, что онъ совершенно остолбенѣлъ и не могъ вымолвить ни слова.

— Что? прикусилъ язычекъ?—продолжалъ проѣзжій въ балахонѣ.—Эхъ вы, торгаши московскіе! Душей-то кривить только умѣете, двуличники этакіе!.. Каждый изъ васъ, какъ трость, колеблемая вѣтромъ: куда онъ подулъ, туда и вы!.. Ужъ если что по твоему правда, такъ стой за правду. Что изъ за угла-то кулакомъ грозиться!.. Коли заговорила въ тебѣ совѣсть—такъ выходи!.. Послушаютъ—хорошо! потянутъ на плаху—ложись!

— Что ты, что ты, любезный! — проговорилъ купецъ, опомнясь отъ перваго удивленія.

— Что я?.. А вотъ что: ты называешь теперь стрѣльцовъ христолюбивымъ воинствомъ, а давно ли ты ихъ величалъ еретиками и нечестивыми крамольниками?

Купецъ поблѣднѣлъ и закричалъ испуганнымъ голосомъ:

— Не вѣрь ему, господинъ честной: онъ лжетъ! видитъ Богъ — лжетъ!.. Ахъ ты, полоумный этакій!.. Да какъ у тебя языкъ повернулся сказать, что я говорилъ съ тобой такія непригожія рѣчи?

— Не со мной, а вотъ съ этимъ холопомъ, — сказалъ проѣзжій, указывая на прикащика.

— Холопъ! — повторилъ сквозь зубы прикащикъ. — Видишь бояринъ какой!.. Холопъ, да не твой!

— Ахъ ты клеветникъ этакій! — подхватилъ купецъ. — Да я съ господиномъ прикащикомъ говорилъ объ этомъ шопотомъ, такъ какъ же ты могъ слышать?

Левшинъ засмѣялся.

— Полно, хозяинъ, — сказалъ онъ. — Ну, есть о чемъ спорить!.. Мало ли что за уголкомъ говорится!.. Въ глаза-то меня только не обижай, а заочно хоть голову руби!

— Истинно такъ, господинъ честной!.. — промолвилъ почтительно прикащикъ. — Заочная брань не брань, а на пересказы смотрѣть нечего. На всякое чиханье не наздравствуешься.

— А что, батюшка,—сказалъ рослый парень лѣтъ тридцати, подойдя къ проѣзжему въ балахонѣ, — не пора ли запрягать?

— Да, время—запрягай!

— Ты куда ѣдешь, любезный?—спросилъ Левшинъ проѣзжаго.

— На что тебѣ, молодецъ?.. Мы съ тобой не попутчики.

— Такъ ты ѣдешь въ Мещовскъ?

— Хоть и не въ Мещовскъ, а все мы не попутчики. Вишь вы какъ своихъ-то коней упарили, а я моихъ лошадокъ берегу.

— Вотъ что!.. Такъ тебѣ, видно, далеко еще ѣхать?

— Далеко или близко, не о томъ рѣчь. Коней-то можно и на пяти верстахъ уморить.

— Ты здѣшній что ль, или изъ другой какой стороны?

— Да мы покамѣстъ всѣ здѣшніе; вотъ какъ переѣдемъ на иное мѣсто...

— Я спрашиваю тебя, откуда ты родомъ?

— Откуда родомъ?.. Да, чай, мы оба съ тобой родились на святой Руси.

— Да Русь-то велика, любезный!.. Вотъ я, напримѣръ: я родомъ изъ Москвы; а ты откуда?

— Не знаю. Мнѣ покойная матушка не сказывала, гдѣ я родился.

— Экій ты какой!.. Ну, гдѣ твой домъ?

— Какъ построю, такъ буду знать, а теперь не вѣдаю.

— Не знаю, не вѣдаю!.. Что жъ ты знаешь!

— Что знаю?.. Да, не прогнѣвайся, побольше твоего.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— А вотъ изволишь видѣть: ты не знаешь, откуда я родомъ, что за человѣкъ и куда ѣду; а я знаю, что ты родомъ изъ Москвы, служишь сотникомъ въ полку Василія Ивановича Бухвостова и ѣдешь въ село Толстошеино къ боярину Максимовичу Куродавлеву.

— Большое диво, что ты знаешь то, о чемъ я самъ говорилъ.

— Въ томъ-то и дѣло, молодецъ!.. Вѣдь тотъ, кто молчитъ, всегда знаетъ больше того, кто болтаетъ.

— Да не всякому же быть такимъ медвѣдемъ, какъ ты.

— По мнѣ лучше быть медвѣдемъ, чѣмъ сорокою.

Левшинъ вспыхнулъ.

— Эге, любезный!—сказалъ онъ,—да ты ужъ никакъ начинаешь поругиваться!

Проѣзжій въ балахонѣ не отвѣчалъ ни слова и принялся преспокойно укладывать въ свою дорожную кису початый коровай хлѣба, деревянную чашку, ложку и огромный складной ножъ, который, въ случаѣ нужды, могъ служить оружіемъ; потомъ всталъ и пошелъ на дворъ постоялаго

двора, гдѣ, подъ высокимъ навѣсомъ, работникъ его запрягалъ въ телѣгу пару дюжихъ вороныхъ коней.

— Ну, батюшка! — сказалъ купецъ, проводивъ глазами проѣзжаго, — видишь ли теперь, что это какой-то шальной, грубіянъ этакій!.. Когда твоя милость изволитъ спрашивать, такъ люди и почище его отвѣчаютъ, а этотъ балахонникъ — прости Господи!.. Сказалъ бы онъ мнѣ, что я не знаю, кто онъ таковъ, я бы ему отвѣтилъ.

— А чтобы ты ему отвѣтилъ?

— Я сказалъ бы ему, что онъ еретикъ проклятый!.. Вотъ что!

— Еретикъ!.. Почему ты это знаешь?

— А какъ же, батюшка? Да это какъ взглянешь, такъ видно. И ѣсть съ нами не хотѣлъ и рѣчи такія богопротивныя, а туда жъ, какъ чернецъ какой, чотки перебираетъ — раскольникъ проклятый! — Не старообрядецъ, батюшка, а раскольникъ,—продолжалъ купецъ, спохватясь.— Старообрядцы дѣло другое; ихъ, чай, и въ вашемъ полку довольно; они люди добрые и, почитай, такіе же православные, какъ и мы; не жалуютъ только патріарха Никона да любятъ по старымъ книгамъ Богу молиться — вотъ и все!.. А эти отщепенцы хуже язычниковъ: соборную церковь не признаютъ, духовенство поносятъ...

— Истинная правда! — прервалъ прикащикъ. — Я вѣдь здѣшній, такъ понаслушался и понасмотрѣлся. Здѣсь въ Брынскихъ лѣсахъ, этихъ раскольничьихъ скитовъ и не перечтешь. И все разные толки: безпоповщина, филипповщина, селезневщина, новожены, перекрещиванцы, щельники—кто ихъ знаетъ!.. Я знаю только, что всѣ они чуждаются церкви Божіей, а есть и такіе, что не приведи Господи!.. Вотъ мнѣ разсказывали о запалщеванцахъ и морельщикахъ — такъ видитъ Богъ, батюшка, волосъ дыбомъ становится!

— Ну, вѣрно, — подхватилъ купецъ, — и этотъ не простой отщепенецъ; но злобный и яко левъ рыкающій на православіе еретикъ!

— А можетъ статься и хуже, — промолвилъ вполголоса прикащикъ. — Видѣлъ ли ты, хозяинъ, какой у него ножище?

— А что ты думаешь?.. Въ самомъ дѣлѣ!.. Глаза у него такіе воровскіе, рѣчь буйная, — ну вотъ такъ и смотритъ душегубцемъ!

— А развѣ здѣсь разбойники водятся? — спросилъ Левшинъ.

— Всяко бываетъ,—отвѣчалъ прикащикъ.—Вѣдь здѣсь лѣса дремучіе, такъ волки-то не всѣ на четырехъ ногахъ ходятъ. Прошлое лѣто у насъ трехъ мужичковъ здѣсь ограбили. Везли оброкъ въ Москву...

— Что жъ, у нихъ всѣ деньги отняли?

— Нѣтъ, Богъ помиловалъ! До боярскихъ денегъ не добрались. Мужички то себѣ на умъ: сто рублевиковъ запекли въ хлѣбъ, да столько же въ хомутѣ было зашито. Съ нихъ только одежонку поснимали, да мѣдными грошами рубля два отняли.

— Тебѣ бы, господинъ сотникъ, — сказалъ купецъ, — пообождать немного. Вотъ обозники скоро подымутся, они тебѣ по пути. Васъ всего двое, а по такимъ лѣсамъ, чѣмъ ѣдешь люднѣе, тѣмъ лучше.

— Спасибо, любезный! Доѣдемъ и безъ провожатыхъ.

— Кто и говоритъ, почему не доѣхать, а все съ народомъ-то веселѣе и отважнѣе. Право такъ, батюшка!.. Неровенъ часъ,—ну какъ въ самомъ дѣлѣ наткнешься на разбойниковъ?

— Мы разбойниковъ не боимся, хозяинъ,—сказалъ Феропонтъ, ведя въ поводу отдохнувшихъ коней. — У насъ есть для нихъ гостинцы: поднесемъ, такъ другихъ не попросятъ!.. Сабли-то у насъ годятся не одну капусту рубить!.. А вотъ еще товарищъ,—продолжалъ онъ, указывая на свою пищаль. — Малъ да удалъ! Какъ свинцовымъ орѣхомъ свистнетъ, да по лбу хлыстнетъ, такъ затылокъ-то у всякаго зачешется!

— Охъ, любезный, не хвались—сказалъ приказчикъ.— Въ лѣсу не то, что въ чистомъ полѣ: какъ изъ-за куста хватятъ тебя кистенемъ, такъ и ты молодецъ, на конѣ не усидишь.

— Богъ милостивъ!.. Мы по лѣсамъ-то и ночью ѣзжали, да разбойниковъ не встрѣчали.

— Ай да Султанъ!—сказалъ Левшинъ, садясь на своего коня, который храпѣлъ отъ нетерпѣнія и бороздилъ копытомъ песчаную землю. — Вовсе не усталъ; словно съ конюшни,—такъ и рвется.

— Да зато скорѣй и надорвется! — прошепталъ Феропонтъ, отвязывая пищаль отъ сѣдельной луки и вынимая ее изъ чехла.

— Ну что жъ ты, Феропонтъ? — продолжалъ Левшинъ, обращаясь къ своему служителю.—Садись проворнѣй!

— Сейчасъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ! — отвѣчалъ Феропонтъ, надѣвая черезъ плечо ремень, къ которому пристегивалась пищаль. — Хоть насъ до сей поры Господь миловалъ и дневнымъ-то разбоямъ я небольно вѣрю, а все-таки лучше, коли оборона подъ руками. На Бога надѣйся, а самъ не плошай!

— Экъ тебя настращали!.. Да полно, садись!

— Вотъ и готовъ!—промолвилъ Феропонтъ, вскочивъ на своего донца.

— Ну, прощайте, добрые люди! — сказалъ Левшинъ, приподымая свою шапку.

— Прощай, господинъ честной! — закричали въ одинъ голосъ купецъ и прикащикъ. — Благополучной дороги, счастливаго пути!

Левшинъ, выѣхавъ на большую дорогу, далъ волю своему коню. Онъ помчался сначала вскачь, потомъ рысью внизъ по теченію рѣчки Брыни; а Феропонтъ, пріударивъ плетью своего поджараго донца, пустился вслѣдъ за своимъ господиномъ. Черезъ нѣсколько минутъ наши путешественники, покинувъ берегъ рѣчки, повернули направо и скрылись въ глуши дремучаго непроходимаго бора.

XI.

Дорога, по которой ѣхали наши путешественники, становилась часъ отъ часу хуже. Проѣхавъ верстъ шесть, они очутились опять на берегу рѣчки Брыни, которая въ этомъ мѣстѣ прокладывала свое русло среди топкихъ болотъ, покрытыхъ ржавчиною, мхомъ и мелкимъ кустарникомъ. Узкая гать, по которой съ трудомъ можно было проѣхать въ телѣгѣ, вывела ихъ опять на песчаную дорогу, изрытую корнями столѣтнихъ деревьевъ. Эти великаны лѣсовъ русскихъ, вѣчно зеленыя сосны и вѣтвистыя ели росли почти сплошной стѣною по обѣимъ сторонамъ дороги, или, лучше сказать, широкой тропы, которая превращалась иногда въ настоящее лѣсное ущеліе. Надъ головами путешественниковъ тянулась свѣтлая полоса небесъ, но по сторонамъ все было мрачно; вверху солнце сіяло во всей красотѣ своей, а внизу начинались уже сумерки.

Этотъ таинственный мракъ, эта глушь и запустѣніе подѣйствовали даже и на весельчака Феропонта: онъ пересталъ мурлыкать про себя пѣсенку, только не задумался, какъ его господинъ; напротивъ, безпрестанно озирался, смотрѣлъ по сторонамъ, и пытливый взоръ его, стараясь проникнуть въ глубину лѣса, встрѣчалъ вездѣ одно и то же: непроходимую дичь, мракъ и горы валежника. Феропонтъ былъ вовсе не трусъ, и въ чистомъ полѣ не испугался бы никого; но тутъ онъ вспомнилъ невольно слова приказчика, который совѣтовалъ ему не хвалиться. Подлинно,—думалъ Феропонтъ, — хвалиться то нечего!... Здѣсь и мальчишка убьетъ тебя изъ-за куста полѣномъ. Эка дичь, подумаешь!... Днемъ ничего не видно, а по дорогѣ то знать черти въ горѣлки играютъ,—корни да рытвины!... Да тутъ въ сумерки бѣда!... Ну, нечего сказать, пронеси Господи!... Потише, батюшка Дмитрій Афанасьевичъ! — прибавилъ онъ вслухъ, видя, что Левшинъ продолжаетъ ѣхать рысью.— Вишь дорога то какая—корень на корнѣ!... Какъ разъ или себя или коня уходишь.

— Небось, Феропонтъ,—отвѣчалъ Левшинъ,—мой Султанъ никогда не спотыкается.

Онъ не успѣлъ это вымолвить, какъ вдругъ Султанъ со всего размаха упалъ на оба колѣна; ловкій всадникъ удержался въ сѣдлѣ и, сильно потянувъ за поводъ, поднялъ своего коня.

— Ну вотъ, не говорилъ ли я тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ!—вскричалъ испуганнымъ голосомъ Феропонтъ.— Эй, батюшка, послушайся меня, поѣдемъ шажкомъ!... Мнѣ сказывали на постояломъ дворѣ, что этой трущобою намъ ѣхать только до перваго поворота, а тамъ пойдетъ дорога лучше.

— Ну хорошо, поѣдемъ шагомъ. И то сказать: спѣшить то нечего, успѣемъ пріѣхать за-свѣтло.

— Какъ не пріѣхать, лишь только бы помѣхи какой не было.

— Помѣхи?... Какой помѣхи?

— А Господь знаетъ!... Коли правду говорили на постояломъ дворѣ, такъ вотъ здѣсь, въ этомъ то самомъ захолустьѣ и пошаливаютъ. Вишь глушь какая! По сторонамъ ни зги не видно... Э!... что это тамъ?... Постой-ка, батюшка, постой!...

Левшинъ остановился.

— Видишь, Дмитрій Афанасьичъ? — шепнулъ Феропонтъ: — вонъ тамъ впереди... на-лѣво... что за человѣкъ такой въ бѣломъ балахонѣ?

— Человѣкъ!... Гдѣ?

— Да вонъ тамъ за кустомъ... подлѣ самой дороги. Левшинъ засмѣялся.

— Ну,—сказалъ онъ,—правду говорятъ, что у страха глаза велики!... Да это березовый пень.

— Неужели!... Ахъ онъ проклятый!... Въ самомъ дѣлѣ пенекъ!

— Разбойниковъ то я не боюсь, — прервалъ Левшинъ, продолжая ѣхать впередъ,—лишь только бы намъ не заплутаться... Да ты хорошо ли разспросилъ о дорогѣ?

— Какже!... Намъ все надо держаться правой руки, пока не доѣдемъ до большой поляны; а тамъ повернуть налѣво мимо пожарища...

— Какого пожарища?

— Да вотъ хозяинъ постоялаго двора мнѣ сказывалъ, что на этой полянѣ, въ большомъ скиту, жили еще прошлаго года раскольники, и жили, говорятъ, смирно. Да пришелъ къ нимъ какой то старецъ Пафнутій, изъ Сибири— и учалъ ихъ уговаривать: «примите дескать, православные, ради царствія небеснаго, вѣнецъ мученическій: окреститесь, братія, крещеньемъ огненнымъ!» Они съ дуру-то ему и повѣрили: заперлись кругомъ, подожгли свой скитъ, да вмѣстѣ съ нимъ и сгорѣли. Говорятъ, будто бы теперь на этомъ пожарищѣ не разъ слыхали по ночамъ проѣзжіе, какъ стонутъ и воютъ души погорѣвшихъ еретиковъ.

— А этотъ злодѣй, что ихъ подучилъ, сгорѣлъ также съ ними?

— Нѣтъ, онъ себѣ на-умѣ!... «Мнѣ, дескать, братія, нельзя быть вмѣстѣ съ вами вольнымъ мученикомъ: мнѣ надо и другимъ проповѣдывать». Хозяинъ постоялаго двора сказывалъ мнѣ, что онъ и теперь еще спасается-гдѣ то здѣсь въ лѣсу, на соснѣ.

— На соснѣ!

— Да, батюшка!... Живетъ на ней, ни дать, ни взять, какъ соловей-разбойникъ.

— А почему знать, можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ разбойничаетъ?

— Видно что нѣтъ, а то бояринъ Куродавлевъ давно бы спустилъ его съ этой сосны, да только на веревкѣ.

— А развѣ этому Куродавлеву указано разбойниковъ ловить?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, онъ такъ—ради своей потѣхи ловитъ воровъ. Савельичъ разсказывалъ мнѣ, что этотъ Куродавлевъ такая гроза на всѣхъ здѣшнихъ разбойниковъ, что и сказать нельзя! Дворня у него большая, народъ все удалой. Какъ пройдетъ слухъ, что начали часто проѣзжихъ грабить, такъ онъ мигомъ, холопей своихъ на ноги, самъ на коня и ужъ тутъ ему не попадайся!... У него съ разбойниками расправа короткая: попался живой—петля на шею, да на первую сосну! А тамъ мотайся себѣ, пока добрые люди снимутъ. Савельичъ мнѣ разсказывалъ, что онъ этакъ однажды настигъ въ пустомъ скиту цѣлую шайку разбойниковъ, человѣкъ до пятнадцати,—отбилъ у нихъ двухъ проѣзжихъ купцовъ, которыхъ они захватили на большой дорогѣ, а ихъ всѣхъ до единаго, кого изъ пищалей перебилъ, кого перевѣшалъ.

— Неужели всѣхъ?

— А что жъ, батюшка... Иль по головкѣ разбойниковъ то гладить?... Вѣдь не даромъ пословица: «вора помиловать, добраго погубить».

— Да вѣдь и разбойникъ такой же человѣкъ.

— Кто и говоритъ! вѣстимо такой же. А тѣ, которыхъ онъ станетъ рѣзать, коли я его какъ ни есть изъ рукъ выпущу, не люди что ль?... Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, уличеннаго разбойника можетъ помиловать Господь, а людямъ не слѣдъ его миловать.

— Что это, Феропонтъ,—прервалъ Левшинъ,—смотри, какъ стало вдругъ темнѣть, или тучки набѣжали?

— Какія тучки! — проговорилъ Феропонтъ, взглянувъ кверху.—Эва какъ заволокло!...

— Фу, батюшки, какъ душно!—прошепталъ Левшинъ, снимая шапку.

— Да, больно паритъ, — сказалъ Феропонтъ. — Видно передъ грозою.

И подлинно, влажный, удушливый воздухъ стѣснялъ дыханіе; черныя облака, медленно подвигаясь отъ запада, ложились густыми слоями на свѣтлыя небеса и устилали своею грозной тѣнью поля, дремучій боръ, холмы и равнины. Ясный день начиналъ по-немногу превращаться въ сумрачный вечеръ. Мелкія пташечки перестали перепархивать съ вѣтки на вѣтку, замолкли, прiютились—и только

однѣ стаи воронъ и крикливыхъ грачей кружились заботливо подъ облаками, да кой-гдѣ плавалъ надъ вершинами деревьевъ хищный коршунъ. Но вотъ и они разсыпались врозь—и эта зловѣщая, мертвая тишина распространилась по всему лѣсу.

— Ну, баринъ,—сказалъ Феропонтъ,—будетъ гроза!... Чу!... вотъ ужъ и громъ сталъ постукивать!... Охъ, худо дѣло!... Бѣда, коли насъ захватитъ здѣсь эта непогодица!..

— Что жъ дѣлать: отъ грозы не уѣдешь.

— Вѣстимо, Дмитрій Афанасьичъ;—да не о томъ рѣчь: намъ бы только выбраться изъ этого захолустья. Мы и теперь дорогу то здѣсь плохо видимъ, а какъ вовсе стемнѣетъ, такъ придется ѣхать ощупью....

— Такъ поѣдемъ скорѣе.

— Куда скорѣе!... Видишь дорога то—прахъ ее возьми! —хуже тропинки становится... Смотри, смотри, Дмитрій Афанасьичъ... колода!... Ахъ, ты Господи! вотъ трущоба то проклятая!

Наши путешественники проѣхали еще кой-какъ версты двѣ: наконецъ Левшинъ остановился и сказалъ:

— Посмотри, Феропонтъ, тутъ и ѣзды вовсе нѣтъ,— болото!...

— Постой-ка на минутку!—прервалъ Феропонтъ, объѣзжая своего господина.—Ну, такъ и есть—трясина!

— Что жъ это? Видно мы заплутались?

— Видно что такъ!... А вотъ и гроза!—промолвилъ Феропонтъ, снимая шапку и крестясь.

Раздался близкій ударъ грома и крупныя капли дождя зашумѣли по листьямъ деревьевъ, вершины которыхъ начали уже сильно колебаться.

— Что жъ мы будемъ теперь дѣлать? — спросилъ Левшинъ.

— Да что, батюшка, — отвѣчалъ Феропонтъ, — дѣлать нечего: чѣмъ ѣхать Богъ вѣсть куда, лучше переждать на одномъ мѣстѣ; а какъ прояснится, такъ вернемся назадъ, да поищемъ поворота; видно мы его миновали.

— Переждать!... Да этакъ намъ пожалуй и ночевать здѣсь придется.

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, большія грозы скоро проходятъ; а гроза то, кажись, не на шутку!... Господи помилуй!... Фу, батюшки, такъ и палитъ!... Ну, молонья!...

Левшинъ и Феропонтъ едва успѣли сойдти съ коней и

стать подъ защиту огромной сосны, какъ вдругъ завылъ и промчался по лѣсу ужасный вихрь; всѣ небеса вспыхнули; удары грома не слѣдовали другъ за другомъ, но слились въ одинъ безпрерывный гулъ, заглушаемый по временамъ тѣмъ отрывистымъ, пронзительнымъ трескомъ, который производитъ молнія, падая въ близкомъ отъ насъ разстояніи. Кого сильная громовая буря не заставала въ дремучемъ лѣсу, тотъ не можетъ представить себѣ, до какой степени великолѣпна и ужасна эта картина. Въ лѣсу молнія не разливается свободно по небесамъ; вы ихъ не видите: она прокрадывается межъ листьевъ и какъ будто бы осыпаетъ искрами деревья, змѣится по ихъ вѣтвямъ и стелется огненной рѣкою по землѣ. Бурный вихрь, встрѣчая на каждомъ шагу сопротивленіе, крутитъ въ воздухѣ сухой валежникъ, рветъ съ корня столѣтнія деревья и лоскомъ кладетъ молодой лѣсъ. Эти тропическія бури бываютъ у насъ очень рѣдко, но за то и кажутся для насъ ужаснѣе. Феропонтъ долго крѣпился, творилъ про себя молитву и молчалъ; но когда сильнымъ порывомъ вѣтра погнуло сосну, подъ которой онъ стоялъ вмѣстѣ съ своимъ господиномъ, и на нихъ посыпались изломанные сучья — вся твердость его исчезла.

— Господи помилуй насъ грѣшныхъ!—вскричалъ онъ.— Ну! видно пришелъ нашъ послѣдній часъ!

— И, полно, Феропонтъ!—сказалъ Левшинъ.—Иль тебя гроза никогда въ лѣсу не заставала?

— Да это какая гроза, Дмитрій Афанасьичъ!... Свѣту представленье!... Видалъ я грозы, а ужъ этакой... Господи помилуй! Господи помилуй!...

Ослѣпительная молнія облила яркимъ свѣтомъ всѣ окружные предметы, въ одно время съ нею раздался страшный ударъ грома, и шагахъ въ двадцати отъ путешественниковъ высокая ель съ трескомъ повалилась на землю.

— Живъ-ли ты, батюшка? — спросилъ Феропонтъ дрожащимъ голосомъ.

Левшинъ молчалъ.

— Ахъ, Господи!... Да что жъ ты не говоришь?...

— Ничего!—промолвилъ Левшинъ. — Меня немного оглушило.

— Какъ не оглушить!... Посмотри-ка, батюшка, и кони-то наши дрожкой дрожатъ.

— Ну, если мы остались живы, — сказалъ, помолчавъ

нѣсколько времени, Левшинъ, — такъ видно Господь насъ помилуетъ. Вотъ уже становится и потише.

Въ самомъ дѣлѣ, удары грома стали рѣже и слабѣе; вѣтеръ стихъ, и дождь, который въ минуту самыхъ сильныхъ ударовъ, пересталъ было идти, полился рѣкою. Но этотъ отдыхъ не долго продолжался: черныя тучи, одна другой страшнѣе, нахлынули снова отъ полудня, слились вмѣстѣ, налегли на лѣсъ, и вторая гроза, едва-ли не сильнѣе первой, разразилась надъ головами нашихъ путешественниковъ. Не смотря на то, что они стояли подъ защитою густой сосны, дождь пробилъ ихъ до костей. Вотъ, наконецъ, буря затихла, всѣ громовыя тучи прошли; но, покрытыя сплошными облаками, небеса не прочищались, и хотя въ лѣсу стало немного посвѣтлѣе прежняго, однакожъ все еще было такъ темно, что едва можно было различать предметы.

— Ну,—сказалъ Левшинъ, садясь на коня,—теперь мѣшкать нечего: дѣло идетъ къ вечеру. Поѣдемъ отыскивать поворотъ.

Феропонтъ не отвѣчалъ ни слова и, казалось, прислушивался къ чему-то съ большимъ вниманіемъ.

— Полно зѣвать по сторонамъ!—продолжалъ Левшинъ.— Садись!

Феропонтъ не двигался съ мѣста.

— Да что жъ ты, оглохъ что ль?—вскричалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ.

— Нѣтъ, батюшка, слава Богу, слышу! — прошепталъ Феропонтъ. — Чу!... такъ и есть — человѣческіе голоса!... Вотъ и собака залаяла!... Тутъ должно быть близко жилье.

— Какое намъ до этого дѣло.

— Какъ, Дмитрій Афанасьичъ, какое?... Вѣдь ужъ солнышко-то на закатѣ; чай, скоро смеркаться станетъ.

— Ну, то-то и есть!... мѣшкать нечего.

— Да неужели ты, батюшка, думаешь, что мы сегодня доѣдемъ? Пока мы станемъ отыскивать поворотъ, пока что, анъ глядишь—ночь-то насъ и захватитъ. Вѣдь намъ вплоть до самой вотчины боярина Куродавлева надобно ѣхать лѣсомъ, такъ мы опять собьемся съ дороги, да еще, пожалуй, заѣдемъ въ какой-нибудь оврагъ или трясину; такъ не лучше ли намъ поискать ночлега?

— Да гдѣ ты его сыщешь?...

— А вотъ на лѣво-то... Слышишь, опять залаяла собака?

— Слышу; да тутъ долженъ быть какой-нибудь раскольничій скитъ.

— Такъ что жъ? Вѣдь раскольники то не звѣри какіе. Въ этакую непогодицу и татаринъ не откажетъ дорожному человѣку въ пріютѣ. Ѣсть мы у нихъ не попросимъ: у меня еще въ кисѣ найдется чѣмъ закусить; а конямъ-то нашимъ неужли они сѣнца не дадутъ!... Вотъ опять вѣтромъ стало наносить... Ну, точно человѣческіе голоса!

— И, кажется, очень близко, — сказалъ Левшинъ. — Да только проѣдемъ ли мы цѣликомъ: видишь лѣсъ-то какой частый?

— А вотъ постой, Дмитрій Афанасьичъ, никакъ тропинка, по которой мы ѣхали... Ну, да! вотъ она! заворачиваетъ на лѣво... Я, батюшка, поѣду передомъ,—продолжалъ Феропонтъ, садясь на лошадь,—а ты ступай позади: гуськомъ-то лучше проѣдемъ.

Наши путешественники пустились по этой, едва замѣтной, тропинкѣ; она огибала болото, въ которое чуть было не попалъ Левшинъ. Чѣмъ далѣе они ѣхали, тѣмъ яснѣе становились и лай собаки и человѣческіе голоса.

— Что это они, — прошепталъ про себя Феропонтъ, — пѣсни что ль поютъ или перекликаются межъ собою?...

Межъ тѣмъ деревья стали рѣдѣть и черезъ нѣсколько минутъ путешественники выѣхали на поляну. Теперь они ясно могли различать, что человѣческіе голоса доносились до нихъ изъ небольшого зданія, которое, безъ всякой усадьбы и двора, стояло посреди поляны. Но эти голоса вовсе не походили на пѣсни. Удушливыя рыданія, болѣзненный стонъ и по временамъ вопли, исполненные отчаянія и выражающіе адскую муку, раздавались въ этомъ уединенномъ жильѣ.

— Что это, батюшка?... — вскричалъ Феропонтъ, осадивъ свою лошадь. — Съ нами крестная сила!... Да это никакъ пожарище?...

— О которомъ ты мнѣ разсказывалъ?

— Да, Дмитрій Афанасьичъ, это не люди, а души погорѣвшихъ еретиковъ.

— И, полно, Феропонтъ, какія души!

— Да ты вслушайся, батюшка!... Ну станутъ ли живые люди такъ выть?... Чу!... слышишь?

— Нѣтъ, нѣтъ! — сказалъ Левшинъ:—этотъ стонъ, эти

вопли... О, это вѣрно какіе-нибудь несчастные, которыхъ захватили разбойники!

— А что ты думаешь?—прервалъ Феропонтъ, ободрясь.— Можетъ статься что и живые люди. Вѣдь разбойники-то иногда огонькомъ выпытываютъ, куда у проѣзжихъ деньги припрятаны.

— Такъ чего жъ мы дожидаемся?—вскричалъ Левшинъ.

— Постой, постой, батюшка!... Насъ только двое, а ихъ, можетъ быть...

— Что за дѣло!... Иль ты не слышишь, какъ кричатъ эти несчастные?...

— Слышу, Дмитрій Афанасьичъ; да все лучше...

— Что?... Ужъ не мимо ли проѣхать?... Эхъ, Феропонтъ! Да развѣ мы не христіане?

—Ну, если такъ — такъ такъ!... Съ Богомъ, батюшка; была не была!...

Левшинъ выхватилъ свою саблю и шибкой рысью пустился прямо къ жилью.

XII.

Зданіе, къ которому ѣхалъ Левшинъ со своимъ слугою, отличалось отъ обыкновенныхъ бревенчатыхъ сараевъ только тѣмъ, что у него по стѣнамъ сдѣланы были небольшія отдушины, а вмѣсто воротъ прорублена узкая дверь. Огромная дворная собака, завидѣвъ нашихъ путешественниковъ, кинулась на нихъ съ громкимъ лаемъ, и въ то же время изъ шалаша, построеннаго подлѣ самыхъ дверей сарая, вышелъ человѣкъ высокаго роста, съ черной бородою, смуглый, какъ цыганъ и необычайно безобразный собою; онъ держалъ въ рукѣ дубину, а за поясомъ у него висѣли чотки.

— Ты что за человѣкъ такой? — спросилъ Левшинъ, подъѣхавъ къ шалашу.

— А вы кто такіе? — промолвилъ чернобородый, взглянувъ недовѣрчиво на нашихъ путешественниковъ.

— Мы проѣзжіе.

— Такъ что жъ вы здѣсь шатаетесь? Ступайте на большую дорогу.

— Кто у васъ запертъ въ этомъ сараѣ?

— Не твое дѣло. Ступай, куда ѣдешь!

— Ахъ, ты, разбойникъ этакій!—вскричалъ Феропонтъ.— Отвѣчай, когда тебя спрашиваютъ!

— Развѣ ты разбойникъ,—прервалъ чернобородый,—а мы православные христіане. Говорятъ вамъ: ступайте вашею дорогою. Не мѣшайте божьему дѣлу.

Въ эту минуту снова послышались въ сараѣ отчаянные вопли, плачъ, рыданіе и раздались голоса: «Батюшки, спасите!... Умираемъ голодною смертію!... Хлѣба, Бога ради хлѣба!... Батюшки, умилосердитесь!... Дайте хлѣбнуть водицы!... Смерть моя!... Умираю!»

— Не дастся вамъ! — отвѣчалъ грубый голосъ изъ шалаша.—Не дастся—да не лишится свѣтлыхъ вѣнцовъ мученическихъ!

— Возможно ли! — вскричалъ съ ужасомъ Левшинъ.— Злодѣи! За что вы ихъ морите голодомъ?

— Сами захотѣли,—отвѣчалъ чернобородый.

— Какъ сами!

— Ну, да!... Вѣдь здѣсь сидятъ въ затворѣ благочестивые напоещанцы, сирѣчь, вольные мученики.

— Вольные!... Да развѣ ты не слышишь, что они кричатъ?...

— Такъ что-жъ?... Покричатъ, покричатъ, да перестанутъ

— Отъидите, нечестивые!—воскликнулъ громкимъ голосомъ, выходя изъ шалаша, худощавый старикъ съ растрепанными волосами, взъерошенной бородою и сверкающими, полоумными глазами. — Не дерзайте нарушать святыни!... Грядите, убо, грядите!... Да не како постигнетъ васъ десница Господня! А вы, православные! — продолжалъ онъ, обращаясь къ дверямъ сарая,—потерпите ради царствія небеснаго!... Свершайте, братіе, непреткновенно ваше поприще...

— Нѣтъ!—завопили въ одинъ голосъ всѣ заключенные.— Не желаемъ!... отрекаемся!... Спасите насъ, добрые люди, спасите!

— Душегубцы проклятые!—вскричалъ Левшинъ. — коли вы сей же часъ не выпустите этихъ затворниковъ...

— Такъ что жъ?—прервалъ чернобородый, подбирая къ рукамъ свою дубину.

— А вотъ что!—сказалъ Ферапонтъ, выхвативъ саблю.— Слушай ты, черномазое пугало: или отворяй дверь, или я раскрою тебя на-двое!

Чернобородый отскочилъ, поднялъ дубину; но, вѣроятно, разсудивъ, что бой будетъ неравный, опустилъ ее опять и сказалъ:

— Ну, коли хочешь, такъ самъ попытайся: двери-то заколочены.

— Феропонтъ!—вскричалъ Левшинъ,—выломай ихъ!

Феропонтъ соскочилъ съ коня.

— Не дерзайте! — завопилъ неистовымъ голосомъ старикъ.—Господь укрѣпитъ мышцы мои, не попущу вамъ, окаяннымъ святотатцамъ, губить души христіанскія!

— Да ты, дѣдушка, не ругайся! — сказалъ Феропонтъ, подходя къ старику, который заслонилъ собою дверь.—Ну, ты самъ въ толкъ возьми: доброе ли дѣло морить живыхъ людей голодной смертію? И Господь этого не велѣлъ и царь не указалъ. Пусти-ка, пусти!...

— Смерть вкушу на семъ прагѣ,—продолжалъ кричать старикъ,—предамъ душу Господу; но доколѣ живъ, не дамъ вамъ посрамить хвалу нашу, срацыне проклятые!

— Эхъ, полно, дѣдушка, не дури!—молвилъ Феропонтъ, отталкивая старика.—Пусти, говорятъ тебѣ—зашибу!

Старикъ замолчалъ; но глаза его налились кровью, онъ заскрипѣлъ зубами, кинулся на своего противника, и его сухіе, костянистые пальцы, какъ когти дикаго звѣря, впились въ грудь Феропонта.

— Ахъ ты, старый хрычъ!—шепнулъ Феропонтъ, потерявъ все уваженіе къ сѣдой бородѣ и постному лицу старика:—такъ ты еще драться!...

Онъ схватилъ его могучей рукою за кушакъ, поднялъ, какъ двухлѣтняго ребенка, и отбросилъ шаговъ на десять. Чернобородый подбѣжалъ къ старику и, пособляя ему встать, проговорилъ что-то шопотомъ.

— Да, чадо Ѳедосей! — сказалъ старикъ, — грядемъ къ братіи, возвѣстимъ о презорствѣ сихъ нечестивцевъ!... А вы, окаянные отступники православія, вяще поганыхъ огарянъ, сыны погибели — да будете вы прокляты отнынѣ и до вѣка!

— Бранись, бранись, старый хрѣнъ, — промолвилъ Феропонтъ, глядя вслѣдъ за уходящимъ старикомъ и его товарищемъ.—Собака лаетъ, вѣтеръ носитъ!... Экій назойливый старичишка, подумаешь! — продолжалъ онъ, принимаясь выламливать дверь.—Кажись такой испитой, въ чемъ душа держится, а туда жъ на драку лѣзетъ!

Не смотря на свою богатырскую мощь, Феропонтъ не скоро выломалъ крѣпко заколоченную дверь; но вотъ, наконецъ, она соскочила съ петель. Четверо мущинъ и двѣ

женщины, одна старая, а другая молодая, давя другъ друга, кинулись съ такою поспѣшностію вонъ изъ сарая, что чуть было не сбили съ ногъ Феропонта. Страшно было взглянуть на эти человѣческіе остовы: ихъ блѣдныя, искаженныя страданіемъ лица, ихъ помутившіеся, полоумные глаза, были ужасны. «Хлѣба, Бога ради, хлѣба!» кричали они, толпясь около Феропонта.—Молодая женщина, которая, повидимому, казалась покрѣпче другихъ, уцѣпилась за него и простонала едва слышнымъ голосомъ: «Воды — ради Христа, воды!»

— Ахъ, сердечная!—сказалъ Феропонтъ,— хлѣбца-то я вамъ найду, да воды-то гдѣ мнѣ взять?

— Вотъ здѣсь близехонько есть ключъ, — проговорилъ одинъ изъ затворниковъ: кабы было чемъ зачерпнуть...

— Ключъ?... Гдѣ?

— Вонъ за кустами, въ овражкѣ.

— Побудь-ка, батюшка, съ ними,—сказалъ Феропонтъ;— я сбѣгаю да принесу въ шапкѣ водицы, а ты вынь изъ кисы початой хлѣбъ; да смотри, Дмитрій Афанасьичъ, не давай по многу—не годится!.. Коли они денька два ничего не ѣли...

— Нѣтъ,—прошепталъ одинъ изъ затворниковъ, — вотъ ужъ третьи сутки...

— Эва-на!—прервалъ Феропонтъ,—шутка вымолвить:— третьи сутки безъ ѣды!... Вотъ, дай имъ теперь хлѣба вволю, такъ они всѣ перемрутъ. Я помню, дядя мой Терентій попалъ однажды въ волчью яму и не ѣвши просидѣлъ въ ней трое сутокъ...

— Да провались ты съ своимъ Терентьемъ! — вскричалъ Левшинъ.—Видишь, они чуть живы!

Феропонтъ побѣжалъ за водою, а Левшинъ слѣзъ съ коня, привязалъ его къ дереву и велѣлъ этимъ вольнымъ мученикамъ сѣсть въ кружокъ. Когда онъ вынулъ изъ кисы хлѣбъ, они не усидѣли на своихъ мѣстахъ и съ радостнымъ воплемъ кинулись, исключая молодой женщины, на встрѣчу къ Левшину.

— Тише, братцы, тише! — сказалъ онъ, стараясь удержать хлѣбъ, который они вырывали у него изъ рукъ. — Садитесь опять въ кружокъ—всѣмъ достанется. Да садитесь же!...—повторилъ онъ строгимъ голосомъ;—а не то я вамъ ничего не дамъ!

Эта угроза подѣйствовала: затворники усѣлись попреж-

нему на землю и Левшинъ, отламывая небольшіе куски отъ хлѣба, сталъ ихъ одѣлять по-очереди. Когда онъ подошелъ къ молодой женщинѣ, которая томилась жаждою, то она промолвила:

— Батюшка, и ѣсть-то не могу!... Дай мнѣ пить!... Охъ, тошно!... смерть моя!

— Потерпи, любезная, потерпи! — сказалъ Левшинъ.— Ну вотъ, мой слуга и несетъ вамъ водицы!

Женщина вскочила и, не смотря на свою слабость, бросилась бѣгомъ на встрѣчу къ Феропонту.

— На-ка, лебедка! — сказалъ онъ, подавая ей свою войлочную шапку. — Выкушай!... Да тише, тише!... Будетъ покамѣстъ.

— Батюшка, дай еще!

— Нѣтъ, голубка, погоди!... Надо и другимъ горло промочить.

— Еще немножечко!...

— Да напьешься до сыта, не торопись!... Поѣшь теперь хлѣбца, а тамъ, пожалуй, я тебѣ еще воды почерпну.

Когда всѣ эти несчастные затворники съѣли или, лучше сказать, проглотили по куску хлѣба, то принялись снова такимъ жалобнымъ и убѣдительнымъ голосомъ просить пищи, что Левшинъ началъ опять было ихъ одѣлять; но Феропонтъ остановилъ его.

— Что ты, батюшка!—сказалъ онъ;—не слушай ихъ!... Дай прежде имъ водицы выпить. Вѣдь сухой хлѣбъ на тощій животъ бѣда!... Вотъ этакъ-то покойный мой дядя Терентій навалился съ голодухи на хлѣбъ, да въ тотъ-же самый день и померъ.

— Такъ давай имъ скорѣе пить!

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!... А тамъ можно еще по кусочку хлѣба; да не худо будетъ и винца хлебнуть.

Пока Феропонтъ поилъ ихъ водою, а потомъ сталъ опять одѣлять хлѣбомъ и давать изъ своей дорожной фляги по глотку вина, Левшинъ разсматривалъ со вниманіемъ молодую женщину, которая, выпивъ еще воды и съѣвъ кусокъ хлѣба, совершенно успокоилась. Хоть лицо ея вѣроятно очень измѣнилось отъ продолжительнаго страданія, однакожъ, не смотря на это, оно казалось ему знакомымъ. Онъ не могъ только никакъ припомнить, гдѣ и когда видѣлъ эту женщину. Межъ тѣмъ товарищи ея, поутоливъ нѣсколько свой голодъ, встали, и одинъ изъ нихъ, высокій

старикъ лѣтъ шестидесяти, сказалъ: «Дай Богъ тебѣ, господинъ честной, много лѣтъ здравствовать! Кабы не ты, умирать бы намъ голодной смертію. Да воздастъ Господь этому окаянному старцу!... Прельстилъ насъ, проклятый, прельстилъ!... Братіе!—продолжалъ онъ, обращаясь къ другимъ затворникамъ, — кто изъ васъ желаетъ приступить къ адамантовскому согласію, тотъ иди со мною въ скитъ поморскаго старца Григорія: онъ приметъ всѣхъ насъ съ любовію; а къ этимъ филиповцамъ я ни за что теперь не пойду».

— И мы также! — закричали въ одинъ голосъ его товарищи.

— А ты пойдешь съ нами? — продолжалъ старикъ, обращаясь къ молодой женщинѣ.

— Нѣтъ! — отвѣчала она. — Я какъ-нибудь добреду до нашего скита. Авось отецъ Андрей меня помилуетъ. Не послушалась я его, окаянная!

— Ну, какъ хочешь. Пойдемте, братцы! До Григорьева скита версты три будетъ, а вотъ ужъ вечерняя заря тухнетъ. Какъ-то мы доплетемся?... Прощай, Дарья!

— Дарья! — повторилъ Лезшинъ. — Неужли это? .. О, нѣтъ, нѣтъ! быть не можетъ!...

— Да! — шептала молодая женщина, глядя вслѣдъ за своими прежними товарищами, которые, шатаясь какъ пьяные, шли въ разсыпную по полю.—Да, пойду я къ вашему старцу Григорію!.. Эка невидаль!... Онъ у моего хозяина въ Выгорѣцкомъ скиту былъ пастухомъ... Старецъ Григорій!... Больно скоро въ старцы то попалъ!

— Послушай-ка, голубка, — сказалъ Феропонтъ, — ты хочешь идти въ свой скитъ, а далеко ли это?

— Версты четыре будетъ.

— Да вѣдь въ лѣсу-то теперь хоть глазъ выколи. Какъ же ты пойдешь одна?

— Что-жъ дѣлать: пришлось идти одной, коли товарищей нѣтъ.

— Хочешь ли, мы тебя проводимъ?

— Какъ, батюшка, не хотѣть!

— А ты, красавица, за эту службу и насъ куда-нибудь пріюти.

— Да вы кто такіе?

— Дорожные люди.

— Охъ, кормилицъ! хозяинъ то нашъ такой строгій!...

Ну, да если онъ васъ въ скитъ не пуститъ, такъ вы въ сторожкѣ переночуете; а вашимъ лошадямъ я ужъ какъ-нибудь сѣнца то вынесу.

— И на томъ спасибо!... Вставай же, лебедка, пора. Хочешь—садись на мою лошадь, а я пѣшкомъ пойду.

— Нѣтъ, батюшка, куда мнѣ!... Я сродясь на лошадяхъ не ѣзжала, а дайте-ка мнѣ поотдохнуть немного, да еще водицы выпить, такъ я какъ-нибудь и пѣшкомъ дотащусь.

— Ну, хорошо!... Я схожу за водой, а ты... на-ка тебѣ, поѣшь еще хлѣбца.

— Послушай, любезная,—сказалъ Левшинъ, оставшись одинъ съ молодою женщиною, — мнѣ все кажется, что я гдѣ-то тебя видѣлъ.

— Не знаю, молодецъ.

— И голосъ твой мнѣ знакомъ... Да не была ли ты недавно въ Москвѣ?

— Какъ же, батюшка!... Всего три недѣли какъ оттуда. Я была тамъ съ моимъ хозяиномъ и его дочкою.

— И вы жили въ Зарядьѣ, на Мещовскомъ подворьѣ?

— Да, на Мещовскомъ подворьѣ. А почему ты это знаешь?... Постой ка, постой!... Ахъ, батюшки-свѣты!... Да ты никакъ тотъ самый молодецъ, котораго чуть было не убили стрѣльцы?... Вотъ диво то! какъ это тебя Господь сюда занесъ?

— Ѣду въ село Толстошеино,—недалеко отсюда.—А ты какъ, Дарья, попала въ затворницы?

— Охъ, батюшка, не говори!... Истинно Божье попущенье!... Вотъ изволишь видѣть... такъ и быть! все тебѣ скажу, какъ на духу... Я прошлаго года гадала объ святкахъ и видѣла во снѣ нашего батрака Архипку, а Архипка то ужъ былъ женатъ; вотъ я и смекала: видно онъ женится на мнѣ, когда овдовѣетъ. Какъ поѣхали мы въ Москву, жена его захворала, а какъ воротились назадъ, такъ ужъ ее давнымъ давно и на погостъ снесли. Ну,— думаю я,—правду говорятъ: суженаго конемъ не объѣдешь. Дѣлать нечего: видно мнѣ на роду написано быть за вдовцомъ. Вотъ я Архипкѣ-то и говорю: «Архипушка! вѣдь я видѣла тебя объ святкахъ: ты мой суженый». А онъ рыжій, — чтобъ ему ни дна ни покрышки... озорникъ этакій! — и ну надо мной смѣяться. «Видно, дескать, я тебѣ, Дарья, суженый да неряженый; ищи себѣ другого жениха,

а я ужъ помолвилъ на Дуняшкѣ». Такъ меня, кормилецъ, словно ножемъ и зарѣзалъ! — На Дуняшкѣ!... И добро бы человѣкъ, а то вѣдь такъ... дѣвка чернавка — взглянуть не на что!... Зло такое меня взяло, что и сказать нельзя!.. Опротивѣлъ мнѣ этотъ рыжій — видѣть его не могу!... А какъ живешь вмѣстѣ, такъ по неволѣ видишь. Потерпѣла я денекъ, другой—нѣтъ! тоска меня вовсе одолѣла. Вотъ я и говорю хозяину: «Хочу, дескать, батюшка, идти въ филипповщинское согласіе за тѣмъ, дескать, что у нихъ строже, — скорѣй спасешься». А у самой, грѣшницы, не то на умѣ: какъ бы только уйти подальше отъ Архипки, да не видѣть эту поскудную Дуняшку. Вотъ Андрей Яковлевичъ началъ меня уговаривать: «Эй, Дарья, не ходи къ филипповцамъ! У нихъ наставникомъ старецъ Пафнутій, а онъ вовсе полоумный: научитъ онъ тебя такимъ дѣламъ, что ты и животу не будешь рада. — И дочка-то его со слезами упрашивала меня не ходить къ филипповцамъ... такъ нѣтъ! — никого не послушалась — пошла!... Что-жъ, батюшка? не прошло недѣли, какъ я вовсе обезумѣла; только и слышу, что у нихъ какой-то великій угодникъ, ради царствія небеснаго, велѣлъ похоронить себя живого; такая-та угодница сожглась въ печи, такая-то запостилась. И въ молитвахъ то ихъ поминаютъ и чинятъ имъ поклоненія. Стали мнѣ разсказывать, что будто бы видали ихъ въ свѣтлыхъ одеждахъ, въ златыхъ вѣнцахъ... а я съ дуру слушаю да вѣрю. Вотъ пришелъ въ скитъ старецъ Пафнутій. Онъ, батюшка, самъ въ скиту не живетъ, а, говорятъ, спасается гдѣ-то на соснѣ.

— Да не онъ ли караулилъ васъ въ этомъ шалашѣ? — спросилъ Левшинъ.

— Онъ, батюшка, онъ!... Вотъ этотъ разбойникъ подговорилъ человѣкъ пять идти въ запошеванцы, да началъ и меня уговаривать: «Ты, дескать, сестра Дарья, не бойся; коли Богу будетъ угодно, такъ ты и сорокъ дней не ѣвши проживешь, а останешься жива; а коли умрешь, такъ смерть твоя будетъ честна предъ Господомъ и ты причтешься къ лику святыхъ мучениковъ. Да съ вами же и насилія никакого не будетъ. Кто снесетъ, тотъ несп, а кому придется не въ моготу, такъ пусть себѣ отречется; и коли не пожелаетъ промѣнять временную жизнь на вѣчное блаженство — такъ его воля». — Что будешь дѣлать, прельстилъ и меня лукавый старецъ... Вотъ, батюшка,

какъ насъ заперли въ эту запощевальню, первыя то сутки мы смирно просидѣли, и другія кой-какъ промаялись; но ужъ за то на третьи... Господи, Боже мой!... ну, мука!... Я первая закричала, что отрекаюсь — отвѣту нѣтъ. Закричали и другіе. Слышимъ, Пафнутій съ кѣмъ-то пошептался, да и говоритъ намъ: «Нѣтъ, братія! коли вы сами не радѣете о душахъ вашихъ, такъ мы за васъ порадѣемъ. Нѣтъ вамъ отсюда выхода!... Мужайтесь, братія, и когда Господь сподобитъ васъ стяжать вѣнцы мученическіе, такъ помолитесь и о насъ грѣшныхъ». — Вотъ тутъ то, батюшка, поднялся вопль и плачъ!... Когда мы увидѣли, какъ прельстилъ и обманулъ насъ этотъ душегубецъ, всѣ мы стали словно бѣшеные: кричимъ, воемъ, рвемъ на себѣ платье, кусаемъ руки; а онъ, злодѣй, только что и твердитъ: «Потерпите, братіе, потерпите! Мзда ваша велика на небеси!»—Я еще, батюшка, не очень отощала: у меня въ карманѣ была просвирка; ее принесла мнѣ изъ Кіева одна странница, когда я жила еще у прежняго хозяина. На второй день я потихоньку ее съѣла; но ужъ за то пить мнѣ такъ хотѣлось, что я дала бы себѣ отрѣзать любой палецъ за одну каплю воды... Ахъ! батюшка, подумаешь: что бы съ нами было, еслибъ Господь не привелъ васъ сюда!... Подлинно правду говорятъ: голодная смерть хуже всякой смерти.

— Такъ ты, Дарья, надѣешься, — сказалъ Левшинъ, — что прежній хозяинъ приметъ тебя опять къ себѣ въ домъ?

— Приметъ, батюшка: онъ человѣкъ добрый. Повалюсь ему въ ноги, скажу: виновата, кормилецъ, согрѣшила!... Да и дочка то за меня заступится.

— А кто такой твой хозяинъ?

— Отецъ Андрей.

— Отецъ Андрей!... Да развѣ у него нѣтъ никакого прозванія?

— Да какъ бы тебѣ сказать: въ глаза его зовутъ отцемъ Андреемъ, а за глаза Андреемъ Поморяниномъ.

— Да кто онъ такой? Дворянинъ чтоль, купецъ, или изъ духовнаго званія?

— И этого не вѣдаю, батюшка; а знаю только, что въ здѣшней сторонѣ онъ у всѣхъ въ большомъ почетѣ, даже старецъ Пафнутій и тотъ его побаивается.

— Ну, что, — промолвилъ робко Левшинъ, — дочь его, Софья Андреевна, здорова?

— А ты имячко то ея знаешь?... Вотъ что!... здорова, батюшка, здорова... только все что то кручинится, да тоскуетъ.

— Тоскуетъ!—повторилъ въ полъ голоса Левшинъ.

— Да, батюшка; говоритъ, что по Москвѣ... вишь больно ей приглянулась. А я такъ думаю, что теперь и въ Москвѣ то она стала бы тосковать.

— Отчего же?

— Отчего!... Ну, ужъ это, молодецъ, самъ смекай.

— На-ка, красавица, вотъ тебѣ и еще водицы, — сказалъ Феропонтъ, подходя къ Дарьѣ и подавая ей свою шапку съ водою. — Пей себѣ на здоровье!... Да только поскорѣе въ путь. Благо теперь облачка то поразошлись, все-таки кой-что видно будетъ; а неравно опять набѣгутъ тучи, такъ и ты, голубушка, заплутаешься.

Молодая женщина встала, а Левшинь и Феропонтъ пошли отвязывать своихъ коней. Въ эту самую минуту изъ-за угла сарая высунулась безобразная рожа чернобородаго раскольника.

— Вотъ они!—заревѣлъ онъ, оборотясь назадъ, и человѣкъ пятнадцать вооруженныхъ дубинами мужиковъ высыпало на поляну.

— Хватайте ихъ, братіе!... бейте этихъ проклятыхъ святотатцевъ! — кричалъ чернобородый, бросаясь съ поднятой дубиною на Левшина. Отскочивъ быстро въ сторону, Левшинъ выхватилъ свою саблю, она свиснула и чернобородый, какъ снопъ, повалился на землю. Но Левшинъ не успѣлъ повторить удара: его сбили съ ногъ, скрутили назадъ руки и потащили въ лѣсъ. Разумѣется, Феропонтъ, который былъ шагахъ въ двадцати отъ своего господина, кинулся къ нему на помощь; къ несчастью, онъ наткнулся на пенекъ и упалъ. Когда онъ приподнялся, человѣкъ пять раскольниковъ, не давъ ему справиться, кинулись на него гурьбою, вырвали изъ рукъ саблю и ухватились за него со всѣхъ сторонъ. Но Феропонтъ устоялъ на ногахъ. Онъ круто повернулся кругомъ, тряхнулъ своими богатырскими плечами, высвободилъ руки и пошелъ работать на право и на лѣво; сломалъ, какъ медвѣдь, двухъ противниковъ, сшибъ съ ногъ ударомъ кулака третьяго, подмялъ подъ себя четвертаго; но пятый, отскочивъ назадъ, ударилъ его дубиною такъ сильно по головѣ, что у него, какъ послѣ самъ онъ разсказывалъ, искры изъ глазъ посыпа-

лись и въ ушахъ загудѣло, какъ будто бы ударили въ успенскій колоколъ. Онъ пошатнулся, ступилъ нѣсколько шаговъ впередъ и упалъ безъ чувствъ на землю.

— Что, улегся, проклятый еретикъ! — сказалъ одинъ изъ раскольниковъ, помогая приподняться двумъ товарищамъ, которые болѣе другихъ поизмяты были въ рукахъ Феропонта. — Ну, здоровъ, разбойникъ!... кулакъ словно свинчатка!... Какъ онъ хлыснулъ меня, такъ я думалъ, что голова съ плечъ слетитъ!

— Что жъ вы, братцы? — сказалъ, подходя къ нимъ, другой раскольникъ. — Мы того молодца ужъ спровадили, тащите и этого.

— Зачѣмъ?—молвилъ широкоплечій дѣтина, тотъ самый, который ударилъ Феропонта дубиною.

— Какъ зачѣмъ?... Ихъ надо обоихъ допросить. Отецъ Пафнутій говоритъ, что они подосланы отъ калужскаго архіерея.

— Не знаю тотъ, а этотъ ужъ вамъ ничего не отвѣтитъ.

— Ой-ли?

— Да ужъ небойсь!... Кого я съѣзжу по маковкѣ дубиною, тотъ не встанетъ.

— Такъ прибрать бы его къ сторонкѣ.

— И безъ насъ приберутъ: волковъ то здѣсь довольно. Ну, что кряхтите, ребята? — продолжалъ широкоплечій дѣтина, обращаясь къ своимъ товарищамъ. — Или реберъ не досчитываетесь?... Экій лѣшій, проклятый, какъ онъ ихъ исковеркалъ!... Ну, пойдемте, братцы!

Черезъ нѣсколько минутъ на полянѣ не осталось никого. Изрѣдка раздавались вдали голоса уходящихъ раскольниковъ и раза два лѣсной отголосокъ повторилъ имя Феропонта; но вѣрный слуга не слышалъ призывнаго голоса своего господина. Когда затихли и эти отдаленные голоса, послышался въ кустахъ легкій шорохъ, и Дарья, робко озираясь кругомъ, вышла на поляну.

— Вотъ кто то лежитъ!... — прошептала она, подходя къ Феропонту. — Ахъ, Господи!... Неужели они убили... Нѣтъ! я видѣла, его утащили въ лѣсъ... Видно это слуга... Ну, такъ и есть!... Сердечный! — прошептала она, наклонясь надъ Феропонтомъ. — По милости твоей и твоего барина, я жива, а ты... Да онъ никакъ дышитъ... Видитъ Богъ, дышитъ! — вскричала съ радостію Дарья. — Кабы только вспрыснуть его водицею... А! да вотъ и шапка!

Дарья схватила войлочную шапку Феропонта, подняла мимоходомъ саблю, которая, шагахъ въ десяти отъ него, лежала на землѣ, почерпнула въ родникѣ воды и, возвратясь назадъ, начала обливать ею голову и лицо Феропонта. Съ полъ-минуты онъ оставался въ прежнемъ положеніи; но вотъ, наконецъ, вздохнулъ и пошевелился.

— Ну, слава тебѣ Господи, очнулся!—сказала Дарья.

— Фу, какъ шумитъ въ головѣ! — прошепталъ Феропонтъ.—Что это со мною было?

— Ничего. Тебя немного позашибли.

— Да гдѣ я?

— Въ лѣсу, на полянѣ... Чу! слышишь, какъ воютъ волки?... Ухъ, страшно!... Вставай, молодецъ!

Феропонтъ приподнялся до половины и началъ ощупывать голову.

— Кажись, цѣла,—промолвилъ онъ.—Фу ты, батюшки, какъ меня ошеломили!

— Вотъ твой тесакъ!—сказала Дарья. — Вставай, молодецъ; мѣшкать нечего.

— Да кто ты?—спросилъ Феропонтъ.

— Я Дарья... ну, вотъ та затворница, которую ты поилъ водою. Я все сидѣла за кустомъ и видѣла, какъ съ вами дрались филипповцы.

— Съ нами?

— Ну, да!... Съ тобой и съ твоимъ бариномъ.

— Съ бариномъ?—повторилъ Феропонтъ и, какъ будтобы пробудясь отъ сна, быстро вскочилъ на ноги, схватилъ саблю и закричалъ: — А гдѣ жъ мой баринъ? Дмитрій Афанасьичъ!... Дмитрій Афанасьичъ!

— Да не кричи!—прервала Дарья.—Его здѣсь нѣтъ; его увезли съ собой филипповцы.

— Господи!... — завопилъ отчаяннымъ голосомъ Феропонтъ.—Убьютъ они его, злодѣи!

— Небойсь!... Коли здѣсь не убили, такъ не убьютъ.

— Куда они пошли?

— Вѣстимо куда: въ свой скитъ.

— Такъ веди меня туда—скорѣй, скорѣй!

— Зачѣмъ?.. Чтобы тебя опять дубиной хватили?..

— Эхъ, что нужды? Умирать, такъ умирать вмѣстѣ.

— Да что ты одинъ сдѣлаешь?.. Вѣдь ихъ тамъ человѣкъ до ста. Барина ты своего не выручишь, а полѣзешь на драку, такъ убьютъ тебя—вотъ и все!

— Да пусть себѣ убьютъ!.. По дѣломъ! — прервалъ Феропонтъ.—Коли я не умѣлъ сберечь моего барина, такъ туда мнѣ и дорога!.. Пойдемъ!

— Полно, молодецъ, послушайся меня: пойдемъ лучше въ скитъ къ отцу Андрею. Онъ скорѣе выручитъ твоего барина.

— А кто этотъ отецъ Андрей?

— Мой прежній хозяинъ; его здѣсь всѣ слушаются, и если онъ самъ поѣдетъ къ филипповцамъ...

— Да поѣдетъ ли онъ?

— Поѣдетъ!.. Ужъ я тебѣ говорю... онъ выручитъ твоего барина; только мѣшкать нечего... Чу! слышишь?

Вдругъ раздался вблизи зловѣщій вой; онъ повторился въ разныхъ мѣстахъ по лѣсу то ближе, то далѣе. Привязанные къ деревьямъ кони начали храпѣть и порываться.

— Чу! — продолжала Дарья робкимъ голосомъ, — слышишь, какъ перекликаются эти голодные волки?.. Охъ, худо, молодецъ!.. Видно они почуяли добычу!.. Ради Христа, поѣдемъ скорѣе!.. Ужъ такъ и быть, и я какъ-нибудь сяду на коня.

Феропонтъ отвязалъ коней, помогъ своей спутницѣ сѣсть на донца, вскочилъ самъ на Султана и, не смотря на темноту, пустился рысью по дорожкѣ, которую ему указала Дарья. Они не успѣли еще проѣхать и полъ-версты, какъ на противуположной сторонѣ поляны заблистали между деревьевъ огненныя звѣздочки, захрустѣлъ валежникъ и два огромныхъ волка, ощетинясь и сверкая глазами, промчались вдоль опушки лѣса къ тому мѣсту, гдѣ за минуту до того стояли кони.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ двухъ верстахъ отъ этой поляны, на которой раскольники захватили Левшина и едва не убили его слугу, на берегу широкаго оврага, въ глубинѣ котораго лѣниво струилась, въ топкихъ берегахъ своихъ, рѣчка Брынь, стояло нѣсколько большихъ избъ, соединенныхъ межъ собою крытыми переходами. Одна изъ этихъ избъ была въ два жилья; къ ней примыкала низкая лачужка, которая, вѣроятно, служила кладовою; это можно было заключить изъ того, что она освѣщалась однимъ только прорубленнымъ подъ самой кровлею волоковымъ окномъ, и что ея толстыя дубовыя двери были окованы желѣзомъ. Кругомъ этого главнаго жилья разбросаны были, безъ всякаго порядка, отдѣльныя избы, клѣти, сараи и амбары. Нѣсколько поодаль отъ прочихъ строеній стояла *молельня*, длинное и широкое зданіе съ узкими окнами, въ которыхъ, вмѣсто стеколъ, была вставлена слюда. На досчатой кровлѣ этой молельни возвышался осмиконечный деревянный крестъ. Вся эта группа строеній, занимавшихъ довольно большое пространство, обнесена была высокимъ бревенчатымъ тыномъ; въ оградѣ было двое воротъ: одними выѣзжали на дорогу, которая, круто спускаясь на дно оврага, вела къ узкому мосту, перекинутому черезъ рѣчку Брынь; другія, находящіяся въ противоположной сторонѣ ограды, обращены были къ расчищенному мѣсту. На этой искусственной полянѣ разбросаны были огороды и нѣсколько пчельниковъ, обнесенныхъ плетневыми заборами. Надъ первыми

воротами, подъ навѣсомъ изъ листового желѣза, стояла большая икона Спаса Нерукотвореннаго, передъ которой теплилась лампада. Внизу, съ одной стороны воротъ устроена была низенькая сторожка, съ другой—висѣли: огромная оловянная умывальница и чистый ручникъ, или полотенце изъ бѣлаго холста. На воротахъ, подъ самымъ образомъ, было написано крупнымъ полууставомъ: «Аще кто входяй во святыя врата сіи не отречется отъ міра и вся скверны его, тотъ да будетъ намъ яко же мытарь и язычникъ.

Этотъ раскольничій скитъ принадлежалъ Филипповцамъ.

Пользуясь правомъ разсказчика, для котораго нѣтъ запертыхъ дверей, я попрошу васъ, любезные читатели, заглянуть вмѣстѣ со мною во внутренность этой кладовой, которая примыкала къ избѣ о двухъ жильяхъ. Въ ней стояло нѣсколько сундуковъ, окованныхъ желѣзомъ, и сидѣлъ на скамьѣ, съ связанными назадъ руками, Левшинъ. Разумѣется, въ этой кладовой, въ которую и днемъ едва проникалъ слабый свѣтъ, было темно, какъ въ подземельѣ. Вотъ уже прошло болѣе часу, какъ нашего путешественника втолкнули и заперли въ эту лачужку. Конечно, положеніе его было не очень завидное: Левшинъ могъ всего ожидать отъ этихъ неистовыхъ изувѣровъ, въ глазахъ которыхъ онъ былъ не только еретикомъ, но даже святотатцемъ и явнымъ врагомъ православія; но, несмотря на это, онъ вовсе не раскаявался въ своемъ поступкѣ: онъ спасъ отъ мучительной смерти шесть человѣкъ и въ томъ числѣ женщину, по милости которой знаетъ теперь, гдѣ живетъ *его незнакомка*. О себѣ самомъ Левшинъ безпокоился несравненно менѣе, чѣмъ о вѣрномъ своемъ слугѣ, который, вѣроятно, не спрятался за кустъ, когда на нихъ напали раскольники. Отбиться одному отъ цѣлой толпы невозможно; но Левшинъ зналъ также, что Ферапонта одолѣть не легко, что онъ не дастся живой въ руки и, безъ всякаго сомнѣнія, перестанетъ драться только тогда, когда его или вовсе изувѣчатъ, или убьютъ до смерти. Послѣднее было даже гораздо вѣроподобнѣе: и на кулачной потѣхѣ бываютъ убитые, а этотъ бой вовсе не походилъ на потѣшный: всѣ раскольники были вооружены дубинами и, вѣроятно, ожесточенные упорнымъ сопротивленіемъ Ферапонта, дрались съ нимъ не на животъ, а на смерть.

Нѣсколько разъ Левшинъ обходилъ кругомъ свою ка-

морку. Онъ давно бы обшарилъ все и попытался узнать, нѣтъ ли для него какого-нибудь средства къ побѣгу, но что онъ могъ сдѣлать съ связанными руками?... Въ одинъ изъ этихъ обходовъ Левшинъ зацѣпилъ локтемъ за гвоздь, вколоченный въ стѣну. Мысль, что онъ можетъ какъ-нибудь перетереть на этомъ гвоздѣ веревку, которою его руки были скручены назадъ, мелькнула въ его головѣ. И вотъ онъ, оборотясь спиною къ стѣнѣ, приложилъ къ гвоздю свои связанныя руки и принялся за работу. Съ четверть часа трудился онъ безъ отдыха, измучился, исцарапалъ себѣ въ кровь пальцы, — но перепилилъ наконецъ кое-какъ веревку и стряхнулъ ее на полъ. Когда его одеревенѣвшія руки поотдохнули, онъ принялся ощупывать стѣны своей тюрьмы. Добравшись до дверей, Левшинъ попытался упереться въ нихъ плечомъ, но тотчасъ же увидѣлъ, что этихъ дверей онъ не могъ бы выломать и при помощи своего могучаго богатыря Ферапонта. Продолжая обшаривать всѣ углы, онъ ощупалъ въ одномъ изъ нихъ преставленную къ стѣнѣ лѣстницу. Хотя Левшинъ былъ увѣренъ, что лѣстница упирается однимъ концомъ въ потолокъ и не ведетъ никуда, однакожъ рѣшился взлѣзть по ней вверхъ; поднявшись ступеней на семь отъ земли, онъ почувствовалъ, что на него пахнуло свѣжимъ воздухомъ изъ отверстія, сдѣланнаго въ потолкѣ. Левшинъ сталъ подыматься еще выше и очутился на чердакѣ, подлѣ открытаго слухового окна. Въ первую минуту ему представилась какая то возможность къ спасенію; но эта надежда не долго продолжалась: слуховое окно было такъ мало, что онъ не могъ даже просунуть въ него головы и посмотрѣть, что дѣлается на дворѣ. Подышавъ нѣсколько времени прохладнымъ ночнымъ воздухомъ у открытаго окна, Левшинъ сталъ искать, нѣтъ ли на этомъ чердакѣ какого-нибудь отверстія поболѣе этого слухового окна. Онъ не успѣлъ сдѣлать трехъ шаговъ, какъ вдругъ остановился и сталъ прислушиваться. Я думаю, вы не забыли, любезные читатели, что кладовая, которая служила для Левшина тюрьмою, пристроена была къ высокой избѣ о двухъ жильяхъ, слѣдовательно, чердакъ ея примыкалъ къ стѣнѣ второго жилья—и за этой то стѣною послышался Левшину, хотя невнятный, но довольно звучный людской говоръ. Левшинъ подошелъ къ стѣнѣ, повелъ по ней рукою и ощупалъ небольшія, но плотныя двери съ желѣзными про-

бами, которыя однакожъ, отъ легкаго прикосновенія, тихо отворились внутрь. Притаивъ дыханіе и медленно подвигаясь впередъ, Левшинъ вошелъ въ просторный чуланъ, въ которомъ по стѣнамъ развѣшаны были платья. Этотъ чуланъ отдѣлялся отъ покоя, гдѣ раздавались громкіе голоса разговаривающихъ, толстой бревенчатой стѣною и дверью, которая повидимому была заперта снаружи; въ ней было прорубленное небольшое окошечко, вѣроятно служившее для освѣщенія чулана. Конечно, Левшину не трудно было бы отгадать, что это сообщеніе между его тюрьмою и жилыми покоями сдѣлано было для того, чтобъ хозяинъ избы о двухъ жильяхъ могъ во всякое время, и не выходя на дворъ, заглянуть въ свою кладовую; но Левшинъ думалъ вовсе не объ этомъ. Притаясь у прорубленнаго въ дверяхъ окна, онъ могъ и слышать и видѣть все, что происходило въ сосѣдномъ покоѣ, или, вѣрнѣй сказать, большой избѣ, потому что въ ней были и полати, и печь съ горнушкою, и шестакъ, — однимъ словомъ, все то, что мы видимъ и теперь въ крестьянскихъ избахъ; разница была только въ томъ, что надъ самымъ устьемъ печи были сдѣланы небольшія круглыя отверстія; они служили для того, чтобъ во время молитвы хозяина благодать, проникая въ печь, свободно входила въ горшки, въ которыхъ варилась пища. Большая часть этой обширной избы была въ тѣни, но весь передній уголъ ярко освѣщался тремя лампадами и восковыми свѣчами, которыя горѣли передъ иконами. Въ этомъ почетномъ углу за столомъ сидѣло шесть человѣкъ. Первое мѣсто, то есть подъ самыми образами, занималъ худощавый старикъ лѣтъ шестидесяти; изъ подъ сѣдыхъ нависшихъ бровей его сверкали сѣрые блестящіе глаза. Во всѣхъ чертахъ лица его отражались внутренняя духовная гордость, жестокосердіе и дикая, ничѣмъ не преклонная воля; а этотъ, исполненный мрачнаго огня, быстрый и безпокойный взглядъ изобличалъ, если не совершенное безуміе, то, по крайней-мѣрѣ, какое то изступленное состояніе, близкое къ сумасшествію. На немъ былъ черный подрясникъ и *каптырь*, или раскольничій клобукъ, который отличался отъ обыкновенныхъ монашескихъ клобуковъ только тѣмъ, что тулья его имѣла форму жидовской ермолки и обшивалась мѣхомъ; въ правой рукѣ держалъ онъ костыль, похожій на игуменскій посохъ, на лѣвой висѣли у него длинныя лѣствовки, т. е. кожаныя чотки.

Левшину не трудно было узнать въ этомъ чернецѣ полоумнаго раскольника, котораго называли старцемъ Пафнутіемъ. Подлѣ него сидѣлъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ въ бѣломъ суконномъ балахонѣ; онъ вовсе не походилъ на своего сосѣда: его приглаженные волосы и небольшая опрятная бородка представляли разительную противоположность съ косматой и нечесаной бородою старика. Съ перваго взгляда Левшинъ подумалъ, что видитъ передъ собою воплощенную доброту, кротость и смиреніе. Этотъ раскольникъ, котораго называли отцемъ Филиппомъ, говорилъ такъ тихо, такимъ мягкимъ, благозвучнымъ голосомъ, что, казалось, изъ устъ его могли исходить только одни слова любви и милосердія; но Левшину стоило только посмотрѣть на его прищуренные, лукавые глаза, чтобъ увѣриться въ противномъ. Въ нихъ выражалось такое коварное двуличіе, такая искусственная кротость и приторное смиреніе, кто, конечно, всякій предпочелъ бы имѣть дѣло съ его полоумнымъ сосѣдомъ, чѣмъ съ нимъ. Тотъ походилъ на злую цѣпную собаку, а этотъ сладко-глаголевый лицемѣръ,—на дикую кошку, которая прикидывается смиренницей для того, чтобъ вѣрнѣй поймать и задушить свою добычу. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ небольшого роста старикъ, въ сѣромъ зипунѣ, опоясанномъ веревкою. На огромной и вдавленной въ широкія плечи головѣ его не было ни одного волоска; но зато необычайно длинная борода его, которая, покрывая всю грудь, опускалась ниже пояса, была предметомъ явнаго уваженія и тайной зависти всѣхъ раскольниковъ Брынскаго лѣса. Ученикъ знаменитаго наставника черноболцевъ, Антипа *Коровьи ножки*, онъ самъ былъ извѣстенъ во всѣхъ скитахъ подъ именемъ *Волосатаго* старца. Его прямой и узкій лобъ, его безцушные, оловянные глаза, безсмысленные взгляды и совершенное отсутствіе выраженія въ этихъ пошлыхъ чертахъ лица, безжизненнаго въ высочайшей степени, — все носило на себѣ отпечатокъ и природной глупости и совершеннаго невѣжества. Еслибъ борода этого лысаго старика была не длиннѣе обыкновенныхъ бородъ, то, вѣроятно, онъ прожилъ бы незамѣтно свой вѣкъ въ толпѣ безграмотныхъ рядовыхъ раскольниковъ, которые повинуются своимъ наставникамъ ради того, что они люди *начитанные*, и слѣпо вѣрятъ имъ потому, что они говорятъ съ ними языкомъ, похожимъ на церковный языкъ, которымъ писаны всѣ наши духовныя книги.

Казалось, случай какъ будто бы нарочно свелъ вмѣстѣ этихъ трехъ раскольниковъ, чтобы олицетворить передъ глазами Левшина три главныя начала почти всякаго раскола: безумный фанатизмъ, фарисейское лицемѣріе и грубое, закоснѣлое невѣжество. Остальные три раскольника, сидѣвшіе за столомъ, не отличались ничѣмъ отъ обыкновенныхъ зажиточныхъ мужиковъ и, повидимому, не принимали никакого дѣятельнаго участія въ бесѣдѣ своихъ старшинъ.

— Оле бѣдствіе!.. Оле скорбь неусладимая!..—говорилъ старецъ Пафнутій. — Православные призываютъ еретиковъ, отрекаются отъ своего обѣта!.. Да потребитъ же Господь отъ земли память сихъ окаянныхъ отступниковъ!.. Да воспомянутся беззаконія отцевъ ихъ предъ Господомъ, да пріидетъ на главу ихъ...

— Эхъ, полно, отецъ Пафнутій, не кляни! — прервалъ Филиппъ. —Или ты не вѣдаешь, что изрекающихъ проклятія отвращается Господь, ибо гортань ихъ яко гробъ отверстый. Прежде бывшіе братья и сестры наши не до конца свершили свой подвигъ, — такъ чтожъ?.. Коли было начало благое, такъ будетъ и конецъ благой; а что они призвали на помощь еретиковъ, и тѣ ихъ выручили, такъ въ этомъ мы сами виноваты; коли они волей пошли въ запощеванцы, такъ мы бы могли имъ и здѣсь въ скиту мѣстечко найти; здѣсь бы ихъ никто не выручилъ. Вотъ, погоди, они вернутся къ намъ со своими пожитками.

— Да не дерзаютъ! — закричалъ Пафнутій. — И како возмогутъ сіи нечестивые грѣхолюбцы и плотоугодники внити во святыя врата обители нашей?

— Ну, коли не во святыя, такъ мы проведемъ ихъ и задними. Я приму ихъ съ любовью, яко заблудшихъ овецъ...

— Недостойное глаголеши, брате Филиппе! — прервалъ Пафнутій. — Удобѣ тьмѣ смѣшатися со свѣтомъ, чѣмъ единому изъ братій нашихъ имѣть общеніе и любовь съ сими отступниками отъ правой вѣры...

— Эхъ, отецъ Пафнутій! да вѣдь человѣкъ слабъ: протекая свое поприще, онъ претыкается, а претыкающійся падаетъ — потщимся же возставить его. Ты станешь ихъ увѣщевать, я тебѣ пособлю и, можетъ быть, они опять пойдутъ охотно въ запощеванцы...

— А не захотятъ охотою, такъ можно и поневолить.— проговорилъ долгобородый.

— Ни, ни!—завопилъ Пафнутій. — Недостойны бо стяжать свѣтлые вѣнцы мученическіе. Пусть гибнутъ окаянные во грѣхѣ своемъ.

— И впрямь, — промолвилъ долгобородый, — пусть гибнутъ во грѣхѣ!

— Ну, какъ хотите!.. Такъ мы ихъ въ скитъ не пустимъ, а пожитки ихъ оставимъ у себя.

— Нѣтъ, брате Филиппе! — прервалъ Пафнутій. — Все ихъ доброе, сирѣчь пожитки, яко еретикамъ принадлежащіе, да предадутся огню.

— Огню! — повторилъ Филиппъ. — Что ты, отецъ Пафнутій!.. Какъ станемъ этакъ все предавать огню, такъ намъ и перекусить нечего будетъ.

— Да, братіе! — продолжалъ Пафнутій. — Да! и пепелъ оныхъ развѣйте по вѣтру, — да не како прикасаясь къ достоянію нечестивыхъ, осквернимся и мы, православные.

Кошачьи глаза Филиппа завертѣлись во всѣ стороны; онъ приподнялся, хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ остановился и началъ молча перебирать свои чотки.

— Истинно такъ! — промолвилъ долгобородый. — И покойный наставникъ мой Антипій увѣщевалъ братію сохранять себя отъ осквернения; онъ часто говаривалъ, что коли гдѣ погребенъ еретикъ, и на могилѣ его вырастетъ трава, и той травы пощиплетъ корова, и отъ этой коровы кто изъ братій выпьетъ молочка, то отлучить такового на шесть мѣсяцевъ отъ церкви и троекратно читать надъ нимъ молитву отъ осквернения.

— Эхъ, братіе, братіе! — заговорилъ опять Филиппъ кроткимъ и тихимъ голосомъ. — Да вѣдь и скверное, проходя чрезъ руки православныхъ, освящается. Мало ли изъ нашихъ и продаютъ и покупаютъ, и деньги на торгу берутъ, а изъ какихъ онѣ идутъ рукъ?

— Деньги! — прервалъ Пафнутій. — Берегитесь, братіе, сей прелести сатанинской!... Деньги бо суть печать антихристова.

— Деньги печать антихристова! — повторилъ Филиппъ, вовсе уже не кроткимъ голосомъ.—Нѣтъ, отецъ Пафнутій, не безумствуй!.. Деньги даръ Божій.

— Даръ Божій!.. О людіе крѣпковыйные и съ окаменѣннымъ сердцемъ!.. Да развѣ ты не читалъ, Филиппъ, о звѣрѣ и драконѣ антихриста?

— Читалъ.

— А что же мнится изображеннымъ на сихъ еретичныхъ деньгахъ — не драконъ ли?.. Какъ же онѣ не суть печать антихристова?

— Эхъ, Пафнутій! Да на нихъ изображенъ Георгій Побѣдоносецъ, поражающій дракона, сирѣчь сатану.

— Толкуй по своему, толкуй!... Нѣтъ, брате Филиппе, нечиста твоя вѣра. Се бо плоды кичливой мудрости бывшаго твоего наставника — Андрея Поморянина. Берегись, возлюбленный Филиппе, берегись внимать льстивымъ рѣчамъ сего прелестника!... Не пастырь бо есть овецъ, а наемникъ... Что глаголю—наемникъ!... Волкъ бо есть, пожирающій стадо!

— Ну, хоть и не волкъ,—прервалъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ Филиппъ;—а нечего грѣха таить: отецъ Андрей не великій ревнитель православія—осуетился, обмірщился!... Да все-таки каковъ ни есть, а вѣдь другой заступы у насъ нѣтъ... Кабы не онъ, такъ давно-бы намъ отъ прежняго Мещовскаго воеводы житья здѣсь не было. Вы всѣ вѣдаете, что благочестивая наша царевна Софья Алексѣевна въ своей царской милости его содержитъ, и не токмо жалуетъ, но даже грамотки къ нему пишетъ; такъ поди-ка—обличи его!

— Обличу нещадно сего міроугодника! — воскликнулъ Пафнутій.—Не убоюсь ни льва, ни скимна...

— Ну, хорошо, хорошо!—прервалъ Филиппъ.—Да рѣчь теперь не о томъ. Послушайте, братіе: мы захватили одного изъ проѣзжихъ еретиковъ, посягнувшихъ на свободу служенія нашего...

— Да, да! — сказалъ Пафнутій. — Святые угодники невидимо поборали съ нами, и сей буйный нечестивецъ ятъ и ввержень въ узилище...

— Сирѣчь запертъ въ моей кладовой. Да чтожъ мы станемъ, православные, съ нимъ дѣлать?

— Вѣстимо что, отецъ Филиппъ,—сказалъ одинъ рыжій раскольникъ изъ числа тѣхъ, которые не принимали еще участія въ бесѣдѣ. — Не отпустить же его съ поклономъ домой!... Вѣдь онъ, проклятый, разнесъ тесакомъ почитай на-двое голову брату Ѳедосею. Богъ вѣсть, будетъ ли живъ?

— Такъ что жъ торговаться съ этимъ еретикомъ?—подхватилъ долгобородый.—Петлю ему на шею...

— А мы съ братіей вотъ какъ думаемъ, — продолжалъ рыжій:—держать его взапарти, да не давать хлѣба: пусть себѣ умираетъ своею смертію.

— Яко благочестивый запощеванецъ? — прервалъ Пафнутій. — Нѣтъ, братіе, да не будетъ! Пусть гибнетъ сей еретикъ по закону, сказано бо есть: подъявшій мечъ, отъ меча да погибнетъ!

— Оно такъ! — промолвилъ въ полголоса Филиппъ; — да чтобъ оглядокъ не было. Вѣдь онъ былъ не одинъ.

— Да тотъ въ доносъ не пойдетъ,—сказалъ рыжій. — Гаврилъ такъ хватилъ его по маковкѣ дубиною, что онъ и не пикнулъ.

— Полно, такъ ли?

— Да ужъ небойсь, отецъ Филиппъ, не встанетъ!

Во всякое другое время Левшинъ пришелъ бы въ отчаяніе отъ этихъ словъ: онъ истинно любилъ вѣрнаго своего слугу; но на этотъ разъ его собственное положеніе было такъ ужасно, что ему некогда было пожалѣть о бѣдномъ Ферапонтѣ.

— Ну, это дѣло другое!—сказалъ, помолчавъ нѣсколько времени, Филиппъ. — Коли того убили, такъ этого нельзя помиловать: живая улика! Да что это у васъ за обычай такой?... Одного уходятъ, а другого нѣтъ. Иль вы не знаете пословицы: семь бѣдъ, одинъ отвѣтъ?

— Да вотъ отецъ Пафнутій указалъ намъ захватить ихъ живьемъ; ихъ, дескать, допросить надобно: они подосланы отъ врага нашего, калужскаго архіерея.

— Истинно такъ! — подхватилъ Пафнутій. — Не странники бо суть мимоидущіе, но лукавые соглядатаи.

— Сирѣчь, языки?—сказалъ Филиппъ. — Нѣтъ, отецъ Пафнутій! Коли бы они были языки, такъ не полѣзли бы съ нашими на драку: все бы въ тихомолку высмотрѣли, а тамъ подали бы извѣтъ калужскому архіерею или Мещовскому воеводѣ. Да это все равно: подосланъ ли онъ или нѣтъ, а коли отпустимъ его живаго, такъ онъ докажетъ на насъ, что мы убили его товарища. Ну, дѣлать нечего, жаль молодца, да своя рубашка ближе къ тѣлу... Чу!... Что это? Кто-то въѣхалъ къ намъ на дворъ... Что больно поздно?... Кому бы кажется?...

— Отецъ Филиппъ, — сказалъ молодой дѣтина, входя поспѣшно въ избу.—Андрей Поморянинъ пріѣхалъ.

— Андрей Поморянинъ!... Зачѣмъ?

— А вотъ какъ скажу, такъ узнаете!—раздался въ дверяхъ громкій голосъ.

— Отецъ Андрей! — вскричалъ Филиппъ, вставая. Всѣ

собесѣдники его также встали, исключая Пафнутія, который однакожъ поотодвинулся, чтобъ очистить мѣсто для пріѣзжаго гостя. Въ избу вошелъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ. Мы не станемъ описывать его наружность, потому что она извѣстна нашимъ читателямъ. Левшинъ съ перваго взгляда узналъ въ немъ проѣзжаго раскольника, съ которымъ повстрѣчался на постояломъ дворѣ.

II.

Когда этотъ проѣзжій, котораго называли Андреемъ Поморяниномъ, помолился передъ иконами, Филиппъ сказалъ ему съ низкимъ поклономъ:

— Милости просимъ, батюшка!... Радуюсь твоему посѣщенію и творю тебѣ землекасательное поклоненіе!...

— Дозволь, отецъ Андрей, и мнѣ, — промолвилъ почтительно рыжій раскольникъ,—привѣтствовать тебя съ лицемнымъ поклономъ.

Всѣ остальные раскольники отвѣсили также по низкому поклону, исключая Пафнутія, который сидѣлъ, не трогаясь, на своемъ мѣстѣ.

— И я бы васъ привѣтствовалъ, — сказалъ пріѣзжій, окинувъ строгимъ взглядомъ всѣхъ присутствующихъ,—и я сказалъ бы: миръ вамъ, братіе! да языкъ не повернется. Нѣтъ мира для вводящихъ богопротивныя ереси; нѣтъ мира для сѣющихъ плевела сатанинскія; нѣтъ мира для васъ, окаянныхъ душегубцевъ, всуе призывающихъ имя Господне!

Эти неожиданныя слова совершенно смутили Филиппа и всѣхъ прочихъ раскольниковъ; одинъ Пафнутій вскочилъ съ своего мѣста и хотѣлъ что-то сказать, но пріѣзжій не далъ выговорить ему ни слова и продолжалъ своимъ громовымъ голосомъ.

— Безумные! что вы это опять затѣяли?... Морить людей голодной смертію! Тому ли я училъ тебя, Филиппъ, когда ты жилъ въ поморьѣ и былъ моимъ келейникомъ?... Ты человѣкъ грамотный, самъ испытывалъ писанія; такъ говори же при всѣхъ: со временъ апостольскихъ бывали ли когда вольные мученики, по вашему запощеванцы?... Святые отцы наши, ради того, чтобъ побѣдить земныя страсти, постились,умерщвляли плоть свою; кто изъ нихъ

уморилъ себя гладомъ?... Мученики!... Да мученикъ тотъ, кого враги православія предаютъ страдальческой смерти, и кто, несмотря на всѣ истязанія, остается вѣренъ своему Господу. Вотъ еслибы тебѣ, Филиппъ, должно было избрать или казнь, или отреченіе отъ православной вѣры отцевъ нашихъ; когда бы тебѣ сказалъ судія неправедный: «Филиппъ! прими нашу новую никоніанскую вѣру или гряди на мѣсто казни». О! тогда иди смѣло на всѣ мученія, иди, рабъ Божій, съ радостію и веселіемъ; ибо чело твое украсится нетлѣннымъ вѣнцемъ мученика. Если даже ты, дабы не осквернить себя, вкушая пищу изъ одной чаши съ еретикомъ, погибнешь отъ глада, то и тогда страдальческая смерть твоя вмѣнится тебѣ въ добрый подвигъ. Но тотъ, кого никто не вынуждаетъ отступить отъ вѣры православной, кто можетъ вкушать отъ трапезы братьевъ своихъ и просто, по собственному своему изволенію, уморитъ себя гладомъ, сожжетъ огнемъ или предастъ иной какой лютой смерти — тотъ не мученикъ, а самоубійца, а наставники его — душегубцы; ибо навѣки погубили его душу. Ты вѣдалъ все это, Филиппъ, для чего же ты дозволилъ?...

— Согрѣшилъ, батюшка!—сказалъ Филиппъ, смиренно преклонивъ голову.—Обезумѣлъ!... Вотъ старецъ Пафнутій прельстилъ насъ!...

— Да, да! — повторили вслѣдъ за Филиппомъ и другіе раскольники,—старецъ Пафнутій прельстилъ насъ!

Пафнутій вскочилъ съ своего мѣста; глаза его сверкали какъ у дикаго звѣря, посинѣвшія губы дрожали; вмѣсто словъ вылетали изъ устъ его невнятные звуки—и вотъ, наконецъ, онъ завопилъ неистовымъ голосомъ:

— О, маловѣры окаянные!... Ученицы непотребніи!... Рабы неключимые!... Тако ли посѣянное мною въ сердцахъ вашихъ сѣмя, не возникнувъ, погибло отъ хульныхъ рѣчей сего нечестиваго поморянина?... Бѣгите убо, предатели, да не како пожретъ васъ огнь небесный!... А ты, проклятый міролюбецъ, волкъ хищный, облеченный въ одежду пастыря, внимай своему обличенію...

— Умолкни, окаянный!—прервалъ Андрей. — Давно ли ты сгубилъ всю братію въ Ѳадѣевскомъ скиту, уговоря ихъ креститься, по твоему, какимъ-то крещеньемъ огненнымъ... Теперь опять за то же?... Ступай на свою сосну, спасайся на ней, какъ умѣешь; но съ нами нѣтъ тебѣ части!... Послушайте, братіе!—продолжалъ онъ, обращаясь

къ другимъ раскольникамъ, — я не стану препираться съ этимъ полоумнымъ о вѣрѣ, и коли вы желаете со мною примириться, такъ извергните его, не медля, изъ среды вашей и дайте мнѣ клятвенное обѣщаніе, отнынѣ и навсегда, не имѣть никакого общенія съ этимъ звѣроподобнымъ старцемъ.

— Ну, что же, братіе? — сказалъ Пафнутій, окинувъ быстрымъ взглядомъ всѣхъ учениковъ своихъ. — Что медлите?... Изгоняйте вашего наставника!

— Да не погнѣвайся, отецъ Пафнутій, — промолвилъ Филиппъ,—мы батюшку нашего, отца Андрея, на тебя не промѣняемъ.

— О, мерзость запустѣнія!—возопилъ Пафнутій.—Пріемлется наемникъ злочестивый, изгоняется пастырь добрый!...

— Да что, Пафнутій, — сказалъ одинъ изъ раскольниковъ, который еще не говорилъ ни слова,—коли доподлинно никто изъ святыхъ отцевъ не былъ запощеванцемъ, такъ чему же ты насъ училъ?

— Истинно такъ!—подхватилъ долгобородый. — Коли и угодники Божіи вкушали пищу, такъ какой слѣдъ намъ грѣшнымъ?...

— Соблазнилъ ты насъ, старецъ Пафнутій! — прервалъ рыжій раскольникъ.—Богъ тебѣ судья!

— Ступай-ка, добро, ступай! — промолвилъ долгобородый.—Чай, на твоей соснѣ грачи-то ужъ гнѣздъ навили.

— Съ Богомъ, Пафнутій, съ Богомъ!—сказалъ Филиппъ, указывая рукою на дверь.

Пафнутій подошелъ молча къ дверямъ, схватилъ съ полки глиняный горшокъ, ударилъ его о-земь, и указывая на черепки, воскликнулъ:

— Тако да сокрушитъ Господь главы ваши, Іудѣ подобные отступники и предатели!... Да постигнетъ васъ скорбь земная и гибель вѣчная!... Да приложитъ Господь беззаконія къ беззаконіямъ вашимъ!... Да будетъ вашъ постъ пресыщеніемъ, молитва грѣхомъ и хвалебная пѣснь хулою!... Се отрясаю на васъ и прахъ, прилипшій къ ногамъ моимъ!... Да будетъ тако, да будетъ!

— О, Господи! — прошепталъ рыжій, глядя вслѣдъ за уходящимъ Пафнутіемъ,—какъ онъ клянетъ!

— Эхъ, не ладно! — сказалъ долгобородый, почесывая затылокъ. — Чтобъ худо не было!... Вы слыхали, православные, что онъ намъ сулитъ?

— Слышали! — отвѣчали вполголоса всѣ раскольники, поглядывая другъ на друга съ примѣтнымъ ужасомъ.

— Что вы это, братіе, чего испугались? — спросилъ Андрей.

— Да какъ же, батюшка!—промолвилъ долгобородый.— Развѣ ты не слышалъ?... Старецъ Пафнутій проклялъ насъ!

— Такъ чтожъ?... Проклятія, изрекаемыя нечестивымъ, падаютъ на главу его.

— Вѣстимо! — подхватилъ Филиппъ. — Ну, чего вы испугались?... Да пусть себѣ лается, надъ нимъ бы и тряслось,—разбойникъ этакій!... Всѣ горшки у меня перебилъ!

— Я давно бы спровадилъ его изъ нашихъ мѣстъ, — сказалъ Андрей, садясь въ передній уголъ, — да боюсь, что этотъ шальной и васъ всѣхъ не оговорилъ: и такъ идутъ о насъ дурные слухи... Эхъ, братіе, братіе! губите вы вашими дѣлами нашу правую вѣру!... Да чтожъ вы стоите?... Садитесь! Мнѣ надобно еще о другомъ побесѣдовать съ вами.

Когда всѣ помѣстились кругомъ стола, Андрей, обращаясь къ Филиппу, сказалъ:

— У васъ сегодня въ сумерки была въ лѣсу драка съ проѣзжими?

— Была, батюшка!—отвѣчалъ Филиппъ.

— За то, что они помѣшали Пафнутію довершить его беззаконное дѣло.

— Да мы еще тогда, отецъ Андрей, думали, что дѣло то наше законное.

— Лжешь, Филиппъ! Ты и тогда этого не думалъ.

— Покарай меня Господи!...

— Полно, Филиппъ, не клянись; не прилагай грѣха къ грѣху!... Ну, пусть другіе это думали, а ты себѣ на умѣ!... Эхъ, Филиппъ, заѣла тебя корысть!... Ну, да рѣчь не о томъ. Вы захватили одного изъ проѣзжихъ...

— Не я, отецъ Андрей!... Я не указывалъ никого брать. Все это старецъ Пафнутій переполошилъ всю братію. Это, дескать, языки калужскаго архіерея—ихъ надо допросить.

— Я не о томъ тебя спрашиваю. Одинъ изъ этихъ проѣзжихъ у васъ ли теперь въ скиту?... Ну что же ты молчишь?... Ужъ не опоздалъ ли я?... Избави Господи!... Да отвѣчайте же мнѣ, живъ ли этотъ проѣзжій?

— Живехонекъ, батюшка, — сказалъ долгобородый. — Онъ сидитъ теперь въ кладовой отца Филиппа.

— Ну, слава тебѣ, Господи'—промолвилъ Андрей, перекрестясь.—Отлегло отъ сердца!... Да знаете ли вы, глупые, кто этотъ проѣзжій?... Вѣдь онъ человѣкъ не простой: онъ изъ начальныхъ людей стрѣлецкаго войска, и присланъ сюда не отъ калужскаго архіерея, а ѣдетъ изъ Москвы съ грамотою къ боярину Куродавлеву.

— Къ боярину Куродавлеву! — повторили съ робостію всѣ раскольники. Филиппъ поблѣднѣлъ.

— Да, къ боярину Куродавлеву,—продолжалъ Андрей.— Дѣло то не шуточное. Его надо немедленно освободить.

— Освободить? — сказалъ Филиппъ. — Нѣтъ, отецъ Андрей, это легко вымолвить.... Вѣдь онъ одного изъ нашихъ вовсе изувѣчилъ... полно, будетъ ли живъ.

— А чтожъ ему было дѣлать?... Не шею же протянуть, когда на него напали!

— Да это бы ужъ такъ и быть! А вотъ что худо, батюшка: коли мы его отпустимъ, такъ намъ всѣмъ бѣды не миновать... А все этотъ озорникъ Пафнутій!... Сидѣлъ бы да сидѣлъ на своей соснѣ—сычъ этакій!

— Да чего же ты опасаешься?

— Какъ чего?... Ты насъ, батюшка, не выдашь. Ну, былъ грѣхъ, что дѣлать! Улики бы только не было, такъ и всѣ концы въ воду!.. А коли мы этого проѣзжаго выпустимъ, да онъ донесетъ, что мы товарища его убили...

— Вотъ то-то и дѣло, что Господь васъ помиловалъ. Вы его не убили: онъ теперь у меня въ скиту.

— Какъ такъ?—вскричалъ Филиппъ.—Какъ же ты мнѣ сказалъ, Ефремъ...

— Самъ видѣлъ, отецъ Филиппъ! — прервалъ рыжій. — Экое диво, подумаешь!... Такъ Гаврила его только что оглушилъ?... Ахъ, Господи!... Ну, видно, у него лобъ то чугунный!

— Этотъ слуга стрѣлецкаго сотника, — продолжалъ Андрей, — разсказалъ мнѣ обо всемъ. Коли вы сегодня не отпустите его господина, такъ онъ завтра отправится къ Куродавлеву; а вы знаете этого боярина: онъ шутить не любитъ. Какъ нагрянетъ къ вамъ съ своими холопями, такъ вы отъ него и мѣста не найдете.

— Сохрани Господи!—вскричалъ Филиппъ.

— Да, да! — сказалъ долгобородый. — Коли дадимъ ему

отпоръ, такъ онъ и скитъ-то нашъ по бревешку размечетъ.

— А коли покоримся,—промолвилъ рыжій, — такъ, чего добраго, онъ всѣхъ начальныхъ людей въ скиту, сирѣчь насъ, отдеретъ нещадно батогами.

— Такъ мѣшкать-то нечего!—молвилъ Андрей, вставая.— Я возьму этого проѣзжаго съ собою, пусть онъ переночуетъ въ моемъ скиту... Пойдемъ, Филиппъ!

Если вамъ случалось видѣть во снѣ, что вы приговорены къ смерти, или—что еще ужаснѣе — что ваша земная подруга, которую вы любите болѣе своей жизни, лежитъ въ гробу, что вы не можете ни плакать, ни вздыхать, и съ чувствомъ, которому нѣтъ названія, съ этимъ чувствомъ вѣчной, безнадежной скорби, смотрите на ея безжизненное лицо, покрытое смертною блѣдностію... и вдругъ вы пробуждаетесь, и первый взглядъ вашъ встрѣчаетъ привѣтливую улыбку той, которая за минуту до того казалась вамъ бездушнымъ трупомъ;—если вы испытали на себѣ и весь ужасъ этого тяжкаго сна и все блаженство этого радостнаго пробужденія, то вы можете имѣть нѣкоторое понятіе о томъ, что чувствовалъ Левшинъ. Казалось, что могло быть отчаяннѣе его положенія? Ферапонтъ погибъ; онъ самъ подъ ножемъ убійцъ, для которыхъ смерть его необходима—и вотъ вѣрный слуга его живъ, а онъ свободенъ и, можетъ быть, проведетъ остатокъ этой ночи подъ одною кровлей съ тою, которую и въ мечтахъ своихъ онъ не надѣялся уже встрѣтить въ здѣшнемъ мірѣ!... О, конечно, такіе быстрые переходы отъ совершеннаго отчаянія къ неизъяснимой радости бываютъ рѣдко наяву.

Когда Андрей Поморянинъ вслѣдъ за Филиппомъ вышелъ изъ избы, Левшинъ отправился также назадъ въ свою кладовую. Онъ только что успѣлъ спуститься съ лѣстницы, какъ послышался снаружи звукъ ключей, и тяжелая дубовая дверь со скрипомъ отворилась. Филиппъ вошелъ первый; онъ держалъ въ рукѣ фонарь.

— Здравствуй, господинъ честной! — сказалъ онъ. — Я пришелъ освободить тебя. Не погнѣвайся, батюшка! теперь только узналъ... Ахъ, Господи, Господи!... Этотъ безумный старецъ Пафнутій переполошилъ всю братію, да какихъ было дѣлъ надѣлали!... Вотъ твой тесакъ, батюшка,— цѣлехонекъ!... Да пожалуй-ка, — продолжалъ онъ, поставивъ свой фонарь на одинъ изъ сундуковъ, — пожалуй, я

тебѣ ручки то развяжу!... Ахти! да чтожъ это?... У тебя руки не связаны!

— Нѣтъ, любезный!

— Ахъ они дурачье, дурачье!... Посадить человѣка въ кладовую...

— Не бойся!—прервалъ Левшинъ.—Всѣ твои пожитки цѣлы.

— Да твоя милость дѣло другое: вѣстимо, ты ничего не украдешь; а вѣдь они съ глупа-то, не связавши руки, посадятъ всякаго ко мнѣ въ кладовую. Ну, случись кто-нибудь другой — такъ долго ли до грѣха?... Здѣсь всего довольно... Экій глупый народъ!

— Пожалуй со мною, молодецъ, — сказалъ Андрей, — я отвезу тебя въ мой скитъ. Твой слуга, кони и пожитки, все тамъ.

— Да не пообождать ли вамъ, какъ начнетъ свѣтать?— промолвилъ Филиппъ, посматривая заботливо на свои сундуки.

— И теперь доѣдемъ,—сказалъ Андрей.—Дорога то знакомая.

Они вышли на дворъ. У крыльца большой избы стояла телѣга, запряженная парой пѣгихъ лошадей. На передкѣ сидѣлъ тотъ самый рослый дѣтина, котораго Левшинъ видѣлъ на постояломъ дворѣ.

— Ну, садись, молодецъ!—сказалъ Андрей Поморянинъ Левшину. — Поѣдемъ!... Тебѣ, я чаю, пора отдохнуть: понатерпѣлся ты сегодня... Ступай, Егоръ,—продолжалъ онъ,— теперь шажкомъ, а какъ спустимся въ оврагъ, да переѣдемъ за Брынь, такъ рысью. Ну, съ Богомъ!

Когда они взъѣхали на противоположной берегъ оврага и повернули направо лѣсомъ по торной и довольно широкой дорогѣ, Левшинъ сказалъ своему спутнику:

— Вѣдь мы кажется, любезный, не въ первый разъ съ тобою видимся?

— Да,—отвѣчалъ Андрей;—мы сегодня кормили вмѣстѣ съ тобою на постояломъ дворѣ... Ну вотъ, господинъ сотникъ, ты все добивался, чтобъ я сказалъ тебѣ, куда ѣду. Видишь ли, что мы и сами не знаемъ, куда насъ приведетъ Господь? Думаешь ѣхать въ одно мѣсто, а попадешь въ другое.

— Истинно такъ, Андрей... А дозволь узнать, какъ по батюшкѣ?

— Зови меня просто Андреемъ. Вѣдь при крещеньи то двухъ именъ не даютъ.

— Мнѣ еще надо много благодарить тебя, — сказалъ Левшинъ, помолчавъ нѣсколько времени. — Еслибъ ты меня не выручилъ...

— Такъ ты бы просидѣлъ взаперти всю ночь—вотъ и все!

Левшинъ хотѣлъ было сказать, что слышалъ весь разговоръ раскольниковъ, но побоялся огорчить этимъ своего избавителя. Хотя Андрей осуждалъ и самъ поступки своихъ единовѣрцевъ, однакожъ, по всему было замѣтно, вовсе не желалъ, чтобъ посторонніе знали, до какой степени дѣла ихъ преступны и беззаконны.

— Нѣтъ, молодецъ,—продолжалъ Андрей,—не тебѣ меня, а мнѣ тебя надо благодарить: ты помѣшалъ этому безумному Пафнутію совершить злодѣяніе, которое покрыло бы стыдомъ и посрамленіемъ все наше братство. Поди-ка послѣ увѣряй, что мы всѣ, соблюдающіе старую вѣру, непричастны къ такому богопротивному дѣлу.

— Да я слышалъ,—сказалъ Левшинъ,—что это не въ первый разъ; говорятъ, въ прошломъ году здѣсь сожглись добровольно въ одномъ скиту...

— Не вѣрь, молодецъ!—прервалъ съ живостію Андрей.— Эти слухи распускаютъ враги наши. Оадѣевскій скитъ дѣйствительно сгорѣлъ прошлаго года, да его не нарочно подожгли, и коли сгорѣли въ немъ старушки двѣ или три, да человѣкъ съ пятокъ хворыхъ, такъ это потому, что они не успѣли выскочить. Вотъ то-то наша и бѣда: однажды кто-нибудь напроказитъ, и пошла навсегда слава!... Ну, кто говоритъ, въ семьѣ не безъ урода!.. Есть и у насъ отщепенцы, которые заводятъ свои толки да согласія. Мы хотимъ держаться неизмѣнно вѣры отцовъ нашихъ, а они свое выдумываютъ. Противники наши говорятъ: «Какъ, дескать, вѣрѣ вашей быть истинной вѣрою, коли у васъ повсюду раздѣленіе?»—Да когда же этого не бывало? И при апостолахъ были уже ереси; а въ первыя времена христіанскія мало ли было отступниковъ, вводящихъ всякіе нелѣпые толки; да развѣ отъ этого правая вѣра сдѣлалась неправою? Говорятъ также: «коли паства безъ пастыря—такъ овцы всѣ врозь разбредутся,—и диво ли, что тогда однѣ въ лѣсу заплутаются, а другія въ болотѣ увязнутъ?» — Паства безъ пастыря—такъ!.. Да полно, лучше ли, когда пастыремъ то стада будетъ волкъ?.. Скажи-ка, молодецъ, — продолжалъ

Андрей, замѣтивъ, что Левшинъ слушаетъ его съ большимъ вниманіемъ, — вѣдь въ вашихъ стрѣлецкихъ полкахъ, кажись, много есть такихъ, которые придерживаются старой вѣры?

— Да, много.

— А ты какъ?

— Я держусь того, что заповѣдалъ мнѣ покойный батюшка.

— Сирѣчь, ты исповѣдуешь никоніанскую вѣру?

— По вашему, видно, такъ.

— А по твоему какъ, молодецъ?

— По моему, я принадлежу къ православной соборной восточной церкви.

— Право?.. А дозволь спросить тебя: слуга твой мнѣ сказывалъ, что тебя зовутъ Димитріемъ Афанасьичемъ Левшинымъ?

— Да.

— А матушка твоя чья родомъ?

— Денисова.

— Не сестрица ли Андрею Яковлевичу Денисову?

— Родная сестра.

— Вотъ что!.. Такъ ты вѣрно слыхалъ отъ нея, что твой дядя, Андрей Яковлевичъ, человѣкъ умный, начитанный и не изъ простыхъ людей, а крѣпко держится старой нашей вѣры?

— Да, слыхалъ.

— Ну вотъ, еслибъ онъ сталъ тебѣ говорить: «Неужели ты думаешь, племянникъ, что я ни съ того, ни съ другого, а просто—такъ, очертя голову, присталъ къ старообрядцамъ?— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, повѣрь мнѣ: ваша никоніановская вѣра вовсе неправая вѣра. Желаешь ли, племянникъ, чтобъ я открылъ твои душевныя очи и наставилъ тебя на путь истинный?.. Да не бойся!.. захочу ли я зла тебѣ— сыну любимой сестры моей, одному, котораго я еще могу назвать кровнымъ и роднымъ!

Эти послѣднія слова были сказаны такимъ ласковымъ и даже нѣжнымъ голосомъ, что Левшину показалось, будто бы съ нимъ въ самомъ дѣлѣ говоритъ его дядя. Разумѣется, онъ не могъ и полминуты оставаться въ этомъ заблужденіи: дядя его никогда не былъ женатъ, а у этого Андрея Поморянина была дочь невѣста; при томъ же, по всѣмъ извѣстіямъ, Денисовъ давно уже переселился въ Стародубъ, и

если еще не умеръ, то, безъ всякаго сомнѣнія, не переѣхалъ бы подъ старость на житье въ Брынскій лѣсъ.

— Ну что же ты молчишь, Дмитрій Афанасьичъ?—продолжалъ Андрей.—Скажи, что бы ты отвѣтилъ своему дядѣ?

— Что объ этомъ толковать, любезный! — сказалъ Левшинъ.—Ты вѣрь по-своему, а я стану вѣрить, какъ мнѣ указано отъ отца и матери.

— Да ты самъ то какъ думаешь?

— Ну, если хочешь знать, изволь—скажу!.. Вотъ что бы я отвѣтилъ Андрею Яковлевичу: Дядюшка! не за свое дѣло ты берешься! У насъ есть наставники и пастыри духовные, которые имѣютъ на себѣ рукоположеніе, идущее отъ самихъ апостоловъ; а тебя кто рукоположилъ въ наставники и пастыри духовнаго стада?.. Вѣдь ты такой же мірянинъ, какъ и я. Да изъ чего ты хлопочешь?.. Ты, дядюшка, читаешь: «Вѣрую во единаго Бога Отца Вседержители», по старому,—и я также по старому; такъ мы оба исповѣдуемъ съ тобою одинаковую святую вѣру. А если въ какихъ-нибудь обрядахъ или въ другомъ-чемъ неважномъ и сдѣланы измѣненія, такъ неужели изъ этого я перестану ходить въ церковь Божію и лишу себя святого причастія?.. Избави Господи!..

— Да ты этого не понимаешь, Дмитрій Афанасьичъ,— прервалъ Андрей.—Вѣдь грѣхъ то не на тебѣ, а на тѣхъ, которые заставили тебя отдѣлиться отъ церкви; на тѣхъ, которые исказили книги духовныя.

— А можетъ статься не исказили, а исправили?.. Эхъ, любезный, про то лучше насъ съ тобою знаютъ тѣ, которыхъ для сего освѣтила и помазала сама церковь.

— Лучше знаютъ!—повторилъ съ досадою Андрей.—Да коли ваши пастыри духовные въ этомъ неправы?

— Такъ они и въ отвѣтѣ. А если я самъ начну мудрить, да собьюсь съ толку и сдѣлаюсь еретикомъ—такъ чѣмъ же я тогда оправдаюсь?...— «Нѣтъ, дядюшка!» —сказалъ бы я — «о чемъ другомъ, а объ этомъ я съ тобой и говорить то не хочу».

— Да врядъ ли бы и онъ сталъ послѣ этого говорить съ тобою,—промолвилъ вполголоса Андрей.

Разговоръ прекратился. Левшину не трудно было замѣтить, что его спутникъ былъ очень недоволенъ своей неудачной попыткою; онъ сидѣлъ, отворотясь отъ Левшина, и, казалось, вовсе не былъ расположенъ возобновить свою бе-

сѣду. Съ полчаса продолжалось это молчаніе, наконецъ, Левшинъ рѣшился заговорить опять съ угрюмымъ своимъ товарищемъ, и спросилъ, далеко ли еще осталось до его скита.

— Не знаю!—промолвилъ нехотя Андрей.—Вѣдь здѣсь версты то не мѣрныя.

— А что, любезный,—продолжалъ Левшинъ,—ты говорилъ о моемъ дядѣ Андреѣ Яковлевичѣ; — что ты зналъ что ль его.

— Нѣтъ!.. Слыхать о немъ слыхалъ, а никогда не видывалъ.

— Не знаешь ли, гдѣ онъ живетъ?

— Напрежь сего жилъ въ Стародубѣ.

— А теперь гдѣ?..

— Теперь?.. Да Богъ вѣсть!.. Можетъ статься, на томъ свѣтѣ; говорятъ, что онъ померъ.

— А вѣрныхъ извѣстій объ этомъ нѣтъ?

— Не знаю. Я на похоронахъ у него не былъ.

— Ну не ты, такъ кто ни есть изъ вашихъ.

— Да что тебѣ за дѣло, живъ ли онъ или умеръ. Тебѣ, чай, покойный батюшка заказалъ съ нимъ и знаться?

— Нѣтъ, батюшка никогда мнѣ этого не заказывалъ.

— А матушка?

— А матушка и подавно. Кабы ты зналъ, какъ она горевала о томъ, что родной братъ, который прежде жилъ съ нею душа въ душу, вовсе забылъ ее, покинулъ!...

— Неужели въ самомъ дѣлѣ горевала?...—прошепталъ Андрей.—Такъ она помнила своего брата?

— Какъ же!... Матушка бывало всегда говоритъ о немъ со слезами.

— Со слезами!... Чтожъ она, о чемъ плакала?

— Я ужь тебѣ сказалъ о чемъ.

— Да полно, о томъ ли?... Чай, думала: «какъ мнѣ не плакать! я, благодаря Господа, православная, а бѣдный братъ мой раскольникъ! я ужь навѣрное спасусь, а онъ что?... чорту баранъ!»

— Нѣтъ, Андрей, этого она никогда не говорила.

— Видно, не случалось... Да что объ этомъ!... Ну, погоняй, Егоръ: теперь дорога то пойдетъ все ровная.

Разговоръ снова прекратился. Вотъ прошло еще съ полчаса. Густой лѣсъ, по которому ѣхали наши путешественники, становился все чаще и темнѣе. Вдругъ послышался вблизи громкій лай.

— Ну, вотъ и пріѣхали!—промолвилъ Андрей.

— Пріѣхали! — повторилъ Левшинъ. — Да гдѣ же твоя усадьба?

— Вотъ прямо то, за этимъ березнякомъ.

— Я ничего не вижу.

— Какъ ближе подъѣдешь, такъ увидишь.

Дорожка повернула направо, и черезъ нѣсколько минутъ они подъѣхали къ воротамъ обширной усадьбы, которая была со всѣхъ сторонъ окружена крупнымъ березовымъ лѣсомъ. Эта усадьба была обнесена такъ же, какъ и скитъ филипповцевъ, бревенчатымъ тыномъ. Сторожъ растворилъ широкія дубовыя ворота, и Левшинъ, при свѣтѣ утренней зари, которая начинала уже заниматься, увидѣлъ передъ собою просторный дворъ, обставленный съ двухъ сторонъ высокими избами. Посреди двора подымались, по тогдашнему, довольно обширныя хоромы; къ нимъ съ правой стороны пристроена была вышка, или теремъ, съ тремя красными окнами, а съ лѣвой огромное крыльцо съ рундукомъ и широкимъ досчатымъ навѣсомъ.

Когда Левшинъ, подъѣхавъ къ этимъ хоромамъ, спрыгнулъ съ телѣги, къ нему подбѣжалъ человѣкъ, у котораго голова была обвязана бѣлымъ платкомъ.

— Батюшка!—вскричалъ онъ.—Ты живъ!... Ну, слава тебѣ Господи!

— Здравствуй, Феропонтъ!—сказалъ Левшинъ, обнимая своего вѣрнаго слугу.—Ну что, бѣдняжка, тебя больно зашибли?

— Ничего, батюшка!... Мнѣ здѣсь примочили винцомъ, такъ теперь какъ рукой сняло. Правда, шишка порядочная, съ кулакъ будетъ—да это что!... до свадьбы заживетъ.

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Андрей,—намъ обоимъ пора отдохнуть. Твой служитель покажетъ тебѣ свѣтлицу, которая для тебя приготовлена... Да не хочешь ли покушать?

— Нѣтъ, благодарю покорно!

— Да ты не опасайся, Дмитрій Афанасьичъ, — продолжалъ Андрей.—Вѣдь у нашей братьи, раскольниковъ, всегда есть про васъ, господа православные, особая посуда; небойсь—не осквернишься.

— Я этого не боюсь, любезный!—сказалъ Левшинъ,—и готовъ ѣсть съ тобой одной ложкою и пить изъ одного стакана; да я вовсе не голоденъ.

— Ну, воля твоя! Насильно угощать не стану... Прощай, молодецъ! — промолвилъ Андрей, уходя въ домъ.— Коли ѣсть не хочешь, такъ ступай, отдохни!... Ты, чай, умаялся.

— Пойдемъ, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Феропонтъ. —Намъ отвели ночлегъ вотъ здѣсь, въ этой клѣти. Знатная свѣтлица!... Теперь въ покояхъ то, чай, жарко, а въ ней такой прохладъ, что и сказать нельзя!... Пожалуй, батюшка, пожалуй!

III.

Левшинъ, вслѣдъ за своимъ слугою, вошелъ въ небольшую избушку, въ которой не было ни печи, ни полатей; въ ней горѣлъ ночникъ, и стояла кровать съ затрапезнымъ пологомъ. Въ одномъ углу лежала ихъ пожитки, оружіе и вся конская сбруя; въ другомъ—на широкой скамьѣ былъ постланъ войлокъ для Феропонта.

— Ложись-ка, батюшка, скорѣй,—сказалъ Феропонтъ, —да сосни хоть немножко. Вишь, какой выдался денекъ! И мнѣ и тебѣ ломки-то было... Господи Боже мой!

— Мнѣ вовсе спать не хочется,—отвѣчалъ Левшинъ:— а вотъ развѣ прилягу только, да отдохну.

— Ну, нѣтъ! — промолвилъ Феропонтъ зѣвая, — меня такъ больно сонъ клонитъ.

— Такъ чего жъ ты дожидаешься? Ложись да спи.

— Успѣю выспаться, Дмитрій Афанасьичъ; а благо ты почивать не хочешь, такъ разскажи-ка мнѣ лучше, что съ тобою было?

Левшинъ скинулъ съ себя верхнее платье, прилегъ самъ на кровать, а Феропонту велѣлъ сѣсть на скамью и сталъ ему разсказывать о томъ, что извѣстно уже нашимъ читателямъ. Несмотря на то, что Феропонта сильно одолѣвала дремота, онъ слушалъ съ большимъ вниманіемъ своего барина.

— Такъ они хотѣли уходить тебя? — вскричалъ онъ, когда Левшинъ кончилъ свой разсказъ. — Ахъ, они проклятые!... Ну, дай Богъ здоровья здѣшнему хозяину!... Кабы онъ тебя не выручилъ, такъ бѣды бы не миновать!

— А ты какъ сюда попалъ, Феропонтъ? — спросилъ Левшинъ.

— А вотъ какъ, батюшка: меня эти разбойники оста-

вили замертво на полянѣ, и еслибы Дарья — вотъ дѣвка-то, что была съ другими запощеванцами,—не попрыскала меня водицею, такъ я не скоро бы очнулся, а можетъ статься меня и волки бы заѣли. Вотъ какъ я очнулся и узналъ, что эти душегубцы увели тебя съ собою, такъ хотѣлъ было бѣжать въ ихъ скитъ, да Дарья то меня отговорила.— «Ты, дескать, одинъ ничего не сдѣлаешь; поѣдемъ лучше къ прежнему моему хозяину: онъ ужъ навѣрное выручитъ твоего барина». Вотъ мы и поѣхали. Этотъ Андрей принялъ насъ сначала не больно ласково, да какъ я разсказалъ ему, за что мы поссорились съ филипповцами, и какъ они меня чуть не убили, а барина моего, стрѣлецкаго сотника Дмитрія Афанасьевича Левшина, захватили живьемъ—такъ онъ—батюшки свѣты!... заторопился такъ, что и Господи! Кричитъ: «запрягай лошадей!... проворнѣй!... живо!...» Меня сдалъ на руки Дарьѣ, а самъ въ телѣгу, да и покатилъ со двора. Дарья накормила меня, примочила голову виномъ, поразболталась со мною, да такія стала рѣчи говорить, что я ротъ разинулъ. «Я, дескать, твоего барина то знаю!»—Какъ такъ?—«Ну да! я видѣла его въ Москвѣ; и дочка то моего хозяина его знаетъ. Онъ, дескать, ей очень приглянулся!»—Какъ не приглянуться!—сказалъ я:—вѣдь баринъ то мой молодецъ!—«А она то пришла ли ему по сердцу?» — спросила Дарья. — Виноватъ, батюшка! стыдно было вымолвить, что я ничего не знаю.—Какъ же!— сказалъ я, — и очень-на пришла по сердцу. Вѣдь она пригожа собою? — «У! батюшки!» — закричала Дарья, — «что твое красное солнышка!... Вотъ, Феропонтъ, кабы твой баринъ... Вѣдь онъ не женатъ?»—Нѣтъ, молъ, не женатъ.— «То то бы парочка!» — Вишь, съ чѣмъ подъѣхала! — подумалъ я. — Нѣтъ, лебедка! баринъ то мой не вашего поля ягода!... Коли онъ задумаетъ жениться, такъ не пойдетъ искать невѣсты въ раскольничьемъ скиту!... Такого молодца и богатаго помѣщика не токмо гдѣ-нибудь на городу, да и въ самой то Москвѣ бѣлокаменной съ руками оторвутъ!

— Нѣтъ, Феропонтъ, — прервалъ Левшинъ, — ты напрасно это думаешь. Я точно люблю дочь здѣшняго хозяина, и если не женюсь на ней, такъ навсегда останусь холостымъ.

— Вотъ тебѣ разъ! — прошепталъ Феропонтъ. — Ахъ, батюшки! думалъ солгать, а сказалъ правду!... Такъ она

въ самомъ дѣлѣ, Дмитрій Афанасьичъ, пришла тебѣ по сердцу?

— Да такъ то пришла, Феропонтъ, что безъ нея и жизнь не красна, и молодость не въ утѣху, и богатство хуже нищеты!

— Ну, это иная рѣчь!... Коли она тебѣ люба, такъ дѣлать нечего,—женись, батюшка!

— Ахъ, Феропонтъ, я боюсь: согласится ли ея отецъ...

— Что ты, Дмитрій Афанасьичъ! — вскричалъ Феропонтъ съ такимъ негодованіемъ, что, казалось, на эту минуту сонъ его прошелъ. — Да въ своемъ ли ты умѣ?... Чтобъ этотъ балахонникъ, у котораго и прозвища то нѣтъ, обраковалъ тебя, родословнаго человѣка, такого молодца и красавца!... Да смѣетъ ли онъ это и подумать?

— Ты, видно, забылъ, что онъ старообрядецъ?

— Такъ чтожъ?... А мы то, православные, татары что ль или нѣмцы какіе?... Кажись, мы въ одного съ ними Христа вѣруемъ!... Нѣтъ, батюшка, за этимъ дѣло не станетъ. Да вотъ, примѣромъ сказать, хоть Дарья, — продолжалъ Феропонтъ, зѣвая, — вѣдь она старообрядка, а знаешь ли, что она мнѣ говорила? — «Я, дескать, Феропонтъ, что гляжу на тебя, то больше дивлюсь. Какъ я гадала въ прошломъ году на святкахъ, такъ видѣла во снѣ вовсе не Архипку рыжаго, а тебя—точно тебя!... Видно, ты мой суженый...»— Вотъ оно, батюшка, и выходитъ... коли она... сирѣчь, Дарья...

— А что, Феропонтъ, — сказалъ Левшинъ, не замѣчая, что слуга его заснулъ,—взялъ ли бы ты за себя Дарью?.. Феропонтъ!...

— Фу ты пропасть!... вздремнулъ!... Что, батюшка Дмитрій Афанасьичъ?

— Женился ли бы ты на Дарьѣ?

— На Дарьѣ!... А почему же нѣтъ? — пробормоталъ Феропонтъ, покачиваясь на своей скамьѣ. — Дѣвка знатная... дородная... Ухъ, батюшки!... какъ на зарѣ то маритъ человѣка!... такъ глаза и слипаются!... Оно, конечно, Дмитрій Афанасьичъ... почему бы... я ужь въ лѣтахъ... и Дарья... не то чтобы... однакожъ все-таки... и тово...

Феропонтъ прошепталъ еще слова два или три, голова его помоталась нѣсколько времени то направо, то налѣво, потомъ опустилась на грудь, и онъ заснулъ этимъ богатырскимъ сномъ, о которомъ такъ часто говорятъ въ русскихъ

сказкахъ, то есть, по словамъ нашихъ древнихъ разсказчиковъ, которые любили красное словцо отпустить: «захрапѣлъ такъ, что сыръ-боръ застоналъ, и кругомъ вся земля ходуномъ пошла».

Несмотря на соблазнительный примѣръ своего слуги, Левшинъ не могъ заснуть. Тысячи различныхъ мыслей и радостныхъ и грустныхъ волновали его душу. За нѣсколько часовъ до этого онъ не могъ даже надѣяться, что останется живъ, а и того менѣе, что можетъ быть мужемъ той, которая пришла ему по сердцу. Онъ любилъ и зналъ, что его любили... Но кто она, эта краса-дѣвица, которая съ перваго взгляда сдѣлалась для него милѣе всего на свѣтѣ?... гдѣ живетъ?... какъ зовутъ ея отца?... Все это было для него загадкою. Левшинъ, конечно, не могъ ожидать, что случай сведетъ ихъ опять вмѣстѣ, и если не переставалъ думать о своей незнакомкѣ, если мечталъ иногда о какомъ то несбыточномъ счастіи, такъ это потому, что ему все-таки отраднѣе было обманывать себя этой утѣшительной мечтою, чѣмъ вовсе отъ нея отказаться, — и чтожъ?... Вотъ Левшинъ не только знаетъ теперь, кто эта незнакомка, но можетъ сказать отцу ея: «Я люблю твою дочь, она также меня любитъ, и коли ты не хочешь сгубить навѣки и ее и меня, такъ благослови насъ...»—Боже мой!—думалъ Левшинъ, — неужли въ самомъ дѣлѣ Софья можетъ быть моею женою?... О! мнѣ кажется, я не переживу этой радости!... Но если Андрей не захочетъ назвать меня сыномъ... если онъ... избави Господи!... вотъ тогда то я буду несчастливъ!... Ты встрѣтился опять съ тою, которая была уже для тебя какъ умершая... вотъ она!... жива, любитъ тебя, можетъ быть твоей женою... Ну чтожъ?... Полюбуйся на нее, посмотри, какъ она прекрасна — и простись съ нею навсегда!... Навсегда!... Отъ этой ужасной мысли сердце леденѣло въ груди бѣднаго Левшина; онъ приходилъ въ отчаяніе, а потомъ опять надежда оживала понемногу въ душѣ его.—Нѣтъ!—думалъ онъ,—Андрей вовсе не походитъ на этого безумнаго Пафнутія... Феропонтъ правду говорилъ: онъ старообрядецъ—такъ чтожъ?... А я то развѣ татаринъ или нѣмецъ?... Онъ молится по старымъ, а я по новымъ книгамъ, а все-таки мы оба молимся тому же Христу... Но онъ такъ крѣпко стоитъ за свою старую вѣру... Почему знать, можетъ быть, я въ глазахъ его хуже некрещенаго... О, Боже мой, Боже мой!—шепталъ Левшинъ,

чувствуя, что кровь снова застываетъ въ его жилахъ. — Скоро ли придетъ утро?... Ужь одинъ бы конецъ!

Левшинъ успѣлъ нѣсколько разъ повторить это желаніе прежде, чѣмъ оно исполнилось. Когда первый солнечный лучъ, прорвавшись сквозь густыя березы, заискрился на тускломъ стеклѣ единственнаго окна свѣтлицы, Левшинъ вскочилъ съ постели и накинулъ на себя верхнее платье; въ эту самую минуту постучались въ дверь.

— Кто тутъ?— спросилъ Левшинъ.

— Я, батюшка: Дарья. Можно войти?

— Ступай.

— Не погнѣвайся, господинъ честной!—сказала Дарья, входя въ свѣтлицу.— Я, можетъ статься, помѣшала тебѣ почивать?

— Нѣтъ, голубушка; ты видишь, я ужь одѣтъ.

— Вижу, батюшка!... А твой слуга, кажись, вовсе не ложился... Ахъ, сердечный: спитъ сидя!...

— Не тронь его, пусть себѣ спитъ.

— Я, батюшка, покамѣстъ у насъ никто еще не вставалъ, хотѣла съ тобой повидаться и еще разочекъ поблагодарствовать тебя за твою великую милость. Кабы не ты, Дмитрій Афанасьичъ, умирать бы мнѣ голодной смертью!...

— Что объ этомъ говорить, Дарья. И мнѣ бы также худо пришло, если-бъ ты не проводила Феропонта къ твоему хозяину. Скажи-ка лучше мнѣ...—промолвилъ запинаясь Левшинъ.

— Что, батюшка?... Знаетъ ли Софья Андреевна, что ты здѣсь?... Какъ же!... Ну, Дмитрій Афанасьичъ... хотя бы мнѣ вовсе не слѣдъ объ этомъ говорить, да ужь такъ и быть—скажу! .. Заполонилъ ты ее совсѣмъ! .. Вотъ, подумаешь, что на роду то написано, такъ того никакъ не минуешь. И то ужь диво, что вы другъ съ другомъ въ Москвѣ повстрѣчались, а теперь опять сошлись въ Брынскихъ лѣсахъ!... Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ, кабы ты зналъ, какъ она обрадовалась!... Всю ночь на пролетъ не почивала: и плачетъ, и смѣется, и Богу молится!... Теперь пошла на огородъ поливать свои любимые цвѣточки... Да не хочешь ли ты, батюшка, туда прогуляться?... А есть чего посмотрѣть: огородъ у насъ такой знатный!... Сколько яблонь, вишень!... Коли хочешь, я тебя провожу....

Левшинъ не могъ отвѣчать ни слова: вся кровь прилила къ его сердцу. Мысль, что черезъ минуту онъ увидитъ

Софью и станетъ говорить съ нею, возбудила въ душѣ его такую радость, такой восторгъ—и въ то же время такой болѣзненный, неизъяснимый трепетъ, такое чувство боязни, что онъ не зналъ, на что рѣшиться, и въ первую минуту почти готовъ былъ отказаться отъ этого счастія. Кто истинно любилъ, тотъ пойметъ это чувство и, вѣроятно, не станетъ смѣяться надъ Левшинымъ и дивиться, какъ дивилась Дарья, которая не могла понять, чего онъ дожидается.

— Ну, чтожъ, молодецъ? — сказала она. — Иль ты не хочешь полюбоваться нашимъ огородомъ?... Вѣдь какъ всѣ подымутся, — промолвила Дарья вполголоса, — такъ Софья то Андреевна уйдетъ опять въ свой теремъ.

— Ну, пожалуй, — прошепталъ наконецъ Левшинъ, съ трудомъ переводя дыханіе.—Пойдемъ!...

— Пожалуй! — повторяла про себя Дарья, идя дворомъ и поглядывая на Левшина, который шелъ вслѣдъ за нею.— Пожалуй!... Чтожъ это?... Ужь полно, любитъ ли онъ ея?... Смотри, какъ нехотя идетъ!... Словно его насильно тащутъ... Ну, если и онъ такъ же, какъ Архипка рыжій, скажетъ: «Я твой суженый, да не ряженый!»... Чего добраго!... Можетъ статься, и этотъ пострѣлъ помолвленъ на какой-нибудь Дуняшкѣ!...

Левшинъ и его проводница дошли, не встрѣтивъ никого, до высокаго частокола, которымъ отдѣлялся отъ двора и всѣхъ строеній обширный плодовитый садъ, или, по тогдашнему, огородъ.

— Пожалуй сюда, Дмитрій Афанасьичъ,—сказала Дарья, отворяя калитку.—Вотъ тутъ, за этимъ вишнякомъ, растутъ у насъ подсолнечники, да еще какіе, батюшка: выше тебя ростомъ. Бывало, я ухаживала за ними вмѣстѣ съ Софьей Андреевной; а съ той поры, какъ батюшка ея вывезъ изъ Москвы два кустика махровыхъ розановъ, такъ она на подсолнечники и смотрѣть не хочетъ... Сюда, батюшка, сюда, по этой тропинкѣ... Ну, вотъ и Софья Андреевна...

Я не берусь описать вамъ то, что почувствовалъ Левшинъ, когда увидѣлъ передъ собою Софью. Она стояла, наклонясь надъ кустомъ розановъ; одна рука ея была плотно прижата къ сердцу, другой она обрывала съ куста сухіе листья. Длинныя черныя рѣсницы ея опущенныхъ глазъ рѣзко отдѣлялись отъ помертвѣвшаго лица, блѣднаго какъ бѣлый мраморъ, но все еще прекраснаго и исполненнаго необычайной прелести. Несмотря на ея положеніе, не

трудно было отгадать, что въ эту минуту она вовсе не думала о розанахъ, на которые смотрѣла. Рука ея дрожала, высокая бѣлоснѣжная грудь сильно волновалась. Она не подымала глазъ: ея дѣвственный, стыдливый взглядъ не повстрѣчался еще съ пламеннымъ взоромъ влюбленнаго юноши, но сердце въ ней чувствовало близость того, чей милый образъ не покидалъ ее ни днемъ, ни ночью, кто былъ единственнымъ предметомъ всѣхъ тайныхъ думъ ея, надеждъ и робкихъ ожиданій.

— Софья Андреевна!—сказала Дарья.—Ты хотѣла сама поблагодарить за меня Дмитрія Афанасьича... Ну, вотъ онъ!

Блѣдное лицо красавицы вспыхнуло; она приподнялась, хотѣла что-то сказать, но слова замерли на устахъ ея. Левшинъ также не могъ вымолвить ни слова. И до рѣчей ли тому, кто чувствуетъ себя вполнѣ счастливымъ; а въ эту минуту Левшинъ былъ совершенно счастливъ. Жадные взоры его насыщались наконецъ давно желаннымъ благомъ; въ нихъ переселилась вся душа его: онъ смотрѣлъ съ восторгомъ на Софью и молча наслаждался этимъ неожиданнымъ блаженствомъ.

— Ну чтожъ ты, матушка Софья Андреевна, — сказала Дарья,—промолви хоть словечко!

Вотъ розовыя губки стыдливой красавицы зашевелились, и она прошептала едва слышнымъ голосомъ:

— Дай Богъ тебѣ здоровья, Дмитрій Афанасьичъ!... Коли Дарья смотритъ теперь на свѣтъ Божій, такъ это по твоей милости...

— А я то, Софья Андреевна, — прервалъ Левшинъ,— развѣ не по ея милости вижу тебя и разговариваю съ тобою?

— Вотъ это дѣло на-стать!—молвила про себя Дарья;— а то сошлись, да ни словечка!... Ну, чтожъ вы стоите?— продолжала она.—Присядьте на этой скамеечкѣ рядкомъ, да поговорите ладкомъ, а я межъ тѣмъ цвѣточки полью.

Левшинъ и Софья сѣли на скамью, которая стояла посреди небольшой куртины мелкихъ вишневыхъ деревьевъ.

— Я слышала отъ Дарьи,—сказала Софья,—что тебя чуть не убили, Дмитрій Афанасьичъ....

— Небольшая бѣда, еслибъ меня и убили,—промолвилъ съ грустію Левшинъ.—Вѣдь я сирота: обо мнѣ пожалѣть некому.

— Некому!—повторила съ живостію Софья.—Некому!... И ты можешь это думать?

Эти слова были сказаны такимъ нѣжнымъ голосомъ, что Левшинъ совершенно обезумѣлъ отъ радости.

— Такъ ты стала бы жалѣть обо мнѣ?—спросилъ онъ робкимъ голосомъ.—Такъ ты любишь меня?

Вмѣсто отвѣта, Софья потупила опять свои ясныя очи и закраснѣлась какъ маковъ цвѣтъ.

— О! скажи мнѣ, Софья!—шепталъ Левшинъ;—скажи, что ты меня любишь!

— Да развѣ ты этого не видишь?—промолвила Софья.— И зачѣмъ мнѣ таиться?... Можетъ быть мы никогда уже не встрѣтимся другъ съ другомъ, и я въ разлукѣ съ тобой зачахну съ горя—такъ все-таки сердцу будетъ польготнѣе, когда, умирая, подумаю: «онъ знаетъ, какъ я люблю его!»... Да, Дмитрій Афанасьичъ!—продолжала она, устремивъ на Левшина взоръ, исполненный неизъяснимой любви.— Да! я люблю тебя болѣе всего на свѣтѣ—ты милѣе для меня отца и матери...

— А я, Софья, — прервалъ Левшинъ, — я не найду и рѣчей, чтобъ высказать тебѣ все, что у меня на сердцѣ. Кабы ты знала, какъ я тосковалъ о тебѣ!... Весь Божій міръ мнѣ опостылѣлъ, для другихъ было и ведро красное и свѣтлые лѣтніе денечки, а для меня все непогодица и осень темная!... Мнѣ казалось, что и солнышко меня не грѣетъ, что и свѣтитъ то оно не для меня!... Только и бывало радости, какъ увижу тебя во снѣ, моя ненаглядная!... Да и тутъ бѣда: во снѣ то я радуюсь, а какъ проснусь, такъ мнѣ пуще Божій свѣтъ не взмилится; вотъ такъ бы и легъ живой въ могилу!... И могъ ли я думать, что увижусь съ тобою здѣсь?... О, повѣрь мнѣ: самъ Господь Богъ благословляетъ любовь нашу!... Не будь вчера грозы, не заплутайся я въ лѣсу, не поссорься съ филипповцами, и мнѣ бы вѣкъ не узнать, что ты живешь въ этихъ Брынскихъ лѣсахъ,—такъ какъ же не самъ Господь привелъ меня опять увидѣться съ тобою.

— Да на долго ли мы свидѣлись?—промолвила Софья.— Ахъ, чуетъ мое сердце: скоро мы опять разстанемся и, можетъ статься, эта разлука будетъ уже вѣчной разлукою!

— Вѣчной разлукою?—вскричалъ Левшинъ.—О, нѣтъ, Софья! теперь ужь я не разстанусь съ тобою!... Да не плачь, мой милый другъ!... Богъ милостивъ! .. Я богатъ, у меня нѣтъ ни отца, ни матери, мнѣ не у кого спраши-

ваться... Я откроюсь во всемъ твоему батюшкѣ, скажу ему, что ты меня любишь...

— Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ; не знаешь ты его!... Коли ты не придешь ему по нраву, не посмотритъ онъ на мои слезы!...

— Да развѣ онъ тебя не любитъ?

— Говорятъ, что любитъ, да, видно, по-своему. Онъ ничего для меня не жалѣетъ, у меня всего довольно, да зато, коли онъ чего не захочетъ, такъ Боже сохрани сказать ему словечко вопреки. Ты сирота, Дмитрій Афанасьичъ, да вѣдь и я также сирота. Батюшка такъ рѣдко бываетъ со мною ласковъ; порадуетъ иногда, приголубитъ... да какъ будто бы самъ этого испугается; ну, словно я ему вовсе чужая. А покойную матушку я даже и не помню. Хотѣлось бы иногда поговорить о ней съ батюшкой, да не смѣю: онъ этого не любитъ. Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ, кабы ты зналъ, что подъ-часъ приходитъ мнѣ въ голову!... Страшно вымолвить!...

— А что такое, Софья?...

— Мнѣ кажется иногда...

— Ну, молодецъ!—раздался въ кустахъ рѣзкій голосъ,— видно, ты всталъ вмѣстѣ съ солнышкомъ!

Левшинъ и Софья вскочили: позади ихъ стоялъ Андрей.

— Не больно же ты умаялся, Дмитрій Афанасьичъ,— продолжалъ Андрей. — Вотъ твой слуга, такъ его насилу добудились... Да и ты что то, Софья, поднялась сегодня ни свѣтъ, ни заря.

— Я, батюшка, пришла сюда...—промолвила Софья.

— Добро, добро! — прервалъ Андрей;—нечего отвѣчать, коли тебя не спрашиваютъ!... Утренняя роса вредна для дѣвушекъ. Ступай-ка, голубушка, въ свою свѣтлицу. А тебѣ, молодецъ,—промолвилъ онъ, провожая глазами уходящую Софью,—пора въ дорогу; кони ваши осѣдланы... съ Богомъ!...

— Позволь мнѣ прежде,—сказалъ Левшинъ,—переговорить съ тобой.

— Со мной!... О чемъ?... Ужь не о томъ ли, что ты зашелъ ко мнѣ въ огородъ нечаянно; что вовсе не думалъ и не гадалъ повстрѣчаться здѣсь съ молодою дѣвушкою?...

— Нѣтъ, Андрей, я пришелъ сюда нарочно.

— Нарочно?...

— Я хотѣлъ повидаться съ твоею дочерью.

— Вотъ что!... Спасибо, молодецъ!...

— Выслушай меня: я люблю Софью Андреевну...

— Что, что?... Ты любишь Софью?.. Да чтожъ ты прежде то во снѣ что ль ее видѣлъ?...

— Я видѣлъ ее въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ?... Что ты, молодецъ!... Да въ Москвѣ то она и на крылечко никогда не выходила.

— Я жилъ вмѣстѣ съ вами на Мещовскомъ подворьѣ, въ небольшомъ покойчикѣ, рядомъ...

— Съ свѣтлицей моей дочери?—прервалъ съ живостію Андрей.—И хозяйка пустила тебя?... Проклятая старуха!... Ужь я ли ей не заказывалъ..

— Не гнѣвайся, Андрей!... Мнѣ въ Москвѣ не удалось даже и поговорить съ Софьей Андреевной; но теперь, когда я знаю, что она меня любитъ...

— А ты ужь успѣлъ это узнать?... Ну, молодецъ, проворенъ ты!

— Ахъ, Андрей!—сказалъ Левшинъ,—будь милостивъ!.. Не погуби навѣки и меня, горемычнаго сироты, и твоей родной дочери!... Благослови насъ...

Андрей не отвѣчалъ ни слова, но только угрюмые взоры его сдѣлались еще мрачнѣе.

— Я самъ себѣ господинъ,—продолжалъ Левшинъ:—у меня хорошее помѣстье; ты знаешь, что я человѣкъ родовой и служу сотникомъ въ стрѣлецкомъ войскѣ...

Андрей взглянулъ съ такой презрительной и насмѣшливой улыбкою на Левшина, что онъ совершенно смутился и не могъ продолжать начатой рѣчи. Съ полминуты продолжалось молчаніе.

— Ну, чтожъ, Дмитрій Афанасьичъ, — молвилъ наконецъ Андрей,—ты родовой человѣкъ, стрѣлецкій сотникъ, богатый помѣщикъ... Нѣтъ ли еще чего-нибудь?... Ужь ты разомъ все высказывай, а тамъ я повалюсь тебѣ въ ноги и завоплю: Батюшка! чѣмъ заслужилъ я такую милость, что ты, знатный господинъ, желаешь породниться со мною, недостойнымъ раскольникомъ и безъимяннымъ человѣкомъ?... Да стоитъ ли моя Сонька того, чтобъ ты изволилъ ее назвать своей супругою?... Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, велика честь, а принять ея не смѣю. Гдѣ намъ, простымъ людямъ, нарохтиться въ такое знаменитое родство!

— Да я не ради хвастовства говорилъ объ этомъ, — прервалъ Левшинъ;—а для того, чтобъ ты зналъ, что дочь твоя будетъ жить во всякомъ довольствѣ.

— Такъ, Дмитрій Афанасьичъ, такъ!... А вѣдь она то у меня, сердечная, живетъ въ нуждѣ.

— Я не говорю этого.

— Конечно, ты бы и меня тогда пристроилъ къ мѣстечку: на первыхъ порахъ взялъ бы къ себѣ въ приказчики, а тамъ, глядишь, я и въ дядьки бы попалъ къ своимъ внучатамъ.

— Ты напрасно это говоришь, Андрей!... Я сталъ бы тебя любить и почитать какъ отца родного.

— И, что ты, господинъ честной! .. Ну, пригоже ли простому балахоннику называть сыномъ родового человѣка и такого знаменитаго сановника!

— О, ради Бога!—вскричалъ Левшинъ, почти съ отчаяніемъ,—коли ты не хочешь выдать за меня твоей дочери, такъ не глумись надо мной, а скажи прямо!

— Ты желаешь этого?... Такъ слушай, Дмитрій Афанасьичъ!... Еслибы ты былъ изъ нашихъ, то и тогда я не ударилъ бы съ тобою по рукамъ, не узнавъ тебя хорошенько. И какъ въ голову тебѣ пришло, что я отдамъ мою дочь за перваго проѣзжаго молодца?... Богатствомъ ты меня не удивишь, а чиномъ своимъ и подавно; да это все ничего!... Будь ты въ самомъ дѣлѣ знаменитымъ сановникомъ, воеводою, думнымъ бояриномъ,—чѣмъ хочешь, а все-таки моей дочери не бывать за тобою... Я воспиталъ ее въ правой вѣрѣ, такъ отдамъ ли въ руки никоніанца, который совратитъ съ истиннаго пути и погубитъ навѣки ея душу.

— Да развѣ, Андрей, я не такой же христіанинъ, какъ ты?

— И нѣмцы говорятъ то-же. Спроси у любого лотаря, какой онъ вѣры, такъ и тотъ отвѣтитъ, что онъ христіанинъ... Да что толковать объ этомъ!... Вотъ тебѣ мой отвѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ: еслибъ мнѣ сказали, что дочь моя умретъ сегодня же, коли я не выдамъ ее за того, кто исповѣдуетъ никоніанскую вѣру, такъ я бы пошелъ и самъ сколотилъ ей гробъ. Прощай, молодецъ.

Хотя Левшинъ и долженъ былъ ожидать этого рѣшенія, но оно поразило его какъ внезапный громовой ударъ. Какъ бы не былъ увѣренъ подсудимый, что для него нѣтъ никакой пощады, но онъ все еще чего то надѣется и, его, конечно, не столько поразитъ прощеніе, котораго онъ не могъ ожидать, чѣмъ строгій приговоръ, къ которому онъ былъ уже приготовленъ. Прошло нѣсколько минутъ, а Лев-

шинъ все еще не могъ опомниться: онъ стоялъ неподвижно на прежнемъ мѣстѣ. Въ головѣ его не было ни одной мысли; онъ смотрѣлъ и ничего не видѣлъ, повторялъ послѣднія слова Андрея и не понималъ ихъ; но на груди его лежала свинцовая гора, и онъ, хотя смутно, какъ во снѣ, однакожъ чувствовалъ, что съ нимъ случилось что то ужасное. Можетъ быть, Левшинъ пробылъ бы еще долго въ этомъ полусознательномъ состояніи, еслибъ не послышался ему въ двухъ шагахъ голосъ вѣрнаго его слуги.

— Пожалуй, Дмитрій Афанасьичъ! — сказалъ Феропонтъ.—Все готово.—Теперь то настоящая и ѣзда; по холодку ѣхать и конямъ легче и намъ привольнѣе. Да насъ же,—продолжалъ онъ вполголоса,—только что не въ шею отсюда гонятъ!... Поѣдемъ, батюшка!

Левшинъ молча пошелъ вслѣдъ за Феропонтомъ; они сѣли на коней, и когда выѣхали за ворота скита, изъ сторожки выглянула Дарья и сказала шопотомъ Феропонту: «Смотри же, голубчикъ, не забудь: Аксинья Никитишна».

— Небойсь, лебедка, не забуду! — промолвилъ также шопотомъ Феропонтъ.

— Ну, прощай, добрый молодецъ!

— Прощай, мое солнышко весеннее! — сказалъ Феропонтъ, подмигнувъ Дарьѣ и на дѣвая набекрень свою войлочную шапку.

IV.

Когда наши путешественники отъѣхали съ полверсты отъ скита, Феропонтъ сказалъ своему барину: «Ну, батюшка, какого мы дали крюку!... Я все разспросилъ порядкомъ. Отъ постоялаго двора, гдѣ мы вчера кормили, до села Толстошеина считаютъ съ небольшимъ двадцать верстъ; а теперь намъ придется ѣхать верстъ шесть до одного раскольничьяго скита: въ немъ живутъ какіе то федосѣевцы, съ которыми Андрей Поморянинъ и знаться не хочетъ. Отъ этого скита до полсела Куклина безъ малаго пятнадцать верстъ, а отъ Куклина до Толстошеина почитай то же, анъ и выходитъ гораздо за тридцать. Да это бы еще ничего, а вотъ что худо, Дмитрій Афанасьичъ: лошадки наши сѣнца пощипали, а овса то не успѣли перехватить. И на водопой ихъ не водили... Да что это хозяинъ нашъ такъ заторопился?... Какъ разбудили меня, я вскочилъ—глядь: а ужь

кони осѣдланы!... Вотъ они раскольники то, батюшка!... Нѣтъ, мы, православные, не такъ гостей принимаемъ: кушай вдоволь, спи себѣ до полудня, прохлаждайся, а пришла пора ѣхать, такъ мы и ворота на запоръ!... А это что?—«Просимъ, дескать, милости!—Рады гостю дорогому... Только не засиживайся, а не то въ шею!...» Ну что, батюшка, успѣлъ ли ты намекнуть Андрею о своемъ дѣльцѣ?..

— Онъ все знаетъ,—сказалъ Левшинъ.

— Ну чтожъ?

— Что, Феропонтъ!... Не судилъ мнѣ Господь быть счастливымъ!

— Какъ такъ?... Да неужли онъ не выдаетъ за тебя своей дочери?

— И слышать не хочетъ!

— Нѣтъ!... Да чтожъ онъ—рехнулся что-ль!... Коли ты ему не зять, такъ за кого же онъ хочетъ выдать свою дочь?... Ахъ, онъ, балахонникъ проклятый!... Ужь не прочитъ ли онъ свою дочку за какого-нибудь знаменитаго воеводу?... Вишь, бояринъ какой!... Сермяжникъ этакій!... Да ты, батюшка, не кручинься!—продолжалъ Феропонтъ, посматривая съ участіемъ на своего барина.—Это еще дѣло поправное.

— А какъ ты его поправишь? — сказалъ Левшинъ.— Ужь не думаешь ли ты, что я забуду Софью... полюблю другую?...

— И это бываетъ, Дмитрій Афанасьичъ...

— О, нѣтъ, Феропонтъ!... Я ужь тебя говорилъ, что безъ нея и жизнь мнѣ не красна... Мнѣ и прежде было тяжело, а теперь... о, теперь... я вѣрно зачахну съ горя!... Да не качай головою: вотъ какъ тоска сведетъ меня въ могилу, такъ по неволѣ повѣришь!...

— Эхъ, батюшка баринъ!... Да почему-жъ ты говоришь, что тебѣ стало теперь еще тяжелѣе?... А прежь сего зналъ ли ты, гдѣ живетъ твоя красавица?

— Нѣтъ. Я не зналъ даже, кто ея отецъ и какъ его зовутъ.

— Ну, видишь ли!... Вотъ тогда было отъ чего кручиниться — поди ка, отыщи на святой Руси того, кого не знаешь по имени!... А теперь то-ли дѣло: ты знаешь, гдѣ она живетъ, да и мы то станемъ жить близехонько: отъ села Толстошеина до Андреева скита рукой подать... Мало ли что можетъ случиться? Вѣрнѣй всего, что самъ Андрей

спохватится. Вѣдь онъ это такъ—съ дуру тебя ошеломилъ!... А нето хотѣлъ почваниться, да поломаться надъ тобой. Погоди, батюшка, перемелется рожь — будетъ мукой!... Дочка станетъ къ нему приставать, а ты межъ тѣмъ вѣсточки отъ нея получать будешь.

— Вѣсточки!... Да черезъ кого-же?

— Ну ужь такъ и быть, все тебѣ скажу!... Вѣдь Дарья то стоитъ въ томъ, что она моя суженая; коли правду сказать, такъ и я не прочь—дѣвка такая здоровенная, знатной будетъ работницей!... Вотъ она мнѣ и сказала: «Есть, дескать, у меня знакомая старушка, Аксинья Никитишна; живетъ она въ скиту Федосѣевскаго согласія; вы мимо его поѣдете. Поклонись ей и скажи, чтобъ она ждала меня къ себѣ въ будущее воскресенье; а ты и самъ, молодецъ, пріѣзжай изъ села Толстошеина, такъ и со мной повидаешься и барину твоему привезешь вѣсточку отъ Софьи Андреевны».

— Ну чтожъ, Феропонтъ, ты, вѣрно, обѣщалъ?

— Вѣстимо, батюшка!... Коли дѣвица красная зоветъ на свиданьице, такъ молодцу не пригоже отнѣкиваться. Ну, Дмитрій Афанасьичъ! правду ли я тебѣ говорилъ, что дѣло то поправное?... Андрей поупрямится, да какъ увидитъ, что съ дочкой то дѣлать нечего...

— Нѣтъ!—прервалъ Левшинъ,—онъ не сжалится надъ ея слезами. Андрей сказалъ мнѣ, что ему легче видѣть свою дочь въ гробу, чѣмъ женою того, кто исповѣдуетъ никоніанскую вѣру.

— Такъ вотъ что?... Ну, коли этотъ шальной станетъ все упираться, такъ чтожъ?... Или доброму молодцу въ нареканьи оставаться?... Что, въ самомъ дѣлѣ: была бы только ея воля, а вѣдь она не за тремя каменными стѣнами живетъ!... Подъѣхалъ вечеркомъ на лихой тройкѣ, притаился на задахъ, да и жди урочнаго часу. Ей долго ли,—шмыгъ въ калитку, а мы и тутъ!... Подъ бѣлы руки, въ телѣгу—да и катай!

— И ты думаешь, она согласится?

— И, батюшка! коли любитъ, такъ на все пойдетъ... Кто и говоритъ: съ отцовскимъ благословеньемъ лучше; да коли отецъ то этакой упрямый лѣшій!... А знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ: можетъ статься, онъ и радехонекъ будетъ, коли ты дочку то его сманишь?

— Почему ты это думаешь!

— Да какъ же, батюшка: она выйдетъ за богатаго помѣщика, а онъ передъ своей братьей старообрядцами правъ останется. «Моей, дескать, воли не было, братцы: дѣвка то не спросясь меня подъ вѣнецъ пошла. А ужь коли ихъ повѣнчали, такъ дѣлать нечего, развѣнчивать не станутъ».

Несмотря на то, что всѣ эти предположенія и надежды казались Левшину не очень сбыточными, онъ слушалъ съ жадностію утѣшительныя рѣчи Феропонта. Левшинъ выѣхалъ изъ Андреева скита съ отчаяніемъ въ сердцѣ, а теперь хотя и не смѣлъ ни на что надѣяться, но ужь и то было для него большою отрадою, что Софья можетъ, хотя изрѣдка, давать ему о себѣ вѣсточку. Мало-по-малу на сердцѣ у него стало полегче: «Богъ вѣсть»,—думалъ онъ,—«когда я увижу опять Софью?... Но, по крайней мѣрѣ, буду знать, что съ ней дѣлается; можетъ быть, Андрей и въ самомъ дѣлѣ сжалится надъ своею дочерью; а коли не сжалится, да еще задумаетъ выдать ее насильно замужъ, такъ я узнаю объ этомъ—и тогда... о! только бы Софья то захотѣла, а ужь я выручу ее!»

Наши путешественники проѣхали версты четыре, не говоря ни слова. Дорожка, по которой они съ трудомъ пробирались, была проложена по сыпучимъ пескамъ; кругомъ не видно было ни травки, ни цвѣточка. Одной отрадой для глазъ были сучковатыя ели, высокія сосны съ своей мертвой зеленью и кой-гдѣ небольшія лужайки, поросшія, вмѣсто травы, желтоватымъ мхомъ и мелкими кустами можжевельника.

— Эхъ, батюшка!—промолвилъ наконецъ Феропонтъ,—пора бы намъ коней напоить: вишь, какъ у нихъ пахи то подвело!... Они, сердечные, со вчерашняго дня капли воды не видали... Да и мѣста то здѣсь какія!... Вотъ ужь я давно посматриваю, нѣтъ ли гдѣ травки или проточной водицы,—нѣтъ какъ нѣтъ!... Дождевыя водопромоины пополамъ съ пескомъ, да сухія еловыя шишки—кушай и пей себѣ на здоровье!...

— А вотъ мы, чай, скоро доѣдемъ до этого скита, гдѣ живетъ Дарьина знакомая.

— Кажись бы надо скоро доѣхать. Да шутъ ихъ знаетъ: скажутъ шесть верстъ, а глядишь—всѣ десять!... Постой ка, Дмитрій Афанасьичъ! Видишь, вонъ тамъ избушка какая то?... Можетъ статься и колодезь есть... Поѣдемъ ка, батюшка, поскорѣе.

Путешественники подъѣхали къ небольшой избѣ, у которой тесовая кровля была окаймлена со всѣхъ четырехъ сторонъ широкимъ жолобомъ; на углахъ были сдѣланы деревянные отливы, а отъ нихъ проведены другіе жолобья въ огромной величины плетушку, обмазанную снаружи и изнутри глиною; эта плетеная посудина походила на большой продолговатый чанъ и была почти вся наполнена водою.

— Вотъ знатный водопой!—сказалъ Феропонтъ, остановивъ свою лошадь. — Смотри, Дмитрій Афанасьичъ, какъ ухитрились!... Простая плетушка, а вода то въ ней стоитъ какъ въ чану!... Сойдемъ-ка, батюшка, съ коней, такъ я ихъ обоихъ разомъ напою.

— Что вы, что вы?—вскричалъ, выходя изъ избы, небольшого роста мужикъ съ калмыковатымъ лицомъ, косматой головою и жиденькой свѣтлорусой бородкой.—Не смѣйте поить здѣсь лошадей!... Не оскверняйте воды небесной!

— Воды небесной? — повторилъ Феропонтъ. — А! вотъ что!... Это у тебя дождевая водица... Такъ чтожъ, дядя: и по лужамъ то вездѣ дождевая вода... Чѣмъ она лучше другой?

— То по лужамъ, а развѣ ты не видишь, что это купель?

— Купель?.... Что ты, перекрестись!.... Какая это купель!

— Полно, Феропонтъ,—прервалъ Левшинъ. — Не наше дѣло. Послушай-ка, любезный: коли здѣсь нельзя, такъ укажи, гдѣ намъ напоить коней.

— Да вотъ недалеко отсюда рѣчка; ступайте прямо: тамъ можно поить лошадей; ужь что осквернено, того не осквернишь.

— Поѣдемъ, Феропонтъ.

— Постойте-ка, постойте! — сказалъ хозяинъ избы.— Вы люди, кажись, добрые; хотите ли, братцы, омыть грѣхи ваши и окреститься крещеньемъ истиннымъ?

— Ахъ, ты полоумный этакій!—вскричалъ Феропонтъ.— Вотъ еще что вздумалъ!... Да развѣ мы люди некрещеные?..

— Нѣтъ, братцы!... Или вы не знаете, что наступили времена антихристовы, и ничего уже нѣтъ чистаго на землѣ?... Нѣтъ ни рѣкъ, ни озеръ, ни источниковъ, ни кладезей, ни студенцевъ, которые не были бы осквернены прикосновеніемъ окаянныхъ слугъ антихристовыхъ. А коли неосквернённой воды не обрѣтается на всемъ лицѣ земли,

такъ не подобаетъ ли намъ креститься во единой водѣ, иже съ небесъ исходитъ?

— Сирѣчь дождевой?—сказалъ Левшинъ.—Да ужь мы, дядя, въ ней вчера покупались—нитки живой на тѣлѣ не осталось.

— Поѣдемъ, батюшка,—прервалъ съ примѣтной досадою Феропонтъ. — Что слушать этого шальнаго!... Вишь, онъ, какъ съ перепоя, и самъ не знаетъ, что говоритъ.

— Послушайтесь, братцы! — кричалъ имъ вслѣдъ хозяинъ избы.—Эй, говорю вамъ, примите крещеніе въ водѣ небесной, да не помянутся грѣхи ваши!... Не губите вашихъ душъ—послушайтесь меня!

— Дери горло то, дери!—шепталъ про себя Феропонтъ. —Вотъ напустилъ на себя какую дурь—уродина этакій!... Ну, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, народецъ живетъ въ здѣшней сторонѣ!... Что это такое?... Съ виду люди какъ люди, а съ любымъ заговори,—понесетъ такую околесную, что уши вянутъ!... Ну, гдѣ видано, чтобы крещеныхъ людей перекрещивали?... И добро бы еще онъ былъ чернецъ или церковникъ какой, а то простой сермяжникъ!... Да ему, лапотнику, и мордвина не слѣдъ крестить... Кто его въ попы то ставилъ—чучела этакая!

— Эхъ, Феропонтъ, охота тебѣ сердиться! — сказалъ Левшинъ.

— Да какъ же, Дмитрій Афанасьичъ,—обидно!... Ужь эти раскольники хотятъ насъ, православныхъ, перекрещивать!... Скопилъ въ плетушкѣ дождевой водицы, да и кричитъ: «Креститесь, братцы, крещеньемъ истиннымъ!»— Эхъ, батюшка! будь я безъ тебя, такъ я бы этого перекрещеванца окрестилъ по своему!... Пересталъ бы онъ у меня свою плетушку купелью называть!... Кабы ребра два не дощупался, такъ заказалъ бы и другу и недругу перекрещивать православныхъ христіанъ.

— Ну, вотъ еще! — прервалъ Левшинъ. — Вчера было намъ за что драться съ раскольниками, а теперь изъ чего мы станемъ съ ними ссориться?

— Такъ, батюшка, такъ!... Да зло беретъ!... Чтожъ, въ самомъ дѣлѣ, мы ихъ зовемъ только раскольниками, а они ужь насъ крестить хотятъ!... Словно мы жиды какіе.

Въ продолженіе этого разговора наши путешественники подъѣхали къ небольшому холму, у подошвы котораго струился широкій ручей. По всему скату холма и по бе-

регу ручья разбросаны были, въ живописномъ безпорядкѣ, высокія избы и низкія лачужки. Этотъ скитъ, совершенно похожій на обыкновенныя деревни, не былъ обнесенъ изгородью, и только по одной *молельнѣ*, на кровлѣ которой водруженъ былъ осьмиконечный крестъ, можно было догадаться, что тутъ жили раскольники. Надъ ручьемъ, противъ самой молельни, стоялъ деревянный шатеръ, надъ которымъ также возвышался осьмиконечный крестъ.

— Послушай-ка, любезный!—сказалъ Феропонтъ одному молодому парню, который ѣхалъ порожнякомъ въ телѣгѣ навстрѣчу къ нашимъ путешественникамъ.—Вѣдь это скитъ Федосѣевскаго согласія?

— Ну, да!—отвѣчалъ парень, взглянувъ съ любопытствомъ на проѣзжихъ.

— Укажи-ка намъ, молодецъ, гдѣ живетъ здѣсь Аксинья Никитишна.

— Бабушка Аксинья—портниха?... А вотъ съ краю то третья изба—противъ самой іордани.

— Сирѣчь, вотъ этого шатра, что на рѣчкѣ то?

— Шатра?... Какого шатра?... Тебѣ говорятъ: противъ іордани... Развѣ шатры съ крестами то бываютъ?

Феропонтъ и Левшинъ, подъѣхавъ къ низенькой избушкѣ, сошли съ коней; подъ окномъ на завалинѣ сидѣла пожилая баба лѣтъ шестидесяти; на ней, сверхъ синяго сарафана, который отличался покроемъ отъ нынѣшнихъ только тѣмъ, что былъ вовсе безъ грудной выемки, надѣта была сѣрая суконная тѣлогрѣя съ красной оторочкою. На головѣ ея была бисерная повязка и большая фата изъ пестрой бумажной матеріи. Наружность этой старухи была весьма пріятная: ея умные голубые глаза одушевлялись веселостію, а правильныя черты лица и нѣкоторые остатки прежней красоты доказывали, что нѣкогда она была очень хороша собою.

— Не ты ли, бабушка, Аксинья Никитишна? — спросилъ Феропонтъ.

— Я, кормилецъ, — отвѣчала старуха. — Что тебя надобно?

— Мы были въ скиту Андрея Поморянина, и меня Дарья просила отвезти тебѣ поклонъ.

— Спасибо, молодецъ, спасибо!... Ну, что она, по добру ли, по здорову?

— Все слава Богу!... Сбирается къ тебѣ въ гости.

— Милости просимъ! Давно пора.

— Жди ее, бабушка, къ себѣ въ будущее воскресенье.

— Будемъ ждать, мой отецъ, будемъ!

— Да ужь и я, Аксинья Никитишна, твой гость.

— Ты, батюшка?... А ты зачѣмъ ко мнѣ пожалуешь?

— Да вѣдь Дарья то моя суженая.

— Вотъ что?... Ну, батюшка, милости просимъ!... Ай Дарьюшка! исполать ей!... Какого она себѣ женишка вымолила... Да какъ это васъ Господь свелъ?... Что вы приглянулись что-ль другъ другу?

— Видно, что такъ, бабушка.

— Чтожъ ты, молодецъ, очень ее любишь?

— Да такъ то люблю, что коли скажу, такъ не повѣришь.

— Какъ не повѣрить, батюшка!... Дѣло бывалое: вѣдь и я не всегда была старухою; было и мое времячко, и про меня говаривали: «сухота, дескать, сердцу молодецкому!»... Э, да что это я?... Тьфу! старуха старая, а какія рѣчи говорю! Охъ, я многогрѣшная, многогрѣшная! — продолжала Аксинья, вытаскивая изъ-за пояса чотки. — Ну вотъ, не успѣю покаяться, и опять за то же!... И что за радость вспоминать про прежніе годочки?.:. Вѣдь они ужь не вернутся!

— Дмитрій Аѳанасьичъ! — сказалъ Феропонтъ,—побудь покамѣстъ здѣсь, а я напою коней. Вѣдь въ рѣчкѣ то можно, бабушка?

— Пожалуй себѣ!... Только вонъ туда, внизъ — подальше.

— Скажи мнѣ, Аксинья Никитишна, — спросилъ Левшинъ, оставшись одинъ со старухою,—чтожъ это за человѣкъ такой живетъ недалеко отсюда, у самой дороги, — что, изъ вашихъ что-ль?

— Нашъ, батюшка, нашъ!... Такъ, убогій человѣкъ, юродивый—Павелъ, по прозванью Калмыкъ. Онъ, вѣрно, хотѣлъ васъ крестить въ дождевой водѣ?

— Да, бабушка!... Я такъ и думалъ, что онъ безумный.

— Нѣтъ, не безумный—и старецъ усердный, большой постникъ; да, видно, у него умъ за разумъ зашелъ... Мало ли и намъ возни то съ нимъ было! Онъ на прошлой недѣлѣ сбиралъ соборъ.

— Соборъ!... Какой соборъ?

— Какъ же!... Ивана Ерша, Илью Степанова — всѣхъ нашихъ учителей и наставниковъ собралъ.

— Чтожъ они, о чемъ съ нимъ толковали?

— Что, батюшка, грѣхъ, да и только!... Зачали за здравіе, а свели за упокой!... Собрались о вѣрѣ толковать, а покончили смѣхомъ.

— Смѣхомъ?

— Да, батюшка. Павелъ началъ говорить объ антихристѣ, сталъ уговаривать братію, чтобъ всѣ крестились въ дождевой водѣ;—другой, дескать, неосквернённой воды на всей землѣ нѣтъ. — Вотъ отецъ Илья и говоритъ ему: «Мы тебѣ, Павелъ, безъ знаменья не повѣримъ. Святые проповѣдники чудеса великія творили: болящихъ исцѣляли, мертвыхъ воскрешали; а ты, Павелъ, во увѣреніе наше хотя единаго жука или муху оживотвори!»—Нѣтъ, братіе, — сказалъ Павелъ,—я вамъ другое покажу знаменіе: дайте мнѣ какую хотите отраву, при васъ же выпью и невредимъ останусь. Илья хотѣлъ было попотчивать его купороснымъ маслицемъ, да Иванъ Ершъ отговорилъ, и вмѣсто отравы поднесъ ему стаканъ добраго вина, а Павелъ сродясь его не отвѣдывалъ... Вотъ, батюшка, какъ онъ увидѣлъ, что ему отъ этого зелья никакой болѣзни не приключилось, такъ загорланилъ пуще прежняго: «Что, дескать, окаянные!... Видите ли, что ваша отрава меня не беретъ?.. Будете ли теперь меня слушаться?... А коли вамъ этого мало, такъ давайте еще стаканъ». Какъ у него въ головушкѣ то позашумѣло, такъ онъ пересталъ и о вѣрѣ говорить. Только что кричитъ: «Подавайте вашей отравы!»— Отецъ Алексѣй велѣлъ поднести ему третій стаканъ, да и говоритъ: «Слушай, Павелъ, коли послѣ этого ты будешь сидѣть прямо, такъ вѣра твоя права, а коли покривишься, такъ и вѣра твоя кривая». Какъ Павелъ хватилъ третій стаканъ, такъ его вовсе разобрало; онъ не успѣлъ и двухъ словъ вымолвить, свалился подъ лавку, да тутъ и заснулъ.

— Ну, чтожъ, какъ онъ выспался?

— И, батюшки!... Учалъ насъ всѣхъ позорить на чемъ свѣтъ стоитъ!... «Я, дескать, васъ, окаянныхъ неслуховъ, призывалъ къ истинному крещенію, да вы не захотѣли— такъ нѣтъ же вамъ части со мною!... Пойду на перепутье и стану всѣхъ проѣзжихъ крестить».

— Хорошо, что вы не послушались этого шального; ну, гдѣ видано, чтобъ крещеные люди перекрещивались?

— Нѣтъ, батюшка, и наши всѣ перекрещиваются.

— Что ты, бабушка?

— Да, молодецъ!... Только не въ дождевой водѣ, а вотъ здѣсь въ рѣчкѣ... Вотъ видишь, прямо то—іордань!

— Такъ и ты, Аксинья Никитишна, перекрещивалась?

— Мнѣ зачѣмъ, кормилецъ!... Я ужь человѣкъ немолодой: меня крестили по старинному, когда православная вѣра не была еще въ растлѣніи. Вотъ Дарьѣ такъ надобно креститься. Я давно уговариваю, да ее все этотъ пострѣлъ Андрей Поморянинъ сбиваетъ.

— Ну, батюшка, — сказалъ Феропонтъ, подводя Султана,—садись-ка, пора въ путь!... Мнѣ сказали, что отсюда все прямая дорога вплоть до полсела Куклина, а тамъ намъ укажутъ.. Послушай, бабушка: коли Дарья придетъ къ тебѣ прежде, чѣмъ я пріѣду, такъ скажи ей, что я безотмѣнно буду.

— Скажу, батюшка!... Ну, прощайте, добрые молодцы! Не поминайте лихомъ.

— Счастливо оставаться, Аксинья Никитишна! Смотри, припасай пироговъ къ воскресенью; да коли бражки выставишь, такъ мы тебѣ челомъ; а коли винца — такъ и подавно!

V.

Солнце было уже высоко, когда Левшинъ и Феропонтъ, проѣхавъ полсело Куклино, стали приближаться къ цѣли своего путешествія. Версты за двѣ до вотчины боярина Куродавлева, проселокъ, по которому они ѣхали, вывелъ ихъ на большую Мещовскую дорогу. Миновавъ боярскій хуторъ съ обширной винокурнею, на которую Феропонтъ поглядѣлъ очень умильно, путешественники повернули въ широкую просѣку. Она оканчивалась на берегу небольшого, но весьма красиваго озера. Когда они выѣхали изъ лѣсу, передъ ними раскрылся очаровательный видъ. Съ версту отъ нихъ, прямо черезъ озеро, на гористомъ берегу возвышались огромныя хоромы, которыя, со своими службами и всей усадьбою, походили на небольшой городокъ. Съ перваго взгляда, Левшинъ замѣтилъ, что бояринъ Куродавлевъ хотѣлъ выстроить себѣ домъ, похожій — разумѣется въ маломъ видѣ—на знаменитый Коломенскій дворецъ... Средину его составляло большое двухъ-этажное зданіе съ высокой выгнутой кровлею, у которой выпуклые бока съуживались

книзу. Съ правой стороны къ этому зданію была пристроена *вышка;* она, по своей двойной кровлѣ и остроконечному верху, походила на небольшія безымянныя башни Московскаго кремля. Съ лѣвой стороны, крытымъ переходомъ, соединялся съ главнымъ зданіемъ красивый теремъ о трехъ жильяхъ, съ большими уступами. Къ этому терему примыкала особая палата съ куполомъ или главою, которой не доставало только креста, чтобъ совершенно походить на церковную главу. Левшинъ узналъ впослѣдствіи, что въ этой палатѣ была образная боярина Куродавлева. Все это огромное зданіе, не исключая самой вышки, было построено изъ толстыхъ сосновыхъ брусьевъ. Направо отъ господскаго дома, который съ своими принадлежностями, дворомъ и огородомъ, занималъ нѣсколько десятинъ земли, начинался длинный порядокъ красивыхъ избъ; въ нихъ жила отдѣльными семьями многолюдная дворня боярина. По лѣвой сторонѣ, на большомъ пространствѣ, разбросаны были конюшни, скотные дворы и обширная псарня съ высокой свѣтлицею для боярскихъ соколовъ и кречетовъ. Вся описанная мною усадьба занимала почти весь берегъ, противоположный тому, на которомъ въ эту минуту находился Левшинъ. Полюбовавшись нѣсколько минутъ этимъ прекраснымъ видомъ, Левшинъ повернулъ налѣво и поѣхалъ берегомъ озера вдоль длиннаго порядка крестьянскихъ избъ.

— Ну, батюшка! — сказалъ Феропонтъ, — какъ здѣсь мужички-то пообстроились!.. Одна изба лучше другой!.. И то сказать: лѣсу-то имъ не занимать стать!.. Да, видно, и баринъ у нихъ господинъ милостивый и добрый.

— А что?

— Какъ же, Дмитрій Афанасьичъ!.. Посмотришь, въ иной деревнѣ народишка такой чахлый, испитой, взглянуть не на что!.. А здѣсь, погляди ка, батюшка, какіе все ребята дородные — молодецъ къ молодцу!.. А бабы то!.. Вонъ сидитъ на завалинѣ—печь печью!.. Вонъ и другая... видишь, батюшка?

— Вижу; такъ чтожъ?

— А то, Дмитрій Афанасьичъ, что, видно, житье-то ихъ не плохое: съ горя люди не жирѣютъ.

Миновавъ село, наши путешественники переѣхали черезъ плотину и повернули направо, по широкой дорогѣ, которая вела прямо къ господской усадьбѣ. Подъѣхавъ къ воротамъ, Левшинъ, изъ уваженія къ высокому сану хо-

зяина, не въѣхалъ на дворъ: онъ отдалъ своего коня Феропонту и пошелъ пѣшкомъ. На крыльцѣ боярскаго дома стояло человѣкъ пять служителей, а посреди двора, кругомъ высокаго столба, который оканчивался лежачимъ колесомъ, похаживалъ на цѣпи ручной медвѣдь. Когда Левшинъ сталъ приближаться къ дому, двое слугъ сошли внизъ, на встрѣчу къ гостю, поклонились ему въ поясъ и ввели подъ руки на крыльцо. Въ сѣняхъ дворецкій боярина, встрѣтивъ Левшина обыкновеннымъ привѣтствіемъ: «добро пожаловать, батюшка, милости просимъ!» вошелъ вслѣдъ за нимъ въ огромную прихожую. Въ ней сидѣло на скамьяхъ до тридцати слугъ, просто, но очень опрятно одѣтыхъ. Вдоль одной изъ стѣнъ прихожей развѣшены были длинныя пищали, винтовки, ручницы, сабли, ножи, чеканы, кольчуги и желѣзныя шашки-ерихонки. На другой висѣла богатая конская сбруя, охотничьи рога и шкуры затравленныхъ волковъ и лисицъ; а у дверей, ведущихъ въ сосѣдній покой, стояли: съ одной стороны чучело огромнаго медвѣдя, убитаго самимъ хозяиномъ, а съ другой—большая клѣтка, въ которой сидѣлъ ученый воронъ. Когда Левшинъ вошелъ въ прихожую, всѣ слуги встали и поклонились ему очень вѣжливо.

— Какъ прикажешь о себѣ доложить боярину? — спросилъ дворецкій.

— Доложи Юрію Максимовичу, что стрѣлецкій сотникъ Левшинъ пріѣхалъ къ нему изъ Москвы съ письмомъ отъ боярина Кириллы Андреевича Буйносова.

— Отъ Кириллы Андреевича?.. Ну, батюшка, порадуешь ты нашего боярина!.. Пожалуй сюда, — вотъ въ этотъ покой... Я пойду, доложу о тебѣ.

Левшинъ вошелъ въ сосѣдній покой; въ немъ вся домашняя утварь состояла, такъ же, какъ и въ прихожей, изъ однѣхъ лавокъ, да сверхъ того стоялъ дубовый столъ, покрытый узорчатой скатертью, на которой вытканы были изображенія тарелокъ со всѣмъ столовымъ приборомъ и блюдъ съ жаренымъ павлиномъ, поросенкомъ, пирогами и разнымъ другимъ кушаньемъ. Вмѣсто нынѣшнихъ люстръ, опускались съ потолка на тоненькихъ бичевкахъ красивыя клѣтки съ пѣвчими птицами; и у одного изъ оконъ въ кругломъ коробкѣ, съ нитянымъ плетенымъ верхомъ, бился и *вавакалъ* неугомонный перепелъ... Минутъ черезъ пять вошли изъ прихожей двое слугъ, одинъ съ лоханью и умывальникомъ, другой съ подносомъ, на которомъ стояла се-

ребряная кружка. Левшинъ вымылъ руки, обтеръ мокрымъ полотенцемъ запыленное лицо и выпилъ съ большимъ удовольствіемъ кружку холоднаго меда, который показался ему очень вкуснымъ. Вскорѣ за тѣмъ явился опять дворецкій и сказалъ, что бояринъ дожидается съ нетерпѣніемъ своего гостя. Левшинъ, идя вслѣдъ за нимъ, замѣтилъ, что почти всѣ комнаты были тѣсны, безъ всякаго убранства и по большей части обезображены огромными и неуклюжими печьми. Пройдя крытымъ переходомъ, они стали подыматься въ верхнее жилье терема. Дворецкій остановился у дверей, подлѣ которыхъ сидѣли два мальчика, одѣтые въ красные терлики. Одинъ изъ нихъ отворилъ дверь, и Левшинъ вошелъ въ обширную, обитую малиновымъ сукномъ свѣтлицу; по стѣнамъ ея висѣли турецкіе ятаганы и пистолеты въ серебряной оправѣ, дорогія казылбашскія сабли, стальныя зерцалы, то есть латы съ золотой и серебряной насѣчкою; на широкихъ полкахъ разставлены были серебряныя кружки, братины и китайскія фарфоровыя сулеи, а въ особомъ ставцѣ за стекломъ стояли жалованные кубки, высокая *горлатная* шапка боярская и лежалъ серебряный *шестоперъ*, или булава, богато украшенные бирюзою и драгоцѣнными каменьями. Въ переднемъ углу, то есть подъ образами, сидѣлъ бояринъ Юрій Максимовичъ; передъ нимъ на небольшомъ столикѣ лежала раскрытая книга въ бархатномъ переплетѣ. На боярінѣ былъ шелковый *турскій* кафтанъ, то есть длинное платье безъ *козыря* и петлицъ, похожее своимъ покроемъ на бухарскій халатъ. Хотя темнорусая окладистая борода Куродавлева была уже съ просѣдью, но онъ могъ еще, по своему росту, осанкѣ и бодрому виду, называться молодцемъ. Во всѣхъ чертахъ его красиваго и мужественнаго лица выражались веселость, привѣтъ и эта русская удаль, для которой, при случаѣ, все трынъ-трава. Въ его улыбкѣ было много радушія; но еслибъ Левшинъ былъ хорошимъ физіономистомъ, то безъ труда бы замѣтилъ по взгляду и особенному выраженію въ голосѣ, что Куродавлевъ, несмотря на свою веселость и добродушіе, вовсе не чуждъ этой боярской спеси, которая была нѣкогда любимымъ грѣхомъ всѣхъ русскихъ сановниковъ.

— Добро пожаловать, господинъ сотникъ!—сказалъ Куродавлевъ, не вставая самъ и не приглашая Левшина садиться.—Полно, такъ ли доложилъ о тебѣ мой дворецкій?... Вѣдь ты прозываешься Левшинымъ?

— Да, Юрій Максимовичъ.

— Левшины бывали встарину люди родословные — да вѣдь нынче не разберешь!.. Не прогнѣвайся, если я тебя спрошу, — продолжалъ бояринъ, заглянувъ въ раскрытую книгу,—какъ называли твоего дѣдушку?

— Дмитріемъ Степановичемъ.

— Вотъ, по разрядной книгѣ, не онъ ли былъ при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ?...

— Стольникомъ и суздальскимъ воеводою, — прервалъ Левшинъ.

— Такъ!.. А начальный человѣкъ вашего рода прозывался Суволь-Левша—такъ ли, молодецъ?

— Такъ, бояринъ.

— Садись, любезный!

— Позволь мнѣ прежде вручить тебѣ письмо отъ боярина Кириллы Андреевича, — сказалъ Левшинъ, подавая свитокъ.

— Пожалуй, пожалуй!.. Что то онъ, дружище, ко мнѣ пишетъ?—Левшинъ,—продолжалъ вполголоса Курodавлевъ, поглядывая на своего гостя,—внукъ суздальскаго воеводы—стрѣлецкимъ сотникомъ!.. Эки времена!.. Да что, твой батюшка здравствуетъ?

— Нѣтъ, бояринъ. Онъ давно ужь померъ.

— Такъ вотъ что!.. Тебѣ, чай, молодецъ, приглянулся кафтанъ съ петлицами, да шапка ухорская?.. Разумъ молодой, а воля то своя...

— Покойный мой батюшка,—прервалъ Левшинъ почтительнымъ, но твердымъ голосомъ,—былъ самъ стрѣлецкимъ сотникомъ.

— Право?.. Такъ батюшка твой былъ стрѣлецкимъ головою?.. И ужь вѣрно по царскому указу?.. Вотъ и у меня пріятель, Никита Даниловичъ Глѣбовъ, взятъ въ нынѣшнемъ году по неволѣ въ полковники къ стремянному стрѣлецкому полку. Да онъ челобитную подавалъ: «Цари, дескать, и государи великіе князья, пожалуйте меня, холопа своего, за крови и за смерти, и за многія службы сродниковъ моихъ, и за мои, холопа вашего, службишки, велите челобитье мое записать, чтобъ, государи, нынѣшняя моя полковничья служба мнѣ, холопу вашему, и дѣтишкамъ моимъ и сродникамъ, отъ иныхъ родовъ была не въ упрекъ и не въ укоризну, и съ моею ровною братіею не въ случай». Такъ на эту челобитную и данъ указъ, чтобъ службу въ стрѣлец-

комъ войскѣ ему, Никитѣ Глѣбову, и дѣтямъ, и сродникамъ и всему роду въ упрекъ и укоризну не ставить, и его, Глѣбова, тѣмъ чиномъ не смѣть никому безчестить... А твой батюшка подавалъ ли челобитную?

— Нѣтъ, бояринъ... Онъ пошелъ въ стрѣлецкіе головы охотою.

— Охотою?.. Ну, это иная рѣчь!.. Ужь коли онъ самъ своей чести поруху сдѣлалъ, такъ пенять не на кого!.. Да садись, молодецъ; а я межъ тѣмъ посмотрю, что пишетъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ.

Левшинъ сѣлъ на стулѣ подлѣ окна, а Куродавлевъ развернулъ свитокъ и прочелъ вслухъ: «Государю моему и другу сердечному, Юрію Максимовичу!.. Здравствуй, другъ мой Юрій Максимовичъ, на многія впредь будущія лѣта!.. Пишешь ты ко мнѣ, другъ сердечный»... Тутъ Куродавлевъ началъ читать про себя, а Левшинъ, окинувъ любопытнымъ взглядомъ боярскій покой, полюбовался развѣшеннымъ по стѣнамъ оружіемъ и подивился огромнымъ серебрянымъ братинамъ, изъ которыхъ многія были величиною съ ведро. Но когда онъ взглянулъ въ открытое окно, подлѣ котораго сидѣлъ, то едва могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія при видѣ великолѣпной картины, которая представилась его взорамъ. И подлинно, видъ изъ терема на всѣ противоположныя окрестности озера былъ въ высочайшей степени живописенъ. Прямо, за господскимъ дворомъ, начинался покрытый пушистою зеленью лугъ; онъ опускался пологимъ скатомъ до самаго озера, котораго спокойныя воды, блестящія и прозрачныя, какъ чистый хрусталь, разливались версты на двѣ кругомъ. Налѣво, по берегу, а потомъ вдоль рѣчки Брыни, росло густое чернолѣсье; направо тянулось выстроенное въ одинъ порядокъ большое село съ каменной церковью; еще правѣе, за селомъ, виднѣлась высокая плотина, которую заслонялъ по мѣстамъ вѣтвистый и раскидистый вѣтлянникъ, а за нею разстилались обширныя поля и синѣлся вдали, какъ подернутое туманомъ море, сплошной и безконечный боръ.

— Эхъ, братъ Кирилла! — промолвилъ вполголоса Куродавлевъ, остановясь читать письмо, — жаль мнѣ тебя, горемычнаго!.. — Ты, чай, любезный, знаешь, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Левшину,—что у Кириллы Андреевича, тому лѣтъ пятнадцать назадъ, въ здѣшнихъ Брынскихъ лѣсахъ пропала, вмѣстѣ съ своею нянюшкою, родная дочка,

а моя крестная дочь—дитя лѣтъ четырехъ... Вотъ недавно прошелъ слухъ, что эта нянюшка, по имени Татьяна, живетъ здѣсь въ одномъ раскольничьемъ скиту; я написалъ объ этомъ Кириллѣ Андреевичу, а самъ поѣхалъ въ скитъ, чтобъ допытаться отъ этой бѣглой дѣвки, куда дѣвала она свою барышню. Чтожъ ты думаешь?.. Я засталъ Татьяну на смертномъ одрѣ, безъ языка — при мнѣ и душу Богу отдала. Отъ другихъ въ скиту я не могъ ничего добиться, и съ чѣмъ пріѣхалъ, съ тѣмъ и уѣхалъ назадъ. Кирилла Андреевичъ пишетъ ко мнѣ, что зашибъ ногу, и оттого не могъ самъ ко мнѣ пріѣхать; но лишь только сможетъ, такъ не мѣшкая отправится въ дорогу. Великая для меня радость повидаться съ другомъ сердечнымъ, да жаль, что его то мнѣ нечѣмъ будетъ порадовать!.. Посмотримъ, что онъ еще пишетъ, — продолжалъ Куродавлевъ, принимаясь опять за письмо.—Что это? — вскричалъ онъ, прочтя нѣсколько строкъ.—Владыка живота моего!.. Такъ это правда?.. Ахъ они богоотступники!.. Воры проклятые!.. Да какъ ихъ, окаянныхъ, земля носитъ!.. Неужели въ самомъ дѣлѣ эти крамольные стрѣльцы...

— Да, бояринъ, все правда, что пишетъ тебѣ Кирилла Андревичъ.

— Не можетъ быть!—прервалъ Куродавлевъ.—Ну, пусть они извели своихъ начальныхъ воеводъ, князей Долгорукихъ, убили Нарышкиныхъ и Ромодановскаго подняли на копья боярина Матвѣева—отъ этихъ разбойниковъ все станется; но чтобъ они посягнули на власть помазанниковъ Божіихъ... Нѣтъ, нѣтъ! это сказки—я этому и вѣрить не хочу!

— Вотъ то-то и есть, бояринъ, что всѣ это, попущеньемъ Господнимъ, истинная правда.

— Истинная правда!—повторилъ Куродавлевъ.—Да что Москва-то деревня что-ль?.. Или въ ней, кромѣ однихъ стрѣльцовъ, и народу не стало?.. Господи Боже мой! злодѣи дерзнули ворваться силою въ царскія палаты, вломились въ теремъ нашей матушки царицы Натальи Кирилловны и вся Москва не поднялась разомъ, не заслонила грудью своихъ царей православныхъ, не закидала шапками эту поганую сволочь!...

— Все это, Юрій Максимовичъ, случилось такъ внезапно...

— И зачинщики этихъ смутъ еще живы!—продолжалъ

съ возрастающимъ жаромъ Куродавлевъ.—И эти крестоизмѣнники стрѣльцы похваляются своимъ удальствомъ!... И ихъ позорнымъ именемъ не клеймятъ еще всякаго мошенника и негодяя!...

— Нѣтъ, бояринъ!.. Всѣмъ стрѣльцамъ дана похвальная грамота и велѣно ихъ, ради почета, называть не стрѣльцами, а надворной пѣхотою.

Лицо боярина покрылось смертной блѣдностію, онъ сжалъ въ кулакъ письмо Буйносова и замолчалъ; но это нахмуренное чело, эти пылающіе гнѣвомъ взоры сильнѣе всякихъ словъ выражали то, что происходило въ душѣ его.

— Вотъ до чего мы дожили!—промолвилъ наконецъ Куродавлевъ.—Эхъ, Москва православная, что съ тобою сталось!.. Или всѣ эти заморскіе выходцы вовсе тебя обасурманили, нашу матушку?.. Слава тебѣ Господи, что я уѣхалъ на житье въ Брынскіе лѣса. Здѣсь воры и мошенники меня боятся, а тамъ бы мнѣ пришлось кланяться имъ въ поясъ!.. И эту вѣсть о срамѣ московскомъ,—продолжалъ бояринъ, устремивъ свой гнѣвный взоръ на Левшина,—эту вѣсть о неслыханномъ злодѣйствѣ стрѣльцовъ прислалъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ съ тобою — стрѣлецкимъ сотникомъ.

— Я, бояринъ, ни дѣломъ, ни словомъ не участвовалъ въ этомъ мятежѣ стрѣльцовъ; меня тогда и въ Москвѣ не было.

— Еще бы участвовалъ!.. Будетъ и того, что у тебя на плечахъ то этотъ опозоренный кафтанъ!.. Ну, голубчикъ, кабы я все это зналъ да вѣдалъ, такъ не бывать бы тебѣ моимъ гостемъ!

Левшинъ вспыхнулъ.

— Коли прикажешь, Юрій Максимовичъ,—сказалъ онъ вставая,—такъ я сейчасъ же уйду.

— Ну, полно, любезный, не сердись!—прервалъ Куродавлевъ ласковымъ голосомъ.—Я это такъ... сгоряча сказалъ. Вѣстимо, правый за виноватаго не отвѣтчикъ; да дѣло то, видишь, такое, что надо вовсе быть бабою, чтобы кровь во всемъ тебѣ, какъ въ котлѣ, не закипѣла!... А моя то еще покамѣстъ бурлива: вотъ такъ и боюсь опять за письмо приняться... сердце замираетъ!.. Ну, что еще онъ пишетъ?.. А!.. это никакъ о тебѣ... «Вручитель сей грамотки стрѣлецкій сотникъ, Дмитрій Афанасьичъ Левшинъ!...»

— Какъ!.. Такъ стрѣльцы то и тебя, своего товарища, хотѣли уходить?

— Хотѣли, бояринъ.

— За то, что ты... ахъ, молодецъ!... ты сказалъ про стрѣльцовъ, что они бунтовщики и разбойники?

— Чтожъ дѣлать, Юрій Максимовичъ, не вытерпѣлъ.

— И ты сказалъ это не тайкомъ?

— То-то и есть, что не тайкомъ, но на Красной площади.

— Ай да молодецъ!... Ну, чтожъ они?

— Вѣстимо дѣло! хотѣли меня убить.

— Какъ же это тебя Богъ помиловалъ?

— Да пріятель нашелъ мнѣ укромное мѣстечко на одномъ подворьѣ...

— Такъ ты до твоего отъѣзда изъ Москвы и глазъ на улицу не показывалъ?

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ. Когда былъ соборъ противъ еретика Никиты Пустосвята, и всѣ измѣнники опять поднялись, такъ я ходилъ въ Грановитую палату...

— Въ Грановитую палату!.. Да она, чай, биткомъ была набита стрѣльцами?

— Какъ же!.. Всѣ мои злодѣи тамъ были.

— И ты, не глядя на это?...

— А чтожъ, бояринъ?... Да неужели мнѣ было прятаться и сидѣть взаперти, когда въ государевыхъ палатахъ толпились сотнями измѣнники, а вѣрныхъ то слугъ царскихъ было наперечетъ?... Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, не тому училъ меня покойный батюшка. «Умереть что!»— говорилъ онъ,—«лишь бы только привелъ Господь сложить голову за вѣру, да за царя православнаго».

— Такъ, молодецъ, такъ!—прервалъ Куродавлевъ.—Ну, Дмитрій Афанасьичъ,—продолжалъ онъ, едва скрывая свой восторгъ,—такъ стрѣльцы то тебя не захватили?

— Какъ же, бояринъ!.. И захватили и убить хотѣли.

— Ну чтожъ, какъ они собрались тебя убить, ты не попятился?

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ.

— Не просилъ у нихъ милости?

— Милости!... У этихъ измѣнниковъ?... Сохрани Господи!... При мнѣ была сабля, бояринъ, а съ ней я милости ни у кого не прошу!

— Вотъ что!—промолвилъ Куродавлевъ, вставая съ кре-

селъ.—Такъ ты вотъ каковъ!... Ну-ка, братъ, поди сюда—поди... поцѣлуемся!... Ахъ ты, соколъ мой ясный!... Молодецъ ты мой!.. Голубчикъ!...

— Да чтожъ я такое сдѣлалъ, Юрій Максимовичъ? — сказалъ скромный юноша, удивленный этой неожиданной выходкой боярина.

— Что сдѣлалъ?—вскричалъ Куродавлевъ.—Ты сказалъ въ глаза стрѣльцамъ, что они разбойники... не побоялся явиться передъ ними и стать грудью за вѣру и царей православныхъ; попался къ нимъ въ руки, а не попятился, не вымаливалъ себѣ пощады, не кланялся этимъ окаяннымъ душегубцамъ!.. Молодецъ изъ молодцовъ!.. А я было совсѣмъ тебя разобидѣлъ!...

— Ничего, бояринъ.

— Какъ ничего!.. Прости меня, Бога ради!... А все этотъ проклятый служильный нарядъ!.. Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ! да потѣшь меня, сбрось ты этотъ опозоренный кафтанъ!.. Ну, вотъ какъ Богъ святъ, видѣть его не могу!

— Да у меня другаго платья нѣтъ,—сказалъ Левшинъ

— За платьемъ не станетъ, Дмитрій Афанасьичъ: бери любое изъ моихъ... Да вотъ мы какъ разъ это дѣло уладимъ.

Бояринъ свистнулъ и сказалъ мальчику, который вошелъ въ покой:

— Позови сюда Кондратія — да живо!.. Мы съ тобой почитай одного роста,—продолжалъ онъ, обращаясь опять къ Левшину. Я только подороднѣе и поплечистѣе тебя—да это не бѣда! Вѣдь здѣсь московскихъ красавицъ нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, такъ тебѣ рядиться не для кого. Да и то сказать: что бы ты ни надѣлъ, а все будешь молодцомъ. Эхъ,—промолвилъ Куродавлевъ, глядя почти съ отцовскимъ участіемъ на Левшина,—подумаешь: этакой удалой дѣтина, красавецъ, родовой человѣкъ сгубленъ ни за что ни про что... ну, жаль!

— Да Богъ милостивъ, — сказалъ Левшинъ. — Можетъ статься, я скоро вернусь опять въ Москву. За меня похлопочетъ князь Хованскій, Кирилла Андреевичъ замолвитъ словечко...

— И, любезный!—прервалъ бояринъ,—не о томъ рѣчь!.. То дѣло поправное; а вотъ ужь службишка-то окаянная твоя—такъ это дѣло безъ поправки!.. Нетокма тебѣ, да и всему роду-то вашему безчестье на вѣки вѣковъ.

— Дозволь слово молвить, бояринъ,—сказалъ Левшинъ.— Да развѣ есть служба безчестная, коли я служу царю-государю, и служу вѣрой и правдою?.. Воля твоя, Юрій Максимовичъ, а я въ толкъ не возьму, почему родословному человѣку не зазорно писаться въ жильцахъ и даже въ дѣтяхъ боярскихъ, а безчестно служить начальнымъ человѣкомъ въ стрѣлецкомъ войскѣ?

— Чтожъ дѣлать, любезный, ужь такъ испокони ведется.

— Такъ, видно, бояринъ, пріятель твой, Кирилла Андреевичъ Буйносовъ, не такъ мыслитъ. Хотя покойный мой батюшка и былъ стрѣлецкимъ головою, однакожь Кирилла Андреевичъ не брезговалъ нашимъ хлѣбомъ и солью, и называлъ батюшку своимъ другомъ задушевнымъ.

— Да это что, Дмитрій Афанасьичъ?.. Почему не быть пріятелемъ съ добрымъ человѣкомъ, хотя бы кто изъ роду его или даже онъ самъ служилъ въ стрѣлецкомъ войскѣ?.. А вотъ породниться съ нимъ—ну нѣтъ, любезный, это рѣчь другая! Дружба дружбой, а родство родствомъ. Да вотъ хоть, примѣромъ, ты, Дмитрій Афанасьичъ: вѣрный царскій слуга, удалой молодецъ, красавецъ, внукъ суздальскаго воеводы—кажись, кому бы ты не женихъ?... Анъ нѣтъ!... Дѣдушка у тебя былъ воеводою, да батюшка то пошелъ охотою въ стрѣлецкіе головы, и самъ ты служишь въ стрѣльцахъ, такъ не прогнѣвайся! — никакой родословный человѣкъ, хотя бы вовсе безпомѣстный, такъ и тотъ не выдастъ за тебя своей дочери. Тебя то самого и я бы не обраковалъ, любезный,—продолжалъ бояринъ привѣтливымъ голосомъ: — ты мнѣ крѣпко пришелъ по сердцу!.. Давай намъ этакого роденьку!.. Милости просимъ!.. Для такого жениха ворота настежь!.. Только вотъ бѣда: ты самъ, Дмитрій Афанасьичъ, въ наши боярскія ворота пройдешь, да твой чинъ то, вмѣстѣ съ тобою не пролѣзетъ!

— Что изволишь приказать, батюшка Юрій Максимовичъ?—спросилъ дворецкій, войдя въ комнату.

— А вотъ что, Кондратій,—сказалъ Куродавлевичъ.—Видишь ты этого молодца?.. Это дорогой мой гость, Дмитрій Афанасьичъ Левшинъ.

— Знаю, батюшка.

— Пока онъ станетъ у меня гостить, у васъ будетъ два барина—понимаешь?

— Понимаю, Юрій Максимовичъ.

— Что онъ прикажетъ, то я приказалъ—слышишь?

— Слышу, батюшка.

— Служитель его твой гость, Кондратій; смотри, чтобъ онъ былъ всѣмъ доволенъ. Коней отдай на руки Терешкѣ—скажи, чтобъ онъ ихъ холилъ и берегъ пуще своего глаза!.. Да вели баню истопить—слышишь?

— Слышу, батюшка.

— Теперь проводи Дмитрія Афанасьича въ его покои и принеси къ нему мой скарлатный ходильный зипунъ, голубой камчатный терликъ, да дымчатый опашень изъ зуфи. А ты, Дмитрій Афанасьичъ, — промолвилъ Курodавлевъ, обращаясь къ Левшину,—носи ихъ на здоровье!.. Да уговоръ лучше денегъ: коли хочешь потѣшить хозяина, такъ смотри, молодецъ, не гости, а живи у меня какъ въ своемъ дому, запросто, нараспашку!.. Ну, прощай покамѣстъ, любезный! ступай, отдохни немного. Чай, у тебя съ дороги то всѣ косточки побаливаютъ; а вотъ погоди: какъ выпаришься хорошенько въ банѣ, такъ будешь завтра какъ встрепаный.

VI.

Спустясь внизъ по лѣстницѣ до нижняго жилья терема, Левшинъ вошелъ, вслѣдъ за дворецкимъ, въ чистую и веселую свѣтлицу, въ которой стояли: кровать съ бѣлымъ пологомъ, столъ и нѣсколько стульевъ, обитыхъ казанской юфтью. За этой свѣтлицей была небольшая каморка для слуги, сѣни и выходъ на задній дворъ, который отдѣлялся отъ боярскаго огорода рѣшетчатымъ заборомъ.

— Ну, что, Дмитрій Афанасьичъ,— спросилъ Кондратій,—любы ли тебѣ эти покойчики?

— Чегожъ мнѣ лучше? — отвѣчалъ Левшинъ, — и видъ отсюда такой веселый.

— Да, батюшка, и озеро наше и село—все въ глазахъ. Да не угодно ли тебѣ, Дмитрій Афанасьевичъ, выкушать чарку доброй настоечки и закусить чѣмъ-нибудь? Вѣдь боринъ изволитъ кушать не ранѣ полудень, такъ до обѣда то еще не близко.

— Нѣтъ, любезный, не надо. Я раздѣнусь, да отдохну немного.

— Ну, какъ изволишь; а я сейчасъ принесу тебѣ платье

съ боярскаго плеча. Коли не вовсе будетъ впору, такъ не осуди, Дмитрій Афанасьевичъ,—не по тебѣ дѣлано.

Когда дворецкій вышелъ изъ свѣтлицы, Левшинъ скинулъ верхнее платье и сѣлъ возлѣ открытаго окна. Онъ смотрѣлъ съ любопытствомъ на обширный господскій дворъ, который представлялъ живую картину этого привольнаго житья нашихъ старинныхъ богатыхъ помѣщиковъ и беззаботнаго разгульнаго быта ихъ многочисленныхъ челядинцевъ. Разумѣется, эта роскошь старинныхъ бояръ не значила ничего передъ нынѣшнею утонченною европейскою роскошью; она почти всегда заключалась только въ различныхъ охотахъ, неисчерпаемомъ изобилiи первыхъ потребностей и забавахъ, не слишкомъ разборчивыхъ, но которыя однакожъ имѣли достоинство, весьма рѣдкое въ наше время. Эти забавы, несмотря на то, что доставались очень дешево, всегда достигали своей цѣли, то есть забавляли; и если вѣрить преданьямъ старины, такъ наши предки никогда не разорялись для того, чтобы умирать отъ скуки. Впрочемъ, такъ и быть должно: ребенка тѣшитъ и копѣечная игрушка, а мы ужь люди взрослые, и если подъ-часъ тратимъ также деньги на игрушки, то, по крайней мѣрѣ, платимъ за нихъ очень дорого и вовсе ими не забавляемся.

Ясная и теплая погода выманила на дворъ всѣхъ боярскихъ челядинцевъ. Въ одномъ углу молодые ребята играли въ городки; подлѣ нихъ человѣкъ пять тѣшилось въ свайку. Тамъ дворовыя женщины кормили русскихъ куръ и заморскихъ *цесарокъ*; тутъ мальчики дразнили задорнаго козла, который, гоняясь за ними, дѣлалъ предиковинные скачки; съ полдюжины павъ чинно прогуливались по двору, а два павлина, распустивъ колесомъ свои радужные хвосты, сидѣли на заборѣ, вдоль котораго, какъ важный бояринъ, медленно и гордо похаживалъ долгоногій журавль; кругомъ высокаго столба съ лежачимъ колесомъ толпилось человѣкъ двадцать холопей. Сначала Левшинъ не могъ разсмотрѣть, чѣмъ забавлялась эта господская челядь. Онъ слышалъ только отъ времени до времени смѣхъ и громкія восклицанія; но вотъ толпа разступилась, и онъ увидѣлъ потѣху, отъ которой въ первую минуту сердце его замерло отъ ужаса: широкоплечій, презимистый дѣтина боролся въ *охабку* съ медвѣдемъ. Крѣпко прижавъ этого смѣльчака къ мохнатой груди своей, медвѣдь ревѣлъ ужаснымъ образомъ и силился подмять его подъ себя. Но, видно, этотъ борецъ

былъ самъ медвѣжьей породы: онъ стоялъ крѣпко на ногахъ и, казалось, не старался даже воспользоваться неповоротливостію своего соперника, а хотѣлъ взять просто на силу. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ, ему удалось какъ то сломить медвѣдя и повалить его на спину; разумѣется, они упали вмѣстѣ.

— Ай да молодецъ! — закричали холопи. — Что, братъ Мишка, видно, нашелъ по себѣ!... Ну, любезный, смотри! онъ теперь отъ тебя не отвяжется.

И подлинно, обиженный Мишка не вдругъ разстался съ своимъ побѣдителемъ. Съ полминуты валялись они оба, и медвѣдь и человѣкъ, въ грязной лужѣ, которая, послѣ проливнаго дождя, не совсѣмъ еще высохла. Наконецъ медвѣдь выбился изъ силъ, а человѣкъ, высвободясь изъ его объятія, всталъ и началъ оправляться.

— Что это?—молвилъ про себя Левшинъ.—Да это никакъ Феропонтъ?... Ну, такъ и есть!.. Эй, Феропонтъ! — закричалъ онъ, высунясь въ окно.

Черезъ минуту явился передъ нимъ не лаврами увѣнчанный, но запачканный грязью побѣдитель медвѣдя.

— Что это, Феропонтъ, въ умѣ ли ты? — сказалъ Левшинъ.—Вотъ нашелъ забаву—бороться съ медвѣдемъ!... Ну, долго ли до грѣха?...

— Ничего, батюшка, ничего! — отвѣчалъ Феропонтъ, обтирая рукавомъ свое покрытое потомъ и разгорѣвшееся лицо.—Медвѣдь ручной; съ нимъ вся здѣшняя дворня борется.

— Посмотри-ка на себя: какъ чортъ изъ болота вылѣзъ—весь въ грязи!... Стыдно, Феропонтъ!... Мы люди пріѣзжіе...

— Да такъ, Дмитрій Афанасьичъ, за споромъ дѣло стало. Вотъ какъ ты, батюшка, пошелъ къ боярину, у меня тотчасъ отобрали коней, а самого повели въ застольную, начали завтракомъ угощать, винца поднесли...

— То-то и есть! Я вижу, ты ужь хлебнулъ...

— Что, батюшка!... Ну, выпилъ стаканчикъ, закусилъ пирогомъ, а тамъ на пирогъ еще хватилъ чарочку—вотъ и все!... Ты бы посмотрѣлъ, какъ пьютъ здѣшніе холопи!... Одинъ при мнѣ тяпнулъ такой стаканище—право, съ полъосьмухи будетъ, а ни въ одномъ глазѣ: словно бражки выпилъ. И то сказать—втянулись, батюшка: вино то не покупное—пей, сколько хочешь!... Говорятъ, и бояринъ то

самъ гуляка, такъ диво ли, что его челядинцы стаканчика придерживаются!... Не даромъ ведется пословица: «игуменья за чарку, а сестры за ковши».

— Ну пригожее ли дѣло, Феропонтъ: насъ здѣсь приняли какъ родныхъ, а ты какія рѣчи говоришь?

— Да я вѣдь, батюшка, не то говорю, чтобъ здѣшній бояринъ или холопи его были пьяницы—сохрани Господи!.. Что за бѣда, коли человѣкъ пьетъ вино? лишь бы разумъ не терялъ! Вѣдь кто пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ!

— Полно вздоръ то говорить!

— Слушаю, батюшка, слушаю!... Ну вотъ, изволишь видѣть: какъ я позавтракалъ, да познакомился съ здѣшними холопьями, такъ мы отъ бездѣлья начали силку пытать. Выставили противъ меня трехъ молодцовъ, выше тебя ростомъ; я грохнулъ оземь одного, другого, а третьему то никакъ и ногу повихнулъ. Вотъ любимый боярскій шутъ, Тришка, по прозванью Пузырь—такой уродина, что и сказать нельзя!... А рожа то какая!... Ну, повѣришь ли, батюшка, я этакой образины сродясь не видывалъ; а какъ начнетъ говорить—голосъ то у него съ хрипомъ, да съ присвистомъ—ну такъ и умрешь со смѣху!... Вотъ Тришка то Пузырь и молвилъ мнѣ: «поди-ка, братъ, да побори нашего медвѣдя; такъ ужь будешь молодцомъ». Къ нему пристали другіе, а пуще всѣхъ старшій боярскій конюхъ—Терентьемъ зовутъ—такъ меня и подзадориваетъ... «Ни за что, дескать, не поборешь—нашъ Мишка тебя въ грязь втопчетъ». Фу, досадно стало!... А мнѣ вѣдь, батюшка, не впервые; у покойнаго твоего батюшки былъ также ручной медвѣдь—такой задорный бороться; бывало не отвяжешься. Слово за слово,—заспорили. Я пошелъ, схватился съ Мишкою, да и сломалъ его. Только и онъ, проклятый, помялъ меня порядкомъ, такая здоровая скотина.

— Вотъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ дворецкій Кондратій, входя въ свѣтлицу, — бояринъ прислалъ къ тебѣ свой скарлатный зипунъ. Онъ и трехъ разовъ не изволилъ его надѣвать... А этотъ камчатный терликъ, кажись, еще не обновленъ, опашень также вовсе новехонекъ. Просимъ, батюшка, принять и носить на здоровье. Да пожалуй въ столовую палату: бояринъ, чай, ужь вышелъ.

Когда дворецкій ушелъ, Левшинъ надѣлъ на себя скарлатный зипунъ.

— Вотъ одежа то знатная!—сказалъ Феропонтъ, любуясь своимъ бариномъ.—Ну ужъ подлинно боярскій нарядъ!... Маленько не по тебѣ... да пошире то лучше, Дмитрій Афанасьичъ!... То ли дѣло, какъ одежа съ запасцемъ: похудѣешь— ничего; раздобрѣешь — также не бѣда: все впору!

Левшинъ нашелъ въ столовой комнатѣ, той самой, въ которой онъ любовался узорчатой скатертью, боярина, приходскаго священника и человѣкъ десять *очередныхъ* холопей, изъ которыхъ каждый смотрѣлъ въ глаза Юрію Максимовичу, ожидая его приказаній. Въ одномъ углу, на низенькой скамеечкѣ сидѣлъ безобразный мужикъ, небольшого роста, толстый, неуклюжій, съ короткими кривыми ногами и огромной головою. Передъ нимъ стояла на полу большая деревянная чашка, а рядомъ съ ней другая поменьше, подлѣ которой лежала огромная борзая собака, любимый волкодавъ боярина. Толстый безобразный мужикъ былъ тотъ самый шутъ Тришка Пузырь, о которомъ Феропонтъ говорилъ уже Левшину. Въ старину рѣдкій боринъ не держалъ при себѣ нѣсколькихъ шутовъ: одни изъ нихъ были просто дураки или полоумные, а другіе занимались этимъ ремесломъ по собственной охотѣ или, лучше сказать — по разсчету. Съ ними шутили иногда безчеловѣчнымъ образомъ: ихъ дразнили, мучили и, ради господской потѣхи, стравливали межъ собою какъ собакъ; но зато сытно кормили, поили виномъ и не заставляли ничего дѣлать. Были еще и другіе боярскіе *смѣхотворы*, которые хотя ничѣмъ не отличались отъ прочихъ слугъ, однакожъ балагурили, подшучивали и умѣли разсказывать сказки съ разными прибаутками, не всегда остроумными; да вѣдь наши предки, не такъ, какъ мы, за умомъ не очень гонялись. Къ этому послѣднему разряду можно отнести и неутомимыхъ плясуновъ, которые по цѣлымъ часамъ разстилались въ присядку, гудочниковъ, балалаечниковъ, удалыхъ запѣвалъ и разныхъ другихъ доморощеныхъ гаеровъ и скомороховъ, которыми въ старину набиты были дома всѣхъ богатыхъ людей.

— Милости просимъ! — сказалъ Куродавлевъ, встрѣчая ласковой улыбкою своего гостя. — Коли пьешь водочку, такъ прошу покорно!

Одинъ изъ слугъ подалъ Левшину, на серебряномъ подносѣ, золотую чарку, другой налилъ въ нее изъ штофа

водки, и оба низко поклонились гостю. Левшинъ отказался.

— Ну, коли не пьешь водки, молодецъ, — сказалъ бояринъ, — такъ мы почнемъ съ тобой завѣтный боченочекъ фряжскаго. Мнѣ прислалъ его прошлаго мѣсяца Кирилла Анреевичъ. Больно хвалитъ: оно, дескать, идетъ изъ Угорской земли, и хоть сладенько, а забористо, и нашимъ оржанымъ хлѣбцемъ попахиваетъ. Ну, отецъ Егоръ, благослови трапезу!..

Священникъ прочелъ молитву. Бояринъ сѣлъ за столъ и посадилъ подлѣ себя съ правой стороны Левшина, а съ лѣвой отца Егора. Первое самое блюдо былъ огромный студень; потомъ начали подавать похлебки, а тамъ блюдо пирожковъ подовыхъ на торговое дѣло, сырники и пирогъ разсольный. Сначала бояринъ Куродавлевъ вовсе не походилъ на радушнаго хозяина, который славился своимъ хлѣбосольствомъ и веселымъ обычаемъ. Онъ сидѣлъ, насупивъ брови, ѣлъ очень мало и не посылалъ *подачекъ* ни шуту Тришкѣ, ни любимой своей борзой собакѣ, которые, какъ голодные волки, посматривали изподлобья на сытный столъ своего боярина. Изрѣдка только Куродавлевъ потчевалъ своихъ гостей и приглашалъ ихъ допивать стаканы, въ которые безпрестанно подливали шипучій медъ. Вотъ ужь дѣло доходило до жаркихъ, а бояринъ все не начиналъ бесѣды и хмурился часъ отъ часу болѣе.

— Нѣтъ! — промолвилъ онъ наконецъ, — и ѣда на умъ нейдетъ! — Ну, Дмитрій Афанасьичъ, привезъ ты мнѣ вѣсточку! Подумаешь, когда это бывало, чтобъ за воровское измѣнничье дѣло по головѣ гладили?.. Да этакъ всѣмъ ворамъ и крамольникамъ такую дашь повадку, что и житьято въ Москвѣ не будетъ!.. Кто и говоритъ: государь Петръ Алексѣевичъ еще молоденекъ, гдѣ ему справиться съ этими разбойниками; да бояре то чего смотрѣли?.. Иль они опять принялись за прежнее, какъ при царѣ Василіи Іоанновичѣ,— заводить всякія смуты, измѣны и предательства, да подъ шумокъ въ мутной водѣ рыбу удить!.. Эхъ, кабы воля да воля, такъ я бы сегодня же покатилъ въ Москву!

— Да развѣ ты, Юрій Максимовичъ, не воленъ ѣхать въ Москву?—спросилъ Левшинъ.

— Воленъ то воленъ: я вѣдь не опальный какой, а все-таки безъ царскаго указа не поѣду.

— Не прогнѣвайся, бояринъ, коли я тебя спрошу:

зачѣмъ же тебѣ царскій указъ, коли ты не подъ опалою и воленъ ѣхать, куда хочешь?

— За тѣмъ, Дмитрій Афанасьичъ, чтобъ не попятиться. Коли я при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ былъ обиженъ, такъ что мнѣ за слѣдъ ѣхать теперь безъ царскаго указа въ Москву? Пожалуй, еще скажутъ: «вотъ де пріѣхалъ бояринъ Куродавлевъ съ повинной головою!»

— А дозволь спросить, Юрій Максимовичъ, чтожъ это за случай такой былъ?

— Да такой то случай, что не приведи Господи!—прервалъ Куродавлевъ, и глаза его заблистали. — Хотѣли учинить смертную обиду, поруху всему роду нашему, безчестіе и позоръ на вѣки вѣковъ!.. Да вотъ я тебѣ все перескажу, Дмитрій Афанасьичъ, — продолжалъ бояринъ, махнувъ рукою, чтобъ ему не подавали жаренаго гуся. Въ первый годъ царствованія государя Ѳеодора Алексѣевича, наканунѣ Вербнаго воскресенья, прислали ко мнѣ отъ разряда поддьяковъ Ваську Мясникова да Ваську Буслаева, со сказкою: «быть, дескать, боярину Юрію Куродавлеву на Вербное воскресенье вверху у царскаго стола,—а столъ де будетъ безъ мѣстъ. А за столомъ-де будутъ князь Дмитрій Трубецкой, Ѳедоръ Бутурлинъ, князь Григорій Пронскій и ты, бояринъ Юрій Куродавлевъ». Какъ такъ?..— подумалъ я. — Неужли я въ послѣднихъ?.. Да вѣдь мнѣ вовсе не приходится сидѣть подъ княземъ Григорьемъ Пронскимъ... Мы, Куродавлевы, также ведемъ свой родъ отъ князя Святослава, что сидѣлъ на Пронѣ. У князя Юрія Пронскаго было четыре сына: князь Ѳедоръ Рыба, да князь Иванъ Баранья Голова, да князь Юрій Куродавъ, да меньшой князь Дмитрій безъ прозвища; отъ князя Юрія пошли Куродавлевы, а отъ князя Дмитрія теперешніе Пронскіе—такъ я нетокма по службѣ дѣда и прадѣда, да и по роду-то старше его... Вотъ я съ тѣми же поддьяками и ударилъ челомъ Ѳеодору Алексѣевичу: что мнѣ князя Григорія Пронскаго меньше быть невмѣстно. «А мы, дескать, государь, холопи твои Куродавлевы, кому въ версту, тому въ версту, а кто насъ меньше, тотъ меньше, и не которымъ дѣломъ не мочно тому быть больше насъ». Гляжу, этакъ часика черезъ два — шасть ко мнѣ на дворъ разрядный дьякъ Иванъ Улановъ... Милости просимъ!.. «Указъ, дескать, тебѣ, боярину Юрію Куродавлеву отъ великаго государя идти заутре безъотмѣнно въ верхъ и мѣстами не

считаться. Велѣно быть безъ мѣстъ, такъ и порухи большимъ родомъ твоему отечеству въ томъ не будетъ. А ты бы государя не кручинилъ и садился бы въ столъ подъ княземъ Григорьемъ Пронскимъ». Вотъ я опять ударилъ челомъ: «Лучше бы, дескать, государь, ты меня, холопа своего, велѣлъ казнить смертію, а меньше князя Григорія быть не велѣлъ... Да мнѣ же, дескать, государь, за хворостію и недугомъ ни которыми мѣрами въ городъ ѣхать не мочно». Жду, пожду—отвѣта нѣтъ. Ну, думаю, видно, царь-государь взмиловался! На другой день, послѣ ранней обѣдни, пріѣхалъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ Буйносовъ и говоритъ: «Велѣно, братъ, тебя, коли ты станешь упорствовать и отговариваться хворостію, привезти неволею къ Красному крыльцу въ простой телѣгѣ, на одной лошади»... Такъ чтожъ?—сказалъ я, — въ этомъ никакой порухи роду моему не будетъ: не я поѣду, а меня повезутъ... «Послушай, Юрій», — учалъ опять говорить Кирилла Андреевичъ, — «не гнѣви государя!.. Неровенъ часъ!.. Смотри, чтобы тебѣ не быть разорену и сослану!» — Въ разоренье и ссылкѣ воленъ Богъ да государь, — молвилъ я, — а ужь меньше Гришки Пронскаго мнѣ не бывать!..—«Эй, полно, Юрій Максимовичъ!.. Ну, коли грѣхомъ Государь прогнѣвается не путемъ, да за твое непослушаніе укажетъ тебя высѣчъ въ подклѣти батогами?» — Такъ чтожъ? Власть его царская: что хочетъ, то и дѣлаетъ, а ужь я своей волею ниже Гришки Пронскаго ни за что не сяду! Вотъ этакъ, около полуденъ, пріѣхалъ ко мнѣ разрядный дьякъ Кобяковъ, а съ нимъ двое поддьяковъ. Какъ я сказалъ, такъ и сдѣлалъ: самъ не пошелъ изъ дому, а вывели меня подъ руки, посадили въ телѣгу и привезли къ Красному крыльцу. Какъ меня вынули изъ телѣги, я тутъ же на первой ступенькѣ легъ, да и лежу: «отнялись, дескать, вовсе ноги—нейдутъ!» Дѣлать то нечего! кликнули народу, внесли меня на крыльцо, а тамъ въ столовую палату и посадили неволею за столъ рука объ руку съ Пронскимъ. Лишь только меня покинули, я тотчасъ со скамьи, да и брякъ оземь!.. Пускай же лежу подъ лавкою, а не похваляться вору Гришкѣ, что я сидѣлъ за царскимъ столомъ ниже его!.. Велѣно меня поднять, посадить опять силою на скамью и во весь столъ держать подъ руки двумъ разрядным дьякамъ... Пожалуй себѣ!.. Это воля царская, лишь только бы моей то воли не было!.. Послѣ стола при-

казано мнѣ идти домой... Ну вотъ, думаю, отдѣлался!.. Такъ нѣтъ!.. Мошенникъ Гришка ударилъ на меня въ безчестьи челомъ царю-государю!.. Этакъ дня черезъ два, въ обѣденную пору, пожаловалъ ко мнѣ опять разрядный дьякъ Иванъ Улановъ и съ нимъ два пристава. Дьякъ объявилъ мнѣ государевъ указъ, что велѣно меня выдать головою князю Григорію Пронскому... Что будешь дѣлать, воля царская!.. Повели меня, добраго молодца, пѣшечкомъ, черезъ весь Китай-городъ на Лубянку, гдѣ у Пронскаго свой домишка; народъ останавливается, всѣ смотрятъ, какъ ведутъ меня подъ руки, словно колодника—за карауломъ!.. Пришли!.. Ввели меня на дворъ, поставили на нижнее крылечко и послали доложить хозяину. Пронскій поломался, повыдержалъ меня съ полчасика на крыльцѣ; гляжу — идетъ!.. Такой радостный, ухмыляется! Погоди, мошенникъ Гришка! — думаю я про себя; — будетъ и тебѣ тошно!.. Дьякъ Улановъ учалъ ему рѣчь говорить: «Великій-де государь указалъ и бояре приговорили боярина Юрія Курodавлева, за то, что онъ не хотѣлъ быть вмѣстѣ съ тобою у царскаго стола, выдать тебѣ за такое боярское безчестье его, Курodавлева, головою». Пока дьякъ Улановъ объявлялъ царскій указъ, я стоялъ какъ вкопанный, ни словечка!.. а какъ онъ свою рѣчь кончилъ, такъ я молвилъ про себя: «Слава тебѣ Господи — вытерпѣлъ!.. Ну, теперь, Гришка, держись!..» А онъ передъ дьякомъ такъ и разсыпается!.. «Я, дескать, на царскомъ жалованьи бью челомъ и земно кланяюсь за его государевъ великій оборонъ. А тебя, Юрій Максимовичъ,—промолвилъ онъ,— прошу отвѣдать моего хлѣба-сола».

— Спасибо на твоемъ хлѣбѣ! пусть имъ давится кто хочетъ! — сказалъ я, да и пошелъ его позорить!.. Ужь маялъ, маялъ!.. Всю подноготную высказалъ: какъ прадѣдушка его былъ въ Зарайскѣ губнымъ старостою, какъ его высѣкли плетьми и сослали въ Березовъ, за то что онъ мирволилъ ворамъ и разбойникамъ; какъ дѣдушка при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ наушничалъ и былъ на побѣгушкахъ у думнаго дьяка Щелкалова, а дядюшка, князь Петръ, при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, измѣнилъ подъ Вязьмою, и какъ его за эту измѣну били кнутомъ... Все вычелъ до тла!.. А тамъ надѣлъ шапку, да и со двора. Въ тотъ же самый день я ударилъ челомъ государю, чтобъ онъ дозволилъ мнѣ, по хворости и ради моихъ домашнихъ

дѣлишекъ, ѣхать на житье въ Мещовскую вотчину, а государь изволилъ сказать: «Пусть, дескать, ѣдетъ куда хочетъ». Вотъ я пріѣхалъ сюда и живу себѣ,—не то что подъ опалою, не то что въ милости, а такъ, ни то, ни се!.. Ну, Дмитрій Афанасьичъ, видишь ли теперь, что мнѣ вовсе не слѣдъ ѣхать въ Москву безъ царскаго указа?

— Вѣстимо, Юрій Максимовичъ,—сказалъ Левшинъ,—коли не хочешь, такъ зачѣмъ ѣхать. А дозволь мнѣ спросить тебя, — продолжалъ онъ, — я что то въ толкъ не возьму: какъ могъ ты позорить князя Пронскаго? Вѣдь не онъ тебѣ, а ты ему былъ выданъ головою.

— Въ томъ-то и дѣло, любезный!.. Иль ты не знаешь, что тотъ бояринъ воленъ того боярина, которому онъ выданъ головою, лаять и безчестить всякою бранью, а тотъ ему, за его злыя слова, ничего чинить не смѣетъ; а кто бы надъ такимъ выданнымъ человѣкомъ за его брань учинилъ какое убойство или безчестіе, тому бы самому указъ былъ противъ того вдвое, за тѣмъ, что онъ безчеститъ не того, кто выданъ ему головою, а того, кто прислалъ его, сирѣчь самого царя.

— Вотъ что!.. Ну, этого я не зналъ, Юрій Максимовичъ.

— Да мало ли вы чего не знаете?... И гдѣ безроднымъ стрѣльцамъ знать наши боярскія родословныя дѣла. Вѣдь разрядныя то книги не про нихъ написаны. У васъ какія мѣста?.. Посмотришь, у иного стрѣлецкаго головы батюшка былъ поддьякомъ, а дѣдушка земскимъ ярыжкою; а кто былъ его прадѣдъ, такъ онъ и самъ этого не знаетъ... Да что объ этомъ толковать!.. Выпьемъ-ка лучше угорскаго, что рѣшотнымъ-то хлѣбцомъ попахиваетъ!.. Тебя, отецъ Егоръ, — промолвилъ Куродавлевъ шутя, — я имъ потчевать не стану: идетъ оно изъ еретичной земли, а ты особа духовная, такъ тебѣ не слѣдъ его пить, выкушай лучше вишневки; я и самъ пью это заморское вино—такъ! ради прихоти. То-ли дѣло наша православная наливочка!.. Эй, подавайте кубки!

Хозяину и гостямъ подали небольшіе серебряные кубки, немного поболѣе нынѣшнихъ хрустальныхъ бокаловъ. Куродавлеву и Левшину палили въ нихъ венгерскаго, а отцу Егору вишневки. Хозяинъ всталъ; гости, разумѣется, послѣдовали его примѣру. Держа въ рукѣ кубокъ, бояринъ отошелъ на средину комнаты и сказалъ: — За здравіе и благополучное царствіе великаго государя...

— Великихъ государей нашихъ! — прошепталъ священникъ.

— Охъ, не могу привыкнуть!—сказалъ бояринъ.—Ну, дѣлать нечего: за здравіе великихъ государей нашихъ: Петра Алексѣевича...

— Іоанна Алексѣевича!—прервалъ опять священникъ.

— Эхъ, полно, отецъ Егоръ! — вскричалъ съ нетерпѣньемъ Куродавлевъ. — Вѣдь это не эктинья!.. Ну, инь просто: за здравіе великихъ нашихъ государей и всего царскаго рода!.. Да дай Господи батюшкѣ нашему, Петру Алексѣевичу, скорѣй подрасти и прибрать къ рукамъ всѣхъ крамольниковъ, зачинщиковъ всякихъ смутъ; да и тѣхъ,— промолвилъ вполголоса бояринъ, — которые исподтишка имъ мирволятъ!

Когда хозяинъ и гости осушили до дна свои кубки, Куродавлевъ приказалъ ихъ снова наполнить и предложилъ выпить за здравіе святѣйшаго патріарха, потомъ за благоденствіе всего царства русскаго, а тамъ за здравіе Кириллы Андреевича Буйносова. Одинъ заздравный кубокъ смѣнялся другимъ — и вотъ къ концу стола — грѣшно сказать, чтобъ хозяинъ подгулялъ, однакожъ порядкомъ раскраснѣлся, и гости стали также поразговорчивѣе и веселѣе.

— Эге! — молвилъ бояринъ. — Да я никакъ Тришку и Буяна вовсе забылъ. Что, Пузырь, хочешь ѣсть?

Тришка покосился исподлобья на своего барина и прохрипѣлъ:

— Нѣтъ, не хочу. Зачѣмъ мнѣ ѣсть? Я вѣдь и такъ проживу.

— А что и въ самомъ дѣлѣ,—прервалъ Куродавлевъ,— на что тебѣ, Тришка, ѣсть? Жилъ бы себѣ такъ — не ѣвши!.. Сбирайте со стола!

— Постой, постой! что вы? — закричалъ шутъ. — Ахъ ты, глупая голова! да чтожъ я дѣлать то буду, коли ѣсть не стану?

— Правда, правда! Эй! отнесите имъ этого поросенка!.. Да смотри, Пузырь, не задѣли Буяна.

Вѣроятно и голодная собака опасалась того же, потому что, не дожидаясь раздѣла, схватила на лету жаренаго поросенка, когда его подали Тришкѣ, и кинулась вонъ изъ комнаты.

— Ай да Буянъ!—промолвилъ съ громкимъ хохотомъ

Куродавлевъ.—Что, братъ Тришка, прозѣвалъ?... А поросенокъ то былъ какой!

— Ну что ты зубы то скалишь, жидъ этакій— заревѣлъ Тришка.—Тебѣ хорошо: вишь, разъѣлся, какъ быкъ,— раздуло бы тебя горой!... Уродина этакій!...

— Ну, ну, не гнѣвайся! — прервалъ бояринъ, умирая со смѣху.—Дайте ему вотъ эту утку съ груздями... Да смотри, Пузырь, коли ты всю ее не съѣшь, такъ я тебя двое сутокъ кормить не волю.

— Небось, Максимычъ!—закричалъ Тришка, схвативъ съ жадностію утку.—Небось! я тебѣ да Буяну однѣ косточки оставлю.

Шутъ принялся убирать утку, ворча и передразнивая всѣ пріемы голодной собаки, которая гложетъ кость; а бояринъ, помолчавъ нѣсколько времени, обратился къ священнику и сказалъ:

— Знаешь ли, батька, какіе слухи идутъ о новомъ мещовскомъ воеводѣ?... Говорятъ, будто бы онъ раскольникъ.

— И я слышалъ объ этомъ, Юрій Максимовичъ, — отвѣчалъ отецъ Егоръ.—Мнѣ разсказывалъ мещовскій соборный псаломщикъ, что ихъ новый воевода, хотя и бываетъ по праздникамъ въ соборѣ, да во всю службу ни разу лба не перекреститъ, къ святымъ иконамъ не прикладывается, и лишь только іерей возгласитъ: «благословеніе Господне на васъ»—такъ онъ тотчасъ и вонъ изъ церкви. Видно, за тѣмъ, чтобъ къ кресту не подходить.

— Ахъ, онъ еретикъ проклятый!... Да прахъ его возьми!.. Ну-ка, Дмитрій Афанасьичъ,—выпьемъ еще по послѣднему!.. За чье бы здоровье?... Э!... да вѣдь ты человѣкъ молодой— жилъ всегда въ Москвѣ, а тамъ красавицъ то не перечтешь,— что звѣзды на небѣ!... Ужъ вѣрно и у тебя, добрый молодецъ, есть зазнобушка... Да полно, Дмитрій Афанасьичъ, не краснѣй!... Ты человѣкъ холостой, въ годахъ, такъ какъ же тебѣ не смышлять о невѣстѣ?... Ну, выпьемъ за ея здоровье!... А какъ бишь ее зовутъ!... Что, братъ, молчишь!.. Ну, коли не хочешь сказать, такъ выпьемъ просто за здравіе твоей суженой!...

Опорожнивъ послѣдній кубокъ, бояринъ оборотилъ его вверхъ дномъ и поставилъ къ себѣ на голову, въ доказательство того, что въ немъ не осталось ни капельки. Всѣ поднялись изъ-за стола. Священникъ прочелъ опять молитву; потомъ, поблагодаривъ хозяина за хлѣбъ за соль и благо-

словя его и Левшина, отправился домой. Курodавлевъ, по тогдашнему русскому обычаю, собрался отдохнуть, а Левшинъ пошелъ въ свою свѣтлицу, и хотя не имѣлъ привычки спать каждый день послѣ обѣда, но, утомясь отъ скорой ѣзды и проведенной безъ сна ночи, послѣдовалъ охотно примѣру своего хозяина.

VII.

Левшинъ проспалъ бы до самаго вечера, еслибъ его не разбудилъ Феропонтъ.

— Пора вставать, Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ онъ, толкнувъ подъ бокъ своего барина.—Посмотри-ка въ окно: ужь солнышко то на закатѣ.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ? — промолвилъ Левшинъ, вскочивъ съ постели и протирая глаза.

— Право слово такъ!... Ну, батюшка,—продолжалъ Феропонтъ, надѣвая на Левшина зипунъ, въ которомъ онъ былъ за обѣдомъ:—коли тебя такъ же угостили, какъ меня, такъ я тебѣ скажу!... Вотъ ужь подлинно разливное море!.. По стакану вина, по ковшу браги, щи богатыя, каша съ масломъ, пироги съ мясной начинкою... Эко житье, подумаешь, здѣшнимъ холопямъ!... Дѣла почитай никакого, пей себѣ вволю, ѣшь до отвала и спи, сколько хочешь!... Да ужь зато, Дмитрій Афанасьичъ, и они всѣ до единаго лягутъ головами за своего боярина. Зыкни только онъ, батюшка, такъ каждый на рогатину полѣзетъ!... Ну, дай Господи намъ подольше здѣсь погостить!... Такъ отъѣдимся, Дмитрій Афанасьичъ!...

— Эхъ, полно, Феропонтъ! ты только объ ѣдѣ и думаешь.

— А чтожъ, батюшка?... Ѣда дѣло доброе. По милости твоей, я всѣмъ доволенъ: служба моя льготная, жены и дѣтей нѣтъ, такъ о чемъ же думать?... Коли тебя и въ будни кормятъ пирогами, такъ и ѣшь себѣ на здоровье пироги, а объ завтрашнемъ днѣ не загадывай!.. Придетъ нужда, сама скажется. По мнѣ вотъ какъ, Дмитрій Афанасьичъ: привелъ Богъ пожить въ довольствѣ, такъ ѣшь, пей и гуляй себѣ, добрый молодецъ; пришла нужда — не горюй, — воля Божья!... Русскій человѣкъ всегда такъ: коли есть что въ печи, все на столъ мечи! а коли нѣтъ, такъ и на

томъ спасибо! Выпилъ водицы, закусилъ сухарикомъ, да и слава тебѣ Господи!

— Не прогнѣвайся, господинъ честной, — сказалъ дворецкій Кондратій, входя въ комнату, — что осмѣлился къ тебѣ придти за моимъ собственнымъ дѣломъ!

— Милости просимъ!—отвѣчалъ Левшинъ. — Что тебѣ надобно, любезный?

— А вотъ что, Дмитрій Афанасьичъ! Мы вѣдь здѣсь въ глуши ничего не знаемъ, что дѣлается въ престольномъ градѣ, въ нашей матушкѣ, богоспасаемой Москвѣ... Вотъ мы здѣсь недавно цѣловали крестъ одному царю-государю Петру Алексѣевичу, а тамъ наслали указъ, чтобъ цѣловать крестъ и братцу его, Іоанну Алексѣевичу. Да еще же поговариваютъ, что врядъ ли мы не будемъ цѣловать креста и старшей ихъ сестрицѣ, царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ. Чтожъ это такое, батюшка!... Я пришелъ ударить челомъ твоей милости, чтобъ ты разсказалъ мнѣ, что у васъ въ Москвѣ-то понадѣлалось. Говорятъ, будто бы стрѣлецкое войско вовсе вышло изъ послушанія, и были великія смуты и мятежи. Правда ли все это?

Левшинъ разсказалъ въ короткихъ словахъ Кондратью о всѣхъ злодѣйствахъ мятежныхъ стрѣльцовъ, объ ихъ измѣнѣ, неслыханномъ буйствѣ и посрамленіи святыни въ лицѣ первыхъ сановниковъ церковныхъ и самого святѣйшаго патріарха. Когда Левшинъ кончилъ свой разсказъ, старикъ дворецкій, человѣкъ грамотный и усердный поборникъ православія, принялся такъ же, какъ бояринъ Куродавлевъ, осыпать ругательствами сослуживцевъ Левшина, съ тою только разницею, что тотъ вовсе не церемонился и позорилъ ихъ всѣхъ, не думая о томъ, что его слушаетъ стрѣлецкій сотникъ. Кондратій, напротивъ, при каждомъ новомъ ругательствѣ низко кланялся, говоря: «Не погнѣвайся, батюшка!... На осуди меня, старика, за правду!... Не при тебѣ будь слово сказано!» Болѣе всего Кондратій досадовалъ на стрѣльцовъ за то, что они почти всѣ были преданы расколу.—Чего ждать путнаго отъ этихъ еретиковъ!—говорилъ онъ.—Вотъ и здѣсь, Дмитрій Афанасьичъ, того и гляди, что будетъ бѣда. Засѣло ихъ въ здѣшнихъ лѣсахъ видимо-невидимо! Еще хорошо, что у нихъ завелись разные толки и нѣтъ согласія межъ собою, а то бы они всю здѣшнюю сторону заполонили. У нихъ же есть и коноводъ, какой-то книжный человѣкъ, Андрей Поморянинъ,

о которомъ и Богъ вѣсть что разсказываютъ. Кто онъ таковъ, никто не знаетъ, а такую силу взялъ надъ своей братьей, раскольниками, что и сказать нельзя!... Прежній мещовскій воевода хотѣлъ было унять здѣшнихъ еретиковъ: переписъ началъ имъ дѣлать, бѣглыхъ ловить, да зато не долго и усидѣлъ на воеводствѣ. Теперь въ Мещовскѣ воеводою Ѳедоръ Степановичъ Токмачевъ — такой же еретикъ, какъ и Андрей Поморянинъ, съ которымъ онъ живетъ душа въ душу. Поговариваютъ также, что будто бы этотъ Поморянинъ выдаетъ за новаго то мещовскаго воеводу свою родную дочь.

Левшинъ поблѣднѣлъ.

— Мнѣ это сказывалъ, — продолжалъ дворецкій, — мой кумъ, Тихонъ Фадѣичъ Масѣевъ, мещовскій купецъ, у котораго я останавливаюсь, а ему объ этомъ самъ воевода говорилъ: «ты, дескать, Фадѣичъ, добудь мнѣ изъ Москвы жемчужныя рясны, да запястья съ камушками: невѣсту хочу дарить. Я, дескать, вдовецъ, борода у меня съ просѣдью, а она дѣвка молодая, такъ надо чѣмъ нибудь ей угодить».

— И онъ сказалъ Масѣеву, что женится на дочери Андрея Поморянина?—прервалъ съ живостію Левшинъ.

— Нѣтъ, батюшка, да Фадѣичъ то смекаетъ, что должно быть такъ. Недаромъ, дескать, по всему городу объ этомъ слухи идутъ, не даромъ и раскольники, которые живутъ въ Мещовскѣ, зазнались такъ, что къ нимъ и приступу нѣтъ. При прежнемъ воеводѣ—говоритъ кумъ — бывало въ крестовые ходы они, окаянные, сидятъ по домамъ, а теперь такъ вовсе не прячутся: стоятъ себѣ на улицѣ, да зубы скалятъ!... Мы, православные, когда духовенство проходитъ съ хоругвями и святыми иконами, молимся и кладемъ земные поклоны, а они, проклятые, и шапокъ не ломаютъ!... Вотъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, до чего мы дожили!... Э! да какъ я заговорился съ твоею милостью: вонъ и солнышко-то гдѣ!... А у меня дѣла съ три пропасти!... Прощенья просимъ, Дмитрій Афанасьичъ! Благодарствую тебѣ, батюшка, что ты не погнушался мною, старикомъ, и изволилъ со мною побесѣдовать! Дай Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать.

— Ты слышалъ, Феропонтъ? — промолвилъ Левшинъ, когда дворецкій вышелъ изъ свѣтлицы.

— Слышалъ, Дмитрій Афанасьичъ.

— Ну не правду ли я говорилъ, что Господь не судилъ мнѣ быть счастливымъ?

— Эхъ, батюшка! охота же тебѣ всему вѣрить!... Да мало ли что отъ бездѣлья болтаютъ?... У мещовскаго воеводы часто бываетъ Андрей Поморянинъ, а у него есть дочка невѣста, такъ вотъ ихъ и обвѣнчали!... Ну, ты самъ разсуди: статочно ли дѣло, чтобъ царскій сановникъ—воевода породнился съ этимъ балахонникомъ?... Ты дѣло другое: и чинъ-то твой поменьше, и Софья-то Андреевна пришла тебѣ по-сердцу.

— Да кому она не придетъ по сердцу, Феропонтъ?

— Кому!... Да развѣ ты не слышалъ, что мещовскій то воевода въ годахъ?... А вѣдь пожилой человѣкъ не то, что молодой: коли онъ захочетъ жениться, такъ станетъ искать себѣ ровни. Да вотъ хоть я, батюшка: въ старые годы я бы на Дарью и взглянуть не захотѣлъ, а теперь мнѣ что за дѣло, что съ лица то она небольно смазлива—была бы хорошей работницей... Вотъ такъ-то и мещовскій воевода, станетъ онъ искать пригожей невѣсты: была бы только знатнаго рода, да приданые-то сундуки потяжеле, а красота что, батюшка!... Послѣднее дѣло!... Подъ боярской шапкою и глупая голова умна, подъ золотой фатою и рябая дѣвка красавица!... Да ты не кручинься, Дмитрій Афанасьичъ,—продолжалъ Феропонтъ, глядя съ участіемъ на своего господина.—Времени-то еще много впереди. Вѣдь дочку замужъ выдать не пирогъ спечь. Вотъ я въ воскресенье повидаюсь съ Дарьей и, можетъ статься, привезу тебѣ добрую вѣсточку...

— Въ воскресенье!.. А теперь еще пятница...

— Такъ чтожъ?.. Всего два денечка. Потерпи, батюшка!.. Да что это?.. Посмотри-ка, Дмитрій Афанасьичъ!.. Видишь, передъ господскимъ дворомъ, на лугу, сбираются мужички и бабы; видно, хотятъ въ хороводы играть. Мнѣ сказывали, что опричь соколиной и псовой охоты, это любимая забава боярина... Да вотъ никакъ и онъ самъ изволитъ сюда идти... Ну, такъ и есть!

— Что, гость дорогой, — сказалъ Куродавлевъ, подойдя къ открытому окну,—отдохнулъ чтоль?

— Отдохнулъ, Юрій Максимовичъ.

— Такъ не хочешь ли взглянуть на наши деренскія забавы?.. Милости просимъ за ворота, на лугъ!

Левшинъ вышелъ вмѣстѣ съ бояриномъ на обширный

лугъ, посреди котораго огромный сибирскій кедръ, раскинувъ свои роскошныя и благовонныя вѣтви, прикрывалъ, какъ шатромъ, дубовую скамью и столъ, на которомъ стояла серебряная братина, наполненная медомъ, въ ней плавалъ небольшой позолоченный ковшъ, а подлѣ стояли двѣ кружки, также серебряныя.

— Прошу покорно сюда, Дмитрій Афанасьичъ! — сказалъ бояринъ, садясь на скамью. — Здѣсь, любезный, моя красная площадь, только на ней никто не бунтуетъ, а всѣ веселятся.

Весь лугъ передъ господскимъ дворомъ кипѣлъ народомъ. Всѣ были одѣты по праздничному, то есть женщины въ кумачныхъ сарафанахъ и бѣлыхъ поневахъ, мужчины въ красныхъ и синихъ рубахахъ; на иныхъ были сермяжные кафтаны въ накидку, на другихъ бѣлые холстяные азямы; замужнія крестьянки были въ нарядныхъ кичкахъ, дѣвушки въ повязкахъ, а всѣ мужчины безъ исключенія въ войлочныхъ шапкахъ или шляпахъ безъ крыльевъ, совершенно сходныхъ съ тѣми, которыя и теперь еще носятъ въ Бѣлоруссіи.

— Ну, что, зачѣмъ дѣло стало?.. — сказалъ Куродавлевъ. — Что они толкутся на одномъ мѣстѣ, словно бараны?.. Эй, Демка!..—продолжалъ онъ, обращаясь къ одному изъ своихъ челядинцевъ. — Скажи бабамъ то, чтожъ онѣ не поютъ и въ хороводы не играютъ!.. Иль нѣтъ... постой... я ихъ расшевелю!.. Подавай сюда Ѳедьку Козла!

Ѳедька Козелъ, дѣтина лѣтъ тридцати пяти, вышелъ изъ толпы слугъ. Взглянувъ на его худощавое лицо, съ раздавленнымъ плоскимъ лбомъ, выдававшимися впередъ челюстями, длиннымъ горбатымъ носомъ и небольшой остроконечной бородкою, не трудно было догадаться, почему его прозвали козломъ. Онъ держалъ подъ мышкою гудокъ.

— Слушай, Ѳедька! — сказалъ бояринъ: — ступай-ка туда къ бабамъ, да хвати плясовую. Вишь, онѣ сегодня что-то жмутся.

— Ничего, батюшка Юрій Максимовичъ, — сказалъ Ѳедька Козелъ, натягивая струны на своемъ гудкѣ. — Видно, засмотрѣлись на его милость, небывалаго гостя. Да вѣдь все дѣло въ починѣ; вотъ какъ я затяну бычка, такъ ноги то у нихъ порасходятся.

Гудочникъ сказалъ правду: лишь только струны заскри-

пѣли подъ его бойкимъ смычкомъ, и онъ самъ началъ пошевеливаться и потряхивать своей козлиной бородкою, все пришло въ движеніе. Разсыпанные по лугу крестьяне столпились въ одну кучу, примкнули къ бабамъ, и вотъ въ нѣсколько минутъ составилось съ полдюжины хороводовъ. Ѳедька Козелъ перебѣгалъ отъ одного хоровода къ другому, подлаживалъ на своемъ гудкѣ подъ пѣсни, свистѣлъ соловьемъ и морилъ со смѣху бабъ своими прибаутками. Около часу продолжались эти безпрерывныя потѣхи; хороводныя пѣсни не умолкали ни на минуту. Лишь только гдѣ оказывалось небольшое охлажденіе, являлся Ѳедька гудочникъ, и въ тотъ же часъ пѣсни и пляски начинались снова. Во все это время Куродавлевъ не говорилъ почти ничего: онъ смотрѣлъ съ улыбкой удовольствія на забавы своихъ крестьянъ, хохоталъ отъ всей души при каждомъ новомъ шутовствѣ гудочника, пилъ медъ и потчевалъ имъ безпрестанно своего гостя... Вотъ наконецъ неутомимый Ѳедька Козелъ выбился изъ силъ и присѣлъ отдохнуть на траву; многіе изъ крестьянъ послѣдовали его примѣру; пѣсни затихли и хороводы стали по немногу расходиться. Въ эту самую минуту подошли къ боярину два мужика и повалились ему въ ноги.

— Что вы, братцы?—спросилъ Куродавлевъ.

— Пришли къ тебѣ, батюшка! — сказалъ одинъ изъ нихъ вставая.

— Вижу, что пришли, да кто вы такіе?

— Бѣлопомѣстные крестьяне, батюшка, изъ Бобровской волости.

— А, сосѣди!.. Ну что вы, ребята?

— Челомъ бьемъ, государь Юрій Максимовичъ,— разсуди насъ.

— Да что я вамъ за судья?.. У васъ есть своя управа. Коли вы суда просите, такъ шли бы къ земскому головѣ.

— Нѣтъ, кормилецъ! — сказалъ другой крестьянинъ,— куда намъ идти на судъ къ земскому головѣ: вѣдь къ нему безъ приноса и глазъ не кажи; либо свинку, либо барана, а ужь съ поросенкомъ и не ходи!.. Мы, батюшка, люди бѣдные, такъ — знаешь, этакъ подумали, да и стали на томъ, чтобъ идти къ тебѣ, Юрій Максимовичъ... Какъ ты, кормилецъ, насъ разсудишь, такъ тому и быть.

— Ну, хорошо!.. Только слушайте, братцы: коли вы

пошли ко мнѣ на судъ, такъ чуръ послѣ не пенять!.. Ну, кто изъ васъ на кого жалуется?

— Я, батюшка! — сказалъ первый мужикъ. — Вотъ мы съ Андрюшкой ходили вдвоемъ на медвѣдя; уговоръ былъ шкуру пополамъ. А какъ у насъ дошло до дѣлежа, такъ онъ попятился и шкуру то беретъ на одного себя.

— Ну, все ли ты сказалъ?

— Все, батюшка.

— Ладно!.. Теперь ты, Андрюшка: былъ ли у васъ уговоръ шкуру пополамъ?

— Былъ, кормилецъ.

— Такъ зачѣмъ же ты пятишься?

— А вотъ изволь выслушать: на прошлой недѣлѣ Васька — сирѣчь онъ, батюшка,— завернулъ ко мнѣ, да и говоритъ: «Андрюха! я обошелъ медвѣжью берлогу, близехонько отсюда, въ Хотисинской засѣкѣ. Хошь идти?»— Изволь, молъ!.. Мнѣ не впервые ходить на медвѣдя — пойдемъ!—Вотъ мы взяли по рогатинѣ да по топору и пошли. Какъ стали мы подходить къ берлогѣ, слышимъ — реветъ косолапый. Кажись, мы шли противъ вѣтру, а онъ все-таки почуялъ, что до его шкуры добираются. Я глядь на Ваську, — а на немъ и лица нѣтъ!.. «Что ты, братъ?»— молвилъ я,—«никакъ тебя страхъ беретъ?.. Эй, Васька, не робѣй!.. Вѣдь медвѣдь то этого не любитъ.» — Нѣтъ, дескать, я не робѣю, а меня что то знобитъ. То-то знобитъ!.. Смотри, Васюкъ, не выдавай!.. Вотъ слышимъ въ лѣсу то захрустѣло, словно вихремъ деревья ломаетъ. «Чу!» сказалъ я,—«прямехонько идетъ на насъ!» Смотрю, Васька то ужь назадъ поглядываетъ. «Ну! думаю, худо дѣло!.. выдастъ онъ меня!» — Такъ и есть!.. Лишь только Мишка то насъ взвидѣлъ да поднялся на дыбы, Васька бросилъ рогатину, да давай Богъ ноги!

— Ахъ, трусишка проклятый!—прошепталъ бояринъ.— Ну! а ты что.

— Я, батюшка, наждалъ на себя звѣря, перекрестился, да хвать его рогатиной подъ лѣвую лопатку.

— Такъ, такъ!.. Ну, что, медвѣдь то полѣзъ на рогатину?

— Сначала полѣзъ, батюшка; такъ и претъ!

— А ты ратовище то рогатины себѣ подъ ногу?

— Вѣстимо, кормилецъ!

— Такъ, такъ!.. Ну, что, медвѣдь началъ около тебя круги давать?

— Да, батюшка!.. ужь онъ кружилъ, кружилъ!.. и ратовище пытался сломить, да, слава тебѣ Господи—устояло!.. а кровь то изъ него такъ и хлещетъ!.. Какъ онъ далъ этакъ круговъ тридцать, да вовсе изъ силъ то выбился, такъ вдругъ какъ зареветъ въ источный голосъ,— и пошелъ прямо по рогатинѣ на меня, а я топоръ изъ-за пояса, хвать его по мордѣ—вотъ онъ и повалился!

— Ну, Андрюха,—сказалъ Куродавлевъ, глядя съ удовольствіемъ на крестьянина,—ты, я вижу, человѣкъ бывалый!

— Какъ же, Юрій Максимовичъ, на томъ стоимъ!.. Вѣдь и батюшку то моего медвѣдь сломалъ, и дѣдушка умеръ калѣкою, а меня еще покамѣстъ Господь миловалъ... Ну вотъ, кормилецъ, какъ я медвѣдя то убилъ, да и думаю: за чтожъ я съ Васькой подѣлюсь?.. Вѣдь онъ меня руками выдалъ.

— Эхъ, братъ! — прервалъ второй крестьянинъ, — съ кѣмъ грѣха не бываетъ?.. Что будешь дѣлать — сробѣлъ!.. А вѣдь все-таки уговоръ то былъ пополамъ, и медвѣдя не ты сослѣдилъ, Андрюха, а я.

— Да ты полно, Васюкъ, нишни! Вотъ какъ его милость насъ разсудитъ.

Куродавлевъ призадумался.

— Ну!—сказалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,— послушайте, ребята: у васъ не было выговорено, что тотъ, кто сробитъ и не пойдетъ на медвѣдя, тому нѣтъ части въ шкурѣ?

— Нѣтъ, батюшка, лгать не хочу,—сказалъ Андреи:— объ этомъ и рѣчи не было.

— А коли не было рѣчи, да онъ же тебя и на звѣря навелъ, такъ дѣлать то, братъ, нечего,—дѣлись!

— Вотъ слышишь, Андрюха? —вскричалъ съ радостію Василій,—я вѣдь говорилъ тебѣ, что моя правда!

— Слышу-ста! — промолвилъ Андрей, почесывая затылокъ.

— Благодарствую тебѣ, государь Юрій Максимовичъ!— продолжалъ Василій, повалясь въ ноги,—что ты, батюшка, изволилъ такъ разсудить!

— А вотъ посмотримъ, скажешь ли ты мнѣ спасибо,— прервалъ Куродавлевъ. — Эй, ребята! возьмите ка этого гостя, да сведите-ка на конюшню.

— На конюшню! — повторилъ съ ужасомъ Василій. — Зачѣмъ, батюшка?

— Затѣмъ, чтобъ отодрать тебя нещадно батогами.

— Помилуй, кормилецъ,—за что?

— За что?.. Ахъ ты, мошенникъ этакій! еще спрашиваетъ за что?.. Да коли ты самъ напросился идти вдвоемъ на медвѣдя, такъ какъ же ты могъ выдать своего товарища?.. Да знаешь ли ты, что въ нашемъ охотничьемъ быту за такое дѣло порятъ вашу братью до полусмерти?.. Нѣтъ, любезный! пошелъ ко мнѣ на судъ, такъ не прогнѣвайся... задамъ я тебѣ зорю!.. Ведите его!

— Батюшка! — завопилъ Василій, котораго двое слугъ схватили подъ руки, — отецъ родной, помилуй!.. И отъ шкуры отступаюсь!

— Ага, голубчикъ! видно, своей то жаль?.. Да нѣтъ! что тебѣ слѣдуетъ — бери, а ужь дерку тебѣ зададутъ!.. Кондратій! ступай съ ними, да при себѣ — знаешь... путемъ!

— Государь Юрій Максимовичъ, — сказалъ другой крестьянинъ, когда увели его товарища, — взмилуйся! не прикажи его наказывать! Я на немъ ничего не ищу; коли онъ дѣлежа не проситъ, такъ Богъ съ нимъ!

— Нѣтъ, братецъ, нѣтъ!

— Да что толку то, кормилецъ?.. Какъ его не пори, а онъ смѣлѣе не будетъ. Ужь, видно, такимъ уродился.

— Такъ не берись за гужъ, коли не дюжъ!.. Вѣдь ты бы, чай, одинъ на медвѣдя не пошелъ?

— Не пошелъ бы, батюшка.

— Вотъ то-то-же!.. а вышло, что ты одинъ съ нимъ возился. Ну, кабы звѣрь-то тебя сломалъ—за что?

— Такъ, батюшка, такъ'.. Да что мнѣ за прибыль, что его отдерутъ батогами: вѣдь тогда шкуру-то придется дѣлить съ нимъ пополамъ?.. Благо онъ отъ нея отступился, такъ помилуй его, кормилецъ!

— А что тебѣ за медвѣдя давали?

— Два рубля, батюшка.

— Два рубля?.. Ну, хорошо: чтобъ ты не былъ въ убыткѣ, вотъ тебѣ рубль. Да полно — не кланяйся!.. Эй, Ѳедька Козелъ!.. Что у васъ тамъ все стало?.. Еще не время по домамъ расходиться. Ну-ка, молодицы: «заплетися, плетень», а не то: «мы просо сѣяли!»

Игры опять начались, и этакъ черезъ четверть часа привели назадъ крестьянина Василія. Онъ посматривалъ не очень весело.

— Что, братъ, — сказалъ Куродавлевъ, — будешь ли впередъ ходить на медвѣдя?

— И дѣтямъ и внучатамъ закажу, батюшка!

— Дурачина ты этакій!.. Хорошо, что Богъ помиловалъ, а то долго ли до грѣха!.. Другой на тебя понадѣется, да и пропадетъ не за денежку.

— Правда, кормилецъ, правда!.. Знай сверчокъ свой шестокъ!.. Ну, гдѣ мнѣ на медвѣдя ходить — пропадай онъ ставши, проклятый!

— Вотъ этакъ-то лучше!.. Ну что, ребята: такъ ли я васъ разсудилъ?

— Такъ, батюшка, такъ, — отвѣчали оба крестьянина въ одинъ голосъ.

— Довольно ли вы?

— Довольны, батюшка!

— Демка! поднеси имъ по чаркѣ вина... Ну, теперь ступайте съ Богомъ!.. Э! да никакъ еще гость пожаловалъ!.. Кондратій! поди-ка, посмотри,кто это тамъ тройкой въ телѣгѣ у воротъ остановился.

Кондратій возвратился черезъ нѣсколько минутъ и доложилъ боярину, что пріѣхалъ изъ Мещовска земскій дьякъ.

— Изъ Мещовска!.. Зачѣмъ?—спросилъ Куродавлевъ.

— Не вѣдаю, батюшка, — отвѣчалъ Кондратій. — Онъ говоритъ, что присланъ къ тебѣ отъ мещовскаго воеводы Токмачева.

— Вишь, какой бояринъ — пословъ разсылаетъ!.. Могъ бы и самъ облегчиться, да пріѣхать, коли дѣло есть... Ну, позови его!

Пріѣзжій, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ и весьма некрасивой наружности, подошелъ тихими шагами къ боярину, снялъ шапку и поклонился.

— Что ты, голубчикъ,—сросилъ Куродавлевъ,—зачѣмъ пожаловалъ?.. Говори!

— Бояринъ Юрій Максимовичъ! — началъ говорить дьякъ, повторивъ свой поклонъ, — мещовскому воеводѣ и стольнику, Ѳедору Степановичу Токмачеву, ударили челомъ на тебя, боярина, сосѣди твои, куклинскіе помѣстные люди, что ты, Юрій Максимовичъ, изволишь самовольно охотиться въ ихъ дачахъ, и луга ихъ топчешь, и птицу бьешь, и краснаго звѣря выводишь, и тѣмъ имъ, куклинскимъ помѣстнымъ людямъ, чинишь обиду и крайнее разореніе...

— Врутъ они, дурачье! — прервалъ Куродавлевъ. — тану я въ ихъ однодворческихъ дачахъ охотиться!.. Ну, а коли случаемъ я травлю звѣря, да онъ изъ моихъ дачъ перебѣжитъ въ чужія, такъ мнѣ шапку снять, да поклониться ему чтоль?

— Мещовскій воевода и стольникъ Ѳедоръ Степановичъ Токмачевъ, — продолжалъ дьякъ, не отвѣчая на вопросъ Куродавлева, — присудилъ ихъ челобитье записать, а къ тебѣ, боярину, послать земскаго дьяка съ указомъ...

— Съ указомъ? — Повторилъ Куродавлевъ, нахмуривъ брови. — Вотъ что!.. Ну чтожъ его милость, господинъ мещовскій воевода и стольникъ, мнѣ, холопу своему, изволитъ указывать?

Не обращая вниманія на эту насмѣшку, дьякъ вынулъ изъ-за пазухи небольшой бумажный свитокъ и подалъ его Куродавлеву.

— Ну! — сказалъ бояринъ, развернувъ столбецъ, — дно, вамъ дѣлать-то нечего!.. Смотри, пожалуй, сколько наваракали!.. да этого и въ сутки не прочтешь!.. Скажика лучше мнѣ на словахъ, что тутъ написано?

— Коли изволишь, такъ и на словахъ скажу, — молвилъ дьякъ. — Тутъ написано, бояринъ, чтобы тебѣ напредь сего въ чужихъ дачахъ не охотиться и сосѣдей не обижать; а коли ты, бояринъ, противъ сего воеводскаго указа ослушнымъ учинишься, то да будетъ тебѣ вѣдомо, что взыщутъ съ тебя за потравленнаго звѣря, за побитую птицу и за потоптанные луга, безъ всякаго обыска и разбора, втрое противъ того, что тѣ куклинскіе помѣстные люди станутъ сами показывать, сирѣчь имъ сполна за всѣ ихъ протори и убытки, да по стольку же на царскую казну и богадѣльный приказъ.

— Вотъ какъ! — прошепталъ Куродавлевъ, и глаза его засверкали. — Ну, что, — продолжалъ онъ, — ты все пересказалъ?

— Все, бояринъ.

— Нѣтъ не все!.. — Ты забылъ мнѣ сказать, что твой воевода рехнулся. Къ кому онъ тебя прислалъ — а?.. къ однодворцу чтоль или къ посадскому?.. Ахъ онъ неучъ проклятый!.. холопъ!.. да знаетъ ли онъ, что такое Юрій Максимовичъ Куродавлевъ?.. мошенникъ этакій!.. Вишь, бояринъ какой!.. Токмачевъ!.. И откуда этакихъ хамовъ въ воеводы-то набираютъ?.. А ты, голубчикъ, о двухъ

чтоль головахъ, что пріѣхалъ ко мнѣ съ такимъ указомъ отъ своего воеводишки?.. Да не знаешь ли, что я съ тобой сдѣлаю?..

Дьякъ поблѣднѣлъ.

— Батюшка бояринъ, — промолвилъ онъ дрожащимъ голосомъ,—не изволь на меня гнѣваться — я что!.. я человѣкъ маленькій: что мнѣ прикажутъ, то я и дѣлаю.

— Доложи своему раскольнику-воеводѣ, — сказалъ боярinъ, вставая, — что я и своихъ то дачъ въ двое сутокъ не объѣду, такъ стану ли по чужимъ дачамъ таскаться; а коли мнѣ вздумается и мещовскаго воеводу Токмачева травить собаками, да онъ изъ моего лѣса перебѣжитъ въ чужой, такъ я на это не посмотрю. Да перескажи ему это слово отъ слова—слышишь?

— Слышу, Юрій Максимовичъ!

— Вотъ его указъ!—продолжалъ Куродавлевъ, раздирая на части столбецъ. — На, вотъ тебѣ... на... подбери всѣ кусочки, да отвези къ своему воеводѣ и стольнику, пусть онъ ими подавится!.. и скажи ему отъ меня, Юрія Максимовича Куродавлева: «коли, дескать, ты, холопъ Ѳедька Токмачевъ, по твоему собачьему обычаю, учнешь еще такія же грамоты писать ко мнѣ, царскому боярину, такъ ты отъ меня и въ Мещовскѣ не спрячешься — я и тамъ тебя, голубчика, достану... Ну, теперь чтобъ и духу твоего здѣсь не пахло!.. Вонъ отсюда, приказная строка!

Дьякъ исчезъ.

— Фу, батюшки! — промолвилъ бояринъ, помолчавъ нѣсколько времени,—часъ отъ часу не легче!.. — Экія времена!.. Господи, Боже мой! вотъ, до чего я дожилъ: какой-то холопій сынъ Токмачевъ шлетъ ко мнѣ дьяка съ указомъ!.. Да этого въ старину не посмѣлъ бы сдѣлать и калужскій воевода... И я не велѣлъ заковать въ кандалы этого дьяка, не отодралъ его плетьми!.. Эхъ, устарѣлъ я—смиренъ сталъ!.. А все-таки не приведи Господи этому мещовскому воеводѣ повстрѣчаться со мною!.. Провалъ бы его взялъ — сквернавецъ этакій!.. совсѣмъ меня растревожилъ. И веселье на умъ нейдетъ!.. Да тебѣ же и пора, Дмитрій Афанасьичъ, въ баню, а тамъ еще надо поужинать; только не погнѣвайся, дорогой гость, коли я ужинать съ тобою не стану: мнѣ что то не здоровится... Прикажи накрыть столъ у себя въ комнатѣ... Прощай,

любезный!.. Тьфу ты, пропасть! — промолвилъ бояринъ, уходя,—ну стоитъ ли эта гадина, этотъ Ѳедька Токмачевъ, чтобъ я такъ сердился?.. А все-таки жаль — видитъ Богъ жаль, что онъ теперь у меня не подъ руками!

Левшинъ отправился въ баню, потомъ поужиналъ и легъ спать. Такъ кончился первый день, проведенный имъ у боярина Юрія Максимовича Куродавлева.

VIII.

Другой день прошелъ почти такъ-же, какъ первый, съ тою только разницею, что поутру бояринъ тѣшилъ своего гостя соколиною охотою и за обѣдомъ не разсказывалъ уже о своемъ мѣстничествѣ съ княземъ Пронскимъ, а продолжалъ позорить мещовскаго воеводу и подарилъ серебряный алтынникъ Тришкѣ за то, что этотъ догадливый шутъ, на боярскій вопросъ: хочетъ ли онъ познакомиться съ Ѳедькой Токмачевымъ, отвѣчалъ: «Нѣтъ, Максимычъ! я со своей братьею, дураками, не знаюсь». Вечеромъ Куродавлевъ вышелъ опять съ своимъ гостемъ на лугъ, на которомъ собрались попрежнему удалые молодцы, пригожія молодицы и дѣвицы красныя, пѣсеньки попѣть, поиграть въ хороводы и покачаться на *колыскахъ*: такъ назывались въ старину висячія качели. На этотъ разъ, вѣроятно, по приказанію боярина, хороводы кончились забавами, которыя напоминали олимпійскія потѣхи древнихъ грековъ. Дворовые люди и крестьяне бѣгали *взапуски*, боролись въ *охабку* и въ *одноручку*, бились въ кулачки одинъ-на-одинъ и наконецъ составили кулачный бой *стѣна на стѣну*. Эти кулачные бои имѣли въ старину свои правила, законы, и представляли довольно вѣрную картину настоящаго боя. Обѣ стороны маневрировали, то подвигались впередъ, то отступали назадъ; передъ каждой стѣною разсыпаны были, какъ застрѣльщики, отборные бойцы; къ нимъ высылали съ обѣихъ сторонъ подкрѣпленія, и все это оканчивалось обыкновенно общей свалкою, а потомъ совершеннымъ разстройствомъ и бѣгствомъ одной изъ стѣнъ... Всѣ участвующіе въ кулачномъ бою должны были драться съ непокрытыми головами: кто надѣвалъ шапку, тотъ становился лицомъ неприкосновеннымъ, и его, точно такъ же, какъ *лежачаго*, не дозволялось

бить никому. Само по себѣ разумѣется, что и тотъ, кто былъ въ шапкѣ, не смѣлъ уже никого ударить; въ противномъ случаѣ его избили бы до полусмерти.

Хотя Феропонтъ былъ страстный охотникъ до борьбы и кулачнаго боя, однакожъ не принималъ никакого участія въ этихъ молодецкихъ потѣхахъ, а присоединился къ толпѣ зрителей, которые, почти всѣ безъ исключенія, состояли изъ стариковъ, ребятишекъ и бабъ.

— Вѣдь это твой служитель, Дмитрій Афанасьичъ?— сказалъ бояринъ, взглянувъ нечаянно на Феропонта.

— Гдѣ, Юрій Максимовичъ?—спросилъ Левшинъ.

— А вонъ тамъ, подлѣ бабъ.

— Да, это мой слуга Феропонтъ.

— Экій ражій дѣтина!.. Да что это онъ такъ коверкается?

Въ самомъ дѣлѣ, Феропонтъ, не замѣчая, что на него смотритъ Куродавлевъ, дѣлалъ какіе то знаки своему барину, кивалъ головою и наконецъ поманилъ его просто къ себѣ рукою.

— Эй ты, Феропонтъ!—закричалъ бояринъ, — кого ты это къ себѣ манишь?

— Никого, батюшка Юрій Максимовичъ! — отвѣчалъ Феропонтъ, выступая впередъ и кланяясь боярину.

— Такъ чтожъ ты рукою то къ себѣ махалъ?

— Такъ, батюшка — муха!.. привязалась проклятая!— молвилъ Феропонтъ, подмигнувъ значительно своему барину.

— Чтожъ ты, братъ, — продолжалъ Куродавлевъ, — стоишь тамъ съ бабами да смотришь?.. Мнѣ сказывали, что ты силачъ. Коли не хочешь къ стѣнѣ пристать, такъ вызови кого-нибудь.

— Нѣтъ, батюшка Юрій Максимовичъ, мнѣ что-то сегодня нездоровится.

Въ эту самую минуту раздался на лугу громкій голосъ: «Нечестно, дворовые, нечестно!.. Лежачаго не бьютъ!» — Вслѣдъ за этимъ поднялся общій крикъ, посыпались ругательства.—«Стойте грудью, братцы!»—кричали мужики. — «Бейте холуевъ!» — «Сюда, молодцы, сюда!»— заревѣли дворовые; — «катайте сермяжниковъ!» — Противники кинулись другъ на друга, обѣ стороны смѣшались, и началась ужасная свалка.—Эге!—шепнулъ бояринъ вставая, — да они ужь расходились нешутемъ!.. — Эй, вы! —

зыкнулъ онъ своимъ молодецкимъ голосомъ, — ребята, шабашъ!» Лишь только прогремѣлъ этотъ приказъ, все затихло.—Кто смѣетъ бить лежачаго?—продолжалъ бояринъ, подойдя къ присмирѣвшимъ бойцамъ. Сотни голосовъ отвѣчали на этотъ вопросъ; одни обвиняли, другіе оправдывались. — Молчать,— закричалъ Куродавлевъ. — Никто ни гугу!.. Говори ты, Мирошка Козырь!.. — промолвилъ онъ, обращаясь къ широкоплечему мужику съ растрепанной рыжей бородою и огромной шишкой на лбу. — Помилуй, государь Юрій Максимовичъ! — сказалъ мужикъ. — Изволь самъ разсудить: при мнѣ Пахомку Лысаго твои дворовые сбили съ ногъ, да и ну его, лежачаго, валять не на животъ, а на смерть!

— Вретъ онъ, батюшка! — прервалъ одинъ изъ дворовыхъ: — вовсе не лежачаго. Онъ было хотѣлъ прикинуться — упалъ! — Да мы его подняли: двое держали подъ руки, а третій билъ. А били его за то, что онъ ударилъ Митьку Сурка; а вѣдь Митька то Сурокъ былъ въ шапкѣ.

— Давай сюда Митьку Сурка и Пахомку Лысаго! — сказалъ Куродавлевъ. Двое бойцовъ, одинъ съ подбитымъ глазомъ, другой съ разбитыми скулами, вышли впередъ. Дворовые и мужики обступили плотной толпою своего боярина—и судъ начался.

Левшинъ воспользовался этой минутою: онъ подошелъ къ своему слугѣ.

— Дмитрій Афанасьичъ,—шепнулъ Феропонтъ.—Пожалуй-ка, батюшка, сюда.

— Да что ты?—спросилъ Левшинъ.

— А вотъ какъ отойдемъ поодаль, такъ я тебѣ скажу... Пожалуй сюда, батюшка!... Вотъ за амбары то: тамъ никого нѣтъ.

— Ну, что такое?.. Говори скорѣй!—сказалъ Левшинъ, когда они зашли за уголъ огромныхъ барскихъ житницъ.

— А вотъ что, Дмитрій Афанасьичъ: я хотѣлъ въ воскресенье ѣхать въ Ѳедосѣевскій скитъ, чтобы повидаться съ Дарьей...

— Ну, да!.. Такъ что?

— А то, что ѣхать мнѣ будетъ не зачѣмъ.

— Какъ не зачѣмъ?

— Да, батюшка!.. Вѣдь Дарья то здѣсь.

— Здѣсь?..

— Пѣшкомъ пришла; говоритъ, что ей надо съ тобой повидаться.

— Гдѣ она?

— Да тамъ, за боярскимъ огородомъ, въ конопляхъ.

— Такъ пойдемъ же скорѣй!

— А вотъ пожалуй со мной.

Феропонтъ повелъ своего боярина вдоль плетня, изъ-за котораго поднимался цѣлый лѣсъ яблонь и вишневыхъ деревьевъ.

— Ну, что, видишь, батюшка?—сказалъ Феропонтъ,— вонъ въ красной душегрѣйкѣ то — это Дарья. Эка дѣвка бой, подумаешь!.. Еще хорошо, что я успѣлъ ее перехватить, а то вотъ такъ прямехонько къ тебѣ и ломитъ!.. Мы съ ней только словечка два-три перемолвили... Вишь, хозяинъ то, Андрей Поморянинъ, согналъ ее со двора... Ужь какъ она его позоритъ — Господи!.. И съ дочкой-то своей онъ что-то недоброе хочетъ сдѣлать... Да вотъ она сама тебѣ все перескажетъ.

Дарья, увидѣвъ Левшина и Феропонта, вышла къ нимъ навстрѣчу.

— Здравствуй, Дарья! — сказалъ Левшинъ. Ну, что ты?

— Что, батюшка? — промолвила Дарья, всхлипывая, — вѣдь злодѣй-то меня выгналъ!.. Выгналъ, кормилецъ!.. «Ступай, дескать, куда хочешь!» А куда я пойду?.. Человѣкъ я одинокій; ни роду, ни племени. Есть одна тетка, да и та въ Казани... Злющій этакій! чтобъ ему самому издохнуть гдѣ-нибудь подъ елкою, жиду проклятому!..

— Да ужь не бойся, Дарья, — прервалъ Левшинъ, — я тебя не покину. Ну что Софья Андреевна?

— Что, батюшка!.. Коли ты не выручишь, такъ пропала ее головушка!.. Да вотъ я тебѣ все раскажу. Какъ ты, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, изволилъ отъ насъ уѣхать, въ тотъ же самый день, около полудня, пожаловалъ къ намъ изъ Мещовска какой-то приказный, отъ тамошняго воеводы Токмачева; хозяинъ принялъ его съ честію, отвелъ къ себѣ въ образную, да тамъ съ нимъ и заперся. Вотъ я думаю себѣ: «о чемъ это они втихомолку толкуютъ межъ собою?.. дай-ка послушаю!» Рядомъ съ образной есть покоецъ, въ которомъ Андрей послѣ обѣда отдыхаетъ, — я и шмыгъ туда!.. Подкралась потихоньку къ двери, да ушкомъ то къ замочной щелкѣ. Чтожъ ты думаешь я услышала, Дмитрій Афанасьичъ?.. Хозяинъ то

просваталъ свою дочку за мещовскаго воеводу, а тотъ прислалъ ему сказать: привези, дескать, ее въ воскресенье ко мнѣ въ городъ, а ужь у меня все будетъ готово. Лишь пріѣдете, такъ тутъ же и къ вѣнцу; надобно, дескать, этимъ дѣломъ круто повернуть; какъ сказать ей впередъ, такъ, чего добраго, она еще пожалуй заломается — начнетъ говорить, что я ей неровня, да то, да се; а какъ вдругъ изъ повозки да въ церковь, такъ этакъ будетъ лучше: дѣвка то не успѣетъ и опомниться. «Ахъ, злодѣи!» — подумала я, — «за что они Софью то Андреевну сгубить хотятъ? Вѣдь этотъ Токмачевъ ей въ дѣдушки годится! Да говорятъ, уродина какой: горбатый, плѣшивый!.. Вотъ, слышу, пріѣзжій прощается съ хозяиномъ; я скорѣй отъ дверей, да къ окну и ну тереть тряпицею стекла. Андрей проводилъ гостя, вернулся назадъ и говоритъ мнѣ: «Ты что здѣсь, голубушка, дѣлаешь?.. Зачѣмъ пришла?» — «А вотъ, батюшка, стеклышки протереть». — «То то стеклышки!.. Да напрасно трудишься, любезная; изволь-ка забрать свои пожитки, да чтобъ сегодня же тебя здѣсь не было!.. Слышишь?»—Я такъ и обомлѣла!.. «Какъ, батюшка! ты меня гонишь вонъ?—«Да, матушка— не прогнѣвайся!» — «Помилуй! за что?» — «А такъ! чтобъ ты на огородъ то пріѣзжихъ молодцовъ не водила... Да что съ тобою толковать: пошла, пошла!»—Я было въ слезы... куда! повернулъ меня, да и въ шею!.. Ну, батюшка, хоть я человѣкъ смирный, а зло меня взяло!.. Выгнать безпріютую сироту!.. Что онъ, мошенникъ, какія знаетъ за мной художества?.. Я дѣвка честная!.. Небось, Марѳутку то не выгонитъ, скаредъ этакій!.. «Постой же!» думаю, «коли ты гонишь меня вонъ какъ собаку, такъ я же тебѣ, голубчикъ, и сама насолю!» — Вотъ я къ Софьѣ Андреевнѣ... Сидитъ пригорюнившись моя горемычная... Ужь такъ мнѣ ее жаль стало!.. «Что ты такъ призадумалась, красавица моя? — сказала я. — «Ужь не чуетъ ли твое сердечко, что тебя выдаютъ замужъ за этого стараго лѣшаго, мещовскаго воеводу Токмачева?..» «Какъ!» — вскрикнула Софья Андреевна.—Да, родимая, послѣзавтра, сирѣчь въ воскресенье, батюшка отвезетъ тебя въ городъ, да тутъ же и подъ вѣнецъ. — Софья Андреевна всплеснула руками и покатилась словно мертвая. Я попрыскала ее водицей — очнулась моя голубушка! да только не на радость; ухватила меня руками за шею, припала къ плечу, да такъ рѣкой и льется!.. —

Эхъ, матушка! — сказала я, — что толку то плакать: вѣдь на это не посмотрятъ; а коли хочешь, я тебѣ помогу.—«Да какъ же ты мнѣ поможешь?»—промолвила она сквозь слезы. —А вотъ какъ: я пойду къ Дмитрію Афанасьевичу; село Толстошеино отсюда верстъ тридцать, такъ я завтра же съ нимъ увижусь. Была бы только твоя воля, а ужь онъ тебя выручитъ; и коли дѣло на то пошло, такъ въ воскресенье ты выйдешь замужъ, да только не за этого стараго хрыча— чтобъ ему, проклятому, послѣднимъ зубомъ подавиться! — «Да какъ же это? — спросила Софья Андреевна. — Вѣстимо какъ!.. Дмитрій Афанасьичъ пріѣдетъ сюда тайкомъ вмѣстѣ со мною, ты къ намъ выйдешь...—«Какъ!»—молвила Софья Андреевна, «я убѣгу отъ моего отца, выйду замужъ безъ его благословенія»... — Эхъ, матушка! — сказала я, — это дѣло поправное: теперь не благословитъ, такъ благословитъ послѣ; не цѣлый же вѣкъ станетъ гнѣваться... Кто и говоритъ — на первыхъ порахъ посердится, а тамъ, глядишь, и помилуетъ. Ну, а коли ты выйдешь за этого стараго пса Токмачева, такъ что тебѣ и въ отцовскомъ благословеніи?.. Вѣдь постылый то мужъ—бѣда, матушка! А онъ же, проклятый, чего добраго, проживетъ аридовы вѣки!.. Эй, Софья Андреевна, не послушаешься меня, станешь у себя локотки кусать! — Куда! моя Софья Андреевна и руками и ногами! «Какъ, дескать, бѣжать изъ родительскаго дома—да этакую бѣглянку самъ Богъ не благословитъ. — «Я и то, я и се... нѣтъ, подъ ладъ не дается!.. Ну, матушка,—молвила я,—воля твоя, какъ хочешь; вѣдь не меня выдаютъ замужъ, а тебя. Ступай за Токмачева: можетъ быть онъ тебѣ полюбится. А я все-таки пойду къ Дмитрію Афанасьичу. Вѣдь твой батюшка меня выгналъ, такъ авось онъ, кормилецъ, куда нибудь меня пристроитъ. Да только какъ сказать ему?.. Охъ, Софья Андреевна, губишь ты молодца! Я знаю, онъ не переживетъ этого горя. «Что ты говоришь?» — сказала Софья Андреевна.—Да, матушка, да! не переживетъ; коли самъ на себя рукъ не подыметъ, такъ ужь вѣрно зачахнетъ съ тоски. Да тебѣ что до этого: ты, сударыня, будешь восводшею; выйдешь замужъ съ отцовскимъ благословеніемъ, и коли дойдетъ до тебя слухъ, что Дмитрія Афанасьича не стало, такъ тебѣ старый мужъ и поплакать о немъ не дастъ—сохрани Господи!.. Ну, прощай, матушка, когда то Богъ приведетъ увидѣться...

— Чтожъ Софья Андреевна?—прервалъ Левшинъ.

— Опѣшила, батюшка!.. Ухватилась за меня, да въ слезы!.. Мало ли что было — дѣло дѣвичье: и жаль тебя, и страшно, и хочу, и не хочу, а все-таки покончила тѣмъ, что велѣла тебѣ сказать, что завтра, сирѣчь въ воскресенье, передъ свѣтомъ, когда еще въ скиту всѣ будутъ спать, она выйдетъ изъ огорода задней калиткою въ лѣсъ и поѣдетъ съ тобою, куда ты хочешь; лишь только съ уговоромъ: чтобъ ты завтра же съ ней и обвѣнчался.

— Завтра! — повторилъ съ восторгомъ Левшинъ. — Неужели въ самомъ дѣлѣ завтра она можетъ быть моей женою?

— Будетъ, батюшка, только мѣшкать не надо... Коли ты завтра чѣмъ свѣтъ не поспѣешь къ ней на выручку, такъ не прогнѣвайся!...

— Ѣдемъ, Феропонтъ! — вскричалъ Левшинъ.—Скорѣй, скорѣй!

— Ѣдемъ!... Да на чемъ, Дмитрій Афанасьичъ? Вѣдь намъ за такимъ дѣломъ не верхами же ѣхать. Не знаю, мой Донецъ, а твой Султанъ въ упряжи никогда не хаживали, и повозки у насъ нѣтъ.

— Эхъ, Феропонтъ!... Да неужели нельзя достать на селѣ?

— Какъ не достать; за деньги все достанешь.

— Такъ что же ты?... Ступай скорѣе!

— А что проку то, Дмитрій Афанасьичъ, коли мы Софью Андреевну увеземъ, да некуда будетъ съ нею дѣваться?... Вѣдь мы здѣсь не дома, батюшка!... Ступай-ка лучше, да поклонись боярину; онъ, говорятъ, и самъ съ молоду на все ходокъ былъ, такъ ужь вѣрно тебѣ поможетъ; а коли поможетъ—такъ дѣло въ шапкѣ!

— Въ самомъ дѣлѣ, Феропонтъ, пойду, разскажу ему все, какъ отцу родному, авось, онъ меня не покинетъ.

— Ступай, батюшка!... А ты, Дарьюшка, пойдемъ-ка со мной: я сведу тебя на село къ знакомому мужичку; ты у него отдохнешь и щецъ похлебаешь. Здѣсь тебѣ не пригоже оставаться: вѣдь всѣ дворовые то народъ продувной, какъ разъ на зубки подымутъ.

Когда Левшинъ вышелъ опять на лугъ, то съ перваго взгляда замѣтилъ, что во время его отсутствія получено какое-нибудь извѣстіе, которое обратило на себя особенное вниманіе Куродавлева. Толпы дворовыхъ и крестьянъ, тѣснясь съ любопытствомъ около своего боярина, составляли обшир-

ный полукругъ, посреди котораго Куродавлевъ разспрашивалъ о чемъ-то двухъ пожилыхъ мужиковъ, вооруженныхъ толстыми дубинами. Когда Левшинъ подошелъ, одинъ изъ этихъ мужиковъ говорилъ:

— Да, батюшка! Матюху Безпалаго больно избили; мы насилу довели его до села; полно, будетъ ли живъ.

— Да точно ли это Хотисенскіе крестьяне? — прервалъ бояринъ.

— Какъ же, кормилецъ! Мы ихъ знаемъ. Вѣдь эти Хотисенскіе всѣ поголовно такіе озорники, что не приведи Господи!... При тебѣ они стали потише, а напрежь сего не проходило году, чтобъ они въ нашемъ лѣсу порубокъ не дѣлали.

— Да какъ же они смѣютъ?...

— Ну вотъ, поди ты!... Стоятъ на томъ, что это въѣзжій лѣсъ...

— Въѣзжій лѣсъ?... Ахъ они, мошенники!.. Да ты бы имъ сказалъ, что покойный мой батюшка и дѣдушка и прадѣдъ владѣли этимъ лѣсомъ...

— Пытался говорить, кормилецъ, да они орутъ свое.— «Это, дескать, лѣсная дача отведена на всѣхъ сосѣдей; въ ней, дескать, всякій человѣкъ воленъ лѣсъ валить». — Матюха то Безпалый, мужикъ задорный, сцѣпился съ ними ругаться, слово за слово—онъ одного изъ нихъ по зубамъ, а они его въ дубье!... Кабы мы его не выхватили, до смерти бы убили...

— Въѣзжій лѣсъ! — повторилъ бояринъ. — Вотъ я имъ дамъ въѣзжій лѣсъ!... Да много ли ихъ?

— Многонько, кормилецъ: на двадцати подводахъ пріѣхали, человѣкъ за тридцать будетъ.

— Только то? .. Кондратій, посади побольше народу на коней, да пѣшихъ человѣкъ тридцать съ села наряди.

— Съ оружіемъ, батюшка?

— Нѣтъ, просто съ дубинами. Коли эти озорники ударятся бѣжать, такъ ты поймай кого-нибудь, да припугни хорошенько, захвати у нихъ побольше лошадей: пусть себѣ походятъ послѣ, да покланяются!... А коли на драку пойдутъ, такъ валяй ихъ въ мою голову—слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Да у меня чтобъ всѣ дрались на чистоту, а не то что ударилъ, да самъ и за кустъ!... Я, братъ, этого не люблю: драться, такъ драться!... Коли кто изъ нашихъ

попятится или пролежитъ за кочкою, такъ задай ему такую баню, чтобъ онъ до новыхъ вѣниковъ не забылъ — слышишь?

— Слушаю, Юрій Максимовичъ!... Да только, батюшка, воля твоя, теперь ужь поздненько, и коли свалка будетъ въ лѣсу, такъ не досмотришь, кто изъ нашихъ сбердилъ.

— Экій ты, братецъ, какой!... Да неужли ты не знаешь, что кто дерется молодцомъ, тому и самому на орѣхи достается?

— Вѣстимо, батюшка.

— Такъ ты какъ вернешься домой, осмотри всѣхъ: на комъ нѣтъ боевыхъ знаковъ, того и пори: ужь вѣрно за кустомъ пролежалъ.

— Слушаю, батюшка.

— Ну, ступай же!

— Юрій Максимовичъ, — сказалъ Левшинъ, когда боярин пересталъ говорить съ Кондратьемъ,—я было хотѣлъ тебѣ челомъ ударить; у меня есть до тебя кровное дѣло, да ты теперь такъ растревоженъ, тебя разсердили...

— Кто? — прервалъ бояринъ. — Эти Хотисенскіе воришки?... И, Дмитрій Афанасьичъ! стану я объ этомъ думать. У насъ такія проказы зачастую бываютъ. Дѣло сосѣдское, разберемся полюбовно. Вотъ какъ имъ нагрѣютъ порядкомъ затылки, да отберутъ лошадей, такъ они сами придутъ съ повинной головою.

— Не прогнѣвайся, Юрій Максимовичъ, коли я буду просить тебя...

— О чемъ?

— А вотъ. о чемъ, бояринъ: если ты мнѣ не поможешь, не выручишь меня, такъ я сгибну и пропаду навѣки.

— Ого! такъ это дѣло не шуточное!... Говори, Дмитрій Афанасьичъ, говори!... Я все готовъ для тебя сдѣлать... Деньги что ль тебѣ нужны—бери, сколько хочешь.

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, деньгами тутъ не поможешь?

— Такъ чего жъ ты хочешь?

— Я хочу жениться, бояринъ.

— Жениться!... На комъ?

— На одной дѣвицѣ, съ которой познакомился въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ!... Такъ чтожъ я могу для тебя сдѣлать?

— Все, Юрій Максимовичъ!... Коли ты только захочешь...

— Въ Москвѣ!—повторилъ бояринъ.—Постой-ка, молодецъ!... Да у меня въ Москвѣ есть племянницы невѣсты... Ужь не нарохтишься ли ты ко мнѣ въ родню?... Ну, Дмитрій Афанасьичъ, коли я отгадалъ, такъ не прогнѣвайся—этому не бывать... Нѣтъ, нѣтъ, любезный! — продолжалъ Курадавлевъ, не давая Левшину молвить ни слова; — проси у меня, чего хочешь, а объ этомъ не заикайся!... Дружба дружбой, а родство родствомъ...

— Да выслушай, бояринъ: я...

— Знаю, любезный, знаю!... У тебя есть и хорошее помѣстье, и самъ ты молодецъ отличный, да твоя службишка то поскудная—всему дѣлу помѣха. Ужь я тебѣ толковалъ: кто своею волею, а не по царскому указу пошелъ въ стрѣльцы, тотъ забудь и думать породниться съ нашей братьею, родословнымъ бояриномъ. Кому охота сдѣлать такую поруху всему роду своему и отечеству.

— Да позволь слово вымолвить, — сказалъ почти съ нетерпѣніемъ Левшинъ. — Та, на которой я хочу жениться, дѣвица простого рода, и ты ея вовсе не знаешь.

— Не знаю?... А коли не знаю, такъ о чемъ же ты меня просишь?

— А вотъ выслушай, я все тебѣ разскажу.

Левшинъ началъ свой разсказъ съ того, какъ онъ увидѣлъ въ первый разъ Софью въ Мещовскомъ подворьѣ и какъ полюбилъ ее, не зная, кто она такова; потомъ разсказалъ, какимъ неожиданнымъ образомъ онъ познакомился съ отцомъ ея, Андреемъ Поморяниномъ, и какъ этотъ Поморянинъ объявилъ ему наотрѣзъ, что никогда не выдастъ за него своей дочери.

— А, вотъ что! — прервалъ Курадавлевъ. — Ты вѣрно думаешь, что я скорѣй твоего уломаю этого раскольника? Ну, коли такъ — изволь, Дмитрій Афанасьичъ!... Я самъ отправлюсь къ нему сватомъ.

— Это не поможетъ, Юрій Максимовичъ: онъ ужь просваталъ свою дочь...

— Право?... Ну, коли просваталъ, такъ дѣлать то, братъ, нечего; видно, тебѣ не судьба на ней жениться.

— Нѣтъ, бояринъ: лишь только бы ты мнѣ помогъ, а то ужь я ее выручу. Она прислала мнѣ сказать, что если я завтра, чѣмъ свѣтъ, не увезу ее изъ отцовскаго скита и не обвѣнчаюсь съ нею, такъ завтра же ее выдадутъ замужъ за постылаго человѣка.

— Такъ ты хочешь, чтобъ я помогъ тебѣ увезть ее изъ родительскаго дома?... Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ, — не хорошо!... Безъ отцовскаго благословенія проку не будетъ!... Правда, теперь она раскольница, а какъ выйдетъ за тебя, такъ будетъ православною... да и батюшка то ея не Богъ знаетъ кто!... Чай, купчишка или посадскій, а не то еще — бѣглый дьячекъ или разстрига какой, такъ не велика бѣда, коли его дочка выйдетъ за стрѣлецкаго сотника... А все, какъ подумаешь—увезти родную дочь у отца!... Да и тебѣ то что за охота напрашиваться въ зятья къ этому раскольнику?! Ты православный, а онъ ужь вѣрно просваталъ свою дочь за такого же еретика, каковъ онъ самъ...

— Да, Юрій Максимовичъ, ее выдаютъ замужъ за мещовскаго воеводу...

— Какъ!... за этого сквернавца Токмачева?...

— Да, бояринъ.

— Такъ ты у него то хочешь отбить невѣсту?... Ну, это иная рѣчь!... Изволь, любезный—помогаю!... Тебѣ надо поспѣть туда чѣмъ свѣтъ... А далеко ли этотъ скитъ отсюда?

— Верстъ около тридцати.

— Такъ мѣшкать нечего!... Эй, Демка! ступай, скажи, чтобъ сейчасъ запрягли тройкой мою дорожную кибитку. Въ корень Беркута, на пристяжку Сокола да Ласточку — проворнѣй!... Это, любезный, башкирки — взглянуть не на что, а такіе кони, что и цѣны нѣтъ!... Имъ шестьдесятъ верстъ не кормя—ни почемъ!... Ты ступай туда полегоньку, передъ свѣтомъ будешь; а оттуда, какъ дѣло спроворишь, катай по всѣмъ по тремъ!... лишь бы на козлахъ то сидѣлъ молодецъ, а то ужь только держись!

— Я возьму съ собой Феропонта.

— Ну, этотъ малый дюжій—сладитъ!... А я безъ тебя все приготовлю. Вѣдь мы дѣвишника справлять не станемъ: изъ кибитки да и къ вѣнцу, а тамъ за веселье... Ну, что?... Такъ ли, Дмитрій Афанасьевичъ?...

— По гробъ не забуду твоихъ благодѣяній, Юрій Максимовичъ!... По милости твоей я буду самыхъ счастливымъ человѣкомъ въ свѣтѣ.

— Самымъ счастливымъ!... Давай Господи! Только впередъ, любезный, не загадывай. Какъ проживешь съ женою лѣтъ десять, такъ скажи тогда. Вѣдь и я былъ также женатъ и мнѣ на первыхъ порахъ казалось, что я живу съ

Авдотьей Саввишной словно въ раю земномъ; а тамъ какъ пошло хуже, да хуже... Э! да что говорить объ этомъ! Дай Богъ ей царство небесное—всѣ мы люди, всѣ человѣки!... Пойдемъ ка, Димитрій Афанасьевичъ, да пока запрягутъ лошадей, перехватимъ чего-нибудь... Вѣдь твой будущій тесть угощать тебя не станетъ, такъ не худо запастись.

Черезъ полчаса лихая тройка въѣхала на боярскій дворъ и, повинуясь могучей рукѣ удалого Феропонта, остановилась какъ вкопанная передъ крыльцомъ. Левшинъ сѣлъ въ кибитку, заѣхалъ на село, чтобъ взять съ собою Дарью, и лишь только Феропонтъ, желая пощеголять своимъ удальствомъ передъ нареченной невѣстою, поослабилъ возжи, коренная рванулась впередъ, пристяжныя подхватили и, какъ изъ лука стрѣла, съ визгомъ помчались вдоль озера.

— Эки черти! — шепнулъ Феропонтъ, сдерживая одной рукою всю тройку.—Кажись одры, а такъ и рвутъ!... Ну, батюшка!—продолжалъ онъ, оборотясь къ своему барину,—съ ними дремать то нечего: звѣри, а не лошади!

IX.

Утренняя заря едва стала заниматься, и ни одна звѣздочка не потухла еще на темно-синихъ небесахъ, когда Левшинъ и его спутники, миновавъ Ѳедосѣевскій скитъ, то есть деревушку, въ которой жили перекрещеванцы, стали приближаться къ цѣли своего путешествія. Доѣхавъ до березовыхъ рощей, окружающихъ со всѣхъ сторонъ скитъ Андрея Поморянина, они остановились.

— Ну, что голубка,—спросилъ Феропонтъ вполголоса Дарью,—куда намъ теперь?

— А вотъ ступай направо то по дорогѣ.

— Да не лучше ли здѣсь подождать? Вѣдь по зарѣ то какъ разъ услышатъ конскій топотъ.

— Небось, не услышатъ; теперь всѣ спятъ.

— А сторожъ?

— Чай, также спитъ... Вѣдь эту недѣлю сторожемъ то Архипка, его очередь.

— Архипка!... Вотъ этотъ рыжій парень, что ты на святкахъ видѣла?...

— Ну, да!... Соня такой!... Бывало, нѣтъ чтобы обойти

ночью разика два кругомъ скита — храпитъ себѣ да и только!... Третьяго дня хозяинъ ужь щунялъ, щунялъ его за это...

— Вотъ то-то и есть!... Ну, коли его нелегкая понесетъ сегодня?...

— Да нѣтъ!... Вѣдь онъ такая дрянь, что и сказать нельзя!... И Дуняшка то его такая же, только бы дрыхнуть!... За что хлѣбомъ кормятъ!

— Ну что, батюшка, — продолжалъ Феропонтъ, обращаясь къ своему барину,—что намъ, подъѣхать къ самому огороду или нѣтъ?

— А вотъ мы съ Дарьей пойдемъ пѣшкомъ, — молвилъ Левшинъ, выпрыгнувъ изъ кибитки, — а ты ступай потихоньку за нами.

Когда Левшинъ прошелъ шаговъ двѣсти по дорожкѣ, изрытой глубокими колеями, Дарья сказала ему шопотомъ:

— Вонъ, батюшка, за толстой то березою должна быть калитка. Побудь-ка здѣсь, а я пойду, посмотрю, дожидается ли насъ Софья Андреевна. Коли она тутъ, моя голубка, такъ я вмѣстѣ съ ней и приду... Да смотри, батюшка, стой смирно... Хоть я и не чаю, чтобъ этотъ увалень, Архипка, сталъ ходить дозоромъ, да вѣдь кто знаетъ: тутъ то его чортъ и дернетъ!

Левшинъ остался одинъ: позади него, шагахъ въ десяти остановился Феропонтъ съ лошадьми. Кругомъ все было такъ тихо, что Левшинъ не только чувствовалъ, но даже слышалъ каждое біеніе своего сердца. Кто не испыталъ на себѣ самомъ эту неизъяснимую тоску тревожнаго ожиданія, эту томительную лихорадку души, это болѣзненное, почти безумное состояніе, въ которомъ минута кажется надъ годомъ, а день цѣлой жизнію—да! кто не испыталъ этого на самомъ себѣ, тотъ не пойметъ никогда, что чувствовалъ Левшинъ, стоя неподвижно на одномъ мѣстѣ около часу. То ему казалось, что Софья, эта кроткая, боязливая дѣвица, никогда не рѣшится на такой смѣлый поступокъ! то думалъ онъ, что она занемогла; то приходило ему въ голову, что Андрей догадался и увезъ ее въ Мещовскъ.—Вотъ ужь утро, а ея нѣтъ какъ нѣтъ!—прошепталъ онъ наконецъ съ отчаяніемъ. — Боже мой, Боже мой!... И чего я жду, чего надѣюсь?... Безумный! да развѣ ты не знаешь, что тебѣ не суждено быть счастливымъ?... Ступай-ка лучше, да похорони себя заживо,—авось подъ черной рясою

замретъ въ тебѣ навѣки ретивое!... Помаялось оно, понатерпѣлось горя—будетъ съ него!

Вдругъ послышалось ему что то похожее на тихій шелесть отдаленныхъ шаговъ... Да! такъ точно!... Кто то медленно и робко крадется по лѣсу... У Левшина занялся духъ. Его съ головы до ногъ обдало холодомъ. Еще нѣсколько минутъ, и участь его рѣшена навѣки!... Напрасно нетерпѣливый взоръ его силился проникнуть въ глубину лѣса—онъ не видѣлъ ничего... Но вотъ! шорохъ становится слышнѣе, вотъ близехонько хрупнула сухая вѣтка... «Нѣтъ, я не могу идти далѣе!» — раздался въ десяти шагахъ отъ него этотъ знакомый, очаровательный голосъ. Левшинъ вскрикнулъ, бросился впередъ, и полумертвая Софья упала безъ чувствъ въ его объятія.

— Софья! другъ мой! ты ли это?—повторялъ Левшинъ, прижимая ее къ груди своей.

— Она, Дмитрій Афанасьичъ—она!—шепнула Дарья.—Да мѣшкать то нечего—наговоритесь послѣ.

— Боже мой! она безъ памяти!

— Очнется, батюшка!... Неси ее скорѣй въ повозку!

Въ самомъ дѣлѣ, прежде чѣмъ Левшинъ донесъ Софью до кибитки, она пришла въ себя.

— Садитесь поскорѣй!—молвилъ Феропонтъ.—Вотъ ужь заря то почитай совсѣмъ занялась. Время, батюшка, время!

Софья и Дарья помѣстились въ кибиткѣ; Левшинъ присѣлъ на облучекъ.

— Ну что, сѣли? — спросилъ Феропонтъ, подбирая возжи.

— Стой! — раздался грубый голосъ, и рыжій широкоплечій дѣтина, выскочивъ изъ-за куста, схватилъ подъ уздцы лошадей.

— Архипка!—вскрикнула Дарья.

— Эй, братцы, сюда!... Воры!—заревѣлъ сторожъ, продолжая удерживать лошадей.

— Отцѣпись!—закричалъ Феропонтъ,—а не то стопчу!

— Сюда, ребята, сюда!

— Батюшки, перебудитъ онъ всѣхъ!—шепнула Дарья.

— Ахъ, ты упрямая башка!—молвилъ Феропонтъ —Ну, такъ смотри же, братъ, держись!... Эй вы, соколики!

Вся тройка рванулась впередъ, и сторожъ, отброшенный шаговъ на десять въ сторону, упалъ между кустомъ. Вихремъ понеслись удалые кони, какъ сплошной частоколъ за-

мелькали по обѣимъ сторонамъ высокія деревья, кибитка запрыгала по колеямъ и минутъ черезъ пять наши путешественники, оставивъ позади себя березовыя рощи, выѣхали на проселочную дорогу, которая вела въ скитъ перекрещеванцевъ.

— Ну что, батюшка,—спросилъ Ферапонтъ, сдерживая лошадей,—всталъ онъ или нѣтъ?

— Кто?—подхватила Дарья.—Архипка то рыжій?... Вѣстимо всталъ — что ему дѣлается?... Развѣ ты не видѣлъ, что онъ упалъ въ кусты?

— Ну, такъ зѣвать то нечего: за нами будетъ погоня. Эй, вы!

Левшину некогда было и словечка перемолвить съ своей суженой; онъ смотрѣлъ заботливо по сторонамъ и безпрестанно остерегалъ Ферапонта. Изгибистая и неровная дорога была мѣстами до того дурна, что даже и при тихой ѣздѣ повозка могла весьма легко опрокинутся, а они мчались то вскачь, то шибкой рысью. Изрѣдка только удавалось Левшину взглянуть на Софью, которая сидѣла закутавшись въ свою фату и горько плакала. Дарья не утѣшала ея; напротивъ, она шептала ей отъ времени до времени:

— Плачь, матушка, плачь!... Невѣсты всегда плачутъ... Вотъ какъ и мнѣ Господь приведетъ идти подъ вѣнецъ, такъ ты и меня не изволь уговаривать — ревкой буду ревѣть!... Нельзя, Софья Андреевна. Какъ можно невѣстѣ не плакать: всѣ добрые люди осудятъ!

Благодаря искусству Ферапонта и заботливой осторожности его барина, все шло покамѣстъ благополучно: повозка ни разу не опрокинулась, и вотъ наконецъ путешественники, или, вѣрнѣй сказать, наши бѣглецы, могли вздохнуть свободно. До перекрещеванскаго скита оставалось не болѣе полуверсты, а тамъ ужь начиналась широкая и гладкая дорога, вплоть до самаго полусела Куклина. Вдругъ лошади на всемъ бѣгу остановились, коренная попятилась назадъ, а пристяжныя начали храпѣть и кидаться на стороны...—Ахти!—шепнулъ Ферапонтъ,—никакъ медвѣдь!— Онъ едва успѣлъ выговорить эти слова, какъ шагахъ въ двадцати передъ ними раздался болѣзненный ревъ, и огромный медвѣдь, облѣпленный со всѣхъ сторонъ медовыми сотами и усыпаный безчисленнымъ множествомъ пчелъ, перебѣжалъ черезъ дорогу. — Ага, воръ косолапый! — промол-

вилъ Феропонтъ,—не станешь впередъ таскаться по пчельникамъ!

— Держи лошадей то, держи!—закричалъ Левшинъ. Но испуганные кони вышли совершенно изъ повиновенія. Несмотря на всѣ усилія Феропонта, они свернули съ дороги и какъ шальные бросились прямо въ лѣсъ. Проскакавъ шаговъ сто по кустамъ и мелкой зарости, они врѣзались въ самую средину лѣса; повозка задними колесами задѣла за сосну, лошади остановились, но колесы разлетѣлись вдребезги, и кибитка упала на бокъ. Къ счастію, никто не ушибся, и когда Левшинъ высадилъ изъ повозки своихъ спутницъ, то увидѣлъ, что изъ нихъ гораздо болѣе испугалась Дарья, чѣмъ Софья.

— Господи Боже мой!—вопила толстая дѣвка,—что съ нами будетъ?... Вѣдь медвѣдь то насъ всѣхъ переѣстъ!...

— Эхъ, Дарья, нишни!—прервалъ Феропонтъ.—Небось! онъ никого не съѣстъ.

— Чу! слышишь, какъ онъ реветъ?... Ахъ, батюшки! никакъ онъ идетъ сюда!... Ну, пропали наши головушки!

— Да что тебѣ дался медвѣдь?... Говорятъ тебѣ — небось!... Ему теперь не до насъ; ему бы поскорѣй до водицы добраться, а не то пчелы то закусаютъ до смерти. Ну что, батюшка,—продолжалъ Феропонтъ, обращаясь къ Левшину, который суетился вокругъ кибитки,—что колесы?

— Однѣ ступицы остались.

— Ну, вотъ те бабушка и Юрьевъ день! Чтожъ намъ теперь дѣлать то, Дмитрій Афанасьичъ?

— Вѣстимо, что!... Вѣдь отсюда близехонько скитъ перекрещеванцевъ; ступай, купи у нихъ телѣгу.

— Да они пожалуй заломятъ и Богъ знаетъ что.

— Все равно! У тебя деньги есть, давай, что попросятъ.

— Нѣтъ, Феропонтъ, — сказала Дарья, — хоть вовсе не ходи: теперь всѣ еще спятъ, а коли гдѣ и достучишься, такъ тебя ни за что въ избу не впустятъ. Вѣдь здѣсь такой народъ, что не приведи Господи!

— Э! знаешь ли что, Дарьюшка?... Пойдемъ ка вмѣстѣ къ твоей знакомой старушкѣ, Аксиньѣ Никитичнѣ...

— Да ея нѣтъ дома. Я вчера къ ней заходила. Ушла за пятнадцать верстъ и домой то вернется развѣ сегодня къ вечеру.

— Ну, плохо дѣло!... Мы будемъ здѣсь валандаться, а Андрей Поморянинъ, того и гляди, что нагрянетъ сюда

съ цѣлой ватагаю... Постой ка, постой!... Вѣдь избенка этого безумнаго Павла—вотъ, что хотѣлъ насъ въ дождевой водѣ перекрещивать — кажись близехонько отсюда? Попытаться развѣ... Неровенъ часъ: иногда и дуракъ сослужитъ службу лучше умнаго... Ты, батюшка, останься здѣсь, только смотри, чтобъ васъ и слышно не было... Какъ знать, неровно вдругъ нагрянутъ. А чтобъ и лошади то стояли смирно, такъ нащиплите травки, да дайте имъ перехватить, а я пойду, толкнусь къ этому шальному.

Феропонтъ не ошибся въ своемъ предположеніи: избушка перекрещеванца Павла была шагахъ въ трехстахъ отъ того мѣста, гдѣ ихъ разбили лошади. Онъ тотчасъ узналъ ее по огромной плетушкѣ съ дождевой водой, которая стояла попрежнему у самыхъ воротъ. Феропонтъ стукнулъ подъ окномъ.

— Кто тамъ?—раздался въ избѣ звонкій голосъ Павла.

— Я, батюшка—я!

— Да кто ты?

— Знакомый.

Окно растворилось, и Павелъ высунулъ изъ него свою косматую голову.

— Здравствуй, отецъ Павелъ! — сказалъ Феропонтъ. — Мнѣ надо съ тобой словечко перемолвить.

— Да ты кто таковъ?

— А вотъ помнишь, третьяго дня проѣзжіе—еще ты уговаривалъ насъ креститься въ дождевой водѣ.

— Ну, такъ чтожъ?

— А то, батюшка, что мнѣ надо объ этомъ путемъ съ тобой потолковать. Ужь полно, не правду ли ты говоришь, отецъ Павелъ?

— Ну, коли ты хочешь объ этомъ со мною побесѣдовать, такъ милости просимъ.

Павелъ отперъ ворота и, введя своего гостя въ избу, пригласилъ его сѣсть на лавку подъ образами; но Феропонтъ низко поклонился и промолвилъ смиреннымъ голосомъ.

— Нѣтъ, отецъ Павелъ, изволь ка садиться самъ въ передній уголъ: ты вѣдь наставникъ, а я что? я и постою.

Павелъ, который во всю жизнь свою не могъ попасть ни къ кому въ наставники, обомлѣлъ отъ радости; онъ вытащилъ изъ-подъ лавки рогожку, разостлалъ ее по полу, потомъ снялъ съ полки толстую книгу въ кожаномъ пе-

реплетѣ, разогнулъ ее и положилъ на столъ, а самъ, помѣстясь подъ образами, погладилъ съ важностію свою жиденькую бородку и сказалъ:

— Ну, коли ты прибѣгаешь ко мнѣ яко суетный и избираешь меня въ свои отцы духовные и наставники, такъ я пріемлю тебя съ любовію. Я вижу, ты желаешь покаяться въ грѣхахъ твоихъ—кайся, чадо, кайся!

— Вотъ тебѣ разъ! — подумалъ Феропонтъ.—Ахъ, ты шельмецъ этакій! еще хочетъ исповѣдовать!...

— Ну чтожъ ты, чадо? — продолжалъ Павелъ. — Преклони колѣна и кайся во грѣхахъ своихъ!

— Нѣтъ, батюшка! — прервалъ Феропонтъ, — эта рѣчь впереди. Я хотѣлъ только сказать тебѣ, что третьяго дня мы съ бариномъ торопились въ село Толстошенно, такъ намъ некогда было тебя послушать, а все-таки насъ раздумье взяло... Немного ты словъ сказалъ, отецъ Павелъ, а всѣ они у меня и у моего барина крѣпко въ головѣ засѣли.

— Право?

— Какъ подумаешь — подлинно правда: вся земля осквернена.

— Ужь я тебѣ говорю!... Живого мѣстечка не осталось. Куда ни оборотись, все мерзость запустѣнія!

— Истинно такъ!... И баринъ мой говоритъ то же.

— А коли вся земля предана скверне, такъ какъ же текущія по лицу ея воды могутъ оставаться неосквернеными?

— Такъ, такъ!... И баринъ мой говоритъ то же.

— А вѣдь окрещенныхъ въ оскверненной водѣ надо опять перекрещивать?

— Надо, батюшка, надо!

— Ну!... А въ чемъ же ты ихъ станешь крестить?... Анъ дѣло то и выходитъ, что одно только и есть вода, непричастная сему злу—вода небесная.

— Сирѣчь дождевая?... Вотъ и баринъ мой говоритъ то же.

— А коли такъ, зачѣмъ же дѣло стало?... Гдѣ твой баринъ?... Подавай его!... Я васъ сейчасъ окрещу.

— Нѣтъ, отецъ Павелъ, погоди!... Дай намъ прежде подумать, да приготовиться; вѣдь это дѣло не шуточное.

— Эй, не откладывайте!... Благо вы попали на правый путь... Что тутъ мѣшкать, коли у меня есть про васъ и

крещенье истинное, и отпущенье грѣховъ, и спасенье душевное...

— Такъ, батюшка, такъ!... А есть ли у тебя телѣга?

— Телѣга! На что тебѣ?

— Да вотъ дѣло какое, отецъ Павелъ: мой баринъ былъ нареченнымъ женихомъ дочери Андрея Поморянина.

— Какъ!... этого пришлеца... отщепенца окаяннаго, который называетъ насъ еретиками?

— Да вѣдь дочь то вовсе не въ батюшку, и она то же говоритъ, что баринъ.

— Ой-ли?

— Какъ же!... Вѣдь за это и дѣло стало. Андрей какъ то подслушалъ, что мой баринъ уговорился съ его дочерью взять тебя въ наставники — вотъ и пошла потѣха!... Батюшки, какъ онъ осерчалъ!

— Эка зависть, подумаешь!... Мало ли у него учениковъ то, разбойниковъ этакій!

— Ну, вотъ поди ты!... Поднялъ такой крикъ, что святыхъ вонъ понеси!... Ужь онъ позорилъ, позорилъ тебя!... Что, дескать, этотъ Павелъ — дурачина, мужикъ безграмотный!...

— Безграмотный?... Вретъ онъ, нечестивецъ этакій!... Вишь, ученъ больно!... Да я плевать хотѣлъ на его сатанинскую мудрость! Что мудрость земная?... Прахъ!

— Вотъ и баринъ мой говоритъ то же, да онъ то свое несетъ. «Коли, дескать, ты идешь въ ученики къ этому лапотнику Павлушкѣ Калмыку, такъ не выдаю за тебя дочери; пошелъ вонъ изъ дому!»—Ну, дѣлать нечего, вотъ мы и поѣхали въ село Толстошеино: тамъ у барина моего есть пріятель; а сегодня чѣмъ свѣтъ подъѣхали къ Андрееву скиту, да дочку то у него и сманили.

— Право?... Дѣло, ребята, дѣло!... Ай да молодцы!... Ништо ему, еретику проклятому!

— Да вотъ, отецъ Павелъ, какой грѣхъ случился: недалеко отъ твоей избы медвѣдь перебѣжалъ черезъ дорогу...

— Медвѣдь?... Такъ вотъ что!... То то я слушаю, что это жучка у меня на пчельникѣ воетъ какъ за языкъ повѣшенная...

— Кони то у насъ молодые,—продолжалъ Феропонтъ,— испугались, кинулись въ сторону, изломали повозку — вотъ мы теперь и сидимъ; а того и гляди, что за нами погоня будетъ.

— Да вы куда ѣдете?

— Въ село Толстошеино.

— А кони ваши гдѣ?

— Тамъ, съ бариномъ, въ лѣсу — близехонько отсюда.

— Телѣга то у меня есть—и знатная телѣга!

— Мы тебѣ за нее заплатимъ, отецъ Павелъ.

— Зачѣмъ!... Вѣдь вы скоро опять ко мнѣ будете?

— Какъ же!... Дай только намъ свадьбу отпировать, а тамъ всѣ къ тебѣ пріѣдемъ.

— Такъ вы захватите ее съ собою.

— И то дѣло!... А ты нашу повозку побереги. Да только пожалуйста, отецъ Павелъ, поторопись!... Вѣдь Андрей какъ разъ нагрянетъ съ народомъ, а насъ всего двое.

— Ну, пойдемъ!

Когда они вышли на дворъ, Феропонтъ, не мѣшкая, осмотрѣлъ телѣгу и принялся уже тащить ее со двора, какъ вдругъ остановился и сталъ прислушиваться.

— Постойка на минутку,—шепнулъ онъ, выпуская изъ рукъ оглобли.—Что это какъ будто бъ вѣтромъ наноситъ?.. Чу! слышишь?

— Да, слышу!... Сюда ѣдутъ и, кажись, очень шибко.

— Ну, такъ и есть! Отецъ Павелъ, запри-ка ворота, да пойдемъ въ избу. Коли они остановятся, да станутъ тебя разспрашивать...

— Небось! Ужь я знаю, что имъ отвѣтить.

Не прошло двухъ минутъ, какъ этотъ глухой шумъ превратился въ громкій и внятный конскій топотъ; можно было ясно различить, что довольно многолюдная толпа всадниковъ скачетъ по лѣсу. Вотъ они поровнялись съ избою Павла... «Стой!» — закричалъ кто-то повелительнымъ голосомъ. — Павелъ выглянулъ въ окно: подлѣ самой завалины стояла телѣга, запряженная тройкой пѣгихъ лошадей, а кругомъ нея человѣкъ десять верховыхъ.

— Послушай-ка, любезный, — сказалъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, который сидѣлъ въ телѣгѣ, — проѣхала здѣсь повозка тройкою?

— Проѣхала,—отвѣчалъ Павелъ.

— Куда?

— Да прямо по дорогѣ въ Куклино... Вѣдь здѣсь другой ѣзды нѣтъ.

— А давно они проѣхали?

— Да не такъ, чтобъ давно, а ужь, чай, далеко впереди—гонятъ такъ,. что и, Господи!

— Пошелъ! — закричалъ пожилой человѣкъ. Тройка помчалась, а вслѣдъ за нею понеслась вся толпа всадниковъ.

— Ну, вотъ и слѣдъ простылъ,—сказалъ Павелъ.

— Да что въ этомъ толку? — прервалъ Феропонтъ. — Вѣдь другой дороги въ село Толстошеино нѣтъ, кромѣ Куклинской?

— Нѣтъ.

— Эхъ, плохо дѣло!... Вотъ, говорятъ, бѣглому одна дорога, а погонщикамъ много — анъ выходитъ дорога то у насъ одна; или мы ихъ догонимъ, или они съ нами повстрѣчаются, а ужь намъ ихъ не миновать. Да нѣтъ ли, отецъ Павелъ, какого-нибудь проселка?

— И дорога есть другая, да только зимняя.

— Гдѣ?

— А вотъ, не доѣзжая до околицы, поворотъ налѣво. Зимою дорога знатная, все лѣсомъ, почитай вплоть до села Толстошеина; а лѣтомъ больно плохо; два раза Брынь надо переѣзжать, и болотца есть.

— Да лишь бы только была какая ни есть ѣзда, а то кони у насъ добрые: вывезутъ.

— Ну, коли такъ, ступайте съ Богомъ! Не знаю, какъ дальше, а верстъ десять проѣдете хорошо. Я вчера ходилъ по этой дорогѣ навѣстить знакомаго старца. Онъ живетъ въ лѣсу одинъ.

— Какъ! и лѣтомъ и зимою?

— Да!... Зимою онъ живетъ въ землянкѣ, а лѣтомъ спасается на соснѣ... Такой строгій старецъ!...

— На соснѣ!.. Ужь это не Паѳнутій ли?

— Да, старецъ Паѳнутій. Онъ сказывалъ мнѣ, что третьяго дня по этой дорогѣ проѣхалъ одинъ мужичекъ порожнякомъ, такъ авось и вы проѣдете. Лѣто стоитъ жаркое, чай, болотца то повысохли, а черезъ Брынь, гдѣ хочешь ступай, вездѣ бродъ... Только смотрите, не сбейтесь съ дороги. Сначала просѣка пойдетъ все прямо, а тамъ какъ въ первый разъ переѣдете Брынь, такъ не доѣзжая до сосны, на которой живетъ Паѳнутій, поворотъ въ село Толстошеино, а прямо то пойдетъ дорога въ село Боброво.

— Ну, дѣлать нечего! — сказалъ Феропонтъ. — Коли нѣтъ сапоговъ, такъ и лапти въ чести. Прощай покамѣстъ, отецъ Павелъ! Я пойду, возьму телѣгу.

— Пойдемъ, я помогу тебѣ.

— Не трудись, батюшка, я свезу одинъ.

— Вдвоемъ то лучше; да я же хочу перемолвить словечко съ твоимъ бариномъ.

— Послѣ, отецъ Павелъ, послѣ!... Успѣете наговориться, а теперь сходи-ка лучше къ себѣ на пчельникъ.

— А что?

— Да за медвѣдемъ то, что перебѣжалъ намъ дорогу, гнались пчелы, и онъ весь испачканъ въ меду,—такъ не у тебя ли онъ это проворилъ.

— А что ты думаешь!—вскричалъ Павелъ.—Вѣдь другого пчельника здѣсь нѣтъ... Ну, такъ и есть! — продолжалъ онъ, кинувшись опрометью изъ избы. — Проклятый! чай, онъ всѣ пеньки у меня перевалялъ!

Феропонтъ очень обрадовался, что успѣлъ отдѣлаться отъ этого Павла, котораго онъ вовсе не желалъ свести съ своимъ бариномъ.

— Фу ты, батюшки!—молвилъ онъ, выходя на дворъ,— насилу отвязался. Бѣда, кабы онъ присталъ къ барину: вѣдь тотъ, пожалуй, все дѣло бъ испортилъ. Ну, теперь за работу!

Феропонтъ впрегся въ телѣгу и, какъ добрый конь, довезъ ее въ двѣ минуты до того мѣста, гдѣ лежала на боку ихъ повозка. Онъ нашелъ всѣхъ въ большой тревогѣ.

— Феропонтъ! — сказалъ торопливо Левшинъ, — что это за люди проскакали по дорогѣ?... Ужь не погоня ли?

— Да, батюшка.

— Чтожъ намъ дѣлать? Вѣдь дорога то одна?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ! — отвѣчалъ Феропонтъ, спѣша запрягать лошадей.—Мнѣ добрый человѣкъ показалъ дорогу. Мы выѣдемъ по ней прямехонько къ селу Толстошеину. Говорятъ, больно плоха; да Богъ милостивъ, авось проѣдемъ какъ-нибудь!

Черезъ нѣсколько минутъ все было готово. Наши путешественники выбрались потихоньку изъ лѣсу и, доѣхавъ до околицы Федосѣевскаго скита, повернули налѣво въ узкую просѣку, по обѣимъ сторонамъ которой тянулся безконечный рядъ огромныхъ деревьевъ. Внизу, поросшая высокой травою дорога была еще покрыта густою тѣнью, но на высокихъ вершинахъ этихъ вѣковыхъ сосенъ играли уже первые лучи восходящаго солнца.

X.

Встрѣча съ медвѣдемъ до того перепугала Дарью, что когда они въѣхали въ эту темную и пустынную просѣку, ей стали поминутно мерещиться то огромные медвѣди, то цѣлыя стаи косматыхъ волковъ. Съ трепетомъ озираясь кругомъ, она творила про себя молитву и вскрикивала всякій разъ отъ ужаса, когда въ лѣсу раздавался шорохъ или хрустѣлъ валежникъ подъ ногами какого-нибудь звѣря. Впрочемъ, эти опасенія раздѣлялъ съ нею—разумѣется, до нѣкоторой степени, и самъ Феропонтъ; онъ замѣчалъ, что лошади отъ времени до времени пугались, храпѣли и робко прижимали къ головамъ свои чуткія уши. Софья, напротивъ, казалась гораздо спокойнѣе и даже веселѣе прежняго; по крайней мѣрѣ она уже не плакала. Пока Феропонтъ бесѣдовалъ съ Павломъ, то есть старался выманить у него телѣгу, Левшинъ успѣлъ обо всемъ переговорить съ своей невѣстою. Теперь она знала, что у боярина Куродавлева все готово для ихъ свадьбы, и что черезъ нѣсколько часовъ она уже будетъ не бѣглянкою, но законной супругою Левшина. Конечно, для нея очень было прискорбно идти замужъ безъ отцовскаго благословенія; но она и тутъ утѣшала себя мыслію, что рано или поздно отецъ проститъ ее; а сверхъ того Софья рѣшилась на этотъ отчаянный поступокъ потому только, что ей ничего другого не оставалось дѣлать. «О, я никогда бы не вышла изъ отцовской воли!» — думала Софья; — «и еслибъ батюшка не хотѣлъ меня выдать за этого мещовскаго воеводу, то, можетъ быть, я умерла бы съ горя, а все-таки не обвѣнчалась бы ни съ кѣмъ безъ его благословенія».

Когда наши путешественники проѣхали верстъ около шести по этой, хотя и ровной, но зато вовсе не торной дорогѣ, Феропонтъ, замѣтивъ, что лошади начинаютъ уставать, пересталъ ихъ понукать и далъ волю идти шагомъ.

— Вотъ, — сказалъ онъ, — дорога, кажись, гладкая, а какъ разъ лошадокъ уморишь. Намъ хорошо, да имъ то каково бѣжать цѣликомъ: вѣдь колесы по травѣ вовсе не катятся... Правда, гнать то намъ нечего: мы здѣсь съ Андреемъ не встрѣтимся.

— А что, дорога все будетъ этакая? — спросилъ Левшинъ.

— Да Богъ вѣсть! — отвѣчалъ Феропонтъ, посматривая вдоль просѣки. — Говорятъ, впереди есть болотца и Брынь надо переѣзжать. Вѣдь лѣтомъ по этой дорогѣ никто не ѣздитъ.

— Такъ проѣдемъ ли мы?

— Проѣдемъ какъ-нибудь. Ну, можетъ статься, разика два-три и побьемся. Какъ попадешь въ трясину, такъ не скоро выѣдешь. Правда, мнѣ говорили, что вчера еще одинъ мужичекъ проѣхалъ порожнякомъ по этой дорогѣ, такъ авось и насъ Господь пронесетъ.

— Говорили!... Да кто тебѣ говорилъ?

— А вотъ этотъ перекрещеванецъ, Павелъ.

— Такъ ты у него и телѣгу-то купилъ?

— Нѣтъ, не купилъ: онъ мнѣ такъ ее далъ.

— Вотъ что... Да какъ же это онъ?...

— А такъ же!... Въ томъ то и дѣло, Дмитрій Афанасьичъ: какъ погладишь дурака по шерсти, такъ онъ за тебя въ воду полѣзетъ. Кабы я не сказалъ этому полоумному, что хочу идти въ его вѣру, такъ онъ бы меня и на дворъ не пустилъ.

— Такъ ты ему сказалъ, что хочешь перекрещиваться?

— Какъ же, батюшка!... Я сказалъ, что и ты желаешь взять его въ свои наставники.

— Что ты, въ умѣ ли, Феропонтъ?... И какъ у тебя языкъ повернулся...

— Да чтожъ мнѣ было дѣлать, Дмитрій Афанасьичъ?... Коли на правду не возьмешь, а на силу взять нельзя, такъ пришлось подыматься на хитрости. Иль ты думаешь, мнѣ весело было, когда этотъ сермяжникъ выдумалъ меня исповѣдовать.

— Исповѣдовать?

— Да, батюшка!... Насилу отвязался. Вытащилъ какую то книгу, и рогожку мнѣ подостлалъ, чтобъ я сталъ на колѣни; да такъ и пристаетъ—лапотникъ этакій!... «Кайся, чадо, кайся!»—Вотъ ты, Дмитрій Афанасьичъ, смѣешься, а мнѣ вовсе не до смѣху было. Кабы воля да воля, такъ я бы этого Павлушку богохульника отучилъ исповѣдовать; а тутъ дѣлать то нечего, и зло беретъ, да поневолѣ кланяешься и говоришь этому замарашкѣ: «батюшка, отецъ Павелъ!» Вотъ то то и есть, Дмитрій Афанасьичъ, не даромъ пословица: «неволя плачетъ, неволя скачетъ, неволя пѣсенки поетъ».

— Ступай-ка, Феропонтъ, скорѣй, — прервалъ Левшинъ. Мы этакъ, пожалуй, цѣлый день протащимся.

— Куда цѣлый день!... Лишь только бы не сидѣть гдѣ-нибудь въ болотѣ, а то коли и все шагомъ поѣдемъ, такъ будемъ дома прежде полудня. Ну что, сердечныя, вздохнули?... Эй вы!

Несмотря на свою усталость, лошади приняли дружно и побѣжали шибкой рысью.

— Э! да что это? — промолвилъ Феропонтъ, когда они проѣхали еще версты двѣ. — Никакъ Брынь?... Ну, такъ и есть!... Дмитрій Афанасьичъ, — продолжалъ онъ, сдерживая лошадей,—возьми-ка, батюшка, вожжи, а я пойду поищу, гдѣ намъ переѣхать.

Феропонтъ возвратился черезъ нѣсколько минутъ, неся въ рукахъ свою обувь.

— Ну, что?—спросилъ Левшинъ.—Есть ли бродъ?

— Знатный, батюшка! — Не глубоко; въ одномъ только мѣстѣ по поясъ, а то все по колѣно.

— Такъ садись скорѣе.

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, лошадей то надо выпрячь.

— А что?

— Да съ нашей стороны спускъ больно плохъ. Видно, весной большая вода была: весь берегъ подмыло. Такой обрывъ, что не приведи Господи!... Въ поводу то лошадей мы какъ-нибудь переведемъ, а ужь телѣгу надо на себѣ спустить.

— Ахъ, батюшки!—вскричала Дарья.—Да намъ то какъ же?... Неужли по водѣ идти?

— Зачѣмъ? Вы только спуститесь съ берега, а тамъ садитесь опять въ телѣгу, ужь я васъ перевезу. Да ты не изволь тревожиться, матушка Софья Андреевна! — промолвилъ Феропонтъ, обращаясь къ невѣстѣ своего барина. — Мы и не такіе возы на себѣ важивали. Что въ васъ обѣихъ тяги то много ли!... А я однажды, за споромъ, сорокоушу съ водой на берегъ вывезъ.

Левшинъ перевелъ по одиночкѣ лошадей черезъ Брынь, а Феропонтъ, привязавъ къ телѣгѣ вожжи, спустилъ ее почти съ отвѣснаго берега въ воду, потомъ помогъ сойдти Софьѣ и Дарьѣ, усадилъ ихъ опять въ телѣгу и повезъ на себѣ черезъ Брынь.

— Ну!—прошептала Дарья, поглядывая съ невольнымъ

уваженіемъ на своего суженаго, — послалъ мнѣ Господь женишка!... Посмотрика-ка Софья Андреевна: словно лошадь везетъ, да хоть бы разъ понатужился!... Вотъ это молодецъ, такъ молодецъ: ужь не Архипкѣ рыжему чета!

Когда лошадей опять запрягли, Феропонтъ, желая вознаградить потерянное время, погналъ ихъ снова рысью. Не прошло и четверти часа, какъ они выѣхали на небольшую луговину, посреди которой росли отдѣльной куртиною нѣсколько сосенъ. Одна изъ нихъ была необычайной толщины, и ея вѣтвистая вершина не подымалась остроконечной пирамидою къ верху, но раскидывалась во всѣ стороны огромнымъ шатромъ. Просѣка, которая оканчивалась этой поляною, начиналась снова на ея противоположной сторонѣ. Поровнявшись съ сосновой куртиною, Феропонтъ остановилъ лошадей.

— А что, Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ онъ, — какъ ты думаешь: прямо что-ль намъ ѣхать?

— Да развѣ ты не видишь: вонъ просѣка то передъ нами.

— Вижу, батюшка, вижу!... Только не здѣсь ли гдѣнибудь поворотъ въ Толстошеино?... Кажись, нѣтъ. Я посматривалъ и направо и налѣво.

— Такъ, видно, мы еще до поворота не доѣхали.

— Видно, что такъ!

— Внимайте, путники, внимайте! — закричалъ кто-то пронзительнымъ и дикимъ голосомъ. Этотъ внезапно раздавшійся въ пустынномъ лѣсу человѣческій голосъ заставилъ невольно содрогнуться Левшина и Феропонта. Софья поблѣднѣла, а Дарья вскрикнула съ ужасомъ: «Батюшки— лѣшій!»

— Чего ради блуждаете въ сихъ дебряхъ! — раздался опять тотъ же самый голосъ. — Или желаете обрѣсти смиреннаго старца Пафнутія, и святой бесѣдою его очистить оскверненныя грѣхомъ сердца ваши?

— Э! да это Пафнутій — прошепталъ Феропонтъ. — Ну, помнишь, батюшка, запощеванцевъ?... Да откуда онъ намъ кричитъ?... А, вотъ онъ!... Посмотри-ка, Дмитріи Афанасьечъ, вонъ на соснѣ... видишь, онъ сидитъ какъ сычъ въ дуплѣ!... Подержи-ка, батюшка, лошадей, а я сойду съ нимъ поговорить, авось онъ намъ укажетъ, гдѣ поворотъ.

Феропонтъ снялъ шапку и подошелъ къ толстой соснѣ. Изъ дупла, которое было сажени двѣ отъ земли, выгляды-

вало знакомое уже нашимъ читателямъ, худощавое, звѣрское лицо, съ полоумными, сверкающими глазами.

— Богъ помощь, отецъ Пафнутій!—сказалъ Феропонтъ, кланяясь въ поясъ.—Я привезъ тебѣ поклонъ отъ Федосѣевскаго старца, отца Павла.

— Да ты то самъ, чадо, мимо грядешь,—прервалъ Пафнутій,—или пришелъ въ сію пустыню ради меня, труженика и благовѣстника истинной вѣры?

— Нѣтъ, батюшка! Я теперь ѣду въ село Толстошеино, да скоро вернуся назадъ и ужь тогда послушаю твоихъ рѣчей. Я затѣмъ и поѣхалъ зимней дорогою, чтобъ отвезти тебѣ отъ отца Павла поклонъ, да и самому мнѣ хотѣлось тебѣ поклониться.

Пафнутій поглядѣлъ недовѣрчиво на Феропонта и сказалъ:

— Въ село Толстошеино!... А почто грядешь ты, чадо, въ сей вертепъ льва рыкающаго, въ сіе жилище слуги и сподвижника антихристова?

— Послали, батюшка; дѣло невольное; велятъ, такъ поѣдешь.

— А кто сей мужъ, что сидитъ у тебя на возу съ покрытой главою?

— Это, батюшка, недужный человѣкъ, слѣпой и нѣмой. Мнѣ приказано отвезти его въ село Толстошеино.

— А юныя отроковицы, съ нимъ сидящія?

— Сестра его и работница... Теперь, отецъ Пафнутій, скажи пожалуйста: вѣдь прямо то просѣкою дорога куда пойдетъ?

— Въ нѣкую вѣсь, селомъ Бобровымъ именуемую.

— А гдѣ же поворотъ въ Толстошеино?

— Обратися вспять, чадо! Зришь ли тамо четыре древа, ихъ же березами нарицаютъ?

— Четыре березы?... Вижу, отецъ Пафнутій, вижу.

— На восточной странѣ оныхъ, среди мелкодревесія, и обрѣтается путь, ведущій въ сіе гнѣздилище разврата и нечестія, глаголемое село Толстошеино.

— Такъ мы поворотъ то проѣхали! Ну, — промолвилъ Феропонтъ, надѣвая шапку,—спасибо тебѣ, старинушка, что ты голосъ подалъ! Кабы не ты, такъ мы сбились бы съ дороги такъ же, какъ дня четыре тому назадъ... ну, вотъ помнишь, Пафнутій, какъ мы у тебя запощеванцевъ отбили?

— Какъ! — вскричалъ Пафнутій; — такъ это вы, богоотступники окаянные?

— Мы, дѣдушка, мы! Счастливо оставаться!

— Ахъ вы святотатцы проклятые!... Еретики, разбойники, душегубцы!

— Врешь ты, сычь этакій — прервалъ Феропонтъ, уходя. — Мы не въ тебя, старый чортъ: мы живыхъ то людей голодомъ не моримъ!

— Умолкни, буесловъ нечестивый! завопилъ неистовымъ голосомъ раскольникъ. — Да будетъ часть твоя съ Каиномъ, Іудою и три краты окаяннымъ наставникомъ вашимъ, Андреемъ Поморяниномъ!

— Экій злющій!—шепнулъ Феропонтъ, подходя къ телѣгѣ.—Словно цѣпная собака—такъ и надсѣдается!

— Да постигнутъ васъ всѣ казни египетскія!—продолжалъ кричать Пафнутій.—Да пожретъ васъ въ живѣ адскій пламень, и ни единая капля воды да не прохладитъ богохульныхъ устъ вашихъ.

— Тьфу ты, старый хрѣнъ!—сказалъ Феропонтъ отплевываясь. — Надъ тобой бы самимъ и тряслось, филинъ этакій! Вишь, что сулитъ, проклятый!—промолвилъ онъ, садясь на козлы и поворачивая лошадей.

Доѣхавъ до березъ, они отыскали поворотъ въ село Толстошеино и потащились шагомъ по дорогѣ, которая до того была узка и изрыта корнями сосенъ, что по ней невозможно было ѣхать иначе. Долго еще доносились до ихъ слуха дикіе вопли Пафнутія, который продолжалъ бѣсноваться и осыпать ихъ проклятіями.

— Что это онъ такъ осерчалъ?—спросилъ Левшинъ.

— Да вотъ что, батюшка,—отвѣчалъ Феропонтъ.—Онъ меня не призналъ; а я, какъ выпыталъ отъ него, куда намъ ѣхать, такъ и напомнилъ ему о запощеванцахъ.

— Охота же тебѣ дразнить сумасшедшихъ.

— Нельзя, Дмитрій Афанасьичъ!... За что же я передъ нимъ шапку то снималъ, да кланялся ему въ поясъ?.. Чего добраго, этотъ гордецъ сталъ бы думать, что я и взаправду приходилъ къ нему на поклоненіе.

— Да вѣдь Павелъ же думаетъ, что ты хочешь быть его ученикомъ.

— То дѣло другое, батюшка! Павелъ далъ намъ телѣгу, изъ бѣды насъ выручилъ — такъ пусть себѣ и потѣшается. А этотъ что?... Дорогу то показалъ!... Да и воля

твоя, батюшка: Павелъ просто человѣкъ убогій, шальной, а этотъ Пафнутій не человѣкъ, а дикій звѣрь!... Чу! слышишь ли, Дмитрій Афанасьичъ—онъ все еще оретъ!... Эко горло, подумаешь!... Ну! не диво, что этотъ еретикъ живетъ въ лѣсу одинъ: коли онъ этакъ часто покрикиваетъ, такъ медвѣди то и волки, чай, верстъ за пять кругомъ дрожкой дрожатъ!

Наши путешественники переправились вторично безъ дальняго труда черезъ рѣчку Брынь и проѣхали благополучно трясины, по которымъ въ лѣтнюю пору почти всегда не было никакого проѣзда. На этотъ разъ догадка перекрещеванца Павла оправдалась на самомъ дѣлѣ: отъ сильныхъ и постоянныхъ жаровъ болота во многихъ мѣстахъ вовсе пересохли, а въ другихъ окрѣпли до того, что колеса оставляли на нихъ едва замѣтный слѣдъ. Но, несмотря на на это, имъ нельзя было ѣхать скоро по усѣянной кочками и крупнымъ валежникомъ дорогѣ, или, лучше сказать, цѣлику, который въ зимнее только время превращался въ гладкую и ровную дорогу. Солнце было уже довольно высоко, когда Феропонтъ, посмотрѣвъ внимательно впередъ, сказалъ своему барину:

— Ну вотъ, Дмитрій Афанасьичъ, — слава тебѣ Господи! — сейчасъ выберемся изъ этой трущобы. Видишь, прямо между деревьями?... Теперь позаслонило кустами... вотъ опять мелькнула... это большая дорога, батюшка!... А посмотри-ка лѣвѣе, вонъ за елкой то, высокая кровля съ трубою... вѣдь это боярская винокурня!... Всего съ версту до села осталось.

Въ самомъ дѣлѣ, они выѣхали черезъ нѣсколько минутъ на большую дорогу, и почти въ то же самое время послышался въ близкомъ отъ нихъ разстояніи конскій топотъ. Феропонтъ невольно осадилъ лошадей.

— Господи! — вскрикнула Дарья, — вонъ скачутъ прямо къ намъ... Ну! попались мы.

— Постой-ка, постой! — молвилъ Феропонтъ. — Да это ѣдутъ отъ села... вѣрно, къ намъ навстрѣчу... Ну, такъ и есть: Кондратій Тихонычъ!...

Феропонтъ не ошибся: къ нимъ подъѣхалъ, въ сопровожденіи трехъ верховыхъ, дворецкій боярина Куродавлева. Увидѣвъ незнакомыхъ людей, Софья опустила свою фату. Какъ ни любила она Левшина, но въ эту минуту чувство стыда было въ ней сильнѣе самой любви: ей со-

вѣстно было глядѣть на свѣтъ Божій. Ей казалось, что всѣ должны были смотрѣть на нее съ этимъ обиднымъ любопытствомъ, съ этой насмѣшливой улыбкою, которая только что не говоритъ: «Ай да дочка! потѣшила батюшку!... Теперь ушла отъ отца, а тамъ, глядишь, и отъ мужа убѣжитъ!...»

— О! зачѣмъ я не умерла съ тоски!—шептала про себя бѣдная дѣвушка, заливаясь слезами. — Ужь одинъ бы конецъ... А теперь... Боже мой, Боже мой!... да развѣ легче для меня не смѣть взглянуть на добрыхъ людей и по сту разъ на день умирать со стыда!

Левшинъ соскочилъ съ телѣги, а Кондратій спѣшился, подошелъ къ нему и сказалъ почтительнымъ голосомъ.

— Здравствуй, батюшка Дмитрій Афанасьичъ! Ужь мы тебя ждали, ждали!... Юрій Миксимовичъ начиналъ тревожиться и выслалъ меня къ вамъ навстрѣчу... Онъ приказалъ тебѣ доложить, чтобъ ты пожаловалъ къ нему, а для твоей суженой отведена изба у старосты. Тамъ ее примутъ и уберутъ къ вѣнцу сѣнныя дѣвушки, а боярская кормилица, Матрена Никитишна, вмѣсто посаженой матери благословитъ ее святой иконою. Въ свахи большія, съ осыпаломъ, наряжена моя старуха, а въ меньшія свахи ключница Игнатьевна. Бояринъ изволилъ сказать, что онъ у тебя посаженымъ отцомъ, и хочетъ снарядить твою невѣсту, какъ свою дочь родную. Отецъ Егоръ ужь давно васъ въ церкви дожидается, а самъ бояринъ не будетъ въ поѣздѣ; а какъ вы обвѣнчаетесь, такъ встрѣтитъ васъ у себя съ хлѣбомъ да солью. Онъ прежде вѣнца, — промолвилъ вполголоса Кондратій, — не желаетъ видѣть твоей суженой: боится, что ей будетъ стыдно.

Въ продолженіе этого разговора, Дарья, которая также, ради дѣвичьей стыдливости, опустила фату, шептала Софьѣ:

— Смотри-же, Софья Андреевна, когда станутъ тебя одѣвать къ вѣнцу, да начнутъ косу расплетать, такъ ты, моя голубушка, тутъ то себя покажи—такъ и разрывайся!

Левшину подвели верховую лошадь; онъ присоединился къ поѣзду и, проводивъ свою невѣсту до старостина двора, который былъ въ двухъ шагахъ отъ церкви, отправился къ боярину Куродавлеву.

XI.

Левшинъ нашелъ боярина въ его любимомъ теремномъ покоѣ.

— Добро пожаловать, Дмитрій Афанасьичъ! — вскричалъ Куродавлевъ, идя къ нему навстрѣчу. — Ну, что твоя суженая? Привезъ ли ты ее?

— Привезъ, Юрій Максимовичъ.

— Ай да молодецъ!... То-то потѣха будетъ въ Мещовскѣ!... Чай, Ѳедька Токмачевъ затѣялъ пиръ во весь міръ!... Гостей назвалъ!... Изхарчился!... Анъ вотъ тебѣ и невѣста!... Что взялъ?... По усамъ текло, да въ ротъ не попало... мошенникъ этакій!... А я, Дмитрій Афанасьичъ, начиналъ ужь побаиваться... Да что вы, шагомъ что-ль ѣхали?

— Туда ѣхали скоро, Юрій Максимовичъ, а назадъ почитай все шагомъ, насилу дотащились.

— Какъ такъ?... На этой тройкѣ?

— Что-жъ дѣлать: дорога-то больно плоха. Вѣдь мы ѣхали зимнимъ путемъ.

— Зачѣмъ?

— За нами была погоня, а повозка-то у насъ сломалась. Вотъ пока мы сидѣли притаясь въ лѣсу, погоньщики взяли у насъ переду. Мы послѣ кое-какъ телѣгу достали, да ѣхать-то намъ нельзя было по одной съ ними дорогѣ.

— Вотъ что!... Такъ за вами была погоня?... А знаетъ ли Андрей Поморянинъ, что это дѣло ты спроворилъ?

— Какъ-же!... И меня и слугу моего видѣлъ сторожъ.

— Ну такъ мѣшкать нечего!... Чай, будущій твой тесть знаетъ, что ты гостишь у меня и ужъ вѣрно сюда пожалуетъ. Ступай-ка, Дмитрій Афанасьичъ, принарядись наскорую руку, да и къ вѣнцу!... Коли васъ успѣютъ повѣнчать прежде, чѣмъ онъ пріѣдетъ, такъ и всѣ концы въ воду!... Вотъ этакъ-то будетъ лучше, — продолжалъ боринъ, когда Левшинъ вышелъ изъ покоя;—а то вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, какъ скажешь отцу: да, дескать, любезный, дочка твоя здѣсь, и я, посторонній человѣкъ, хочу выдать ее замужъ; а тебѣ, дескать, родному ея батюшкѣ, до этого и дѣла нѣтъ. — Хочешь съ нами пировать — милости просимъ, а не хочешь—такъ со двора долой! Да этого сказать и языкъ не поворотится!... Вотъ дѣло другое, какъ повѣнчались, такъ ужъ тутъ и батюшкѣ говорить нечего: въ женѣ воленъ мужъ, а не отецъ.—Эй! кто тамъ?

Въ комнату вошелъ дворецкій.

— Кондратій, — молвилъ Куродавлевъ, — пошли-ка сказать, чтобъ невѣсту скорѣй снаряжали; да готова-ли колымага, въ которой повезутъ ее къ вѣнцу?

— Какъ-же, Юрій Максимовичъ: она ужъ давно стоитъ у старосты на дворѣ.

— А много-ли вершниковъ будетъ въ жениховомъ поѣздѣ?

— Всего пятнадцать человѣкъ. Впереди Андрюшка Барсукъ поѣдетъ съ тулумбасникомъ, за нимъ шестеро вершниковъ по-парно, тамъ женихъ съ двумя дружками, а позади еще шестеро вершниковъ.

— Эхъ, маленько!... Ну, да такъ ужь и быть. А женихъ на чемъ поѣдетъ?

— На своемъ аргамакѣ, батюшка; только мы осѣдлали его твоимъ кизылбашскимъ сѣдломъ съ каменьями; платъ подъ сѣдломъ изъ травчатаго аксамиту, наузъ изъ витаго золота, а поводная цѣпь серебряная.

— Хорошо!... Теперь ступай, да поторопи жениха; мѣшкать нечего.

Оставшись одинъ, Куродавлевъ подошелъ къ окну, изъ котораго былъ виденъ дворъ, озеро, церковь и все село; онъ съ примѣтнымъ безпокойствомъ посматривалъ на дорогу, которая шла по той сторонѣ озера.

— Вотъ, такъ и жду, — прошепталъ онъ, — что этотъ Андрей Поморянинъ нагрянетъ ко мнѣ какъ снѣгъ на голову!... Э! да вотъ ужъ тамъ кто-то ѣдетъ, тройкою въ телѣгѣ... Ахти, никакъ онъ!... Кажись, въ телѣгѣ сидитъ старикъ... Вотъ щибко поѣхали... Авось мимо... Нѣтъ! заворачиваютъ на плотину... сюда ѣдутъ!... Ну!!! такъ и есть... Вѣрно Андрей Поморянинъ!... Эй, Степка!—продолжалъ бояринъ, растворивъ сѣнную дверь.—Сбѣгай проворнѣй—узнай, кто это ко мнѣ пріѣхалъ?

Черезъ нѣсколько минутъ слуга воротился и доложилъ Куродавлеву, что пріѣхалъ передовой боярина Кириллы Андреевича Буйносова.

— Какъ!—вскричалъ съ радостію Куродавлевъ, — другъ сердечный, Кирилла Андреевичъ?... Ну, не ждалъ я такъ скоро дорогого гостя!... Милости просимъ!.. Вотъ кстати то пожалуетъ!... Въ посаженные отцы его къ молодой!... Да, хочетъ или не хочетъ, а ужъ угорское-то винцо мы съ нимъ покончимъ!... Веди сюда передового.

— Вотъ онъ, Юрій Максимовичъ, — сказалъ дворецкій, введя въ покой Савельича, этого досужаго пчеловода и костоправа, который былъ нѣкогда раскольникомъ и жилъ въ работникахъ у Андрея Денисова.—А я, батюшка,—

промолвилъ Кондратій, — пришелъ доложить тебѣ, что женихъ готовъ и сейчасъ ѣдетъ въ церковь.

— Да вотъ и поѣздъ тронулся, — прервалъ Куродавлевъ;—а вотъ и женихъ... Экій молодчина, подумаешь!... Любо-дорого взглянуть!... И осанка-то какая!... Ну, похожъ-ли онъ на стрѣлецкаго сотника?... Эхъ, жаль!... А что, братъ,—продолжалъ бояринъ, садясь въ кресла и обращаясь къ пріѣзжему,—какъ тебя зовутъ?

— Антошка Савельевъ, батюшка.

— Ну что, Савельичъ, ты далеко оставилъ своего барина?

— Нѣтъ, государь Юрій Максимовичъ: много, если версты четыре переду взялъ. Лошадки-то у меня поплоше боярскихъ, да и больно поумаялись.

— Такъ другъ-то мой сердечный того и гляди прикатитъ?... Да какъ-же онъ это пустился въ дорогу: вѣдь путь не близкій, а онъ мнѣ писалъ, что не можетъ встать съ постели?

— Да, батюшка! Кирилла Андреевичъ изволилъ зашибить правую ножку, и на первыхъ-то порахъ я думалъ, что не скоро встанетъ; да видно, что это мнѣ такъ съ испугу показалось.

— Тебѣ?

— Да, Юрій Максимычъ: вѣдь боярина-то я пользовалъ.

— Вотъ что! Такъ ты человѣкъ досужій?

— Знаемъ кой-что, кормилецъ. Я-таки на мой вѣкъ много косточекъ повыправилъ.

— Такъ ты костоправъ?... А руду метать умѣешь?

— И это маракуемъ. Коли надо твоимъ лошадкамъ кинуть кровь, пригажи, батюшка; а коли часомъ и тебѣ самому надо будетъ жилку открыть...

— Нѣтъ ужъ, братъ, спасибо!... Вотъ развѣ какъ-нибудь ногу или руку повихну...

— Дай-то Господи, батюшка!... Ужъ я-бы тебѣ послужилъ...

— Что ты, что ты? — прервалъ съ громкимъ смѣхомъ бояринъ.—Вотъ о чемъ Бога молитъ!

— А что жъ, государь Юрій Максимычъ?... Коли тебѣ на-роду написано повихнуть ручку или ножку, такъ ужъ лучше при мнѣ: вѣдь неровенъ костоправъ, батюшка, какому попадешься...

— Да лучше, братъ, никакому. А скажи мнѣ: что Кирилла Андреевичъ совсѣмъ чтоль выздоровѣлъ?

— Нѣтъ, батюшка, все еще изволитъ прихрамливать; а подождать не хотѣлъ: что то больно къ тебѣ торопился.

— Знаю, знаю!... Да порадовать то его будетъ нечѣмъ.

— Юрій Максимычъ! — сказалъ дворецкій, входя торопливо въ комнату, — сейчасъ взъѣхалъ на дворъ вотъ этотъ раскольничій то голова...

— Кто?... Андрей Поморянинъ?

— Да, батюшка.

— Ступай проворнѣй... прими его со всякимъ почетомъ.

— Какъ, батюшка!... Этого еретика?

— Да, да!... Какъ самаго дорогого гостя—слышишь?

— Слушаю, сударь! — пробормоталъ дворецкій, съ трудомъ скрывая свое негодованіе.

— Введи его въ большую расписную палату: оттуда онъ ничего не увидитъ; да попроси его обождать минутки двѣ, а тамъ, какъ я къ тебѣ пришлю, проводи его сюда. Ну, ступай проворнѣй!

Куродавлевъ подошелъ опять къ окну.

— Да чтожъ это они ѣдутъ не ѣдутъ? — сказалъ онъ съ примѣтнымъ нетерпѣніемъ. — Что за увальни такіе!... И зачѣмъ я не приказалъ имъ ѣхать рысью!... Вонъ плетутся какъ!... Ну, слава тебѣ Господи—доѣхали!... Вошли въ церковь... Теперь за невѣстой дѣло станетъ!... Эхъ, проваландаются они вплоть до вечеренъ!... Вѣдь эти дѣвки передъ вѣнцомъ — бѣда!... Чай, реветъ теперь въ источный голосъ, а мои то дуры, чѣмъ бы ее скорѣе снаряжать, глядишь—также голосятъ!... Охъ, эти бабы! какъ примутся вопить, да причитать, такъ ихъ ничѣмъ не уймешь!... А! вотъ никакъ зашевелились... отворяютъ ворота... вотъ невѣста выѣхала!... Благо церковь то близко... Вотъ и свахи принимаютъ ее изъ колымаги... ведутъ на паперть... Ну, теперь можно!... Послушай-ка, Савельичъ, пошли сѣнного мальчика сказать Кондратію, чтобъ онъ ввелъ сюда пріѣзжаго гостя, а самъ подожди въ сѣняхъ: мнѣ еще надо будетъ съ тобой словечка два перемолвить.

Оставшись одинъ, бояринъ началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Несмотря на свою природную отвагу, онъ очень былъ встревоженъ. Да и было отчего: въ первый разъ еще въ жизни познакомился онъ съ чувствомъ, вовсе ему неизвѣстнымъ. Что грѣхъ таить: у боярина Юрія Максимыча Куродавлева сердце замирало отъ страха; и тотъ, кто не дрогнулъ бы стать одинъ противъ цѣлой толпы вра-

говъ, не могъ подумать безъ ужаса, что онъ долженъ остаться съ глазу на глазъ съ какимъ то Андреемъ Поморяниномъ, ничтожнымъ раскольникомъ, безоружнымъ старикомъ. Но этотъ раскольникъ былъ обиженный отецъ — этотъ старикъ пришелъ требовать отъ него своей дочери. Какъ ни старался убѣдить себя Куродавлевъ, что онъ дѣлаетъ доброе дѣло, помогая православному жениться на раскольницѣ, что этимъ онъ возвращаетъ духовной паствѣ одну изъ ея заблудшихъ овецъ, и что лучше было для невѣсты Левшина покинуть отца, чѣмъ остаться навсегда отлученною отъ истинной церкви—но все это было напрасно. Неумолимая совѣсть говорила свое; она шепнула ему: «Не ради добраго дѣла ты отнимаешь дочь у отца — нѣтъ! а ради того, чтобъ отомстить мещовскому воеводѣ. До сей поры ты не краснѣлъ ни передъ кѣмъ, Куродавлевъ; кому ты не смѣлъ глядѣть прямо въ глаза? А теперь... Ну ка, Юрій Максимычъ, не смигни, любезный, когда глаза этого раскольника встрѣтятся съ твоими; не покраснѣй, когда этотъ старикъ начнетъ съ тобою говорить о своей дочери»...

— Да чтожъ это такое?—прошепталъ бояринъ, стараясь ободрить себя. — Вѣдь дѣвку то не я сманилъ, да и Левшинъ увезъ ее не насильно... А коли дочка сбѣжала съ молодцомъ, такъ еще батюшка долженъ мнѣ спасибо сказать, что я поторопился этотъ грѣхъ вѣнцомъ прикрыть... Чу! да вотъ никакъ онъ идетъ! — промолвилъ Куродавлевъ, садясь въ кресла.

Двери распахнулись настежъ, и Андрей Поморянинъ, войдя въ комнату, низко поклонился хозяину.

— Милости просимъ, сосѣдъ любезный! — сказалъ Куродавлевъ, привставая.—Вѣдь мы, чай, съ тобой сосѣди?

— Да, бояринъ, я живу недалеко отсюда.

— Очень радъ съ тобой познакомиться.

— Не о знакомствѣ рѣчь, Юрій Максимовичъ, — сказалъ почтительнымъ голосомъ Андрей.—Гдѣ намъ, простымъ людямъ, вести знакомство съ такимъ знаменитымъ сановникомъ.

— И, полно любезный! — прервалъ Куродавлевъ. — Что тутъ разбирать чины: дѣло сосѣдское.

Желая чѣмъ-нибудь задобрить Андрея Поморянина, Куродавлевъ рѣшился отступить отъ своихъ правилъ, и, не смотря на то, что гость его былъ въ простомъ сѣромъ балахонѣ, онъ пригласилъ его садиться.

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, — сказалъ Андрей, — я и постою. Не пригоже мнѣ сидѣть передъ тобою: я не гость твой, а челобитчикъ.

— Все равно! — возразилъ Куродавлевъ. Можетъ быть, тебѣ не въ привычку сидѣть передъ нашей братьей, боярами?... Да вѣдь у насъ не Москва, любезный: мы здѣсь живемъ попросту... Вонъ скамеечка, придвинь-ка ее сюда, да садись, голубчикъ!

Въ продолженіе этихъ рѣчей, которыя, казалось, сильно потревожили Андрея, угрюмое лицо его покрылось яркимъ румянцемъ. Онъ не тронулся съ мѣста, не вымолвилъ ни слова; но что то похожее на исполненную непріязни и презрѣнія улыбку изобразилось на блѣдныхъ устахъ его.

— Да полно, не чинись! — продолжалъ бояринъ.—Ужь коли я тебя прошу, такъ садись, братецъ!

Та же самая улыбка была отвѣтомъ боярину, но на этотъ разъ Андрей его послушался: онъ молча взялъ, только не скамью, а точно такія же кресла, на какихъ сидѣлъ хозяинъ, поставилъ противъ него и опустился въ нихъ такъ небрежно, съ такою свободою, какъ будто бы весь свой вѣкъ сиживалъ въ боярскихъ креслахъ.

— Ахъ, онъ балахонникъ!—подумалъ Куродавлевъ.— Вишь какъ плюхнулъ!.. такъ и развалился—словно передъ своимъ братомъ!.. Могъ-бы и на кончикѣ посидѣть, охреянъ этакой!

— Юрій Максимовичъ! — сказалъ Андрей, не обращая никакого вниманія на весьма замѣтное неудовольствіе хозяина,—я пріѣхалъ просить твоей защиты.

— Говори, любезный, говори!

— Кто не знаетъ въ нашей сторонѣ, бояринъ, что ты не даешь потачки ни ворамъ, ни разбойникамъ, стоишь горой за правду и не покривишь душею нетокмо ради знакомства и пріязни, но и ради собственнаго живота своего.

— Ну! — подумалъ Куродавлевъ, — съ нимъ держи ухо востро!.. Вишь какой лисой подъѣзжаетъ!

— Я и подумать то не смѣю, — продолжалъ Андрей,— чтобъ ты захотѣлъ помогать въ дѣлѣ воровскомъ какому-нибудь разбойнику... Вѣдь ты лучше всякаго знаешь, бояринъ, что тотъ, кто мирволитъ недобрымъ людямъ, и самъ недобрый человѣкъ; а кто помогаетъ и даетъ пріютъ отъявленнымъ ворамъ и разбойникамъ, тотъ самъ такой же точно воръ и разбойникъ, какъ они.

Вся кровь бросилась въ лицо Куродавлева.

— Да о какихъ ты это говоришь разбойникахъ? — промолвилъ онъ едва внятнымъ голосомъ. — Я, братъ, обиняковъ не люблю!.. Говори прямо!

— Изволь, бояринъ!.. Прямо, такъ прямо. Меня ограбилъ стрѣлецкій сотникъ Левшинъ, который живетъ въ твоемъ дому.

— Ограбилъ!.. Что ты, братецъ, въ умѣ-ли?

— Да!—продолжалъ Андрей, вставая, — ограбилъ!.. Ты спросишь, можетъ быть, бояринъ: «а что онъ у тебя укралъ? серебро чтоль изъ сундука вытащилъ, коней свелъ, кладовую подломалъ, деньги отнялъ..?» Деньги!.. Да еслибъ онъ обобралъ меня до послѣдней копѣйки, поджогъ домъ, разорилъ въ конецъ, пустилъ бы по міру въ одной рубашкѣ — такъ я махнулъ бы рукою и сказалъ: «Богъ съ нимъ! И деньги, и добро, и домъ все дѣло наживное!.. А не наживу, такъ чтожъ?.. Земное достояніе прахъ!.. Но этотъ злодѣй укралъ у меня единственную дочь, сдѣлалъ меня на старости сиротою, погубилъ душу христіанскую!..

— Погубилъ душу! — вскричалъ Куродавлевъ, обрадовавшись, что можетъ на что-нибудь опереться. — Ужъ не душу ли твоей дочери, которая съ нимъ убѣжала?.. Нѣтъ, голубчикъ — погоди!.. Она будетъ законной супругою Левшина и православной христіанкою. Слышишь ли, господинъ Поморянинъ—православной!

— Я пришелъ къ тебѣ не о вѣрѣ состязаться, — прервалъ Андрей. — Кто-бъ я ни былъ по вашему: раскольникъ, татаринъ, жидъ, а я все-таки отецъ, и говорю тебѣ, бояринъ Куродавлевъ: отдай мнѣ мою дочь!

— Да небойсь, Андрей; дочь твоя не пропадетъ!.. Послушай, любезный, — продолжалъ Куродавлевъ ласковымъ голосомъ, — вѣдь ты знаешь пословицу: «снявши голову о волосахъ не плачутъ». Ужь коли дочь твоя бѣжала съ молодымъ парнемъ, такъ на что она тебѣ?.. Да я бы на твоемъ мѣстѣ перекрестился, что она замужъ выходитъ за Левшина. Вѣдь послѣ такого дѣла кто на ней женится?

— Это моя забота, бояринъ; захочу, такъ выдамъ ее замужъ.

— Чай, за мещовскаго воеводу?.. Чего добраго! этотъ срамецъ на все пойдетъ!.. Да какая жизнь то ея будетъ?.. Вѣчный попрекъ!.. Эй, любезный, не упрямся!.. Ну, самъ скажи: чѣмъ Левшинъ ей не женихъ?

— Нѣтъ! — вскричалъ Андрей, — я никогда не соглашусь...

— Экій ты какой! — прервалъ Куродавлевъ. — Самъ не умѣлъ сберечь дочери, такъ чего тутъ — не соглашусь!.. Ужь если прежде тебя не спрашивались, такъ теперь и подавно спрашиваться не станутъ. Да и что ты этакъ упираешься?.. Коли ради того, что Левшинъ не вашъ братъ старообрядецъ...

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, это другая рѣчь.

— А коли другая, такъ о чемъ же и говорить?.. Левшинъ отличный молодецъ, человѣкъ родословный, помѣстный!.. Не будь онъ стрѣлецкимъ сотникомъ, такъ и я бы не задумался съ нимъ породниться...

— Да если тебѣ, Юрій Максимовичъ, безчестно породниться съ стрѣлецкимъ сотникомъ, такъ почему же ты думаешь, что я захочу выдать за него мою дочь?

— Что, что? — промолвилъ Куродавлевъ. — Экъ, куда хватилъ!.. Ты, голубчикъ, говори, да не заговаривайся!.. Развѣ я то, что ты?

— А почему ты знаешь, бояринъ, кто я?

— Кто ты?.. Да, не прогнѣвайся, любезный, я, чаю, ты или бѣглый дьячекъ, или попъ разстрига; ну, а можетъ статься и гость московскій. Тамъ вашей братіи много развелось.

— Нечего дѣлать! — прошепталъ Андрей.—Да не вмѣнитъ мнѣ Господь, что я нарушаю обѣтъ мой!.. Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, я не попъ разстрига, не бѣглецъ, а такой же родовой человѣкъ, какъ ты. Отецъ мой былъ окольничій, Яковъ Яковлевичъ Денисовъ, а я старшій сынъ его, Андрей.

— Андрей Яковлевичъ Денисовъ, племянникъ князя Мышецкаго?

— Да, бояринъ.

— Въ этомъ сѣромъ балахонѣ?

— А на что ваши парчи и бархаты тому, кто гнушается всей земной роскошью. Это рубище, этотъ сѣрый балахонъ, — моя труженическая ряска, бояринъ, и я не промѣняю ее на всѣ ваши золотыя ферязи.

— Денисовы!—повторилъ Куродавлевъ, стараясь что то припомнить. — Постой ка, Андрей Яковлевичъ!.. Да тебѣ все-таки нечего браковать Левшина: вѣдь, помнится, твоя родная сестра вышла не за боярина!

— Нѣтъ. Она была замужемъ за стрѣлецкимъ головою, Афанасьемъ Левшинымъ?

— Какъ!.. Такъ дочь твоя...

— Двоюродная сестра стрѣлецкому сотнику, Дмитрію Афанасьичу Левшину.

— Двоюродная сестра! — повторилъ съ ужасомъ боярinъ.—Ахъ, батюшки!.. Эй, кто тамъ? Всѣ сюда!

Въ комнату вошли: дворецкій, Савельичъ и двое слугъ.

— Бѣгите скорѣй въ церковь! — закричалъ Куродавлевъ. — Скажите отцу Егору, чтобъ остановился вѣнчать!.. Да ну же!.. поворачивайтесь!

Двое слугъ кинулись опрометью вонъ, а дворецкій и Савельичъ остались въ комнатѣ.

— Какъ!—молвилъ Андрей.—Такъ они ужь въ церкви?

— Да ужь, чай, и повѣнчаны!.. Ну! надѣлали мы дѣла!.. Господи Боже мой! братъ и сестра!.. Что теперь дѣлать!.. Придется подавать челобитную въ патріаршій приказъ, да развѣнчивать!.. Экій грѣхъ, подумаешь!.. Экій грѣхъ'..Да и ты, Андрей Яковлевичъ... ну что ты ломался!.. Сказалъ бы прямо: «они, дескать, двоюродные»... Да постой ка, любезный, — продолжалъ Куродавлевъ, посматривая недовѣрчиво на своего гостя. — Вѣдь я тебя не знаю, такъ ты пожалуй и сказку плетешь... Полно, правда ли, что ты Денисовъ, и что дочь твоя двоюродная сестра Левшину?

— Дозволь мнѣ, государь Юрій Максимовичъ, словечко вымолвить, — сказалъ Савельичъ, выступая впередъ.—Его милость доподлинно Андрей Яковлевичъ Денисовъ. Когда еще онъ изволилъ жить въ Выгорѣцкомъ скиту, за Онегою, я былъ у него служителемъ, и на Вятку вмѣстѣ съ нимъ ѣздилъ... Да неужели то, батюшка Андрей Яковлевичъ, ты не изволилъ опознать меня?..

— Семенъ Савельичъ? — промолвилъ Денисовъ, нахмуривъ брови.

— Я, сударь—я.

— Такъ онъ точно Денисовъ? — сказалъ Куродавлевъ.

— Истинно такъ!—отвѣчалъ Савельичъ. — Только дочка то его вовсе не родня Дмитрію Афанасьичу,

— Не родня?.. Такъ Левшинъ ему не племянникъ?

— Какъ же! родной племянникъ; да Софья то Андреевна не родная ему дочь: она пріемышъ!

— Кто смѣетъ это сказать? — прервалъ вспыльчиво Денисовъ.

— Я, батюшка,—молвилъ Савельичъ.

— Ты?.. Измѣнникъ проклятый, бѣглецъ, отступникъ отъ истинной вѣры, предатель!..

— Да ты, сударь, не изволь такъ лаяться — я правду говорю. Я еще покамѣстъ живой человѣкъ, и память то не вовсе сгибла. Какъ теперь гляжу: ты привезъ въ Выгорѣцкій скитъ дѣвочку годковъ трехъ и строго всѣмъ наказалъ не говорить ей, что она пріемышъ. «Пусть, дескать, бѣдная сиротинка думаетъ, что я родной ея батюшка».

— Ты лжешь, Іуда окаянный!

— Эхъ, полно, кормилецъ!.. Какой у тебя быть дочери: вѣдь ты и женатъ то никогда не былъ.

— Фу, батюшки! — промолвилъ Куродавлевъ, поглаживая свою широкую грудь. — Какъ гора съ плечъ!.. Такъ вотъ дѣло то какое!.. Они вовсе не родня?.. Ну, перепугалъ ты меня, Андрей Яковлевичъ!.. Эку шутку выкинулъ!.. Да какъ прикинулся: родная дочь, да и только!.. Теперь не прогнѣвайся, любезный, мы ухаживать за тобой не станемъ; хочешь благословить свою нареченную дочь — милости просимъ! А не хочешь — такъ Богъ съ тобой!.. Савельичъ, ступай ка, скажи, чтобъ ихъ довѣнчивали... Да только правду ли ты говоришь?

— Помилуй, государь мой Юрій Максимовичъ! захочу ли я взять на душу такой грѣхъ—избави Господи!

— Ну, такъ ступай же, проворнѣй!

— Пріемышъ! — прошепталъ Денисовъ. — Да развѣ та, которую я вспоилъ и вскормилъ, няньчилъ на рукахъ своихъ, называлъ своею дочерью?..

— Все-таки не двоюродная сестра Левшину, — прервалъ Куродавлевъ. — А что ты вспоилъ и вскормилъ ее, такъ это не диво, любезный. Въ вашихъ скитахъ будутъ поить и кормить всякаго, лишь только бы привести въ свою вѣру. Вотъ и ты думалъ сдѣлать то же, и тебѣ не хотѣлось, чтобъ эта сиротинка была православною; а Господь то сдѣлалъ по своему. Да полно, Андрей Яковлевичъ, — не кручинься! — продолжалъ Куродавлевъ, — а попируй ка лучше съ нами. Я же жду съ часу на часъ друга моего сердечнаго, Кириллу Андреевича Буйносова. Вотъ, любезный, не тебѣ ужь чета — понатерпѣлся горя. Было у него

одиннадцать дочерей, а ни одной не осталось: десять померло, а одиннадцатая, крестница моя—пропала безъ вѣсти, здѣсь, въ нашихъ Брынскихъ лѣсахъ.

Денисовъ вздрогнулъ.

— Здѣсь, въ Брынскихъ лѣсахъ?—повторилъ онъ.

— Тому назадъ ровно пятнадцать лѣтъ.

— Пятнадцать лѣтъ?—повторилъ опять Андрей.

— А что... Развѣ ты объ этомъ слыхалъ?

— Нѣтъ! — отвѣчалъ отрывисто Денисовъ. Онъ снова задумался и вдругъ мрачное лицо его прояснилось, глаза заблистали, и злобная улыбка мелькнула на устахъ. — Вотъ, — сказалъ онъ, — твой пріятель Кирилла Андреевичъ Буйносовъ, хоть баринъ большой, а, чай, выдалъ бы свою дочь и за стрѣлецкаго сотника, лишь только бы она отыскалась.

— За стрѣлецкаго сотника!.. Чтобъ моя крестница, дочь боярина Буйносова, была какой-нибудь стрѣльчихою?.. Сохрани Господи!.. По мнѣ лучше вѣкъ не находись... Да къ чему ты это говоришь?

— Такъ.

— Нѣтъ, видно, что-нибудь не даромъ.

— Ну, — продолжалъ Денисовъ, какъ будто бы говоря съ самимъ собою, — видно, дѣтей то въ Брынскихъ лѣсахъ теряютъ частехонько.

— А развѣ и твой пріемышъ?..

— Да, Юрій Максимовичъ! Я эту дѣвочку нашелъ въ здѣшнемъ лѣсу, также лѣтъ пятнадцать назадъ и, кажись, объ эту пору.

— Объ эту пору?

— Да. Я изъ здѣшнихъ мѣстъ ѣхалъ тогда за Онегу; вотъ этакъ недалеко отъ села Бѣликова...

— Отъ села Бѣликова?..

— Да. Гляжу, лежитъ подъ кустомъ дѣвочка лѣтъ трехъ или четырехъ въ красной кофточкѣ...

— Въ красной кофточкѣ?.. Что ты говоришь?..

— Правду, бояринъ. Сначала я подумалъ, что она мертвая — не дышитъ; а тамъ, какъ ее поднялъ, да поотогрѣлъ, такъ она и глазки раскрыла. Вотъ,—подумалъ я,— видно, Господь сжалился надъ моимъ сиротствомъ и посылаетъ мнѣ дѣтище. Завернулъ ее въ кафтанъ и увезъ съ собою.

— Господи! — вскричалъ Куродавлевъ. — Неужели въ самомъ дѣлѣ?..

— Право такъ! — продолжалъ спокойнымъ голосомъ Денисовъ, взглянувъ украдкою въ окно. — Всю дорогу она была безъ памяти, а тамъ, какъ очнулась и стали ее разспрашивать, такъ начала что то лепетать; да мы разобрали только, что ее зовутъ Сонюшкою.

— А не было ли у нея чего-нибудь на шеѣ? — прервалъ, едва дыша, бояринъ.

— Какъ же!.. У ней висѣлъ на шелковомъ гайтанѣ обдѣланный въ серебро финифтяный образокъ съ ликомъ преподобной великомученицы Варвары.

— Боже мой!.. Боже мой! — вскричалъ Куродавлевъ.— Это она!.. Точно она!..

— Она! . Кто она, бояринъ?

— Моя крестница — дочь Кириллы Андреевича Буйносова!

— Неужли въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ ее то теперь вѣнчаютъ съ стрѣлецкимъ сотникомъ?

— Господи Боже мой!.. Кондратій, бѣги!..

— Что его трудить, бояринъ, — прервалъ Денисовъ, указывая на окно.—Вонъ, посмотри, молодые то изъ церкви ужь ѣдутъ.

— Обвѣнчаны! — завопилъ неистовымъ голосомъ Куродавлевъ.

— Да, Юрій Максимовичъ... И развѣнчивать ихъ не станутъ: они вѣдь не родные. А вотъ, кажется, и батюшка ея изволитъ ѣхать.

Подлинно, въ самое то время, какъ свадебный поѣздъ, переѣхавъ черезъ плотину, сталъ приближаться къ господскому двору, на противоположномъ концѣ села показался длинный рядъ повозокъ.

— Это Кирилла Андреевичъ,—сказалъ Кондратій, глядя въ окно. — Точно, онъ!.. Вонъ ѣдетъ впереди его лѣтній возокъ, обитый краснымъ сукномъ.

— Эхъ, жаль!—промолвилъ Денисовъ,—не успѣетъ онъ принять молодыхъ съ хлѣбомъ и солью!

— Молодыхъ! — повторилъ отчаяннымъ голосомъ Куродавлевъ. — Ну! снялъ я себѣ голову съ плечъ!.. Что мнѣ теперь дѣлать?.. Что сказать Кириллѣ Андреевичу?.. Какъ показаться ему на глаза?.. Фу, батюшки!.. Смерть моя!.. Ноги не держатъ!.. — промолвилъ бояринъ задыхаясь. Онъ опустился въ кресло и закрылъ руками лицо.

Съ полминуты продолжалось молчаніе. Денисовъ тор-

жествовалъ. Онъ смотрѣлъ съ такой радостной улыбкою, съ такимъ наслажденіемъ на отчаяніе Куродавлева, что, казалось, въ эту минуту вовсе не жалѣлъ о потерѣ своей нареченной дочери.

— Правду ты говорилъ, Юрій Максимовичъ! — промолвилъ онъ наконецъ.—Истинно, всѣ наши земные помыслы прахъ и суета. Думалъ ли я, что мое доброе заплатится мнѣ зломъ?.. Вотъ и тебѣ также, бояринъ, бо́льно не хотѣлось, чтобъ твоя крестница была стрѣльчихою, а Господь то сдѣлалъ по своему — да еще какъ!.. Ты самъ снарядилъ ее къ вѣнцу!..

— Молчи, проклятый! — закричалъ бояринъ, вскочивъ съ креселъ. — Все это сказки, вздоръ, выдумки! Эта дѣвка никогда не была дочерью Буйносова. Ты отъ кого-нибудь слышалъ, да и сплелъ все это нарочно, чтобъ только осрамить меня и моего друга... Да нѣтъ, голубчикъ, не на того напалъ!.. Слушай, Кондратій: если какъ-нибудь дойдетъ до Кириллы Андреевича — коли кто ни есть изъ нашихъ вымолвитъ хоть одно словечко — заикнется сказать, что этотъ пріемышъ дочь боярина Буйносова, такъ я и тебя и его живыхъ въ землю закопаю!.. Слышишь?.. А ты, господинъ родословный человѣкъ въ сермяжномъ балахонѣ!—продолжалъ Куродавлевъ, обращаясь къ Денисову,— ступай куда хочешь, да разсказывай свои сказки, а здѣсь, въ моемъ дому, чтобъ сей же часъ и слѣдъ твой простылъ!.. Милости просимъ вонъ отсюда, коноводъ раскольничій!

— Не гони, Юрій Максимовичъ: самъ пойду!—сказалъ Денисовъ, взглянувъ съ неизъяснимымъ презрѣніемъ на Куродавлева. — Благодарствую тебя, бояринъ, за угощенье, ласковый пріемъ и радушные проводы. Дай Господи и тебѣ встрѣчать всегда такихъ же хлѣбосоловъ!

— Проклятый еретикъ!—прошепталъ Куродавлевъ, когда Денисовъ вышелъ вонъ. — Кондратій, прими молодыхъ и приведи ихъ въ расписную палату.

— Въ расписную палату?... Да вѣдь столъ то накрытъ...

— Молчи и дѣлай, что тебѣ приказываютъ!

— Слушаю, Юрій Максимовичъ!

— А объ этомъ, что здѣсь говорено было, смотри— ни гугу!

— Слушаю, батюшка!.. Только воля твоя... не прогнѣвайся, кормилецъ!... вѣдь, кажись, въ самомъ дѣлѣ...

— Дуракъ!... Да развѣ жена какого-нибудь стрѣльца можетъ быть дочерью Кириллы Андреевича?... Ступай!... Вонъ онъ сердечный!—продолжалъ бояринъ, подойдя къ окну.—Видно, сердце въ немъ не чуетъ, что родная дочь его у меня въ дому?... Не поѣхалъ бы онъ шажкомъ!... И что это я такъ заторопился?... Вѣнчай да вѣнчай!... Вотъ и повѣнчали!... Эхъ, Юрій Максимовичъ! не кривить бы тебѣ душою, не выдавать-бы замужъ дочери безъ отцовскаго благословенія! Такъ нѣтъ! дай-ка я путемъ насолю этому скверванцу Токмачеву!... Анъ вотъ тебя лукавый то и попуталъ!... А какая была-бы радость!... Какое веселье!.. Ужь то-то былъ бы для тебя гостинецъ, другъ сердечный!... Ты ко мнѣ въ двери, а родная то твоя —твоя Сонюшка къ тебѣ на шею!... Охъ, да вѣдь она ужь не дѣвица Буйносова, а стрѣлецкая женка Левшина!.. Нѣтъ, нѣтъ! лучше ему вѣкъ не знать, что дочь его нашлась: вѣдь ужь онъ привыкъ къ своему горю... Чтожъ это возокъ то его остановился?... Кто то подъѣхалъ къ нему на тройкѣ... соскочилъ съ телѣги... Ахти! да это никакъ... такъ и есть... мошенникъ Денисовъ!... Зарѣжетъ онъ меня безъ ножа!... Они разговариваютъ... вотъ Кирилла Андреевичъ машетъ руками... кричитъ что то своимъ людямъ... Ну!!! поскакали!... Все знаетъ!

XII.

Черезъ нѣсколько минутъ возокъ, обитый краснымъ сукномъ, вкатилъ на господскій дворъ и подъѣхалъ къ крыльцу, на которомъ стоялъ уже Куродавлевъ. Онъ принялъ самъ изъ возка боярина Буйносова.

— Здравствуй, другъ сердечный!—говорилъ онъ, обнимая Кириллу Андреевича.—Милости просимъ!

— Гдѣ она? Гдѣ она? — промолвилъ дрожащимъ голосомъ старикъ Буйносовъ, вырываясь изъ объятій своего друга.

— Она!... Кто она?...

— Дочь моя!... Дитя мое!...

— Тише, мой другъ—тише!... Что ты это говоришь?... Вѣдь пожалуй эти дурачье повѣрятъ!... Войдемъ, любезный, въ покои, войдемъ!... Мы ужь тамъ потолкуемъ объ этомъ...

— Чего тутъ толковать!—вскричалъ Буйносовъ. — Она здѣсь, у тебя...

— Да успокойся, Кирилла Андреевичъ!... Пожалуй, пожалуй!

Куродавлевъ схватилъ подъ руку своего гостя, провелъ его черезъ переднюю и столовую, затворилъ за собою всѣ двери и, войдя вмѣстѣ съ нимъ въ первую пріемную комнату, по нашему гостиную, сказалъ:

— Ну вотъ, теперь отдохни, любезный другъ,—садись!

— Да гдѣ жъ она?...

— Садись!... Мы поговоримъ...

— Эхъ, Юрій Максимовичъ!... Да чтожъ ты, уморить что-ль меня хочешь?

— Говорятъ тебѣ, садись!... Не сядешь, такъ я тебѣ и отвѣчать не стану.

— Ну, ну, изволь!... Вотъ я сижу.

— Послушай, другъ сердечный,—сказалъ Куродавлевъ, сядясь подлѣ Кириллы Андреевича, — ну что толку безъ пути радоваться, коли, можетъ статься, вовсе нѣтъ никакой радости?

— Что ты говоришь!...

— Ну, да!... Мало ли что намъ кажется на первыхъ порахъ, и такъ и этакъ, а тамъ, какъ поразсмотришь, да поразсудишь хорошенько—такъ ой, ой, ой!... въ такой бы просакъ попалъ, что и, Господи... Вотъ и мнѣ было сгоряча показалось: ахти-молъ ужь не крестница ли это моя?.. А какъ подумалъ путемъ, да припомнилъ все—анъ и выходитъ: вовсе не то!

— Да какъ не то, когда мнѣ сейчасъ разсказалъ обо всемъ тотъ самый, кто нашелъ ее, вспоилъ и вскормилъ, какъ родную дочь!...

— А знаешь ли, кто это тебѣ разсказывалъ, и что это за человѣкъ такой?... Да ему здѣсь и малый ребенокъ ни въ чемъ не повѣритъ!... Вѣдь это отъявленный мошенникъ и еретикъ, Андрюшка Поморянинъ!

— Что нужды, кто бы онъ ни былъ!

— Да и почему ты думаешь, что этотъ найденышъ точно твоя потерянная дочь?

— Какъ почему?... Онъ ровно пятнадцать лѣтъ тому назадъ нашелъ ее въ здѣшнемъ лѣсу...

— Эко диво!... Да здѣсь почитай каждый годъ дюжины по двѣ ребятишекъ въ лѣсу находятъ. Вѣдь ты не знаешь,

какіе здѣсь водятся раскольники: иные дѣтей то своихъ нарочно въ лѣсу покидаютъ. «Пусть, дескать, они гибнутъ отъ дикихъ звѣрей—мученики будутъ!» Ну, разсуди самъ, что хорошаго, еслибы ты при всѣхъ началъ цѣловать и и назвалъ бы своею дочерью какого-нибудь раскольничьяго подкидыша?

— Но этотъ Поморянинъ говорилъ мнѣ, что дѣвочкѣ было на взглядъ годка три или четыре, что она была въ красной кофточкѣ...

— Въ красной кофточкѣ!... Эка невидаль!... Да здѣсь и старый и малый, всѣ поголовно носятъ красныя кофты.

— Да это все еще ничего! Онъ сказалъ мнѣ, что у дѣвочки былъ на шеѣ финифтяный образокъ съ ликомъ святой великомученицы Варвары; что онъ и теперь еще на ней... А вѣдь ты самъ благословилъ свою крестницу такимъ образомъ.

— Вотъ то-то и дѣло, что нѣтъ!... Я точно благословилъ ее, да только образомъ святой Вѣры, а не Варвары.

— Господи!—промолвилъ съ ужасомъ Буйносовъ. — Да нѣтъ, нѣтъ! ты забылъ!

— Охъ, любезный! то-то и бѣда, что не забылъ... Ты постарѣе меня, память становится у тебя плоха, а имена то сходны межъ собою: Вѣра, Варвара—вотъ ты и перепуталъ!... А я какъ теперь помню...

— Боже мой, Боже мой!—простоналъ бѣдный старикъ.— Неужли Ты порадовалъ меня для того только, чтобъ мнѣ горчѣе стало жить на бѣломъ свѣтѣ.

Онъ закрылъ руками глаза, и крупныя слезы потекли по его блѣднымъ щекамъ.

— Ахъ, я окаянный!—прошепталъ Куродавлевъ. — Ну, надѣлалъ я дѣла!... А что, мой другъ,—продолжалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—говорилъ ли тебѣ еще что-нибудь этотъ Андрюшка Поморянинъ.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Буйносовъ.— Онъ только успѣлъ вымолвить то, что я тебѣ пересказалъ; да объявилъ мнѣ, что эта дѣвица у тебя въ дому.

— Дѣвица!—подумалъ про себя Куродавлевъ. — Вотъ что!... Такъ онъ не сказалъ, что она повѣнчана?

— Вѣра!... Варвара!—повторялъ Буйносовъ.—Охъ, кажется, Варвара!... Да постой!... Лучше всего... позволь, любезный.

Кирилла Андреевичъ вскочилъ, вышелъ въ переднюю и сказалъ дворецкому Кондратію:

— Послушай, братецъ, попроси у этой пріѣзжей, что у васъ теперь въ дому, финифтяный образокъ, который она носитъ на шеѣ.

— Да на что тебѣ?—спросилъ съ примѣтнымъ смущеніемъ Куродавлевъ, когда гость его возвратился опять въ пріемную.

— Какъ на что?—отвѣчалъ Буйносовъ. — Я хочу самъ видѣть. Почему знать: коли ты, мой другъ, точно помнишь, что благословилъ свою крестницу образомъ святой Вѣры, такъ можетъ статься этотъ Поморянинъ ошибся, когда сказалъ мнѣ, что на этомъ образкѣ ликъ великомученицы Варвары.

— Помилуй, любезный!... Да неужели въ пятнадцать лѣтъ они не разсмотрѣли, какая святая написана на образѣ?

— Эхъ, Юрій Максимычъ!... Кто тонетъ, тотъ и за соломенку хватается!

Черезъ нѣсколько минутъ Кондратій возвратился, неся бархатную ладонку, привѣшенную къ шелковой тесьмѣ. Куродавлевъ предупредилъ Кириллу Андреевича. Онъ выхватилъ ладонку изъ рукъ Кондратія, вынулъ изъ нея образокъ, взглянулъ на него и, казалось, совершенно успокоился.

— Ну вотъ—сказалъ онъ, передавая образокъ Буйносову,—посмотри самъ.

— Да!—промолвилъ съ отчаяньемъ Буйносовъ, — такъ и есть: великомученица Варвара!

— И образокъ то вовсе не такой!—подхватилъ Куродавлевъ.—Вспомни хорошенько: вѣдь у того, которымъ я благословилъ крестницу, были только краешки серебряные, а этотъ весь въ серебро обдѣланъ. Подай-ка его сюда.

— Погоди!— сказалъ Буйносовъ, осматривая кругомъ образокъ.—Ты мнѣ что то напомнилъ... Да, такъ точно!... Я самъ отдавалъ его обдѣлать въ серебро... И зачѣмъ бишь?... О, дай Богъ память... А! помню! помню!... Для того, чтобъ надпись не стерлась... Постой!

И прежде чѣмъ хозяинъ могъ догадаться, что хочетъ дѣлать Буйносовъ, онъ съ живостію молодого человѣка выхватилъ изъ кармана дорожный ножикъ, отогнулъ имъ края у серебряной спинки образа, снялъ ее... Вотъ на задней сторонѣ иконы открылась надпись, и Кирилла Андреевичъ

прочелъ громкимъ голосомъ: «Сей святой иконою великомученицы Варвары благословилъ крестницу свою, дѣвицу Софью Буйносову, бояринъ Юрій Максимовичъ Куродавлевъ».

— Ну, Юрій Максимычъ!—вскричалъ Буйносовъ,—вѣришь ли теперь, что это моя дочь?

Куродавлевъ молчалъ. Блѣдный, съ поникнутой головою стоялъ передъ Буйносовымъ, какъ стоитъ уличенный преступникъ передъ своимъ неумолимымъ судьею.

— Чтожъ ты молчишь?—продолжалъ Буйносовъ.—Иль не вѣришь, любезный?... На вотъ—прочти!

— Ну!—прошепталъ Куродавлевъ,—нечего дѣлать!... Кирилла Андреевичъ!—молвилъ онъ, повалясь въ ноги своему гостю,—прости меня, Бога ради!

— Что ты, что ты?... Богъ съ тобою!—вскричалъ Буйносовъ.—Да встань—пожалуйста!

— Нѣтъ, не встану, пока ты меня не простишь!

— Прощаю, братецъ, прощаю!... Да въ чемъ?

— Охъ! страшно вымолвить!

— Господи!.. Да чтожъ такое?

— Какими глазами мнѣ на тебя взглянуть?.. Что я надѣлалъ!.. Другъ мой!.. Кирилла Андреевичъ!.. вѣдь я, не зная, что это твоя дочь, выдалъ ее замужъ!

— Замужъ!.. За кого?

— Вотъ въ томъ то и дѣло!.. Языкъ не повернется вымолвить!

— Да говори, Бога ради!

— Ее сейчасъ обвѣнчали.

— Съ кѣмъ?

— Ну! рѣзать, такъ рѣзать!.. Я обвѣнчалъ ее съ присланнымъ отъ тебя стрѣлецкимъ сотникомъ...

— Левшинымъ?

— Да!.. Теперь ты все знаешь. Вотъ тебѣ моя голова, дѣлай съ нею, что хочешь!

— Фу, батюшки!—промолвилъ Буйносовъ, перекрестясь.—Слава тебѣ Господи!.. А я ужь думалъ и Богъ знаетъ что!.. Ну, Юрій Максимычъ, напугалъ ты меня.

— Напугалъ!—повторилъ Куродавлевъ.—Да чего жъ тебѣ еще?.. Иль ты не слышалъ?.. Стрѣлецкій сотникъ...

— Такъ чтожъ?

Этотъ вопросъ до того поразилъ Куродавлева, что онъ нѣсколько времени не могъ вымолвить ни слова.

— Батюшки!—прошепталъ онъ наконецъ,—да онъ никакъ съ радости то обезумѣлъ?.. Что ты это, другъ сердечный?.. Христосъ съ тобою!

— Чему жъ ты дивишься?—сказалъ Буйносовъ.—Отецъ Левшина былъ моимъ задушевнымъ пріятелемъ... Онъ самъ молодецъ прекрасный... Левшины люди родословные...

— Хороши родословные! — прервалъ Куродавлевъ. — И батюшка и сынокъ—оба стрѣльцы!

— Стрѣльцы, да не измѣнники; а по мнѣ, тотъ, кто служитъ вѣрой и правдой царю-государю—гдѣ бы онъ ни служилъ... да вотъ, хоть напримѣръ, стрѣлецкій полковникъ Сухаревъ...

— Ну, что по твоему?.. Чай, нашему брату будетъ въ версту?

— А почему же нѣтъ?

У Куродавлева руки опустились.

— Эге!—промолвилъ онъ, глядя на своего гостя,—какъ вы тамъ въ Москвѣ то онѣмечились!.. Ну!!! такъ тебѣ ничего, что твоя дочь стрѣлецкая сотничиха?

— Ничего.

— Ну, а коли тебѣ ничего, такъ мнѣ и подавно!.. Вѣдь Софья то Кирилловна моя крестница, а не дочь родная.

— Да что объ этомъ говорить?.. Веди меня скорѣй къ ней...

— Постой!.. Вѣдь надобно же ей сказать, кто она такая, а то вѣдь ты ее перепугаешь: кинешься къ ней на шею, закричишь, заплачешь... Побудь немного здѣсь. Я самъ къ тебѣ приведу молодыхъ... Эки времена! — продолжалъ шопотомъ Куродавлевъ, идя во внутренніе покои.—Я думалъ, что съ ногъ его срѣжу, а онъ какъ ни въ чемъ не бывало!.. Стрѣлецкій сотникъ ничего... ну!!!

Прошло нѣсколько минутъ; разумѣется, каждая изъ нихъ не имѣла конца для Буйносова. Нѣсколько уже разъ хотѣлъ онъ бѣжать навстрѣчу къ своей дочери, искать ее по всему дому, проклиналъ медленность Куродавлева, и вотъ наконецъ въ сосѣдственныхъ покояхъ послышались скорые шаги; двери растворились; молодая женщина, съ закинутой назадъ фатою, вбѣжала въ комнату и съ радостнымъ крикомъ бросилась въ объятія Буйносова.

— Дочь моя, дитя мое!.. Сонюшка, другъ мой!—не говорилъ, а рыдалъ старикъ отецъ, прижимая къ груди своей ту, которую онъ давно уже оплакалъ.

А Софья... о, въ эту минуту она была совершенно счастлива! Все прошедшее воскресло въ душѣ ея. Вотъ этотъ другой отецъ, который мечтался ей иногда какъ будто бы во снѣ—вотъ его родныя, милыя черты!.. Эти дѣтскія воспоминанія не мечта,—нѣтъ! Этотъ тайный шопотъ сердца не обманулъ ее: она не дочь Андрея Поморянина!

Я не стану описывать, или, вѣрнѣе сказать, я не могу описать вамъ, что чувствовали отецъ и дочь при этомъ неожиданномъ свиданіи. Какъ ни богатъ, какъ ни роскошенъ языкъ русскій, но онъ такъ же, какъ и всѣ языки земные, бѣденъ и мертвъ, когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ описать эту чистую, непорочную радость души, это тихое, неизъяснимое блаженство, которыя сближаютъ землю съ небесами; но тамъ они вѣчны, а здѣсь эта радость, это блаженство минутные гости. Тамъ Господь Богъ даетъ ихъ даромъ, а здѣсь почти всегда мы покупаемъ ихъ страданьемъ цѣлой жизни.

Когда первый восторгъ свиданья прошелъ, Буйносовъ обнялъ съ нѣжностію Левшина и назвалъ его своимъ милымъ сыномъ. Хозяинъ хотя и поморщился, однакожъ не сказалъ ни слова и пригласилъ всѣхъ въ самую обширную комнату своего дома. Тамъ былъ накрытъ столъ и дожидался священникъ. Послѣ молитвы, отецъ Егоръ надѣлъ на молодыхъ вѣнцы, которыми они вѣнчались въ церкви, а хозяинъ посадилъ ихъ рядомъ на кресла, обитыя богатою парчею. Передъ ними стоялъ, по обычаю нашихъ предковъ, огромный свадебный коровай, начиненный всякими сластями. По правую руку Левшина, Юрій Максимовичъ посадилъ священника, Буйносовъ сѣлъ рядомъ съ дочерью, а подлѣ него помѣстился хозяинъ. За креслами *князя* и *княгини*—такъ называли въ старину всѣхъ молодыхъ—стоялъ, свѣтлый какъ мѣдный грошъ, нашъ давнишній знакомецъ Феропонтъ. Онъ не могъ наглядѣться на своихъ молодыхъ господъ, перемигивался съ Дарьей, которая, вмѣстѣ съ другими сѣнными женщинами, выглядывала изъ за двери, и ухмылялся повременамъ такъ выразительно, что шутъ Гришка отвелъ его послѣ обѣда къ сторонѣ и сказалъ:

— Ну, братъ Феропонтъ, какія ты рожи корчилъ за столомъ!.. Нечего сказать—мастерища!.. Выучи меня пожалуйста, голубчикъ!

Когда хозяинъ выпилъ нѣсколько кубковъ знаменитаго угорскаго винца за здоровье своего друга, Кириллы Андревича и дѣтокъ его, то сталъ немного повеселѣе.

— А вѣдь надо сказать правду,—молвилъ онъ, толкнувъ локтемъ Буйносова:—любо на молодыхъ то посмотрѣть—парочка! Хороша твоя дочка, другъ сердечный, да и Дмитрій Афанасьичъ—экій писанный красавецъ!... Эхъ, жаль! не служи только этакій молодецъ въ стрѣлецкомъ войскѣ...

— Да онъ ужь въ немъ не служитъ, — прервалъ Буйносовъ.

— Какъ?

— Да, онъ приписанъ къ царской охотѣ. Государь Иванъ Алексѣичъ изволилъ мнѣ обѣщать пожаловать его въ свои начальные сокольники.

— Прямо въ начальные сокольники?... Ну, это полегче!.. А все, любезный, хоть дойди онъ до чина старшаго подсокольничьяго, такъ и тутъ станутъ говорить: «Что, дескать, онъ ходитъ такимъ козыремъ—оглянулся бы назадъ!.. Теперь, дескать, онъ шапку то заломалъ, а напрежь сего не великъ былъ человѣкъ. Служилъ-де въ стрѣльцахъ, и батюшка его былъ стрѣлецкимъ головою».

— Да полно объ этомъ толковать!—сказалъ Буйносовъ.— Эхъ, братъ Юрій Максимовичъ! зажился ты въ своихъ Брынскихъ лѣсахъ!.. Пора тебѣ пріѣхать въ Москву провѣтриться. Тамъ ужь не объ этомъ рѣчь идетъ. У государя Петра Алексѣевича пображиваютъ въ головушкѣ свои замыслы. У него только тотъ и бояринъ, кто по боярски служитъ, сирѣчь не жалѣя живота своего! А лежебоковъ то онъ не очень жалуетъ—не прогнѣвайся.

— Послужили и мы!—сказалъ Курodавлевъ.—И если бъ меня не обидѣли...

— Обидѣли?.. Вотъ то-то и есть!.. Да погоди, любезный, дай только подрасти государю Петру Алексѣевичу: у него бояре мѣстами считаться не станутъ.

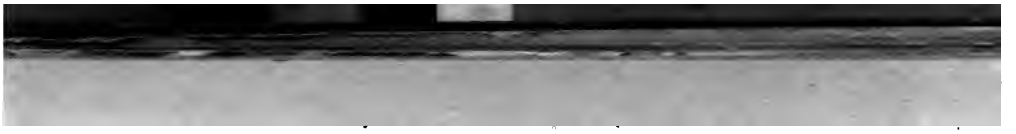
— Право?.. Да вѣдь батюшка то его, царь Алексѣй Михайловичъ, не глупѣй его былъ, а въ наши боярскія дѣла не вступался...

— А этотъ вступится!.. Вотъ попомни мое слово; повернетъ онъ все по своему.

— Что ты говоришь?.. Да не дай Господи дожить до этого!

— А врядъ ли не доживемъ,—прошепталъ бояринъ Буйносовъ, принимаясь за новый кубокъ угорскаго вина.

КОНЕЦЪ.



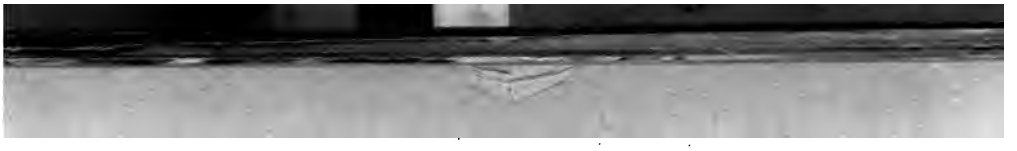
РУССКІЕ

ВЪ НАЧАЛѢ ОСЬМНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ.

РАЗСКАЗЪ

ИЗЪ ВРЕМЕНЪ ЕДИНОДЕРЖАВІЯ

ПЕТРА ПЕРВАГО



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I

Прежде чѣмъ я приступлю къ разсказу, мнѣ должно поговорить съ моими читателями о положеніи, въ которомъ находилась Россія въ эпоху, избранную мною для этой повѣсти.

Послѣдній стрѣлецкій бунтъ, вспыхнувшій во время отсутствія Царя Петра Алексѣевича, имѣлъ самыя гибельныя послѣдствія для этого своевольнаго и мятежнаго войска: главные зачинщики и участники мятежа были казнены, а остальные сосланы въ Сибирь, разселены по отдаленнымъ городамъ, и стрѣлецкая рать, нѣкогда знаменитая, исчезла навсегда съ лица земли Русской. Вмѣстѣ съ прекращеніемъ политическаго существованія этихъ русскихъ янычаръ, уничтожилось и пагубное вліяніе на умы властолюбивой царевны Софьи Алексѣевны. Шведскій король Карлъ XII, разбитый на голову близъ Полтавы, едва могъ спастись отъ плѣна, убѣжавъ въ пограничный городъ Бендеры. Вся армія его была истреблена, и на берегахъ Невы, нашимъ рабочимъ людямъ помогали шведскіе солдаты сооружать, на ихъ же собственной землѣ, вторую столицу царства Русскаго. Рига, Ревель и вся Лифляндія признавали надъ собой верховную власть Государя Петра Алексѣевича; Польша, исполняя его волю, призвала снова на царство изгнаннаго ею короля Августа II-го. Предатель Мазепа убѣжалъ съ

Карломъ XII-мъ въ Бендеры; почти всѣ малороссійскіе православные казаки отступились отъ своего, опозореннаго измѣною и заклейменнаго церковнымъ проклятіемъ, гетмана. Однимъ словомъ, изъ всѣхъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ Россіи, вредящихъ ея возвышенію, устройству и возрастающей силѣ, оставался одинъ только врагъ, но самый упорный Этотъ врагъ была почти общая, безотчетная привязанность русскихъ ко всѣмъ древнимъ обычаямъ и предразсудкамъ старины. Слѣдствіемъ этой слѣпой привязанности были: неподвижность, презрѣніе ко всему иноземному, невѣжественная спѣсь и закоренѣлое упрямство, всегда враждебное всѣмъ перемѣнамъ и улучшеніямъ, если они хотя нѣсколько противорѣчатъ существующимъ обычаямъ, иногда совершенно нелѣпымъ, но которые обыкновенно оправдываются извѣстнымъ изреченіемъ: «такъ, дескать, искони важывалось—въ старину бывало; а стариковъ умнѣй не будешь». Одна самодержавная воля великаго Петра могла осилить этого послѣдняга врага и заставить русскихъ, хотя не хотя, а все-таки перешагнуть черезъ завѣтный рубежъ, который отдѣлялъ ихъ такъ долго отъ всѣхъ другихъ народовъ Европы. Все покорилось этой могучей, непреклонной волѣ; она возбуждала иногда боязливый ропотъ спесивыхъ бояръ, упрямыхъ гражданъ, суевѣрной черни; но давно уже не встрѣчала нигдѣ явнаго сопротивленія. Люди, приверженные къ стариннымъ обычаямъ, отстаивали ихъ съ жаромъ въ своихъ семейныхъ кругахъ—осуждали шопотомъ указы царскіе, возставали втихомолку противъ разныхъ нововведеній, называли ихъ богопротивными; но никто не смѣлъ говорить объ этомъ вслухъ; времена мятежей прошли; Петръ Алексѣевичъ былъ уже не вторымъ Царемъ Русскимъ, а Государемъ единодержавнымъ; не юношей неопытнымъ, но знаменитымъ побѣдителемъ Карла XII-го — этого вѣнчаннаго богатыря, передъ которымъ нѣкогда трепетала вся Европа. Несмотря однакожъ на это, повидимому, спокойное состояніе Россіи, нельзя было не замѣтить, что въ ней происходило что то необычайное: этотъ домашній ропотъ, который тихо разливался въ народѣ; это тревожное ожиданіе какихъ то новыхъ и небывалыхъ перемѣнъ волновало всѣ умы, и даже люди дальновидные и умные, начинавшіе уже понимать, чего желаетъ Государь Петръ Алексѣевичъ, шептали про себя, покачивая головами: «Дѣло то дѣло, да крутенько онъ, батюшка нашъ,

за него принимается». И надобно сказать правду: мы едва ли можемъ осуждать многихъ изъ современниковъ Петра Великаго за то, что они, если не дѣломъ, такъ мыслью, грѣшили, осуждая непонятныя для нихъ дѣйствія этого необъятнаго, всеобъемлющаго генія, котораго и мы, вкусившіе уже отъ плодовъ имъ посѣянныхъ, не можемъ еще вполнѣ оцѣнить.

Въ 1711 году, въ одну темную февральскую ночь, шагихъ въ двухстахъ отъ серпуховской дороги, въ богатомъ и большомъ селѣ Вздвиженскомъ, свѣтился огонекъ; его трудно было замѣтить проѣзжимъ людямъ, потому что погода была бурная, снѣгъ валилъ хлопьями и сильный вѣтеръ съ метелицею бушевалъ въ чистомъ полѣ. Этотъ огонекъ свѣтился въ бревенчатомъ, крытомъ соломою, господскомъ домѣ, въ которомъ жилъ помѣщикъ или, вѣрнѣе сказать, *отченникъ* села Вздвиженскаго, окольничій Максимъ Петровичъ Прокудинъ. Чтобъ провести какъ нибудь время до ужина, Максимъ Петровичъ, пріютясь въ самомъ теплomъ покоѣ своихъ барскихъ хоромъ, изволилъ забавляться въ шашки съ любимымъ своимъ челядинцемъ и дворецкимъ Прокофьемъ Кулагою. Максимъ Петровичъ сидѣлъ въ обитыхъ кожею широкихъ и спокойныхъ креслахъ; дворецкій лѣпился кое-какъ на узенькой скамеечкѣ. Баринъ былъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, дородный и видный собою, довольно пріятной наружности, съ окладистою темнорусою бородою, которая, впрочемъ, начинала уже мѣстами серебриться. Онъ былъ одѣтъ по домашнему, въ цвѣтной шелковой рубашкѣ съ косымъ воротомъ и покрытомъ узорчатою камкою калмыцкомъ тулупѣ, на распашку. Дворецкій былъ также человѣкъ немолодой, съ широкимъ рябымъ лицомъ, рѣденькою бородкою и огромнымъ краснымъ носомъ. Сверхъ суконнаго кафтана съ козыремъ, на немъ надѣта была затасканная шелковая ферязь, съ оборванными петлицами, которую онъ только что удостоился получить съ барскаго плеча за свою усердную и вѣрную службу. У дверей покоя дремалъ, прислонясь къ стѣнѣ, длинный, неуклюжій дѣтина въ смуромъ кафтанѣ; онъ держалъ въ рукѣ жестяные щипцы, въ родѣ тѣхъ, которые и теперь еще употребляются по церквамъ; слѣдовательно, не трудно было отга-

дать, что главное занятіе этого парня состояло въ томъ, чтобъ снимать съ двухъ сальныхъ огарковъ, которыми освѣщалась вся комната.

— Ну чтожъ ты, Кулага? — сказалъ Максимъ Петровичъ, взглянувъ съ довольнымъ видомъ на своего дворецкаго. — Или пришло въ тупикъ, что некуда ступить? Да полно, братецъ, — ходи какъ-нибудь!

— А вотъ пойдемъ, батюшка, — промолвилъ дворецкій, подвигая впередъ шашку.

— Такъ ты вотъ какъ... хорошо!... А мы вотъ этакъ!.. Что, братъ, опять призадумался?

— Призадумаешься, батюшка, — прошепталъ Прокофій, почесывая затылокъ: дѣло то плоховато!... Вишь она куда, озорница, — въ доведи лѣзетъ!... Нечего дѣлать, пойду такъ.

— А я такъ... Фу, батюшки! — промолвилъ Максимъ Петровичъ, посматривая на окна: — что это на дворѣ то?... Господи Боже мой!

— Да, сударь, разыгралась погодка!

— То-то, чай, теперь въ полѣ свѣту представленье: и снѣгъ и метель; а морозъ то самъ по себѣ... Ну чтожъ ты, пошелъ что ль?

— Пошелъ, батюшка.

— И я пошелъ... Чу, слышишь, какъ воетъ вѣтеръ? .. Охъ, дорожнымъ то людямъ теперь... помилуй Господи!

— Истинно такъ, батюшка Максимъ Петровичъ, — бѣдовое дѣло!... Собьешься съ дороги, заѣдешь въ сугробъ, да коли одеженка то плохая, такъ читай себѣ отходную... Изволилъ ступить?

— Ступилъ.

— А коли ступилъ, такъ, не погнѣвайся, батюшка, — фукъ!...

— Какъ такъ?... Постой, постой!... За что ты взялъ мою шашку?...

— Не взялъ, сударь, а фукнулъ.

— За что?

— А за то, чтобъ она брала, коли ей приходится брать. Вотъ я двинулъ сюда мою шашку, а твоя стояла здѣсь, — такъ ей приходилось брать назадъ.

— Такъ, такъ!... Ну, нечего дѣлать, — прозѣвалъ!... А игра то была какая богатая!... Да постой, любезный! Хоть ты у меня и фукнулъ шашку, а я все-таки прежде твоего въ доведяхъ буду... Вотъ мы этакъ... Пошла!

— А мы, сударь, вотъ эту тронемъ.

— Трогай себѣ, трогай... а ужь на выручку не поспѣешь... Пошла дура!

— Изволилъ ступить?

— Ступилъ, братецъ!

— Такъ не прогнѣвайся, батюшка,—фукъ!

— Какъ?... Еще?... Тьфу ты пропасть какая!... Да что это у меня глаза то въ затылкѣ что ль?... Нѣтъ, не могу играть, не то въ головѣ... Степка!... Смотри-ка, Прокофій, смотри: стоя спитъ!... Эй ты, болванъ!

Дѣтина, который дремалъ, прислонясь къ стѣнѣ, вздрогнулъ и кинулся, какъ шальной, къ столу, чтобъ снять со свѣчей.

— Тише ты, дурачина! — закричалъ Максимъ Петровичъ.—Что ты бѣльмы то выпучилъ, да лѣзешь словно угорѣлый какой!... Полно, полно... погасишь!... Ну, такъ и есть!... Эка уродина, подумаешь... а ужь борода ростетъ!

— Да что ему борода, батюшка, — прервалъ дворецкій, у него борода то выросла, да ума не вынесла. Я ужь тебѣ докладывалъ: что его держать во дворѣ, онъ и въ пастухи то наврядъ годится.

— Эхъ, Прокофій, стыдно, братъ!... Ну, кто говоритъ: сына не за что и хлѣбомъ кормить, да отецъ то служилъ мнѣ тридцать лѣтъ вѣрою и правдою... Эй ты, простофиля, пойди, скажи... Да нѣтъ, — переврешь, дуракъ!... Пошли Андрюшку.

Черезъ полминуты вошелъ въ комнату здоровый и рослый дѣтина лѣтъ тридцати; все платье его было въ снѣгу.

— Что ты это, братецъ? — спросилъ Максимъ Петровичъ.—Иль валялся по снѣгу?

— Никакъ нѣтъ, — отвѣчалъ слуга:—я ходилъ сейчасъ на погребъ.

— И тебя этакъ занесло?... Ну, видно погодка!

— Не приведи Господи, батюшка: и снизу и сверху мететъ.

— Темно?

— Зги Божьей не видно.

— И холодно?

— Холодновато, батюшка,—сильно морозитъ.

— Ну, худо дѣло!... Отъ нашего села вплоть до самаго Шарапова вовсе жилья нѣтъ.

— Да, Максимъ Петровичъ, по большой дорогѣ нѣтъ.

— Вотъ то-то и дѣло: долго ли до грѣха! Вѣдь на прошлой недѣлѣ подняли же проѣзжаго мужичка, — замерзъ, бѣдняга; и добро бы еще въ полѣ, а то у насъ на задахъ. Послушай, Андрюшка, возьми съ собою кого-нибудь, ступайте за околицу, да поближе къ большой дорогѣ разведите огонь.

— Слушаю, батюшка!... Только вѣтеръ то больно силенъ...

— И, полно, братецъ!... Вязанки двѣ сухихъ березовыхъ дровъ, да лучины побольше... а огонь донесете въ фонарѣ... Ступай!... Этакъ будетъ лучше, — продолжалъ Максимъ Петровичъ:—на огонекъ то всякій поѣдетъ.

— Да, сударь, — сказалъ дворецкій,—коли лошадки не вовсе еще изъ мочи выбились. Чай, теперь и большую дорогу занесло сугробами, такъ цѣликомъ то далеко не уѣдешь. И то сказать: кого нелегкая понесетъ въ такую непогодь; вѣдь метель то началась еще засвѣтло.

— Ну, Прокофій, не говори! русскій человѣкъ на томъ стоитъ,—ему все трынъ-трава! Куда нѣмецъ носа не покажетъ, а онъ туда ломитъ себѣ на удалую: авось, дескать, проѣду—Господь пронесетъ!

— Да, сударь, что правда, то правда. И я, бывало, въ старину хаживалъ чрезъ Оку по вешнему льду; изъ подъ ногъ вода брызжетъ, а тебѣ и горюшка мало. Что, дескать, въ самомъ дѣлѣ: двухъ смертей не бывать!.. Чтожъ, батюшка: вѣдь мы еще игру то не кончили, — прикажешь?

— Нѣтъ, Прокофій, будетъ: ужь я тебѣ говорилъ: не то на умѣ.

— Ну, какъ изволишь!—сказалъ дворецкій, вставая.—Да не погнѣвайся, батюшка,—промолвилъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—дозволь спросить: что это тебя такъ тревожитъ?... Вотъ ты другой день все какъ будто бы задумываешься... Или эта грамотка, что прислалъ къ тебѣ вчера съ ходокомъ изъ Москвы пріятель твой Лаврентій Никитичъ Рокотовъ...

— Да,—прервалъ Максимъ Петровичъ,—хорошія получилъ я отъ него вѣсточки,—есть чему порадоваться!...

— А что такое, батюшка?

— Худо, братъ Прокофій, больно худо!... Мы здѣсь живемъ въ глуши, у насъ все попрежнему: тишь да гладь, да Божья благодать. А кабы ты зналъ, что на Москвѣ то дѣлается...

— А что, сударь?... Неужели опять стрѣльцы завозились.

— Вотъ до глухого вѣсти дошли—стрѣльцы!... Да объ этихъ мятежникахъ давно и рѣчи нѣтъ. Мы и прежняго то срама не переживемъ... Помилуй, братецъ, кто нынче станетъ бунтовать противъ помазанника Божія?...

— Такъ чтожъ, батюшка? Ужь не шведъ ли опять поднялся на святую Русь?

— Куда ему!... И король то ихъ безъ вѣсти пропалъ; говорятъ, въ плѣну у турскаго салтана.

— Такъ все ли здорово на Москвѣ?... Не моръ ли, батюшка?...

— Что моръ: Господь казнитъ, Господь и помилуетъ; а а тамъ, глядишь, опять пойдутъ времена благодатныя.

— Да чтожъ такое, сударь?...

— А вотъ что, любезный,—продолжалъ Максимъ Петровичъ, понизивъ голосъ.—Мнѣ пишетъ Лаврентій Никитичъ, что нашъ православный Государь... охъ, страшно вымолвить!... Нашъ батюшка Царь Петръ Алексѣичъ... совсѣмъ онѣмечился.

— Что ты говоришь, батюшка!—вскричалъ Прокофій.— Съ нами сила крестная!... Да какъ это можетъ быть?

— Да, любезный! Онъ такія дѣла затѣваетъ, что не приведи Господи!... Хочетъ, чтобъ мы перенимали все у нѣмцевъ.

— У нѣмцевъ?... Вотъ еще!... Что намъ у этихъ еретиковъ перенимать!... Да давно ли этихъ поскудныхъ нѣмцевъ и въ царскихъ то указахъ позорнымъ именемъ называли?...

— Вотъ то то и есть!... А теперь посылаютъ боярскихъ дѣтей въ еретичнія земли учиться нѣмецкимъ обычаямъ, хотятъ насъ нарядить въ разнополые нѣмецкіе кафтаны... обрить бороды...

— Обрить бороды!— воскликнулъ Прокофій. Нѣтъ, батюшка, ужь этого то никакъ нельзя! Вѣдь мы православные, а не басурманы какіе!

— Ну вотъ поди ты!..

— Да я хоть сейчасъ голову на плаху!... Господи Боже мой, и что это нашему батюшкѣ Петру Алексѣевичу дались эти нѣмцы?... Что они, обошли что-ль его?

— Эхъ, Прокофій: лиха бѣда поддаться демонской прелести, а тамъ все пойдетъ какъ по маслу! Вотъ кабы Госу-

дарь не изволилъ ѣздить за море, такъ ничего бы не было, все осталось бы попрежнему; а теперь, какъ онъ набрался нѣмецкаго духу, такъ и слышать ничего не хочетъ. Да ужь пускай бы помаленьку, не торопясь,—мы бы, старики, свой вѣкъ отжили, а тамъ что Богъ велитъ!... Ну, можетъ статься, и въ самомъ дѣлѣ есть что перенять у нѣмцевъ... Вотъ, примѣромъ сказать, хитрость ратную, корабельное плаваніе—то, другое; да это бы полегоньку, исподволь... а то вынь да положь!... Вчера нашъ братъ, русскій, и якшаться съ нѣмцемъ не хотѣлъ, а сегодня ступай къ нему подъ началъ... Ну, да что объ этомъ: выше лба уши не растутъ. И кабы мнѣ не было надобности ѣхать въ Москву, такъ я бы рукой махнулъ...

— А развѣ ты, батюшка, въ Москву собираешься?...

— Чтожъ дѣлать, братецъ: и не хочешь, да ѣдешь. Ты знаешь, что я мою племянницу, Ольгу, люблю какъ дочь родную.

— Какъ не знать, батюшка!... Да и кого же тебѣ любить? Она сиротка, выросла на твоихъ рукахъ, а у тебя отъ покойной твоей сожительницы дѣтокъ не осталось. Да вѣдь ты изволилъ говорить, что Ольга Дмитріевна по веснѣ сама къ намъ сюда пожалуетъ.

— Нѣтъ, братъ, до весны то далеко, а я теперь ее въ Москвѣ у моей дуры сестры ни за что не оставлю. То то бабы то, подумаешь! Подлинно правда, что у нихъ волосъ дологъ, да умъ коротокъ. «Отпусти, дескать, батюшка братецъ, племянницу ко мнѣ погостить: вѣдь она у тебя живетъ въ захолустьѣ, свѣту Божьяго не видитъ!» Вотъ тебѣ и отпустилъ.

— Такъ чтожъ, сударь?... Вѣдь сестрица твоя Аграфена Петровна...

— Да, была когда то баба путная—русская барыня; а теперь хуже всякой нѣмки стала.

— Какъ такъ?

— А вотъ достань-ка тамъ за образами грамотку Лаврентія Никитича,—я тебѣ прочту, что онъ о ней пишетъ.

Прокофій вынулъ изъ за образовъ довольно толстый свитокъ и подалъ его своему господину.

— Сначала-то,—сказалъ Максимъ Петровичъ, развертывая длинный столбецъ,—Лаврентій Никитичъ пишетъ ко мнѣ о пріѣздѣ Государя Петра Алексѣевича въ Москву, о новыхъ указахъ царскихъ, о посылкѣ дворянскихъ дѣтей

въ Нѣметчину, о шутовскомъ нѣмецкомъ нарядѣ; а вотъ здѣсь... нѣтъ... это онъ пишетъ о своей меньшой дочери... вотъ что: «Крестница твоя, Максимъ Петровичъ, Катюшка, премного тебѣ челомъ бьетъ и твоего отеческаго благословенья проситъ. Она будетъ у насъ большая грамотница: доучиваетъ теперь заутреню; а напрежъ сего училъ Катюшку Макарка, нашъ приходскій пономарь, и онъ, кутейникъ, меня обманывалъ: не доуча заутрени, часы началъ учить. А нынѣ учитъ Катюшку Успенскаго собора псаломщикъ Григорій, и я ученьемъ его зѣло доволенъ. Еще-жъ, другъ сердечный, хотя мнѣ весьма прискорбно говорить тебѣ объ этомъ, а дѣлать нечего, долженъ сказать: сестрица твоя Аграфена Петровна и племянница Ольга Дмитріевна свели дружбу съ Ягужинскими, а тѣ ихъ вовсе съ толку сбили и теперь о нихъ—не при тебѣ будь слово сказано—идутъ такія непригожія рѣчи, что всѣ наши и знаться съ ними не хотятъ. Онѣ изволятъ щеголять въ какихъ то заморскихъ фуро, повадились ѣздить въ Нѣмецкую слободу, и даже говорятъ, что будто бы дошли до такого окаянства, что на прошлой недѣлѣ въ нѣмецкой киркѣ были»... Что, братъ Прокофій, каково?

— Въ нѣмецкой киркѣ?!—повторилъ Прокофій, всплеснувъ руками.

— Слушай, слушай!—продолжалъ Максимъ Петровичъ.—«Сестрица твоя—и это я доподлинно знаю — наняла двухъ нѣмчинъ; у одного твоя племянница обучается разнымъ еретичнымъ наукамъ и басурманскимъ нарѣчіямъ, а другой учитъ ее играть на какихъ то кравироцымбалдахъ— сирѣчь заморскихъ гусляхъ»... Что, братъ Прокофій—а?... Вишь нашли какую гуслистку!.. Да слушай, слушай,—то ли еще будетъ!... «Еще жъ скажу тебѣ, другъ сердечный, что у насъ завелись въ Москвѣ бѣсовскія сходбища, они прозываются асамблеями. Чаще всего бываютъ эти асамблеи въ Нѣмецкой слободѣ у голландскаго купца Гутфеля. Вотъ съѣдутся къ нему и наша братья, дворяне, съ женами и дочерьми и всякая нѣмецкая сволочь. И тутъ ужь, любезный, не жди себѣ никакого почета: что знатная барыня, что нѣмецкая купчиха—все едино; сядутъ онѣ всѣ рядышкомъ, а этотъ чортовъ сынъ, Гутфель, какъ бояринъ какой, учнетъ похаживать, да потчевать сластями нашихъ барышень и своихъ нѣмокъ; а тамъ, какъ сберется ихъ побольше, затрубятъ въ трубы, заиграютъ на фіоляхъ, молодые ребята-

офицерики и нѣмцы всякіе подлетятъ къ барышнямъ, разберутъ ихъ по рукамъ и пойдутъ пляски! Начнется всякое требѣсіе, шумъ, гамъ, веселье;—ну, ни дать, ни взять, Содомъ и Гоморра въ лицахъ. А дураки то отцы и мужья, какъ будто бы не ихъ дѣло, заберутся въ особый покой, читаютъ куранты, играютъ въ шахматы, тянуть пиво, да вмѣстѣ со старыми нѣмцами табачище жрутъ. И по этимъ то сатанинскимъ игрищамъ Аграфена Петровна изволила всю зиму таскаться съ твоею племянницей, которая, слышалъ я стороною, познакомилась тамъ съ какимъ то гвардейскимъ фенрикомъ,—сирѣчь прапорщикомъ, и, говорятъ, будто бы этотъ фенрикъ очень за нею ухаживалъ». Ухаживалъ!... Слышишь, Кулага?

— Слышу, батюшка.

— Ну что, братъ,—продолжалъ Максимъ Петровичъ, переставъ читать,—ѣхать ли мнѣ въ Москву?

— Какъ не ѣхать, батюшка! Вѣдь надобно же нашу барышню выручить изъ этого омута. И что это съ государыней Аграфеной Петровной сдѣлалось?

— Воля, братецъ!... Кути себѣ, какъ хочешь: мужъ на службѣ царской въ Азовѣ, Богъ вѣсть, когда назадъ вернется. Правда, и онъ хорошъ!... Чай, радехонекъ, что жена его подружилась съ Ягужинскими: «Теперь, дескать, у меня рука есть!»

— А я такъ, батюшка, очнуться не могу. Эко непотребство, подумаешь!... Какой-нибудь нѣмчура, чумичка проклятый,—чай, у себя дома то булки пекъ, а теперь съ боярскою дочерью, съ племянницею твоею, изволитъ поплясывать!... Нахали этакіе!... Какъ ходу то имъ не было, такъ, небось, были тише воды, ниже травы; а какъ посадили ихъ за столъ, такъ они и ноги на столъ.

— Постой ка, постой, Прокофій!—прервалъ Максимъ Петровичъ, вставая.—Чу! .. Слышишь?... Никакъ ворота заскрипѣли?...

— Да, сударь,—сказалъ дворецкій, подойдя къ окну, кажись, кто то въѣхалъ во дворъ.

— Кого это Господь даетъ?... Ступай ка, Прокофій, провѣдай. Коли пріятель—милости просимъ, коли проѣзжій—также добро пожаловать! Вели перемѣнить свѣчи, водки приготовь, да проворнѣй сварить сбитню съ имбиремъ, чтобъ проѣзжимъ то людямъ было чѣмъ душу отвести. Чай они, голубчики, больно прозябли.

— Все будетъ готово, батюшка.

Хозяинъ, оставшись одинъ, свернулъ бережно длинный столбецъ, положилъ его за образа, пооправился, запахнулъ тулупъ, пригладилъ бороду и усѣлся опять въ свои широкія кожаныя кресла.

II.

— Спустя нѣсколько минутъ, дворецкій возвратился, неся въ рукахъ пару рѣзныхъ желѣзныхъ подсвѣчниковъ, въ которые вставлены были цѣльныя сальныя свѣчи.

— Ну, что?—спросилъ Максимъ Петровичъ.

— Пріѣзжій, батюшка, военный и, кажись, начальный человѣкъ.

— Одинъ?

— Нѣтъ, сударь. При немъ служивый,—видно, деньщикъ.

— Что, они очень продрогли?

— И Господи!... Насилу говорятъ. Служивые то люди туда и сюда, а ямщикъ еле живъ. Я велѣлъ втащить его въ людскія сѣни, да оттирать снѣгомъ: совсѣмъ окоченѣлъ, сердечный! Ну, сударь, надоумилъ тебя Господь! Кабы ты не изволилъ приказать развести огонь за околицею, такъ пить бы имъ горькую чашу.

— А что, развѣ проѣзжіе то на огонекъ къ нимъ выѣхали?

— Какъ же! Они съ дороги сбились, да плутали все по полю.

— Что, этотъ офицеръ парень молодой?

— Да, батюшка: ему, чай, и тридцати годковъ не будетъ.

— Ну чтожъ, зови его сюда.

— Просилъ пообождать. Я, дескать, поразомнусь и отогрѣюсь немного, а то языкъ не шевелится.

— Ты провѣдалъ, кто онъ таковъ?

— Спрашивалъ у служиваго: Василій Михайловичъ Симскій, прапорщикъ Преображенскаго полка; такой красивый собою, ловкій дѣтина, и по всему видно, не изъ потѣшныхъ какихъ, а роду хорошаго. Сейчасъ спросилъ, какъ зовутъ тебя по имени и по отчеству.

— Вотъ что!... Симскій... Мнѣ что то сдается... самъ что ль я знаваль или слыхалъ о какихъ то Симскихъ,—не

помню хорошенько. Ступай, Прокофій, скажи, чтобъ ему изготовили постель въ передбанникѣ. Покои то въ домѣ красивѣе, да въ нихъ холодненько. Деньщика сведи въ людскую; коли пьетъ, такъ поднеси ему добрую красаулю вина, а коли нѣтъ, такъ, напоить сбитнемъ, а тамъ, чѣмъ Богъ послалъ.

— Будетъ сытъ, батюшка.

— Ямщика также, какъ онъ совсѣмъ оттаетъ, напойте, накормите и спать положите; а лошадокъ его вели убрать Парфену, да чтобы задалъ имъ побольше овсеца. Ну, ступай, и коли пріѣзжій офицеръ пообогрѣлся, проси его сюда.

— Слушаю, сударь... Да вотъ никакъ онъ и самъ изволитъ идти.

Долговязый Степка растворилъ дверь, и въ комнату вошелъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти. Этотъ проѣзжій былъ дѣйствительно замѣчательной наружности. Несмотря на багровый цвѣтъ его лица, которое горѣло отъ мороза, нельзя было не назвать его красавцемъ. Его черные глаза блистали умомъ и веселостію, а длинные шелковистые волосы разстилались крупными кудрями по широкимъ плечамъ. На немъ былъ мундиръ темнозеленаго цвѣта, весьма похожій на нынѣшніе короткіе однобортные сюртуки, съ тою только разницею, что онъ былъ безъ воротника, на груди не сходился, и что у него спереди на фалдахъ были большіе клапаны, вырѣзанные по краямъ городками, а на рукавахъ широкіе разрѣзные обшлага. Этотъ мундиръ былъ съ мѣдными золочеными пуговицами; подъ нимъ суконный камзолъ и нижнее платье, также темнозеленые. На шеѣ бѣлый холстинный галстукъ съ висячими концами, а на ногахъ высокіе, по самое колѣно, сапоги съ небольшими раструбами. Все украшеніе этого, не слишкомъ затѣйливаго, наряда состояло въ томъ, что мундиръ, камзолъ, клапаны и обшлага обшиты были по борту золотымъ галуномъ, пальца въ полтора шириною.

Максимъ Петровичъ всталъ.

— Милости просимъ, Василій Михайловичъ!— сказалъ онъ, идя навстрѣчу къ своему гостю. Эй, Степка, стулъ!

— Зѣло благодарствую вамъ, высокопочтеннѣйшій Максимъ Петровичъ,—промолвилъ офицеръ, кланяясь хозяину,— что вы меня, страннаго человѣка, изволили укрыть отъ холода и непогоды.

— Помилуй, батюшка, да за это нечего и спасибо сказать. Просимъ садиться.

— Всепокорнѣйше благодарю!

— Да зачѣмъ же на скамейкѣ? Вотъ стулъ.

— Все равно, Максимъ Петровичъ. Нижайше прошу васъ, не извольте себѣ чинить, ради меня, никакой турбаціи.

— Турбаціи!—повторилъ про себя Максимъ Петровичъ, взглянувъ съ удивленіемъ на офицера. Ну что, Василій Михайловичъ,—продолжалъ онъ,—поотогрѣлся ли ты? Вѣдь погода то не приведи Господи!

— Истину изволите говорить: совершеннѣйшее подобіе морского штурма, или, паче сказать, смятеніе всѣхъ элементовъ.

— А по нашему просто метель. Дозволь спросить: откуда путь держишь?

— Изъ Санктпетербурга. Ѣздилъ по указу начальства въ Смоленскъ и Калугу; теперь пробираюсь въ Москву.

— Такъ ты, сударь, не изъ здѣшней стороны?

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, прошу экскузовать! Я родомъ изъ Москвы, а служу теперь...

— Знаю, знаю: по нынѣшнему, въ царской гвардіи, а по старинному—въ опричникахъ.

— Не прогнѣвайтесь, Максимъ Петровичъ,—сказалъ офицеръ улыбаясь,—я противъ этого протестую. Опричня была при Государѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, а лейбъ-гвардія учреждена Государемъ Петромъ Алексѣевичемъ по примѣру всѣхъ царствующихъ потентатовъ.

— Потентатовъ! — прошепталъ опять про себя Максимъ Петровичъ, нахмуривъ брови.—Такъ ты, Василій Михайловичъ, — молвилъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени, — недавно изъ этого... какъ, бишь, вы его зовете?... Санкъ-санкъ... Не прогнѣвайся, молодецъ, я по нѣмецкому то не горазлъ. Ну вотъ изъ этого бурха то...

— Изъ Санктпетербурга. Я выѣхалъ оттуда на прошлой недѣлѣ.

— Ну, что у васъ тамъ подѣлывается?

— Мало ли что: строятъ всякія зданія, проводятъ каналы...

— И все идетъ успѣшно?

— Да, Максимъ Петровичъ! По истинѣ, доложу вамъ:

Санктпетербургъ, яко нѣкій парадисъ, процвѣтаетъ, и на подобіе преизряднаго младенца, каждодневно возрастая, всякими инвенціями украшается.

— Не осуди меня, старика,—прервалъ Прокудинъ:—ты, молодецъ, изволишь такія мудреныя рѣчи проговаривать, что я тебя и въ толкъ не возьму. Ну вотъ, примѣромъ сказать, уподобляешь ты вновь созидаемый градъ какому то парадису,—а что такое парадисъ?

— Парадисъ? Это иноземное слово; оно соотвѣтствуетъ нашему слову: земной рай.

— Вотъ что! Такъ на чтожъ ты, говоря съ русскимъ человѣкомъ, называешь земной рай по нѣмецки?

— Привычка, Максимъ Петровичъ. У насъ въ Санктпетербургѣ всѣ такъ говорятъ.

— Видно, подъ стать къ вашимъ нѣмецкимъ кафтанамъ. Послушай, Василій Михайловичъ: я человѣкъ старый, никакимъ заморскимъ хитростямъ не обучался, такъ нельзя ли тебѣ говорить со мною попросту?

— Прошу прощенья, Максимъ Петровичъ. Я мыслилъ...

— Что и мы деревенскіе также онѣмечились. Нѣтъ, батюшка, гдѣ намъ! Мы все такіе же неучи, какими были прежде. Ну скажи-ка мнѣ, Василій Михайловичъ, что у васъ тамъ строятъ!

— Царскій дворецъ, адмиралтейство, фортецію—сирѣчь крѣпость.

— Крѣпость! Чтожъ она сооружается на подобіе московскаго кремля?

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ. Эта крѣпость строится по заморскимъ чертежамъ, безъ башенъ, со многими бастіонами и болверкомъ—сирѣчь съ выступами и съ земляным раскатомъ.

— А что, обывательскіе то дома прибавляются?

— Словно грибы растутъ.

— Не диво! Вѣдь по царскому указу всѣ зажиточные дворяне должны тамъ строить дома. Вотъ и мнѣ на старости придется выстроить домишко; да только врядъ ли я въ немъ новоселье буду справлять. Приказано строить—построю; а живи въ немъ кто хочетъ.

— Напрасно, Максимъ Петровичъ. Почему жъ вамъ не пріѣхать, хоть недѣльки на двѣ, взглянуть на вашъ домъ, полюбоваться нашимъ Санктпетербургомъ?..

— Нѣтъ, батюшка! Коли я въ Москву не могу собраться, такъ поѣду ли къ вамъ, за тридевять земель въ тридесятое государство. Да и что мнѣ у васъ смотрѣть?

— Мало ли что? Вотъ, напримѣръ, вы побывали бы тамъ въ кунсткамерѣ...

— А что это, батюшка, такое?

— Это особый домъ, въ которомъ показываютъ всякія рѣдкости.

— А, знаю, знаю!... Еще недавно объявляли царскій указъ, чтобъ со всѣхъ сторонъ присылали туда всякихъ уродцевъ. Вотъ мнѣ сказывали: въ прошломъ мѣсяцѣ послали къ вамъ изъ Серпухова мертваго теленка о пяти ногахъ,—эка вещь!... Да я и живого то теленка о пяти ногахъ видѣть не хочу,—что тутъ за краса такая?...

— Ну, такъ посмотрѣли бы море.

— Море? Вотъ невидаль! Я съ молоду служилъ въ Астрахани воеводскимъ товарищемъ и видѣлъ море то почище вашего,—море Хвалынское!

— Поглядѣли бы, какъ иноземные гости къ вамъ на корабляхъ приходятъ.

— Иноземныхъ гостей и въ Москвѣ много, и кораблито мнѣ не въ диковинку. Покатался я вдоволь по морю Хвалынскому; вплоть до самаго Дербента ходилъ на парусахъ.

— Да это все не то, Максимъ Петровичъ! Что ваши волжскіе струга? Вы посмотрѣли бы на нашу гребную флотилію, галеры, осьмидесяти-пушечные корабли, покатались въ шлюпкѣ по Невѣ... Да что по Невѣ! У насъ такое обиліе водъ, что можно весь городъ объѣздить въ лодкѣ.

— А пѣшкомъ то ходить, видно, не приходится: въ болотѣ увязнешь.

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ: у насъ почитай всѣ большія улицы вымощены булыжникомъ.

— Не диво: городишка маленькій, рукъ много, а за булыжникомъ дѣло не станетъ. Мнѣ разсказывали, что у васъ поля то всѣ усыпаны голышами: ни пахать, ни косить нельзя. А что, молодецъ, правду ли мнѣ также говорили, будто бы въ вашей сторонѣ не русскій народъ живетъ, а какіе то латыши?

— Теперь и русскихъ много.

— Чтожъ, эти латыши по латыни что-ль говорятъ?

— Да, рѣчь у нихъ совсѣмъ иная.

— Ну, нечего сказать: далеконько же этотъ новый городокъ поотшатнулся, и я — не прогнѣвайся, Василій Михайловичъ — мыслю такъ, что ему никогда не бывать знатнымъ городомъ.

— Напрасно вы это изволите думать: Санктпетербургъ и теперь ужь городъ нарочитый, и коли онъ сдѣлается царскою резиденціею, сирѣчь столицею, такъ не диво, если и съ первопрестольнымъ градомъ поверстается...

— Съ Москвою?.. Экъ хватилъ!.. Нѣтъ, Василій Михайловичъ, далеко кулику до Петрова дня!.. Ну, можетъ статься, по времени, вашъ новый городишка будетъ не хуже города Архангельска; но чтобъ онъ съ Москвою когда поровнялся,—не моги этого и думать.

— Да вѣдь и Москва, Максимъ Петровичъ, не всегда была такая, какъ теперь.

— Москва!.. Москва-то, любезный, не что другое: она и великому Царьграду въ версту будетъ!.. Ее, нашу матушку, не три дня строили!.. Вишь скорохваты какіе! Тяпъ да ляпъ, — анъ и другая Москва готова. Нѣтъ, молодецъ, погоди!

Въ комнату вошли двое слугъ, одинъ съ серебрянымъ подносомъ, на которомъ стояли три полуштофика и двѣ позолоченыя чарки; другой съ закускою, то-есть съ хлѣбомъ, паюсною икрою и жирнымъ балыкомъ.

— Прошу покорно! — сказалъ хозяинъ.—Какой прикажешь? Вотъ травничекъ, зорная...

— Нижайше благодарю! — отвѣчалъ Симскій, кланяясь.

— Да выкушай, гость дорогой! А коли не хочешь ни травника, ни зорной, такъ милости просимъ отвѣдать вотъ этой... отличная анисовка!.. Говорятъ, нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ изволилъ ее жаловать, такъ вамъ, вѣрнымъ его слугамъ, непригоже отъ нея отказываться... Выкушай за его здоровье, и я съ тобой выпью чарочку.

Хозяинъ и гость налили себѣ по чаркѣ анисовой водки, выпили, стоя, за здоровье Царя Русскаго, закусили; потомъ, когда слуги вышли, Максимъ Петровичъ завелъ рѣчь о мундирѣ, въ которомъ былъ его гость.

— Чтожъ это, батюшка, — спросилъ онъ, — праздничный что ль это кафтанъ, или ужь вы всегда въ такихъ празументахъ ходите!

— У насъ нѣтъ другихъ мундировъ,—отвѣчалъ Симскій.

— Подумаешь: ну чѣмъ этоть нѣмецкій кафтанъ лучше нашего?.. Спереди вся грудь раскрыта, сзади затылокъ нечѣмъ прикрыть,—и коротенько и узенько!.. Сапоги выше колѣнъ..

— Да это по походному, — прервалъ Симскій, — а на стоянкѣ мы сапоговъ не носимъ.

— Право!.. Такъ въ чемъ же вы ходите?

— Въ башмакахъ и зеленыхъ чулкахъ.

— Чулкахъ?.. Лѣтомъ?

— И лѣтомъ и зимою.

— И зимою?.. Да какъ же это?.. Вѣдь русскій морозъ чулочки то не очень жалуетъ.

— Ничего, Максимъ Петровичъ. Ну, какъ больно холодно, можно поддѣть что-нибудь.

— Поддѣть?.. Вѣстимо, можно. Да на чтожъ людей то морочить? Я, дескать, и по морозу въ чулкахъ похаживаю! А глядишь: подъ чулками то онучи намотаны.

— Чтожъ дѣлать, Максимъ Петровичъ! Ужь коли за моремъ такъ одѣваются...

— За моремъ то, говорятъ, тепло, а у насъ холодно... Ахъ Ты, Господи Боже мой!.. Вотъ оно и впрямь выходитъ, что нѣмцы то насъ умнѣе. Русскій человѣкъ хоть замерзни, да одѣвайся по нѣмецки; а поди-ка уговори какого-нибудь нѣмца, чтобъ онъ надѣлъ нашъ полушубокъ, — какъ бы не такъ!.. Онъ тебѣ тотчасъ скажетъ: «Нѣтъ, братъ, спасибо: наша земля не ваша, у насъ въ русскомъ полушубкѣ то задохнешься!».. Ну, а на головахъ то что вы носите?.. Вотъ этакія шапки чтоль?..

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, это по дорожному, а на службѣ мы носимъ шляпы съ пригнутыми полями.

— А, знаю, знаю!.. У меня проѣздомъ былъ одинъ нѣмецкій купчина въ этакой шляпѣ; ни дать, ни взять— пирогъ безъ начинки. По морозцу въ ней не далеко уѣдешь! Хорошо еще, что вы теперь волосы отпускаете: все-таки есть чѣмъ уши прикрыть.

— А когда бываютъ парадные строи, такъ волосы то у насъ еще длиннѣе.

— Какъ такъ?

— Да, Максимъ Петровичъ: мы сверхъ своихъ волосъ надѣваемъ пудреные парики.

— Пудреные парики? Что это за вещь такая?

— Париками называютъ накладные волосы, а коли

они посыпаны пудрою, сирѣчь мукою, такъ ихъ зовутъ пудреными.

— Ну, хитро придумано!.. На свои родные волосы надѣвать чужіе, да еще мукой ихъ посыпать!..

— Такъ ужь вездѣ заведено, Максимъ Петровичъ.

— Вездѣ!.. Да пускай себѣ нѣмцы хотъ круглый годъ святки справляютъ, а намъ, православнымъ, грѣшно рядиться такими халдейцами и тратить понапрасну даръ Божій.

— Я вижу,—сказалъ улыбаясь Симскій,—что вамъ всѣ эти новинки не по сердцу.

Прокудинъ взглянулъ недовѣрчиво на своего гостя и повторилъ вполголоса.

— Не по сердцу... не то что не по сердцу... Коли такъ угодно нашему батюшкѣ Петру Алексѣевичу, такъ воля его царская, — мы всѣ рабы его: что прикажетъ, то и дѣлаемъ... а это такъ между словъ скажешь иногда... Человѣкъ же есть: посумнишься, подумаешь...что, дескать, ради чего это, на какую потребу?.. Да вотъ хоть, примѣромъ сказать, поговариваютъ, будто бы не токмо вамъ, людямъ ратнымъ, но и всѣмъ православнымъ указано будетъ бороды брить и носить нѣмецкое платье. Но будь же милостивъ—скажи мнѣ, ради чего это?

— А вотъ ради чего, Максимъ Петровичъ: Государю Петру Алексѣевичу желательно, что бы мы, русскіе, ни въ чемъ не были хуже нашихъ сосѣдей нѣмцевъ и другихъ иноземныхъ народовъ.

— Да чѣмъ же мы ихъ хуже?

— А тѣмъ, Максимъ Петровичъ, что они, по своей эдюкаціи и наукѣ, во всякомъ дѣлѣ больше толку знаютъ, чѣмъ мы. Навигація, ратное дѣло, свободныя художества и многія другія хитрости, въ которыхъ мы еще не искусились, находятся у нихъ въ преизрядномъ процвѣтаніи; такъ любы ли намъ нѣмцы или нѣтъ, а перенимать у нихъ слѣдуетъ. Вы скажете, можетъ быть: «на что, дескать, намъ всѣ эти хитрости, — вѣдь мы жили же безъ нихъ». Не тѣ времена, Максимъ Петровичъ! То было въ старину, а теперь безъ науки не далеко уйдешь. Да вотъ хоть въ дѣлѣ ратномъ: давно ли насъ шведы походя били, а какъ мы понаучились отъ нѣмцевъ, такъ и сами стали ихъ поколачивать, да еще какъ!.. Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, воля ваша, а намъ, русскимъ, нельзя не перенимать

у нѣмцевъ. Вотъ какъ наберемся отъ нихъ ума-разума, такъ, можетъ статься, и сами другихъ поучимъ. Вѣдь это, сударь, круговая порука и обижаться этимъ нечего.

Прокудинъ улыбнулся.

— Ну, молодецъ, — сказалъ онъ, много ты наговорилъ, а все-таки не далъ отвѣта на то, о чемъ я тебя спрашивалъ. Наука сама по себѣ — и мы, старики, знаемъ пословицу: «ученье свѣтъ, а неученье тьма», да у насъ рѣчь шла вовсе не о томъ; я спрашивалъ тебя, ради чего должны мы, православные, одѣваться какъ еретики и брить себѣ бороды? Да неужели Государь Петръ Алексѣевичъ изволитъ думать, что коли русскій человѣкъ отмахнетъ себѣ бороду, такъ въ немъ отъ этого ума прибудетъ? А если вмѣсто ферязи натянетъ на себя кургузый кафтанишка, такъ станетъ хитрѣе всякаго нѣмца?

— Нѣтъ, онъ этого не думаетъ.

— А коли не думаетъ, такъ въ чемъ же передъ нимъ провинились наши бороды, и почему русское одѣяніе, которымъ не гнушались наши предки, хуже этого общипаннаго заморскаго платья?

— Да это, Максимъ Петровичъ, не что иное, какъ препарація, сирѣчь приготовленіе или, такъ сказать, начало. Чтобъ перенять что-нибудь у нѣмцевъ, надобно имѣть съ ними обхожденіе, не чуждаться ихъ; а какое можетъ быть у насъ общеніе съ иноземцами, коли между ними и нами не будетъ даже и наружнаго подобія? Вы сами знаете, что въ старину мы, русскіе, презирали иноземцевъ, смѣялись надъ ними, называли ихъ погаными и даже за людей то признавать не хотѣли, — и все это не потому только, что они другой вѣры, а больше потому, что они явно отличались отъ насъ своимъ платьемъ, обычаями и бритою бородою. Теперь, какъ мы сами будемъ брить бороды и одѣваться какъ они, такъ мало по малу свыкнемся съ ними, перестанемъ ихъ чуждаться, и намъ будетъ вовсе не зазорно учиться у нихъ тому, чего мы еще не знаемъ, и что намъ зѣло знать надлежитъ. Да вотъ хоть, напримѣръ, случалось мнѣ принимать къ намъ въ полкъ рекрутовъ, сирѣчь новобранцевъ; пока они еще въ своихъ сермяжныхъ зипунахъ, въ лаптяхъ и съ бородами, такъ глядятъ медвѣдями на своихъ товарищей солдатъ, да и тѣ на нихъ не больно ласково посматриваютъ; а какъ ихъ обрѣютъ, да одѣнутъ въ мундиры, такъ они какъ вѣкъ

съ ними жили: все разомъ переймутъ, откуда возьмется и удаль и смѣтка солдатская, ну, словомъ, вовсе переродятся. Такъ изволите видѣть, Максимъ Петровичъ, что значитъ платье то! Оно, кажись, ничего, а посмотришь— нѣтъ: тотъ же человѣкъ, да не тотъ.

— Вижу, Василій Михайловичъ, вижу! Такъ вотъ оно что: нѣмцы то солдаты, а мы новобранцы... Такъ, батюшка, такъ!.. Да только вотъ что: бородъ то много на святой Руси, а не у всякаго руки на самого себя подымутся, такъ всѣхъ то брить отъ казны тяжеленько будетъ.

— И, Максимъ Петровичъ, была бы на это воля царская!

— Воля царская! — прервалъ Прокудинъ.—Не прогнѣвайся, молодецъ: борода то не что другое, — съ ней не всякій захочетъ разстаться. Нѣтъ, Василій Михайловичъ, не знаю, какъ вы, люди молодые, а мы, старики, не то думаемъ... Да, батюшка, да! Въ головѣ моей Царь воленъ, а въ бородѣ нѣтъ!.. Что ухмыляешься? Всеконечно, такъ!. Пусть себѣ брѣютъ бороды эти заморскіе еретики... имъ что! Они, чай, и Бога то не знаютъ. А чтобъ у православнаго рука поднялась на такое искаженіе образа Божія... нѣтъ, любезный! Ужь коли желаешь кого осрамить, такъ прежде сними съ него голову, а тамъ и ругайся надъ нимъ, какъ хочешь... Да что объ этомъ говорить!— продолжалъ Прокудинъ, вспомнивъ, что человѣкъ, съ которымъ онъ бесѣдуетъ, вовсе ему не знакомъ. Мало ли что болтаетъ народъ. Нашъ благовѣрный Царь Петръ Алексѣевичъ — Государь милостивый: можетъ статься ему и въ голову не приходило насильно брить намъ бороды. И къ чему насильно? Охотниковъ найдется много. Одинъ оскоблитъ себѣ рыло, чтобъ на нѣмца походить, другой ради того, чтобъ выслужиться... Вѣдь нынче не прежнія времена: столбовые то люди повывелись... Эй, Степка, вели накрыть здѣсь столъ! Милости просимъ, Василій Михайловичъ, поужинать съ нами, чѣмъ Богъ послалъ. Да не прогнѣвайся, поваришка то у меня простой, у нѣмцевъ не учился.

Во время ужина Прокудинъ началъ снова разспрашивать своего гостя о Петербургѣ и слушалъ его съ большимъ вниманіемъ; но когда Симскій сказалъ, между прочимъ, что широкая и многоводная Нева, по красотѣ своей, можетъ назваться первою русскою рѣкою, онъ прервалъ его и промолвилъ, улыбаясь:

— Конечно, Василій Михайловичъ, конечно! Гдѣ нашимъ старымъ рѣкамъ, Волгѣ, Дону и Днѣпру, равняться съ вашею новою рѣкою! Правда, по этой рѣчонкѣ, что мы Волгой зовемъ, проѣдешь почитай все царство Русское. Да это что!.. То ли дѣло ваша Нева!.. Говорятъ, будто бы она вытекаетъ изъ Ладожскаго озера и течетъ вплоть до самаго моря Нѣмецкаго, сирѣчь невступно шестьдесятъ верстъ. Эка рѣчища, подумаешь!

— Однакожъ по ней большіе корабли ходятъ.

— Какъ же, батюшка! Не даромъ говорится: «большому кораблю большое плаванье». Вѣдь шутка вымолвить — шестьдесятъ верстъ!.. Поди ка, пройди ихъ! Ну, да Богъ съ ней! Пусть она лучше нашей кормилицы Волги, такъ же какъ вашъ новый городъ лучше нашего первопрестольнаго града—передъ вами!.. А кстати о первопрестольномъ градѣ: что ты, батюшка, поживешь таки въ Москвѣ?

— Недолго, Максимъ Петровичъ, съ недѣлю можетъ быть.

— Сирѣчь до Великаго поста? Что у тебя тамъ, знакомые что ль есть, или сродственники?

— Знакомыхъ довольно, а близкихъ родственниковъ одинъ только дядя. Я у него и остановлюсь.

— А кто твой дядюшка?

— Стольникъ Данила Никифоровичъ Загоскинъ.

— Данила Никифоровичъ?.. Старинный, батюшка, пріятель! И отцы то наши межъ собою хлѣбъ-соль важивали. Ну вотъ, Василій Михайловичъ, примѣромъ сказать, твой дядюшка — худо что ль послужилъ и словомъ и дѣломъ нашимъ Царямъ-Государямъ? Ты, чай, знаешь, что, во время стрѣлецкаго мятежа и нестроенія, Данила Никифоровичъ въ Коломенскомъ походѣ, въ Савинѣ монастырѣ и въ разныхъ другихъ мѣстахъ, не жалѣя живота своего, стоялъ за Царей православныхъ? Я самъ читалъ въ царской жалованной грамотѣ, какъ онъ пришелъ въ скорыхъ числехъ многолюдствомъ и, видя въ царствующемъ градѣ мятежъ, стоялъ съ бояры и воеводы крѣпко, мужественно и вѣрно, по своему отечеству и по породѣ, за что и жалованъ многими отчинами и всякою милостію царскою. Ужь нечего сказать, — вѣрный слуга Государя Петра Алексѣевича, да къ тому жъ и ума палата; а все-таки старины придерживается: не ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ и бороды не брѣетъ.

— Давно бы обрилъ, — сказалъ Симскій улыбаясь, — кабы не тетушка Марфа Савишна...

— Нѣтъ, молодецъ!—прервалъ съ жаромъ Прокудинъ.— Видно, ты плохо дядю то своего знаешь. Конечно, онъ любитъ и даже чтитъ свою благочестивую супругу, но ужь вѣрно бы не послушался ея, когда бы она не дѣло ему совѣтовала. Данила Никифоровичъ человѣкъ умный, видно, смекнулъ, что русская борода ни уму, ни наукѣ, ни службѣ царской не помѣха; и я голову мою прозакладаю, что онъ не промѣняетъ своей бороды ни на какія почести, и хоть вѣкъ останется стольникомъ, а ужь ни за что не надѣнетъ нѣмецкаго кафтана!.. Ну, Василій Михайловичъ, — продолжалъ Прокудинъ вставая, — коли голоденъ, такъ не осуди: я не ждалъ сегодня такого дорогого гостя.

— Помилуйте, Максимъ Петровичъ!—сказалъ Симскій, низко кланяясь хозяину.—Да вы изволили меня такъ оттрактовать, что я и словъ не нахожу для моего благодаренія; поискали вашею ласкою, накормили и напоили до-сыта.

— Ну, коли сытъ, батюшка, такъ и слава Богу!.. Да не пора ли тебѣ отдохнуть, Василій Михайловичъ? Ты, я чаю, сегодня больно умаялся...

— Да, Максимъ Петровичъ, признательно вамъ доложу...

— Такъ съ Богомъ!.. Кулага, вели проводить его милость въ опочивальню; да приходи скорѣй назадъ, — и мнѣ ужь время на боковую. Прощай, молодецъ,—до завтра.

— Я завтра отправлюсь чѣмъ свѣтъ — сказалъ Симскій, — такъ врядъ ли съ вами увижусь. Не прикажете ли чего въ Москву?

— Кланяйся отъ меня дядюшкѣ.

— Буду кланяться. Прощенья прошу, Максимъ Петровичъ!

— Спокойной ночи, Василій Михайловичъ, пріятнаго сна.

Когда Прокудинъ, помолясь Богу, началъ раздѣваться, Прокофій спросилъ его, понравился ли ему проѣзжій служивый.

— Какъ тебѣ сказать?—отвѣчалъ Максимъ Петровичъ... Парень бойкій и собой молодецъ, да не нашаго поля ягода.

— А что, сударь?

— А вотъ что, братецъ: имя то у него русское, да рѣчь то полузаморская, а душа, я чаю, вовсе нѣмецкая.

— Эка жалость, подумаешь! А вѣдь молодецъ, и роду, сударь, хорошаго. Денщикъ мнѣ сказывалъ, что батюшка вашего гостя былъ казанскимъ воеводою и оставилъ сынку то своему знатныя помѣстья.

— А все бы я за него племянницы ни за что не выдалъ. Ее и теперь дура сестра таскаетъ съ собой къ этому нѣмцу Гутфелю, а съ такимъ мужемъ она пожалуй и къ обѣднѣ то станетъ ѣздить въ нѣмецкую кирку... Ну, ступай, Кулага!—промолвилъ Прокудинъ, ложась на широкую скамью, которая замѣняла ему постель.—Да пошли ко мнѣ Егорку слѣпого; онъ началъ еще на прошлой недѣлѣ разсказывать мнѣ сказку о какомъ то новгородскомъ богатырѣ и царевнѣ Прекрасѣ. Никакъ не могу дослушать: лишь примется разсказывать, тотчасъ и засну: видно, ужь сказка такая.

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ въ комнату сказочникъ Прокудина, Егорка слѣпой. Онъ доплелся ощупью до перваго угла, прислонился къ стѣнѣ и началъ:

— Вчера, государь Максимъ Петровичъ, я досказалъ тебѣ, какъ новгородскій богатырь-дворянинъ Заолѣшанинъ побилъ на-голову все помѣстное войско поганаго царя Аспаруха, и какъ онъ, поганый царь Аспарухъ, бѣжалъ въ свой крѣпкій градъ Буюсланъ и засѣлъ въ немъ за тремя каменными стѣнами въ своемъ высокомъ теремѣ. Изволишь помнить, Максимъ Петровичъ?

— Помню, помню!... Разсказывай небось!

— Слушаю, батюшка!.. Ну вотъ, сильный, могучій богатырь Заолѣшанинъ погулялъ и понатѣшился, потопталъ своимъ удалымъ конемъ рать басурманскую, разметалъ ее по широкимъ степямъ и гналъ ее, не отдыхаючи, вплоть до самаго града Буюслана. Тутъ онъ далъ маленько вздохнуть своему борзому коню, снялъ съ него уздечку позолоченую, далъ пощипать травки въ заповѣдныхъ лугахъ, напоилъ водицею изъ царскаго студенца любимаго, а тамъ вскочилъ на него опять соколомъ и учалъ ѣздить вокругъ высокихъ стѣнъ; затрубилъ въ свой рогъ серебряный и крикнулъ зычнымъ голосомъ: «О, ты гой еси поганый царь Аспарухъ! Коли сердце въ тебѣ молодецкое, выходи со мной помѣриться во чисто поле, а не выйдешь — разорю твой крѣпкій градъ до тла, раскидаю твои высокія стѣны по макушку, сорву съ могучихъ плечъ твою буйную головушку и отвезу ее въ торокахъ во свя-

той градъ Кіевъ, ребятишкамъ на потѣшище и посадскимъ бабамъ ради игрища». Вотъ кричитъ онъ день, кричитъ другой, кричитъ третій...

Тутъ разсказчикъ остановился, сталъ прислушиваться, помолчалъ нѣсколько времени, потомъ махнулъ рукою и, пробираясь вдоль стѣны, вышелъ потихоньку вонъ изъ комнаты.

III.

Солнце было уже близко полуденъ, когда Симскій, перемѣнивъ лошадей въ Подольскѣ, миновалъ наконецъ село Коломенское и сталъ приближаться къ Москвѣ. День былъ ясный, погода тихая, воздухъ легкій и прозрачный, — словомъ, одни только наносные бугры снѣгу, которыми покрыта была большая дорога, напоминали о прошедшей бурной ночи. Вотъ вдали проглянулъ и началъ подыматься Иванъ Великій, забѣлѣлись соборы и обрисовался на свѣтлоголубыхъ небесахъ опоясанный своею зубчатою стѣною, усѣянный башнями и обставленный царскими палатами высокій холмъ кремлевскій; потомъ зачернѣлась необозримая громада зданій, въ которой сливались въ одну сплошную и волнистую полосу безчисленныя избы простыхъ обывателей, церкви, монастыри, брусяныя хоромы зажиточныхъ людей и каменные боярскіе дома съ ихъ вышками и теремами.

— Ну что, Деминъ, — сказалъ Симскій своему денщику, который сидѣлъ на санномъ облучкѣ, рядомъ съ ямщикомъ,—видишь Москву?

— Вижу, Василій Михайловичъ.

— Бывалъ ли въ ней когда-нибудь?

— Никогда не бывалъ.

— Такъ ты, видно, родомъ не изъ понизовья?

— Никакъ нѣтъ, Василій Михайловичъ: и я, и батюшка мой, и дѣдъ, и прадѣдъ, мы всѣ родомъ изъ Великаго Новгорода.

— Ого, братъ Деминъ! Да ты, я вижу, человѣкъ родословный: все родство свое помнишь.

— Какъ не помнить! Вѣдь батюшка мой былъ человѣкъ грамотный, а прадѣдушка служилъ господину Великому Новгороду, въ Шалонской пятинѣ, въ селѣ Александровскомъ, волостнымъ старостою.

— Вотъ что! Ну, а какъ тебѣ, Деминъ, отсюда Москва кажется?

— Хороша, Василій Михайловичъ! Ни дать, ни взять какъ нашъ батюшка Великій Новгородъ, и кремль, кажись, такой же; чай, только этакого собора нѣтъ, какъ наша Софія.

— А вотъ пріѣдешь, такъ посмотришь.

— Что это тамъ вдали бѣлѣется? — спросилъ Деминъ ямщика, указывая на круглую башню, къ которой наши путешественники быстро приближались.

— Вонъ энта-то, съ черною верхушкою!—отвѣчалъ ямщикъ.—Это Калужскія ворота.

— Ворота!... Чтожъ за ними ужъ и Москва пойдетъ?

— Ну да,—Замоскворѣчье.

— Ого!. А вотъ налѣво то отъ кремля—Москва же?

— Какъ же—Москва! Вотъ прямо Бѣлый-городъ, полѣвѣе Чертолье, а тамъ слободы.

— А направо то?.. Неужели это все Москва?

— Коли не Москва,—а то что-жъ?

— Что, новгородскій уроженецъ,—сказалъ Симскій, замѣтивъ удивленіе своего денщика, — видно спеси то въ тебѣ убыло.

— Ну,—прошепталъ Деминъ,—никакъ и вприямь Москва то побольше будетъ Новгорода!... У, батюшки!.. Вонъ еще вдали забѣлѣлись церкви... Ахъ, Господи, да ей и конца нѣтъ!..

— Конецъ то есть,—прервалъ ямщикъ, помахивая кнутомъ.—А неча сказать, коли мнѣ придется васъ везти отъ Калужскихъ воротъ до Нѣмецкой слободы, такъ я лошадокъ то больно упарю.

— Небось, братъ,—сказалъ Симскій,—дальше Знаменки не поѣдемъ

— До Знаменки только?.. Ну это что,—рукой подать!.. Эй вы, други!

Наши путешественники въѣхали Калужскими воротами въ ту часть Земляного города, или *скородома*, которая, по своему мѣстному положенію, называлась, и теперь еще называется Замоскворѣчьемъ. Кругомъ нихъ царствовала мертвая тишина, изрѣдка только попадались имъ какіе то нищіе въ лохмотьяхъ, которые однакожъ не просили милостыни, а, робко озираясь кругомъ, пробирались сторонкою вдоль домовъ, по большей части совершенно разоренныхъ.

Одни изъ этихъ прохожихъ, видя, что въ саняхъ сидятъ люди служивые, одѣтые на нѣмецкую стать, отворачивались и даже прятались за углами домовъ; другіе, напротивъ, останавливались и, гордо посматривая на проѣзжихъ, провожали ихъ взорами, въ которыхъ не замѣтно было ничего пріязненнаго.

— Что это, братъ,—шепнулъ Деминъ, толкнувъ локтемъ ямщика,—ѣдемъ мы городомъ, а людей не видимъ, и куда ни поглядишь, все пустые да разоренные дома. Вотъ хоромина преизрядная, а посмотри-ка: окна выбиты, двери настежь... вона опять домишко на боку... воротъ нѣтъ, однѣ вереи остались... А это что?.. Кажись, не горѣло, а весь домъ съ корня разоренъ. Чтожъ это такое?

— Да хозяевъ то нѣтъ дома,—отвѣчалъ ямщикъ.

— Куда жъ они подѣвались?

— А кто ихъ знаетъ. Чай, перебрались всѣ на Божедомку, а оттуда разбрелись по погостамъ.

— Сирѣчь померли... Чтожъ это такое? Или у васъ моръ былъ?

— Моръ не моръ, а много буйныхъ головушекъ легло. Мы, служивый, ѣдемъ теперь Стрѣлецкою слободою.

— Вотъ что!..—прошепталъ Деминъ, робко посматривая кругомъ.

Въ продолженіе этого разговора, ямщикъ, который ѣхалъ до того все прямо улицею, поворотилъ налѣво и, миновавъ обширный лугъ, выѣхалъ на Серпуховскую улицу. Тутъ стали съ ними встрѣчаться довольно часто и проѣзжіе и проходящіе. Вотъ мимо нашихъ путешественниковъ промчался, на красивомъ аргамакѣ, боярскій сынокъ въ собольей шапкѣ и бархатномъ зипунѣ съ золотыми петлицами; вслѣдъ за нимъ проѣхала московская барыня въ своемъ зимнемъ экипажѣ, то есть въ обитомъ краснымъ сукномъ огромномъ ящикѣ, поставленномъ на длинныя дровни. Этотъ неуклюжій возокъ запряженъ былъ гусемъ въ двѣ лошади, изъ которыхъ переднюю вслъ подъ-уздцы конюхъ; позади, на полозкахъ, стоялъ слуга, а впереди шли, разумѣется шагомъ, два *скорохода*. Вслѣдъ за этимъ чиннымъ поѣздомъ прокатилъ, на лихой тройкѣ въ красивыхъ пошевняхъ, молодой купчикъ, а за нимъ протащился шажкомъ архимандритъ сосѣдняго монастыря, въ длинныхъ лубочныхъ саняхъ, у которыхъ не было кучерского мѣста, потому-что кучеръ, или по тогдашнему *повозчикъ*, правилъ лошадью, сидя на ней верхомъ.

— Ну вотъ здѣсь полуднѣе,—сказалъ Деминъ.—А все не то, какъ у насъ въ Новгородѣ. Тамъ почитай всегда и на Софійской сторонѣ и въ Славянскомъ концѣ народъ такъ и кишитъ.

— Погоди, служивый,—прервалъ ямщикъ,—какъ выѣдемъ на бойкое мѣсто, такъ ты не то заговоришь. Здѣсь что! А вотъ какъ подъѣдемъ къ Берсеньевскому мосту, такъ пронеси Господи! Въ базарный день проѣзду нѣтъ, а пуще обозы; иной разъ всю улицу запрудятъ,—ни взадъ ни впередъ! А суньсяка на удалую, такъ тебя разомъ вверхъ копыльями!.. Да вотъ посмотри-ка впередъ... вишь, какъ они дерутъ порожнякомъ!.. Эва на!.. Ряда въ четыра ѣдутъ.

Въ самомъ дѣлѣ, съ каждымъ шагомъ впередъ, на улицѣ становилось тѣснѣе. Кому изъ московскихъ жителей случалось ѣхать въ базарный день отъ Москворѣцкаго моста по Пятницкой, тотъ знаетъ, что такое эти безконечные обозы, а особливо ѣдущіе порожнякомъ, которые скачутъ иногда сломя голову, потому что лошадьми или вовсе никто не правитъ или правятъ мужички подъ хмелькомъ, для которыхъ въ эту минуту море по колѣно. Въ теченіе послѣднихъ двухъ столѣтій, обычаи русскихъ крестьянъ почти вовсе не измѣнились,—и въ старину такъ же, какъ нынче, рѣдкій мужичекъ, продавъ на базарѣ привезенный имъ товаръ, не завернетъ бывало въ *царское кружало*, то есть въ кабакъ; а ужь если русскій человѣкъ хватитъ лишнюю чарку, такъ вы его никакъ не заставите ѣхать по-нѣмецки, то есть шагомъ или маленькою рысцою; онъ будетъ кричать, орать пѣсни и скакать до тѣхъ поръ, пока не одолѣетъ его сонъ и возжи не вывалятся изъ рукъ. Когда наши проѣзжіе стали приближаться къ Москвѣ-рѣкѣ, на встрѣчу имъ, отъ Всесвятскихъ воротъ, хлынулъ одинъ изъ этихъ безумныхъ поѣздовъ. На переднемъ возу, въ нагольномъ тулупѣ на распашку, сидѣлъ рыжій дѣтина, красный какъ маковъ цвѣтъ; заломивъ набекрень свою шапку, онъ гналъ и въ хвостъ и въ голову саврасую лошаденку, запряженную въ широкія розвальни. Вслѣдъ за нимъ неслись дюжины двѣ порожнихъ саней; въ однихъ сидѣли и правили полупьяные, въ другихъ лежали и также правили вовсе пьяные мужики, а нѣкоторыя изъ подводъ были оставлены совершенно на волю лошадей; и, надобно сказать правду, — эти добрыя крестьянскія лошадки вели себя гораздо благоразумнѣе людей: онѣ должны были скакать поневолѣ, но по крайней

мѣрѣ не обгоняли другъ друга и не кидались изъ стороны въ сторону. Вся эта разгульная ватага, не обращая вниманія на крикъ и угрозы двухъ проѣзжихъ, мчалась вдоль по улицѣ, наполненной народомъ, зацѣпляя и ломая все, что ей ни попадалось навстрѣчу.

— Экъ ихъ черти несутъ!—прошепталъ ямщикъ, завидѣвъ издали этотъ обозный ураганъ.—Смотри-ка, смотри,—всю улицу захватили, мошенники этакіе!..

— Эй вы, мужичье!..—гаркнулъ Деминъ.—Иль не видите кто ѣдетъ?.. Держи къ одной!

— Куда вы лѣзете?—закричалъ ямщикъ, грозя кнутомъ.—Ахъ вы, борноволоки этакіе... обломы проклятые!... Держи правѣй!... Держи правѣй!... Тише вы, тише... дери васъ горой!... Ахъ вы, разбойники!... Ну!!!

Это послѣднее восклицаніе сдѣлалъ ямщикъ, лежа ужь на боку подлѣ своей пристяжной; ее подшибли раскатившіяся розвальни передового обозника, которыя въ то же время опрокинули и сани проѣзжихъ. Прежде чѣмъ они успѣли справиться, на нихъ наѣхали еще двѣ подводы, смяли остальныхъ лошадей, изорвали всю сбрую и сшибли съ ногъ Демина, который хотѣлъ было своротить ихъ въ сторону.

— Держите ихъ, держите!— заревѣлъ Деминъ, вскочивъ на ноги.

— Держите!—закричали многіе изъ проходящихъ, не трогаясь съ мѣста.

— Держите!— повторили уличные ребятишки, прыгая босикомъ по снѣгу и помахивая своими спущенными рукавами.

Но держать было некому. Всѣ кричали: «Держи, держи!» и всѣ разступались, что бы пропустить этихъ хмельныхъ мужиковъ, для которыхъ, какъ я уже сказалъ, въ минуту разгула всегда бываетъ море по колѣно.

— Ну, правду ли я вамъ баилъ?—сказалъ ямщикъ, подымая вмѣстѣ съ Деминымъ сани и пристяжную лошадь. Здѣсь, подлѣ Всесвятскихъ воротъ, въ базарный день бѣдовое дѣло! А на Берсеньевскомъ мосту и того хуже: со всѣхъ сторонъ народъ такъ и валитъ, вовсе проѣзду нѣтъ... Эге!—продолжалъ ямщикъ, осматривая лошадей..—Да сбруя то вся хоть брось!.. Ахъ, они шальные, пьяницы этакіе!.. Смотри ка, что понадѣлали!

— Да, братъ,—сказалъ Деминъ:—постромки никуда не годятся...

— Что постромки!... Ты посмотри-ка шлею на пристяжной... А дуга то гдѣ?.. Оба гужа лопнули... Ну!.. Озорники этакіе!.. Чтобъ имъ до дому не доѣхать, проклятымъ!..

— Да нельзя ли какъ-нибудь связать; чай, съ тобой веревки есть?

— Чего связать!.. Нѣтъ, ужь дѣлать нечего: побудьтека здѣсь, а я какъ разъ сбѣгаю.

— Куда?

— Да вотъ тутъ недалече живетъ у меня куманекъ,— покучусь ему, авось дастъ хомутъ на коренную.

— Такъ оставайся, Деминъ, здѣсь,—сказалъ Симскій,— а я пойду пѣшкомъ. Послушай-ка, любезный,—продолжалъ онъ, обращаясь къ ямщику: какъ ты управишься, такъ ступай на Знаменку. Ты знаешь тамъ домъ стольника Данилы Никифоровича Загоскина?

— Нѣтъ, батюшка.

— Ну, а знаешь ли ты на Знаменкѣ домъ князя Хованскаго?

— Большія каменныя палаты... въ три жилья... крыша такая узорчатая?

— Ну да!

— Какъ не знать.

— Такъ насупротивъ то крытыя гонтомъ бревенчатыя хоромы...

— А!.. Знаю, знаю, батюшка! На дворѣ еще такая высокая голубятня, съ длиннымъ шестомъ, а на шестѣ то пѣтушокъ?

— Ну, такъ пріѣзжай же туда.

— Ладно, батюшка, пріѣду.

Ямщикъ побѣжалъ къ своему куму, а Симскій, оставивъ при саняхъ Демина, пошелъ къ Всесвятскимъ воротамъ. Эти ворота, сходныя по своему зодчеству съ нынѣшними Иверскими воротами, стояли на берегу Москвы-рѣки, у самаго въѣзда на Берсеньевскій мостъ, который назывался также и Всесвятскимъ.

Этотъ мостъ, замѣненный впослѣдствіи нынѣшнимъ Каменнымъ мостомъ, служилъ въ то время единственнымъ постояннымъ и надежнымъ сообщеніемъ Замоскворѣчья съ остальными частями города, потому что, вмѣсто нынѣшняго Москворѣцкаго моста, перекинутъ былъ черезъ рѣку деревянный *живой* мостъ, то есть длинный плотъ безъ перилъ,

по которому ѣздить не всегда было безопасно. Берсеньевскій каменный мостъ былъ вовсе не щеголеватой наружности, но за то весьма прочной постройки. На немъ во всю длину выстроены были лавки, а подъ арками поднята вода, и у каждаго быка стояло по водяной мельницѣ о нѣсколькихъ поставахъ. На другой сторонѣ Москвы-рѣки, противъ Всесвятскихъ воротъ, подымалась широкая четырехсторонняя башня съ воротами, которыми, прямо съ Берсеньевскаго моста, въѣзжали въ Бѣлый городъ. Это ворота, которыя давно уже не существуютъ, назывались Троицкими.

Симскій съ трудомъ могъ продраться сквозь толпу проѣзжихъ и прохожихъ, которые тѣснились на Берсеньевскомъ мосту; но ему еще труднѣе было попасть въ Троицкія ворота, потому что, за исключеніемъ узкаго проѣзда, все пространство между ними и мостомъ было загромождено шалашами, мазанками, выносными очагами, на которыхъ пекли лепешки, скамьями и лавочками съ разнымъ мелочнымъ товаромъ, съ поношеннымъ платьемъ, со всякою ветошью и ломанымъ желѣзомъ. Продавцы этого хлама, называемые въ старину не купцами, а *щепетильниками*, кричали во все горло, выхваляя свой товаръ и приглашая покупщиковъ. Посреди толпы шныряли сбитенщики со своими баклагами, разносчики гречневиковъ съ конопляннымъ масломъ, медовой патоки съ имбиремъ и знаменитаго калужскаго тѣста безъ всякой приправы. Посадскія бабы въ коломенковыхъ шубахъ и мѣховыхъ шапкахъ, горожанки въ теплыхъ ферязяхъ съ длинными рукавами, приказные въ долгополыхъ синихъ кафтанахъ, боярскіе слуги въ нагольныхъ тулупахъ и сотни разныхъ праздношатающихся зѣвакъ лакомились этими сластями, толпились около лавочекъ, торговали, шумѣли, спорили и не давали никому прохода. Наконецъ Симскому удалось выбраться за Троицкія ворота. Оставивъ въ лѣвой сторонѣ Крымскій дворъ, онъ пошелъ вдоль стѣны Бѣлаго города; дойдя до Лебединаго пруда, повернулъ мимо Царскаго сада, расположеннаго на берегу Неглинной, и вышелъ на Знаменку. Тутъ Симскій долженъ былъ снова остановиться, потому что два обоза, изъ которыхъ одинъ тянулся отъ Чертольскихъ, а другой отъ Арбатскихъ воротъ, съѣхались съ третьимъ, ѣдущимъ изъ Кремля, и захватили совершенно всю улицу. Тогда въ Москвѣ во многихъ мѣстахъ, и почти на всѣхъ перекресткахъ, стояли нищенскія избы или богадѣльни,

въ которыхъ жили и питались мірскимъ подаяніемъ убогіе и недужные люди. Эти богадѣльни служили также иногда пріютомъ подкидышей, которые тамъ и воспитывались, слѣдовательно, почти всегда, какъ безпріютные сироты, поступали въ число *нищей братіи*, безъ которой и до сихъ поръ наша доброхотная и христолюбивая Москва обойтись не можетъ. Чтобъ выждать, когда проѣдутъ обозы, Симскій остановился у одной изъ этихъ нищенскихъ избъ. У самыхъ ея дверей, на завалинѣ, сидѣли двѣ старухи и грѣлись на солнышкѣ. Обѣ онѣ были въ овчинныхъ шубейкахъ, которыхъ покрыши составлены были изъ разноцвѣтныхъ полинялыхъ лоскутовъ. У одной были на ногахъ истасканные коты, другая была обута въ поношенные лапти.

— Ну вотъ, Ѳедосѣевна, — молвила старуха въ котахъ, не замѣчая, что близехонько подлѣ нихъ стоитъ прохожій баринъ,—вотъ намъ Господь Богъ и весну даетъ. Эка теплынь, подумаешь!

— И, что ты, голубка!—отвѣчала старуха въ лаптяхъ. Что дастъ Господь опосля Великаго поста, а теперь мы еще и блинковъ не ѣли, такъ до весны то далеко. Да что твоя Настька, не вернулась?

— Нѣтъ еще, Ѳедосьевна. О-хо-хо-хо, избаловалась она совсѣмъ! Вотъ и вчера и третьяго дня ходила, ходила, и въ городѣ по рядамъ, и въ Кремлѣ по боярскимъ домамъ,— а что принесла? Двѣ полушки, серебряную копѣечку, да полкалача!... Охъ, Ѳедосьевна, обманываетъ она меня.

— И я то же мекаю, Кондратьевна. Да вотъ хоть нынче ночью мнѣ не спалось,—слышу, она щелкаетъ орѣхи. «Откуда это у тебя, Настька, орѣшки то завелись, а?»— спросила я. «Добрые, дескать, люди подали». А я себѣ думаю: «врешь, проклятая, купила!» Ну, гдѣ слыхано, чтобъ милостыню подавали калеными орѣхами!

— То-то и есть, Ѳедосьевна: пріемышъ все пріемышъ! А мало ли я съ ней горя натерпѣлась! Вотъ ровно четырнадцать годковъ, какъ ее въ Петровъ день подкинули; я взяла ее на свои руки, ноченьки цѣлыя не спала; выкормила рожкомъ, сколько денегъ на молоко поистратила, а вотъ тебѣ и спасибо!...

Тутъ подошла къ избѣ безобразная дѣвчонка въ лохмотьяхъ, сверхъ которыхъ висѣлъ у нея черезъ плечо, на мочальной веревочкѣ, сплетенный изъ лыкъ кошель.

— А, это ты, Настька!—сказала Кондратьевна.—Поди-ка сюда, поди!... Да постой, постой!—продолжала она, схвативъ ее за руку.—Куда ты?

— Въ избу, бабушка, погрѣться,—отвѣчала дѣвочка.—Я вовсе окоченѣла.

— Вишь, барыня какая,—окоченѣла!... Мы и старухи, да въ избѣ не сидимъ.

— Да полно, бабушка, отцѣпись,—пусти!...

— Погоди, голубушка, не замерзнешь. Ты мнѣ скажи, гдѣ ты до этой поры таскалась?

— Мало ли гдѣ: въ Чертольѣ была, у Арбатскихъ воротъ, здѣсь, по Знаменкѣ, ходила...

— А много ли выходила?...

— Да что, бабушка,—видно, ужь такой день выдался: никто не подаетъ.

— Такъ ты ничего не принесла?

— Ломтика четыре хлѣба.

— Только то? А что я тебѣ говорила: какъ пойдешь по Знаменкѣ, зайди неотмѣнно на дворъ къ боярынѣ Маѳѣ Саввишнѣ Загоскиной?

— Заходила, бабушка.

— Такъ тебѣ и тамъ ничего не подали?

— Ничего.

— Врешь, врешь, негодная!... Кто другой, а Маѳа Саввишна всегда подаетъ. Она, дай Богъ ей много лѣтъ здравствовать, нищую братію любитъ.

— Да у нихъ, бабушка, въ дому что то нездорово.

— Нездорово?

— Видно, что такъ. Я сначала зашла съ передняго крыльца; на крыльцѣ стоитъ, пригорюнившись, дворецкій Сидоръ Ивановичъ. Бывало онъ и самъ всегда мнѣ подастъ, да еще по головкѣ погладитъ, а тутъ какъ закричитъ: «Пошла, пошла,—не до тебя!» Вотъ я отъ него прочь, да къ дѣвичьему крыльцу... постояла, постояла — никто нейдетъ. Думаю: взойду въ дѣвичью, мнѣ не впервые. Взошла; гляжу —нянюшка Прокофьевна сидитъ, да такъ и заливается слезами; на всѣхъ сѣнныхъ дѣвушкахъ лица нѣтъ. Не дали мнѣ словечка вымолвить: «Ступай, ступай! Богъ подастъ!»... «Кормилицы,—сказала—я, доложите вашей барынѣ»... «Куда докладывать!»—молвила Прокофьевна.—«До того ли ей теперь!» Да какъ вдругъ завопитъ: «Ахъ ты, батюшка нашъ, Данила Никифоровичъ, снялъ ты со всѣхъ съ насъ голову!» А

ключница Матрена—такая злющая, завсегда лаится—какъ вскинется на меня: «Убирайся, говорятъ, а не то я тебя голикомъ! Пошла, пошла!» Такъ по шеямъ меня и выгнала. Да пусти же меня, бабушка, въ избу то: я вовсе прозябла.

— Постой, постой! Дай-ка мнѣ свой кошель.

— Да на что тебѣ? Въ немъ, окромя хлѣба, ничего нѣтъ.

— Добро, добро, — прошептала Кондратьевна,—я посмотрю... Ломоть, другой, третій... А это что?—вскричала она, вынимая изъ кошеля медовую сосульку и пряничнаго конька съ золоченою гривою.—Это что?... Ахъ, ты воровка, мошенница этакая!

Симскій, который слышалъ весь разговоръ, не сталъ дожидаться конца этому розыскному дѣлу. Ему было вовсе не до того. Онъ любилъ своего дядю какъ отца родного, а если дѣвочка говорила правду, такъ съ Данилою Никифоровичемъ случилось какое-нибудь несчастіе, или онъ былъ при смерти боленъ. Несмотря на то, что на улицѣ было еще очень тѣсно, Симскій пустился бѣгомъ по Знаменкѣ. Пробираясь между возовъ, онъ вышелъ кое-какъ на свободное мѣсто, и съ ужасною тоскою и замираніемъ сердца добѣжалъ наконецъ до обширнаго двора, посреди котораго стояли длинныя хоромы дяди его, заслуженнаго стольника Данилы Никифоровича Загоскина

VI.

Симскій прошелъ всѣмъ дворомъ, не встрѣтивъ никого. Въ передней не было тоже ни души. Онъ вошелъ по тихоньку въ столовую; въ этой комнатѣ сидѣла подъ окномъ и горько плакала пожилая барыня, одѣтая по домашнему; въ штофной поношенной кофтѣ и тафтяной юбкѣ, которая была когда то краснаго цвѣта. Въ то время давно уже вошли въ употребленіе женскіе черевички, то есть башмаки; но эта барыня была обута, по старинному обычаю, въ сафьянныхъ сапожкахъ, вышитыхъ бисеромъ. За поясомъ у нея висѣла связка ключей, а на головѣ надѣта была круглая бархатная шапочка съ мѣховымъ околышемъ.

— Ахъ, другъ мой сердечный! — вскричала барыня. — Васинька!

— Здравствуйте, тетушка!—сказалъ Симскій торопливо. —Что дядюшка?

Марѳа Саввишна всплеснула руками, ухватилась за шею племянника и, опустивъ голову на его плечо, громко зарыдала.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!—проговорилъ Симскій.— Да гдѣ же дядюшка?... Покажите мнѣ его.

— Пойдемъ, мой другъ, пойдемъ,—сказала Марѳа Саввишна, всхлипывая:—я тебѣ покажу его!... Не узнаешь ты своего дядю!—продолжала она, заливаясь слезами.

— Господи! — подумалъ Симскій, идя вслѣдъ за своею теткою.—Такъ видно ужь добрый мой дядюшка лежитъ въ гробу?

Пройдя нѣсколько комнатъ, Марѳа Саввишна отворила дверь небольшого покоя и промолвила едва слышнымъ голосомъ:

— Ну вотъ, Василій Михайловичъ, гляди!

Симскій, который воображалъ, что найдетъ въ этой комнатѣ своего дядю, если не умершимъ, то по крайней мѣрѣ при послѣднемъ издыханіи, переступилъ съ ужасомъ черезъ порогъ, и вотъ что онъ увидѣлъ передъ собою: старикъ лѣтъ шестидесяти пяти, но повидимому довольно еще бодрый, сидѣлъ въ креслахъ, обитыхъ цвѣтною камкою. Цырюльникъ, преважный нѣмецъ съ красною рожею и длиннымъ носомъ, добривалъ бороду этому пожилому барину. Позади креселъ стоялъ, какъ приговоренный къ смерти, мрачный и угрюмый служитель съ перекинутымъ черезъ плечо бѣлымъ полотенцемъ. Поодоль плакала втихомолку старая женщина, держа въ рукахъ серебряную лохань съ рукомойникомъ. На столѣ лежала полная пара нѣмецкаго платья и треугольная шляпа, а надъ ними висѣлъ на гвоздикѣ огромный парикъ съ длинными кудрями.

— Дядюшка!—проговорилъ съ удивленіемъ Симскій.

— А, здравствуй, братъ Василій! — вскричалъ Данила Никифоровичъ.—Добро пожаловать!

— Такъ вы здоровы?

— Слава Богу.

— А я было какъ перепугался! Глядя на тетушку...

— Ты подумалъ, что мнѣ ужь отходную читаютъ? Ну, что съ ней будешь дѣлать: реветъ себѣ, да и только!

— Батюшка Данила Никифоровичъ!...

— Что, матушка Марѳа Саввишна, иль еще вдоволь не наплакалась?

— Да какъ мнѣ не плакать? Ну посмотри на себя, на кого ты походишь?

— А что и въ самомъ дѣлѣ: чай, годковъ десять съ плечъ свалилось?... Дайте-ка мнѣ зеркальце!.. Ступай, любезный,—продолжалъ Данила Никифоровичъ, обращаясь къ цырюльнику. — Скажи дворецкому, чтобъ онъ тебѣ заплатилъ.

Цирюльникъ, какъ истый нѣмецъ, вытеръ не торопясь свои бритвы, уложилъ ихъ бережно въ футляръ, свернулъ бритвенный ремень и, поклонясь съ тою гордою важностью, которою вообще отличаются всѣ нѣмецкіе ремесленники, вышелъ вонъ изъ комнаты.

— Ну что, Марѳуша,—сказалъ Данила Никифоровичъ, обтираясь мокрымъ полотенцемъ,—вѣдь этакъ то гораздо лучше?

— Помилуй, батюшка, да что тутъ хорошаго? А грѣхъ то какой, грѣхъ!..

— И, полно, жена!... Коли нѣтъ грѣха стричь волосы, такъ какой же грѣхъ обрить себѣ бороду?... Вѣдь это все едино. Съ насъ будетъ и старыхъ грѣховъ, матушка, такъ новыхъ то выдумывать нечего.

— Мнѣ, батюшка, гдѣ съ тобою спорить: я баба глупая, а послушай-ка, что говорятъ умные люди.

— Умные люди: сирѣчь Максимъ Петровичъ Прокудинъ, да Лаврентій Никитичъ Рокотовъ съ братіею...

— А что, развѣ они люди глупые?

— Нѣтъ, Марѳа Саввишна, особенно Максимъ Петровичъ Прокудинъ крѣпко не глупъ. Да вѣдь есть и старообрядцы люди очень умные, а заговори-ка съ ними о православіи, такъ они занесутъ такую околесную, что уши вянутъ.

— Вотъ вздумалъ съ кѣмъ равнять своихъ пріятелей!

— Да воля твоя, Марѳа Саввишна, въ чемъ другомъ, а въ упрямствѣ они старообрядцамъ не уступятъ. Чай, по ихнему безъ бороды и въ рай не попадешь.

— А почемъ знать, батюшка? Что, если въ самомъ дѣлѣ...

— Слышишь, что тетка то говоритъ?—прервалъ Данила Никифоровичъ, улыбаясь. Ну, племянникъ, худо намъ съ тобою будетъ!

— На него, сударь, не изволь ссылаться, — сказала съ жаромъ Марѳа Саввишна:—онъ человѣкъ служивый, хочетъ не хочетъ, а дѣлай, что ему прикажутъ; этотъ грѣхъ не на немъ. А тебя кто неволилъ? Ты вѣдь не служишь, живешь на покоѣ, царскаго указа тебѣ не читали... Такъ изъ

чего-жъ ты взялъ на душу этотъ грѣхъ? А коли по твоему грѣха въ этомъ нѣтъ, такъ ты бы хоть людей постыдился. Ну что ты теперь? На молодого парня не походишь, на старую бабу также,—ни дать, ни взять нѣмецъ булочникъ, что намъ хлѣбы ставитъ!... Ужь если ты не пожалѣлъ своихъ сѣдыхъ волосъ, такъ пожалѣлъ бы меня, старуху!... Мнѣ стыдно будетъ въ люди показаться: всѣ добрые люди станутъ на меня пальцами указывать. Вѣдь я, батюшка, жена твоя; твой стыдъ—мой стыдъ! И на что, и для чего?..

— Я ужь тебѣ толковалъ для чего, да ты слушать меня не хочешь.

— Батюшка Данила Никифоровичъ, не изволь на меня гнѣваться, можетъ статься я глупо скажу, а воля твоя: какъ ни толкуй, а по мнѣ, что стриженая дѣвка, что бритый мужикъ—все едино. Я ужь не говорю о томъ, что скажетъ Лаврентій Никитичъ Рокотовъ: онъ теперь и знаться съ тобой не захочетъ...

— Такъ чтожъ? Коли онъ любилъ не меня, а мою бороду, такъ Господь съ нимъ!

— А что мнѣ будетъ отъ Надежды Карповны, отъ Аполлинаріи Степановны, отъ Нимфодоры Алексѣевны?... Батюшки мои!... Да онѣ меня со свѣту Божьяго сживутъ, въ гробъ вгонятъ!... «Что, дескать, Марѳа Саввишна, вашъ Данила Никифоровичъ, говорятъ, бородку обрить изволилъ, нѣмецкое платьице носитъ?... Ну что, матушка, къ лицу ли ему?» Господи, Господи! Какъ подумаю объ этомъ, такъ у меня сердце и оторвется!...

— Ну что, Марѳа Саввишна, никакъ опять собираешься плакать? Добро, добро, ступай-ка лучше, да похлопочи, чтобъ нашему дорогому гостю комнату приготовили. Ему послѣ обѣда не худо будетъ отдохнуть,—чай, усталъ съ дороги. Ступай, матушка!... Ступай и ты, Еремѣй, я еще погожу одѣваться. А ты, Прохоровна, оставь здѣсь рукомойникъ и лохань, а сама убирайся въ дѣвичью, да коли у тебя такая охота рюмить, такъ плачь тамъ; будетъ съ меня и жены... Повѣришь ли, племянникъ,—продолжалъ Данила Никифоровичъ, когда они остались одни,—замучили! Ревутъ да хнычутъ все утро, словно по покойникѣ.

— Зато я не плачу, дядюшка, а очень радъ... нашего полку прибыло.

— Ну, братъ Василій, не ждали мы тебя. Вѣдь и двухъ мѣсяцевъ нѣтъ, какъ ты отъ насъ уѣхалъ.

— Да, дядюшка, я и самъ не чаялъ попасть такъ скоро опять въ Москву. Теперь абшита взять нельзя: нашъ полкъ выступилъ въ походъ.

— Куда?

— Покамѣстъ въ Польшу. Князь Александръ Даниловичъ Меншиковъ оставилъ меня на время при себѣ. Недѣли двѣ тому назадъ онъ послалъ меня съ депешами въ Смоленскъ и Калугу, дозволилъ завернуть на недѣльку въ Москву, повидаться съ родными, а тамъ ужь мнѣ указано отправиться по прямому тракту къ моей командѣ.

— Вотъ что!... Ну, радъ, мой другъ, что мы съ тобой хоть недѣльку поживемъ вмѣстѣ. Вотъ ужь масленица на дворѣ, блинковъ съ нами поѣшь, повеселишься... А, да, кстати, о весельи: мнѣ сказывали, что сегодня у твоего пріятеля, Адама Ѳомича Гутфеля, будетъ вечеринка, по вашему асамблея.

— Въ самомъ дѣлѣ?—вскричалъ съ радостію Симскій.— Такъ ужь позвольте мнѣ, дядюшка, я сегодня къ нему поѣду.

— Ступай, мой другъ; я затѣмъ и сказалъ тебѣ. Дѣло твое молодое, почему не повеселиться. Только знаешь ли что, племянникъ? Въ послѣдній твой пріѣздъ ты не пропустилъ ни одной вечеринки; только бывало и слышишь: Ѣду, дескать, къ Адаму Ѳомичу на асамблею. И теперь что то не путемъ обрадовался. Ужь не приглянулась ли тебѣ у Гутфеля какая-нибудь красоточка?... Эге, братъ, что-жъ ты этакъ покраснѣлъ?... Неужели въ самомъ дѣлѣ?.. Мнѣ сказывали, что у Гутфеля дочка такая пригожая... Послушай, племянникъ: я слышалъ отъ многихъ, что Адамъ Ѳомичъ старикъ добрый, богатый; знаю и то, что Государь его жалуетъ, а все-таки онъ купецъ и не нашей вѣры. Я человѣкъ не спесивый и нѣмцевъ не чуждаюсь, а, не прогнѣвайся, и я скажу: нашему брату, родовому дворянину, жениться на какой-нибудь купеческой дочкѣ вовсе не приходится. Какъ бы мужъ ее ни любилъ, а все житье ей будетъ коротенькое: мужнина родня станетъ ее поѣдомъ ѣсть, а посторонніе будутъ смотрѣть на нее свысоко, знаться съ нею не захотятъ... Да еще и Гутфель то захочетъ ли выдать свою дочь за русскаго: вѣдь они также крѣпко своей вѣры держатся.

— Помилуйте, дядюшка, да я и самъ ни за что не женюсь на дочери Адама Ѳомича.

— А коли ты только такъ, ради одной потѣхи, хочешь бѣдную дѣвку съ ума свести, такъ это еще хуже. У насъ на Руси за хлѣбъ-соль и ласковый пріемъ говорятъ спасибо, а ты хочешь... Эхъ, племянникъ, нехорошо.

— Да почему вы думаете?...

— Какъ не думать! Лишь только я объ этомъ намекнулъ, такъ, посмотри, какъ ты раскраснѣлся.

— Ну, дядюшка, дѣлать нечего: я лучше отдамся вамъ на дискрецію и всю правду скажу. Я точно повстрѣчался у Гутфеля съ одною дѣвицею, которая зѣло мнѣ по сердцу пришла; но только эта дѣвица русская и хорошаго рода.

— Право? А кто-жъ она такая?

— Я видѣлъ ее три раза у Гутфеля; она пріѣзжала къ нему съ своею теткою, Аграфеной Петровной Ханыковой.

— Съ Аграфеной Петровной Ханыковой, у которой мужъ на службѣ въ Азовѣ?

— Точно такъ, дядюшка.

— А племянницу то какъ зовутъ! Не Ольгой ли Дмитріевной?

— Да, Ольгой Дмитріевной.

— Э, такъ это Запольская. Она такъ же, какъ ты, братъ, круглая сирота: у нея нѣтъ ни отца, ни матери. Мы съ ея роднымъ дядею, Максимомъ Петровичемъ Прокудинымъ, старинные пріятели.

— Ахъ, Боже мой!... Да я у него вчера ночевалъ, и онъ еще велѣлъ вамъ кланяться. Да чтожъ, это, дядюшка: коли вы съ ними знакомы, такъ какъ же я ни разу ихъ у васъ не видалъ?

— Бабьи сплетни, братецъ! Жена моя стала выговаривать Аграфенѣ Петровнѣ, зачѣмъ она ѣздитъ въ Нѣмецкую слободу; та разгнѣвалась, перестала къ намъ жаловать, а ужь Марѳа Саввишна сама ни за что на свѣтѣ къ ней не поѣдетъ.

— Ну что, дядюшка, не правда ли, что Ольга Дмитріевна...

— Да, дѣвица хорошая, умная и, говорятъ, очень благонравная. Ее охуждаютъ, что она частенько по вечеринкамъ изволитъ ѣздить, и тетушку за это побраниваютъ; а какъ ихъ послушаешь, такъ онѣ обѣ правы. Ольга Дмитріевна ѣздитъ за тѣмъ, что это угодно тетушкѣ, а Аграфена Петровна за тѣмъ, чтобъ племянницу повеселить,— такъ и выходитъ, что онѣ обѣ ѣздятъ поневолѣ. Да пускай

себѣ и по охотѣ,—бѣда небольшая. Пора намъ перестать держать взаперти нашихъ женъ и дочерей; и добро бы еще это былъ коренной русскій обычай, а то вѣдь нѣтъ: мы переняли его у татаръ.

— Такъ вы думаете, дядюшка...

— Да, братъ Василій, да: она по всему тебѣ пара, и достатокъ есть.

— Такъ чтожъ, дядюшка?...

— Да вотъ изволишь видѣть: Максимъ то Петровичъ ей вмѣсто отца родного, а онъ человѣкъ упрямый, держится старины и не очень жалуетъ вашу братію — гвардейскихъ офицеровъ.

— Помилуйте!... Да онъ меня такъ обласкалъ, такую атенцію во всемъ показывалъ..

— Это само по себѣ. Прокудинъ вовсе не походитъ на какого-нибудь Лаврентія Никитича Рокотова: тотъ не сталъ бы и говорить съ тобою; а Максимъ Петровичъ мужикъ умный, большой хлѣбосолъ, и всегда радъ угостить проѣзжаго человѣка, кто бы онъ ни былъ; но только врядъ ли выдастъ за тебя племянницу,—не то у него въ головѣ. Онъ часто мнѣ говаривалъ: «Коли посватается за Олиньку человѣкъ добрый, степенный, хорошаго рода, русскій по имени, русскій по обычаю, — такъ милости просимъ; а за какого нибудь молодчика съ бритою бородкою, который на нѣмца смахиваетъ, я ни за что ее не выдамъ». Да ты какъ вчера къ нему попалъ?

— Вовсе нечаянно: меня загнала къ нему метель.

— Ну что онъ съ тобою поговорилъ?

— Да все смѣялся надъ Петербургомъ.

— А ты?

— А я за него горой стоялъ...

— Охъ, худо, братъ!

— Потомъ началъ позорить нашъ мундиръ, надъ нѣмцами подшучивать...

— А ты?

— А я за нихъ заступался.

— Ну, худо!... Вотъ то-то и есть,—зачѣмъ ты съ нимъ спорилъ?... Молчалъ бы, да и только.

— Но развѣ я могъ отгадать...

— Что Ольга Дмитріевна родная племянница Максиму Петровичу?... Ну, конечно, этого ты отгадать не могъ. Да Максимъ то Петровичъ тебѣ въ дѣдушки годится, такъ при-

гоже ли тебѣ съ нимъ заѣдаться? Я — дѣло другое: у насъ съ нимъ бой равный. А ты что передъ нимъ?... Молокососъ. И что за бѣда старику уступить? Да пусть онъ себѣ говоритъ, что хочетъ.

— Такъ поэтому, дядюшка, мнѣ нечего и надѣяться?

— Да, племянникъ, большой надежды нѣтъ... Впрочемъ, почему знать: попытка не шутка, а спросъ не бѣда. Я съѣзжу прежде поговорить съ теткою, а тамъ, пожалуй, и въ деревню къ Максиму Петровичу поѣду, и если мы его уломаемъ, такъ теперь на-словѣ положимъ, а тамъ, какъ вернешься изъ похода, веселымъ пиркомъ да за свадебку!... Сегодня, можетъ статься, ты опять увидишь ее у Гутфеля?... Вѣдь вы, чай, тамъ межъ собой разговариваете?

— Какъ же, дядюшка, и танцуемъ, и разговариваемъ.

— Такъ ты, братецъ, поразговорись съ нею хорошенько, разсмотри ее порядкомъ и себя ей покажи. Вотъ, подумаешь, — продолжалъ Данила Никифоровичъ,—когда Государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ учредить эти асамблеи и указалъ на нихъ бывать и женамъ и дочерямъ боярскимъ, такъ мало ли крику то было: «Послѣднія, дескать, времена наступили, антихристъ воцарился! Ужь коли православный Государь заводитъ такія богопротивныя сходбища, такъ чего ждать путнаго?» А прежнія то пирушки лучше что ль были? Съѣдутся на вечеринку, начнется попойка; барынь и барышенъ нѣтъ, такъ стыдиться некого,—пей себѣ въ мертвую чашу!— А какъ нарѣжутся, такъ пойдутъ всякія непригожія рѣчи, срамныя холопскія пляски, непотребныя пѣсни! То ли дѣло на этихъ асамблеяхъ. Какъ ты станешь безчинствовать? Коли не постыдишься своей жены, такъ передъ чужою будетъ совѣстно. Иной бы, пожалуй, хватилъ темную, да въ присядку пошелъ, а тутъ нельзя! Выпьетъ стаканчикъ, другой, да и къ сторонкѣ. А это также развѣ бездѣлица? Теперь ты пріѣдешь на асамблею, увидишь дѣвицу, она тебѣ приглянется; ты съ нею поговоришь, познакомишься, и если задумаешь на ней жениться, такъ знаешь, на комъ женишься; не то, что прежде: бывало ты свою невѣсту и въ лицо никогда не видывалъ, а чтобъ промолвить съ нею словечко,—да забудь объ этомъ и думать! Подъ вѣнцомъ она стоитъ въ покрывалѣ; кто ее знаетъ, — можетъ быть пригожа, а можетъ статься и рожа то на сторонѣ! Меня точно такъ же вѣнчали... Да я-то еще слава Богу: моя Марѳа Саввишна была красавица. Когда въ опо-

чивальнѣ она встрѣтила меня безъ покрывала, да поклонилась въ поясъ, такъ у меня сердце запрыгало отъ радости! Съ другими не то бывало: иному сваха наговоритъ и Богъ вѣсть что: грудь лебединая, и брови собольи, и съ поволокою глаза... а ужь разумница то какая: что слово скажетъ, то рублемъ подаритъ!... А тамъ, посмотришь, пріѣдетъ отъ вѣнца, заговоришь съ нею—дура набитая, взглянешь на нее—батюшки, пугало огородное: рябая, кривая, носастая!... Вотъ тебѣ и съ поволокою глаза! Ну, пожалуй, послѣ залучи къ себѣ сваху, потѣшься, отломай ей бока, а что прибыли: жена не башмакъ, съ ноги не сбросишь!...

— Такъ, дядюшка, такъ!... Асамблеи, а также и австеріи, по истинѣ, наиполезнѣйшія и зѣло премудрыя учрежденія. Ну, разсудите сами: какой я могу ожидать сатисфакціи отъ супружества съ дѣвицею, которую не только не знаю персонально, но и въ глаза то никогда не видывалъ? Вѣдь жена, какъ вы сами изволите говорить, не башмакъ; вы его не станете носить, коли онъ натираетъ вамъ мозоль, а съ женою то что будешь дѣлать?...

— Да, любезный, какова попадется, а ужь не прогнѣвайся — развѣнчивать не станутъ. Ну-ка, братъ Василій,— продолжалъ Данила Никифоровичъ вставая, пособи мнѣ халатъ надѣть, чай, пора обѣдать... Да вотъ, кажется, за нами пришли... Что ты, Ѳаддей, кушанье готово?

— Готово, батюшка,—сказалъ слуга съ низкимъ поклономъ. Марѳа Саввишна изволитъ васъ дожидаться.

— Пойдемъ, племянникъ, покушай на здоровье, а тамъ прилягъ да сосни хорошенько. Ты съ дороги то ни на что не походишь; а вѣдь тебѣ, любезный,—промолвилъ Данила Никифоровичъ, выходя вмѣстѣ съ Симскимъ изъ комнаты, — слѣдуетъ явиться къ Адаму Ѳомичу молодцомъ. Смотри, братъ, чтобъ всѣ нѣмки, глядя на тебя, разъахались; только самъ то не больно за ними ухаживай,—помни, братъ, охотничью пословицу: «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».

V.

Симскій отправился въ шестомъ часу послѣ обѣда къ Адаму Ѳомичу Гутфелю. Иноземный гость, амстердамскій уроженецъ, Адамъ Ѳомичъ Гутфеля жилъ на Кукуѣ, то

есть въ Нѣмецкой слободѣ, противъ самой кирки, въ собственномъ домѣ. Хотя этотъ длинный деревянный домъ очень походилъ на обширныя хоромы русскаго боярина, однакожъ во многомъ напоминалъ родину своего хозяина. Особенно отличался онъ отъ другихъ домовъ своими широкими равносторонними окнами, черепичною кровлею, подъѣздомъ съ улицы и рѣзными дубовыми дверьми съ двумя огромными мѣдными скобами, изъ которыхъ одна, повѣшенная на петляхъ, замѣняла колокольчикъ, то-есть возвѣщала о приходѣ гостя, который могъ постучать ею какъ молоткомъ въ придѣланную къ дверямъ мѣдную бляху. Какой то путешественникъ, говоря о голландцахъ, сказалъ, что они любятъ жить очень чисто и для того безпрестанно моютъ все на свѣтѣ, исключая своихъ собственныхъ рукъ. Не знаю, до какой степени справедливо это замѣчаніе, но во всякомъ случаѣ Адамъ Ѳомичъ вполнѣ оправдывалъ его собою. У него во всемъ домѣ не было ни пылинки; столы, стулья, поставцы— словомъ, вся домашняя утварь лоснилась и блестѣла, какъ будто бы ее сейчасъ привезли изъ лавки. Но зато онъ самъ почти всегда ходилъ неряхою, и его толстыя красныя руки вовсе не могли назваться опрятными, даже и тогда, когда у него была асамблея и онъ принималъ гостей; но на этотъ разъ Адамъ Ѳомичъ, видно, объ этомъ позаботился. Его борода была выбрита гладко, руки не запачканы, манжеты накрахмалены, и коричневый суконный кафтанъ съ огромными пуговицами былъ почти такъ же чистъ, какъ цвѣтной коверъ, постланный въ сѣняхъ и по всѣмъ ступенькамъ лѣстницы. Говоря о кафтанѣ Адама Ѳомича, я упомянулъ только мимоходомъ о его огромныхъ пуговицахъ, а онѣ заслуживаютъ особеннаго описанія. Собственно сказать, это были не пуговицы, а весь махитрой работы круглые медальоны, съ выпуклыми стеклами, подъ которыми очень искусно уложены были пестрыя бабочки, красивыя козявки, зеленые жучки и разныя другія диковинныя букашки; однимъ словомъ, это портище пуговицъ или, лучше сказать, этотъ голландскій кунстъ-штыкъ могъ служить вывѣскою для знаменитой петербургской кунстъ-камеры. Отчего же Адамъ Ѳомичъ принарядился такимъ необычайнымъ образомъ? Зачѣмъ стоялъ онъ въ сѣняхъ у самаго крыльца, несмотря на то, что на дворѣ было довольно холодно? Ради чего дородная его супруга, въ пышномъ фуро изъ шелковой японской матеріи, вышла въ переднюю и держала въ рукахъ

китайскій лакированный подносъ, на которомъ лежалъ хлѣбъ, голландскій сыръ и стояла серебряная чарка съ анисовою водкою?... Читатель, можетъ быть, позадумается, желая рѣшить этотъ вопросъ; но Симскій, войдя въ домъ, сейчасъ догадался, что Адамъ Ѳомичъ ожидаетъ къ себѣ на асамблею Государя Петра Алексѣевича. Вслѣдъ за Симскимъ подъѣхалъ, въ простыхъ лубочныхъ саняхъ, царскій комнатный писецъ Иванъ Антоновичъ Черкасовъ *). Онъ вошелъ въ сѣни и, обращаясь къ хозяину дома, сказалъ:

— Государь мой Адамъ Ѳомичъ Гутфель! Его Царское Величество изволилъ прислать меня экскузоваться передъ вами. Сегодня онъ никоимъ родомъ не можетъ у васъ быть и ради того приказалъ мнѣ, вмѣсто себя, поклонъ вамъ отдать, поцѣловать фрау Гутфель, выпить за ея здоровье кружку полпива и повеселиться на вашей асамблеѣ.

Проговоривъ эти слова, Черкасовъ чинно поклонился Адаму Ѳомичу, потомъ, чтобъ исполнить въ точности высочайшее повелѣніе, облобызался съ фрау Гутфель и пошелъ вмѣстѣ съ ними въ пріемную комнату. Эта пріемная комната, лучшая во всемъ домѣ, была оклеена китайскими бумажными обоями; по угламъ стояли фарфоровые кувшины съ цвѣтами, а въ простѣнкахъ висѣли овальныя зеркала въ золоченыхъ узорчатыхъ рамахъ. За этимъ покоемъ была обширная гостиная, которая въ то же время служила и танцовальною залою. Въ третьей и послѣдней комнатѣ, обитой голландскими кожаными обоями, стояли вдоль стѣнъ дубовые столы, на которыхъ насыпаны были, небольшими кучками, амстердамскій кнастеръ и гамбургскій вакъ-штапъ. Тутъ же лежали глиняныя голландскія трубки и сверхъ того на каждомъ столѣ поставлено было по нѣскольку оловянныхъ кружекъ съ полпивомъ; на одномъ только кружка была серебряная и кругомъ, вмѣсто простыхъ деревянныхъ стульевъ, стояли четыре стула и одно кресло, обитые пунцовымъ утрехтскимъ бархатомъ. Разумѣется, этотъ столъ былъ приготовленъ для Государя и остался незанятымъ. Посреди комнаты, на кругломъ столѣ разбросаны были нѣмецкія газеты, которыя въ то время назывались по русски *курантами*, а на особыхъ столикахъ приготовлены были, для охотниковъ, шахматныя доски. Вообще, всѣ комнаты освѣщались саль-

*) Впослѣдствіи баронъ и кабинетъ-министръ Государя Петра Алексѣевича.

ными свѣчами, а полы, исключая одной гостиной, усыпаны были мелкимъ пескомъ.

Войдя въ гостиную, Симскій увидѣлъ съ перваго взгляда, что въ числѣ посѣтительницъ асамблеи не было Аграфены Петровны Ханыковой и ея племянницы. Почти всѣ русскія барыни сидѣли вмѣстѣ, особнячкомъ отъ нѣмокъ, и рѣзко отличались отъ нихъ, не только своимъ пышнымъ нарядомъ, но и какимъ то принужденнымъ видомъ, чопорною осанкою и совершенною неподвижностію. Затянутыя въ длинныя таліи своихъ робронтовъ онѣ не смѣли пошевелиться и, казалось, приросли къ стульямъ. Изрѣдка только и разомъ всѣ, какъ будто бы по командѣ, онѣ поворачивали свои головки, чтобъ взглянуть на входящихъ гостей. Потомъ тѣ изъ нихъ, которыя были побойчѣе, перешептывались межъ собою, а другія принимали снова свое неподвижное положеніе и продолжали молчать. Разумѣется, въ числѣ русскихъ барынь не было старыхъ женщинъ. На частныя асамблеи никто не былъ обязанъ ѣздить поневолѣ, слѣдовательно, однѣ только *львицы* тогдашняго времени осмѣливались такъ явно нарушать обычаи своихъ предковъ. Совсѣмъ не то происходило на нѣмецкой сторонѣ: тамъ говорили довольно громко, смѣялись, молодыя вертлявыя нѣмочки задирали мужчинъ, разговаривали съ ними; пожилыя голландки, изъ которыхъ многія были въ кофтахъ, вязали чулки, и даже одна старуха, теща Адама Ѳомича, преспокойно штопала бумажный полосатый колпакъ, вѣроятно принадлежащій его тестю. Вотъ, наконецъ, вошелъ какой то русскій баринъ съ молодою женою и двумя дѣвицами; онѣ показались Симскому гораздо развязнѣе и ловчѣе другихъ, по крайней мѣрѣ эти гостьи и говорили и двигались. Когда вслѣдъ за ними пріѣхало еще нѣсколько гостей, Адамъ Ѳомичъ, въ сопровожденіи двухъ служанокъ, которыя несли подносы, уставленные тарелками, началъ подчивать дамъ всякими сластями, то-есть цукатами, китайскимъ леденцомъ, марцыпанами и разными другими заморскими лакомствами. Симскій, повертясь нѣсколько времени въ гостиной и не встрѣчая никого изъ своихъ знакомыхъ, прошелъ въ угольную комнату. Въ ней находились одни только мущины, и въ томъ числѣ много русскихъ; но они всѣ безъ исключенія были въ нѣмецкихъ кафтанахъ. За однимъ столомъ сидѣлъ Черкасовъ и разговаривалъ съ какимъ то необычайно дороднымъ бариномъ, которому вѣроятно очень надоѣдалъ туго подтянутый гал-

стухъ, потому что онъ вертѣлъ поминутно головою и даже запускалъ по временамъ за галстухъ пальцы, чтобъ оттянуть и сдѣлать хотя нѣсколько просторнѣе этотъ проклятый нѣмецкій ошейникъ, который мѣшалъ ему дышать свободно.

— Такъ, сударь Иванъ Антоновичъ, правда, батюшка,— говорилъ онъ, повертывая головою:—этотъ нѣмецкій нарядъ, который я недавно еще ношу, истинно лучше нашего русскаго одѣянія: и краса не та и покою больше...

— Право?—прервалъ съ насмѣшливою улыбкою Черкасовъ.— Такъ чтожъ вы, Андрей Алексѣевичъ, безпрестанно вертитесь, какъ будто бы вамъ неловко?

— Привычка, Иванъ Антоновичъ, привычка! Меня и маленькаго за это часто журили: все бывало верчу головою. А, смѣю васъ спросить, по какой причинѣ Государь Петръ Алексѣевичъ не пожаловалъ сегодня къ господину Гутфелю?

— Я думаю для того, чтобъ не соблазниться и не скушать чего-нибудь за ужиномъ.

— Да развѣ его Царское Величество изволитъ недомогать?

— Нѣтъ, слава Богу, онъ здоровъ.

— Такъ почему-жъ ему не покушать? Гутфель кормитъ своихъ гостей хорошо.

— Въ томъ то и дѣло; а Государь уже четвертую недѣлю не изволитъ ничего кушать, кромѣ пустыхъ щей, хлѣба и гречневой каши.

— Что вы говорите?...

— Право такъ. Государь Петръ Алексѣевичъ хотѣлъ извѣдать на самомъ себѣ, достаточна ли для пропитанія и полнаго продовольствія солдата отпускаемая для него казенная порція; и для этого въ теченіе цѣлаго мѣсяца рѣшился питаться однимъ солдатскимъ пайкомъ.

— Скажите пожалуйста! Ахъ, Господи, да зачѣмъ же онъ изволитъ себя такъ изнурять? Приказалъ бы кому-нибудь изъ своихъ генераловъ...

— Нѣтъ, Андрей Алексѣевичъ, у его Царскаго Величества обычай ужь таковъ. «Извѣдаю, дескать, на себѣ самомъ, такъ это будетъ повѣрнѣе». Вѣдь онъ же не послалъ въ Голландію никого изъ своихъ генераловъ учиться корабельному художеству, а самъ пошелъ въ рабочіе люди; зато ужь его теперь никакой иноземный мастеръ не проведетъ; онъ тотчасъ ему скажетъ: «Врешь, нѣмецъ,—я это дѣло не хуже твоего знаю».

— А что, осмѣлюсь васъ спросить: господинъ фельдмаршалъ, Александръ Даниловичъ Меншиковъ, пожалуетъ ли къ намъ въ Москву?

— Не думаю, — отвѣчалъ сухо Черкасовъ, закуривая свою трубку.

— Жаль, очень жаль!

— А почему вы такъ объ этомъ жалѣете? — спросилъ Черкасовъ, глядя пристально на толстаго барина.

— Да какже, Иванъ Антоновичъ: я еще ни разу не удостоился его видѣть и, признательно вамъ доложу, желалъ бы очень взглянуть на столь великаго мужа.

Черкасовъ нахмурился.

— Да, сударь,—продолжалъ толстый баринъ,—дорого бы я далъ, чтобъ посмотрѣть на сего знаменитаго полководца и вѣрнаго слугу царскаго, который въ столь короткое время...

— Попалъ въ фельдмаршалы, — прервалъ Черкасовъ. — Ну, чтожъ тутъ диковиннаго? Государь воленъ жаловать кого хочетъ.

— Конечно, конечно! Да вѣдь жалуетъ то за дѣла...

— Неравны дѣла, Андрей Алексѣевичъ: за иное дѣло какъ не пожаловать; а есть и такія дѣла, за которыя слѣдуетъ по законамъ, несмотря на лицо, не токмо сослать въ каторжную работу, но даже и весьма живота лишить.

— Неоспоримо есть, да вѣдь таковые люди достойное по своимъ дѣламъ и пріемлютъ; а я говорю вамъ объ Александрѣ Даниловичѣ Меншиковѣ.

— И я вамъ о немъ же говорю.

— Какъ съ?—прошепталъ съ ужасомъ толстый баринъ.

— Да такъ: сегодня фельдмаршалъ, а завтра капралъ.

— Кто съ?...

— Да тотъ, кто Государя обманываетъ... Да что объ этомъ говорить: коли Господь до времени терпитъ и Царь покамѣстъ милуетъ, такъ не наше дѣло!... Только, право, не мѣшало бы господину фельдмаршалу почаще вспоминать пословицу: «повадился кувшинъ по воду ходить»...

Андрей Алексѣевичъ, который до того, по милости своего галстуха, былъ ярко-пунцоваго цвѣта, вдругъ побѣлѣлъ какъ мука; онъ робко посмотрѣлъ кругомъ, хотѣлъ что то вымолвить, поперхнулся, началъ кашлять и, не говоря ни ни слова, всталъ съ своего мѣста, а Черкасовъ взялъ со стола гамбургскія газеты и принялся ихъ читать. Межъ

тѣмъ Андрей Алексѣевичъ подошелъ къ двумъ господамъ, которые играли въ шахматы; одинъ изъ нихъ, замѣчательный по своей необычайной худобѣ и быстрымъ лукавымъ глазамъ, игралъ повидимому гораздо бойчѣе своего соперника, человѣка пожилыхъ лѣтъ, въ огромномъ парикѣ съ длинными кудрями и нѣмецкомъ свѣтло-голубомъ кафтанѣ.

— Шахъ и матъ! — возгласилъ торжественно первый игрокъ, подвигая впередъ пѣшку.

— Позвольте, позвольте!...—прервалъ господинъ въ голубомъ кафтанѣ.

— Не безпокойтесь, Аркадій Тимоѳеевичъ: шахъ и матъ! Хоть до завтра думайте, вамъ ходу нѣтъ. Здѣсь конь, а тамъ визирь... ну, куда вы ступите?

— Ахъ, какая досада!... Такъ вы мнѣ дѣлаете шахъ и матъ пѣшкою?

— Да, не прогнѣвайтесь, иногда простая пѣшка задастъ такого шаху, что и визирь не очнется.

— Истинно такъ! — сказалъ толстый баринъ вполголоса. Неравна пѣшка: вотъ хоть этотъ кабинетскій писецъ Черкасовъ... Ну что такое писецъ?.. Не велика птица...

— Да ноготокъ востеръ!—молвилъ господинъ въ голубомъ кафтанѣ.

— Подлинно востеръ! Кабы вы послушали, что онъ сейчасъ со мною говорилъ...

— А что такое, батюшка Андрей Алексѣевичъ?—спросилъ съ любопытствомъ худощавый баринъ.

— И теперь очнуться не могу!.. Какъ онъ изволилъ позорить... да вѣдь вслухъ!..

— Позорить? Кого?

— Страшно вымолвить... Александра Даниловича Меншикова!..

— О, Господи!—воскликнулъ съ ужасомъ худощавый баринъ.—И онъ это говорилъ съ вами?..

— Я, батюшка, сейчасъ ушелъ... видитъ Богъ—ушелъ... слушать не сталъ!..

— Смотри пожалуй, эка дерзость, подумаешь!.. Ну вотъ, сведи знакомство съ такимъ человѣкомъ—бѣда!.. Пропадешь не за денежку!.. И добро бы еще особа какая!.. Дѣло другое князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій, князь Ромадановскій... Шереметевъ... а то писецъ... мальчишка... слетокъ этакій!.. Да что онъ, о двухъ головахъ что-ль?..

— И одна, да, видно, хороша!—прервалъ господинъ въ

голубомъ кафтанѣ.—Не даромъ онъ въ такой милости у Государя.

— Право?..

— А какъ же? Да смѣлъ ли бы онъ этакъ поговаривать... помилуйте!.. Мнѣ сказывалъ Бартеневъ, сослуживецъ Чераксова, что онъ и въ глаза то Меншикову Богъ знаетъ что говоритъ. Вамъ, я думаю, извѣстно, что Александръ Даниловичъ человѣкъ надменный?..

— Какъ же, батюшка... вельможа!

— Вотъ однажды онъ обошелся грубенько съ Черкасовымъ, а тотъ ему, при свидѣтеляхъ, напрямикъ сказалъ, что если бы о всѣхъ дѣлахъ его узналъ Государь, такъ пересталъ бы онъ кичиться своею знатностію и презирать честныхъ людей.

— И Меншиковъ это вытерпѣлъ?..

— Гдѣ вытерпѣть!.. Разгнѣвался, поѣхалъ жаловаться Государю.

— Чтожъ было съ Черкасовымъ?

— Да ничего.

— Скажите пожалуйста!.. Ну, я думаю, Александръ Даниловичъ не очень его долюбливаетъ?

— Вѣроятно; только онъ держитъ это про себя. Мнѣ разсказывалъ Крекшинъ, что однажды Государь сильно изволилъ разгнѣваться на Меншикова, и позвалъ его къ себѣ въ кабинетъ. Что тамъ было, никто не видѣлъ, а слышать слышали. Меншиковъ, который подозрѣвалъ въ этомъ дѣлѣ Черкасова, вышелъ изъ кабинета растрепанный, сталъ оправляться... вдругъ пырь ему въ глаза Черкасовъ. Чтожъ вы думаете?.. Чай, Александръ Даниловичъ, сгоряча, взглянулъ на него звѣремъ, ругнулъ?.. Ничуть не бывало: онъ пожалъ ему руку и сказалъ очень ласково: «Все ли вы, другъ мой, въ добромъ здоровьѣ?»

— Ну!.. Такъ, видно, Государь очень его жалуетъ.

— Да такъ то жалуетъ, что я не подивлюсь, коли Иванъ Антоновичъ махнетъ прямо изъ кабинетныхъ писцовъ въ кабинетъ-министры.

— Что вы говорите!..

— Право такъ.

— Въ кабинетъ-министры!.. Вотъ подлинно, кому какая судьба!.. А знаете ли что?—продолжалъ худощавый господинъ, обращаясь къ толстому барину:—мы съ Иваномъ Антоновичемъ въ свойствѣ: моя внучатная тетка была за его

двоюроднымъ... да еще, полно, не за роднымъ ли дядею; а вѣдь стыдно сказать: мы съ нимъ не знакомы... Все какъ то не случалось: онъ онъ въ Санктпетербургѣ, я въ Москвѣ; онъ пріѣдетъ въ Москву, я въ деревнѣ... Ну, словно въ гулючки играемъ!.. И жена мнѣ сколько разъ говорила: «Что это, батюшка, ты не познакомишься съ Иваномъ Антонычемъ,—вѣдь мы съ нимъ свои»... Послушайте, Андрей Алексѣевичъ, благо случай вышелъ: сведите насъ теперь.

— Съ моимъ удовольствіемъ.

— Скажите ему просто: вотъ, дескать, Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, племянникъ вашей тетушки, Ирины Савельевны Таракановой...

— Хорошо... пойдемте же...

— Постойте, постойте!... Мнѣ кажется... ну, такъ и есть: онъ изволитъ читать куранты, такъ мы ему помѣшаемъ... лучше послѣ.

— Какъ вамъ угодно.

Межъ тѣмъ Симскій, выкуривъ трубку табаку, пошелъ опять въ гостиную; въ одно время съ нимъ вошли въ эту комнату, только съ противоположной стороны, двѣ новыя гостьи: одна изъ нихъ женщина лѣтъ подъ тридцать, довольно пріятной наружности, другая въ самомъ цвѣтѣ молодости, то есть лѣтъ семнадцати, высокаго роста, съ темными голубыми глазами и очаровательнымъ лицомъ, бѣлымъ какъ снѣгъ и румянымъ какъ весенняя заря, однимъ словомъ, прелесть собою. Адамъ Ѳомичъ и его супруга встрѣтили ихъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ. И надобно сказать правду —эти новыя гостьи вовсе не походили на прежнихъ. Вмѣсто того, чтобъ поклониться слегка хозяйкѣ и ея дочери, онѣ просто расцѣловались съ ними. Разумѣется, такое свободное обхожденіе показалось для многихъ совершенно неприличнымъ. Чопорныя русскія дамы стали поглядывать другъ на друга, ухмыляться, началась общая шопотня, и насмѣшки градомъ посыпались на этихъ новопріѣзжихъ барынь.

— Посмотрите, Матрена Дмитріевна,—шепнула одна толстая краснощекая госпожа, толкнувъ локтемъ свою сосѣдку, молодую женщину, которая была бы очень недурна собою, если бъ ея лицо поменьше лоснилось отъ бѣлилъ и огромныя брови дугою были насурмлены немного поискуснѣе.—Посмотрите, Бога ради, ну на что это походитъ?.. Кто говоритъ: почему не пріѣхать на асамблею къ какой-

нибудь нѣмецкой купчихѣ... да надобно, чтобъ она знала себя и разумѣла другихъ; а обходиться съ ней какъ съ своей сестрой дворянкой... помилуйте!...

— Конечно, конечно!.. Вѣдь, пожалуй, эта нѣмка сдуру подумаетъ, что она и въ самомъ дѣлѣ намъ ровня.

— Вонъ, къ нимъ идетъ Адамъ Ѳомичъ... Господи, того и гляжу, что онѣ бросятся къ нему на шею!

— Ахъ, что вы говорите, Ирина Никитична!—прервала Матрена Дмитріевна, закрываясь своимъ опахаломъ.—Какъ это вамъ не стыдно?

— Да отъ этой Ханыковой все станется!.. А племянница то ея, Запольская... ахъ, какая бестыдница!.. Посмотрите: расхаживаетъ, улыбается, говоритъ... ну, точно у себя дома, дѣвчонка этакая!..

— Вся въ тетушку!.. Да куда это она кинулась?.. Ирина Никитична, посмотрите: сама подошла къ этой старухѣ... вонъ что въ углу то колпакъ штопаетъ... Матушки, матушки!.. Слышите ли? Вѣдь она говоритъ съ нею по нѣмецки!

— Неужели?

— Видитъ Богъ, такъ!..

— Скажите пожалуйста!.. Чтожъ, это для того, чтобъ почваниться передъ нами.

— Извѣстное дѣло!

— Видишь какая!.. Вотъ бы ей кстати выйти замужъ за какого-нибудь нѣмца булочника.

— А что вы думаете... я не поручусь!.. Ужь коли она выучилась говорить по-нѣмецкому, такъ почему жъ и вѣру не перемѣнить и замужъ не выдти за нѣмца?

— Конечно, конечно!.. Посмотрите, Матрена Дмитріевна, что это за молодецъ къ ней подлетѣлъ?.. Кажется, гвардейскій офицерикъ?

— А, знаю, знаю!.. Онъ давно уже за нею ухаживаетъ... Фу, какой шаркунъ!.. Такъ и разсыпается!

— Да кто онъ такой?

— Мнѣ сказывали, какой то Симскій... Что это онъ ей напѣваетъ?.. А, видно, что-нибудь такое... глядите, какъ она вспыхнула!

— Ну, это еще хорошо, Ирина Никитична: видно, совѣсть есть.

— Какая совѣсть!.. Вонъ видите: она прямехонько смотритъ ему въ глаза, говоритъ съ нимъ... смѣется... Фу, срамъ какой!

— Отъ нея чего ждать, Ирина Никитична: дѣвчонка глупая; да теткѣ то какъ не стыдно, чего она смотритъ?

— Помилуйте, до того ли ей!.. Поглядите, какъ ее облѣпили и нѣмцы и русскіе!.. А она то, матушка моя, такъ и коверкается, то съ тѣмъ, то съ другимъ!.. Ну, нечего сказать, хороша барыня!..

— И, Матрена Дмитріевна: мужъ въ Азовѣ, унять некому, такъ что ей,—гуляй себѣ, да и только!

— А вотъ начинаются и танцы... Что вы, Ирина Никитишна, минавею пойдете!

— Можетъ быть.

— А если васъ станутъ подымать на кондратанецъ?

— Нѣтъ, Матрена Дмитріевна, покорнѣйше благодарю!.. Въ прошлый разъ достался мнѣ какой то долгоногій нѣмецъ, да прыгунъ какой... замучилъ, проклятый!.. Ни за что не пойду!

Черезъ нѣсколько минутъ во всю длину гостиной выстроились въ два ряда всѣ танцующія пары, кавалеры противъ дамъ. Двѣ скрипки и одна флейта затянули что то похожее на протяжную нѣмецкую пѣсню, и балъ открылся неизбѣжнымъ *церемоннымъ* менуэтомъ, который впослѣдствіи замѣнился круглымъ, а потомъ уже теперешнимъ длиннымъ польскимъ. Этотъ церемонный танецъ, въ которомъ дамы безпрестанно присѣдали, а кавалеры поминутно кланялись, продолжался довольно долго. Разумѣется, Симскій танцовалъ съ Запольскою, и, надобно сказать правду, весьма неудачно. Вмѣсто того, чтобъ заниматься своимъ дѣломъ, онъ не спускалъ глазъ съ Ольги Дмитріевны, подымалъ правую руку вмѣсто лѣвой и почти всегда кланялся невпопадъ. Въ числѣ зрителей, которые сошлись со всѣхъ сторонъ посмотрѣть на танцы, находился также Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, этотъ худощавый шахматный игрокъ, который успѣлъ уже познакомиться съ Черкасовымъ. Повидимому, этотъ господинъ не обращалъ ни на кого особеннаго вниманія, а межъ тѣмъ исподтишка посматривалъ безпрестанно на Симскаго и его танцовщицу, при каждой новой ошибкѣ Симскаго онъ улыбался съ такимъ лукавствомъ и такъ выразительно, что, казалось, хотѣлъ сказать: «А, голубчикъ, знаемъ мы, отчего ты ошибаешься!» Вотъ подъ конецъ и Ольга Дмитріевна стала ошибаться, сбилась съ кадансу, потомъ забыла присѣсть и, вмѣсто двухъ рукъ, подняла одну. Вертлявые глаза худо-

щаваго барина заблистали радостію; въ нихъ можно было прочесть, что въ эту минуту онъ говоритъ про себя: Ага, красавица, попалась... Подмѣтилъ я тебя! Что, сударыня, видно, и тебѣ также не до танцевъ!»

Менуэтъ кончился; кавалеры раскланялись, то есть поклонились въ сотый разъ своимъ дамамъ; дамы также присѣли, разошлись, и посреди гостиной осталась одна только пара: хозяйская дочь и аптекарь Францъ Карловичъ Цвибахъ,—рыжій, худощавый нѣмецъ высокаго роста, съ длиннымъ блѣднымъ лицомъ, украшеннымъ безчисленнымъ множествомъ веснушекъ, и съ свѣтлосѣрыми глазами, въ которыхъ выражалась если не спесь, то по крайней мѣрѣ глубокое сознаніе собственнаго своего достоинства. Господинъ Цвибахъ былъ уже человѣкъ пожилой, но танцовщикъ неутомимый и совершенный мастеръ своего дѣла. Музыканты заиграли альмандъ, и эта образцовая пара пустилась въ ходъ и начала выдѣлывать необычайныя штуки. Францъ Карловичъ превзошелъ самого себя: онъ выворачивалъ такимъ неестественнымъ образомъ руки своей танцовщины, такъ хитро переплеталъ ихъ со своимъ, дѣлалъ такіе чудные выверты и обороты, что нельзя было довольно надивиться его искусству; то, поднявшись на цыпочки, онъ изгибался какъ змѣй надъ своею дамою и заставлялъ ее кружиться у себя подъ плечомъ, то самъ подвертывался къ ней подъ руку, и все это не какъ-нибудь, а чисто, отчетливо, не отставая отъ музыки и не выпуская ни на минуту изъ рукъ своей танцовщицы, которая также съ необычайною ловкостію выполняла всѣ эти танцовальные кунштюки и не сбивалась съ кадансу даже тогда, когда руки ея были совершенно выворочены. Всѣ зрители, не исключая дамъ, встали съ своихъ мѣстъ, и, чтобъ видѣть поближе танцующихъ, обступили ихъ со всѣхъ сторонъ. Одна только Ольга Дмитріевна, стоя позади толпы, не обращала на нихъ никакого вниманія; съ нею разговаривалъ Симскій.

— Да, Ольга Дмитріевна,—говорилъ онъ,—я привезъ вамъ вѣсточку отъ дядюшки вашего, Максима Петровича; онъ, благодаря Бога, здоровъ.

— Когда жъ вы у него были?—спросила Запольская.

— Вчера проѣздомъ. Онъ, по милости своей, укрылъ меня отъ непогоды и оставилъ ночевать.

— Вчера!.. Такъ вы пріѣхали сегодня?

— Сегодня поутру и. признательно вамъ скажу, зѣло

утомленъ моимъ вояжемъ; но, несмотря на фатигу, которую чувствую съ дороги, не хотѣлъ пропустить сегодняшней асамблеи, въ томъ чаяніи, что, можетъ быть, увижу здѣсь персону, которую я желалъ бы видѣть не только вседневно, но даже всечастно.

— Чтожъ, эта персона здѣсь?

— О, всеконечно здѣсь!—подхватилъ Симскій.—Иначе я не остался бы ни минуты.

— Почему же? Развѣ вамъ здѣсь не весело? Вы, кажется, любите танцовать.

— Только не со всѣми, Ольга Дмитріевна.

— А съ этою персоною?—спросила улыбаясь Запольская.

— О, это для меня такая великая сатисфакція,—отвѣчалъ Симскій, не смѣя взглянуть на Ольгу Дмитріевну,—что когда я нахожусь вмѣстѣ съ тою персоною на асамблеѣ, то ужь никакъ не могу резолвоваться поднять другую даму.

— Такъ какъ же вы со мною танцовали?—спросила съ самымъ простодушнымъ видомъ Ольга Дмитріевна.

Этотъ весьма естественный вопросъ до того смутилъ Симскаго, что онъ совершенно растерялся. Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать что-нибудь Ольгѣ Дмитріевнѣ, онъ началъ разсматривать огромный эстампъ, который висѣлъ на стѣнѣ и проговорилъ заикаясь:

— Ахъ, какой прекрасный купферъ-штыкъ!... Мнѣ кажется, это изображеніе полтавской викторіи... Не правда ли, Ольга Дмитріевна?...

— Право не знаю,—отвѣчала Запольская съ примѣтнымъ замѣшательствомъ.

Симскій покраснѣлъ; глядя на него, Ольга Дмитріевна также вспыхнула, и они оба замолчали.

Не смѣйтесь надъ моимъ Симскимъ, любезныя читательницы: вѣдь то, что я вамъ разсказываю, происходило въ 1711 г., то есть безъ малаго полтораста лѣтъ тому назадъ; тогда наши молодые люди, не исключая и гвардейскихъ офицеровъ, вовсе не умѣли изъясняться въ любви, и только осмѣливались иногда намекать объ этомъ обиняками, сторонкою, да и то съ большою осторожностію. Чтобъ отвѣчать на вопросъ Ольги Дмитріевны, Симскому надобно было признаться, что она то именно и есть та самая *персона*, для которой онъ пріѣхалъ на асамблею, то есть, другими словами, что

онъ ее любитъ и желаетъ быть ея мужемъ, а это было бы неслыханнымъ нарушеніемъ всѣхъ приличій. Въ старину и круглый сирота не могъ предлагать своей руки иначе, какъ черезъ посредниковъ, а человѣкъ съ родствомъ, дозволившій себѣ такое безчинство, возстановилъ бы противъ себя не только всѣхъ родныхъ и двоюродныхъ дядей и тетушекъ, но даже и всѣхъ замужнихъ сестрицъ до седьмого колѣна. Я ужь не говорю о самой дѣвицѣ, которая, вѣроятно, сгорѣла бы отъ стыда и почла бы себя очень обиженною, если бы молодой человѣкъ сказалъ ей прямо въ глаза, что хочетъ на ней жениться.

Вотъ наконецъ альмандъ кончился и такъ благополучно, что не было никакой надобности посылать за костоправомъ. Вся толпа разсѣялась, и къ Симскому подошла Аграфена Петровна Ханыкова.

— Что я вижу?—вскричала она.—Это вы, Василій Михайловичъ?.. Опять въ Москвѣ?

— Знаете-ли, тетушка, — прервала Ольга Дмитріевна.— Василій Михайловичъ былъ вчера у дядюшки Максима Петровича.

— У братца? — проговорила съ примѣтнымъ безпокойствомъ Ханыкова. — Чтожъ, вы ему сказали, что познакомились со мною на асамблеѣ у Гутфеля?

— О, нѣтъ! Я только сегодня узналъ, что Максимъ Петровичъ вамъ родня.

— Вотъ что!.. Вы не слышали отъ него, сбирается онъ въ Москву или нѣтъ?

— Максимъ Петровичъ не изволилъ ничего объ этомъ говорить; онъ все разспрашивалъ меня о Санктпетербургѣ...

— И вѣрно очень съ вами спорилъ?

— Да, у насъ были небольшіе диспуты. Кажется, вашъ братецъ не очень жалуетъ Санктпетербургъ?

— Охъ, ужь и не говорите!.. Батюшка-братецъ человѣкъ очень умный и почтенный, но такой старовѣръ, что не привсди, Господи... Вы долго у насъ пробудете?

— Не больше одной недѣли.

— Только то!.. Хорошо еще, что вы пріѣхали къ масленицѣ; по крайней мѣрѣ повеселитесь, покатаетесь... время будетъ прекрасное.

— А почему вы изволите думать, что погода будетъ хороша?

— Это напечатано въ календарѣ, въ прогностикѣ двѣнадцати мѣсяцевъ.

— Прошу экскузовать меня! Не очень я вѣрю сему прогностику, государыня моя!.. Въ этомъ же календарѣ напечатано, что въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ коньюкціи планетъ показуютъ добрую гармонію между всѣми потентатами, однакожъ войска наши находятся въ походѣ и, вѣроятно, несмотря на сію коньюкцію, мы побываемъ въ гостяхъ у турскаго салтана.

— Что вы говорите?.. Война съ туркомъ? А мой Степанъ Герасимовичъ въ Азовѣ... Господи Боже мой!..

— Да вы не извольте предаваться напрасной турбаціи, — прервалъ Симскій. —Азовъ не что другое: вѣдь это зѣло крѣпкая фортеція, его взять не легко. И я мыслю такъ, что скорѣе мы будемъ въ Царьградѣ, чѣмъ турки въ Азовѣ. Будьте благонадежны, Аграфена Петровна: этотъ прогностикъ повѣрнѣе того, который напечатанъ въ календарѣ.

— Ахъ, дай-то, Господи!.. А, вотъ опять музыка заиграла?.. Кажется, кондратанецъ?

Тутъ подвернулся къ Аграфенѣ Петровнѣ неутомимый Францъ Карловичъ Цвибахъ и въ самыхъ отборныхъ выраженіяхъ пригласилъ ее стать вмѣстѣ съ нимъ въ первую пару. Одинъ русскій щеголь въ бархатномъ кафтанѣ разлетѣлся было къ Ольгѣ Дмитріевнѣ, но Симскій предупредилъ его и сталъ съ нею во вторую пару.

— Опять вмѣстѣ! — прошепталъ Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, глядя на Ольгу Дмитріевну и Симскаго.— Ужь, видно, у нихъ все дѣло слажено... Вонъ и тетушка пошла выплясывать съ аптекаремъ!.. Да она-то, голубушка, изъ чего бьется?.. Вѣдь отъ живого мужа нельзя выйти замужъ и за нѣмца... Ну, — промолвилъ Обиняковъ, потирая руки, — будетъ мнѣ что поразсказать Лаврентію Никитичу.

Послѣ этого танца, Аграфена Петровна, у которой разболѣлась голова, отправилась домой вмѣстѣ со своею племянницей, а вслѣдъ за ними уѣхалъ и Симскій. Это послѣднее обстоятельство не укрылось также отъ бдительныхъ взоровъ Ардаліона Михайловича, который, впрочемъ, остался до самаго конца асамблеи, ради того, что у Адама Ѳомича Гутфеля эти вечеринки оканчивались всегда сытнымъ и хорошимъ ужиномъ.

VI.

Въ Земляномъ городѣ, между Тверской улицей и Никитскою, на самомъ *тупикѣ*, то есть въ концѣ глухого переулка, стоялъ высокій брусяной домъ съ теремомъ и *рундукомъ*, или по нынѣшнему террасою, надъ которою подымалась остроконечная кровля, подпертая двумя выдѣланными изъ толстыхъ бревенъ огромными балясинами. Этотъ домъ, принадлежащій думному дворянину Лаврентію Никитичу Рокотову, стоялъ посреди обширнаго двора или, вѣрнѣе сказать, огороженнаго поля, на которомъ, во всякомъ нѣмецкомъ городѣ, помѣстилось бы, по крайней мѣрѣ, двѣ площади, а при нуждѣ и нѣсколько улицъ съ переулками. Чтобъ добраться обыкновеннымъ ходомъ до хозяина дома, надобно было непремѣнно пройти черезъ запачканную переднюю, въ которой оборванные холопы днемъ сидѣли на лавкахъ, а ночью спали гдѣ ни попало: одни на коникѣ, а другіе въ повалку на грязномъ полу. По праву разсказчика, я могу васъ избавить отъ этого, любезные читатели, и попрошу васъ перенестись вмѣстѣ со мною прямо въ гостиную. Эту комнату можно было бы назвать, сравнительно съ другими, довольно опрятною, еслибъ въ ней, хотя изрѣдка, промывали стекла въ окнахъ и хотя разъ въ году обметали по угламъ паутину, которая, со дня кончины супруги Лаврентія Никитича, то-есть ровно три года сряду, оставалась неприкосновенною. Хозяинъ дома, Лаврентій Никитичъ Рокотовъ, бодрый старикъ лѣтъ шестидесяти, средняго роста, дородный, съ длинною бородою, крутымъ широкимъ лбомъ, навислыми бровями и угрюмымъ лицомъ, сидѣлъ за сытнымъ завтракомъ, на которомъ не было ни гданской водки, ни сыру, ни голландскихъ сельдей, ни нѣмецкихъ колбасъ, а была просто добрая настойка, жирный пирогъ съ вязигою, вяленая астраханская шемая, икра, балыкъ и цѣлыя пирамиды разнородныхъ блиновъ. Съ нимъ сидѣлъ Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, тотъ самый худощавый баринъ, который на асамблеѣ Адама Ѳомича Гутфеля подсматривалъ изподтишка за Симскимъ и Ольгою Дмитріевною.

— Ну что, Ардаліонъ Михайловичъ, — сказалъ хозяинъ,—вѣдь пирогъ то на славу испеченъ.

— Да, Лаврентій Никитичъ, пирогъ диковинный!

— Не прикажешь ли еще?

— Всенижайше благодарю!

— Такъ милости просимъ блинковъ!.. Ну что, каковы!

— У, батюшки!.. Что это... такъ во рту и таютъ!

— Право?.. Да, подлинно хороши!.. Ай да Аксинья! Истинно скажу: такой отличной стряпухи во всей Москвѣ не найдешь... Изволь ка вотъ этихъ съ припекою... Ну, что?

— Преизрядные!..

— Въ самомъ дѣлѣ? Пожалуй ка сюда... Да, не дурны, а все не то, что мои любимые... Вотъ откушай-ка этихъ, со снятками.

— Еще лучше!.. Пухлые, поджаристые!.. Вотъ это блины!.. Страшно ѣсть, Лаврентій Никитичъ: того и гляди, языкъ проглотишь!

— Не бойся, любезный; не проглотишь. Кушай на здоровье, кушай!.. И я тебѣ помогу... Да чтожъ ты, Ардаліонъ Михайловичъ, съ однимъ блиномъ не сладишь?.. Эхъ, братъ, съ тѣхъ поръ, какъ ты нарядился нѣмцемъ, такъ и кушать то сталъ по нѣмецки.

— Вы все еще, батюшка, изволите меня упрекать, зачѣмъ я по нѣмецки одѣваюсь... Да помилуйте, Лаврентій Никитичъ, ужь я вамъ докладывалъ: чтожъ мнѣ было дѣлать? Неволя скачетъ, неволя плачетъ, неволя пѣсенки поетъ. Я человѣкъ, служебный, состою подъ властію, а, вы знаете, всѣмъ магистратскимъ указано ходить въ нѣмецкихъ платьяхъ. Вотъ товарищъ мой, Степанъ Ивановичъ Спѣшневъ, сталъ было отнѣкиваться, такъ его тотъ-же-часъ на порогъ, да въ шею.

— Такъ чтожъ?.. Не служи!..

— Не служи! Вамъ хорошо, батюшка: вы проживете и отцовскимъ благословеніемъ. Вѣдь покойникъ то счету не зналъ своимъ отчинамъ, а я человѣкъ бѣдный... жена, дѣти...

— Нѣтъ, любезный, я на твоемъ мѣстѣ лучше бы съ сумою пошелъ, сталъ бы питаться Христовымъ именемъ... Ну, да и то сказать: человѣкъ на человѣка не приходитъ... Э, да чтожъ ты, любезный, пересталъ кушать?

— Нижайше благодарю, Лаврентій Никитичъ,—будетъ!

— Такъ то?.. Чтожъ это, первый блинъ да комомъ?

— Какой первый—помилуйте! Вотъ ужь за полдюжину перешло.

— Эка важность!.. Кушай, любезный, кушай!

— Никоимъ родомъ не могу, Лаврентій Никитичъ: душа не принимаетъ.

— Вотъ то-то и есть, братецъ, набаловался ты у этихъ нѣмцевъ; вѣдь они, чай, гостей то своихъ счетнымъ зерномъ кормятъ. Вотъ, примѣромъ, вчера на бѣсовскомъ сходбищѣ, у этого собачьяго сына, Гутфеля, ужь вѣрно также про гостей ужинъ былъ; чай, по ломтику протухлаго сыра, да по селедкѣ на брата — кушай на здоровье! А что, Ардаліонъ Михайловичъ, какъ ты свой ломтикъ сыру скушалъ, такъ другого и не попросилъ?

— Кто? Я-съ? Помилуйте, — стану я эту нѣмецкую дрянь ѣсть! Я и на вечеринкѣ то у него былъ ради того только, чтобъ пересказать вамъ...

— Да, да!.. Ну, что эта дура, Ханыкова, была тамъ со своею племянницей?

— Была, Лаврентій Никитичъ.

— Срамница!.. Чтожъ, онѣ плясали?

— Плясали; да еще какъ, батюшка: всѣхъ нѣмокъ за поясъ заткнули!

— Безстыдницы этакія!

— Лишь только вошли, вся молодежь такъ къ нимъ гурьбой и бросилась — и нѣмцы и русскіе; а онѣ съ ними и пошли, тара-бара, — и такъ и этакъ, и по нѣмецки...

— Какъ, ужели по нѣмецки?

— Да, сударь! Я самъ слышалъ.

— Вотъ до чего дошли!

— А пуще племянница—такъ и рѣжетъ!

— Ну, пора дядѣ пріѣхать!.. Я къ нему писалъ. Съ сестрой Максиму Петровичу дѣлать нечего — она отрѣзанный ломоть, а племянницу прибрать къ рукамъ не мѣшаетъ: вѣдь онъ ей вмѣсто отца родного... Что, чай, молодежь то около нихъ очень увивалась?

— Да, сударь. За Аграфеною Петровною Ханыковою сильно ухаживалъ какой то аптекарь, нѣмецъ, а за Ольгою Дмиріевною Запольскою вотъ этотъ офицерикъ, что мѣсяца два тому назадъ...

— Такъ онъ опять сюда пріѣхалъ?

— Видно, что такъ. Они все вмѣстѣ изволили выпля-

сывать. Сначала пошли минавею... Ужь было чего посмотрѣть—смѣхъ да и только!

— А что?

— Да какъ же, батюшка; чѣмъ бы имъ думать о своей пляскѣ, а они другъ на друга смотрятъ. Надо поклониться направо, а они кланяются налѣво. Она то вспыхнетъ, то поблѣднѣетъ; а онъ, пострѣлъ этакій, глядитъ на нее, да такъ глазами и ѣстъ!

— Экій срамъ, экій срамъ!

— А тамъ, какъ Аграфена Петровна собралась домой, такъ и онъ за ними слѣдомъ, — словно въ одной колымагѣ пріѣхали.

— Узналъ ли ты, какъ зовутъ этого подлипалу?

— Спрашивалъ, сударь; говорятъ, какой то... ну вотъ и позабылъ!.. Помню только, что роду хорошаго.

— Да вѣдь нынче не узнаешь, любезный. Ты отпустишь холопа на волю, а онъ твоимъ прозвищемъ станетъ называться. Теперь это ни почемъ, — какъ себѣ хочешь, такъ и прозывайся; истинно вавилонское столпотвореніе — смѣшеніе языковъ.

— Да, сударь, да, все перековеркано, Лаврентій Никитичъ, — продолжалъ Обиняковъ, смотря въ окно,—къ вамъ еще гость пріѣхалъ... кажись, Герасимъ Николаевичъ Шетневъ.

— Да, точно, это онъ... Эй, Ванька, вели подать свѣжихъ блиновъ!.. Я не ждалъ его сегодня... Видно, есть что-нибудь новенькое...

— Опять какая-нибудь нѣмецкая выдумка, батюшка.

— А вотъ посмотримъ.

Въ комнату вошелъ баринъ лѣтъ пятидесяти, въ шелковой ферязи, изъ-за которой подымался вышитый золотомъ высокій *козырь*, то-есть стоячій воротникъ кафтана, также шелковаго. Герасимъ Николаевичъ Шетневъ принадлежалъ къ числу *недовольныхъ* тогдашняго времени; онъ былъ человѣкъ не глупый, большой краснобай и отъявленный ненавистникъ всякихъ нововведеній и перемѣнъ, сближающихъ православную Русь съ этимъ окаяннымъ Западомъ. Шетневъ называлъ всѣ эти преобразованія нѣмецкимъ духомъ, и никто лучше его не доказывалъ, что этотъ нѣмецкій духъ есть духъ антихристовъ. Онъ не сказалъ бы Петру Алексѣевичу, какъ извѣстный Кикинъ: «Ты говоришь, Государь, что я уменъ; да за то-то я тебя и не

люблю: умъ любитъ просторъ, а при тебѣ ему тѣсно». Нѣтъ, Шетневъ любилъ, по его словамъ, рѣзать правду, да только втихомолку, въ кругу искреннихъ своихъ друзей; но зато ужь когда онъ сидѣлъ съ ними въ огромномъ покоѣ съ запертыми дверьми, за версту отъ передней, то надобно было его послушать. О, какъ доставалось тогда всѣмъ: и ближнимъ боярамъ, и нѣмецкимъ генераламъ, и этимъ выскочкамъ-временщикамъ, и самому старшому, котораго впрочемъ онъ въ этихъ случаяхъ никогда не называлъ по имени.

— Милости просимъ, Герасимъ Николаевичъ!—сказалъ хозяинъ, идя навстрѣчу къ своему гостю. Не ждалъ я тебя сегодня поутру.

— Здравствуйте, Лаврентій Никитичъ, здравствуйте!— промолвилъ Шетневъ, садясь.—Фу, батюшки, усталъ!

— Усталъ? Отчего?

— Какъ отчего? Ужь я сегодня ѣздилъ, ѣздилъ!.. Сейчасъ былъ на Крутицахъ у Ивана Ильича Чуфаровскаго. Я засталъ у него все нашихъ: князя Андрея Юрьевича Шелешпанскаго, Абрама Васильевича Воропанова, князя Алексѣя Трофимовича Хворостинина, Софрона Саввича Возницына, Петрушу Сорокоумова... Поговорили, потолковали. Что, братъ Лаврентій Никитичъ: часъ отъ часу не легче!

— А что?

— Да вотъ что: ты знаешь, что годовъ шесть тому назадъ, нашъ батюшка—дай Богъ ему добраго здоровья!— изволилъ обложить податью всѣ дворянскія бороды?

— Какъ не знать! Вѣдь и съ меня, старика, берутъ по шестидесяти рублей въ годъ за то, что я, православный, не хочу на поганаго нѣмца походить... Нечего сказать, дай, Господи, ему добраго здоровья!

— А вотъ Софронъ Саввичъ Возницынъ говоритъ, что слышалъ отъ вѣрныхъ людей, будтобъ вмѣсто шестидесяти станутъ брать съ каждой бороды по сту рублей.

— Ну, это еще что! То не бѣда, коли на деньгу пошла; пожалуй, бери себѣ!..

— Бери себѣ! Хорошо, кому въ моготу; а вотъ Петруша Сорокоумовъ такъ и завылъ.

— Скажи ему отъ меня: не горюй, дескать: не безъ добрыхъ людей,—помогутъ.

— И князь Шелешпанскій больно переполошился.

— Князь Шелешпанскій? Да онъ богаче меня.

— Богатъ, да не торовать. Ну, вотъ припомни мое слово: коли Возницынъ сказалъ правду, такъ этотъ скряга отмахнетъ себѣ бороду.

— Нѣтъ, любезный: хоть двѣсти рублей наложи, такъ онъ и тогда сберетъ съ крестьянъ рубликовъ триста прибавочнаго оброка, двѣсти отдастъ въ казну, сто положитъ себѣ въ карманъ, а ужь бороды ни за что не обрѣетъ,— не такой человѣкъ. Я сегодня звалъ его къ себѣ на блины... Что, онъ будетъ или нѣтъ?

— Будетъ. Онъ хотѣлъ было ѣхать вмѣстѣ со мною, да Чуфаровскій также масленицу справляетъ, а ты знаешь князя: какъ онъ наляжетъ на блины, такъ ты съ нимъ что хочешь, хоть въ дубье прими,—ни за что не отстанетъ.

— Да, русскій человѣкъ,—любитъ покушать.

— Я ему говорю: «Полно, князь Андрей, что ты на блины то навалился!» А онъ и ухомъ не ведетъ. «Поѣдемъ, говорю, князь, пора!» А онъ молчитъ да убираетъ за обѣ щеки. Ну, нечего сказать: здоровъ ѣсть! Какъ я сталъ прощаться съ хозяиномъ, такъ онъ между двухъ блиновъ пробормоталъ мнѣ въ догонку: «Скажи, дескать, Лаврентію Никитичу, что я безотмѣнно буду»... Ахъ, батюшки! Эка память, подумаешь, совсѣмъ забылъ! Какъ я къ тебѣ ѣхалъ, такъ знаешь ли, кого обогналъ?.. Максима Петровича Прокудина. Тащится нога за ногу въ дорожной повозкѣ; видно, прямо изъ своей серпуховской отчины.

— Слава тебѣ, Господи,—давно бы пора пріѣхать!

— А что?

— Такъ, любезный, домашнія дѣла. Ну что, нѣтъ ли у тебя еще чего-нибудь новенькаго?

— Есть, Лаврентій Никитичъ, есть!.. Да вотъ погоди... Не Прокудинъ ли въѣхалъ во дворъ?

— Онъ и есть!—вскричалъ хозяинъ, вставая.

Черезъ полминуты вошелъ въ гостиную Максимъ Петровичъ Прокудинъ; въ дверяхъ встрѣтилъ его съ низкимъ поклономъ Обиняковъ; хозяинъ принялъ съ распростертыми объятіями; Шетневъ также съ нимъ облобызался. Когда, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій и вопросовъ о здоровьѣ, всѣ опять усѣлись, двери снова распахнулись настежь, и въ комнату вошелъ князь Шелешпанскій. Этотъ сіятельный баринъ, ведущій свой родъ отъ удѣльныхъ князей Бѣлоозерскихъ, заслуживаетъ особеннаго описанія.

За нѣсколько мѣсяцевъ до смерти своего родителя, князь

Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій поступилъ изъ недорослей въ московское *жилецкое* войско *новикомъ*. Ему было тогда съ небольшимъ двадцать пять лѣтъ. Похоронивъ своего отца, онъ ударилъ челомъ объ увольненіи его на покой, ради всегдашней хворости, многоразличныхъ недуговъ и крайняго тѣлеснаго безсилія. Князь Андрей Юрьевичъ обыкновенно жилъ въ своей коломенской отчинѣ и только изрѣдка пріѣзжалъ въ Москву повидаться съ родными, изъ числа которыхъ былъ и Лаврентій Никитичъ Рокотовъ. Этого отставного новика можно было назвать виднымъ и красивымъ мужчиною; онъ былъ роста высокаго, широкъ въ плечахъ и очень дороденъ: румяное, полное лицо его, опушенное небольшою окладистою бородкою, казалось также, издалека, довольно благообразнымъ; но зато въ круглыхъ огромныхъ глазахъ его, похожихъ на слуховыя окна, выражалось какое то тупоуміе, которое однакожъ онъ не всегда оправдывалъ своими поступками и дѣлами. Пошлый дуракъ во всемъ, онъ былъ не только не глупъ, но даже очень смышленъ, когда дѣло шло о томъ, чтобъ дешево купить или дорого продать. Князь Шелешпанскій былъ извѣстный лошадиный охотникъ или, вѣрнѣе сказать, барышникъ, то-есть онъ любилъ не лошадей, а лошадиный торгъ такъ, какъ любятъ его и понимаютъ всѣ дюжинные барышники и цыгане. У него никогда не бывало завѣтнаго коня. Онъ безпрестанно покупалъ, продавалъ, а всего чаще мѣнялся лошадьми; и, надобно отдать ему справедливость, онъ былъ мастеръ этого дѣла. Никто не могъ бы выгоднѣе его сбыть съ рукъ испорченной лошади или промѣнять какую-нибудь запаленную, разбитую клячу на добраго и здороваго коня. Князь Андрей Юрьевичъ былъ очень богатъ и въ то же время чрезвычайно скупъ. Живя въ деревнѣ, онъ разъѣзжалъ по своимъ сосѣдямъ, весьма рѣдко угощалъ ихъ у себя, а остальное время обѣдалъ и ужиналъ поочереди у своихъ крестьянъ. Однажды забрались къ нему въ кладовую какъ то воры и украли тридцать окороковъ ветчины; это ужасное происшествіе до того поразило князя Шелешпанскаго, что съ тѣхъ поръ, разсказывая о какомъ-нибудь случаѣ, онъ всегда опредѣлялъ время покражею своей ветчины, то-есть вмѣсто того, чтобъ сказать: это случилось тогда то, или въ такомъ то году, онъ обыкновенно говаривалъ, что это было или до покражи или по покражѣ его ветчины.

— А, князь Андрей! Здравствуй, любезный! — сказалъ Рокотовъ, обнимая своего гостя.—Хорошъ молодецъ,—обѣщался ко мнѣ на блины, а поѣхалъ къ Чуфаровскому!

— Ничего, Лаврентій Никитичъ, ничего, — проревѣлъ князь Шелешпанскій:—намъ не впервые въ одно утро на двухъ блинахъ побывать; мы еще, благодаря Бога, постоимъ за себя!

— Любезный другъ, — продолжалъ Рокотовъ, подводя Шелешпанскаго къ Максиму Петровичу,—прошу познакомиться: пріятель мой и родственникъ, князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій.

— Очень радъ, батюшка, познакомиться съ тобою,— сказалъ Прокудинъ.

— Просимъ любить и жаловать!...— пробормоталъ Шелешпанскій.—Имя и отчества вашего не знаю.

— Окольничій Максимъ Петровичъ Прокудинъ,— прервалъ хозяинъ.

— Прокудинъ?... Слыхали, батюшка, слыхали!

— Ну чтожъ, дорогіе гости,— промолвилъ Рокотовъ,— блины горячіе на столѣ,—милости просимъ!

— Спасибо, Лаврентій Никитичъ,—отвѣчалъ Прокудинъ; —я ужъ поѣлъ.

— А ты, князь Андрей?

— Пожалуйте, пожалуйте!... Я отъ этого никогда не отказываюсь.

Шелешпанскій выпилъ добрую чарку настойки, присѣлъ къ столу и началъ дѣйствовать отличнымъ образомъ. Пока онъ справлялся съ блинами, Лаврентій Никитичъ усадилъ своихъ гостей, и между ними начался слѣдующій разговоръ.

ПРОКУДИНЪ.

Ну что, друзья сердечные, что у васъ новенькаго?

РОКОТОВЪ.

Мало ли что? Съ тѣхъ поръ, какъ Государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ пожаловать въ Москву, у насъ дня не пройдетъ безъ разныхъ выдумокъ. Вотъ Герасимъ Николаевичъ хотѣлъ мнѣ что то сообщить...

ШЕТНЕВЪ.

Да, новая новинка—и вещь не шуточная. Слыхалъ ли ты, Лаврентій Никитичъ, что такое сенатъ?

РОКОТОВЪ.

Сенатъ?... Нѣтъ, не слыхалъ.

ПРОКУДИНЪ.

Сенатъ?... Постойте ка!... Ну да, я читалъ въ книгѣ о языческихъ царствахъ, что въ древнемъ Римѣ былъ сенатъ, сирѣчь верховное судилищѣ.

ШЕТНЕВЪ.

Такъ прошу знать и вѣдать, что сегодня учрежденъ въ Москвѣ правительствующій сенатъ.

РОКОТОВЪ.

Правительствующій, то есть который станетъ всѣмъ править?

ШЕТНЕВЪ.

Да, онъ будетъ и разрядныя дѣла вѣдать, судить всякія тяжбы выше всѣхъ другихъ приказовъ, и царскую волю объявлять, и указы разсылать...

РОКОТОВЪ.

Да это ни дать, ни взять боярская дума...

ШЕТНЕВЪ.

Нѣтъ, любезный, сенатъ.

РОКОТОВЪ.

Да вѣдь въ этомъ сенатѣ будутъ засѣдать бояре?

ШЕТНЕВЪ.

Нѣтъ, Лаврентій Никитичъ, сенаторы.

РОКОТОВЪ.

А изъ кого же этихъ сенаторовъ понадѣлаютъ?

ШЕТНЕВЪ.

Вѣстимо дѣло, изъ бояръ.

РОКОТОВЪ.

Такъ и выходитъ по моему, что боярская дума, что этотъ сенатъ...

ШЕТНЕВЪ.

Нѣтъ, любезный, разница превеликая: боярская то дума, изволишь видѣть, по нашему—по русски, а сенатъ—по иноземному.

РОКОТОВЪ.

Чтожъ, отъ этого лучше что ль будетъ.

ПРОКУДИНЪ.

А какъ же! Посмотрите, какъ теперь дѣла то пойдутъ.

ШЕТНЕВЪ.

Думныхъ дьяковъ ужь не будетъ, а вмѣсто нихъ будутъ оберъ-секретари.

ПРОКУДИНЪ.

Вотъ оно что! Слышишь, Лаврентій Никитичъ вмѣсто думныхъ дьяковъ будутъ... какъ бишь ихъ?

ШЕТНЕВЪ.

Оберъ-секретари.

РОКОТОВЪ.

Такъ чтожъ? Крапивное семя какъ ни называй...

ПРОКУДИНЪ.

Что ты, что ты, помилуй! Коли думнаго дьяка будутъ называть по нѣмецки, такъ ужь къ нему, братъ, съ приносомъ не ходи!

РОКОТОВЪ.

А почему жъ нѣтъ?

ПРОКУДИНЪ.

Какъ это можно! Станетъ онъ взятки брать—сохрани,

Господи!... Развѣ ты не знаешь: любого мошенника Ваньку назови Іоганомъ—тотчасъ уймется воровать!

(Всѣ смѣются).

РОКОТОВЪ.

Ахъ ты, Господи, Господи!... Видно, нечего дѣлать... А знаешь ли ты, Герасимъ Николаевичъ, кого въ этотъ сенатъ посадили?

ШЕТНЕВЪ *(вынимая изъ за пазухи исписанный листъ бумаги).*

Какъ же! Вотъ у меня и списокъ есть.

РОКОТОВЪ.

Чай, все заморская братья.

ШЕТНЕВЪ.

Нѣтъ, имена то русскія.

ПРОКУДИНЪ.

Читай, читай!

ШЕТНЕВЪ *(читая)*

Во первыхъ: графъ Мусинъ-Пушкинъ...

ПРОКУДИНЪ.

Ужь коли графъ, такъ какой русскій!

РОКОТОВЪ.

Кто, Пушкинъ?.. Хуже всякаго нѣмца.

ОБИНЯКОВЪ.

А сиесь то, сударь, какая... Фу ты, батюшки! Съ тѣхъ поръ, какъ онъ изволилъ побывать въ Нѣметчинѣ, такъ и приступу къ нему нѣтъ.

РОКОТОВЪ.

Куда!... Онъ теперь съ нашимъ братомъ и говорить

не захочетъ. За моремъ побывалъ, уменъ сталъ! Вѣдь тамъ народъ все ученый; отъ послѣдняго мужика до знатнаго барина всѣ говорятъ по нѣмецкому. Тамъ все лучше нашего: и скотъ, и люди, и дома... Что дома! Тамъ, дескать, и звѣзды то свѣтятъ ярче нашего русскаго солнышка.

ПРОКУДИНЪ.

Читай, Герасимъ Николаевичъ, читай!

ШЕТНЕВЪ *(читая)*.

Тихонъ Стрѣшневъ.

ОВИНЯКОВЪ.

Задушевный другъ Адама Ѳомича Гутфеля.

РОКОТОВЪ.

Свой своему поневолѣ братъ.

ШЕТНЕВЪ *(читая)*.

Князь Петръ Голицынъ, князь Михайла Долгорукій...

ПРОКУДИНЪ.

Князь Михайла Долгорукій?... Первый изъ всѣхъ бояръ обрилъ себѣ бороду.

ШЕТНЕВЪ *(читая)*.

Григорій Племянниковъ...

РОКОТОВЪ.

Хорошъ молодецъ!.. Съ нѣмецкимъ пасторомъ хлѣбъ и соль водитъ!

ШЕТНЕВЪ *(читая)*.

Князь Григорій Волконскій, Михайла Самаринъ и Василій Опухтинъ.

РОКОТОВЪ.

Василій Опухтинъ?... Какой это Опухтинъ?

ШЕТНЕВЪ.

И я его не знаю.

КНЯЗЬ ШЕЛЕШПАНСКІЙ *(обтираясь салфеткою).*

Василій Опухтинъ?.. Мы съ нимъ люди знакомые.

РОКОТОВЪ.

Ну что онъ за человѣкъ такой?

КНЯЗЬ ШЕЛЕШПАНСКІЙ.

Мужикъ добрый... плоховатъ немного. Вотъ тому годовъ пять... или нѣтъ... это ужь было по покражѣ моей ветчины... года три или четыре... купилъ онъ у меня вороного жеребчика, статей не отличныхъ, и передкомъ слабенекъ... у меня въ возу ходилъ, а ему продалъ за персидскаго аргамака. Ужь онъ имъ любовался, любовался!... Такой простофиля, что и сказать нельзя!

ОБИНЯКОВЪ.

Вотъ, подумаешь, кажись, чего лучше: вы, Максимъ Петровичъ, изволили засѣдать въ старинувъ боярской думѣ; вы, батюшка Лаврентій Никитичъ, также; такъ чѣмъ бы хватать на улицѣ и встрѣчнаго и поперечнаго...

РОКОТОВЪ.

И, полно, Ардаліонъ Михайловичъ, куда намъ въ сенаторы!

ШЕТНЕВЪ.

Правда, другъ сердечный, правда! *(Встаетъ).* Ну, прощай, Лаврентій Никитичъ!...

РОКОТОВЪ.

Куда ты спѣшишь?

ШЕТНЕВЪ.

Да надобно, любезный, еще мѣстахъ въ трехъ побывать.

Теперь ѣду на Берсеньевку, къ Матвѣю Сидоровичу Баклановскому.

ОБИНЯКОВЪ.

Такъ сдѣлайте милость, Герасимъ Николаевичъ, довезите меня до дому: вамъ по дорогѣ.

ШЕТНЕВЪ.

Изволь, братецъ, довезу. До свиданья, другъ сердечный!.. Милости просимъ къ намъ, Максимъ Петровичъ! *(Шетневъ и Обиняковъ уходятъ).*

КНЯЗЬ ШЕЛЕШПАНСКІЙ *(вставая).*

И мнѣ пора

РОКОТОВЪ.

А ты, князь, куда?

КНЯЗЬ ШЕЛЕШПАНСКІЙ.

Къ Григорію Ѳадденчу Таптыкову; онъ звалъ меня сегодня на блины.

РОКОТОВЪ.

Ну, князь, видно, у тебя жернова то хорошо мелютъ. Въ одно утро на трехъ блинахъ!

КНЯЗЬ ШЕЛЕШПАНСКІЙ.

Да это что, Лаврентій Никитичъ! Такъ ли я бывало ѣдалъ въ старину. Вотъ однажды... давно ужь, этакъ еще годовъ шесть до покражи моей ветчины, у князя Гагина, на завтракѣ, за споромъ дѣло стало; говорятъ мнѣ: «Не съѣшь, дескать, князь, за одинъ пріемъ двѣ дюжины блиновъ съ припекою»; а я говорю, «съѣмъ!» Вотъ подали блины; я присѣлъ сначала полегоньку, а тамъ какъ принялся вплотную,—пошелъ да пошелъ!... Какъ теперь помню—такъ за ушми и пищитъ. Съѣлъ дюжину, съѣлъ другую,—кричу: «подавай третью!» Чтожъ, сударь, какъ сѣли мы послѣ обѣдать, такъ я какъ ни въ чемъ не бывало! Полъгуся съѣлъ, да ни одной похлебки не пропустилъ, а ихъ было до восьми!.. Нѣтъ, теперь ужь не то!

РОКОТОВЪ.

И, князь, что Бога гнѣвить: хорошо и теперь!

КНЯЗЬ ШЕЛЕШПАНСКІЙ.

Счастливо оставаться, Лаврентій Никитичъ!... Прощенья просимъ, батюшка Максимъ Петровичъ! Прошу не оставлять меня вашею милостью!..

(Цѣлуется въ Рокотовымъ и Прокудинымъ; потомъ, низко поклонясь обоимъ, уходитъ).

VII.

— Уѣхали!—сказалъ Прокудинъ.—Теперь, Лаврентій Никитичъ, намъ можно поговорить съ тобой на просторѣ. Ну, любезный, получилъ я отъ тебя грамотку.. И теперь очнуться не могу!... Ты пишешь ко мнѣ...

— Сущую правду, другъ сердечный: Аграфена Петровна сгубитъ твою племянницу. Вотъ и вчера онѣ были на асамблеѣ у этого колбасника Гутфеля, плясали съ нѣмцами, говорили по нѣмецкому и разныя другія неподобныя дѣла чинили. Около твоей сестрицы увивался какой то аптекарь-нѣмецъ, а съ племянницею только что не цѣловался тотъ же самый офицерикъ, о которомъ я тебѣ писалъ. Эй, Максимъ Петровичъ, послушайся меня: увези отсюда племянницу!

— Я затѣмъ и пріѣхалъ. Да что это съ сестрой то сдѣлалось?

— Что сдѣлалось? Вѣстимо что: плясать то веселѣе, чѣмъ сидѣть дома за рукодѣльемъ.

— Ну, такъ ли она была воспитана въ отцовскомъ дому!

— И, любезный, стоитъ только начать, а ужь тамъ лукавый поможетъ! Да ты съ нею видѣлся или нѣтъ?

— Нѣтъ еще; я прямо къ тебѣ взъѣхалъ.

— И хорошо сдѣлалъ, Максимъ Петровичъ.

— Конечно, ей очень будетъ прискорбно, что я не хотѣлъ у ней остановиться...

— А Богъ вѣсть! Ты для нея теперь хуже всякаго пугала. «Вотъ, дескать, бука пріѣхалъ какой! При немъ

нельзя будетъ и повеселиться!» Да и ты, Максимъ Петровичъ, не долго бы у нея нагостилъ: къ ней шляются всякіе нѣмцы, а вѣдь ты ихъ не очень жалуешь. И что тебѣ до сестры? Она замужемъ, сама себѣ госпожа... Ты подумайка лучше о племянницѣ.

— Думаю, Лаврентій Никитичъ, думаю, да не знаю, что придумать. Вотъ кабы она была дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, такъ увезъ бы ее къ себѣ въ деревню, да и концы въ воду; а вѣдь Ольга Дмитріевна ужь невѣста, отвѣдала волюшки, такъ съ ней теперь и не сладишь. И то сказать: я человѣкъ вдовый, одинокій, ей не съ кѣмъ будетъ у меня словечка перемолвить, съ тоски умретъ!... Вотъ кабы Богъ послалъ женишка...

— А что ты думаешь! Послушай-ка, Максимъ Петровичъ, тебѣ какого надобно жениха?

— Извѣстное дѣло: я хочу, чтобъ онъ былъ ровня моей племянницѣ.

— Сирѣчь роду хорошаго, человѣкъ добрый, не старый, съ достаткомъ, а пуще всего нашъ братъ русскій.

— Ну да!

— Такъ изволь, другъ сердечный, я тебѣ жениха поставлю. Онъ ужь давно ищетъ себѣ невѣсты и меня объ этомъ просилъ.

— А кто онъ таковъ?

— Ты сейчасъ его видѣлъ: князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій. Вѣдь онъ еще не женатъ.

Прокудинъ покачалъ головою.

— А что, — продолжалъ Рокотовъ, — чѣмъ же онъ худъ? Собою молодецъ...

— Да, — молвилъ Максимъ Петровичъ, — что и говорить: высокъ и дороденъ.

— Природный князь...

— Что князь! Этимъ насъ, любезный, не удивишь. Такихъ дробныхъ князей, какъ онъ, у насъ на Руси пудовками мѣряютъ.

— Человѣкъ богатый.

— Вотъ это не худо... Конечно, и племянница моя невѣста богатая: я за нею укрѣплю все мое имѣнье, и отцовскаго то у нея довольно...

— Тѣмъ лучше, любезный, — подавай намъ! — Масломъ каши не испортишь.

— А что, обычаемъ то онъ каковъ?

— Сущій ягненокъ! Малый тихій, разсудительный; ему еще и сорока годовъ нѣтъ, а такой степенный, что нашему брату-старику подъ-стать будетъ. Любитъ держаться старины, нѣмцевъ терпѣть не можетъ...

— Вотъ что хорошо, то хорошо! А все, любезный...

— Что все?... Ужь не браковать ли хочешь? Помилуй, Максимъ Петровичъ!... Коли князь Андрей не женихъ, такъ какого же тебѣ жениха надобно?

— Кто говоритъ, женихъ хорошій: въ порѣ, собой не дуренъ; да вотъ тутъ то,—промолвилъ Прокудинъ, указывая на свою голову,—кажись, у него вѣтерокъ посвистываетъ.

— А что? По твоему глупъ? Нѣтъ, любезный, ошибаешься! Конечно, онъ парень не рѣчистый и смотритъ увальнемъ, а попытайся-ка его провести,—трехъ дней не проживешь. Да, Максимъ Петровичъ, князь Андрей не краснобай, не фертикъ какой-нибудь, а человѣкъ дѣльный. Говорятъ, будто бы скупенекъ немного, да это не бѣда: скупость не глупость. Поглядишь, у другого изъ отцовскихъ вотчинъ ни кола, ни двора не осталось, а у него изъ двухъ тысячъ родовыхъ душъ выросло четыре...

— Четыре тысячи душъ?

— А поживетъ, такъ и восемь будетъ.

— Ну, конечно, такого женишка охаять нельзя; ты же его хвалишь...

— Такъ чтожъ? По рукамъ что ль?

— Я не прочь отъ этого, Лаврентій Никитичъ, и если онъ приглянется моей племянницѣ...

— Приглянется?... Вотъ еще!... Да ей то что до этого? Развѣ у насъ на Руси невѣсты сами жениховъ себѣ выбираютъ? Какъ мы это дѣло межъ собой уладимъ, такъ ты ей скажешь: «Племянница, я выдаю тебя замужъ за князя Андрея Юрьевича Шелешпанскаго; мы ужь съ нимъ по рукамъ ударили». Вотъ и все!

— Конечно, любезный, конечно! У насъ всегда такъ важивалось, и женихъ вовсе не знаетъ, на комъ женится, и невѣста не вѣдаетъ, за кого выходитъ замужъ... Да полно, хорошо ли это?...

— Что, что?... Хорошо ли то, чему насъ учили отцы и дѣды?... Максимъ Петровичъ, о своемъ ли ты умѣ?... И какъ языкъ у тебя повернулся говорить такія рѣчи?...

— Да ты не гнѣвайся, а выслушай. И ты, чай, не ку-

пишь за глаза деревни? Дай, дескать, посмотрю самъ, каковы угодья, то, другое...

— Вотъ куда тебя бросило!... Да развѣ это то? Развѣ мужа то покупаютъ?

— Оно такъ! Да скажи-ка мнѣ: женился ли бы на моей племянницѣ твой князь Шелешпанскій, кабы за ней не было души христіанской?

— Ну, вотъ еще!... Да и ты не выдалъ бы ее за какого-нибудь нищаго, а коли онъ богатъ и она съ достаткомъ, такъ о чемъ и толковать?

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ, насмотрѣлся я на моемъ вѣку! Не приведи, Господи, жить съ немилымъ человѣкомъ! Вѣдь вѣкъ то прожить не поле перейти.

— А чтожъ, по твоему, лучше бъ было, жениха то съ невѣстою познакомить, да спросить у нихъ любы ли они другъ другу?

— А почему бы и не такъ?

— Ба, ба, ба... Максимъ Петровичъ, что это съ тобой сдѣлалось?... Гдѣ ты набрался этого нѣмецкаго духу?

— Ну, вотъ ужь и нѣмецкаго духу!... Да я не знаю, какъ нѣмцы то и женятся, а говорю такъ по своему разсужденію.

— Полно, Максимъ Петровичъ, не хитри! Я вижу, братъ, чего ты хочешь. Тебѣ захотѣлось изъ окольничихъ то въ сенаторы.

— Нѣтъ, Лаврентій Никитичъ, не обижай!

— Что не обижай! Не ты первый, не ты послѣдній... Дѣлать нечего: служи, любезный, служи двумъ господамъ!

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ, ну какъ тебѣ не совѣстно? Ты знаешь, что я крѣпко держусь нашихъ старинныхъ обычаевъ, а это такъ на мысль мнѣ пришло. Что, дескать, это такое? И пріятелемъ не будешь человѣку, если прежде съ нимъ не познакомишься: а вѣдь мужъ то и жена не то, что пріятели: коли они не живутъ душа въ душу, такъ житье то ихъ не больно завидное.

— Да неужели, Максимъ Петровичъ, по твоему, коли дѣтина личмянный приглянется дѣвкѣ, такъ онъ ей и мужъ?

— Кто говоритъ! Коли дѣвица будетъ на одну мужскую красоту зариться...

— А ты думаешь на что? Станетъ молодая дѣвка толковать о томъ, о чемъ мы теперь съ тобой толкуемъ? Ей что за дѣло, есть ли у суженаго достатокъ, хорошаго ли

онъ роду, каковъ обычаемъ, — былъ бы только молодецъ собою. У нихъ только и рѣчей: «хорошъ, дескать, и пригожъ—по-сердцу пришелъ!» А тамъ, глядишь, пригожій то мужъ хуже чорта будетъ. Да вотъ, примѣромъ сказать, дай волю своей племянницѣ, такъ я голову мою прозакладаю, что она выйдетъ замужъ за этого офицерика, который по вечеринкамъ то около нея изволитъ ухаживать. А что онъ за человѣкъ такой? Кто его знаетъ?... Чай, какая-нибудь голь безпомѣстная, а можетъ статься и холопскій сынъ. Вѣдь нынче не узнаешь, и коли отдаешь въ солдаты парня попроворнѣе, такъ кланяйся ему въ поясъ: «будешь, дескать, батюшка, во времени, о насъ, грѣшныхъ вспомяни!

— Нѣтъ, Лаврентій Никитичъ! — прервалъ съ жаромъ Прокудинъ, я еще изъ ума не выжилъ, и хоть Ольга не дочь моя родная, а изъ послушанія моего не выступитъ. Пока я живъ, не бывать ей замужемъ за какимъ-нибудь прындикомъ въ кургузомъ кафтанишкѣ, да съ бритою бородою. Я хочу жить съ племянникомъ въ ладу, а съ заморскимъ щеголемъ и полунѣмцемъ у меня никогда ладу не будетъ.

— Такъ то говоришь, любезный, а все до поры до времени. Вѣдь этотъ молодчикъ, говорятъ, въ большой милости у Александра Даниловича Меншикова, а можетъ статься и самъ Государь его жалуетъ.

— Этимъ, Лаврентій Никитичъ, меня не прельстишь.

— Знаю, другъ сердечный, знаю! Да если самъ Государь Петръ Алексѣевичъ возьмется за это дѣло? Вѣдь онъ ужь много этакихъ бобылей переженилъ.

— А что ты думаешь?... Чего добраго!... Мнѣ сказывали, что онъ за крестника своего, какого то черномазаго арапа, сирѣчь мурина, высваталъ знатную и богатую невѣсту.

— Вотъ то-то-же! Ну, коли онъ самъ, нашъ батюшка, пожалуетъ къ тебѣ сватомъ?...

— Сохрани Господи!

— Что ты тогда скажешь, а?...

— Вѣстимо что: его царская воля!

— Вотъ то-то и есть. Эй, послушайся меня, выдавай скорѣй племянницу замужъ! У этихъ гвардейскихъ офицериковъ, а пуще у царскихъ деньщиковъ, чутье хорошее,— какъ разъ провѣдаютъ о богатой невѣстѣ, да тамъ и бухъ

Царю въ ноги; а ему то, нашему батюшкѣ, то и съ руки. Поди ка, жалуй всѣхъ за службу помѣстьями!... А тутъ что? Сосватался, да женился на богатой дѣвицѣ—вотъ тебѣ, голубчикъ, и помѣстье!

— Правда, правда, любезный,—дѣло статочное!...

— Да и гдѣ ты найдешь лучше жениха для твоей Ольги Дмитріевны? Князь Шелешпанскій роду знаменитаго, богатъ, парень добрый,—онъ ее на рукахъ станетъ носить; да и къ тому жъ одинъ какъ перстъ; у племянницы твоей ни свекра, ни свекрови не будетъ,—кланяться некому; лишь только отъ вѣнца, такъ и хозяйка въ дому, барыня!...

— Такъ, такъ!

— Князь Андрей станетъ почитать тебя какъ отца роднаго. Ступай ка, любезный, породнись съ какимъ-нибудь нынѣшнимъ молодчикомъ, такъ онъ тебѣ и слова не дастъ вымолвить; а этотъ зятекъ умничать не будетъ: что ты скажешь, то и свято.

Прокудинъ призадумался.

— Ну что, Максимъ Петровичъ, — продолжалъ Рокотовъ,—помолчавъ нѣсколько времени,—по рукамъ что-ль?

— По мнѣ пожалуй!—отвѣчалъ Прокудинъ.—Ты такъ расхваливаешь своего жениха... а я тебѣ, другъ сердечный, вѣрю. Неужли ты захочешь погубить мою племянницу?

— Сохрани Господи?

— Вотъ то-то и есть!... Я боюсь только, чтобъ она не заартачилась.

— Вѣстимо дѣло, если ты скажешь ей объ этомъ теперь. Здѣсь она изволитъ забавляться, по асамблеямъ разъѣзжать, около нея ухаживаютъ всякіе молодчики... Ну, конечно, это веселѣе, чѣмъ выйдти замужъ, сидѣть дома, да хозяйничать. Ты прежде увези ее къ себѣ въ деревню. Вотъ какъ поживетъ съ тобой мѣсяцъ другой, такъ дурь то изъ головушки выйдетъ.

— Полно, выйдетъ ли? Вѣдь она ужь теперь поизбаловалась: ей будетъ у меня скучно...

— Тѣмъ лучше, Максимъ Петровичъ; того то намъ и надо!... Коли ей скучно будетъ у тебя жить, такъ пойдетъ охотой замужъ. Отъ веселья веселья не ищутъ, а отъ скуки-то иногда и въ петлю полѣзешь. Я здѣсь улажу все дѣло съ княземъ, ты ей аскжешь, что слово далъ, а тамъ, на Ѳоминой недѣлѣ, я прикачу къ тебѣ съ женихомъ, остановлюсь съ нимъ на селѣ; ты свою невѣсту снарядишь,

отвезешь въ церковь, мы ее примемъ, да и подъ вѣнецъ!... Ну что головой покачиваешь? Конечно такъ.

— А если она заупрямится?

— Что на это смотрѣть; ты все таки вези ее въ церковь.

— Учнетъ плакать...

— И, Максимъ Петровичъ, — дѣвичьи слезы — вода! Извѣстное дѣло: всѣ невѣсты до вѣнца плачутъ, ужь это у нихъ такъ заведено. Да будь же благонадеженъ, все уладится какъ нельзя лучше, увези только отсюда племянницу.

— Ну, хорошо. Мы еще объ этомъ съ тобой потолкуемъ,—молвилъ Прокудинъ, вставая, а межъ тѣмъ прикажи ка заложить для меня сани, я поѣду къ сестрѣ. Да не худо бы также принарядиться: на мнѣ дорожное платье, а еще неравно у сестры гостей застанешь...

— А вотъ пожалуй со мною, — сказалъ Рокотовъ,— также вставая.—Я провожу тебя до твоей половины; изволь тамъ располагаться какъ у себя дома.

Теперь, пока Максимъ Петровичъ одѣвается, чтобъ ѣхать къ сестрѣ, мы можемъ предупредить его, то есть отправиться на Покровку, къ Аграфенѣ Петровнѣ Ханыковой. Въ то время Покровская улица была почти вся застроена княжескими и боярскими домами. Въ ней были дворы князей: Пронскихъ, Сицкихъ, Мосальскихъ, Волконскихъ, Мещерскихъ, Мордкиныхъ, Куракиныхъ, Лыковыхъ и многихъ другихъ. Не смотря на это аристократическое сосѣдство, домъ, въ которомъ жила Аграфена Петровна, вовсе не могъ назваться барскимъ. Этотъ небольшой, чистенькій домикъ, съ свѣтлыми окнами и красною черепичною кровлею, казался еще менѣе, но въ тоже время и красивѣе оттого, что рядомъ съ нимъ стояли съ одной стороны огромныя уродливыя хоромы сибирскаго царевича Андрея Кучумова, а съ другой ветхія, обросшія мхомъ и запачканныя палаты князя Василія Тюменскаго. Въ одной изъ комнатъ этого скромнаго домика сидѣли за рукодѣльемъ Аграфена Петровна и племянница ея, Ольга Дмитріевна Запольская; онѣ обѣ обшивали кружевами атласное пунцовое фуро, въ которомъ Запольская была наканунѣ у Гутфеля.

— Ну, вотъ такъ и есть!—сказала Ханыкова, снимая съ пальца наперстокъ: ровнехонько полъаршина не достаетъ... Дѣлать нечего! Ты помнишь, Олинька, лавку, въ которой мы кружево покупали?

— Помню, тетушка.

— Такъ возьми съ собою мамушку Григорьевну, да Максимку на запятки и съѣзди въ городъ. Я возокъ давно ужь велѣла заложить. Олинька,—промолвила Ханыкова,—вставая,—на ка тебѣ платье то... приподыми его кверху... вотъ такъ... Ну что, не правду ли я тебѣ говорила: совсѣмъ другое стало?

— Да, тетушка; только цвѣтъ...

— И, полно, радость моя, что такое цвѣтъ!... Какъ будто бы у тебя двухъ алыхъ фуро быть не можетъ. Да ужь повѣрь мнѣ, жизнь моя, никому и въ голову не придетъ, что ты была въ немъ на асамблеѣ у Гутфеля.

— А что, тетушка, завтра у Стрѣшневыхъ простая вечеринка или также асамблея?

— Асамблея, мой другъ.

— И много будетъ?

— Я думаю. Стрѣшневъ вчера у Гутфеля звалъ къ себѣ всю молодежь.

— Такъ поэтому у него будетъ и Василій Михайловичъ?...

— Симскій?... Какъ же! Стрѣшневъ при мнѣ его просилъ.

— Такъ онъ будетъ?... Какъ я рада!

— Что ты, что ты, матушка, перекрестись!

— А что, тетушка?

— Ну можно ли дѣвицѣ такія рѣчи говорить! Хорошо, что мы однѣ, а коли ты этакъ при людяхъ промолвишься, вѣдь иной подумаетъ и Богъ вѣсть что! Симскій, конечно, молодецъ прекрасный и танцуетъ хорошо, а все таки тебѣ не слѣдъ радоваться, что ты съ нимъ увидишься у Стрѣшневыхъ.

— Я это, тетушка, сказала.. такъ...

— Вотъ кабы онъ былъ твоимъ женихомъ, такъ это дѣло другое, тогда такая и мѣра; а теперь ты знай себя... Да что объ этомъ говорить!... Все это пустячки, мой другъ!.. Эти гвардейскіе офицеры любятъ только такъ... пошалберить, амурное словцо отпустить, а какіе они женихи!... Вѣдь они у насъ въ Москвѣ ни дать, ни взять перелетныя пташечки: сегодня здѣсь, а завтра и поминай какъ звали!.. Олинька, посмотри ка, мой другъ, кто это въѣхалъ къ намъ во дворъ?

— Не знаю, тетушка. Какой то господинъ, только я его никогда не видывала.

— Лицо какъ будто бы знакомое, а хоть убей—не знаю кто.

— Здравствуйте, матушка Аграфена Петровна! — сказалъ Данила Никифоровичъ Загоскинъ, входя въ комнату.— Не прогнѣвайтесь, что я вошелъ къ вамъ безъ доклада: у васъ въ передней никого нѣтъ. Да чтожъ вы, Аграфена Петровна, изволите на меня такъ смотрѣть? И вы, сударыня Ольга Дмитріевна?... Иль не узнали стариннаго пріятеля?

— Возможно ли! — вскричала съ радостію Ханыкова.— Это вы, Данила Никифоровичъ?

— Я, матушка.

— Ахъ, какъ я рада! Насилу то вы за умъ взялись!

— А что, Аграфена Петровна, этакъ лучше?

— Какъ можно сравнить! Да вы теперь совсѣмъ другой человѣкъ.

— И жена говоритъ то же, да только не такъ.

— Привыкнетъ, Данила Никифоровичъ.

— Вѣстимо дѣло, привыкнетъ когда-нибудь. А знаете ли что, матушка: бороду я себѣ обрилъ, а вѣдь часомъ и мнѣ бываетъ ее жаль.

— И, полноте!

— Право такъ. Все какъ будто бы чего то не достаетъ. Я-жъ ее, мою голубушку, такъ холилъ!... Ну, да что объ этомъ!... Не съ бородою жить, а съ добрыми людьми. Я пріѣхалъ къ вамъ, Аграфена Петровна, во-первыхъ ради того, чтобъ повидаться съ вами и съ вашею прелюбезною племянницею, а во-вторыхъ, матушка,—промолвилъ Данила Никифоровичъ вполголоса,—у меня до васъ и дѣльце есть.

— А что такое?

— Да мнѣ бы нужно объ этомъ съ глазу на глазъ поговорить съ вами.

— Извольте, батюшка, извольте! Олинька, ну что жъ ты въ городъ то не ѣдешь? Пора!... Ступай, мой другъ.

Когда Ольга Дмитріевна вышла изъ комнаты, Данила Никифоровичъ примѣтнымъ образомъ смутился; онъ началъ переминаться, кашлять и поглаживать рукою свой голый подбородокъ.

— Ну, вотъ мы теперь одни, — сказала Ханыкова,— извольте говорить.

— Охъ, сударыня моя! — промолвилъ Данила Никифоровичъ, — дѣло то мое непривычное... не знаю съ чего начать...

— Чтожъ это такое?

— Не бойтесь, матушка, страшнаго ничего нѣтъ. Вотъ изволите видѣть... какъ бы мнѣ вамъ сказать... ну, такъ и быть, — вѣдь въ старину всегда этимъ начинали... Матушка Аграфена Петровна, у васъ есть товаръ, а у насъ купецъ.

— Какъ, Данила Никифоровичъ, вы пріѣхали ко мнѣ сватомъ?

— Да, государыня, я пріѣхалъ сватать вашу племянницу, Ольгу Дмитріевну Запольскую.

— За кого?

— Есть у меня родной племянникъ, такой же сирота, какъ и ваша Ольга Дмитріевна: отца у него убили подъ Нарвою, а старушка мать скончалась въ запрошломъ году. Онъ человѣкъ съ достаткомъ, малый прекрасный, на хорошей дорогѣ, собой молодецъ... да что тутъ говорить: вы лично его изволите знать.

— Я его знаю? Да кто жъ онъ такой?

— Василій Михайловичъ Симскій.

— Симскій!... Такъ онъ вашъ племянникъ?

— Да, матушка, сынъ родной моей сестры, Авдотьи Никифоровны. Ну чтожъ, какихъ вы о немъ мыслей?

— Самыхъ хорошихъ, батюшка. Онъ молодецъ прекрасный, умный и, какъ мнѣ кажется, истинно достойный человѣкъ.

— Такъ поэтому племянникъ можетъ надѣяться?

— Вотъ это рѣчь иная, Данила Никифоровичъ: на это отвѣчать я ничего не могу. Объ этомъ извольте спросить у брата моего, Максима Петровича Прокудина, изъ воли котораго Олинька никакъ не выступитъ.

— Я знаю, матушка, что Ольга Дмитріевна взросла на рукахъ у вашего братца Максима Петровича и всеконечно должна во всемъ ему повиноваться, да неужели онъ обракуетъ такого жениха, какъ мой племянникъ?

— А Богъ вѣсть, Данила Никифоровичъ. Максимъ Петровичъ человѣкъ нравный, не очень долюбливаетъ нынѣшнюю молодежь, и коли онъ забралъ себѣ въ голову выдать племянницу за человѣка, который такъ же, какъ онъ, придерживается старины, бороды не брѣетъ и въ нѣмецкомъ платьѣ не ходитъ, такъ не прогнѣвайтесь!... Онъ любитъ Олиньку какъ дочь родную, да за то хочетъ, чтобъ и она его слушалась какъ отца роднаго.

— Ну, дѣлать нечего,—надобно будетъ скакать къ нему въ деревню. А вы ужь, Аграфена Петровна, сдѣлайте милость, скажите объ этомъ вашей племянницѣ.

— Что вы, Данила Никифоровичъ, стану я объ этомъ говорить Олинькѣ!... Коли дѣло пойдетъ на ладъ, успѣю сказать и тогда; а коли изъ этого ничего не выйдетъ, такъ лучше, чтобъ она вовсе не знала, что Василій Михайловичъ за нее сватался. Можетъ статься, онъ и теперь ей нравится, да это все не то: мало ли молодцевъ на свѣтѣ, обо всѣхъ плакать не станешь, а женихъ... сохрани Господи, да его вѣкъ не забудешь!

— Правда, матушка, правда!... Ну, дай Богъ вамъ здоровья, — разумный вы человѣкъ, Аграфена Петровна!... Да что и говорить: въ этихъ дѣлахъ нашъ братъ мужчина не токмо передъ вами, да и передъ всякою женщиной дуракъ дуракомъ!

Въ комнату вошелъ или, лучше сказать, вбѣжалъ слуга; онъ растворилъ настежъ обѣ половинки дверей и проговорилъ торопливымъ голосомъ:

— Государыня Аграфена Петровна, Максимъ Петровичъ изволилъ пріѣхать!

Ханыкова вспыхнула; Данила Никифоровичъ также смутился.

— Здравствуй, сестра! — сказалъ Прокудинъ, входя въ комнату.

— Ахъ, батюшка братецъ! — вскричала Ханыкова, кидаясь на шею къ Максиму Петровичу. Вотъ ужъ я никакъ не ожидала...

— Я думаю, что не ожидала, — молвилъ Прокудинъ, взглянувъ изъ подлобья на Данилу Никифоровича.

— Что, матушка, видно не въ пору гость хуже татарина?

— Ахъ, братецъ, боитесь ли вы Бога? Ну можно ли этакъ шутить!... Какъ жаль, что Олиньки нѣтъ дома: она поѣхала съ мамушкой въ городъ кой что себѣ купить, — сейчасъ воротится.

— Здорово, другъ сердечный! — сказалъ Данила Никифоровичъ, подходя къ Прокудину. Ну что ты на меня смотришь?

— Да вотъ гляжу, батюшка! откуда Господь шлетъ мнѣ такого сердечнаго друга?

— Скажи пожалуйста!... Такъ ты по голосу то меня не узнаешь?

— Господи, Господи! — вскричалъ съ ужасомъ Прокудинъ. Данила Никифоровичъ!

— Да, любезный, это я...

— Ты?... Да, нѣтъ, нѣтъ,—это демонское навожденіе!... Въ этомъ нѣмецкомъ кафтанѣ... съ бритою бородою!... Фу, батюшки, въ глазахъ позеленѣло, ноги подкосились! — прибавилъ шопотомъ Максимъ Петровичъ, опускаясь въ кресла, которыя ему пододвинула Аграфена Петровна.

— И, любезный! — сказалъ, садясь подлѣ него, Данила Никифоровичъ, есть отъ чего ногамъ подкоситься!

— Ну,—промолвилъ Максимъ Петровичъ,—этого то ужъ я никакъ не ожидалъ!... До меня слухи дошли, что сестра водитъ хлѣбъ соль съ нѣмцами и что они, проклятые, каждый день къ ней таскаются. Ну, такъ и есть, подумалъ я, вотъ ужъ одинъ нѣмецъ на лицо! Нѣмецъ!... Данила Никифоровичъ!!

— Эхъ, полно, Максимъ Петровичъ! Ну, что въ самомъ дѣлѣ: погнѣвался, пожурилъ, да и будетъ!

— А что, старинный другъ и пріятель, — продолжалъ Прокудинъ, скажи ка мнѣ по совѣсти... О, Господи, и спросить то страшно... Да ужъ такъ и быть—рѣжь однимъ разомъ!... Что ты, Данила Никифоровичъ, вѣру перемѣнилъ?

— Вѣру?... Что ты, что ты, перекрестись!

— Такъ еще не перемѣнилъ? Слава тебѣ Господи!

— Помилуй, съ чего ты взялъ?...

— Съ чего! Да не погнѣвайся, коли нашъ братъ, старикъ, безъ всякаго принужденія, а по своей собственной охотѣ пойдетъ на такое дѣло, такъ поневолѣ подумаешь, что ему въ нѣмецкую кирку захотѣлось.

— Эхъ, любезный!... Ну какъ тебѣ не совѣстно, человѣку умному, такія рѣчи говорить? Да неужели по твоему вся сила православія въ нашей бородѣ? И коли я, по какимъ ли есть причинамъ...

— Такъ сдѣлай милость,—подхватилъ Прокудинъ, скажи мнѣ, ради чего ты изволилъ оскоблить свою бороду?

— Изволь, скажу. Не знаю, захочешь ли ты понять меня, а коли захочешь, такъ поймешь. Господь Богъ послалъ намъ такого Царя, какого еще до сихъ поръ нигдѣ не бывало. На войнѣ—Александръ Македонскій, на судѣ—премудрый Соломонъ; въ чужихъ краяхъ — простой работникъ, поденщикъ, ради того, чтобъ перенять все хорошее и извѣдать, не по разсказамъ, а на себѣ самомъ, что при-

годно и полезно для нашей матушки святой Руси; дома у себя — хозяинъ, да еще какой! Ему нужды нѣтъ, что онъ трудится въ потѣ лица и сѣетъ то, что пожнутъ другіе: «Я, дескать, умру, но Русь то святая не умретъ; теперь можетъ быть на меня станутъ досадовать, роптать, да зато внучата спасибо скажутъ». Ты себѣ, Максимъ Петровичъ, какъ хочешь ухмыляйся, покачивай головкою, а я все-таки буду говорить одно. Какъ святъ Господь, такъ правда то, что нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ ничего не дѣлаетъ ради только одной прихоти или своей забавы, а если иное кажется намъ непонятнымъ, такъ это потому, что мы какъ дѣти: ихъ учатъ складамъ, а они думаютъ про себя: «Ради чего это заставляютъ насъ твердить: буки азъ — ба, вѣди азъ — ва, что, дескать, это такое?» Ради того, дѣточки, чтобъ вы грамоту знали; вотъ какъ станете сами читать, такъ и поймете тогда, зачѣмъ васъ складамъ учили.

— Вотъ подлинно—вѣкъ живи, вѣкъ учись!—прервалъ Прокудинъ. Недавно одинъ премудрый молокососъ толковалъ мнѣ, что нѣмцы солдаты, а мы русскіе новобранцы; теперь ты мнѣ изволишь говорить, что мы всѣ, старики, безграмотные ребятишки, и что насъ, дураковъ, складамъ учатъ... Спасибо, любезный!

— Да это я говорю такъ, Максимъ Петровичъ, на прикладъ...

— И нечего сказать, — красно говоришь. А все-таки я не знаю...

— Зачѣмъ я бороду обрилъ? А вотъ послушай. На прошлой недѣлѣ завернулъ ко мнѣ пріятель, Иванъ Андреевичъ Бухвостовъ и разсказалъ, что было при немъ въ Воронежѣ, когда Государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ тамъ находиться. Въ самый день Свѣтлаго Воскресенья Александръ Даниловичъ Меншиковъ обрилъ всѣмъ магистратскимъ членамъ бороды и одѣлъ ихъ въ нѣмецкое платье. Въ соборѣ, у заутрени, Государь, увидя ихъ въ этомъ нарядѣ, такъ обрадовался, что съ ними первыми похристосовался, благодарилъ, что они его для такого великаго праздника порадовали, пригласилъ къ своему столу, пилъ за ихъ здоровье и во весь тотъ день былъ такъ веселъ, что и сказать нельзя. Вотъ и пошло у меня бродить въ головѣ; думаю про себя: «Что это Государю нашему такъ полюбилось нѣмецкое платье?» Думалъ, думалъ, да вотъ что мнѣ пришло на мысль: хоть я не вѣдаю, почему нашъ премудрый Го-

сударь желаетъ, чтобъ мы всѣ одѣвались по иноземному, а ужъ вѣрно тутъ что-нибудь да есть! Не сталъ бы онъ такъ налегать на это, кабы тутъ не было никакой пользы. Я старъ, живу на покоѣ, ни на что ему не пригоденъ, такъ дай же я ему, нашему батюшкѣ, хоть этимъ послужу. Авось, глядя на меня, и другіе тѣмъ же его потѣшутъ. Вотъ я заказалъ себѣ нѣмецкое платье, а какъ мнѣ вчера его принесли, такъ послалъ за цирюльникомъ, да и отмахнулъ себѣ бороду. Ну, понимаешь ли теперь, для чего я—твоими же словами скажу—оскоблилъ себѣ бородку?

— Понимаю, любезный! Ты увѣренъ и не сомнѣваешься, что Государь Петръ Алексѣевичъ знаетъ лучше всякаго, что для насъ пригодно и полезно, и что онъ, какъ истинный Царь Русскій, любитъ свой народъ паче всего на свѣтѣ...

— Да, видитъ Богъ, я это думаю.

— Хорошо, любезный. Ну, а еслибъ ты думалъ совсѣмъ другое? Если бы ты вѣрилъ и не сомнѣвался, что Государь Петръ Алексѣевичъ, попущеніемъ Божіимъ и въ наказаніе за тяжкіе грѣхи наши, предался вовсе нѣмецкой прелести и любитъ не свой православный народъ, а нѣмцевъ, голландцевъ и всякихъ другихъ еретиковъ, которые теперь словно саранча обсѣли всю землю Русскую, такъ и ты бы, Данила Никифоровичъ, такъ же, какъ я, сталъ чтить Государя Петра Алексѣевича, какъ помазанника Божія и повиноваться безпрекословно его царскимъ указамъ, но ужъ вѣрно ты для его потѣхи не нарядился бы какимъ-нибудь заморскимъ шутомъ и не сталъ бы кланяться въ поясъ всякому нѣмецкому колбаснику потому только, что онъ нѣмецъ.

— Да помилуй, Максимъ Петровичъ, съ чего ты взялъ, что Государь Петръ Алексѣевичъ больше любитъ нѣмцевъ, чѣмъ насъ?

— А коли нѣтъ, такъ зачѣмъ же онъ, нашъ батюшка, имя то свое, говорятъ, подписываетъ по иноземному и новый городъ свой назвалъ по нѣмецки и насъ всѣхъ нѣмцами подѣлать хочетъ?... Да что объ этомъ говорить: коли Господь Богъ наслалъ казнь, такъ молчи и покоряйся.

— И то правда, другъ сердечный, что объ этомъ толковать! По твоему это гнѣвъ небесный, а по моему Божье милосердіе, такъ мы во вѣки вѣковъ съ тобой не поладимъ. Давай-ка лучше побесѣдуемъ кой о чемъ другомъ, любез-

ный, а намъ есть о чемъ поговорить. Знаешь ли что, Максимъ Петровичъ? Вѣдь я сбирался къ тебѣ въ деревню!...

— Милости просимъ!

— У меня есть до тебя дѣло и дѣло не шуточное; я сейчасъ объ этомъ говорилъ съ Аграфеной Петровной. Племянникъ мой, Василій Михайловичъ Симскій, мѣсяца два тому назадъ познакомился здѣсь въ Москвѣ съ твоею сестрицею и съ Ольгою Дмитріевною...

— Познакомился!... И вѣрно на вечеринкѣ или, по вашему, на асамблеѣ у этого... Сестра, какъ бишь зовутъ твоего пріятеля то?...

— Какого пріятеля, братецъ?

— Ну, вотъ этого нѣмца, у котораго ты вчера съ аптекаремъ плясала.

— У Адама Ѳомича Гутфеля?—прервалъ Данила Никифоровичъ.—Да, любезный, мой племянникъ бывалъ у него на вечеринкахъ вмѣстѣ съ твоею сестрицею и племянницею... Да ты ужь не думаешь ли, что этотъ Гутфель какой-нибудь булочникъ?... Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, онъ человѣкъ именитый, къ нему самъ Государь изволитъ жаловать...

— Какъ не жаловать!... Вѣдь онъ нѣмецъ.

— Что нѣмецъ!... Нѣмцевъ много. Адамъ Ѳомичъ и человѣкъ хорошій и живетъ бариномъ. Онъ здѣсь у всѣхъ въ большомъ почетѣ...

— Еще бы!... Дѣлать то нечего, станешь почитать и татарина, коли онъ тебѣ господинъ!... Такъ твой племянникъ познакомился съ моею племянницею у этого Гутфеля?.. Знаю, знаю!... Вѣдь онъ, сирѣчь твой племянникъ, какъ по вашему то,—фенрикъ что-ль?...

— А вотъ, Богъ дастъ, скоро и подпоручикомъ будетъ.

— Такъ, такъ!

— Онъ третьяго дня ночевалъ у тебя въ деревнѣ.

— Ночевалъ, любезный.

— Ну что, какъ онъ тебѣ кажется?

— Молодецъ прекрасный!

— Такъ онъ тебѣ приглянулся?

— Какъ-же!

— А что, другъ сердечный, если-бъ онъ посватался за твою племянницу Ольгу Дмитріевну!...

— Такъ я долго не сталъ бы его маять, а тотчасъ бы сказалъ: этому не бывать.

— Какъ не бывать?..

— Да такъ!...

— Фу, батюшки,—какъ дубиной по лбу!

— Не прогнѣвайся!

— Да ты хоть подумай, Максимъ Петровичъ: Симскій роду хорошаго..

— Знаю, знаю! Его батюшка былъ казанскимъ воеводою.

— Человѣкъ богатый .

— И это знаю.

— Такъ почему-жъ?...

— Долго разсказывать, Данила Никифоровичъ; да и на что? Ты спросилъ, я отвѣчалъ,—чего-жъ еще тебѣ?

— Батюшка братецъ! — промолвила робкимъ голосомъ Ханыкова.

— Не твое дѣло, матушка! Покойная сестра, умирая, сдала мнѣ съ рукъ на руки свою дочь, завѣщала воспитать ее во всякомъ благочестіи и страхѣ Божіемъ, беречь и любить какъ родное свое дѣтище. Что будешь дѣлать, согрѣшилъ я передъ покойницей: не вполнѣ соблюлъ ея приказаніе... Да Богъ милостивъ, — это еще дѣло поправное... Теперь ужь я съ ней ни за что не разстанусь...

— Какъ, братецъ, — вскричала Ханыкова, вы хотите Оленьку увезти въ деревню?...

— Я затѣмъ и пріѣхалъ, матушка.

— Такъ моему племяннику нечего и надѣяться?—проговорилъ Данила Никифоровичъ, вставая.

— Зачѣмъ не надѣяться,—сказалъ Прокудинъ:—Богъ въ животѣ воленъ, а я человѣкъ смертный.

— Эка упрямая башка!—прошепталъ Загоскинъ.—Прощай, старинный пріятель! — промолвилъ онъ, выходя вонъ изъ комнаты.—Нечего сказать, потѣшилъ ты меня!

— Ничего, любезный,—прервалъ Максимъ Петровичъ,—это дѣло обоюдное: мы, кажется, оба другъ друга потѣшили. До свиданья!

VIII.

— Да полно, Василій, кручиниться! И вчера ты цѣлый день прогоревалъ и сегодня словно въ воду опущенный!... Что, въ самомъ дѣлѣ, иль про тебя одна только невѣста и

была Ольга Дмитріевна Запольская? Ну, конечно, она дѣвица хорошая, да, Богъ милостивъ, найдемъ и почище ея.

Такъ говорилъ Данила Никифоровичъ, утѣшая Симскаго, которому онъ наканунѣ объявилъ о своей неудачной попыткѣ.

— У насъ въ Москвѣ, — продолжалъ Данила Никифоровичъ,—чего другаго, а невѣстами то хоть прудъ пруди!— Вотъ покамѣстъ ты будешь въ походѣ подъ туркомъ, мы постараемся, похлопочемъ, да такую пріищемъ тебѣ невѣсту, какой ты и во снѣ не видывалъ. Не правда ли, жена?

— Ужь конечно, батюшка, не чета будетъ этой вертушкѣ Запольской,—отвѣчала Марѳа Саввишна.—И что тебѣ, Васенька, понравилось въ этой дѣвочкѣ? Ну какая она будетъ хозяйка? Ей бы только вырядиться заморскою куклою, поплясать, да передъ молодежью покобениться...

— Нѣтъ, тетушка,—прервалъ Симскій,—напрасно вы это изволите говорить. Ольга Дмитріевна дѣвица скромная и по своему отличному мериту зѣло достойна всякаго эстиму.

— Да ты какъ хочешь ее по нѣмецки то хвали, а все-таки она немного получше своей тетушки! Да ужь Аграфена Петровна... объ ней что и говорить — отмѣнный соболь!... Ни стыда, ни совѣсти...

— И полно, Марѳа Саввишна!—прервалъ Данила Никифоровичъ.—Ну за что ты ее такъ позоришь?... Что она тебѣ сдѣлала?

— Виновата, батюшка Данила Никифоровичъ,—согрѣшила!... А, воля твоя, правду всегда скажу.

— И вы увѣрены, дядюшка, — сказалъ Симскій, — что Максима Петровича нельзя никакъ умилостивить?

— Куда умилостивить!... Приступу нѣтъ, такъ съ дуба и рветъ!... «Не бывать этому!» да и только!

— Ну, видно, ужь такое мое счастье!...

— Полно, братъ Василій! Ты еще молодъ, твое счастье впереди.

— Ахъ, дядюшка, кабы вы знали, какъ мнѣ грустно!.. Я и самъ не думалъ, что такъ люблю Ольгу Дмитріевну... Нѣтъ, уѣду поскорѣй, догоню мой полкъ, стану драться съ турками... быть можетъ, положу голову за святую Русь...

— Что ты, мой другъ!—вскричала Марѳа Саввишна.— Христосъ съ тобой!... Ну, какъ ты въ самомъ дѣлѣ себѣ напророчишь...

— Такъ чтожъ, тетушка? Я сирота, обо мнѣ плакать некому.

— Спасибо, племянникъ! — прервалъ Данила Никифоровичъ.—А мы то тебѣ посторонніе что-ль? Полно, братъ, выкинь эту дурь изъ головы! Пойдемъ-ка лучше позавтракать; у меня есть завѣтная бутылочка фряжскаго винца; выпьемъ чарки по двѣ, такъ авось у тебя на сердцѣ то будетъ повеселѣе.

— Нѣтъ, дядюшка, у меня голова и безъ этого горитъ. Пойду лучше пройдусь пѣшкомъ.

— Ну, ступай, мой другъ. Да смотри же, приходи къ обѣду.

— Приду, дядюшка.

Симскій накинулъ свой форменный плащъ и, сойдя со двора, повернулъ внизъ по Знаменкѣ къ Кремлю. День былъ ясный, погода теплая, разумѣется, по зимнему; самый умѣренный морозецъ, безъ вѣтру, не допускалъ только портиться санному пути и придавалъ воздуху какую то особенную легкость и живительную прохладу. Всѣ жители Москвы справляли масленицу, то есть веселились, гуляли и катались по улицамъ. На каждомъ шагу встрѣчались съ Симскимъ разодѣтыя въ пухъ слободскія дѣвки, посадскія бабы, городскіе мѣщане, и мужички подъ хмелькомъ, которые, обнявшись другъ съ другомъ и пошатываясь изъ стороны въ сторону, *растабарывали и гуторили* межъ собою. Тутъ цѣлая гурьба веселыхъ горожанокъ шла посрединѣ улицы и пѣла, немного на разладъ, но зато во все горло, плясовую пѣсню, подъ которую разбитной дѣтина, медленно подвигаясь передъ толпою, разстилался въ присядку. Подлѣ питейнаго дома лихіе пѣсенники, окруживъ самоучку-музыканта, отпускающаго удивительныя трели на берестовомъ рожкѣ, заливались въ удалой бурлацкой пѣснѣ: «внизъ по матушкѣ по Волгѣ». Тутъ же, въ одномъ уголку, народъ умиралъ со смѣху, глядя на медвѣдя, который плясалъ съ козою, и нѣсколько шаговъ подалѣе толпился вокругъ лубочнаго балагана, въ которомъ заморскій *знахарь* глоталъ огромные камни, дышалъ огнемъ и жупеломъ, ѣлъ хлопчатую бумагу и дѣлалъ разныя другія бѣсовскія штуки. Мимо Симскаго, въ широкихъ пошевняхъ, покрытыхъ коврами, и расписныхъ саняхъ, мелькали поминутно московскія барыни, богатыя купчихи и гостьи иноземныя; то проѣзжалъ рысцою обитый полинялымъ сукномъ рыдванъ на

полозкахъ, изъ котораго выглядывали набѣленыя старухи въ собольихъ шапочкахъ; то вдругъ, какъ птица, пролеталъ мимо всѣхъ разгульный молодецъ на борзомъ казанскомъ иноходцѣ; однимъ словомъ, всѣ веселились, гуляли, и Симскому отъ этого стало еще грустнѣе. Чтобъ не смотрѣть на эти забавы, въ которыхъ онъ не могъ и не хотѣлъ принимать никакого участія, Симскій, пройдя нѣсколько шаговъ по Неглинной, повернулъ Троицкими воротами въ Кремль. Въ то самое время, какъ онъ, пробираясь къ соборамъ, миновалъ дворецъ Бориса Годунова, съ нимъ повстрѣчались парныя сани, и кто то проговорилъ громкимъ голосомъ:

— Здравствуй, Василій Михайловичъ!

Симскій остановился; изъ саней выскочилъ молодой гвардейскій офицеръ и бросился къ нему на шею.

— Мамоновъ!—вскричалъ Симскій, обнимая своего однополчанина.—Вотъ ужь никакъ не ожидалъ! Я думалъ, что ты при полку.

— Нѣтъ, мой другъ, я здѣсь въ откомандировкѣ. А ты какими судьбами?...

— Меня отпустили на недѣльку повидаться съ родными.

— Такъ ты не долго здѣсь пробудешь?

— Еще денька два или три.

— А потомъ?

— Отправлюсь догонять полкъ.

— Счастливый человѣкъ!... Да садитесь-ка, братъ, въ сани; поѣдемъ ко мнѣ. Я живу близехонько, на Варваркѣ, въ домѣ дяди моего, Степана Ивановича Шеина.

Симскій сѣлъ въ сани къ Мамонову. Черезъ нѣсколько минутъ они въѣхали во дворъ и остановились у небольшого кирпичнаго домика, вовсе не затѣйливой наружности.

— Вотъ, какъ видишь, Василій Михайловичъ,—сказалъ Мамоновъ, вылѣзая изъ саней:—палаты небольшія, да зато въ нихъ тепло, и я живу одинъ-одинехонекъ. Милости просимъ!

Когда они вошли въ сѣни, имъ послышались въ передней комнатѣ голоса; казалось, о чемъ то спорили:

— Да погоди, тетка, сейчасъ вернется! — говорилъ кто то басомъ.

— Чего годить!—раздался въ отвѣтъ пискливый голосъ.— Что мнѣ до вечеренъ что-ль у васъ дожидаться?

— Ну, такъ и есть! — сказалъ Мамоновъ, входя въ переднюю:—это Игнатьевна. Здравствуй, голубушка!

— Здравствуй, мой соколъ ясный! — пропищала, кланяясь въ поясъ, пожилая женщина въ штофной шубейкѣ и бархатной, опушенной куницею, шапочкѣ. Ужь я тебя ждала, ждала!...

— Такъ подожди еще немножко, мы съ тобою поговоримъ.

— Охъ, кормилецъ ты мой, часочки то у меня счетные! Мнѣ еще надобно побывать у Спаса на Чигасахъ, а оттуда къ Харитонію въ Огородникахъ; не задержи меня, батюшка!

— Небось, Игнатьевна, не задержу.

Мамоновъ и Симскій отдали денщику свои плащи и, пройдя чрезъ столовую комнату и небольшую гостиную, вошли въ угольный покой, въ которомъ стояло нѣсколько стульевъ, большой шкапъ, рѣзной дубовый столъ и кровать съ бѣлымъ пологомъ.

— Садись, любезный! — сказалъ Мамоновъ, снимая съ себя трехцвѣтную шелковую перевязь, которая была у него надѣта по мундиру.

— Ого, да ты въ полномъ парадѣ,—сказалъ Симскій:— шарфъ черезъ плечо.

— Какъ-же, Василій Михайловичъ: я былъ въ сенатѣ; мнѣ тамъ читали царскій указъ.

— Указъ? О чемъ?

— А вотъ, изволишь видѣть: у насъ теперь война съ туркомъ, и велѣно забирать на службу всѣхъ взрослыхъ недорослей изъ дворянъ, неслужащихъ новиковъ и всякихъ разночинцевъ, которые еще молоды и здоровы, а подъ разными предлогами отбываютъ отъ царской службы и проживаютъ въ Москвѣ. Вотъ какъ пошелъ переборъ, такъ всѣ эти тунеядцы, которымъ бы только на боку лежать, да ничего не дѣлать, и бросились вонъ изъ Москвы, кто куда попалъ. Меня для этого и прикомандировали къ сенату, чтобъ я ихъ вездѣ отыскивалъ, хваталъ и представлялъ на службу; объ этомъ мнѣ и указъ сегодня читали. Эхъ, Симскій, счастливъ ты: будешь драться съ турками, станешь бить этихъ басурмановъ, въ плѣнъ брать, а я... Правда, и я буду брать въ плѣнъ матушкиныхъ сынковъ, сорокалѣтнихъ недорослей и этихъ міроѣдовъ, которые называютъ себя дворянами, а дворянской службы нести не хотятъ. Да какая мнѣ будетъ отъ этого сатисфакція? Вѣдь ужь тутъ доброю манирою не кончишь. Хлопотъ не обе-

решься, брани также. Всѣ московскія барыни, а пуще барышни, закидаютъ меня каменьями... Ну, нечего сказать, вынулся мнѣ жеребьекъ!... Добро бы еще оставили меня въ Санктпетербургѣ, а то живи здѣсь—въ этомъ захолустьѣ.

— Вотъ какъ!... Такъ ты называешь Москву захолустьемъ?

— А какъ-же прикажешь ее назвать? Неужели такою же резиденціею, какъ нашъ Санктпетербургъ? Нѣтъ, любезный: кто привыкъ обходиться съ людьми эдюкованными и понасмотрѣлся иноземныхъ обычаевъ, тому здѣсь какое житье? Такъ ли веселятся и проводятъ время въ нашей резиденціи!... Конечно, и здѣсь бываютъ асамблеи,—да только курамъ на смѣхъ. Вѣдь почитай всѣ московскія дамы, ни дать, ни взять, — шарманъ-катеринки: заведутъ ихъ, онѣ какъ будто живыя, танцуютъ; не заведутъ — такъ просто сидятъ какъ разряженныя куклы. А что за кавалеры!... Посмотришь, иной одѣтъ какъ человѣкъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ, въ парикѣ, подыметъ даму какъ слѣдуетъ, а примется танцовать — фу, батюшки!... Въ какія позитуры становится, что за ухватки!... Такъ и смотришь, сейчасъ пойдетъ въ присядку!... Заведешь съ нимъ какую-нибудь конверсацію, онъ выпучитъ глаза, слушаетъ и не понимаетъ самыхъ обыкновенныхъ рѣчей. Да что и говорить,—въ Москвѣ не токмо народъ ординарный, но даже люди принципальные только бороды себѣ выбрили, а рожи то у нихъ все немытыя! Нѣтъ, Василій Михайловичъ, наша резиденція не то!

— Ну, конечно, Андрей Степановичъ; однакожъ и Москва...

— Что Москва?.. Москва просто русскій городъ.

— А развѣ нашъ Санктпетербургъ городъ не русскій?

— Нѣтъ, любезный, извини!... Санктпетербургъ городъ нѣмецкій, — знаешь, этакъ... какъ бы тебѣ сказать?... Европа!... А здѣсь что? И люди, и дома, и обхожденье, все на русскую старинную стать. Здѣсь, братъ, и съ деньгами пропадешь: ничего нѣтъ порядочнаго. Пива хорошаго не отыщешь, изряднаго голландскаго сыру не спрашивай, ужь о добромъ гамбургскомъ кнастерѣ или старомъ францвейнѣ и не заикайся. Деревня, братецъ, деревня!

— Хороша деревенька!

— Велика!... Да что въ этомъ толку?... Знаешь пословицу...

— Полно, Мамоновъ! Ты позоришь Москву, потому что тебѣ скучно, а скучно оттого, что ты въ ней никогда не живалъ.

— И дай, Господи, никогда не жить! Знаешь ли, Василій Михайловичь, чѣмъ я отвожу себѣ душу?... Одна только забава и есть!... Ты видѣлъ въ передней старуху?

— Видѣлъ. Кто она такая?

— Самая знаменитая московская сваха, Ѳедосья Игнатьевна, по прозванію Перепекина.

— Сваха? Да развѣ ты хочешь жениться?

— И не думаю... Ну, братъ, видно, здѣсь въ Москвѣ залежалыхъ то невѣстъ довольно. Недѣли двѣ тому назадъ, Игнатьевна явилась ко мнѣ отъ какой то вдовушки, которая видѣла меня у Гутфеля, и съ тѣхъ поръ отбою нѣтъ: что день, то новая невѣста.

— И это тебя забавляетъ?

— А какъ же! Во первыхъ, каждый день смотръ: то въ томъ приходѣ, то въ другомъ. Я, разумѣется, всегда невѣсту обракую, Игнатьевна разгнѣвается; я начну ее подразнивать, она примется меня ругать, — потѣха да и только!... А сверхъ того, если я проживу здѣсь мѣсяца три или четыре, такъ ужь вѣрно всѣхъ московскихъ невѣстъ по одиночкѣ переберу; коли самъ не женюсь, услужу пріятелю. Да не хочешь ли, Симскій, я тебѣ какъ разъ невѣсту найду?

— Нѣтъ, мой другъ, моя невѣста не здѣсь.

— А гдѣ же?

— Да Богъ знаетъ. Можетъ быть въ чистомъ полѣ, а можетъ статься и подъ какою-нибудь турецкою фортеціею: булатная сабля, свинцовая пуля, чугунное ядро—вотъ мои невѣсты, Мамоновъ; другихъ суженыхъ у меня не будетъ.

— И, полно, братецъ, — живой живое и думаетъ. Да что это съ тобой сдѣлалось?... Ты въ самомъ дѣлѣ грустенъ... Что ты, любезный, съ похоронъ что-ль?

— Такъ, ничего... пройдетъ!

— А вотъ постой, я тебя развеселю, — сказалъ Мамоновъ, отворяя дверь въ гостиную.

— Ѳедосья Игнатьевна,—закричалъ онъ,—милости просимъ сюда!

Игнатьевна вошла въ комнату, перекрестилась на икону и поклонилась низехонько хозяину и гостю.

— Садись-ка, любезная, къ намъ поближе,—продолжалъ Мамоновъ, указывая ей на порожній стулъ.

— Присяду, батюшка, присяду! — молвила Игнатьевна садясь.—Не прогнѣвайся,—ѣзды то у меня много, а коней всего одна безсмѣнная пара, да и та ужь старенька, шестой десятокъ служитъ.

— Ну чтожъ, Ѳедосья Игнатьевна, поговоримъ-ка о дѣлѣ.

— Да какъ же это, кормилецъ: у тебя гость?

— Ничего; это мой задушевный другъ: при немъ все можно говорить.

— Такъ, батюшка, такъ!... Ну что, сударь, ты вчера, какъ обѣдня отошла у Николы въ Пыжахъ, изволилъ быть на паперти?

— Какъ же! Вѣдь ты меня видѣла?

— А видѣлъ ли ты, мой соколъ ясный, барышню, съ которою я шла рука объ руку?

— Чтожъ, эта барышня та самая невѣста, о которой ты мнѣ говорила?

— Да, батюшка, да!

— Видѣлъ.

— Что, мое красное солнышко, правду ли я тебѣ сказала—красавица!

— Кто?... Эта барышня? Эхъ, Ѳедосья Игнатьевна, ну не грѣшно ли тебѣ такъ людей морочить? Что она за красавица?... Набѣлена, нарумянена...

— Безъ этого нельзя, сударь: дѣло дѣвичье... Да она и такъ, Богъ съ нею, такая бѣлолицая, румяная, что и сказать нельзя!

— Носъ въ полъ-аршина.

— Ужь и въ полъ-аршина!... Что ты, кормилецъ!... Носъ какъ носъ, поменьше твоего будетъ.

— Я, Игнатьевна, дѣло другое: я мужчина и человѣкъ рослый, а она дѣвица и собой то больно невеличка.

— А чтожъ тебѣ, батюшка, Сухареву башню что-ль?

— Да, воля твоя, Игнатьевна, по мнѣ лучше Сухарева башня, чѣмъ этакій недоростокъ. Я жену въ карманѣ носить не хочу.

— Въ карманѣ? Не упрячешь, батюшка!

— Она же, кажется, на лѣвую ножку изволить прихрамывать.

— Прихрамывать? Что ты, батюшка, перекрестись!

— И глазки то у нея... не прогнѣвайся, любезная...

— Что глазки?..

— Да такъ,—немножко врозь посматриваютъ.

— Что, что?... Такъ она, по твоему, коса?

— Есть грѣшокъ, Игнатьевна.

— Коса?!... Да что ты, сударь, вчера до обѣдни то не хлебнулъ ли?

— Двухъ переднихъ зубковъ, кажется, нѣтъ.

— Тьфу ты, окаянный этакій!—вскричала старуха, вскочивъ со стула. Да что-жъ ты, въ самомъ дѣлѣ, всѣхъ моихъ невѣстъ цыганишь; что я тебѣ дура что-ль досталась?

— Ну, полно, Ѳедосья Игнатьевна, не гнѣвайся!—сказалъ Мамоновъ, усаживая ее опять на стулъ.—На-ка вотъ тебѣ за труды, — продолжалъ онъ, подавая ей два рублевика. Что-жъ дѣлать, коли мнѣ такъ показалось.

— Показалось! — повторила Игнатьевна, все еще нѣсколько сердитымъ голосомъ.—Вишь, какой зубоскалъ!... Чего тутъ показаться?... Благо ты господинъ то добрый и тароватый, а то бы я давно перестала къ тебѣ жаловать!... Вотъ то-то и есть: дали вамъ повадку, голубчики!... Бывало, въ старину, хочешь вѣрь, хочешь не вѣрь, а ужь невѣсты тебѣ не покажутъ. Видишь, что выдумали: изволь товаръ лицомъ продать!... А кто на васъ угодитъ?... То не такъ, другое не этакъ... Охъ, вы, баловники этакіе!

— Да вѣдь такъ то лучше, Ѳедосья Игнатьевна. Теперь женихъ пеняй на себя, а прежде, бывало, за все отвѣчаетъ сваха. Что, любезная, скажи-ка правду: чай, тебѣ иногда доставалось на орѣхи?

— Ну, конечно, батюшка, всяко бывало. Ужь наше дѣло таковское. Бывало угодишь, такъ матушкѣ Ѳедосьѣ Игнатьевнѣ челомъ; а не угодишь—такъ старую чертовку Игнатьевну позорятъ на чемъ свѣтъ стоитъ.

— А этакъ, случится, и потасовку зададутъ?

— Кому, сударь?... Мнѣ?.. Нѣтъ, батюшка, велико безчестье заплатишь!... Я вѣдь не посадская баба какая; мой покойный муженекъ служилъ поддьякомъ въ холопьемъ приказѣ; ему подчасъ и бояре кланялись. И кабы не бѣдность моя, не стала бы я по вашей братьи шататься... Ну что, молодецъ, такъ эта невѣста тебѣ не люба?

— Нѣтъ, Ѳедосья Игнатьева, подавай другую.

— Подавай другую!... Эва какъ поговариваетъ!... Да развѣ невѣсты то блины?... Подавай другую!

— На-ка вотъ тебѣ еще рублевикъ... Полно, голу-

бушка, не скупись: что есть въ печи, все на столъ мечи!

— Спасибо, кормилецъ, спасибо!... Ахъ, ты мой соколъ ясный! Хотѣлось бы мнѣ тебѣ послужить... Да ты, Андрей Степановичъ, человѣкъ то бѣдовый!... Видишь, какой привередникъ!... Ну, такъ и быть—скажу! Ужь только и ты, батюшка, не забудь меня, старуху. Есть у меня на примѣтѣ невѣста и хороша и пригожа, дѣвица рослая, не то, чтобы очень дородная, а этакъ, знаешь, наливное яблочко; свѣжая, румяная, глаза голубые, брови черныя... Да это еще ничего, — богатство то какое!.. Покойный ея батюшка тридцать лѣтъ сряду былъ якутскимъ воеводою, а вѣдь тамъ воеводамъ житье! Отъ царя земного далеко, а Царь небесный грѣшниковъ милуетъ, такъ дѣлай, что хочешь,—своя рука владыка. Ты, чай, изволишь знать, Сибирь то золотое дно. Тамъ, говорятъ, изъ черныхъ соболей нагольные тулупы носятъ, а простыхъ куницъ никто и даромъ не беретъ, такъ есть около чего ручки погрѣть!... Да онъ таки и понагрѣлъ ихъ, дай Богъ ему царство небесное! Легко вымолвить: тридцать годовъ на воеводствѣ просидѣлъ!... А дочка то у него одна, одинехонька осталась, дѣлиться не съ кѣмъ... Ну, что?... Неужели ты, кормилецъ, и эту невѣсту охаешь?

— А вотъ какъ посмотрю.

— Тебѣ бы все посмотрѣть!

— Нельзя безъ этого, Игнатьевна... Э, да постой, любезная!... Давно хочу тебя спросить: я недѣли двѣ тому назадъ познакомился на асамблеѣ у Стрѣшневыхъ съ одною барыней—не знаешь ли ты ея?... Аграфена Петровна Ханыкова...

— Какъ, сударь, не знать!... Я у нея зачастую бываю. Приношу всякую всячину: то кружева и ленточки, то шелковые платочки. Вѣдь я человѣкъ бѣдный, батюшка, всѣмъ промышляю. Да что ты о ней изволишь спрашивать? Развѣ она овдовѣла?

— Нѣтъ, Игнатьевна: съ ней живетъ племянница.

— Ольга Дмитріевна?... Вишь, ты какой!... Губа то у тебя не дура, батюшка!

— А что?

— Какъ что? Да Ольга Дмитріевна не то, что всякая другая; это, сударь, вещечко! Собой красавица, богатство большое, родство знатное, ни отца, ни матери... Нѣтъ, Андрей Степановичъ, тутъ взятки то гладки!

— И, полно, Игнатьевна! Коли Ольга Дмитріевна невѣста...

— Невѣста, сударь, невѣста, да только не твоя.

— А почему жъ не моя?

— Да потому, батюшка, что она ужь просватана.

Симскій поблѣднѣлъ.

— Просватана?—повторилъ Мамоновъ.—За кого?

— Охъ, молодецъ, крѣпко на крѣпко заказано не сказывать... А я все-таки скажу... на зло ему скажу... скряга этакій!.. Я, батюшка Андрей Степановичъ, часто хаживала къ одному богатому женишку, князю Андрею Юрьевичу Шелешпанскому; его ужь давно разбираетъ охота жениться, и онъ также куда браковалъ невѣстъ; да только не такъ, какъ ты, кормилецъ: онъ все добивался богатой невѣсты. Вотъ я, сударь, и пріискала ему одну купеческую дочку—лѣтъ этакъ подъ сорокъ и собою некрасива: рябая, черномазая... да зато вся въ жемчугахъ; у отца чугунные заводы, рыбныя ловли въ Астрахани и всего только двѣ дочери. Сегодня по утру я зашла объ этомъ поговорить съ княземъ Андреемъ Юрьевичемъ, а онъ мнѣ и слова не далъ выговорить. «Спасибо, дескать, Игнатьевна, за твою службу и труды, а я ужь покончилъ; мой двоюродный братецъ, Лаврентій Никитичъ Рокотовъ, высватался мнѣ богатую невѣсту. Вчера по рукамъ ударили, а на Ѳоминой будетъ и свадьба». «Ахъ, батюшка,—молвила я,—да дай же порадоваться твоей радости,—скажи мнѣ имячко нареченной; можетъ статься и я ее знаю». Князь Андрей Юрьевичъ учалъ отнѣкиваться, а я все приставала. Вотъ онъ помялся, помялся, да и сказалъ мнѣ, что Максимъ Петровичъ Прокудинъ выдаетъ за него племянницу свою, Ольгу Дмитріевну Запольскую, и что ужь это дѣло совсѣмъ покончeнное. Какъ я стала съ нимъ прощаться, такъ говорю ему: «Батюшка, милостивый князь, я много для тебя потрудилась, не одну пару чоботовъ истоптала, и денно и нощно заботилась о томъ, какъ бы тебѣ угодить; не забудь же теперь меня на такой радости,—пожалуй мнѣ, старой сиротинкѣ, хоть что-нибудь на хлѣбецъ!» Ахъ, батюшки, какъ его, сударь, стало коробить!.. Инда въ потъ ударило! Учалъ онъ ходить по комнатѣ и туда и сюда; гляжу: пошелъ къ себѣ въ чуланчикъ... Ужь онъ тамъ шарилъ, шарилъ!... Вотъ изволитъ опять идти,—такой красный, такъ и пышетъ! Подошелъ, да и сунулъ мнѣ въ руку... что-жъ ты думаешь, кормилецъ?..

Полтинникъ!.. Да еще проткнутый,—видно, съ какой-нибудь мордовки! «На, дескать, Игнатьевна, у меня его не берутъ, а ты вездѣ шатаешься, у тебя съ рукъ сойдетъ».

— Неужели ты, Ѳедосья Игнатьевна, взяла?

— Что ты, батюшка! Я этотъ дырявый полтинничекъ положила ему на столъ, низехонько поклонилась, да сказала: «Прими, батюшка, Христа ради!» а сама и вонъ. Вотъ, сударь, скряга то!

— Да, хорошъ! И за него выдаютъ Ольгу Дмитріевну!

— Чтожъ дѣлать, Андрей Степановичъ: богатъ, природный князь и, нечего сказать, собою молодецъ.

— Право?

— У, батюшка!.. Дѣтина такой ражій, дородный... что вы, молодцы! Обоихъ то васъ сложить, такъ его одного не будетъ.

— Вотъ какъ!

— Да, сударь, да!.. Не будь онъ такой скула, такъ нечего сказать, женихъ недюжинный!.. Э, да что толковать объ этомъ шмольникѣ. Ты мнѣ лучше скажи, батюшка, хочешь что-ль посмотрѣть воеводскую то дочку?

— Какъ же, Игнатьевна, хочу.

— Такъ изволь, сударь, знать, что она завтра будетъ у Троицы на Кулишкахъ, послѣ ранней обѣдни, милостыню нищимъ раздавать, и я съ ней вмѣстѣ буду.

— У Троицы на Кулишкахъ! Гдѣ-жъ это?

— Ничего, батюшка: я твоему Ѳедоту растолкую, такъ онъ тебя прямехонько довезетъ. Ну, мое красное солнышко,—промолвила Игнатьевна вставая, — заболталась я съ тобой!.. А дѣла то у меня, дѣла, Господи Боже мой!.. Прощенья прошу, батюшка! Смотри же, не забудь: завтра послѣ ранней обѣдни...

— Небойсь, Ѳедосья Игнатьевна, не забуду. Прощай, любезная!.. Ну что, — продолжалъ Мамоновъ, обращаясь къ своему гостю, какова моя сваха?.. Э, да ты никакъ сталъ еще грустнѣе!.. Что это съ тобой?

— Такъ, что то нездоровится.

— Катайся больше, любезный, такъ все пройдетъ. Знаешь ли что, Симскій: пріѣзжай завтра ко мнѣ пораньше, поѣдемъ вмѣстѣ смотрѣть воеводскую дочку.

— Нѣтъ, Мамоновъ, я сегодня въ ночь или завтра, чѣмъ свѣтъ, уѣду отсюда.

— Сегодня? Да вѣдь ты хотѣлъ пробыть въ Москвѣ еще дня два или три?

— Ни за что на свѣтѣ!

— Что, братъ, видно, я правду говорилъ, видно, Москва то не Санктпетербургъ?

— Да, мой другъ! Мнѣ скучно, мнѣ тошно здѣсь... такъ душа и рвется! Скорѣй бы туда, гдѣ пули посвистываютъ и люди валятся какъ снопы!.. Вотъ какъ, Богъ дастъ, догоню нашъ полкъ, да подъ турецкими ядрами почерпну водицы въ Дунаѣ, такъ, авось, тогда на душѣ то у меня будетъ повеселѣе. Прощай, Мамоновъ!

— Прощай, Симскій!—сказалъ Мамоновъ, обнимая своего пріятеля. Коли Господь поможетъ тебѣ отличиться, такъ вспомни, другъ сердечный, и пожалѣй обо мнѣ. Я бы отъ тебя не отсталъ.

На другой день, рано по утру, изъ Калужскихъ воротъ выѣхала на серпуховскую дорогу лихая ямская тройка. Въ открытыхъ пошевняхъ лежалъ закутанный въ медвѣжью шубу Симскій; впереди на облучкѣ сидѣлъ денщикъ его, Деминъ.

— Ну, чтожъ вы стали поперекъ дороги? — закричалъ ямщикъ, сдерживая лошадей.

Симскій приподнялся. Въ пяти шагахъ отъ него стоялъ большой возокъ; двое слугъ помогали кучеру перепрягать коренную лошадь.

— Возьми полѣвѣе,—сказалъ Симскій: — ихъ не переждешь.

Когда ямщикъ, своротя въ сторону, поровнялся съ возкомъ и Василій Михайловичъ взглянулъ на открытое окно, изъ котораго выглядывала какая то барыня, то вся кровь его прилила къ сердцу: эта барыня была Ольга Дмитріевна Запольская; подлѣ нея сидѣлъ Максимъ Петровичъ Прокудинъ.

— Ну чтожъ ты?—сказалъ Деминъ ямщику. Коли выбрался на торную дорогу, такъ ступай!

— Эй, вы, соколики!—гаркнулъ ямщикъ.

Рысистая коренная легла въ гужи, отлетныя подхватили, и снѣжная пыль вихремъ закрутилась изъ подъ копытъ удалыхъ коней.

IX.

Мы должны теперь разстаться на нѣсколько времени съ Василіемъ Михайловичемъ Симскимъ и воротиться опять въ

Москву. Въ то самое утро, когда Симскій такъ неожиданно повстрѣчался на большой дорогѣ съ Ольгой Дмитріевной, но только гораздо позднѣе, Аграфена Петровна Ханыкова сидѣла у себя въ гостиной съ Ардаліономъ Михайловичемъ Обиняковымъ. Я думаю, читатели не забыли еще этого худощаваго господина, котораго люди неблагонамѣренные называли приказною строкою, нахлѣбникомъ, перометною сумою, и даже подозрѣвали, что онъ «языкъ», то есть тайный доносчикъ, готовый при случаѣ *оговорить* и выдать руками своего родного брата. Разумѣется, Аграфена Петровна не знала ничего объ этомъ, и, по случаю одного тяжебнаго дѣла, очень часто совѣтовалась съ Ардаліономъ Михайловичемъ, какъ съ человѣкомъ знающимъ и дѣловымъ.

— Такъ вы, батюшка, полагаете,—говорила она,—что, этакъ мѣсяца черезъ два, наше дѣло должно рѣшиться?

— Да, Аграфена Петровна, по всему бы такъ слѣдовало. Крѣпостныя записи и межевыя книги вами представлены, всѣ справки собраны и задержекъ формально никакихъ нѣтъ; а все-таки, можетъ статься, дѣло ваше протянется. Слабенько вы изволите дѣйствовать, матушка Аграфена Петровна!

— Да чтожъ прикажете мнѣ дѣлать?

— Всякая тяжба, сударыня, требуетъ хожденія. Теперь дѣло поступило въ отчинную коллегію, — такъ чтожъ зѣваетъ вашъ повѣренный! Надо попросить.

— Да я сама ѣздила къ президенту, просила его

— И, сударыня!.. Что президентъ!.. Дѣла то вершатъ не президенты, а секретари.

— Что вы, Ардаліонъ Михайловичъ! Хоть я и женщина, а все-таки кой-что знаю: у секретарей и голосовъ нѣтъ.

— Такъ, сударыня, такъ! Только вотъ что: когда вы изволите играть, примѣромъ сказать, на гусляхъ, такъ голосъ то подаютъ они, а все-таки сила не въ нихъ, а въ васъ: что вы захотите, то они и заиграютъ.

— Такъ по вашему, Ардаліонъ Михайловичъ, и предсѣдатель и судьи...

— Гусли, сударыня, гусли!.. Ну, Аграфена Петровна, не прогнѣвайтесь: я вижу по всему, что вашъ повѣренный вовсе приказнаго порядку не знаетъ и, кажись, дѣло то безъ меня не обойдется.

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Вотъ изволите видѣть, матушка Аграфена Петровна: надобно, во-первыхъ, подарить секретаря, у котораго въ рукахъ ваше дѣло; не мѣшаетъ также и протоколиста подмазать, чтобъ оно ходчѣе пошло; а тамъ еще кой кому: регистратору, актуаріусу; такъ можетъ статься и ближе двухъ мѣсяцевъ эта тяжба кончится въ вашу пользу. Да ужь положитесь во всемъ на меня, Аграфена Петровна, я это дѣльцо обработаю... Не извольте только забывать одного, матушка: коли плохо сѣешь, такъ и жатва бываетъ плоха.

— Андрей Степановичъ Мамоновъ пріѣхалъ,—сказалъ слуга, войдя въ комнату.

— Ты сказалъ, что я дома?

— Сказалъ, сударыня.

— Такъ дѣлать нечего,—проси!

— Здравствуйте, государыня моя Аграфена Петровна!— сказалъ Мамоновъ, входя въ гостиную и кланяясь хозяйкѣ.— Зѣло радуюсь, что нахожу васъ въ вожделѣнномъ здравіи.

— И я также, государь мой Андрей Степановичъ,—отвѣчала Ханыкова, вставая,—съ великою сатисфакціею вижу, что и вы совершенно здоровы, въ чемъ, я признательно скажу, начинала уже сомнѣваться. Въ послѣдній разъ, на асамблеѣ у Стрешневыхъ, вы дали мнѣ вашъ пароль посѣтить меня и вотъ уже скоро двѣ недѣли...

— Прошо экскузовать меня, Аграфена Петровна: я нѣсколько разъ хотѣлъ къ вамъ презентоваться, но все это время такъ былъ занятъ службою...

— То-есть гуляли, веселились... Ну, да Богъ васъ проститъ!.. Прошу покорно садиться!

Обиняковъ взглянулъ исподлобья на Мамонова, лукаво улыбнулся и взялся за свою шапку.

— А вы куда, Ардаліонъ Михайловичъ? — сказала Ханыкова.—Побудьте съ нами.

— Коли вамъ это угодно, Аграфена Петровна, — промолвилъ Обиняковъ съ тою же самою двусмысленною улыбкою,—такъ я съ моимъ удовольствіемъ!.. Мнѣ торопиться некуда.

— Я пріѣхалъ къ вамъ, государыня моя,—сказалъ Мамоновъ, садясь подлѣ хозяйки,—во-первыхъ, для того, чтобъ отдать вамъ мой всенижайшій респектъ, а во-вторыхъ, чтобъ поздравить...

— Поздравить? Съ чѣмъ?

— Какъ съ чѣмъ? Вѣдь ваша племянница, Ольга Дмитріевна, выходитъ замужъ.

— Оленька выходитъ замужъ? Съ чего вы это взяли?

— Я слышалъ отъ вѣрныхъ людей.

— Помилуйте, да ея даже нѣтъ и въ Москвѣ: она уѣхала въ деревню къ своему родному дядѣ, Максиму Петровичу Прокудину.

— Можетъ быть, Аграфена Петровна, вамъ не угодно разглашать о помолвкѣ Ольги Дмитріевны, и я поступаю весьма неполитично, говоря объ этомъ; но, воля ваша, когда самъ женихъ объявляетъ, что дѣло уже кончено...

— Самъ женихъ!,. Ахъ, Боже мой! Да неужели въ самомъ дѣлѣ Максимъ Петровичъ, не сказавъ мнѣ ни слова, просваталъ племянницу?

— И я также, сударыня,—прервалъ Обиняковъ,—слышалъ кой-что объ этомъ стороною.

— Что вы говорите?!

— Я ужиналъ вчера у Лаврентія Никитича Рокотова, а у него былъ князь Андрей Юрьевичъ. Они изволили немного подгулять, и Лаврентій Никитичъ, этакъ между рѣчей, проговаривалъ, что свадьбы дальше Ѳоминой недѣли откладывать не должно, а то, дескать, чего добраго, тетушка какъ-нибудь и разобьетъ. Отъ этой, дескать, Аграфены Петровны Ханыковой все станется. А вѣдь, кажется, сударыня, окромя васъ никакой Аграфены Петровны Ханыковой въ Москвѣ нѣтъ, а у васъ одна только племянница Ольга Дмитріева.

— Возможно ли? Такъ это правда?

— Видно, что такъ.

— Да за кого же ее выдаютъ?

— За какого то князя,—сказалъ Мамоновъ.—Вспомнить не могу... Шпанскаго!... Гишпанскаго...

— Должно быть, — прервалъ Обиняковъ, — за князя Андрея Юрьевича Шелешпанскаго.

— Да, точно такъ!

— Ахъ, бѣдная Оленька!—вскричала Ханыкова, всплеснувъ руками.—Да вѣдь этотъ Шелешпанскій совершенный мужикъ, дурачина!..

— Такъ вы его знаете?—спросилъ Мамоновъ.

— Я только одинъ разъ его видѣла. Года два тому назадъ, онъ пріѣзжалъ къ намъ торговать деревню. Господи Боже мой!.. Что за фигура, какія ухватки! А ужь глупъ то какъ!.. Представьте себѣ: для перваго знакомства сталъ

намъ расказывать, какъ у него украли ветчину, а тамъ принялся хвастаться своимъ конскимъ заводомъ, да такія рѣчи началъ говорить, что я изъ комнаты вонъ ушла... И я должна буду называть этого человѣка моимъ племянникомъ!

— А почему знать, Аграфена Петровна? Вѣдь насильно вѣнчать никого нельзя; и если этотъ женихъ не понравится Ольгѣ Дмитріевнѣ...

— Такъ она будетъ втихомолку плакать, зачахнетъ съ горя, а все-таки выйдетъ за него замужъ. Вы не знаете Оленьки: вѣдь это ангелъ во плоти; ей и въ голову не придетъ, что она можетъ не повиноваться своему дядѣ. Оленька же привыкла его любить и почитать, какъ отца родного...

— Да чтожъ это вздумалось вашему братцу? Неужели онъ не могъ найти лучшего жениха для своей племянницы?

— Женишокъ то, сударь, хорошъ,—прервалъ Обиняковъ: — четыре тысячи душъ.

— Нѣтъ, тутъ есть что-нибудь другое,—подхватила Ханыкова. На одно богатство Максимъ Петровичъ никогда бы не польстился.

— Богатство само по себѣ, да вѣдь не худо и то, сударыня, коли мою родную племянницу станутъ княгиней величать.

— И, полноте, Ардаліонъ Михайловичъ! Да что такое князь Шелешпанскій?

— Шелешпанскій! — повторилъ Мамоновъ.—Позвольте, позвольте!.. Да у меня, кажется, въ спискѣ есть какой то князь Шелешпанскій.

— Въ какомъ спискѣ?—спросила Ханыкова.

— А вотъ изволите видѣть: я здѣсь прикомандированъ къ сенату, ради того, чтобъ забирать и разсылать по полкамъ всѣхъ дворянъ, которые или вовсе еще не служили, или еще въ силахъ продолжать службу. По этой то оказіи и выданъ мнѣ регистръ разнымъ лицамъ и, помнится, въ числѣ ихъ... Да вотъ постойте—я посмотрю...

Мамоновъ вынулъ изъ кармана исписанный кругомъ листъ бумаги и началъ читать про себя.

— Ну, да! — вскричалъ онъ. — Такъ и есть: «Князь Андрей Шелешпанскій, тридцати осьми лѣтъ, по разрядамъ писанъ былъ въ московскомъ жилецкомъ войскѣ новикомъ, проживаетъ въ своихъ отчинахъ и бываетъ наѣздомъ въ Москвѣ». Ну что—онъ ли это?

— Онъ и есть,—сказалъ Обиняковъ.

— Такъ не безпокойтесь, Аграфена Петровна,—продолжалъ Мамоновъ. Что будетъ впереди, я не знаю, но по крайней мѣрѣ теперь этому князю Шелешпанскому жениться будетъ некогда. Да что, онъ въ Москвѣ? — промолвилъ Мамоновъ, обращаясь къ Обинякову.

— Какъ же! Я съ нимъ вчера ужиналъ у Лаврентія Никитича Рокотова.

— А гдѣ онъ живетъ?

— Кто, сударь? Лаврентій Никитичъ?

— Нѣтъ, этотъ князь Шелешпанскій?

— А кто его знаетъ! Чай, гдѣ-нибудь на подворьѣ... Помнится, онъ всегда останавливается по Троицкой дорогѣ, у Креста.

— Да это все равно. Я завтра же велю его отыскать и повѣстить ему, чтобъ онъ ко мнѣ явился.

— А чтожъ послѣ будетъ?—спросила Ханыкова.

— Извѣстное дѣло: коли еще молодъ и здоровъ, такъ послужи, голубчикъ!

— А гдѣ жъ онъ будетъ служить?

— Да не опасайтесь, Аграфена Петровна: въ Москвѣ не останется. Я слышалъ, что онъ молодецъ собою.

— Да, сударь,—сказалъ Обиняковъ:—князь Шелешпанскій человѣкъ рослый, повыше васъ будетъ.

— Такъ, можетъ статься, и къ намъ въ Преображенскій полкъ попадетъ, а не то въ драгуны или въ бомбардирскую роту. Не безпокойтесь, найдемъ мѣсто.

— Чтожъ, его примутъ офицеромъ?—спросила Ханыкова.

— Изъ новиковъ да прямо въ офицеры,—помилуйте! За что? Послужитъ и солдатомъ.

— Ахъ, бѣдненькій!

— Ну вотъ ужь вы о немъ и жалѣть стали.

— Да какъ же, Андрей Степановичъ: подумаешь, человѣкъ богатый, привыкъ жить бариномъ, и вдругъ—ступай, служи солдатомъ!

— Чтожъ дѣлать, Аграфена Петровна. Я, кажется, ничѣмъ его не хуже, а годика три солдатомъ послужилъ.

— Да вы еще были тогда очень молоды, а этому князю Шелешпанскому подъ сорокъ лѣтъ.

— Вольно жъ ему было до сихъ поръ лежать на боку. Да вы не горюйте о немъ, Аграфена Петровна: служба пойдетъ ему въ прокъ. Онъ, по вашимъ словамъ, и совершен-

ный мужикъ и дурачина, а посмотри, какъ мы его вышколимъ,—не узнаете! Будьте спокойны, Аграфена Петровна, —промолвилъ Мамоновъ, вставая, я этимъ дѣломъ займусь.

— Вы ужь ѣдете?—сказала Ханыкова, также вставая.

— Мнѣ еще надобно кой-гдѣ побывать. Да сдѣлайте милость, государыня моя,—продолжалъ Мамоновъ, очень вѣжливо и съ большою ловкостію, пятясь назадъ спиною,—не извольте принимать для меня никакой фатиги! Останьтесь, прошу васъ!

— Какъ это можно, Андрей Степановичъ, — это моя облигація: я хозяйка, а вы мой гость.

— Вы меня конфузите, сударыня! Да, по крайней мѣрѣ, не извольте провожать такъ далеко.

— Помилуйте, что за далеко! Развѣ вы не знаете пословицы: «для дорогого гостя и семь верстъ не околица».

— Всенижайше прошу васъ... безъ проводовъ, Аграфена Петровна!..

Однакожъ Аграфена Петровна проводила своего гостя до самой передней.

— И вы также ѣдете, Ардаліонъ Михайловичъ,—сказала она Обинякову, который повстрѣчался съ нею въ дверяхъ гостиной.

— Пора, сударыня, время обѣденное; чай, жена давно ужь меня дожидается.

— Ну, Богъ съ вами, только смотрите же, не забудьте о моей тяжбѣ.

— Какъ это можно! Я на этихъ дняхъ непремѣнно у васъ побываю.

— Сдѣлайте милость!

Обиняковъ отправился, но только не къ себѣ на Берсеньевку, а въ Зарядье, къ Андрею Юрьевичу Шелешпанскому, который никакъ не подозрѣвалъ, что надъ его беззащитною головою сбирается такая ужасная гроза. Этотъ потомокъ удѣльныхъ князей Бѣлоозерскихъ останавливался обыкновенно въ одномъ изъ самыхъ худшихъ постоялыхъ дворовъ Зарядья. Онъ занималъ три небольшіе покоя, или, вѣрнѣе сказать, одну грязную, запачканную комнату, раздѣленную на-трое досчатыми перегородками. Первая комната служила лакейскою для двухъ холопей, которые, судя по ихъ тощей наружности, были великіе постники; во второй—князь Андрей Юрьевичъ принималъ своихъ гостей, а въ третьей, болѣе похожей на теплый

чуланъ, чѣмъ на комнату, онъ изволилъ спать ночью и отдыхать полѣ обѣда на высокой лежанкѣ, которой не доставало только полатей, чтобъ походить совершенно на самую простую крестьянскую печь. Нечаянный пріѣздъ Обинякова помѣшалъ любимому занятію князя Шелешпанскаго: онъ считалъ свои деньги, отбиралъ къ сторонѣ истертую мелочь и чистилъ кирпичнымъ порошкомъ серебряные рублевики.

— Ахъ, батюшка Ардаліонъ Михайловичъ!—вскричалъ онъ.—Какъ ты меня захватилъ!.. Сейчасъ... сейчасъ!.. Сочту послѣ, — продолжалъ онъ, всыпая торопливо деньги въ кожаную суму и кладя ее за пазуху. Что это тебѣ вздумалось?

— Да надобно кой о чемъ поговорить съ вами.

— Поговорить? О чемъ? Ужь не хочешь ли опять торговать моихъ саврасыхъ?

— Нѣтъ, сударь, дорого просите.

— Дорого?.. Что ты, Ардаліонъ Михайловичъ, побойся Бога! За эту цѣну у меня ихъ съ руками оторвутъ. Такихъ коней на свѣтѣ мало: трехвершковыя казанки— да вѣдь это диковинка, любезный!.. Имъ на охотника и цѣны нѣтъ. Вотъ у меня была — давно ужь, еще до покражи моей ветчины — такая же пара, такъ я взялъ за нее двѣсти рублевъ чистоганомъ, да еще жеребчика въ придачу, вотъ того самаго, что я продалъ Опухтину за персидскаго аргамака.

— Да не о томъ рѣчь, князь Андрей Юрьевичъ. Я пріѣхалъ съ вами поговорить о дѣлѣ нешуточномъ. Во-первыхъ: честь имѣю поздравить васъ съ невѣстою...

— Съ какою невѣстою?

— А какъ же?.. Вѣдь вы женитесь на племянницѣ Максима Петровича Прокудина.

— Кто это тебѣ сказалъ?

— Помилуйте,—объ этомъ вся Москва говоритъ.

— Неужели?.. Да отъ кого же это вышло?

— Видно, вы сами какъ-нибудь проговорились.

— Я только сказалъ объ этомъ одной Ѳедосьѣ Игнатьевнѣ Перепекиной... Ты знаешь ее?

— Сваху Игнатьевну? Какъ не знать! Ну, батюшка, нашли человѣка! Да вы бы еще взлѣзли на Ивана Великаго, да ударили въ успенскій колоколъ!

— Такъ это Игнатьевна разболтала?.. Ахъ она, чор-

това тетка!.. А вѣдь какъ божилась, проклятая!.. «Никому, батюшка, не скажу; видитъ Богъ, не скажу! Отсохни у меня правая рука по локоть, коли я кому ни есть хоть словечко вымолвлю!» Ну, дѣлать нечего!.. Да и то сказать: пускай себѣ говорятъ, что князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій женится на Ольгѣ Дмитріевнѣ Запольской... Эка бѣда! Что она, краденая чтоль какая?.. Невѣста богатая...

— Такъ, сударь, такъ! Да вотъ изволите видѣть: я сейчасъ былъ у ея тетушки...

— Аграфены Петровны Ханыковой?

— Да, князь. Ей при мнѣ объ этомъ сказали... Батюшки-свѣты!.. Она такъ на стѣны и полѣзла... «Не хочу, да и только!»

— Вотъ еще! Да ей-то какое до этого дѣло? Она тутъ не при чемъ.

— Помилуйте, родная тетка!..

— Такъ чтожъ? Не пріѣдетъ ко мнѣ на свадьбу?.. Да пожалуй себѣ не ѣзди! Кума съ возу, возу легче!

— Это бы ничего, князь, да у нея есть пріятель, гвардейскій офицеръ, Андрей Степановичъ Мамоновъ...

— Эка важность! Велика фря, гвардейскій офицерикъ... Да что онъ мнѣ сдѣлаетъ?

— Ну, сударь, не говорите! Знаете ли, зачѣмъ прислали въ Москву этого Мамонова?

— А кто его знаетъ.

— Ему указано отъ Царя забирать и разсылать по полкамъ всѣхъ неслужащихъ дворянъ.

— Всѣхъ? Какъ всѣхъ?

— Ну, вѣстимо дѣло, сирѣчь тѣхъ, которые еще молоды и здоровы, а пуще то всего молодыхъ дворянъ, которые писаны были въ новикахъ, а службы никакой не несли.

— Батюшка Ардаліонъ Михайловичъ!—вскричалъ князь Шелешпанскій, поблѣднѣвъ какъ полотно. Да вѣдь этакъ пожалуй...

— Да, князь, и до васъ доберутся. Этотъ Мамоновъ читалъ при мнѣ списокъ дворянъ, которыхъ потребуютъ на службу, а въ немъ и ваше имячко есть.

— Что ты говоришь?

— Былъ, дескать, писанъ въ московскомъ жилецкомъ войскѣ новикомъ, тридцати осьми лѣтъ; живетъ, дескать,

праздно въ своихъ отчинахъ, и доселѣ облыжно показывалъ, что онъ человѣкъ недужный.

— Такъ и написано?

— Такъ, сударь. Я поспѣшилъ васъ объ этомъ увѣдомить, потому что завтра, а можетъ быть и сегодня вечеромъ пришлютъ за вами.

— Неужели пришлютъ?

— Непремѣнно,

— Ну, а коли я не поѣду?

— Нельзя: возьмутъ насильно.

— Неужели насильно?

— А вы думаете, кланяться вамъ станутъ?..

— Ахъ ты, Господи!.. Вотъ дѣло какое!..

— Кажись, этотъ Мамоновъ, — продолжалъ Обиняковъ, очень желаетъ угодить Аграфенѣ Петровнѣ. Онъ при мнѣ говорилъ: «Ужь вы не безпокойтесь, матушка: князь Шелешпанскій не женится на вашей племянницѣ». Да еще какъ похвалялся, разбойникъ! Я, дескать, этого женишка ушлю туда, куда воронъ и костей не заносилъ.

Блѣдное лицо князя Андрея Юрьевича покрылось багровыми пятнами, холодный потъ выступилъ на лбу; онъ вскочилъ со стула и началъ, какъ шальной, бѣгать по комнатѣ, повторяя шопотомъ:

— Куда воронъ костей не заносилъ! Вотъ тебѣ на!.. Фу, ты, нелегкая!.. Эка притча, подумаешь!.. Да что же этотъ проклятый Мамоновъ говоритъ? — промолвилъ онъ наконецъ, остановясь напротивъ Обинякова.—Меня опять чтоль новикомъ запишутъ?

— Какіе, сударь, теперь новики! Объ нихъ давно нѣтъ и въ поминѣ. Васъ запишутъ въ драгуны или въ какой ни есть пѣхотный полкъ солдатомъ.

— Какъ солдатомъ?

— Да такъ! Бороду обрѣютъ, надѣнутъ на васъ лямку..

— Солдатомъ!.. Да вѣдь солдатъ то бьютъ?..

— Бьютъ, сударь.

— Да вѣдь этакъ, пожалуй, неровенъ часъ, и меня палочьемъ вздуютъ?

— Вздуютъ, батюшка.

— Ахъ ты, Господи! — завопилъ Шелешпанскій. Отцы мои!.. Сударики!.. Кормильцы!.. Да чтожъ мнѣ дѣлать?

— Я вамъ, батюшка князь, объявилъ объ этомъ заранѣе; а ужь тамъ какъ сами знаете.

— Постой, Ардаліонъ Михайловичъ! Знаешь ли что?.. Дай-ка я себѣ растравлю руку или ногу,..

— Такъ чтожъ? Васъ отвезутъ въ лазаретъ, сирѣчь въ казенную больницу, а тамъ какъ разъ вылѣчатъ.

— Эко дѣло, подумаешь! Куда ни кинь, все клинъ!.. Да нельзя ли хоть деньгами откупиться?..

— Деньгами? Нѣтъ, сударь, не такой человѣкъ этотъ Мамоновъ: его не подкупишь.

— И что ты, Ардаліонъ Михайловичъ! Да кто же себѣ злодѣй? Станутъ мнѣ деньги давать, а я не возьму?

— Вы дѣло другое, сударь: вы человѣкъ умный, а этотъ Мамоновъ что? Шелопай, мотыга, — ему деньги ни по чемъ. Да и что вы ему дадите? Вѣдь онъ богаче васъ.

— Неужели?.. Ну, пропала моя головушка!.. Коли нельзя и деньгами взять, такъ дѣлать то нечего, — ложись да умирай!

— Оно конечно, — молвилъ Обиняковъ, помолчавъ нѣсколько времени, — дѣло то плоховато... Тутъ надобно, чтобъ и волки были сыты и овцы цѣлы... Развѣ подняться на какія-нибудь хитрости?

— Ахъ, другъ сердечный! — прервалъ Шелешпанскій,— сдѣлай милость, дай, батюшка, ума... приставь голову къ плечамъ!

— Вотъ то-то, князь Андрей Юрьевичъ, теперь дай ума, приставь голову къ плечамъ! А какъ въ прошломъ мѣсяцѣ я просилъ у васъ взаймы двадцать пять рубликовъ, такъ и денегъ нѣтъ!

— Право не было!.. Видитъ Богъ, не было!

— А теперь, кажется, есть: вы при мнѣ считали. Одолжите, сударь, пятьдесятъ рублей, мнѣ крайняя нужда.

— Да вѣдь это деньги то не мои.

— Ну, коли не ваши, такъ и говорить нечего. Счастливо оставаться, батюшка!

— Постой!.. Куда ты?

— Къ Аграфенѣ Петровнѣ Ханыковой: она вѣрно не откажетъ мнѣ въ пятидесяти рубляхъ; барыня богатая...

— Помилуй, да на что тебѣ пятьдесятъ рублей?.. Ну, двадцать пять рублей куда ни шло! — продолжалъ Шелешпанскій, вынимая изъ-за пазухи мѣшокъ съ деньгами.

— Премного благодарю, батюшка князь, да мнѣ этого мало; и коли пришлось занимать, такъ лучше занять у

одного пріятеля, чѣмъ у двоихъ. . Прощенья просимъ, Андрей Юрьевичъ!

— Постой, постой! Ну, Ардаліонъ Михайловичъ, не даромъ говорятъ, что ты крапивное сѣмя! На, вотъ тебѣ, считай! — промолвилъ князь, высыпая деньги на столъ. Возьми себѣ пятьдесятъ рублевъ... Да вѣдь ты мнѣ ихъ отдашь?

— Какъ же, князь! — отвѣчалъ Обиняковъ, отсчитывая себѣ пятьдесятъ рублевиковъ. Непремѣнно отдамъ, когда будутъ деньги... Ну, спасибо вамъ, князь Андрей Юрьевичъ,—помогли бѣдному человѣку въ нуждѣ!—продолжалъ Обиняковъ. Теперь мы поговоримъ о вашемъ дѣлѣ. Коли забираютъ на службу всѣхъ дворянъ, такъ это потому, батюшка, что у насъ война съ туркомъ; а вотъ какъ сдѣлается съ нимъ замиреніе, такъ тревожить никого не станутъ и дѣла то пойдутъ по прежнему. Намъ бы только съ вами какъ ни есть время протянуть, а тамъ, Господь милосердъ, все будетъ шито да крыто. Вся сила въ томъ, князь Андрей Юрьевичъ, чтобъ вы къ Мамонову не являлись, и чтобъ васъ, не смотря на это, нельзя было назвать ослушникомъ.

— Да какъ же ты это сдѣлаешь?

— А вотъ какъ: коли вы не знаете, что онъ васъ требуетъ, такъ вамъ нечего къ нему и являться, — не правда ли?

— Ну, вѣстимо! Да вѣдь ты сказалъ, что по меня пришлютъ?

— За вами пришлютъ завтра, а вы уѣзжайте въ деревню сегодня, да только не въ ту, въ которой всегда живете. Я слышалъ, что у васъ около Москвы много отчинъ.

— Какъ же, всѣ мои отчины около Москвы; однихъ селъ до десяти будетъ.

— И все по разнымъ дорогамъ?

— Все по разнымъ: и по тверской, и по коломенской и по серпуховской, и по Владимiркѣ, есть и по Остромынкѣ...

— Ну вотъ изволите видѣть!.. Поѣзжайте теперь въ какую-нибудь отчину, а здѣсь оставьте вѣрнаго человѣка. Лишь только я узнаю, что Мамоновъ провѣдалъ, гдѣ вы живете, я къ вамъ тотчасъ гонца. Незваные то гости на дворъ, а вашъ и слѣдъ простылъ! «Уѣхалъ, дескать».

«Куда?» «Да Богъ вѣсть — не то въ Москву не то въ коломенскую отчину». А вы переѣзжайте въ серпуховскую; а коли надобно будетъ, такъ въ другую, въ третью, а тамъ въ четвертую, — устанутъ за вами гоняться. Ну, а если какимъ ни есть случаемъ васъ и захватятъ, — такъ чтожъ? «Я, дескать, не зналъ, что меня требуютъ, и отъ царскаго указа не прятался; а ѣздилъ по моимъ отчинамъ». Да и какъ васъ захватить? Я буду здѣсь сторожить, и коли вы сами зѣвать не станете, такъ будь этотъ Мамоновъ хоть семи пядей во лбу, а все-таки на своемъ не поставитъ. Ему же и безъ васъ дѣла то будетъ довольно; погоняется за вами, а тамъ, глядишь, плюнетъ, да скажетъ: «Чертъ его побери совсѣмъ!»

— Ну, Ардаліонъ Михайловичъ, головка то у тебя...

— Годится покамѣсть, батюшка.

— Только вотъ что: какъ же я женюсь? Вѣдь свадьбѣ положено быть на Ѳоминой недѣлѣ.

— Здѣсь въ Москвѣ?

— Нѣтъ, въ серпуховской отчинѣ Максима Петровича Прокудина.

— Такъ чтожъ? Тѣмъ лучше: въ чужомъ селѣ и подавно васъ искать не станутъ. Да еще до Ѳоминой недѣли много воды утечетъ, лишь только бы на первыхъ то порахъ вы не попались въ лапы этому Мамонову. Извѣстное дѣло: новая метла всегда чисто мететъ; теперь онъ сгоряча и рветъ и мечетъ, а тамъ, Богъ милостивъ, уходится, голубчикъ! Только ужь вы не мѣшкайте, батюшка, уѣзжайте скорѣй изъ Москвы.

— Чего мѣшкать... Эй, Ѳомка!.. Сидорка!

Двое слугъ вошли въ комнату.

— Скажите Андрону. — продолжалъ Шелешпанскій, чтобъ скорѣй запрягалъ лошадей; мы сейчасъ ѣдемъ. Ты, Сидорка, поѣдешь со мною, а ты, Ѳомка, останься здѣсь.

— Слушаю, батюшка! — отвѣчалъ Ѳомка съ низкимъ поклономъ.

— Найми себѣ какой-нибудь уголочекъ, да смотри— подешевле! Харчевыхъ я тебѣ оставлю. Будетъ съ тебя копѣйки по двѣ на день?

— Воля твоя, государь князь Андрей Юрьевичъ.

— Чегожъ еще тебѣ?.. Скоро постъ. Былъ бы только хлѣбъ, а за водой и самъ на рѣку сходишь. Смотри, каж-

дый день являйся къ Ардаліону Михайловичу, и что о тебѣ прикажетъ, то и дѣлай—слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Ну, ступайте же, помогайте Андрону запрягать л шадей, а я стану здѣсь укладываться. Да у меня смотри живѣе!

— Прощайте, князь Андрей Юрьевичъ!—сказалъ Об няковъ, вставая. Мы, кажется, все порядкомъ улади теперь вамъ бояться нечего.

— Нѣтъ, Ардаліонъ Михайловичъ, боюсь, крѣпко б юсь!.. Какъ подумаю объ этомъ Мамоновѣ, такъ мен вотъ такъ трясучка и начнетъ бить... У, батюшки, страс какая!. Пожалуй еще пошлютъ подъ турка...

— Вѣстимо дѣло! Теперь съ нимъ война, объ этом ужъ и манифестъ объявленъ.

— А вѣдь тамъ, говорятъ, людей то до смерти бьютъ

— Да, батюшка,—по головкѣ не гладятъ.

— Вотъ то-то же!.. Ужь ты, сдѣлай милость, Арда ліонъ Михайловичъ, не зѣвай, ради Бога! Лишь тольк узнаешь что-нибудь, мигомъ посылай ко мнѣ Ѳомку.

— Да куда-жъ посылать то?

— По смоленской дорогѣ, въ село Сысоево: я тепер туда поѣду.

— Такъ оставьте-жъ ему деньги на ѣзду.

— Зачѣмъ? Дойдетъ и пѣшкомъ: вѣдь всего тольк пятьдесятъ верстъ.

— Ну вотъ еще!.. Онъ пойдетъ пѣшкомъ, а команд отъ Мамонова поѣдетъ на подводѣ,—что вы это!

— Да вѣдь онъ у меня ходокъ.

— Эхъ, князь, вотъ нашли время алтынничать! Вѣд дѣло то нешуточное!

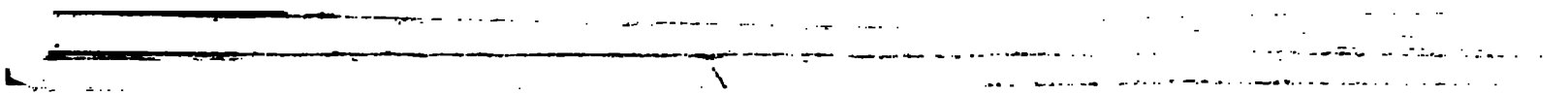
— Ну, хорошо, хорошо!

— Прощенья прошу, князь Андрей Юрьевичъ... Ну что, сударь, послужилъ ли я вамъ?

— Какъ же, любезный! — сказалъ Шелешпанскій, по сматривая съ горемъ на свой кожаный мѣшокъ съ день гами. – Ахъ ты, мошенникъ этакій!—прошепталъ онъ, когда Обиняковъ вышелъ вонъ изъ комнаты. Послужилъ!... Ну за что содралъ съ меня пятьдесятъ рублей?... Отдамъ дескать, когда деньги будутъ! Да когда у тебя деньги т бываютъ, голь проклятая!... А тамъ еще для Ѳомки лоша дей нанимай, плати за него харчи... Вотъ не было печали

да черти накачали! — промолвилъ князь Андрей Юрьевичъ, начиная укладывать въ чемоданъ свое добро. Эка притча какая!... Копишь, копишь деньги: не доѣшь, не допьешь, сбираешь по копѣечкамъ; а пришла бѣда, такъ рубли ни по чемъ!... Ну, нечего сказать, выдался денекъ!

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I

«Лѣтомъ деревня — рай» — говорятъ всѣ любители сельскаго быта, и въ этомъ я съ ними совершенно согласенъ; разумѣется, если деревня, въ которой я провожу лѣто, окружена рощами, а не голою степью, и передъ моимъ веселымъ домикомъ разстилается не грязный, подернутый зеленью, прудъ, но изумрудный лугъ, усыпанный цвѣтами, между которыми вьется игривая и свѣтлая рѣчка. О, конечно, такой сельскій пріютъ не грѣшно назвать земнымъ раемъ, только не приведи, Господи, жить въ этомъ раю зимою, а особливо человѣку несемейному. Если онъ не умретъ со скуки, то ужь, конечно, можно сказать утвердительно, что люди отъ скуки не умираютъ. Вотъ, напримѣръ, ночью подымется погода; вы просыпаетесь по утру, протираете глаза и думаете: «неужели еще ночь?» Нѣтъ, на дворѣ ужь полдень, — да вашъ домъ занесло метелью, и огромные сугробы снѣга лѣзутъ къ вамъ прямехонько въ окна. Если иногда проглянетъ солнышко и улыбнется по лѣтнему,—не спѣшите къ нему навстрѣчу, потому что на дворѣ ужь вѣрно трескучій морозъ. Полюбуйтесь этимъ солнышкомъ сквозь двойныя стекла и оставайтесь попрежнему въ натопленныхъ комнатахъ, въ которыхъ мы всѣ, какъ тепличныя растенія, должны прозябать большую часть нашей жизни. Если, наконецъ, вамъ надоѣстъ это искуственное тепло, и вы захотите подышать свѣжимъ воздухомъ, надѣвайте на себя шубу, шапку, теплые сапоги и ступайте гулять, то есть ходить взадъ и впередъ по утоптанной тро-

пинкѣ, которая ведетъ отъ барскаго дома къ селу. Вѣроятно, эта прогулка не принесетъ вамъ большого удовольствія, — напротивъ, вамъ сдѣлается очень грустно. Посмотрите вокругъ себя: неужели эти голыя, огромныя метлы были когда-нибудь роскошными, пушистыми деревьями, подъ тѣнью которыхъ вы съ такимъ наслажденіемъ отдыхали въ знойный полдень? Неужели это однообразное бѣлое поле, эти наносные бугры снѣга, эти непроходимые сугробы — тотъ самый лугъ, на которомъ мы рвали цвѣты? А эта изгибистая дорожка, прорѣзанная глубокими колеями, та самая рѣчка, въ которой вы купались нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ? Согласитесь, что лучше сидѣть дома, въ теплой комнатѣ, чѣмъ мерзнуть и смотрѣть на эти мертвыя деревья, засыпанныя снѣгомъ поля и это безжизненное солнце, которое, вмѣсто тепла, обдаетъ васъ холодомъ. Но чтожъ вы будете дѣлать дома? Читать безпрестанно нельзя: и голова устанетъ, и глаза заболятъ; а общества въ деревнѣ нѣтъ. Бываютъ иногда сосѣди, да и тутъ бѣда: на одного умнаго и пріятнаго собесѣдника заберется къ вамъ съ полдюжины такихъ пріятелей, для которыхъ въ городѣ ваши двери были бы всегда заперты, а тутъ отворяйте ихъ настежь. Деревенскій бытъ имѣетъ свои собственные условія и законы. Въ городѣ вы можете одного гостя принять, а другому сказать, что васъ нѣтъ дома; попытайтесь это сдѣлать въ деревнѣ... Да сохрани, Господи: васъ закидаютъ каменьями!... Нѣтъ, круглый годъ жить въ деревнѣ можно только тамъ, гдѣ солнце грѣетъ и зимою, гдѣ я могу и въ декабрѣ мѣсяцѣ открыть окно, сорвать на лугу цвѣтокъ, покататься въ лодкѣ и отдохнуть подъ тѣнью густого дерева, покрытаго зелеными листьями.

Вѣроятно, въ старину зимняя деревенская жизнь была еще скучнѣе. Наши предки не знали этихъ отрадныхъ минутъ, которыми дарятъ насъ умственныя занятія: словесность, музыка и всѣ изящныя художества; ничѣмъ не сокращаемые длинные зимніе вечера должны были имъ казаться безконечными Вы можете судить поэтому, какъ весело было жить Ольгѣ Дмитріевнѣ въ деревнѣ Максима Петровича Прокудина. Бѣдная дѣвушка тосковала какъ ручная птичка, которая побывала на волѣ, полетала подъ открытымъ небомъ, полюбовалась на свѣтъ Божій, и потомъ попала опять въ ту же самую тѣсную клѣтку, въ которой томилась почти со дня своего рожденія. Чтобъ не

зачахнуть съ тоски, она старалась забыть о своемъ настоящемъ положеніи; изрѣдка, да и то съ какою то безнадежною грустью, мечтала она о будущемъ; но зато безпрестанно думала о прошедшемъ, то-есть о томъ счастливомъ времени, которое она провела въ Москвѣ, у своей тетки. Какъ часто, сидя за рукодѣльемъ, она переносилась мыслію на эти веселыя асамблеи Гутфеля, у котораго въ первый разъ встрѣтился съ нею Василій Михайловичъ Симскій. «Гдѣ онъ теперь»? — думала Ольга Дмитріевна. «Помнитъ ли меня?... Ахъ, нѣтъ, чай, давно ужь забылъ!... И зачѣмъ ему обо мнѣ помнить? Можетъ быть мы ужь вѣкъ не увидимъ другъ друга... Да и мало ли на бѣломъ свѣтѣ дѣвицъ милѣе и пригожѣе меня... И что это мнѣ казалось, что будто бы онъ... Да нѣтъ, если-бы я пришла ему по сердцу, такъ ужь вѣрно бы онъ за меня посватался.. Правду говорила тетушка: «эти гвардейскіе офицеры — что имъ! Имъ бы только въ Москвѣ погулять, повеселиться, да посмѣяться надъ бѣдными московскими барышнями»... Такъ зачѣмъ же я безпрестанно о немъ думаю? Отчего онъ мерещится мнѣ и днемъ и ночью? Можетъ быть онъ теперь ухаживаетъ за какой-нибудь красавицей... смотритъ ей въ глаза... любуется ею, а я... О, слава Богу, что это моя завѣтная тайна!... Ну, если-бъ кто узналъ объ этомъ?... Избави, Господи!... Да мнѣ бы тогда стыдно было и на людей смотрѣть!... Нѣтъ, не стану о немъ думать—забуду его»!... повторяла про себя Ольга Дмитріевна, потомъ начинала плакать, тосковать и принималась снова думать о Симскомъ.

Въ лѣтнее время кругомъ Максима Петровича Прокудина жило много сосѣдей. Въ десяти верстахъ отъ него была отчина Лаврентія Никитича Рокотова, нѣсколько подалѣе помѣстье Герасима Николаевича Шетнева и въ весьма близкомъ разстояніи пять или шесть господскихъ усадебъ, принадлежащихъ, по большей части, богатымъ помѣщикамъ; но зимою они всѣ уѣзжали въ Москву, за исключеніемъ только двухъ, которые жили безвыѣздно въ своихъ деревняхъ. Одинъ изъ нихъ, бывшій нѣкогда комнатнымъ стольникомъ Царя Алексѣя Михайловича, Антонъ Кондратьевичъ Чередѣевъ, дряхлый старикъ, разбитый параличомъ; другой, помѣщикъ тридцати душъ, Карпъ Саввичъ Пыжовъ, служившій при Царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ городскимъ дворяниномъ въ Серпуховѣ, лысый старикъ, весьма некрасивой

наружности, не слишкомъ грамотный, но человѣкъ очень добрый и простодушный. Этотъ мелкопомѣстный дворянинъ, вмѣстѣ съ приходскимъ священникомъ села Воздвиженскаго, отцомъ Филиппомъ, составляли зимою единственное общество Максима Петровича. Къ нимъ можно было присоединить и дворецкаго, Прокофія Сидорыча Кулагу, который принималъ иногда участіе въ общихъ разговорахъ, игралъ въ шашки съ бариномъ, толковалъ съ Карпомъ Саввичемъ Пыжовымъ о старинѣ и осмѣливался даже, какъ человѣкъ начитанный, разсуждать съ отцомъ Филиппомъ о разныхъ духовныхъ предметахъ, въ особенности о древнихъ церковныхъ книгахъ, которымъ онъ, несмотря на свое православіе, отдавалъ явное преимущество передъ новыми. Ольга Дмитріевна рѣдко находилась при этихъ бесѣдахъ. Она тотчасъ послѣ обѣда уходила въ свою комнату, сначала принималась за работу, а тамъ, покинувъ свое рукодѣлье, сидѣла иногда по нѣскольку часовъ сряду въ какомъ то забытьи и думала, разумѣется, о томъ, о чемъ столько разъ закаивалась думать Такъ прошелъ весь Великій постъ. Вотъ, наконецъ, «эта сѣдая чародѣйка», русская зима, понатѣшилась вдоволь; повѣялъ весенній вѣтерокъ, зашумѣли снѣжные потоки, вода хлынула съ горъ, и всѣ поля покрылись безчисленнымъ множествомъ быстрыхъ ручейковъ. Вотъ появился первый гость весны, голосистый жаворонокъ, и началъ перепархивать съ одной проталинки на другую. Прошло еще нѣсколько дней, насталъ великій праздникъ Божій, и весь русскій міръ закипѣлъ жизнію и весельемъ. Казалось, что вмѣстѣ съ Христовымъ воскресеньемъ воскресло все—и люди и природа. Холмы опушились зеленью, озимыя поля, сбросивъ свой снѣжный покровъ, разостлались роскошными коврами. На всѣхъ лицахъ сіяла радость, все дышало любовью и всѣ, встрѣчаясь другъ съ другомъ и восклицая «Христосъ воскресе», обнимались какъ родные братья.

Въ Свѣтлое Воскресенье Максимъ Петровичъ, по старинному русскому обычаю, разговѣлся за однимъ столомъ со всѣми своими *домочадцами*, потомъ вышелъ съ Ольгой Дмитріевной на крыльцо, поклонился всему *міру*, который собрался на его барскій дворъ, и перехристосовался поодиночкѣ со всѣми крестьянами, изъ которыхъ каждый принесъ своимъ господамъ по красному яичку. Къ обѣду Максимъ Петровичъ поджидалъ своего сосѣда Пыжова, но онъ

не пріѣхалъ. На другой день праздника, когда Прокудинъ садился за столъ вдвоемъ съ своей племянницей, Карпъ Савичъ вошелъ въ столовую.

— А, сосѣдушка любезный!—вскричалъ Максимъ Петровичъ.—Христосъ воскресе! Милости просимъ откушать нашего хлѣба и соли!

Пыжовъ облобызался съ Прокудинымъ, съ Ольгой Дмитріевной, со всѣми служителями, которые на ту пору были въ комнатѣ, перекрестился и сѣлъ за столъ.

— Что это, другъ сердечный,—сказалъ Максимъ Петровичъ, — за что такая немилость? Когда это бывало, чтобъ ты не обѣдалъ у меня въ Свѣтлое Воскресенье?

— Чтожъ дѣлать, батюшка! — отвѣчалъ Пыжовъ, кушая, съ прохладой и съ разстановкою, сытную похлебку изъ гусиныхъ потроховъ. Я и самъ не чаялъ этого. Ужь я отговаривался, отговаривался, да онъ пристalъ ко мнѣ какъ съ ножемъ. «Ты, дескать, мой прихожанинъ, зачѣмъ тебѣ ѣхать къ Максиму Петровичу? Разговѣйся у меня, а къ нему и завтра поѣдешь».

— Да о комъ ты говоришь?

— О Лаврентіи Никитичѣ Рокотовѣ.

— Какъ? Да развѣ онъ здѣсь?

— Здѣсь, батюшка. Третьяго дня изволилъ пріѣхать въ свою отчину и завтра собирается къ тебѣ.

— Милости просимъ.

— Ну, батюшка, дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать, потѣшилъ онъ меня, старика.

— А что?

— Да вотъ что, Максимъ Петровичъ: глаза то у меня становятся больно плохи; ужь чего, кажется, крупнѣе акаѳистовъ кіевской печати,—и тѣ съ грѣхомъ пополамъ читаю; что-жъ онъ, мой кормилецъ, привезъ мнѣ изъ Москвы какіе то стеклянные наглазники...

— Сирѣчь очки?

— Да, сударь, по иноземному, окуляры; знаешь, этакъ на носъ надѣваются. Нѣмецкая выдумка, батюшка, а, нечего сказать, хитро придумано.

— Что-жъ, тебѣ въ нихъ лучше?

— Какъ же, батюшка, свѣтъ увидѣлъ!

— Вотъ что! Такъ стекла то пришли тебѣ по глазамъ?

— Да какъ бы тебѣ сказать... не очень по глазамъ. Сначала все какъ будто бы застилало, да я фортель нашелъ.

— Какой фортель?

— А вотъ какой: какъ я начну читать, такъ книгу : держу подальше, а наглазники спущу пониже, да чере нихъ и смотрю. Ну, этакъ хорошо!... Что-жъ ты, батюш Максимъ Петровичъ, смѣешься?... Право такъ!

— Ахъ ты голова, голова! Да коли ты черезъ нихъ см тришь, такъ на что-жъ они тебѣ?

— Ну вотъ, поди ты! Я и самъ въ толкъ не возьм а лучше, право лучше!... Видно ужь такъ хитро устроен и князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій тоже говорит «Знать, дескать, тутъ есть пружина какая-нибудь».

— Князь Шелешпанскій? Такъ и онъ здѣсь?

— Какъ же, батюшка!... Пріѣхалъ погостить къ Ла рентію Никитичу. У него здѣсь недалеко и своя отчин есть. Фу, батюшки, богатъ!... Куда ни поѣзжай кругом Москвы, все его отчины! И самъ то онъ какой молод чина!... Вотъ бы тебѣ, государыня Ольга Дмитріевна, же нишокъ! То то была бы парочка!

— Что вы это, Карпъ Саввичъ!—прервала Запольская.— Охота вамъ говорить!

— А что-жъ, матушка? Ты у насъ дѣвица на возрастѣ невѣста.

— Да полноте, какъ это вамъ не стыдно!

— Да что-жъ тутъ стыднаго, Ольга Дмитріевна? Дѣл житейское. Не вѣкъ же тебѣ сидѣть въ дѣвкахъ.

— А вамъ то что до этого?—сказала съ улыбкою Ольг Дмитріевна, стараясь обратить этотъ разговоръ въ шутку

— Какъ что, матушка?—подхватилъ Карпъ Саввичъ.— Да вѣдь ты наше красное солнышко; мы всѣ Бога молимъ чтобъ Онъ послалъ тебѣ суженаго роду знатнаго, бога таго, молодца собою, и чтобъ онъ человѣкъ то былъ доб рый. Ну кто говоритъ: и ты у насъ, Ольга Дмитріевна, не вѣста первостатейная: и красотой, и умомъ, и богатствомъ —всѣмъ надѣлилъ тебя Господь. Да и князь то Шелешпанскій не другимъ чета. Такіе женишки, каковъ онъ, и въ старину за углами не валялись, а теперь, не прогнѣвайся матушка, въ сапожкахъ ходятъ! Человѣкъ смирный, моло децъ собою, и, легко вымолвить—четыре тысячи душъ! А въ кладовыхъ то, говорятъ, отцовское серебро такъ воро хами и навалено; однѣхъ серебряныхъ братинъ десятка два наберется, а разнымъ кубкамъ, ковшамъ и позолоченымъ чаркамъ счету нѣтъ!... Такъ какъ же, матушка, не поже

лать тебѣ счастья, а намъ, старикамъ, радости; то-то бы попировали на твоей свадебкѣ!... Ну, вотъ ужь ты и нахмуриться изволила!... А за что, матушка?... Вѣдь это я любя говорю...

— Я очень вамъ благодарна, только сдѣлайте милость...

— Ну, хорошо, сударыня, хорошо. Мы теперь объ этомъ говорить не станемъ; эта рѣчь впереди... Да я же, видитъ Богъ, ни съ чего другого объ этомъ заговорилъ, а такъ, матушка, къ слову пришлось... И то правда,—промолвилъ вполголоса Пыжовъ, обращаясь къ хозяину,—дѣло дѣвичье!... Ушки то у нихъ золотомъ завѣшены, и слышатъ да не слышатъ, и любо да не скажутъ!

Послѣ обѣда Карпъ Саввичъ пошелъ отдохнуть. Ольга Дмитріевна хотѣла также уйти къ себѣ въ комнату, но дядя приказалъ ей остаться, посадилъ подлѣ себя, приласкалъ; потомъ, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ:

— Послушай, Оленька, вѣдь Карпъ Саввичъ то дѣло говорилъ, и если-бъ князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій за тебя посватался...

— Ахъ, что вы, дядюшка!—вскричала Запольская.

— А что, мой другъ?... И я также тебѣ скажу: ты ужь, матушка, невѣста, — не вѣкъ же тебѣ въ дѣвкахъ сидѣть.

— Нѣтъ, дядюшка, я не хочу съ вами разставаться.

— И я этого не хочу, мой другъ. Да въ томъ то и дѣло: если-бъ ты вышла замужъ за князя Андрея Юрьевича, такъ мы бы никогда съ тобой не разстались; онъ переѣхалъ бы на житье въ здѣшнюю свою отчину, вы стали-бъ ѣздить ко мнѣ, я къ вамъ...

— Да отчего вы думаете, дядюшка, что этотъ князь...

— За тебя посватается. А почему знать?... Конечно, онъ женихъ не дюжинный, да вѣдь Карпъ то Саввичъ и про тебя правду сказалъ: такихъ невѣстъ, какъ ты, въ Москвѣ не много наберется... Ну что, мой другъ, коли онъ въ самомъ дѣлѣ за тебя посватается?...

— Избави, Господи!

— Что ты, что ты, Ольга Дмитріевна? Да ужь это, не прогнѣвайся, глупо! Ты его въ лицо не знаешь, тебѣ говорятъ, что онъ молодецъ, ты слышишь о немъ рѣчи все хорошія и, ничего не видя, руками и ногами!... Какъ будто бы тебя за какого-нибудь стараго чорта выдаютъ замужъ!

— Ахъ, дядюшка! Бога ради, не выдавайте меня замужъ! И зачѣмъ вамъ торопиться?... Я еще такъ молода...

— Да я то старъ, мой другъ, и мнѣ бы очень хотѣлось пристроить тебя, пока еще живъ На сестру у меня плохая надежда. Конечно, она баба добрая, да—не при тебѣ будь сказано—вовсе свихнулась: изъ русской барыни сдѣлалась нѣмкою, да и тебя было совсѣмъ онѣмечила. Какъ подумаю: что бы сказала покойница твоя мать, если-бъ ты при ней поѣхала на пирушку къ этому еретику Гутфелю?... И зачѣмъ?... Чтобъ поплясать тамъ съ какимъ-нибудь колбасникомъ или сорванцомъ, гвардейскимъ офицерикомъ, для котораго что ты, благородная и честная дѣвица, что какая-нибудь разбитная нѣмка, все едино. Ну, да что объ этомъ говорить: кажись, Богъ милостивъ,—я успѣлъ еще въ пору выручить тебя изъ этого омута... Не по грѣхамъ наказалъ меня Господь: ты все еще моя разумница, моя послушная и добрая племянница — милое дитя мое!... Не правда ли, мой другъ, ты все еще любишь меня, какъ отца родного?

— О, конечно, какъ отца родного! — вскричала Ольга Дмитріевна, обнимая своего дядю.—И вамъ не грѣшно меня объ этомъ спрашивать?

— Эхъ, Оленька! Ты вѣдь человѣкъ молодой, а тамъ, я думаю, чего тебѣ въ уши то не напѣвали? Да вотъ, примѣромъ сказать, кабы ты не жила у своей тетки, такъ вѣрно бы не стала говорить, что не хочешь замужъ идти, а по русскому благочестивому обычаю отвѣчала бы мнѣ: «воля ваша, дядюшка!»... Хочешь ли, я тебѣ скажу, что ты теперь думаешь? «Да зачѣмъ мнѣ идти замужъ? Мнѣ и въ дѣвкахъ не скучно. Вотъ поѣду опять къ тетушкѣ,— начну веселиться, ѣздить по пирушкамъ»... Да нѣтъ, Ольга Дмитріевна, ты напрасно это думаешь: не отпущу я тебя на житье къ теткѣ; не видать тебя московскимъ коршунамъ, моя чистая бѣлая голубушка!... Эхъ, что я говорю!.. Вотъ годика черезъ три, какъ ты войдешь въ совершенныя лѣта, будешь полною госпожею, такъ, можетъ быть, сама покинешь своего дряхлаго дядю. «Пусть, дескать, этотъ старый ворчунъ умираетъ здѣсь на чужихъ рукахъ, а я поѣду въ Москву плясать да веселиться у нѣмца Гутфеля!»

Ольга Дмитріевна заплакала.

— Ну вотъ ужь и въ слезы! — проговорилъ Максимъ Петровичъ встревоженнымъ голосомъ.—Охъ эти мнѣ слезы! И откуда онѣ у тебя берутся?.. Да полно же, мой другъ!—

продолжалъ онъ, лаская свою племянницу.—Не плачь, жизнь моя!.. И о чемъ тутъ плакать?.. Вѣль это такъ—простой разговоръ!

— И вы могли сказать, дядюшка,—молвила сквозь слезы Ольга Дмитріевна, что я покину васъ на старости!...

— Ну, виноватъ, моя радость, виноватъ! Прости меня, Бога ради!... И какъ это непригожее слово сорвалось у меня съ языка!.. Вотъ то-то и есть, другъ сердечный: коли человѣкъ одинокій доживетъ до старости, такъ ему подъчасъ и Богъ вѣсть что придетъ въ голову!.. Ну, ступай, моя душа, къ себѣ; мнѣ пора ужь отдохнуть, и ты также прилягъ, успокойся... Да полно же — перестань!... Эхъ, худо дѣло! — прошепталъ Максимъ Петровичъ, покачивая головою и глядя вслѣдъ за уходящей племянницей. Ужь не опоздалъ ли я тебя увезти изъ Москвы?... Кто говоритъ: здѣсь житье скучнѣе московскаго, да отъ скуки этакъ не плачутъ... Охъ мнѣ этотъ гвардейскій фенрикъ!... Хорошо еще, что племянница не знаетъ, что онъ за нее сватался.

II.

На другой день, то есть во вторникъ на святой недѣлѣ, дворецкій и приказчикъ Максима Петровича, Прокофій Сидоровичъ Кулага, выѣхалъ на телѣжкѣ осмотрѣть барскія поля, которыя тянулись версты на три по обѣимъ сторонамъ большой серпуховской дороги.

— Эка благодать Божья! — шепталъ онъ про себя, посматривая съ радостію на яркую и густую зелень озимыхъ полей. Что, братъ Феропонтъ,—молвилъ онъ, обращаясь къ сѣдому старику, который правилъ лошадью.— каковы всходы?

— Да, батюшка Прокофій Сидорычъ, — отвѣчалъ старикъ,—изъ годовъ вонъ!... Давно я живу на свѣтѣ, а такихъ озимей не видывалъ!... Нечего сказать: коли Господь не нашлетъ какой невзгоды, такъ будемъ съ хлѣбцемъ.

— Феропонтъ, — прервалъ Кулага,—посмотри, что это впереди то... на большой дорогѣ... вонъ тамъ изъ-за горки... кажись, кто то скачетъ.

— Да, Прокофій Сидорычъ, два вершника... А вонъ за ними катитъ кто то на тройкѣ вороныхъ.

— Въ телѣгѣ?

— Нѣтъ, батюшка: кажись, въ одноколкѣ.

— Э, да это никакъ Лаврентій Никитичъ Рокотовъ!

— Онъ и есть, Прокофій Сидорычъ. Вонъ передній вершникъ, на саврасомъ конѣ, куманскъ мой, Ѳома Дерюгин

Когда одноколка поровнялась съ Прокофьемъ Кулаго онъ спрыгнулъ съ телѣги и снялъ шапку.

— Постой! — закричалъ Рокотовъ. — Здорово, Кулаг Христосъ воскресе!

— Во истину воскресе, государь Лаврентій Никитич —отвѣчалъ Прокофій съ низкимъ поклономъ.

— Что, баринъ твой здоровъ?

— Слава Богу, сударь.

— Гостей у него нѣтъ?

— Никого нѣтъ, батюшка.

— Хорошо. Пошелъ!

Минутъ черезъ пять Максимъ Петровичъ встрѣтил своего гостя на крыльцѣ. Послѣ обыкновенныхъ друж скихъ привѣтствій и лобызаній, Лаврентій Петровичъ ска залъ Прокудину:

— Ну вотъ, другъ сердечный, мы, кажись, не зап здали. Готовъ ли ты, а мы, пожалуй, хоть наканунѣ Ѳо мина понедѣльника нагрянемъ къ тебѣ со всѣмъ поѣздом

— Помилуй! — прервалъ съ примѣтнымъ смущеніем Прокудинъ.—Что это тебѣ такъ загорѣлось, любезный? Д другого то поста еще далеко.

— Эхъ, Максимъ Петровичъ, или ты не знаешь рус ской пословицы: «куй желѣзо пока горячо?» Чего тут мѣшкать? Дальше въ лѣсъ, больше дровъ. Мы съ тобой п рукамъ ударили, женихъ на-лицо...

— Такъ что-жъ? Пусть онъ погоститъ у тебя недѣлек пять или шесть.

— Что ты, другъ сердечный, легко вымолвить: шест недѣль! Да ты этакъ моего парня вовсе замаешь: онъ так и бредитъ твоей Ольгой Дмитріевной. Хочешь вѣрь, хочеш нѣтъ, а видитъ Богъ—исхудалъ! Бывало, живетъ безвыѣ дно въ своей коломенской отчинѣ, а теперь ему на мѣст не посидится: поживетъ въ одномъ селѣ недѣльки двѣ, тамъ переѣдетъ въ другое, изъ другого въ третьемъ, слова его кто-нибудь гоняетъ. Тоска, дескать, одолѣла, хлѣб лишился!

— Да отчего жъ, любезный? Вѣдь онъ моей племян ницы и въ глаза не видывалъ.

— Ну вотъ поди ты!... Видно ужь я не путемъ ее расхвалилъ. Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, откладывать нечего. Ужь коли ты со мной порѣшился, такъ чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.

— А Богъ вѣсть, любезный! Какъ поспѣшишь, да людей насмѣшишь.

— Какъ такъ?

— Да такъ! Я вчера пытался сторонкою намекнуть объ этомъ племянницѣ...

— Ну что-жъ она?

— И руками и ногами!

— Чай, прежде хочетъ посмотрѣть своего жениха?

— Нѣтъ, объ этотъ и рѣчи не было.

— Такъ изъ чего-жъ она упрямится?

— Изъ чего? Вотъ въ томъ то и дѣло, другъ сердечный. Ты говоришь, что князь Андрей съ тоски умираетъ по моей племянницѣ, и она все тоскуетъ да плачетъ, только, кажись, не о немъ.

— Что ты говоришь?

— Да, любезный. Помнишь, ты мнѣ разсказывалъ объ этомъ гвардейскомъ фенрикѣ, сирѣчь прапорщикѣ, который познакомился съ нею у нѣмца Гутфеля?

— Какъ же! Василій Михайловичъ Симскій, племянникъ Данилы Никифоровича. Оба хороши—и племянникъ и дядюшка! Ты знаешь, что этотъ старый чортъ оскоблилъ себѣ бороду?

— Знаю, знаю!... Да это что! У всякаго свой царь въ головѣ. Захотѣлъ осрамить себя на старости—его воля! А вотъ что худо, Лаврентій Никитичъ: мнѣ сдается, что этотъ Симскій не въ добрый часъ свелъ знакомство съ племянницею.

— А что?

— Вѣстимо, что: Симскій—молодецъ, собою красавецъ...

— Да неужели ты думаешь, Максимъ Петровичъ, что племянница твоя до того забыла весь дѣвичій стыдъ...

— Что, не спросясь меня, полюбила этого Симскаго!... Эхъ, Лаврентій Никитичъ! И не хотѣлось бы этого думать, да думается.

— И, полно, другъ сердечный! Можетъ ли статься, чтобъ воспитанная въ благочестивомъ домѣ, благородная и разумная дѣвица полюбила заѣзжаго дѣтину, который сегодня здѣсь, а завтра Богъ вѣсть гдѣ!... Да и онъ, чай, вовсе о ней не думаетъ. Вѣдь эта петербургская молодежь

на нашихъ московскихъ барышень и смотрѣть не хочет
Вотъ кабы онъ посватался за твою племянницу...

— Да то-то и бѣда, любезный, что онъ сватался.

— Неужли?

— Да, Лаврентій Никитичъ! Дядюшка его, Данила Ни
кифоровичъ, самъ изволилъ сватомъ пріѣзжать.

— Ну что-жъ, ты его порядкомъ отбоярилъ?

— Да. Я сказалъ наотрѣзъ, что этому не бывать.

— А Ольга Дмитріевна знаетъ, что Симскій за нее сва
тался?

— Какъ это можно! Ея на ту пору и дома не было.

— Да Аграфена то Петровна не сказала ли объ этом
племянницѣ?

— Сохрани Господи!... Хоть она и очень поглупѣла,
все еще настолько то у ней въ головѣ толку есть, чтоб
понапрасну дѣвку не тревожить.

— Полно, такъ ли?

— Ужь я тебѣ говорю. Сестра мнѣ сама сказала, что он
объ этомъ Оленькѣ никогда не заикнется. Ужь если, де
скать, ей, бѣдной, не суждено быть за Симскимъ, так
лучше вовсе не знать, что онъ хотѣлъ на ней жениться.

— Ну, коли ты правду говоришь, такъ это еще дѣл
поправное.

— И я тоже думаю, только надобно за него умненьк
взяться. Круто повернешь — хуже будетъ, любезный! Те
перь, можетъ статься, она частехонько думаетъ объ этом
Симскомъ, а какъ пройдетъ мѣсяцъ, другой, такъ дурь т
понемногу изъ головы выйдетъ.

— Эко дѣло, подумаешь! — прервалъ Рокотовъ. — Вотъ
онѣ—эти проклятыя асамблеи! Бывало, наша сестра, бла
городная дѣвица, сидитъ у себя въ терему, болтаетъ с
подружками о томъ, о семъ, погадаетъ на святкахъ о су
женомъ, да, можетъ статься, иногда, выходя изъ церкви
взглянетъ украдкою на какого-нибудь молодого парня—вотъ
и все!... А теперь, на этихъ бѣсовскихъ сходбищахъ, об
ступятъ ее, мою голубушку, удалые молодцы, начнутъ
подхваливать, да всякія другія неподобныя рѣчи говорить,—
такъ диво ли, что у нея голова то кругомъ пойдетъ. Да вотъ
хоть твоя племянница — почему ты знаешь, можетъ быть
этотъ подлипало, Симскій, давно ужь ей сказалъ, что хо
четъ на ней жениться?

— Ну, этого не думаю, любезный: племянница не

стала бы такихъ рѣчей и слушать; да и онъ, какой бы ни былъ сорви-голова, а не посмѣлъ бы такъ обидѣть благородную дѣвицѣ.

— А кто его знаетъ! Вѣдь нынѣшіе то молодые ребята не то, что мы были съ тобою въ старину; отъ этихъ пострѣловъ всего жди... Да вотъ постой, любезный, — вѣдь Ольга Дмитріевна съ нами будетъ кушать?

— Вѣстимо дѣло: она у меня хозяйка въ дому. Да ты не хочешь ли ужь самъ объ этомъ съ нею поговорить?... Избави, Господи: ты все дѣло испортишь!... Она сгорить со стыда...

— Да ужь не бойся, Максимъ Петровичъ, я маху не дамъ... У меня есть кой-что въ головѣ... и коли правда, что она ничего не знаетъ, такъ погоди, любезный, будетъ какъ шелковая!

— Да ты скажи мнѣ...

— Теперь ничего не скажу; а вели-ка, братъ, подать водки, да чего-нибудь закусить: я что то очень проголодался.

Передъ самымъ обѣдомъ Ольга Дмитріевна, желая угодить своему дядѣ, который очень любилъ всѣ старинные обычаи, вошла въ гостиную и взяла изъ рукъ слуги, который шелъ позади нея, небольшой серебряный подносъ съ двумя позолоченными чарками.

— Милости просимъ, Лаврентій Никитичъ! — сказалъ Прокудинъ.—Подавай, племянница!

— Ахъ ты, моя красавица!—молвилъ Рокотовъ, принимаясь за чарку. Ну, стою ли я этой милости?... Да это и дѣло то не дѣвичье!

— Знаю, другъ сердечный! — прервалъ Максимъ Петровичъ.—Вотъ кабы моя покойница была жива, такъ она бы поднесла тебѣ чарочку, а теперь не осуди, любезный: другой хозяйки у меня въ дому нѣтъ.

Ольга Дмитріевна поднесла другую чарку Максиму Петровичу, похристосовалась съ Лаврентіемъ Никитичемъ и, пригласивъ къ столу хозяина и гостя, пошла—не прогнѣвайтесь, любезныя читательницы—не впереди нихъ, а *вслѣдъ* за ними въ столовую комнату. Къ концу обѣда Рокотовъ началъ говорить о московскихъ новостяхъ.

— Дошелъ ли до тебя слухъ, Максимъ Петровичъ,— сказалъ онъ,—что Государя Петра Алексѣевича, когда онъ изволилъ быть въ польскомъ городѣ Луцкѣ, сильно схватилъ какой то недугъ?

— Помилуй Господи! А теперь то что?

— Говорятъ, совсѣмъ оправился; а такъ было прих тило, что не чаяли ему, нашему батюшкѣ, и въ живы остаться.

— Скажи пожалуйста!... Вотъ была бы напасть то! дома умирать не легко, а умереть въ дорогѣ...

— Да это будетъ когда-нибудь. Разъѣзжать то о больно охочь, нашъ батюшка: сегодня въ Архангельскѣ, тамъ, глядишь, черезъ недѣлю въ Воронежѣ... Въ стари этого не бывало: наши православные Цари всегда жива дома.

— Такъ, Лаврентій Никитичъ, да за то, чай, иногда глазами то и Богъ вѣсть что дѣлалось. Вѣдь Русскій Ца въ своемъ государствѣ, что хозяинъ въ дому; а коли х зяинъ самъ за всѣмъ не присмотритъ, такъ пеняй на себ Нѣтъ, этимъ нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ хорош все хочетъ видѣть своими глазами, все знать доподлинно; самъ не лѣнится, и другихъ понукаетъ. Нечего сказать- хозяинъ!... Эхъ, если-бъ онъ, нашъ кормилецъ, помены любилъ этихъ проклятыхъ нѣмцевъ!...

— Если-бъ!... Вотъ то-то и есть, любезный: кабы тучи на небѣ, такъ мы бы солнышко видѣли... Ну, да ч объ этомъ!... Поговорилъ бы я съ тобою...—промолви шопотомъ Лаврентій Никитичъ, поглядывая на слугъ, кот рые суетились вокругъ стола; поспорилъ бы... да ушей здѣсь больно много... А знаешь ли ты, другъ сердечный, продолжалъ Рокотовъ, какая была у насъ въ Москвѣ бог противная содомщина?... Какъ ты думаешь: на первой н дѣлѣ Великаго поста, у этого собачьяго сына, Гутфел была асамблея съ музыкою и со всякими бѣсовскими пот хами! Знаешь, нѣмецкую масленицу справлялъ.

— Да ужь вѣрно у него никого изъ русскихъ не было

— Вотъ то-то и дѣло! Говорятъ, что были.

— Не можетъ статься...

— И я плохо этому вѣрю, а мнѣ называли... Ну к отгадай, кого?... Андрея Семеновича Юрлова съ женою съ дочерью!

— Ахъ онъ, старый хрычъ.. Да что, онъ перешел что-ль въ нѣмецкую вѣру?

— Вотъ изволишь видѣть: старикъ простоватъ, а ма баловница; видно, хотѣла свою дочку развеселить. Гов рятъ, она больно тоскуетъ по своемъ женихѣ.

— А развѣ дочка то ихъ помолвлена.

— Такъ ты объ этомъ и не слыхалъ? Давно ужь помолвлена. Ну, нечего сказать,—убили бобра!

— А что?

— Правду говорятъ, любезный, что глупость то подъчасъ хуже воровства! Помолвили они свою дочь за гвардейскаго офицерика. Дѣтина, говорятъ, видный собою, а такой вѣтрогонъ, что не приведи Господи! На другой день помолвки онъ поскакалъ догонять свой полкъ, который теперь въ походѣ. Ну чтобъ имъ, кажется, не сказать: «ты, дескать, батюшка, сходи прежде подъ турка, а тамъ, какъ вернешься живъ и здоровъ, такъ мы объ этомъ и поговоримъ съ тобою». А то, разсуди самъ, Максимъ Петровичъ: воротится онъ объ одной рукѣ или на деревяшкѣ, — тогда то что?.. Попятиться и взять свое слово назадъ — дѣло не честное, да и дочку то выдать за калѣку большой радости нѣтъ; анъ и выходитъ: сглуповали такъ, что и сказать нельзя. И чему обрадовались? Достатка большого нѣтъ и, говорятъ, мальчишка пребезпутный. Онъ съ первозимья былъ также въ Москвѣ и тогда еще втихомолку сватался за Юрлову, а въ то же время, говорятъ, у Алексѣя Тихоновича Стрешнева старшую дочь съ ума свелъ, разбойникъ! Да ты долженъ его знать, Максимъ Петровичъ: онъ родной племянникъ пріятелю твоему, Даниловѣ Никифоровичу.

— Родной племянникъ?

— Ну, да!.. Какъ бишь его... дай Богъ память... Да!.. Василій Михайловичъ Симскій.

Ольга Дмитріевна поблѣднѣла.

— Олинька, что ты, мой другъ? — вскричалъ Прокудинъ, вскочивъ со стула и подходя къ племянницѣ.

— Такъ, дядюшка, — отвѣчала дрожащимъ голосомъ Ольга Дмитріевна.—Голова болитъ.

— На-ка, мой другъ, выкушай водицы... Ахъ, Господи, на тебѣ лица вовсе нѣтъ!

— Ничего... пройдетъ...

— Пройдетъ,—повторилъ Рокотовъ, вставая.

— Ступай, мой другъ, къ себѣ, — сказалъ Прокудинъ. Прилягъ, да сосни, если можешь...

— Да, дядюшка... позвольте мнѣ...

— Ступай, мой другъ, ступай!..

Ольга Дмитріевна вышла вонъ изъ комнаты

— Ахъ, Господи! — прошепталъ Максимъ Петровичъ. Какъ ее вдруъ перевернуло!.. Эхъ, любезный!..

— А что?—спросилъ Рокотовъ.

— Какъ можно этакъ... вдругъ... не говоря добраго слова...

— Нѣтъ, доброе то слово я сказалъ; посмотри, что будетъ!.. Да пойдемъ отсюда.

— Андрюшка, — молвилъ Максимъ Петровичъ, ступай, провѣдай барышню—что она...

— Да что ты тревожишься? — продолжалъ Лаврентій Никитичъ, когда они вошли въ гостиную. Эка важность!.. Ну, поплачетъ денекъ, много другой—вотъ и все.

— Бѣдненькая!.. Эхъ, сестра, сгубила ты мою Ольгу Дмитріевну!

— И, полно, братецъ!.. Велика бѣда, что молодой дѣвкѣ приглянулся пригожій дѣтина. Небойсь, любезный: теперь, какъ она знаетъ, что онъ помолвленъ съ другой, такъ въ головкѣ то у нея бродить перестанетъ.

— Да что этотъ Симскій въ самомъ дѣлѣ женится на Юрловой?

— А почему знать, можетъ быть я ему и напророчилъ.

— Такъ ты солгалъ, любезный?

— Солгалъ, Макимъ Петровичъ.

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ, нехорошо!

— А почему-жъ не хорошо? Да развѣ ты не знаешь, что ложь бываетъ иногда во спасеніе?

— Нѣтъ, я этого не знаю.

— Вольно-жъ тебѣ не знать. Мнѣ сказывали, что это въ какой то духовной книгѣ напечатано.

— Вѣрно въ той же, въ которой говорится: «отруби по локоть ту руку, которая добра себѣ не желаетъ?»

— Можетъ статься.

— Нѣтъ, любезный, такихъ духовныхъ книгъ не было и не будетъ. Не то заповѣдалъ намъ Господь: Онъ говоритъ, что что всякая ложь есть отъ дьявола.

— Ахъ ты, святоша этакій! Ну что за грѣхъ солгать ради пользы? Вѣдь ты не хочешь выдать свою племянницу за этого Симскаго?

— Не хочу.

— Такъ не лучше ли, чтобъ она вовсе о немъ не думала?.. Что покачиваешь головою?.. Ну, добро, добро,— коли по твоему это грѣхъ, такъ я беру его на свою душу.

— И что толку то будетъ изъ этого?

— А вотъ погоди: дай ей денька два наплакаться досыта, а тамъ заговори съ нею опять о князѣ Андреѣ Юрьевичѣ, такъ увидишь, что она тебѣ отвѣтитъ.

— Ну что, Андрюшка,—спросилъ Прокудинъ у слуги, который вошелъ въ гостиную,—что Ольга Дмитріевна?

— Все слава Богу, батюшка. Нянюшка Ѳедосья говоритъ, что барышня ни на какую болѣзнь не жалуется, а только прилегла на постель и втихомолку изволитъ плакать...

— Ступай!.. Ну, слышишь, Лаврентій Никитичъ: она плачетъ...

— Еще бы: и нашему брату въ такомъ дѣлѣ сгрустнется, а вѣдь она дѣвица. Да пусть себѣ поплачетъ, — ничего, пройдетъ.

— Пройдетъ!.. Вѣстимо дѣло, все пройдетъ, да каково то ей теперь?

— И, любезный,—стерпится, слюбится.

— Хорошо кабы такъ. Да точно ли ты увѣренъ, что князь Андрей Юрьевичъ будетъ добрымъ мужемъ?

— Я, Максимъ Петровичъ, боюсь только одного, что онъ вовсе избалуетъ жену. Такіе добрые люди, какъ онъ, въ диковинку.

— Это то хорошо. По мнѣ доброта лучше разума, а все бы не мѣшало, еслибъ онъ былъ..

— Такъ же уменъ, какъ твоя Ольга Дмитріевна?

— Ну хотъ и не также...

— Да что ты такъ за умомъ то гонишься?.. Вѣдь съ умнымъ мужемъ жена не барыня. То ли дѣло, когда онъ по ея дудочкѣ пляшетъ.

— Не хорошо и это, Лаврентій Никитичъ.

— Вѣстимо не хорошо, коли жена не умнѣе мужа; а вѣдь у твоей Ольги Дмитріевны ума то на двоихъ мужей достанетъ. Увидишь, другъ сердечный, заживутъ такъ, что любо!.. Князь Андрей будетъ во всемъ ее слушаться, да и она также иногда его послушается. Я ужь тебѣ говорилъ, что онъ не простофиля же какой-нибудь; онъ смотритъ только простячкомъ, а гдѣ надобно, такъ вовсе не глупъ Ну да что объ этомъ говорить! Коли дѣло совсѣмъ сладится, такъ скажешь спасибо, и Ольга то Дмитріевна не разъ мнѣ поклонится; а теперь не худо бы отдохнуть, любезный, а тамъ и въ путь.

— Какъ,—развѣ ты у меня не ночуешь?

— Нельзя. Чай, теперь князь Андрей ждетъ меня не дождется. Я ему скажу, Максимъ Петровичъ, что на Ѳоминой недѣлѣ свадьба будетъ.

— И, что ты, Лаврентій Никитичъ, помилуй!

— Хорошо, хорошо!.. Пріѣзжай ко мнѣ этакъ денька черезъ три, такъ, можетъ статься, мы съ тобой поладимъ.

Лаврентій Никитичъ, отдохнувъ часа полтора, распрощался съ Прокудинымъ и отправился обратно въ свою деревню.

На другой день по утру Ольга Дмитріевна пришла въ комнату къ своему дядѣ. Она была такъ блѣдна, такъ исхудала въ однѣ сутки, что Максимъ Петровичъ перепугался.

— Олинька, другъ мой — вскричалъ онъ. Что съ тобой?.. Да ты никакъ въ самомъ дѣлѣ больна?

— Нѣтъ, дядюшка, — отвѣчала Ольга Дмитріевна. Теперь, слава Богу, мнѣ гораздо лучше.

— Лучше? Да отъ чего же ты такъ блѣдна?

— Я всю ночь не могла заснуть.

— И, вѣрно, плакала?.. Посмотри ка, глаза то у тебя!..

— Теперь ужь я не плачу, дядюшка. Всю ночь у меня болѣла голова и сердце что то очень тосковало. Вотъ въ самыя заутрени я встала съ постели, начала молиться предъ иконою Божіей Матери; мнѣ какъ будто бы сдѣлалось полегче, а тамъ все лучше да лучше, тоска прошла, и теперь я почти совсѣмъ здорова.

— Дай то Господи!.. А все что то смотришь невесело. Вотъ то-то и есть: тебѣ скучно, ты вовсе отвыкла отъ нашего деревенскаго житья.

— Привыкну опять, дядюшка.

— Нѣтъ, Ольга Дмитріевна, не привыкнешь. Вотъ еслибъ ты была замужемъ — дѣло другое: съ добрымъ мужемъ вездѣ весело.

— Да мнѣ и съ вами не скучно.

— Такъ то говоришь, мой другъ, а въ самомъ то дѣлѣ у тебя, чай, все Москва на умѣ.

— О, нѣтъ, дядюшка! Богъ съ нею совсѣмъ.

— Добро, добро!.. А знаешь ли что, Олинька? Вѣдь я тебѣ напророчилъ: князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій за тебя сватается...

Максимъ Петровичъ остановился и посмотрѣлъ съ удивленіемъ на свою племянницу. Да и было чему подивиться.

«За тебя сватаются»,—кажется, отъ этихъ словъ у каждой дѣвушки должно сердце замереть отъ радости или отъ ужаса, смотря потому, кто сватается, а Ольга Дмитріевна преспокойно ихъ выслушала, не обрадовалась, не испугалась, не перемѣнилась въ лицѣ, ну точно какъ будо-бы рѣчь шла о какой-нибудь вовсе не знакомой ей дѣвицѣ.

— Да, мой другъ, — повторилъ Максимъ Петровичъ, помолчавъ нѣсколько времени, — князь Шелешпанскій за тебя сватается.

— Слышу, дядюшка.

— Ну чтожъ прикажешь ему сказать?

— Что вамъ угодно.

— Такъ ты пойдешь за него замужъ?

— Воля ваша.

— А коли моя, такъ послушай, мой другъ: князь Андрей Юрьевичъ женихъ не дюжинный; онъ роду знатнаго, человѣкъ молодой, одинокій, собою молодецъ; я слышу отъ всѣхъ, что онъ очень добръ, а ужъ какъ богатъ...

— И, дядюшка,—мнѣ все равно...

— Все равно? Даже и то, мой другъ, если твой мужъ увезетъ тебя за тридесять земель, или будешь жить почти вмѣстѣ со мною?

— О, нѣтъ,—вскричала Ольга Дмитріевна, кинувшись на шею къ своему дядѣ,—я не хочу съ вами разставаться!

— Милое дитя мое!—сказалъ Прокудинъ, обнимая племянницу. Ну какъ же мнѣ не любить тебя какъ дочь родную! Знаешь ли что, мой другъ? Коли ты выйдешь замужъ за князя Шелешпанскаго, такъ мы по зимамъ не будемъ жить въ деревнѣ. Ты человѣкъ молодой, любишь Москву...

— Москву!.. Нѣтъ, дядюшка, мнѣ тамъ будетъ скучно.

— Скучно? Да вѣдь ты о ней тосковала?..

— Да, дядюшка, сначала, а теперь я вовсе въ Москву не хочу. Я хотѣла бы только повидаться съ тетушкою...

— Вотъ кстати напомнила! Ужъ коли у насъ дѣло идетъ на ладъ, такъ мы тетушку то на свадьбу выпишемъ. Да нечего и мѣшкать: сегодня же пошлю къ ней нарочнаго въ Москву.

— Сегодня?—повторила встревоженнымъ голосомъ Ольга Дмитріевна. Такъ вы хотите?...

— Затѣмъ откладывать, мой другъ? Веселымъ пиркомъ да за свадебку!

— Ахъ, дядюшка,—промолвила сквозь слезы Ольга Д
тріевна: онъ только что посватался...

— Нѣтъ, мой другъ... Дѣло прошлое: вѣдь князь Ш
шпанскій сватался за тебя еще до великаго поста. У
если ты согласна выдти за него замужъ, такъ чтожъ
бѣдняжку, мять? За мною дѣло не станетъ: твое прида
готово... Вотъ мы этакъ въ четвертокъ на Ѳоминой нед
сдѣлаемъ дѣвичникъ, а въ пятницу съ Божьимъ благо
вѣніемъ...

Ольга Дмитріевна опустила голову на плечо къ
ему дядѣ и громко зарыдала.

— Что ты, что ты, мой другъ! — вскричалъ Макс
Петровичъ. Да успокойся, Бога ради!... Коли хочешь,
отложимъ свадьбу на мѣсяцъ... на два... на три... к
тебѣ угодно! . Конечно,—продолжалъ онъ, я желалъ бы
да и какъ мнѣ старику не желать, чтобъ это было
скорѣе! Вѣдь ужь мнѣ давно седьмой десятокъ пошел
станешь каждымъ денечкомъ дорожить! Что будешь дѣла
вотъ и теперь: я здоровъ, слава, Богу, а все мнѣ кажет
что не доживу до этой радости и какъ подумаю: ну, к
Господь Богъ пошлетъ по-душу, прежде чѣмъ я пристр
моего друга сердечнаго, такъ, повѣришь ли, сердце у м
такъ и обольется кровью!

Ольга Дмитріевна подняла голову: въ ея задумчивыхъ
лубыхъ глазахъ выражалось какое то грустное спокойст
на длинныхъ рѣсницахъ блистали еще слезы, но она у
не плакала. Съ полминуты продолжалось молчаніе... Вдр
блѣдныя ея щеки вспыхнули, она взглянула съ необыч
нымъ оживленіемъ на своего дядю и сказала твердымъ
лосомъ:

— Да, дядюшка, вы правду говорите: зачѣмъ отк
дывать.

— Такъ ты согласна, Ольга Дмитріевна?... Въ будущ
четвергъ...

— Какъ вамъ угодно, дядюшка!... Теперь позвол
мнѣ...

— Что, мой другъ?...

— Я пойду къ себѣ... Да не бойтесь: я иду не п
кать... нѣтъ, я хочу помолиться Богу, дядюшка.

— Ступай, мой ангелъ, ступай!... Ну, — прошепта
Максимъ Петровичъ, когда племянница его вышла вонъ и
комнаты, — нечего сказать: хитеръ Лаврентій Никити

Какъ онъ отгадалъ, что будетъ!... Дай то Господи, чтобъ только въ добрый часъ!... Да чтожъ это сердце то у меня... радуется что-ль или тоскуетъ?... Кажись, какъ бы ему не радоваться, а все какъ будто бы щемитъ... Вотъ то-то и есть: идти то замужъ она идетъ, да какъ идетъ!... Бѣдняжечка!... То-ли бы дѣло было... Эхъ, не бывать бы ей за княземъ Шелешпанскимъ, если-бъ этотъ пострѣлъ Симскій не служилъ въ Питерѣ и не стоялъ, какъ за своихъ кровныхъ, за этихъ окаянныхъ, паскудныхъ нѣмцевъ!

III.

Въ среду на Ѳоминой недѣлѣ, часу въ пятомъ послѣ обѣда, народъ гулялъ толпами по широкой улицѣ села Вздвиженскаго. На барскомъ дворѣ замѣтно было необычайное движеніе. Вся господская дворня занималась приготовленіемъ къ наступающему торжеству. Одни выкатывали изъ погребовъ бочки съ пивомъ, другіе ставили на дворѣ длинные столы для угощенія *меньшихъ братьевъ христовыхъ*, то-есть нищихъ, увѣчныхъ и недужныхъ, которые начинали уже по-немногу собираться изо всѣхъ окрестныхъ мѣстъ въ село Вздвиженское на свадебный пиръ къ боярину Максиму Петровичу Прокудину. Передъ самымъ господскимъ домомъ толпились въ праздничныхъ нарядахъ крестьянскія старухи, молодыя бабы и красныя дѣвицы; онѣ смотрѣли въ окна, какъ ихъ барышня, государыня Ольга Дмитріевна, изволитъ справлять свой дѣвичникъ.

— Смотри-ка, смотри!—молвила одна старуха, толкнувъ локтемъ свою внучку. Вонъ видишь за столомъ то сидятъ?

— Вижу, бабушка.

— Это все боярскія дочки.

— Да ихъ что то немного.

— Да, маленько!.. Вотъ двѣ то, что сидятъ подлѣ нашей матушки Ольги Дмитріевны, съ правой руки, дочки боярина Шетнева, а съ лѣвой... вонъ энта... бѣлобрысая то... это, кажись, внучка кадыковскаго барина, Карпа Саввича Пыжова... А ужь другихъ то я не знаю.

— Чай, изъ Москвы понаѣхали. Да какія же онѣ, бабушка, все пригожія!...

— Эхъ, дитятко, кому-жъ и быть то пригожимъ? Боярскія дочки сладко ѣдятъ, живутъ въ холѣ... что имъ дѣ-

лается!... А все далеко имъ до нашего краснаго солнышка, нашей родной то Ольги Дмитріевны, дай ей Господи много лѣтъ здравствовать!... Эка пава, подумаешь!

— Бабушка,—прервала одна молодица,—да что-жъ это наша барышня то... гляди-ка... кровинки нѣтъ въ лицѣ!... И головку то изволила понурить...

— Эхъ ты, глупая, глупая!—молвила старуха, покачивая головою. Да гдѣ видано, чтобъ невѣста ухмылялась? Чай, и ты на своемъ дѣвичникѣ зубы то не скалила?

— Кто? Она? — подхватила пожилая баба. Да она на своемъ дѣвичникѣ только что не плясала, словно не ее замужъ выдавали.

— Ну, Авдотья,—сказала старуха,—такъ не даромъ же тебя муженекъ то поколачиваетъ. Коли ты такая озорница, что и въ невѣстахъ не плакала...

— Эхъ, бабушка,—да коли не плачется...

— Такъ ты бы хрѣнку понюхала, дура этакая!... Вѣдь старые люди говорятъ: коли дѣвка въ невѣстахъ не плачетъ, такъ наплачется вдоволь замужемъ.

— А что, Потапьевна, — спросила пожилая баба старуху,—что говорятъ о женихѣ?

— Да говорятъ, что онъ и собой молодецъ, и отчинъ много, и роду княженецкаго...

— Ну, слава тебѣ Господи! А что, онъ завтра что ль пріѣдетъ съ поѣздомъ, прямехонько въ церковь Божію?

— Нѣтъ, Ѳедосья. Прокофій Сидорычъ говорилъ при мнѣ батькѣ Филиппу, что женихъ пріѣдетъ къ намъ сегодня и переночуетъ здѣсь на селѣ со всѣмъ своимъ поѣздомъ. Для нихъ... вонъ тамъ за рѣчкою, на верхнемъ порядкѣ десять дворовъ отведено... Постойте-ка!..

— Что, бабушка?

— Ишшш, Аксютка! Кажись, въ дому то сбираются пѣть!.. Чу!

Въ комнатѣ раздались звуки унылой пѣсни, подъ которую подлинно трудно было невѣстѣ не заплакать. Сѣнныя дѣвушки запѣли:

„Ласточка, касаточка,
Не вей гнѣзда во высокомъ терему:
Ужъ не жить тебѣ здѣсь и не летывать"...

— Чтожъ это онѣ?—шепнула старуха.

— Да это, кажись, пѣсня то не свадебная, а подблюдная.

— Знать, обмишулились,—сказала молодица.

— Эй, вы, голубки! — закричалъ крестьянскій парень, подбѣгая къ бабамъ.—Что вы здѣсь глаза то пялите?... Ступайте за околицу.

— А что?—спросила старуха.

— Женихъ съ поѣздомъ ѣдетъ.

— Ой-ли?

— Право такъ!

— То-то же! Вѣдь ты, Ѳомка, озорникъ,—пожалуй даромъ насъ перебулгатишь!

— Вотъ те святъ—ѣдетъ! Весь народъ и валитъ изъ села.

— Да чтожъ, онъ близко что-ль?

— Баютъ, ужь выѣхалъ изъ господской засѣки и подымается на горку.

Въ полминуты на барскомъ дворѣ не осталось никого, и даже дворовые люди, покинувъ свою работу, пустились бѣгомъ за остальными мужиками, которые спѣшили всѣ на встрѣчу къ жениху. У самой околицы, приходскій священникъ, отецъ Филиппъ, держа въ рукахъ крестъ, дожидался, со всѣмъ церковнымъ причтомъ, суженаго боярышни Ольги Дмитріевны. Позади него стоялъ, съ хлѣбомъ и солью, дворецкій, Прокофій Сидорычъ Кулага. Народъ толпился по обѣимъ сторонамъ дороги. Разумѣется, всѣ стояли безъ шапокъ. Прокофій Сидорычъ, какъ человѣкъ опытный и бывалый, посматривалъ заботливо на православныхъ, стараясь замѣтить, нѣтъ ли въ числѣ ихъ какого-нибудь *недобраго* человѣка. Вотъ толпа заколыхалась, народъ разступился: старая, безобразная баба, опираясь на клюку, вышла впередъ и остановилась на самой дорогѣ. Прокофій Сидорычъ нахмурился.

— Послушай-ка, Антонъ,—шепнулъ онъ дворовому парню, который стоялъ подлѣ него,—вѣдь эта старуха... вотъ что вышла впередъ... кажись, кадыковская ворожея Савельевна?

— Да, Прокофій Сидорычъ, она.

— Зачѣмъ пожаловала, старая чертовка!.. Знаемъ мы ихъ!.. Поди-ка, скажи ей, чтобъ она убиралась по добру, по здорову... намъ этакихъ гостей не надобно... Погоди, погоди!.. На вотъ тебѣ алтынъ... сунь ей въ руку, а то еще пожалуй разгнѣвается, вѣдьма проклятая, всю скотину перепортитъ,—чего добраго!.. Эй, Антонъ, постой!.. Ну хоть вовсе то не гони ее,—провались она ставши,—а только

отведи къ сторонѣ, подальше отъ дороги.. знаешь, чтобъ глазъ то у нея до жениха не хватилъ.

— Слушаю, Прокофій Сидорычъ; ужь я ее спроважу.

— Ну, то-то же, смотри!

— Ѣдутъ, ѣдутъ!—раздались голоса изъ толпы.

Шагахъ въ двухстахъ показались изъ за горки два передовые вершника съ бѣлыми ширинками черезъ плечо; за ними потянулся длинный поѣздъ щеголевато одѣтыхъ холопей Лаврентія Никитича,—ихъ было до сорока: всѣ они сидѣли на красивыхъ коняхъ и ѣхали по-парно; потомъ ѣхали также верхомъ двое жениховыхъ дружекъ, сыновья Герасима Николаевича Шетнева, а немного позади — князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій и Лаврентій Никитичъ Рокотовъ. Подъ первымъ красовался отличный персидскій аргамакъ, бѣлый какъ снѣгъ, съ заплетенною гривою и перевязаннымъ хвостомъ; второй сидѣлъ на ворономъ черкасскомъ жеребцѣ. На женихѣ была шапка мурмолка съ собольимъ околышемъ, красный объяринный кафтанъ и парчевая ферязь съ золотыми петлицами. Надобно сказать правду: князь Шелешпанскій сидѣлъ молодцомъ на своемъ борзомъ аргамакѣ, и когда этотъ полный огня и жизни красавецъ-конь начиналъ подъ нимъ играть, онъ сдерживалъ его могучею рукой и, какъ будто бы шутя и безъ всякаго усилія, заставлялъ идти ровнымъ и тихимъ шагомъ. Поѣздъ оканчивался длиннымъ рядомъ всякаго рода повозокъ, съ числѣ которыхъ отличалась особенно, обитая алымъ сукномъ, огромная колымага съ позолоченными колесами. Въ ней сидѣли: посаженая мать князя Шелешпанскаго—супруга Лаврентія Никитича Рокотова, Герасимъ Николаевичъ Шетневъ и сваха изъ мелкопомѣстныхъ дворянокъ, которая должна была принимать молодыхъ въ опочивальнѣ и осыпать ихъ хмѣлемъ. Всѣ мужики, завидя господъ, примолкли и низко поклонились; бабы также поклонились, но только принялись болтать пуще прежняго.

— Посмотри-ка, Акулина,—молвила одна молодая баба:—съ правой то стороны женихъ что-ль ѣдетъ?

— Вѣстимо, женихъ. Съ лѣвой ѣдетъ бояринъ Рокотовъ.

— Такъ это женихъ то?.. Ну, неча сказать: соколъ ясный!..

— Батюшки свѣты,—закричала другая молодица, — какой на немъ зипунъ то!.. А сбруя то на лошади... матушки!.. Никакъ литого серебра!

— Какого серебра! Развѣ самоцвѣтнаго золота,—вишь, какъ на солнышкѣ то горитъ!

— Смотри, кума, смотри, какъ лошадь то подъ нимъ прядаетъ!.. Ну, молодецъ!

— У, батюшки, какой рослый, дородный!..

— Да личмянный какой!.. Гляди-ка, тетка, гляди, лицо-то у него такъ и пышетъ!

— Ну, послалъ Господь женишка нашей боярышнѣ!

— Подавай ей, Господи!..

— Эй вы, бабье,—закричалъ Кулага,—тише вы!.. Что вы такъ горланите, чечотки этакія... Тише, говорятъ!.. Наболтаетесь дома!

Подъѣхавъ къ околицѣ, поѣздъ пріостановился; князь Андрей Юрьевичъ сошелъ съ коня, приложился къ кресту, принялъ отъ дворецкаго коровай, на которомъ стояла серебряная солонка, потомъ сѣлъ опять на своего аргамака, и поѣздъ двинулся снова впередъ. За нимъ кинулся весь народъ. Старики плелись позади, молодые ребята забѣгали впередъ и, останавливаясь на каждомъ крестцѣ, встрѣчали жениха низкими поклонами. Когда поѣздъ поровнялся съ господскимъ домомъ, за ворота высыпала цѣлая толпа сѣнныхъ дѣвушекъ, а изъ домовыхъ оконъ высунулись головки пріѣзжихъ барышень. Всѣ онѣ казались очень пригожими,—вѣроятно потому же, почему и звѣзды кажутся ярче, когда нѣтъ на небѣ свѣтлаго мѣсяца: Ольги Дмитріевны не было въ числѣ этихъ любопытныхъ.

Максимъ Петровичъ, принявъ жениха и почетныхъ гостей въ просторной избѣ своего старосты, пригласилъ къ себѣ въ домъ Рокотова съ женою и Герасима Николаевича Шетнева. Женихъ, сваха, дружки и всѣ, составлявшіе поѣздъ, размѣстились по отведеннымъ для нихъ избамъ. Прокофій Сидорычъ заправлялъ угощеньемъ. Различныя наливки, вино, пиво и сладкіе меды лились рѣкою. Сваха набила себѣ препорядочный мѣшокъ черносливомъ, винными ягодами, финиками и всякими другими иноземными сластями; женихъ выпилъ цѣлую ендову имбирнаго меду и скушалъ фунтика три изюму; дружки также позабавились около сластей и посмаковали вдоволь прокудинской вишневки, которая подъ этимъ названіемъ славилась во всемъ околоткѣ. Объ остальномъ поѣздѣ и говорить нечего. Прокофій Сидорычъ не успокоился до тѣхъ поръ, пока не уложилъ въ лоскъ всѣхъ холопей Лаврентія Никитича; ему не удалось только

справиться съ однимъ ражимъ дѣтиною, который, по привычкѣ или по какой то особенной способности, пилъ вино какъ простой квасъ, а пиво какъ воду; впрочемъ, и тотъ, хотя стоялъ еще крѣпко на ногахъ, но не могъ ужь вымолвить ни слова.

Вотъ этакъ часу въ седьмомъ, князь Шелешпанскій, которому стало душно въ избѣ, снялъ съ себѣ ферязь и вышелъ въ одномъ кафтанѣ за ворота. Къ нему явился Прокофій Сидорычъ.

— Что, батюшка князь,—сказалъ онъ,—не угодно ли тебѣ прогуляться?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Шелешпанскій.—Я сяду вотъ здѣсь, на скамеечкѣ.

— Присядь, батюшка, присядь!.. Отсюда пригоже посмотрѣть на всѣ стороны. Мѣстечко дальновидное—на горкѣ вышло: верстъ за десять кругомъ видно, и все село какъ на блюдечкѣ.

— А что, старина,—сказалъ Шелешпанскій,—вѣдь это село то все ваше?

— Какъ-же, сударь.

— Отчина или помѣстье?

— Отчина, батюшка. Жалована еще при дѣдушкѣ Максима Петровича.

— Доброе село, доброе!.. Чай, этакъ дымовъ до полутораста будетъ?

— Безъ малаго двѣсти.

— Вотъ какъ!... А что, вонъ энти поля за большою дорогою—ваши?

— Наши, сударь.

— А чернолѣсье, которымъ мы ѣхали?

— Это господская засѣка.

— А вонъ вдали то боръ?

— Нашъ, батюшка, нашъ.

— Знатное село, знатное!.. Чай, у васъ по рѣчкѣ то луга заливные?

— Да, сударь, заливные. По той сторонѣ верстъ на пять пойдетъ все пойма. Наша рѣка не величка, батюшка, а весной по ней хоть струга ходи. Вонъ ракитникъ то на лугу, —въ полую воду однѣ вершинки видны.

— Знатное село!.. Кажись, и крестьяне у васъ исправные.

— Да, сударь, благодаря, во-первыхъ, Бога, а во-вторыхъ, государя Максима Петровича, мужички у насъ по

міру не ходятъ. Много есть зажиточныхъ, и развѣ рѣдкій только по мясоѣдамъ то пустыя щи хлебаетъ.

— Вотъ какъ!.. Ну, знатное село!.. А что это, направо то, дорога куда пошла?

— Въ Москву, батюшка.

— Откудова жъ мы пріѣхали?

— Отъ Серпухова.

— Такъ!.. Посмотри-ка, старина, кто это тамъ по московской дорогѣ ѣдетъ?

— А кто ихъ знаетъ!.. Здѣсь ѣзда не малая. Бываетъ, временемъ, какъ въ Москву повезутъ хлѣбецъ, такъ по дорогѣ и денно и нощно тянутся обозы. Вѣдь Серпуховъ— городъ торговый, батюшка; пристань на Окѣ, а кремль то никакъ почище былъ московскаго, весь изъ бѣлаго камня построенъ. Теперь онъ поразвалился, а все еще мѣстами какъ взглянешь на стѣну, такъ шапка съ головы валится. Говорятъ, будто бы его строилъ царь Иванъ Васильевичъ,— не Грозный, сударь, а дѣдушка Грознаго...

— Что это, братъ,—прервалъ Шелешпанскій, который, не слушая дворецкаго, продолжалъ смотрѣть съ примѣтнымъ безпокойствомъ на большую дорогу,—эти проѣзжіе то, видно, не мимо ѣдутъ?

— А что, сударь?

— Вонъ, видишь, своротили съ большой дороги... ѣдутъ сюда!

— Сюда?.. Такъ можетъ статься это сестрица Максима Петровича.

— Кто? Аграфена Петровна Ханыкова?

— Должно быть, она. Къ ней посылали нарочнаго въ Москву.

— Зачѣмъ?

— Что ты, батюшка князь!.. Какъ зачѣмъ? Вѣдь она родная тетушка твоей нареченной, такъ какъ же ея не позвать на свадьбу?

— Такъ она знаетъ, что завтра свадьба? — вскричалъ съ ужасомъ князь Андрей Юрьевичъ.

— Какъ не знать.

— Ну, плохо дѣло!

— А что, сударь?

— Бѣда, да и только!

— Бѣда,—повторилъ съ удивленіемъ Прокофій Сидорычъ.

— Да какъ же не бѣда! Вѣдь Аграфена то Петровна скажетъ объ этомъ Мамонову.

— Какому Мамонову?

— Ну вотъ этому—провалъ бы его взялъ!.. Ахъ, Господи... Смотри-ка, смотри!.. На четырехъ тройкахъ!

— Да, сударь, это не Аграфена Петровна, а, кажись, люди служивые.

— Вотъ тебѣ разъ! — вскричалъ Шелешпанскій, вскочивъ со скамьи.

— Да, сударь. Вонъ остановились за околицей... говорятъ съ мужичками... вонъ одна подвода поѣхала прямо къ господскому дому... а съ другой то сошли служивые и стали возлѣ околицы... А вонъ остальныя то двѣ подводы, кажись, повернули сюда... Ну, такъ и есть!.. Видно, къ старостѣ...

— А гдѣ живетъ староста?

— Здѣсь, батюшка. Это его изба.

Князь Андрей Юрьевичъ помертвѣлъ.

— Да вотъ ужь они и ѣдутъ,—сказалъ дворецкій.—Экъ дерутъ!.. Видно, животы то не свои.

Князь Андрей Юрьевичъ кинулся на дворъ и началъ метаться по сторонамъ какъ угорѣлый. На всѣ вопросы Прокофія Сидорыча онъ не отвѣчалъ ни слова, а только повторялъ прерывающимся голосомъ:

— Гдѣ ворота, гдѣ ворота?

— Ворота?—спросилъ дворецкій, который, видя необычайный испугъ жениха, и самъ также немного испугался.—Какія ворота?

— На зады, на зады!

— Да вотъ, сударь, передъ тобою.

Шелешпанскій распахнулъ ворота, выскочилъ на огородъ и ударился бѣжать.

— Батюшка князь! — закричалъ Кулага, стараясь догнать жениха.—Да постой!.. Куда ты?..

Добѣжавъ до плетня, который отдѣлялъ огородъ отъ поля, Шелешпанскій остановился.

— Уфъ!.. Задохся!..—промолвилъ Прокофій Сидорычъ.—Да что это, сударь князь, куда ты изволишь бѣжать?

— И самъ не знаю! Куда глаза глядятъ! Ну вотъ хоть въ лѣсъ!

— Въ лѣсъ?.. Ахъ, Господи!.. Да отъ кого жъ ты это изволишь прятаться?

— Какъ, отъ кого? Вѣдь это пріѣхалъ Мамоновъ!

— Такъ чтожъ?.. Да Богъ съ нимъ!.. Пускай онъ Мамоновъ... что тебѣ до этого?

- Да вѣдь онъ ужь два мѣсяца за мной гоняется.

— Гоняется?

— Ну да! Вѣдь у него указъ есть схватить меня, да въ солдаты.

— Какъ такъ?

— Да такъ! Слышь, велѣно всѣхъ новиковъ забирать на службу, и Аграфена то Петровна съ ними заодно... Ахъ, батюшки-сударики! Вотъ тебѣ и свадьба.

На заднемъ дворѣ избы раздался грубый голосъ:

— Эй, староста!.. Гдѣ староста? Подавайте его сюда!..

Князь Шелешпанскій полѣзъ черезъ плетень.

— Погоди, батюшка!—закричалъ—Кулага. Тутъ болото: увязнешь по уши... Постой, постой!

Но Шелешпанскій перекинулся со всего размаху черезъ плетень, грянулся оземь и, къ счастію, попалъ не въ трясину, а между двухъ кочекъ, въ грязную лужу, въ которой онъ увязъ только по поясъ. Прокофій Сидорычъ перелѣзъ бережненько черезъ плетень и, придерживаясь за него, помогъ жениху выбраться на сухое мѣсто.

— Вотъ я говорилъ тебѣ, батюшка!—сказалъ онъ.—Тише, тише!.. Изволь ступить сюда... на кочку... вотъ такъ!..

— Ухъ, батюшки!—промолвилъ Шелешпанскій, отряхиваясь какъ медвѣдь, который вылѣзъ изъ болота. Грязи то на мнѣ, грязи!.. А кафтанчикъ новенькій, съ иголочки...

— И, батюшка, сошьешь другой!.. Чу, никакъ ужь служивые то по огороду ходятъ...

Въ самомъ дѣлѣ, на огородѣ послышались голоса.

— Голубчикъ ты мой... родной, — прошепталъ князь Андрей Юрьевичъ, дрожа всѣмъ тѣломъ,—спрячь меня куда-нибудь!

— Да куда-жъ я тебя спрячу, батюшка,— сказалъ Кулуга, почесывая затылокъ.—Лѣсъ далеко и идти то до него все чистымъ полемъ. Вотъ кабы лѣтомъ, такъ дѣло иное: засѣлъ бы въ конопляхъ, такъ тебя наискались бы до-сыта; а теперь время весеннее, и въ лѣсу то спрятаться негдѣ.

— Ухъ, батюшки!—проговорилъ, заикаясь, Шелешпанскій.—Слышишь?.. Идутъ!

— Ну дѣлать нечего!—прошепталъ Кулага.—Ступай-ка, батюшка, вдоль плетня... вонъ тамъ налѣво барское гумно...

Все-таки лучше, чѣмъ здѣсь на юру: тамъ можно и въ р
и межъ одоньевъ завалиться,—не вдругъ найдутъ.

— Ступай же впередъ, голубчикъ, ступай!

Пройдя шаговъ двѣсти вдоль крестьянскихъ огород
они вошли калиткою на барское гумно.

— Ну вотъ, сударь,—сказалъ дворецкій,—хочешь
нибудь за одоньемъ прилечь, или въ ригу?..

— Постой-ка, голубчикъ!.. Вѣдь это кладь соломы?.

— Да, сударь.

— Такъ я залѣзу въ нее.

— Что ты, батюшка! Вѣдь это хорошо минутки на
а то задохнешься; да еще неравно съ барскаго двора
ѣдутъ за соломою, начнутъ валить ее на телѣгу, да к
хватятъ тебя вилами въ бокъ... избави, Господи!... В
развѣ, сударь, въ овинную яму, такъ авось туда не загляну

— Въ самомъ дѣлѣ!.. Ахъ ты, мой любезный!.. Гол
чикъ мой!.. Пойдемъ скорѣе...

— Вотъ тебѣ разъ! — вскричалъ Кулага, подойдя
овинной ямѣ:—лѣстницы то нѣтъ!.. Да постой, батюшка
спущу тебя на кушакѣ...

Прокофій Сидорычъ снялъ съ себя поясъ, захлестну
одинъ конецъ за тугоподвязанный кушакъ Шелешпанск
и началъ его спускать потихоньку въ яму.

— Охъ, батюшка князь,—промолвилъ онъ кряхтя,—г
зенъ ты больно!... Не сдержу... видитъ Богъ, не сдерж

— Ничего.—сказалъ Шелешпанскій,—пускай: внизу
солома.

Кулага выпустилъ изъ рукъ кушакъ... князь Анд
Юрьевичъ повалился на солому, крякнулъ и всталъ на но

— Ну что, батюшка, не ушибся?—спросилъ дворецк

— Нѣтъ. Ступай-ка теперь, голубчикъ, на барс
дворъ, провѣдай, что тамъ дѣлается, да приди сказать м

— Ладно, сударь, я какъ разъ сбѣгаю... Да послуш
батюшка.—промолвилъ Прокофій, воротясь,— смотри, с
смирно, и коли кто подойдетъ къ овину, голосу не по
вай. . Какъ я приду, такъ первый тебя окличу.

IV.

Въ то самое время, какъ князь Шелешпанскій прята
отъ служивыхъ въ овинной ямѣ. къ дому Максима Пет

вича подъѣхалъ на тройкѣ молодой гвардейскій офицеръ. Онъ соскочилъ съ телѣги и, войдя въ переднюю, приказалъ доложить, что пріѣхалъ по царскому указу поручикъ Мамоновъ; потомъ, сбросивъ съ себя забрызганный грязью плащъ, вошелъ въ столовую комнату. Черезъ нѣсколько минутъ его попросили въ гостиную. Въ этой комнатѣ встрѣтилъ его Максимъ Петровичъ; тутъ же, развалясь на креслахъ, сидѣлъ Лаврентій Никитичъ Рокотовъ, подлѣ него, на стулѣ, Герасимъ Николаевичъ Шетневъ, а нѣсколько поодаль стоялъ, прислонясь къ печкѣ, Карпъ Саввичъ Пыжовъ. Когда Мамоновъ вошелъ въ гостиную, Карпъ Саввичъ низехонько поклонился, Шетневъ привсталъ, а Лаврентій Никитичъ не тронулся съ мѣста. На поблѣднѣвшемъ лицѣ Карпа Саввича ясно изображались сильный испугъ и самая рабская, безусловная покорность; хотя въ глазахъ Шетнева замѣтно было также что то похожее на страхъ, однакожъ онъ не смутился и даже посмотрѣлъ довольно спесиво на пріѣзжаго. Въ надменномъ и непріязненномъ взглядѣ Лаврентія Никитича выражалось негодованіе, которое онъ вовсе не старался скрывать: онъ взглянулъ исподлобья на Мамонова, нахмурилъ брови и повернулся къ нему спиною. Казалось, что этотъ нечаянный пріѣздъ не потревожилъ одного только хозяина.

— Милости просимъ, батюшка! — сказалъ онъ спокойнымъ голосомъ.—Ты приказалъ доложить мнѣ, что пріѣхалъ сюда по царскому указу... вотъ я тебя слушаю: изволь мнѣ сказывать царскій указъ.

— Во-первыхъ, государь мой Максимъ Петровичъ, — отвѣчалъ Мамоновъ, вѣжливо кланяясь, — я осмѣливаюсь презентовать вамъ мой всенижайшій респектъ!...

— Благодарю, батюшка, хотя, признательно сказать, и не очень понимаю, что ты изволишь мнѣ говорить.

— Всепокорнѣйше прошу васъ экскузовать меня!—продолжалъ Мамоновъ, не обращая никакого вниманія на замѣчаніе Максима Петровича. Можетъ быть я вовсе не въ пору потревожилъ васъ моимъ пріѣздомъ?

— И, что ты, батюшка: царскій указъ всегда въ пору!

— Не извольте только гнѣваться на меня, Максимъ Петровичъ. Я человѣкъ служивый и долженъ поступать въ силу данной мнѣ отъ правительствующаго сената инструкціи—сирѣчь наказа.

— Отъ сената?... Такъ ты, батюшка, не по царскому указу изволилъ ко мнѣ пріѣхать?

— Все едино, Максимъ Петровичъ. Развѣ не изволите знать, что сенатскимъ указамъ, яко-бы своеручно подписаннымъ его Царскимъ Величествомъ, должны повиноваться всѣ подъ опасеніемъ строгаго наказанія?

— Знаю, батюшка, знаю. Ну, чего-жъ отъ меня этотъ господинъ сенатъ изволитъ спрашивать?

— Дѣло идетъ вовсе не о васъ, Максимъ Петровичъ. Его Царскому Величеству Государю Петру Алексѣевичу угодно было указать, чтобы, ради войны съ турскимъ салтаномъ, всѣхъ неслужащихъ молодыхъ дворянъ забирать на службу. Въ именномъ регистрѣ, данномъ мнѣ отъ сената, значится также и неслужащій дворянинъ, князь Андрей княжъ Юрьевъ сынъ Шелешпанскій...

— Князь Андрей Юрьевичъ?...

— Да, Максимъ Петровичъ. Меня извѣстили, что онъ здѣсь. .

— Здѣсь, батюшка. Да вѣдь, кажется, онъ ужь служилъ...

— Никакъ нѣтъ, Максимъ Петровичъ: онъ былъ только записанъ новикомъ въ московскомъ жилецкомъ войскѣ и на службу не являлся; а такъ какъ ему еще нѣтъ и сорока лѣтъ...

— Да ты знаешь ли, господинъ офицеръ, — прервалъ Шетневъ, подойдя къ Мамонову и толкнувъ потихоньку локтемъ Прокудина, — что князь Андрей Шелешпанскій, хотя еще въ порѣ, однакожъ давно уже уволенъ на покой ради его хворости и всегдашнихъ недуговъ?

— Знаемъ мы эти недуги! — возразилъ Мамоновъ.—Сенатъ ужь извѣстенъ и о томъ, что онъ облыжно называетъ себя недужнымъ. Люди хворые сидятъ на одномъ мѣстѣ, а этотъ князь только и дѣлаетъ, что разъѣзжаетъ кругомъ Москвы. Вотъ ужь я два мѣсяца за нимъ гоняюсь.

— Какъ такъ?—спросилъ съ удивленіемъ Прокудинъ.

— Да, Максимъ Петровичъ! У него около Москвы много деревень; вотъ мнѣ дадутъ знать, въ которой деревнѣ онъ живетъ, я пошлю за нимъ,—не тутъ то было: «Изволилъ уѣхать неизвѣстно куда». Я пошлю въ другую: «Былъ. дескать, и здѣсь, да вчера выѣхалъ». Я въ третью: «Сейчасъ только выѣхать изволилъ». Повѣрите-ль: всю команду съ ногъ сбилъ. Видно, у него есть пріятели въ Москвѣ, ко-

торые вѣсточку ему подаютъ. Да ужь теперь вы сами изволили мнѣ сказать, что онъ здѣсь, такъ я его изъ рукъ не выпущу.

Въ комнату вошелъ слуга и доложилъ Прокудину, что изъ сосѣдняго села пришелъ земскій староста съ понятыми.

— Съ понятыми?... Это зачѣмъ?—спросилъ Прокудинъ.

— Не прогнѣвайтесь, — сказалъ Мамоновъ:—я человѣкъ военный и приказнаго порядка не вѣдаю; но со мною есть подьячій, который говоритъ, что формальную выемку безъ понятыхъ и свидѣтелей дѣлать не слѣдуетъ

— Выемку?... Да почему-жъ ты думаешь, батюшка, что князь Андрей Юрьевичъ не поѣдетъ съ тобой волею? Можетъ статься онъ вовсе и не знаетъ, что ему должно къ тебѣ явиться.

— Помилуйте, какъ не знать! Чай, ему давно ужь объ этомъ донесли. Во всѣхъ его отчинахъ наказывали объ этомъ всѣмъ старостамъ и приказчикамъ... Да вотъ, кажется, вошелъ на крыльцо мой сержантъ. Я послалъ его съ командою къ старостѣ. Ваши крестьяне сказывали мнѣ, что князь Шелешпанскій остановился у него въ избѣ. Позвольте, Максимъ Петровичъ, войти сюда сержанту.

— Изволь, батюшка.

Мамоновъ отворилъ дверь въ столовую и закричалъ:

— Прохоровъ, ступай сюда!

Въ гостиную вошелъ пожилой служивый. Онъ перекрестился на икону, опустилъ руки по швамъ и вытянулся передъ своимъ командиромъ.

— Ну что, Прохоровъ,—спросилъ Мамоновъ,—нашелъ ли ты князя Шелешпанскаго?

— Никакъ нѣтъ!—отвѣчалъ сержантъ.

— Какъ нѣтъ? Да вѣдь онъ стоялъ у старосты?

— Стоялъ, господинъ поручикъ, да вдругъ изволилъ безъ вѣсти пропасть.

— Куда же онъ дѣвался?

— Не могу знать. Изъ избы онъ никуда не уходилъ, а въ избѣ его нѣтъ. Мы всѣ уголки обшарили: и подъ лавками смотрѣли, и въ печи, и на полатяхъ; на чердакъ лазили, всѣ хлѣва обошли. Артемьевъ и Забулдыгинъ ходили смотрѣть на огородъ, не залегъ ли онъ гдѣ-нибудь между грядками, — нигдѣ нѣтъ, словно сквозь землю провалился.

— Ну вотъ, изволите видѣть, Максимъ Петровичъ,—

сказалъ Мамоновъ.—Да это ему не поможетъ. Прохор
возьми съ собой понятыхъ и обойдите всѣ дворы!... Сту
— Ты, батюшка, напрасно это дѣлаешь, — моли
Прокудинъ съ примѣтнымъ негодованіемъ.—Коли князь
лешпанскій не по невѣдѣнію, а знаючи отбываетъ отъ
ской службы, такъ я и самъ не стану его у себя
жать: у меня притона для бѣглыхъ нѣтъ.
— О, если такъ, Максимъ Петровичъ, такъ съ меня
вольно вашего слова. Да и то сказать: коли онъ смекну
что за нимъ пріѣхали, такъ ужь вѣрно у васъ на селѣ
останется. — чай, давно убѣжалъ туда, откуда пріѣха
Мнѣ сказывали, что онъ недалеко отъ васъ гоститъ у
кого то Рокотова...
— У какого то Рокотова!... — повторилъ Лаврентій
китичъ.—Вишь, какъ изволитъ поговаривать!... Этотъ Р
товъ при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ засѣдалъ въ бо
ской думѣ, и самъ Государь не называлъ его какимъ то
изволилъ чествовать Лаврентіемъ Никитичемъ.
— Такъ это вы, государь мой, Лаврентій Никитичъ
котовъ?—сказалъ Мамоновъ.
— Я, батюшка... имя и отечества твоего не знаю, да,
правдѣ то сказать, и знать не хочу.
— Лаврентій Никитичъ!—молвилъ Прокудинъ.
— Я все молчалъ, Максимъ Петровичъ, — прерва
Рокотовъ;—а теперь, какъ дѣло дошло до меня, такъ не
шай мнѣ говорить. Ты, голубчикъ, называешь себя Ма
новымъ и сказываешь, что пріѣхалъ по царскому ука
Вотъ Максимъ Петровичъ и повѣрилъ тебѣ на слово
коли ты ко мнѣ пожалуешь, такъ я тебѣ впередъ говор
что у меня на однѣхъ то рѣчахъ не много выторгуешь.
— Чтожъ вы думаете, государь мой, что я самоз
нецъ какой-нибудь?—сказалъ вспыльчиво Мамоновъ.
—А кто тебя знаетъ! Коли Гришку Отрепьева угор
дило назвать себя Царемъ Русскимъ, такъ не велика ва
ность, если какой-нибудь пройдоха напялитъ на себя
мецкій кафтанишко, назовется какимъ то Мамоновымъ
пріѣдетъ будто бы по царскому указу, а въ самомъ то
лѣ, чтобъ сорвать что-нибудь... Вѣдь голь хитра на
думки!
Мамоновъ вспыхнулъ. Онъ вынулъ изъ кармана бум
и, подавая ихъ Прокудину, сказалъ:
— Я точно виноватъ: мнѣ слѣдовало бы начать съ э

го. Вотъ сенатскій указъ на мое имя и регистръ дворянамъ, которыхъ требуютъ на службу.

Пока Максимъ Петровичъ разсматривалъ бумаги, Шетневъ подошелъ къ Рокотову и шепнулъ ему:

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ, разсердилъ ты его!

— Такъ чтожъ? Баринъ не большой,—отвѣчалъ Рокотовъ:—пусть себѣ сердится!

— Пусть сердится!... Да развѣ отъ этого князю Андрею легче будетъ?... Нѣтъ, другъ сердечный, за это не такъ надо было взяться. Да вотъ, постой, я поговорю съ нимъ съ глазу на глазъ, такъ авось дѣло то какъ-нибудь поправлю.

— Такъ, батюшка, такъ!—молвилъ хозяинъ, отдавая бумаги Мамонову. Ты дѣлаешь, что тебѣ указано,—да я въ этомъ и не сомнѣвался.

— Позвольте мнѣ,—сказалъ Мамоновъ,—оставить у васъ въ селѣ небольшую команду,—не ради какого-нибудь надзора—избави, Господи! Я питаю къ вамъ, Максимъ Петровичъ, столь великую эстиму, что для меня достаточно вашего слова,—это необходимо ради всякаго случая: неравно князь Шелешпанскій снова появится въ вашемъ селѣ, такъ было бы кому задержать его и препроводить немедленно въ Москву.

— Хорошо, батюшка, хорошо!

— А я,—продолжалъ Мамоновъ,—сей-же часъ отправлюсь съ понятыми къ господину Рокотову.

— Милости просимъ!—промолвилъ Рокотовъ, нахмуривъ брови.—Намъ не впервые принимать незваныхъ гостей, и за проводами у насъ дѣло не станетъ.

— Чтожъ это?—прервалъ Мамоновъ.—Угрозы что-ль?... Такъ прошу васъ, государь мой, быть извѣстнымъ, что коли вы осмѣлитесь оказать какое-нибудь сопротивленіе, такъ васъ самихъ потребуютъ къ отвѣту!... Счастливо оставаться, Максимъ Петровичъ!... Еще разъ прошу васъ всенижайше не поставить мнѣ въ вину...

— Ничего, батюшка, ничего! Ты человѣкъ служивый и дѣлаешь то, что тебѣ приказано.

Шетневъ вышелъ вслѣдъ за Мамоновымъ въ столовую.

— Господинъ офицеръ!—сказалъ онъ самымъ ласковымъ и привѣтливымъ голосомъ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ Мамоновъ, остановясь.

— А вотъ что: я преусерднѣйше прошу тебя, батюшка,

не изволь гнѣваться на Лаврентія Никитича Рокотова. Онъ крутенекъ немного, заносчивъ, а, право, старикъ добрый!

— Да, конечно, заносчивъ и даже черезчуръ. Нынче не прежнія времена, государь мой: коли приказано, такъ слушайся.

— Да вѣдь онъ только такъ—языкъ чешетъ, а въ самомъ то дѣлѣ, сохрани, Господи!... А что, батюшка господинъ Мамоновъ, ты, по всему видно, человѣкъ добрый... Нельзя ли какъ-нибудь это дѣльце уладить?

— Какое дѣльце?

— Да вотъ чтобъ князя то Андрея не тревожить. Онъ ужь человѣкъ не молодой, ему давно подъ сорокъ, здоровье у него хилое, и хоть съ виду еще молодцеватъ, а не стоитъ нашего брата-старика: одышка, ногами плохъ, животомъ жалуется—вовсе не жилецъ! Малый такой рахманный... увалень!... Ну изъ чего тебѣ за нимъ тянуться? Что, въ самомъ дѣлѣ, или безъ него у васъ и войска не стало?

— Это, государь мой, до меня не лежитъ: про то знаютъ старшіе.

— И, батюшка, гдѣ имъ все знать, и коли-бы ты захотѣлъ...

— Да чтожъ я могу сдѣлать?

— Какъ что! Ты можешь донести своему начальству, что онъ хвораетъ. Вовсе, дескать, для службы не годенъ—даромъ паекъ будетъ получать, и то и се... Да что тутъ говорить: ученаго учить—лишь только портить! Ты, чай, лучше моего знаешь, какъ эти дѣла дѣлаются.

— Нѣтъ, не знаю.

— И, полно, батюшка!... Шелешпанскій человѣкъ богатый, а вы, господа служивые... не прогнѣвайся,—чай, иногда какъ рыба объ ледъ бьетесь. Вотъ если-бъ ты, молодецъ, намъ помирволилъ, такъ князь Андрей ударилъ бы тебѣ челомъ... знаешь этакъ—посильное мѣсто... сотенку, другую рублевиковъ...

— Что?—проговорилъ Мамоновъ.—Вы сулите мнѣ двѣсти рублей?... Да о своемъ ли вы умѣ?

— А что?... Маленько?... Ну, такъ три сотни... Э, да что тутъ толковать!... Шелешпанскій не постоитъ и за четыре...

— Чтожъ это, государь мой, вы шутите или нѣтъ?

Этотъ вопросъ былъ сдѣланъ такимъ голосомъ, что Шетневъ отступилъ шага два назадъ.

— Да за чтожъ ты изволишь гнѣваться?—сказалъ онъ, смотря съ удивленіемъ на Мамонова. Вѣдь это дѣло полюбовное, и коли тебѣ четырехсотъ рублей кажется мало, такъ мы, пожалуй, и еще накинемъ.

— Я такихъ срамныхъ холопскихъ рѣчей и слушать не хочу!—прервалъ Мамоновъ. Онъ повернулся къ Шетневу спиною и вышелъ вонъ.

— Не беретъ, пострѣлъ этакій, ничего не беретъ!—сказалъ Шетневъ, входя въ гостиную.—А все ты, Лаврентій Никитичъ! Кабы ты его не разсердилъ, такъ мы бы вѣрно съ нимъ поладили...

— Мальчишка этакій, молокососъ!—прошепталъ Рокотовъ.—Вишь, какой,—стращать вздумалъ!... Потребуютъ, дескать, къ отвѣту... Такъ чтожъ?... Коли пошло на то—милости просимъ: примемъ гостя!... Ужь коли отвѣчать, такъ было бы за что!

— Что ты, Лаврентій Никитичъ?—прервалъ Прокудинъ. Вѣдь Государь Петръ Алексѣевичъ шутить не любитъ. Что тебѣ голова что-ль надоѣла, или захотѣлось въ Березовъ?

— Въ Березовъ?... И, полно, любезный: страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!... Березовъ то далеко, и Царь теперь не близко... Э, да что-жъ мы зѣваемъ!... Надо послать кого-нибудь ко мнѣ въ село; и коли князь Андрей въ самомъ дѣлѣ туда перебрался... Да вотъ кстати Кулага!...

Въ гостиную вошелъ Прокофій Сидорычъ.

— Ну что, Прокофій?—сказалъ Максимъ Петровичъ.

— Все слава Богу!—отвѣчалъ дворецкій. Пріѣзжій офицеръ оставилъ у насъ двухъ служивыхъ, а самъ забралъ съ собою понятыхъ и отправился...

— Ко мнѣ?—спросилъ Рокотовъ.

— Да, батюшка Лаврентій Никитичъ.

— Такъ ступай, братецъ, прикажи кому-нибудь изъ моихъ молодцовъ сѣсть на коня, да живо проселкомъ въ Знаменское, и коли князь Шелешпанскій тамъ...

— Никакъ нѣтъ, сударь! — проговорилъ вполголоса Кулага.—Князь Андрей Юрьевичъ здѣсь.

— Здѣсь?... Гдѣ-жъ онъ.

Прокофій посмотрѣлъ вокругъ себя и сказалъ шопотомъ:

— На барскомъ гумнѣ, сударь, въ овинной ямѣ.

— Ахъ, онъ сердечный!—вскричалъ Шетневъ.—Больно перепугался?

— У, батюшки,—дрожкой дрожитъ.

— Слышишь, Максимъ Петровичъ?—сказалъ Рокотовъ. —Вѣдь князь то Андрей здѣсь!

— А ты, Лаврентій Никитичъ,—молвилъ Прокудинъ,—слышалъ ли, что я говорилъ этому Мамонову?

— А что?

— Я сказалъ ему, что у меня притона для бѣглыхъ нѣтъ; и коли князь Шелешпанскій знаючи отбываетъ отъ царской службы, такъ я и самъ не стану его у себя держать.

— Что ты, что ты, Максимъ Петровичъ, перекрестись!

— Да, Лаврентій Никитичъ, ты себѣ думай какъ хочешь, но по мнѣ и простому мужичку зазорно быть въ бѣгахъ, а ужь коли нашъ братъ, дворянинъ, учнетъ прятаться по овинамъ, чтобъ отвилять какъ-нибудь отъ царской службы...

— Служба службѣ розь, любезный !Вотъ и мы съ тобой служили, кажись, вѣрою и правдою, да только кому?... Православнымъ Царямъ Алексѣю Михаиловичу, Ѳеодору Алексѣевичу...

— А онъ пусть послужитъ Царю Петру Алексѣевичу.

— Что, небось, языкъ то у тебя не повернулся сказать: православному?...

— А какому же? Развѣ нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ въ церковь Божію не ходитъ?... Эхъ, Лаврентій Никитичъ, не хорошо, видитъ Богъ—не хорошо!... Царей то не мы выбираемъ, а Господь намъ даетъ, такъ если-бъ что и не по нашему было...

— Толкуй себѣ, толкуй!... Ну вотъ, Герасимъ Николаевичъ, ты со мною спорилъ, анъ и выходитъ моя правда, что другъ то нашъ сердечный, Максимъ Петровичъ, въ сенаторы захотѣлъ... Слышишь, какъ поговариваетъ?

— Въ сенаторы!... — повторилъ Прокудинъ. — А ты во что, Лаврентій Никитичъ... Сказалъ бы я тебѣ, да только обидѣть не хочу.

— Говори, небось, я не обижусь.

— Да не объ этомъ рѣчь! — прервалъ Шетневъ, стараясь замять разговоръ, который, по его мнѣнію, вовсе не слѣдовало заводить при какомъ-нибудь Пыжовѣ, а и того менѣе при дворецкомъ Максима Петровича. Скажите-ка лучше, чтожъ свадьба то у насъ?

— Дѣлать нечего,—молвилъ Рокотовъ:—придется на время отложить.

— Знаете ли что? — продолжалъ Шетневъ. — Вѣдь повѣнчать то можно у меня на селѣ; ко мнѣ Мамоновъ не пожалуетъ.

— Повѣнчать! — сказалъ Прокудинъ. — Нѣтъ, ужь объ этомъ что и говорить. Чай, теперь жениху то не до вѣнца: ему служить надобно.

— Служить!—подхватилъ Рокотовъ.—Зачѣмъ?... Авось дѣло и такъ обойдется. Я найду ему укромное мѣстечко: у меня верстахъ въ тридцати отсюда есть хуторокъ къ лѣсу...

— Да чтожъ ему тамъ цѣлый вѣкъ чтоль жить?

— А кто знаетъ, Максимъ Петровичъ? Мало ли что можетъ быть: Государь то Петръ Алексѣевичъ не на свадебный пиръ поѣхалъ: еще, Богъ вѣсть, вернется ли изъподъ турка или нѣтъ

— И, Лаврентій Никитичъ, охота тебѣ говорить!...

— Ну вотъ еще,—и поговорить нельзя! Вѣдь отъ слова ничего не сдѣлается. Подъ Полтавою ему, нашему батюшкѣ, шляпу то продырили; ну, а какъ теперь въ Туретчинѣ, этакъ, грѣхомъ зацѣпитъ немного пониже... Вѣдь пуля дура, не разбираетъ!

— Избави Господи!

— Да чтожъ, Максимъ Петровичъ: мы всѣ люди смертные... А случись что-нибудь такое, такъ дѣла то пойдутъ инымъ чередомъ... Конечно, нашей матушки Софьи Алексѣевны не стало, да за то говорятъ сынокъ то его—дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!...

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ!—прервалъ съ примѣтною досадою Прокудинъ:—не тебѣ бы говорить, не мнѣ бы слушать. Чтожъ мы, въ самомъ дѣлѣ, крамольники чтоль какіе, стрѣльцы?...

— Стрѣльцы!—повторилъ Рокотовъ.—Стрѣльцы то были удальцы!... Ну кто говоритъ: теперь они крамольники... Вѣстимо дѣло: чья взяла, тотъ и правъ.

— Послушай, Лаврентій Никитичъ, — сказалъ съ негодованіемъ Прокудинъ,—коли ты хочешь оставаться со мной пріятелемъ, такъ не изволь при мнѣ такихъ непригожихъ рѣчей говорить!

— Вишь какъ!... А самъ то ты?

— Грѣшный человѣкъ — и я иногда поропщу, но все-таки люблю нашего батюшку Петра Алексѣевича и молюсь о его здравіи; а тотъ, кто называетъ Софью Алексѣевну своею матушкой и подхваливаетъ мятежныхъ стрѣльцовъ,

тотъ самъ, коли не дѣломъ, такъ словомъ такой же точно крамольникъ, какъ они... не прогнѣвайся!...

— Вотъ какъ!

— Да, Лаврентій Никитичъ, кто ненавидитъ законнаго своего Государя и любитъ враговъ его, тотъ по моему: не русскій, не православный и даже не христіанинъ... не прогнѣвайся!

— Такъ ты этакъ то?—молвилъ Рокотовъ, вставая.— Ну, Господь съ тобою! Поѣдемъ, Герасимъ Николаевичъ: намъ здѣсь дѣлать нечего.

— Что ты, что ты!—вскричалъ Шетневъ.

— Что я?... Да развѣ не слышалъ: я не русскій, не православный и даже не христіанинъ. Прощай, Максимъ Петровичъ,—спасибо за угощенье!

— Лаврентій Никитичъ!—сказалъ Прокудинъ.—Я, можетъ статься, погорячился, и если сказалъ лишнее слово, такъ прости меня... да только, воля твоя, и тебѣ непригоже такія рѣчи говорить. Вѣдь, кажись, и ты также, какъ я, цѣловалъ крестъ Государю Петру Алексѣевичу. Послушай, любезный: мнѣ, право, жаль, что я тебя обидѣлъ...

— Добро, добро, чего жалѣть: снявши голову, о волосахъ не плачутъ. Прощай!

— Да погоди, Лаврентій Никитичъ!—сказалъ Шетневъ, идя вслѣдъ за Рокотовымъ.—Воротись!

— Ни за что на свѣтѣ!... Поди-ка лучше, да похлопочи, чтобъ князя Андрея свезли на мой красноярскій хуторъ, а я прикажу сѣдлать коней.

— Да неужели ты не помиришься съ Прокудинымъ?

— Зачѣмъ? Чтобъ опять поссориться? Вѣдь это ужь не впервые. Да и Богъ съ нимъ совсѣмъ! Кто говоритъ: «помоги Господи и нашимъ и вашимъ», съ тѣмъ каши не сваришь!

Черезъ полчаса въ селѣ Вздвиженскомъ изъ всѣхъ гостей остались только Карпъ Саввичъ Пыжовъ и двое служивыхъ, пріѣхавшихъ съ Мамоновымъ, изъ которыхъ, благодаря гостепріимству Прокофія Сидорыча, одинъ сидѣлъ, покачиваясь на лавкѣ, и пѣлъ во все горло: «Какъ во стольномъ градѣ во Кіевѣ», а другой давно уже лежалъ подъ лавкою и спалъ богатырскимъ сномъ.

V.

Премудрый вѣкъ, въ которомъ мы живемъ, можетъ по

всей справедливости назваться вѣкомъ изобрѣтеній, открытій и всякихъ улучшеній. Начиная отъ сѣрныхъ фосфорныхъ спичекъ до желѣзной атмосферической дороги, чего ни сдѣлано, ни придумано, ни открыто, ни доведено до совершенства въ теченіе нашего девятнадцатаго столѣтія, а не смотря на это, мы все еще не выдумали *коврика самолета*, извѣстнаго намъ по древнимъ преданіямъ, которыя мы, Богъ знаетъ почему, называемъ сказками. Теперь, по милости желѣзныхъ дорогъ, мы переносимся изъ одного мѣста въ другое довольно скоро, однакожъ все-таки не скорѣе птицъ. Ну есть ли тутъ чѣмъ хвастаться? Такъ ли въ старину летали досужіе люди на коврикѣ самолетѣ, съ быстротою котораго можетъ сравниться только одинъ электрическій телеграфъ, также придуманный въ наше время. Вамъ стоило тогда присѣсть на этотъ коверъ и сказать: «коврикъ, коврикъ самолетъ, перенеси меня изъ села Вздвиженскаго въ Бессарабію, на берега Днѣстра», и прежде, чѣмъ звукъ этихъ словъ исчезъ бы въ воздухѣ, вы очутились бы тамъ, куда я хочу теперь, за неимѣніемъ этого воздушнаго экипажа, перенести васъ, если не дѣломъ, такъ по крайней мѣрѣ мыслію.

Верстахъ въ пятидесяти отъ Могилева, уѣзднаго города нынѣшней Подольской губерніи, на бессарабской сторонѣ Днѣстра, есть небольшой городокъ, который прежде всѣ звали Сорокою, а теперь зовутъ иногда и Соколомъ. Не знаю, по какой причинѣ дали ему это птичье названіе; но во всякомъ случаѣ, если въ старину, когда этотъ городъ былъ укрѣпленнымъ и довольно значительнымъ городомъ, онъ назывался Сорокою, такъ теперь и подавно не за что его величать Соколомъ. Представьте себѣ огромный лугъ, или, вѣрнѣе сказать, цвѣтущую, роскошную долину, а посреди ея сотни полторы выбѣленныхъ известью домиковъ, которые, вмѣстѣ со своими обширными плодовитыми садами, составляютъ почти равносторонній четыреугольникъ. Въ близкомъ разстояніи отъ рѣки, изъ-за низкихъ кровель домовъ, подымаются стѣны небольшого замка или крѣпости, вѣроятно построенной генуэзцами. Излучистый Днѣстръ, выгибаясь дугою, обхватываетъ эту долину съ трехъ сторонъ, а съ четвертой заслоняютъ ее утесистые холмы нагорной стороны Днѣстра, то-есть бессарабскаго берега этой необычайно красивой и живописной рѣки.

Въ тысячу семьсотъ одиннадцатомъ году, на одномъ изъ

этихъ холмовъ стоялъ хорошенькій домикъ, напоминающій своею восточною архитектурою затѣйливые турецкіе кіоски, которыми обставлены всѣ берега Босфора. Сзади примыкала къ этому домику частая буковая роща, а съ лицевой стороны, обращенной къ огороду, окружали его обширные виноградные сады; опускаясь широкими уступами, они тянулись по скату горы вплоть до самаго Днѣстра, который въ этомъ мѣстѣ, обогнувъ всю долину, приближался снова къ своему гористому бессарабскому берегу. Этотъ домъ принадлежалъ молодой вдовѣ, богатой молдаванской куконѣ Смарагдѣ Хереско. Въ немъ стоялъ временнымъ постоемъ больной русскій офицеръ. Я думаю, вы отгадали уже, любезные читатели, что дѣло идетъ о вашемъ старомъ знакомцѣ, Василіи Михайловичѣ Симскомъ. Онъ догналъ свой полкъ близъ Львова, почувствовалъ себя нездоровымъ, перемогался, и когда Государь Петръ Алексѣевичъ прибылъ, 12-го числа іюня, съ Преображенцами и Семеновцами въ городъ Сороку, Симскій сдѣлался до того боленъ, что долженъ былъ снова разстаться съ своимъ полкомъ. Генералъ Вейде, котораго дивизія была расположена на бессарабскомъ берегу Днѣстра, зналъ Симскаго лично и, по совѣту доктора, перевелъ его изъ городского лазарета на мызу молдаванской помѣщицы Смарагды Хереско. 17 іюня Государь Петръ Алексѣевичъ выступилъ въ походъ къ Пруту съ полками Преображенскимъ и Семеновскимъ. Хотя эти полки были также, какъ и теперь, пѣхотными, однакожъ въ походѣ садились всегда на коня и шли съ литаврами, штандартами и трубами, когда-же приходили на мѣсто, имъ возвращали барабаны, и эти временные конные полки становились снова пѣхотными. Вслѣдъ за Государемъ выступила вся артиллерія подъ начальствомъ генерала Брюса, пѣхотная дивизія генерала Вейде, конница подъ командою бригадира Моро-де-Бразе, и въ городѣ Сорокѣ осталась одна только дивизія князя Рѣпнина, которому препоручено было окончить всѣ начатыя крѣпостныя работы.

Нѣсколько дней, проведенныхъ спокойнымъ и даже весьма пріятнымъ образомъ, помогли Симскому лучше всѣхъ лѣкарствъ: въ немъ осталась одна слабость; но она была еще такъ велика, что онъ никакъ не могъ сѣсть на коня или отправиться въ *каруцѣ*, то-есть огромной тряской телѣгѣ догонять свой Преображенскій полкъ. Я сказалъ, что Симскому было не только спокойно, но

даже пріятно жить на дачѣ куконы Хереско. Эта молодая и прекрасная вдова могла свободно объясняться съ своимъ постояльцемъ: она научилась говорить по нашему, гостя очень часто у своей родной сестры — жены одного русскаго барина, который жилъ безвыѣздно въ Кіевѣ. Когда Симскаго помѣстили къ ней въ домъ, она, какъ добрая и гостепріимная хозяйка, приняла его ласково, и съ самымъ радушнымъ участіемъ позаботилась о его покоѣ. Казалось, это участіе было совершенно искреннимъ, потому что оно не только не уменьшалось, но безпрестанно увеличивалось, и самымъ замѣтнымъ образомъ. Въ первый день она зашла на минуту къ своему больному постояльцу, на второй провела съ нимъ цѣлый вечеръ, а на третій почти безвыходно просидѣла въ его комнатѣ. Когда Симскому стало полегче и онъ, хотя съ трудомъ, однакожъ могъ переступать и выдти на открытый воздухъ, Смарагда водила его по своимъ виноградным садамъ, отдыхала вмѣстѣ съ нимъ подъ тѣнью буковой рощи, поила изъ своихъ рукъ серальскимъ шербетомъ, кормила *дульчецомъ*, то-есть сахарнымъ вареньемъ, ухаживала за нимъ, смотрѣла ему въ глаза, однимъ словомъ, не оставляла его ни на минуту и няньчилась съ нимъ, какъ самая нѣжная мать съ своимъ больнымъ ребенкомъ.

Однажды по утру, въ тотъ самый день, когда Государь Петръ Алексѣевичъ выступилъ съ гвардейскими полками изъ Сороки, Симскій, опираясь на руку своей хозяйки, вышелъ изъ дома и присѣлъ на одну изъ ступенекъ крыльца, надъ которымъ подымалось великолѣпное орѣховое дерево, посаженное у самыхъ дверей дома. Смарагда Хереско сѣла подлѣ него. Трудно было-бъ рѣшить, кто изъ нихъ былъ прекраснѣе; разумѣется, каждый въ своемъ родѣ. На молдаванкѣ, сверхъ утренняго платья изъ полосатой шелковой *аладжи*, накинута была бархатная, опушенная горностаемъ, *фермеле*, то-есть кофточка, похожая на нынѣшнія женскія коцавейки. Черная, блестящая, какъ вороново крыло, коса ея, обвиваясь дважды вокругъ головы, служила околышемъ для пунцовой албанской фески или круглой шапочки, съ которой опускалась на одну сторону густая кисть изъ синяго шелку. Блѣдное и даже нѣсколько смуглое, но роскошно прелестное лицо ея соединяло въ себѣ все то, что составляетъ идеалъ восточной красоты: черные влажные глаза, которые то выражали какую-то усталость, исполнен-

ную сладострастія и нѣги, то горѣли страстію и жгли
имъ огненнымъ взглядомъ, длинныя рѣсницы, тонкія бр
дугою, коралловыя уста и два ряда зубовъ:

«Какъ два жемчужныхъ ожерелья».

Представьте себѣ все это и вы будете тогда имѣть
нятіе о прекрасной куконѣ Смарагдѣ Хереско.

Симскій, рослый, статный юноша, съ лицомъ, по
дѣвшимъ отъ болѣзни, но все еще румянымъ, съ задум
вымъ взоромъ своихъ свѣтло-голубыхъ глазъ и русыми в
нистыми кудрями, которыя опускались небрежно на
бѣлую шею и широкія плечи, могъ также назваться обр
цомъ этой славяно-русской самобытной красоты, плѣня
щей насъ не страстнымъ выраженіемъ лица, не пламене
очей, но какимъ-то величавымъ спокойствіемъ, тихою, п
вѣтливою улыбкою и этимъ мощнымъ, свѣтлымъ взглядо
который обѣщаетъ не минутную, безумную страсть,
вѣрную, постоянную любовь до гроба; не бѣшеную, ми
летную храбрость, но твердое, ничѣмъ непоколеби
мужество... Молдаванка сидѣла молча подлѣ своего бо
ного и не спускала съ него глазъ; казалось, Симскій
замѣчалъ этого и смотрѣлъ все на городъ, изъ котор
выходило русское войско. Вдругъ задумчивый взоръ
оживился и онъ, обратясь къ своей хозяйкѣ, сказалъ:

— Смарагда, видишь ли ты это войско, вонъ что
дымается въ гору?... Это Преображенскій полкъ, въ ко
ромъ я служу.

— Если ты въ немъ служишь, — промолвила куко
глядя съ нѣжностію на Симскаго, — то ужь вѣрно эт
полкъ лучше всѣхъ полковъ.

— Да! Государь его жалуетъ.

— Куда же онъ идетъ?

— Въ походъ.

— За Дунай?

— А Богъ вѣсть! Говорятъ, визирь переправился
резъ Дунай и хочетъ насъ встрѣтить подъ Прутомъ.

— Подъ Прутомъ? Да это недалеко. У меня помѣс
есть въ орхеевскомъ цынутѣ на самомъ берегу Прута.

— Можетъ быть,—продожалъ Симскій грустнымъ го
сомъ, — дней черезъ пять, храбрый Преображенскій пол
помѣрится съ врагомъ, отличится передъ другими полкам
а я буду сидѣть здѣсь, сложа руки...

— Такъ чтожъ?—прервала съ живостію молдаванка.

Тѣмъ лучше! Дай Богъ, чтобъ ты долго, долго не выздоровѣлъ!

— Спасибо, Смарагда!

— Ахъ, Василій Михайловичъ, ты не знаешь этихъ турокъ: они такіе злые!... Они тотчасъ отрѣжутъ тебѣ голову.

— Авось не отрѣжутъ! Вѣдь наши русскіе багенеты стоютъ ихъ турецкихъ ятагановъ.

Молдаванка покачала печально головою.

— Небось, добрая Смарагда,—сказалъ Симскій,—мы за себя постоимъ.

— Дай то Богъ! — прошептала кукона. — Только и въ Яссахъ и въ Бухарестѣ, вездѣ я слышала, что сильнѣе турокъ нѣтъ народа на свѣтѣ.

Симскій улыбнулся. Вѣроятно, ему пришло въ голову то, что въ наше время высказалъ Крыловъ, у котораго мыши убѣждены, что сильнѣе кошки на свѣтѣ звѣря нѣтъ.

— Чему-жъ ты смѣешься? — сказала почти съ упрекомъ Смарагда.—Да если русскіе и одолѣютъ турокъ, такъ развѣ тебя не могутъ убить?

— Такъ чтожъ? Дай Богъ нашему великому Царю остаться въ живыхъ и побѣдить супостата, а я умру съ радостію. Смерть за Царя и за родину честна предъ Господомъ.

— О, нѣтъ,—вскричала молдаванка,—пусть пропадетъ все русское войско, пусть гибнетъ вашъ Царь, лишь только бы ты остался живъ!

— Я?... И, кукона, охота тебѣ говорить такія рѣчи!... Ну что такое я одинъ въ сравненіи съ Царемъ и всѣмъ православнымъ русскимъ войскомъ? Да развѣ всякій изъ насъ не долженъ умереть съ радостію за свое отечество?

— Отечество!—повторила съ презрѣньемъ молдаванка.— И у меня есть отечество: я родилась въ Молдавіи. Да что мнѣ до нее? Пусть ею владѣютъ турки, нѣмцы, русскіе — по мнѣ все равно!... Ахъ, нѣтъ, — теперь я хотѣла бы, чтобъ мы были вашими, тогда и я была бы русская!...

Бѣдняжка! — подумалъ Симскій, глядя съ сожалѣніемъ на свою хозяйку. Нѣтъ, ты не знаешь, что такое свой царь и свое отечество!... Ты молдаванка, вѣруешь въ Христа и все-таки раба невѣрнаго турка!... О, конечно, у такихъ рабовъ нѣтъ ни царя, ни отечества!

— Вотъ дѣло другое, — продолжала кукона, — умереть

за одного... О, это я понимаю!.. Умереть за того, кого любишь!... Да тутъ и спрашивать нечего: эта смерть милѣе жизни!

— А я такъ думаю, — сказалъ Симскій, — что лучше умереть за всѣхъ, чѣмъ за одного

— За всѣхъ, за всѣхъ! — прервала съ досадою Смарагда.—Ты, я вижу, всѣхъ любишь!

— Такъ чтожъ, кукона? Намъ и Богъ велѣлъ всѣхъ любить.

— Скажи мнѣ, Василій Михайловичъ, — прошептала молдаванка, помолчавъ нѣсколько времени, — только скажи правду: любишь ли ты меня?

— Тебя?... Да какъ же мнѣ тебя не любить? Ты приняла меня какъ своего кровнаго, заботилась обо мнѣ какъ о родномъ братѣ... У меня сестры не было, Смарагда, но мнѣ кажется, что я сталъ бы ее любить точно также, какъ люблю тебя.

— Сестры!... А любилъ ли ты кого-нибудь больше родной сестры, больше самого себя... больше всего на свѣтѣ?

— Да, Смарагда, любилъ и теперь еще люблю.

Молдаванка вздрогнула; ея смуглыя щеки покрылись блѣдностію, и уста посинѣли и она промолвила прерывающимся голосомъ:

— Чтожъ та, которую ты любишь, русская?

— Русская.

— И вѣрно... твоя невѣста?

— О, нѣтъ! Я хотѣлъ на ней жениться, но ея родные этого не захотѣли. Теперь, я думаю, она давно ужъ замужемъ.

— Замужемъ? — повторила Смарагда и потухшій взоръ ея снова оживился.—Такъ ты любишь замужнюю женщину?.. Ахъ, Василій Михайловичъ, это не хорошо!

— И радъ бы не любить, кукона, да видно любовь-то дѣло невольное.

— А знала-ли она, что ты ее любишь?

— Какъ не знать, вѣдь я за нее сватался.

— Такъ видно эта русская тебя не любила?

— Любила или нѣтъ, про то знаетъ она. Вѣдь у насъ дѣвицы очень скромны, Смарагда... Однакожъ, по всему было замѣтно, что я пришелъ по-сердцу.

— И она, любя тебя, вышла замужъ за другого.

— Поневолѣ пойдешь, когда прикажутъ.

— Когда прикажутъ! И вы называете это любовью? — прервала съ жаромъ молдаванка.—Да кто можетъ приказать мнѣ?...

— Вѣстимо кто: отецъ, мать, родные...

— Родные! Да какое же имъ дѣло до моей любви?.. Развѣ они могутъ сказать мнѣ: отдай себя немилому человѣку и забудь о томъ, кого ты любишь; сноси съ покорностію ненавистныя ласки твоего мужа, ласкай его сама и не люби того, кому ты отдала всѣ помышленія, всю душу свою!.. Не люби! Да развѣ это не все то-же, еслибъ мнѣ сказали: живи себѣ на здоровье, да только не дыши воздухомъ, безъ котораго ты не можешь жить!.. Нѣтъ, Василій Михайловичъ, эта русская не стоитъ твоей любви! Еслибъ я была на ея мѣстѣ, ты увидѣлъ бы тогда, какъ любятъ молдаванки!.. Быть твоею женой, твоею любовницей... рабою... О, за одинъ день этого блаженства я отдала бы всю жизнь мою, ушла бы за тобой на край свѣта! Пусть бы отецъ проклялъ меня, мать покинула, родные бросили, — что мнѣ до этого: я ужь не ихъ, когда люблю!

Страстная кукона была въ эту минуту неизъяснимо прекрасна; дикій пламень ея черныхъ очей былъ такъ очарователенъ, что всякій просвѣщенный юноша тотчасъ бы упалъ передъ нею на колѣна; но Василій Михайловичъ былъ въ этомъ отношеніи совершенный варваръ. Понятія, которыя онъ имѣлъ о женской скромности, разумѣется понятія невѣжественныя, отсталыя, но закоренѣлыя, какъ всякій старый предразсудокъ, сгубили одну изъ самыхъ поэтическихъ минутъ въ его жизни. Вмѣсто того, чтобъ восхищаться и падать на колѣна, онъ молча и съ примѣтнымъ ужасомъ глядѣлъ на свою хозяйку. Эта безумная страсть, эти почти богохульныя слова, въ устахъ женщины, казались ему до того преступными, что онъ готовъ былъ перекреститься и сотворить молитву. Впрочемъ, это непріятное впечатлѣніе продолжалось недолго; несмотря на его неопытность — общій недостатокъ молодыхъ людей тогдашняго времени, ему нельзя было не отгадать, что Смарагда его любитъ; и надобно отдать справедливость Симскому: онъ не обрадовался этому; напротивъ, ему стало жаль бѣдной куконы. Онъ чувствовалъ,что можетъ быть только ея другомъ и любить какъ родную сестру. Не знаю,

что дѣлалъ бы Симскій, еслибъ сердце его было свободно, но вѣроятно и тогда бы онъ не захотѣлъ на ней жениться, не потому, чтобъ она ему не нравилась... О, нѣтъ, кукона Хереско была истинно прекрасная женщина; но въ любви ея было что то страшное для Симскаго, и эта буйная, неистовая страсть казалась ему чувствомъ, не только не женскимъ, но даже вовсе неестественнымъ.

— Ну, чтожъ ты на меня такъ смотришь?—продолжала Смарагда.—Иль ты не вѣришь, русскій, что мы, молдаванки, можемъ такъ любить?

— Да, кукона, — отвѣчалъ Симскій, — мнѣ что то не вѣрится. Вмѣнять ни во что отцовское проклятіе, отказаться отъ родной матери, да это, чай, не водится и у турокъ, а вѣдь вы христіане.

Молдаванка посмотрѣла съ удивленіемъ на Симскаго.

— Такъ ты этого не понимаешь?—сказала она.

— Нѣтъ, Смарагда, не понимаю.

— Да какъ же ты любилъ свою русскую?

— Я любилъ ее какъ будущую мою подругу, какъ счастье и радость всѣхъ дней моихъ; но вовсе не хотѣлъ, чтобъ она была моею рабою, и самъ бы не пошелъ къ ней въ рабы.

— Такъ ты еще никогда не любилъ, Василій Михайловичъ, да врядъ ли и будешь когда-нибудь любить!.. Правду говорятъ, что ваша Русь земля холодная...

— Бываетъ и у насъ тепло, Смарагда,—сказалъ съ улыбкою Симскій.

— Да, видно, такъ рѣдко,—прервала кукона,—что вамъ и оттаять некогда... Да что объ этомъ!.. Ты мнѣ сказалъ, что любишь меня какъ сестру родную...

— О, конечно, моя добрая Смарагда!..

— Такъ я могу называть тебя милымъ другомъ... ласкать какъ родного брата... не правда ли, Василій?..— промолвила молдаванка, опустивъ свою прелестную головку на плечо Симскаго.

Въ эту самую минуту, сквозь густыя виноградныя лозы, сверкнулъ, какъ молнія, огненный взглядъ, потомъ послышались шаги, и на тропинку, которая подымалась въ гору, вышли двое мужчинъ: одинъ, одѣтый довольно просто, другой, залитой въ золото и укутанный въ турецкія шали. Этотъ послѣдній, несмотря на свою богатую одежду, шелъ позади и несъ въ рукахъ пунцовый, шитый золотомъ

мѣшокъ и турецкую трубку съ длиннымъ черешневымъ чубукомъ.

— Кто это?—спросилъ Симскій.

— Кажется... — сказала Смарагда.—Ну, такъ и есть: это бояръ Алеско Палади съ своимъ арнаутомъ.

— Что, онъ твой родственникъ?

— Нѣтъ, чужой... и чего онъ отъ меня хочетъ?.. Кажется, въ послѣдній разъ я обошлась съ нимъ не очень ласково... Да вотъ я его такъ угощу, что онъ долго ко мнѣ не пожалуетъ!

Высокій и статный молдаванинъ подошелъ къ крыльцу и, не удостоивъ Симскаго взглядомъ, поклонился Смарагдѣ. Этотъ бояръ Алеско Палади былъ еще довольно молодъ, и могъ бы назваться прекраснымъ мужчиною, еслибъ его орлиный носъ былъ нѣсколько поменьше, а черныя густыя брови не придавали его взгляду такой угрюмый, непріязненный видъ.

— Здравствуй, кукона,— сказалъ онъ по молдавански.

Смарагда кивнула молча головою. Молдаванинъ сѣлъ подлѣ нея на ступеньку крыльца и закричалъ арнауту:

— Хе!.. Янке, ада чубуче!

Арнаутъ высѣкъ огня, закурилъ трубку и подалъ ее своему господину.

— Смарагда,—сказалъ Симскій, вставая, — я пойду къ себѣ въ комнату и прилягу на минутку.

— Въ самомъ дѣлѣ, Василій Михайловичъ, отдохни. Мы съ тобой сегодня много ходили... А вотъ, постой, — я тебя провожу,—промолвила Смарагда, вставая.

— Зачѣмъ?.. Я и самъ дойду.

— Да ты еще такъ слабъ...

— О, нѣтъ, сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Останься съ своимъ гостемъ.

— Хорошо, я съ нимъ останусь, да только будетъ ли ему со мною весело.

Симскій вошелъ въ домъ, а кукона сѣла опять на прежнее свое мѣсто.

VI.

— Кукона, — сказалъ вполголоса бояръ Палади, указывая чубукомъ на уходящаго Симскаго, — что это за человѣкъ?

— Мой постоялецъ,—отвѣчала Смарагда:—русскій офицеръ.

— Къ тебѣ поставили больного офицера, а этотъ, кажется, здоровъ.

— Здоровъ! Да развѣ ты не видишь, что онъ насилу ходитъ?

— Скажи мнѣ, кукона, — промолвилъ Алеско Палади, помолчавъ нѣсколько времени,—что съ тобою сдѣлалось?

— Со мною? Ничего...

— Какъ ничего? Я не узнаю тебя. Ты почти не говоришь со мной, не хочешь меня видѣть. Третьяго дня меня увѣрили, что ты уѣхала въ городъ, а въ городѣ тебя не было; вчера вышла ко мнѣ твоя цыганка и сказала, что ты нездорова... Ну, вотъ теперь я засталъ тебя на крыльцѣ, и по лицу твоему нельзя замѣтить, чтобъ ты была больна... Чтожъ это значитъ?.. Если я въ чемъ провинился передъ тобою, такъ скажи.

Смарагда молчала.

— Чтожъ ты не отвѣчаешь, кукона?—продолжалъ бояръ Палади.—Я хочу непремѣнно знать, отчего ты такъ ко мнѣ перемѣнилась?

— Да съ чего ты взялъ, что я перемѣнилась? — сказала Смарагда, взглянувъ равнодушно на своего гостя.

Этотъ вопросъ, конечно, очень неумѣстный, но довольно обыкновенный въ подобныхъ случаяхъ, заставилъ вспыхнуть молдаванина.

— И ты можешь меня объ этомъ спрашивать! — вскричалъ онъ.

— Ахъ, не кричи, бояръ!—прервала Смарагда.—Я этого терпѣть не могу!.. Ну, да! Съ чего ты взялъ, что я перемѣнилась? Развѣ я не все та-же знакомая твоя кукона Хереско, которая принимала тебя, какъ хорошаго пріятеля, и которой—не прогнѣвайся, бояръ—ты начинаешь ужасно надоѣдать своею любовью.

— Надоѣдать? — повторилъ молдаванинъ, и глаза его засверкали. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но остановился и, помолчавъ нѣсколько времени, промолвилъ тихимъ голосомъ:—Ну, кукона, видно, память то у тебя очень коротка! Давно ли, вотъ здѣсь, подъ этимъ самымъ орѣховымъ деревомъ, ты говорила мнѣ: «Погоди, милый Алеско, дай мнѣ подумать!

— Ты лжешь, — прервала съ живостью Смарагда,—я

не называла тебя милымъ, а хотѣла подумать—это правда. Ну, вотъ я подумала, и говорю тебѣ рѣшительно: Бояръ Алеско Палади, я не хочу выходить замужъ.

— Ни за кого?

— Нѣтъ, этого я не говорю. Захочу, такъ выйду.

— Смарагда! — проговорилъ, задыхаясь отъ бѣшенства, молдаванинъ.

— Да, бояръ, — продолжала твердымъ голосомъ кукона, — я могу отдать себя тому, кто придетъ мнѣ по сердцу, могу сдѣлаться его женою или невольницей — все равно, была бы на это моя воля; но ни ты, ни нашъ господарь, ни самъ падишахъ не возьмутъ меня насильно. Ступай въ Стамбулъ, бояръ Палади, покупай тамъ на базарѣ невольницъ, а Смарагда Хереско не раба: ее нельзя ни купить, ни продать.

— Да развѣ я этого не знаю? — сказалъ молдаванинъ, стараясь удерживать свой гнѣвъ.—Ты, конечно, вольна отдать себя, кому захочешь, но гдѣ ты найдешь человѣка, который любилъ бы тебя такъ страстно, какъ я? Давно ли ты сама—не гнѣвайся, кукона, я говорю правду—давно ли ты сама была со мною такъ ласкова, встрѣчала меня всегда съ такою радостною улыбкою; и вдругъ я сдѣлался тебѣ противенъ, ты стала убѣгать меня, отворачиваться отъ меня съ презрѣніемъ, ну, вотъ какъ теперь... не слушать рѣчей моихъ...

— Такъ зачѣмъ же ты говоришь со мною?—промолвила Смарагда, которая, отворотясь отъ своего гостя, смотрѣла разсѣянно въ ту сторону, гдѣ проходило густыми рядами русское войско.

— Зачѣмъ? — повторилъ молдаванинъ.—Неблагодарная! Да знаешь ли, какъ я люблю тебя?... Въ Бухарестѣ господарь предлагалъ мнѣ руку своей племянницы, я отказался отъ этой чести, и онъ сдѣлался навсегда врагомъ моимъ; мой родственникъ, любимый драгоманъ великаго падишаха, звалъ меня въ Стамбулъ, обѣщалъ и богатство и почести, — я не поѣхалъ для того, чтобъ не разстаться съ тобою. Для кого отказался я отъ званія великаго спатаря, которое предлагалъ мнѣ князь Кантемиръ? Для кого покинулъ я мою родину, уѣхалъ изъ Яссъ, разстался съ родными?..

— Ужь вѣрно не для меня,—прервала Смарагда, продолжая смотрѣть въ поле.—Я тебя объ этомъ никогда не просила.

Бояръ Палади поблѣднѣлъ.

— Смарагда, — сказалъ онъ,—ты не женщина, а дикій звѣрь!

Влюбленный молдаванинъ ошибся. Нѣтъ, вамъ скорѣй удастся разжалобить дикаго звѣря, чѣмъ женщину, страстно влюбленную, но только не въ васъ. Если вы перестали ей нравиться, и она любитъ другого, то все, что бы вы ни дѣлали, будетъ напрасно. Чѣмъ болѣе вы имѣете правъ на любовь ея, тѣмъ вы будете казаться ей несноснѣе. Если вы не хотите этого, такъ скрывайте ваши страданія, терпите, глотайте молча слезы... Конечно, и это вамъ не поможетъ: она не сжалится надъ вами, но по крайней мѣрѣ пожалѣетъ о васъ. Перестаньте любить ее, постарайтесь забыть, что и она также васъ любила... О, тогда, быть можетъ, вы сдѣлаетесь ея другомъ! Но Боже васъ сохрани упрекать, жаловаться и пуще всего вспоминать о прошедшемъ, — это увеличитъ только ея ненависть, и она не захочетъ васъ знать даже и тогда, когда пройдетъ этотъ душевный недугъ, этотъ безумный бредъ, который не покидалъ ее ни днемъ, ни ночью, и отъ котораго да избавитъ васъ Господь Богъ, любезныя читательницы!

Нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе. Смарагда встала.

—Извини меня, бояръ,—сказала она.—Я не могу долѣе съ тобой бесѣдовать: у меня на рукахъ больной.

— Больной!—повторилъ съ горькою усмѣшкою Палади.— Да, онъ очень походитъ на больного!.. Постой, кукона, еще одно слово!.. Когда я подходилъ къ твоему дому, ты сидѣла, кажется, очень близко подлѣ этого больного?

— Такъ чтожъ?

— Мнѣ показалось даже, что ты лежала на его плечѣ?

— Можетъ быть.

— И ты въ этомъ признаешься?..

— А для чего я буду запираться передъ тобою? Что ты, мужъ мой, братъ или женихъ?

— Ты любишь этого русскаго?

— Да, люблю.

Молдаванинъ вскочилъ; глаза его налились кровью, а правая рука судорожно ухватилась за рукоятку кинжала.

— Бояръ Палади, — сказала кукона, глядя смѣло въ глаза своему гостю, — этотъ русскій не виноватъ, что я его люблю, онъ даже и не знаетъ объ этомъ: такъ если

тебѣ вздумается убить кого-нибудь изъ насъ — убей меня! Я смерти не боюсь! — промолвила грустнымъ голосомъ Смарагда.

Эти слова, казалось, немного успокоили молдаванина.

— Ты его любишь! — сказалъ онъ.—Не даромъ же я ненавижу этихъ русскихъ!.. Да вотъ увидимъ, какъ то они вернутся изъ подъ Прута!.. Черезъ нѣсколько дней и твой постоялецъ отправится туда же, и, можетъ быть, его угостятъ тамъ не по твоему, кукона!.. Визирь ужь близко, а гдѣ онъ съ непобѣдимымъ войскомъ великаго падишаха, тамъ гибнетъ все!.. Неужели, Смарагда, ты будешь думать объ этомъ русскомъ даже и тогда, когда онъ погибнетъ?

— Нѣтъ, я не стану тогда о немъ думать, а умру поскорѣе, чтобъ никогда съ нимъ не разставаться.

— О, если такъ,—прервалъ Палади,—такъ ты не долго наживешь! Прощай, кукона!

— Прощай, бояръ.

— Прощай, любовница русскаго офицера!

— Да, — прервала съ жаромъ молдаванка, — я его любовница, а не жена твоя! Слышишь, бояръ Палади?

— Слышу,—прошепталъ молдаванинъ, взглянувъ угрюмо на Смарагду. Слышу, кукона, и не забуду объ этомъ.

— Я презираю твои угрозы и ругательства, злой человѣкъ! — сказала Смарагда, глядя вслѣдъ за своимъ незваным гостемъ.—Кукона Хереско не была ничьей любовницей, но она скорѣй будетъ рабой послѣдняго изъ русскихъ, чѣмъ твоею женою, ненавистный молдаванинъ.

Прошло еще два дня Бояръ Палади не показывался, а Симскому становилось все лучше и лучше. Вотъ на третій день, часу въ осьмомъ утра, онъ надѣлъ на себя полный мундиръ и вошелъ въ комнату къ своей хозяйкѣ.

— Прощай, Смарагда!—сказалъ онъ.—Я иду въ городъ.

— Въ городъ? — повторила съ примѣтнымъ испугомъ кукона.—Зачѣмъ?

— Сначала зайду къ коменданту и скажу, чтобъ меня выписали изъ числа больныхъ, а тамъ явлюсь къ князю Рѣпнину.

— Я слышала, что онъ завтра уходитъ съ войскомъ изъ Сороки.

— Да, его дивизія идетъ къ Пруту. Чѣмъ мнѣ догонять

армію одному, я попрошу, чтобъ меня прикомандировали къ какому-нибудь полку.

— Такъ ты хочешь завтра отправиться?

— Я ужь совсѣмъ здоровъ, Смарагда; такъ мнѣ грѣшно будетъ передъ Богомъ и стыдно передъ товарищами оставаться здѣсь на покоѣ. Мнѣ кажется, — промолвилъ съ улыбкою Симскій,—я и такъ у тебя довольно погостилъ.

— Довольно!.. Нѣсколько дней!.. Ну, видно, ты не очень любишь свою сестру!

— Что же дѣлать, мой другъ? Мнѣ и самому грустно съ тобой разстаться...

— А почему знать, можетъ быть, мы съ тобой не разстанемся?.. Я тебѣ говорила, что у меня есть помѣстье Кутъ-Маре, на самомъ берегу Прута: развѣ я не могу туда переѣхать?

— Да вѣдь Прутъ то не маленькая рѣчка, Смарагда. Говорятъ, онъ немногимъ поменьше Днѣстра; такъ, можетъ статься, наше войско остановится верстъ за сто отъ твоего помѣстья.

— А можетъ быть и недалеко. Верстъ пять отъ Кутъ-Маре есть урочище, которое зовутъ «Рябою Могилою». Мнѣ сказывали, что тамъ войску расположиться очень хорошо: мѣсто такое привольное. Не знаю отчего, а мнѣ кажется, что вы будете тамъ стоять лагеремъ.

— Вотъ этого то я и боюсь, моя добрая Смарагда. Въ военное время чѣмъ дальше живешь отъ войска, тѣмъ лучше. Мало ли что можетъ случиться! Хоть у насъ и очень строго, а все поручиться нельзя: и казаки къ тебѣ заѣдутъ, и шалуны солдаты забредутъ. Нѣтъ, мой другъ, останься лучше здѣсь.

— Ни за что на свѣтѣ!

— Ну, коли на бѣду мы около тебя сойдемся съ турками?

— Такъ чтожъ?. Господь милостивъ, можетъ быть, съ тобой ничего не будетъ; а если, Боже сохрани, тебя ранятъ, кто станетъ за тобой ходить, кто сбережетъ тебя?.. Нѣтъ, мой милый другъ, ужь если ты назвалъ меня сестрою, такъ покину-ль я тебя!

— Послушай, Смарагда: да коли мы и въ самомъ дѣлѣ остановимся подлѣ твоего помѣстья, такъ чтожъ отъ этого?.. Мы все-таки не будемъ видѣться. Въ военное время изъ лагеря отлучиться нельзя.

— Такъ я сама къ тебѣ пріѣду.

— Какъ это можно, Смарагда! Что скажутъ о тебѣ добрые люди?

— Что мнѣ до этого!.. Да и почему-жъ мнѣ не пріѣхать къ вамъ въ лагерь?.. У васъ такъ много будетъ барынь. Всѣ жены вашихъ нѣмецкихъ генераловъ поѣхали на Прутъ съ своими мужьями: я познакомлюсь съ ними...

— И все-таки, можетъ быть, не увидишь меня. Вѣдь военный лагерь не городъ: тамъ у всякаго свое дѣло. Я же съ нашими нѣмецкми генеральшами вовсе не знакомъ.

— Да ужь какъ хочешь! — прервала кукона. Что будетъ, то будетъ, а я непремѣнно поѣду въ Кутъ-Маре, и если не увижу тебя, такъ, по крайней мѣрѣ, буду знать, гдѣ ты...

— Да, воля твоя!.. Только я, право, боюсь за тебя..

— И, мой милый другъ! Коли эти чопорныя нѣмки не побоялись ѣхать за своими мужьями, такъ чего же ты за меня боишься?.. Да что это тебѣ вздумалось идти въ городъ пѣшкомъ, Василій Михайловичъ? Вѣдь это не близко. Вели заложить мою кочу.

— Нѣтъ, я хочу пройтись пѣшкомъ. Прощай, моя добрая Смарагда!

— Прощай, мой милый братъ!

Окончивъ въ городѣ всѣ свои дѣла, Симскій отправился въ обратный путь. День былъ жаркій; полуденное солнце горѣло на темносинихъ, безоблачныхъ небесахъ. Изрѣдка только затихающій вѣтерокъ шелестилъ между деревьями и игралъ въ струяхъ Днѣстра, по берегу котораго шелъ Симскій. Хоть онъ вовсе не спѣшилъ и шелъ очень тихо, однакожъ почувствовалъ наконецъ большую усталость, и, чтобъ отдохнуть гдѣ-нибудь подъ тѣнью, свернулъ съ дороги въ большой, поросшій лѣсомъ оврагъ, который шелъ покатистою лощиною межъ двухъ высокихъ холмовъ, покрытыхъ также частымъ дубовымъ лѣсомъ. Дойдя до перваго вѣтвистаго дерева, Симскій присѣлъ подъ тѣнь его, и когда посмотрѣлъ вокругъ себя, то увидѣлъ, что не онъ одинъ пріютился отъ жары въ этомъ прохладномъ и тѣнистомъ оврагѣ: въ двадцати шагахъ отъ него, подлѣ широкаго ручья, который вливался въ Днѣстръ, расположились табором вольные цыгане. Пары четыре усталыхъ воловъ лежало между деревьями; три спутанныя лошади и два жеребенка бродили по берегу ручья и щипали траву. Въ се-

ринѣ полукруга, составленнаго изъ нѣсколькихъ огромныхъ каруцъ, висѣлъ надъ огонькомъ чугунный котелъ. Вокругъ него валялись запачканные ребятишки, изъ которыхъ многіе не были даже покрыты и лохмотьями. Повидимому, эта роскошь была предоставлена однимъ взрослымъ и въ особенности женщинамъ, но и тѣ не слишкомъ были обременены одеждою, то есть всякаго рода тряпьемъ и ветошками, которыя кажутся намъ такъ красивы и живописны на картинѣ и которыя такъ отвратительны на самомъ дѣлѣ. Одинъ молодой цыганъ гудѣлъ на скрипкѣ, передъ нимъ двѣ босыя дѣвчонки коверкались и прыгали какъ полоумныя, припѣвая молдаванскую пѣсню: «Мититика винамъ коче»; подлѣ нихъ два безобразныхъ цыганенка дрались и грызли другъ друга, какъ цѣпныя собаки, а третій, не обращая на нихъ никакого вниманія, боролся съ ручнымъ медвѣженкомъ. Всѣ взрослые цыгане, собравшись въ кружокъ, разсуждали о чемъ то съ большимъ жаромъ. Симскому не трудно было отгадать, что предметомъ совѣщанія была какая то тощая лошадь. Этотъ лошадиный остовъ, который цыгане ощупывали и осматривали со всѣхъ сторонъ, стоялъ, повѣсивъ голову и, вѣроятно, вовсе не подозрѣвалъ, что досужіе люди сбираются подкрасить ему зубы, понахлестать хорошенько, и превратить и выхолить изъ старой клячи въ молодого и борзаго коня. Ближе всѣхъ къ Симскому сидѣла на пенькѣ высокаго роста женщина, лѣтъ подъ сорокъ. Она вся была обвѣшена старыми тряпками и всякою цвѣтною ветошью, которыя, впрочемъ, такъ искусно были на нее набросаны, что издали она казалась почти одѣтою. Рѣзкія черты ея смугловато-желтаго лица были довольно правильны; но дикій, почти безумный взглядъ, и нечесаные, раскинутые по плечамъ, черные какъ смоль волосы придавали ей видъ настоящей вѣдьмы, которыя, какъ извѣстно, сбираются по ночамъ на Лысой-горѣ, близъ Кіева. Она сидѣла, покачиваясь изъ стороны въ сторону, и пѣла вполголоса:

„Арды ма, фриджи ма,
Пи карбуне пуне ма,
Дай май пуне пи карбуне—
Амурезо ну ти спуне!“

то есть:

„Жги меня, жарь меня,
На огнѣ пали меня
И на угляхъ на каленыхъ—
Имя друга не скажу!“

Вдругъ ея быстрый взглядъ повстрѣчался съ взглядомъ Симскаго; она встала, подошла къ нему и сказала довольно чисто по русски:

— Здравствуй, бояръ!

— Здравствуй, голубушка!—отвѣчалъ Симскій.—Гдѣ ты научилась говорить по нашему?

— Я жила долго въ Могилевѣ и въ Черниговѣ, а матуся моя была родомъ изъ Москвы... Ну что, мое красное солнышко: хочешь, я тебѣ поворожу?..

— О чемъ?

— Вѣстимо, о чемъ: о твоей московской зазнобушкѣ.

— У меня нѣтъ никакой зазнобушки.

— Лжешь, бояръ!.. Вишь, ты какой молодецъ!.. Ужь коли у тебя нѣтъ коханочки, такъ, видно, у васъ въ Москвѣ и краснымъ дѣвушкамъ не водъ. Ну что, хочешь ли, я поворожу тебѣ о суженой?

— Нѣтъ, не хочу.

— Такъ о томъ, молодецъ, уцѣлѣетъ ли твоя головушка на плечахъ.

— Моя голова?

— Ну, да! Вѣдь вы пришли сюда съ туркомъ то не бражничать. Небойсь,—я тебѣ всю правду скажу.

— Нѣтъ, голубуша, я этого впередъ знать не хочу.

— Экій ты какой!.. Да дай же мнѣ, золотой, свою ручку!.. Ты мнѣ на ладонку положи серебро, а я тебѣ скажу добро.

Симскій, чтобъ отвязаться отъ цыганки, подалъ ей серебряный пяти-копѣечникъ.

— Спасибо, добрый молодецъ!—молвила цыганка.—Дай же я тебѣ поворожу.

— Ну, поворожи, да только скорѣй,—сказалъ Симскій, протягивая руку

— Ай, ай, ай!—прошептала цыганка.—Да ты никакъ заколдованъ, молодецъ!.. Смотри-ка, смотри: сабли турецкія тебя не берутъ, ядра и пули мимо летятъ... А есть у тебя злодѣй... Ухъ, какъ черная немочь его коробитъ... Вотъ такъ бы и съѣлъ тебя... Да не потѣшится онъ надъ твоею головушкой... Не таковъ его таланъ: самому глаза въ чистомъ полѣ галки выклюютъ, а тебя Господь помилуетъ... Да, да!.. Смотри: вонъ онъ, подъ кустомъ лежитъ, а ты, молодецъ... у, далеко отсюда... видишь, тамъ... вонъ, гдѣ золотыя то маковки на солнышкѣ горятъ...

— Ужь не въ Москвѣ ли?—прервалъ Симскій.—Нѣтъ, любезная, не отгадала: я въ Москву ни за что не поѣду.

— Эхъ, мой ясный соколъ!—сказала цыганка, ну вотъ и помѣшалъ: теперь ничего не вижу. Положи-ка еще на ладонку!

— Хорошо, голубушка, будетъ съ меня и этого. Ступай съ Богомъ!

Цыганка не успѣла отойти нѣсколькихъ шаговъ, какъ вдругъ изъ за деревьевъ раздался выстрѣлъ, и пробитая насквозь шляпа слетѣла съ головы Симскаго. Въ то же время поднялся ужасный крикъ во всемъ таборѣ: пуля, назначенная повидимому для Симскаго, не сдѣлавъ ему никакого вреда, попала въ старую клячу, около которой хлопотали цыгане, и убила ее наповалъ.

— Ну вотъ, мое красное солнышко,—молвила цыганка, оборотясь къ Василію Михайловичу,—правду ли я сказала, что тебя пули не берутъ и что у тебя есть злодѣй? Смотри же, молодецъ, и впередъ цыганкамъ вѣрь!—промолвила она, садясь попрежнему на пенекъ и запѣвая снова:

„Арды ма, фриджи ма,
Ни карбуне пуни ма!“

— Нѣтъ,—подумалъ Симскій, разсматривая свою шляпу, —это не дробь!?.. А вѣдь охотники по дичинѣ пулями не стрѣляютъ... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, у меня есть злодѣй?.. Да кто жъ онъ такой?.. Я здѣсь, кромѣ Смарагды, никого не знаю. Чтожъ это такое?..

Разсуждая съ самимъ собою и теряясь въ догадкахъ, Симскій дошелъ потихоньку до мызы куконы Хереско. Тамъ все было въ движеніи: дворовыя цыганки бѣгали изъ комнаты въ комнату, кучера суетились вокругъ дорожныхъ каруцъ, арнауты и слуги укладывались и сама кукона была въ большихъ хлопотахъ. Когда Симскій сталъ ей разсказывать о своемъ приключеніи, она сначалъ испугалась, поблѣднѣла, потомъ вдругъ глаза ея засверкали гнѣвомъ.

— Это ты, злодѣй!—проговорила она вполголоса. — Да погоди, разбойникъ, если ты осмѣлишься показаться подлѣ Кутъ-Маре, такъ я велю застрѣлить тебя какъ бѣшеную собаку!

— О комъ ты это говоришь?—спросилъ съ удивленіемъ Симскій.

— Ты видѣлъ у меня бояра Палади? Это онъ хотѣлъ убить тебя.

— Меня? За что?

Смарагда примѣтнымъ образомъ смутилась.

— Я его совсѣмъ не знаю,—продолжалъ Симскій.

— Да онъ тебя знаетъ,—прошептала кукона.—О, какъ я рада, что ты поѣдешь въ походъ вмѣстѣ съ войскомъ! Отсюда до самаго Прута все степи, и если злой человѣкъ захочетъ кого-нибудь убить...

— Да чтожъ я сдѣлалъ этому Палади?..

— Что сдѣлалъ!.. Ты русскій, а онъ ненавидитъ русскихъ...

— И хочетъ одинъ всѣхъ насъ перебить поодиночкѣ?— прервалъ съ улыбкою Симскій.— Ну, молодецъ!.. Я вижу, ты сбираешься въ дорогу, Смарагда?

— Да, я завтра поѣду въ Кутъ-Маре.

— Воля твоя, а право, лучше бъ, если ты осталась.

— Ужь я тебѣ сказала, мой другъ: ни за что на свѣтѣ!

— Ну, дѣлать нечего, укладывайся. У меня сборы не велики, однакожъ пойду и я кой-что уложить.

На другой день рано по утру дивизія князя Рѣпнина отправилась въ походъ. Обозъ этого войска тянулся еще по горамъ бессарабскаго берега Днѣстра, когда изъ мызы куконы Хереско выѣхала дорожная вѣнская карета на пасахъ; съ каждой стороны этого тяжелаго рыдвана ѣхало по одному вооруженному съ ногъ до головы арнауту; на козлахъ, подлѣ кучера, сидѣла Маріорица, любимая цыганка куконы, а позади тащились на волахъ огромныя каруцы съ поклажею и многочисленною дворнею, первой, по своему богатству, сорокинской барыни, Смарагды Хереско.

VII.

Русское войско, подъ личнымъ начальствомъ Государя Петра Алексѣевича, пройдя въ пять дней Буджакскія степи, остановилось въ прекрасной, орошаемой Прутомъ долинѣ. Рѣка Прутъ гораздо уже Днѣстра, но несравненно его быстрѣе. Въ своемъ извучистомъ теченіи, она очень часто отрываетъ отъ берега огромныя глыбы и сильнымъ напоромъ воды производитъ береговыя осыпи и провалы, весьма опасные для запоздалыхъ путешественниковъ.

27 іюня, то-есть въ день полтавскаго сраженія, по утру, шли по берегу этой рѣки, разговаривая межъ бою, двое молдаванъ. Одинъ изъ нихъ былъ средняго ста, но весьма стройный и прекрасный мужчина. Дру описывать мнѣ нечего: вы ужь его знаете. Первый б господарь молдавскій, князь Кантемиръ, второй — бо Алеско Палади. Они шли къ небольшой рощицѣ, на опу которой стоялъ арнаутъ, держа въ поводу двухъ красив турецкихъ коней.

— Да точно ли ты увѣренъ, бояръ, — говорилъ кн Кантемиръ,—что только небольшая часть турецкой ар переправилась черезъ Дунай, и что самъ визирь не пре будущей недѣли тронется со всѣмъ войскомъ?

— Я это навѣрно знаю,—отвѣчалъ Палади.

— Полно, такъ ли, бояръ? Для чего, кажется, визи мѣшкать за Дунаемъ, когда войско Русскаго Царя сто на Прутѣ?

— Для чего!.. Да развѣ ты, Домне господарь, не зна турокъ? Они всегда такъ: гдѣ надо поспѣшить, они т примутся разсуждать; да и теперешній то визирь, Ахме паша, говорятъ, очень трусоватъ. Чай, онъ сидитъ въ с ей палаткѣ, пьетъ шербетъ, да думаетъ про себя: «Ч дескать, мнѣ идти навстрѣчу къ русскимъ? Можетъ, они стоятъ мѣсяцъ-другой на Прутѣ, а тамъ и сами уйд домой»!

— Нѣтъ, бояръ, на это полагаться нечего. Ахме паша человѣкъ не глупый, и вѣрно не станетъ думать, русскіе пришли сюда для того только, чтобъ вернуться ни чѣмъ домой. Ну, если, Боже сохрани, онъ переправи втихомолку гдѣ-нибудь черезъ Прутъ и отрѣжетъ н отъ дивизіи генерала Рене, такъ дѣло то будетъ худо.

— Да какъ же это можно, свѣтлѣйшій Домне? Вѣдь с тысячная армія не одинъ человѣкъ. Какъ бы она ни п осторожно, а вы ужь вѣрно объ этомъ узнаете.

— Въ томъ то и дѣло, бояръ, что есть слухи, бу бы визирь не только переправился черезъ Дунай, но у нѣсколько дней идетъ безостановочно къ Пруту.

— Не вѣрь этому, Домне господарь: это сказки. Я дилъ до самой Журжи, а теперь прямехонько изъ Буха ста. Ну, можетъ быть, гдѣ-нибудь въ Валахіи передо татары сожгли деревню или ограбили проѣзжихъ; такъ пошли всѣ говорить, что визирь идетъ. Да вотъ я сейч

ѣду опять въ Бухарестъ, и если узнаю, что визирь тронулся съ мѣста, такъ или самъ къ тебѣ пріѣду, или пришлю къ тебѣ гонца.

— Такъ, по твоему, бояръ, намъ нечего опасаться нечаяннаго нападенія?

— Да, свѣтлѣйшій Домне! Что будетъ впередъ — не знаю, а теперь вы можете здѣсь спать и веселиться такъ же спокойно, какъ у себя дома.

— Смотри же, бояръ: послужи мнѣ и Русскому Царю. Будь увѣренъ, Палади, ты въ этомъ раскаиваться не станешь.

— Конечно, не стану,—прервалъ бояръ:—да только не такъ, какъ ты думаешь: я не наемникъ и не прошу никакихъ наградъ. Ты знаешь, свѣтлѣйшій Домне, какъ я тебѣ преданъ, но ты еще не знаешь, какъ я люблю русскихъ. Чтобъ доказать имъ это на самомъ дѣлѣ, я готовъ на все рѣшиться. Не пожалѣю головы своей, лишь бы только послужить имъ такъ, какъ душѣ моей угодно.

Еслибъ господарь хотя нѣсколько сомнѣвался въ преданности Палади, то, вѣроятно, обратилъ бы вниманіе на странную противоположность этихъ словъ съ угрюмымъ и злобнымъ взоромъ молдаванина; но князю Кантемиру нельзя было и подумать, чтобъ человѣкъ, осыпанный его милостями, рѣшился на какую-нибудь измѣну или предательство. Въ продолженіе этого разговора они подошли къ рощѣ. Палади махнулъ арнауту, и когда тотъ подвелъ къ нему осѣданную лошадь, онъ простился съ господаремъ, вскочилъ на коня и пустился рысью по дорогѣ, ведущей въ селеніе Рушешти. Князь Кантемиръ возвратился въ лагерь.

Желая какъ можно скорѣе увѣдомить Государя о полученномъ извѣстіи, онъ пошелъ къ его ставкѣ. Передъ нею, на обширномъ лугу, преображенскіе солдаты, подъ надзоромъ нѣсколькихъ офицеровъ, ставили длинный столъ, за которымъ могло свободно помѣститься человѣкъ двѣсти. У дверей палатки стоялъ царскій денщикъ: онъ пригласилъ Кантемира войти, сказавъ ему, что Государь Петръ Алексѣевичъ принимаетъ поздравленія отъ всѣхъ начальныхъ людей и будетъ сегодня праздновать вмѣстѣ съ ними вторую годовщину знаменитой полтавской викторіи. Чрезъ полчаса Его Величество, въ сопровожденіи первыхъ чиновъ, отправился къ обѣднѣ въ походную артиллерійскую церковь, подлѣ которой выстроены были въ боевомъ порядкѣ всѣ

пѣхотные полки. Они составляли три стороны огромнаго каре, котораго четвертую сторону занимала артиллерія. По окончаніи литургіи, извѣстный проповѣдникъ тогдашняго времени, Ѳеофанъ Прокоповичъ, произнесъ длинное поучительное слово, потомъ стали служить благодарственный молебенъ, и когда запѣли «Тебѣ Бога хвалимъ», началась безпрерывная стрѣльба: бѣглый ружейный огонь и пальба изъ всѣхъ орудій не умолкали нѣсколько минутъ сряду. Изъ церкви всѣ отправились за Государемъ къ обѣденному столу. Его Величество помѣстился въ самой срединѣ стола; по правую его руку сидѣлъ молдавскій господарь князь Кантемиръ, по лѣвую графъ Головкинъ, баронъ Шафировъ и Савва Рагузинскій. Всѣ генералы, бригадиры, полковники и проч., начальные люди размѣстились сообразно ихъ званію и *табели о рангахъ*. Преображенскіе и семеновскіе капитаны разносили вино; каждый изъ нихъ прислуживалъ шести особамъ, имѣя въ своемъ распоряженіи трехъ служителей для перемѣны стакановъ и бутылокъ. Пированье было на славу, и лучшее венгерское вино лилось рѣкою. Это царское угощеніе продолжалось цѣлый день и кончилось не прежде одиннадцати часовъ ночи.

На другой день, послѣ обѣда, въ палатку старшаго нѣмецкаго генерала Януса сошлись покурить трубки и побѣсѣдовать также всѣ нѣмцы: генералъ-лейтенанты: баронъ Аларть, Брюсъ, Данебергъ, Остенъ, Берхгольцъ, Адамъ Вейде, генералъ-маіоръ Бушъ и бригадиръ французъ Мороде-Бразе. Всѣ они сидѣли за большимъ круглымъ столомъ, на которомъ стояли: серебряная чаша съ пуншемъ, нѣсколько стакановъ, тарелка съ лимонами и два картуза гамбурскаго табаку,—одинъ съ вакштафомъ, другой съ кнастеромъ. Благодаря неутомимой болтовнѣ француза Мороде-Бразе, это общество вовсе не походило на тихую бесѣду важныхъ нѣмцевъ, которые, какъ извѣстно, курятъ безпрестанно табакъ, мало говорятъ, много думаютъ и, по большей частей, сходятся вмѣстѣ для того только, чтобъ кой о чемъ помолчать. Разговоръ шелъ о вчерашнемъ угощеніи. — Надобно отдать справедливость поварамъ его Царскаго Величества,—говорилъ Моро-де-Бразе:—столъ былъ отлично скверенъ; эти русскіе супы, эта жареная и вареная баранина, эти пироги, однимъ словомъ, все было такъ дурно, что еслибъ не подали подъ-конецъ стола голландскаго сыра, такъ я умеръ бы съ голоду.

— Да! — пробормоталъ толстый генералъ-маіоръ Бушъ. —То ли дѣло наша нѣмецкая кухня!

Французъ поморщился. Вѣроятно онъ подумалъ: «хороша и ваша»!

— А какъ вамъ показалось вино? — спросилъ генералъ Брюсъ.

— О, что касается до вина, — воскликнулъ Моро-де-Бразе съ восторгомъ истиннаго знатока, — такъ я вамъ скажу!... Намъ подавали такое вино, какого я въ жизнь мою не пивалъ!

— Да, вино доброе! — промолвилъ генералъ Янусъ, выпустивъ носомъ двѣ густыя струи табачнаго дыму.—Оно мало чѣмъ уступитъ нашему хорошему рейнвейну.

Французъ опять поморщился.

— Конечно, — сказалъ онъ, — ваши нѣмецкія вина хороши, господинъ генералъ, но они немного кисловаты; а это старое токайское, которое намъ подавали, настоящій нектаръ!... И нечего сказать: Его Величество не поскупился!... Вотъ ужь истинно, какъ говорится, пили, такъ пили! Не знаю, какъ вы, господинъ генералъ, а вы, господинъ баронъ, кажется, по моему, — не отказывались.

— Да, господинъ бригадиръ,—отвѣчалъ баронъ Алартъ, вытряхивая свою трубку,—я пилъ довольно.

— Хорошо-бъ очень,—сказалъ баронъ Остенъ,—еслибъ Его Величество такъ же былъ не скупъ и во всемъ... Вы понимаете, что я хочу сказать, господинъ генералъ?

— Понимаю, господинъ генералъ-лейтенантъ,—отвѣчалъ Янусъ, — и я давно объ этомъ думаю. Теперь невремя, но когда кончится кампанія, я буду непремѣнно просить о значительной прибавкѣ жалованья.

— Просить то можно,—замѣтилъ Брюсъ,—да врядъ ли вы что-нибудь выпросите.

— А не выпрошу, такъ пусть дадутъ мнѣ абшидъ.

— И я послѣдую вашему примѣру, — сказалъ Остенъ.

— И я! — промолвили въ одинъ голосъ генералы Берхгольцъ, Алартъ, Данебергъ и Бушъ.

— Эхъ, господа — прервалъ Брюсъ, — намъ грѣшно на это жаловаться: посмотрите, что получаютъ русскіе генералы.

— Русскіе!—повторилъ французъ.—Русскіе обязаны и даромъ служить своему Царю. Да если правду сказать, такъ стоятъ ли они и того, что имъ даютъ?

— Стоятъ или нѣтъ, — сказалъ Берхгольцъ, — и
изволятъ обижаться, что мы больше нихъ получае
лованья, и даже такъ дерзки, что говорятъ, будто
служатъ изъ чести, а мы, нѣмцы, изъ однѣхъ тол
негъ.

— Ахъ, они варвары!—вскричалъ Моро-де-Бразе
лалъ бы я, чтобъ кто-нибудь изъ нихъ сказалъ это пр

— Чтожъ-бы вы сдѣлали?—спросилъ Брюсъ.

— Я отвѣчалъ бы этому русскому, что онъ точно
что мы, иностранцы, дѣйствительно служимъ изъ де
русскіе изъ чести; да это потому, что каждый ст
добыть то, чего у него нѣтъ.

Глубокомысленные нѣмцы взглянули другъ на д
призадумались. Они подозрѣвали, что въ словахъ фр
скрывается какая-нибудь обидная насмѣшка; однак
вдругъ поняли смыслъ этой эпиграммы.

— То, чего у него нѣтъ, — повторилъ наконецъ
— А, понимаю, господинъ бригадиръ, понимаю!... Н
зло, очень зло!...

— И совершенно справедливо,—промолвилъ Берх

— Фу, какъ остроумны эти французы!—шепнулъ
толкнувъ локтемъ Остена.

— Конечно, конечно!—сказалъ Остенъ.—Это очень
да только не совсѣмъ справедливо. Ну, можно ли го
что мы служимъ изъ денегъ? Вотъ хоть я, напр
третій годъ служу все на одномъ трактаментѣ, да е
какомъ?... Стыдно сказать: триста рублей въ мѣсяцъ

— То есть,—прервалъ Моро-де-Бразе,—на наши
цузскія деньги восемнадцать тысячъ ливровъ въ год
нечно, это мало, но все еще сносно. А я, представьте
получаю всего на всего двѣнадцать тысячъ ливровъ
ванья.

— А гдѣ бы вамъ дали больше этого, господинъ
диръ?—спросилъ Брюсъ, выпивъ однимъ духомъ полс
пуншу.—Ужь не во Франціи ли?

— Да, господинъ генералъ-лейтенантъ,—возразилъ
де-Бразе, — да, во Франціи! Деньгами я получилъ
раздо менѣе, но взамѣнъ ихъ дали бы то, чего н
Русскій Царь дать не можетъ, то есть: прекрасны
матъ, просвѣщенное общество, любезныхъ женщин
рошее вино и превосходный театръ, о которомъ, н
гнѣвайтесь, и вы, господа нѣмцы, не имѣете никако

нятія. Вы думаете, господинъ Брюсъ, что если я отказался отъ этихъ высокихъ наслажденій просвѣщеннаго человѣка, если я закопалъ себя живого въ эту снѣжную могилу, которую мы называемъ Московскимъ царствомъ, такъ я ужь вознагражденъ съ избыткомъ за это необъятное пожертвованіе тѣмъ, что получаю въ годъ какихъ-нибудь ничтожныхъ двѣнадцать тысячъ ливровъ жалованья.

— Да развѣ вамъ обѣщали больше этого или заставили насильно служить Русскому Царю.

— Конечно, не насильно; но вы знаете, господинъ Брюсъ, что въ жизни встрѣчаются разныя обстоятельства: я былъ молодъ, любилъ пожить и, натурально, прожилъ все мое состояніе. Мой дядя, старикъ лѣтъ семидесяти пяти, послѣ котораго доставалось мнѣ большое имѣнье, женился на молодой дѣвушкѣ; у его жены родился сынъ... однимъ словомъ, я былъ въ такомъ положеніи, что мнѣ должно было выбрать одно изъ двухъ: или всадить себѣ пулю въ лобъ, или идти въ русскую службу. Къ несчастію, я выбралъ послѣднее...

— Ну, это еще не большое несчастіе!—сказалъ Брюсъ. —Конечно, Россія не Франція, но, не прогнѣвайтесь, въ ней жить можно; и вы, господинъ бригадиръ, напрасно называете Русскую землю могилою. Вотъ я ужь давно живу въ этой могилѣ, а, кажется, на мертвеца вовсе не похожъ, — промолвилъ Брюсъ, допивъ свой стаканъ пуншу.

— Я это сказалъ,—возразилъ французъ,—относительно ея умственнаго состоянія и совершеннаго отсутствія всякой человѣческой жизни. Разумѣется, въ этомъ смыслѣ, въ ней все мертво какъ въ могилѣ. Сошлюсь на всѣхъ: скажите, господа, есть ли гдѣ-нибудь, не говорю въ Европѣ, но въ цѣломъ мірѣ, земля, скучнѣе этой Московіи и народъ, невѣжественнѣе этихъ грубыхъ, необразованныхъ *московитовъ?*

— Да, да!—пробормотали въ одинъ голосъ всѣ нѣмецкіе генералы, исключая Брюса и Вейде.

— Вы, вѣроятно, читали,—продолжалъ французъ,—въ книгѣ знаменитаго путешественника, Адама Олеаріуса, что онъ пишетъ о русскихъ? Помните ли то мѣсто, гдѣ онъ приводитъ мнѣнія нѣкоторыхъ шведскихъ и ливонскихъ ученыхъ, которые доказываютъ, что русскіе вовсе не христіане, да и людьми то могутъ назваться только потому, что имѣютъ даръ слова?

— То ли еще вы найдете въ этой книгѣ! — прервалъ

Брюсъ.—Помните ли, какъ этотъ Олеаріусъ, описывая русскую свадьбу, говоритъ, что, во время вѣнчанія, и молодые и всѣ приглашенные на свадьбу пляшутъ въ церкви, подъ пѣніе псалмовъ, какой-то особеннаго рода танецъ, похожій на французскій *бранлъ*. Ну, скажите, господа: можно ли имѣть какую-нибудь довѣренность къ путешественнику, который разсказываетъ такія нелѣпости?

— Вы, господинъ Брюсъ, — сказалъ хозяинъ, — всегда заступаетесь за русскихъ.

— Не за русскихъ, господинъ генералъ, а за правду. Еслибъ вы горили, что русскіе народъ еще необразованный, что они начинаютъ только просвѣщаться, такъ я не сталъ бы съ вами спорить; но вы ихъ даже и за людей почитать не хотите.

— Извините, господинъ Брюсъ, — прервалъ Моро-де-Бразе, — я первый этого не думаю: русскіе говорятъ и пьютъ иногда хорошее вино, слѣдовательно, они люди.

— Ваши шуточки, — возразилъ Брюсъ, — доказываютъ только, что вы французъ, господинъ бригадиръ, и любите пошутить; такъ ужъ посмѣйтесь и надо мною. Я думаю вотъ что о русскихъ: они еще дѣти, но дайте имъ возмужать, такъ у васъ пройдетъ охота смѣяться надъ ними. Что русскіе народъ самобытный, этого, я думаю, и вы оспаривать не станете. Ихъ не могли стереть съ лица земли ни татары, ни поляки; напротивъ, послѣ каждаго народнаго бѣдствія Россія становилась все сильнѣе и сильнѣе. До татарскаго ига, она была вся раздроблена на мелкія княжества; татары исчезли, и всѣ эти отдѣльныя части слились въ одно огромное, мощное тѣло. Послѣ междуцарствія и, хотя минутнаго, однакожъ тяжкаго владычества поляковъ, Россія, безъ всякой посторонней помощи стряхнувъ съ себя постыдныя оковы, двинулась впередъ и стала на ряду всѣхъ европейскихъ государствъ. Вы, я думаю, слыхали, что здоровыя и сильныя дѣти почти всегда хвораютъ къ росту? Вотъ точно такъ же Россія: она часто бывала больна и, казалось, больна смертельно, а въ самомъ то дѣлѣ это была только болѣзнь къ росту. Да вотъ хоть въ наше время, что можно было ожидать послѣ нарвскаго сраженія? Ужъ, конечно, если не порабощенія и совершенной гибели, такъ по крайней мѣрѣ совершеннаго униженія Россіи, а вышло напротивъ: Россія точно такъ же, какъ прежде, прихворнула, да вдругъ и выросла на цѣлую Лифляндію. И объ этомъ то,

исполненномъ жизненной силы и самобытномъ народѣ вы говорите съ такимъ презрѣніемъ! Нѣтъ, господа, не знаю, будетъ ли когда Россія предписывать законы другимъ народамъ, но я убѣжденъ въ душѣ моей, что, лѣтъ черезъ пятьдесятъ, она займетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ числѣ всѣхъ просвѣщенныхъ государствъ Европы.

— Срокъ то очень длиненъ,—сказалъ Моро-де-Бразе,— а то-бы я побился съ вами объ закладъ, что ваши русскіе и черезъ пятьдесятъ лѣтъ будутъ точно такими же варварами, какіе они теперь.

— То есть мы, иностранцы, станемъ называть ихъ варварами? Да, это можетъ быть и черезъ полтораста лѣтъ. Извѣстное дѣло: мы всегда не жалуемъ и позоримъ тѣхъ, которыхъ боимся.

— Охота вамъ объ этомъ спорить!...—прервалъ Янусъ.— Поговоримте-ка лучше о туркахъ. Чтобы это значило, господа: мы заняли всю Молдавію, перешли Прутъ, а визирь, какъ слышно, все еще стоитъ за Дунаемъ. Чего-жъ онъ дожидается?

— Чтобъ мы подошли къ нему поближе, — отвѣчалъ Остенъ.

— А можетъ быть и раздумье беретъ,—сказалъ Брюсъ.— Вѣдь съ русскими ладить не легко.

— И, полноте! — вскричалъ Моро-де-Бразе.—Турки народъ храбрый, станутъ они трусить вашихъ русскихъ! А вотъ развѣ что: не узналъ ли визирь, что при русской арміи находится много иностранныхъ генераловъ, — это всего вѣрнѣе. Поневолѣ призадумаешься, когда надобно имѣть дѣло съ знаменитымъ генераломъ Янусомъ!...

Янусъ улыбнулся и кивнулъ головою.

— Съ такимъ необычайнымъ стратегомъ, какъ вы, господинъ Алартъ.

Алартъ поклонился.

— Съ такими испытанными тактиками — продолжалъ французъ, — каковы генералы: Данебергъ, Остенъ, Брюсъ, Вейде.

— Позвольте мнѣ прибавить,—сказалъ Остенъ:—и съ такимъ храбрымъ начальникомъ кавалеріи, какъ вы, господинъ Моро-де-Бразе.

— Да ужь если вамъ, господа, не угодно сказать ни слова о фельдмаршалѣ Шереметевѣ, — прервалъ Брюсъ, — такъ не забудьте хоть самого Государя Петра Алексѣевича.

Кто разбилъ на-голову перваго полководца нашего времени, Карла XII, съ тѣмъ шутить нельзя.

— Разбилъ! — повторилъ французъ.—Да, конечно, разбилъ, по милости фельдмаршала Гольца и другихъ иностранныхъ генераловъ.

— Мы всѣ только исполняли приказанія Русскаго Царя, господинъ Моро-де-Бразе, — продолжалъ Брюсъ, — а всѣмъ распоряжался и былъ душою всего самъ Государь Петръ Алексѣевичъ. Вы не были подъ Полтавой, такъ можете говорить все, что вамъ угодно; но мнѣ грѣшно бы было не отдать справедливости не только самому Царю, но также и князю Меншикову и многимъ изъ русскихъ генераловъ.

— А позвольте спросить, господинъ Брюсъ, — сказалъ Янусъ,—кто-жъ по вашему эти русскіе генералы?... Вотъ, напримѣръ, хоть оба фельдмаршала, которыми такъ хвастаются русскіе: Шереметевъ и князь Меншиковъ, — неужели вы назовете ихъ хорошими генералами? Меншиковъ, конечно, человѣкъ способный; но имѣетъ ли онъ свѣдѣнія, необходимыя для искуснаго полководца? А вы сами знаете, что одной практики для этого недостаточно. Я отдаю также полную справедливость необычайной храбрости Шереметева, но онъ вовсе не тактикъ и, вѣроятно, не понимаетъ даже, что значитъ слово: стратегія.

— А почти всегда билъ шведовъ!—прервалъ Брюсъ.

— Случай, господинъ генералъ-лейтенантъ, счастье—и больше ничего.

— А надобно сказать правду, — подхватилъ Моро-де-Бразе:—старикъ Шереметевъ въ дѣлѣ молодецъ! Чтобы спасти простого солдата, онъ готовъ самъ кинуться съ саблею на непріятеля.

— Это, господинъ бригадиръ, храбрость, приличная оберъ-офицеру, а Шереметевъ фельдмаршалъ.

— Такъ, господинъ генералъ, такъ! Только вы ужь слишкомъ строго судите и князя Меншикова и Шереметева. Не забудьте, что они русскіе, такъ чего же вы отъ нихъ хотите?

— Чего! — повторилъ Брюсъ.—Да я увѣренъ, что Шереметевъ, князь Меншиковъ и князь Рѣпнинъ, несмотря на то, что они русскіе, были бы вездѣ отличными генералами.

— Въ самомъ дѣлѣ?—прервалъ французъ.—Такъ зачѣмъ же Русскій Царь окружаетъ себя иностранцами? Нѣтъ,

господинъ Брюсъ: хотя и онъ также русскій человѣкъ, но у него много природнаго ума. Онъ очень понимаетъ, что безъ насъ ему нельзя шагу сдѣлать, и что только при помощи иностранцевъ онъ можетъ,—не просвѣтить свой народъ, это, я думаю, дѣло невозможное, — но придать ему, по крайней мѣрѣ, хотя наружность и физіогномію просвѣщеннаго народа. Однимъ словомъ, я убѣжденъ, что Русскій Царь, какъ человѣкъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, геніальный, не можетъ уважать своихъ русскихъ, и охотно бы промѣнялъ ихъ на иностранцевъ, которые одни могутъ понимать его.

— Полно, такъ ли? — прошепталъ генералъ-лейтенантъ Адамъ Вейде, который во все время слушалъ другихъ, а самъ молчалъ и курилъ трубку.—Я думаю, что Царь Петръ Алексѣевичъ ни на кого не промѣняетъ своихъ русскихъ, потому что онъ, кажется, ихъ очень любитъ.

— А насъ, господинъ генералъ-лейтенантъ? — спросилъ Моро-де-Бразе, бросивъ на полъ лимонъ, который лежалъ подлѣ него на столѣ.

Адамъ Вейде затянулся, выпустилъ въ одинъ пріемъ цѣлое облако табачнаго дыму и не отвѣчалъ ни слова.

— Чтожъ вы не отвѣчаете на мой вопросъ? — продолжалъ французъ, прихлебывая пуншъ изъ своего огромнаго стакана.

— Вы, кажется, всегда любили свѣжіе лимоны, господинъ бригадиръ? — промолвилъ наконецъ Вейде, пріостановясь курить.

— Да, господинъ баронъ, я ихъ люблю.

— Такъ чтожъ вы бросили вашъ лимонъ на полъ?

— А на что онъ мнѣ? Я выжалъ изъ него весь сокъ... Да дѣло не объ этомъ, вы отвѣчайте на мой вопросъ: если, по вашему, Царь Петръ Алексѣевичъ, несмотря на свою страсть къ просвѣщенію, очень любитъ этихъ русскихъ варваровъ, такъ какъ же онъ любитъ насъ, образованныхъ иностранцевъ?

— Да я думаю точно такъ же, какъ вы любите свѣжіе лимоны, господинъ бригадиръ!—сказалъ Вейде, принимаясь снова курить свою трубку.

Въ палатку вошелъ адъютантъ и доложилъ Янусу, что Царь требуетъ къ себѣ его и генераловъ Брюса и Аларта.

— Извините, господа!—сказалъ Янусъ.—Я пригласилъ васъ къ себѣ, полагая, что насъ сегодня не потревожатъ,

а, кажется, безъ нашего совѣта и сегодня дѣло не об
дется. Что, господинъ баронъ,—промолвилъ онъ, взглян
съ насмѣшливою улыбкою на Вейде,—видно, въ лимон
то соку еще довольно?

Всѣ гости откланялись хозяину, и онъ, накинувъ плащ
отправился, вмѣстѣ съ Брюсомъ и Алартомъ, въ ставку
сударя Петра Алексѣевича.

VIII.

Вѣроятно, многіе изъ нашихъ читателей не знак
всѣхъ подробностей турецкой войны 1711 года; слѣдо
тельно, вовсе будетъ не излишнимъ, если я скажу нѣсколь
словъ о положеніи, въ которомъ находилась русская ар
въ теченіе первыхъ чиселъ іюля мѣсяца. Обманутый ло
ными извѣстіями, Государь Петръ Алексѣевичъ узна
весьма поздно о приближеніи всей турецкой арміи. Ге
ралъ Янусъ, посланный съ сильнымъ отрядомъ для то
чтобъ помѣшать непріятелю переправиться черезъ Пру
и зайти въ тылъ русской арміи, не исполнилъ какъ сл
дуетъ своей обязанности: столкнувшись нечаянно съ туре
кимъ авангардомъ, который только что началъ перепра
ляться черезъ рѣку, генералъ Янусъ не только не зад
жалъ его, но отступилъ немедленно съ своимъ отрядомъ
донесъ Государю, что визирь со всѣми войсками переше
черезъ Прутъ. Вслѣдствіе этого невѣрнаго донесенія, е
приказано было идти назадъ и присоединиться къ арм
Визирь воспользовался этою ошибкою: не встрѣчая ни
кого сопротивленія, онъ перевелъ большую часть свое
войска на бессарабскій берегъ Прута, занялъ всѣ высо
и совершенно отрѣзалъ этимъ движеніемъ русскую арм
отъ войскъ, находящихся подъ начальствомъ генерала Ре
Дивизіи генераловъ Вейде и князя Рѣпнина находил
также не въ близкомъ разстояніи отъ главной арміи. Ночь
на девятое число іюля, она выступила изъ лагеря и
разсвѣту, соединясь съ этими дивизіями, продолжала ид
вдоль Прута, избирая удобное мѣсто, на которомъ мо
бы, несмотря на неравенство силъ, вступить въ бой
непріятелемъ. Поутру, когда армія была въ походѣ, тур
напали на нашъ аріергардъ, состоящій изъ одного Преобр
женскаго полка; этотъ храбрый полкъ не только не дог

стилъ себя отрѣзать отъ войска, которое продолжало идти впередъ, но послѣ пяти часовъ безпрерывнаго сраженія, откинувъ назадъ непріятеля, примкнулъ къ обозу главной арміи. Въ тотъ же день, визирь, полагая, что ему вовсе не трудно съ двумястами тысячъ войска уничтожить сорокъ тысячъ русскихъ, напалъ со всѣми своими силами на нашу армію; но послѣ упорнаго сраженія былъ отбитъ съ большимъ урономъ, и русскіе, дойдя до урочища, извѣстнаго подъ названіемъ «Рябая Могила», остановились на берегу Прута. Наше войско выстроилось въ каре, въ срединѣ котораго былъ весь обозъ и нѣсколько палатокъ. Пока одна часть солдатъ укрѣпляла по возможности этотъ со всѣхъ сторонъ открытый лагерь, другая перестрѣливалась съ отдѣльными турецкими партіями, которыя продолжали тревожить русскихъ до самой глубокой ночи. Межъ тѣмъ визирь расположился на противоположномъ, гористомъ берегу Прута; онъ развернулъ свое безчисленное ополченіе огромнымъ полукругомъ, котораго концы, упираясь въ Прутъ, обхватывали съ трехъ сторонъ русскій лагерь, а съ четвертой, то есть съ тылу, всѣ высоты были заняты буджакскими и крымскими татарами. Въ этомъ затруднительномъ положеніи Государь Петръ Алексѣевичъ не щадилъ, какъ и всегда, своей собственной жизни. Вотъ что разсказываетъ очевидецъ, человѣкъ не русскій и вовсе не преданный Русскому Царю: «Могу засвидѣтельствовать, говоритъ онъ, что Царь не болѣе себя берегъ, какъ и храбрѣйшій изъ его воиновъ. Онъ переносился повсюду и подъ непріятельскимъ огнемъ говорилъ съ генералами, офицерами и рядовыми ласково и по дружески, разспрашивая о томъ, что происходило на ихъ постахъ».

Надобно прибавить, что русскимъ угрожало еще новое бѣдствіе, несравненно ужаснѣе всего остальнаго: имъ предстояла голодная смерть. Волошскій господарь Бранкованъ, который вызвался продовольствовать наше войско, измѣнилъ своему слову. Въ русскомъ лагерѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ непріятелемъ, едва ли оставалось на нѣсколько дней провіанта, и несмотря на то, что вода была подъ руками, многіе умирали отъ жажды, потому что днемъ турецкіе стрѣлки не давали никому подойти къ рѣкѣ и даже ночью осыпали пулями весь берегъ, вдоль котораго тянулись наша лагерныя укрѣпленія, составленныя изъ деревянныхъ рогатокъ, засыпанныхъ землею. Однимъ словомъ, гибель Рус-

скаго Царя, а съ нимъ всего войска, казалась неизбѣжною. 10 числа іюля, турки, не возобновляя своего нападенія на русскій лагерь, открыли по немъ сильный огонь изъ всѣхъ своихъ орудій. Весь день прошелъ въ этой безпрерывной и, къ счастію, почти безвредной для насъ стрѣльбѣ. Вечеромъ Государь Петръ Алексѣевичъ, собравъ военный совѣтъ, объявилъ фельдмаршалу Шереметеву и всѣмъ генераламъ, что, по совершенному недостатку продовольствія, нельзя было оставаться долѣе въ оборонительномъ положеніи, что всей арміи предстояло одно изъ двухъ: или сдаться военноплѣнными, или пробиться сквозь непріятеля и, соединясь съ дивизіею генерала Рене, отступить къ своимъ границамъ; что это послѣднее средство одно могло спасти, если не армію, то по крайней мѣрѣ славу нашего оружія, и что онъ, Русскій Царь, желаетъ лучше идти на вѣрную смерть, чѣмъ сдаться безусловно на волю непріятеля. Фельдмаршалъ, вмѣсто отвѣта, подалъ Государю бумагу, подписанную имъ и всѣми генералами еще за нѣсколько часовъ; содержаніе этой бумаги было совершенно согласно съ настоящею волею Русскаго Царя. Государь Петръ Алексѣевичъ, приказавъ, чтобъ рано по утру всѣ полки были готовы къ бою, распустилъ совѣтъ и заперся одинъ въ своей палаткѣ, строго наказавъ не пускать къ себѣ никого.

Эта рѣшительная мѣра, конечно, не спасла бы русскихъ. У визиря было слишкомъ двѣсти тысячъ свѣжаго, неизнуреннаго войска; а у насъ, за исключеніемъ безконныхъ казаковъ и плохо вооруженной молдаванской сволочи, всего двадцать двѣ тысячи, почти безъ конницы и съ артиллеріею, которая, въ сравненіи съ турецкою, могла назваться ничтожною. Еслибъ русская армія, ударивъ дружно, и прорвалась сквозь турецкія полчища, то могла ли она уцѣлѣть и дойти до границы, неся на плечахъ своихъ въ десять разъ сильнѣйшаго непріятеля? Туркамъ очень легко было заслонить отъ насъ Яссы и заставить идти назадъ тѣмъ же самымъ путемъ, которымъ мы пришли къ Пруту, а тогда что могло спасти русскихъ? Нѣсколько дней усиленнаго похода по безводнымъ степямъ буджакскимъ, вѣроятно, довершили бы совершенное истребленіе арміи; турки не стали бы и драться съ нами: имъ пришлось бы только забирать въ плѣнъ отсталыхъ и прирѣзывать умирающихъ отъ усталости, жажды и голода. Супруга Русскаго Царя, Екатерина Алексѣевна, узнавъ объ этомъ от-

чаянномъ намѣреніи, собрала всѣ свои драгоцѣнныя вещи, поручила Шереметеву доставить ихъ къ визирю, а сама, несмотря на запрещеніе, рѣшилась войти въ палатку Государя и просить его, чтобъ онъ дозволилъ фельдмаршалу вступить въ мирные переговоры съ непріятелемъ. Шереметевъ получилъ это позволеніе не прежде ночи и тотъ же часъ отправилъ съ трубачемъ въ турецкій лагерь гвардейскаго унтеръ-офицера Шепелева.

Теперь, любезные читатели, познакомивъ васъ съ ходомъ дѣлъ и положеніемъ нашей арміи, я отказываюсь отъ важной обязанности историка, которая мнѣ вовсе не по плечу, и превращаюсь снова въ смиреннаго разсказчика, отъ котораго вы въ правѣ требовать только того, чтобъ онъ не вовсе надоѣдалъ вамъ своею болтовнею.

Въ небольшой походной палаткѣ, раздѣленной на двое парусиннымъ занавѣсомъ, да простымъ деревяннымъ столомъ, на которомъ догорали двѣ свѣчи, сидѣлъ, погруженный въ глубокую думу, Государь Петръ Алексѣевичъ. Передъ нимъ лежалъ листъ исписанной бумаги. Облокотясь на столъ, онъ поддерживалъ руками свою поникшую голову. Какъ пасмурныя осеннія небеса, туманно и мрачно было высокое чело вѣнценоснаго владыки; но въ задумчивыхъ его взорахъ не замѣтно было ни страха, ни тревоги: въ нихъ выражалась только одна глубокая душевная грусть. Много было грустныхъ минутъ въ твоей жизни, Русскій Царь, но никогда мощная душа твоя не страдала такъ, какъ въ эту ужасную ночь. Что думалъ ты, великій Петръ, ожидая рѣшенія гордаго визиря, отъ котораго зависѣла не жизнь твоя,—о ней ты мало заботился,—но вся будущность твоей великой державы, твоей православной родины, которую ты хотѣлъ, какъ милое дитя твое, выняньчить и взлелѣять на рукахъ своихъ? Ты возвеличилъ твою Россію, двинулъ ее впередъ, поставилъ на чреду могучихъ и великихъ царствъ. И вотъ всѣ заботы, всѣ труды твои, всѣ надежды, все могло погибнуть въ одну минуту! На кого оставлялъ ты свою святую Русь? Кто сталъ бы продолжать послѣ тебя начатое? И кто окончилъ бы то, что было уже почти приведено къ концу?... О, конечно, въ этотъ горькій часъ, ты долженъ былъ вспомнить и могъ повторить проникнутыя неизъяснимою грустію слова Спасителя: «прискорбна есть душа моя до смерти!»

Поодоль отъ Государя, въ темномъ углу палатки, сидѣ-

ла, на складномъ лагерномъ стулѣ, Царица Екатерина Алексѣевна. Она смотрѣла молча на своего державнаго супруга и робкимъ взоромъ слѣдила за каждымъ его движеніемъ.

— Катенька,—сказалъ наконецъ Государь Петръ Алексѣевичъ, обращаясь къ своей супругѣ,—послушай, я прочту тебѣ то, что написалъ въ сенатъ. Это мое духовное завѣщаніе.

— Ахъ, Петръ Алексѣевичъ, — прервала Царица, — да почему жъ намъ не надѣяться, что визирь...

— Пойдетъ на миръ? Можетъ быть, и пошелъ бы: онъ знаетъ, что мы живые въ руки не дадимся; да вотъ что худо: Бендеры не далеко отсюда. Я чаю, мой братецъ, шведскій король, давно ужь въ гостяхъ у визиря и вѣрно не то ему совѣтуетъ. Я ужь сказалъ тебѣ, что не сдамся ни за что на дискрецію. Можетъ быть, мнѣ посчастливится, и я умру съ оружіемъ въ рукахъ; а коли Господь меня не помилуетъ, коли я попаду въ турецкій плѣнъ, чтожъ тогда?..

— Избави Богъ!—вскричала Екатерина Алексѣевна.— Да нѣтъ, этого не будетъ!

— Что будетъ послѣ предстоящей отчаянной акціи, про то знаетъ одинъ Господь, мой другъ! И вотъ для чего я написалъ этотъ, можетъ быть, послѣдній указъ моему сенату. Слушай, Катенька!

Государь Петръ Алексѣевичъ взялъ со стола исписанный листъ бумаги и началъ читать:

«Господа сенатъ! Извѣщаю васъ, что я со всѣмъ своимъ войскомъ, безъ вины или погрѣшности нашей, но единственно только по полученнымъ ложнымъ извѣстіямъ, въ семь кратъ сильнѣйшею турецкою силою такъ окруженъ, что всѣ пути къ полученію провіанта пресѣчены, и что я, безъ особливыя Божія помощи, ничего иного предвидѣть не могу, кромѣ совершеннаго пораженія, или что я впаду въ турецкій плѣнъ. Если случится сіе послѣднее, то вы не должны меня почитать своимъ Царемъ и Государемъ, и ничего не исполнять, что мною, хотя бы то по собственноручному повелѣнію отъ васъ было требуемо, покамѣстъ я самъ не явлюсь между вами въ лицѣ моемъ: но если я погибну, и вы вѣрныя извѣстія получите о моей смерти, то выберете между собою достойнѣйшаго мнѣ въ наслѣдники».

— Какъ, Петръ Алексѣевичъ,—сказала съ удивленіемъ

Царица,—если ты попадешь въ плѣнъ, такъ твои подданные не должны ужь тебя и слушать?

— Да, мой другъ! Вѣдь я человѣкъ, и почему знать, на что могу рѣшиться, когда буду въ неволѣ у турокъ. Чтобъ выручить себя изъ плѣну, я, можетъ быть, соглашусь на все, что отъ меня потребуютъ, не пожалѣю ничего и разорю въ конецъ мое царство. Нѣтъ, Катенька, русскіе должны слушаться меня, своего законнаго Государя, пока я свободенъ, а коли я въ плѣну, такъ я самъ не хочу, чтобъ мнѣ повиновались: вѣдь тогда ужь не я стану приказывать, а турецкій султанъ.

— Да зачѣмъ же такъ отчаиваться, Петръ Алексѣевичъ? Богъ милостивъ! Ну, конечно, выгоднаго мира намъ ожидать нельзя...

— Вѣстимо, Катенька! Теперь намъ объ этомъ и думать нечего, да лишь только бы миръ то намъ заключить не позорный... Я охотно возвращу туркамъ Азовъ, разорю построенную на ихъ землѣ Троицкую крѣпость, заплачу всѣ военныя издержки...

— Я думаю, — сказала Царица, — визирь прежде всего потребуетъ, чтобъ ты выдалъ ему князя Кантемира...

— Князя Кантемира?—прервалъ съ жаромъ Государь.— Ни за что на свѣтѣ!... Вотъ тогда то подлинно я заключилъ бы позорный миръ!... Молдавскій господарь положился на мое обѣщаніе, былъ вѣрнымъ моимъ союзникомъ, и я выдамъ его туркамъ, — допущу умереть на плахѣ!... Нѣтъ, Катенька, скорѣй уступлю я туркамъ русскія земли по самый Курскъ: Господь поможетъ мнѣ воротить ихъ назадъ; но если я измѣню моему царскому слову, такъ этого ужь ничѣмъ не воротишь!

Въ палатку заглянулъ царскій денщикъ

— Что ты?—спросилъ Государь

— Прапорщикъ Симскій, Ваше Величество.

— Хорошо. Позови его сюда.

Симскій вошелъ въ палатку.

— Господинъ прапорщикъ, — сказалъ Петръ Алексѣевичъ, — мнѣ рекомендовалъ тебя генералъ Вейде, какъ отлично хорошаго и расторопнаго офицера. Я хочу послать съ тобою въ Москву указъ нашему сенату. Надѣешься ли ты довезти его?

— Если Богъ поможетъ, Ваше Величество, — отвѣчалъ Симскій,—такъ довезу.

— Знакома ли тебѣ здѣшняя сторона?

— Меня часто посылали фуражировать, Ваше Величество, такъ я всѣ окольныя дороги знаю.

— Хорошо. А по какой дорогѣ ты поѣдешь?

— Надобно дать кругъ, Ваше Величество, и ѣхать на Яссы.

— Такъ!... Ступай же, не мѣшкая ни минуты. Турки далеко не посылаютъ своихъ разъѣздовъ; и если ты успѣешь отъѣхать ночью верстъ пятнадцать, такъ авось, съ Божьей помощью, доберешься благополучно до Яссъ, а тамъ ужь тебѣ никакой остановки не будетъ. На всякій случай вмѣстѣ съ тобою поѣдетъ казакъ, который хорошо говоритъ по молдавански и по турецки. Ну, теперь погоди немного, господинъ прапорщикъ: я сейчасъ тебя отправлю.

Государь Петръ Алексѣевичъ сложилъ свой указъ, запечаталъ его и, отдавая Симскому, сказалъ:

— Отправляйся скорѣе! Я чаю, до разсвѣта и трехъ часовъ не осталось. Прощай, молодецъ! — промолвилъ. Государь, поцѣловавъ Симскаго въ лобъ.— Господь съ тобою!.. Только смотри, не забывай русской пословицы: «на Бога надѣйся, а самъ не плошай!»

Симскій, выходя изъ царской палатки, повстрѣчался съ Шереметевымъ.

— Ну что, господинъ генералъ-фельдмаршалъ, — спросилъ Петръ Алексѣевичъ, — есть ли какой отвѣтъ отъ визиря?

— Никакого, Государь!—сказалъ Шереметевъ.

— Да вѣдь онъ долженъ же что-нибудь отвѣчать.

— Шепелевъ не воротился, Ваше Величество. И коли его убили на непріятельскихъ форпостахъ, такъ, можетъ быть, визирь и не знаетъ, что мы желаемъ начать съ ними переговоры.

— Да, конечно, дѣло статочное. Такъ пошлите, господинъ фельдмаршалъ, сей же часъ другого парламентера; прикажите ему требовать немедленнаго отвѣта, и объявить визирю, что если онъ не хочетъ вступать съ нами въ переговоры, то мы, съ Божіей помощью, постараемся проложить себѣ дорогу съ оружіемъ въ рукахъ и ляжемъ всѣ до единаго, но ни за что не сдадимся на дискрецію.

Фельдмаршалъ, отправивъ въ турецкій лагерь своего адъютанта, возвратился опять въ царскую палатку.

Прошло болѣе двухъ часовъ — отвѣта не было. Вотъ

облака зардѣлись на востокѣ. Раскинутый въ долинѣ русскій станъ былъ еще покрытъ ночною тѣнью, но на гористомъ берегу Прута начинали уже бѣлѣться верхи турецкихъ палатокъ. Вотъ первый лучъ восходящаго солнца отразился на позолоченной лунѣ великолѣпнаго шатра визирскаго; на передовой турецкой батареѣ сверкнулъ огонекъ, раздался пушечный выстрѣлъ, и непріятельское ядро просвистѣло надъ царскою палаткою.

— Вотъ намъ и отвѣтъ отъ визиря! — сказалъ Шереметовъ. — Слышишь, Государь?

— Слышу, Борисъ Петровичъ!... Ну, какъ ты думаешь?

— Да о чемъ тутъ думаетъ?... Дѣлать то нечего,—потѣшимся въ послѣдній разъ... Что, въ самомъ дѣлѣ: умирать, такъ умирать!... Да не легко же и туркамъ то будетъ! — промолвилъ фельдмаршалъ, нахмуривъ свои сѣдыя брови.

— А если мы не пробьемся? — спросилъ Петръ Алексѣевичъ.

— Такъ чтожъ, надежа Государь! — прервалъ старикъ Шереметевъ, помолодѣвъ двадцатью годами:—мертвымъ срама нѣтъ. А мы всѣ готовы умереть съ тобою.

— Спасибо, добрый и вѣрный слуга мой! — сказалъ Петръ, обнимая Шереметева.—Спасибо, братъ Борисъ!

Вотъ снова раздался пушечный выстрѣлъ, за нимъ другой, третій; всѣ непріятельскія батареи вспыхнули, и турецкія ядра посыпались въ русскій лагерь.

— Экъ они, проклятые! — проговорилъ Шереметевъ. — Видно, пороху то у нихъ много!...

— Господинъ фельдмаршалъ, — сказалъ Государь Петръ Алексѣевичъ твердымъ и спокойнымъ голосомъ, — прикажите строиться войску въ каре; обозъ, понтоны и артиллерія въ срединѣ. Въ переднемъ фасѣ полки Преображенскій и Семеновскій; кавалерія въ аріергардѣ; всѣ генералы и штабъ-офицеры по своимъ мѣстамъ.

— Слушаю, Ваше Величество!

— Катенька,—сказалъ Государь,—палатку сейчалъ снимутъ; ступай, садись въ карету и посади съ собой князя Кантемира.

— Петръ Алексѣевичъ! — вскричала Царица, обнимая со слезами Государя.

— Полно, Катенька, полно! Теперь не до того. Господь съ тобою!

Государь Петръ Алексѣевичъ вышелъ изъ палатки. Весь лагерь былъ въ движеніи. Быстро, но стройно и спокойно становилось войско въ боевой порядокъ; полки примыкали одинъ къ другому, и въ нѣсколько минутъ, подъ непріятельскими ядрами, вокругъ всего стана образовалась сплошная стѣна изъ русскихъ воиновъ.

Фельдмаршалъ подошелъ къ Государю.

— Ну что нашъ парламентеръ?—спросилъ Петръ Алексѣевичъ.

— Все еще въ турецкомъ лагерѣ, — отвѣчалъ Шереметевъ;—а можетъ статься и его такъ же убили, какъ Шепелева. Да ужь что, батюшка Петръ Алексѣевичъ, одинъ бы конецъ!

— И то правда, Борисъ Петровичъ: коли визирь упрямится и молчитъ, такъ пора намъ заговорить. Прикажи бить походъ!... Съ Богомъ!

Государь и всѣ генералы сѣли на коней. Черезъ полминуты раздался по всему войску барабанный бой, и вотъ, какъ стальная нива, заволновались на солнышкѣ русскіе штыки; огромное каре двинулось съ мѣста.

— Да что это,—прошепталъ Шереметевъ:—никакъ турки то не стрѣляютъ?

Въ самомъ дѣлѣ, непріятельскія батареи замолкли, и отъ противоположнаго берега Прута отчалила лодка.

— Стой!—скомандовалъ Шереметевъ.—Государь Петръ Алексѣевичъ,—продолжалъ онъ,—у тебя глаза то помоложе моихъ,—видишь?

— Вижу!... Это оба наши парламентера... и съ ними турецкій офицеръ; они машутъ платками...

— Вотъ что!... Такъ, знать, визирь то надумался?

— Видно, что такъ.

— Ну, слава тебѣ, Господи! — сказалъ Шереметевъ, перекрестясь.—Я что, я ужь мой вѣкъ отжилъ; а куда бы жаль было всѣхъ этихъ молодцовъ!

— Да, другъ сердечный!—сказалъ Петръ Алексѣевичъ, пожавъ крѣпко руку фельдмаршала.—Да, слава Богу: мы увидимъ еще съ тобой святую Русь!

IX.

Теперь, любезные читатели, мы возвратимся опять къ Симскому.

Ночь была темная, порывистый вѣтеръ гналъ отъ запада густыя тучи и на мрачныхъ небесахъ изрѣдка только проглядывали звѣзды. Два всадника, одинъ закутанный въ широкій плащъ, другой въ черкесскую бурку, ѣхали шагомъ по узкой тропинкѣ, которая вела то берегомъ Прута, то, отбѣгая въ сторону, терялась въ глуши мелкаго дубоваго лѣса, поросшаго густымъ кустарникомъ. Эти ночные путешественники ѣхали почти рядомъ и оба молчали. Одинъ изъ нихъ былъ Василій Михайловичъ Симскій, другой казачій урядникъ Никита Фроловъ. Вдали слышны еще были оклики русскихъ часовыхъ, а до разсвѣта оставалось ужь не болѣе двухъ часовъ.

— Да чтожъ мы этакъ плетемся нога за ногу?—промолвилъ наконецъ Симскій.—Фроловъ, пойдемъ рысцею...

— Нѣтъ, сударь, теперь рысью не далеко уѣдешь, — отвѣчалъ урядникъ. Вишь какая темь, хоть глазъ выколи!.. Мы же ѣдемъ берегомъ, а тутъ мѣстами есть такіе провалы, что не приведи Господи!..

— Да вѣдь этакъ мы и десяти верстъ не проѣдемъ до разсвѣта.

— Проѣдемъ, сударь, и всѣ пятнадцать, лишь только бы Господь Богъ отъ встрѣчи помиловалъ... Что ты... что ты, гнѣдко... чего испугался?. Экій чортъ! Иль нагайки захотѣлъ?...

— А что, Фроловъ, мы долго этимъ лѣсомъ то поѣдемъ?

— Вотъ скоро долженъ быть поворотъ на-право; въ деревню Кутъ-Маре, мы примемъ лѣвѣе, да и выѣдемъ въ чистое поле; и кабы намъ добраться только по добру по здорову до села Германешти, такъ дѣло то было бы въ шапкѣ: тамъ пойдетъ дремучій лѣсъ верстъ на десять, вплоть до помѣстья Будешти, а за Будештами прямая дорога до самыхъ Яссъ.

— Да ты, видно, Фроловъ, хорошо знаешь здѣшнюю сторону?

— Какъ не знать, сударь: меня раза три въ Яссы посылали; дорога знакомая.

— Постой-ка, братъ, постой! — сказалъ въ полголоса Симскій, пріостановя свою лошадь.

— Ничего, Василій Михайловичъ, — молвилъ Фроловъ: это вѣтеръ шумитъ по лѣсу. Здѣсь намъ и днемъ опаски большой бы не было, а вотъ какъ выберемся въ чистое поле, такъ ужь тутъ держи ухо востро!.. Благо ночь то

темна, а то проклятые басурманы какъ-разъ бы насъ подозрили, а пуще эти буджатскіе татары: они, словно волки, такъ вездѣ и рыщутъ.

— Неужели ты, Фроловъ, испугаешься татарина?

— И двухъ, сударь, не испугаюсь, да вѣдь ихъ здѣсь видимо не видимо!.. всѣхъ не перебьешь, а на утекъ и не думай: у нихъ кони знатные!.. Вотъ не такъ что бы давно, этихъ поганыхъ татаръ вовсе здѣсь не было, да вдругъ какъ полая вода нахлынули,—вовсе простору не даютъ!.. А что, сударь, правду ли говорятъ, что Государь Петръ Алексѣевичъ хочетъ съ туркомъ то миръ учинить?

— Можетъ статься.

— Такъ чтожъ велѣно всему войску готовиться къ сраженію?

— Видно такъ надобно.

— Знать по пословицѣ: миру проси, а камушекъ съ собой носи!..

— Ну, разумѣется. Почему знать, коли визирь не пойдетъ на мировую...

— Такъ придется съ нимъ роспить круговую? Такъ, сударь!.. Да и пора чѣмъ ни есть порѣшить съ туркомъ то: вѣдь нашимъ скоро перекусить нечего будетъ. Что, въ самомъ дѣлѣ: миръ такъ миръ, а не то перекрестясь, да и пошелъ на удалую. Вынесетъ Господь—хорошо, не вынесетъ —Его святая воля! Лишь только бы нашъ батюшка уцѣлѣлъ, а наши головы что!.. Вѣдь Царство то Русское не нами стоитъ!

— Да, братъ Фроловъ, за нашего Государя не жаль своей головы положить!

— Чего жалѣть, батюшка! Да вѣдь такихъ царей, какъ нашъ Государь Петръ Алексѣевичъ, сродясь нигдѣ не бывало. И собой молодецъ, и удаль вся русская. Какъ тетеперь смотрю: подъ Полтавою летаетъ себѣ соколомъ на своей лошадкѣ; вокругъ его народъ такъ варомъ и варитъ, а ему и горюшки мало! Гдѣ погуще, тутъ и онъ! А ужь заботливый то какой! Подумаешь: кому бы, кажется, и понѣжиться, какъ не Царю.—Ему никто не указъ; такъ нѣтъ: говорятъ, почи не спитъ!.. Да за то ужь у него и другіе не дремлютъ. Вотъ иноземные то государи—фу, батюшки, —чай, къ нимъ и приступу нѣтъ! А къ нашему Царю, коли ты правъ или за дѣломъ идешь—ступай прямо! Онъ, нашъ кормилецъ, со всѣми милостивъ; простого ла-

потника не погнушается. Да вотъ я, сударь, разскажу тебѣ, что слышалъ отъ одного крестьянина, у котораго года два тому назадъ стоялъ постоемъ. Забылъ, какъ село то прозывается... ну, да это все равно. Вотъ что онъ разсказывалъ: «Ѣду, дескать, я однажды порожнякомъ съ базару по большой дорогѣ; зазѣвался маленько, попалъ въ рытвину, задняя ось-то и поцоламъ; а до села еще версты четыре оставалось. Что дѣлать,—на одномъ передкѣ далеко не уѣдешь. Со мною былъ парнишка: я послалъ его за осью на село, а самъ остался подлѣ воза. Вотъ, гляжу, ѣдетъ на тройкѣ въ телѣгѣ какой то баринъ, а съ нимъ служивый; поровнялся со мною и велѣлъ остановиться. Я шапку долой. «Что, дескать, мужичекъ, стоишь ты здѣсь съ возомъ празно?» «Да вотъ, молъ, батюшка, притча сдѣлалась: ось лопнула». «Такъ чтожъ,—у тебя, кажись за поясомъ топоръ?» «Да, кормилецъ, купилъ на базарѣ». «Ну такъ чего же ты сложа руки стоишь? Иль ужь ты и оси то сдѣлать не сумѣешь? Лѣсокъ здѣсь есть, срубилъ бы деревцо, да и за работу». «Нельзя, кормилецъ; здѣсь лѣсъ рубить Царемъ заказано». «Экій ты какой, да кто про это узнаетъ?.. Я никому не донесу». «А Богъ то на что, батюшка»? Вотъ, гляжу, баринъ спрыгнулъ съ телѣги, подошелъ ко мнѣ, взялъ меня за виски и поцѣловалъ въ маковку. «Добрый ты мужичекъ, говоритъ, добрый: и Бога боишься и Царя слушаешься». «Да кого жъ намъ и слушаться» — молвилъ я. «А видалъ ли ты когда-нибудь Царя то?»—спросилъ баринъ»: «Нѣтъ, батюшка, сродясь не видывалъ». «Ну, такъ посмотри на меня вѣдь я то и есть Царь Петръ Алексѣевичъ». Я въ ноги, а онъ поднялъ меня и говоритъ: «За то, что ты, мужикъ, присягу помнишь и царскій указъ хранишь, я самъ тебѣ послужу и сдѣлаю тебѣ ось моими руками». Вотъ онъ взялъ у меня топоръ, срубилъ деревцо, да въ два мига такую смастерилъ ось, что любо-дорого посмотрѣть! Приладилъ какъ быть надо, сѣлъ опять въ телѣгу и покатилъ. Я пріѣхалъ на село да прямехонько къ батькѣ». «Вотъ, дескать, отецъ Ѳедоръ, како дѣло со мной было». Батька выслушалъ, подивился и говоритъ мнѣ: «Не подобаетъ тебѣ, Гаврила, ѣздить на оси, которую дѣлалъ своими ручками помазанникъ Божій: отдай ее въ церковь!» *)

*) Теперь эта ось перенесена на паперть соборнаго храма города Волоколамска.

«Ну, вѣстимо, я отдалъ, и ее поставили на паперти, у самыхъ церковныхъ дверей». Вотъ что, сударь, Гаврила мнѣ разсказывалъ, а ось то я самъ видѣлъ: она и теперь все тамъ же на паперти стоитъ. Такъ вотъ онъ каковъ нашъ батюшка! И разной мудрости иноземной обученъ, и царствомъ правитъ, да и въ мужичьемъ то дѣлѣ всякаго за поясъ заткнетъ!

Въ продолженіе этого разсказа, наши путешественники доѣхали до опушки лѣса.

— Вотъ и поле пошло,—сказалъ Фроловъ. Теперь зѣвать не надо... Постой-ка, сударь...

Урядникъ слѣзъ съ лошади, нагнулся къ землѣ и сталъ слушать.

— Ну что?—спросилъ Симскій.

— Тихо, батюшка, ничего не слышно.

— Да за то скоро видно будетъ. Посмотри-ка, Фроловъ: всѣ облака разошлись.

— Да, сударь, да!... Мѣшкать нечего—съ Богомъ!

Симскій и Фроловъ выѣхали на изрытую колеями дорогу, которая, судя по частымъ насыпямъ и гатямъ, шла низкими и болотными мѣстами.

— Вотъ, кажись, и поворотъ,—прошепталъ урядникъ. Два дубка... столбъ... ну, такъ и есть!.. Эхъ, больно свѣтло становится... Пронеси Господи!.. Сюда, батюшка, сюда, на лѣво!.. Ну, что это?—промолвилъ вполголоса Фроловъ, осадивъ свою лошадь. Слышишь, сударь, что вѣтромъ то наноситъ?

— Да не близко ли мы къ рѣкѣ?.. Можетъ быть, это шумитъ Прутъ?

— Какой Прутъ!.. Рѣка должна быть правѣе, а это прямехонько противъ насъ.. Ништни-ка, батюшка! Такъ и есть—конскій топотъ!.. Ѣдутъ къ намъ на встрѣчу... Слышишь?

— Теперь слышу. Это должны быть татары, или турецкій разъѣздъ.

— Полуночники проклятые!.. Вотъ ихъ чортъ несетъ!..

— Думать то нечего, Фроловъ: свернемъ съ дороги въ сторону, а какъ они проѣдутъ...

— Вотъ то-то и бѣда, сударь! Здѣсь по сторонамъ вовсе ѣзды нѣтъ—трясинникъ да болота; днемъ бы еще, можетъ статься, проѣхали, а ночью какъ попадешь въ какую нибудь трущобу, такъ и сиди до утра, а тамъ тебя ру-

ками возьмутъ. Нѣтъ, батюшка, ужь лучше ѣхать на Кутъ-Маре, хоть и дадимъ крюкъ, да авось ли какъ-нибудь доберемся проселками до села Германешти. Намъ въ Кутъ-Маре проводника дадутъ.

— Кутъ-Маре!—повторилъ Симскій. Кутъ-Маре! Вѣдь это, кажется, помѣстье молдаванской барыни Хереско.

— Да, сударь. Въ Германешти лошадей вовсе нѣтъ, такъ я у нея часто подводы бралъ и сѣнцомъ не разъ поживлялся. Такая ласковая... Чу, слышишь?.. Близехонько и, кажись, ихъ много... Ну, сударь, дѣлать то нечего—на утекъ!

Путешественники приняли на право и пустились по дорогѣ, которая вела въ деревню Кутъ-Маре. Проѣхавъ шибкою рысью версты двѣ, они выѣхали на берегъ Прута. Кругомъ все было тихо; вдали передъ ними мелькалъ огонекъ.

— Вотъ, немного полѣвѣе, долженъ быть мостъ,— сказалъ Фроловъ,—а за нимъ какъ-разъ господская усадьба.

— Такъ поэтому, — спросилъ Симскій, — и огонекъ то свѣтится?

— Должно быть въ барскихъ хоромахъ. Тамъ есть у меня пріятели; одинъ дѣтина по имени Димитраки, сирѣчь Дмитрій, и любимая сѣнная дѣвушка куконы, цыганка... помнится, Маріорицею зовутъ. Она всѣмъ домомъ заправляетъ. Кабы намъ до нея только добраться, такъ барыни и тревожить нечего: Маріорица дѣвка добрая, русскихъ любитъ, и ужь вѣрно дастъ намъ проводника.

— Постой-ка, Фроловъ!—прервалъ Симскій. Что это?... Мнѣ кажется, какъ будто бы...

— Да, сударь, что то шумитъ!.. Или это такъ вѣтеръ чтоль шелеститъ?.. Кажись вѣтеръ... Вотъ опять затихло!.. Чу, на господскомъ то дворѣ собаки залаяли!... Видно насъ почуяли... Слышишь, сударь?.. Вонъ ворота заскрипѣли... Чтожъ это ни свѣтъ, ни заря?.. Ужь не дожидаются ли они кого-нибудь?..

— А вотъ увидимъ!—сказалъ Симскій, пріударивъ нагайкою свою лошадь.

Черезъ нѣсколько минутъ наши путешественники, переѣхавъ черезъ мостъ, въѣхали на господскій дворъ, обнесенный высокимъ тыномъ, и остановились шагахъ въ десяти отъ барскаго дома. Прямо, зъ глубинѣ двора, тянулось длинное зданіе, покрытое соломою, налѣво чернѣлся густой садъ, а направо разбросаны были по двору отдѣльныя,

выбѣленныя известью, мазанки. Симскій и Фроловъ спѣшились. Къ нимъ подошелъ съ фонаремъ дюжій дѣтина въ овчинномъ кожухѣ.

— Ты, пріятель, караульщикъ чтоль?—спросилъ его по молдавански Фроловъ.

— Караульщикъ,—отвѣчалъ молдаванинъ.

— Э, здравствуй, братъ Димитраки!

— Здравствуй!.. Да ты кто?

— Иль не узналъ козачьяго урядника Никиту... помнишь?

— Помню... Такъ это ты?.. А твой товарищъ?

— Русскій офицеръ.

— Русскій офицеръ... Да какъ это васъ сюда чортъ занесъ?

— Ужь это не твое дѣло. Поди, разбуди Маріорицу и вышли ее къ намъ. Ну чтожъ ты ротъ разинулъ?

— Да какъ же это вы сюда пріѣхали?

— Говорятъ, не твое дѣло—ступай!

Молдаванинъ почесалъ затылокъ, поглядѣлъ съ удивленіемъ на Фролова и отправился. Минуты черезъ двѣ сѣни господскаго дома освѣтились и Димитраки вышелъ на крыльцо вмѣстѣ съ женщиною, закутанною въ длинную коцавейку.

— Ну вотъ и Маріорица!—прошепталъ Фроловъ.

— Да, это, кажется, она,—сказалъ Симскій.

— Такъ и ты, сударь, ее знаешь?

— Знаю.

Симскій подошелъ къ крыльцу, и лишь только свѣтъ отъ фонаря отразился на его лицѣ, цыганка вскрикнула, всплеснула руками и кинулась опрометью назадъ въ домъ.

— Постой, постой!—закричалъ Фроловъ. Куда ты, Маріорица... Постой... Димитраки, чтожъ это она, чего испугалась?

— Да видно этого чорта,—отвѣчалъ молдаванинъ,—вонъ что идетъ сюда изъ людскихъ то. Онъ всю ночь шатается по двору, да за всѣми присматриваетъ, цѣпная собака этакая!

— А кто онъ такой?

— Янко, арнаутъ бояра Палади.

— Какого бояра? Вѣдь здѣшняя то помѣщица кукона Хересko?

— Ну, да.

— Такъ видно этотъ бояръ къ ней въ гости пріѣхалъ?

— И не одинъ: съ нимъ гостей то много наѣхало.

Огромнаго роста арнаутъ подошелъ къ караульщику. вырвалъ у него изъ рукъ фонарь, посмотрѣлъ молча на нашихъ путешественниковъ и, сказавъ вполголоса нѣсколько словъ, отправился назадъ.

— Что этотъ долговязый съ тобой говорилъ?—спросилъ Фроловъ.

Вмѣсто отвѣта, Димитраки подошелъ къ воротамъ и началъ ихъ запирать.

— Эхъ, плохо дѣло,—шепнулъ урядникъ: никакъ мы въ ловушку попались!.. Послушай-ка,пріятель,—продолжалъ онъ, обращаясь къ молдаванину,—ты зачѣмъ ворота запираешь?

— А вотъ скоро опять отопру,—промолвилъ Димитраки: кажись гости ѣдутъ.

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ Симскій: конскій топотъ!

— Кто жъ это къ вамъ ѣдетъ?—спросилъ Фроловъ.

— Ночь то больно темна, а то бы ты не сталъ меня спрашивать. Вонъ—посмотри! Видишь ли ты тамъ что-нибудь подлѣ забора?

— Нѣтъ, не вижу.

— Подойди поближе.

Фроловъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и остановился.

— Чтожъ это?—сказалъ онъ. Никакъ осѣдланныя лошади?

— Ну, да!.. Вотъ ты бы днемъ тотчасъ увидѣлъ, что на нихъ турецкая сбруя.

— Такъ здѣсь турки?

— Другой день стоятъ. Ихъ привелъ бояръ Палади.

— Гдѣ онъ, гдѣ онъ?—раздался женскій голосъ. Василій Михайловичъ, гдѣ ты?

— Я здѣсь, Смарагда!—сказалъ Симскій, идя на встрѣчу въ куконѣ.

— Боже мой, ты здѣсь и въ какую минуту!.. Маріорица!.. Димитраки!.. Приберите куда-нибудь лошадей, а ты, Василій, и твой товарищъ ступайте ко мнѣ въ домъ.

На дворѣ замелькали огни.

— Скорѣй, скорѣй!—шепнула Смарагда, таща за собой Симскаго.

Но прежде, чѣмъ они добѣжали до крыльца, бояръ Палади съ цѣлою толпою турокъ заступили имъ дорогу.

— Постой, кукона! — сказалъ онъ, схвативъ за руку Смарагду. Мы и безъ тебя угостимъ этихъ русскихъ.

Симскій и Фроловъ не успѣли вынуть своихъ сабель, ихъ схватили и тотчасъ обезоружили.

— Свяжите хорошенько этихъ бродягъ! — продолжалъ Палади, обращаясь къ туркамъ. Какъ вашъ ага воротится, такъ мы разспросимъ ихъ порядкомъ, зачѣмъ они сюда пожаловали, и если они подосланы...

— О, нѣтъ,—вскричала Смарагда,—увѣряю тебя... они заплутались... заѣхали сюда нечаянно!..

— Э, да какъ ты за нихъ заступаешься, кукона!.. Посвѣтите-ка сюда,—продолжалъ Палади, подходя къ Симскому. Ну такъ и есть!—сказалъ онъ, нахмуривъ свои густыя брови. Милости просимъ, господинъ офицеръ!.. Теперь мы съ тобой разочтемся!.. Я далъ по тебѣ промахъ. проклятый русскій, да авось теперь не промахнусь!—промолвилъ онъ, вынимая изъ за пояса пистолетъ.

— Такъ убей и меня вмѣстѣ съ нимъ!—вскричала Смарагда.

Она обвила Симскаго обѣими руками и крѣпко прижалась къ груди его. Въ эту самую минуту ворота распахнулись снова и видный собою турецкій ага въ сопровожденіи многочисленнаго отряда спаговъ въѣхалъ во дворъ.

— Что у васъ такое?—спросилъ онъ, спрыгнувъ молодцомъ съ коня.

— Да вотъ,—отвѣчалъ Палади, опустивъ пистолетъ, — къ намъ заѣхали сюда русскіе, такъ я хотѣлъ съ ними поскорѣй раздѣлаться.

— Русскіе?.. Хошъ халды! Добро пожаловать! Гдѣ жъ они?

— А вотъ здѣсь.

— И только двое? Да чтожъ эти Московъ съ ума чтоль сошли?

— Видно ихъ подослали нарочно.

— И ты хотѣлъ ихъ застрѣлить?

— А развѣ не прикажешь?

— Нѣтъ, не прикажу. Ну, стоютъ ли эти собаки, чтобъ ты тратилъ для нихъ порохъ? Хамидъ, — продолжалъ ага, обращаясь къ одному изъ спаговъ,—возьми себѣ ихъ головы.

Хамидъ, пожилой турокъ съ сѣдою бородою, спустился медленно съ коня.

— Ну, Василій Михайловичъ, — молвилъ Фроловъ, —

пришелъ нашъ конецъ!.. Я по турецкому то маракую, — знаешь ли, что сказалъ этотъ турка?

— А что?—спросилъ торопливо Смарагда.

— Онъ велѣлъ покончить съ нами.

Кукона вскрикнула, голова ея скатилась на грудь, руки опустились и она упала безъ чувствъ на землю. Маріорица подняла свою госпожу и, при помощи Димитраки, внесла ее въ домъ.

— Дѣлать нечего, Фроловъ, — сказалъ Симскій: воля Господня... молись Богу!

— Поганые басурманы, — прошепталъ урядникъ: экъ они намъ руки-то скрутили... и перекреститься нельзя!

Хамидъ вынулъ изъ ноженъ свой булатный ятаганъ, обтеръ его полою кафтана и, обращаясь къ своему начальнику, сказалъ:

— А что, эфенди, здѣсь чтоль, или тамъ за воротами?

— Да, сведи ихъ со двора. Палади,—продолжалъ ага,— ты спрашивалъ этихъ Москов, что они за люди такіе?

— Одного изъ нихъ я знаю: онъ долженъ быть русскій юзъ-баши.

— Юзъ-баши!—вскричалъ ага, Аллахъ киримъ!.. И ты хотѣлъ застрѣлить его?.. Постой, Хамидъ, постой!.. Мы до сихъ поръ не могли еще захватить въ плѣнъ ни одного русскаго юзъ-баши: они, проклятыя собаки, ни за что живые въ руки не даются. Нашъ визирь Ахметъ-паша— да сохранитъ его аллахъ и да утонетъ онъ въ морѣ милостей великаго падишаха! — дорого бы далъ, что бы поразспросить хорошенько хоть русскаго анъ-баши, а это юзъ-баши!.. Онъ отъ него все можетъ вывѣдать...

— Такъ ты его отошлешь къ визирю?

— Я самъ, послѣ утренней молитвы, отвезу этихъ плѣнныхъ въ лагерь и сдамъ съ рукъ на руки великому каймакану... Ханукъ, Селимъ, заприте куда-нибудь до утра этихъ гяуровъ!.. Да если они уйдутъ...

— Не заботься объ этомъ, — прервалъ молдаванинъ: не уйдутъ! За это я берусь.

— Ну, не говори, Палади! Этимъ русскимъ—да истребитъ аллахъ весь нечестивый родъ ихъ! — самъ шайтанъ помогаетъ: они въ мышиную щелку пролѣзутъ, проклятые! Смотри, не упусти ихъ!

— Чтобъ .я ихъ упустилъ? Да застрѣли меня какъ

собаку, если я выпущу изъ рукъ этихъ разбойниковъ русскихъ!

— Хорошо, эфенди!.. Помни же, что ты теперь сказалъ!

— Не забуду. Я ихъ такъ припру, что къ нимъ и муха не влетитъ!.. А что ты думаешь, ага: визирь что съ ними сдѣлаетъ?

— Извѣстно что: разспросить обо всемъ.

— Да, скажутъ они правду!

— Скажутъ. Да вѣдь ихъ станетъ допрашивать визирскій палачъ Абдулъ-Мукиръ, а у него и мертвый заговоритъ.

— А какъ ихъ допросятъ?

— Такъ велятъ задушить. Кто побывалъ въ рукахъ у Абдулъ-Мукира, тотъ ужь ни на что не годится.

— Вотъ что!.. Хорошо же, что я ихъ не застрѣлилъ. Алейкумъ саламъ эфенди!

Палади велѣлъ вести за собою Симскаго и Фролова. Всѣ турки, убравъ лошадей, разбрелись въ разныя стороны и на опустѣломъ дворѣ остался снова одинъ карaульщикъ Димитраки.

X.

Въ небольшой комнатѣ, при слабомъ свѣтѣ лампады, которая висѣла передъ образомъ Божіей Матери, сидѣла на своей постели, блѣдная, убитая горестью, кукона Хереско. Она молчала и по временамъ только удушливыя рыданія вырывались изъ груди ея. Подлѣ кровати стояла любимая ея цыганка.

— Маріорица,—промолвила наконецъ кукона, — не обманывай меня! Ты говоришь, что онъ живъ, но я сама слышала...

— Да, кукона,—прервала цыганка,—имъ хотѣли отрубить головы; но видно турки передумали.

— Да точно ли это правда?

— Какъ же, кукона! Ужь я тебѣ говорила, что ихъ отвели въ каменную кладовую. Димитраки видѣлъ, какъ ихъ туда заперли.

— А чтожъ нейдетъ ко мнѣ бояръ Палади?

— Кто его знаетъ! Когда я ему сказала, что ты зовешь его къ себѣ, такъ онъ поглядѣлъ на меня такимъ звѣремъ, что я и отвѣта не стала дожидаться.

— Боже мой, а межъ тѣмъ время такъ и летитъ!.. Что, Маріорица, посмотри, свѣтаетъ?

— Да, кукона! Вонъ ужь тамъ, гдѣ изъ-за рощи то солнышко выходитъ, звѣзды стали тухнуть.

— А Палади нейдетъ!..

— Чу, что то стукнуло... Вотъ и въ дѣвичьей зашумѣли... Идетъ, кукона, идетъ!

Двери отворились и въ комнату вошелъ бояръ Палади. Онъ взглянулъ угрюмо на Смарагду; ея заплаканные глаза и помертвѣвшее лицо, казалось, не возбудили въ немъ никакого сожалѣнія; напротивъ, взоръ его сдѣлался еще мрачнѣе.

— Проклятый,—прошепталъ онъ: какъ она его любитъ!

— Садись, бояръ!—сказала тихимъ голосомъ Смарагда.

— Зачѣмъ, кукона? Мнѣ некогда съ тобою долго разговаривать: я отвѣчаю головою за плѣнныхъ русскихъ, такъ самъ ихъ караулю. Конечно, имъ уйдти не легко, да вѣдь здѣсь, пожалуй, и помогутъ.

— Бога ради, Палади, скажи мнѣ всю правду: что съ ними будетъ?

— Извѣстно что: Ибрагимъ сказалъ мнѣ, что онъ, послѣ утренней молитвы, отвезетъ ихъ въ лагерь къ визирю; тамъ отъ нихъ допытаются, зачѣмъ они сюда пожаловали, разспросятъ о русскомъ войскѣ. Турки на это молодцы: коли примутся пытать, такъ у нихъ всякій заговоритъ, — по жилочкѣ вытянутъ изъ человѣка! А тамъ какъ узнаютъ отъ нихъ все, что надо, такъ отмахнутъ имъ головы, или велятъ задушить. Вѣдь у нихъ расправа короткая!

— Милосердый Боже! — вскричала Смарагда. А я еще радовалась, что Симскій живъ!

— Вольно-жъ тебѣ было мнѣ помѣшать: я сгоряча убилъ бы его непремѣнно. Теперь, не прогнѣвайся, и самъ ни за что не трону этого красавчика: пусть онъ прежде побываетъ въ рукахъ у визирскаго палача. Посмотримъ тогда, каковъ то онъ будетъ!

— Боже мой, Боже мой!.. Да за чтожъ ты его такъ ненавидишь?

— За что?.. И ты спрашиваешь объ этомъ?.. За что? Ты любила меня, Смарагда... Да, да, ты любила меня!.. И еслибъ не этотъ пришлецъ, не этотъ демонъ-соблазнитель, я былъ бы давно твоимъ мужемъ! Теперь онъ въ

рукахъ моихъ, его ждетъ мучительная смерть, а з
ли, что я завидую ему? Онъ умретъ любимый тобо
останусь жить... На что?.. Для чего?.. Еслибъ я н
дѣлъ тебя, какъ ненавижу этого русскаго... о, тог
я могъ еще жить! Я былъ бы счастливъ твоею горест
упивался бы слезами твоими. Твое отчаяніе было бы
блаженствомъ; но я люблю тебя!.. И если бы ты
Смарагда, какой адскій пламень обхватываетъ мое с
какъ рвется оно на части при одной мысли, что ты
зираешь любовь мою, что этотъ злодѣй владѣлъ тобо

— Ты ошибаешься, бояръ...

— Я ошибаюсь — я?.. Такъ онъ не для тебя пр
въ Кутъ-Маре, не для тебя пошелъ на явную гибель?

— Онъ здѣсь первый разъ и заѣхалъ сюда нечаянн

— Да не ты ли сама признавалась мнѣ, что лк
этого русскаго?

— Да, я люблю его; но та, которую онъ любит
здѣсь, Палади: она русская. Симскій зоветъ меня се
и, можетъ быть, любитъ какъ сестру, но никогда н
детъ моимъ мужемъ.

— Еслибъ я тебѣ и повѣрилъ, — сказалъ молдава
такъ чтожъ отъ этого? Любитъ ли тебя этотъ русскій
нѣтъ, но онъ сталъ между тобою и мною...

— Но развѣ Симскій желалъ этого?.. О, повѣрь
лади, онъ ни въ чемъ не виноватъ передъ тобою!..

— А въ чемъ виноваты передъ турками солдаты
скаго Царя? Они не сами пришли: ихъ привели на П
такъ по твоему падишахъ долженъ ихъ всѣхъ помило
Нѣтъ, кукона, если этотъ русскій не виноватъ предо м
такъ пусть кровь его будетъ на тебѣ: не я, а ты
убійца!

— Бояръ Палади, — прервала кукона, — время до
выслушай мою послѣднюю и непремѣнную волю: кл
тебѣ Господомъ Богомъ, если Симскій погибнетъ, т
никогда не буду твоею женою и умру, проклиная
а если ты спасешь его, то веди меня завтра же къ в

— Завтра... тебя?! — повторилъ съ удивленіемъ Па
Ты шутишь, кукона!

— Вотъ какъ я шучу! — сказала Смарагда, сним
стѣны икону. Гляди, Палади: я цѣлую ликъ Божіей М
и повторяю мою клятву.

— Да подумала ли ты, Смарагда, что до завтра

дня осталось только нѣсколько часовъ и что въ Кутъ-Маре есть церковь и священникъ?

— Прикажи ему быть готовымъ.

— Такъ ты будешь моею?—прошепталъ Палади, устремивъ сверкающій взоръ на блѣдную, истерзанную горестью, но все еще прекрасную молдаванку. Моею! — повторилъ онъ, схвативъ ее за руку.

— Да, — прошептала кукона, — если ты спасешь Симскаго.

— Смарагда, — сказалъ, помолчавъ нѣсколько времени, бояръ,—я вѣрю, что теперь ты на все готова; но кто поручится мнѣ за будущее? Пройдетъ мѣсяцъ, другой...

— Но развѣ я тебѣ не сказала, что ты можешь завтра же вести меня къ вѣнцу?

— Завтра!.. Да вѣдь я отвѣчаю за этихъ плѣнныхъ головою, и чтобъ спасти ихъ, долженъ самъ уйдти вмѣстѣ съ ними, а ты останешься здѣсь.

— Нѣтъ, бояръ, я здѣсь не останусь, а поѣду къ моимъ роднымъ въ Кіевъ; ты можешь также туда пріѣхать, и если докажешь, что Симскій доѣхалъ благополучно до Россіи...

— А чѣмъ я докажу это?

— Привези отъ него письмо.

— Письмо! — повторилъ молдаванинъ. Письмо, въ которомъ, можетъ быть, онъ станетъ увѣрять тебя въ любви своей!..

— Я ужь сказала тебѣ, Палади, что онъ любитъ меня какъ сестру и никогда не будетъ моимъ мужемъ.

— Почему я знаю, — продолжалъ молдаванинъ, — что у тебя на умѣ, кукона? Можетъ быть, вмѣсто Кіева, мнѣ придется ѣхать съ этимъ письмомъ въ Москву.

— Боже мой, Боже мой, да чѣмъ же я могу тебя увѣрить?.. Постой! — промолвила Смарагда, снимая съ себя золотой крестъ. Вотъ благословенье покойной моей матери: она завѣщала мнѣ никогда съ нимъ не разставаться, но ты—мой женихъ, Палади, возьми его! И пусть благословеніе моей матери превратится въ вѣчное проклятіе; если я измѣню моему слову!.. Да, клянусь передъ Богомъ: только тотъ, кто возвратитъ мнѣ этотъ крестъ, будетъ моимъ мужемъ! Ну, вѣришь ли теперь, что я тебя не обманываю?

— Хорошо, кукона, я постараюсь спасти этихъ русскихъ! Помни только, что дѣло идетъ о головѣ моей и

что съ этой минуты ты принадлежишь мнѣ на всегда. Г
гибну я или нѣтъ — все равно! Да, Смарагда: этого кре
не возвратитъ тебѣ никто, кромѣ меня... Прощай!

Палади вышелъ изъ дома. На дворѣ все было ти
У дверей кладовой, въ которой заперты были плѣнни
стоялъ Янко, арнаутъ боярa Палади. У коновязи сидѣ
поджавши ноги, турецкій часовой; онъ не курилъ да
трубки, потому что спалъ мертвымъ сномъ. Одинъ тол
Димитраки расхаживалъ подлѣ запертыхъ воротъ и му
лыкалъ про себя пѣсенку.

— Димитраки, — сказалъ Палади, подойдя къ карау
щику,—что, все спокойно?

— Все, бояръ.

— Кажется, турки то всѣ спятъ?

— Да когда-жъ имъ соснуть, коли не теперь? Всю но
прошатались.

— А ты что не спишь, Димитраки?

— Нѣтъ, бояръ, спасибо!.. Вишь какой! — промолви
онъ шопотомъ. Еще спрашиваетъ, чертъ этакій!

— Я вчера поколотилъ тебя за это, — продолжалъ П
лади, — а сегодня, ужь такъ и быть,—жаль мнѣ тебѣ
ступай, спи!

— Да вонъ ужь свѣтаетъ, бояръ, высплюсь днемъ.

— Ну пошелъ же, когда тебѣ говорятъ! Да возьми с
собою въ избу собакъ: надоѣли,—все лаютъ.

— Да кто же дворъ то станетъ караулить?

— А вотъ кто, — прервалъ Палади, ударивъ кул
комъ караульщика. — Когда приказываютъ, такъ сл
шайся!

Димитраки подкликалъ къ себѣ собакъ и отправил
вмѣстѣ съ ними въ одну изъ мазанокъ, которыми устав
былъ весь дворъ, а Палади, поглядѣвъ внимательно вокру
себя, пошелъ къ каменной кладовой. Минуты черезъ д
Димитраки высунулъ голову изъ дверей избы.

— Проклятый полуночникъ! — прошепталъ онъ. Вче
приколотилъ меня за то, что я спалъ, сегодня за то, чт
пейду спать; разбойникъ этакій!.. Да чтожъ это такое, -
продолжалъ караульщикъ, выходя по-тихоньку изъ избы:
меня прогналъ и собаки ему надоѣли?.. Это что-нибу
не даромъ... Ужь не пойти ли мнѣ сказать объ этом
туркамъ?.. Что, въ самомъ дѣлѣ, — вѣдь я и передъ ним
также въ отвѣтѣ! Упаси Господи, коли грѣхъ какой сд

лается, вѣдь тогда за меня перваго примутся!.. Ты, дескать, караульщикъ!..

Разсуждая такимъ образомъ, Димитраки пробрался стороною до длиннаго надворнаго строенія, въ которомъ помѣщался турецкій ага со своимъ отрядомъ. Въ одномъ окнѣ свѣтился огонекъ.

— Э!—прошепталъ Димитраки, — да никакъ ага то не спитъ!.. Ну такъ и есть! кажись, молится по своему Богу... Не пойдти ли мнѣ сказать ему?.. Нѣтъ, дай прежде посмотрю, гдѣ этотъ чортовъ сынъ, Палади..

Между надворнымъ строеніемъ и заборомъ сада росъ высокій бурьянъ и разбросано было нѣсколько кустовъ смородины; Дмитраки почти ползкомъ прокрался между ними до самой коновязи. При свѣтѣ утренней зари, которая стала уже заниматься, можно было различать довольно ясно всѣ предметы. Въ пяти шагахъ отъ Димитраки бояръ Палади и его арнаутъ Янко суетились около лошадей.

— Проворнѣй, проворнѣй! — шепталъ Палади, я все боюсь, что этотъ проклятый турокъ... Эхъ, лучше бы!..

— Да небось, бояръ, — прервалъ Янко: я ему ротъ завязалъ платкомъ и скрутилъ такъ, что ему пошевелиться нельзя, а закричать и полно; еще, пожалуй, задохнется. Да ништо ему: коли приставили караулить, такъ не спи!

— Ну, веди теперь лошадей садомъ, а тамъ задними воротами въ рощу,—знаешь, гдѣ старая винокурня?

— Знаю, бояръ.

— Тамъ и дожидайся, а я пойду къ русскимъ.

— Эге, — подумалъ Димитраки: и турка связали и лошадей ведутъ украдкою, такъ дѣло то не ладно, надо сказать агѣ. Ну, бояръ, какъ то ты съ нимъ раздѣлаешься: вѣдь онъ не нашь братъ, его не поколотишь!

Межъ тѣмъ Палади подошелъ къ каменному небольшому зданію съ однимъ окномъ, въ которое вставлена была толстая желѣзная рѣшетка, отперъ ключемъ дубовую окованную дверь и вошелъ съ кладовую. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ изъ изъ нея съ Симскимъ и Фроловымъ, и перерѣзалъ кинжаломъ веревки, которыми они были связаны.

— Теперь за мной!—сказалъ Палади.

— Симскій и Фроловъ, вслѣдъ за молдаваниномъ, перелѣзли черезъ заборъ и пустились бѣгомъ по саду.

— Скорѣй, скорѣй! — прошепталъ бояръ. Вонъ вид
тамъ за воротами?.. Эти кони приготовлены для насъ.

— Ты лжешь, Палади!—сказалъ кто то по молдаванс
Изъ за кустовъ высыпали вооруженные спаги и турец
ага заступилъ дорогу бѣглецамъ.

— Ибрагимъ!—вскричалъ бояръ.

— Да, ты лжешь, Палади, — повторилъ ага: эти ко
приготовлены для меня. Возьмите русскихъ, — продолжа
онъ, обращаясь къ туркамъ, — и посадите ихъ на кон
я самъ съ ними поѣду; а ты, проклятый гяуръ, оставай
дома.

Вслѣдъ за этими словами раздался выстрѣлъ и бо
Палади упалъ мертвый на землю. Ага продулъ споко
затравку своего пистолета, заткнулъ его за кушакъ и
шелъ къ рощѣ, а два или три турка, которые остались
саду, принялись раздѣвать и обшаривать убитаго бояра.

Солнце начинало уже всходить, когда наши плѣнн
выѣхали на дорогу, ведущую отъ помѣстья Кутъ-Ма
къ турецкому лагерю; онъ тянулся по высотамъ, котор
шли вдоль низкаго берега Прута, поросшаго густымъ
мышемъ. Вотъ забѣлѣлись безчисленныя палатки и к
сивые наметы турецкаго войска. Вдали, какъ бѣлоснѣжна
увѣнчанная золотою луною гора, возвышался огромн
шатеръ великаго визиря. Посреди обширнаго поля, от
лявшаго таборы крымскихъ татаръ отъ турецкаго ста
гарцовали сотни лихихъ наѣздниковъ. Они крутились в
ремъ по полю, гонялись другъ за другомъ, бросали св
джириды и на всемъ скаку подхватывали ихъ на воздух
Эта необычайная быстрота движеній, этотъ восточн
живописный нарядъ, это блестящее на солнышкѣ и за
тое въ серебро оружіе, отъ котораго сыпались огненн
искры—все это вмѣстѣ было такъ прекрасно и такъ ве
колѣпно, что Фроловъ, несмотря на свою ненависть
басурманамъ, не могъ удержаться отъ восторга и п
шепталъ:

— Эхъ, жаль, что эти поганые турки Христа-то
знаютъ!... А, нечего сказать, удалой народъ!

Не доѣхавъ шаговъ пятидесяти до визирской став
ага сошелъ съ коня; русскіе плѣнные и ихъ провожат
также спѣшились. Сказавъ нѣсколько словъ янычара
стоявшимъ у входа въ шатеръ, онъ вошелъ въ него и
лѣлъ вести за собою плѣнныхъ. Пройдя два отдѣленія,

которыхъ толпились турецкіе аги и татарскіе мурзы, они вошли въ третье; въ немъ, на низкомъ диванѣ или, вѣрнѣй сказать, широкомъ тюфякѣ, сидѣлъ каймаканъ, то есть намѣстникъ великаго визиря. Передъ нимъ стояли въ почтительномъ молчаніи пять или шесть бимбашей и сидѣли на коврѣ двое осанистыхъ пашей. Нѣсколько поодаль писалъ, стоя на колѣняхъ передъ низенькимъ столомъ, ада-баши — по нашему, оберъ-квартирмейстеръ. Въ углу, позади каймакана, стояла цѣлая толпа чаушей, готовыхъ, по первому мановенію визиря или его намѣстника, отколотить по пятамъ весь главный штабъ турецкой арміи. Русскихъ остановили при входѣ, а Ибрагимъ, ставъ противъ каймакана, наклонилъ голову и, приложивъ къ губамъ правую руку,— сказалъ обыкновенное привѣтствіе правовѣрныхъ:

— Машъ аллахъ! — то есть: да благословитъ тебя Господь!

— Аллахъ разола! — пробормоталъ каймаканъ, кивнувъ слегка головою.—Ну, что скажешь, Ибрагимъ?

— Я сегодня ночью, — отвѣчалъ ага, — захватилъ вотъ этихъ двухъ русскихъ. Одинъ изъ нихъ юзъ-баши.

— Пекъ-эй, пекъ-эй!... А который изъ нихъ юзъ-баши?

— Вотъ этотъ, что выше ростомъ.

— Какъ, этотъ мальчишка?... И онъ юзъ-баши!... Ну, видно, у этихъ Московъ не по нашему! — промолвилъ онъ, поглаживая свою сѣдую бороду.

Занавѣска дверей, ведущихъ во внутреннія отдѣленія визирской ставки, зашевелилась. Всѣ турецкіе чиновники встрепенулись, паши вскочили съ своихъ мѣстъ, и самъ каймаканъ приподнялся. Но эта тревога тотчасъ же кончилась, потому что вмѣсто великаго визиря вошелъ русскій подъ-канцлеръ Шафировъ съ своимъ переводчикомъ.

— Что я вижу!—вскричалъ онъ.—Симскій!... Ты какъ здѣсь?

— Въ плѣну, Петръ Павловичъ.

— Въ плѣну?... Да когда-жъ ты попался?

— Сегодня ночью. Государь изволилъ отправить меня съ указомъ въ московскій сенатъ.

— Съ указомъ?... Такъ погоди же!...

Шафировъ подошелъ къ каймакану и началъ говорить съ нимъ черезъ переводчика. Турокъ слушалъ его съ большимъ вниманіемъ, улыбался, и когда Шафировъ пересталъ говорить, кивнулъ привѣтливо головою и сказалъ:

— Пекъ-эй, пекъ-эй!

— Что это онъ говоритъ?—спросилъ Шафировъ.

— Хорошо, дескать,—отвѣчалъ переводчикъ.

Шафировъ поклонился каймакану и, проходя мимо Симскаго, спросилъ, не отобрали ли у него царскаго указа?

— Нѣтъ, Петръ Павловичъ,—отвѣчалъ Симскій:—указъ, слава Богу, при мнѣ.

— Такъ авось ты довезешь его благополучно до Москвы. Прощай!

Черезъ нѣсколько минутъ вынесли отъ визиря бумагу; каймаканъ прочелъ ее съ примѣтнымъ удовольствіемъ, повторяя безпрестанно свое «пекъ-эй»; потомъ передалъ ее адабаши и, проговоривъ съ набожнымъ видомъ «шюкюръ алахъ», потребовалъ свою трубку; но прежде чѣмъ онъ успѣлъ затянуться первымъ глоткомъ благовоннаго дюбека, вошелъ торопливо пожилой бимъ-баши и сказалъ ему что то вполголоса.

— Аллахъ киримъ! — вскричалъ каймаканъ съ примѣтнымъ ужасомъ.—Что ты говоришь, онъ здѣсь?

— Здѣсь и прямо идетъ сюда.

Передъ шатромъ послышался шумъ. Каймаканъ вскочилъ, паши также встали; шумъ приближался, и вдругъ въ палатку вошелъ или, лучше сказать, вбѣжалъ человѣкъ высокаго роста, не слишкомъ пріятной, но весьма значительной наружности. Этотъ, повидимому вовсе нежданный, гость не отличался ничѣмъ отъ трехъ шведскихъ офицеровъ, которые вошли вмѣстѣ съ нимъ въ палатку. На немъ была небольшая треугольная шляпа, однобортный зеленый мундиръ съ желтымъ подбоемъ, такого же цвѣта исподнее платье, ботфорты со шпорами, лосиная портупея съ мѣдною пряжкою и замшевыя перчатки съ широкими раструбами по самый локоть.

— Гдѣ визирь?—сказалъ онъ повелительнымъ голосомъ, не снимая шляпы и не отвѣчая на почтительный поклонъ каймакана —Понятовскій, спроси ихъ!

— Вотъ, государь, намѣстникъ его,—сказалъ Понятовскій, указывая на каймакана.

— Какое мнѣ дѣло до его намѣстника! Гдѣ Мехмедъ-паша?

Каймаканъ молча указалъ на двери, ведущія въ сосѣднюю комнату. Карлъ XII — читатели вѣроятно ужь отгадали въ этомъ посѣтителѣ шведскаго короля—отдернулъ за-

навѣску и вошелъ, вмѣстѣ съ Понятовскимъ, въ обширное отдѣленіе палатки, устланное персидскими коврами и обтянутое богатымъ штофомъ. Въ глубинѣ этой походной ауді-енцъ-залы, на роскошномъ атаманѣ, покрытомъ турецкими шалями, сидѣлъ, поджавъ ноги, и курилъ трубку великій визирь. Съ одной стороны подлѣ него стоялъ съ серебрянымъ подносомъ и золотою кружкою сербетъ-агланъ, то есть чашникъ или кравчій; съ другой—черный невольникъ обмахивалъ мухъ павлинымъ хвостомъ и въ то же время навѣвалъ прохладу на его благополучіе, побѣдоноснаго Ахметъ-пашу, который, несмотря на лѣтній жаръ, сидѣлъ въ шубѣ и уродливой визирской чалмѣ, совершенно похожей на огромный, поставленный вверхъ дномъ, цвѣточный горшокъ. Нѣсколько турецкихъ сановниковъ и драгоманъ сидѣли на коврѣ и перечитывали какія то бумаги. Нечаянное появленіе шведскаго короля повидимому очень смутило визиря. Онъ всталъ съ своего мѣста и хотѣлъ что то сказать, но Карлъ XII не далъ ему вымолвить ни слова; кинувъ на него гнѣвный взглядъ, онъ опустился небрежно на диванъ и сказалъ:

— Понятовскій, переводи этой турецкой чучелѣ все, что я буду говорить; да смотри,—слово отъ слова!

Визирь сѣлъ опять на прежнее свое мѣсто, и между нимъ и шведскимъ королемъ начался черезъ переводчика слѣдующій разговоръ:

— Правда ли, визирь,—спросилъ Карлъ XII,—что ты хочешь заключить миръ съ Русскимъ Царемъ?

— Правда,—отвѣчалъ Мехметъ-паша.

— Я надѣюсь, этого не будетъ.

— Нельзя не быть: миръ ужь заключенъ.

— Заключенъ? — вскричалъ король. Ахъ, онъ измѣнникъ!... Да какъ же ты, Мехметъ-паша, осмѣлился заключить этотъ миръ?

Визирь поглядѣлъ съ удивленіемъ на своего гостя и сказалъ:

— Да развѣ ты не знаешь, что я имѣю право и войну вести и миръ заключать?

— Вотъ то то и худо, что тебѣ дали это право. У меня бы ты не смѣлъ этого сдѣлать. Вотъ и мои сенаторы вздумали было также умничать, да я послалъ имъ мой старый сапогъ и приказалъ, чтобъ они спрашивались у него, что дѣлать. Переведи ему это, Понятовскій!

Вѣроятно, Понятовскій исполнилъ въ точности это при
казаніе, потому что визирь поглядѣлъ съ ужасомъ на ко
роля и отодвинулся отъ него подалѣе.

— Да для чего же ты, Мехметъ-паша, — продолжал
Карлъ XII, — заключилъ миръ съ Русскимъ Царемъ, когд
все войско его и онъ самъ были въ твоихъ рукахъ?

— Нашъ законъ, — отвѣчалъ съ важностію визирь, —
повелѣваетъ щадить враговъ, когда они просятъ помило
ванія.

— А развѣ этотъ законъ запрещалъ тебѣ взять въ плѣн
Русскаго Царя?

— Взять въ плѣнъ Московъ-султана? А кто же бы тогд
сталъ править его Царствомъ?

— Ну, вотъ, — прошепталъ Карлъ XII, — говори с
этимъ безсмысленнымъ скотомъ!... Да какое тебѣ дѣло
Мехметъ-паша, что некому бы было управлять Русским
Царствомъ?

— Аллахъ не любитъ безначалія, — возразилъ визирь.

Потомъ, взглянувъ исподлобья на шведскаго короля,
промолвилъ еще нѣсколько словъ. Понятовскій видимымъ
образомъ смутился.

— Что онъ еще тамъ бормочетъ?—спросилъ король.—
Ну чтожъ ты молчишь, Понятовскій?

— Онъ говоритъ такой вздоръ, ваше величество, что,
право, не стоитъ и переводить.

— Все равно, я хочу знать!... Да смотри,—не обманы-
вай меня!

— Онъ говоритъ, ваше величество, что не хорошо бу-
детъ, если всѣ цари станутъ жить по чужимъ землямъ.

Карлъ XII вспыхнулъ.

— Ваше величество,—сказалъ торопливо Понятовскій,—
не гнѣвайтесь на этого турка: онъ не знаетъ самъ, что
говоритъ.

— Ты правъ, Понятовскій, — промолвилъ король: съ
этимъ болваномъ разсуждать нечего. Поѣдемъ!

Онъ вскочилъ съ дивана, зацѣпилъ шпорою за шубу
визиря, разорвалъ ее, потомъ выбѣжалъ вонъ изъ палатки,
вспрыгнулъ на своего коня и поскакалъ назадъ въ Бендеры.

— Собака! — прошепталъ Мехметъ-паша, принимаясь
снова курить свою трубку.

Спустя минутъ десять, каймаканъ вошелъ къ визирю.

— Что ты, Османъ?—спросилъ Мехметъ-паша.

— Я пришелъ донести твоему великолѣпію, — отвѣчалъ каймаканъ, — что ага Ибрагимъ захватилъ въ плѣнъ двухъ русскихъ; одинъ изъ нихъ юзъ-баши.

— А когда онъ взялъ ихъ въ плѣнъ?

— Ночью, за часъ до утренней молитвы.

— То есть прежде, чѣмъ мы заключили миръ съ русскими?

— Прежде.

— Такъ пускай Ибрагимъ возьметъ ихъ себѣ.

— А я думаю, что ихъ лучше отпустить.

— Зачѣмъ?

— Да вотъ мнѣ сейчасъ русскій рейсъ-эфенди говорилъ, что Московъ-султанъ послалъ ихъ съ фирманомъ въ свою землю затѣмъ, чтобъ тамъ скорѣй сбирали подать, которую онъ долженъ положить къ ногамъ великаго падишаха.

— Ну, это другое дѣло!... Ты правду говоришь, Османъ: ихъ должно отпустить. Да ужь, кстати, скажи Ибрагиму, чтобъ онъ взялъ съ собою человѣкъ двадцать спаговъ и проводилъ этихъ русскихъ; а не то, пожалуй, ихъ захватятъ крымскіе татары. Вѣдь для этихъ разбойниковъ все равно, война или миръ: имъ только бы грабить.

Каймаканъ поклонился и вышелъ вонъ.

Черезъ полчаса Симскій и Фроловъ, которымъ отдали оружіе, сидѣли уже на коняхъ.

— Ну, вотъ, сударь,—сказалъ Фроловъ:—Господь насъ помиловалъ! Насъ даже и въ плѣнъ не берутъ. Ага сказалъ мнѣ, что ѣдетъ съ нами для того только, чтобъ насъ не обидѣли татары.

— Чтожъ это значитъ?

— Должно быть, перемиріе, сударь. Да, видно, за насъ очень просилъ и бояринъ Шафировъ, дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!

— Хайде! — крикнулъ ага, и весь поѣздъ двинулся по дорогѣ, ведущей къ Яссамъ.

XI.

Теперь мы должны возвратиться опять въ Москву; но вы не узнаете ея, любезные читатели:

„Она *грустна*, она уныла,
Какъ мрачная осенняя ночь“!..

Дурныя вѣсти скоро доходятъ, да это бы еще ни
что было, того не воротишь; но вотъ, что худо: і
всегда, какъ будто бы для того, чтобъ оправдать послов
«пришла бѣда, отворяй ворота», за каждой нерадос
вѣстью слѣдуютъ тысячи новыхъ, одна другой ужа
Есть люди, для которыхъ всякое народное бѣдствіе с
кладъ. Въ спокойное время они обыкновенно сидятъ п
мамъ, но случись какая-нибудь общая бѣда, и они,
зловѣщія птицы, появятся вездѣ, начнутъ всѣхъ п
своимъ отвратительнымъ крикомъ; и надобно отдать
ведливость этимъ вѣстовщикамъ горя: они вполнѣ облад
непостижимымъ искусствомъ—изъ небольшой мухи сд
огромнаго слона. На этотъ разъ для нихъ было насто
раздолье: нашествіе турокъ на святую Русь, погромъ Мос
осквернѳніе храмовъ Божіихъ—было надъ чѣмъ уму-ра
потрудиться; и, нечего сказать, эти господа потруди
порядкомъ. Въ Москвѣ не знали ничего вѣрнаго о пол
ніи нашего войска: знали только по слухамъ, что
идутъ худо; но, по милости этихъ зловѣщихъ птицъ, в
робкіе люди стали призадумываться; о трусоватыхъ
ворить нечего,—тѣ ужь давно распорядились: одни при
тали подалѣе свое серебро и наличныя денежки, другіе
жились и держали на-готовѣ лошадей, чтобъ, при пе
опасности, ускакать изъ Москвы.

Семнадцатаго іюля, часу въ десятомъ утра, Данила
кифоровичъ Загоскинъ бесѣдовалъ въ гостиной ком
своего московскаго дома съ Герасимомъ Николаеви
Шетневымъ.

— Да, батюшка Данила Никифоровичъ,—говорилъ Г
невъ:—ты себѣ вѣрь или нѣтъ, а ужь шила въ мѣшк
утаишь,—плохо дѣло!

— Да вѣдь это только слухи, — сказалъ Данила Н
форовичъ.

— Какіе слухи! Говорятъ тебѣ: изо всего русс
войска ни одной живой души не осталось.

— Помилуй, любезный! Да какъ же это можетъ бы
Вѣдь люди не мухи, а и тѣхъ всѣхъ не перебьешь.
ская то рать была не маленькая. Ну, коли турокъ бы
впятеро больше...

— Впятеро! Нѣтъ, Данила Никифоровичъ, ихъ при
слишкомъ шестьсотъ тысячъ, а татаръ то собралось в
противъ этого. Говорятъ, весь Крымъ поголовно вышелъ

подмогу къ туркамъ, такъ ужь тутъ дѣлать нечего, — насилу не возьмешь!

— Воля твоя, Герасимъ Николаевичъ, а я этому не вѣрю; не до конца же прогнѣвался на насъ Господь. Вѣдь, по твоему и войско и Государь...

— Все погибло, любезный, все!... Вотъ они, нѣмецкіе то кафтаны!... Кабы жили да жили по старинѣ...

— А въ старину то насъ, чай, никогда не бивали?

— Случалось, да только не этакъ. Бывало, Господь накажетъ, а тамъ и помилуетъ.

— Ну такъ, можетъ быть, и теперь то же.

— Нѣтъ, любезный: теперь мы сами отъ Господа отступились, такъ и Онъ насъ покинулъ. Послушалъ бы ты, что говоритъ объ этомъ Лаврентій Никитичъ Рокотовъ. Я третьяго дня былъ вмѣстѣ съ нимъ въ селѣ у Максима Петровича Прокудина.

— Такъ они помирились?

— Да, помирились, а вчера опять было поссорились.

— За что?

— А вотъ за что: Максимъ Петровичъ такъ же, какъ ты, не очень вѣритъ слухамъ. «Какъ, дескать, мы ни грѣшны», — говоритъ онъ, — «а все-таки рабы Божьи, и Онъ не предастъ помазанника Своего и насъ, рабовъ Своихъ, на поруганіе язычникамъ». А Лаврентій Никитичъ и скажи ему на это: «Коли, дескать, все правда, что говорятъ, такъ тутъ есть и гнѣвъ и милость Божья. Придетъ разоренье на святую Русь, — ну чтожъ: не впервые, — авось какъ-нибудь оттерпимся, зато послѣ легко будетъ. Вѣдь по мнѣ, дескать, нѣмецкій то погромъ хуже турецкаго». Батюшки, какъ Максимъ Петровичъ расходился!... Да, нечего сказать, и я Лаврентія Никитича не похвалилъ. Ну, коли какимъ ни есть чудомъ Государь Петръ Алексѣевичъ вернется, да узнаетъ о такихъ рѣчахъ... Господи Боже мой, пропадешь не за денежку. Насилу, насилу ихъ помирилъ; да и то, что Лаврентій Никитичъ догадался и сказалъ, что онъ это такъ... пошутилъ, чтобъ подразнить Максима Петровича.

— Здравствуйте, Герасимъ Николаевичъ! —сказала, входя въ комнату, Марѳа Саввишна.

Шетневъ всталъ и поклонился.

— У тебя гости были, жена?—спросилъ Данила Никифоровичъ.

— Да, батюшка: Аполинарья Степановна Бирдюков да Нимфодора Алексѣевна Добрынская.

— То то, чай, навезли тебѣ вѣстей!

— О, Господи, такія страсти, что и сказать нельзя! И что имъ за утѣха разсказывать?... Держали бы про себя

— Куда! Чай, такъ и рвутся одна передъ другой!

— И добро бы еще слухи то были хорошіе, — та нѣтъ! Съ радостною вѣсточкой ни за что не пріѣдутъ.

— Охота тебѣ, жена, ихъ слушать.

— А что такое онѣ вамъ разсказывали?—сказалъ Ше невъ. Сдѣлайте милость, сообщите намъ!

— Охъ, батюшка!... Коли правда, что онѣ говорятъ

— А что онѣ говорятъ такое?

— Да вотъ Аполинарья Степановна разсказывала мн она получила письмо отъ одной пріятельницы изъ Черн гова, и въ этомъ письмѣ къ ней пишутъ, что турки ужь въ Полтавѣ.

— Слышишь, Данила Никифоровичъ? — прервалъ Ше невъ.

— Слышу, батюшка, слышу!

— Ну чтожъ они, Марѳа Саввишна, съ Полтавой сдѣлали?

— Камня на камнѣ не оставили! И мѣсто, гдѣ о стояла, вспахали, проклятые, да солью посыпали, что трава не росла!

— А съ православными то что сдѣлали? Къ себѣ что угнали?

— Нѣтъ, батюшка,—перебили всѣхъ до единаго.

— И женщинъ также?

— Охъ, нѣтъ, кормилецъ!... Говорятъ, молоденьки всѣхъ по рукамъ разобрали.

— А что, отъ Полтавы они назадъ чтоль пошли?

— Куда назадъ!... Говорятъ, ужь дошли до Кіева.

— Что ты, матушка,—прервалъ Данила Никифорович —да вѣдь Кіевъ то ближе къ туркамъ, чѣмъ Полтава!

— Я этого, сударь, не знаю, а разсказываю тебѣ, ч слышала. И Нимфодора Алексѣевна говоритъ тоже, и также пишутъ, изъ Курска что-ль,—не знаю, что кр гомъ Полтавы нѣтъ деревца, на которомъ бы человѣкъ сяти не висѣло.

— Скажите пожалуйста,—вскричалъ Шетневъ:—и р жутъ и вѣшаютъ!

— То ли еще они, душегубцы, дѣлаютъ съ православными, — продолжала Марѳа Саввишна: — и подумать то страшно!

— А что такое, матушка?

— А вотъ что, Герасимъ Николаевичъ: возьмутъ человѣка, зароютъ его по самую голову въ землю, да такъ въ степи и оставятъ. Вотъ какъ онъ, голубчикъ, ротъ раскроетъ, такъ въ него и поползетъ всякій гадъ: и ящерицы, и змѣи, и козявки всякія...

— Господи Боже мой!.. Охота же была связываться съ такимъ народомъ!

— Охъ, батюшка, правду ты говоришь! Знаешь ли ты, что мнѣ сказывала Аполинарья Степановна, а она слышала это отъ людей бывалыхъ: гдѣ намъ воевать съ турками! Они все народъ тучный, дородный,—что имъ дѣлается? Вотъ турокъ ударитъ саблею русскаго, такъ онъ тутъ же изойдетъ кровью, сердечный! А коли нашъ пырнетъ чѣмъ ни есть турка, такъ ему это ни почемъ: тотчасъ заплываетъ жиромъ... Ну чтожъ ты смѣешься, Данила Никифоровичъ?

— Да повеселѣе на сердцѣ стало, матушка. Коли и другія то вѣсти такъ же вѣрны, какъ эти, такъ еще слава Богу!

— Нѣтъ, Данила Никифоровичъ, — прервалъ Шетневъ, —не говори этого. То, что изволила разсказывать Марѳа Саввишна, само по себѣ, а то, что я тебѣ говорилъ, такъ это вѣрно, какъ Богъ святъ. Вотъ какъ и дѣло было: мы перешли за рѣку Днѣстръ, а за этою рѣкою пойдутъ арапскія пустыни... Это, матушка Марѳа Саввишна, должна быть та самая земля, въ которой живутъ мурины, сирѣчь арапы.

— Такъ, батюшка, такъ!

— Ну вотъ, сударыня моя, наши много нужды натерпѣлись; мѣста, знаете, этакія безводныя, а жары такія, что тамъ и огня вовсе не разводятъ.

— Да какъ же, Герасимъ Николаевичъ, тамъ хлѣбы то пекутъ?

— На солнышкѣ, матушка. Вотъ наши шли, шли, да и пришли на какой то прудъ, а можетъ быть и озеро,— навѣрно не знаю; говорятъ только, что рыба въ немъ такъ и кишитъ, и даже тюлени водятся.

— Такъ какой же это прудъ, батюшка?

— Да, Марѳа Саввишна, должно быть озеро. Мы стали

по сю сторону, а турки по ту. Вотъ какъ они собрали всѣ во-едино, такъ пошли въ обходъ, а мы стоимъ да стоимъ. Глядь-поглядь, а турки то ужь и съ тылу зашли, и ну палить въ нашихъ изъ пушекъ. Мы также, а так въ рукопашную,—и пошла жарня! Наши, сударыня, дв сутокъ стояли крѣпко, денно и нощно бились съ врагом Въ первыя сутки перебили у него пятьдесятъ тысячъ, в вторыя еще пятьдесятъ, а на третьи то и силы ужь в стало. Легко вымолвить, поди-ка, перебей сто тысячъ чел вѣкъ,—руки отмотаешь!... Вотъ какъ турки замѣтили, чт наши вовсе изъ мочи выбились, такъ кинулись на нас гурьбою и пошли рѣзать какъ барановъ. Я слышалъ от вѣрныхъ людей, что всѣхъ до тла перерѣзали. Ну, может статься, сотни двѣ-три въ живыхъ и осталось; кто под кустомъ отлежался, кто успѣлъ тягу дать... да это не какая-нибудь лагерная челядь; а настоящая то рать и цар ская гвардія вся поголовно легла.

— Слышишь, Лаврентій Никитичъ? — сказала Мар Саввишна, заливаясь слезами.—А нашъ то Васинька!...

— Племянникъ вашъ, Симскій?—прервалъ Шетневъ.— Да, вѣдь онъ служилъ въ Преображенскомъ полку!

— Охъ, не даромъ я тосковала, когда съ нимъ прощ лась!—продолжала Марѳа Саввишна, рыдая.—Голубчикъ т мой, соколъ мой ясный! Умереть въ такихъ годахъ, на чу жой сторонѣ, и, можетъ быть, безъ покаянія!... Батюшк Данила Никифоровичъ, поѣду я, отслужу по немъ па нихиду!...

— Что ты, матушка, помилуй! Ну что хорошаго, кол ты о живомъ человѣкѣ панихиду отпоешь?

— Нѣтъ, Данила Никифоровичъ,—сказалъ Шетневъ.— не мѣшай! Что, въ самомъ дѣлѣ, племянникъ твой за вы скочка,—одинъ изо всего полка уцѣлѣлъ! Вѣдь онъ у тебя я слышалъ, молодецъ,—такъ живой въ руки не дастся.

— Да, это правда; а за кустъ и подавно не спрячется

— Такъ и думать нечего! Ступайте, матушка Мар Саввишна: дѣло христіанское, богоугодное...

Въ столовой послышались шаги поспѣшно идущаго че ловѣка. Двери отворились и Симскій вошелъ въ комнату.

— Съ нами крестная сила! — вскричала Марѳа Са вишна.—Что это?.. Васинька!

— Другъ сердечный, Василій, ты ли это?—сказалъ Да нила Никифоровичъ, обнимая племянника.

— Я, дядюшка, я!... Здравствуйте, тетушка!

— Голубчикъ ты мой!—воскликнула Марѳа Саввишна, сыпая поцѣлуями Симскаго. — Ты живъ... тебя турки не били?

— А вотъ какъ видите.

— Ну, Герасимъ Николаевичъ, — сказалъ хозяинъ, бращаясь къ Шетневу,—ты совѣтовалъ женѣ отслужить о немъ панихиду...

— Ну чтожъ, Данила Никифоровичъ, теперь Марѳа Саввишна, вмѣсто панихиды, отслужитъ благодарственный олебенъ!

— Отслужу, батюшка, отслужу!... Подлинно милость ожія! Подумаешь: одинъ какъ перстъ изо всего полка стался!

— Нѣтъ, тетушка, не одинъ: нашъ полкъ, благодаря ога, цѣлехонекъ.

— Что вы говорите, батюшка?—прервалъ Шетневъ.— акъ поэтому вашъ только полкъ и уцѣлѣлъ?

— Нѣтъ, государь мой, всѣ цѣлы. Ну конечно, въ номъ полку народу гораздо поубыло, и нашъ поменьше талъ, да безъ этого нельзя.

— Скажите пожалуйста!... Охъ, ужь мнѣ эти вѣстовщики!... И вѣдь выдумаютъ же, проклятые!

— А что, видно насъ всѣхъ похоронили?

— Чего, батюшка! У насъ слухи были, что изъ всего усскаго войска ни души не осталось.

— И что турки то ужь въ Полтавѣ!—подхватила Марѳа Саввишна.

— Нѣтъ, тетушка, далеко отъ Полтавы,—сказалъ Симкій, улыбаясь.—Да врядъ ли туда и пойдутъ.

— А что Государь?—спросилъ Данила Никифоровичъ.

— Слава Богу, здоровъ. На прошлой недѣлѣ онъ самъ зволилъ отправить меня съ именнымъ указомъ. Я сейчасъ ылъ въ сенатѣ и вручилъ его господамъ сенаторамъ.

— Такъ онъ, батюшка нашъ, живъ и здоровъ!—вскрикалъ Шетневъ ,сложивъ умильно руки.—Слава Тебѣ Господи! Не отринулъ Ты грѣшныхъ молитвъ нашихъ!

— А что, племянникъ, — молвилъ Данила Никифоровичъ,—скажи по правдѣ: что, дѣла то наши худо идутъ?

— Да, дядюшка, тѣсненько намъ приходило.

— Слышишь, любезный?—прервалъ Шетневъ.

— Турки обложили насъ со всѣхъ сторонъ...

— Слышишь?—повторилъ Шетневъ.

— И надобно сказать правду: наше дѣло бы рантное.

— Какое?—спросилъ Данила Никифоровичъ.

— Десперантное, то-есть отчаянное.

— Слышишь, Данила Никифоровичъ?

— Слышу, любезный!... А теперь?

— Теперь, кажется, пошло на мировую.

— Почему ты это думаешь?

— А вотъ почему, дядюшка: когда Государь послать меня въ Москву, такъ съ визиремъ шл воры. Меня отправили ночью, затѣмъ, что мнѣ было пробираться сквозь все турецкое войско. Сі мнѣ не очень посчастливилось: турки меня захвати

— Господи!—вскричала Марѳа Саввишна. Такі у нихъ въ полону?

— Былъ, тетушка.

— И тебя не зарѣзали, не повѣсили, не зако вого въ землю?

— Нѣтъ, тетушка, Богъ помиловалъ. Напрот и въ плѣну меня не оставили, а отпустили съ даже дали мнѣ проводниковъ. Вотъ потому то я что у насъ съ турками положенъ штиль-штандъ.

— Штиль-штандъ!—повторилъ Данила Никифор

— Да, дядюшка, то-есть армистиціумъ.

— Армистиціумъ. А это что такое?

— Сирѣчь перемиріе.

— Ну такъ бы и сказалъ, братецъ. Да что мянникъ, или у васъ въ Питерѣ то всѣ такъ говор

— О, нѣтъ, дядюшка, какъ можно, чтобъ всѣ ворили! Вѣдь и въ Петербургѣ много людей непросвѣщ

— Вотъ что! Ну этого я еще не зналъ. Так шему просвѣщенный человѣкъ долженъ говорить п такъ, чтобъ его свои не понимали?... Охъ, вы п скіе,—перехитрили вы, кажется!

— Ну, прощай любезный!—сказалъ Шетневъ домой.

— Батюшка Герасимъ Николаевичъ, — молвила Саввишна, провожая гостя,—ты поѣдешь мимо Ни Алексѣевны Добрынской, заверни къ ней на скажи о нашей радости и о томъ, что мы слыш Васиньки...

— Извольте, Марѳа Саввишна. Только она мнѣ не повѣритъ.

— Что ты, батюшка!

— Право, не повѣритъ. Да не прогнѣвайтесь, и я не совсе вѣрю вашему племяннику. Человѣкъ служивый говоритъ то, что ему приказано. Ну, да утро вечера мудренѣе: узнаемъ когда-нибудь всю правду. Прощайте, маушка!

— Долго ли ты у насъ пробудешь? — спросилъ Данила Никифоровичъ Симскаго.

— Не знаю, дядюшка. Коли миръ состоится, такъ, можетъ быть, мнѣ дадутъ здѣсь отдохнуть. Теперь позвольте а часокъ отлучиться...

— Куда?

— Я видѣлъ въ сенатѣ моего однополчанина, Андрея Степановича Мамонова, и обѣщалъ побывать у него сегодня до обѣда.

— Ну, ступай, мой другъ... Да постой: я велю тебѣ заложить мою одноколку.

— Нѣтъ, дядюшка, мнѣ ѣзда до смерти надоѣла; пойду лучше пѣшкомъ.

— Только, пожалуйста, Василька,—сказала Марѳа Саввишна,—не замѣшкайся, дай мнѣ насмотрѣться на тебя, мое сокровище!

— Часа черезъ два непремѣнно ворочусь, тетушка.

Мамоновъ жилъ все тамъ же, то-есть на Варваркѣ, въ домѣ своего родственника, Шеина. Симскій, входя къ нему, повстрѣчался съ какимъ то бариномъ, который, посторонясь, отвѣсилъ ему низкій поклонъ. Лицо этого господина оказалось Симскому знакомымъ, но онъ никакъ не могъ припомнить, гдѣ его видѣлъ.

— Спасибо, другъ сердечный,—вскричалъ Мамоновъ,—спасибо! Я думалъ, что ты не сдержишь своего слова. Чай, всѣ твои родные такъ за тебя и уцѣпились. И то сказать: выходецъ съ того свѣта!

— Да, любезный, тетушка сбиралась по мнѣ панихиду служить.

— Ну, Симскій, хороша ваша бѣлокаменная! Вотъ плетница то, подумаешь!... И всѣхъ васъ перебили, и турки идутъ на Москву.

— Да за этимъ, Мамоновъ, дѣло не станетъ и у насъ въ Петербургѣ. Конечно, тамъ поменьше праздныхъ людей,

тамъ и вздорныхъ слуховъ не такъ много, какъ
все, я думаю, и тамъ вѣстей то не оберешься.

— Судя по тому, Симскій, что ты разсказывал
сенатѣ, у насъ съ турками долженъ быть армис
такъ надобно надѣяться, что скоро будетъ и миръ
ченъ.

— Да, Мамоновъ, коли пошло дѣло на перегово
авось какъ-нибудь поладятъ.

— Ахъ, дай то Господи! Тогда, можетъ быть,
откомандировка кончится. Нѣтъ, Василій Михайлов
мочи выбился, Такая скука, что я подчасъ съ ума

— А невѣсты то, Мамоновъ?

— Что невѣсты!... И онѣ надоѣли, пересмотрѣ.
больше сотни; все одно и то же. Сначала это ме
вляло, а теперь нѣтъ. Да и Ѳедосья Игнатьевна
ко мнѣ жаловать. Видно, догадалась, что я на бо
провожу. Была у меня здѣсь одна знакомая, Аграф
ровна Ханыкова; съ ней можно было время прово
рыня умная, съ хорошей эдюкаціей, да и та да
уѣхала въ Воронежъ, чтобъ быть поближе къ му
рый на службѣ въ Азовѣ. Ягужинскіе уѣхали изъ
Стрѣшневы также; у Гутфеля умерла старуха теп
онъ никого не принимаетъ. Ну тоска да и только!

— Однакожъ у тебя гости бываютъ. Вотъ я
повстрѣчался въ дверяхъ съ какимъ то господином
мнѣ знакомо, только не могу вспомнить, гдѣ я его

— Это одинъ магистратскій чиновникъ, Ардаліо
хайловичъ Обиняковъ; онъ вездѣ шатается. Вотъ
никъ то, братецъ, такъ ужь я тебѣ скажу! Знаеш
чѣмъ онъ у меня былъ? Да вотъ я разскажу вс
Тебѣ извѣстно, что мнѣ поручено забирать на
всѣхъ недорослей изъ дворянъ и новиковъ, которые
лись къ своей командѣ. Вотъ я почти всѣхъ забра
самъ явился, кого привезли насильно. Одинъ только
кладъ, мнѣ не дается: какой то сорокалѣтній новик
Шелешпанскій. Охотился ли ты когда, Симскій,
зыми собаками?

— Какъ же. Мой покойный батюшка любилъ
охоту.

— А случалось ли тебѣ травить лису?

— Случалось.

— Такъ ты знаешь, какъ она проводитъ и ох

собакъ. Ты думаешь: ну, настигли!.. Какъ бы не такъ: роклятая вильнетъ хвостомъ, собаки промечутся въ одну торону, она шмыгнетъ въ другую и поминай, какъ звали! Вотъ точно такъ же и князь Шелешпанскій: ужь я ли, кажется, не давалъ этой лисѣ угонокъ. Провѣдаю, гдѣ онъ агряну ни свѣтъ, ни заря,—не тутъ то было: и слѣдъ ростылъ. Теперь ужь третій мѣсяцъ, какъ я ничего о немъ е слышу. Всѣ его отчины здѣсь кругомъ Москвы, а онъ, акъ въ воду канулъ. Вотъ передъ тобой явился ко мнѣ отъ Обиняковъ и объявилъ, что князь Шелешпанскій крывается верстъ за шестьдесятъ отсюда въ лѣсу, на хуорѣ богатаго помѣщика Рокотова, и что если я дамъ ему, Обинякову, команду, такъ онъ этого бѣглеца руками возьметъ и представитъ ко мнѣ въ Москву. Да это бы еще ничего, а вотъ что скверно: я знаю доподлинно, что князя то Шелешпанскаго этотъ самый Обиняковъ и уговорилъ отъ еня прятаться. Каковъ молодецъ!

— Да изъ чего же онъ это дѣлаетъ?

— Изъ чего! А вотъ прочти эту копію съ царскаго каза,—сказалъ Мамоновъ, подавая Симскому исписанный истъ бумаги.

— Чтожъ это?—молвилъ Симскій, читая. — Тутъ рѣчь детъ о томъ, что дозволяется всякому чину торговать съ латою пошлины.

— Это пунктъ первый; читай дальше.

— Пунктъ второй,—продолжалъ Симскій: «съ семьсотъ ерваго году выписать сколько какихъ выморочныхъ дереень роздано и кому». И это, кажется, къ дѣлу нейдетъ?

— Читай, читай!

— Пунктъ третій: «кто скрывается отъ службы, объвить въ городѣ, кто такого сыщетъ или возвѣститъ, тому гдать всѣ деревни того, кто ухоранивался».

— Ну что, любезный, теперь понимаешь, изъ чего вется Обиняковъ?

— Ахъ онъ разбойникъ!

— По мнѣ, хуже разбойника. Подбилъ человѣка на дурое дѣло, да самъ же на него и въ доносъ.

— И этотъ мошенникъ получитъ все имѣнье князя Шелешпанскаго?

— Разумѣется. Завтра послѣ обѣда онъ отправится съ омандою, сдѣлаетъ выемку, привезетъ сюда этого новика, олучитъ отъ меня свидѣтельство, а тамъ представитъ его

при своей челобитной въ сенатъ и отберетъ отъ этог
няжки Шелешпанскаго все имѣнье; а вѣдь имѣнье то
слишкомъ четыре тысячи душъ.

— Да чтожъ это, — спросилъ Симскій, — тотъ
князь Шелешпанскій, который былъ помолвленъ на
мянницѣ...

— Аграфены Петровны Ханыковой. Ну да, тот
мый. Мѣсяца два тому назадъ, Аграфена Петровна,
рая была еще здѣсь, увѣдомила меня, что родной ея
Максимъ Петровичъ, зоветъ ее на свадьбу племянни
подмосковное свое село. Надобно тебѣ сказать, что
кова и слышать не хочетъ объ этой свадьбѣ. Вотъ я
съ собою команду и отправился втихомолку къ Проку
Подъѣзжая къ селу, я узналъ отъ мужичковъ, что же
то есть князь Шелешпанскій, прибылъ со всѣмъ с
поѣздомъ въ село Максима Петровича. Кажется, я хо
распорядился: одну часть моей команды оставилъ на
улѣ у самой околицы, другой приказалъ ѣхать съ обы
на село, а самъ отправился прямо въ господскій
Свадьбѣ то я помѣшалъ—это правда, а женихъ все
ушелъ Что будешь дѣлать, сквозь пальцевъ проскольз
проклятый!

— Такъ поэтому онъ еще не женатъ?—спросилъ
скій такимъ страннымъ голосомъ, что Мамоновъ взгля
на него съ удивленіемъ и сказалъ:

— Что ты, братъ, поперхнулся что-ль?

— Да... что то такъ...—промолвилъ Симскій, чувс
что сердце его совершенно оледенѣло.—Такъ ты, Мамо
—продолжалъ онъ,—помѣшалъ этому бѣдняжкѣ жен
на племянницѣ Прокудина?

— Да вѣдь жениться то всегда можно. Чай, ихъ
ужь обвѣнчали. Коли дѣло полажено, такъ долго ли о
«*Исаія ликуй*?» Не на селѣ у своего дяди, такъ гдѣ-н
на погостѣ. Жаль мнѣ этой... какъ, бишь, ее звали вт
кахъ то?.. Да, Запольская! Такая хорошенькая, умнен
танцуетъ прекрасно... Бѣдняжечка, вышла за богатаг
ловѣка, а теперь что онъ будетъ,—нищій!

— Да неужели въ самомъ дѣлѣ этотъ мошенникъ
няковъ отберетъ у него все имѣнье?

— А ты думаешь, оставитъ что-нибудь.

— Послушай, Мамоновъ: нельзя ли какъ-нибудь
пособить?

— Никакъ нельзя. Конечно, если-бъ онъ догадался, да прежде, чѣмъ его захватятъ на этомъ хуторѣ, явился ко мнѣ самъ,—ну, это дѣло другое. Не зналъ, дескать, что меня требуютъ, ѣздилъ по моимъ отчинамъ, хворалъ... мало ли, что можно сказать.

— Чтожъ тогда съ нимъ будетъ?

— Ничего: поступитъ на службу, а все имѣнье при немъ останется. Куда-жъ ты, Симскій.

— Прощай, мой другъ,—меня дожидаются обѣдать. Э, да кстати!.. Можешь ты мнѣ дать эту копію съ указа?

— На что тебѣ?

— Показать дядюшкѣ. Можетъ быть онъ еще этого указа не читалъ?

— Пожалуй, возьми, если хочешь.

— Ну, прощай, Андрей Степановичъ!

— До свиданья, мой другъ!

Симскій обнялъ Мамонова и отправился домой.

XII.

На другой день послѣ разсказаннаго мною въ предыдущей главѣ, часу въ восьмомъ утра, Максимъ Петровичъ Прокудинъ сидѣлъ на рундукѣ своего сельскаго дома вмѣстѣ съ Ольгою Дмитріевною Запольскою. Максимъ Петровичъ читалъ любимую свою книгу «Камень Вѣры» Стефана Яворскаго; племянница сидѣла подлѣ него и вышивала въ пяльцахъ.

— А, вотъ и Прокофій ѣдетъ изъ Москвы! — сказалъ Прокудинъ, закрывая книгу. Что онъ везетъ намъ: горе или радость?

Черезъ нѣсколько минутъ Прокофій Сидорычъ стоялъ ужь передъ своимъ господиномъ.

— Ну что, Кулага,—спросилъ Максимъ Петровичъ,—что слышно въ Москвѣ?

— Да мало ли что толкуютъ, батюшка!—отвѣчалъ Прокофій.—Одни говорятъ одно, другіе другое.

— Такъ есть и хорошіе слухи?

— Есть, Максимъ Петровичъ.

— Ну, слава тебѣ, Господи!... Ты былъ у Шетнева?

— Какъ же, сударь. Изволитъ тебѣ кланяться. «Писать де къ твоему барину не могу — дѣло опасное, а скажи ему

на словахъ: начали, дескать, распускать по Москвѣ слухи что въ нашемъ войскѣ все благополучно, что Государь Петръ Алексѣевичъ живъ и здоровъ, и что теперь съ турками замиреніе. Да ты, дескать, Максимъ Петровичъ, этому не вѣрь—все это выдумки, и хоть оттолѣ и есть выходцы, да отъ нихъ правды не узнаешь; а все-таки и они поговариваютъ, что дѣло то было сильно плоховато; такъ ты себѣ на усъ мотай: коли было плохо, такъ отчего-жъ теперь стало хорошо? Вѣдь къ нашему войску на выручку никто не подоспѣлъ!» Вотъ что, батюшка, приказалъ тебѣ сказать его милость—Герасимъ Николаевичъ.

— Такъ Шетневъ думаетъ, что это все сказки? А ты что думаешь, Кулага?

Прокофій Сидоровичъ началъ ухмыляться, почесалъ затылокъ, помялся и наконецъ промолвилъ:

— Не прогнѣвайся, государь Максимъ Петровичъ: я думаю, Герасимъ Николаевичъ изволитъ называть эти добрые слухи выдумкою ради того, что ему крѣпко бы хотѣлось, чтобъ слухи то были дурные.

— Можетъ статься. Да ты то самъ какъ думаешь?

— Я, батюшка, что!... Я человѣкъ глупый: по мнѣ, лучше вѣрить хорошему, чѣмъ худому.

— И я, видно, Прокофій, не умнѣй тебя. Ну, ступай съ Богомъ!... Тебѣ, чай, надо отдохнуть... Постой-ка, постой! .. Охъ, глаза то у меня плохи стали!... Посмотри, Прокофій: вѣдь это къ намъ кто то ѣдетъ.

— Ѣдетъ, батюшка.

— Кажись, тройкой въ телѣгѣ?

— Да, сударь... У, да какъ задуваетъ! Видно, на разгонныхъ.

— Да, шибко ѣдетъ. Ступай, Прокофій, скажи, чтобъ закуска была готова... Кто бы это такой? — продолжалъ Прокудинъ. Э, да никакъ на немъ шляпа то нѣмецкая?... Или мнѣ такъ кажется... Посмотри ка, Оленька!... Да что ты, мой другъ?

— Ничего, дядюшка.

— Какъ, ничего: ты вся поблѣднѣла... и голосъ у тебя дрожитъ... Что ты, что ты... Господь съ тобою!

— Да... — прошептала Ольга Дмитріевна,—это онъ!

— Онъ? Кто?... Этотъ гость, который къ намъ ѣдетъ?

— Дядюшка, — сказала Запольская вставая, — я пойду къ себѣ... я не хочу его видѣть.

— Да кто-жъ онъ такой?—спросилъ Прокудинъ.

Слезы брызнули изъ глазъ бѣдной дѣвушки; она закрыла руками лицо и назвала едва слышнымъ голосомъ Симскаго.

— Симскій? — повторилъ Прокудинъ. Что ты, матушка, перекрестись: да вѣдь онъ подъ туркомъ!...

— Такъ чтожъ, дядюшка: видно, пріѣхалъ затѣмъ, чтобъ сдержать свое слово и жениться на Катенькѣ Юрловой.

— На Юрловой!... Да это все вздоръ, Оленька.

— Какъ? — вскричала Запольская, и по блѣдному лицу ея разлился яркій румянецъ.—Такъ онъ не помолвленъ?

— Нѣтъ, мой другъ, — это все выдумки Рокотова. Ступай, моя душа, ступай! Мы послѣ поговоримъ объ этомъ съ тобою.

Межъ тѣмъ гость подъѣхалъ къ воротамъ и, не въѣзжая во дворъ, спрыгнулъ съ телѣги.

— Ну, такъ и есть, — молвилъ про себя Максимъ Петровичъ:—это точно Симскій... Экій бравый дѣтина! И въ этомъ то дурацкомъ нарядѣ молодцомъ смотритъ!... Да какой учтивый парень: не въѣхалъ прямо во дворъ... Вонъ и шляпу снялъ!... Эхъ, кабы нѣмцевъ то онъ поменьше любилъ!

— Не прогнѣвайтесь, почтеннѣйшій Максимъ Петровичъ, сказалъ Симскій, взойдя на крыльцо, — что я осмѣлился незваный къ вамъ пріѣхать!

— Ничего, батюшка, ничего; добро пожаловать! Милости просимъ садиться!

Симскій поклонился и сѣлъ подлѣ Прокудина.

— Прежде всего, батюшка, — сказалъ Максимъ Петровичъ,—позволь спросить: ты пріѣхалъ изъ подъ турка?

— Да, Максимъ Петровичъ.

— Давно ли?

— Другой день.

— Такъ сдѣлай же милость, Василій Михайловичъ... такъ, кажется, батюшка: Василій Михайловичъ?

— Точно такъ, Максимъ Петровичъ.

— Усердно прошу тебя, скажи мнѣ безъ утайки всю сущую правду, что у васъ тамъ дѣлается.

— Теперь все кончено, Максимъ Петровичъ. Вчера прибѣжалъ въ Москву гонецъ: съ турками заключенъ вѣчный миръ.

— Вѣчный? Такъ авось годика два, три протянет что нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ?

— Все слава Богу! Чай, идетъ теперь съ войско нашимъ границамъ.

— Ну, спасибо тебѣ за добрыя вѣсти, молодецъ сибо!

— Теперь позвольте мнѣ доложить, Максимъ Петр зачѣмъ я къ вамъ ѣхалъ: дѣло важное и требуетъ бо. поспѣшности.

— А что такое, Василій Михайловичъ?

— Оно отчасти и до васъ касается.

— До меня?

— То есть до человѣка, очень вамъ близкаго. племянница, Ольга Дмитріевна Запольская, была помол за князя Андрея Юрьевича Шелешпанскаго п, вѣр теперь ужь замужемъ.

— Такъ чтожъ батюшка?

— А вотъ что, Максимъ Петровичъ: коли вы в торопитесь сдѣлать, что я вамъ скажу, такъ у в племянника, сирѣчь князя Шелешпанскаго, все имѣн берутъ.

— Племянника!—повторилъ Прокудинъ.

Казалось, онъ хотѣлъ что то вымолвить, но остано и, поглядѣвъ пристально на Симскаго, сказалъ:

— Да какъ же это у него отберутъ все имѣніе?

— А вотъ какъ, Максимъ Петровичъ. Я думаю, не безызвѣстно, что Государь Петръ Алексѣевичъ п залъ забирать на службу всѣхъ взрослыхъ недорослей дворянъ и неслужащихъ новиковъ. Отыскивать ихъ писывать въ полки поручено моему сослуживцу, Пре женскаго полка господину поручику Мамонову.

— Знаю, батюшка, знаю: онъ у меня былъ.

— Такъ вамъ должно быть извѣстно и то, что Шелешпанскій нѣсколько уже мѣсяцевъ отбываетъ службы и прячется по своимъ деревнямъ. Вчера я сталъ у Мамонова какого то приказнаго чиновника Об кова...

— Ардаліона Михайловича?

— Точно такъ, Максимъ Петровичъ. Этотъ Об ковъ объявилъ Мамонову, что князь Шелешпанскій с вается веретъ за шестьдесятъ отъ Мос вы въ лѣсу хуторѣ помѣщика господина Рокотова, и что онъ,

няковъ, коли дадутъ ему команду, изловитъ непремѣнно вашего племянника и доставитъ его къ Мамонову въ Москву.

— Вотъ что!... А давно ли, батюшка, этотъ мошенникъ Обиняковъ въ сыщики попалъ?

— Онъ не сыщикъ, Максимъ Петровичъ, и дѣлаетъ это не по долгу службы, а по собственной охотѣ.

— Да чтожъ ему за прибыль?

— Вотъ то то и дѣло, что для него тутъ прибыль превеликая: коли онъ доставитъ къ Мамонову князя Шелешпанскаго, такъ отберетъ у него все имѣнье.

— Все имѣнье?... Да по какому же праву, Василій Михайловичъ?

— А вотъ въ силу этого именнаго указа. Извольте прочесть сами... пунктъ третій...

— Ахъ, онъ Іуда предатель! — вскричалъ Прокудинъ, прочтя этотъ третій пунктъ.—Да неужели онъ въ самомъ дѣлѣ завладѣетъ всѣмъ имѣньемъ князя Шелешпанскаго?

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, этому дѣлу пособить еще можно. Если вашъ племянникъ не дастъ себя захватить на хуторѣ и успѣетъ самъ явиться къ Мамонову, такъ прежнее отбывательство въ большую вину ему не поставитъ: его только примутъ въ службу, а имѣнье при немъ останется. Теперь,—продолжалъ Симскій, вставая,—прошу прощенья, Максимъ Петровичъ: я свое дѣло сдѣлалъ, извольте дѣлать ваше!

— Постой, постой, любезный! — сказалъ Прокудинъ, схвативъ за руку Симскаго.—Дай мнѣ на тебя полюбоваться... Да чтожъ ты за человѣкъ такой, Василій Михайловичъ?

— А чтожъ, Максимъ Петровичъ, я думаю, и всякій другой на моемъ мѣстѣ...

— Нѣтъ, молодецъ, не говори! Я все знаю: тебѣ не за что любить Шелешпанскаго. И добро бы ты думалъ, что племянница моя не замужемъ, — ну, это другое дѣло! Я, дескать, покажу себя добрымъ человѣкомъ, угожу Максиму Петровичу; а теперь изъ чего ты изволилъ себя тревожить?... Ну, дай Богъ тебѣ здоровья, Василій Михайловичъ, утѣшилъ ты меня, старика! Видно, еще не перевелись честные-то по булату, православные люди, на святой Руси!... Вотъ посмотримъ, что то скажетъ объ этомъ мой пріятель Лаврентій Никитичъ Рокотовъ. Послушаешь

его, такъ вся наша молодежь такъ набралась нѣмец
духа, что въ ней русской то правды на волосъ не оста
— Да неужели и вы, Максимъ Петровичъ, изво
думать, что между нѣмцами нѣтъ добрыхъ и честн
людей?

— Какъ не быть, батюшка! И въ нечестивомъ
домѣ нашелся праведный Лотъ, а нѣмецкая то земля,
побольше будетъ Содома и Гоморы... А, да вотъ
и завтракъ несутъ!... Андрюшка, вели заложить мои
зокъ, я сейчасъ поѣду къ Рокотову! Милости прос
гость дорогой! Покамѣстъ мнѣ запрягаютъ лошадей,
съ тобой закусимъ, выпьемъ по чарочкѣ, а тамъ
Богомъ!

Въ продолженіе завтрака, Максимъ Петровичъ разс
шивалъ подробно своего гостя о прутскомъ дѣлѣ, и
выслушалъ его разсказъ, то, покачавъ головою, сказал
— Эхъ, молодецъ, сплоховали ваши набольшіе.
же они этакъ словно въ ловушку попали?

— Чтожъ дѣлать, Максимъ Петровичъ,—отвѣчалъ
скій:—Государя обманули ложными донесеніями, и волож
господарь намъ измѣнилъ.

— Такъ чтожъ смотрѣли ваши нѣмецкіе генералы!
ихъ тамъ, говорятъ, неотолченая труба.

— Охъ, Максимъ Петровичъ, — ужь не извольте
рить о нѣмецкихъ генералахъ!...

— А что?

— Да главный то изъ нихъ—генералъ Янусъ—все
испортилъ: перепустилъ турокъ черезъ Прутъ, далъ
зайти къ намъ въ тылъ; а подержись онъ хоть съ пол
такъ мы бы черезъ Прутъ переправились и не дали
обойти.

— Да чтожъ это такое, — промолвилъ съ удивлен
Прокудинъ:—этотъ Янусъ нѣмецъ, а ты за него не за
наешься?

— Чего тутъ заступаться! Самъ Государь изво
сказать, что генералъ Янусъ нечестно свой долгъ ис
нилъ.

— Вотъ что! Такъ видно и нѣмецкіе то генералы
всячинкою: не всѣ съ неба звѣзды хватаютъ!

— Помилуйте, Максимъ Петровичъ! Да есть ли
всѣхъ этихъ нѣмецкихъ генераловъ хоть одинъ, кото
можно было бы сравнить съ нашимъ графомъ Шерем

вымъ, съ княземъ Меншиковымъ и даже съ княземъ Рѣпнинымъ? Я ужь не говорю о Государѣ Петрѣ Алексѣевичѣ, у котораго въ одномъ мизинцѣ больше ума, чѣмъ у всѣхъ этихъ нѣмцевъ.

— Ахъ, ты мой голубчикъ! — вскричалъ Прокудинъ, всплеснувъ руками.—Такъ вотъ какъ ты изволишь поговаривать!.. А я думалъ, что ты вовсе погрязъ въ этой нѣмецкой прелести!..

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, я вамъ и прежде докладывалъ, что намъ должно перенимать все полезное у нашихъ сосѣдей, но не ради того, что-бъ сдѣлаться самимъ нѣмцами. Да развѣ русскій человѣкъ не можетъ изучиться разнымъ наукамъ и всѣмъ заморскимъ хитростямъ, а межъ тѣмъ остаться такимъ же точно православнымъ русскимъ, какими были его отцы и прадѣды? Вѣдь это вездѣ такъ, Максимъ Петровичъ. Вотъ, примѣромъ сказать: голландцы не уступятъ въ наукѣ англичанамъ, нѣмцы не меньше знаютъ французовъ, а вѣдь не всѣ же за моремъ, сплошь-да-рядомъ или французы или нѣмцы, или голландцы,— и тамъ также наука наукой, а каждый народъ самъ по себѣ. Однакожъ, Максимъ Петровичъ, вамъ надо поспѣшить. Хоть, кажется, времени еще довольно, а вѣдь неровенъ часъ: коли этотъ Обиняковъ поторопится, да захватитъ вашего племянника...

— Племянника!—повторилъ Прокудинъ, улыбаясь,—Ну, а коли Шелешпанскій вовсе мнѣ не племянникъ?

— Что вы говорите?—прервалъ Симскій и глаза его заблистали радостію.—Такъ Ольга Дмитріевна не вышла за князя Шелешпанскаго?

— И никогда за нимъ не будетъ.

— Такъ она не замужемъ?..

— Покамѣстъ нѣтъ. Ну, прощай, другъ сердечный! Ты, чай, остановился въ Москвѣ у своего дяди?

— Да, Максимъ Петровичъ

— Такъ мы послѣзавтра опять съ тобой увидимся. До свиданья, любезный!

Симскій уѣхалъ. Прошло нѣсколько минутъ. Прокудинъ провожалъ глазами уѣзжающаго гостя и, казалось, размышлялъ въ эту минуту о чемъ то пріятномъ. Онъ поглаживалъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ свою сѣдую бороду и улыбался. Вдругъ сѣнныя двери скрипнули и растворились до половины.

— А, это ты, Оленька!—сказалъ Максимъ Петровичъ.

Поди сюда, поди!.. Сядь-ка вотъ тутъ... поближе ко
Ну, племянница, глаза то у тебя зорки: издалека т
нала Симскаго!

— И, что вы, дядюшка!.. Вѣдь онъ ужь былъ б
— отвѣчала Ольга Дмитріевна, покраснѣвъ, какъ м
цвѣтъ.

— И то сказать,—продолжалъ Максимъ Петрович
кого молодца за версту узнаешь. Не правда ли, мой д

Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать на вопросъ дяди,
Дмитріевна придвинула къ себѣ пяльцы, нагнулась
ними, стала разбирать шелкъ и наконецъ промолвила
слышнымъ голосомъ:

— А зачѣмъ онъ пріѣзжалъ къ вамъ, дядюшка?

— Да по дѣлу твоего жениха, князя Шелешпанска

— Жениха?—повторила съ ужасомъ Запольская.

— То-есть бывшаго, мой другъ!—прервалъ съ уль
Прокудинъ. Ну, чего ты испугалась? Ужь я сказалъ
скорѣй выдамъ тебя за нѣмца, чѣмъ за этого бѣглаг
вика. Вотъ, подумаешь, прошу узнать: этотъ воръ
ліошка Обиняковъ крѣпко стоитъ за нашу старину,
рить всѣхъ иноземцемъ, князь Шелешпанскій также,
они слывутъ людьми русскими, а что въ этомъ толку,
душонки то въ нихъ жидовскія. Одинъ мошенникъ, а
гой, по мнѣ, и того хуже. Обиняковъ что: приказная
ка; а Шелешпанскій—богатый бояринъ, природный к
да любого цыгана научитъ, какъ обманывать добрыхъ
дей. Живетъ хуже всякаго скареда, и, чтобъ отвилять
царской службы, по овинамъ изволитъ прятаться. А вотъ
Симскій... И я, грѣшный человѣкъ, думалъ, что онъ
онѣмечился... Да и какъ не подумать: хвалитъ всѣ за
скіе обычаи, любитъ нѣмцевъ, и самъ то говоритъ ин
ни дать, ни взять, какъ нѣмецъ; а какъ пришло дѣл
чистоту, такъ его честная русская душа вотъ такъ
подъ нѣмецкаго то платья и рвется наружу!.. Ну, не
сказать, славный малый!

— Такъ онъ вамъ нравится, дядюшка?—спросила
кимъ голосомъ Ольга Дмитріевна.

— Да, мой другъ, очень нравится; а тебѣ?.. Ну, чт
ты молчишь, Оленька?.. А, вотъ что; ты не хочешь
мной спорить...

— Какъ, дядюшка?

— Да, мой другъ: я его хвалю, а тебѣ онъ видно не по сер

Ольга Дмитріевна кинулась на шею къ дядѣ и заплакала.

— И, полно, матушка!—сказалъ Прокудинъ, улыбаясь.— О чемъ ты плачешь?

Запольская хотѣла что то сказать, но слезы не дали ей вымолвить ни слова.

— Да не бойся, мой другъ! Коли Симскій тебѣ не нравится, такъ Богъ съ нимъ.

— А развѣ онъ что-нибудь вамъ говорилъ?—промолвила Ольга Дмитріевна.

— Теперь ничего. Да вѣдь онъ ужь за тебя сватался.

— Что вы говорите?..

— Да, мой другъ. Вотъ, когда ты жила еще у своей тетки, родной его дядя, Данила Никифоровичъ, самъ пріѣзжалъ ко мнѣ сватомъ, а я какъ будто бы отгадалъ, что Симскій тебѣ не по сердцу, и слушать его не сталъ.

— Ахъ, дядюшка!

— Что, племянница?

— Да вы, кажется, смѣетесь надо мною.

— И, что ты, матушка!

— Вы говорите, что Симскій мнѣ не нравится.

— А какъ же, Оленька? Когда я уговаривалъ тебя выйти замужъ за Шелешпанскаго, ты плакала, и теперь также, лишь только я намекнулъ тебѣ о Симскомъ...

— Ахъ, дядюшка! — прервала Запольская, потупивъ глаза.—Да вѣдь тогда я плакала съ горя...

— А теперь съ радости? Ага, смиренница, промолвилась!

— Съ радости!.. — повторила Ольга Дмитріевна, и въ глазахъ ея снова блеснули слезы.—Почему знать, можетъ быть теперь Симскій...

— Нѣтъ, мой другъ, и теперь все то же. Вѣдь онъ пріѣхалъ сюда за тѣмъ, чтобъ выручить изъ бѣды твоего мужа... Да, да, Оленька, Симскій думалъ, что ты давно уже княгиня Шелешпанская, и кабы ты видѣла, какъ онъ обрадовался, когда я сказалъ, что ты еще не замужемъ... Ну, да что объ этомъ говорить! Видно, пословица то не даромъ: «суженаго конемъ не объѣдешь». Прощай, Оленька! Мнѣ пора ѣхать къ Роютову, а завтра я отправлюсь въ Москву, и если Данила Никифоровичъ опять заговоритъ о своемъ племянникѣ, такъ чтожъ, матушка... прикажешь ударить по рукамъ?

— Воля ваша, дядюшка.

— А твоей то воли нѣтъ?
— Ахъ, какіе вы!...
— Ну, добро, добро!.. Прощай, мой другъ!

XIII.

— Чтожъ это Максимъ то Петровичъ не ѣдет
онъ сказалъ тебѣ, племянникъ...
— Да, дядюшка, онъ спросилъ меня, у васъ ли
и сказалъ, что послѣзавтра непремѣнно со мн
дится.
— Ну, такъ и есть... ты былъ у него треты
и коли онъ выѣхалъ вчера, такъ долженъ быть
къ обѣду. Ты не знаешь, гдѣ онъ остановится?
— Не знаю, дядюшка.
Разумѣется, эти вопросы дѣлалъ Данила Никиф
Загоскинъ племяннику своему, Василію Михайлович
скому.
— Коли онъ пріѣдетъ сюда съ племянницей, —
жалъ Данила Никифоровичъ,—такъ, вѣрно, останов
домѣ у сестры; а если одинъ, такъ можетъ статься
мнѣ взъѣдетъ. Нечего дѣлать, надобно подождать
обѣду. Какъ ты думаешь, жена?
— Воля твоя, Данила Никифоровичъ,—промолвил
Саввишна.—Только я за гуся не отвѣчаю: пережари
тюшка.
— Бѣда не большая. Мы съ Максимомъ Петр
люди не привередливые. Ты говорилъ мнѣ, Васил
онъ тебя ласково принялъ?
— Очень ласково.
— Очень ласково! Да это еще ничего! Максим
ровичъ человѣкъ радушный, ты же пріѣхалъ къ н
добрымъ дѣломъ; на его мѣстѣ и всякій обошелся
тобою ласково.
— Нѣтъ, дядюшка! Сначала онъ былъ только
ливъ со мною, а подъ конецъ такъ меня обласкалъ,
и словъ не нашелъ. Ужь онъ хвалилъ, хвалилъ
А какъ сталъ прощаться со мною, такъ назвалъ
сердечнымъ.
— Ну, это не дурно. А намекалъ ли онъ тебѣ
нибудь... знаешь, о томъ?..

— Какъ же, дядюшка, и очень намекалъ...

— И это хорошо: Максимъ Петровичъ не скажетъ слова на вѣтеръ,—не такой человѣкъ. Да и ты не глупо сдѣлалъ, племянникъ; расхвалилъ русскихъ генераловъ, а нѣмецкаго то генерала ругнулъ... Умно, любезный, умно: потѣшилъ старика...

— Я говорилъ это, дядюшка, не ради его потѣхи: это сущая правда.

— И, Василій, ну хоть бы и душой то немного покривилъ, что за бѣда! Вѣдь нѣмцамъ отъ твоихъ словъ ни хуже, ни лучше не будетъ, и Максиму Петровичу это какъ масломъ по сердцу!.. Такъ ты, племянникъ, хочешь, чтобъ я съ нимъ опять рѣчь повелъ объ Ольгѣ Дмитріевнѣ?

— Ахъ, сдѣлайте милость, дядюшка!

— Ну такъ и быть, — попытаемся еще разокъ. А вѣдь обидно будетъ, коли онъ и теперь также заломается...

— Дай то, Господи! — прошептала Марѳа Саввишна.

— Что, что?—прервалъ Данила Никифоровичъ.

— Да, государь, не прогнѣвайся: кабы моя воля, такъ я бы ни за что не благословила Васеньку жениться на этой Запольской.

— Не благословила? А почему бы такъ, сударыня? Что, она невѣста бѣдная что-ль?

— Нѣтъ, батюшка, съ достаткомъ.

— Собой что-ль не хороша?

— И этого сказать нельзя: личико у нея смазливое и по годамъ она ровня Васенькѣ.

— Всѣ говорятъ, что она предобрая.

— И это можетъ быть.

— Такъ чего-жъ еще тебѣ? Рожна, что-ль, прости, Господи!

— Эхъ, Данила Никифоровичъ! Да вѣдь жена должна быть хозяйкой въ дому, угождать мужу, заботиться о дѣтяхъ...

— А почему ты думаешь, что Ольга Дмитріевна...

— И, батюшка, чего ждать отъ такой дѣвицы, которая по нѣмецкимъ асамблеямъ ѣздитъ, въ заморскіе робронты одѣвается и пляшетъ, съ кѣмъ ни попало...

— Такъ чтожъ, тетушка, — прервалъ Симскій.—Ольга Дмитріевна человѣкъ молодой, почему ей не повеселиться?

— Охъ, Васенька, припомни мое слово: сядетъ тебѣ это веселье на маковку!

— Добро, добро!—прервалъ Данила Никифорови
это, Марѳа Саввишна, говоришь потому, что сама то у
— Ахъ, батюшка, развѣ я не была также мол
— Была, мой другъ; да въ то время объ асамб
у насъ и рѣчи не было, и васъ всѣхъ, монхъ
шекъ, за ключикомъ держали; а будь-ка ваша вол
можетъ статься, и ты бы поѣхала на вечеринку к
Гутфелю.
— Сохрани, Господи!
— И, Марѳа Саввишна, такъ-то бы поѣхала, д
тала минавею съ какимъ-нибудь аптекаремъ!... І
всѣ подъ старость прежніе свои грѣхи забываемъ. У
ноги плохо ходятъ, такъ и другіе не бѣгай... Э,
никакъ и Максимъ Петровичъ въѣхалъ во дворъ
племянникъ, коли ты хочешь, чтобъ я высваталъ
вѣсту, такъ убирайся вонъ!... Максимъ Петровичъ
всѣ старинные обычаи, а въ старину такіе дѣла
нихъ и невѣстѣ не дѣлались.
— Постарайтесь, дядюшка!
— Будемъ стараться, батюшка; а тамъ что Бог
Симскій вышелъ вонъ, а Данила Никифоровичъ
навстрѣчу къ своему гостю.
— Здравствуй, старый другъ! — сказалъ Пр
обнимая Загоскина. Давно мы съ тобой не видались
— Давно, Максимъ Петровичъ.
— Марѳа Саввишна!.. Какъ, матушка, ваше з
— Слава Богу, Максимъ Петровичъ, Господь
терпитъ! — молвила очень сухо Марѳа Саввишна,
вонъ изъ комнаты.
— Я, Данила Никифоровичъ, и съ тобой хотѣл
даться,—сказалъ Прокудинъ, садясь,—а коли пра
вить, такъ сегодня пріѣхалъ не къ тебѣ, а къ твое
мяннику.
— Все равно, любезный: мы съ нимъ не дѣлим
— Мнѣ хотѣлось еще разъ сказать спасибо
Михайловичу за то, что онъ не далъ мошеннику
кову ограбить князя Шелешпанскаго. Ты вѣдь, ч
этомъ знаешь?
— Да, Василій мнѣ сказывалъ.
— Ну, Данила Никифоровичъ, можешь ты
статься своимъ племянникомъ: вотъ ужь подлинно
малый.

— Да и какъ быть иначе, Максимъ Петровичъ: его покойные родители были истинно честные и благочестивые люди; а вѣдь ты, чай, знаешь пословицу: «недалеко яблочко отъ яблонки падаетъ».

— Такъ, такъ! Да какъ онъ это изъ-подъ турка то къ тебѣ пріѣхалъ? Въ побывку что-ль отпустили?

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ: Государь Петръ Алексѣевичъ прислалъ его сюда гонцомъ.

— Вотъ что!

— Онъ привезъ сенату указъ отъ его Царскаго Величества.

— Указъ, о чемъ?

— А вотъ, изволишь видѣть... Э, да кстати: помнишь, мы съ тобой спорили,—я говорилъ, что нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ паче всего любитъ и бережетъ свою святую Русь, а ты стоялъ въ томъ, что онъ любитъ не свой православный народъ, а нѣмцевъ, голландцевъ и всякихъ другихъ иноземцевъ.

— Помню, Данила Никифоровичъ, помню! Что дѣлать, грѣшный человѣкъ, я и теперь то-же думаю.

— И думаешь это потому, что Государь жалуетъ заморскіе обычаи, хочетъ, чтобъ мы всѣ одѣвались по иноземному, и подписывается иногда не Петромъ, а Питеромъ?

— Да развѣ этого мало?

— Погоди, любезный, погоди, — выслушай меня!... Вотъ, примѣромъ сказать, если-бъ какой-нибудь царь велъ войну и ему бы не посчастливилось: войско его разбили, а его самого захватили въ полонъ; какъ ты думаешь, чтобы онъ написалъ своему народу?

— Вѣстимо дѣло: онъ написалъ бы, чтобъ его какънибудь выручили; а коли насилу взять нельзя, такъ выкупъ дали.

— Выкупъ! Да вѣдь за царя то пожалуй и полцарства попросятъ, всю землю разорятъ...

— Чтожъ дѣлать, любезный! Коли ужь такой грѣхъ приключился, такъ жалѣть нечего,—все отдавай.

— Ну, а коли этотъ царь напишетъ своему народу: если вы узнаете, что я попалъ въ плѣнъ, сирѣчь нахожусь въ неволѣ, такъ вы ужь не должны почитать меня своимъ царемъ и государемъ, и никакихъ указовъ моихъ не исполнять. Пусть, дескать, я пропаду, да вы то останетесь цѣлы.

— Что ты это говоришь? Да неужели Госуда
Алексѣевичъ...

— На вотъ, прочти!

— Да это что такое?

— Списокъ съ того указа, который привезъ
мянникъ.

— Господи! Боже мой!—вскричалъ Прокудинъ
указъ.—Ну!

— Что, любезный, кто изъ насъ правъ?

— Ты, Данила Никифоровичъ, ты!... Ахъ,
ный ропотникъ!... И я могъ говорить, что Государ
Алексѣевичъ промѣнялъ свой народъ на нѣмцевъ
вовсе о насъ не думаетъ, а онъ, кормилецъ нашъ
пожалѣлъ для своего Царства!... Ну, правду ты
рилъ, Данила Никифоровичъ: Господь послалъ
кого Царя, какого до сихъ поръ еще нигдѣ не бы

— Что, Максимъ Петровичъ, будешь ли тер
ваться на меня, что я, въ угоду такому велико
дарю, нѣмецкое платье на себя надѣлъ?

— Куда мнѣ гнѣваться, Данила Никифоровичъ
стыдно теперь на тебя смотрѣть!

— То-то же, любезный!... А что, другъ се
если-бъ Государь самъ лично тебѣ сказалъ: «П
голубчикъ Максимъ Петровичъ, потѣшь меня:
себѣ бороду?»

— Эхъ, полно, Данила Никифоровичъ, не иск
Да и на что ему моя сѣдая борода? Я прожилъ
весь мой вѣкъ, такъ пусть она при мнѣ и въ
останется!... А коли я ему, отцу нашему, на чт
надобенъ,—прикажи только, такъ я, вмѣстѣ съ
родою, и голову за него положу!... Такъ вотъ как
привезъ твой племянникъ!

— Да, Максимъ Петровичъ. И знаешь ли ч
онъ самъ напросился ѣхать гонцомъ въ Москву, а
все равно, что идти на явную смерть.

— Какъ такъ?

— Да развѣ ты не слышалъ, что турки то
войско кругомъ обложили, и проѣзду никому не бы

— Такъ какъ же онъ проѣхалъ?

— А вотъ такъ же, какъ русскіе люди по
ледку переходятъ: девятеро пойдутъ ко дну, а
кой-какъ доберется до другого берега.

— Такъ чтожъ ему за охота была напрашиваться?

— Что за охота! Такъ ты не знаешь племянника? Онъ у меня такой молодецъ, что и сказать нельзя,—вся русская отвага! И хоть онъ въ нѣмецкомъ платьѣ ходитъ, а удали то въ немъ на десятерыхъ нѣмцевъ станетъ. Мало ли что съ нимъ было: попался было въ полонъ къ туркамъ, голову ему срубить хотѣли, а все-таки Господь помиловалъ: и самъ остался невредимъ, и царскій указъ сберегъ.

— Да, нечего сказать, молодецъ!

— Вотъ то-то же, Максимъ Петровичъ! Ты самъ изволишь говорить, что онъ и честный малый и молодецъ, а все-таки обраковалъ его.

— Да у меня тогда, любезный, не то въ головѣ было, и его то я вовсе не зналъ.

— А теперь?

— Теперь иная рѣчь, Данила Никифоровичъ! Теперь объ этомъ можно поговорить.

— А коли такъ, Максимъ Петровичъ, такъ позволь мнѣ вторично сказать тебѣ, что я и моя Марѳа Саввишна имѣемъ великое желаніе породниться съ тобою.

— И я также, любезный другъ, не прочь отъ этого. Дай время подумать, поразмыслить...

— Да что тутъ размышлять? Коли мой племянникъ тебѣ по-серду...

— Кто говоритъ: онъ молодецъ прекрасный, да и нѣмцевъ то не такъ любитъ, какъ я прежде думалъ.

— Кто? Василій? Съ чего ты взялъ, что онъ любитъ нѣмцевъ? Вѣдь это такъ, любезный, знаешь, этакъ—щегольство: «мы, дескать, люди петербургскіе, такъ у насъ все на нѣмецкую стать!»... А попытайся кто-нибудь сказать при немъ непригожее слово о нашей матушкѣ святой Руси, такъ онъ на ножъ полѣзетъ!... Ну чтожъ, другъ сердечный, порѣши чѣмъ-нибудь!

— Экій ты проворный.. порѣши! Да вѣдь это не что другое... Иль, по твоему, невѣста, въ самомъ дѣлѣ, товаръ, а женихъ купецъ?

— А, понимаю!... Ты хочешь прежде посовѣтоваться съ Ольгой Дмитріевной?

— Ну, вотъ еще!... Ея дѣло дѣвичье, стану я съ ней объ этомъ говорить!

— Такъ чтожъ тебѣ за охота понапрасну меня маять?

Вѣдь ужъ мы оба съ тобой каждый денекъ счи
коли Господь посылаетъ радость, такъ откладывать
— Правда, Данила Никифоровичъ, правда!
— А коли правда, такъ о чемъ и думать?...
Максимъ Петровичъ, по рукамъ что-ль?
— Ну, по рукамъ, такъ по рукамъ!
Прокудинъ и Загоскинъ обнялись.
— Поздравляю тебя, любезный сватъ, съ племянн
сказалъ Данила Никифоровичъ.
— А тебя, другъ сердечный, и сватью съ плем
— Ну что, Максимъ Петровичъ: не прикажеш
перь позвать жениха?
— Зачѣмъ? Это дѣло между нами: чай, ты не
спрашить у твоего племянника, хочетъ ли онъ ж
на моей племянницѣ?
— И то правда! Я вѣдь ему вмѣсто отца родно
онъ долженъ во всемъ меня слушаться. Я ему
просто: «Племянникъ, мы ударили по рукамъ съ
момъ Петровичемъ: онъ выдаетъ за тебя свою плем
такъ хочешь или нѣтъ, а прошу идти съ нею
нецъ!» Такъ ли?
— Такъ, такъ! И я то же скажу племянницѣ.
— Конечно, конечно! Ихъ дѣло сторона.
— Они знай только подъ вѣнцомъ стоять, а
уладить наше дѣло. Такъ ли, Данила Никифорович
— Такъ, Максимъ Петровичъ, такъ! Станемъ
спрашивать!.
— Вотъ еще!... Дѣлай, что велятъ... Да чтожъ т
глазами то поводишь, Данила Никифоровичъ?
— А ты что ухмыляешься, Максимъ Петрович
Оба старика взглянули другъ на друга и засмѣя
— Охъ, любезный сватъ, — сказалъ Прокудинъ
намъ другъ друга морочить? Видно, что было, того
нешь. Да хоть свадьбу то справимъ по старинѣ; в
намъ никто не указъ.
— Изволь, другъ сердечный: только пожалуй
откладывай.
— Чего откладывать! Ужъ скоро Успенскій пос
шести прошу ко мнѣ съ женихомъ и со всѣмъ п
въ село Вадинское, на будущей недѣлѣ во вто
— Будемъ, Максимъ Петровичъ, будемъ!
— Да скажи Василію Михайловичу, что онъ

свою невѣсту тогда только, когда она будетъ Ольгой Дмитріевной Симскою. Чай, у нихъ въ Питерѣ этого не водится, да вѣдь мы люди не петербургскіе. Э, да пожалуйста, любезный, пригласи на свадьбу господина Мамонова. Кабы не онъ, дай Богъ ему здоровья!.. Да что объ этомъ говорить: помиловалъ Господь и меня и племянницу... А, да вотъ и Марѳа Саввишна!

— Жена, — сказалъ Загоскинъ, — мы сейчасъ покончили съ Максимомъ Петровичемъ: онъ выдаетъ за Василія свою племянницу, Ольгу Дмитріевну; на будущей недѣлѣ свадьба... Ну, чтожъ ты стоишь? Поцѣлуйся съ нашимъ дорогимъ сватомъ!

Марѳа Саввишна поцѣловалась, молча, съ гостемъ.

— Прошу меня любить и жаловать, — молвилъ Прокудинъ,—и не оставлять вашею милостью мою Оленьку!

— Помилуйте, Максимъ Петровичъ, — проговорила наконецъ Марѳа Саввишна:—родня всегда родня. Жаль только, что я ужь стара и хила стала, батюшка. Что дѣлать, не могу во всемъ замѣнить ея тетушку, Аграфену Петровну: та, бывало, съ ней по асамблеямъ ѣздитъ...

— А вы, матушка, пріучите племянницу хозяйничать, заниматься домашними дѣлами: вѣдь ей стоитъ только у васъ перенимать!

— И, батюшка: ученаго учить, лишь только портить!

— Хорошо, хорошо!—прервалъ Данила Никифоровичъ, которому этотъ разговоръ начиналъ не нравиться. Вели ка, Марѳа Саввишна, закуску подавать. Да милости просимъ, дорогой сватъ, чѣмъ Богъ послалъ!

— Благодарю покорно: я ужь обѣдалъ.

— Гдѣ?

— У сестры, Аграфены Петровны.

— Какъ, да развѣ она пріѣхала?

— Вчера по-утру. Азовъ сдаютъ опять туркамъ, такъ и мужъ ея скоро вернется въ Москву. Прощай, сватъ!— продолжалъ Прокудинъ, вставая.—Поѣду отдохнуть немного, а тамъ и домой.

— Такъ ты здѣсь и дня не пробудешь?

— Когда теперь: надо о свадьбѣ подумать. Вѣдь это дѣло не шуточное, около пальца не обведешь. До свиданья! Жду васъ, любезные сваты, во вторникъ.

— Будемъ, будемъ, Максимъ Петровичъ! — сказалъ Загоскинъ, провожая своего гостя.—Ну что, жена,—спро-

силъ онъ, воротясь въ гостиную:—каково я дѣломъ вернулъ, а?

— Ухъ, батюшки,—промолвила Марѳа Саввишн легло отъ сердца!

— А, то-то же! Только что говорила, а, небо перь сама радехонька!

— Слава тебѣ Господи! То-то бы срамъ былъ!

— Срамъ не срамъ, а нечего сказать,—обидно бы

— Ну, кабы Максимъ Петровичъ остался обѣда

— Такъ чтожъ?

— Какъ что? Вѣдь я тебѣ говорила, батюшка пережарился, похлебка простыла, а пирогъ такъ рѣлъ, что стыдно на столъ поставить.

— Вотъ, о чемъ толкуетъ!.. Пойдемъ ка обѣда вели позвать нашего затворника; чай, онъ теперь ни ни мертвъ. Вотъ мы съ нимъ на радости выпь чарочкѣ, да закусимъ твоимъ подгорѣлымъ пирогомъ.

Чрезъ нѣсколько дней въ селѣ Вздвиженскомъ рилось опять то же самое, о чемъ я разсказывалъ любезные читатели, во второй главѣ моего разска тою только разницею, что послѣ дѣвишника на день была свадьба, и что на этотъ разъ, всѣ безъ ченія, были счастливы и довольны... Ахъ, нѣтъ, он Помните вы старуху Потапьевну, которая щуняла дую бабу за то, что она не плакала на своемъ д никѣ? Эта старуха осталась очень недовольною. Во дѣвишника она смотрѣла въ окна и, къ крайнему с прискорбію, замѣтила, что ненаглядное ея солнышко, рышня Ольга Дмитріевна, не только не плакала, н престанно улыбалась и была такъ весела, какъ буд не ее замужъ выдавали.

— Охъ, худо!—говорила она:—не плачетъ теперь, наплачется вдоволь замужемъ!

Я думаю, вовсе не нужно вамъ сказывать, люб читатели, что это пророчество не сбылось.

Разумѣется, Рокотовъ не былъ на свадьбѣ и рился съ Шетневымъ за то, что онъ не отказалс приглашенія. Года черезъ три Лаврентій Никитичъ преспокойно на своей постели. Вѣроятно, онъ ко бы свою жизнь совсѣмъ другимъ образомъ, если бы мена смутъ и мятежей не прошли безвозвратно. По с его, Шетневъ одѣлся въ нѣмецкое платье, — но эт

не пошло впрокъ: онъ не получилъ мѣста, для котораго принесъ въ жертву свою великолѣпную окладистую бороду. Впрочемъ, Шетневъ перенесъ эту невзгоду гораздо великодушнѣе, чѣмъ Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, у котораго четыре тысячи душъ... «по усамъ текло, да въ ротъ не попало». Отправясь съ командою, чтобъ захватить князя Шелешпанскаго, Обиняковъ началъ мечтать о будущемъ своемъ барскомъ бытѣ. «Шелешпанскій глупъ» — думалъ онъ, — «ц коли онъ получалъ до осьми тысячъ рублей съ своихъ четырехъ тысячъ душъ, такъ я получу вдвое. Построю себѣ на Ильинкѣ каменныя палаты, заживу бариномъ и не стану ни передъ кѣмъ шапки ломать!» Представьте же себѣ его ужасъ, когда онъ не нашелъ никого на хуторѣ и узналъ, что князь Шелешпанскій поѣхалъ въ Москву явиться Мамонову. Эта неудача, которой онъ никакъ не могъ предвидѣть, то того его поразила, что онъ слегъ въ постель; потомъ сталъ попивать съ горя, началъ заговариваться и кончилъ тѣмъ, что сошелъ съ ума, — разумѣется, на томъ, что у него четыре тысячи душъ крестьянъ и огромныя каменныя палаты на Ильинкѣ.

Предсказаніе Мамонова сбылось: военная служба принесла большую пользу князю Шелешпанскому. Конечно, онъ не поумнѣлъ, но за то изъ неуклюжаго увальня сдѣлался такимъ расторопнымъ молодцомъ, что черезъ два года махнулъ изъ рядовыхъ прямехонько въ сержанты.

Можетъ быть, вы желаете знать, любезные читатели, что сдѣлалось съ молдаванскою куконою, Смарагдою Хереско? Въ такомъ случаѣ, я прошу васъ прочесть слѣдующее письмо Андрея Степановича Мамонова, который, года два спустя послѣ свадьбы Симскаго, былъ откомандированъ, по дѣламъ службы, въ Кіевъ.

«Любезный другъ Василій Михайловичъ!

«Не удивись, что я пишу къ тебѣ такое длинное письмо. Я знаю, что ты меня любишь, такъ вѣрно съ истинною сатисфакціею узнаешь, что твой другъ и сослуживецъ помолвленъ. Я пишу къ тебѣ одному объ этомъ, а ты потрудись увѣдомить всѣхъ общихъ нашихъ пріятелей, а къ отсутствующимъ напиши универсалы, — пусть всѣ

знаютъ, что я счастливъ! Но я еще не сказалъ
эта персона, которая въ столь короткое время усп
совершенно заполонить. Да вотъ, постой, я разск
все по порядку. Пріѣхавъ въ Кіевъ, я недѣли
жилъ совершеннымъ сиротою. Первое мое знакомс
съ отставнымъ полковникомъ Артамономъ Никити
лушкою. Онъ живетъ безвыѣздно въ Кіевѣ, по
всѣ его отчины въ Чигиринскомъ повѣтѣ, по
Жена его природная молдаванка, женщина безъ
эдюкаціи, но очень ласковая и обходительная. У
стить родная сестра ея, молодая и богатая вдова,
Хереско. Въ жизнь мою я не видывалъ такой кр
Представь себѣ... да ты не поймешь меня! Ты,
другъ, живешь теперь почти всегда въ Москвѣ,
вѣрно сталъ человѣкомъ старозавѣтнымъ; чай, по
та только и хороша, про которую можно спѣть:

«Круглолица,
Бѣлолица,
Красная дѣвица».

А моя невѣста смугла, блѣдна, и лицо у нея
ватое. Для тебя, чай, краше нѣтъ твоей Ольги Дм
Кто и говоритъ: она, конечно, пригожа, да это вс
Какъ бы тебѣ сказать? Ну, вотъ, примѣромъ: тв
Дмитріевна хороша, какъ прекрасное весеннее утр
Смарагда — какъ жаркій ясный полдень. Голуби
твоей жены тихи и спокойны, какъ свѣтлый м
чистыхъ небесахъ: а черныя очи моей молдава
такъ и жгутъ, какъ лѣтнее солнышко. Надобно
зать, что у нея былъ женихъ, какой то бояринъ
его убили турки, и она, изъ любви къ покойни
обѣщаніе не выходить никогда замужъ. Много у н
жениховъ въ Кіевѣ, да всѣ они какъ не солоно
Лишь только кто посватается, такъ и ворота на
Иной не могъ даже добиться того, чтобъ она
словечко перемолвила. Со мной обошлась она гор
сковѣе, чѣмъ съ другими: и знаешь ли, почему?
не отгадаешь. Она любитъ безъ памяти Преобр
полкъ, въ которомъ мы съ тобою служимъ. Ты см
за что? А Богъ вѣсть! Я думаю, такъ,—женскій
Въ первый разъ, какъ она со мною объ этомъ
такъ разспрашивала, какъ зовутъ моихъ товарище

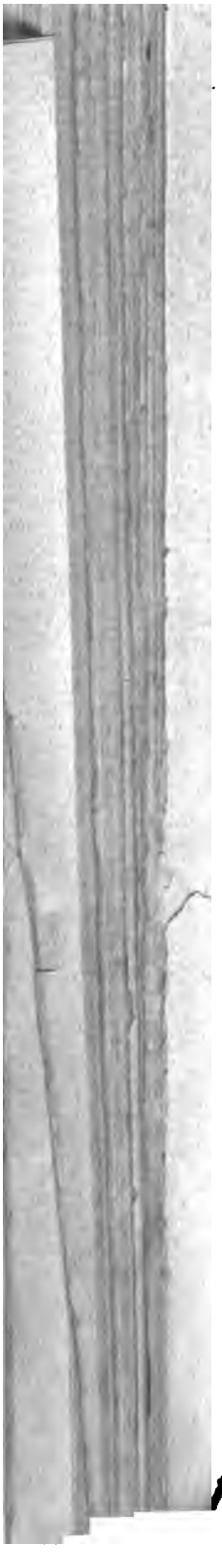
изъ нихъ женатъ. Ну, разумѣется, въ числѣ женатыхъ я назвалъ и тебя; разсказалъ ей, какъ ты былъ влюбленъ въ Ольгу Дмитріевну, какъ ее хотѣли выдать замужъ за князя Шелешпанскаго, а выдали наконецъ за тебя. Вотъ этакъ недѣльки черезъ двѣ, я началъ ей говорить обиняками, пытался завести амурную рѣчь, не тутъ то было, и слушать не хочетъ! Что, братъ Василій, тебѣ, какъ другу сердечному, скажу всю правду: не прошло мѣсяца, какъ я исхудалъ такъ, что на себя не сталъ походить, — сна нѣтъ, ѣда на умъ нейдетъ, только и думаю, что о ней! А она все та-же,—ни лучше, ни хуже. Однажды, по-утру, пришелъ ко мнѣ жидъ съ разными товарами: съ колечками, сережками, запонками; въ числѣ этихъ вещей былъ у него золотой крестъ съ молдаванскою надписью, который, по его словамъ, достался ему отъ какого то турка. Онъ уступилъ мнѣ этотъ крестъ очень дешево, и я въ тотъ же день повезъ его показать Смарагдѣ. Ты не можешь себѣ представить, что съ ней сдѣлалось, когда она его увидала. Я думалъ, что моя молдаванка съ ума сошла: ужь она его цѣловала, цѣловала, прижимала къ груди! Разумѣется, я сталъ просить позволенія благословить ее этимъ крестомъ. Сначала она какъ будто позамялась, подумала минутки двѣ, а тамъ взяла его, да такъ на меня взглянула, что я совершенно ожилъ. Съ этой поры пошло все лучше, да лучше, и вотъ теперь она моя невѣста. Я было, любезный другъ, сначала и возгордился. Думаю про себя: ну, видно, я молодецъ не дюжинный, и знаю, какъ съ женщинами обходиться, когда такая непобѣдимая фортеція сдалась мнѣ на дискрецію! Только вчера моя Смарагдушка спеси то во мнѣ поубавила. Она была со мною очень ласкова, приголубила меня, да вдругъ и говоритъ: хорошъ ты и пригожъ, мой суженый, а всего то для меня милѣе то, что ты носишь преображенскій мундиръ». «А еслибъ я служилъ въ Семеновскомъ полку?» — спросилъ я шутя. «Такъ врядъ ли была бы я твоею невѣстою», — промолвила съ улыбкою Смарагда.— «Да развѣ ты любишь не меня, а мой мундиръ?»—сказалъ я. «О, нѣтъ» — отвѣчала Смарагда:—теперь я и тебя люблю, — вѣдь ты мой женихъ!» И тебя!! Вотъ, толкуй послѣ этого! Подумаешь, какъ женщины то причудливы? Ну, скажи самъ, Василій Михайловичъ, — чѣмъ нашъ преображенскій мундиръ красивѣе семеновскаго?»

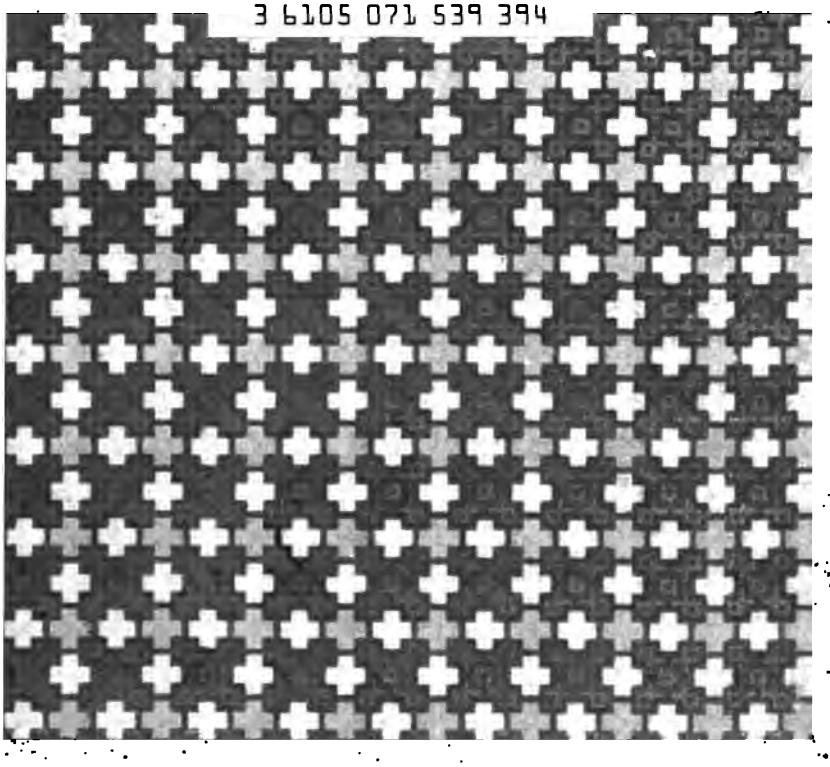
«Прощай, другъ сердечный! Поклонись отъ м
барынѣ, и коли встрѣтишь гдѣ-нибудь Ѳедосью И
Перепекину, такъ скажи ей, чтобъ она обо мн
потала. Онъ, дескать, нашелъ ужь себѣ невѣсту»

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
1. Брынскій лѣсъ, эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго.	1
2. Русскіе въ началѣ осьмнадцатаго столѣтія, разсказъ изъ временъ единодержавія Петра Перваго.	257



STANFORD

3 6105 071 539 394